ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Russian Academy of Sciencies
Institute of Ethnology and Anthropology named by N. N. Miklukho-Maklay
Margiana archaeological expedition

ON THE TRACK OF UNCOVERING A CIVILIZATION

A volume in honor of the 80th-anniversary of Victor Sarianidi

Transactions of the Margiana archaeological expedition

Sankt-Petersburg
ALETHEIA
2010

Российская академия наук
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая
Маргианская археологическая экспедиция

НА ПУТИ ОТКРЫТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сборник статей к 80-летию В.И. Сарианиди

Труды Маргианской
археологической
экспедиции

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2010

УДК 902/904
ББК 63.4(3)
Н12

Работа издается в рамках проекта РФФИ № 07-06-00062а

Редакционная коллегия:
П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова

На пути открытия цивилизации. Сборник статей к 80-летию В. И. Сарианиди.
Н12 Труды Маргианской археологической экспедиции / Ред. П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. — СПб. : Алетейя, 2010. — 696 с., [16] с. ил.

ISBN 978-5-91419-329-1

В издание включены результаты новейших археологических раскопок и изучения музейных коллекций, анализа процессов миграции эпохи бронзы и раннего железного века, антропологические и фаунистические разработки материалов как с территории Средней Азии, так и Евразии в целом. Уделено внимание истории архитектуры, ковроделия, металлургии, а также проблемам охраны, консервации и реставрации памятников.

УДК 902/904
ББК 63.4(3)

On the Track of Uncovering a Civilization. A volume in honor of the 80th-anniversary of Victor Sarianidi. Transactions of the Margiana archaeological expedition. Vol. 3 / Eds. P. M. Kozhin, M. F. Kosarev, N. A. Dubova. — SPb. : Aletheia, 2010. — 696 p.

Results of the recent archaeological excavations and studying of museum collections are included in the edition as well as analysis of Bronze and Early Iron Ages migrations, anthropological and faunal researches on the territory of Central Asia, and Eurasia as a whole. The attention on history of architecture, carpets making, metallurgy, and also on problems of protection, preservation and restoration of mud bricks monuments is paid.

ISBN 978-5-91419-329-1

© Коллектив авторов, 2010
© Маргианская археологическая экспедиция, 2010
© Институт этнологии и антропологии РАН, 2010
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010
© «Алетейя. Историческая книга», 2010

ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ ТРУДОВ И ОТКРЫТИЙ

Время летит очень быстро. За мгновения перед внутренним взором человека может пролететь вся жизнь. Некоторые за эти секунды успевают перейти с печи на полати, а другие – совершить не один десяток удивительных открытий, в том числе и таких, которые навечно остаются в истории человечества, и потом о них рассказывают легенды. Так, прошло всего 5 лет со времени 75-летия Виктора Ивановича Сарианиди (У истоков цивилизации, 2004). Казалось бы, на той территории, где Маргианская археологическая экспедиция под его началом работала уже в течение 35 лет, она нашла все ценное, что можно было найти: нанести на карту более 300 поселений бронзового и раннего железного веков в древней дельте р. Мургаб, снять многометровые слои песка с таких прекрасных памятников II тыс. до н. э. как Тоголок 1, Тоголок 21, более ординарный Тахирбай III, столичное поселение конца III тыс. Северный Гонур, рядом с ним выстроенный Южный Гонур (теменос), полностью раскопать богатейший Некрополь Гонура, давший научному миру представление о блеске культуры и богатстве духовной жизни страны Маргуш… В тот самый юбилейный 2004 год Виктору Ивановичу удалось совершить почти невозможное: и в песках Каракумов найти золото, почти четыре тысячи лет таившееся от черных археологов современности и грабителей разных эпох в гробницах маргианской элиты – на «царском некрополе» Гонура. Самое удивительное, что над этими гробницами участники экспедиции не один десяток(!) лет ходили на раскопки гонурского дворца. И, видимо, как награду за подвижническую жизнь искателя, в тот момент, когда, казалось бы, «Гонур почти исчерпал себя» (не раз повторявшееся самим В. И. Сарианиди выражение), удалось перевернуть еще одну страницу в книге жизни и убедить многих из сомневавшихся в том, что один из центров древневосточной цивилизации расцветал именно на земле современного Туркменистана. Приведенные Сарианиди доказательства существования нового центра цивилизации нашли поддержку у ведущих специалистов мира по лингвистике, археологии и индоиранистике. Участники конференции «Древняя Маргиана – новый центр мировой цивилизации», организованной по Постановлению Первого Президента Туркменистана С. Ниязова и открывавшейся лично Г. Бердымухамедовым первым вице-премьером, а ныне Президентом страны, которая состоялась в 2006 г. в г. Мары и где были представлены более 20 стран мира, выразили свое восхищение открытиями и согласились с их интерпретацией.

В мае 2004 год преподнес и еще один сюрприз. Благодаря инициативе американского Общества Нэйшнл Джеографик, Виктор Иванович был приглашен в столицу Афганистана. Еще в августе 2003 г. Президент Х. Карзай вместе с другими государственными лицами обнаружил, что Бактрийское золото – более 20 000 золотых предметов, найденных усилиями Советско-Афганской экспедиции под руководством Сарианиди в 1979 г. в

Тилля Тепе недалеко от г. Шибергана – не «было украдено советской партноменклатурой» (о чем пытались распространять слухи), не погибло в переплавке во время нахождения у власти талибов (о чем многократно писали СМИ разных стран). Оказалось, что оно бережно хранилось простыми охранниками Государственного банка Афганистана, не пожелавшими открыть тайны семи ключей никому, кроме законной власти. И вот первооткрыватель этого богатства древних кушан, после вскрытия сейфов держит в руках содержимое тех самых коробочек и ящичков, в которые бережно сам укладывал звенящие на легком ветру подвески, тяжелые, литые браслеты, тысячи бляшек и другие золотые предметы, сохранившиеся в том виде, в каком они были найдены. Эта хорошая новость облетела все страны и континенты, попав даже одной строчкой и на ленту сообщений в России.

В следующем году Президент Франции Ж. Ширак, придавая большое значение международному сотрудничеству в сфере культуры, договорился с Х. Карзаем об организации выставки сокровищ Кабульского музея в Музее Гиме в Париже. Такая выставка состоялась уже в декабре 2006 г., и тысячи французов смогли любоваться как бронзами Ай Ханум, резной костью и цветным стеклом Беграма, так и великолепием бактрийского золота. Правда работа Советско-Афганской экспедиции осталась за кадром. Затем не менее победно выставка переехала в Италию, в г. Турин, а оттуда и в США, где путешествует по городам до настоящего времени. Восхищенные ее посетители даже благодарят в письмах В. И. Сарианиди, что он «помог афганцам сохранить это богатство от советских войск, а позже и от талибов…». Оказывается, что труды советских (в те годы в составе экспедиции работали как московские, так и туркменские специалисты) археологов, работавших в тяжелейших условиях сырой и холодной зимы 1978–1979 гг. на деньги Академии наук СССР, нередко под прицелом заезжих «лихих ребят», беззаботно грабивших благодатную землю Афганистана, мало принимаются во внимание. Именно усилиями советских археологов были добыты из земли бесценные сокровища, всем своим обликом ярко демонстрирующих тесное переплетение парфянского, индийского, греческого, восточноазиатского и степного искусства. Правда сейчас все же забрезжила некая надежда, что и жители России смогут увидеть эту уникальную коллекцию на выставках в крупнейших музеях страны.

Но не только признание достижений прежних лет имели место в последнее пятилетие. Работы на Гонуре продолжаются по сей день и ежегодно приносят интереснейшие открытия. В 2005 г. была открыта мастерская по приготовлению сплавов на основе меди, а также два небольших храмика Сомы-Хаомы с интереснейшей архитектурой. Эти находки показали, что металл привозился на Гонур в виде заготовок. Здесь производилась его вторичная плавка и в изготовленных на месте формах, которые во множестве были найдены в мастерской, отливались готовые изделия: тяпки, булавки, зубильца, перегородчатые печати. И абсолютные даты, полученные по образцам из вновь найденных храмов, и относительная датировка по керамическим изделиям засвидетельствовали, что храм, расположенный около царского некрополя является одним из самых ранних среди подобных сооружений, найденных доныне во всей Маргиане. Он показал, что культ священного растения, а также напитка, из него изготовлявшегося, уходит своими корнями в глубокую древность.

В 2006 г. под прикрытием невысокого холмика на юго-запад от центральной части Гонура был раскопан сложный комплекс сооружений, каким-то образом связанный с погребальными ритуалами и, возможно, обрядами очищения. Работы здесь продолжались и в 2007 г. Центральное место в этом комплексе занимает ритуальное погребение трех баранов и осла. Эти животные, бесспорно, играли важнейшую роль в верованиях и обря-

дах древних маргушцев, причем не только в качестве жертвы. Все помещения устроены были на правом берегу древнего Мургаба, прямо напротив большого некрополя Гонура. Удалось также не только с помощью спутниковых снимков системы Гугл, но и реально на земле проследить его русло, проанализировать направление его течения и процесс усыхания. Оказалось, что, когда река уже сильно усохла, и многие дельтовые протоки стали превращаться в небольшие озерца, а то и лужи, для заполнения имевшихся на Гонуре водоемов был прокопан большой искусственный канал, который удалось проследить на протяжении не менее 300 м. Есть основания предполагать, что найденный канал не был единственным, и маргушцы были достаточно опытными инженерами, создателями ирригационных сетей. Получены дополнительные свидетельства большого уважения к собакам: найдено несколько их специально сооруженных захоронений. В 2 км к югу от Северного Гонура обнаружено большое по площади скопление гончарных печей. Этот памятник получил название Гонур 20.

Начиная с 2003 г. самое большое внимание уделялось не столько раскопкам, сколько сохранению найденного, т. е. консервации и реставрации стен сооружений. Большая часть сил Маргианской экспедиции при частичной финансовой поддержке международной программы «Фонд послов США для сохранения культурного наследия» была брошена на консервацию стен парадных помещений дворца, комплекса погребальных ритуалов, кремлевских стен, Царского святилища за пределами дворца. Благодаря помощи местной администрации были возведены охранные сооружения над ритуальным погребением животных, над другими важными объектами. При участии сотрудников Марыйского объединенного велоятского (областного) музея ведутся работы по созданию на Гонуре небольшой музейной экспозиции, характеризующей памятник.

Несмотря на то, что 2009 год едва прошел свою середину, уже можно сказать, что он отмерил еще одну веху в творческом пути Виктора Ивановича. Во время весенних раскопок на территории «царского некрополя» Гонура были найдены три интереснейших погребения: одна гробница, один круглый в плане котлован и одна подбойная/шахтная могила. Хотя только два из них – котлован и шахтная могила – оказались не тронутыми грабителями, в каждом были найдены уникальные предметы, находки, позволяющие в новом свете взглянуть на жизнь страны Маргуш и понять ее духовные ценности. Часть этой информации помещена в данный сборник, поэтому нет смысла здесь на ней останавливаться подробно. Но, учитывая, что главная мысль, которая занимает последние годы юбиляра – это стремление найти веские доводы, чтобы убедить даже самых последних скептиков в том, что корни зороастрийской религии, ту богатую почву, на которой она могла взрасти, следует искать именно в обычаях, представлениях и ритуалах Маргианы – надо подчеркнуть важное.

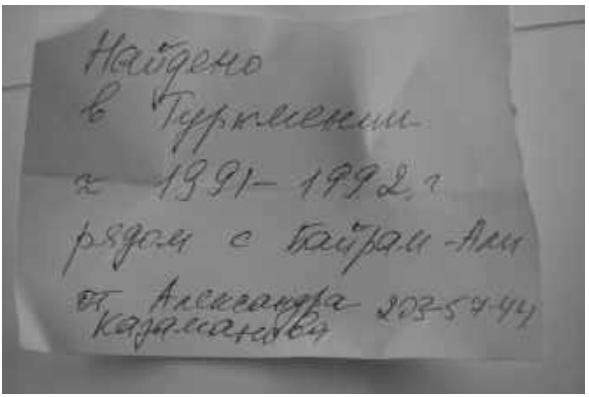
Конечно, и двадцать тысяч золотых изделий афганского Тилля Тепе, и клады в царских могилах Гонура, и масштабность Гонур Депе, Тоголока 1, 21, и великолепие серебряных печатей, и мастерство золотых дел мастеров этой страны могут внешне затмить достаточно простые на вид вещи, даже не положенные, а сброшенные в котлован, также как животные и люди, останки которых там обнаружены. Но за семью молодыми людьми, семью собаками, семью шарообразными бронзовыми емкостями, поставленными одна над другой, также как за четырехколесной повозкой, находящейся в центре всего захоронения, большим бронзовым котлом, большой бронзовой совковой лопатой, двумя каменными посохами, бронзовым светильником, двумя верблюдами и двумя ослами скрывается глубокий, вряд ли в настоящее время понятный нам до конца смысл.

Собаки, также как и люди, убитые до того, как были опущены в котлован, положены последними, что свидетельствует об из важной и особой роли в обряде, сохранившем свои внешние формы, но заставляющем задуматься над его содержанием. Размеры большого бронзового котла, форма которого до удивления близко напоминает маленькие подобные изделия из царских могил Ура, говорит о том, что он является символом чего-то большого, единого, возможно, как и полагает В. И. Сарианиди, целого рода. Пища, которая в нем могла готовиться, о чем говорит закопченное дочерна дно, должна была, будучи помещенной в один котел, объединять этот род. Бронзовый светильник напоминает, что другой свет солнечные лучи не посещают, и он таится во мраке. Сломанные повозка, посохи – также, по всей видимости, олицетворяют то, что земной путь и их, и того человека, которому они предназначались (сами посохи являются символами высокой власти), завершен. Но Виктор Иванович идет дальше: он видит в этом скоплении многих предметов и костных останков – символ зарождения нового – Нового дня, Науруза! Тем, кто в это не поверит сразу, надо только немного подождать, и новые данные, в том числе и с Гонура, которые найдет Сарианиди, наверняка помогут расшифровать и это послание из прошлого. Также как он все ближе подходит к тому моменту, когда не только сам исследователь, но и специалисты в области религиоведения смогут поддержать его мысль о духовном единстве жителей страны Маргуш, которое осуществлялось на основе культов Огня, Воды, Земли, священного растения Сомы-Хаомы и производного от него напитка.

За последние пять лет В. И. Сарианиди опубликовал почти 30 работ (см. далее), в том числе четыре монографии. Из двух, изданных в Греции, одна получила первую премию в стране среди научных изданий. Вышла в свет в 2005 г. одна из еще двух книг, изданных уже в Туркменистане под патронажем Президента страны. В ней отражены первые результаты раскопок царского некрополя в 2004 г. Эта практика – далеко не широко распространена. Автор старается сразу сделать достоянием научной общественности все то новое, что удалось найти.

Хочется обратить внимание и еще на одно обстоятельство. В. И. Сарианиди никогда не искал и не ищет легких путей. Его цель – понять «что мы копаем», «почему это так, а не иначе». Археологические раскопки всегда были нелегким делом. Любая романтика сопрягалась в Каракумах с неделями дующим сильнейшим ветром, поднимающим в воздух тонны песка, палящим солнцем, затяжными весенними дождями, заморозками ночами и жарой днем в октябре, отсутствием дорог и нередкими поломками транспорта... Но, как отметил Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов в своем вступительном слове к книге В. И. Сарианиди «Тайна и правда великой культуры» (2008): «Дело всей жизни этого замечательного человека, подвижника от археологии – древняя страна Маргиана, которую он открыл и подарил не только туркменскому народу, но и всему миру».

Всякое бывает в жизни археолога. В молодости приходилось, как он сам рассказывает, работать не только в более благоприятные весенние и осенние месяцы, но и в течение всего лета. Во время дневной жары в июле единственное место, где была хотя бы какая-то тень, находилось под кузовом машины. Всего на несколько минут удавалось облегчить себе существование, только обливаясь водой. Но вся вода была привозная, поэтому ее надо было экономить. Однажды Виктор Иванович приехал на памятник, затерявшийся в далеких песках, много раньше других. Не теряя времени, он начал закладывать раскоп и копать. В это же место заехали и чабаны. Приняв его за отшельника, давшего обет что-то искать в сыпучих песках, они оставили около палатки для него чурек и другую еду на пару дней и тихо, не спрашивая ни о чем, удалились.



Был и такой случай. Пару лет назад какой-то человек принес в Институт археологии РАН небольшой керамический сосудик, подобранный на выдувах в районе Байрамали и просил передать его именно Виктору Ивановичу. Внутри сосуда оказалась записочка с именем дарителя и телефоном. Ныне эти предметы находятся в Музее Востока.

Сейчас на Гонур приезжают целыми автобусами, семьями на машинах, караванами машин из разных районов Туркменистана и всегда спрашивают разрешения сфотографироваться с Башлыком. Особенно родители просят за детей, чтобы те, когда вырастут, могли похвастаться перед знакомыми, что были рядом с таким большим человеком. Однажды приехал автобус, из которого с трудом (т. к. на обычном уже видавшем виды транспортном средстве надо было преодолеть по песчаному бездорожью более 30 км) вышла пара десятков яшули – убеленных сединами старцев. Один из них, уже после небольшой экскурсии по дворцу, сказал Виктору Ивановичу: «Я сказал Аллаху: пожалуйста, не забирай меня раньше, чем я увижу это святое место – Гонур Депе!»

Сарианиди узнают в самолетах и на улицах городов Туркменистана, просят автографы. Когда он прилетает в Мары, его встречают как самого дорогого гостя и работники аэропорта, и местная администрация. Его пресс-конференции и презентации новых книг собирают полные залы. Туркменские телевизионные каналы регулярно показывают фильмы, репортажи, интервью о новых находках на Гонуре. Специальные познавательные беседы, циклы передач про Маргиану, стараниями С. Л. Покровского организует и московский спутниковый канал – СГУ ТВ.

Посол Греции в России Михаил Спинелис на пресс-конференции, состоявшейся в Москве в Доме национальностей в июле 2009 г., особо подчеркнул то обстоятельство, что открытия, сделанные Сарианиди в Центральной Азии, изменили наши представления о ходе развития мировой цивилизации.

За выдающиеся открытия, связанные с историей Туркменистана и всей Центральной Азии, В. И. Сарианиди присуждена Международная премия Махтумкули, он награжден высшим орденом Туркменистана. Он – почетный гражданин этой страны. Виктор Сарианиди – член Антропологического общества Греции, награжден несколькими наградами греческой республики.

Всенародная популярность не всегда согласуется с высокой оценкой достижений в научных кругах. Но в случае с открытиями В. И. Сарианиди – это не так. Еще в конце 1990-х годов такой крупнейший специалист в области европеистики как профессор Дж. Маллори из Северной Ирландии писал, что при рассмотрении индоарийской проблемы после работ Сарианиди уже никто не может игнорировать фактические данные Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК). И это притом, что эти исследователи придерживаются диаметрально противоположных точек зрения по проблеме «степного» или «земледельческого» происхождения индоиранцев. Известный французский лингвист, специалист по древнеиндийской письменности и религиоведению

Ж. Фуссман отмечает, что открытие БМАК, сделанное В. И. Сарианиди, не менее важно для науки, чем открытие хараппской цивилизации. Известная своими публикациями о древних ариях Е. Е. Кузьмина утверждает, что мировое научное сообщество потрясено совершенно невероятным размахом раскопок В. И. Сарианиди в Туркменистане, где открыта новая страна Маргуш. Академик Б. А. Литвинский, один из основоположников археологии Таджикистана, пишет: «Обозревая научную деятельность В. И. Сарианиди в целом, поражаешься, как много открытий мирового класса он сделал… Прекрасное понимание всей системы жизни древнего человека, в сочетании с особым археологическим "чутьем" порождало то необъяснимое предвидение, которое заставляло В. И. Сарианиди упорно, я бы сказал – фанатично – продолжать работы на тех памятниках, которые иные коллеги считали бесперспективными. Но он работал – и добивался успеха».

Поздравляя Виктора Ивановича Сарианиди, с юбилеем, человека, всю свою жизнь отдающему поискам и разгадкам тайн прошлого, яркой цельной личности, по отношению к которой нельзя оставаться равнодушным, участники тома посвящают ему свои новые исследования и надеются в самое ближайшее время услышать о не менее значимых его новейших находках. Ведь юбиляр непрерывно в работе. Очень многие проблемы древнего царства Маргуш он ставит перед мировой научной общественностью, пробуждает научный энтузиазм коллег, призывая их непредвзято оценивать новые открытия и, опираясь на них, создавать новую историю Древности.

Дубова Н. А., Кожин П. М., Косарев М. Ф.

Список публикаций В. И. Сарианиди за 2004–2008 гг.

2004

1. Социальный и политический строй древневосточного царства Маргуш // Памятники археологии и древнего искусства Евразии. М. С. 318–334
2. Храм воды в Гонур-депе и новые образцы искусства страны Маргуш // Miras. № 3. Ашхабад. С. 38–51, 84–97, 130–143 (на туркм., рус., англ. яз.).
3. Дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура // У истоков цивилизации. М. С. 229–253.
4. Η Βασιλικη πολη των Θεων και τον ναων // Αρχαιολογια & Τεχνεζ. 91. Ρ. 99–109.

2005

5. Gonur-Depe. Turkmenistan. City of Kings and Gods. Ashgabad. 327 с., илл.
6. Туркменистан – древнейший центр мирового коневодства // Мирас (Ашхабад), 2005, № 3, 108–112 (рус.); с. 159–160 (англ.); с. 50–54 (туркм.) (с Дубовой Н. А.).

2006

7. Le plus ancient sacrifice de poulain au Proche-Orient // Docciers d'Archeologie & Sciences des origines. № 317. Turkmenistan. Octobre 2006. Dijon. S. 34–39.
8. Раскопки металлургической мастерской на поселении Гонур-Депе // Мирас. № 1 (Ашхабад). С. 78–82. (с Н. А. Дубовой)
9. Foundry excavations at Gonur-Depe // Miras. № 1 (Ashgabad). P. 128–132 (English); P. 28–32 (Turkmenian) (with N. Dubova).
10. Храм Хаомы в Гонур-Депе // Мирас (Ашхабад). № 3. С. 88–92 (с Н. А. Дубовой).
11. Temple of Haoma at Gonur Depe // Miras (Asgabad). # 3. P. 142–146 (English); 30–34 (Turkmenian) (with N. Dubova).

12. Царский некрополь на Северном Гонуре // Вестник древней истории (ВДИ). № 2 (257) С. 155–192.

13. Царский город богов и храмов // Миропонимание древних и традиционных обществ Евразии. Памяти В. Н. Чернецова. Сборник статей. М. С. 68–93.

14. Turkmenistan as a Central Asian Center of ancient Oriental civilization // Turkmenistan. ancient Margiana is the new centre of the world civilization. Ashgabad. P. 71–87 (English); P. 15–30 (Turkmenian).

15. Туркменистан – Центральноазиатский очаг древневосточной цивилизации // Туркменистан. Древняя Маргиана – новый центр мировой цивилизации. Ашхабад. С. 151–168.

2007

16. Necropolis of Gonur-depe. Second edition. Athens. 340 p., ill.

17. Дворцово-храмовый комплекс Северного Гонура // Российская археология. 2007. № 1. С. 49–63.

18. Лошадь в Центральной Азии у земледельцев эпохи бронзы: новые находки на Гонур Депе (Туркменистан) // The Ethnohistory and Archaeology of Northern Eurasia: Theory, Methods and Practice. Irkutsk. P. 224–233 (with N. Dubova).

19. Искусство Маргианы эпохи бронзы в музеях Туркменистана // Туркменистан: музеи золотого века. Ашхабад. С. 17–19 (туркм. яз.); 217–219 (англ. яз.); 400–403 (рус. яз.) (с Н. А. Дубовой).

2008

20. Маргуш. Тайна и правда великой культуры. Ашхабад. 341 с., илл.

21. Zoroastrianism: a new motherland for an old religion. Thessaloniki (in English and Greek). 415 p., ill.

22. Археологические свидетельства раннезороастрийской религии в Каракумах // Туркменская земля – колыбель древних культур и цивилизаций. Ашхабад. С. 19–25 (рус. яз.); 25–32 (туркм. яз.); 33–37 (англ. яз.).

23. Роль эквид и других животных в жизни земледельческого населения юга Туркменистана (на примере памятника конца III тыс. до н. э. Гонур Депе) // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. Барнаул. С. 149–152 (с Н. А. Дубовой).

24. Археологические доказательства протозороастризма в Бактрии и Маргиане // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 9–27.

25. Археологические работы на юго-западном холме Гонур Депе (раскоп 16) // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 28–49 (с Н. А. Дубовой).

1960-е годы, Туркмения. На машине вместе с Игорем Хлопиным.

1975 г., Афганистан. В. И. Сарианиди знакомит Анри-Поля Франкфора (в центре) с раскопками.

2000 г. Первый Президент Туркменистана С. Ниязов вручает В. И. Сарианиди паспорт гражданина страны.

2004 г. Находка первого клада золотых и серебряных изделий в царском некрополе.

2006 г. На раскопках «ритуального захоронения животных» на Гонур Депе.

2006 г. В гостях у друга – проф. Оливье Леконта, Париж.

2006 г. Беседа с проф. Францом Грене, Париж.

2006 г. В гостях у Аньез Бенуа – главного реставратора отдела древностей Востока Лувра (справа). Слева – Беатрис Андре-Сальвини (главный хранитель отдела Древностей Востока) и проф. Пьер Амье.

2007 г. На Гонур Депе.

16 ноября 2006 г., г. Мары.
С проф. Дж. Мэллори.

Президент Греции вручает
В. И. Сарианиди
государственную награду.

2007 г. на Гонур Депе с архитекторами В. Артемьевым и А. Урмановой.

2008 г. на новом памятнике Гонурского оазиса с А. Бяхбидовым и М. Беглиевым.

Май 2009 г. с рабочими на раскопках царского могильника.

19 августа 2009 г. Посол Афганистана в России г-н Х. Е. Залмай Азиз вручает В. И. Сарианиди высшую государственную награду в области культуры

РАЗДЕЛ 1

ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ АРХЕОЛОГИИ В СВЕТЕ ОТКРЫТИЙ В. И. САРИАНИДИ

Александр Лубоцкий

КТО БЫЛИ ЖИТЕЛИ ГОНУРА И НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОНИ ГОВОРИЛИ?

Открытие в Средней Азии новой цивилизации эпохи ранней бронзы можно без преувеличения назвать одной из крупнейших археологических сенсаций последних лет. Заслуга этого открытия, прежде всего, принадлежит Виктору Ивановичу Сарианиди, и я очень рад предоставленной мне возможности поздравить его с юбилеем и преподнести ему некоторые лингвистические соображения по поводу происхождения этой цивилизации.

В. И. Сарианиди выявил на территории бывшей Маргианы и Бактрии десятки поселений, принадлежащих этой цивилизации, и доказал, что они принадлежат одной археологической культуре, которую он назвал «Бактрийско-Маргианский Археологический комплекс», или по-английски: «Bactria-Margiana Archaeological Complex» (BMAC), а в конце семидесятых годов ему удалось обнаружить вероятную столицу этой культуры – поселение, которое получило название Гонур-депе. Гонур расположен в старой дельте реки Мургаб, на границе пустыни Каракум. Город, скорее всего, был основан около 2300 лет до н. э. и пережил период максимального расцвета между 2000 и 1800 гг. Около 1800 г. русло реки Мургаб стало сдвигаться на запад, что и привело в итоге к тому, что город был покинут жителями.

В начале II тыс. до н. э. Гонур был одним из самых больших городов мира. Одна лишь цитадель с царским дворцом, храмами и окружающими их зданиями занимает площадь в 10 га. Город также включал отдельный храмовый комплекс (т. н. теменос), некрополь площадью 1,5 кв. км, содержащий около 3000 захоронений, водные резервуары, площади, сотни домов ремесленников, и т. д. Поскольку поблизости не было камня, а дерева было мало, весь город был построен из необожженного кирпича: глину смешивали с соломой, клали в специальные формы и высушивали на солнце.

За тридцать лет раскопок Гонура о городе собран богатейший материал (Сарианиди, 2002, 2006): мы узнали о его роскошной архитектуре, о высочайшем уровне его ремесленников – горшечников, металлургов, ювелиров, о сложных храмовых и погребальных ритуалах, о несомненных контактах с цивилизациями Месопотамии и Инда. И чем больше мы узнаем об этой замечательной культуре, тем насущнее становится вопрос: откуда пришли люди, создавшие ее, на каком языке они говорили? Могут ли лингвисты внести свою лепту в дискуссию по этому поводу?

На первый взгляд, этот вопрос может показаться преждевременным – ведь, несмотря на все старания, археологам еще не удалось найти никаких памятников письменности ни

в Гонуре, ни в других поселениях цивилизации Бактрии и Маргианы. Тем не менее, как мне кажется, кое-какие лингвистические выводы можно сделать и сейчас.

В дискуссиях о возможных кандидатах-основателях цивилизации Бактрии и Маргианы часто упоминаются индо-иранцы или арийцы. В. И. Сарианиди, например, убежден, что именно они-то и основали Гонур (ср., в особенности: *Sarianidi*, 1998, 2007). Кто же такие арийцы и могли ли они быть причастны к этой цивилизации? Индоиранские языки принадлежат к индоевропейской семье языков и делятся на две ветви: индийскую и иранскую. Главный представитель индийской ветви – санскрит, язык вед, самая древняя из которых, Ригведа, была создана около 1000 г. до н. э. Иранские языки включают в себя, прежде всего, авестийский (священный язык зороастрийцев, около 800–600 гг. до н. э.) и древнеперсидский, язык надписей ахеменидских царей (VI–V вв. до н. э.). Из современных иранских языков самыми известными являются персидский (фарси), таджикский, афганский (пашто), курдский, осетинский (рис. 1). В первом тысячелетии до н. э. иранские языки были распространены в евразийской степи и во всей Средней Азии.

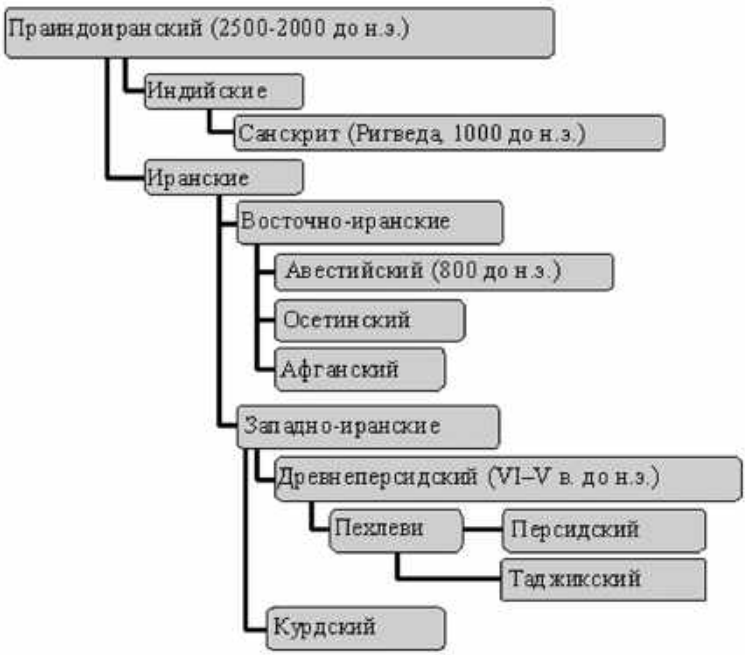


Рис. 1. Генеалогическое дерево индоиранских языков

Распад индоиранской ветви на индийскую и иранскую произошел где-то около 2000 г. до н. э., когда будущие индийцы откололись от своих соплеменников и пересекли Гиндукуш, на пути в Индию. До этого индоиранцы обитали в Средней Азии. Мы можем, таким образом, заключить, что индоиранцы или арийцы (они называли себя арьями) находились недалеко от Гонура, когда он был основан в районе 2300 г. до н. э. И тем не менее, я убежден, что арийцы не имеют никакого отношения к основанию этого города. Дело в том, что лингвисты могут довольно подробно описать жизнь и культуру народа, исходя из

его словарного фонда. Идея этого метода чрезвычайно проста: если в языке существует, например, глагол со значением ‘обуть’ или прилагательное ‘босой’, то, скорее всего, у народа, говорящего на этом языке, есть обувь. То же самое можно сказать и про реконструируемые языки. На основании русского *обуть*, старославянского *obuti* и польского *obuć* мы можем реконструировать праславянское **obuti* (звездочка перед словом означает, что это слово – реконструкция) и заключить, что у славян была обувь. Мы не знаем, из чего они ее делали (из кожи, из бересты – в этом лингвистам могут помочь археологи), но сам факт того, что в общеславянскую эпоху славяне носили обувь, весьма вероятен.

Если мы применим этот метод к индо-иранскому словарному фонду, то придем к неоспоримому заключению, что арийцы были кочевниками-скотоводами. У них были десятки слов, имеющих отношение к лошадям, упряжи, колесницам, всевозможные обозначения скота, и при этом очень ограниченная земледельческая терминология. Кроме того, в языке практически нет строительных терминов, а о словах типа ‘дворец’ или ‘храм’ и говорить не приходится. Единственный вывод, который мы можем сделать, – это то, что арийцы просто были не в состоянии построить город типа Гонура. Более того, им, как кочевникам, такой город был и не нужен.

Поэтому большинство ученых считают, что образ жизни индо-иранцев гораздо больше подходит к андроновской историко-культуной общности, которая обитала к северу и к востоку от Бактрии и Маргианы (ср.: *Кузьмина*, 1994, *Kuzmina*, 2007). Андроновцы жили в степях, разводили лошадей и рогатый скот, использовали колесницы, и земледелие занимало в их жизни сравнительно небольшую роль. Важно отметить, что андроновцы поддерживали интенсивные контакты с земледельцами Бактрии и Маргианы: археологи установили, что к началу II тыс. до н. э. многие поселения этой культуры было окружено андроновскими стоянками (см., например: *Heibert, Moore*, 2004). Если андроновцы действительно были арийцами, то эти контакты, скорее всего, должны были оставить следы в праиндоиранском языке в виде заимствований. Для того, чтобы выявить эти следы, мы должны проанализировать индоиранский словарный фонд в поисках чужеродных элементов. Дело в том, что заимствования зачастую имеют в языке необычный вид. Так, если в русском слове встречается буква *ф* (фабрика, конфета) или оно оканчивается на *-ция* (революция, цивилизация), то можно с уверенностью сказать, что это слово заимствовано.

Таким образом, мы должны подобрать индоиранские слова, которые отвечают следующим условиям:

1. Слово засвидетельствовано и в индийских, и в иранских языках, так что оно, скорее всего, существовало и в общеиндоиранскую эпоху.

2. Слово не имеет индоевропейской этимологии, т. е. у него нет аналогов в других индоевропейских языках.

3. Слово имеет необычный вид.

Как выяснилось, таких слов несколько десятков (*Lubotsky*, 2001, p. 301–317), и если наши предыдущие умозаключения верны, то это и есть как раз те слова, которые арийцы заимствовали из бактрийско-маргианского языка. Таким необычным способом мы впервые можем, хотя бы частично, ознакомиться с языком, на котором говорили в Гонуре.

Какие же слова заимствовали арийцы у гонурцев? Это, прежде всего, слова, связанные со строительством: **jharmya* ‘постоянный дом (т. е. не юрта)’, **ištya* ‘кирпич, глина’, **sikatâ* ‘песок, гравий’, **mayűkha* ‘деревянный штырь’. Конечно же, кочевникам, жившим в кибитках, было чему поучиться у архитекторов Гонура и других городов. Можно себе представить, какое потрясение испытывали животноводы-арийцы, попадая в подобные города, куда они приезжали торговать своими изделиями.

Заимствовали они также слова, имеющие отношение к водоснабжению: **khâ* ‘источник’, **čât* ‘колодец’, **yawîyâ* ‘дренажный канал’. Раскопки показали, что гонурцы достигли изумительного мастерства в обращении с водой. Для того, чтобы вода не размывала стены домов, архитекторы проложили целую систему дренажных каналов под царским дворцом (*Сарианиди*, 2002, с. 222–223).

Самая обширная категория заимствований относится к религии и ритуалу, что и неудивительно. Гонур и другие города Бактрии и Маргианы изобиловали храмами. В. И. Сарианиди обнаружил в Гонуре множество различных храмовых комплексов: храм огня, храм воды и еще один храм, который он назвал храмом Сомы/Хаомы. В одном из помещений этого храма археологи обнаружили «кирпичное возвышение с вмазанными в него сосудами; вся конструкция скреплена толстым слоем гипсовой обмазки. Лабораторный анализ содержимого сосудов выявил остатки конопли» (*Сарианиди*, 2002, с. 189). Подобные храмовые помещения найдены и при раскопках огромного культового комплекса Тоголок-21, где, кроме конопли, сохранились остатки эфедры и мака (*Сарианиди*, 2002, с. 174). В этих помещениях готовили одурманивающие культовые напитки, которые затем использовались в ритуальных церемониях. По мнению ученого, этот ритуал можно прямо сопоставить с хорошо известным арийским ритуалом культового напитка, который индийцы называли Сома, а иранцы Хаома. С этим мнением трудно не согласиться, однако из этого не следует, что жители Гонура были арийцами. Гораздо вероятнее, что арийцы впервые познакомились с культом Сомы/Хаомы в Средней Азии, потому что у других индоевропейских народов эти традиции отсутствуют. О вторичном характере этого культа у арийцев красноречиво говорят и индоиранские заимствования.

Само слово Сома/Хаома (санскрит *sóma*, авестийский *haoma*) – исконное и означает просто ‘выжимка, сок, экстракт’, но название растения, из которого этот сок приготовляли, скорее всего, заимствовано (**anću*). Также заимствованы слова **magha* ‘ритуальное подношение, жертва’, **atharwan* ‘жрец’, **ućig* ‘жреческая функция’, **rši* ‘риши, провидец’, **bhišajì* ‘лечебная трава’ (медицина всегда была делом жрецов) и имена некоторых божеств **Ćarwa, *Indra*, **Gandharwa*.

Таким образом, мы можем заключить, что индоиранский культ Сомы/Хаомы, подробно описанный в ведийских текстах и в Авесте, священной книге зороастрийцев, арийцы переняли у жителей Бактрии и Маргианы.

Какие еще слова заимствовали арийцы в Средней Азии? Довольно большое количество названий животных и птиц: **uštra* ‘верблюд’, **khara* ‘осел’, **kaćyapa* ‘(морская) черепаха’, **kapauta* ‘голубь’, **ĵaĵhuka* ‘еж’, **matsya* ‘рыба’, **warâjìha* ‘дикий кабан’. Поскольку арийцы пришли в Среднюю Азию с севера, понятно, что они не были знакомы с верблюдами и ослами. Верблюды, которые были одомашнены на территории Туркмении в начале III тыс. до н. э., играли особо важную роль в культуре Бактрии и Маргианы. Их клали в могилы в качестве жертвенного животного, их изображениями украшали вазы и другие предметы домашней утвари (*Сарианиди*, 2005, с. 237–238).

Как обычно бывает в подобных случаях, арийцы перенимали также городскую моду – прически (**kaića-/gaića*, **stuka*), одежду (**atka-* ‘плащ’, **pawastâ* ‘ткань’, **sűćî* ‘иголка’, **daćâ* ‘кайма’) –, а также утварь (**kapâra* ‘блюдо’, **naijì(s)* ‘вертел’, **wâćî* ‘топор, нож’). Вполне возможно, что это последнее слово обозначает типичные культовые топорики, найденные археологами в большом количестве в Бактрии и Маргиане (*Сарианиди*, 2002, с. 102–103; 2005, с. 281). С археологической точки зрения также интересно слово **gadâ* ‘булава, жезл’, которое может соответствовать каменным жезлам-скипетрам Бактрии и Маргианы (*Сарианиди*, 2002, с. 228–229).

Подведем итоги. Анализ словарного фонда индоиранских языков показывает, что арийцы были животноводами-кочевниками и никак не могли быть причастны к основанию бактрийско-маргианской цивилизации. Скорее всего, арийцев можно идентифицировать со степной культурой андроновцев. Тем не менее, в начале второго тысячелетия до н. э. они находились в Средней Азии и поддерживали тесные контакты с жителями Бактрии и Маргианы, которые в культурном отношении находились в то время на гораздо более высокой ступени развития. Эти контакты и привели к большому количеству заимствований в праиндоиранский язык. Таким образом, мы смогли составить некоторый список бактро-маргианских слов, хоть и преломленный призмой заимствований.

Конечно же, сразу возникает вопрос, а не можем ли мы на основании этого списка определить, что это был за язык. К сожалению, все попытки до сих пор были тщетными – ни на один известный науке язык эти слова не похожи. Однако, есть еще один путь: выделить фонетические и грамматические особенности списка и попытаться сравнить их с существующими языками. Но и тут усилия лингвистов не привели к желаемому результату, за одним исключением – языковые особенности списка полностью совпадают с особенностями слов, заимствованных индоарийцами уже после их отделения от иранцев, то есть тех слов, которые вошли в состав санскрита, когда будущие индийцы пересекли Гиндукуш и оказались на территории нынешнего Пакистана (*Lubotsky*, 2001, p. 305–306). Это означает, что язык коренного населения Пакистана и бактро-маргианский язык – близкородственны и, возможно, основатели Гонура были родом именно из Пакистана.

Этот чисто лингвистический вывод находит неожиданное подтверждение в данных антропологии. Российские антропологи, которые изучали человеческие останки из некрополя Гонура, написали в своем заключении: «По изменчивости основных параметров черепа гонурцы, имея достаточно архаичную морфологию и обладая рядом черт, сближающих их с веддоидным населением, находят наиболее близкие параллели с населением южных районов Узбекистана, Северного Пакистана и Северной Индии» (*Бабаков и др.*, 2001, с. 131; к подобному выводу приходят и Н. А. Дубова с Г. В. Рыкушиной в своей работе: *Dubova, Rykushina*, 2007, p. 296–329).

Литература

Бабаков О., Рыкушина Г. В., Дубова Н. А. и др. Антропологическая характеристика населения, захороненного в некрополе Гонур-Депе // *Сариниди В. И.* Некрополь Гонура и иранское язычество, М., 2001.

Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994.

Сариниди В. И. Маргуш: Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. Ашхабад, 2002.

Сариниди В. И. Гонур-депе, город царей и богов. Ашхабад, 2006.

Dubova N. A., Rykushina G. V. New data on anthropology of the necropolis of Gonur-depe // Sarianidi V. *Necropolis of Gonur*. Athens, 2007. P. 296–329.

Kuz'mina E. The Origin of the Indo-Iranians. Leiden, 2007.

Lubotsky A. The Indo-Iranian substratum // Carpelan Chr., Parpola A., Koskikallio P. (Eds.). Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations. Papers presented at an international symposium held at the Tärminne Research Station of the University of Helsinki 8–10 January 1999. Helsinki, 2001.

Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrizm. Athens, 1998.

Sarianidi V. Necropolis of Gonur. Athens, 2007.

М. Ф. Косарев

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОСЕДЛОСТИ И НОМАДИЗМА У АБОРИГЕНОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Искренне рад быть в числе авторов юбилейного сборника в честь Виктора Ивановича Сарианиди – выдающегося исследователя, блестящие открытия которого внесли бесценный вклад в мировую археологическую науку. Меня всегда глубоко трогала его рыцарская преданность своей главной жизненной избраннице – археологии, а также непоколебимое упорство и высокое достоинство, с которыми он преодолевал трудности и препятствия (порою злокозненные), не раз возникавшие на его многотрудном научном пути.

Виктору Ивановичу в своих исследовательских изысканиях не раз приходилось затрагивать сюжеты, касающиеся взаимоотношения оседлоземледельческих обществ и окружающего «варварского» мира. Надеюсь, что моя небольшая статья о социокультурном соотношении оседлости и номадизма в Северной Азии прольет некоторый дополнительный свет на эту проблематику.

Бытует распространенное мнение, что лишь с появлением металлопроизводства человечество оказалось способным подняться на прежде недостижимые ступени исторического развития, выходящие за рамки первобытности и характеризуемые значительным усложнением общественного устройства. Между тем, археолого-этнографические данные свидетельствуют о том, что некоторые аборигенные народы Северной Азии, жившие до недавних пор на стадии каменного века, сумели, тем не менее, обзавестись довольно развитой социальной структурой, сопоставимой по ряду признаков с известными предгосударственными и даже раннегосударственными образованиями Старого и Нового Света (*Вениаминов*, 1840; *Murdock,* 1968; *Ляпунова,* 1972; *Козлов, Покшишевский,* 1973; *Арутюнов, Крупник, Членов,* 1981; *Косарев,* 2005).

Так, алеуты, находившиеся вплоть до нового времени на «пережиточно-неолитическом» уровне, делились, судя по этнографическим свидетельствам, на четыре сословные категории: 1) тоёны; 2) почетные; 3) простолюдины; 4) рабы. Основное место в их военно-политической жизни занимали грабительские набеги на соседние острова с целью захвата вещевых ценностей и рабов. При этом тоёны выступали как военачальники, а почетные как воины. Над родовыми тоёнами стоял главный тоён острова. Власть его передавалась по наследству, а при отсутствии полноправного прямого наследника он избирался из родовых тоёнов. Родовой тоён не имел права идти в набег без согласия тоёнов, «живущих на том же острову и без позволения старшего из них» (*Вениаминов,* 1840, с. 167). Из вышеизложенного видно, что по основным функциональным и структурным признакам алеутские островные сообщества предстают как *военная демократия*, хотя вели присваивающее хозяйство (морской зверобойный промысел) и жили в условиях «пережиточного неолита».

Похожая картина наблюдалась в новое время и за пределами Российской Азии – на далеком зарубежном юге. Анализируя археологическую ступенчатость исторического процесса, В. И. Козлов и В. В. Покшишевский отмечают, что «многие народы (например, в Океании, где не было руд металлов) достигли классового общества, миновав эти (имеются в виду бронзовый и железный века – *М. К.*), представлявшиеся ранее обязательными стадии развития» (*Козлов, Покшишевский,* 1973, с. 29).

Здесь важно иметь в виду следующее обстоятельство: все вышеупомянутые общества, достигшие в условиях «каменного века» предгосударственного, а то и раннегосударственного состояния, вели оседлый образ жизни, основанный на рыболовстве, на морском зверобойном промысле или на мотыжном земледелии. Дело в том, что оседлый быт создавал лучшие возможности для роста производительности труда, а также плотности и численности населения, что в свою очередь влекло за собою повышение социальной консолидации и усложнение структуры власти. В этой связи примечательно, что алеуты (морские зверобои), практически не знавшие металла, но жившие оседлым бытом, по своему социальному уровню стояли выше таежных тунгусов-охотников, владевших бронзолитейным и железоделательным производством. Согласно данным, опубликованным в зарубежной этнографической литературе, оседлые индейцы-рыболовы Южной Флориды сумели разработать политическую систему типа государства, а культуры оседлых рыболовов Нигера и Конго «не уступали по сложности культурам оседлых земледельцев» (*Murdock*, 1968, p. 15).

Не менее любопытен еще один сопоставимый признак. Американский этнолог Д. Ф. Аберле, проанализировав данные о 565 родовых структурах в разных частях Света, обратил внимание, что матрилинейные общества (84 учтенных) присутствуют главным образом в тех районах, где основную роль в хозяйстве играет примитивное (не знающее плуга и ирригации) мотыжное земледелие или оседлое рыболовство (*Aberle*, 1961). В обществах, основанных на скотоводстве и охоте, материнский род встречается крайне редко, и в этих исключительных случаях, скорее всего, является реликтом, доставшимся в наследство от предыдущего оседло-рыболовческого или мотыжно-земледельческого укладов.

Известно, что матрилинейность оседлорыболовческих (равно как архаичных раннеземледельческих) обществ определялась высокой хозяйственно-бытовой значимостью женской части родового коллектива. По свидетельству участников Сибирской академической экспедиции 1768–1774 гг., нижнеобские остяки-мужчины, уходя на зимний пушной промысел, не проявляли особого беспокойства о пропитании оставленных дома женщин и детей, так как знали, что помимо обычного пищевого запаса, те способны самостоятельно кормиться подледным рыбным ловом, «поелику под льдом над вершами (не только женщины, но) и ребята смотреть могут» (*Паллас*, 1788, с. 63, 64). Рыболовческие занятия, в отличие от охотничьих, не требовали далеких и продолжительных отлучек от дома, поэтому не отвлекали женщин от их повседневных домашних дел. Ф. Белявский, перечисляя основные обязанности остячек (разбивка чума, заготовка дров, приготовление пищи, шитье, ухаживание за детьми и пр.), называет также ловлю рыбы, ее консервирование на зиму и вязание сетей (*Белявский*, 1833, с. 120). Ведущая роль женщин в рыболовстве отмечена также у юкагиров (*Гоголев и др.*, 1975, с. 57), алеутов (*Ляпунова*, 1972, с. 218), «сидячих» коряков (*Ресин*, 1888, с. 162–164) и др.

Следует учитывать, что на социальный облик рода могли влиять случайные обстоятельства, не укладывающиеся в рамки строгих исторических закономерностей. Известно, что безоленные хозяйства тазовских селькупов, перешедших на рубеже XIX и XX столетий к рыболовству, обычно не имели мужчин (*Лебедев*, 1978, с. 24). Похожая ситуация наблюдалась у тундровых юкагиров и тунгусо-юкагиров: оседлым рыболовством у них жили, как правило, безоленные хозяйства, потерявшие мужчин-кормильцев.

Если исходить из этнографических «подсказок», то механизм формирования материнского рода здесь представляется примерно в таком виде. Мужчины отбывают на войну, на зимнюю охоту или на иной отхожий промысел, и не возвращаются (погибли от руки

врага, вымерли от эпидемии и пр.). «Осиротевший» род, состоящий теперь в основном из женщин и детей, выбирает самый доступный и наиболее надежный в сложившейся обстановке вариант выживания – переходит на оседлое рыболовство, что не может не повлечь за собой определенные социальные последствия: женщины начинают принимать в семью (брать в мужья) мужчин-чужеродцев, т. е. род во имя самосохранения переходит на матрилокальный брак. Это влечет за собой потенциальную готовность перехода на матрилинейный счет родства, на материнскую линию наследования и пр. И хотя через некоторое время род обычно восстанавливал былой хозяйственно-бытовой и социальный режим, вызванные к жизни волею необходимости элементы материнского рода умирали не сразу.

Все это дает основание допускать, что матрилокальные и матрилинейные «пережитки» в родовых обычаях (однозначно трактуемые многими учеными как безусловные свидетельства первоначального господства материнского рода, а затем эпохальной смены его отцовским родом) могут объясняться в ряде случаев всего лишь изначально присущей роду адаптивной способностью переориентироваться при определенных обстоятельствах то в сторону материнского, то в сторону отцовского родового права.

Те сибирские общества, у которых рыболовство играло ведущую роль, были несравненно многолюднее обществ с преимущественно охотничьим и оленеводческим хозяйством. Так, нижнеобские остяки, существовавшие в основном за счет рыбной ловли, по свидетельству путешественников XVIII–начала XIX вв., жили в больших многосемейных домах, каждый из которых имел до тридцати отдельных семейных «покоев» (*Георги*, 1798, с. 70; *Паллас*, 1788, с. 56). Иной демографический расклад имел место в охотничьей среде. Описывая хозяйство и быт чердынских вогулов (преимущественно охотников), П. Любарских сообщает: «В одном кочевье… одна, две или три юрты, а весьма редко до пяти юрт бывает… в весьма неблизком меж собой расстоянии, полагая от кочевья верст по 15, по 20, по 30, по 40, по 60 и более. Причину малого и в далеком между (собой) расстоянии находящегося жительства представляют сию: дабы проноходящим от многолюдства криком и от огня дымом не отогнать далеко зверя» (*Любарских*, 1792, с. 62).

Система жизнеобеспечения оседлых обществ была много надежней, чем у номадов, что во все времена способствовало их большей выживаемости. Напротив, степные скотоводы, тундровые оленеводы, таежные и тундровые охотники пребывали в постоянном поиске новых жизненных пространств, что зачастую приводило к экстремальным ситуациям. А. Ф Миддендорф в свое время так объяснил многочисленность и благополучие долган, обитавших на юге Таймыра: «Они питались преимущественно рыбою, и хотя свободно кочевавшие родичи их поглядывали на них как бы с чувством соболезнования, но преимущество обеспеченного существования оседлости, связанного с ней больших запасов (рыбы. – *М. К.*), …давали им такое превосходство перед кочующими, что они положительно являлись самыми замечательными членами этого рода и немало гордились, что в тяжкие времена спасают странствующих собратьев своих от голодной смерти; происходило это, говорили они, оттого, что кочевники полагаются на ненадежное охотничье счастье, вместо того, чтобы заняться надежною рыбною ловлею» (*Миддендорф,* 1878, с. 693).

Бывало, владелец тысячных оленьих стад в одночасье превращался в нищего человека, лишенного всех средств существования. Известно, например, что в 1887 г. самоед Баракулев, кочевавший на острове Колгуев, потерял в бескормицу, вызвавшую повальный мор, 4 тыс. оленей (все стадо), после чего вынужден был пойти в работники к русскому богатею (*Танфильев*, 1894, с. 33). Подобные трагедии случались и в других частях Рос-

сийского Севера. Так, в середине XIX столетия богатый чукча Аваченка, имевший от 7 до 8 тыс. оленей, за 18 месяцев, пока свирепствовала сухая чесоточная сыпь, остался вообще без оленей (*Аргентов*, 1879, с. 448).

Здесь напрашиваются аналогии со степным скотоводством. В сильные джуты, повторявшиеся в степях каждые несколько лет, кочевники зачастую теряли бо́льшую часть скотского поголовья. Особенно страдали большие стада, целиком зависевшие от подножного корма. Так, во время сильного джута в Астраханской губ. (1827 г.) у казахского старшины Есен-Гильды из 26 тыс. лошадей осталось 700, т. е. около 3% былой численности (*Корнилов*, 1859, с. 44).

Низкая плотность населения, разобщенность, односторонняя направленность хозяйства, прямая и жесткая зависимость от ландшафтных и погодно-климатических условий мешали возникновению и тем более длительному существованию у степных скотоводов (не говоря уже о тундровых оленеводах и таежно-тундровых охотниках) надежных основ для их сколько-нибудь широкого и прочного социально-экономического сплочения. Слабость социальных и экономических уз влекла за собой нечеткость властной структуры. По свидетельствам русских служилых людей, наблюдавших жизнь кочевых казахов в конце XVIII в., султан был не в состоянии принудить соплеменника к послушанию: тот, если в чем-то не согласен с султаном, «садится на лошадь и уезжает… Когда бывают просьбы и обиды, то Салтан посылает за ответчиком подвластным своим, и ежели оный его послушает, хорошо, а не пойдет, силой взять не может» (Описание Средней Орды…, 1795, с. 30, 31).

Случаи социально-политической консолидации у степных номадов – до раннегосударственного уровня обычно имели место в особо критических условиях, когда кочевое общество оказывалось на краю гибели (возрастание внешней опасности; катастрофическая нехватка традиционных пастбищных угодий, провоцирующая «великие переселения», и пр.). Именно при таких гибельных обстоятельствах степные кочевые орды время от времени сплачивались в широкие военно-политические союзы в виде грозных, но недолговечных каганатов и «кочевых империй».

Такого рода эпизодические военно-политические сообщества у степных кочевников возникали и в новое время. Так было, например, после смертоносного вторжения в 1723 г. в казахские земли джунгаро-калмыцких полчищ. Это вызвало паническое бегство казахов всех трех жузов на юг – в сторону среднеазиатских земледельческих оазисов. Когда казахский этнос оказался на грани гибели, было созвано всеказахское народное собрание. Собравшиеся поклялись забыть прошлые обиды и, объединившись, выступить против общего врага. Верховным ханом был избран глава Среднего жуза опытный и решительный Абдулхаир. Сплотившись воедино, казахи разгромили джунгаров и вернулись в свои кочевья, после чего их единство вновь распалось.

Но вернемся на Сибирский Север. Несмотря на более низкий (по сравнению с оседлыми обществами рыболовов и морских зверобоев) потенциал социокультурного развития, тундровые оленеводы и таежно-тундровые охотники считали оседлость непрестижным занятием, и обычно диктовали свои правила взаимоотношений, в соответствии с которыми оседлые общества должны были занимать подчиненное, неравноправное положение. С. П. Крашенинников так характеризовал сравнительный социальный статус оленных и «сидячих» коряков середины XVIII в. «Немалый повод к спеси дается им (оленным корякам. – *М. К.*) от коряк сидячих, которые их боятся и почитают, так что хотя бы пастух к ним приехал, все выбегают из юрты, встречают, довольствуют, провожают и сносят всякую обиду» (*Крашенинников,* 1949, с. 450). Демонстрация социального превосходства на-

блюдалась и у оленных чукчей. Согласно российско-сибирским архивным данным XVIII в., «Оседлые чукчи меняются женами, но только между собой, а оленные чукчи с ними не меняются, а также не выдают своих дочерей замуж за оседлых, так как считают их ниже себя» (по: *Антропова,* 1957, с. 183). Похожее отношение было у якутов-скотоводов к якутам-рыболовам (*Серошевский*, 1896, с. 197), у оленных тунгусов к своим «сидячим» сородичам (*Рычков*, 1914, с. 61), у вогулов-охотников к остякам-«рыбоедам» (*Чернецов*, 1935, с. 112) и др.

По своей форме и по своей сути все это весьма похоже на отношения между степными кочевниками, с одной стороны, и окрестными земледельческими обществами, с другой. Тяжкое бремя этих отношений в полной мере испытало на себе оседлое население Южной Сибири – в период освоения этой территории русскими, особенно в первые 150–200 лет после похода Ермака, когда соседний джунгаро-казахский кочевой мир пребывал еще вне российского подданства. Джунгары, как отмечал известный сибирский историк П. А. Словцов, «не помня ни гостеприимства, ни соседства, не знали и честного слова. Эти своенравные люди около половины XVIII в., быв вынуждены искать покровительства России, делались подданными, но после торжественного подданства жили, как заклятые злодеи, без сознания обязанностей к покровительствующему народу» (*Словцов*, 1886, с. 269). С 1606 по 1744 г. джунгары регулярно вторгались в Барабу, грабили барабинских татар, вымогали у них дань, уводили пленных для продажи в рабство. Не раз подступали к Барабинскому острожку, выходили к Таре и Тюмени.

Это заставляло московско-сибирские власти на протяжении всего XVIII в. неустанно обустраивать южные оборонительные линии, особенно транссибирскую (*Горькую* – от крепости Звениголовской на Тоболе до Омской крепости на Иртыше) и *Иртышскую* (от Омской крепости и далее – вверх по Иртышу, на юго-восток), постоянно создавая вдоль них новые крепости и редуты. Однако сменившие джунгаров казахи продолжали прежние разбойные выпады. Как отмечал П. А. Словцов, «киргизы уводили лошадей, жгли сен*а*, частные и драгунские, или травили их для своих табунов, с которыми прокрадывались в границу, подходили близко к селениям, грабили и захватывали людей в полон» (*Словцов*, 1886, с. 270).

Вышесказанное, наряду с другими многочисленными историческими фактами, свидетельствует об извечном антагонизме кочевого и «сидячего» хозяйственно-бытовых укладов, в какой бы форме они не проявлялись. В целом номадизм и оседлость во все времена выглядели как некое «единство противоположностей». Номады не могли сколько-нибудь полноценно существовать вне связей с оседлыми обществами. Отсюда, их постоянная, зачастую агрессивная, тяга к «сотрудничеству» с оседлостью, причем условия этого «сотрудничества» практически всегда определяли номады – к своей пользе и выгоде.

Изложенные материалы позволяют уверенно предполагать, что поиск древними людьми наиболее рациональных путей выживания на севере и на юге, в тундровой, таежной и аридной зонах, «шел в сходных логических направлениях, но реализовался на уровне тех возможностей, которые в конечном счете определяла местная ландшафтно-климатическая среда. В этом хочется видеть проявление механизма общих и региональных тенденций исторического развития» (*Косарев*, 2004, с. 70, 71).

Литература

Антропова В. В. Военная организация у народов северо-востока Сибири // Сибирский этнографический сборник II. М.-Л., 1957.

Аргентов А. Нижнеколымский край // Известия ИРГО. 1879. Т. XV. Вып. 6.

Арутюнов С. А., Крупник И. И., Членов М. А. Исторические закономерности и природная среда (на примере памятников древнеэскимосской культуры) // Вестник АН СССР. 1981. № 2.

Белявский Фр. Поездка к Ледовитому морю. СПб., 1833.

Вениаминов И. Записки об островах Уланашкинского отдела. СПб., 1840.

Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Ч. 3. СПб., 1799.

Гоголев З. В., Гурвич И. С., Золотарева И. М., Жорницкая М. Я. Юкагиры (историко-этнографический очерк). Новосибирск, 1975.

Козлов В. И., Покишишевский В. В. Этнография и археология // СЭ. 1973. № 1.

Корнилов И. П. Заметки об Астраханской области // Вестник ИРГО. 1859. № 27. Кн. 9–12.

Косарев М. Ф. О факторах и движущих силах развития древних и традиционных обществ // У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию В. И. Сарианиди. М., 2004.

Косарев М. Ф. Об этнографическом моделировании в археологии (социальный аспект) // Теория и практика археологических исследований. К 60-летию Ю. Ф. Кирюшина. Барнаул, 2005.

Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М.-Л., 1949.

Лебедев В. В. Роль оленеводства в хозяйственном комплексе тазовских селькупов // Проблемы этнографии и этнической антропологии. М., 1978.

Любарских Пл. Краткое известие о Пермских и Чердынских Вогуличах, собранное Свияжского монастыря Архимандритом Платоном фамилии Любарских // Российский Магазин. 1792. Кн. 1.

Ляпунова Р. Г. К вопросу об общественном строе алеутов середины XVIII в. // Охотники, собиратели, рыболовы. Л., 1972.

Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири. Ч. II. СПб., 1878.

Описание Средней орды Киргиз-Кайсаков с прилегающими для сего народа також и прилежащих к Российской границе по части Колыванской и Тобольской губерний крепостей дополнениями // Новые ежемесячные сочинения. Ч. 110, 111. СПб, 1795.

Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Ч. III. Половина вторая. СПб., 1788.

Ресин А. А. Очерки инородцев русского побережья Тихого океана // Изв. ИРГО. 1888.Т. XXIV. Вып. 2.

Рычков К. М. Енисейские тунгусы // Землеведение. 1917. Кн. 1–2.

Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. СПб., 1896.

Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Т. 1–2. СПб., 1886.

Танфильев Г. И. По тундрам Тиманских самоедов // Изв. ИРГО. 1894. Т. XXX. Вып. III.

Фишер И. Э. Сибирская история с самого открытия до завоевания сей земли российским оружием. СПб., 1774.

Харузин А. Киргизы Букеевской орды (антропологический очерк) // ИОЛЕАЭ. 1899.Т. 63.

Чернецов В. Н. Вогульские сказки. Л., 1935.

Aberle D. F. Matrilineal Descent in Crosscultual Perspective // Matrilineal kinship. Berkely – Los Angeles, 1961.

Binford L., 1970. Post-Pleistocene adaptation // New perspectives in archaeology. Chicago, 1970.

Murdock G. The current status worlds hunting and gathering peoples // Man the hunter. Chicago, 1968.

Е. Е. Кузьмина

КУЛЬТУРА МАРГИАНЫ И БАКТРИИ ЭПОХИ ФИНАЛЬНОЙ БРОНЗЫ (РЖВ) В РАБОТАХ В. И. САРИАНИДИ[1]

Мировое научное сообщество потрясено совершенно невероятными раскопками В. И. Сарианиди в Туркменистане. Здесь открыта новая страна Маргуш (*Сарианиди,* 2002). Выдающийся индоевропеист А. М. Лубоцкий в 2006 г. предложил отождествить ее с известной по древневосточным письменным источникам областью Мархаша (см. статью в настоящем сборнике). То же отождествление независимо предложено А.-П. Франкфором (*Франкфор*, 2008).

Раскопки на поселениях выявили укрепленные города и храмы. В столичном городе Гонур исследованы дворцовый комплекс и царские погребения на могильнике.

Эти открытия дали все основания участникам международных конференций в Ашхабаде в 2006 и 2008 гг. признать, что академику В. И. Сарианиди принадлежит честь выявления новой цивилизации Старого Света, в которой закономерно ожидать открытие новой письменности.[2]

В. И. Сарианиди были установлены культурные связи Маргианы не только с соседней Бактрией, но и с другими регионами древневосточного мира: прежде всего – с Эламом, а также удаленными областями от Малой Азии до Индии Хараппской эпохи, что подтверждает факт широких коммуникаций на Древнем Востоке на рубеже III – начала II тыс. до н. э.

Не надо забывать и других достижений В. И. Сарианиди, открывшего царский некрополь на поселении Тилля-тепе в Афганистане, давший множество украшений, вписавших новую страницу в историю ювелирного искусства Древнего мира (*Sarianidi*, 1985).

Но В. И. Сарианиди принадлежит не только честь открытия выдающихся памятников архитектуры и замечательных произведений искусства. На протяжении всей своей жизни он тщательно копал и скрупулезно анализировал и рядовые археологические объекты, и здесь его вклад в науку также весьма значителен.

Я имею в виду прежде всего его исследования в Туркменистане и Афганистане памятников со слоями, относящимися к культуре эпохи финальной бронзы (по другой классификации – РЖВ). Термин РЖВ, принимаемый отечественными исследователями для ЭВО (эпоха варварской оккупации) по аналогии с синхронными памятниками Ирана (*Кошеленко, Сарианиди*, 1985, *Пьянкова*, 1998, *Francfort*, 2001, *Виноградова*, 2004, с. 107), представляется мне не вполне корректным, поскольку смена бронзы железом произошла (как и в Иране) не в XIII–XII веках до н. э., а только в предахеменидскую эпоху и пока ознаменована лишь единичными находками.

Научное изучение культуры Туркмении эпох энеолита и бронзы насчитывает уже более века и было начато экспедицией Пенсильванского Университета, работавшей под

---

[1] Приношу искреннюю благодарность В. И. Сарианиди за приглашение принять участие в разведке, проводившейся его Международной Маргианской археологической экспедиции 1990 г., и в международной конференции 2006 г. в Ашхабаде, сопровождавшейся экскурсией на Гонур, поразившей невероятным масштабом проведенных за полтора десятилетия работ на памятнике. Я благодарна также за регулярно предоставлявшуюся мне возможность знакомиться со степной керамикой из раскопок и разведочных работ В. И. Сарианиди в то время, когда мы оба работали в одном секторе неолита и бронзы в Институте археологии АН СССР.

[2] В 2006 г. участники обратились к Правительству Туркменистана с предложением организовать международную выставку и продемонстрировать открытые сокровища всему миру.

руководством Р. Пампелли при участии крупнейшего ученого Э. Шмидта. Последним на поселении Анау в результате раскопок двух холмов была намечена периодизация культурных слоев и впервые установлено, что последовательное развитие культуры, прослеженное в первую очередь по керамическим комплексам, было прервано в период между Анау III и Анау IV, когда однотонная керамика, тщательно изготовленная на гончарном круге, резко сменилась грубой лепной посудой с росписью.

Этот период был назван ЭВО (*Pumpelli, Schmidt*, 1908, p. 49, 106—108). Поселения ЭВО концентрируются в нескольких оазисах. В будущей Парфии это: Анау IVA, столичный памятник Улуг-депе, вторая столица Елькен-депе, Чаача, Яссы-депе, Яшуллидепе (Средняя Азия.., 1966, с. 184; *Сариниди*, 1971, 1972 a,b; *Кошеленко, Сариниди*, 1985).

На Улуг-депе В. И. Сариниди четко выявлена стратиграфия напластований сменявшихся культур, что делает этот памятник опорным для реконструкции истории региона. Установленный нижний слой относится к эпохе Намазга VI (ярусы VII и VI). Посуда изготовлена на гончарном круге быстрого вращения. Но уже в недрах этого комплекса появляются лепные сосуды с росписью. Выше – в IV ярусе – лепная посуда с примесью шамота с росписью под венчиком в виде треугольников, пирамиды, ромбов, нанесенных черной или красной краской по светлому фону, становится многочисленной (*Сариниди*, 1972а, рис. 27). Другим диагностическим признаком IV горизонта являются котлы с налепными горизонтальными ручками и очень грубая посуда, украшенная налепными валиками и косыми налепами.

Принципиальные изменения отмечаются в эпоху возрождения культуры в верхнем ярусе. Здесь вновь господствует посуда, сделанная на гончарном круге, восходящая к традициям Намазга VI, а количество лепной резко сокращается (*Сариниди*, 1970, с. 434).

Ту же закономерность динамики керамических стилей, но на гораздо меньшем материале установил А. А. Марущенко на Елькен-депе. Здесь нижний слой относится к концу культуры Елькен III (этапы Анау IIIg,f по Марущенко), в котором, наряду с гончарной посудой Намазга VI, найдено несколько фрагментов посуды степной бронзы. В следующем слое II представлена лепная керамика с росписью, типичная для эпохи варварской оккупации, и грубая посуда с налепным валиком под венчиком, характеризующая культуру валиковой керамики (КВК), распространенную в степях Евразии в XIII–XI в. до н. э. и в это время появляющуюся на юге Средней Азии. Наряду с ней на Елькене в ничтожном количестве сохраняется гончарная посуда цилиндро-конических форм. Верхний слой Елькен III демонстрирует возрождение высокой городской культуры Туркменистана предахеменидского и ахеменидского периода (*Марущенко*, 1959).

Кризис и приход северных варваров не смогли уничтожить древнее земледельческое население и его гончарные традиции, которые возродились в предахеменидскую эпоху после завершения кризиса.

На поселении Теккем-депе горизонт Намазга VI (по Ганялину – VII) перекрыт двумя слоями пожарищ, над которыми возведены хижины пришельцев с лепной посудой, в том числе с налепными валиками (*Ганялин,* 1956, с. 85, рис. 9). Та же закономерность смены керамических комплексов установлена Г. Гутлыевым на поселениях Яссы-депе, Яшиллыдепе, Гараой-депе (*Гутлыев*, 1977, 1980, 1984).

В Этеке на поселениях Дашлинского оазиса Дашлы 16 и 17 при наличии некоторого локального своеобразия сохраняются те же этапы смены культур (*Пилипко*, 1986).

В Мургабском оазисе керамика эпохи варварской оккупации лучше всего выявлена на поселении Яз-депе, исследованном В. М. Массоном (1959, с. 35, табл. 1). Яз-депе – самый

южный памятник Маргианы, что В. И. Сарианиди связывает со сменой русла и сокращением воды в Мургабе. На Яз-депе установлено три культурных слоя: верхний слой Яз III относится к ахеменидской эпохе и представлен гончарной посудой цилиндро-конических форм с венчиком с уплощенным валиком. Она характерна для этой эпохи во всей Средней Азии. В слое Яз II, относящемся к предахеменидскому времени (IX–VII вв. до н. э.), прослеживается прямая генетическая преемственность с ахеменидскими материалами: почти вся посуда сделана на гончарном круге и представлена цилиндро-коническими формами, но венчик чаще всего имеет клювовидную форму. Связь с предшествующим нижнем слоем Яз I отмечается в сохранении валиков под венчиком. Слой II знаменует переход населения Туркмении к эпохе железного века: в нем найден фрагмент железного топора (*Массон*, 1959, табл. XXXV: *4*).

В нижнем слое Яз I представлена керамика, сделанная на гончарном круге, причем процент ее возрастает снизу к верху слоя, и Яз II демонстрирует полную победу этого комплекса. Резко отличает посуду Яз I абсолютное господство грубой лепной керамики. Это горшки-хумча, открытые миски и чаши буро-красного или серо-черного цвета обжига, содержащие большую примесь шамота в тесте. В верхней части они покрыты по беловатому фону красной или коричневой росписью в виде ромбов, углов или свисающих треугольников, залитых, заштрихованных или заполненных косой сеткой (*Массон*, 1959, табл. XVII–XX, XXV, XXXI). Именно эта керамика является определяющей для выделения комплексов ЭВО, причем В. М. Массон полагает, что слой Яз представляет только поздний этап Елькен II.

На Яз-депе представлена и другая, типичная также для всех поселений ЭВО, группа лепной посуды: большие очень грубые горшки, орнаментированные налепными валиками, а иногда только косо расположенными налепами (*Массон*, 1959, табл. XXII–XXVII). Большая группа памятников ЭВО выявлена В. И. Сарианиди в результате его разведок в Маргиане.

Расписная керамика, которую В. И. Сарианиди относит к типу позднего Яз I, открытая в Тоголокском оазисе на поселениях Тоголок 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 27–29 и др., иногда в сочетании с посудой с налепными валиками (*Сарианиди*, 1990, с. 47, 48, 51–53). В Тахирбайском оазисе Маргианы к интересующему нас времени принадлежит поселение Тахирбай 1, где встречена посуда ахеменидского времени и предшествующая ей посуда типа Яз I как расписная, так и лепная, в том числе – с налепным валиком. К этому же комплексу принадлежит бронзовый втульчатый наконечник стрелы (*Сарианиди*, 1990, с. 54).

На поселении Тахирбай 3 сделаны важные стратиграфические наблюдения: нижний слой памятника относится к периоду Яз I, верхний – к Яз II. А на другом участке в нижнем слое найден лепной баночный сосуд, орнаментированный гладким штампом (*Сарианиди*, 1975), относящийся к андроновскому типу. Выше встречена группа из 8 прекрасно сохранившихся горшков с округлым туловом, а также каменный цилиндр (*Сарианиди*, 1990, с. 54–55, табл. LXI: *20–27*). Еще выше в том же пом. № 3 найдена группа сосудов одного типа, хумча с подкошенным дном и ваза на высокой ножке (*Сарианиди*, 1990, с. 54–55, табл. LXI: *1–19*, LXII: *1–9*). На поселении Тахирбай 3 найдено два расписных сосуда, один из них с налепным валиком (*Сарианиди*, 1990, табл. LXII: *10, 11*)

Анализируя комплекс, В. И. Сарианиди (1990, с. 55) приходит к справедливому выводу, что древнейшими обитателями Тахирбай 3 были «племена иного культурно-исторического круга». Типично андроновский сосуд не оставляет сомнений в его андроновской принадлежности. Что касается керамического комплекса другой группы, то она, хотя и не полностью, напоминает керамику Таджикистана: поселений и могильников Тандырйул и

Кангурттут периода Бустан, изготовленную на гончарном круге (90%) и подражающую ей лепную посуду, распространенную в Таджикистане в культуре Бишкент-Вахш, сочетающейся в комплексах с андроновской керамикой.

Поселения и могильники Тандырйул (*Виноградова,* 2004, рис. 8: *2–10*, 9: *15–17*), Кангурттут (*Виноградова*, 2004, рис. 24: *1, 20*; 30: *1, 2, 4*; 36; *37* и др.). Сверху этот слой перекрыт тонким слоем ЭВО, который Н. М. Виноградова датирует самым концом II – началом I тыс. до н. э., тогда как бустанский слой относится к XIII–XI в. до н. э. (*Kuzmina, Vinogradova*, 1996; *Виноградова*, 2004, с. 41, рис. 24; *Виноградова*, 2008, табл. 3: I–II; *Кузьмина*, 2008, с. 84–113, табл. 1; 293–294).

На поселении Тагузак в верхнем слое найдена посуда Яз I, основной комплекс относится к этапу Бустан сапаллинского варианта БМАК. На поселении Карим-берды чистый слой Яз I, сходный с Кучук-тепе в Афганистане Л. Пьянкова датирует IX—VIII в. до н. э. (*Виноградова*, 1986; *Pyankova*, 1996).

Таким образом, в северо-восточной Бактрии последовательность слоев Яз I – Намазга VI осложняется выявленной здесь культурой Бишкент-Вахш, но не прослеживается пока плавный переход к предахеменидской эпохе, столь четко выступающий в Туркмении.

Сопоставление северо-бактрийских материалов с тахирбайскими приводит к выводу, что в Маргиану в конце эпохи бронзы на время пришла группа населения носителей культуры Бишкент-Вахш, развивавшейся на юге Таджикистана.

В северо-западной Бактрии посуда с налепленным валиком есть в Узбекистане на Безымянном поселении (*Пугаченкова*, 1972, с. 47–48) и в кроющем слое на поселении Джаркутан (*Аскаров*, 1976, с. 17–19; 1977, табл. LXVIII), на Кызыл-тепе (*Сагдуллаев,* 1978, с. 7; 1987, рис. 20), где повторяется стратиграфия туркменских памятников: в нижнем слое лепная посуда составляет 97%. Во II – 70% – это уже гончарная посуда цилиндро-конических форм с клювовидным венчиком (*Сагдуллаев*, 1987, с. 10, 41, рис. 22, 23). В верхнем – практически вся керамика – гончарная с валикообразным венчиком, типичная для ахеменидской эпохи Средней Азии. К эпохе Яз I принадлежит поселение Бандыхан-тепе (*Ртвеладзе*, 1976, с. 95–96, рис. 2).

Такая посуда есть также в Южной Бактрии. Классическим памятником является раскопанное В. И. Сарианиди (1972б; 1977; 1989) в Шиберганском оазисе Тилля-тепе. На нем выделено два слоя с почти аналогичным керамическим комплексом. Большую его часть составляет лепная посуда с примесью шамота: круглобокие горшки и котлы. Часть последних имеет налепные вертикальные ручки и подковообразные налепы, короткие носики-сливы, и главное, налепные валики с пальцевыми вдавлениями, часто со спускающимися усами или короткими косыми валиками (*Сарианиди*, 1972б, с. 21, рис. 7; 9: *1*; 10: *3*; 12: *1, 7*; 22: *4*; 1989, табл. XL).

К западу от Тилля-тепе открыто поселение Наибабад, давшее керамику Яз I (*Сарианиди*, 1989а, с. 25, 26, табл. XLI–XLVI), а на маленьком поселке Кумли под ахеменидским слоем есть слой, в котором сочетаются расписная и гончарная посуда.

Ж.-К. Гарденом открыто большое поселение Кундузский Бала Гиссар – несколько маленьких усадеб, содержащих керамику эпохи РЖВ, и ирригационную сеть того же времени (*Garden*, 1998, p. 20; 2000). Эти памятники пока являются восточной границей ЭВО.

Как далеко простирались связи варваров в эпоху оккупации ими древнеземледельческих оазисов юга Средней Азии и Афганистана?

Ответ на этот важный вопрос дал В. И. Сарианиди. После раскопок на Улуг-депе и Тилля-тепе (*Сарианиди*, 1972б; 1977) он увидел четкую закономерность тождества грубой керамики с валиковой орнаментацией, а также основных мотивов росписи второй группы

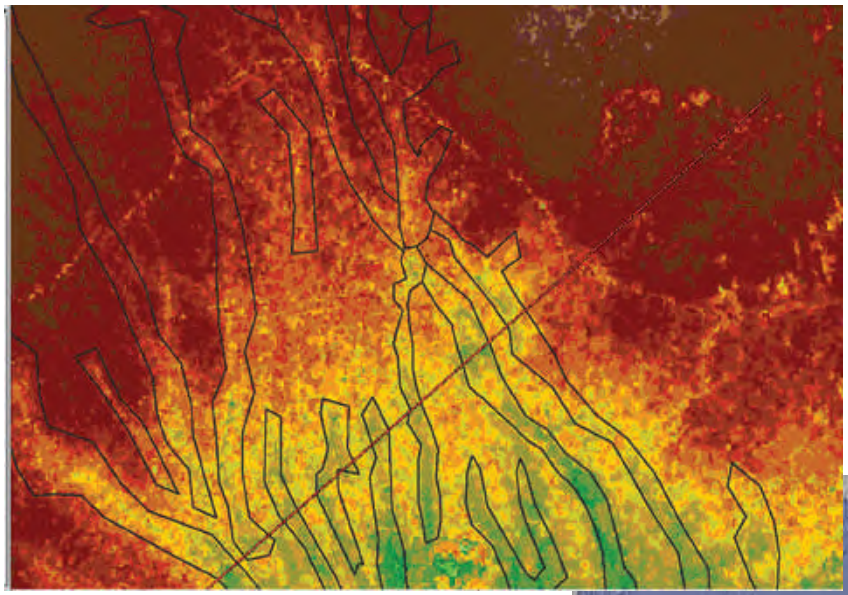


Рис. 3. SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) image from NASA mission of 2000, showing the overlapping of the fluvial ridges to the north of the ancient capital of Merv (by P. Mozzi, A. Ninfo, A. Perego).

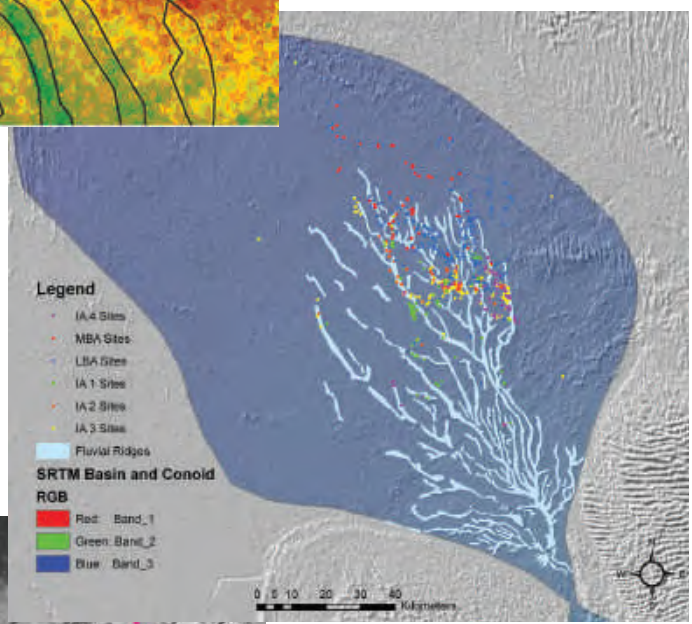


Рис. 4. Ancient irrigation system reconstruction from the Middle Bronze Age to the Achaemenid period on the basis of SRTM images (2000) with settlement distributions.

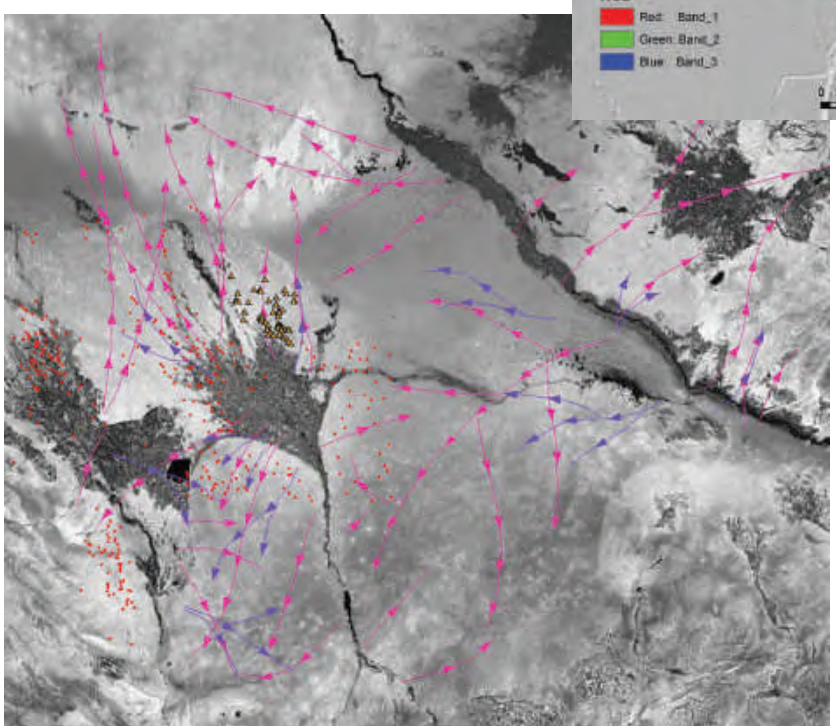


Рис. 5. Herd transhumance (blue and pink arrow-lines) within the period of a year (Nechaeva, Mordvinov, Mosolov, 1943)

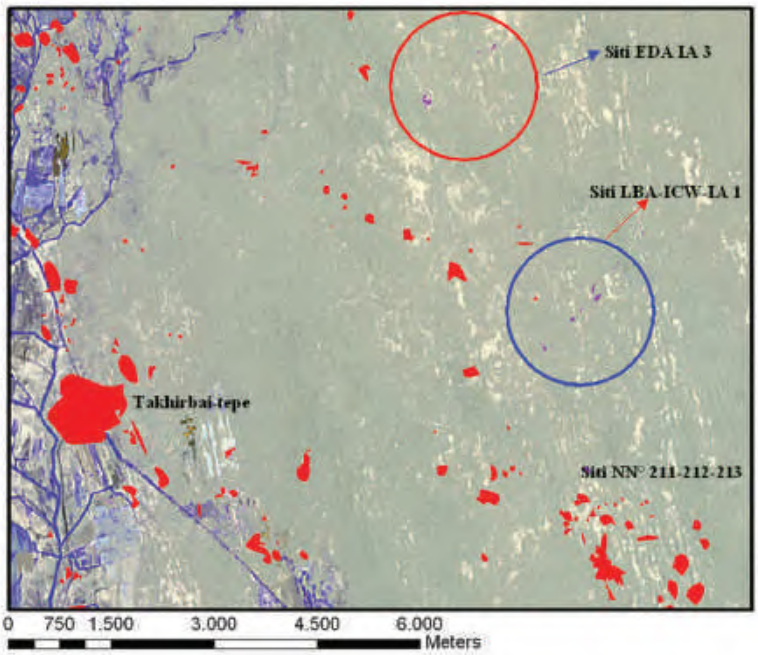


Рис. 10. Location of Site N° 1468 on Aster 2001 image and sketch plan of the site.

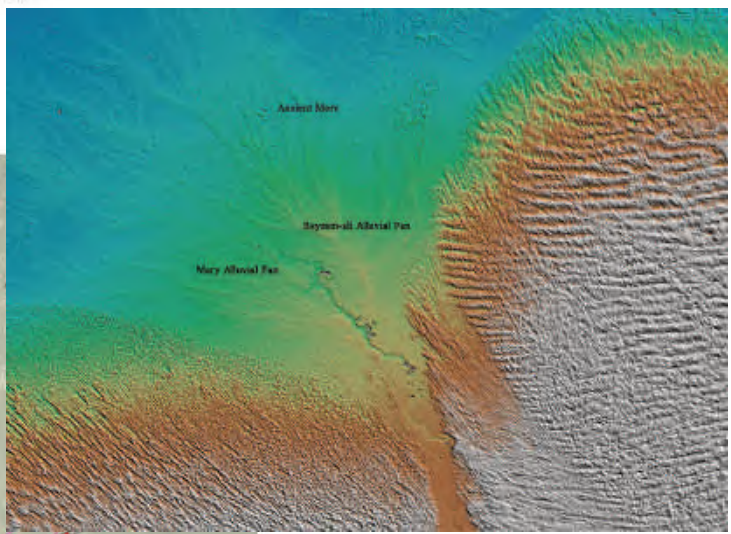


Рис. 14. The Murghab alluvial fan on the base of SRTM mosaic.

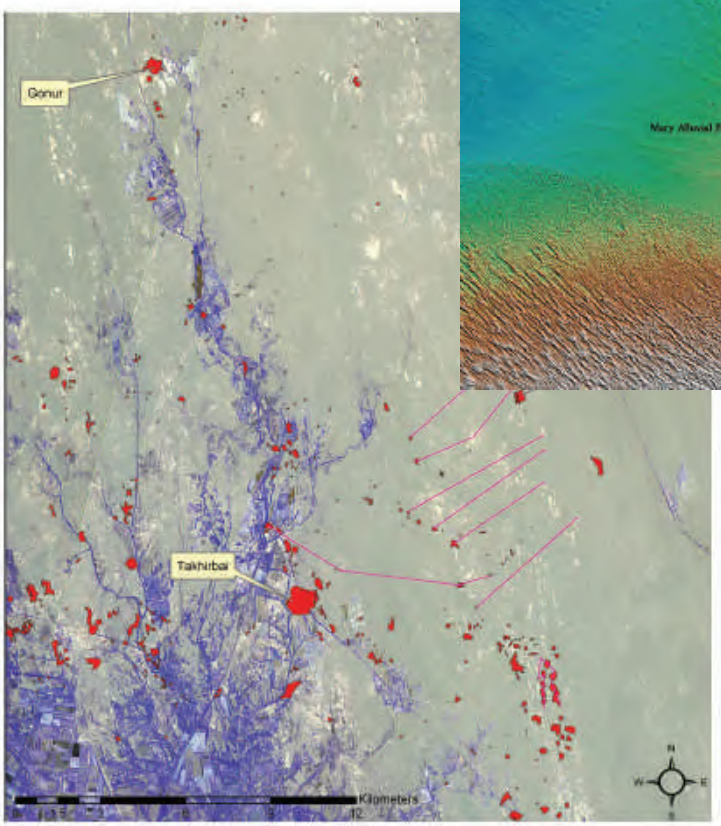


Рис. 17. Location of Site N° 1529 on Aster 2001 image with 2008 transects (pink lines) and a view of the site from the south.

Рис. 21. Большая агатовая бусина из погр. 3880.

Рис. 3. Восточная часть погр. 3900.

Рис. 25. Бронзовый котел из погр. 3880.

Рис. 28. Мозаичная композиция с ковровым орнаментом после ее консервации и реставрации.

Рис. 30. «Дарохранительница» из гробницы 3880 после ее консервации и реставрации.

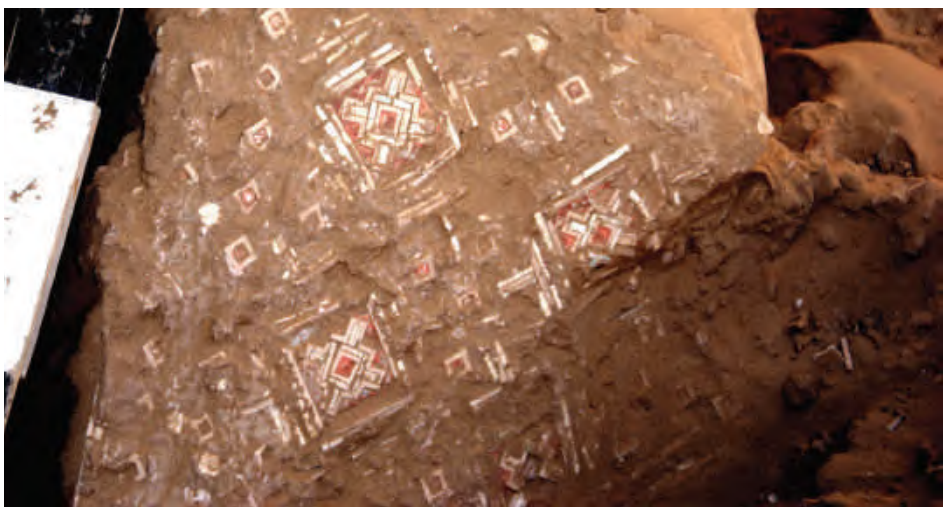


Рис. 32. Фрагмент орнаментальной композиции, украшавшей передний фасад «дома мертвых» гробницы 3880 в процессе расчистки и консервации.

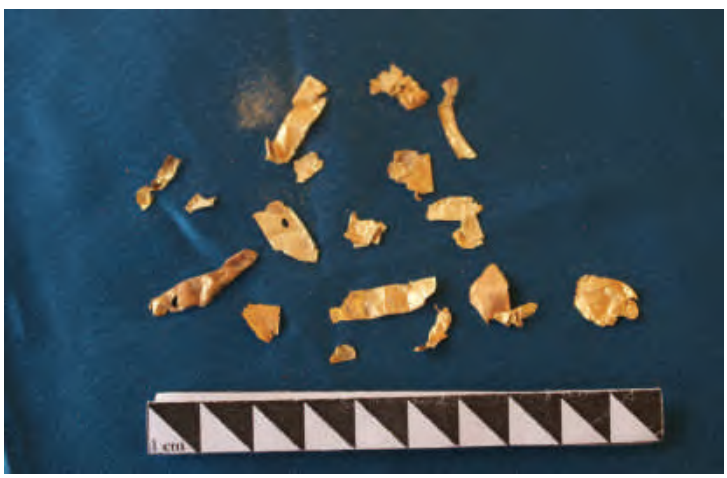


Рис. 35. Фрагменты золотой фольги из гробницы 3880.

Рис. 36. Мозаичное панно «Сцена борьбы крылатых драконов со змеями» в гробнице 3880 в процессе расчистки.

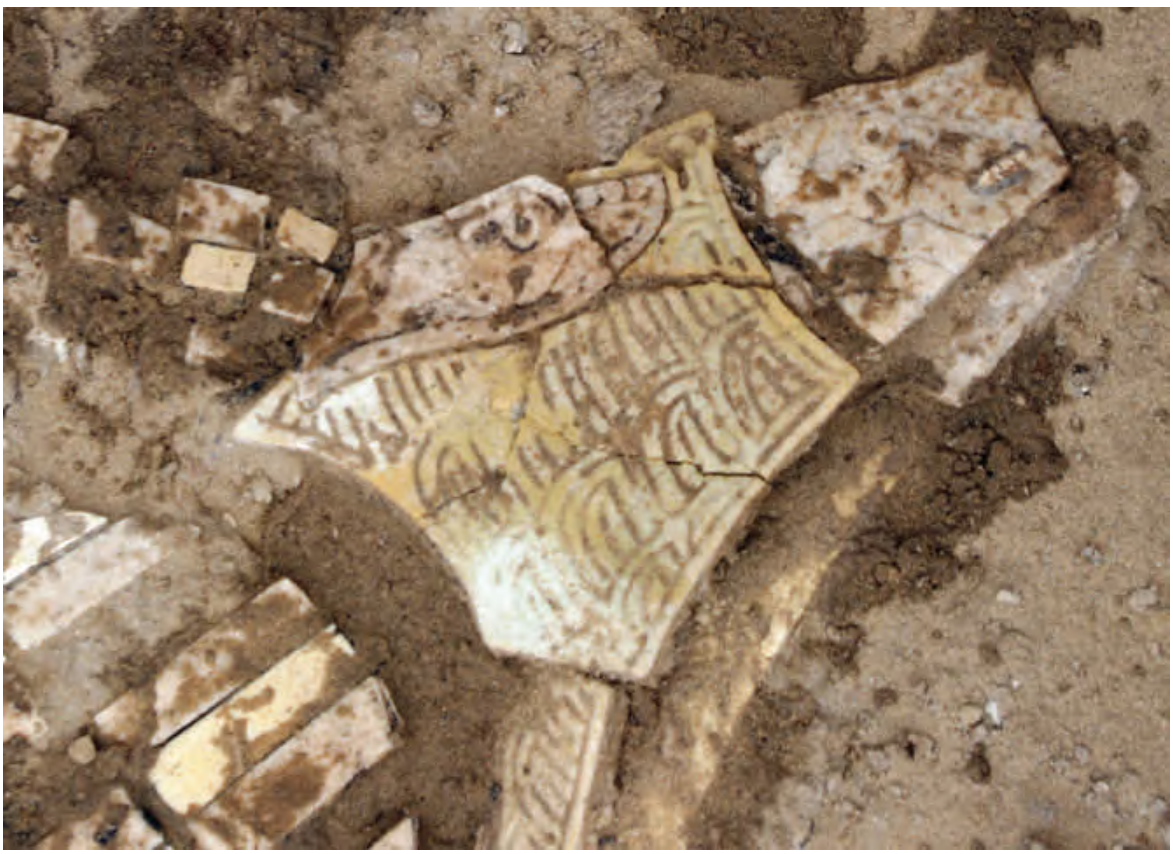


Рис. 37. Фрагмент мозаичного панно «Сцена борьбы крылатых драконов со змеями».

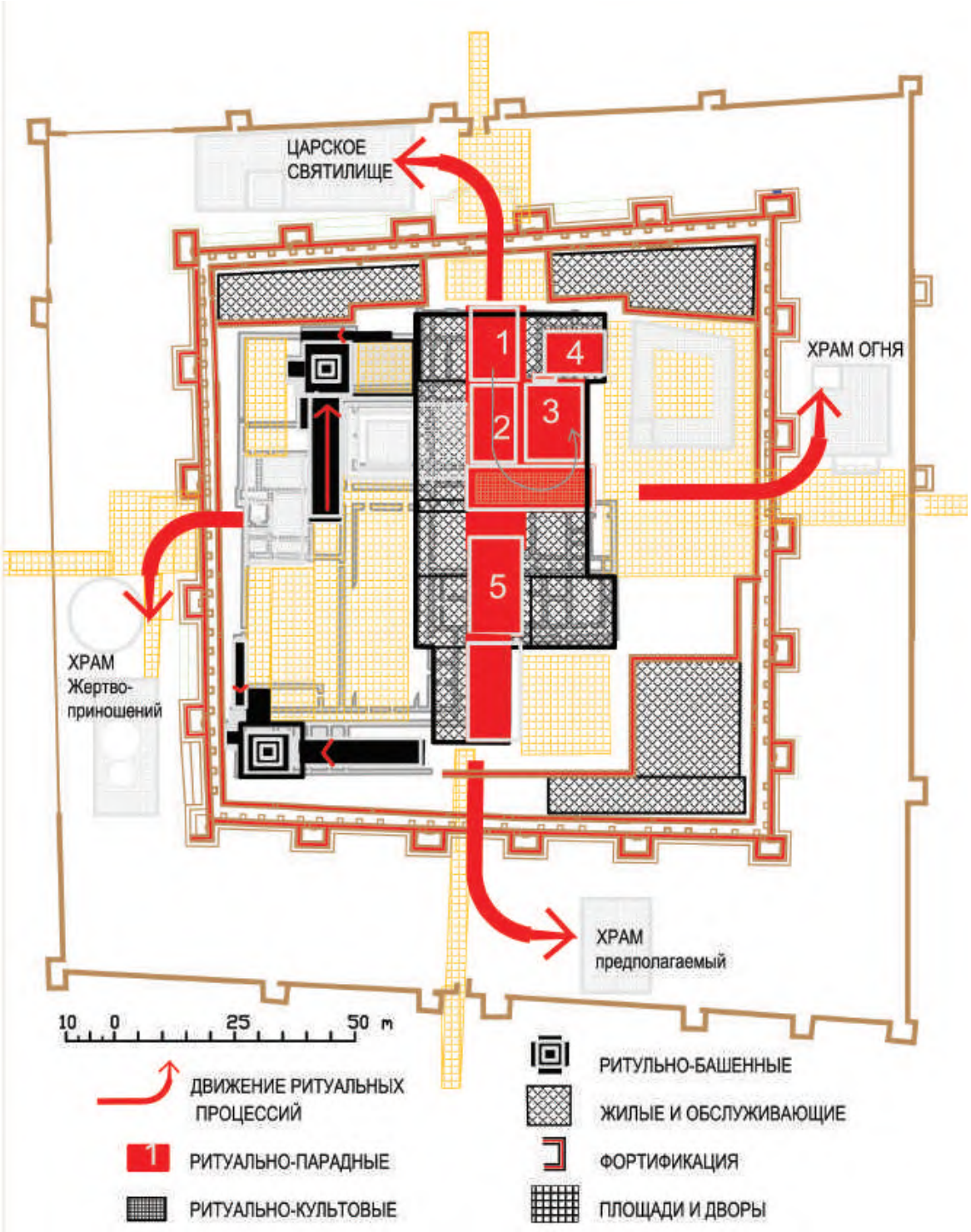


Рис. 6. Северный Гонур. Модель функционально-планировочного зонирования территории. Первоначальный замысел строительства. Воссоздание "чертежа" древнего зодчего.

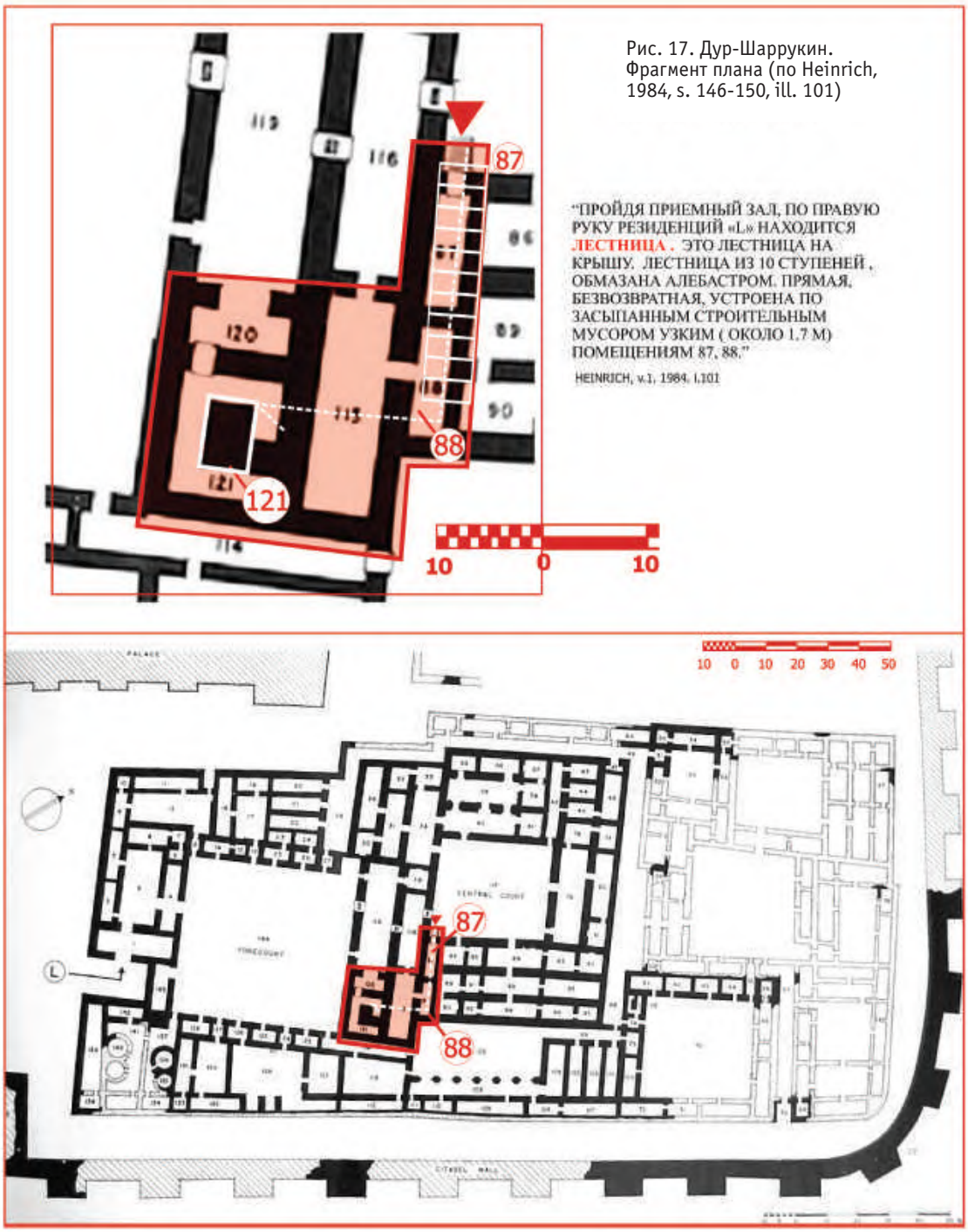


Рис. 17. Дур-Шаррукин.
Фрагмент плана (по Heinrich,
1984, s. 146-150, ill. 101)

"ПРОЙДЯ ПРИЕМНЫЙ ЗАЛ, ПО ПРАВУЮ РУКУ РЕЗИДЕНЦИЙ «L» НАХОДИТСЯ ЛЕСТНИЦА . ЭТО ЛЕСТНИЦА НА КРЫШУ. ЛЕСТНИЦА ИЗ 10 СТУПЕНЕЙ , ОБМАЗАНА АЛЕБАСТРОМ. ПРЯМАЯ, БЕЗВОЗВРАТНАЯ, УСТРОЕНА ПО ЗАСЫПАННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МУСОРОМ УЗКИМ (ОКОЛО 1,7 М) ПОМЕЩЕНИЯМ 87, 88."

HEINRICH, v.1, 1984, i.101

Рис. 1. General view of tomb 3245 from the east.

Рис. 5. Stone items from the tomb 3245.

Рис. 4. Ivory items from the tomb 3245.

Рис. 7. Semiprecious stone and gold beads from the tomb 3245.

Рис. 3. Литейные формы из мастерской по производству изделий из сплавов на основе меди столичного Гонура.

Рис. 7. Фрагмент терки из богатой медью руды с Теменоса Гонура.

Рис. 8. Фрагмент каменной литейной формы, фрагменты тиглей и фрагменты тигельных сплавов на основе меди из помещений 131 и 132 раскопа 9 (мастерская по производству изделий на основе меди в столичном Гонуре)

Fig. 6. Applicator for eye make-up with the top in the shape of an eagle (Louvre, AO 28503)

Fig. 4. Mirror with a decorative part linking the handle and the reflecting surface (Sarianidi, 2008, no. 165, p. 281)

Fig. 5. Silver box for use as a mirror with a protective serpent on the lid (Ligabué and Salvatori, 1988, no. 87, p. 220)

Fig. 7. Cockle-shells for make-up cosmetics, from ED III Ur Necropolis (Zettler, Horne, 1998, n° 118, P. 145)

Fig. 8. Decorative box for make-up cosmetics, from ED III Ur Necropolis, Queen Puabi Tomb, PG 800 (Woolley, 1934, pl. 103, U 10436)

АБДУЛЛАЕВ К. «К АТРИБУЦИИ “КАМЕННЫХ КОЛОНОК” В БАКТРИИ И МАРГИАНЕ В ЭПОХУ БРОНЗЫ. (К ВОПРОСУ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ БМАК В КОНТЕКСТЕ БЛИЖНЕГО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА)»

Рис. 4. Четвертый регистр настенной росписи из дворца Мари (по: Parrot, 1960).

ВИНОГРАДОВА Н.М., КУТИМОВ Ю.Г. «ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ КИШЛАКА ГЕЛОТ НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА»

Рис. 21. Раскоп 6. Погр.2. Каменная фигурка.

Рис. 2. "Equid 2" in Gonur. Photo 2006 by Toshiki Osada.

Рис. 3. The "war panel" in the "Standard of Ur" from Ur, Mesopotamia, 26th century BCE. Now in the British Museum. Photo (from Wikipedia) in common domain.

Рис. 1. Схема Z и S прядения и сучения Z3S.

Рис. 3. Деталь фрагмента килима «Жрица и служанка» египетской работы. Алтай. ПК-5, IV(?) в. до н.э.

Рис. 5. Фрагменты «килима с листиками». Тува. А-1, конец IX в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2005 г.).

Рис. 6. Фрагмент «килима с пирамидками». Тува. А-1, конец IX в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2005 г.).

Рис. 7. Фрагмент килимного репса с рисунком в полоску. Тува. А-1, конец IX в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2005 г.).

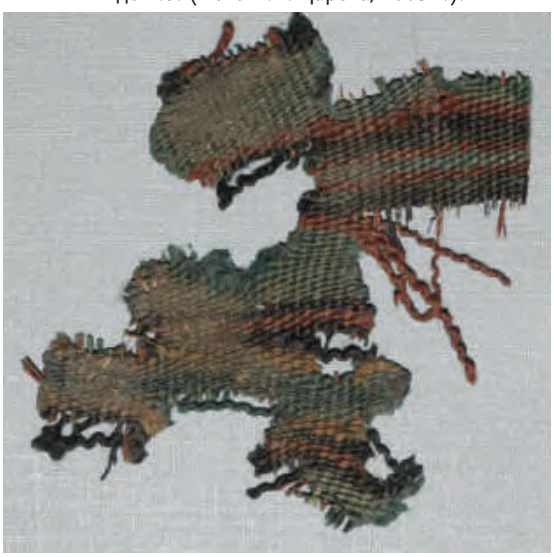


Рис. 8. «Царская» камера. Тува. А-2, мог. 5, VII в. до н.э. (Фото К. Чугунова, 2001 г.).

Рис. 10. Фрагмент килима с рисунком «тигровой шкуры». Тува. А-2, мог. 13/а,б; 20, VII в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2005 г.).

Рис. 11. Фрагмент женского трубчатого пояса. Тува. А-2, мог. 13/а, VII в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2005 г.).

Рис. 12. Часть композитной юбки. Алтай. ПК-2, V в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2004 г.).

Рис. 14. Часть конской попоны (покрытие) и фрагмент нагрудного ремня, IV в. до н.э. Алтай. ПК-5, III в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2004 г.).

Рис. 13. Деталь композитной юбки. Алтай. ПК-2, V в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2004 г.).

Рис. 15. Деталь фрагмента нагрудного ремня с рисунком «Шествие львов», IV в. до н.э. Алтай. ПК-5, III в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2004 г.).

Рис. 16. Деталь «пурпурной ткани» покрытия конской попоны, IV в. до н.э. Алтай. ПК-5, III в. до н.э. (Фото Н.В. Царева, 2004 г.).

Рис. 17. Один из «бессмертных» стражей, изображенных на воротах дворца в Сузах. Построен Дарием Великим в 515 г. Публикуется по: Hicks, 1975, p. 59.

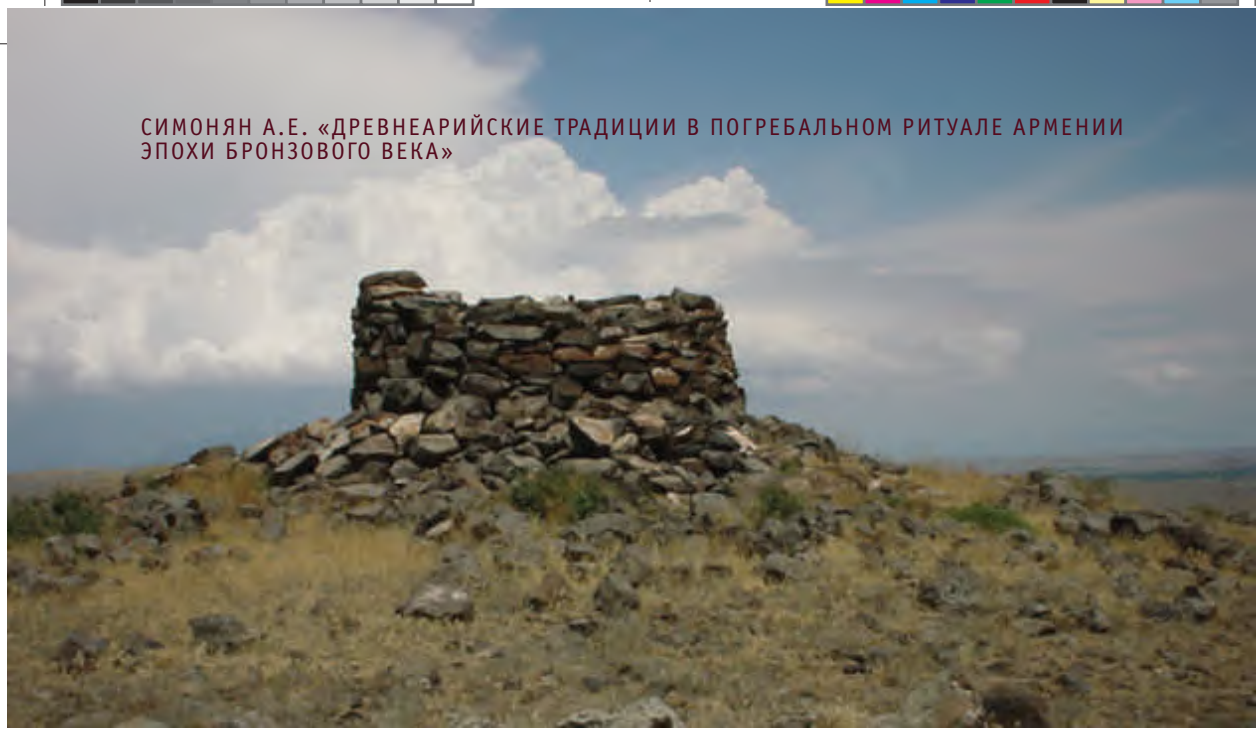


Рис. 5. Башня «молчания» в Агавнатунском некрополе.

Рис. 6. Амулет из зуба коровы из кургана 1 Неркин Навера.

Рис. 10. Краснолощённая гидрия с изображением табуна, идущих вереницей лошадей.

лепной керамики памятников Южного Туркменистана и Северного Афганистана (*Сариниди*, 1972б, рис. 7), что позволило сделать хорошо аргументированный вывод о родстве части населения двух больших регионов Азии (*Сариниди*, 1972а, с. 27).

Поражает интуиция В. И. Сариниди, впервые обратившего внимание на сходство части керамических комплексов Туркмении и Афганистана с удаленными памятниками, с одной стороны – Нади Али в афганском Систане а, с другой – на юге Афганистана в керамике Мундигак V и, особенно, Мундигак VI (*Сариниди*, 1972, с. 26).

Этот вывод был подтвержден сходством однолезвийных бронзовых ножей и, главное, стрел – бронзовых двухлопастных втульчатых и черешковых с опущенными жальцами, служивших оружием варваров, а также бронзовых трубочек с отверстиями. Посуда, отчасти сопоставимая с южно-среднеазиатской и северо-афганской, орнаментированная расписными треугольниками и ромбами, изготовленная из теста с примесью шамота, иногда на матерчатом шаблоне, встречена в Южном Афганистане на поселении Мундигак (*Casal*, 1961, tabl. I, II), входившем в конце III–начале II тыс. до н. э. в круг земледельческих культур от Гиссара III в Иране до Хараппы в Пакистане. Здесь к IV слою относится город с дворцом и храмом. В период V происходит резкий кризис культуры, прослеживаемый и на других памятниках в постхараппскую эпоху. Появившаяся лепная посуда покрыта по красному фону черной или фиолетовой краской, что частично напоминает керамику культуры Чуст в Киргизии. Это привело Ж.-М. Казаля к выводу о миграции пришедших варваров из Средней Азии (*Casal*, 1961, tab. I: 104, 119). Однако предложенная датировка слоя первой половиной II тыс. до н. э. исключает это предположение, поскольку Чуст относится не ранее чем к XIII–VIII вв. до н. э., что подтверждается наличием на памятниках этой культуры большого числа металлических изделий, находящих широкий круг аналогий в металле степей Евразии финала бронзового века. В VI периоде расчищены зольники, которые оставлены, по Казалю (*Casal*, 1961, p. 91), кочующими номадами, и впервые встречены остатки железа, что позволяет отнести этот слой к РЖВ.

Орнаментированной керамики становится меньше, но широко представлены чайники с короткими носиками и, главное, – основной диагностический признак – сосуды с раздутыми боками, с налепными валиками, в том числе, с насечками и вдавлениями и с опущенным усом (*Casal*, 1961, fig. 120: *635, 637*; fig. 121). Из мотивов росписи представлены ромбы, сетка, свисающие линии, заштрихованные треугольники (*Casal*, 1961, fig. 118: *618, 621, 622;* 119: *623; 122*). Эти мотивы находят аналогии в посуде Яз-Тилля. В VII периоде картина резко меняется и абсолютно господствует посуда цилиндро-конических форм с подкошенным дном, с ребром на плече (*Casal*, 1961, fig 125: *125*), сопоставимая с керамическим комплексом ахеменидского периода Средней Азии, а также банки и горшочки с округлым плечом.

Итак, в керамике Мундигак IV прослеживается сильное влияние соседних культур, прежде всего – Хараппы (листья пипиллы, зооморфные изображения, мотивы Кулли и Рана-Гхундай IIIв, единичные находки хумов с подкошенным дном намазгинского типа (*Casal*, 1961, fig. 78: *275*; 100: *480*).

Самая ценная информация о культуре эпохи варварской оккупации происходит с поселения Пирак в Пакистане[1] (*Fouilles de Pirak*, 1979, p. 22, 23, 76, 77). На памятнике выделено три периода. В нижнем IA сочетается большой процент гончарной посуды, лепная составляет 13–15%, гончарная покрыта по белому или розовато-кремовому ангобу слож-

[1] Приношу глубокую благодарность мадам Катрин Жарриж за ценную научную консультацию и возможность ознакомиться с подлинными материалами памятника в музее Гиме в Париже.

ной росписью геометрических фигур, нанесенных красной или сливовой краской в виде богатых ковровых узоров, сохраняющих традиции кеттского стиля. В большом числе представлены сосуды открытых форм, верхняя часть которых покрыта монохромными, реже полихромными, шевронами, ромбами, треугольниками, в том числе противолежащими и вписанными (*Jarrige, Santoni*, 1979, fig. 36–39).

В период IB появляются сосуды с ребром, но мотивы росписи сохраняются (*Fouilles de Pirak*, 1979, fig. 43–46). Уже в период IA появляется грубая керамика с примесью шамота, иногда сделанная на матерчатом шаблоне и представленная сосудами с коротким носиком, и хумчами с раздутым туловом и узким горлом, под которым сделан налепной валик с защипами (*Fouilles de Pirak*, 1979, fig. 40: 62, 65,70, 75; fig. 41: *84–86*). Грубые сосуды с носиком и хумчи с налепным валиком с насечками и защипами сохраняются во II слое (*Fouilles de Pirak,* 1979, fig. 58: *264*; fig. 60: *275*; fig. 61: *288–295*).

Третий слой характеризуется существенными изменениями керамического комплекса: преобладание сосудов, сделанных на гончарном круге серого и розового цвета обжига. Господствуют открытые миски с резким ребром в верхней трети и округлым венчиком, а также сосуды цилиндро-конических форм (*Fouilles de Pirak*, 1979, fig. 68; 69: *358–362*). Этот керамический комплекс безусловно сопоставим со среднеазиатской посудой ахеменидского и предахеменидского времени. Но надо отметить, что небольшой процент этой керамики новых форм по-прежнему покрыт традиционной монохромной или полихромной росписью, как и в период IIIB (*Fouilles de Pirak*, 1979, fig. 64; 70).

Если не учитывать радиоуглеродных дат Пирака, то здесь прослеживается та же последовательность перехода от эпохи варварской оккупации к возрождению гончарных традиций, как в Туркмении.

Исследователь памятника Ж.-Ф. Жарриж (*Fouilles de Pirak*, 1979, s. 79) рассматривает как доказательство контактов со Средней Азией появление в Пираке изображений двугорбых верблюдов и лошадей, которых ранее не было ни в Пакистане, ни в Индии.

Двугорбый верблюд был доместицирован в Туркмении в эпоху Намазга IV, что документируют как остеологические материалы, так и фигурки животных, в том числе впряженных в повозки (*Кузьмина*, 1980). Лошадь была доместицирована еще в эпоху энеолита в степях от Дуная до Урала (*Kuzmina*, 2003, *Кузьмина*, 2004), а в Средней Азии появилась в начале II тыс. до н. э. (*Кузьмина*, 1977; 1980; 1993; 2000; *Сариниди, Дубова*, 2007; *Сатаев*, 2008), что подтверждается находками как изображений, так и костей животного, в том числе в связи с погребальным культом.

В Пираке кости и изображения лошади найдены в периоды IB, II и IIIB (*Fouilles de Pirak*, 1979, fig. 92; pl. XXXVIII: *D* (муляж всадника); XLI). Появление верблюда демонстрируют фигурки, начиная с периода IB–II и до периода IIIB. Появление коня и верблюда подтверждают находки костей этих животных на памятнике (*Meadow*, 1979, p. 334).

В свете этих данных вполне обоснованной представляется гипотеза Ж.-Ф. Жаррижа (1979, s. 68, 77) о том, что за эпохой хараппской цивилизации последовал «век инвазий», а за ним – «темный (черный) век» с господством разноплеменного пришлого полукочевого населения. Центром, откуда шли инвазии, исследователь (*Jarrige*, 1979, p. 100–101) признал Среднюю Азию.

Посуда, сопоставимая с Пираком, датированная концом II – началом I тыс. до н. э. и отнесенная к эпохе «черных веков», найдена в Белуджистане на юге долины Инда на поселениях Туламба, Дурраи-Баст, Дур-хан и Питани-Дамб (*Franke-Vogt*, 2001, p. 262–270; fig. 11: *8, 14, 15*; fig. 12: *14–18*; fig. 13: *3–6*). Часть грубых лепных горшков с примесью шамота в тесте орнаментирована под венчиком налепными валиками с косыми насечками и защипами, как в Пираке и Мундигаке.

Очень выразительный комплекс этой посуды с налепным валиком с косыми насечками, ногтевыми вдавлениями или крестами выявлен во время разведок В. А. Файрсервисом (Fairservis, 1957, p. 352, 358, 381; fig. 15: *22, 23*; pl. 38: *b–m*; 47: *f, g, j, l–p*) в Западном Пакистане в Белуджистане в долине Зхоба. В кроющем слое на поселениях Каудани и Мохул-Кала и в столичном городе Рана-Гхундай эта керамика найдена в слое со следами пожаров и разрушения города в постхараппскую эпоху.

Итак, проведенный исследователями сравнительный анализ керамики эпохи поздней бронзы и РЖВ приводит к выводу, что после кризиса земледельческой культуры примерно в XIII в. до н.э., в VII–VI вв. до н. э. происходит возрождение древних керамических традиций и возрождается изготовление посуды на гончарном круге. В. И. Сарианиди констатирует, что «предположение о происхождении ахеменидского комплекса от бактрийского варианта культуры Намазга VI... (*Кузьмина*, 1972, с. 146) ближе всего соответствует имеющимся данным» (*Сарианиди*, 1977, с. 116). Как уже говорилось, В. И. Сарианиди принадлежит честь доказательства абсолютного и синхронного хода исторических событий не только в средней Азии, но и в Северном Афганистане, и – как теперь ясно, – шире: в зоне Южного Афганистана и в Пакистане (*Сарианиди*, 1972в, рис. 7).

Во всем обширном регионе в эпоху кризиса «темных веков», которые я по-прежнему предпочитаю называть ЭВО (что соответствует сути исторического процесса), в керамическом комплексе памятников сочетается (при наличии сохранения незначительной группы гончарной керамики) две основных группы лепной посуды: расписная и грубая, диагностическими признаками которой являются налепные валики под венчиком, украшенные косыми насечками, ногтевыми защипами, вдавлениями. Часто от валика вниз спускается два, реже один «ус». Иногда сосуд орнаментирован под венчиком одним или парой косых налепов.

Что касается первой группы лепной керамики – *с росписью*, то ее происхождение, не взирая на многочисленность разных гипотез, так и не получило окончательного разрешения. Несомненно, что несмотря на общее сходство не только элементов орнаментов, но и целых композиционных схем, в каждом регионе эта посуда сохраняет некоторые местные различия, в том числе, даже в цвете росписей.

Что же касается третьей группы – *грубой посуды с налепным валиком,* – то ни ее хронология, ни ее происхождение не вызывают сомнений. Она была выделена как особый – *алексеевский тип* андроновской керамики, датированный XIII–VIII вв. до н. э. О. А. Кравцовой-Граковой (1948). Ею же было установлено наличие подобного типа посуды в срубной культуре (*Кравцова-Гракова*, 1955).

Мной была показана близость металлических изделий и керамики на широкой территории степей в конце эпохи бронзы от Дуная до Алтая (*Кузьмина*, 1967). Е. Н. Черныхом (1983; 1984; *Chernykh*, 1992) была проделана важная работа по выделению общности культур валиковой керамики в степях Евразии. С тех пор за этой общностью утвердилось название «Культуры валиковой керамики» (КВК), датируемой XIII–IX вв. до н. э. В настоящее время выделены ранний (XIII–XI) и поздний (X–IX вв. до н. э.) этапы КВК.

Начало эпохи финальной бронзы по палеоэкологическим данным характеризуется тяжелым природным кризисом. Он стимулировал переход степного населения к освоению верховой езды, что явилось условием становления новой формы экономики – отгонного скотоводства и позволило перешедшим к кочеванию племенам занять новые экологические ниши: пустыни и высокогорья. В результате экологической катастрофы массы степного населения устремляются на юг. В степях численность населения резко сокращается, зато на юге Средней Азии вдоль подгорной полосы в песках появляются многочисленные

стоянки с грубой лепной керамикой, в том числе с налепными валиками (*Кузьмина*, 2008, с. 194; 203–209; 212).

Напротив, в степях в это время появляется посуда, изготовленная на гончарном круге или подражающая ей, типа поздней Намазга VI[1], что свидетельствует об активных связях степняков с земледельцами Средней Азии, где в это время появляются металлические изделия из высокооловянистой бронзы, производившейся на Алтае, в Казахстане и Киргизии (*Кузьмина*, 2008, с. 212).

Валиковая посуда в степи в андроновском ареале встречена на всех поселениях (Алексеевском, Саргары, Бегазы, Бола-Кулболды, Дермен) и лишь в исключительных случаях в могилах финальной бронзы. Та же закономерность отмечена на срубной территории (*Кузьмина*, 2008, рис. 48). Обычно валик сплошной с косыми насечками, пальцевыми вдавлениями или крестами, но чаще он имеет два опущенных уса. Редко, но встречаются сосуды с отдельными косыми налепами с насечками под венчиком (*Кузьмина*, 2008, рис. 47: *42, 47*). Последние найдены на поселении Донгал, относящемся к поздней стадии КВК.

Таким образом, в эпоху финальной бронзы на гигантской территории от Дуная до Алтая встречены все разновидности валиковой керамики, представленной на поселениях в слоях, перекрывающих слои расцвета древнеземледельческой культуры юга Средней Азии, Афганистана и Пакистана, относимые к эпохе «черных веков» или ЭВО.

Позднеандроновская грубая лепная керамика горшковидных, а чаще баночных форм с простым орнаментом в виде вертикальной или горизонтальной елки и, редко, равнобедренными треугольниками и иногда сосудов с налепным валиком с косыми насечками найдена на стоянках в пустыне, на краю песков в подгорной полосе Туркменистана и в Северном Афганистане (*Кузьмина*, 2008, рис. 25–26). Та же посуда происходит из кроющего слоя земледельческих поселений Туркмении (*Кузьмина*, 2008, рис. 27: *1–23*).

Особенно важно, что аналогичный комплекс найден в верхнем слое поселения Шортугай Юго-восточной Бактрии (*Francfort*, 1989). Там прослежено, что за культурой Хараппа следует период культуры БМАК, сходной с представленной в Южном Таджикистане, содержащий также керамику андроновско-федоровского типа. Стратиграфически позже в верхнем IV этапе памятника выявлены погребения таджикской культуры Бишкент, в которой сочетается гончарная посуда типа поздней Намазга VI вместе с лепной керамикой. Особую позднюю группу составляет лепная керамика с налепным валиком (*Francfort,* 1989, табл. 58: *6, 9*; XXVII: *1*). С этим комплексом связана находка двулопастной стрелы со скрытой втулкой (*Кузьмина*, 1994, с. 232–235, рис. 52: *24, 27*).

Распространение этой керамики может быть только свидетельством инвазии степного населения на юг. Но надо подчеркнуть, что эпоха «dark ages» на самом деле была не просто временем разрушения, но и эпохой важных культурных инноваций и, прежде всего, развития транспорта, когда на юге распространились верблюды, а главное, лошадь, что так хорошо просматривается в Пираке. В этот период происходил синтез разноэтничных культур, что ознаменовалось новым синтезом и расцветом в предахеменидскую эпоху.

Таким образом, выявленное В. И. Сарианиди системное сходство керамики с налепным валиком Южной Туркмении и Северного Афганистана, прослеживаемое и далее на юг и восток в Пакистан, дает основание констатировать очень широкие этнокультурные связи в обширном регионе Древнего мира.

---

[1] Она найдена в Киргизии в Биене, в Казахстане на поселении Павловка и особенно многочисленна на Алтае (*Кузьмина*, 2008, рис. 5.2).

Литература

Аскаров А. А. Расписная керамика Джар-Кутана // Бактрийские древности. Л., 1976.

Аскаров А. А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977.

Виноградова Н. М. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. М., 2004.

Виноградова Н. М., Ранов В. А., Филимонова Т. Г. Памятники Кангурттута в юго-западном Таджикистане. М., 2008.

Ганялин А. Ф. Теккем-Тепе // ТИИАЭ АН ТуркССР. Т. II. Ашхабад, 1956.

Гутлыев Г. Работа на поселении раннежелезного века Яссы-Депе у Баба-Дурмаза // Каракумские древности. Вып. 3. Ашхабад, 1977.

Гутлыев Г. Стратиграфический шурф Яшыллы-депе у Гяурса // Новые исследования по археологии Туркменистана. Ашхабад, 1980.

Гутлыев Г. Стратиграфический шурф на Гараой-депе // Проблемы археологии Туркменистана. Ашхабад, 1984.

Кошеленко Г. А., Сарианиди В. И. Средняя Азия в раннем железном веке // Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. М., 1985.

Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник // Труды ГИМ. 1948. Т. XVII.

Кривцова-Гракова О. А. Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы // МИА. № 46. 1955.

Кузьмина Е. Е. Клад из села Предгорное и вопрос о связях населения евразийских степей в конце эпохи бронзы // Памятники эпохи бронзы юга европейской части СССР. Киев, 1967.

Кузьмина Е. Е. К вопросу о формировании культуры Северной Бактрии // ВДИ. 1972. № 1.

Кузьмина Е. Е. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1977. С. 28–52.

Кузьмина Е. Е. Этапы развития колесного транспорта Средней Азии в эпоху энеолита и бронзы // ВДИ. 1980с. № 4. С. 11–35.

Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994.

Кузьмина Е. Е. Современное состояние проблемы доместикации лошади и происхождения колесниц // У истоков цивилизации / М. Ф. Косарев, П. М. Кожин, Н. А. Дубова (ред.). М., 2004.

Кузьмина Е. Е. Арии – путь на юг. М.-СПб., 2008.

Лубоцкий А. М. Кто были жители Гонура и на каком языке они говорили? // На пути открытия цивилизации. Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 3. СПб., 2009.

Марущенко А. А. Елькен-Тепе // ТИИАЭ АН ТуркССР. Т. III. Ашхабад, 1959.

Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы // МИА. 1959. № 73.

Массон В. М. Средняя Азия в эпоху раннего железа: культурная и социально-экономическая динамика // Информационный бюллетень МАИКЦА. № 9. М., 1985.

Пилипко В. Ранний железный век Этека (Южный Туркменистан) // Информационный бюллетень МАИКЦА. № 11. 1986. М., 1986.

Пьянкова Л. Т. Культуры степной бронзы // История таджикского народа. Т. 1. Душанбе, 1998.

Ртвеладзе Э. В. Новые древнебактрийские памятники на юге Узбекистана // Бактрийские древности. Л., 1976.

Сарианиди В. И. Исследование слоев раннежелезного века на Улуг-депе // АО 1970. М., 1971.

Сарианиди В. И. Раскопки 1970 г. на Улуг-депе // УСА. № 1. Л., 1972a.

Сарианиди В. И. Раскопки Тилля-тепе в Северном Афганистане. М., 1972b.

Сарианиди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.

Сарианиди В. И. Арийская проблема и новый археологический материал // Наука и человечество. М., 1989а.

Сарианиди В. И. Сиро-хеттские божества в Бактрийско-Маргианском пантеоне // СА. 1989b. № 4.

Сарианиди В. И. Храм и некрополь Тиллятепе. М., 1989 с.

Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Сарианиди В. И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. Ашгабат, 2002.

Сарианиди В. И., Дубова Н. А. Туркменистан – древнейший центр мирового коневодства // Мирас. 2005. № 3. С. 108–112.

Сарианиди В. И., Дубова Н. А. Лошадь в Центральной Азии у земледельцев эпохи бронзы: новые находки на Гонур Депе (Туркменистан) // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск. 2007. С. 224–233.

Сатаев Р. Животные в ритуалах древнего населения Гонур-депе // Туркменская земля – колыбель древних культур и цивилизаций. Ашхабад, 2008. С. 147–149.

Средняя Азия в эпоху камня и бронзы / Массон В. М. (ред.). М., 1966.

Франкфор А.-П. Цивилизация Окса (БМАК) и локализация Мархаши // Туркменская земля – колыбель древних культур и цивилизаций. Ашхабад, 2008. С. 101–103.

Черных Е. Н. Проблема общности культур валиковой керамики в степях Евразии. БВСП.

Щетенко А. Я. О контактах культур степной бронзы с земледельцами Южного Туркменистана в эпоху поздней бронзы (по материалам поселений Теккем-депе и Намазга-депе) // Stratum Plus. 1999. № 2.

Щетенко А. Я. Время появления домашней лошади на территории Средней Азии // Происхождение и распространение колесничества. Луганск, 2008. С. 219–233.

Casal J.-M. Fouilles de Mundigak. MDAFA. XVII. Vol. I, II. P., 1961.

Chernykh E. N. Ancient Metallurgy in the USSR. Cambridge, 1992.

Fairservis W. Archaeological Surveys in the Zhob and Loralai districts, West Pakistan // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. 1957–1959. Vol. 47. Part 1–2.

Fouilles de Pirak. Vol. 2. \ Jarrige J.-F., Santoni M. (Eds.). P., 1979.

Francfort H.-P. Fouilles de Shortughai // Recherehes sur l'Asie Centrale protohistorique. Vol. I, II. P., 1989.

Gardin J.-C. Prospection archéologiques en Bactriane orientale (1974–1978). Vol. 3. Description des sites et notes de synthuse. P., 1998.

Gardin J.-C. The archaeological exploration of Eastern Bactria (Afghanistan): its contribution to the history of early economic and political development in Central Asia // Древние цивилизации Евразии: история и культура. М., 2001.

Kuzmina E. E. Origins of pastoralism in the Eurasian Steppes. PSAH. 2003.

Kuzmina E. E., Vinogradova N. M. Contacts between the steppe and agricultural tribes of Central Asia in the Bronze Age // Anthropology and archaeology of Eurasia. 1996. Vol. 34. N 4. Philadelphia.

Meadow R. A preliminary note on the faunal remains from Pirak // Fouilles de Pirak / J.-F. Jarrige, M. Santoni, J.-F. Enault (Eds.). P., 1979.

Pumpelly R. Explorations in Turkestan. Washington, 1908.

Pyankova L. T. The Settlement of Karimberdy (IX-VIII cc. B.C.) in the South of Tadjikistan // MAIKTSA. № 20. 1996.

Sarianidi V. Baktrisches Gold. Leningrad, 1985.

Л. Б. Кирчо

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ РАСЦВЕТА МАРГИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Открытие и изучение цивилизации эпохи бронзы в Маргиане является крупнейшим достижением в археологии Центральной Азии конца XX–начала XXI в. Исследования нескольких экспедиционных коллективов и, в первую очередь, работы В. И. Сарианиди в Тоголокском и Гонурском оазисах показали, что широкое заселение древней дельты Мургаба происходит в конце III тыс. до н. э., когда ухудшение экологической обстановки приводит к затуханию жизни на крупных поселениях северной подгорной зоны Копетдага. Исторически быстрый (в течение нескольких веков) процесс освоения новых обширных территорий был обусловлен высоким уровнем технико-технологического и культурного

развития и (судя по антропологическим данным) участием новых групп населения. Иерархическая структура расселения внутри оазисов, центры которых представляли собой укрепленные поселения, монументальные дворцово-культовые сооружения, дифференциация имущественного и социального положения разных групп населения по данным погребений и появление элитных «царских» захоронений на Гонур Депе свидетельствуют о прото- или раннегосударственной системе организации общества, которое В. И. Сарианиди с полным правом именует древневосточным царством Маргуш (*Сарианиди*, 1990, 2002, 2005).

Основой экономики древних оазисов были ирригационное земледелие и скотоводство, успешное функционирование которых даже в условиях ксеротермического максимума обеспечивалось объемом воды р. Мургаб – одной из крупнейших внутренних рек Средней Азии, и разветвленной системой протоков древней дельты. Однако этот, благоприятный для производства пищи регион, был полностью лишен минеральных ресурсов. В то же время обилие и разнообразие материальной культуры поселений – керамика, терракотовые, каменные и металлические предметы, включающие великолепные образцы ювелирных и культовых изделий, свидетельствуют о важной роли высокопрофессионального ремесленного производства в экономической системе древней Маргианы эпохи бронзы. Более того, многочисленные импорты предметов и технологий из Древней Индии, Элама и Месопотамии указывают на развитые связи страны Маргуш и древневосточных государств. Однако, что именно могло предложить население древней Маргианы в обмен на предметы роскоши или престижно-культовые изделия из драгоценных металлов, слоновой кости и стеатита? Сельскохозяйственную продукцию, в импорте которой вряд ли нуждались древневосточные государства с развитым земледелием и скотоводством? Что привлекало в Маргиану многочисленных владельцев цилиндрических и древнеиндийских печатей?

Ответ на эти вопросы достаточно однозначен – Маргиана в конце III–начале II тыс. до н. э. являлась важным торгово-обменным центром на территории Средней Азии.

Истоки формирования системы торгово-обменных связей среднеазиатского региона уходят по крайней мере во вторую половину IV тыс. до н. э. В материалах периода среднего энеолита Южного Туркменистана (времени Намазга II) фиксируются систематические инокультурные влияния и контакты, которые свидетельствуют о трех, вероятно, взаимосвязанных процессах: опосредованном влиянии наиболее развитых областей Передней Азии, начале дальней торговли, в первую очередь, лазуритом (*Сарианиди*, 1968, с. 3–9) и активизации контактов и передвижений групп населения Центрального и, особенно, Юго-Западного Ирана, где начинает формироваться протоэламская цивилизация (Кирчо, 2008)[1].

К этому же времени относятся первые документально зафиксированные данные о продвижения части населения из Южного Туркменистана на восток и северо-восток: на севере древней дельты Мургаба отмечены отдельные пункты с керамикой и статуэткой времени позднего Намазга II (*Масимов*, 1979, с. 72–77, рис. 2; 2000, с. 25–26), а материалы ранних комплексов поселения Саразм в верховьях Зеравшана (Саразм I–II) показывают, что это поселение древних металлургов было основано при непосредственном участии южнотуркменистанских общин, причем наиболее тесные контакты двух регионов выявлены для времени среднего Намазга II – раннего Намазга III (около 3500/3400–3100/3000 лет до н. э.) (*Исаков*, 1991; *Кирчо*, 2007, с. 203, 205). Еще в середине 1970-х гг. Н. Н. Тере-

[1] С этим последним процессом связано, скорее всего, становление геоксюрского комплекса.

хова в результате исследования особенностей структуры металла, приёмов его обработки, форм и ассортимента медных изделий эпохи энеолита пришла к выводу о том, что в конце периода среднего – начале периода позднего энеолита в Южном Туркменистане выделяется особый этап металлообработки, связанный с использованием при их изготовлении универсальной литой заготовки-полуфабриката (*Сайко, Терехова*, 1981, с. 105). Вероятно рудные ресурсы долины Зеравшана служили источником относительного обилия крупных медных изделий в Южном Туркменистане этого времени (*Массон*, 1962, табл. X: *13–24*; *Хлопин*, 1969, табл. VII: *40*; XIII: *28–32*; XIX: *13–15*; XXIII: *14–15*; XXIV: *34–36*; *Solovyova, Yegor'kov, Galibin, Berezkin,* 1994, p. 31–35), а возможно, и других видов минерального сырья для юго-запада Средней Азии. Интересно, что хотя на Илгынлы-депе позднеялангачского и раннегеоксюрского времени найдено большое количество медных предметов и орудий металлообработки (*Korobkova, Sharovskaya*, 1994), орудия по обработке руды там полностью отсутствуют. Доставка сырья на такое дальнее расстояние осуществлялась, скорее всего, в виде изделий и заготовок и, учитывая большую обводненность региона в IV тыс. до н. э., производилась, видимо, на повозках, запряжённых быками (волами). Во всяком случае, первые предположительные свидетельства существования колесного транспорта на юге Средней Азии – так называемые терракотовые модели колес с односторонней ступицей, относятся к периоду Намазга II, а на Алтын-депе в слоях геоксюрского времени (13, 12-й горизонты; конец IV – начало III тыс. до н. э.) найдены терракотовые модели кузовов одноосных однодышловых повозок (типа арбы) и колес с двусторонней ступицей (*Кирчо*, 2009, с. 26–28). Из Южного Туркменистана торговые экспедиции через Маргиану могли двигаться в северо-восточном направлении до Амударьи и далее по долине Зеравшана в его верховья.

Однако уже в начале III тыс. до н. э. эти контакты с рудным районом и металлургическим центром в Южном Таджикистане прерываются, скорее всего, потому, что в условиях наступающей аридизации передвижение людей и транспортировка сырья с помощью тягловой силы быков (волов) становится невозможной. Об определённом дефиците металла свидетельствует и редкость его находок в слоях периода позднего энеолита на Алтын-депе (*Кирчо, Коробкова, Массон*, 2008, с. 169).

Еще одно направление культурных и торговых контактов Южного Туркменистана второй половины IV тыс. до н. э., юго-восточное, намечается по редким находкам посуды с геоксюрской орнаментацией и женских статуэток в Северном Афганистане и Белуджистане (Фуллолский клад, Саид-кала)[1], а также украшений (бусины и пронизки) из лазурита и обожженного стеатита в погребениях времени позднего Намазга II – раннего Намазга III на Геоксюр 1 и Кара-депе (*Массон*, 1962, с. 8, 9, 22, 42, табл. X: *1–3*; *Сариниди* 1965, с. 15–17, рис. 11: *6–8, 11–16*). Этот путь шел, вероятно, через Серахское поселение вверх по Теджену-Герируду и затем разветвлялся на восток в Северный Афганистан (Фуллол) и на юг – в Южный Афганистан и Юго-Восточный Иран (Мундигак и Шахри-Сохте), представляя собой, видимо, часть северного лазуритового пути.

Новый этап интенсивного развития межрегиональных контактов и сырьевой торговли населения Южного Туркменистана начинается в конце периода ранней – начале периода средней бронзы (третья четверть III тыс. до н. э.), когда на поселениях подгорной зоны завершается процесс формирования производственной базы специализированного ремес-

[1] В 2006 г. автор осмотрела женскую статуэтку из Белуджистана, хранящуюся в частном собрании в Венеции. Фигурка типологически идентична статуэткам геоксюрского типа, однако отличается от них структурой и цветом глины и ангоба. Видимо, она изготовлена мастером из Южного Туркменистана, но за его пределами и из местного сырья.

ла – экономической основы раннегородской цивилизации. Происходит прорыв в области теплотехники (высокотемпературный обжига изделий из камня, двухъярусные гончарные печи, литье по восковой модели)[1] и появляется новый тип транспортных средств – четырехколесные повозки, запряженные верблюдами (*Кирчо*, 2009). Одомашнивание в середине III тыс. до н. э. двугорбого верблюда-бактриана – этого «корабля пустыни» – резко увеличивало мобильность населения и сыграло принципиально важную роль в устойчивом развитии дальней сухопутной торговли в Средней Азии.

О прямых передвижениях людей из Южного Туркменистана свидетельствуют находки расписных сосудов типа позднего Намазга IV в материалах культуры Заман-баба (*Гулямов, Исламов, Аскаров*, 1966, табл. V: *1*) в низовьях Зеравшана[2], на Шахри-Сохте периода III (*Tosi*, 1983a, p. 138, pl. LXI, fig. 21; 1983b, pl. XLIV, fig. 90)[3] и сосуда типа раннего Намазга V в комплексе Саразм IV (*Lyonnet*, 1996, p. 49, fig. 38, *3*). В период позднего Намазга IV из района Кермана (Южный Иран) в Южный Туркменистан начинает поступать стеатит (*Кирчо*, 2005, с. 418), причем на импорт сырья, а не изделий указывают находки на Алтын-депе незаконченных (сломанных в процессе производства) сосудов и местные типы печатей из этого камня. С интенсивными культурными и торговыми взаимодействиями начала периода средней бронзы связан и комплекс находок из «святилища» времени раннего Намазга V, где представлены древнеиндийская печать и бусины из слоновой кости, а другие изделия имеют близкие аналогии на Тепе Гиссар периода IIIB или связаны с древневосточными традициями (*Массон*, 1981, с. 75–77; *Кирчо*, 2005, с. 417). Таким образом, уже в начале периода средней бронзы население Южного Туркменистана активно взаимодействовало с основными центрами цивилизации того времени и со всеми окружающими культурами и сырьевыми районами, а освоение земель древней дельты Мургаба, начинающееся во второй половине III тыс. до н. э., проходило в условиях резкого усиления межрегиональных контактов.

В последние века III тыс. до н. э. в налаженных транспортных коридорах – от Южного и Северного Ирана (с выходами на Древнюю Индию, Месопотамию и Переднюю Азию) до Южного Таджикистана – ключевую роль начинает играть Маргиана, где начинался путь на Амударью и Зеравшан к сырьевым богатствам севера Средней Азии. Именно монопольное положение страны Маргуш на этом древнем торговом пути и послужило экономической основой расцвета маргианской цивилизации на рубеже III–II тыс. до н. э. – периоде, к которому относятся монументальный дворцово-храмовый комплекс и основная масса элитных и «царских» захоронений Северного Гонура (*Зайцева и др.*, 2008, с. 173). К этому же времени (позднее Намазга V), судя по находкам на полах помещений, относится и крупная меднолитейная мастерская, находившаяся рядом с монументальным комплексом (*Дубова*, 2008). Скорее всего, Гонур Депе конца III – начала II тыс. до н. э. являлся не только административно-культовым, но и производственно-торговым центром древней Маргианы, каким был позднее, уже в историческое время, Древний Мерв.

---

[1] Самая ранняя перегородчатая печать, отлитая по восковой модели, найдена на Алтын-депе в погребальной камере конца периода Намазга IV.

[2] Возможного района импорта изделий из халцедона и бирюзы. В инвентаре захоронений культуры Заман-баба представлены также металлические предметы, терракотовая статуэтка и бусины, близкие южнотуркменистанским (*Гулямов, Исламов, Аскаров*, 1966, табл. V: *4, 5*; XVI: *1–5, 7, 9, 10, 14, 18*).

[3] Транспортировка на дальнее расстояние расписного сосуда-хума, найденного в горизонте 4 Шахри-Сохте, представляла значительные трудности. Возможно, он был сделан на Шахри-Сохте мастером из Южного Туркменистана.

Однако неустойчивый характер земледелия, связанного с мигрирующими водными источниками в тяжелых климатических условиях II тыс. до н. э. и довольно высокая мобильность населения, обеспеченная надежным транспортом, приводят к резкой децентрализации. В результате дальнейшей культурной и торговой экспансии на восток и юго-восток возникают оседло-земледельческие поселения эпохи бронзы в бассейне Амударьи – культура Сапалли и памятники Северного Афганистана II тыс. до н. э. (*Сарианади*, 1977). Процессы расселения охватывают гигантские территории от Маргианы до района Кветты на юге и Ферганы на северо-востоке. В то же время наиболее крупные центры этого времени – Тоголок 21, Джаркутан, Дашлы 3, имели, видимо, не столько административно-производственные, сколько религиозно-культовые функции. Рассредоточенный характер расселения и, соответственно, производства продуктов земледелия, скотоводства и ремесла вероятно в какой-то мере компенсировался активными торгово-обменными связями. Скорее всего, уже во II тыс. до н. э. складываются торговые маршруты, которые позднее послужили основой среднеазиатской части трансконтинентальной системы Великого Шелкового пути.

Литература

Гулямов Я. Г., Исламов У., Аскаров А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. Ташкент, 1966.

Дубова Н. А. Мастерская по производству сплавов на основе меди Северного Гонура // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 94–104.

Зайцева Г. И., Дубова Н. А., Семенцов А. А., Реймар П., Мэллори Дж., Югнер Х. Радиоуглеродная хронология памятника Гонур Депе // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 166–179.

Исаков А. И. Верховья Зеравшана в эпоху энеолита и бронзы (к проблеме многоочагового развития Средней Азии в раннеземледельческую эпоху). Автореферат … д-ра ист. наук. Л., 1991.

Кирчо Л. Б. Погребальный инвентарь Алтын-депе // Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын-депе). СПб., 2005. С. 347–421.

Кирчо Л. Б. Древние связи населения Южного Туркменистана и долины Зеравшана (начало формирования торговых путей в Средней Азии) // Записки ИИМК РАН. № 2. СПб., 2007. С. 193–208.

Кирчо Л. Б. Основные направления и характер культурных взаимодействий населения Южного Туркменистана в V–III тыс. до н. э. // Stratum Plus. 2006–2007. № 2. СПб. – Кишинев – Одесса – Бухарест, 2008. С. 377–395.

Кирчо Л. Б. Древнейший колесный транспорт на юге Средней Азии (новые материалы Алтын-депе) // Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (37). Новосибирск, 2009. С. 25–33.

Кирчо Л. Б., Коробкова Г. Ф., Массон В. М. Технико-технологический потенциал энеолитического населения Алтын-депе как основа становления раннегородской цивилизации». СПб., 2008.

Масимов И. С. К вопросу об освоении низовий Мургаба древнеземледельческими племенами // Известия АН Туркменской ССР. Серия обществ. наук. № 2. Ашхабад, 1979. С. 72–77.

Масимов И. С. Истоки древнемургабской цивилизации // Культурное наследие Туркменистана (глубинные истоки и современные перспективы). Материалы к международной научной конференции. Ашхабат-СПб., 2000. С. 25–26.

Массон В. М. Памятники развитого энеолита Юго-Западной Туркмении. М.-Л., 1962.

Сайко Э. В., Терехова Н. Н. Становление керамического и металлообрабатывающего производства // Становление производства в эпоху энеолита и бронзы. М., 1981. С. 72–122.

Сарианиди В. И. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении. М., 1965.

Сарианиди В. И. О великом лазуритовом пути на Древнем Востоке // КСИА АН СССР. Вып. 114. 1968. С. 3–9.

Сариниди В. И. Древние земледельцы Афганистана (Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969–1977 гг.). М., 1977.

Сариниди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Сариниди В. И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. Ашхабад, 2002.

Сариниди В. И. Гонур-депе. Город царей и богов. Ашхабад, 2005.

Хлопин И. Н. Памятники развитого энеолита Юго-Восточной Туркмении. Л., 1969.

Korobkova G. F., Sharovskaya T. A. Stone tools from Ilgynly-depe (Turkmenistan): the evidence from use-wear analysis // New archaeological discoveries in Asiatic Russia and Central Asia. Sankt-Petersburg, 1994. P. 27–30.

Lyonnet B. Sarazm (Tadjikistan) céramiques (Chalcolithique et Bronze Ancien). P., 1996.

Solovyova N. F,. Yegor'kov A. N., Galibin V. A., Berezkin Yu. E. Metal artifacts from Ilgynly-Depe, Turkmenistan // New archaeological discoveries in Asiatic Russia and Central Asia. SPb, 1994. P. 31–35.

Tosi M. Development, continuity and cultural change in the stratigraphical sequence of Shahr-i Sokhta // Prehistoric Sistan. I. Rome, 1983a. P. 127–180.

Tosi M. Excavations at Shahr-i Sokhta 1969–1970 // Prehistoric Sistan. I. Rome, 1983b. P. 73–125.

S. Kuehn

ON THE ROLE OF THE SERPENT AND THE QUADRUPED DRAGON WITHIN THE ICONOGRAPHY OF THE MYTHOLOGICAL SCHEME OF THE OXUS CIVILISATION

A rich material culture flourished in the Central Asian Bronze Age culture of the region around the upper Oxus River (Amu Darya). Evidence so far uncovered shows it to be characterised by a distinctive iconography and style suggestive of a complex ideological system. Based on primary human concerns this system relates, to a large extent, to the quest for fecundity and reproduction in flora and fauna within the cycles of nature and life. The material remains from the settlements of the Oxus civilisation (late third to the early second millennium BC) comprising present-day Turkmenistan (particularly in Margiana along the Murghab River), Tajikistan, and Uzbekistan/Northern Afghanistan (ancient Bactria), revealed a vast and rich repertory of motifs executed in a variety of styles. The serpent and the quadruped dragon are a vital ingredient and, as will be shown, a pivotal point in the iconographical scheme of the Central Asian Bronze Age.

Much research has been devoted to interpreting existing evidence for an iconographical mythological scheme within the so-called Oxus civilisation. It has been studied by a number of archaeologists from the former Soviet Union, foremost among who is Viktor Sarianidi, whose excavations in the Dashly oases of Afghanistan and later in the Margiana oases of Turkmenistan provide the principal data of the cultural complex, now commonly referred to as the Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC). The iconographical scheme based on what is so far known of the BMAC was analysed by different scholars within the framework of contemporary cultural paradigms.

It was analysed by Victor Sarianidi within an Indo-Iranian framework and related to parallels in the Syro-Anatolian glyptic of the early second millennium BC (see esp.: *Sarianidi*, 1998, 2000). Marie-Hélène Pottier's 1964 dissertation (*Pottier*, 1984, p. 79–88, 170–174) looks at the BMAC dragon in terms of comparable mythical creatures in the Iranian borderlands as well

as the Mesopotamian *mushhushshu*. Pierre Amiet has suggested strong connections between the BMAC and the flourishing civilisation of the eastern Elamite kingdom at Shahdad, Tepe Yahya and particularly Susa of the Akkadian period (from 2334 to 2193 cc. – *Amiet*, 1979, p. 333–352) but also acknowledged certain Syro-Hittite similarities (*Amiet*,1978, p. 162; 1986, p. 149, 196–205, figs. 107, 173, 180–184, 189). He expresses the opinion that the serpent and the moufflon were sacred animals even for the earliest inhabitants of the Iranian plateau and Susa in Khuzestan (*Amiet*, 1966, p. 28). Serpents played an important role in the art and iconography of the Elamites appearing on cylinder seals and statuary of the second millennium BC from Susa (*de Miroschedji*, 1981, p. 1–25; *Wiggermann*, 1997, p. 44–46), hence both Pierre Amiet and Pierre de Miroschedji (*de Miroschedji*,1981, p. 1–25) interpret the iconographic aspects of the BMAC in terms of Elamite terminology. Overall Amiet (1978, p. 163) surmises that the BMAC emerged as enriched by crosscurrents considerably more distant than conceivable at present, but he allocated the BMAC a firm place within the evolution of the international civilisation of the Eastern Iranian world. Asko Parpola (1993) interprets the BMAC mythological scheme in the light of the «Aryan migration» theory. Others have noted contributions from the Indus Civilisation (*Jarrige, Jarrige, Meadow, Quivron*, 1996), although the known scheme of Indus iconography is not comparable with Oxus representations (*Francfort,* 1992, p. 181), and renderings of serpents and dragons are almost completely absent in the art of the Indus civilisation. Among the rare representations of serpents in the art of the Indus Valley, see: *Parpola*, 1990 (p. 269, fig. 1 [M-453 = DK 7991]) and *Aruz*, 1998 (p. 16, nt. 14; fig. 7) who suggests that on account of the poor composition of the seal it may have been carved outside the Harappan centre.

While recognizing economic, diplomatic and dynastic exchange links primarily with the Elamite world, but also with the Near East and the Indus Valley, Henri-Paul Francfort sees the Oxus civilisation as «an original expression of a more general Eurasian mythological universe of very ancient origin» (*Francfort*, 1994, p. 406; cf. 2001), which he considers to be «notably different from the usual and well-known interpretive schemes of the Mesopotamian, Indus or Avestan mythologies» (*Francfort*, 1994, p. 407; cf. 1992, p. 179–208). Francfort's research on the iconography of the Oxus civilisation and the conclusions he reached, have to some extent been paradigmatically adopted and followed throughout this study, which aims to re-trace some aspects of the evolutionary path of the serpent-dragon iconography within the symbolic system of the BMAC.[1]

Overall, in representations of the dragon on artefacts from Bactria-Margiana, the ophidian aspect is the defining feature. Owing to its kinship with the dragon, the serpent and its composite expressions are also closely linked to manifestations of the quadruped dragon (cf.: *Francfort*, 1994, p. 408). Just as in the neighbouring civilisations of Eastern Iran and Mesopotamia, the closely associated ideas of serpent and dragon are embodied as «ophidian dragon», or giant serpent, as well as «quadruped dragon» with an ophidian head and elongated neck projecting from a quadruped body, referred to as «composite lion-dragon ... [which] seems to be an Oxus civilisation original creation and not a copy of the early Mesopotamian lion-dragon» (*Francfort*, 1994, p. 409). This quadruped dragon also seems to beget snakes (*Francfort,* 1994, p. 409). There is moreover a third dragon, an anthropomorphised version, which was discussed in detail by the same author (*Francfort*, 1994, p. 409–412, figs. 2–5).

As in the preceding and surrounding civilisations, this iconography does not seem to have had a canonical expression, but took on a variety of characteristics according to period, location and local iconologies as well as «foreign» influences. In the absence of textual or oral traditions

[1] I would like to thank Professor Henri-Paul Francfort for his insightful responses and comments to an earlier draft of this paper.

relating to the Oxus civilisation, it is the known, and by its very nature of course provisional, corpus of material evidence that must be interrogated in addressing the role of the dragon within the iconography of the mythological scheme.

The serpent dragon and the quadruped dragon

When poisonous snakes strike, the venom ejected through their two fangs, located in the upper front portion of the mouth, can kill their prey. The serpent is thus characterised as death-dealing. Yet at the same time these reptiles are associated with a highly complex and ambiguous symbolism. In entering and leaving holes in the ground, they may symbolise the fertilisation of the earth; moreover, their natural tendency to emerge from flooded lairs has given rise to their association with pluvial and fluvial myths.

The ancient Eurasian conception is in direct causal relation with. The climatic change of the seasons characterised by extremes of heat and cold and periods of drought. The serpent is a vehicle chosen to express this seasonal alternation since it restrained the underground waters in winter, causing drought, and withheld them until the arrival of spring (*Van Buren,* 1946; de *Miroschedji*, 1981; *Francfort,* 1994). The patterns of winter hibernation displayed by many reptiles reptiles, including snakes and lizards, were associated with the seasonal ebb and flow of fecundity, fertility and reproduction. This ancient Eurasian conception of the life cycle, reflecting the daily concerns of hunters and pastoralists, is thus expressed within the Oxus mythological pantheon through the various manifestations of the dragon, an iconographic theme profoundly rooted in the pre-agrarian conceptions that continued to resonate through the ancient agrarian societies of Bactria-Margiana (*Francfort*, 1994, p. 414).

While certain characteristics in the iconography of the mythical dragon may conceivably be attributable to any of the class of crawling reptiles indigenous to Central Asia, its iconography is primarily snake-like. Indeed, it often takes the form of a giant serpent. On BMAC artefacts it can be observed how the natural substratum of the serpent evolved into that of a reptile of mythology and art. The latter is occasionally depicted with a single curved horn and a goatee-like beard projecting from the chin, and takes on a yet more clearly defined composite and mythological nature when it is portrayed with wings and, occasionally, with small forelegs.

Depictions of ophidian dragons abound in the material culture of the Oxus civilisation. A small chlorite vessel is circumscribed at the exterior with an ophidian dragon whose long tail is demarcated by equidistant stars and gradually tapers to a point ending in an inward curl. Rendered in the same manner as in Mesopotamian and Elamite imagery, stylised arch-shaped «mountains» in the form of three and six staggered mounds feature in the bends of the massive scrolling body (fig. 1).[1]

The heads of the ophidian and quadruped dragon are virtually interchangeable. Each is characterised by a flattened ophidian head that is often portrayed with large deeply set rounded eyes and, at times, with small rounded ears, open jaws revealing the teeth and fangs and a forward thrusting tongue with bifid tip. Moreover, the head is frequently crowned either by a single forward curving horn or by a spiky crest and has a forward curving goatee-like beard projecting from its chin. The horned aspect, in particular, attests to the dragon's supernatural qualities.

[1] In the visual language of Bactria-Margiana these semi-circular protrusions are composed of staggered mounds of three, six or nine. Cf.: *Sarianidi*, 1986b, figs. 33, 17; *Francfort*, 1992, **p. 198, nt. 8.**

Fig. 1. Cylindrical jar with scrolling ophidian serpent-dragon and mountains. Grey chlorite. Height 6 cm, diameter 7.5 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria.
After *Pottier*, 1984, pl. XXVIII, fig. 225

The quadruped dragon's a polymorphous mythological being, depicted in a variety of ways, in which several discordant elements have been transformed and combined in a complex pattern of zoomorphic junctures. It presents a unique fusion of the physical characteristics of animals renowned for their exceptional qualities. The quadruped serpent-dragon's head sits on a sinuous neck, frequently elongated, suggestive of a reptile. His ophidian nature is often further emphasised by a scaly pattern that covers part or all of the body, which is represented as that of a muscular feline, most likely a lion, conveying leonine courage and ferocity. The dragon's avian features are apparent in its wings. The powerful duality of the serpent-dragon is thus manifested in its reptilian and avian qualities, i.e., chthonian/terrestrial and celestial aspects, which according to the season could be interpreted as generative and life-giving or destructive and death-giving (*Francfort*, 1992, p. 202). In contrast to its Mesopotamian cousins, the Oxus dragon is not visibly associated with the scorpion.[1]

The essence of the BMAC dragon is imparted in a snarling, standing, quadruped serpent-dragon represented in profile on a mosaic wall panel composition from the "royal" tomb 3210 in North Gonur depe. The elongated sinuous neck terminates in a reptilian head topped by a single rather long, curved horn tapering to a point and a goatee beard projecting from the chin and curving forward. The large, rounded eye is set deeply beneath the jutting forehead with a small, rounded ear at the back of the head, while corrugations in the foreshortened snout probably underline the beast's ferocity. Its wide-open mouth reveals teeth and fangs. The artist evokes the dragon's strength through the heavily built, splayed legs and clearly defined four-taloned paws which emphasise the musculature of the leonine body. The raised sinuous neck, breast and underbelly are accentuated by red pigment. The large, staggered fan-shaped wings, with delineated feathery segments, are spread backwards, and its raised tail curls stiffly above the back (fig. 2).[2]

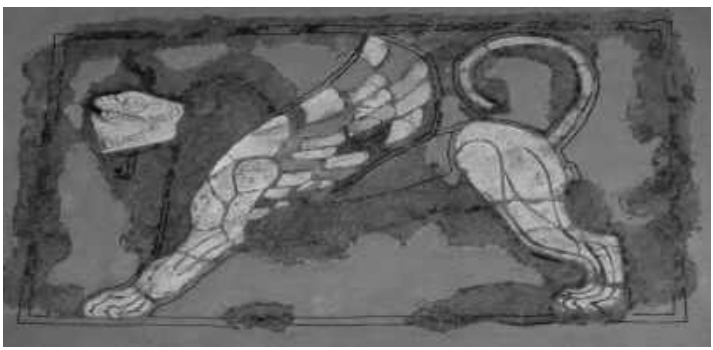


Fig. 2. Reconstructed mosaic wall panel composition with standing quadruped serpent-dragon. White stone, pigment. Southeastern Turkmenistan, Margiana, North Gonur, Royal necropolis (Tomb 3210).
Turkmenistan, Exhibition Hall, Ashgabat. Photo by the author.

[1] A notable exception forms the depiction of a «lion-dragon» with scorpion tail on a gold seal (*Ligabue, Salvatori,* 1988, p. 203, fig. 60). I would like to thank Professor H.-P. Francfort for drawing my attention to this seal.

[2] For a depiction of the panel *in situ*, see: *Sarianidi*, 2008, p. 211, fig. 122 and cover, and for a drawing of the panel. Also: p. 211, fig. 123 (the mythical quadruped is here identified as «winged lion»).

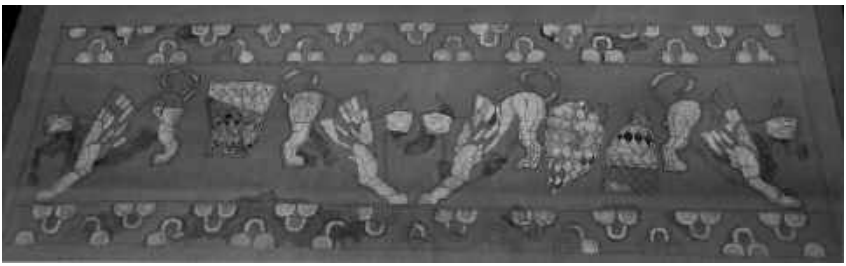


Fig. 3. Reconstructed mosaic wall panel composition with confronted pairs of quadruped serpent-dragons. White stone, pigment. Southeastern Turkmenistan, Margiana, North Gonur, Royal necropolis (Tomb 3210). Turkmenistan, Exhibition Hall, Ashgabat.
Photo by the author.

On a frieze, paired dragons of the same type and in the same attacking stance, the hindlegs somewhat higher than the forelegs, are antithetically arranged in what appears to be a heraldic pose (fig. 3).[1] The pairs of dragons are separated by large, irregularly shaped motifs, possibly representing column fragments of the architectural setting, accentuated by a polychrome diamond-shaped pattern. The frieze is framed above and below by a row of trilobed motifs.

Quadruped dragons of a type closely related to those on the Gonur depe frieze are portrayed on a cylindrical flat-bottomed silver vessel with cover decorated in repoussé (fig. 4a, b). Five recumbent quadruped dragons in profile, including two antithetically placed pairs, circumscribe the exterior side walls of the silver bowl. The dragons' sleek elongated bodies extend belligerently forward. Their horned and bearded reptilian heads have globular eyes and open mouths, bare fangs and flickering reptilian tongues. The necks and underbellies are covered with a jagged mane indicated by hatching. The flame-like arched wings rise fanlike over the back and the curved tails are raised half-way. The lid of the vessel, which is topped by a central waisted cylindrical knob, depicts a procession of five radially disposed composite creatures whose lower bodies are in the form of a scaly fish tail. There is one anthropomorphic and four zoomorphic upper bodies. Since the dragons are depicted on the side walls of the vessel, it is tempting to assume that they played a protective role for the mythical creatures depicted on the lid.

Fig. 4. Cylindrical flat-bottomed vessel with cover with mythical creatures and recumbent quadruped dragons. Silver. Overall height 3.9 cm, diameter at bottom 10.2 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Private collection, Germany.
Photo by the author.

[1] For a depiction of the panel *in situ*, see *Sarianidi*, 2008, p. 208, fig. 117 and p. 210, fig. 121 (the mythical quadrupeds are here identified as "winged lions", see also p. 221), for a drawing of the panel, see p. 210, fig. 120.

Fig. 5. Pin with confronted quadruped serpent-dragons sharing one head. Silver. Southeastern Turkmenistan, Margiana, Gonur necropolis. After *Sarianidi*, 2002, p. 273, lower image.

Another pair of confronted standing dragons of a closely comparable type to those illustrated on the North Gonur wall mosaic is rendered as the finial of a silver pin excavated at Gonur necropolis. In this depiction, the antithetical quadruped bodies are depicted as sharing one frontally rendered reptilian head with open mouth (fig. 5). The upper forelegs of both leonine bodies rest on a central semi-circular protrusion. On both bodies the mane hair around the neck and chest is arranged in vertical strips indicated by hatching, one unfolded, striated wing is raised above the back, the other is folded and hangs down and the tails loop behind the haunches.[1]

Although the origins of the ophidian and the quadruped dragon iconography in the Oxus civilisation are uncertain, their individual renderings seem to point to the fact that they were conceived as independent symbols endowed with mythical, and perhaps supernatural, powers in their own right. The close kinship and virtual interchangeability of both ophidian and quadruped dragon are further shown in another wall mosaic from tomb 3210 at North Gonur depe which shows an ophidian dragon rendered with the same head as the quadruped dragons portrayed on the wall mosaics (figs. 2, 3), but with an ophidian body which is demarcated by contiguous heart-shapes. In its jaws it holds the hindquarters of an ungulate, perhaps a mouflon, which it is generally thought to be devouring (*Sarianidi*, 2008, p. 212). An alternative reading suggests that the ungulate is emerging from the dragon's maws (fig. 6).[2]

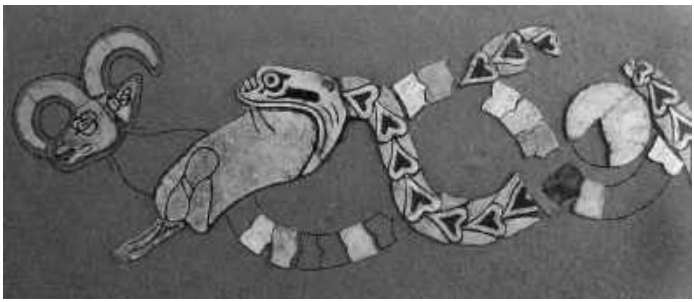


Fig. 6. Reconstructed mosaic wall panel composition with ophidian dragon holding the hindquarters of an ungulate, perhaps a mouflon, in its jaws. White stone, pigment. Southeastern Turkmenistan, Margiana, North Gonur, Royal necropolis (Tomb 3210). Turkmenistan, Exhibition Hall, Ashgabat. After *Sarianidi*, 2008, p. 212, fig. 125..

If the motifs on either side of a seal are to be seen as related in some way, recurrent pairings of the ophidian and the quadruped dragon would further emphasise their close association.

[1] A silver pin with a finial in the form of a single dragon of closely related type is preserved in the Metropolitan Museum of Art, New York (gift of the Norbert Schimmel Trust, 1989, inv. no. 1989.281.44) featuring the dragon seated on its haunches with raised tail, its reptilian head open-jawed revealing the fangs, the neck covered with a bristling striated mane and the upturned cusped wings with finely veined feathers.

[2] A closely related mosaic composition is found in the same tomb 3210 with a giant ophidian dragon, its body covered with fine scales, holding the belly of an ibex in its jaws so that its prey is lifted off the ground and rendered in upright position (*Sarianidi*, 2008, p. 213, fig. 126). An associated depiction forms the handle of an ivory cosmetic spatula from Gonur royal necropolis which is carved in the form of a quadruped (?) dragon with the same ophidian head as featured on the wall mosaics and with large, raised wing holding the hindquarters and belly of a young, unhorned ungulate in his jaws with only the raised head, neck and folded forelegs projecting (*Sarianidi*, 2008, p. 92, fig. 34).

Engraved on one face of a Bactrian lozenge-shaped stone seal with crenelated outline is a giant reptilian dragon in undulant locomotion. The outlines of the undulant body are markedly serrated and the small protrusion at mid-section may denote a small wing. On the other face a quadruped dragon is also rendered in profile with what appears to be a bristling, spiky crest and fanned wings, which intersect with the long tail that curves over the back (fig. 7a, b).[1] The heads of the mythical creatures are closely comparable, with jutting foreheads, globular eyes and elongated bulging snouts whose gaping jaws are serrated at the upper lip.

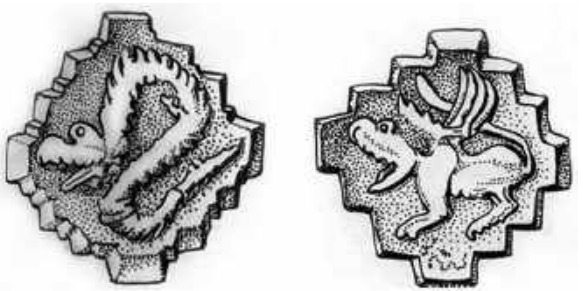


Fig. 7a, b. Two-sided lozenge-shaped stamp seal of crenelated outline with undulant ophidian serpent-dragon and quadruped serpent-dragon. Southeastern Turkmenistan, Margiana. After *Sarianidi*, 1986a, p. 231, upper drawing.

Fig. 8a, b. Seal impression of cushion-shaped two-sided stamp seal of square outline with undulant ophidian serpent-dragon and quadruped serpent-dragon protome. Steatite. Southeasterm Turkmenistan, Margiana. After *Sarianidi*, 1986a, p. 266, second seal from top.

The glyptics of the Oxus civilisation comprise a great variety of intaglio carved stone seals, frequently of square or rectangular outline with lentoid or three-edged section, classified as «Murghab-style» seals,[2] drilled for the most part with one string hole through the longitudinal axis. Some of these seals were found near the neck or wrists of the deceased in burials excavated at Margiana and thus are thought to have been worn as amulets (*Sarianidi*, 1986a, p. 223). However, imprints of these seals have also been discovered on oval and round bullae, suggesting the further possibility of some form of utilitarian function (*Hiebert*, 1994a, p. 152). A two-sided steatite seal of rectangular outline from Margiana carries a comparable pair of ophidian and quadruped dragons, the overall depiction showing analogous stylistic similarities. On one face the ophidian body is shown in its entirety with a small projection at the top, again possibly meant to indicate a small wing, while the second face shows the protome only of the quadruped dragon, with jagged mane and long flame-like wings. Both dragons are shown with raised foreleg, in what might be a symbolic or heraldic stance (fig. 8a, b). These close iconographic relations between the ophidian dragons and the quadruped dragons suggest a similarly close semiotic context, although the quadruped type appears gradually to predominate.

A vital attribute of the serpent in the Oxus civilisation, shared with the quadruped dragon, is its primary involvement in all aspects of fecundity, fertility and reproduction. Its association with abundance in flora and fauna, and hence with sustenance, is represented on a two-sided rectangular stamp seal of lenticular section with central perforation, now in the Metropolitan Museum in

[1] A closely comparable winged quadruped dragon is depicted on a serpentine seal amulet fragment of rectangular outline found in excavations at the late Bronze Age oasis Dashly I in Northern Afghanistan which was excavated by Sarianidi (*Sarianidi*, 1986a, p. 230, drawing at bottom right; and 1977).

[2] Named after the Murghab river which is associated with the settlements of Margiana (*Sarianidi*, 1981b, p. 221–255; *Amiet,* 1986, p. 190, 197, fig. 189 *a–d*).

Fig. 9a, b. Seal impression of cushion-shaped two-sided stamp seal of rectangular outline with serpent-dragon issuing from a plant and quadruped serpent-dragon "begetting" a serpent. Iron and manganese oxide seal. Height 2.8 cm, length 2.3 cm, thickness 0.9 cm. Putative origin: Southern Turkmenistan. New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. no. 1984.383.29. After *Pittman, Aruz*, 1987, p. 63, fig. 41..

New York. On one side of the seal a sinuous open-jawed serpent is depicted as emerging from a large central burgeoning plant that grows from the bottom edge of the seal. The broad stem is flanked by a pair of fleshy veined petals and bears a budding flowerhead, perhaps representing *assa foedita*.[1] On the second face a quadruped dragon is rendered with a striated bristling mane swept towards its gaping ophidian head which is punctuated with a large, globular eye. Its flame-like slender wings curve backwards and intersect with the raised wiry tail that curls above the back. From beneath its belly springs an elongated curving serpent-like projection that rises and terminates just beneath the dragon's chin. This serpentine projection has been called the «invigorating semen» or the «seed of life» (*Sarianidi*, 1998, p. 63) and is thought to be directly related to conceptions of fertility and reproduction (fig. 9a, b).

The combination of vegetal compositions with a quadruped dragon of the type depicted above can be seen on a two-sided black serpentine Murghab-style amulet-seal of rectangular form. One side is decorated with a trefoil and the other side with a winged standing dragon with a wriggling serpent-like extension springing from its belly.[2] A near identical seal found in Togolok in Margiana similarly featuring a quatrefoil in and, on the other side, a small undulating serpent-like projection emerging from the quadruped dragon's belly (fig. 10a,b).

Significantly, quadruped dragons thus appear to «beget» sinuous snake-like projections. Furthermore if the imagery on the two sides of the above seals is in some way related, the juxtaposition of the iconographies of the serpent emerging from the budding plant and the dragon «engendering» a «serpent» appear to be further evidence of the close kinship of the serpent and the dragon, both illustrating their vital role in the reproduction process and, by inference, perhaps symbolising also the life-giving aspect of the animal world.

The repetition and consistent treatment of certain themes suggests that they are part of an original symbolic system of images, perhaps representing the stages of the natural life-cycle (cf.: *Francfort*, 1994, p. 413f). Both the ophidian and the quadruped dragon seem to have been accorded a defined role and are deeply rooted within the iconography and ideology of the Oxus civilisation (*Francfort*, 1992, p. 181). Some of the artefacts were found in a funerary or sanctuary context indicating that this symbolic system was perhaps considered essential at a time of death and interment.

The symbolic depiction of interlaced serpents seems to be of remote antiquity, and may reflect the mating habits of certain species of snakes, whose bodies are entwined during copulation. By virtue of its ability to slough its skin while remaining alive, the serpent also served as a symbol of renewed life. They are among those reptiles who literally grow a second skin and then shed the old one, some snakes twisting themselves into a knot to rub away the old skin with their

[1] I am grateful to Professor H.-P. Francfort for this suggestion.

[2] The seal is described but not illustrated by V. Sarianidi (1986a, p. 234f).

own bodies. Similarly, some lizards shed the skin from the entire body all at once. The reptilian capacity to cast off old skin was understood as proof of their power to renew their youth.

Fig. 10a, b. Cushion-shaped two-sided stamp seal of rectangular outline with quatrefoil and quadruped serpent-dragon "begetting" a serpent. Southeastern Turkmenistan, Margiana, Togolok. After *Sarianidi,* 1981a, p. 174, fig. 4, centre right of upper row of 'amulets'.

The powerful regeneration and rejuvenation symbolism of the serpent is a well-known topos in Near Eastern myths. The eternal serpent occurs in the *Gilgamesh Epic*, which is dated to *c.* 2400 BC but probably contains a very much older tradition, in which the serpent is described as stealing the herb of youth, or plant of life, from the hero Gilgamesh. Its youth is thus renewed, and it then attains immortality by sloughing its skin. Although nothing can be said with certainty, this reptilian aspect might also have been symbolically connected in the BMAC with the ability of the serpent to renew life, to prolong it, and by extension to attain «immortality». The possibility is worth noting since, in addition to the reproduction and fertility aspect, this aspect might have been a further stimulus for the manifold renderings in the Oxus civilisation of serpent-dragons in knotted form.

A recurrent motif in the BMAC is an infinite knot which occurs on glyptics and ritual implements (*Sarianidi,* 1998, p. 145f. Cf. a circular reddish steatite seal with loop handle from South Gonur – *Hiebert,* 1994a, p. 151, fig. 9: *26.7.* For a stone seal-amulet from Gonur «palace», see: *Sarianidi*, 2002, p. 230). A quadripartite infinite knot figures prominently on a domical copper alloy knob cast in openwork that crowns a schist ceremonial sceptre-staff unearthed from a grave chamber at the northern wall of the central entrance to the fortified palace of North Gonur (*Sarianidi,* 1998, p. 73, fig. 33, no. 2–35). Evidently the motif was of importance symbolically, perhaps imbued with ritualistic significance. The same quadripartite motif was sometimes composed of four serpent coils threading in and out (*Sarianidi*, 1998, p. 145f). Another stone seal of square outline discovered at Togolok is intaglio engraved on one face with such a composition. The four corners of the interlace are demarcated by horned dragon heads in profile with long curving snouts (not to be confused with bird beaks), jaws agape, oriented clock-wise and sharing the same infinitely knotted reptilian body which is either «swallowed» or, a second possibility that may be tentatively suggested, issues from their jaws. Featured on the other face of the seal is a recumbent quadruped dragon with an exceedingly long neck topped by a slightly raised head regardant. The latter is portrayed with elongated curving wide-open snout, its exceptionally large wings depicted as curved parallel lines with fine cusped tips swept backwards while a short tail curls above the haunches (fig. 11a, b). Of note are, moreover, the close stylistic similarity in the portrayal of the head of the recumbent quadruped dragon and those of the knotted interlace.[1]

The serpentine quadripartite infinite knot motif on BMAC glyptics recalls a closely related depiction of the motif on a bitumen compound architectural tile excavated from the substratum of the sanctuary of the goddess Ninhursag in Susa, dated *c.* 2600 to 2500 BC, now preserved in the Musée du Louvre, Paris (fig. 12) (Cf.: *Mecquenem*, 1953, pl. XVII, no. *8*; *Amiet*, 1966, fig. 307; *de Miroschedji,* 1981, pl. XI: *3*; *Hiebert, Lamberg-Karlovsky*, 1992, p. 12). However, in this

[1] The same motifs, the infinite knot composed of four clearly identifiable dragon coils on one face and a quadruped dragon on the second face, are represented on several other BMAC seals. Cf.: *Sarianidi,* 1986a, p. 230; *Hiebert*, 1994a, p. 151, fig. 914.6).

Fig. 11a, b. Cushion-shaped, two-sided stamp seal of square outline with infinite knot motif formed of four ophidian serpent-dragons and quadruped serpent-dragon regardant. Southeastern Turkmenistan, Margiana, Togolok.
After *Sarianidi,* 1981, p. 174, fig. 4, fourth row from bottom, centre.

instance the interlaced coils are composed of only two serpents with large confronted heads with hemispherical eyes rendered in profile and, importantly, with slightly gaping mouths which hold the tail ends. Stylistically related to the so-called «intercultural» style, and possibly executed by «des artistes cependant spécialistes du pseudo-style intercultural» (*Amiet*, 1986, p. 137), the architectural tile is carved in bas-relief depicting what is perhaps a ritually significant scene.[1] It appears from this that the infinite knot motif may have also had some cultic meaning in Susian ritual ceremonies. It is of note that instead of the four clockwise oriented knotted serpents that are portrayed on BMAC glyptics only two serpents in confronted position occur on the Susa tile. Depictions of these multiple intertwined serpents have been related to the symbolism of the tail-eating serpent (much later known by the Greek name *ouroboros*) (Cf.: *Needham, Wang*, 1965, p. 375, nts. *f, a, b,* with references).

Artefacts related to the Oxus civilisation, or actual imports from Central Asia, were discovered throughout the Iranian Plateau, pointing to an increase in intercultural interaction. The well known BMAC votive copper alloy axe head, now in the Musée du Louvre in Paris, was apparently carried onto the Iranian Plateau and further to Susa, a centre of the Elamite federation (*Amiet*, 1986, p. 196), where it was discovered among the objects unearthed from below the foundations of the temple of the chthonic god Inshushinak, guardian deity of Susa. The shaft of the axe head is cast in the form of a dragon's neck topped by a head whose gaping jaws emit the splayed blade. The head with bulging eyes is crowned by a single prominent horn, a curled beard projects from the chin. The upper muzzle is foreshortened and has a rounded tip, while, interestingly, the upper tip of the issued blade ends in an inward curl. A small bird's head with raptorial beak issues from the back of the dragonhead and a wing-like projection springs from the socket in the form of the dragon's neck (fig. 13).

Fig. 12. Infinite knot motif formed of paired serpents, detail on an architectural tile with male figures and quadruped. Bitumen compound. Height 25 cm, width 21.5 cm, thickness 8.5 cm. Iran, Susa, Acropole, temple of Ninhursag. c. 2600-2500 BC. Paris, Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, inv. no. Sb 2724. Photo by the author.

According to Pierre de Miroschedji (1981, p. 20) the mace head originates in Kerman, whereas Pierre Amiet proposes a western Central Asia provenance. Another closely related cop-

[1] It shows a pair of confronted standing nude male figures with long loose hair, their bodies in three quarters view, one of their hands held close to their upper body and the other raised towards the centre just beneath the large quadripartite interlace; a small caprid standing between them.

Fig. 13. Axe head in form of a serpent-dragon head emitting the blade and a birdhead issuing from its neck. Copper alloy. Length 7.8 cm, height 7 cm. Iran, Susa. Paris, Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, inv. no. Sb 2888. After *Amiet,* 1966, fig. 307.

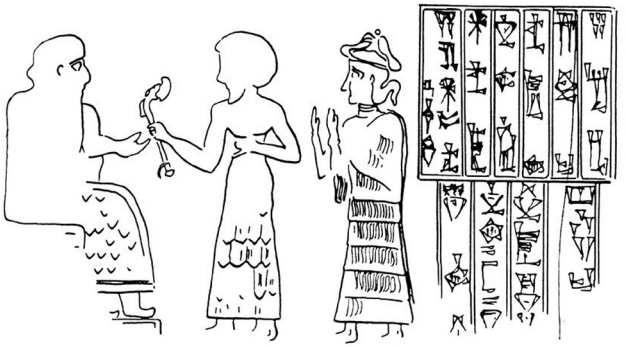


Fig. 14. Drawing of cylinder seal impression of Kuk-Simut. Clay. Height 2.6 cm. Iran, Susa. Reign of Idadu II, early 20th century BC. Paris, Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, inv. no. Sb 2294. After *Amiet,* 1972, no. 1677.

per alloy hammer-axe found in Luristan or in Kerman represents a closely related iconography, but the ophidian tail is depicted as coiled around the shaft (*de Miroschedji*, 1981, p. XI, fig. 4). A further comparable copper alloy axe of unknown provenance is in The Metropolitan Museum of Art, New York (gift of Nuri Farhadi and Habib Anavian; inv. no. 65.145.1; *Pittman*, 1984, p. 78, fig. 37). A related votive silver hammer-axe, dated *c.* 2000 BC, now in the Iran Bastan Museum, Tehran, was unearthed from a tomb in Susa (*Amiet*, 1966, fig. 175). Yet another version of the Tehran hammer-axe, formerly in the Iran Bastan Museum, Tehran, and lost today, is published in: de Mecquenem, 1934, p. 214 (fig. 58.6; 1953, fig. 2: *2*).

A more stylised version of such an axe, which still prominently depicts the wing-like protrusion, was excavated at South Gonur near a cenotaph (copper mace head discovered at South Gonur, cenotaph 41 [*Hiebert*, 1994. P. 162f, fig. 9: *26.6*]). The imagery shows a fusion of the bodies of the two eternal antagonists, their polarity expressed through the bird's chief characteristic, flight, which is antithetically emblematic to the dragon's subterranean attributes. However, in this axehead the opposites are joined, expressing at the same time the dual nature of the quadruped dragon and the essence of its iconography, ophidian and avian, amalgamated in a feline body.

The well known cylinder seal of the chancellor Kuk Simut shows him receiving a dragon-headed axe of this kind from Idadu II (c. 1900), governor of Elam and future king of Shimashki, named on the accompanying inscription as bestower of the seal (fig. 14). The scene underlines the ceremonial significance of this type of axe, which transmits the emblematic importance and prestige accorded to the dragon iconography both in the Iranian and the Central Asian worlds.

The fusion of avian and ophidian characteristics can also be observed on a small silver «stamp seal», classified as so-called «compartmented seal»,[1] recovered from Altyn depe, which

[1] This type of seal is relief cast in copper alloy, sometimes in silver and more rarely in gold, fabricated either in openwork or with closely related champlevй whereby the design was gouged out. The obverse of the seals is often decorated with fine incisions, and fitted with a central loop handle which was held to make an impression into another material by means of the perpendicular strips at the reverse that form compartments, often echoing the design at the obverse. Specimens are found along the trade routes throughout western Central Asia and Iran. Seals of this type have been excavated from gravesites and are generally found near a corpse's pelvic region indicating

Fig. 15. Compartmented loop-handled stamp seal in form of a tricephalic composite creature. Silver. Length c. 2.9 cm, width c. 4.6 cm. Southeastern Turkmenistan, Altyn Depe, necropolis (Excavation 5, Grave 60). Namazga V Period.
After *Baghestani*, 1998, p. 189.

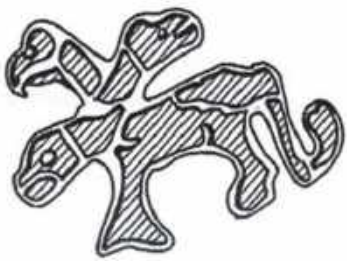


Fig. 16. Compartmented loop-handled stamp seal with standing anthropomorphic figure enclosed by two winged ophidian serpent-dragons. Copper. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. New York, Jonathan P. Rosen Collection.
After *Aruz*, 1998, p. 27, fig. 19.

is rendered in the form of a plastically modelled tricephalic composite creature. The three separate necks and heads grow out of a common quadruped body in such a way that each unit forms a separate corporeal entity depicting two ophidian heads that flank one raptor's head. The forelegs of the quadruped body appear to be rendered in the form of paired claws, hence perhaps aligned with the bird's head, while the feline hindlegs with elongated tail, enlivened with feathery incisions, that loops downwards and upwards to terminate in a rounded tip, may be linked with the two ophidian heads (fig. 15) (*Masson*, 1981, 1992, p. 234 – photograph upper section – and 242. Cf.: *Sarianidi*, 1986a, p. 242, 272, figs. 143, 145). The tricephalic convention was adopted in the distant Indus Valley as illustrated by seals found in Mohenjo-Daro and Harappa (*Mature* Harappan Period) (From Mohenjo-daro: *Shah, Parpola*, 1991, p. 135, *M-1169, M-1170, M-1171*. From Harappa, Mature Harappan Period III C: *Shah, Parpola*, 1991, p. Ai – *6 A*) and since Indus finds were unearthed in the same funerary complex, it may be presumed that the stimulus for the motif may have been caused by Indus examples.[1] It is however noteworthy that instead of the bovine or feline quadrupeds that were conventionally depicted on Indus seals, the heads of the prime protagonists of the Central Asian Bronze Age – the dragon and the bird of prey – were portrayed on this seal, with two of the three heads accorded to the dragon.

Serpents and quadruped dragons in relation to mythological figures and deities

a. The ophidian tamer

The iconography of the superhuman or supernatural hero, often related to the mythical «master of animals», ancestor both of legendary heroes and anthropomorphic gods (*Amiet*, 1966, p. 49, fig. 21; 1972, p. 72, nt. *7* and index p. 300; 1961, repr. 1980, p. 134), is often represented

that they may have been worn around the waist or attached to a belt (*Masson, Sarianidi*, 1972, з. 122), and hence possibly served as insignia with an ideological or amuletic function (*Klochkov*, 1999, p. 55, nt. *46*).

[1] A distantly related seal with comparable imagery from Tell Brak in Northern Mesopotamia, portrays the tricephalic motif (comprising three different quadruped types) in a more animated fashion and clearly connects it with a fecundity aspect, i.e., featuring a young animal between the composite quadruped's legs and the protome of another young animal springing forth from the rear (perhaps related to a «birth symbolism») (*Mallowan,* 1947, fig. XVI, no. *9*; *Amiet*, 1961, repr. 1980, fig. 8; 170).

in the form of a central figure flanked by a pair of antithetical ophidian dragons. Sometimes these figures are portrayed as composite anthropo-zoomorphic beings in different manifestations, possibly portraying therianthropes. The latter constitute some of the earliest known types of the serpent holder, which are predominantly portrayed on the so-called Luristan seals (*Barnett,* 1966; *von der Osten-Sacken*, 1992; *Amiet*, 1961, repr. 1980, pl. 6: no. *118*, pl. 116: fig. *1560A*, pl. 117, fig. *1567 B*; 1972, pl. 49, no. *222*; *Harper, Aruz, Tallon*, 1992, p. 45).

Fig. 17. Circular compartmented loop-handled stamp seal with seated anthropomorphic figure holding two ophidian serpent-dragons. Copper alloy. Diameter 7.3 cm, height including loop handle 1.2 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Germany, private collection.
Photo by the author.

The majority of the unhorned anthropomorphic and anthropo-zoomorphic figures flanked by giant serpents are rendered in the same canonical depiction with the head in profile, the torso (often in triangular outline) frontally oriented, the arms raised upwards at an angle, and the lower body oriented sideways. In particular the raised arms appear to be a canonical *koiné* and might represent a significant gesture.

Anthropomorphic and composite anthropo-zoomorphic figures flanked by serpents manifest an iconic motif known from northeast Mesopotamian and Iranian glyptics from the late fifth millennium BC onwards. During the Akkadian period a variety of partly theriomorph serpent-related deities developed (i. e., Ninazu/Tishpak, Ningishzida, Ishtaran, Inshushinak (?)) who were chthonic gods of vegetation, but whose influence declined in the second half of the second millennium BC and later played no longer a part in the Mesopotamian national pantheon. Ningishzida achieved great prominence as guardian of Gudea, ruler of Lagash, a city in South Mesopotamia which for a period of fifty to sixty years enjoyed great importance. The cult centres of the latter were all located across the Tigris near the Iranian mountains. Moreover their characteristics may have been developed through imported religious ideas from beyond the Tigris where, especially in Elam and the Iranian mountains, a religious interest in serpents goes back to pre-historic times (cf.: *Wiggermann*, 1997). In this context Francfort's suggestion (*De l'Indus a l'Oxus*, 2003, p. 38f, nt. *10*) that the celebrated libation vase of Gudea (*Parrot,* 1960, figs. 289, 290), now in the Musée du Louvre in Paris, could have been carved earlier than the reign of Gudea, is of interest. He tentatively proposes that it may have been brought to Mesopotamia from occupied Anshan or Susa.

A compartmented copper alloy seal from the Jonathan P. Rosen Collection in New York shows a diminutive, apparently nude, standing human figure, the head with large, circular eye presented in profile. The figure's arms, bent at the elbows, reach out to touch the mid-section of immense reptilian creatures that nearly enfold him with their curving bodies, their large confronted serpent heads touching at the apex above the figure's head. The latter's disproportionately short lower body and feet are somewhat awkwardly depicted in right profile and rest on the inner curve of the serpents' tails that terminate in outward curls. The serpents are enormous in comparison with the size of the figure and are portrayed with large cusped wings at mid-section that project outwards with tips terminating in curls. The cusped tip of the serpent's inner wing to the right appears to touch the figure's face (fig. 16).

The more unusual depiction of a male figure seated sideways on a chair is shown on a copper alloy seal of circular outline. The figure's upper body is frontally portrayed and demarcated by chevron-shaped bands; the lower body with shoes ending in upturned tips is oriented side-

Fig. 18. Seal impression of cushion-shaped, two-sided seal with standing anthropomorphic figure flanked by upright ophidian serpent-dragons and quadruped serpent-dragon marchant. Steatite or chlorite. Height 4.3 cm, length 4.7 cm, thickness 1 cm. Putative origin: Southern Turkmenistan. New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. no. 1986.311.2. After *Pittman, Aruz*, 1987, p. 62, fig. 39.

Fig. 19. Compartmented loop-handled stamp seal with an eagle flanked by ophidian serpent-dragons. Copper alloy. Length 7.9 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Tokyo, Ancient Orient Museum. After *Tanabe, et al*, 1983, p. 46, fig. 17.

ways. With raised hands he holds serpents whose bodies frame the seal, their tails forming a cusped protrusion at the bottom; short cusped wings project at mid-section towards the centre of the seated figure. Of significance may be that long tongues project from the gaping jaws of their large heads shown in profile. The tongue of the serpent to the right touches the back of the enthroned figure's head, while the tongue of the other to the left appears to touch the tip of the figure's prominent nose (fig. 17).

The motif occurs also on a Murghab-style stone seal featuring, on one side, a winged standing bearded figure with rounded eyes and muscular torso, flanked on either side by undulant, upright serpents whose heads appear not clearly defined. Of note is the depiction on the other side of a winged quadruped dragon in profile with diminutive ophidian head striding towards a branch which, should both sides of the seal bear some relationship to one another, might underline the close semantic relation between the two motifs (Fig. 18a,b).

b. The serpent and the bird

Together with the serpent, birds, especially raptors, are the most commonly recurring figural motif in the Oxus civilisation. The imagery of the heraldic bird flanked by huge serpents shows the canonical association of bird and serpent representing, according to Rudolf Wittkower, a confrontation «of cosmic grandeur» between «the most powerful of birds and the most dangerous of reptiles» (Wittkower, 1938–1939, p. 293).

It is significant that the predatory bird in heraldic pose is part of the same iconographical scheme as the standing «master of animals». This *koiné* is exemplified by a spread-winged eagle, its head turned to one side, almost entirely framed by gigantic undulating serpents, on a compartmented copper alloy seal from Bactria, now in the Ancient Orient Museum in Tokyo (fig. 19). The serpents' large heads surmount the eagle head and their tapering tails form an outward curl beneath its fanned tail feathers that sit on an inverted crescent. The splayed legs of the eagle rest on the curving serpent bodies, its wings overlapping with the upper bodies of the reptiles while the serpents' short forelegs rest on the eagle's shoulders.

A closely comparable version of the spread-winged predatory bird flanked by undulant upright serpents is engraved on one face of a Murghab-style rectangular stamp seal. On the other

Fig. 20. Seal impression of cushion-shaped two-sided stamp seal of rectangular outline with an eagle flanked by ophidian serpent-dragons and a quadruped serpent-dragon "begetting" a serpent. Southeastern Turkmenistan, Margiana, Togolok. Paris, Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, inv. no. AO 28.295. After *Francfort,* 1994, p. 408, fig. 1.

Fig. 21. Circular compartmented stamp seal with a bird-headed mythical figure flanked by ophidian serpent-dragons. Copper alloy. Diameter 6 cm, height including loop handle 1.9 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Los Angeles County Museum of Art, lent by Fitz Gibbon-Hale Collection. After *Thomas, Lentz,* 1985, p. 16, cat. no. 39.

side of the seal is a standing winged quadruped dragon with the tail curling above the back, its foreleg raised and "engendering" a long undulant serpent terminating in a gaping mouth which echoes the quadruped dragon's wide-open ophidian snout (fig. 20a, b). The spread-winged predatory bird in heraldic pose flanked by undulant motifs is also featured on one face of a Murghab-style rectangular stamp seal of biconvex section. On the other face of the seal is a stylised version of a standing winged quadruped dragon with ophidian head and tail curling above the back (Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, inv. no. AO *26.069*, Gift of Mohsène Foroughi; *Amiet*, 1978. p. 161, fig. 26). A further black serpentine seal from Margiana features on one side the same depiction, but the heraldic bird is flanked by addorsed dragons whose gaping snouts reveal a long tongue. The second face features a large scorpion (?) (*Sarianidi,* 2002, p. 271, central seal and impression).

Another manifestation of the heraldic bird is that of a bird-headed anthropomorphic figure. Indeed, this griffon-like mythical figure may be interpreted, as Francfort proposed, as «avatar of the bird of prey» (cf.: *Francfort*, 1992, p. 181–192, 197). It is portrayed on a compartmented copper alloy stamp seal with a human body, the profile head demarcated with the distinctive beak of a bird of prey, represented in the same canonical posture as the «master of animals» with frontally rendered torso and sideways oriented legs with slightly upturned shoes. The figure's muscular arms emerge from broad shoulders and at either side grasp the mid-section of undulant serpent-dragons. The sinuous serpentine bodies are shown face-downward forming a loop at the tail end and ending in triangular heads (fig. 21) (cf.: *Sarianidi*, 1983, p. 515, pl. XXXV, fig. 2; 1986a, p. 282, seal impression, upper left side).

Yet another manifestation of an anthropomorphic figure with crested predatory bird head frontally rendered with broad-shouldered torso of triangular shape, seated sideways with his legs folded below the rounded thighs, is shown on one face of a Murghab-style seal (fig. 22a, b) (cf.: *Amiet*, 1986, p. 321, fig. 189b). The tips of his shaped wings project above the shoulders and he has one arm raised while the other holds only one small sinuous snake that curves up behind him, its open-jawed head raised. On the second face of the seal a recumbent winged quadruped dragon is portrayed with head turned backwards, its depiction closely related to that on the Togolok seal (fig. 12b) (cf. *Masson*, 1992, p. 338, fig. 1 – drawing lower right).

Fig. 22a, b. Seal impression of cushion-shaped two-sided stamp seal of rectangular outline with kneeling winged bird-headed figure holding a serpent and a quadruped serpent-dragon regardant. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Private collection. After *Sarianidi*, 1986a, p. 242, 264, fig. 125.

Fig. 23. Seal impression of cushion-shaped two-sided stamp seal of rectangular outline with kneeling bird-headed figure holding ophidian serpent-dragons on either side from which spring small caprids. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. After *Sarianidi*, 2000, p. 208, fig. 6.

The conjunction of bird-headed anthropomorphic figure and quadruped dragon is shown on the composition sculpted in three-dimensional relief on the well-known votive silver-gilt shaft-hole axe, originally riveted to a wooden haft, now at the Metropolitan Museum of Art in New York (Purchase: *Harris Brisbane Dick Fund, James N.* Spear and Schimmel Foundation Inc. Gifts, 1982; inv. no. *1982.5 – Aruz, Wallenfels,* 2003, p. 373, cat. no. *264*; *Pittman*, 1984, p. 76, fig. 36; *Sarianidi*, 1988, p. 1283, pl. III: *1-4*). The axe relief is built around the central standing figure here shown with two predatory bird heads and with prominent talons instead of hands and feet. The figure is seen as apparently struggling to control with his outstretched arms the elemental animal forces embodied by a snarling quadruped dragon and a wild boar. The motionless body of the boar is contorted to form the curved edge of the blade. The standing male dragon forms the butt of the axe and is rendered essentially in the same manner as the quadruped dragons portrayed on the Gonur mosaic wall panel and on the silver bowl discussed above. The staggered wings with finely delineated feathery segments alternately highlighted with gold foil are raised over the back. The neck, chest and underbelly are covered by a prominent mane defined by parallel ridges and accentuated by gold foil. The leonine body, which transmits a sense of the dragon's virile power, rears up on its hind legs. The front legs with enlarged paws terminating in unsheathed raptor talons extend towards the upper body of the mythical eagle-headed figure which is turned towards it. As on the mosaic wall panel, attention to naturalistic detail such as the musculature on the dragon's haunches adds to the visual tension. Its tail curves behind the strongly modelled hindquarters, terminating in a small curl. The reptilian manifestations of the flat head are precisely rendered with bulging circular eyes that stare at the head of the eagle-headed figure, the open jaw revealing fangs and a long curling tongue, a curved goatee-type beard protruding from beneath the chin and a knob-like upright horn crowning the head. The axe seems to have been ceremonial in purpose, probably an emblem of authority and power.

To this may be added an important composition on a Murghab-style cushion-shaped stamp seal which features the ophidian serpent-dragon in his role as fertility symbol *par excellence* and shows a kneeling raptorial-bird-headed figure holding the necks (?) of upright writhing ophidian dragons in his outstretched hands. These appear to emerge from under his arms and from their jaws (or tails?) seem to spring small caprids (fig. 23). The serpent's role is hereby associated either with the devouring or, perhaps, the engendering of herds, an essential ingredient for the continued prosperity of the Oxus civilisation.

In BMAC iconographical representations the motif of the implicit juxtaposition of the ophidian serpent and its antagonists constitutes an important aspect of the central representational formula. It is significant however that the antagonists, comprising the bird of prey, the anthropo-zoomorphic predatory bird-headed figure and the anthropomorphic hero, are portrayed in opposition only with the ophidian and, with the exception of the ceremonial axehead, not the quadruped dragon.[1] It is noteworthy, too, that the ophidian serpent-dragon has an ambiguous role, being frequently represented in opposition to heroes or raptors rather than appearing as a predator himself. The eagle-like bird equally plays an unclear role within the BMAC pantheon alternating between protection and predation. Both antagonists, the predatory bird and the ophidian serpent, thus perhaps represent a juxtaposition of perpetual cyclical concepts. Yet, at the same time, since the kneeling anthropo-zoomorphic bird-headed figure on the Murghab-style seal holds the two upright dragons in the same manner as the other serpent taming figures discussed above, it is tempting to conjecture that there may be some overall association of the socalled serpent «taming» theme and the fertility aspect. Hence the symbolic meaning of the motif may perhaps relate less to mastery of the ophidian antagonist than to the resultant procurement of fertility/fecundity.

c. The female deity

A goddess in anthropomorphic form is portrayed as a central standing figure flanked in axial symmetrical configuration by *both* the ophidian and the quadruped serpent-dragon. She is also enthroned on the quadruped serpent-dragon. Identified as the supreme divinity of the Bactria-Margiana mythological pantheon, she is goddess of vegetation, fertility and abundance as well as water. She may have played a role in the netherworld since composite multi-part seated female sculptures made of steatite and white stone are found in burials (*Pittman,* 1984, figs. 22, 50; *Amiet,* 1986, p. 196, 199; *Ligabue, Salvatori*, 1988, p. 115, fig. 108; *Francfort,* 1994, p. 411; *Aruz, Wallenfels,* 2003, p. 367, cat. no. *259 a, b)*. The goddess has been compared to the third millennium BC Elamite goddess, «the great mother of the gods» (cf.: *Amiet,* 1986, p. 190–204, 213–214; 1988; *Francfort*, 1994, p. 406), and has also been linked to the Iranian goddess Anahita (*Pottier*, 1984, p. 74–77) who however is not seated on a dragon (*Francfort*, 1994, p. 416). The canonical depiction shows her with wings, her celestial attribute, arms bent at the elbows and hands crossed at the waist in «a peaceful gesture» (*Francfort*, 1994, p. 407).

The standing goddess

The frontally-oriented female deity represents the central axis of a circular copper alloy compartmented stamp seal, a pair of curved wings emanating from her shoulders, her arms bent at the elbows and her hands clasped at the waist. A pair of undulant giant serpents flanks the goddess diagonally, their heads touching the lower edge of the goddess' wings while the ends of their tapering tails brush against the lower part of her full-length skirt (fig. 24).

A comparable depiction is found on a circular silver compartmented stamp seal in the Jonathan P. Rosen Collection in New York. The standing winged deity is viewed frontally, but with her head shown in profile, revealing a prominent nose. In place of the serpents she is flanked by diagonally positioned inverted quadrupeds, rendered with one hindleg extended backwards and the other forward, while both front legs are joined and lowered in what appears to be a rever-

[1] V. Sarianidi (1981b, p. 246–248) has emphasised the primarily evil nature of the quadruped dragon, especially in contrast to the auspicious character of the serpent.

Fig. 24a, b. Circular compartmented loop-handled stamp seal with winged standing goddess between serpent. Copper alloy. Diameter 5 cm, height 2 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Germany, private collection. Photo by the author.

Fig. 25a, b. Circular compartmented loop-handled stamp seal with winged standing goddess between quadruped dragons. Silver. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. New York, Jonathan P. Rosen Collection. After Aruz, 1998, p. 25, fig. 1a,b.

Fig. 26a, b. Circular compartmented loop-handled stamp seal with winged goddess seated on a quadruped dragon. Silver. Diameter 4.1 cm, height including loop handle 1.3 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Germany, private collection. Photo by the author.

ent gesture towards the goddess. Their elongated necks crane upwards and their heads appear to rub against the goddess' thighs, possibly intimating a close association with the female deity (fig. 25). The depiction of the quadrupeds is too indistinct to be certain whether they are quadruped dragons, but the apparently horned feature, the elongated sinuous necks as well as the curled-up tails suggest them to be dragons. However, the fact that the seal is made of silver, a more precious metal than copper alloy, a metal out of which the seals with the goddess enthroned on a quadruped dragon are also fashioned (figs. 26–28), gives perhaps further weight to the identification of the quadrupeds as dragons.

The enthroned goddess

Circular compartmented stamp seals, finely incised with detail on the obverse, most of which appear to be cast in silver (figs. 26–28), are emblazoned with the same canonical motif: a female deity enthroned on a quadruped dragon oriented to the right, her torso rendered frontally while her head and legs are oriented to the left and her hands joined at the waist. Some variations occur in the representation of the goddess but the recumbent quadruped dragon serving as throne or standing in profile conforms closely to the canonical depiction: the elongated sinuous neck terminating in a reptilian head with wide-open jaws, at times revealing the fangs and tongue, underlining its reptilian aspect. Rounded eyes are set deeply in the jutting forehead above the furrowed muzzles. The feline element is expressed through the well-built leonine body. Its raised tail curls above the hind legs. The neck and belly of the body are often covered with scales (figs. 26–28).

On a Bactrian seal from a private German collection, the goddess with outspread wings is illustrated with a horned headdress. She is nude above the waist with small breasts, her lower body covered with a long skirt enlivened with an all over pattern reminiscent of the tufts of

the fleecy woollen garments of Early Dynastic representations that link the BMAC with the neighbouring civilisations. The garment is also a characteristic feature of the Oxus civilisation and closely resembles the full-length robes worn by the composite female statuettes that were discovered in the BMAC (cf.: *Aruz, Wallenfels*, 2003, p. 367, cat. no. *259a, b)*. The deity is enthroned on a recumbent dragon whose upper body appears to rest on a semicircular protrusion (fig. 26), possibly demarcating a single mount as featured, for instance, on a silver pin finial excavated from Gonur necropolis (fig. 6). A generous guilloche border frames the seal.

Fig. 27a, b. Circular compartmented loop-handled stamp seal with winged goddess seated on a quadruped dragon. Silver. Diameter 6.5 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Paris, Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, Acquisition 1992 AO 30226.
Photo by the author.

Fig. 28a, b. Circular compartmented loop-handled stamp seal with winged goddess seated on a quadruped dragon.
Silver. Diameter 6 cm, height including loop handle 2.7 cm. Southeastern Turkmenistan, Margiana, Gonur depe, necropolis (tomb 570). Ashgabat, National Museum of Turkmenistan (Saparmurat Turkmenbashi).
After *Aruz, Wallenfels*, 2003, p. 369f, cat. no. 260.

A closely comparable and much discussed Bactrian example of the same scene is now in the Musée du Louvre in Paris. The wings of the goddess are replaced by projecting caprid protomes, their heads regardant crowned by curved horns. Her slender figure is rendered in the same manner as on the previous example (fig. 26) but she is bareheaded, the hair worn in a curved plait coiled across the nape of the neck. The standing dragon with elongated serpentine neck accentuated by scales has one foreleg extended in front, the other slightly backwards, as if in a walking posture, the erect tail terminating slightly looped. It displays a single annulated curved horn and a knob-like goatee beard issuing from its chin. The open mouth seems to reveal a protruding tongue. Again the seal is framed by a fine guilloche-decorated border (fig. 27).

Another example unearthed in Gonur depe shows the female deity bareheaded with long hair falling over her shoulders, her face in profile with a lock of hair hanging in front of her ear. She displays an aquiline nose flanked by almond-shaped eyes surmounted by fine eyebrows and a small mouth set above a slightly receding chin, features often related to renderings of the so-called "intercultural" or "trans-Elamite" style.[1] She is portrayed with outspread feathery wings, but does not wear a horned headdress, and is clad in a voluminous full-length tufted garment (an Elamo-Mesopotamian *kaunakes*-type of dress) defined by a rounded neckline leaving the neck bare. The crown of her head as well as the head and paws of the recumbent dragon project into the plain frame, the outer border of which is accentuated by hachures (fig. 28).

The form given to the goddess of the Gonur depe seal is closely related to that on a compartmented copper alloy stamp seal possibly from Eastern Iran, now in the Musée du Louvre

[1] The term trans-Elamite was coined by Pierre Amiet; see also *Pittman*, 1984.

Fig. 29. Circular compartmented loop-handled stamp seal with goddess seated on a quadruped dragon and holding a goblet. Copper alloy. Diameter 6 cm, height including loop 2.7 cm. Putative origin: Eastern Iran, Lut desert, or Kerman. Paris, Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, inv. no. AO 26.067. Photo by the author.

Fig. 30. Circular compartmented loop-handled stamp seal with winged goddess seated on a quadruped dragon. Copper alloy. Diameter 6.3 cm. Putative origin: Iran, Kerman or Northern Afghanistan, Bactria. Paris, Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, inv. no. AO 26.495, Gift of Mohsène Foroughi. After *Amiet*, 1978, p. 163, fig. 34.

in Paris, which, however, portrays the female deity without wings and in the ritual act of drinking from a stemmed conical goblet while sitting on a recumbent quadruped dragon. The latter is portrayed with a large globular eye, crowned by a single horn, a goatee beard projecting from the chin and with wide-open snout, its upper tip terminating in an upward curl and revealing a long curving tongue, while its legs appear to be arranged in the form of splayed stool legs (fig. 29) (*Amiet*, 1974, p. 99, fig. 5; 1986, p. 147, fig. 183; *de Miroschedji*, 1981, p. 20, pl. XI, fig. 1; *Francfort*, 1992, p. 184, fig. 3.5).

An exception to the canonical depictions of the quadruped dragon discussed above is found on a compartmented copper alloy seal found in Kerman, also preserved in the Musée du Louvre in Paris, which shows the winged goddess with her head in profile revealing a prominent nose, her countenance related to that on the silver stamp seal in the Rosen Collection (fig. 25). She is seated on a quadruped dragon, whose bulky body has at first sight saurian-like features, but with more feline affinities. The creature has an exceedingly long neck terminating in a horned ophidian head with gaping snout regardant and stands on tall, splayed legs (fig. 30). Pierre Amiet relates the representation of this dragon to depictions of the proto-urban period when quadruped serpent-dragons were also represented with long legs and exceedingly long ophidian necks (*Amiet*, 1978, p. 162; nt. 51). It is further of note that the dragon is oriented to the right, in contrast to its orientation to the left on the seals discussed above (figs. 26–28).

It is significant that in the apparent absence of known representations of rulers of the BMAC on seals and statuary[1] – which is in stark contrast to contemporary Elamo-Mesopotamian civilisations – only the goddess and the «tamed» dragon assume a pivotal role in the hierarchical representations of the Oxus civilisation. Contrarily, the «master of animals» in his anthropomorphic, anthropomorphised-predatory-bird or predatory-bird-like appearances is only part of an implicit juxtaposition with the dragon.

The Mistress of Animals

The essence of the symbolic system of the Oxus civilisation is expressed in a large compartmented silver stamp seal portraying a symmetrical configuration of a standing goddess as the upper part of the vertical axis, flanked on either side by addorsed lions that divide the seal horizontally. The refined countenance of the bareheaded goddess is closely related to that of the

[1] It is conceivable that although not clearly identifiable through enlarged or otherwise prominent depictions in contrast to the portrayal of other humans, rulers may be represented on BMAC toreutics. I thank Professor H. P. Frankfort for pointing this out to me.

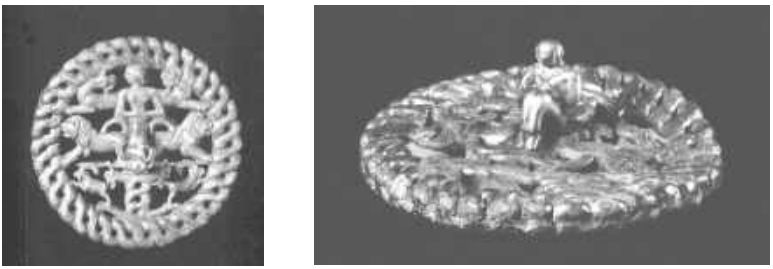


Fig. 31. Large compartmented stamp seal featuring a standing goddess as the upper part of the vertical axis with quadruped dragon protomes in lieu of wings between addorsed lions, resting on intertwined serpents from whose tips spring small caprids; the loop handle fashioned in the form of a seated female figure with knees bent at a right angle. Silver. Diameter 8 cm. Putative origin: Northern Afghanistan, Bactria. Germany, private collection. Photo by the author.

female deity on the Louvre seal (fig. 27), however in contrast to renderings of the standing[1] or seated goddess on other seals, her head is turned to the left. In lieu of wings, powerful recumbent quadruped dragon protomes burst forth from the goddess' shoulders. The necks and chests of the dragons are covered with scales. In contrast to the lionheads that look ahead, the dragonheads regardant are at eye level with the female deity. They are crowned by curved horns and have goatee beards projecting from the chin, their gaping long puckered snouts have turned up tips (distinctly visible on the dragonhead to the left), revealing rows of teeth and long projecting tongues which are directed towards the deity. The vivid expression of the animal nature of all creatures reflects the immediacy of Oxus civilisation visual symbolism, displaying a certain archaism of representation. As in the two Bactrian silver seals (figs. 26 and 27), the goddess wears only a long tufted *kaunakes*-type skirt, her upper body being nude to the waist where her hands are clasped.

The gigantic coils of two closely intertwined serpents form the dais on which the goddess is enthroned and the column thus created splits the seal vertically into left and right sides. The reptiles' coils are accentuated by a tiny, dotted pattern and their outward curving reptilian heads, horned and bearded with open jaws, also serve to divide the scene horizontally into upper and lower registers. At the base of the column small caprids spring from the tips of their outward curving tails (fig. 31).

A notable point of resemblance with the serpent column is found in a probably somewhat later cylinder seal impression of the judge Ishme-karab-ilu from Haft Tepe (ancient Kabnak) in Iran, dated *c.* 1700 BC (fig. 32) (cf.: *Amiet*, 1973, p. 37, no. 48, pl. IX, no. *48*. A fragmentary tablet with the same seal impression was exhibited in 1978 at the Museum of Haft Tepe, *Iran.* Cf.: *de Miroschedji*, 1981, p. 3, nt. *7*, pl. II, no. *5*; *Collon*, 1987, p. 169, cat. no. fig. 795; *Harper, Aruz, Tallon*, 1992, p. 118, fig. 40). The impression shows the god seated on the canonical Elamite coiled serpent throne. It stands on a dais held in place by an upright column formed of the bodies of two tightly entwined addorsed serpents, their open-jawed heads projecting to either side of the foundation of the throne. The entwined serpent column issues from a cluster of stylised mountains flanked on either side by kneeling mythical figures. Facing the enthroned divinity is a large standing god wearing the distinctive divine headdress of the Elamite pantheon. According to Pierre de Miroschedji's translation of the long accompanying inscription, the serpents are identified as the deities Napirisha, the human-faced serpent, and Inushushinak, patron god of Susa, the horned and bearded serpent (*de Miroschedji*, 1981, p. 15).

[1] See also the gold stamp seal with standing winged female deity and lions: Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, Sammlung Ebnöther, Switzerland; inv. no. ***Eb 33345***. *Aruz, Wallenfels*, 2003, p. 371, cat. no. 262.

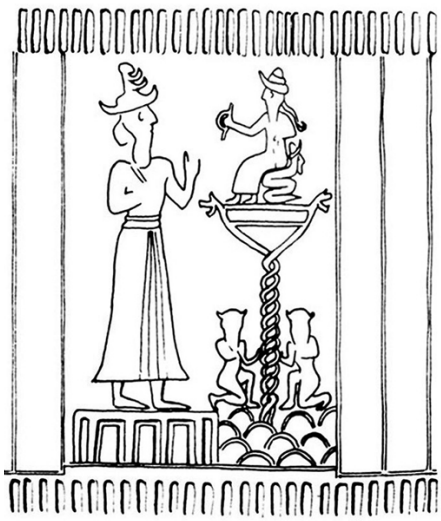


Fig. 32. Drawing of a seal impression on a clay tablet with deity before a god on a serpent throne and dais supported by entwined serpents. Tablet. Clay. Height c. 3.9 cm. Iran, Haft Tepe. Old Elamite period, c. 1700 BC (Period IVg). Iran Bastan Museum, Tehran. After *Harper, Aruz, Tallon*, 1992, p. 118, fig. 40.

Extraordinary attention has been given to the definition of the individual figures on the compartmented silver seal (fig. 31). The placement of the animals on either side of the central axis formed by the entwined serpent column and the body of the standing goddess reaffirms the location of the cyclical process at the axial centre. This is further symbolised at the very centre of the seal in the form of a plastically modelled statue of a seated female figure with knees bent at a right angle (fig. 31). The figure is cast in the round and replaces the conventional loop handle. It is oriented towards the standing female deity who forms part of the central vertical axis of the overall seal composition. With shoulder-length hair, clad in a long garment, her hands folded above her knees, the seated figure possibly represents another manifestation of the standing female deity who appears to be a personification of the generative powers of nature.

The iconography makes abundantly clear that the goddess is the highest ranking deity in the pantheon of the Oxus civilisation (cf.: *Francfort*, 1992, p. 197). She is also mistress of the animals as is evident in the configuration on the seal. The consistency with which this symbolic structure reasserts itself indicates that significance was accorded to vertical axial order, to bilateral symmetry and to a hierarchy within a mythic and universal order. It appears as if the transformation within this order is facilitated through the figure of the goddess as well as the serpents and quadruped dragons. The complex representations make this seal an extremely important addition to the research of the Oxus civilisation. The loop handle in the form of the seated presumably female figure, which might represent either the goddess or perhaps a human figure,[1] marks the appearance of a unique feature, apparently unrecorded before this time.

The seal is framed by an elaborate interlace cable border which is worked in the same manner as the bodies of the intertwined serpents supporting the standing goddess. Yet instead of the tiny, dotted pattern that accentuates the intertwined reptiles, the coils that compose the frame are enlivened with fine parallel lines. Since in the Oxus civilisation, as has been shown above, coiled interlaces were sometimes interchangeably used with entwined serpents on which ophidian characteristics (such as the heads and tails) were clearly identifiable, it is conceivable that the guilloche frame might be semantically equivalent to intertwined serpents coiling around the seal. In this iconographic representation the coils would thus encircle a «cosmic setting» encapsulated in the seal. This hypothesis is further enhanced by the exactitude with which the coils are executed. Moreover, the latter could possibly in some form be related to the element of water, perhaps comparable to the concept of the «waters» of *apsu*, the great liquid body surrounding the

[1] In a discussion Prof. H.-P. Francfort remarked upon the notable similarity between this figure and the male figure sitting on an axe (*Ligabue, Salvatori,* 1988, figs. 102–103) who he tentatively proposes may have analogies to the figure of a «priest», akin to the Mohenjo-Daro sculptural figure which Sir John Marshall called the «priest-king» (Mohenjo-Daro and the Indus Civilisation, 1931, p. 356, pl. XCVIII; Karachi, National Museum of Pakistan, inv. no. *50.832*).

world, the primal monster made of fresh water depicted in the *Enűma Elish*.[1] The giant serpents which coil up the sides of the large fourteenth century BC Untash-Napirisha stele featuring the Elamite god Inshushinak seated on a coiled serpent throne may possibly convey an associated *Weltanschauung (de Miroschedji*, 1981, pl. VIII).

That both serpents and quadruped dragons are figured on the seal underlines their centrality in the iconography of the BMAC. Both are articulated within the larger structure, one which perhaps postulates the vertical axis and bilateral symmetry as a sign of necessary order and appears to express the desire for an essential balance in nature, and, consequently, in the life and death cycle.

The seal presents a powerful metaphor of duality. The chthonian aspect of the serpent-dragon is expressed through its position as entwined chthonian axis, not only supporting the feminine deity but forming one single axis with her body. At the same time its celestial aspect appears to be emblematised by the potent dragon protomes issuing from the shoulders of the goddess, both serving her as wings and, it is tempting to suggest, symbolizing an engendering process of the quadruped dragon through the body of the goddess. Hence, instead of small caprids, as featured on the Louvre seal (fig. 27), the mistress of animals emits here quadruped dragon protomes while she herself arises from intertwined serpents from which in turn spring small caprids, akin to the imagery exemplified in the above-discussed Murghab-style seal (fig. 23).

The material culture from the Oxus civilisation shows that the dragon and its closely related kin, the serpent, are in some way linked to a hypothetical axis both with and through the goddess. The symbolic association of the mythical creatures with ideas of transformation, and hence with passages from one season, stage or realm to another, suggests the possibility that the iconography of both the serpent and the quadruped dragon may also serve as vehicle symbolising some form of cosmic order.

Bibliography

Amiet P. La glyptique mésopotamienne archaïque, P., 1961. Rev. and enl. repr. 1980.

Amiet P. Elam. Auvers-sur-Oise. 1966

Amiet P. Glyptique élamite, a propos de documents nouveaux // Arts asiatiques. 1973. T. 26. P. 3–64.

Amiet P. Antiquités du désert de Lut: A propos d'objets de la collection Foroughi // Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. 1974. T. 68. P. 97–110.

Amiet P. Antiquités de la Bactriane // La Revue du Louvre et des Musées de France. 1978. No 3. P. 153–164.

Amiet P. L'iconographie archaïque de l'Iran: Quelques documents nouveaux // Syria. 1979. T. LVI. No 3–4. P. 333–352.

Amiet P. L'âge des échanges inter-iraniens, 3500–1700 avant J. C. Notes et documents des musées de France, P., 1986.

Amiet P. Elam and Bactria // Bactria an Ancient Oasis civilization From the Sands of Afghanistan \ G. Ligabue, S. Salvatori. Eds. Studies and Documents. Vol. III. Venice, 1988. P. 127–140.

Amiet P., Lambert M., Desroches-Noblecourt Ch., Staroky J. Glyptique susienne des origines a l'époque des Perses achéménides: Cachets, sceaux-cylindres et empreintes antiques découverts a Suse de

[1] Based on close parallels between the serpents and flowing water Pierre Amiet (1961, repr. 1980, p. 151, nt. *153*) has made such a suggestion with regard to ancient Mesopotamian glyptic representations. As confirmation he cites the association of the serpent-dragon serving as throne with the god holding the flowing vase on the Elamite rock reliefs at Kurangun (cf.: *Herzfeld*, 1935, pl. III; *Seidl, Skjærvø*, 1986).

1913–1967 // Mémoires de la Délégation archéologique en Iran. 43. Mission de Susiane. T. 1, 2. P., 1972.

Aruz J. Images in the supernatural world: Bactria-Margiana seals and relations with the Near East and the Indus // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International journal of comparative studies in history and archaeology. Leiden, 1998. Vol. 5. No. 1. P. 12–30.

Aruz J., Wallenfels R. (Eds.) Art of the First Cities: The Third Millennium B. C. from the Mediterranean to the Indus. NY, New Haven, L., 2003

Baghestani S. Metallene Compartimentsiegel aus Ost-Iran, Zentralasien und Nord-China // AIT. Bd.1, Rahden/Westf., Munich, 1998.

Barnett R. D. Homme masque ou dieu ibex? // Syria. 1966. T. XLIII. P. 259–276.

Van Buren E. D. The Dragon in Ancient Mesopotamia // Orientalia. 1946. T. XV. No. 1/2. P. 1–45.

Collon D. First Impressions: Cylinder seals in the Ancient Near East. L.-Chicago, 1987.

Contenau G., Girshman R. Fouilles de Tepe Giyan, près de Nehavend, 1931–1932. P., 1935.

Exhibition catalogue. De l'Indus a l'Oxus: Archéologie de l'Asie Centrale. Musée de Lattes. Lattes, 2003.

Francfort H.-P. Les sceaux de l'Oxus: diversité de formes et variabilité de fonctions // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International journal of comparative studies in history and archaeology. Leiden, 1989. Vol. 5. No. 1. P. 59–71.

Francfort H.-P. Dungeons and Dragons: reflections on the system of iconography in protohistoric Bactria and Margiana // SAA. \ Possehl G. (Ed.). New Delhi, Bombay, Calcutta, 1992. P. 179–208.

Francfort H.-P. The Central Asian Dimension of the Symbolic System in Bactria and Margiana // Antiquity. 1994. Vol. 68. 1994. P. 406–418.

Harper P. O., Aruz J., Tallon F. (Eds.) The Royal City of Susa: Ancient Near Eastern treasures in the Louvre. NY, 1992.

Herzfeld E. Archaeological history of Iran, L., 1935.

Hiebert F. T. Origins of the Bronze Age Oasis civilization in Central Asia. (American School of Prehistoric Research. Vol. 42). Cambridge, Mass., 1994.

Hinz W., Borger R., Gropp G. Altiranische Funde und Forschungen, Berlin, 1969.

Jarrige C., Jarrige J.-F., Meadow R. H., Quivron G. (Eds.). Mehrgarh. Field reports 1974–1985 from Neolithic times to the Indus Civilization. Karachi, 1996.

Klochkov I. S. Glyptics of Margiana (the principles of description and classification) // Ancient Civilisations from Scythia to Siberia. An International journal of comparative studies in history and archaeology Leiden, 1999. Vol. 6, no. 1/2. P. 41–61.

Lambert W. G. Seals from West Central Asia and adjacent regions // AMIT. 1986. Bd. 19. P. 33–40.

Ligabue G., Salvatori S. (Eds.) Bactria an ancient Oasis civilization from the sands of Afghanistan. Studies and Documents. Vol. III. Venice, 1988.

Mallowan M. E. L. Excavations at Tell Brak // Iraq. 1947. Vol. IX. P. 1–266.

Masson V. M. Seals of a Proto-Indian type from Altyn-depe / Kohl Ph. L. (Ed.) The Bronze Age civilization of Central Asia: recent Soviet discoveries. NY, 1981. P. 149–162.

Masson V. M. The Bronze Age in Khorasan and Transoxiania // History of civilizations of Central Asia. The dawn of civilization: earliest times to 700 B. C. Paris, 1992 (Repr. Delhi, 1999). Vol. 1. P. 225–245.

Masson V. M. The Decline of the Bronze Age civilization and movements of the tribes // History of civilizations of Central Asia. Vol. 1. The dawn of civilization: earliest times to 700 B. C. Paris, 1992 (Repr. Delhi, 1999). P. 337–356.

Masson V. M., Sarianidi V. I. Central Asia: Turkmenia before the Achaemenids. Southampton, 1972.

de Mecquenem R. Fouilles de Suse, 1929–1933 // Mémoires de la Mission archéologique de Perse: Mission de Susiane. 1934. T. 25. P. 177–237.

de Mecquenem R. Têtes de cannes Susiennes en métal // Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. 1953. T. 47. P. 79–82.

de Miroschedji P. Le dieu élamite du serpent et aux eaux jaillissantes // Iranica Antiqua. 1981. Vol. 16. P. 1–25.

Needham J., Wang Ling. Science and Civilisation in China. Vol. 4. Physics and physical technology. P. 2. Mechanical Engineering. Cambridge, 1965.

von der Osten-Sacken E. Der Ziegen-'Dämon' Obed- und Urukzeitliche Götterdarstellungen // Alter Orient und Altes Testament. Vol. 230. Kevelaer/Neukirchen-Vluyn, 1992.

Parpola A. Bangles, sacred trees and fertility. Interpretations of the Indus script relating to the cult of Skanda – Kumâra // SAA 1987. Proceedings of the Ninth International Conference of the Association of South Asian Archaeologists in Western Europe held in the Fondazione Giorgio Cini (Island of San Giorgio Maggiore. Venice) / Taddei M., Callieri P. (Eds). P. 1. Rome, 1990. P. 263–284.

Parpola A. Margiana and the Aryan problem // Bulletin of the International Association for the study of the cultures of Central Asia, Moscow. M., 1993. No. 19. P. 41–62.

Parrot A. Sumer. L., 1960.

Pittman H. Art of the Bronze Age. Southeastern Iran, Western Central Asia and the Indus Valley. NY., 1984.

Pottier M.-H. Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l'âge du bronze. P., 1984.

Sarianidi V. I. Seal-Amulets of the Murghab Style / Kohl Ph.L. (Ed.). The Bronze Age civilization of Central Asia: Recent Soviet Discoveries. NY. 1981. P. 221–255.

Sarianidi V. I. Anthropomorphic divinities of Ancient Bactria / Snoy P. (Ed.) Ethnologie und Geschichte: Festschrift für Karl Jettmar. Wiesbaden, 1983. P. 515–525.

Sarianidi V. I. Die Kunst des alten Afghanistan, Leipzig, 1986a.

Sarianidi V. I. Le complex culturel de Togolok 21 en Margiane // Arts Asiatiques. 1986b. T. 41. P. 5–21.

Sarianidi V. I. Margiana and Protozoroastrianism/ Athens, 1998.

Sarianidi V. I. The Syro-Hittite origin of Bactrian-Margiana Glyptics // Ancient civilizations from Scythia to Siberia. An International journal of comparative studies in history and archaeology. Vol. 6. No. 3/4. Leiden, 2000. P. 207–234.

Sarianidi V. I. Margush: Ancient oriental kingdom in the old delta of the Murghab river. Ashgabat, 2002.

Sarianidi V. I. Margush: Mystery and truth of the great culture, Ashgabat, 2008.

Seidl U., Skjærvø P.O. Iranische Denkmäler: Die Elamischen Felsreliefs von Kurangun und Naqš-e Rustam. Bd. 12. Berlin, 1986.

Shah S. Gh. M., Parpola A. (Eds.) Corpus of Indus seals and inscriptions. Vol. 2. Collections in Pakistan. Helsinki, 1991

Tanabe K., Hori A., Ishida K., Nagasawa M., Itami S. Animals in the arts of the Ancient Orient. Catalogue of the Ancient Orient Museum. Tokyo, 1983.

Thomas N., Lentz Th.W. Jr. Man and Beast: Mythical Images from Egypt and West Asia. Los Angeles, 1985.

Wiggermann F. A. M. Transtigridian Snake Gods // Finkel I. C., Geller M. J. (Eds.) Sumerian Gods and their representation. Groningen, 1997. P. 33–55.

Henri-Paul Francfort

BIRDS, SNAKES, MEN, AND DEITIES IN THE OXUS CIVILIZATION: AN ESSAY DEDICATED TO PROFESSOR VIKTOR I. SARIANIDI ON A CYLINDER SEAL FROM GONUR DEPE

Among his exceptional discoveries, made during more than fifty years of excavations in Bactria and in Margiana, Viktor I. Sarianidi published in 2001 a remarkable cylinder seal out of his digs in the Gonur Depe necropolis (*Sarianidi*, 2001, p. 66–67: fig. 34; pl. 4 n°*2*, and p. 196–197 in English) (fig. 1). This *publication princeps* was giving a drawing, a photograph and some information about the object which, «*with a hole for hanging comes from one common female burial. It was also made of light colored stone (calcite of Iranian-Afganistanian [sic] origins) and had two rows of engraved images*». The table of tombs provides some more data (*Sarianidi,* 2001, p. 102): the cylinder is in faience and comes from a 30–35 years old female burial, n° 1393. It was published again the next year with a better printed photograph, without much commentary (*Sarianidi,* 2002, p. 278). Five years later the cylinder was published again

Fig. 1. Cylinder seal from Gonur Depe. Photo N. Dubova.

with again precisions on the location (*Sarianidi*, 2007, p. 105–107, fig. n° 181, table p. 245 indicates a 60 years old female burial): the description and commentaries are the same as in the 2001 publication, pointing comparisons with Near Eastern glyptic and iconography. Just one complementary comparison is added, with a lapis lazuli seal from London (*Sarianidi*, 2007, p. 107). The conclusion reached by V. Sarianidi is: «*On the whole one may note that in spite of the links between the cylinder seal from the Gonur necropolis and the Mesopotamian prototypes, they had a clearly expressed local origin. Once again this fact shows that in the territory of the BMAC, a special trend of ancient glyptics with its own style and compositional concepts existed*».

The present article is trying to go into some details concerning this cylinder and other Bactria-Margiana, or Oxus Civilization (later «Oxus») seals, in relation with the «Elamite», the «Trans-Elamite» and the «Eastern Iranian» glyptic and iconography. Mesopotamian and Syro-Anatolian connections are also to be brought into the picture.

The seal

The composition on the cylinder is complex, distributed into two registers.

The lower register depicts a cult scene. Two kneeling males are turned to the right, the right hand at the waist, the right hand up. They have a long nose and a long hair floating on the shoulders. Between them, a possible vase stands upon an altar or offering table. The two figures are facing a stylized «architectural façade of temple» or a «temple gate». Behind them a sitting bull is facing to the left, the head back to the right and the tail turned up. Behind a bird of prey seats with its head back to the right. One must notice two circular shapes made with a drill: one above the hand of the first man, and another between the raptor and the bull. The two men bear also on the chest rows of circular shapes, respectively three and four, like a rendering of muscles or body ornaments. One curved line and two almond shaped strokes are situated in the field at the height of the heads between the two men. One curved line with two oblique occupies the field between the second man's hair and the bull's tail; another curved line appears above the «temple» and two strokes form perhaps the chalice or the leaves of a flower between the raptor and the «temple». These lines clearly separate the two registers.

The upper register is decorated by two composite groups, with a bird between them which depicts «mainly fantastic» personages, as observed by V. Sarianidi (*Sarianidi*, 2007, p. 106). A first composition is the male torso of an anthropomorphic double raptor-headed being resting upon a raising two opposite headed snake. This very symmetric bird-man possesses two strong curved opposite beaks, open (or rather a beard) and its head is marked with parallel horizontal lines, feather

Fig. 2. Cylinder seal from Gonur Depe. Photo after *Sarianidi*, 2005, fig. 137, p. 283.

Fig. 3. Cylinder seal from Gonur Depe. Photo after *Sarianidi*, 2007, fig. 180, p. 105.

or scales. The two snake heads display mouth and eye (the left one is not well preserved, just near the preexisting wing of another being). Four globular shapes are situated on the shoulder and on the breast; the hands (not visible) are at the waist and the lower part of the bust has a circular shape cross hatched. The second composition group includes two androcephalic birds flanking symmetrically a bird and a snake. The first man-bird, on the right, is turned to the left, bearded and horned with bull horns, one wing resting on the body, the other wing up; its legs are long, two caudal feathers look like hooks; one almond shaped stroke appears above him. The second man-bird, on the left, is turned to the right, bearded with a long pointed beard and horned with sinuous goat horns. Its body is marked by parallel lines, the caudal feathers are like the others but two hooks appear on its back and another one on the front part. One globular shape and one almond shaped stroke, above its neck; between them a meandering snake faces left, the tail practically in contact with the man-bird head. Between the two men-birds, an eagle in «heraldic position», head to the left. Between the two compositions of the eagle-headed anthropomorphic bird-man and of the men-birds, another bird is represented sitting facing left, its wing and long neck marked by lines, its head and beak turned up and bent back, to the right.

This Gonur Depe cylinder belongs to a specific group by its iconography, its style and its composition which may be broadly termed as «East Iranian» or «Trans-Elamite». In several publications, Edith Porada and Pierre Amiet have gathered, defined and completed this group of cylinder seals (*Amiet*, 1974; 1976; 1986; 1994; 1997; 2003; 2004a; b; 2005b; 2007a; b). The seals from excavations at Shahdad (*Hakemi*, 1997), Tepe Yahya (*Pittman*, 2001) and Konar Sandal (*Madjidzadeh, Pittman*, 2008, p. 95–100) bring more information on this group from excavation contexts. This group can be dated from the Akkadian period (*Amiet*, 2007a, p. 55–56). However, the possible later duration of the existence of this group is a question at Shahdad where the grave of seal n°2263 seems to belong to the early 2nd millennium (*Amiet*, 2007a, n.31) and in Central Asia. There, the burial where the Gonur cylinder was found has no peculiar precise date in the Gonur sequence (*Zajceva et al*, 2008) and therefore the seal could have been manufactured or, even if engraved at an earlier date, theoretically still in use until around 1700 BC. Another cylinder seal from Gonur belongs to this group (*Sarianidi*, 2005, fig. 137, p. 283); it is in dark steatite, a stone foreign to Turkmenistan (Bushmakin, 2008), it comes from excavation n°6, outside the

palace but in the citadel, an area which may globally be dated from the centuries around 2000 according to the latest publications (*Zajceva et al.* , 2008, p. 179) (fig. 2**)**. A third Gonur cylinder from the same group comes from burial n°23 (see below) (fig. 3**)**. Thus the relation between this group of cylinders and the Central Asian art of the «Bactria-Margiana Archaeological Complex» (BMAC) or «Oxus Civilization» (OC) still requires some investigations.

The seals of the Oxus Civilization, as it is well known, form a complex set of various shapes made out of several materials (*Sarianidi*, 1998, for an overview of shapes, materials and styles). Admittedly, the cylinder seals form a small part of the corpus, originating in the Near East and they were adopted in the Oxus, like the inscribed one from burial n°2550 of Gonur (*Sarianidi,* 2007, fig. 182, 183, p. 107). As far as the other cylinders from the Oxus are concerned, they are never inscribed and seem to never represent court or palace scenes. In this they differ greatly from the Syro-Anatolian, Mespotamian and Elamite cylinders. The same principles seem to rule the use of the cylinders from Eastern Iran. Presently, about fifty cylinders are supposed to come from Bactria (*Sarianidi,* 1998) not a single one from regular scientific excavation. About a dozen comes from Margiana, all from known sites, some from excavations, plus four impressions on bullae and some three impressions on ancient potteries. In 2007, 109 seals were recorded from the Gonur Depe necropolis tombs: metal bronze seals (65), silver (9), lead (1), gypsum (15), faience (10), stone cylinder seals (3), stone (1), steatite (1), «Murghab amulets» (1). In the Gonur necropolis as well as in the corpus of the Bactrian seals of 1998, the cylinders figure for approximately 3% of the total. Among the Margian seals, found principally in settlements or on surface of settlements (only 4 from cemeteries), we observe: metal seals (72), stone amulets (66) plus faceted (6), stone seals (40), ceramic (10), faience (7), gypsum (2), bone (1), and impressions (19); the cylinders (13) account for 5.7% of the total, due to the greater number found by I. Masimov on the surface of the site of Tajp-1. The cylinders therefore represent only a small proportion of the seals and amulets of Margiana. This is not surprising. But it is strange to see that the number of stone amulets is so small in the funerary context, after excavations of so many burials, compared to the finds from settlement areas or excavations. This could be the consequence of chronological differences.

Chronological questions

According to our ancient studies (*Francfort et al*, 1989, p. 364–367, especially p. 367: «…les cachets de cuivre ajourés et les sceaux-cylindres precèdent les amulettes du style du Murghab»), and later to S. Salvatori (*Salvatori*, 2000, p. 137–138, the cylinder seals until 2100, the stamp cylinders between 2100 and 1900 BC and the Murghab amulets from 2100 to 100 BC) and to G. Rossi-Osmida (*Winkelmann*, 2004, p. 200 with Murghab amulets as late as 1200 BC, ignoring the fact that after ca. 1400 the Yaz-1 culture begins, without a single seal) the Murghab amulets and the drilled Bactrian and Margiana seals are later. If this chronological assumption is correct, the Gonur necropolis should not function after about 2000 BC in order to explain such an absence of stone amulets. With this hypothesis we may understand the presence of many of them in the Togolok oasis sites (45) as well as in Southern Gonur (38) from where they come in majority, while only about 10 stone amulets and seals come from surface at Northern Gonur, the most ancient of the two Gonur sites, and 1 from a room. But the most recent synthesis of the radiocarbon analysis of Gonur Depe does not agree with this: the necropolis (five samples only) was in use during the 2200–2100 period and around 1900 BC. The North Gonur site was occupied between 2300 and 1500 BC. The construction of the North wall is dated from 2462–2278.

The area between North Gonur and the necropolis were in use between 2000 and 1500 BC. And finally, the Gonur South dates range between 2200 and 1600 BC. All these dates show that: 1) the foundation of Gonur North could be as early as the ED III period; 2) an overlap of functioning occurred between North and South Gonur sites; 3) a possibility for a longer use of the necropolis if we take into account the long duration of the occupation in the North site. Finally, the chronological explanation does not solve entirely the problem of the differential distribution of the compartmented copper vs. stone seals/amulets in Gonur Depe (South vs. North), in Margiana (Tajp vs. Togolok), in Dashly (-3 vs. 1) or in Bactria (Southern vs. Northern). Other kinds of explanations should also be proposed, but this not the place for doing it. But the first and main point here is that we can argue that the cylinder under consideration here could in theory belong to a period lasting from ED third to the early second millennium, not later than about 1900 BC. However, in terms of probability, if we rely upon the Akkadian dates proposed by P. Amiet and upon the radiocarbon dates of the Gonur necropolis, a 2200 to 2100 date seems reasonable.

The second important point is that the comparisons with the corpus of metal compartmented seals of the Oxus are to be the most relevant, since they are largely contemporary. But nevertheless we do not have to ignore the *comparanda* from stone seals and Murghab amulets, considering the overlap observed above, and a possible iconic tradition lasting until late in the Oxus Civilization. This view is supported by the presence at South Gonur of seven cylinder seals and impressions (bullae and on jars), even if they do not belong to the group we consider here. Moreover, the third cylinder seal of this group, from the necropolis of Gonur Depe, was found in the double burial n°23 (*Sarianidi*, 2007, fig. 180, p. 105), along with a white stone amulet (*Sarianidi*, 2007, p. 202). It is therefore possible to proceed further with the examination and a discussion of the cylinder.

Discussion

We shall proceed in a structuralist way, trying to find a network of interrelations between figures and compositions, within the group of these «Trans-Elamite» cylinders and with the Oxus seals and art corpus. Then we will propose some interpretative hypothesis

The lower register scene is a clear cult scene, ordering a row of personages in front of a temple. The cult scenes are rather uncommon in Oxus art. Two may be mentioned. The first one, on a Gonur compartmented seal, depicts a goddess sitting enthroned and two small size worshippers, a female kneeling and a male (?) presenting a vase (*Sarianidi*, 2007, fig. 160–162, p. 102). The second is on the Louvre pyxis. There a group of women and attendants worship an enthroned goddess of larger size. The structure of the composition is analogous to a banquet scene, but the larger size of the main personage compared to the «banqueting» ones, similar to the difference on the seal, differs from the court banquets where the personages are of the same size (*Amiet*, 2005a). These cult scenes can be compared to the Persepolis beaker where a lady kneels in front of a standing probable deity (*Amiet*, 1986, fig. 110, p. 288).

The «Trans-Elamite» glyptic provide interesting parallels.

1) The first comparison can be made with a cylinder from New York (fig. 4**)**, on which a group of three kneeling personages are facing a temple to the left, above them, four more kneeling and three standing figures are participating to the ceremony. The analogy with the Gonur cylinder is clear too with the gesture of the personages, compared by P. Amiet to one cylinder from the treasury of Tôd (*Amiet*, 1986, p. 167–169, fig. 132, 137; 1997). Some details such as the globular shapes in the field or the flower near the acroter of the temple are also similar. On

Fig. 4. Cylinder seal from the Louvre. Photo after *Amiet*, 1986, fig. 137.

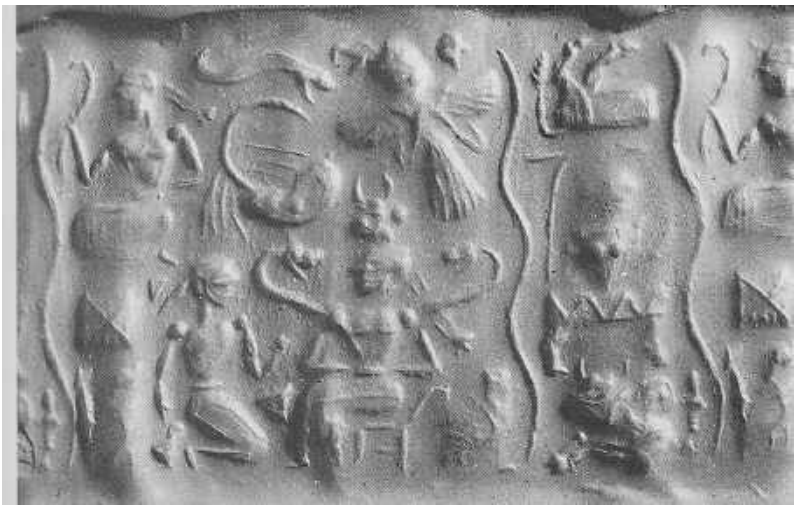


Fig. 5. Cylinder seal «Foroughi». Photo after *Porada*, 1993, fig. 28.

Fig. 6. Cylinder seal «Foroughi». Photo after *Porada*, 1993, fig. 29.

the New York cylinder, the deity on the temple, male or female is sitting enthroned, hands at the waist, with two snakes appearing out of the shoulders, and an unfortunately not recognizable head dress; it holds apparently a curved object in its right hand. Two more details are important regarding our cylinder: there is a bird sitting in front of the deity and there is a sort of hook or «crosier» at its left, near the serpent's head and above vertical lines reminding a tree.

2) In the same group of seals, the Foroughi cylinder (fig. 5**)** depicts another cult and mythological scene (*Amiet*, 1986, p. 167–169, fig. 132, 10 ; *Porada*, 1993, p. 48–50, fig. 28). Without entering into too many details, especially regarding the figures between the undulating lines (a dead zebu in two parts and a bust on a chair or table), we must observe that the deity with snakes facing the kneeling praying figure is represented wearing a bull head gear and a long plait, and that it is accompanied by a bird sitting. Actually, looking carefully at the torso, I think that there is no reason to identify its gender as female: the shoulder and breast drill marks, like on other figures, are not characteristic enough of female bosom. We may see for example well designed breast on Bactrian stone amulets: on the chest of a solidly-built winged bearded hero holding snakes (*Pittman*, 1984, fig. 29a; *Sarianidi*, 1998, n°904) or on the bust of a winged eagle-headed being with a snake (*Sarianidi*, 1998, n°917). The long plait is nothing else than an untied bun, typical of male figures as well. In the upper register, beside a harp, a kneeling male figure holds a sort of sinuous staff and a snake faces a flying raptor. The irregular round shape near the head of the bird of prey has been seen as a human head, but I am not convinced it is one; if it is not a head, no other engraved element of the bird (tail, legs, wings, collar or thick neck, head or beak) would indicate any relations with human terrestrial world, no Etana or equivalent representation. We have simply a conjunction/opposition of snake and raptor.

3) A cylinder from the Rosen collection (fig. 6**)** depicts the snake deity with zebu cap in an interesting composition (*Porada*, 1988 ; 1993, p. 48–49, fig. 29). It is a male being kneeling with raised arms, the snakes coming out of its armpits, above a horned, bearded, and winged lion-dragon, facing right under two vegetal forms. Symmetrically, above a similar dragon, a hunter male being with bow and quiver, wearing a lion (or bear) cap raises its arms; above a floral chalice. Behind it (him), a female deity, horned with cow horns, holds a branch or ear of grain with one hand rising out of a long kaunakes type of dress. She sits on the scrolling dragon's tail, below an S-shape sign. In the centre of the composition, above a scaled mountain with two symmetrical conifers, another anthropomorphic being kneels within a radiating nimbus. It is a horned deity, with a male type of torso and the same long plait that we have seen above, holding a similar sinuous line (a snake?). The long kaunakes dress, with the gesture of putting one single hand up, are those of the female depicted on the Persepolis silver goblet, on the Togolok silver pin, and on the composite statuettes from the Oxus (*Winkelmann*, 1998). The Mesopotamian way of rendering the mountains is well attested now in Bactria and Margiana, at Gonur itself (*Francfort*, 2005b).

4) Another cylinder from the Rosen collection (fig. 7**)**, of a cruder style, said to have been purchased in Afghanistan, represents in the upper register the same deity in a radiating nimbus, sitting on a chair and holding a double curved serpentine object (*Porada*, 1993, p. 48–49, fig. 31). Nearby, a long hair, bull horned creature sits, putting a hand up out of its long dress. Compared with the sitting female figure of the previous seal, this could be the same female with long dress. Another bull horned deity, with a naked torso marked by globular shapes at the shoulders and breast is figured between two trees resembling willows. It holds two sinuous hooked objects. The lower part of the torso is indistinct and five circular shapes appear close to it. Its gender is not feminine, following a representation way similar to the figures on the Gonur or Foroughi cylinders. The lower register personages seem humans: two are seated with one or two arms raised, at the left side of an altar (or offering table, or temple gate) and two others are

Fig. 7. Cylinder seal «Foroughi». Photo after *Porada*, 1993, fig. 31.

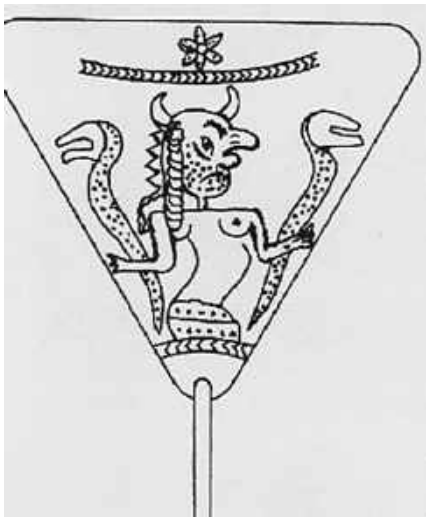


Fig. 8. Engraved spatula from Shahdad.
Photo after *Hakemi*, 1997, Obj. N°4506, p. 715.

Fig. 9. Engraved «hammer» from Tel Aviv.
Photo after *Rossi-Osmida*, 2008, fig. 13, p. 96.

symmetrically kneeling at the right side. Behind those, a naked figure runs or makes a genuflexion. In spite of the use of drill for the rendering of the shoulders and/or the breasts, nothing indicates clearly their gender.

5) The next cylinder (fig. 2**)**, in black steatite, comes from the «Temple of the Sacrifices» of Gonur Depe (*Sarianidi*, 2005, fig. 137, p. 283, p. 162). A female bull horned deity in long dress is seated on a chair within a radiating nimbus, putting one hand up. Facing her, two female deities stand looking right, hands at their waist. The first one is horned, and three other pairs of ibex like horns shoot up from her long dressed body. Four pairs of plants spring up from the body of the second one. Four plants and shapes fill the field between these two deities probably «goddesses» of animal and vegetal fertility. There we find again the well known series of parallels provided by the cylinders of the considered «Trans-Elamite» group, with long dressed female deities of animal and/or vegetal fertility, with wings and/or horns or suckers, either standing hands at the waist, or sitting with one hand up (*Amiet*, 1986, p. 167–169, fig. 132; *Winkelmann*, 2000, fig. 3): from Tepe Yahya (*Pittman*, 2001, fig. 10.46–10.49, 10.51), Shahdad (*Hakemi*, 1997, fig. Ib. 2, Ib.4, *Obj.N°2263*, p. 355), Tôd Treasury (*Amiet*, 1986, fig. 132:*11*), Susa (*Amiet*, 1997, fig. ; 2005b, fig. 14 dessin corrigé), public or private collections (*Amiet*, 1986, fig. 132: *2 and 4*; 2007a, fig. 4a–b; *Winkelmann*, 1997; 2003, Abb. 25a).

6) This series is related to the third cylinder seal of Gonur (fig. 3**)**, from burial n°23 (*Sari-*

anidi, 2007, fig. 180, p. 105): a vegetation deity is sitting above a snake, facing a goat above a table (a canine?); a tulip flower appears in the field. Among other details one should observe the great similarity between an object on a stand between sitting deities on a Lut cylinder from the Louvre (*Amiet*, 1986, fig. 132: *4* and 134), and the object on a stand between the two kneeling figures of the Gonur cylinder.

Back to the Gonur cylinder: looking at the lower register, we have seen that similar cult scenes, in a similar «Trans-Elamite» group of cylinders, associate the temple shape of ancient tradition in Iran (*Amiet*, 2001a, and now all the Jiroft decorations) with a male snake deity bearing bull horns (or bull cap) and with birds. A bird and a bull are present on the lower register of the Gonur cylinder, but the upper register will show the «male snake deity» and much more. We use the term «deities» in this text in a loose sense of «supernatural being or power», somehow between the notions of «spirits» and of «gods».

Fig. 10. Cylinder seal from Tepe Yahya. Photo after *Pittman*, in, *Lamberg-Karlovsky, Potts*, 2001, fig. 10.46.

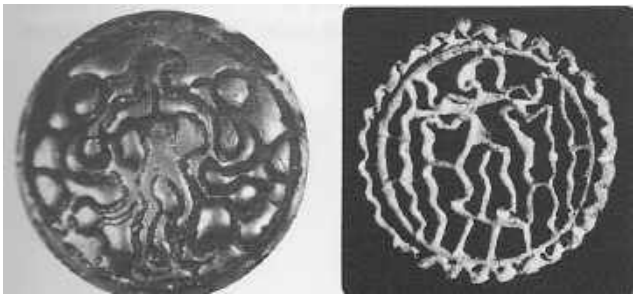


Fig. 11. Compartmented copper seals from Bactria. Photo after *Sarianidi*, 1998, n°28, n°29.

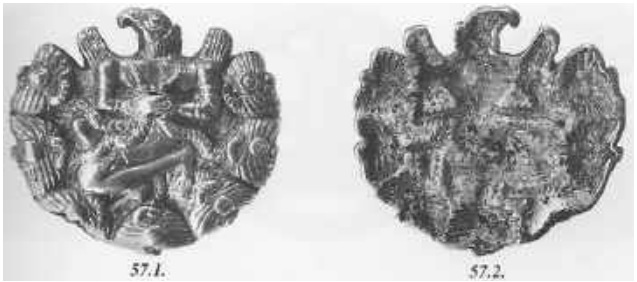


Fig. 12. Compartmented copper seal from Bactria. Photo after *Sarianidi*, 1998, n°57.

The personages

The snake deity, indeed, is there in the form of the male torso of the double headed eagle between the two snakes. The double headed anthropomorphic eagle has well known parallels in the art of the Oxus. The renown axe of the Metropolitan Museum of Art of New York represents it fighting with a boar and a lion-dragon (*Pittman*, 1984). A bronze axe of the George Ortiz collection, said to come from Daulatabad near Balkh, depicts a double face winged anthropomorphic figure, raptor headed, holding two ibexes. However the raptor of this piece is not an eagle but a large carrion eater, the *Gypaetus barbatus*, as indicated by its beard clearly visible (Catalogue, 2002, fig. p. 204). We shall return to this later but the raptor headed anthropomorphic personage

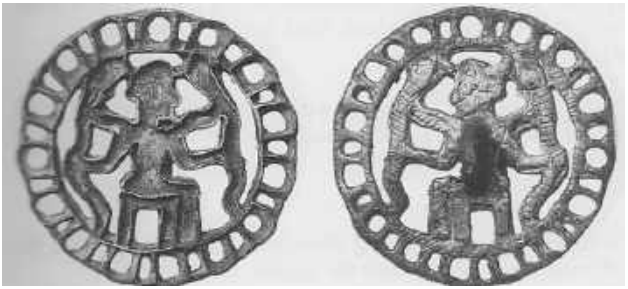


Fig. 13. Compartmented copper seal from Bactria.
Photo after *Sarianidi*, 1998, n°26.

Fig. 14. Compartmented copper seal from Margiana.
Photo after *Sarianidi*, 2005, fig. 33, p. 129.

Fig. 15. Compartmented copper seal from Bactria.
Photo after *Sarianidi*, 1998, n°13.

Fig. 16. Compartmented copper seal from Bactria.
Photo after *Sarianidi*, 1998, n° 217.

holding ibexes is well known in the Oxus (*Francfort*, 1992); it may be compared to an eagle on a goat from Gonur (*Sarianidi*, 2008, fig. 20, p. 102) or to personages between goats (*Sarianidi,* 1998, n°16; 2007, fig. 176, 177, p. 104). No exact parallel of the personage of our cylinder is known to me. But two metal objects represent human torsos on double snakes. The first is a silver spatula from Shahdad (fig. 8**),** on which is engraved the bust of a bearded and horned male figure between the snakes (*Hakemi*, 1997, Obj. N°4506, p. 715). The second is a bronze axe of the Eretz Israel Museum in Tel Aviv (fig. 9**)**, engraved with the bust of a bearded male figure with scorpion tail between the two snakes (*Rossi-Osmida*, 2008, fig. 13, p. 96). These two representations are very close to the Lut art, they seem to represent demons or «anthropomorphic dragons». On a cylinder from Tepe Yahya (fig. 10**)**, H. Pittman has also observed that the winged and horned deities, hands at waist, are «between vegetation and snakes»(*Lamberg-Karlovsky, Potts*, 2001, fig. 10.46, the nose on the head of the one with the snakes looks very much like a beak). The eagle headed figure of the Gonur cylinder may of course be compared with the allegedly Bactrian seals bearing double headed raptors (fig. 11, 12**)** (*Sarianidi*, 1998, n°126–134, 942.1, 996, 997), but also with the eagle headed male anthropomorphic figures of the compartmented seals of the Oxus corpus standing and holding snakes (*Sarianidi*, 1998, n°28, 29), and also simple human figures standing in the same action (*Sarianidi*, 1998, n°25, 30, 31, 50), horned (*Sarianidi*, 1998, n°32) or sitting bearded and horned (fig. 13**)** (*Sarianidi*, 1998, n°26). Their common gesture with extended arms is different of the hands at waist, the gesture of the goddess mastering dragons or wild beasts, the gesture of the Gonur male deity. We can mention here also the seals with raptor

Fig. 17. Compartmented copper seal from Bactria.
Photo after *Sarianidi*, 1998, n° 220.

Fig. 18. Cylinder seal from Shahdad.
Photo after *Amiet*, 1986, fig. 136.

headed anthropomorphic figures seated on snakes or dragons (*Sarianidi*, 1998, fig. 13). Of course the figure of the goddess (or man), seated on snakes, predatory animals and/or dragons, is related to them in some way (*Kuehn*, below; *Sarianidi*, 1998, n°15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; 2002, fig. p. 261). But the North Gonur site itself provides the searched parallel: a silver compartmented seal (fig. 14**),** found in room 273 depicts a winged man flanked by two snakes, kneeling hands at waist, naked torso, long skirt of the same scaly aspect as the serpents skin (*Sarianidi*, 2005, fig. 33, p. 129 and p. 142). The relation of this deity resting on a double snake with the Elamite god sitting on a snake or double snake in Mesopotamian fashion seems obvious, but is actually quite unclear. We can compare to it the Louvre winged bird-man seated on a snake with extended arms ending with claws (*Sarianidi*, 1998, n°13) (fig. 15**)**.

From this we can infer that there was in the Oxus, or at least in Margiana, a bird-man deity in conjunction (not in fight) with snakes beside the very numerous representations of eagles holding or fighting with snakes. One more observation allows further remarks: the raptor heads of the Gonur seal personage are not represented with wide open beak (as an eagle would be), but with a strong closed beak and a beard: it is definitely a lammergeyer. If we look carefully to the raptor's head facing the snake on the Foroughi cylinder, we see the same: it is also a bearded vulture. Thus, if the lapidaries and metallurgists of the Oxus or their patrons were not totally ignorant of the naturalia, they deliberately included in their iconic system two birds of prey: one fighting with snakes, the short-toe snake-eagle (*Circaetus gallicus*), and another one in conjunction with snakes, the carrion-eater bearded vulture, lammergeyer (*Gypaetus barbatus*). The snake and lammergeyer association is an old theme, in a different style, on the earlier chlorite vases of the Kerman. Why do they represent sometimes a goddess and sometimes a male or a raptor mastering the reptilians? Inconsistency, different periods, different mythological cycles, different artistic milieu and freedom of the artists? This a difficult question. We shall return to this below.

A bird is sitting next to the bird-man with snakes,. This is a large bird looking like a goose or a swan. Swan-like birds are rare, but some are depicted on compartmented seals from Bactria, just cleaning their feathers (*Sarianidi*, 1998, n°209, 218, 219). Moreover, the very special posture of the Gonur cylinder's bird with the raised neck bent back appears on two other Bactrian compartmented seals (*Sarianidi*, 2005, n°217, 220) (fig. 16, 17**)**. Such posture is of course connected to the mating season. The only swan that may be recognized here is the mute swan (*Cygnus olor*), a bird nesting today between Aral and Balkhash lakes and in the lower reaches of the Syr Darya, but wintering, among other regions, in Iran and Central Asia (*Flint et al*, 1984, p. 28). This magnificent white bird is mating during the winter season and nests between March

and May (*Géroudet*, 1959 [1999], p. 119–124; *Madge*, 1987 [2006], p. 42, 157–158). Thus it would have been present in the marshy areas and ponds of the Oxus basin during the winter, at the season of the spectacular courtship displays.

Two horned man-birds come next. They are flanking a bird in «heraldic position», similar to many representations on metal, stone or other materials seals of the Oxus. The man-bird on the right, perhaps bearded, has bull horns and one wing is extended, but the important details are the long legs and the hooked tail feathers. The same elements can be observed on the man-bird on the left. But clearly he is bearing a long beard and goat horns, apparently twisted, and widening like the horns of a deity and a goat on a cylinder from Shahdad (fig. 18**)** (*Amiet*, 1986, fig. 132.8, 136) and of a goat on a recently found impression of Konar Sandal South Tr. V (*Madjidzadeh, Pittman,* 2008, fig. 31b, p. 99). But such horns are different from the ordinary goat or ibex horns; they are reminiscent of the shape of the wild goat's horns, especially the markhor's twisted horns. The markhor (*Capra falconeri*) is a very large wild goat, present in Central Asia from Turkmenistan to Karakorum and Kashmir. It is represented in the art of the Oxus, for example in Bactria and in Shortughaï (*Francfort et al.*, 1989, pl. XXXIX:*4*; *Pittman*, 1984, fig. 21). The two hooks on the back and the one on the breast or neck may be seen as horns too, of bull or ibex, reminding the horns protruding out of the goddess body of the cylinder from the «Temple of Sacrifices» (fig. 2**)**. But the hooked tail feathers of the two creatures, if they are not to be taken as ornamental, are something very specific. There is only one bird in Eurasia with such caudal feathers: the Northern black grouse (*Lyrurus tetrix*). This bird lives today in Northern Eurasia, the closest area being the Tianshan and Ferghana mountains (*Flint et al.*, 1984, p. 82): «…nests in thin forests with thick undergrowth, in forest clearings … avoiding dense, tall forest… In breeding season, from mid-April, males collect in flocks (leks) in field, cut-over areas, and mossy swamps in early morning for breeding displays … Mating displays have also been observed in fall, beginning at the end of August». Rituals, fixed territories and hierarchy are typical of the spring mating displays, «…among the strangest shows offered by Nature» (*Géroudet*, 1994, p. 234–251). Another black grouse, the Caucasian black grouse (*Lyrurus mlokosiewiczi*) lives in the Caucasus, but that is far away and the tail feathers, less curved, look very different. If we follow this naturalist way of looking at the men-birds of Gonur, we have to admit that the black grouse was present in the Pamir-Badakhshan or Hindu Kuch mountains during the Bronze Age. This is not improbable since a change in the mountainous forest cover could have occurred due either to a small change in temperature and precipitations, either to deforestation, whether anthropic or accidental.

We wrote for instance that the bison was living in the Oxus area during the Bronze Age (*Francfort*, 2004) and a splendid silver vase was found shortly after in Gonur representing this big bovid in a mountainous landscape with other local mammals (*Sarianidi*, 2005, fig. 109–111). If our interpretation of the horned man-bird, and if the identification of the tail feathers indicate the black grouse, some of the compartmented seals of the Oxus, displaying two hooks flanking the tail of birds, different from claws may have to be reinterpreted as representing *Lyrurus tetrix*: (*Sarianidi*, 1998, n°152, 154, 155, 186). A «confirmation» is given by the clear (by their rendering) feather looking hooks of a «heraldic» snake-bird on a seal: (*Sarianidi*, 1998, n°125) (fig. 19**)**. On the other hand the lion-bird and the man-bird ordinary tails and rolling up wings on a lapis lazuli disk from the Tôd Treasure in Egypt are definitely different (*Porada*, 1993, p. 50–51, fig. 18) and probably coming from Kerman as we know today. Back to the Oxus material, a difficulty however arises if we look at the n°209, 217 and 214 of the corpus, representing swans with hooks at the front part of their body. N° 214 is especially interesting since the bird, above which is a small bird with extended wings, resembles a man-bird (fig. 20**)**. Inconsistencies in the

Fig. 19. Compartmented copper seal from Bactria.
Photo after *Sarianidi*, 1998, n°125.

Fig. 20. Compartmented copper seal from Bactria.
Photo after *Sarianidi*, 1998, n°214.

making of representations or adding of black grouse tail feathers as ornamental motifs? It is even not so simple. Men-birds are represented in the chlorite vases of Kerman, at an earlier period, in extended flying posture but in an absolutely different style (*Piran, Hesari*, 2005, fig. p. 34). In Mesopotamia, the standing man-bird is an element of the iconographic repertoire, well known and studied, and quite common during the Akkadian period (*Amiet*, 1980, p. 144–146 with references): it seems associated with water (ship-god) and vegetation (branch). It is (as Anzu) brought as a prisoner to the water god Ea (*Collon*, 1987, p. 178, ilk. n°847, 848). In Northern Syria, men-birds appear also in the glyptic of the late third millennium for example at Tell Brak and at Hurrian Urkesh, there with a spear above a fallen body (*Buccellati, Kelly Buccellati*, 1997, p. 84, fig.: «the birdman, holding a staff, and a nude woman, both standing above a supine human figure»). As observed by V. Sarianidi (*Sarianidi*, 2007, p. 106–107), the man-bird can be traced later to Mitannian and Luristan glyptic, and its career extends into Assyrian art. So for us, this motif of the man-bird is Mesopotamian in origin and it has been adapted on the Gonur cylinder (the left one) by the addition of markhor goat horns and black grouse tail feathers (perhaps the long legs are purposely made too?). The snake above its body possibly indicates an antagonist relationship between the goat and the serpent: two metal seals from Bactria depict a winged goat deity mastering snakes-dragons (*Sarianidi*, 1998, n°55, 56, holding the dragons by the tail, as does the raptor deity n°57) (fig. 12**)**. In that sense, the goat deity is of ancient tradition in Iran (*Amiet*, 1979; 1986, fig. 4–6, p. 34–37, 73; *Barnett*, 1966). But on its side, the motif of the raptor with extended wings and holding two snakes admits an ancient Mesopotamian ascendency from the early third millennium (*Collon*, 1987, p. 178, n°842) and it is one of the most common themes on the Kerman vases. Are they representing a fight or not? It depends of the raptor: probably not in the case of the lammergeyer, probably it does in other instances. However the hook motif curling under the wings of the Oxus birds, which we identified as representing tail feathers, seems to be present in Anatolia also (*Sarianidi*, 1998, p. 44–45). But if we look carefully at it and at the description by Sarianidi: «these bands twine round the spread wings of the eagles and fall down, winding at the ends». So we may conclude that the Anatolian motif is different from the Bactria-Margiana one, more curling, more ornamental, possibly deriving from snake images. Moreover, these representations in Anatolia and the images of bird-men in the same region are generally notably later in date (*Francfort,* 2004). In general, we will have to reconsider all the question of the relationships between Central Asia and the Syro-Anatolian world in the light of recent data and dates. The Tôd treasury men-birds too are different.

Finally, if our observations and propositions are correct, they indicate that the stone cutter has not manufactured this cylinder in South-East Iran, but in Margiana or at least in the Oxus, following its patron's taste by adapting the borrowed motifs to the local conditions. The six birds and parts of birds of the Mischwesen in the upper register: the lammergeyer, the markhor and especially the swan and black grouse point exactly to Central Asia. The generic snakes and eagles

motifs do not contradict that. The composition of the lower register where four beings, two animals and two humans, are hierarchically ranked facing to the right, in front of the «temple», is reminiscent of the three banquet scenes of the Bactrian silver vases (*Amiet*, 2005a; *Francfort,* 2005b). Men or women in the Bactrian banquet compositions are facing to the right towards a main personage seated enthroned and looking left. By this they differ from the «Trans-Elamite» cult compositions seen above, on which the composition, the orientation, the use of symmetry and the verticality are different.

Tentative interpretation

1) Structure of the composition. One precision is required at this point. More than fifteen years ago, on the basis of a smaller corpus of data, I proposed an attempt for understanding the Oxus symbolic and mythological system, utilizing a structural analysis (*Francfort*, 1992; 1994). In short, two polarities were recognized: one negative and lethal, the dragon (with snakes, carnivores, etc.) and the other positive with an eagle-headed hero (with raptors) fighting the dragon (and snakes) and so serving a ruling goddess of water and fertility-fecundity. Taking into consideration the Chinese dragon as a comparative reference, I proposed that the Oxus dragon was not killed by the hero, but just fought regularly in yearly cycles, at the spring season in order to activate the power to release the waters, make the fresh plants grow and young animals come to life, since all were kept underground (or elsewhere) during the cold and dry winter season. The dominating goddess was always peacefully mastering the dragon, her unavoidable complementary. Observing that this cycle was well expressed on the celebrated Khafaje vase (three moments: the death and killing; the fight and mastering by the hero; the mastering and releasing of plant and animals fertility power by a goddess), I supposed that this cycle was widespread in Eurasia before the advent of the Indo-Iranian or Indo-Aryan speaking peoples, who later adopted and adapted various parts of it, with the result that variants in poetic or plastic forms spread in many regions. Many new documents corroborated this basic view, but some do not fit with this theory. *First* come the texts: where they are present, unfortunately not in Central Asia, a great number of deities are always listed or mentioned, in a variety of functions or situations. In spite of the fact that most of them belong to later periods, when mythologies were more elaborated in Mesopotamia as well as in Elam, we must admit for instance that considering one unique goddess for nearly one thousand years in the wide area of the Oxus basin is certainly a good working hypothesis, but that cannot exclude the probability of a rich pantheon. Nevertheless, no inventory of monuments can match for instance the lists of Elamite gods at Susa. Thus structuring the monuments and the representations and trying to interpret if not to understand remains a very important task. *Secondly,* for the Oxus, V. Sarianidi pointed out to me some years ago that the structure I propose was ignoring the goat headed anthropomorphic deity: we gave an idea of its possible role above. *Thirdly,* in the same way, no male snake deity associated to birds appeared in the proposed system; except that the dragon was suggested to be some «flying snake», (represented by the Oxus metal axes) or a sort of «winged anthropomorphic snake» (the Iranian scarface's statuettes). We see now that this is still valid but incomplete. *Fourthly,* we may also insist upon the positive or at least necessary aspects of the dragon, as does Ms Kuehn in this volume. The «male» and/or raptor headed sitting peacefully and not fighting could be an equivalent of the goddess (?). Holding goats is something different. In theory they could be the «envoys» or «servants» of the goddess, related to other worlds (no flowers, no water or plants), the worlds of the game, the hunt, the wild. The hierarchy of the two is given by some representa-

tions (*Sarianidi*, 1998, n°41) but in general the goddess never appears in company of the eagle. It would be interesting also to know why, with the exception of wings, the goddess is purely human and not a Mischwesen. If we look at the neighboring regions, we see that the snake-eagle pair, for example, is something else in the chlorite art of the Kerman, preceding the Oxus. On the «Trans-Elamite» cylinders, as just seen, the relation, for instance, between the animal deity (with multiple horns) and the vegetation one (with multiple plants) are complex: the worshipping and the worshipped seem to change, etc. This could reflect the complexity of cities, towns and tribal mythologies.

Fig. 21. Dark stone flacon from Bactria in the Louvre.
Photo H.-P. Francfort.

2) Compared to this Eastern Iranian iconic systems, not to speak of Mesopotamia or Syria-Anatolia, the Oxus mythological world seems simpler, less elaborated, as observed by P. Amiet. We agree but we shall do our best to complicate it. Another aspect must be taken into account. The relation with the corpus of surviving and understandable Near Eastern mythologies has triggered attempts to recognize them into the Oxus iconography. The Mesopotamian myths have been used for instance by S. Winkelmann who collected the representations from the fifth to the second millennium BC and from India to Mesopotamia, reducing almost all to the myth of Etana, a point of view difficult to agree with, but that we cannot discuss here (*Winkelmann*, 2000; 2003; 2004). But we agree with the methodological cautions of P. Amiet: male or female, a snake deity has not to be identified as Ningishzidda, and, as lucidly stated by him, against the «panbabylonism» of some scholars, there is no reason to identify the other figures of the Lut-Yahya group with Dumuzi and Inanna or to recognize the Etana myth in every representation of a snake and a bird or of a man brought to heaven by a bird (*Amiet*, 1986, p. 167–169; 2001b). Similarly, every «hairy» figure has not to be called Humbaba, every composite bird-x is not an Anzu, every Central Asian goddess dressed in kaunakes is not a Mesopotamian Nana or an Elamite Narundi, and even every deity resting on a snake is not a Napirisha.

3) The Gonur cylinder was designed in the Oxus, as we saw above, for representing a cult scene. How to tentatively interpret such composition? Clearly the lower register represents the terrestrial world. The upper one, with Mischwesen and no less than six birds or parts of birds, represents the supernatural and somehow celestial world. According to the Bactrian silver vases compositional scheme, the main figure, worshipped or honored, must be situated «on» the «temple» image on the right. The worshipped image on the «temple» is, on the first «Trans-Elamite» cylinder, a snake deity with a bird. The same deity appears on the Foroughi cylinder, with a bull head-dress. In Bactria, an image of the winged goddess «on the temple» is engraved on a chlorite flacon, between two tulip flowers (*Pottier*, 1984, n°150, pl. XX) (fig. 21**)**. We infer from this that the main personage of the Gonur cylinder is the markhor-horned man-bird with hooks, black grouse tail feathers and a snake, situated above the «temple». Following the rank to the left we find the swan in mating display above the first praying figure; then the double headed lammergeyer bird-man on snakes which is above the second praying figure. Next comes the bull-horned man-bird with an extended wing and black grouse tail feathers, above the sitting bull. Finally the

bird «heraldic» or in flight appears above the sitting bird. This sequence has its consistency but it leaves aside the apparent interaction, even if more paratactic than syntactic, of the personages of the upper register. The simplest way to solve the difficulty, inspired by the «Trans-Elamite» parallels, is to observe that the snake deity on temple with bull cap and accompanied with a bird (fig. 4, 5**)**, is replaced on the Gonur cylinder by (or «translated into») an equivalent composition: the temple and bird and bull above which are the men-birds, bull (or goat)-horned with bird and snake. But there is another possible interpretation and we may propose the following alternative «reading». The lammergeyer-man on snakes, the human bust is in frontal display, it is a double figure, facing right and left. This group may represent the dead season, immobility, winter, in the above schematic cycles system. The frontal view is still whereas the profile expresses activity: in the Oxus art, when the eagle headed hero fights the snake, the image is not symmetrical, the personage walks or kneels and its hands are up and down. The group of the two men-birds with their goat and bull horns, in symmetry but displayed in profile, are centered on a «flying» bird and the one on the right is perhaps taking off, while the snake seems to flee away. They may represent the season of vital activity and life, from spring to fall. In between the swan (goose?) in mating display may represent the changing season, the end of winter, and the preparations for the breeding, fecundation, fertility and life. The opposition that we have here between the bird-man and the man-birds, where the head is the main element, is as significant as is the contrast between the color of stones between the statuettes of goddess and of anthropomorphic dragon we formerly observed (*Francfort,* 1994). The dark head and white kilt of the dragon opposed to the white face, white hands and dark dress of the goddess: serpentine (chlorite) vs. calcite (marble). Here we see the same kind of opposites: head of necrophagous on human body (bird-man) vs. head of humans-cum-herbivorous on animal body (men-birds), and, on the last, human heads («white»?) vs. black grouse bodies («dark»?). The snakes, dark animals of underground, contrast with the immaculate white swan, as, we observed, they contrasted with the white colored snake-eagle, their adversary. Of course, all this remains speculative and hypothetical, but it is structurally consistent and not in opposition with the common sense and opinions about the concerned Mischwesen.

Some historical social and cultural remarks could relate to the relative archaism of some elements of the Oxus Civilisation.

Could some personages be humans in disguise? Of course this is not a new problem and we do not have the exact answer. However, it seems that some of the composite beings may figure humans masked for some rituals, but I shall not comment longer here. The masked hunters (or ibex and other gods) deserve more than a short shrift. One important observation is that the art of the Oxus is more interested in representing wild life, wild animals and hunting than domestic species and activities. This matters for the present Gonur cylinder too: the bull of the lower register is the only probable domestic animal, but the bird may have been in the proximity of humans too. Another remark is worth formulating, but will not be developed here: the snake and eagle pair in conjunction is relatively frequent in the decoration of bronze and silver axes of the Oxus. Such paraphernalia are symbols of power and, if we look at the series, it is obvious that their ornamentation, engraved, molded or in the round, is but a few exceptions made of figures of predatory animals: eagle, snake, dragon, leopard, dog or wolf, lion. Conversely, the bull, sheep, goat appear on bronze and silver pins. The first belong to the male domain of activity and burials, the others to the women world. Thus these two complementary aspects of the life were included as such in the Oxus art and symbolic iconography in a much broader scale than this single Gonur cylinder. This again refers to very ancient conceptions (archaisms would say some), that preceded any urban or proto-state form of social life and organization.

This cylinder belongs to a category of seals that are relatively not numerous. They are found

on many sites but not all. Their iconography possesses some themes and motives in common with the compartments seals on one hand and with the stone seal and amulets on the other. This very cylinder belongs to a sub-class less numerous (three in Gonur Depe) related to the «Trans-Elamite» or «East Iranian» group. The great diversity of the types of the Oxus seals and the variety of techniques and styles of its cylinders seals is somehow surprising. We supposed that they had another use beside the purely administrative one generally admitted in the Middle East (*Francfort*, 1998). On the other hand, and this strengthens the argument, no seal or cylinder represents court or palace scenes, and not a single one is inscribed. The number of sealings discovered is small and some seals or cylinders were used on the soft fabric of the jars before their firing, just as in the Lut or in the Indus. Without writing, the relatively important number of seals discovered, in burials or in the sites give support to the idea of V. Sarianidi for calling some of them «amulets». The various categories of seals could correspond to different categories of population, but we are not in the position to precise if it were hierarchical, ethnical, linguistic differentiation, or a moving instable mixture of all. The only regular observation is that the seals are by far connected with female burials, of course not the poorer (*Luneau*, 2008). On the other hand, it is possible to observe that for instance until now not a single stone seal or «Murghab amulet» presents a representation of the Oxus goddess. If we combine this remark with the above observation that these amulets are more present on site such as Togolok, Gonur South or Dashly-1, we may hypothesize a progressive change in the cults in the later phase of the Oxus civilization if we rely upon the chronological theory. Or, if we favor a functional theory, we can suppose that a part of the population, whether these sites are sanctuaries or not, was turned towards other forms of expression or of mythology. A lot of research is still necessary for a better understanding.

In conclusion, this cylinder found in a «common burial» of the necropolis of Gonur Depe is a very important document. It reflects some aspects of the Oxus civilization's image of the world by using iconographic conventions and themes borrowed from the «Trans-Elamite» and East Iranian arts and by reinterpreting some iconographic motifs and themes borrowed from the Syro-Mesopotamian iconography. Nevertheless, its Bactria-Margiana origin seems established and its probable date of manufacture between 2200 and 2100 (but not totally excluding the two following centuries). The Oxus Civilization, with all its «archaisms» was a real civilization and Gonur Depe was an important capital. No king's or queen's seals or sealings were found, perhaps because the Oxus people needed more to assert its mythology and view of the world than to honor or participate to the self celebration of the ruling classes. Parts of this system were adopted and reformulated at later date by the Indo-Iranian (and Indo-Aryan) populations. It is therefore not impossible to recognize in some Oxus representations the prototypal images of beings appearing in the early Indian (Vedas) and Iranian (Avesta) poems. Unfortunately, the late phases of the Oxus Civilization, after 1700 BC, and the Late Bronze Age or Early Iron Age (Yaz-1 to Yaz-3) belong to aniconic phases of culture, even without burials for the Yaz.

Bibliography

Amiet P. Antiquités du désert de Lut // Revue d'Assyriologie. 1974. T. LXVIII. No. 2. P. 97–110.

Amiet P. Antiquités du désert de Lut // Revue d'Assyriologie. 1976. T. LXX. No. 1. P. 1–8.

Amiet P. L'iconographie archaïque de l'Iran. Quelques documents nouveaux // Syria. 1979, T. LVI. No. 3–4. P. 333–352.

Amiet P. La glyptique mésopotamienne archaïque. P., 1980.

Amiet P. L'âge des échanges inter-iraniens. 3500–1700 avant J.-C. P.,1986.

Amiet P. Un sceau trans-élamite a Suse // Revue d'Assyriologie. 1994. T. LXXXVIII. No. 1. P. 1–4.

Amiet P. La glyptique transélamite // De Chypre a la Bactriane, les sceaux du Proche-Orient ancien / A. Caubet (Ed.). P., 1997. P. 119–129.

Amiet P. Le thème du «temple vide» dans l'iconographie orientale // Maquettes architecturales de l'antiquité, (Travaux du centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques. Vol. 17). B. Muller (Ed.), P., 2001a. P. 473–483.

Amiet P. Texte et image: vaines attentes et transferts inattendus // Archaeology and history in Lebanon. 2001b. Vol. 13. P. 2–8.

Amiet P. Antiquités de l'Iran élamite et trans-élamite // Arts & Cultures. 2003. Vol. 4. P. 81–91.

Amiet P. De l'Elam a la Margiane. Le renouvellement des problèmes archéologiques // Seals of the Oasis from the Ligabue Collection with an Introduction by Pierre Amiet and Postscriptum by Gabriele Rossi-Osmida. S. Winkelmann (Eds.). Padoue, 2004a. P. 10–18.

Amiet P. L'élargissement des échanges inter-iraniens. Essai de mise a jour // Akkadica. 2004b. Vol. 125. P. 5–25.

Amiet P. Art de cour de Margiane-Bactriane // Le revue des musées de France. Revue du Louvre. 2005a. Vol. 2. P. 29–36.

Amiet P. Les sceaux de l'administration princière de Suse a l'époque d'Agadé // Revue d'Assyriologie. 2005b. T. 99. P. 1–12.

Amiet P. Elam et trans-élam. A propos de sceaux-cylindres de la collection du Dr. Serge Rabenou // Revue d'Assyriologie. 2007a. T. CI. P. 51–58.

Amiet P. L'âge des échanges inter-iraniens 3500–1700 avant J.-C. // Sulla Via delle Oasi. Tesori dell'Oriente Antico \ G. Ligabue, G. Rossi-Osmida (Eds.). Padoue, 2007b. P. 64–87.

Barnett R. D. Homme masqué ou dieu-ibex? // Syria. 1966. Vol. XLIII. P. 259–276.

Buccellati G., Kelly Buccellati M. Urkesh: The first Hurrian capital // The-Biblical-archaeologist. 1997. Vol. 60. No. 2. P. 77–96.

Catalogue. Afghanistan une histoire millénaire. P., 2002.

Collon D. First Impressions. Cylinder seals in the Ancient Near East. L., 1987.

Flint V. E., Boehme R. L., Kostin Y. V., Kuznetsov A. A. A Field guide to birds of the USSR. Princeton, 1984.

Francfort H.-P. Dungeons and dragons: reflections on the system of iconography in protohistoric Bactria and Margiana // SAA Studies. G. L. Possehl (Ed.). New Delhi, Bombay, Calcutta, Oxford, 1992. P. 179–208.

Francfort H.-P. The Central Asian dimension of the symbolic system in Bactria and Margiana // Antiquity. 1994. Vol. 68(259). P. 406–418.

Francfort H.-P. Les sceaux de l'Oxus: diversité de formes et variabilité de fonctions // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. 1998. Vol. 5. No. 1. P. 59–71.

Francfort H.-P. Animals in reality, art and myths in the Oxus civilization (BMAC): bison, deer // У истоков цивилизации (U istokov civilizacii). Сборник статей к 75-летию В. И. Сарианиди (Sbornik statej k 75-letiju Viktora Ivanovicha Sarianidi) \ M. F. Kosarev, P. M. Kozhin, N. A. Dubova (Eds.). M., 2004. P. 182–192.

Francfort H.-P. La civilisation de l'Oxus et les Indo-Iraniens et Indo-Aryens // Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale. (Collège de France. Publications de l'Institut de Civilisation Indienne. Vol. 72) \ G. Fussman, J. Kellens, H.-P. Francfort, X. Tremblay (Eds.). P. 2005a. P. 253–328.

Francfort H.-P. Observations sur la toreutique de la civilisation de l'Oxus // Afghanistan, ancien carrefour entre l'Est et l'Ouest (Indicopleustoi. Archaeologies of the Indian Ocean. Vol. 3) \ O. Bopearachchi, M.-F. Boussac (Eds.). Turnhout, 2005b. P. 21–64.

Francfort H.-P., De, Boisset Ch., Buchet L., Desse J., Echallier J.-C., Kermorvant A., Willcox G., Fouilles de Shortughaï: recherches sur l'Asie centrale protohistorique. Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie centrale. Vol. II. P., 1989.

Géroudet P. Les Palmipèdes d'Europe, P., 1959 [1999].

Géroudet P. Grands échassiers, gallinacés, râles d'Europe. P., 1994.

Hakemi A., Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age Center in Iran. Translated and Edited by S. M. S. Sajjadi. With an Introduction by P. Amiet and a Postsciptum by S. Salvatori, M. Tosi. Reports and Memoirs. Vol. XXVII. Rome, 1997.

Lamberg-Karlovsky C. C., Potts D. T. Excavations at Tepe Yahya, Iran 1967–1975. The Third Millenium. (With contributions by H. Pittman, Ph. L. Kohl) American School of Prehistoric Research Bulletin. Vol. 45. Cambridge Mass., 2001.

Luneau E. Tombes féminines et pratiques funéraires en Asie Centrale protohistorique. Quelques réflexions sur le «statut social» des femmes dans la civilisation de l'Oxus // Paléorient. 2008. Vol. 34. No.1. P. 131–157.

Madge S. Guide des canards des oies et des cygnes. P., 1987 [2006].

Madjidzadeh Y., Pittman H. Excavations at Konar Sandal in the region of Jiroft in the Halil basin: first preliminary report (2002–2008) // Iran. 2008. Vol. 46. P. 70–103.

Piran S., Hesari M. Cultural Around Halil Roud & Jiroft. The Catalogue of Exhibition of Select Restituted Objects. Téhéran, 2005.

Pittman H. Art of the Bronze Age. Southeastern Iran, Western Central Asia and the Indus Valley. NY., 1984.

Pittman H. Glyptic Art of Period IV // Excavations at Tepe Yahya, Iran 1967-1975. The Third Millenium (With contributions by H. Pittman, Ph.L. Kohl). American School of Prehistoric Research Bulletin. Vol. 45 \ C. C. Lamberg-Karlovsky, D. T. Potts (Eds.), Cambridge Mass., 2001. P. 231–268.

Porada E. Discussion of a Cylinder Seal, probably from Southeast Iran // Iranica Antiqua. 1988. Vol. 23. P. 139.

Porada E. Seals and Related Objects from Early Mesopotamia and Iran // Early Mesopotamia and Iran. Contact and Conflict c. 3500–1600 BC. Proceedings of a Seminar in memory of Vladimir G. Lukonin \ J. Curtis (Ed.). L., 1993. P. 44–53.

Pottier M.-H. Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l'âge du bronze. P., 1984.

Rossi-Osmida G. Arte animalistica e Via delle Oasi // Animali e Mito nel Vicino Oriente Antico \ G. Ligabue, G. Rossi-Osmida (Eds.). Trebaseleghe, 2008. P. 82–101.

Salvatori S. Bactria and Margiana Seals. A New Assessment of Their Chronological Position and a Typological Survey // EW. 2000. Vol. 50. No. 1–4. P. 97–145.

Sarianidi V. I. Myths of Ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets. M., 1998.

Sarianidi V. I. Margush. Ancient Oriental kingdom in the old delta of Murghab river. Ashgabat, 2002.

Sarianidi V. I. Gonurdepe. City of Kings and Gods. Ashgabat, 2005.

Sarianidi V. I. Necropolis of Gonur. Athens, 2007.

Winkelmann S. Ein neues trans-elamisches Siegel // AMIT. 1997. Vol. 29. P. 135–146.

Winkelmann S. Bemerkungen zum Grab 18 und den Silbernadeln von Gonur depe // AMIT. 1998. Vol. 30. P. 1–16.

Winkelmann S. Intercultural relations between Iran, the Murghabo-Bactrian Archaeological Complex (BMAC). Northwest India and Failaka in the Field of Seals // EW. 2000. 50. No. 1–4. P. 43–94.

Winkelmann S. Berliner Schlangenbecken, Trichterbecher und Cincinnati-Mann: verkannte Schlüsselobjekte der altorientalischen Archäologie? // Altertumswissenschaften im Dialog. Festschrift für Wolfram Nagel zur Vollendung seines 80. Lebensjahres (Alter Orient und Altes Testament. Vol. 306) \ R. Dittmann, Chr. Eder, B. Jacobs (Eds.). Münster, 2003. P. 567–680.

Winkelmann S. Seals of the Oasis from the Ligabue Collection. Padoue, 2004.

Бушмакин А. Г. (Bushmakin A. G.) Экспертное заключение на археологические находки из камня (Ekspertnoe zakljuchenie na arkheologicheskuju nakhodku iz kamnja) // Труды Маргианской археологической экспедиции (Trudy Margianskoj arkheologicheskoj ekspedicii). Vol. 2. V. I. Sarianidi, P. M. Kozhin, M. F. Kosarev, N. A. Dubova (Eds.), M., 2008. P. 165.

Зайцева Г. И., Дубова Н. А., Семенцов А. А., Реймар П., Мэллори Дж., Юнгнер Х. (Zaiceva G. I. et al.) Радиоуглеродная хронология памятника Гонур Депе (Radiouglerodnaja khronologija pamjatnika Gonur Depe) // Труды Маргианской археологической экспедиции (Trudy Margianskoj arkheologicheskoj ekspedicii). Vol. 2 \ V. I. Sarianidi, P. M. Kozhin, M. F. Kosarev, N. A. Dubova (Eds.). M., 2008. P. 166–179.

Сарианиди В. И. (Sarianidi V. I.) Некрополь Гонура и иранское язычество (Nekropol' Gonura i iranskoe jazychestvo. (Necropolis of Gonur and Iranian Paganism). M., 2001.

M. Tosi, B. Cerasetti

ONCE UPON A TIME... A BRIEF REFLECTION ON THE HISTORY OF «THE ARCHAEOLOGICAL MAP OF THE MURGHAB DELTA (AMMD)» PROJECT IN RELATION TO THE FUNDAMENTAL ROLE OF V. I. SARIANIDI*

The landmark of the long carrier of Viktor I. Sarianidi[1] as archaeologist has been the discovery of another earthland of early civilization overarching mountains, deserts and oases between Turkmenistan and Afghanistan. Whether or not one accepts his original definition of it, Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC), it will remain undoubtedly his most remarkable achievement. In order to emphasize the long pathway of his work, we thought that the best and most direct way to do it would be to assemble the tiles relating to the history of the archaeological explorations in the Murghab alluvial fan[2].

We realized that this year 2009 marks not only his 80th birthday, but also the 40th year of his work on the Murghab as well as the 20th year of our exploration of the alluvial fan for the endless commitment to produce «The Archaeological Map of the Murghab Delta». It is a great coincidence to implement our thought for a long and critical reflection on our project, around the extraordinary hub of Gonur excavation. Viktor Ivanovich was very much aware that the archaeology needs discoveries, that the archaeology is a science but also a peel to the hidden desires of all people for the magic of exploration and discovery of the vast collection of beautiful buildings and objects, produced by the tireless activity of Sarianidi.

The archaeological map of the Murghab alluvial fan (*Gubaev, Koshelenko, Tosi*, 1998; *Salvatori, Tosi,* 2008) was officially requested to M. Tosi by G. A. Koshelenko, but anyway it was strongly wanted by Sarianidi and conveyed to Maurizio during their meeting in Margiana in 1990, on the road to visit Takhirbai 4. Unfortunately, when we started the research in the Murghab region it was already too late, as we soon realized in face of the rapid re-development of the desert for intensive cotton farming, made possible by the Karakum channel. Koshelenko was very much aware of this rapidly deteriorating situation, considering that by the early eighties all the land included within the Partho-Sasanian settlement region between Merv and the line of fortresses between Geobekly and Uly Kishman was already cultivated leaving the higher mounds as the only recorded sites (*Bondioli, Tosi*, 1998, p. XV).

Our project started officially on March, 15th 1989, when the Scientific Protocol between the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Soviet Union (now Russian Academy of Sciences – IARAS) and the Italian Institute for Middle and Far East (now Italian Institute for Africa and the Orient – IsIAO) was signed in the Sala della Protomoteca of the Capitolium Palace in Rome in the presence of the Mayor of Rome and various other authorities

* The main financial supports of the Italian–Turkmen Joint Project in Turkmenistan come from the Italian Ministry for Foreign Affairs (MAE), the Italian Institute for Africa and the Orient (IsIAO) and the University of Bologna. Other contributions come from Fondazione Flaminia in Ravenna, University of Naples "L'ORIENTALE" and Washington University in St. Louis (USA).

[1] We would like to thank Nadezhda A. Dubova for her kindness to give us information on the professional career of V. I. Sarianidi; Liubov B. Kircho for her constant friendship and to help us on the reconstruction of the engagement of V. M. Masson and I. S. Masimov in the Murghab region; Alessandra Lazzari as a precious keeper of the memory of the Italian Project in Turkmenistan.

[2] Contrary to the past, we prefer to use the more exact term of «alluvial fan» instead of «delta» to identify the fan-shaped conoid of the Murghab river, since it is not exactly a delta which is a landform created at the mouth of a river flowing into an ocean, sea, estuary, lake, reservoir or another river. We would like to thank Giovanni Gabbianelli for the clarification.

(*Alekseev, Koshelenko, Munchaev*, 1991, p. 5). However the «marriage» had a long preparation like all the happy unions. On October 17th 1988 M. Tosi and R. Biscione went to Moscow to meet G. A. Koshelenko and V. A. Gaibov to decide about their collaboration in the region of the Murghab alluvial fan... but we would like to start from the beginning!

The first investigations in Turkmenistan were carried out in 1890 by the Russian scholar V. A. Zhukovskij (*Жуковский*, 1894) in Merv and by General Komarov in Anau, 12 km east of the modern capital of Ashgabat. The Western pioneers of the archaeological investigations in the country were Raphael Pumpelly (1908), who excavated Anau in 1904 more intensively than General Komarov, and his assistant E. Huntington (1908, p. 219–231). The researches of Pumpelly and Huntington concentrated the attention of the Western scholars on the importance of the area for the beginning of civilization and the Anau sequence guided the first Soviet prehistoric investigations (*Kohl*, 1984, p. 18). In 1916 and more intensively in 1924 the Soviet irrigation engineer and agronomist D. D. Bukinich excavated Namazga Depe, meanwhile in the thirties A. A. Marushchenko investigated the piedmont area of Kopet Dagh. In the meantime in Ashgabat the «Turkestan Committee for the Preservation of Monuments of Antiquity and Art» (*Turkkomstaris*) was set up for the supervision of the museums, the preservation of monuments, antiquity, art and nature. In 1920–1921 the *Turkkomstaris* started its activity with the creation of the archaeological map of Central Asia. In November 1920 V. V. Bartol'd (*Бартольд*, 1922) proposed that the efforts of the Committee should be concentrated on the preparation of the archaeological map, the excavation of Merv and other sites and on the preservation of the monuments. According to the decision of the Turkmen Central Executive Committee (CIK), from July, 31st 1921 all the archaeological excavations in Turkmenistan needed an explicit permission by the *Turkkomstaris* (*Atagarryev, Berdyev*, 1970, p. 286).

In 1925 the first ethnographic-archaeological association was formed in Ashgabat and in 1926 an archaeological group, including P. V. Arbekov, O. E. Vizel', V. R. Tripol'skij, A. A. Karelin, V. D. Gorodeskij and others, started a systematic survey of the archaeological monuments scattered over the territory of Turkmenistan. In 1926, during hydro-geological works near Anau, Bukinich discovered a 7-meters high archaeological sequence and we consider it one of the most important contributions to the prehistoric archaeology and the early stages of irrigation farming (*Букинич*, 1924).

In 1929 the ethnographic-archaeological association was superseded by the Institute of Turkmen Culture (*Turkmenkul't*) by order of the CIK, under the supervision of the Council of the People's Commissars (SNK) of the Soviet Socialist Republic of Turkmenistan (*Atagarryev, Berdyev*, 1970, p. 287). At the beginning the Institute was lacking of specialized archaeologists and was forced to invite them from other confederate republics. In 1928–1929 the *Turkkomstaris* in collaboration with the *Turkmenkul't* organized the Haveran expedition, led by A. A. Semenov (*Семенов*, 1928), who mainly studied the archaeological sites along the Kopet Dagh chain.

The Institute sponsored numerous projects in southwestern Turkmenistan, in the Merv Oasis, in the area between Tedzhen and Murghab alluvial fans and along the Amudar'ya river until the end of the World War II. Contextually in 1937 B. B. Piotrovskij (*Пиотровский*, 1949) and A. A. Marushchenko worked at Gyaur-kala, the Hellenistic settlement of the ancient capital of Merv, and defined a cultural and chronological reference pattern from the 6th century BC to the 7th century AD for the sites and monuments in the Murghab alluvial fan.

In 1937 the organization of the archaeological-ethnographical expedition in Khoresmia, undertaken by the USSR Academy of Sciences and led by S. P. Tolstov (*Толстов*, 1948a, 1948b; Tolstov, 1958, 1960) who started the work in 1939 with the collaboration of S. A. Ershov, marked together with the exploration made in the area by B. V. Andrianov (*Андрианов*, 1969) an important goal in the history of the scientific activity in Central Asia, interrupted during the World War II.

Fig. 1. A view of the excavation of the trench 3 in Yaz Depe by V. M. Masson on 1954 (by courtesy of the Department of Photos, Institute for the History of Material Culture, St.-Petersburg, Russia, n. 1698-3/28).

Fig. 2. The camp of XIV Detachment of YuTAKE in Dzheitun (right) V. M. Masson, V. I. Sarianidi and I. N. Khlopin from the left to the right (*Masson*, 1960, pp. 12–13. Figs. 1–2) (bottom).

As M. E. Masson (*Массон*, 1949, p. 5) wrote in the introduction to the first volume of the Transactions (Trudy) of YuTAKE, the Turkmen section of the Akademiya nauk SSSR (Academy of sciences of USSR), including the Institut istorii, yasyka i Literatury (Institute of History, Language and Literature) Yuzhno-Turkmenistanskuyu arkheologicheskuyu kompleksnuyu ekspediziyu (YuTAKE – South Turkmenistan Archaeological Complex Expedition), was set up in connection with the archaeological conference held in Moscow in February 1945 and the fieldworks of YuTAKE began on September, 1st 1946. In 1947 the YuTAKE started the archaeological and topographical exploration of the ancient city of Merv. From 1946 to 1949 they were mainly of exploratory character, but from 1950 onwards the 18th YuTAKE team worked intensively in Erk-kala and Gyuar-kala under the direction of M. E. Masson.

After World War II, B. A. Kuftin was invited to Central Asia to study the archaeological monuments of the present territory of Turkmenistan and headed the XIVth Detachment of YuTAKE. In 1952 he investigated Namazga Depe, defining the first basic Chalcolithic to Late Bronze Age sequence (*Куфтин*, 1956), Anau where he outlined a new stratigraphical sequence to replace the outdated periodization of Pumpelly (1908), and Altyn Depe where he made from the highest point of the site a cross section of the *tepe* to a depth of 30 m, establishing a first scale of pottery sequence and chronology for all layers of the Bronze Age. Kuftin (*Куфтин*, 1956), together with V. M. Masson, were first archaeologists who concentrated their attention on the study of the early farming societies and their settlements mainly spread along the Kopet Dagh mountains. In September 1953 Kuftin accidentally died and his work was continued by V. M. Masson whose publication gave us our knowledge of a Central Asian Bronze Age sequence.

In 1951 was formed in Ashgabat also the Archaeological Sector of the «Sh. Batyrov» Historical Institute of the Academy of Sciences of the Soviet Socialist Republic of Turkmenistan, which planned different archaeological excavations. In 1957 the Archaeological-Ethnographical expedition of Moscow State university (MGU), led by G. E. Markov, organized different expedition in Southern Turkmenistan with the collaboration of the Archaeological Section of the Academy of Sciences.

The first Iron Age sequence for Margiana and Southern Turkmenistan was established by V. M. Masson, pioneer of the archaeological investigation in the Murghab alluvial fan, after the excavation of Yaz Depe from 1954[1] to 1956 (fig. 1). The main reason of the Masson's investment in the excavation of Yaz Depe (*Массон*, 1955) was to study the origin of Merv culture, the Late Bronze and Early Iron Ages before the Achaemenid culture, and Yaz was the largest site not far in the desert. In 1955 there was a vast propulsion to the archaeological explorations thanks to the building of the Karakum canal, corresponding to a notable availability of funds for archaeology. Infact the YuTAKE promoted on a large-scale explorations of the Karakum desert with a team directed by V. M. Masson with the collaboration of I. N. Khlopin and V. I. Sarianidi (fig. 2)

The site of Yaz Depe, approximately 16 ha large, is the representative site of Margiana during the Iron Age, identified as political and administrative centre of the pre- and Achaemenid period. In 1959 V. Sarianidi, member of the expedition directed by V. Masson, excavated the central area of the citadel with an extension of approximately 1 ha and identified three main periods (Yaz I, II, III). The culture of Yaz identifies mainly the first phase of the Iron Age, characterized by a hand-made pottery with a red or dark-red colour decoration on a light *engobe*. The Yaz I period is characterized by the establishment of a monumental platform of unbaked bricks or

[1] V. M. Masson started the excavation of Yaz-tepe on September, 13th 1954.

pakhsa, centre of the power instead of the previous palace of the Bronze Age, surrounded by a defensive wall and a moat. The new defensive structures are peculiar of the citadel of the Iron Age, characterized by a remarkable elevation on the ground, and they are typical of the following Achaemenid and Parthian periods. Furthermore the pottery collected by expedition (*Массон*, 1959, pp. 185–198; p. 204, XVII–XXX–XXXVII–XLII) allowed to define a complete chronological sequence of the Iron Age. The Yaz II and III periods are characterized by the disappearance of the painted pottery and a higher percentage of wheel-made pottery.

During the more recent phases the citadel of Yaz Depe seemed to lose the functions of political control and the monumental structures were restored to become built-up areas. The center of the power moved to other places as Merv with the first nucleus of Erk-kala. «For some reason or another, the people in leaving the west migrated to Merv... An answer to this question is contained in the establishment of the reason why Merv was founded...» (*Lyapin*, 1996, pp. 14–15). One of the probable reasons of the abandonment of Yaz Depe is to be inquired in the movement of the main course of the Murghab to the west because of the continuous aggradations of the river on the east side. The gradient created by the alluvial deposit hampered the river to flow to north-east, forcing it to move to north-west with the following creation of a new conoid. On the SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) images, from NASA mosaic dated on 2000, it is clearly evident the overlapping of the fluvial ridge serving Merv on the more ancient one active during the Bronze Age (fig. 3 – see color inset). During the Achaemenid period the Merv system started to be exploited artificially and the new hydraulic works conveyed the water in the same channels active during the Bronze Age (fig. 4 – see color inset).

In Autumn 1955 V. M. Masson and V. I. Sarianidi visited the Geoksyur oasis (6th-early 3rd millennium BC) (*Хлопин,* 1964; *Массон*, 1962; Средняя Азия.., 1966), located in Southern Turkmenistan 20 km east of the city of Tedzhen in the lowland zone between Tedzhen and Murghab rivers, and in this occasion they decided that Masson would have studied the sites of Kara Depe and Dzheitun, while Sarianidi would have excavated the site of Geoksyur. The farming settlement was excavated by Viktor Ivanovich between 1956 and 1959 (*Сариниди,* 1965) and revealed adobe multi-room houses and burial chambers, characterized by diachromatic paintings pottery. From 1954 to 1962 the XIVth Division of YuTAKE excavated eleven prehistoric sites, including Geoksyur, Kara Depe, and Dzheitun, and documented the basic sequence for the Iron Age in Margiana under the direction of V. M. Masson, V. I. Sarianidi and I. N. Khlopin (*Массон*, 1959; *Kohl,* 1981, pp. VIII–IX; 1984, p. 20; *Bonora, Vidale*, 2008, p. 153). In 1955–1956 V. Sarianidi worked at Takhirbai and Yaz Depe and he began the first surface explorations of the territory, understanding the enormity of the dispersion of the archaeological sites in the Murghab alluvial fan. In the nineteen-seventies and eighties these archaeologists carried out numerous researches in Margiana, concerning Bronze and Iron Ages (*Sarianidi*, 1981; *Масимов,* 1982).

After their co-direction in 1965 in the site of Altyn Depe, that started to be excavated in 1947 by the 7th Division of YuTAKE led by M. E. Masson and G. A. Pugachenkova, in 1967 V. M. Masson became the sole director of the excavations in the site, meanwhile I. N. Khlopin and L. I. Khlopina started to work in the middle Sumbar Valley in South-western Turkmenistan and V. I. Sarianidi investigated the site of Ulug Depe and Khapuz Depe. In 1969 the Soviet-Afghan Archaeological Expedition was set up and Sarianidi started to work in Bactria and continued digging in Margiana (1969–1979). He was 40-years old and a young Maurizio Tosi met him in Moscow in the very end of August 1969, just before the departure of Viktor Ivanovich to Afghanistan. During his activity in Afghanistan Sarianidi began to outline *in nuce* the idea of the

Fig. 6. Sovkhoz "Bayram-Ali", known before 1991 as "50-let SSSR".

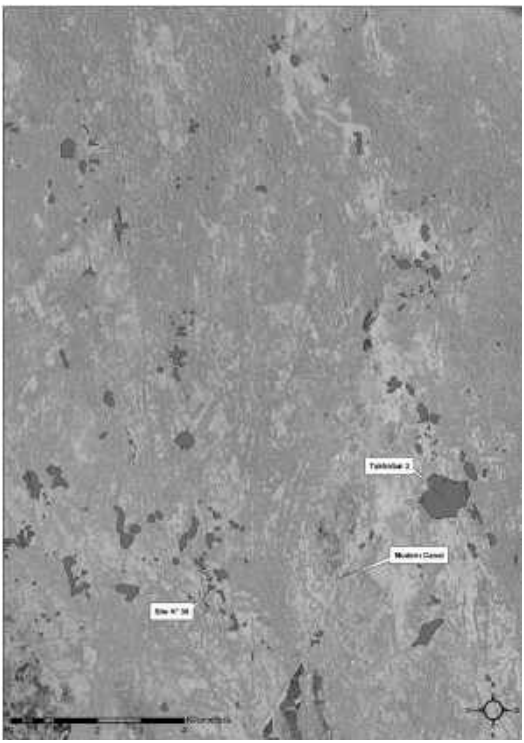


Fig. 7. Lokation of Site No. 38 on CORONA KH-4 1972.

BMAC, mainly on the basis of the previous explorations in Southern Turkmenistan and the new data coming from the explorations in Iran (*Сарианиди*, 1976, p. 71; 1990).

In Spring 1972 Sarianidi revisited the sites of Takhirbai area and Auchin Depe[1] and discovered the site of Gonur, that he started to excavate in 1973. In the same year a Murghab Expedition was formed by the Institute of Archaeology of the Soviet Academy of Sciences in Moscow with Sarianidi like director. Before his great work at Gonur Depe, still in progress and integrated by an accurate restoration of the unbaked structures (*Sarianidi*, 2008, p. 57, fig. 12; p. 62; p. 90, fig. 30; p. 247, fig. 149), Sarianidi created one of the first archaeological map of the Murghab alluvial fan with the archaeological sites assembled in single oases fed by a branch of the river (*Сарианиди*, 1990, p. 4, fig. 1), start point of the archaeological map of the Turkmen-Russian-Italian team (*Gubaev, Koshelenko, Tosi*, 1998; *Salvatori, Tosi,* 2008). Each oasis was named by the proximity of the main well (*kolodez*), serving the nomad population during their transhumance to the pasture lands (*Нечаева, Мордвинов, Мосолов,* 1943) (fig. 5 – see color inset).

[1] In May-June 1955 V. Sarianidi started to excavate the site of Auchin Depe as a member of the M. Masson's team, focusing his interest on the study of the pottery kilns.

Fig. 8. North-west transect on the Site No. 38.

In 1974 in Saint Petersburg M. Tosi met I. S. Masimov few days after his final defence for Ph. D.[1] , introduced to him by L. B. Kircho, and in April-May Imil, as he was called by everybody related with archaeology of Central Asia, led the Murghab Expedition formed by the «Sh. Batyrov» Historical Institute of the Academy of Sciences of the Soviet Socialist Republic of Turkmenistan. Masimov started to map the Bronze Age sites (Kelleli, Taip, Adzhi Kui, Adam Basan) (*Масимов, Ляпин*, 1977) in the area to the west of that investigated by Sarianidi, mainly working in the east part of the Murghab alluvial fan, and the work of these scholars created a strong basis for the definition of the BMAC.

The Chrono-history of the Archaeological Investigations of the AMMD Project (1990–2005)

The visit to Italy from March, 12th to 26th 1989, in response of an IsMEO invitation, of academician V. P. Alekseev, at that time director of the Institute of Archaeology of the USSR Academy of Sciences, R. M. Munchaev, vice-director of the same Institute, and G. A. Koshelenko, vice-director of the section of the Classical Archaeology of the Institute and in charge of a large-scale archaeological projects in Turkmenistan, marked the beginning of the Italian engagement in Central Asia. The visit included the sign of the Scientific Protocol between the IA RAS and the IsIAO and the beginning of a promising research project in the Murghab alluvial fan.

In October of the same year small groups of specialists, P. Callieri, R. Biscione, B. Genito from Italy, G. A. Koshelenko, S. Novikov, V. A. Gaibov from Russia, and M. Tosi from India went to Turkmenistan for a week. Here they met for the first time A. G. Gubaev, dean of the State University of Turkmenistan (TSU) and later the Turkmen co-director of the joint project, and they visited the archaeological sites of Merv and Gonur. At the beginning of one year later the Russian colleagues together with A. Gubaev visited Rome and in September the Project

[1] The title of Masimov's Ph.D. dissertation was «Керамическое производство эпохи бронзы в Южном Туркменистане (по материалам раскопок поселения Алтын Депе)» [Pottery manufacture during Bronze Age in the South Turkmenistan (by the materials of Altyn Depe settlement)].

Fig. 9. M. Tosi on the Site N° 38 (above) and the first ICW pottery fragment found by M. Tosi to the south of the canal of Takhirbai (left).

Fig. 11. A view of the Site N° 1468 from the south.

started officially with the archaeological mission composed by G. A. Koshelenko, V. A. Gaibov, A. N. Bader, S. Novikov from Russia, A. G. Gubaev from Turkmenistan, M. Tosi, R. Biscione, A. Bizzarro, L. Bondioli, M. Cattani, B. Genito, S. Pracchia, S. M. S. Sajjadi, G. Tilia from Italy (*Gubaev, Koshelenko, Tosi,* 1998, p. XI). G. Gnoli, President of IsIAO, together with his first collaborator E. Provasi and B. Marcolongo joined the group in the second time.

The tasks required the participation of geologists, geomorphologists and other technical skills, while more archaeologists became involved with the progress of the time. Up to twenty-five specialists from several institutions of five different nations have worked at the same time in the camp at Sovkhoz "Bayram-Ali" (known before 1991 as "50-let SSSR") (fig. 6), employing state-of-the-art technology to locate, map and register the sites discovered. G. Tilia and A. Bizzarro, both specialized topographers, started to work on Site N° 38 (fig. 7). A random sampling was done, on the basis of a grid of sixty-four squares (5 × 5 m), in twelve of which a total collection was made. Later a north-west transect was carried out, again of 5 × 5 m squares, with a total sampling of the materials (fig. 8). On the site a pottery-making area was identified, with pottery slags and remains of a kiln, which was cleaned and plotted. Another area, where there was a remarkable concentration of large jars, had storage function, and a third area was characterized by a strong concentration of fragments of pottery pipes. All elevated sites, as well as the largest and the more complex ones, were mapped in detail by a team equipped with total station. The topographers used on the field the printout of the sketch map produced by the first team (*Bondioli, Tosi,* p. X).

During the first campaign M. Tosi found the first pottery fragment belonging to the Andronovo culture, so-called by the Italian team «Incised Coarse Ware (ICW)», to the south of the canal of Takhirbai, walking to north-west from the Site N° 38 (fig. 9). «The Soviet authors have often labeled this type of pottery as "Andronovo Ware". We prefer the more descriptive definition Incised Coarse Ware, given the ongoing fragmentation of the "Andronovo concept" stemming from the progress of research work» (*Cerasetti*, 1998, p. 67). Normally the most significant scatters, intended as isolate areas of artifacts to divide in high-density and low-density (*Bondioli*, *Tosi,* 1998, p. X), were the remains of nomadic campsites identified by the ICW. These sites are mostly located on the sand, surrounding the Late Bronze Age settlement mounds, supporting the idea that at the beginning the relations between the stock-breeding nomads and the settled farmers were not conflicting but based on the integration for a mutual advantage of adaptive strategies. «The location in immediate proximity of agricultural settlements and sites of the Steppe Bronze culture from the early… to the later… periods indicates a peaceful and prolonged co-existence of the two populations.… hypothesis of dramatic events connected to a supposedly military invasion of steppe tribes into the agricultural centres should be considered as a wrong assumption, not corresponding to the archaeological evidence. Indeed, in the Later Bronze Age, mainly cattle-breeding tribes moved to the southern direction and contacted with local settled agricultural population…» (*Сариниди*, 1975, p. 26).

After the last campaigns in the Murghab alluvial fan, we have finally an attestation of three specialised camp-sites among the established agricultural communities in the Murghab alluvial fan, testifying the beginning of the process of interchange with the sedentary farmers and own process of stabilization (*Cattani et al.*, 2003; *Cattani,* 2008a, b). An impressive ICW site, found during the 2006 field campaign and labelled Site N° 1468, has been found by B. Cerasetti 6 km to the east of Takhirbai 3 (fig. 10 – see color inset). The site, approximately 4600 sq m, is composed by three main areas with the evidence of three sunken dwellings and stone materials like pestles and millstones (fig. 11). The complexity and the remarkable extension of the site suggest us to

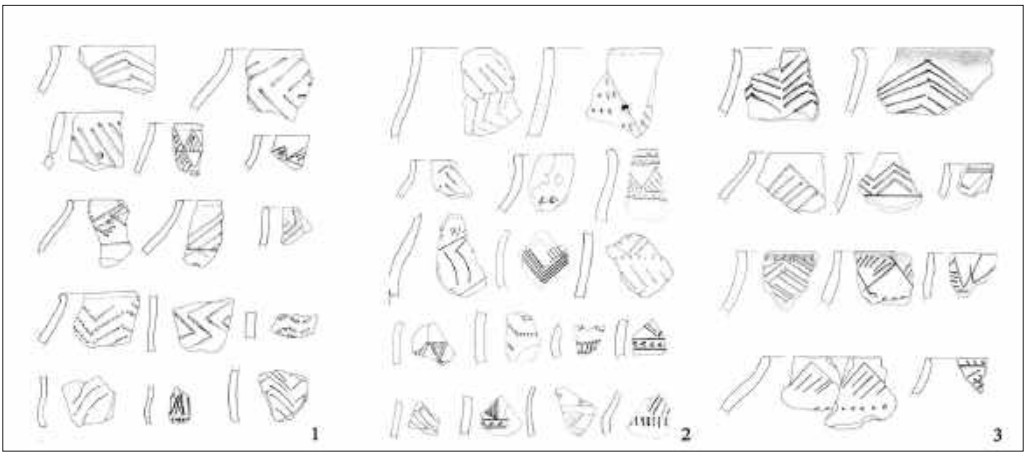


Fig. 12. ICW pottery from Sites No. 1211-1219-1468 (2/3 of lifesize) (by L. Cenci).

be in the presence of a reference settlement for the Andronovo community in the Murghab alluvial fan, characterized by pottery with elaborated incised decoration (fig. 12) (*Cerasetti*, 1998, pp. 67–70).

In 1990 the initial area of exploration was located just north of the modern village of Karakul, on the western side of the Ashkhabad Canal and around the erroneously so-called «Site Complex 1». In the initial seasons the sites were first pinpointed on the 1 : 10.000 map series and then connected by theodolite. The system was very time-consuming, while absolute positioning remained increasingly questionable as we extended the network of polygonals on a wider space. Given the very large size of the area to survey we soon realised that following this procedure we would have ended up lumping together poorly connected clusters of sites. During this season M. Tosi met again V. I. Sarianidi in Gonur Depe and they discussed for a long time about the future progresses of their work in Margiana and the opportunities of a useful collaboration for a joint research in the area.

In 1991 permissions were also granted at any opportunity to use helicopters (fig. 13) and AN-2 double-decked aeroplanes for wide range-reconnaissance flights at low altitude by at that time director of the Kelleli compressor, located close the sites of Kelleli in the north-western part of the so-called Bayram-

Fig. 13. Helicopter SSSR-20890 of AEROFLOT used for wide range-reconnaissance flights on the Murghab alluvial fan.

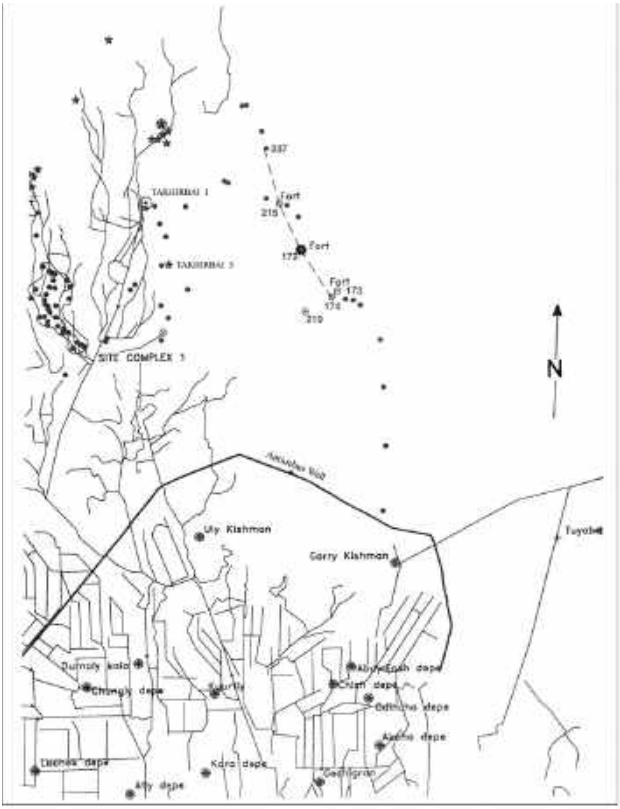


Fig. 15. Map of the north-eastern fringe of the Murghab alluvial fan with the location of Site No. 215 and an aerial view of the site (from *Genito,* 1998, fig. 1).

Ali conoid (fig. 14 – see color inset). Between 1991 and 1996 a total of some 150 hours were flown over the whole Murghab alluvial fan and the Unguz fossil river system to the north. However, in spite of the many new technical means employed, the information for the construction of the archaeological map was mainly gathered on foot. The flat region was divided into sectors and explored by walking teams, averaging three to five people. The important Site N° 215 was collected (*Genito*, 1998), a large elevated square shaped site suggesting the function of fortress with dense pottery scatter (fig. 15). The fortress is approximately located 2 km to the north-west of the Site N° 172 and 10 km to the south-east of the Site N° 232. The site plan is characterized on the south-east side by a quadrangular shape with two wall curtains. The low building looks like a fortress and it can be connected with a defensive line.

The introduction since the second season of the total station equipped with automatic recorders, made possible the rapid registration of thousand of points that, at the end of each day, were converted by model building software into most detailed contour and distribution digital maps. The introduction of the GPS (Global Positioning System) in 1992, thanks to G. Possehl who helped us to buy them in USA, and the availability of the full coverage of aerial photographs the year later, greatly improved our capacity to integrate all records in a single consistent system. Once located and positioned, each site was sampled by gathering a collection of surface artefacts. All items other than potsherds were collected and positioned by total station in an independent inventory of stray finds labelled as «spot». Potsherds, being the standard dating mean available, were collected

randomly, but the entire surface of the site was generally inspected. The introduction of the GPS greatly facilitated the survey of an alluvial plain of 20.000 sq km. For each site GPS points were taken by walking along its perimeter and marking all evident corner points along the breaking line of artefacts' primary distribution or along the edges of the overlapping elements. For complex sites each individual component was measured separately, singling out the individual parts as individual sites, using the total station. Our work was technically facilitated by the availability of small scale maps and aerial photographs, generously supplied by local and central authorities [1].

In 1993 M. Cremaschi and D. Angelucci, and P. Mozzi in 1994, had a part in the fieldwork. In 1992 M. Tosi concluded his task of Acting Director of the Italian Cultural Centre in New Delhi and in 1993 he returned to Turkmenistan for a longer period for the first time with S. Cleuziou, who investigated the spaces among sites deriving the method from T. J. Wilkinson's (1982; 1988; 1989; 1992; 2001) walking transects: the border between the Bronze Age oasis of Togolok and the Iron Age oases to the south; the desert site-less space to the east of the alluvial fan connecting with the line of fortresses; the area within the Yaz III agricultural core in the Iron Age. In all three cases the method proved very effective in detecting land-use patterns superimposing through time. Counts of potsherds per standard units of space in reference to distance and ground morphology allow a coherent classification of the areas in-between in terms of land-use intensity.

In 1994 the funds available for the project decreased considerably because of the failed renewal of the agreement with the Italian Consiglio Nazionale delle Ricerche, which was the main backer of the project, and it was the last year of the project on a large scale. In 1995 S. Salvatori joined the Italian mission in Turkmenistan and in 1995 and 1996 the team was composed by A. G. Gubaev, I. S. Masimov, who worked with us also in 1993–1994, B. N. Udeumuradov, A. A. Annaev from Turkmenistan, A. N. Bader from Russia and M. Tosi, M. Cattani, B. Cerasetti and S. Tuzzato from Italy.

The Hydro-geographic Matter of the Murghab Alluvial Fan: a Problem to Resolve

A long-term exploration in the Murghab alluvial fan convinced us to stretch our research to the connection between the settlement pattern and the river evolution. The environmental setting and the recent geological history of the area emerged immediately as the critical factors in understanding the dynamics of settlement history. The study of the archaeological evidences is not enough, as it became immediately clear that the history of population is inseparable from the comprehension of the hydro-geographic profile of the landscape. A deep knowledge of the evolution of the ancient people and the strategy of occupation and exploitation of the territory is possible only connecting the history of population to the site distribution and the hydro-geography.

The main character of the Murghab alluvial fan is its physical stability. The fan of the Murghab river widens across the levelled flatness of the Karakum depression, facing no other obstacles to the courses of its water than its own sediments and the sands blown from the north. Terminal waters gather in the Dzhar, the elongated lake that runs parallel to the last north-western watercourses, configured like another river. The stability is impressive, considering how little changes are evident flying at low altitude over the northern portions of the fan. The only

[1] For the preparation of the maps as well as the supply of the full coverage of the Murghab alluvial fan in aerial photographs, we are particularly indebted to the Turkmenskoe Aerogeodezicheskoe Predpriyatie of Ashgabat and its director at that time, A. G. Larin.

visible change is the southward regression of the fan. The new waters introduced again into the system by the Karakum channel are evidently directed along the same dry river beds of the past, evidencing that the prehistoric system would be largely adequate to be reactivated. The work made by M. Cremaschi (1998) highlights in particular that the main factor of change in the physical configuration of the alluvial landscape has been the fluctuation in the water supplies, while watercourses have been affected probably more by human action since the introduction of irrigation than by natural shifting. Since there is no sea at the end of the Murghab, the waters disperse the silt across the plain, forming a down-stepping slope looking like a giant staircase of sediments.

An alluvial fan is an unconsolidated sedimentary deposit accumulating at the mouth of a mountain canyon, because of a reduction or cessation of sediment transport by the issuing stream. The deposits, which are generally fan-shaped in plan view, can develop under a wide range of climatic conditions and they tend to be larger and more prominent in arid and semiarid regions. However, generally they are regarded as characteristic desert landforms. Alluvial fans are built up in response to tectonic uplift, climatic change, and variations in the internal (auto-cyclic) balance between stream discharge, debris load, and surface gradient. They are of practical and economic importance to society, particularly in arid and semiarid areas where they may be the principal groundwater source for irrigation farming and the sustenance of life. They border the mountain fronts with the apex of each fan just within a canyon mouth, that serves as the outlet for a mountain drainage system. Sediment from erosion within the mountains is moved by these drainage systems to the adjacent basin. In arid and semiarid regions, this is either an irregular or seasonal process driven by strongly seasonal rainfall or rapid snow-melt. Sediment transfer is thus frequently associated with sporadic flash floods that may include mud-flows. The fans, the main sites of deposition, are therefore an intrinsic part of an erosional-deposition system in which the mountains tend slowly to wear away and the basins to fill with sediment through geologic time.

In the case of Murghab, the river flows in a canyon created in the loess desert covering the southern part of Turkmenistan for 50.000 sq km. Once in the alluvial plain[1], the present fan extends for approximately 10.000 sq km, calculated on the base of the last Landsat 7 ETM RGB 2001 available. The SRTM images revealed an ancient fan covering a grand total of 19.400 sq km. The remarkable difference in the extension of the conoid in the satellite images depends on the ability of the radar images to penetrate clouds, sand and vegetation covering to different depths, so the images pointed out the entire drainage basin and fan of the Murghab active in different times. The Digital Elevation Model (DEM), elaborated on the basis of the SRTM mosaic, shows the entire territory of the Murghab alluvial fan as a large fan-shaped conoid, coinciding with the ramification of the fluvial branches. In reality it is an overlap of two different following conoids at continuous gradient, so-called Bayram-Ali and Mary, shifted from the east to the west and separated by a light difference of height [2]. The SRTM digital model at a geometric resolution of 90 m (*Cerasetti*, 2008, p. 32), although not so precise, has been fundamental to understand the original morphology of the alluvial fan and pointed out the morphological different profiles of the conoid and the more significant variations of the river.

[1] The alluvial plain is the large area representing the region over which the floodplains have shifted over geological time. The floodplain is part of the process, being the smaller area over which the rivers flood at a particular period of time.

[2] This topic is a part of the joint research of C.I.R.S.A. (Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali) of University of Bologna, University of Padua, University of Milan, University of Durham and the National Institute of Deserts, Flora and Fauna of the Ministry of Nature Protection of Turkmenistan.

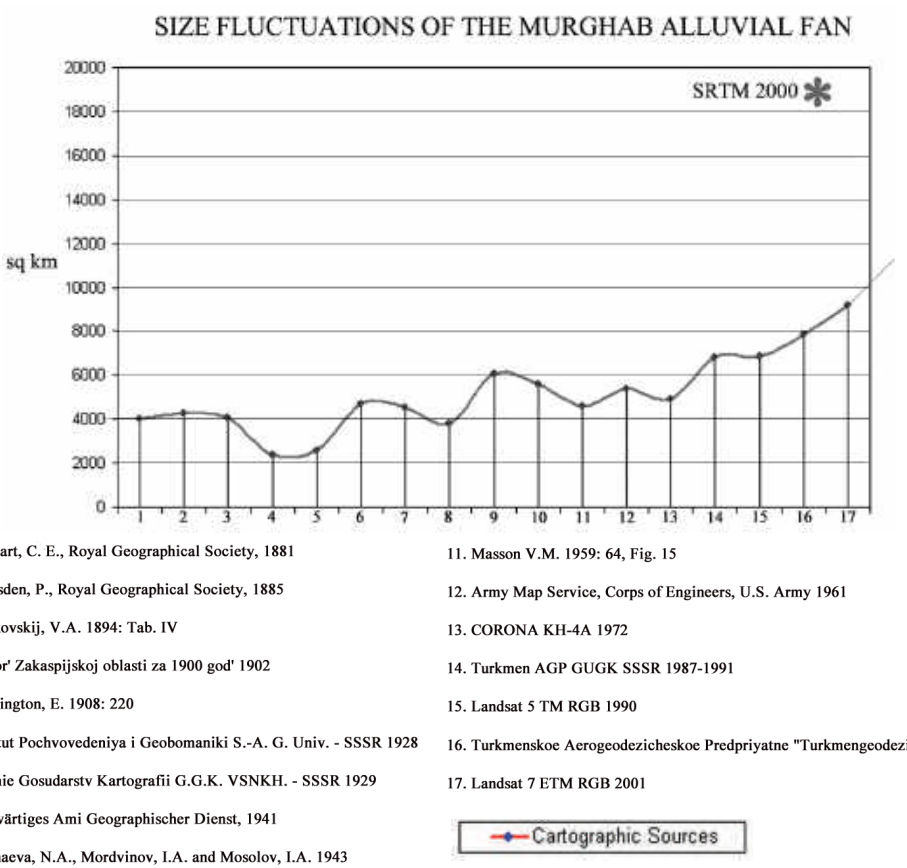


Fig. 16. The graph presents detailed measurements of the Murghab alluvial fan, sistematically recorded from all modern maps to indicate a continuity in the average extension of irrigated farmlands, combining the Aravalli and Merv branches. The farmlands available would be around 4000 sq km for a total of 400.000 ha at least during the 19th and early 20th century. The most accurate measurements among the available maps are provided by the German Auswärtiges Ami Geographischer Dienst of 1941, issued by the Wehrmacht High Command for the planned attack to Soviet Union. As long as the system depended only from the Murghab runoff, the extension of irrigated lands could vary between 4000 and 6000 sq km. We may expect similar figures for protohistoric times as well. The post-1961growth of farmlands was determined by the intake of the Amudar'ya waters from the Karakum Canal. Interesting enough if we measure the expanse of water channels on the SRTM 2000 radar images from satellite platforms the size of the alluvial fan jumps up to a total of 19.400 sq km. This is simply the combination of all variants of the waterflow, probably since the end of Pleistocene. We may be confindent that for the periods related to the emergence of civilization in the 4th-2nd millennium BC, the extension of the farmlands at one time fluctuated around an average of 5000 sq km.

Unfortunately until now it is not possible to establish exactly when the Murghab river shifted to the west. It is just a hypothesis that the shifting happened around the beginning of the Iron Age, anyway testified by the presence of the capital of the Iron Age, Yaz Depe, on the south-west end of the Bayram-Ali alluvial fan, when probably the natural flow of the river was no more so intensive to reach the northern fringe of the floodplain. For this reason we tried to reconstruct the original shape of the conoid of the Mughab river in the different periods, from Bronze Age to last century and the modern time, as the chart of the size fluctuations of the river shows on the basis of various cartographic sources (fig. 16). Very useful for the last century is the contribution of the English travellers on behalf of the Royal Geographical Society, stored in JSTOR (http://

www.jstor.org/), with amazing and detailed maps of the Murghab alluvial fan (*Stewart,* 1881; *Lumsden*, 1885).

After a first phase of researches to create the archaeological map, nevertheless continuing the survey investigation of the unknown areas, we selected a micro-region (fig. 10 – see color inset) to explore more systematically and in detail with the main aim to better understand the history of the population and the dynamics of the interaction among natural landscape, organization of production systems and sharing of different cultural identities. According to the present maps of the Murghab area from different platforms, there is just one archaeological area in the deeply transformed alluvial fan able to highlight this topic: the area of Takhirbai, the only one «window» on the last phase of Bronze Age and the first phase of Iron Age in the dense settlement of Achaemenid period in the eastern portion. The area covers approximately 170 sq km and includes the large sites of Takhirbai (1, 3 and 4) and a part of the deep settled Iron Age area to the east[1] .

The attention of the modern archaeology to the environmental aspects exhorted us to deeply evaluate the interaction between landscape and population, suggesting different hypotheses of reconstruction and new lines of research. The territory of the Murghab alluvial fan in Southern Turkmenistan is one of the fossil landscapes better preserved, particularly suitable for the archaeological research as to include a chronological sequence from Bronze Age to Medieval time. The legibility of the single settled phase is unfortunately compromised, anyway reduced, by different factors with the relative percentage of importance:

1. Intensity of survey (40%);
2. Covering of the alluvium (southern area 60%, northern area 10%);
3. Covering of aeolian sands (southern area 20%, northern area 60%);
4. Modern buildings and cultivations (40%).

According to T. J. Wilkinson (1992, p. 196), although the modern archaeology has achieved remarkable successes, frequently during the survey only archaeological data are considered in spite of all the information concerning the ancient landscape interacting with the archaeological contest (off-site archaeology). We paid particular attention to the geo-archaeological profile, collecting and analysing sedimentological, pedological and geomorphological data which allowed us to reconstruct a hypothetical model of the ancient landscape during the different periods. The fossil landscape of the Murghab alluvial fan is an excellent area to consider the archaeological data inside the relative palaeo-environmental contexts, suitable for palaeo-demographic investigation.

Bibliography

Андрианов Б. В. Древние оросительные системы Приаралья (Drevnie orositel'nye sistemy Priaral'ya). М., 1969.

Бартольд В. В. Ближайшие задачи изучения Туркестана (Blizhajshie zadachi izucheniya Turkestana) // Наука и просвещение (Nauka i prosveshchenie). 1922. Т. 2.

Букинич Д. Д. История первобытного орошаемого земледелия в Закаспийской области в связи с вопросом о происхождении земледелия и скотоводства (Istoriya pervobytnogo oroshaemogo

[1] During the last campaign (2008) a great result has been obtained with the discovery of a new site (Site No. 1529) (fig. 17 – see color inset), characterized by a chronological sequence from Middle Bronze Age to Sasanid period, located in the north-eastern part of the Murghab alluvial fan: a probable important administrative-political outpost of the Achaemenid Empire. A preliminary report is in progress.

zemledeliya v Zakaspijskoj oblasti v svyazi s voprosom o proiskhozhdenii zemledeliya i skotovodstva) // Хлопковое дело (Kholpovoe Delo). Ашхабад, 1924. Т. 5.

Жуковский В. А. Развалины старого Мерва (Razvaliny starogo Merva). М., 1894.

Куфтин Б. А. Полевой отчет о работе XIV отряда ЮТАКЭ по изучению культуры первобытнообщинных оседло-земледельческих поселений эпохи меди и бронзы в 1952 г. (Polevoj otchet o rabote XIV otryada YuTAKE po izucheniyu kul'tury pervobytnoobshchinnykh osedlo-zemledel'cheskikh poselenij epokhi medi i bronzy v 1952g.) // КСИА (Kratkie Soobshcheniya Instituta arkheologii AN SSSR).1956. Вып. 7. С. 260–290.

Масимов И. С. Новые памятники раннежелезного века Мургабского оазиса (Novye pamyatniki rannezheleznogo veka Murgabskogo oazisa) // Новые археологические открытия в Туркменистане (Novye arkheologicheskie otkrytiya v Turkmenistane). Ашхабад, 1982. С. 20–32.

Масимов И. С., Ляпин А. А. Археологические работы в низовьях древнего Мургаба (Arkheologotopograficheskie raboti v nizov'yakh drevnego Murgaba) // АО (Arkheologicheskie Otkrytiya) 1976. 1977. С. 552.

Массон М. Е. Южно-Туркменская археологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ) 1964 г. (Yuzhno Turkmenistanskaya Arkheologicheskaya Kompleksnaya Ekspediziya (YuTAKE) 1946 g.) // ТрЮТАКЭю Т. 1. Ашхабад, 1949. С. 5–15.

Массон В. М. Древнемаргианское поселение Яз Депе (Drevnemargianskoe poselenie Yaz Depe) // Известия АН Туркменской ССР (Izvestiya Akademii nauk Turkmenskoj SSR). 1955. Вып. 3.

Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы (Drevnezemledel'cheskaya kul'tura Margiany) // МИА (Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR). Т. 73. М.-Л., 1959.

Массон В. М. Южно-туркменистанский центр раннеземледельческой культуры (в свете работ ЮТАКЭ 1955–1958 гг.) (Yuzhnoturkmenistanskij zentr rannezemledel'chekikh kul'tur (v svete rabot YгTAKE 1955–1958 gg.) // ТрТАКЭ. Т. 10. Ашхабад, 1960. С. 11–36.

Массон В. М. Энеолит южных областей Средней Азии (Eneolit yuzhnikh oblastei Srednei Azii) // САИ (Svod Arkheologicheskikh Istochnikov). В3-8. Т. 2. М., 1962.

Нечаева Н. А., Мордвинов И. А., Мосолов И. А. Пастбища Каракумов и их использование (Past'bishcha Kara-Kymov i ikh ispol'zovanie). Ашхабад, 1943.

Пиотровский Б. Б. Разведочные работы на Гяур Кале в Старом Мерве (Razvedochnye raboty na Gyaur Kale v Starom Merve) // МЮТАКЭ (Materialy Yuzhno-Turkmenistanskoj Arkheologicheskoj Kompleksnoj Ekspedizii). Т. 1. Ашхабад, 1949. С. 35–41.

Сариниди В. И. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении (Pamyatniki pozdnevo eneolita Yugo-Vostochnoi Turkmenii) // САИ. В3–8. Т. 4. М., 1965.

Сарианили В. И. Степные племена эпохи бронзы в Маргиане (Stepnye plemena epokhi bronzy v Margiane) // СА. 1975. № 2. С. 20–29.

Сариниди В. И. Исследования памятников Дашлинского оазиса (Issledovanie pamyatnikov Dashlinskogo oazisa) // Древняя Бактрия. Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969–1973 гг. (Drevnyaya Baktriya. Materialy Sovetsko-Afganskoj ekspedizii 1969–1973 gg.) Т. 1. М., 1976. С. 21–86.

Сариниди В. И. Древности страны Маргуш (Drevnosti strany Margush). Ашхабад, 1990.

Семенов А. А. По Закаспийским развалинам (Po Zakaspijskim razvalinam) // Известия Средазкомстариса (Izvestiya Sredazkomstarisa). Вып. 3. Ташкент, 1928.

Симонов Н. В. Мургаб (Murgab) // Туркмения (Turkmeniya). Т. 1. Л., 1929. С. 184–189.

Средняя Азия в эпоху камня и бронзы (Srednyaya Aziya v epokhu kamnya i bronzi) \ Ред. Массон В. М. М.-Л., 1966.

Толстов С. П. Древний Хорезм (Drevnij Khorezm). М., 1948a.

Толстов С. П. По следам древнехрезмийской цивилизации (Po sledam drevnekhorezmijskoj zivilizacii). М.-Л., 1948b.

Хлопин И. Н. Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита (Geoksyurskaya gruppa poselenii epokhi eneolita). Л., 1964.

Alekseev V. P., Koshelenko G. A., Munchaev R. M. Perspectives in archaeological research in the USSR // Conferenze IsMEO. Roma, 1991. Vol. 4.

Atagarryev E., Berdyev O. The Archaeological exploration of Turkmenistan in the years of Soviet power // EW. 1970. Vol. 20. Nr. 3. P. 285–306.

Bondioli L., Tosi M. Introduction // Gubaev A., Koshelenko G., Tosi M. (eds). The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990–1995. Reports and Memoirs. Series Minor, III. IsIAO. Roma, 1998. P. IX–XIX.

Bonora G. L., Vidale M. An aspect of the Early Iron Age (Yaz I) Period in Margiana: ceramic production at site No. 999 // Salvatori S., Koshelenko G., Tosi M. (Eds). The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana lowlands: facts and methodological proposals for a redefinition of the research strategies. British Archaeological Reports. International Series 1806. Oxford, 2008a. P. 153–193.

Cattani M. Excavations at the 1211–1219 Site and the Problem of Steppe Nomads in the Murghab Delta // Salvatori S., Tosi M. (Eds.) The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana lowlands: facts and methodological proposals for a redefinition of the research strategies. British Archaeological Reports. International Series 1806. Oxford, 2008. P. 119–126.

Cattani M. The Final Phase of the Bronze Age and the «Andronovo Question» // Salvatori S., Tosi M. (Eds.). The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana lowlands: facts and methodological proposals for a redefinition of the research strategies. British Archaeological Reports. International Series 1806. Oxford, 2008b. P. 133–148.

Cattani M., Cerasetti B., Salvatori S., Tosi M. The Murghab Delta in Central Asia 1990-2001: GIS from a Research Resource to a Reasoning Tool for the Study of Settlement Change in Long-Term Fluctuations // Doerr M., Sarris A. (Eds.). CAA 2002. «The Digital Heritage of Archaeology». Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 30th Conference, Heraklion, Crete, April 2002. Heraklion, 2003. P. 25–131.

Cerasetti B. Preliminary Report on Ornamental Elements of «Incised Coarse Ware» // Gubaev A., Koshelenko G., Tosi M. (Eds.). The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990–1995. Reports and Memoirs. Series Minor. III. IsIAO. Roma, 1998. P. 67–74.

Cerasetti B. A GIS for the Archaeology of the Murghab Delta // Salvatori S., Tosi M. (Eds.). The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana lowlands: facts and methodological proposals for a redefinition of the research strategies. British Archaeological Reports. International Series 1806. Oxford, 2008. P. 31–39.

Cremaschi M. Palaeohydrography and Middle Holocene Desertification in the Northern Fringe of the Murghab Delta // Gubaev A., Koshelenko G., Tosi M. (Eds.). The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990–1995. Reports and Memoirs. Series Minor. III. IsIAO. Roma, 1998. P. 15–25.

Genito B. Trial-trench at Site No. 215 // Gubaev A., Koshelenko G., Tosi M. (Eds.). The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990–1995. Reports and Memoirs. Series Minor, III. IsIAO. Roma, 1998. P.125–135.

Gubaev A., Koshelenko G., Tosi M. (Eds.). The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990–1995. Reports and Memoirs. Series Minor, III. IsIAO. Roma, 1998.

Huntington E. Description of Kurgans of the Merw Oasis // Pumpelly R. (Ed.). Explorations in Turkestan, Expedition 1904. Prehistoric Civilizations of Anau. Vol. 1, 2. Washington, 1908. P. 217–232.

Kohl Ph. L. (Ed.). The Bronze Age civilization of Central Asia. Recent Soviet discoveries. NY., 1981.

Kohl Ph. L. Central Asia. Palaeolithic beginnings to the Iron Age. P., 1984.

Lumsden P. Countries and Tribes bordering on the Koh-i-Baba Range // Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. L., 1885. P. 561–583.

Lyapin A. A. Early Murgab Dams // Problems of Desert Development. 1996. Vol. 1. P. 13–21.

Pumpelly R. (Ed.). Explorations in Turkestan. Expedition 1904. Prehistoric Civilizations of Anau. Vol. 2. Washington, 1908.

Salvatori S., Tosi M. (Eds.). The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana Lowlands: Facts and Methodological Proposals for a Redefinition of the Research Strategies. British Archaeological Reports. International Series 1806. Oxford, 2008.

Sarianidi V. I. Margiana in the Bronze Age // Kohl Ph.L. (Ed.). The Bronze Age Civilization of Central Asia. Recent Soviet discoveries. NY., 1981. P. 165–193.

Sarianidi V. I. Margush. Mystery and truth of the great culture. Ashgabat, 2008.

Stewart C. E. The Country of the Tekke Turkomans, and the Tejen and Murghab rivers // Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly record of geography. L., 1881. P. 513–546.

Tolstov S. P. The Prehistoric cultures and primitive irrigation systems of ancient Chorasmia // Annual Report and Bulletin for 1955–1956. T. 13. M., 1958. P. 8–36.

Tolstov S. P. Results of the work of the Koresmian archaeological and ethnographic expedition of the USSR Academy of Sciences 1951–1956 // J. of the Asiatic Society of Bombay. 1960. Vol. 33. P. 1–24.

Wilkinson T. J. The Definition of ancient manured zones by means of extensive sherd-sampling techniques // J. of Field archaeology. 1982. Vol. 9. P. 323–333.

Wilkinson T. J. The Archaeological component of agricultural soils in the Middle East: the effects of manuring in antiquity // Groenman van Waateringe W., Robinson M. (Eds). Man made soils. Symposia in environmental archaeology. British archaeological reports. International Series 410. Oxford, 1988. P. 93–114.

Wilkinson T. J. Extensive sherd scatters and land-use intensity: Some recent results // J. of Field archaeology. 1989. Vol. 16. P. 31–46.

Wilkinson T. J. Off-site archaeology // National Geographic research & explorations. 1992. Vol. 8. Nr. 2. P. 196–207.

Wilkinson T. J. Surface collection, field walking, theory and practice, sampling theories // Brothwell D. R., Pollard A. M. (Eds.). Introduction to archaeological science. L., 2001. P. 529–541.

Р. Г. Мурадов

ВКЛАД В. И. САРИАНИДИ В ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

В середине XX в., когда Виктор Иванович Сарианиди, получив блестящее археологическое образование, приступил к своей профессиональной деятельности, уровень научных знаний в области истории архитектуры Древнего Востока заметно отличался от современных представлений в этой области. Это и понятно: несмотря на большие успехи в изучении Древнего Египта и ближневосточных культур в зоне так называемого Полумесяца Плодородия еще не были сделаны многие из тех поистине великих открытий, которые позволяют по праву называть минувшее столетие веком археологии. Сэр Леонард Вулли уже закончил копать Ур и Алалах, а Роман Гиршман – Тепе-Сиалк, Андре Парро продолжал раскопки города Мари, Клод Шеффер все еще изучал Угарит, но Джеймс Мелларт только собирался приступить к своим поискам в Анатолии, Паоло Маттие тогда лишь предстояло найти Эблу, а Даниэлю Шлюмберже – Александрию Оксиану (Ай Ханум в Северном Афганистане). Раскрывались все новые грани протоиндийской цивилизации, явленной миру в 1921 г., после начала планомерных раскопок холмов Мохенджо-Даро и Хараппы. Наконец, в советской Средней Азии в конце 1940-х – начале 1950-х годов наметились основные векторы будущих исследований раннеземледельческих культур и урбанизационных оазисов эпохи бронзы, которые стали основным предметом научных интересов В.И. Сарианиди. Если взглянуть на историко-архитектурные публикации времен его молодости, то можно увидеть, какие лакуны удалось заполнить впоследствии, благодаря значительному расширению базы археологических источников по всему огромному региону от Ахейской Греции и Восточного Средиземноморья до Амударьи и долины Инда.

И все-таки громкие успехи египтологии, а главное – туристическая доступность памятников древнеегипетской цивилизации до сих пор затмевают в массовом сознании не столь эффектные, но не менее важные для науки следы исчезнувших культур в азиатской части классического Востока, на территории Турции, Сирии, Ирака, Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана. С одной стороны, доступ к памятникам, затерянным в сельской глубинке этих стран, а зачастую и в сами эти государства затруднен. С другой стороны, древняя архитектура Передней и Центральной Азии сохранилась несравнимо хуже египетской прежде всего из-за разницы в строительных материалах: глина не камень и сооружения из необожженных кирпичей если не развеялись целиком,

то превратились в совершенно аморфные «телли» или, иначе говоря, «тепе» и стали известны теперь исключительно благодаря раскопкам. Тем весомее заслуги исследователей, которые нашли и увековечили в своих трудах немалое число памятников строительного искусства минувших тысячелетий.

Наименее изученной долгое время оставалась именно Средняя Азия: после знаменитой экспедиции Рафаэля Пампелли, в 1904 г. обнаружившей в Южном Туркменистане энеолитическую культуру Анау, западные ученые уже и не мечтали попасть в регион, оказавшийся за «железным занавесом», а советская наука в лице ЮТАКЭ только после окончания Второй мировой войны смогла заняться широким археологическим исследованием зон древнего орошения и местными поселениями ранних земледельцев.

В. И. Сарианиди впервые попал в район своих будущих открытий в 1949 г., будучи студентом-практикантом (ТрЮТАКЭ. Т. V., 1955, с. 253). В составе XVIII отряда ЮТАКЭ он участвовал в рекогносцировке Мервского оазиса. Раскопки тогда не проводились, работы были ограничены сбором подъемного материала на памятниках, зарегистрированных американцами почти полвека назад (Яз-депе, Уч-депе, Гюмиш-депе, Арвали-депе), но дали новый, весьма ценный материал (*Массон,* 1959, с. 8). В 1950–1951 гг., когда основное внимание ЮТАКЭ переключилось на Мервский оазис, коллектор-студент Сарианиди уже под непосредственным руководством начальника экспедиции М. Е. Массона продолжал участвовать в разведочных маршрутах по старой дельте Мургаба. Он возвратился сюда в 1955 г. уже квалифицированным молодым специалистом, чтобы в составе XIV отряда, который возглавил его сверстник В. М. Массон, участвовать в начавшихся годом ранее стационарных раскопках на Тахирбае 3. Им было суждено открыть еще более раннюю группу поселений в урочище Аучин и вновь вернуться на Яз-депе – памятник более поздний, чем расположенные севернее поселения древнемугрaбской дельты, но исключительно важный для археологии – на основе его раскопок предложена трехчастная периодизация (Яз I-III) памятников раннежелезного века как Маргианы, так и всей территории Южного Туркменистана (*Масимов*, 2008, с. 8). Не менее важен Яз-депе и для истории архитектуры: в 1956 г. на южном участке яздепинской цитадели, в основании которой находилась восьмиметровая кирпичная платформа, раскопаны несколько помещений крупного сырцового здания, чьи руины скрывал самый возвышенный холм. Оно позволило говорить о возможности «опосредованного влияния монументального строительства Месопотамии и Элама, где храм и дворец, возведенный на мощной платформе, играл столь заметную роль» (*Массон*, 1959, с. 81).

Параллельно с работами в Маргиане осенью 1956 г. Виктор Сарианиди участвовал в раскопках неолитического поселения Джейтун – во многих отношениях эталонного объекта, по имени которого названа вся культура первых земледельцев предгорной полосы Копетдага, в 25 км к северо-западу от современного Ашхабада. Ныне – это курган, который возвышается более чем на 5 м (местное название *Чакмакдаш-бейик*) и содержит пять строительных периодов. Вместе с другими объектами эпохи неолита в северных предгорьях Копетдага, Джейтун относится к числу немногочисленных мировых центров, откуда шло распространение главнейших культурных растений – пшеницы и ячменя, а его обитатели уже имели стационарные жилища. Это были постройки прямоугольных форм, появление которых связанно с переходом первобытных охотников и собирателей к оседлому и производящему хозяйству (*Массон*, 1971).

Именно с таких незамысловатых строений и начинается собственно архитектурная история человечества. Создание геометризованного пространства – прежде всего прямоугольных жилищ, сгруппированных в компактные поселения – это настоящий прорыв в

сознании древних людей. Мир человека впервые был противопоставлен миру природы. Здесь уже налицо совмещение трех признаков архитектуры: есть продуманный образ сооружений, они устойчивы и включены в ландшафт. Правда, нет еще улиц и каких-либо планировочных идей, лишь беспорядочное скопление не более тридцати стандартных однокомнатных домов без окон, с массивными очагами и балочными перекрытиями. Материалом для стен служили сырцовые протокирпичи, из-за овальной формы названные глиняными «булками». В. И. Сарианиди уже тогда обратил внимание на устойчивое сохранение в течение тысячелетий основных принципов архитектуры джейтунских поселений. Применение глины как основного материала и возведение толстых стен (до 1 м), сохраняющих прохладу в самые знойные дни, он назвал основными элементами строительной техники, которые максимально отвечали условиям сухого жаркого климата Средней Азии. В начале 1960-х, рассуждая об архаичном домостроительстве, он указывал, что традиция однокомнатного дома с пристройками прослеживается на следующем хронологическом этапе – время Анау I, на памятниках Геоксюрского оазиса – Дашлыджидепе, Ялангач-депе, Акча-депе, Муллали-депе (см.: *Марковин*, 1962, с. 13).

Именно там – на энеолитических поселениях Геоксюра – древнего оазиса в былой дельте реки Теджен, чуть западнее Мургаба, сосредоточились интересы В. И. Сарианиди после Джейтуна и первых опытов в Маргиане. Фактически, в этом районе существовало миниатюрное Междуречье. Там он вел раскопки до 1963 г., увенчав эту работу защитой кандидатской диссертации «Земледельческие племена Юго-Восточной Туркмении». С Геоксюром связаны и ряд его публикации того времени. С их появлением в научный оборот вошел целый комплекс остатков материальной культуры, характерный для поселений восточного ареала распространения анауских культур (*Сарианиди*, 1960, с. 299). В них, помимо тщательного описания раскопов и классификации находок, приведены подробные сведения о конструктивном устройстве жилищ и их планировочной структуре. Все это, по словам автора раскопок, «знакомит нас с эволюцией строительной техники и архитектурными принципами планировки поселений времени позднего Намазга II – раннего Намазга III» (*Сарианиди*, 1960, с. 229–238).

На Дашлыджы-депе жилую ячейку составляла главная комната и несколько хозяйственных помещений, свободно расположенных вокруг неправильной формы дворика. В более поздний период (начало III тыс. до н.э.) здесь появились многокомнатные дома и обводные стены с включенными в их периметр круглыми сооружениями (наружный диаметр 6–7 м). Они напоминают крепостные башни будущего и использовались, по предположению И.Н. Хлопина, для размола и хранения зерна. Но В. И. Сарианиди, касаясь вопроса о круглых помещениях, считал возможным различать культовую и гражданскую архитектуру (*Марковин*, 1962, с. 13). Возможно, появление таких построек в Геоксюрском оазисе (Ялангач-депе, Муллали-депе, Акча-депе, Геоксюр-7) могло быть связано с влиянием убейдской культуры юга Месопотамии. Строительная техника энеолита отмечена появлением крупного формованного сырцового кирпича прямоугольной формы, который укладывался с применением вяжущего раствора.

Особое внимание В. И. Сарианиди обратил на святилища с «подиумами» в геоксюрской группе холмов. По своей архитектуре они почти не отличаются от жилых помещений и далеко не всегда располагались в центре поселений. Однако это не снимает тезиса об их культурно-историческом родстве с храмовыми сооружениями Месопотамии. В поисках ответа на вопрос: представляют ли святилища на холмах анауской культуры развитие местных традиций, или же они являются результатом влияния родственных племен из сопредельных юго-западных областей, В. И. Сарианиди приводит для сравнения самые

Рис. 1. 1957 г. Раскопки Геоксюра. Расчистка и зарисовка толосов. Крайний слева – В. И. Сарианиди, идет – В. П. Алексеев, крайний справа – П. М. Кожин.

ранние месопотамские святилища эпохи Убейд: храмы XVII и XVI Эреду (телль Абу Шахрайн в Ираке), а также храм на уровне XIX в Тепе Гавра – в каждом случае в центре помещений есть кубообразный подиум-жертвенник с пеплом и следами сожжения вокруг. Другая деталь, схожая в «часовнях» двух регионов – фрески в их интерьерах. Но если в Месопотамии едва ли не единственный такой пример дает довольно обособленное святилище урукского периода в Телль-Укайре, то «в Южной Туркмении традиция настенных полихромных росписей уходит к неолитическому Джейтуну» (*Сарианиди*, 1962а, с. 52).

Отмечая параллели с ранней месопотамской архитектурой, В.И. Сарианиди допускает какую-то общую культурную преемственность в оформлении помещений ритуального назначения, но подчеркивает, что прямых данных для этого пока все-таки нет, а предполагаемое родство культовых построек Южного Туркменистана и Месопотамии носит преимущественно формальный характер (*Сарианиди*, 1962а, с. 53). Убедительно выглядит его предположение о том, для чего, собственно, возводились геоксюрские святилища с «подиумами»: опираясь на этнографический материал, он усматривает их близость с «алаухана» (домами огня) у хорезмийцев и горных таджиков, где люди собирались по определенному признаку (например, поло-возрастному) для выполнения ритуалов, связанных с их культами, и заключает: «В более позднее время во многих местностях, куда проникло мусульманство, эти “общественные дома” приспосабливались под мечети, в чем нельзя не видеть известную преемственность их функционального назначения в качестве культовых мест древнейших верований» (*Сарианиди*, 1962а, с. 54).

Данные этнографии В. И. Сарианиди привлек и для выяснения характера жилой структуры геоксюрских объектов. В целом они дают, по его мнению, пример отдельной «номовой общины» с небольшими поселениями сельского типа, группировавшимися вокруг центрального холма Геоксюр I (*Сарианиди,* 1962б, с. 29). В позднем энеолите и ранней бронзе эти поселения состояли уже из многокомнатных домов-массивов, разделенных узкими переулками. Один из них, шириной 1–2 м, прослежен на расстоянии 55 м (Геоксюр-1) (*Сарианиди,* 1965, с. 9). Прямая улица с жилой застройкой по сторонам выявлена и на Улуг-депе близ поселка Душак. На другом поселении – Кара-депе возле села Артык – существовало даже нечто вроде площади. Красочное описание жилой среды Геоксюра В. И. Сарианиди дал в одной из своих первых книг, рассчитанных на массовую аудиторию – уже тогда раскрылся его дар умелого популяризатора науки (*Сарианиди, Кошеленко*, 1966, с. 68–71).

Раскопки в Юго-Восточных Каракумах он продолжил в 1964–1970 гг. – теперь в составе Каракумской экспедиции Института археологии АН СССР. Среди открытий в этом районе, проливающих свет на приемы архаичного строительства, обращают на себя внимание надземные склепы-толосы, как правило, округлые в плане (много реже эллиптические и прямоугольные), сложенные из сырцовых кирпичей на сухой кладке с ложносводчатыми перекрытиями. Всего на Геоксюре обнаружено около 30 таких погребальных сооружений, причем некоторые из них к моменту раскопок сохранились полностью (*Сарианиди,* 1972, с. 23) (рис. 1). Эти миниатюрные купола консольной кладки, по существу, древнейшие из числа выявленных на территории Центральной Азии, знаменуют начало эволюции сырцовых куполов в архитектуре этого региона.[1]

Еще одно важное наблюдение на Геоксюре связано с обнаруженными следами преднамеренного сожжения отдельных помещений в жилых домах: в таких комнатах, судя по всему, проходили погребальные церемонии, включавшие обряд кремации, после чего, превращенные в могильник, они навсегда забрасывались (*Сарианиди*, 1966). Полную аналогию этой традиции В. И. Сарианиди увидел в горелых зданиях поселения Тепе-Гиссар близ Дамгана в Северном Иране, раскопанных Э. Шмидтом в 1931–1932 гг. и считавшихся сожженными при нападении чуть ли не арийских пришельцев (*Сарианиди*, 1971). Но когда в 1987–1990 гг. следы ритуального пожара были зафиксированы на южнотуркменистанском энеолитическом поселении Йылгынлы-депе, стало ясно: в эпоху палеометалла подобная практика не представляла ничего исключительного. Какое значение имела она для становления архитектуры, убедительно показал, в частности, Ю. Е. Березкин (1992).

Следующий этап в работе В. И. Сарианиди связан с его активным участием в десятилетней афганской эпопее, завершившейся поистине фантастическими находками – речь, конечно, идет о Советско-Афганской археологической экспедиции, которая провела свой первый сезон в 1969 г., а последний, десятый, был прерван в 1979 г. из-за войны, начавшейся в Афганистане в результате советской интервенции. Обнаружение огромного комплекса ювелирных украшений в царском некрополе Тилля-тепе, который, по общему мнению, может соперничать с сокровищами гробницы Тутанхамона (The New York Times, April 13, 1979), принесло Виктору Ивановичу Сарианиди мировую известность.

Но, в то же время, золото Бактрии своим блеском несколько затмило его не менее значительные раскопки группы поселений древних земледельцев Северного Афганистана.

[1] Этот вопрос на основе материалов В. И. Сарианиди подробно рассмотрен в монографии Н. Баймatовой (*Baimatova*, 2008).

Итоги их изучения за первые 5 лет работы экспедиции он обобщил в своей докторской диссертации, защищенной в 1975 г., а затем опубликованной в виде монографии (*Сарианиди,* 1977а). Отдавая должное великолепным публикациям и глубокому исследованию сокровищ из погребений Тилля-тепе (*Литвинский,* 2004, с. 14), его коллеги при этом отмечают, что «особенно важное значение имеют выводы В. И. Сарианиди о памятниках эпохи бронзы. Часть открытых им памятников была им раскопана, что позволило ему написать упомянутое выше серьёзное исследование "Древние земледельцы Афганистана", где он показал особенности памятников эпохи бронзы в различных оазисах: Дашлинском, Фарукабадском, Ничкинском, Наибабадском и др. Названия им даны по имени близлежащих наиболее крупных современных поселений» (*Кругликова,* 2005, с. 311). Эти его работы осветили совсем новый аспект истории народов Центральной Азии в III–II тыс. до н. э., а открытие памятников раннего железа во многом прояснило ранее темный период истории севера афганской территории и заставило исследователей пересмотреть свои взгляды на культуру Древней Бактрии (*Кругликова*, 1984, с. 51).

Южный Афганистан и прилегающая часть Ирана, вместе составлявшие архаический Сеистан, к началу 70-х гг. XX в. уже не были белыми пятнами, так как между великими городскими цивилизациями Месопотамии и долины Инда на археологическую карту, благодаря раскопкам западных ученых, были нанесены такие промежуточные центры как Тепе-Яхья, Шахр-и Сохте, Мундигак и др. Но Северный Афганистан считался зоной, где никаких следов оседлой земледельческой культуры нет (*Вавилов, Букинич*, 1959, с. 50). Вот почему подлинной научной сенсацией стали афганские раскопки В. И. Сарианиди и его коллег, а также исследования А. А. Аскарова на юге Узбекистана, где выявлены аналогичные памятники правобережья Амударьи: Сапаллитепа, Джаркутан и др. После них стало совершенно очевидным, что задолго до античной Бактрии на ее территории уже существовали урбанизационные оазисы, тесно связанные между собой и с соседней Маргианой. Некоторые западные исследователи предпочитают называть их цивилизацией Окса (по античному названию Амударьи), но В. И. Сарианиди дал ей гораздо более точное и емкое название: Бактрийско-Маргианский археологический комплекс (БМАК) (*Сарианиди*, 1977а, с. 4–5).[1] С тех пор это понятие прочно вошло в научный обиход, хотя продолжает подвергаться критике с точки зрения археологической систематики (Массон, 2006, с. 74). Но с позиций истории архитектуры, не говоря уже об искусствознании, тождественность памятников долины Мургаба и Средней Амударьи настолько очевидна, что имевшие место попытки разделить их на две цивилизации выглядят по меньшей мере абсурдом.[2] Это, в частности, наглядно показал в своей монографии ученик Виктора Ива-

[1] Отдавая предпочтение термину БМАК, Е. Е. Кузьмина предлагает для него свою расшифровку: Бактрийско-Маргианская археологическая культура, – полагая, что слово «комплекс» сужает рамки этого явления (*Кузьмина*, 2008, с. 47).

[2] Культурное единство БМАК столь очевидно, что едва ли здесь правомерно говорить о двух цивилизациях. Расстояние между Гонурским и Дашлинским оазисами – в среднем около 400 км, для каравана *Camelus* ***bactrianus***, не столь резвых, как современный дромадер, это всего одна неделя пути. Рельеф местности серьезных препятствии для движения не создает: ныне здесь простирается пустыня, где пески Юго-Восточных Каракумов встречаются с равниной Обручевской степи и солончаками Келифского Узбоя. Но, конечно, 4 тысячи лет назад, до наступления ксеротермического периода, картина была не столь удручающей. Как бы то ни было, постоянные коммуникативные связи и информационные потоки между двумя макрооазисами во II тыс. до н. э. – факт хорошо документированный, прежде всего археологическими материалами В. И. Сарианиди, позволившими ему сделать однозначный вывод: «Маргиана входила в состав Бактрии, что четко прослеживается на примере сходного пути сложения городских центров» (*Сарианиди,* 1977, с. 155).

новича, историк архитектуры М.А. Мамедов, сделав сравнительный анализ накопленных к концу 1990-х гг. данных по гражданской и культовой архитектуре, фортификации, типологии памятников, строительных материалов и приемов обеих частей БМАК (*Мамедов,* 2003). Родство их таково, что впору говорить об одних и тех же артелях мастеров, возводивших монументальные сооружения в Маргиане и Бактрии. Самобытность архитектуры БМАК, по мысли исследователя, позволяет «рассматривать ее как материальное воплощение творческой мысли единого народа, расселившегося в древности на территории этой части Центральной Азии» и даже допускать наличие «своеобразной архитектурной школы» (*Мамедов*, 2003, с. 7, 117–118).[1]

Архитектурные характеристики памятников Южной Бактрии, открытых Виктором Ивановичем, неоднократно приводились как в его собственных многочисленных публикациях (*Сарианиди*, 1977б, с. 203–224), так и в работах авторов, которые по-своему интерпретировали его материалы, причем зачастую в весьма критическом ракурсе. Не повторяя хорошо известное всем специалистам, вспомним только основные объекты, раскопанные в начале 1970-х. Прежде всего, это два поселения эпохи бронзы: Дашлы-1 и Дашлы-3. Первое представляло собой прямоугольную крепость (99 × 85 м) с мощной фортификацией, округлыми башнями на углах и по периметру стен, с очень плотной внутренней застройкой. На втором раскопаны два монументальных сооружения: одно из них вошло в литературу под названием «круглый храм», второе – «дворец». О них стоит сказать особо не только потому, что они вызвали больше всего споров и гипотез (см., например: *Brentjes*, 1981; *Пугаченкова*, 1982; *Антонова*, 1984, с. 78–82; *Булатов,* 1988, с. 28–35, 44–46; *Chmelnizkiy*, 1993, p. 304–307; *Хмельницкий*, 2005). Эти объекты по своему композиционному строю приближаются к известным образцам сырцовой архитектуры общественных зданий Двуречья. В них сполна проявлены качества архитектуры как вполне осознанной деятельности, вполне грамотной реализации заранее составленной программы. Дашлинские сооружения, как и другие памятники БМАК, демонстрируют планировочные принципы, в основе которых лежат четкие геометрические формы: квадрат, круг, прямоугольник. Отличительной чертой этой архитектуры является замкнутость планировки, строгая ориентация по странам света, симметрия, наличие двора-атриума, обводного коридора (либо системы коридоров), соединение оборонительной стены и сторожевых башен. Спустя века, несмотря на контакты с другими областями Передней Азии (а позднее – включение в состав державы Ахеменидов), в монументальном строительстве Бактрии (также как и Маргианы) стойко сохранялись местные каноны, выработанные в позднебронзовую эпоху (*Мамедов, Мурадов*, 1998, с. 10–11).

Говоря о круглых и квадратных планах зданий на Дашлы-3, В. И. Сарианиди предельно осторожен. Он лишь замечает, что такое сочетание не является случайным (*Сарианиди,* 1977а, с. 50). Он понимает, что для исследователя это очень скользкий путь: пытаться достичь правдоподобия не в реконструкции приемов, форм и функции архаических сооружений, а угадать какие-то аллюзии в действиях древних строителей, мотивах формообразования и увязать реальные объекты с мифологическими образами. Откровенно спекулятивные интерпретации неизвестного стали сегодня широко распространены, в том числе и в России: чего стоят квазинаучные фантазии об Аркаиме – уникальном археологическом комплексе синташтинской культуры эпохи бронзы на Южном Урале, породившем, к ужасу археологов, шовинистические мифы и оккультную истерию![2]

[1] Ранее слово «школа» употребил сам В. И. Сарианиди, но в отношении одной Бактрии, т. к. в Маргиане раскопки только начинались (*Сарианиди*, 1977а, с. 50).

[2] См., например, сочинение биофизика К. Быструшкина (М., 2003).

Но вместе с тем, ни в коем случае нельзя игнорировать идеологический компонент архитектурной деятельности, которая в древности была мотивирована гораздо более глубоко и тотально, чем сегодня. Ряд исследований в области семиотики и культурной антропологии (достаточно вспомнить труды А. Ф. Лосева, Дж. Фрезера, М. Элиаде, Р. Барта, К. Леви-Строса, В. Н. Топорова и др.) позволяет увидеть, насколько тесной была связь между искусственной средой и мифологическим мышлением. Стало аксиомой представление о том, что в архитектуре Древнего Востока любое строительство мыслилось аналогом деятельности «творца», и поэтому в сооружениях преобладало космологическое содержание, основанное на преодолении царства «зла и лжи», олицетворявших хаос, создания на земле «благой небесной обители». Такие концепции, конечно же, отражались и в центральноазиатской монументальной архитектуре эпохи бронзы. Отдельные авторы прямо говорят, что, например, круглое здание на Дашлы-3 «без сомнения, имеет религиозно-космологическую основу, однако полный смысл его до сих пор не расшифрован» (*Карцев*, 1986, с. 98–99). Есть немало примеров научных интерпретаций первоначального символизма индоевропейцев, выраженного в целом ряде других построек, включая погребальные (См., например: *Лелеков*, 1976, с. 7–18; *Гуревич*, 1989, с. 48–49).

Сакральным принято считать и еще одно круглое сооружение, открытое В. И. Сарианиди на городище Кутлуг-тепе в Фарукабадском оазисе, в 30 км к востоку от Дашлы-3. Но это памятник уже другой, гораздо более поздней эпохи: он датируется раннеахеменидским периодом. «Многослойная ограда отделяла сакральный мир храма от окружающего профанного мира, – размышляет по этому поводу Б. А. Литвинский. – В Кутлуг-тепе три ограды преграждали доступ в иное сакральное пространство, но суть дела от этого не меняется» (*Литвинский*, 2004, с. 10). Конечно, соблазнительно видеть в таких круглых крепостях прообраз авестийского Вара. И. М. Стеблин-Каменский, комментируя миф о Йиме (Видевдат 2 : 25), пишет, что «Вар – (авест. *var(a)*-), глинобитное сооружение, судя по приводимому описанию, состоящее из трёх стен, устроенных в виде концентрических кругов, во внешнем из которых было девять проходов, в среднем – шесть и во внутреннем – три. Вар этот, таким образом, напоминал по планировке жилища-поселения древних ариев, включавшие круговые концентрические стены (были открыты археологами на севере Афганистана и в Южном Приуралье)» (Гаты Заратуштры, 2009, с. 165). Правда, прежде считалось, что во второй главе Видевдата Вар описан как квадратное ограждение (Мифы народов мира, 1987, с. 215). Такие разночтения вполне объяснимы, учитывая известную амбивалентность текстов Авесты, но здесь важно другое. Например, один из крупнейших авестологов Л. А. Лелеков не был сторонником буквального понимания авестийских пространственных образов, указывая на их сугубо метафизический характер: «Мотив квадратного ограждения, внутри которого упорядочен мир, противопоставленный силам хаоса и смерти, прослеживается в некоторых индоевропейских традициях (*Roma Quadrata* в римской мифологии и др.; ср. прямоугольные в плане храмы в иранской, славянской, древнегреческой и других традициях). Особенно близкий Варе образ – квадратная “обитель Ямы” в Ригведе (9, 113, 7–8): это тоже обитель блаженных, средоточие бессмертия, но не на земле, а в загробном мире» (Мифы народов мира, 1987, с. 215).

Еще два обнаруженных и раскопанных В. И. Сарианиди монументальных памятника ахеменидской архитектуры в том же Дашлинском оазисе, на городище Алтын-10, он назвал объектами I и II. От первого остался прямоугольный план (80 × 55 м), в каждом углу – квадратное помещение с массивным столбом в центре; все здание разделено на две части почти глухим объемом, заключавшем в себе 6 помещений и кирпичную платформу в самом центре, а все остальное пространство слева и справа занимают два обширных

двора, в который были обращены крытые галереи вдоль наружных стен, оформленные колоннадами или аркадами. Второй объект после раскопок оказался квадратным в плане (36 × 36 м), а его внутреннее устройство наглядно иллюстрирует планировочную схему «двор в обводе коридоров и разнообразных комнат», которая стала чрезвычайно распространенной в последующие века и сохранилась до XIX в. в архитектуре мусульманских медресе. Оба алтынских объекта, вместе с прилегавшими к ним другими постройками, от которых остались ничтожные фрагменты стен, составляли «комплекс особых по назначению сооружений, занимающих определенное место в развитии монументальной архитектуры Передней Азии. <...> Ритм и симметрия – вот что теперь становится характерным для бактрийского зодчества». Говоря о новшествах, которые демонстрирует второй объект на Алтыне-10, В. И. Сарианиди отметил, что «установленный факт тысячелетней преемственности в развитии монументальной архитектуры Бактрии не следует рассматривать как локальное явление. Напротив, в середине I тыс. до н. э. архитектура Бактрии демонстрирует все большую близость с сооружениями ахеменидского Ирана». Далее он приводит конкретные примеры по древней Дрангиане (Иранский Сеистан) и заключает: «Конечно, периферийные здания далеко уступали по всем другим параметрам столичному Персеполю, но их планировочная близость выделяет их в однопорядковые по своей значимости сооружения “официального” назначения. При всём том, истоки ахеменидского зодчества уходят в глубокую древность, к памятникам типа дворца Дашлы-3 и другим, еще не открытым, но подобным сооружениям, в том числе и на территории древнего Ирана» (*Сарианиди*, 1977а, с. 126–128).

В 1977 г., когда вышла в свет монография «Древние земледельцы Афганистана», Виктор Иванович начал раскопки холма Тилля-тепе в 3 км к востоку от афганского города Шиберган. Оказалось, что центральную часть обширного поселения занимала крепость-цитадель прямоугольной формы (27,7 × 36 м), фланкированная по углам круглыми в плане башнями. Такие же башни были посередине каждой стены, лишь на северной вместо башни находился вход. За время своего существования крепость как минимум трижды подвергалась перепланировке. Сначала внутри нее был выстроен почти квадратный в плане зал (15,5 × 14 м) с невысокой суфой в интерьере по периметру стен. Затем на его месте возвели более просторный зал с девятью колоннами, поддерживавшими кровлю и алтарем на полу, еще одна колоннада появилась и с южной стороны зала, образовав узкое вытянутое помещение. Наконец, на финальном этапе основной зал был перегорожен толстыми стенами, образовавшими несколько комнат. Подробное описание этого необычного сооружения, также как и основные выводе о нем, были опубликованы 10 лет спустя (*Сарианиди*, 1989а, с. 6–22). В. И. Сарианиди пришел к выводу, что оно построено в конце II тыс. до н. э. – скорее всего, как храм огня, который был ядром земледельческого поселения и возвышался над округой, находясь на естественной возвышенности, усиленной мощной искусственной платформой. Со временем храм утратил свою функцию и был приспособлен, вероятно, под резиденцию местного правителя. Забросили здание уже при Ахеменидах. Тиллятепинский «замок» заставил В. И. Сарианиди вспомнить маргианскую цитадель Яз-депе. Роднит их высокая кирпичная платформа, ставшая типичным признаком архитектуры раннежелезного века. Такие платформы появляются в тот период на многих поселениях региона: В. И. Сарианиди называет также Нади Али и Мундигак на юге Афганистана, Кучуктепе в Северной Бактрии, а параллели планировочным приемам тиллятепинского храма он видит в Западном Иране (Бабаджан, Тепе Нуши-джан, Годин-Тепе и др.). Действительно, многоколонный зал превратился в одну из главных тем ахеменидской архитектуры, но истоки ее, безусловно, находятся в древней Месопотамии.

Параллельно с раскопками в Афганистане В. И. Сарианиди с 1972 г. вернулся к исследованиям в старой дельте Мургаба, которые продолжаются до сих пор. Сама по себе без малого сорокалетняя археологическая эпопея в Маргиане не имеет, пожалуй, прецедентов в Центральной Азии. И объяснение тому – исключительно энтузиазм Виктора Ивановича, его целеустремленность и воля, необыкновенная работоспособность, организаторские способности и профессионализм, состоящий из аналитического ума, обширных знаний, практического опыта и природной интуиции. Как следствие, высокая результативность его поисков, введение в научный оборот такого колоссального количества артефактов, что для их осмысления понадобятся многие годы и, быть может, десятилетия трудов многих ученых. Но своими раскопками В. И. Сарианиди не только необычайно расширил фонд источниковедческой базы по истории культуры эпохи бронзы. Он сам дал интерпретации найденного и на их основании выдвинул теории, которые часто провоцируют научные дискуссии, но никогда не оставляют коллег равнодушными.

Вклад В. И. Сарианиди в археологическое источниковедение ценен и тем, что кроме данных археологии никаких иных источников по этому предмету попросту нет. Отсутствуют, прежде всего, какие-либо письменные документы, которые только и могли бы пролить хоть какой-то свет. Даже принятые сегодня названия тех исторических областей, которая процветали в низовьях Мургаба (Моуру, Маргуш, Маргиана) и по среднему течению Амударьи (Бахди, Бактрия) относятся к гораздо более позднему времени и к цивилизации III–II тыс. до н.э. применяются весьма условно.[1] Здесь тот самый случай, когда уместно вспомнить известные слова Н. В. Гоголя: «Архитектура – тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе». Можно было бы возразить классику и заметить, что современная наука располагает массой других, не архитектурных и не литературных, но не менее «говорящих» источников, каковыми могут быть (помимо данных физической антропологии и исторической лингвистики) керамика, произведения глиптики, торевтики, многих других видов не только художественных ремесел, то есть вполне утилитарные изделия (все они, кстати, сполна представлены в полевых материалах В. И. Сарианиди!).

Однако никакие артефакты не отражают стадию экономического развития, уровень производственных отношений, социально-политическую организацию и, наконец, тип идеологической системы столь же недвусмысленно, однозначно, как градостроительные структуры и их отдельные элементы – конкретные сооружения с присущими им конструкциями, материалами, объемно-планировочными композициями и декором. Наличия или отсутствия таких единиц как форт, дворец или храм бывает достаточно, чтобы сделать вполне определенные выводы о том или ином поселении еще до того, как будет выявлен весь сопутствующий комплекс его материальной культуры. Вот почему именно изучение архитектуры позволяет с наибольшей достоверностью приблизиться к пониманию древнего общества, его генезиса и дисперсии. В отличие от движимых памятников (статуэток, печатей-амулетов, ювелирных изделий, всевозможного инвентаря), которые вполне могут оказаться продуктами импорта, а стало быть, их происхождение легко оспорить, архитектурные сооружения однозначно автохтонны. Импортными бывают планировочные идеи, конструктивные приемы, но материалы всегда местные и любые заимствования в древней архитектуре не только меняются под воздействием ряда имманентных признаков, но и, как правило, накладываются на строительные традиции старых насельников края. Это хорошо видно на примере архитектуры БМАК.

[1] Интересна гипотеза о том, что древнейшим названием этой страны могло быть Мархаши, зафиксированное в клинописных источниках конца III – начала II тыс. до н. э.: *Francfort*, 2006, p. 94–95.

Систематические раскопки в «стране Маргуш», как часто именует сам В. И. Сарианиди территорию своих исследований последних десятилетий, начались с разведочных работ возглавлявшегося им Геоксюрского отряда (вскоре преобразованного в Маргианскую экспедицию) Института археологии АН СССР в Аучинском и Тахирбайском оазисах, а 1974 г. был ознаменован открытием Гонурского и Тоголокского ирригационных оазисов. В том же году начал действовать специальный отряд Института истории им. Ш. Батырова АН Туркменской ССР, под руководством И. С. Масимова, исследовавший Келлелийский оазис, а затем условно выделивший еще четыре: Таипский, Аджикуинский, Адамбосанский и Эгрибогазский. После таких открытий всем стало ясно: «в бассейне древней дельты р. Мургаб на площади около трех тыс. км^2 располагалась крупная по тем масштабам страна. В настоящее время среди песчаных гряд и барханов обнаружено свыше 150 древнеземледельческих поселений, причем 30% памятников остаются еще не выявленными в основном из-за того, что они полностью погребены под надувными песками» (*Сарианиди*, 1990а, с. 4–5).

В числе объектов со следами былой архитектуры, раскопки которых, фрагментарные или полные, начаты под руководством В. И. Сарианиди – Аучин 1 (*Сарианиди*, 1990а, с. 10–11), Тахирбай 3 (*Сарианиди*, 1990а, с. 54–55), Келлели 4 (*Масимов*, 1984, с. 16–18; *Mamedov*, 1994, p. 263–264), Аджи-куи 8 (*Сарианиди*, 1990а, с. 7–10), Уч-депе (*Сарианиди,* 1990а, с. 58, табл. LXIII), Тоголок-21 (*Сарианиди*, 1990а, с. 102–137; см. также: *Сарианиди,* 1989б, с. 151–181), Тоголок-1 (*Сарианиди*, 1990б, с. 161–167) и, наконец, Гонур-1 с двумя поистине уникальными ансамблями, которые условно названы Южным Гонуром (теменос) (*Сарианиди,* 1997, с. 148–168) и Северным Гонуром (дворцово-храмовый комплекс). Последний исследуется до сих пор, так что итоговая публикация его материалов еще впереди.[1]

После распада СССР, когда наступила пауза в работе археологических экспедиций в Средней Азии, Виктор Иванович сумел оперативно наладить продолжение полевых работ уже на другой основе. Он организовал и возглавил международную миссию на Гонур Депе, сумев привлечь для этого необходимые средства от иностранных фондов. Теперь Маргианская экспедиция является совместным проектом Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. На протяжении всех этих 35 лет постепенно проявляется топография Северного Гонура, каждый полевой сезон добавляет к ней дополнительные штрихи. Его генеральный план ежегодно обрастает участками новых раскопов, не только проясняя «темные» места, но и порождая очередную серию вопросов.

Но как сохранить раскопанные объекты от неминуемого и быстрого уничтожения в результате таких естественных факторов как атмосферные осадки и дефляция? Теперь это одна из самых острых и неотложных проблем для экспедиции и В. И. Сарианиди предпринял немало усилий, чтобы на Гонур Депе впервые были начаты экспериментальные работы по консервации раскопок. Они приобрели систематический характер и ведутся при деятельном участии Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв», при поддержке руководства страны, местной администрации, а также благодаря реализации в Туркменистане международной программы «Фонд послов США для сохранения культурного наследия». Пока здесь еще мало опыта и еще меньше возможностей,

[1] К важнейшим предварительным публикациям относятся: *Сарианиди*, 2000, 2004, 2005; *Sarianidi*, 2002, 2008 и др.

но все-таки сделан важный шаг к тому, чтобы остатки архитектуры эпохи бронзы, явившись ненадолго из многовекового забвения, не ушли (теперь уже навсегда) в небытие, оставшись только на страницах книг, журналов, в фотографиях и фильмах.

Как и большинство сырцовых построек Центральной Азии, вскрытые древнемаргианские поселения состоят из нескольких слоев перекрывающих друг друга руин: «Строительство в этой традиции предоставляет в распоряжение исследователей лишь нижние части построек, практически не оставляя надежд на обнаружение деталей интерьера и конструктивных особенностей сооружений, т.е. всего того, что находилось выше "сниве-лированного" уровня» (*Завьялов*, 1989, с. 16). Иначе говоря, налицо только планы сооружений, а их объемная структура (высота помещений, пропорции фасадов, типы перекрытий, возможный декор и т. п.) могут быть восстановлены сугубо гипотетически, опираясь в основном на ближневосточные аналогии. К сожалению, к столь благодатному материалу до сих пор толком не применялась система 3D, которая позволяет создать великолепную анимацию, дать зрителю иллюзию осязаемого погружения в прошлое.[1] Замечательный пример такого рода уже есть: это франко-японский проект визуализации остатков греко-бактрийского города Ай Ханум в Афганистане. Точность его реконструкции обеспечена высочайшей квалификацией группы археологов под руководством Поля Бернара, выбиравших наиболее вероятные варианты. По мнению Г. А. Кошеленко, подобного рода работам суждено большое будущее (*Кошеленко*, 2007, с. 189–190). Они полезны не только для пропаганды исторических знаний, но и для самих историков.

Не повторяя хорошо известное по теперь уже многочисленным публикациям памятников древней Маргианы, отметим лишь некоторые важные аспекты их архитектуры. Такие необычные и поистине грандиозные сооружения как Тоголок-21, теменос и, конечно, дворцово-храмовый комплекс Гонура уже на ранних этапах их изучения обнаружили вполне очевидные связи с предшествующими и последующими периодами в истории архитектуры, причем не только в пределах своего региона, но и неизмеримо шире, в обширной зоне контактов и миграций народов, создавших первые цивилизации Передней и Южной Азии. Так, в планировочной структуре гонурского кремля можно видеть ту же схему, которая была свойственна почти синхронным постройкам такого же назначения в Месопотамии: «Внутренне распределение помещений дворца выделяло и изолировало частные покои (гарем), комнаты для приемов (сераль), с их большим залом (селямлик) и службы (хат). Таким образом, оно вполне соответствовало потребностям Востока. […] Являясь жилищем монарха, совмещавшего сан жреца и обязанности военачальника, месопотамский дворец всегда насчитывал в числе своих покоев молельню, состоявшую из многоэтажной башни и капища» (*Бенуа*, 1935, с. 31–32). Все это находит свое место и здесь, на что В. И. Сарианиди указал еще в своих первых публикациях по Гонуру.

План гонурского дворца, подобно гораздо более позднему дворцу новоассирийского Хорсабада, выполнен без соблюдения правил симметрии – единственной целью строителей была функциональность сооружения и, конечно, его безопасность. Для этого устроен довольно узкий вход, двойная линия обороны, хотя треугольные проёмы в наружных стенах никак не могли быть бойницами – это всего лишь световые фрамуги, обеспечивавшие и аэрацию внутристенных коридоров. Наконец, подобно месопотамским дворцам, гонурский комплекс был снабжен системой сточных керамических труб для спуска вод и нечистот. Среди странностей гонурских сооружений есть так называемые «комплексы

[1] Первой попыткой в этом направлении был сюжет, снятый несколько лет назад французской компанией Gedeon-film по сценарию Г. Росси-Осмида на маргианском поселении Аджикуи-9.

келий» – группы очень узких и низких пустотелых камер, некоторые из которых сохранились полностью: со сводчатыми перекрытиями, да еще и аккуратно заложенными входами. Такие камеры давно были найдены при раскопках столицы хеттов Хаттусас (Богазкёй в современной Турции), а также на хассунском поселении Ярым-тепе в Северо-Западном Ираке, где археологи определили их как основание платформы для сушки зерна (*Мунчаев и др.,* 1974, с. 541–542). Но почему в Анатолии и в Маргиане эти «кельи» устроены при храмах огня? Пока этот вопрос остается без ответа.

Еще одна деталь в дворцовой архитектуре привлекла пристальное внимание В. И. Сарианиди, и на то имеются веские основания: речь о «слепых окнах» в интерьерах парадных помещений дворца. Это декоративные ниши, уходящие внутрь стены обычно двумя уступами по типу перспективных арок. Вполне возможно, что арками и завершались несохранившиеся верхние части таких ниш. Важно, однако, то обстоятельство, что этот прием оформления особых помещений общественных зданий уже был известен в странах Передней Азии и Средиземноморья.

В. И. Сарианиди далеко не случайно обратил внимание на сходство гонурского дворца с дворцом в Кноссе на острове Крит. Совершенно удивительные на первый взгляд параллели обнаруживаются между крито-микенской культурой и БМАК. Не забывая об их синхронности, отметим, что и в том, и в другом случае при высоком уровне развития изобразительного искусства и архитектуры совершенно отсутствует письменность. В то время, как в Египте и Вавилоне эпиграфика тотально охватывала плоскости стен и обелисков, не говоря уже о более мелких артефактах, Крит прекрасно обходился без каких либо текстов. Даже на бесчисленных печатях видны сугубо изобразительные мотивы (*Боссерт*, 1935, с. 26). Разумеется, речь не идет о сходстве иконографии или архитектурных образов столь отдаленных друг от друга культур. Но некая общая идея просматривается, например, в планировочных схемах кносского и гонурского дворцов: оба возведены по заранее задуманной схеме с прямоугольной сеткой стен, направленной по сторонам света; оба подчинены функциональным, а не эстетическим требованиям, отсюда и некоторая запутанность планов без каких-либо признаков симметрии. Недаром под впечатлением огромного дворца в Кноссе зародился греческий миф о Лабиринте, откуда Тесей нашел выход с помощью нити Ариадны.

Дворцово-храмовый комплекс Гонура в точности подтверждает наблюдение Огюста Шуази, который еще в XIX в. заметил: «Тогда как в Египте культовая архитектура оттесняет на задний план гражданскую, в Ассирии первое место занимает дворец, поглощая в качестве частей в своей ограде храмы. Архитектура Египта есть архитектура теократии, господствующей и над личностью монарха; архитектура Ассирии есть архитектура монархии, господствующей над религией» (*Шуази*, 1935, с. 91). Это очень важное замечание, которое в общих чертах помогает нам понять, какая все-таки политическая система существовала в Маргиане и Бактрии. Если к этим архитектурным показателям добавить недавнее открытие на Гонур Депе «царского» некрополя с богатейшим погребальным инвентарем, включая удивительные мозаичные панели в оформлении гробниц, то уже не остается сомнений: во II тыс. до н. э. здесь было не просто стратифицированное общество, но совершенно явная автократия.

Особый интерес В. И. Сарианиди проявил к архитектуре культовых сооружений Маргианы. На основе тщательного изучения вскрытых им помещений и найденных там предметов он пришел к выводу, что имеет дело со святилищами, где важную роль играли культы огня, воды, галлюциногенных напитков типа сомы-хаомы, а также других персонажей языческого пантеона, включая зачатки митраизма (*Сарианиди*, 2008, с. 83–149). В

своих объектах, включая отчасти и бактрийские, он установил наличие типологических признаков широко распространенных в Иране и Средней Азии Храмов Огня, к которым относятся *атешгахи* (алтарные площадки, или хранилища «вечного» огня в изолированных помещениях), планировочная схема «двор, или зал в обводе коридоров», а также хранилища священной золы. Все три признака много веков спустя кристаллизовались в ахеменидской и эллинистической традициях: «если сравнить между собой два конкретных памятника: храм Тоголок-21 и храм Окса, то нетрудно увидеть, что былой "двор в обводе коридоров" трансформируется в центральный четырехколонный зал с обводными же коридорами, а былые алтарные площадки – в подлинные атешгахи» (*Сарианиди,* 1996, p. 325). Сопоставляя два этих знаменитых ныне храма разных эпох, В. И. Сарианиди пришел к выводу, что со временем культ огня вытеснил другие церемониальные культы (прежде всего, связанные с сомой-хаомой), что отразилось и на планировке святилищ классического зороастризма. Впрочем, здесь ученый делает оговорку: «Может создаться впечатление, что иранские храмы огня прямо ведут свое продолжение и происхождение от маргианских храмов. Но такому прямолинейному выводу противоречит то обстоятельство, что близкие культовые церемонии были распространены еще и в Бактрии, а кроме того, и на территории Внешнего Ирана эти храмы появляются в таких выработанных, канонических формах, что с бесспорностью предполагает предшествующую многовековую линию развития и культовых традиций» (*Сарианиди*, 1996, p. 326. См. также: *Sarianidi*, 1994, p. 388–397). Стало быть, в эпоху бронзы существовал их общий центр происхождения? В. И. Сарианиди видит его истоки в монументальной архитектуре Северной Месопотамии и, возможно, Анатолии, отмечая промежуточное звено в Мидии. Г. А. Пугаченкова придерживалась иной точки зрения (*Пугаченкова*, 1984, с. 22–26), а М. А. Мамедов констатирует, что ряд вопросов, касающихся генезиса архитектуры БМАК и дальнейшего развития ее отдельных приемов, остаются открытыми (*Мамедов*, 2003, с. 117).

Бесспорно одно: В. И. Сарианиди представил науке едва ли не исходные образцы храмовых структур, которые в последующие эпохи приобрели более монументальные формы. Ахеменидские, парфянские и, наконец, сасанидские памятники даже в их каменном исполнении появились не вдруг, а стали всего лишь новым этапом того пути развития архитектуры, начало которого прослеживается в сырцовых цитаделях древней Бактрии и Маргианы.

Когда-то Шуази, характеризуя основные черты месопотамской архитектуры, указал на господство в ней системы конструкций, основанных на применении жжёного кирпича (*Шуази*, 1935, с. 79). Но памятники БМАК исключительно сырцовые, обломки жжёного кирпича встречаются на них едва ли чаще, чем каменные печати с надписями. Почему же на северо-восточной ойкумене месопотамского мира, где было хорошо налажено керамическое производство, а гончарное искусство отличалось исключительным мастерством, вовсе не было в ходу ни жжёных кирпичей, ни терракотовых плиток? Одна причина лежит на поверхности – это дефицит топлива. Другая – теплотехнические свойства сырцовых сооружений, чья эффективность при создании комфортной внутренней среды в резко-континентальном климате хорошо известна. Но были, вероятно, и другие, не столь очевидные мотивы, связанные опять-таки с какими-то представлениями людей того времени. Это вовсе не значит, что загадка неразрешима. Многие тайны Древнего Востока раскрылись, когда была дешифрована клинопись. Однако, как бы не огорчало нас отсутствие письменности в БМАК, не стоит преувеличивать ее роль. Вспомним суждение Мирчи Элиаде: «Свидетельства месопотамских культур, как и в случае других архаических культур, лишь отчасти выражены письменами. Большая их часть, и самая содержательная,

передана символами, архитектурой, космографией и т. д. Мы бы ошиблись, не признав за этими источниками той же значимости, которую обычно склонны придавать письменным документам» (*Элиаде*, 1998, с. 85).

Изучая остатки древней архитектуры, В. И. Сарианиди воспринимает их не с холодным равнодушием патологоанатома, который препарирует погибшие организмы, выясняя лишь причину их смерти. Находя и фиксируя следы обыденной жизни давно ушедших народов, он видит в них, прежде всего, проявления человеческого духа, ума и творческой энергии, которые не взялись из ничего и не исчезают вовсе, а растворяются в культурных традициях и остаются в генетической памяти последующих поколений. Вот почему, несмотря на глубокие различия архаического и современного сознания, мы понимаем логику первобытного мышления и, при известном усилии, можем воспринимать концептуальные модели древнего мира, не говоря уже об их пространственных образах.

Не стоит забывать, что архитектура первых цивилизаций принципиально отличается от строительной деятельности последующих эпох: то была архитектура как умение, то есть приобретенная опытом способность делать что-либо полезное для повседневного существования. Понадобилась очень долгая эволюция культуры, чтобы сложилась архитектура в современном понимании, архитектура как мастерство, как профессия и осмысление ее задач, ее объектов и способов работы: «Еще великие цивилизации Египта, Месопотамии, Индии мало нуждались в мастерстве: для него не оставалось пустого места в этих совершенных подобиях космического порядка, где каждый занимал отведенное ему место, был слит с исполняемой функцией и в строгом смысле не был индивидом» (*Глазычев*, 2002, с. 194).

Упорядоченная структура монументальных сооружений эпохи бронзы говорит о наличии предварительного плана строительства, общего замысла, разметки перед возведением стен. Это не было невесть откуда взявшееся знание: всё свидетельствует о многовековом опыте и определенной архитектурной традиции. Мы можем только предполагать, что носителями этих знаний, как в Египте и Месопотамии, где осталась масса соответствующих текстов, были жрецы или сановники, приближенные к правителю, который неизменно выступал в качестве главного строителя. Если же исходить из того, что небольшими теократическими монархиями бронзового века управлял царь-жрец в одном лице, то кто же еще мог быть здесь тем демиургом, который решал, каким будет задуманное сооружение?

* * *

Итак, многочисленные открытия В. И. Сарианиди опрокинули сложившиеся представления об эпохе бронзы на периферии древневосточного мира как первобытной культуре и выдвинули целый ряд теоретических вопросов, решением которых будет заниматься не одно поколение ученых. Стало совершенно очевидным, что во II тыс. до н. э. в оазисах Центральной Азии существовали очаги вторичных цивилизаций с ярко выраженной урбанизационной средой и такими нуклеарными объектами как Дашлы Депе в Бактрии или Гонур Депе в Маргиане. В. И. Сарианиди не раз поднимал вопрос о том, какие модели и эталоны воздействовали на строителей монументальных дворцов и храмов БМАК. Выше отмечалось, что ответ он предлагает искать далеко на Западе, в сиро-анатолийской архитектуре, занимавшей пограничное положение между средиземноморским и месопотамским миром. Как известно, «и в зарубежной, и в отечественной историографии 1990-х

гг. особое развитие получило изучение проблемы трансиранских связей Средней Азии в III–II тыс. до н. э., её ранних контактов с Месопотамией и Индией и возможной дравидской этнической окраской» (Историография истории Древнего Востока, 2002, с. 70). Этой теме посвящены, в частности, публикации К. Ламберг-Карловского, чьи гипотезы относительно БМАК убедительно опроверг В. И. Сарианиди в своем ответе на «рецензии» гарвардского профессора (*Сарианиди,* 2004б, с. 181–190).

На протяжении многих лет работы В.И. Сарианиди находятся в фокусе внимания его многочисленных коллег в разных странах, среди которых больше оппонентов, чем единомышленников. Совершенно не касаясь здесь его взглядов на арийскую проблему, острые споры вокруг его концепции протозороастризма,[1] заметим, что его исследования породили, в частности, большую дискуссию о причинах запустения древнейших протогородских центров в предгорье Копетдага и появлении феноменов типа поселенческих структур БМАК как особых ранних вариантов городской культуры (обзор этой темы см.: *Сайко*, 1996).

«Не будет преувеличением сказать, что всего несколько ученых в истории археологии сделали так много важных и сенсационных находок, как В. И. Сарианиди» – пишет Филип Кол в своей новой книге, посвященный бронзовому веку Евразии. Говоря о том, что будущие поколения археологов обогатят и, в некоторых случаях, поправят и модифицируют наше понимание трудов В. И. Сарианиди, Ф. Кол отметил, что решать поставленные им задачи совсем не просто. Но эта работа всегда будет основана на первоначальных потрясающих открытиях легендарного «Льва Каракумов» (*Kohl*, 2007, p. 242–243). И, наконец, благодаря его подвижничеству, таланту и эрудиции в истории архитектуры Древнего Востока, будь она сегодня написана, появилась бы не просто новая глава, а целый раздел о строительных традициях неведомой прежде цивилизации.

Литература

Антонова Е. В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии (Опыт реконструкции мировосприятия). М., 1984. С. 78–82.

Бенуа М. Месопотамская архитектура // История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935.

Березкин Ю. Е. Архитектурный комплекс как объект ритуального разрушения (Йылгынлыдепе, период Намазга II) // Известия АН Туркменистана, гуманитарные науки. 1992. № 4.

Боссерт Г. Основные черты искусства Древнего Крита // История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935.

Булатов М. С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX–XV вв. М., 1988.

Быструшкин К. Феномен Аркаима: космологическая архитектура и историческая геодезия. М., 2003.

Вавилов Н. И., Букинич Д. Д. Земледельческий Афганистан. М., 1959.

Гаты Заратуштры. Пер. с авест., вст. статья и коммент. И. М. Стеблин-Каменского. СПб., 2009.

[1] Вклад В. И. Сарианиди в развитие индоевропеистики – это отдельная тема, однако нельзя не сказать о том, что именно его открытия дали обильную пищу лингвистам, мифологам, историкам и, собственно, археологам. Не многого стоят рассуждения о путях миграций ариев и их прародине, игнорирующие такой феномен как БМАК. Но таковых сегодня, пожалуй, и не осталось: серьезные публикации по этим вопросам в последние десятилетия неизменно содержат ссылки на работы В. И. Сарианиди. См., например: *Грантовский*, 1998, с. 91–123.

Глазычев В. Л. Архитектура: энциклопедия. М., 2002.

Грантовский Э. А. Иран и иранцы до Ахеменидов. М., 1998.

Гуревич Л. Л. О круглых городах древних иранцев // Этапы и зоны урбанизации. Тезисы докладов. Ташкент, 1989. С. 48–49.

Завьялов В. А. Культурный слой в стратиграфической и топографической характеристике и дифференциации поселений и городов Средней Азии // Этапы и зоны урбанизации. Тезисы докладов. Ташкент, 1989.

Историография истории Древнего Востока. СПб., 2002.

Карцев В. Н. Зодчество Афганистана. М., 1986.

Кошеленко Г. А. Рец. на сб.: L'Art d'Afghanistan de la préhistoire a nos jours. Novelles données. Actes d'une journée d'étude. UNESCO. P., 2005 // РА. 2007. № 1. С. 189–190.

Кругликова И. Т. Десять лет Советско-Афганской экспедиции // КСИА. Вып. 180. М., 1984.

Кругликова И. Т. Разведка археологических памятников, проводившаяся сотрудниками Советско-Афганской экспедиции (САЭ) на севере и северо-западе Афганистана в 1969–1976 гг. // ПИФК. XV. 2005.

Кузьмина Е. Е. Арии – путь на юг. М.-СПб., 2008.

Лелеков Л. А. Отражение некоторых мифологических воззрений в архитектуре восточноиранских народов в первой половине I тысячелетия до н.э. // История и культура народов Средней Азии. М., 1976. С. 7–18.

Литвинский Б. А. Виктор Иванович Сарианиди – легенда археологии Центральной Азии // У истоков цивилизации. М., 2004.

Мамедов М. А. Древняя архитектура Бактрии и Маргианы. Ашхабад, 2003.

Мамедов М., Мурадов Р. Архитектура Туркменистана: краткая история. М., 1998.

Масимов И. С. Жилой дом на Келлели // Памятники Туркменистана. 1984. № 2.

Масимов И. С. История археологического изучения Маргианы // КЦ 2004–2006. СПб., 2008.

Марковин В. И. Обсуждение доклада В.М. Массона // КСИА. Вып. 94. М., 1962.

Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы. М.-Л., 1959.

Массон В. М. Поселение Джейтун. (МИА, № 180). Л., 1971.

Массон В. М. Культурогенез Древней Центральной Азии. СПб., 2006.

Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987.

Мунчаев Р. М. и др. Исследования Иракской экспедиции // АО 1973 г. М., 1974. С. 541–542.

Пугаченкова Г. А. К типологии монументального зодчества древних стран среднеазиатского региона // Iranica antiqua. Vol. XVII. Gent, 1982.

Сайко Э. В. Древнейший город: природа и генезис (Ближний Восток, IV–II тыс. до н. э.). М., 1996.

Сарианиди В. И. Энеолитическое поселение Геоксюр (Результаты работ 1956–1957 гг.) // ТрЮТАКЭ. Т. X. Ашхабад, 1960.

Сарианиди В. И. Культовые здания поселений анауской культуры // СА. 1962а. № 1.

Сарианиди В. И. Некоторые вопросы древней архитектуры энеолитических поселений Геоксюрского оазиса // КСИА. Вып. 91. М., 1962б.

Сарианиди В. И. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении. (САИ. Б3–8. Ч. IV). М., 1965.

Сарианиди В. И. Раскопки в Юго-Восточных Каракумах в 1964 г. // КСИА. Вып. 108. М., 1966.

Сарианиди В. И. Коллективные погребения и изучение общественного строя раннеземледельческих племен // УСА. Вып. 1. Л., 1972.

Сарианиди В. И. Погребение Гиссар III. Новые материалы и наблюдения // История иранского государства и культуры. М., 1971.

Сарианиди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977а.

Сарианиди В. И. Памятники монументальной архитектуры Бактрии // СА. 1977б. № 1. С. 203–224.

Сарианиди В. И. Храм и некрополь Тилля-тепе. М., 1989а.

Сарианиди В. И. Протозороастрийский храм в Маргиане и проблема возникновения зороастризма // ВДИ. 1989б. № 1. С. 151–181.

Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990а.

Сариниди В. И. Сельский храм Тоголок-1 в Маргиане // ВДИ. 1990б. № 2. С. 161–167.
Сариниди В. И. Происхождение иранских храмов огня // La Persia e l'Asia Centrale da Alessandro al X secolo. Roma, 1996.
Сариниди В. И. Теменос Гонура // ВДИ. 1997. № 1. С. 148–168.
Сариниди В. И. Дворец Северного Гонура // ВДИ. 2000. № 2. С. 248–259.
Сариниди В. И. Дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура // У истоков цивилизации. М., 2004а. С. 229-253
Сариниди В. И. Проблемы Бактрийско-маргианского археологического комплекса // КЦ 2002–2003. СПб., 2004б. С. 181–190.
Сариниди В. И. Гонур-депе. Город царей и богов. Aşgabat, 2005.
Сариниди В. И. Маргуш. Тайна и правда великой культуры. Ашхабад, 2008.
Сариниди В. И., Кошеленко Г. А. За барханами – прошлое. М., 1966.
Хмельницкий С. Г. О культовой атрибуции некоторых древних построек Средней Азии // Miras. № 1. Ashgabat, 2005.
Шуази О. История архитектуры. Т. 1. М., 1935.
Элиаде М. Азиатская алхимия. М., 1998.

Baimatova N. S. 5000 Jahre Architektur in Mittelasien: Lehmziegelgewölbe vom 4/3. Jt. V. Chr. bis zum Ende des 8. Jhs. N. Chr. Mainz, 2008. (AIT. Bd. 7).
Brentjes B. Die Stadt des Yima. Weltbilder in der Architektur. Leipzig, 1981.
Chmelnizkiy S. Das Problem der kultischen Merkmale einiger altertümlichen Bauten in Mittelasien // Actes du XIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Vol. 4. Bratislava, 1993. P. 304–307.
Francfort H.-P. The Oxus Civilization (BMAC) and the Location of Markhashi around 2300–1800 BC // Ancient Margiana is the new centre of the world civilization (Materials of the International Scientific Conference). Mary, 2006. C. 94–95.
Kohl Ph. The Making of Bronze Age Eurasia. Cambridge, 2007.
Mamedov M. Archtectural planning in Margiana // Mesopotamia XXXIX. Firenze, 1994.
Sarianidi V. Temples of Bronze Age Margiana: traditions of ritual architecture // Antiquity. Vol. 68. № 259. 1994. P. 388–397.
Sarianidi V. The Fortification and Palace of Northern Gonur // Iran. Vol. XL. L., 2002. P. 75–85.
Sarianidis V. I. Zoroastrianism: a New motherland for an old religion. Athens, 2008.

Gregory L. Possehl

WHAT'S IN A NAME?: THE «INDUS CIVILIZATION», ONOMASTICS AND THE RULES OF SCIENCE

The discovery of the Indus Civilization is a story of pure archaeological research. Before the earliest, systematic excavations of Harappa and Mohenjo-daro in the 1920s, the earliest secure date in the history of India and Pakistan was the spring of 326 BC, when Alexander the Great made his raid into the northwestern provinces of the Subcontinent. Even the Vedas, the earliest ancient Indian texts, have no hint that there had been a period of urbanization during the Bronze Age on the fertile plains of Gujarat, Sindh, the Punjab, Haryana, northern Rajasthan and western Uttar Pradesh, extending as far west as the Dasht River on the modern border between Pakistan and Iran (fig. 1). Thus, the story of the discovery of the Indus Civilization is different from other archaic civilizations. Historical documents, including the Bible, and standing monuments, clearly pointed to the Sumerians and Dynastic Egyptians. Those who once inhabited the Shang cities of northern China were know from the deep historical traditions there.

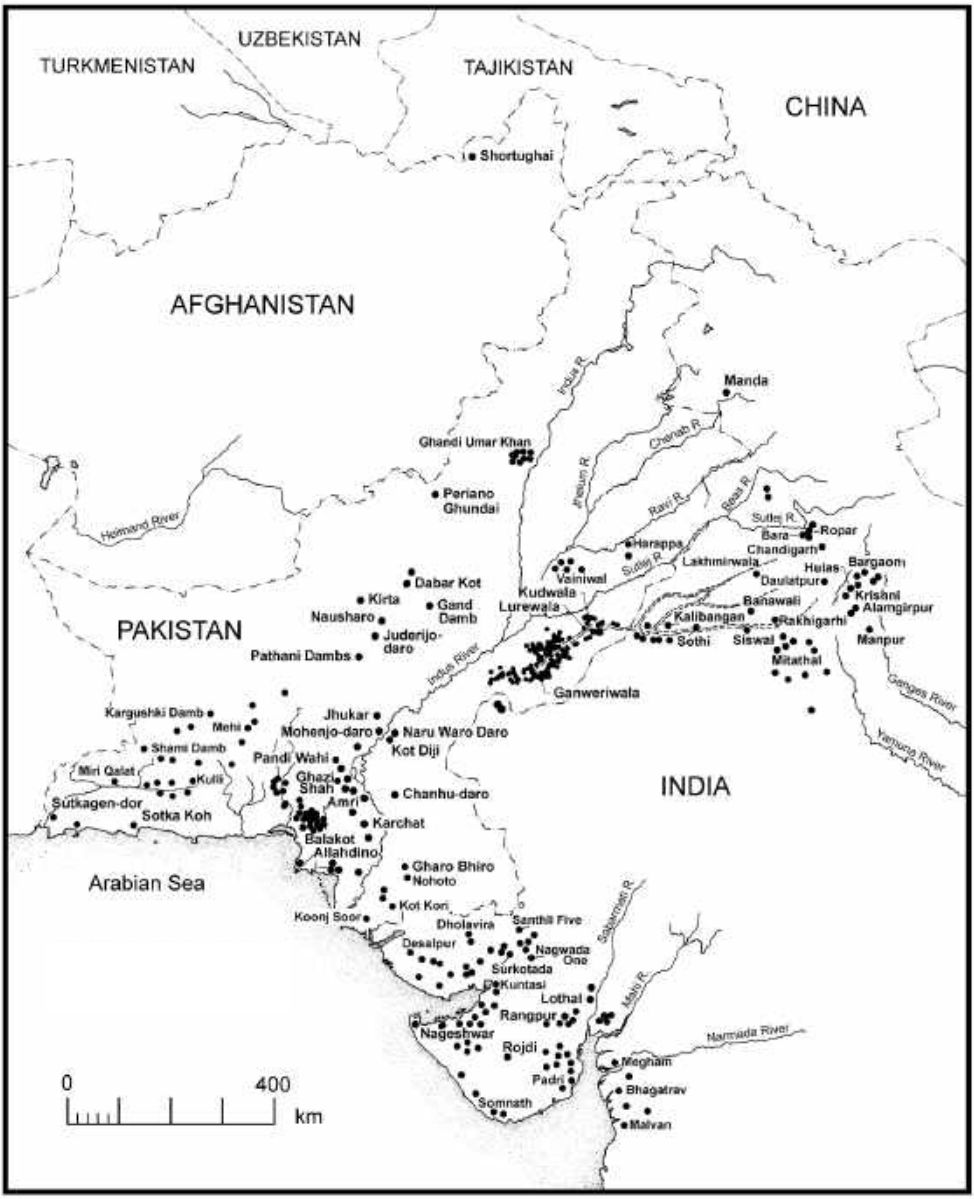


Fig. 1. Settlements of the Indus Civilization.

The discovery of the Bactria-Margiana Archaeological Complex shares something with the discovery of the Indus since no one had any hint that the inland deltas of Turkmenistan and northern Afghanistan harbored a vast Bronze Age population with distant connections to Mesopotamia the Indus Civilization and Iran. Thus it is fitting that this essay on the «naming» of the Indus Civilization be a part of this tribute to Victor Sarianidi since he was the key archaeologist to reveal the secrets of the desert oases.

The first general, public notice of the Indus Civilization was made after trial excavations at Mohenjo-daro and Harappa had demonstrated that these were cities that pre-dated the use of iron and that the people who built them were literate. On September 20, 1924 Sir John Marshall, Director General of the Archaeological Survey of India, published «First Light on a Long Forgotten Civilization» in the *Illustrated London News* (*Marshall*, 1924; reprinted in *Possehl*, 1979, p. 105–107). His desire was that this article would lead to comment on the date of the remains and thoughts as to their nature.

This hope, I am glad to say, was at once fulfilled. In the following issue of the Illustrated London News appeared a letter from Professor Sayce pointing out the close resemblance between these objects from the Indus Valley and certain Sumerian antiquities from Southern Mesopotamia, and a week later there appeared in the same journal a longer article from the pens of Messrs. Gadd and Sidney Smith giving a more detailed comparison of the pictographic script and other antiquities found in the two countries. Some of the analogies suggested by these two writers are fanciful, but most of them are undoubtedly correct and there can now no longer be any doubt that the Punjab and Sind antiquities are closely connected and roughly contemporary with the Sumerian antiquities of Mesopotamia dating from the 3rd or 4th millennium before Christ. Simultaneously also the same conclusion was reached by Dr. E. Mackay, Director of the American Expedition at Kish, who in an unpublished letter to me pointed out the similarity between the ceramic wares found at Mohenjo-daro and at Kish, and also brought to my notice that a seal identical with those found at Harappa and Mohenjo-daro had been discovered in the debris beneath a temple at Hammurabi's time (*Marshall*, 1923–1924, p. 48).

It is the presence of Indus artifacts, especially seals, some with script, at Ur, Kish and other sites (summarized in *Possehl*, 1996a), that the early links between Mohenjo-daro, Harappa and Mesopotamia were being documented. Large scale excavations at Ur and Kish were very important in this story and the leaders of these expeditions were destined to play a role in the history of archaeology in the Subcontinent; Sir Leonard Woolley of Ur, as a reviewer of the effectiveness of the Archaeological Survey of India (*Woolley*, 1939; *Possehl*, 1993) and Stephen Langdon, an American Professor at Oxford, as a student of the Indus script (*Langdon,* 1931; *Possehl*, 1996b, p. 79–80, 84, 90–100). Marshall was so taken by these interconnections that he christened the remains from Mohenjo-daro and Harappa «Indo-Sumerian Civilization».

One feature of these remains which seems to me to emerge clearly from the facts before us is that the civilization of which we have now obtained this first glimpse was developed in the Indus Valley itself and was probably as distinctive of that region as the civilization of the Pharaohs was distinctive of the Nile….But, though the civilization of the Indus will probably be found to have had its own distinctive characteristic, I surmise that it will also be found to have formed part and parcel of a much wider sphere of culture which embraced not only Southern Mesopotamia and India but probably Persia and a large part of Central Asia as well, and which may have extended as far west as the Mediterranean where the early Aegean civilization, presents certain somewhat similar features (*Marshall*, 1924–1925, p. 49).

In speaking of a «much wider sphere of culture» Marshall foresaw the «Third Millennium Middle Asian Interaction Sphere», a topic of some interest today (*Possehl,* 1988; 2002, p. 215–236; 2007).

Harold Hargreaves went to the site of Sohr Damb, Nal in Baluchistan with the thought of documenting the presence of Indo-Sumerian Culture in the region (*Hargreaves*, 1929).

As a result of the recent discovery of allied civilizations in Mesopotamia and the Indus basin attention was naturally directed to Baluchistan which occupies so important a position with respect to both these regions, and across which lie the routes by which this culture might have made it way either eastward or westward (*Hargreaves,* 1924–1925. P. 55).

He was forthright enough to admit that he found no evidence for this. But he still felt that his excavations there had been fruitful (*Hargreaves*, 1924–1925, p. 51).

Marshall took an aggressive position on the relationship between ancient India and Mesopotamia. Remember, he called it «Indo-Sumerian Civilization» not «Sumero-Indian Civilization»:

What these discoveries in India may ultimately lead to, no one can at present foresee; but it is hardly possible to exaggerate their importance for the, ancient history of this country. Even within the, borders of Mesopotamia itself, the study of Sumerian culture is still at an early stage and numerous problems await solution. Of the many known sites where Sumerian culture is represented very few have been adequately explored, and although much knowledge has already been gleaned from them, it is clear that there is much more still awaiting the excavator. The majority of scholars hold that the Sumerians who are on all hands admitted to be entirely distinct both linguistically and in other respects from all other races in that region, were an intrusive element in population; and various attempts have been made in recent years to derive them from one region or another outside and to the east of Mesopotamia The fact that at Harappa and at Mohenjo-daro, where the present materials were discovered, seals, etc., of Sumerian type are found to lie near the surface in city sites covering very large areas widely separated and remote from the sea, with clear evidence of multiple strata lower down proves that, whatever the history of the Sumerians in Mesopotamia may have been, a culture closely akin to theirs must have been widely disseminated in the Valley of the Indus, and have undergone a development reaching back incalculable centuries on Indian soil. If, therefore, those scholars are right who consider the Sumerians to have been an intrusive element in Mesopotamia, then the possibility is clearly, suggested of India proving ultimately to be the cradle of their civilization, which in its turn, lay at the root of Babylonian, Assyrian and Western Asiatic culture generally. It is obviously far too early, however, to regard this as more than a reasonable hypothesis, but the mere stating of the problem shows what fascinating vistas are now being opened up, and emphasises the need for pushing on with the exploration of the Indus sites on an extended scale and with as little delay as, possible (*Marshall,* 1923–1924, p. 49–50).

At the end of the 1924–1925 field season at Mohenjo-daro we had Marshall proposing that the roots of Mesopotamian civilization, and by implication, much of our own civilization, originating in the Greater Indus Region – a bold notion that was about to be tested. Marshall was going to the field, to see for himself what Mohenjo-daro was all about.

Marshall's only season of excavation at Mohenjo-daro was in 1925–1926. He had made plans for a major excavation there and built a proper road between the site and the railway station at Dokri, eleven kilometers away. Housing, work rooms and a small museum were also constructed, with the financial support of Sir Leslie Wilson, Governor of the Bombay Presidency (*Marshall*, 1931, p. 11–13).

Twenty-five, twenty-six was the «big season» at Mohenjo-daro with a labor force of 1200 working on both the Mound of the Great Bath and the Lower Town. The Survey's staff included Marshall's right hand man, Harold Hargreaves, who was then Superintendent of the Frontier Circle; Kashinath Narayana Dikshit, Superintendent of the Western Circle; Superintending Ar-

chaeologist Rai Bahadur Daya Ram Sahni; Officiating Superintendent Madho Sarup Vats; Assistant Superintendent Bhanwar Lal Dhama and Mohammad Sana Ullah, the Survey's Archaeological Chemist. Marshall also recruited Nani Gopal Majumdar, a brilliant young curator from the Rajshahi Museum in Bengal. Experienced men from Marshall's Taxila excavations were also there: A. D. Siddiqi, K. N. Puri, Q. M. Moneer and J. K. Ray (*Marshall*, 1925–1926, p. 73–74). R. D. Banerji, the first man to excavate at Mohenjo-daro, was not there. He had been «banished», to the Eastern Circle in Bengal (*Banerji,* 1925–1926). His health was also bad and he seems to have been «in dutch» with Marshall. This posting away from Mohenjo-daro was a harbinger of things to come. Sir Aurel Stein was a visitor to Mohenjo-daro during this season. He spent thirty-six hours on a train to reach the site and would draw on this firsthand knowledge of the Indus Civilization at many points in his career, especially his excavations at the Indus site of Dabar Kot (*Stein*, 1929, p. 55–64) and his explorations in Cholistan (*Gupta*, 1989).

Marshall took his foreman from Taxila, Mr. Siddiqi, and a team of laborers and put them to work on the Mound of the Great Bath. They cleared the Buddhist stupa and discovered the Great Bath. The rest of the team went to work all over the site: Hargreaves in HR Area, Vats in VS Area and Dikshit in DK Area. By the end of the season significant portions of the Lower Town had been opened up. An abundance of classic Indus artifacts came to light at this time: many stamp seals, terracotta figurines, cubical stone weights, a jewelry hoard in a silver vase and three pieces of stone sculpture, including the so-called «Priest King». This Indus icon emerged from Dikshit's excavations in DK-B Area, in a building that the excavators thought may have been an hammam or hot bath (*Mackay*, 1925–1926, p. 90–91. Pl. XLIIIa).

By the end of the 1925–1926 field season Marshall and his team knew a great deal about the Indus Civilization, much more than they had known at the end of the 1924–1925 season. This advancement in knowledge made it clear that the remains from Mohenjo-daro and Harappa did not represent an «Indo-Sumerian Civilization» at all and the term was dropped: «And here I may say parenthetically that I shall use the term «Indus» henceforth to designate the particular culture of the Chalcolithic period which I have hitherto designated 'Indo-Sumerian', since the latter term is likely to imply a closer connection with Sumer than now seems justified» (*Marshall*, 1925–1926, p. 75). So important was this change that he repeated it in the 1926–1927 preliminary report on the Mohenjo-daro excavations: «Owing to the close connection with the Sumerian Civilization of Mesopotamia, the prehistoric civilization revealed at Mohenjo-daro and Harappa has hitherto been designated by the name 'Indo-Sumerian'. With the progress of exploration, however, it has become evident that the connection with Mesopotamia was due, not to actual identity of culture, but to intimate commercial or other intercourse between the two countries. For this reason the term 'Indo-Sumerian' has now been discarded, and 'Indus' adopted in its place» (*Marshall,* 1926–1927, p. 53).

As an aside, Sir Mortimer Wheeler seems to have moved back in the direction of «Indo-Sumerian Civilization» with his synthesis of Indus remains. He went so far as to say:

If…we now review the comparison between the two civilizations (Sumer and Indus) as a whole, it is fair to recognize a general affinity with recurring and important differences in detail which are at least sufficient to set aside any likelihood of immediate or wholesale colonization of the Indus region from Sumer. For the physical structure of the Indus Civilization we must look to more local sources and causes. But that is not to rob Mesopotamia of a close responsibility in the matter…Thanks to Mesopotamia, by the end of the 4th millennium the idea of civilization was in the air of-the Middle East; and, as I have remarked before, ideas have wings… So from Mesopotamia, by easy land routes, the idea of civilization penetrated shortly to Egypt, where the ideas of writing and of certain architectural modes were adopted and adapted in a local idiom. From

Mesopotamia, we may be sure, the mature idea of civilization, always including that of writing, later reached the Indian coast and the Indus valley by an easy sea, route and perhaps by land, to be adapted there to local taste and circumstance (*Wheeler*, 1959, p. 104).

Back to Marshall, with «Indus Civilization» he sought to avoid the parochialism of «Indus Valley Civilization», since he felt that the sites of these ancient peoples would be found outside the Indus Valley. Today we know of Indus sites on the borders of Iran in Baluchistan, in Gujarat, Rajasthan, even the Ganga-Yamuna Doab, all far removed from the Indus Valley, and yet fully a part of the Indus Civilization.

Marshall attempted to make «Indus Civilization» the standard name, but he was never quite successful. Vats and Mackay were two resisters within the Archaeological Survey of India.

G. R. Hunter, one of the early scholars working with the Indus script (*Hunter*, 1934) seems to have coined the term «Proto-Indian» for Marshall's Indus Civilization. It first appears in his 1929 PhD dissertation for Oxford University. This term was picked up by Vats, following his excavation 1934–1935 at Rangpur, where he says: «But the mere fact that the Indus (which may now be termed Proto-Indian) Culture is by this discovery pushed so far south-east as Kathiawar is a matter of great importance to the student of pre-history in India» (*Vats*, 1934–1935. P. 38). «Proto-Indian» is still current with some scholars, more so in Russia, and particularly with those involved with the Indus script and other iconographic topics.

The next year, Mackay too becomes a dissenter. In the preliminary report on his excavations at Chanhu-daro in 1935–1936 Mackay made a clear break with Marshall on this onomastic point. In reference to N. G. Majumdar's work at Chanhu-daro he said:

The three trial trenches that he cut produced unmistakable evidence of remains contemporary with those of Mohenjo-daro and Harappa – the so-called 'Indus Valley Civilization.' And here I would suggest that this somewhat elastic term be henceforth replaced by 'Harappa Culture,' from the site where its first existence was realized (*Mackay*, 1935–1936, p. 39).

J. F. Blakiston, then Director General of the Survey, edited this volume of preliminary reports and gave us the following footnote: «This suggestion of Dr. Mackay has not found favor among other scholars, notably Sir John Marshall – Editor». Vats's use of «Proto-Indian» just the year before this, in another of the Annual Reports of the Archaeological Survey of India edited by Blakiston, did not earn him a negative footnote, possibly bearing witness to the fact that Mackay seems to have become more than an annoyance to Marshall.

Some time in the 1950s and 60s the term «Harappa Culture» was replaced by «Harappan Civilization». This is the term that will be used here, since it is so widely accepted. The term «Mature Harappan» is also present in the literature, but this refers not so much to the Indus Civilization as it does to a phase in a continuous process of development.

Having made this point, in a publication venue that would have been at least a little insulting to Marshall, it is somewhat curious that Mackay did not entirely stick with his own advice. For example, the first book-length overview of the civilization was something Mackay authored and he titled it The Indus Civilization (*Mackay*, 1935). How long this was in the writing is hard to say, but it did appear within the time frame of the Chanhu-daro report. A second edition, revised and enlarged by his anthropologist wife Dorothy Mackay, was titled Early Indus Civilizations (*Mackay*, 1948). In both editions we find the terms «Harappa culture», «the Harappa period», and «Harappa people» but the writing system is called the «Indus script» and there are references to the «Indus city». Perhaps in Mackay's mind consistency was not a virtue.

Consistency was a virtue to Marshall, however. He titled his monumental report on the early excavations at the great city of burnt brick Mohenjo-daro and the Indus Civilization (*Marshall*, 1931) and he stuck to his guns in the use of his Indus Civilization.

In coining the term «Harappa Culture» Mackay was using the well established scientific notion of the «type fossil» concept to name archaeological assemblages. This is a widely used in archaeology, around the world as in «Hopewell», «Natufian» and «Kulli», to name a few.

The situation in 1936 can be summarized as:

Indo-Sumerian civilization had been created and discarded
Indus Civilization had been proposed by Marshall
Harappa culture had been proposed by Mackay
Proto-Indian civilization had been proposed by Hunter

Then the situation stabilized and the onomastics of the remains from Mohenjo-daro and Harappa were not an issue for many years. The leading authorities in the field, be they Indian, Pakistani, European or American used «Indus Civilization» and/or «Harappa(n) Civilization». «Indus Valley Civilization» appeared occasionally, but usually by the non-specialist, and in situations that suggest that it was a simple misunderstanding. The user thought Marshall meant to say «Indus Valley Civilization». This changed in about 1993 when the term «Indus-Saraswati Civilization» first appeared (*Gupta,* 1993, 1996a, 1996b). The reason for this is given by S. P. Gupta, who seems to have coined the term:

…the work…in (the) Bahawalpur region has now firmly established the fact that there are ten times many more sites of this Civilization in the Saraswati basin than the Indus basin. It has necessitated to change the nomenclature – and we have done it here by calling it the 'Indus-Saraswati Civilization' *(Gupta,* 1996a, p. c).

This introduces a principle of naming an archaeological assemblage after a combination of the region and the sub-region where the greatest concentration of sites is said to be found. This appears to be a unique principle in archaeology, and the ten to one ratio of sites may not be correct, depending on how one would define «Indus basin» and «Saraswati basin».

It is a well established observation that Sindh and the West Punjab (the «Indus Basin») do not have many Indus villages and towns. There are two great cities there, but the other forms of settlement are scarce. This does not imply that there were ten times more people in the Sarasvati basin, than in the Indus during the second half of the third millennium. We have to consider problems of erosion, alleviation and life styles like pastoral nomadism, tinker-traders, bards and the like that tend to leave a ephemeral archaeological record.

Exploration and the discovery of new sites is a continuing line of research on the Indus Civilization, so the following has to be taken as a statement of the situation today, not what it might be a decade from now. I maintain a documented list of sites of the Indus Civilization that is as comprehensive and accurate as I can make it. This lists 401 sites of the Indus Civilization in Gujarat, this excludes the so-called «Late Harappan» or Post-urban Phase sites of the second millennium. The count I get for the same period in the «Sarasvati Basin» is 332, the «Saraswati Basin» being defined as the district of Bahawalpur in Pakistan and the Indian states of Punjab and Haryana. If we apply the principle seemingly used by Dr. Gupta to name the Indus Civilization we would be led to the notion that we are dealing with an «Indus-Gujarati Civilization». I am not advocating this, since I think that both terms («Indus-Saraswati Civilization» and «In-

dus-Gujarati Civilization») are as parochial as Indus Valley Civilization, but there may be a resolution to this problem.

Mention has been made to the fact that Mackay was applying the scientific principle of the «type fossil» when he advocated the use of «Harappa Culture» rather than «Indus Civilization» (although he specifically said «Indus Valley Civilization»). For me archaeology is a science, although the greatest intellectual triumphs there are achieved when some humanistic sense is admitted to the outcome. Science is a method, and has rules and uses the principle of precedent a great deal. There are rules for giving names to things, especially plants and animals. The important issue of nomenclature is not left as a burden, let alone a whim, for individual scholars to decide on their own. These scientific principles may be useful to us in resolving the issue of whether to call the civilization of the Greater Indus Region in the second half of the third millennium the «Indus Civilization», the «Harappa Civilization» or the «Indus-Saraswati Civilization».

In the business of naming plants and animals the first of the principles is that the name be appropriate. This means that it should have a logical relationship to the entity being named. The name should also have both dignity and understandability. The second principle is that the first appropriate, published name of a plant or animal will be the one that is accepted by the world community. For example, if a single plant should acquire two names, by reason of accident, lack of communication, or what ever, when this is discovered it will be the oldest published name that will be adopted. These rules of «appropriate and prior» are the adjudicators of onomastic debates in science and could be applied in the naming of the ancient peoples of the Indus.

The following grid takes the seven proposed names and evaluates them in terms of «appropriate and prior».

T a b l e 1

Name	Appropriate	Prior
Indo-Sumerian Civilization	No	Yes
Indus Civilization	Yes	Yes
Harappan Civilization	Yes	No
Indus Valley Civilization	No	No
Proto-Indian Civilization	No	No
Indus-Saraswati Civilization	No	No

Since «Indo-Sumerian Civilization» is inappropriate as a name, its priority is nullified. Therefore, when these terms are evaluated in this scientific fashion the only name that has a «double 'yes'» is «Indus Civilization», and that should be the one we all agree on using.

References

Banerji R. D. Exploration, Eastern Circle, Bengal // ARASI. 1925–1926. P. 107–117.

Gadd C. J., Smith S. The new links between Indian and Babylonian civilization // ILN. 1924. October, 4. P. 614–616.

Gupta S. P. (Ed.) 1989 An Archaeological tour along the Ghaggar-Hakra river. Meerut, 1989.

Gupta S. P. Longer chronology of the Indus-Saraswati civilization // Puratattva. 1993. Vol. 23. P. 21–29.

Gupta S. P. The Indus-Saraswati civilization: origins, problems, issues. Delhi, 1996.

Gupta S. P. 1996 Fresh look at the Indus-Sarasvati chronology: from the Formative to the Mature Period // Margabandhu C., Ramachandran K. S. (Eds.) Specturm of Indian culture (*Professor S. B.* Deo felicitation volume). Vol. 1, 2. Delhi. P. 63–66.

Hargreaves H. Frontier Circle // ARASI. 1924–1925. P. 50–60.

Hargreaves H. Excavations in Baluchistan 1925, Sampur Mound, Mastung and Sohr Damb, Nal // Memoirs of the Archaeological Survey of India. No. 35. 1929.

Hunter G. R. The Script of Harappa and Mohenjo-Daro and its connection with other scripts. L., 1934.

Langdon S. H. The Indus script // Marshall, Sir John (Ed). Mohenjo-daro and the Indus Civilization. Vol.1–3. L., 1931. P. 423–455.

Mackay E. J. H. Exploration, Western Circle, Mohenjo-daro (Area DK*)* // ARASI. 1925–1926. P. 87–93.

Mackay E. J. H. The Indus Civilization. L., 1935.

Mackay E. J. H. Excavations at Chanhu-daro // ARASI. 1935–1936. P. 38–44.

Mackay E. J. H. Early Indus Civilizations. 2nd ed. Revised by Dorothy Mackay. L., 1948.

Marshall Sir J. First light on a long forgotten civilization // ILN. 1924. September 20. P. 528–532, 548.

Marshall Sir J. The prehistoric civilization of the Indus // ARASI. 1924–1925. P. 60–63.

Marshall Sir J. Exploration, Western Circle, Mohenjo-daro // ARASI. 1925–1926. P. 72–98.

Marshall Sir J. The Indus Culture // ARASI. 1926–1927. P. 51–60.

Marshall, Sir J. (Ed.) Mohenjo-daro and the Indus Civilization. Vol. 1–3. L, 1931.

Possehl G. L. (Ed.) Ancient Cities of the Indus. Durham, 1979.

Possehl G. L. Introduction // Masson V. M. Altyn Depe. Translated by Henry Michael. Philadelphia, 1988.

Possehl G. L. Sir Leonard Woolley evaluates Indian archaeology // Harappan Studies. 1993. No. 1. P. 1–56.

Possehl G. L. Meluhha // Reade J. E. (Ed.) The Indian Ocean in Antiquity. L., 1996a. P. 133–208.

Possehl G. L. Indus Age: The writing system. Phil., 1996b.

Possehl G. L. Indus Age: The beginnings. Phil., 1999.

Possehl G. L. The Indus Civilization: A contemporary perspective. Walnut Creek, 2002.

Possehl G. L. The Middle Asian Interaction Sphere // Expedition. 2007. Vol. 49. No.1. P. 40–42.

Sayce A. H. Remarkable discoveries in India // ILN. 1924. September, 27. P. 566.

Stein Sir A. An Archaeological tour in Waziristan and Northern Baluchistan // Memoirs of the Archaeological Survey of India. No. 37.Delhi, 1929.

Vats M. S. Trial excavations at Rangpur, Limbdi State, Kathiawar // ARASI. 1934–1935. P. 34–38.

Wheeler Sir M. Early India and Pakistan: To Ashoka. NY., 1959.

Woolley Sir C. L. A Report on the Work of the Archaeological Survey of India. Delhi, 1939.

Ch. Kepinski-Lecomte

TURKMENISTAN AND NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE BRONZE PERIOD

Introduction

It is a great honour for me to make a small contribution to this volume dedicated to Viktor Ivanovich Sarianidi. He is one of the most striking archaeologists that I have met during my career and it has always been a pleasure to welcome him and Nadezhda Dubova to my home when they passed through Paris. His contribution to the understanding of ancient civilizations, particularly those of Central Asia, is considerable and worthy of the greatest admiration. His

work has revealed new cultures which were far from being isolated, maintaining direct and indirect contacts with the whole of the Orient, from the Mediterranean Sea to the Indus Valley and formed part of a single puzzle which we are all trying to decipher in order to understand the history of ancient civilizations.

This is why, for the past several years, being a specialist of Upper Mesopotamia I have been interested in all the recent discoveries, particularly those from the site of Gonur Depe. The civilizations of Central Asia (fig. 1) are studied by eminent colleagues, who will, I hope, forgive the gaps in my knowledge, but our research still remains too compartmentalized and our understanding would benefit, I am sure, by being shared far more frequently. Parallels with eastern regions, notably with the Indus Valley and Elam, were deservedly developed long ago, while those with Upper Mesopotamia and more precisely with the big bend in the Euphrates have been studied much less. They might repay a major study, but in the meantime, I would like to present the case of some ritual practices, burial practices in particular.

Settlements during the third and second millenniums: general dynamics or trends

The stages of development of human settlements in the big bend of the Euphrates, as in the whole of Upper Mesopotamia, present some points of comparison with those of Central Asia. It is generally agreed that the development of towns started there at least in the mid third millennium, most probably earlier (*Akkermans, Schwartz*, 2003, p. 233–287; *Cooper*, 2006; *Kepinski*, 2001). Be that as it may, the second half of the third millennium was a very prosperous period. In southern Sinjar in Iraq, at Tell Khoshi or Tell Hadhail for example, and the Khabur area in Syria, at Hamoukar or Tell Leilan, the main sites covered 100 hectares, whereas those from the Euphrates valley and the area west of it such as Ebla, Tilbeshar, Tell es-Sweyhat, Tell Banat/Tell Bazi and those in Central Asia, such as Namazga or Gonur, reached 50 to 60 hectares. In Upper Mesopotamia from 2100 onwards, the majority of the cities either became smaller or was abandoned (*Tainter*, 1987; *Dalfes et al*., 1997; *Cooper*, 2006, p. 257–277). In fact, while some regions were completely deserted, such as certain valleys in the Khabur triangle, others seemed to be less affected: nevertheless, some major modifications indicating economic changes are undeniable everywhere (*Kuzucuoglu, Marro*, 2007). While in Central Asia, there could have been real movements of people from the upper valleys towards the lower valleys or the delta, in Upper Mesopotamia, the displacements towards the valleys and more humid areas remain conjectural (*Francfort*, 1985; *Kohl*, 1995, 2007; *Tosi, Karlovsky*, 2003; *Sarianidi,* 2008).

Some elements of comparison: composite figures and platforms

A well-known comparison between Central Asia, Northern Syria and South-east Anatolia consists of the composite seated female figure known from several sites in Turkmenistan and particularly from Gonur Tepe (*Sarianidi*, 2002, p. 140–142). Pieces of similar figures, such as heads, arms and parts of wigs have been found at Ebla (*Matthiae,* 1996, p. 54, 96–97) and on several sites in the Euphrates valley, for example Tell Bi'a at the confluence of the Euphrates and the Balikh (*Strommenger, Kohlmeyer,* 2000) and at Tell Banat nearby (*Porter*, 2002; *Aruz*, 2003, p. 171, fig. 109d). In Syria, these pieces date to the last quarter of the third millennium, so these attestations could therefore be slightly older than the composite figures from Gonur. These latter would thus be imitations of the statuettes similar to the two found very recently at Ebla,

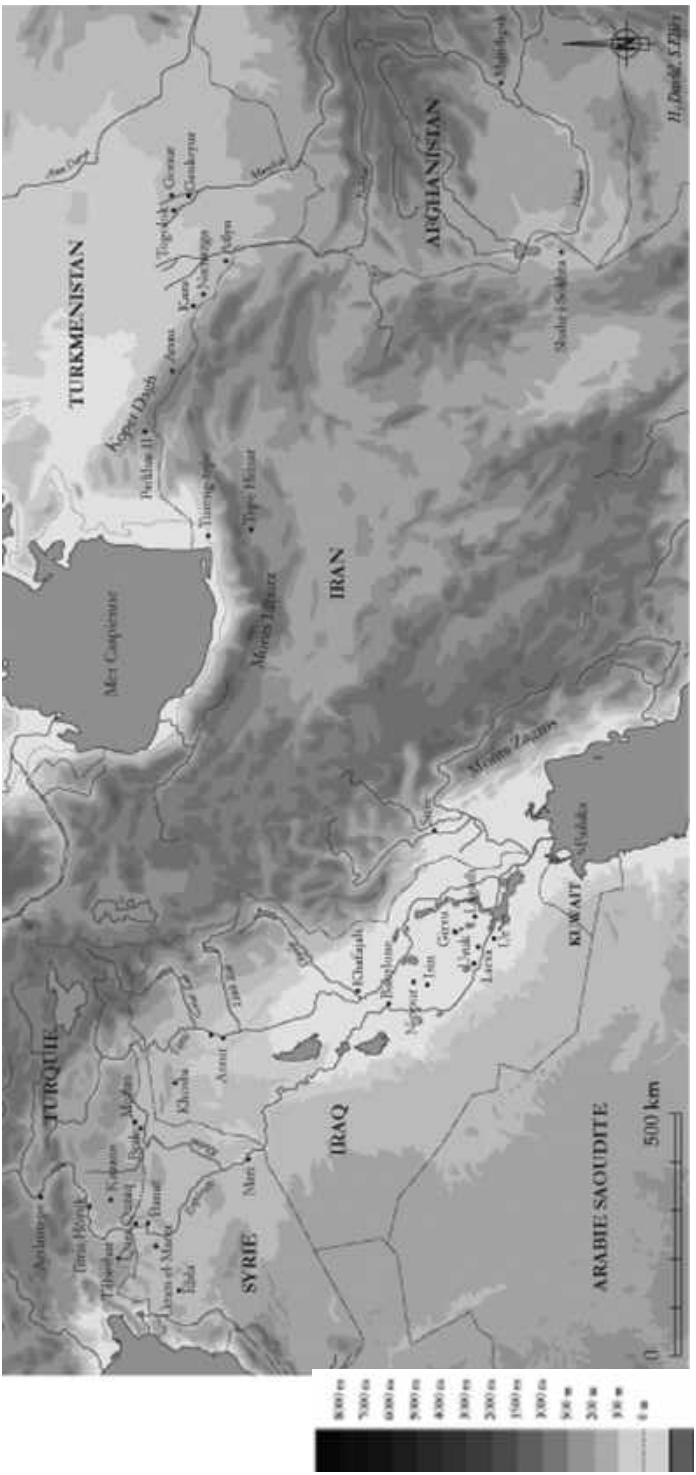


Fig. 1. Main archeological sites of Central Asia and Near East.

which date to the 24th century. The Ebla statuettes have the *kaunakŭs* clothing, made of gold on one and of incised stone in the other, and different materials were used for the same parts; the head, arms and hair or wig.

Apart from the composite figures, I have often quoted the case of the platforms or terraced rows that were built on many sites during the third millennium, from the Khabur area to south-east Anatolia and all along the Euphrates valley. The oldest levels were covered by a terraced massif of mud bricks as, for example, at the site of Altyn Depe (*Masson*, 1988, p. 58, fig. 18). In the Khabur area, there are several examples and one of the oldest is at Tell Mozan, where it could date back to the Ninevite 5 period and to the second quarter of the third millennium B. C. The excavators, Giorgio and Marilyn Buccellati, have connected it to the Hurrites (Buccellatti, *Kelly-Buccellatti,* 1988, p. 59; 1999, p. 12, 13, abb. 4, 14). In the Sajur valley, at Tilbeshar, the upper town was covered by a high terrace during the first phase of the expansion of the town, around 2600 BC, at the time when the occupation extended around the citadel both to the north and south (*Kepinski-Lecomt, Ergeç*, 1999, p. 247). The excavation of this platform, within the limited space of a stratigraphic trench, did not expose the buildings at the top of the platform, but it did reveal a 12 m high massif that covered over the remains of the earlier occupation, like on the high terrace at Altyn Tepe. There is still a problem concerning the dating of the terrace at Altyn Tepe or the Namazga V period, and while some scholars place it during the second half of the third millennium, others think that it is much more recent and that it could date to the beginning of the second millennium. Other terraces are attested in Afghanistan, at Mundigak (*Casal*, 1961) and Nad-i Ali (*Dales*, 1977; *Besenval, Francfort*, 1994) for example, in Iran, at Tureng Tepe (*Deshayes*, 1977) and along the Euphrates, notably at Halawa B (*Orthmann*, 1981) and Tell es-Sweyhat (*Zettler*, 1997, p. 18), where they might belong to the end of the third millennium B. C.

The practice of raising buildings higher and of constructing high terraces was new to Upper Mesopotamia. It was known in Mesopotamia, but only for a single building inside the town as, for example, the oval temple at Khafajeh and that of Tell Uqair. At Tilbeshar, Tell es-Sweyhat and Altyn Tepe, the whole of the old site was covered by bricks, forming a massif. The majority of these examples are located in piedmont zones. This might have been a practice of mountain people who were remodelling the landscape to resemble their place of origin. Even if all the examples cited are not exactly contemporaneous, they accompany the main development of settlement during the third millennium. These terraces were also territorial markers, necessary to people in the process of settling down to justify their appropriation of new territories. Their visibility could be associated with that of some funerary monuments built in many places along the big bend of the Euphrates, especially in the case of the White Monument from Tell Banat (*McClellan*, 1998). Taken together, these constructions also show the ability to mobilise a significant workforce for these substantial communal projects.

Funerary practices

The main new element that relates to our topic is represented by specific burial practices, particularly graves of sacrificed animal occurring within an extensive burial complex situated in a central position inside a site. In the third millennium, the Euphrates valley and Central Asia are characterised by very varied burial practices from one site to another and even within one site: pit graves, cists, pithos, stone chambers, earth or rock-cut shafts, monumental stone-built shafts and chamber tombs in the Euphrates valley (*Cooper*, 2006, p. 202–256), and shaft graves, pit graves, cists and chamber tombs at Gonur (*Sarianidi*, 2008). Amongst these, tombs in the form

of houses and animal graves are rare and their exceptional character justifies the attention that should be paid to them.

The study of burial practices remains one of the major subjects of our discipline and it has passed through several stages since the transition from the diffusionist approach to that of taking the interaction between rituals and the community of the living into account (*Brown*, 1971; *Laneri*, 2007). Revealing as they are of social structures (*Binford*, 1972; Carter, Parker, 1995; *Parker, Pearson*, 1999), their symbolic function is equally strong (*Bourdieu*, 1982; *Hodder,* 1982). After having highlighted the importance of the information they provide on the social status of the deceased, in recent years the relationship of rituals with the world of the living that follow and perpetuate them, has been developed. Their richness at certain times, particularly in the third millennium where it is illustrated by, for example the famous royal tombs at Ur and Alaca Höyük, is universally recognised as a means of creating, reinforcing and realising an ideological discourse that emphasises the power of the leaders (*Peltenburg*, 1999).

Animal burials are found at Gonur both in the necropolis and in the royal cemetery. An extensive burial area, located to the west of North Gonur, has produced around 3000 graves of different types across 10 hectares. There are several animal burials, including one of a decapitated horse (*Sarianidi*, 2008, p. 322, fig. 182). In addition, in the royal necropolis, the skeleton of a fawn surrounded by a multitude of pots and two pearls has been found in a mausoleum (*Sarianidi*, 2008, p. 321, fig. 181). Two separate graves in another mausoleum sheltered sheep, also associated with a large amount of ceramics.

In 2002 and 2004, a team led by Glenn Schwarz and Hans Curvers excavated animal graves at the site of Umm el-Marra to the west of the big bend in the Euphrates (*Schwartz et al.,* 2006). They were part of a burial complex covering the upper town. It comprises a dozen graves which produced rich funerary materials dating to the second half of the third millennium. In the middle were two rectangular structures made of mud brick, the larger of which contained the skeletons of four equids (onagers or donkeys) and the skull of a child. The smaller structure was divided into two compartments, each containing the burial of a decapitated equid. The two skulls were found on a sill of the west wall accompanied by a spouted jar and bare clear witness to ritual practices linked to the sacrifice and burial of these animals.

The sacrifice of animals is far from unknown in Syro-Mesopotamia, but the burial of equids at Umm el-Marra in individual, constructed tombs is unique. While, according to Schwartz, equids «were the preferred animals used to pull wheeled vehicles» at Umm el-Marra, the necropolis at Gonur revealed not only animal burials of different sorts but also the remains of a chariot with four bronze-encircled wheels, 80 cm in diameter, in tomb 3200 (*Sarianidi,* 2008, p. 320, fig. 180).

Finally the tombs in the shape of houses need to be mentioned. At Gonur Depe, the excavations brought to light five of these, which were used for successive multiple inhumations (*Sarianidi,* 2008, p. 157). One example has been found at Qara Qusak, south of Carchemish (*Valdés Pereiro,* 1999, p. 120). Attributed to phases 1 and 2 of the Bronze Age, the tomb at Qara Qusak is the most ancient monumental tomb in the Syrian Euphrates valley. It is rectangular, built of red mud bricks and covered with white limestone plaster. A partition wall creates two compartments, one sheltering the skeleton of a young woman, the other that of a young child. The burial goods are rich and abundant, including ceramics, bronze pins, copper spearheads and hundreds of beads. This building is located in the vicinity of a large temple, and both are surrounded by an enclosure wall of bricks that separated from the houses.

The graves at Umm el-Marra, and many of the burials at Gonur were situated, like the burial structure at Qara Qusak, at the heart of the site, at its very centre, and sometimes in a dominating

position. Such a position further accentuated the relationship between the living and the dead, most probably punctuated with regular ritual practices (*Cooper*, 2006, p. 241). The complexity of burial practices is particularly strong when communities face serious social, economic and cultural transformations and they need ideological resources and new symbols (*Girard*, 2004; *Kepinski*, 2006; *Schwarz,* 2007). Given that the communities were of nomadic origins, one might interpret the rituals as re-enforcing a collective memory based on shared values, those of a recent past in which they wandered and lived amongst their herds.

The variety of burials types in the Euphrates valley echoes that found in the necropolis at Gonur and in both cases no doubt illustrates the complexity of human groups in full transformation, competition and emulation as well as the formation of elites. The shared values probably include memories of an idealised past (*Porter*, 2002), in this case that of herders, elaboration of symbols (*Godelier*, 2007) but also the participation in international trade, the development of which, during much of the third millennium, was to be a powerful force for the evolution of the communities involved. In support of this force a series of cultural hubs, interdependent territories and leaders were put in place.

Conclusion

The parallels between Central Asia and the big bend in the Euphrates can be explained, initially, if one remembers that the two regions are on the lapis-lazuli and the turquoise trade route. Apart from the manufactured objects found on many sites, at Ebla blocks of raw lapis-lazuli have also been found. It must also be remembered that various alloys were developed during the third millennium and both regions are situated near different ore deposits. The composite seated female figures were moved along the same routes, circulating as exchange goods or gifts.

The various examples mentioned here need to be put in context with ritual practices. It is clear that we are not talking about a single population, since other elements of the material culture clearly identify different groups. Nevertheless, as we have said, Turkmenistan underwent stages of development and settling process comparable with several other regions in the East. The peoples who settled both in the big bend of the Euphrates and in Turkmenistan were of nomadic origin. And it is precisely the complexity of certain burial practices that characterises nomads, as well as their constant search to legitimise their power over any given area and the use of territorial markers.

The importance given to animals could be related to their use in transportation but also to a recent past as herders. In any case, the two regions developed thanks to their strategic location near to certain primary resources such as semi-precious stones and minerals. To conclude, during the Bronze Age, with its population of nomadic origin, close to high ground, pastures and minerals, Turkmenistan was an indispensable link in the network of international relations that developed in quite a particular way from the middle of the third millennium until the beginning of the second.

Bibliography

Akkermans P. M. M. G., Schwartz G. M. The Archaeology of Syria. From complex hunter-gatherers to early urban societies (ca. 16000-300 BC). Cambridge, 2003.

Aruz J. (Ed.) Art of the first cities: The third millennium B. C. from the Mediterranean to the Indus. New York. The Metropolitan Museum of Art. New Haven, L., 2003.

Besenval R., Francfort H.-P. The Nad-i Ali «Surkh Dagh»: A Bronze Age monumental platform in Central Asia // Kenoyer J.M. (Ed.) From Sumer to Melluha: contributions to the archaeology of South and West Asia in memory of George F. Dales. Wisconsin Archaeological reports. Vol. 3. 1994. P. 3–14

Binford L. R. Mortuary practices: their study and their Potential // Binford L. R. (Ed.). Archaeological perspectives. NY., 1972. P. 208–251.

Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique. P., 1982.

Brown J. A. (Ed.) Approaches to the social dimensions of mortuary practices (Memoirs of the Society for American archaeology. Vol. 25). Wash., 1971.

Buccellati G., Kelly-Buccellati M., Mozan I. The Soundings of the first two seasons. (Bibliotheca Mesopotamia. Vol. 20). Malibu., 1988.

Buccellati G., Kelly-Buccellati M. Das archäologische Projekt. Tall Mozan/Urkes. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin. Bd. 131. 1999. S. 7–16.

Carter E., Parker A. Pots, people and the archaeology of death in Northern Syria and Southern Anatolia in the last half of the third millennium B. C. // Campbell S., Green A. (Eds.). The Archaeology of death in the Ancient Near East. Oxford., 1995. P. 96–116.

Casal J.-M. Fouilles de Mundigak (Mémoires de la Délégation archéologique Française en Afghanistan. T. XVII). P., 1961.

Cooper L. Early Urbanism on the Syrian Euphrates. NY., L., 2006.

Dales G. F. New Excavations at Nad-i Ali (Sorkh Dagh), Afghanistan. (Research Monograph n° 16. Center for South and Southeast Asia studies). Berkeley, 1977.

Dalfes H. N., Kukla G., Weiss H. (Ed.) Third Millennium BC climatic change and Old World collapse (NATO ASI Series I: Global environmental change. Vol. 49). Springer, 1997.

Deshayes J. A propos des terrasses hautes de la fin du IIIe millénaire en Iran et en Asie Centrale // J. Deshayes (Ed.) Le plateau Iranien et l'Asie centrale des origines a la conquête islamique. Leurs relations a la lumière des documents archéologiques. P., 1977. P. 95–112.

Francfort H.-P. Les villes de l'Âge du Bronze // Le Grand Atlas de l'archéologie. P., 1985. P. 228–229.

Girard R. Les origines de la culture. P., 2004.

Godelier M. Au fondement des sociétés humaines. P., 2007.

Hodder I. (Ed.) Symbolic and structural Archaeology. Cambridge, 1982.

Kepinski-Lecomte C., Ergeç R. Tilbeshar 1998 // Anatolia Antiqua. 1999. Vol. 7. P. 245–251.

Kepinski-Lecomte C. Tell Khoshi et l'urbanisation de la Djezireh au IIIe millénaire // Breniquet C., Kepinski C. Etudes Mésopotamiennes. Recueil de textes offert a Jean-Louis Huot. P., 2001. P. 265–286.

Kepinski C. Mémoires d'Euphrate et d'Arabie, les tombes a tumulus, marqueurs territoriaux de communautés en voie de sédentarisation // Kepinski C., Lecomte O., Tenu A. Studia Euphratica. Le moyen Euphrate Iraquien révélé par les fouilles préventives de Haditha. (Travaux de la Maison René-Ginouvès 3). P., 2006. P. 87–128.

Kohl P. The Bronze Age civilization of Central Asia. Recent Soviet discoveries. NY., 1981.

Kohl P. et al. L'Asie Centrale des origines a l'âge du fer. P., 1984.

Kohl P. Central Asia and the Caucasus in the Bronze Age // Sasson J. Civilizations of the Ancient Near East II. NY., 1995. P. 1051–1066.

Kohl P. The Making of Bronze Age Eurasia. Cambridge, 2007.

Kuzucuoglu C., Marro C. Sociétés humaines et changement climatique a la fin du troisième millénaire : une crise a-t-elle eu lieu en Haute-Mésopotamie // Actes du Colloque de Lyon. 5–8 décembre 2005. P., 2007.

Laneri N. (Ed.) Performing death. Social analyses of funerary traditions in the Ancient Near East and Mediterranean. Chicago, 2007.

Masson V. M. Altyn-depe. Phil., 1988.

Matthiae P. Aux origines de la Syrie. Ebla retrouvée. P., 1996.

McClellan T. L. Tell Banat North: The Banat North: The White Monument // Lebeau M. (Ed.). About Subartu. Studies devoted to Upper Mesopotamia. Vol. 1: Landscape, Archaeology, Settlement (Subartu 4). Turnhout, 1998. P. 243–269.

Orthmann W. Halawa 1977–1979. Vorlaufiger Berichte über die 1 bis 3 Grabungskampagne. Bonn, 1981.

Parker Pearson M. The Archaeology of death and burial. Phoenix Mill, 1999.

Peltenburg E. The living and the ancestors: Early Bronze mortuary practices at Jerablus Tahtani. Pages 427–442 // G. del Olmo Lete, Montéro J.-L. (Eds). Archaeology of the Upper Syrian Euphrates, the Tishrin Dam Area. Proceedings of the International Symposium Held at Barcelona, Jan. 28th-30th 1998 (Aula Orientalis, Supplementa 15). Barcelone, 1999.

Porter A. The dynamics of death : Pastoralism and the origins of a third-millennium city in Syria // Bulletin of the American School of Oriental researches. Vol. 325. 2002. P. 1–36.

Sarianidi W. I. Margush. Ancient Oriental kingdom in the Old delta of the Murghab river. Ashgabat, 2002.

Sarianidi W. I. Margush. Mystery and truth of the great culture. Ashgabat, 2008.

Schwartz G. M. Status, ideology, and memory in third-millennium Syria: "Royal" tombs at Umm el-Marra // Laneri N. (Ed.). Performing death. Social analyses of funerary traditions in the Ancient Near East and Mediterranean. Chicago, 2007. P. 39–68

Strommenger E., Kohlmeyer. Tall Bi'a/Tuttul III. Die Schichten des 3. Jahrtausends v. Chr. // Zentralhügel E. Saarbrücken, 2000.

Tainter J. The Collapse of Complex Societies. Cambridge, 1987.

Tosi M., Lamberg-Karlovsky C. C. Pathways across Eurasia // Aruz J. (Ed.) Art of the first cities: the third millennium B. C. from the Mediterranean to the Indus. N.Y. The Metropolitan Museum of Art. New Haven, L., 2003. P. 347–354.

Valdus-Pereiro C. Tell Qara Quzaq: a summary of the first results // G. Del Olmo Lete, J.-L. Monero Fenollos (Eds). Archaeology of the Upper Syrian Euphrates. The Tishrin Dam Area. Proceedings of the International Symposium Held at Barcelona. Jan. 28th-30th 1998 (Aula Orientalis, Suppl. 15). Barcelona, 1999. P. 117–127

Zettler R. L. (Ed.) Subsistence and settlement in a marginal environment: Tell es-Sweyhat, 1989–1995 preliminary report (MASCA Research Papers in Science and Archaeology 14). Phil., 1997.

П. М. Кожин

НОВЫЙ ЭТАП ПЕРВОБЫТНОЙ И РАННЕИСТОРИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Виктор Иванович Сарианиди не дает возможности своим коллегам в промежутках между его юбилеями подвести итоги его непрерывному подвижническому творчеству. Вот и сейчас вместо того, чтобы подводить эти итоги, приходится говорить о новых направлениях исследований, которые сформировались в работах Сарианиди на Гонур Депе за прошедшие пять лет. Конечно, есть какие-то общие выводы, которые можно делать из этого многогранного и мощного творчества, и основной такой вывод заключается в том, что полевые исследования в степном и пустынном регионах Азии далеко не исчерпали себя. Уже само по себе открытие Гонур Депе, его своеобразной культуры, связанной разнообразными узами родства со многими культурными проявлениями центральноазиатских и западноазиатских популяций, показывает, что изучение археологии и древней истории этих регионов находятся еще в процессе становления.

Итак, чем ознаменовались эти пять последних лет[1] в исследованиях Гонура: открытие так называемого «царского некрополя», подтверждение незыблемых связей местной

[1] Чтобы не прибегать к многократному цитированию, противоречащему выбранному для данного очерка жанру повествования, я сообщаю, что большинство приведенных здесь фактических данных восходят к многочисленным монографиям В. И. Сарианиди, а также нашли отражение в изданиях «Трудов Маргианской экспедиции» (М., Т. 1, 2004; Т. 2, 2008). Кроме того, многие данные сообщены мне лично проф. В. И. Сарианиди и д.и.н. Н. А. Дубовой, которым я приношу глубокую искреннюю благодарность.

популяции с отдаленными цивилизационными центрами, находящимися к югу, востоку и западу от данной территории, более полное обоснование северных связей региона, в которых сам Гонур должен был занимать промежуточную позицию, становясь передатчиком культурных знаний и достижений от южных стран к северным обитателям лесных и горных регионов. Я не касаюсь здесь уже ставшей привычной постановки проблемы о цивилизации, ранних городах, религиозных исканиях населения, воплотившихся в протозороастризме, но хочу напомнить, что остро актуальным остается вопрос о том языке (или языках), на которых происходило общение в ареале Гонур Депе во второй половине III и в первой половине II тыс. до н. э. Проще всего ставить этот вопрос, учитывая некоторые категории материальной культуры, которые оказались массовыми, датирующими, определяющими этническую специфику населения. Характерно, что своеобразные виды изделий указывают на различную языковую и этническую среду.

Стоит начать с недавно открытой на Гонуре шахматно-шашечной настольной игры. Ее первые образцы зафиксированы в Уре, в среде населения, определенно говорившего на шумерском языке (может быть на какой-то из его разновидностей). Однако, когда игра выявилась в могиле 731 могильника Шахр-и-Сохта (Систан, юго-восточный Иран), а затем дериваты ее были зафиксированы на значительных территориях Восточного Средиземноморья, и какой-то из них был характерен для Египта Нового царства, стало ясно, что тут не приходится говорить о распространении этой игры в гомогенной языковой среде. Даже случай ее позднейшего сохранения в Месопотамии указывает, что сеансы этой игры могла сопровождать помимо шумерийской, также и семитская речь. При переходе в Иран можно подозревать употребление индоевропейского языка (не следует при этом забывать еще и о наличии эламского языка) населением, для которого, по-видимому, эта игра уже стала не инструментом гадательной практики, а формой развлечения. Шумерско-сиропалестинские связи, скорее всего, на том хронологическом уровне, когда в этом большом регионе уже господствовали семитские языки, подтверждаются находками составных статуэток в облачении, напоминающем шумерийские одежды, а также печати с раннесемитской надписью, имеющей отношение к какому-то из царских хозяйств Месопотамии. Конечно сами по себе находки отдельных вещей, связанных с определенной языковой средой, вдали от места их производства не обязательно являются свидетельством того, что эти вещи сопровождали носителей соответствующей речи в гонурский оазис. Здесь следует, очевидно, поставив вопрос, немного подождать очередных открытий В. И. Сарианиди. Пока можно констатировать, что в ареале Гонура могли быть представлены в разных пропорциях языки разных языковых семей подобно тому, как это имело место в западных аккадских, ассирийских и других факториях и колониях. Датировки, которые определены для Гонура, не противоречат такой возможности.

Теперь относительно сфер производственной деятельности, которые в Гонуре либо продолжали развиваться на основе прежде существовавших местных производств, либо деформировались под влиянием пришельцев, либо полностью заменялись новыми производственными структурами. Так, значительные преобразования претерпела керамическая продукция, производившаяся в ареале Гонура. Применение гончарного круга имело обширный спектр последствий, трансформировавших всю эту производственную сферу. Явное повышение значения металлических изделий позволяет оценивать сам по себе процесс металлообрабатывающего производства в рамках как самого ремесла, так и культуры в целом. Уже в энеолитических памятниках распространились стандартные металлические слитки, из которых затем либо путем кузнечной переработки, либо новых отливок изготовлялись бытовые и хозяйственные изделия. Больше всего данных полу-

чено об изготовлении и использовании украшений. Наиболее характерные украшения, часто встречающиеся даже в ограбленных объектах памятника (или очищенных при оставлении его) – это пуговицы-печати и различного вида булавки. Пуговицы-печати интересны, в частности, тем, что техника их изготовления является как бы подготовкой к использованию в производстве различного рода эмалей, которыми, возможно, заполнялись все вогнутые поверхности одной из сторон таких печатей. Прогнозировать такой путь развития этого производства позволяет широкое применение различного рода инкрустаций, которое в регионе проявляется с I тыс. до н. э. и особенно распространяется в раннем средневековье. В связи с булавками требуются еще металлографические исследования, определяющие технику изготовления как стержня (для его изготовления вместе с завершающим кронштейном, по-видимому, использовали целый стандартный столбчатый слиток) булавки, так и ее навершия.

Булавки, уже с палеолита, широко используются для закрепления прически, но еще важнее их применение в качестве застежек. Во многих районах Евразии их применение предшествует использованию пряжек и пуговиц для застегивания одежд и ремней, скрепления полотнищ ткани. В традиционном Китае булавки до нового времени сохраняли эти функции. Навершие обычно украшалось какой-нибудь достаточно реалистичной фигурой, а иногда даже и целой сценой, состоящей из ряда напаянных на кронштейн фигурок. Такого рода искусство, сочетающее какую-то платформу, на которой в определенном порядке из напаянных на платформу скульптурок воспроизводится некая сцена, оказалось очень типично для многих регионов Сибири, Центральной и Восточной Азии. Не говоря уже о том, что южно-китайские царства I тыс. до н. э. изготовляли такого рода скульптурные сюжетные сцены в массовом количестве. Их часто воспроизводили на различного рода жертвенниках, жертвенных столиках кочевники среднеазиатского региона в I тыс. до н. э. Можно подозревать в этом искусстве прямую генетическую связь со скифо-сакским творчеством и произведениями «соседей» скифских племен (очень трудно отделить генетические корни собственно скифского искусства от большого набора подражательных изображений, распространившихся среди местного населения иного генезиса. Это типично для Кавказа, поволжско-прикамских областей и ряда других евразийских ареалов).

Само по себе распространение в регионе достаточно стандартных и по форме и по весовым показателям металлических слитков является признаком высокого развития торгово-обменных операций. К сожалению, среднеазиатские многочисленные уже теперь копи полиметаллов, полудрагоценных и поделочных камней сравнительно мало изучались с позиций их использования в глубокой древности. Пока затруднительно судить из каких именно древних рудников добывался металл, из которого изготовлялись эти стандартные слитки. Это обстоятельство, также как и уникальные находки В. И. Сарианиди, являются прямым указанием на то, что далеко не все формы культуры, распространенной в прошлом в регионах Центральной и Восточной Азии, обнаружены и изучены к настоящему времени. Это утверждение может быть развито на основе даже чисто теоретических соображений. В мощном степном, пустынном, горном регионе на Востоке Евразии представлено большое количество культур и памятников, отражающих весьма высокий уровень технических и культурных достижений, и очень редко в сферу наших исследований попадают соответствующие материалы, в которых можно видеть предковые формы этих развитых культур, свидетельства их постепенного развития, сложения и распространения. То есть с уверенностью можно говорить о том, что новые уникальные открытия не просто возможны, но и неизбежны. Причем это касается не только территории Средней Азии, но

и территории всего Ближнего и Среднего Востока, где эффектные исследования, проводившиеся с середины XIX столетия, вызывали у исследователей обманчивое представление о том, что возможности для новых открытий здесь уже исчерпаны.

Вся сумма находок, сделанных В. Сарианиди на Гонуре, утверждает совершенно иную установку, а именно – археология далеко не исчерпала себя, и открытия новых древних царств, новых культур, новых следов становления производственной, хозяйственной, литературной, юридической деятельности, и, что особенно важно, неизвестных доныне форм древнего искусства, – еще предстоят. Указания на эту последнюю возможность ярко проявились в весеннем сезоне 2009 г., когда в царских могилах вновь обнаружилось большое количество стандартных деталей мозаичных панелей, украшавших стены погребальных помещений. Наличие этих материалов свидетельствует об огромной работе древних художников, не только разрабатывавших сюжеты и сцены для выполнения стандартных изделий прикладного искусства, но и создававших определенные закономерные модели смысловых композиций, отражавшие какие-то пока не известные нам особенности духовной культуры древности. Новые находки на Гонуре мозаичных панно,[1] не уступающих по разнообразию и качеству исполнения синхронным ближневосточным находкам, позволяют по иному смотреть на историю искусства Древнего мира, видеть в нем не только локальные взлеты высокой художественной культуры, проявления различных творческих школ, но и признавать возможность уже в III тыс. до н. э. создания на огромной азиатской территории единого пространства, проницаемого для разнообразных инноваций духовной культуры. Это указывает на постепенное преодоление этнической замкнутости, переход от этнической истории к этнокультурной и политической истории, который стал одним из выдающихся достижений и знаменательных особенностей цивилизаций Древнего Востока.

В тоже время, работы в Мургабском оазисе показали всю эфемерность тех мощных цивилизаций, которые могли возникать буквально на пустом пространстве при наличии воды, ну и отчасти соответствующих почвенных условий, необходимых для выращивания зерновых культур, определявших пищевой рацион земледельческого населения. Культура могла расцветать очень пышно. Но упадок ее начинался с того момента, как ощущалось усыхание водных источников, и длительность этого усыхания определяла чаще всего и длительность упадка культуры. В мургабском гонурском оазисе это увядание культуры длилось около половины тысячелетия, что позволяет рассмотреть ситуацию не только изнутри, с точки зрения развития и упадка аграрных условий жизни, но и снаружи, в связи со взаимоотношениями земледельческого населения и населения окружающей пустыни, где уже активно кочевали скотоводы, в своих передвижениях охватывавшие пространства от среднеазиатских оазисов до верховий крупных сибирских рек и горных хребтов Урала, Алтая и Саян.

Этот большой ареал не был подвержен постоянному воздействию культур среднеазиатских земледельцев. Но наличие глубоких связей, проявлявшееся пусть не регулярно, все

[1] Создание художественной школы подразумевает отбор определенных сюжетов, выбор особой стилистики их исполнения, обусловленной набором технических приемов и применяемых рабочих инструментов, а также программными принципами, согласованными исполнителями с постоянными заказчиками (государством, элитой, коллегиями религиозных властей и т. д.). Эти положения распространяются на все виды художественной продукции – скульптуру, графику, живопись, прикладное искусство, «технический дизайн». Само же исполнение художественных произведений идет от уникальных образцов к созданию массовой стандартной продукции, чем обычно и удовлетворяются интересы заказчиков. Более высокий уровень стандартизации отражен в различного рода композициях, выполняемых из стандартных же деталей. Именно эта форма искусства представлена в наборных мозаичных панно.

равно сказывается на существующем археологическом материале. Достаточно привести такой характерный пример. На Гонуре и в Алтын Депе встречены палочки из слоновой кости с довольно сложным абстрактным геометрическим орнаментом (*Sarianidis*, 2008, p. 303, fig. 41; *Массон*, 1981, таб. XIX, *2*). В афанасьевских могилах на Енисее были встречены аналогичные пластинки из кости (*Киселев*, 1951, с. 31, табл. III, *1*; с. 41, табл. VI, *8.4*), с подобным орнаментом, но выполненные несколько более грубо, чем среднеазиатские прототипы. К тому же, материалом здесь служила кость, а не слоновый бивень. Я уже указывал на весьма возможные взаимосвязи составных статуэток бактрийско-маргианского комплекса с миниатюрными стеатитовыми головками из захоронений окуневской культуры. Не приходится забывать и о находках серебра в окуневских могильниках, что необычно для сибирских культур. В свое время С. В. Киселев фиксировал среднеазиатские связи афанасьевской культуры, указывая на свои находки, сделанные в могильнике Тесь (1928 г.), где на одном из сосудов из могилы 14 были нанесены белой краской вертикальные «лесенки» (*Киселев*, 1951, с. 31, табл. III, *28*). К сожалению, за годы хранения этот сосуд подвергся чистке жесткой проволочной щеткой и поверхностный слой на нем был полностью стерт. Теперь исчезнувший аргумент сменился целым рядом других, даже более убедительных. Так, среднеазиатско-окуневские связи стали выявляться еще и по различного рода раскрашенным графическим изображениям, обнаруженным на могильных плитах окуневских захоронений, где встречаются личины с длинными пышными волосами. Такие личины выполнялись и на маленьких костяных плакетках, обнаруживавшихся в могилах и на наскальных изображениях. То есть среднеазиатско-сибирские связи в этом достаточно удаленном от центров алтае-саянском ареале постепенно проявляются все более показательно. В то же время в поздних гонурских слоях, относящихся очевидно ко времени середины II тыс. до н. э., начинают появляться находки степной керамики, оставленной культурами кочевых скотоводов.[1] При этом очевидно, что самобытно или под влиянием среднеазиатского очага в этих культурах распространяются какие-то формы земледелия (такие культуры, как андроновская, карасукская). Надо сказать, что, рассматривая восточный ареал андроновской и хакасско-минусинский ареал карасукской культур, приходится констатировать очень большую численность оставленных ими погребальных памятников. Число их настолько велико, что даже при распределении их на значительный хронологический период вряд ли возможно было прокормить соответствующие объемы кочевого населения без дополнительного производства аграрной и, прежде всего, зерновой продукции.

Вопрос о связях земледельческих и скотоводческих культур касается и более западных ареалов андроновской общности, где, в частности, в поселении Павловка определенно уже представлены комплексы гончарной посуды, восходящей по всем своим формальным показателям к культурам среднеазиатского круга. Далее какие-то переклички намечаются между памятниками среднего течения реки Урал и районов юга Челябинской области (зона распространения так называемой синташтинско-аркаимской культуры) все с теми же среднеазиатскими памятниками. Здесь характерным оказались звездчатые укра-

[1] С. В. Киселев на карте памятников андроновской культуры (1951, с. 69, карта VII) выделил закаспийские «андроновские» памятники специальной штриховкой, подчеркивая их отличие от материалов основного андроновского ареала. После выделения особой тазабагъябской культуры и южно-казахстанского андроновского варианта типа Тау-Тары, вопрос о присутствии собственно андроновских групп в Закаспии требует серьезного пересмотра. Во всяком случае, кочевническая керамика, встреченная в поздних гонурских слоях, настолько своеобразна, что ее следует относить к особому варианту, который целесообразно классифицировать как разновидность андроноидной культуры (*Кожин*, 1991, с. 64–68).

шения, выполненные из какой-то стекловидной пасты, общие для северных памятников и для могильников зеравшанского ареала.[1]

Подводя итоги достижениям последнего пятилетнего периода, следует отметить, что представление об окружающем Гонур пространстве, как о территории какого-то крупного политического образования, подтверждается. Но до сих пор не удается ясно установить границы этого образования. Очевидно, что с юго-запада его могли замыкать памятники Намазга и Алтын-тепе, где соответствующие слои представлены достаточно мощно. Значительная часть русла Мургаба не просто входила в территорию этого политического образования, но и могла служить той самой дорогой, по которой данный цивилизационный поток распространился в дельту Мургаба, завершившись мощной стабилизацией в ней. Пока соотношение Келлели и Гонура – это случай безупречной пространственной стратиграфии. Все остальные данные касаются лишь стратиграфических колонок отдельных памятников, и на каждом из них необходимо независимо решать вопрос о месте того или иного слоя в общей стратиграфической шкале развития маргианского бронзового века. Регион Маргианы и окружающие его территории сравнительно бедны какими бы то ни было сырьевыми запасами, если только мы не рассматриваем районы предгорий и главное – районы выходов различного рода металлических руд. Недаром именно здесь так четко сложилась система изготовления стандартных слитков металла, служивших, как и во многих других горно-пустынных областях, эквивалентами для организованного обмена, который постоянство тарифных соотношений, приближало к регулярной доисторической торговле. Затруднительно сказать на сегодняшний день, какие именно виды природных запасов привлекли на этот далекий север не только торговцев, устраивавших здесь фактории, но и значительный социально-политический контингент, обеспечивший создание в этом районе организованного иерархизированного, четко разработанного государственного единства. Эти проблемы предстоит еще решать. Но несомненно, что именно в этой области в чистом виде можно получить материалы более полно и всесторонне характеризующие жизнь древневосточных государств и общин. Именно потому, что здесь цивилизация и государство эпохи бронзы сложились и погибли однократно, что здесь не сталкивались противоборствующие политические силы, неоднократно менявшие и этническую, и политическую ориентацию властных структур. Государство начиналось с расцвета, за которым последовало медленное угасание. Но все это происходило в относительно устойчивой демографической среде, когда в основе популяции оказывалась достаточно гомогенная человеческая группировка, на которую могли накладываться сравнительно мощные пришлые элитные образования, не преобразовывавшие ее, но переориентирующие некоторые стороны ее бытовой, технической, производственной, социальной культуры, оказывающие также деформирующее воздействие на словарь лексики в тех областях культуры, где пришельцы вынуждены были плотно контактировать с местным населением. Говорить об элитных группах, подразумевая именно пришлое население, вполне естественно, ибо только наличие каких-то преимуществ в военной силе, структуре, хозяйстве или экономике давало пришельцам возможность утвердиться и доминировать в чужой для них среде. Размывание пришлой популяции, частичное или полное ее растворение в изначальной «туземной» среде, требовало либо длительного срока, связанного со сменой многих поколений, либо возвращением «туземному» политической власти над ареалом или даже регионом. По мере расширения археологических исследова-

[1] Могильник Бустан 6, могила 126 (*Avanesova*, 1997, s. 150, abb. 2,2; *Ткачев*, 2007, с. 32, рис. 11, 40, 41).

ний все меньшее значение можно придавать всякого рода «романтическим» заключениям о полной смене населения при завоевательных походах, осуществлявшихся в уже издавна основательно заселенных местностях.

Находки в «царских могилах» останков колесниц позволяют обсуждать две, связанные с ними проблемы. Первая – это конструкция колес, а точнее оформление этих колес бронзовыми шинами. Такого рода шины обнаруживаются в Эламе, среди населения, о языковой принадлежности которого пока трудно судить. Хотя наличие здесь каких-то индоевропейских ассоциаций исключить нельзя. Но другой очень важный момент, а именно, вероятнее всего оглобельный способ запряжки и использование в ней верблюда делает гонурские колесницы одним из характерных показателей местной маргиано-бактрийской культуры. Именно эта особенность была отмечена Геродотом (*Herod*., III, 102), а сделанные в комплексе могилы 3200 находки (до гонурских находок были известны лишь глиняные модели верблюжьих повозок) позволяют объединить данные письменных памятников с археологическим материалом, утверждая практическую незыблемость двухтысячелетней местной исторической традиции.

Уже давно, еще при работах в подгорной полосе на энеолитических памятниках анауской культуры, начали проявляться отдельные связи с Индией, и в частности, с хараппской культурой. Об этом говорили находки изделий из слоновой кости и различные виды каменных печатей. Теперь это направление связей гонурского населения безупречно подтверждено находкой характерной печати с профильным изображением слона и типичной хараппской надписью. Хотя хараппской письменности уже в течение многих лет уделяется очень большое внимание, существующие доныне ее трактовки и попытки привязки кратких хараппских надписей к древним формам каких-то современных языков, по-прежнему остаются достаточно далекими от объективности. Можно лишь говорить, что хараппские связи ввели в проблему гонурской популяции еще какую-то демографическую составляющую, пользовавшуюся каким-то особым наречием. Находки в «царских могилах» в 2009 г. крупных металлических котлов, тоже, по-видимому, указывают на связи с индийской культурой «медных кладов», относящейся к первой половине II тыс. до н. э.[1] Среди индийских находок обнаружен сосуд с полушарной нижней частью, завершающейся сверху острыми плечиками, переходящими в сужающуюся воронку горловины, снабженную отогнутым наружу венчиком (см. ст. Сарианиди, Дубовой в этом издании). Сходство форм индийского и гонурских образцов очень выразительно. В индийской керамике соответствующего времени сходные формы встречаются.

Раскопки большой группы могил, расположенной к юго-востоку от городища Северного Гонура, удачно обозначенной исследователем, как «царские могилы», выявили совершенно особые конструкции могильного оформления (ограды и дворики при могилах, использование мозаичных панно для украшения стен погребального помещения, специфические образы хищников, явно не связанных с местной фауной), большое число изделий из металла, часто необычных для стандартной гонурской продукции форм. Все это наводит на мысль о том, что погребенные здесь люди вне зависимости от того, принадлежали ли они к правящей группе или к верхушке гонурского общества в период затухания оазиса как торгового передаточного пункта на пути в северные страны, являлись членами какой-то большой группы, связанной с организацией торгово-обменных операций и поддержанием караванной торговли. Если это предположение правильно, то в Гонур Депе мы видим стандартное развитие ситуации, связанной с освоением политического простран-

[1] *Агравала*, 1984, с. 97–101; История Древнего Востока, 2004, с. 96, 105 (рис. 12), 106.

ства того же порядка, которое мы имеем в районах Восточного Средиземноморья и Малой Азии, где возникали в туземных городах крупные кварталы месопотамских торговцев, а также отдельные центры переселенцев, напоминавшие либо торговые фактории, либо более поздние колонии греческого античного мира.

Раскопки комплекса Гонура, предпринятые В. И. Сарианиди в 1990-х гг. и продолжающиеся поныне, буквально преобразили всю картину развития культур эпохи бронзы на территориях исторических Маргианы и Бактрии. Здесь проявились новации, вызванные дальними миграциями значительных масс населения, развилась комплексная межэтническая культура, обеспечившая на местах образование новых поселенческих и политических группировок, создание дорожной сети, облегчающей регулярные торгово-обменные операции между Средней Азией, Северной Индией, Ирано-Месопотамскими популяциями, населением Восточного Средиземноморья и южных склонов Кавказского хребта. Все эти проблемы необходимо обсуждать в комплексе, так как они обрушились на древний среднеазиатский мир вместе с потоком нового заселения. При этом нельзя отрицать, что предшествующая местная популяция также оказала значительное воздействие на становление и оформление нового центра городской культуры, непосредственно связанного с исторической Маргианой.

Своими работами, посвященными вновь исследованным комплексам Гонур Депе, В. И. Сарианиди определил общие параметры проблематики, которая может быть поставлена в связи с этими материалами и разрешена с их помощью. Эти проблемы касаются, в первую очередь, историко-культурной ситуации в данном регионе и изменения ее в период существования гонурских поселений. Так уж сложилась исследовательская процедура, что одними из первых моментов, которые решались на этом материале, оказались проблема языковой и религиозной принадлежности населения, оставившего эти новые для среднеазиатской территории виды памятников. Впрочем, их нельзя назвать абсолютно новыми. Некие подобия памятников с регулярной планировкой определенно связаны с первоначальным проектированием будущих поселений, были уже выявлены как в поздних слоях южно-туркменских теллей, так и на территории Узбекистана, Таджикистана. Однако памятников такого масштаба, как Гонур Депе, до недавнего времени среднеазиатская археология не знала. Регулярная застройка с предшествующей ей планировкой монументальных поселений, говорит о высоком уровне общественной культуры, достигнутом местными жителями. Но, это не просто развитие местной популяции непосредственно от первобытно-общинного до классового общества. На местной основе с участием значительных пришлых компонентов создается своеобразная и высокая вторичная цивилизация. Это далеко не та форма цивилизации, которая сложилась в окружающих Среднюю Азию областях. Это явление весьма самобытное. По-видимому, необходимо более отчетливо определить те общие и особенные черты, которые присущи данной форме человеческой организации. Однако, это довольно трудно сделать, учитывая, что среднеазиатская маргианская цивилизация сложилась, развивалась и умирала в условиях резко нестабильной природной среды. Первое условие, которое требуется для жизни в низких широтах, это наличие достаточно мощных водных потоков. Вода же в мургабской дельте стала исчезать. Мургабский оазис пережил в бронзовом веке несколько последовательных фаз угасания жизни. Однако этот процесс угасания, начавшийся, по всей видимости, достаточно рано, не сразу стал сопровождаться упадком культуры. Этот упадок стал проявляться в середине II тыс. до н. э., когда население вынуждено было резко сократить объемы аграрного обеспечения. А дальше на месте прогрессивной городской цивилизации постепенно формируется аграрная полоса мелких поселений, на которые из сухой

степи начинает наступать скотоводческая популяция с ее устойчивыми традиционными и достаточно упрощенными формами жизнедеятельности. Причем эта популяция на пограничных землях начинает приобретать специфический качественный облик. Первоначально возникающие контакты, как показывают этнологические исследования, обретают со стороны кочевого населения паразитический характер, но длительное регулярное общение скотоводов с земледельцами может приводить к устойчивому симбиозу, длящемуся обычно до тех пор, пока одна стабильная этнополитическая группировка кочевников не сменяется другой. Тогда процесс становления взаимоотношений повторяется вновь в неизменном порядке.

Тесная связь гонурской цивилизации с основными регионами древневосточного мира, включенность ее в систему регулярных экономических, политических и духовных связей (по всей видимости, также и языковых) древневосточных государств позволяет ставить вопрос о том, что эта территория уже в середине III тыс. до н. э. являлась непосредственной частью исторического пространства Древнего Востока, несмотря даже на то, что каких-то местных письменных источников здесь пока не обнаружено.[1]

Литература

Агравала Р. К. Медные клады из Раджастана, Харьяны и Уттар- Прадеша – исследование взаимосвязей // Древние культуры Средней Азии и Индии. Л., 1984.

История Древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй. М., 2004.

Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.

Кожин П. М. О последовательности формирования и периодизации андроновской культурной общности // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. ТДК. Барнаул, 1991, С. 64–68.

Массон В. М. Алтын-депе. Л., 1981.

Ткачев В. В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе, 2007.

Avanesova N. A. Spaetbronzezeitliche Kulturkontakte in der baktrischen Flussoase nach den Befunden der Nekropole Bustan 6 // AMIT. Berlin, 1997. Bd. 29.

Sarianidis V. I. Zoroastrianism: A New motherland for an old religion. Thessaloniki, 2008.

[1] Издатель 3-его тома «Истории Древнего Востока» (М., 2004, Глава 12, с. 698–813) А. В. Седов отважился включить Среднюю Азию в качестве самостоятельного компонента древневосточной истории, начиная со времени Ахеменидов, но открытия В. И. Сарианиди делают правомерным перенос этой исторической вехи в бронзовый век.

РАЗДЕЛ 2

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Сариниди В. И., Дубова Н. А.

НОВЫЕ ГРОБНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦАРСКОГО НЕКРОПОЛЯ ГОНУРА (Предварительное сообщение)

Во время весеннего полевого сезона 2009 г. Маргианская археологическая экспедиция проводила уточняющие раскопки на разных объектах Северного Гонура. Результатом продолжительных сильных дождей явилось размывание в нескольких местах такырной корки, что позволило выявить новый практически круглый в плане котлован (5,8 × 4,9 м) в непосредственной близости от гробницы 3220 (*Сариниди*, 2004, 2005, 2006, 2007; Дубова, 2004) к западу от нее (рис. 1). Эта могила получила порядковый номер 3900.[1]

На глубине 25 см от древней дневной поверхности с восточной стороны котлована было обнаружена голова крупной собаки (дно могильной ямы находится на глубине 60 см от уровня древней дневной поверхности). Собака была уложена в могилу не совсем обычным способом: ее задние и передние ноги близко соединены (что свидетельствует о том, что, скорее всего, они были связаны), позвоночник неестественно изогнут (таким образом, что говорит о том, что сразу после помещения собаки в выкопанную яму, она была закопана), хвост, по всей видимости, отрублен или отрезан (хвостовые позвонки полностью отсутствуют, следов отсечения на крестце нет), а на лобной кости имеется крестообразная травма, нанесенная тяжелым острым предметом (возможно, какой-то формой топорика(?), скорее всего и явившаяся причиной смерти).

На той же глубине в северо-западной части котлована прослежено круглое пятно от кострища (диам. 1,5 м): в основном чернозольное, есть небольшие включения красно-обожженной земли. Глубина пятна – от 10 до 15 см. В самом центре котлована (на площади не более 1,5–2 м^2), начиная с этой же глубины, в заполнении (на всей глубине) встречаются небольшие фрагменты сырцовых кирпичей, лежащие в полном беспорядке.

Заполнение котлована – чистый песок без каких-либо включений. Все пробы, бравшиеся на разной глубине не выявили никаких (даже мельчайших) включений семян, фрагментов растений, углей и проч. По мнению палеоботаника Л. В. Сатаевой, принимавшей участие в работах экспедиции в этом сезоне, это, скорее всего, свидетельствует о том, что котлован был вырыт в самый ранний период обживания памятника, т. к. в противном случае, в грунт неизбежно должны были бы попасть какие-либо растительные фрагменты или же следы антропогенного воздействия на данный участок территории.[2] Напомним также, что группа гробниц, получившая название «царский некрополь», располагается

[1] Как и в предыдущие сезоны работ, на Гонуре применяется сквозная нумерация погребений.

[2] Работы по изучению артефактов и другого материала, обнаруженных во время раскопок, ведутся в рамках проекта РФФИ № 07-06-00062а.

на восточном берегу большого южного бассейна, а материк в этой части памятника представляет собой чистый песок.

На глубине 125 см от древней дневной поверхности около северной стенки котлована был обнаружен керамический сосуд среднего размера, лежащий на боку (рис. 2: *1*). В непосредственной близости от него к югу также лежащим на боку найден крупный (86 см длиной) бронзовый сосуд оригинальной формы: на плоской бронзовой подставке диаметром 40 см, имеющей прямые стенки, были закреплены семь шаровидных емкостей, соединенных одна с другой сквозным отверстием (рис. 3 – см. цветную вклейку; 4). Диаметр «шаров» постепенно увеличивался. К подставке прикреплен сосуд самого маленького диаметра (10 см); седьмой (верхний) «шар» имеет диаметр 20 см. Диаметр его горлышка – 9 см. Внутрь первой снизу шаровидной емкости для укрепления основания конструкции вставлен бронзовый штырь (диам. 0,5 см), пронизывающий ее нижнюю часть насквозь. Сосудов подобной формы в литературе по эпохе бронзы не было до сих пор известно. Довольно близкую форму имеет одна подставка, на которой укреплен символ власти езидов – медная фигурка павлина (*санджака* или *тауса*) (Святой Лалыш, 2008. С. 11) (рис. 5). Внутри всех семи «шаров» из погр. 3900 обнаружены остатки и сохранившиеся на грунте следы длинных прямых растений, помещенных в сосуд по всей длине. Стебли его имеют диам. около 5 мм, внутри полые. Возможная видовая принадлежность растений изучается Л. В. Сатаевой.

На той же глубине ближе к центру котлована и в 1 м к югу-юго-западу от этого сосуда обнаружен очень крупный бронзовый сосуд (котел) также не встречавшейся ранее на Гонуре и др. памятниках Средней Азии эпохи бронзы формы. Он – круглодонный, наибольший диаметр составляет 100 см, высота его – 91 см. Широкое горло (диам. 60 см) отделяется от тулова узкой частью, плечики сосуда идут горизонтально и, резко преломляясь, образую шаровидное тулово (рис. 6, 7). Боковые стенки сосуда имеют следы черной копоти, что говорит о разогревании его на открытом огне. Можно предположить, что, поскольку котел имел очень крупные размеры, поднять его с наполнением было весьма трудно. По всей видимости, использовавшиеся тогда методы изготовления ручек сосудов, особенно их креплений, вряд ли могли выдержать столь большой вес. По мнению Л. В. Сатаевой, высказанному устно, имеющиеся на тулове котла черные следы вполне могут быть остатками кожаного мешка или чехла, в который сосуд помещался для переноски. Подобного размера сосуды ранее не было обнаружены ни на одном из известных синхронных или близких по времени памятников, ни в данном регионе, ни в близлежащих. Поскольку весьма сходный по форме сосуд был найден еще в одном погребении (см. далее), на аналогиях им имеет смысл остановится позже.

Непосредственно под котлом лежит сломанный на три фрагмента посох из серого камня, который имеет внизу завершение в виде копыта. Длина одного фрагмента, расположенного ближе к скелету собаки – 51 см, его диаметр – 5 см; конец, расположенный ближе к колесу, имеет длину 57 см и диаметр 7 см; третий, средний фрагмент измерить невозможно. С восточной стороны от котла находится еще один керамический сосуд с грубым т. наз. пальчиковым орнаментом, сделанным красной краской (рис. 2: *2*), лежащий на боку. На нем находятся нижние конечности человека, туловище которого, голова и верхние конечности находятся также под котлом (см. рис. 3 на цветной вклейке).

Центральное место на полу котлована (глубина от 2,5 до 2,5 м) занимает четырехколесная повозка. Только одно ее колесо (№ 1 или юго-западное; его ось расположена в 160 см от южной стенки котлована) стоит вертикально (рис. 8). Остальные колеса расположены в разных частях котлована (рис. 9). Ось колеса № 2 (юго-восточного) расположена в 104 см от № 1. Между осями колес № 2 и № 3 (северо-восточное) – 135 см. Колесо (№ 4) лежит плашмя на дне котлована, в его северо-западном углу.

Все четыре колеса имеют одинаковый диаметр – 100 см. Устройство колес точно такое же, как и ранее нами было описано в погр. 3225 и 3240 (*Дубова*, 2004. С. 277–279): три массивные деревянные плахи, имеющие в центре толщину не менее 10 см и сужающихся до 5 см к краям. Две крайние плахи имеют форму полукруга, а центральная – прямоугольная с двумя слегка закругленными краями. Плахи сделаны из лиственной породы деревьев (по определению М. Тенгберг – ивы: *Тенгберг*, 2008) и соединены между собой заподлицо. В погр. 3900 ни на одном из колес не прослеживается следов двух тонких крепежных реек, размещенных поперек всех трех плах выше и ниже ступицы. Это не может однозначно свидетельствовать об их отсутствии, т.к. от дерева сохранились лишь следы и, скорее всего, не на всю его толщину (толщина колеса восстанавливается по сравнительным измерениям всех колес).

Все колеса имеют хорошо сохранившиеся бронзовые ободья, ширина которых 5 см (абсолютно идентична колесам из погр. 3200, 3225, 3240 – *Дубова*, 2004, с. 278), а длина 52 см. Обод каждого колеса состоит из шести фрагментов, каждый с тремя «ушками» (длина 10,5–11 см), закрепленных на массиве колес толстыми бронзовыми заклепками (диаметр шляпки 20 мм), толщина «гвоздя» 10–11 мм.

Колеса 2 и 3, расколоты таким образом, что их массивы развалились на несколько крупных фрагментов. Практически каждый элемент обода лежит отдельно на «своем» куске дерева. Некоторые фрагменты этих колес находятся ниже уровня песчаного пола на 10–15 см.

Стоящее вертикально колесо № 1 однозначно свидетельствует, что ступица была двусторонняя (рис. 10). Она – деревянная и имеет наружный диаметр 20 см, а толщину выступающей части 3,5 см. Внутренний диаметр равен 18 см. Диаметр внутреннего отверстия – 7 см, что также совпадает с данными колес из погр. 3225 (*Дубова*, 2004, с. 278). Втулка выступает над сохранившимися следами плоскости колеса на 5 см с обеих сторон. Также как и в погр. 3225, остов ступицы сохранил ход волокон по окружности дерева, из которого она была сделана, а также небольшие выступы (сохранность следов – очень плохая) с двух ее сторон (шириной 4 и длиной 3 см) для крепления внутри центральной плахи колеса.

Между передними (№ 3, 4) и задними (№ 1, 2) колесами сохранились следы от сидения (рис. 11). Прослеживается 5 досок, положенные вдоль повозки (от передней оси к задней). Каждая из трех досок, уложенных в середине, имеют в ширину 20,5 см, а крайние – по 11 см. Т. о. общая ширина реконструируется в 83,5–84 см. Сохранившая длина следов досок – 40 см. Между передней и задними «осями» (точнее местом их возможного расположения) – 115 см. В отличие от сидения повозки из погр. 3200, в данной могиле можно говорить о том, что сиденье располагалось на всем протяжении повозки (от передней до задней осени), т. к. между колесами 1 и 2 также прослежены следы таких же досок, как и между колесами 3 и 4. Но сохранность этой части сиденья намного хуже: прослеживается не более 15 см по длине (рис. 11). На расстоянии 20 см от северного края сиденья (передняя часть) можно проследить плохо сохранившийся след от поперечной рейки, врезанной в массив продольных досок (ширина 3 см) и придающих жесткость всей конструкции. Передняя часть сиденья находится на 52 см выше задней в результате разрушения повозки. В центральной части котлована, на которую приходится полностью разрушенная часть сиденья, и на разных уровнях в заполнении, и на полу ямы встречались фрагменты сырцовых кирпичей.

Непосредственно от передней части сиденья начинается след деревянной округлой жерди (диам. 3 см, длина 132 см), которая заканчивается около северо-западной стенки котлована недалеко от черепа осла (см. далее). Фрагменты второй аналогичной жерди прослежены на длину всего 100 см и располагаются от колеса № 3 до скелета человека 7 (см. далее) над пос-

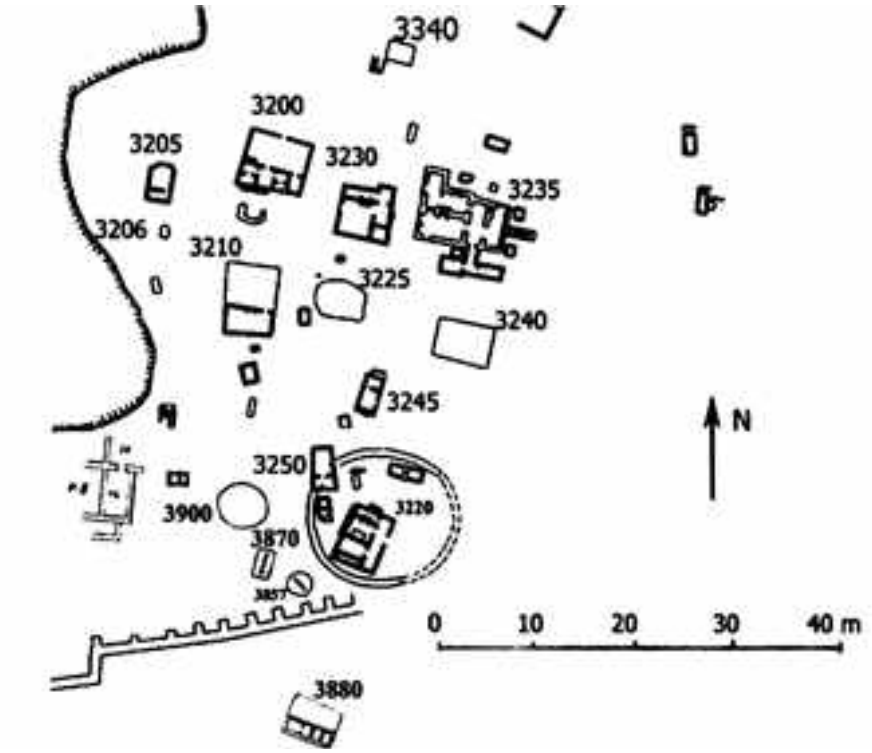


Рис. 1. Схема «царского некрополя» Гонура, с указанием местоположения новых погребений, раскопанных в 2009 г.

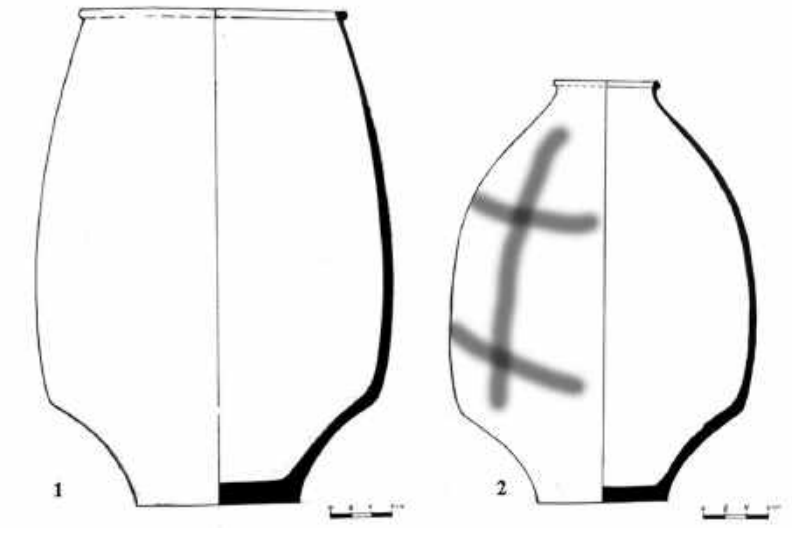


Рис. 2. Керамические сосуды из погр. 3900.

Рис. 4. Бронзовый сосуд, состоящий из семи шаровидных емкостей, из погр. 3900 в процессе расчистки.

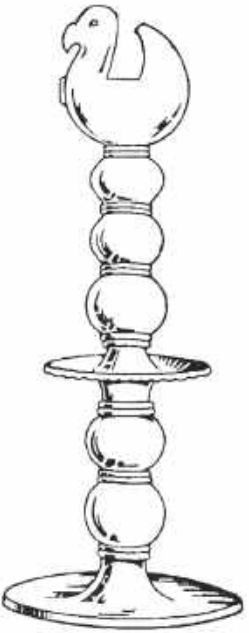


Рис. 5. Символ власти езидских общин – медное изображение павлина (санджак или таус) (по: Святой Лалыш, 2008, с. 11).

Рис. 6. Начало расчистки крупного бронзового котла в погр. 3900.

ледним, перекрывая скелет верблюда 2 (см. далее). Судя по размерам и расположению жердей, вполне вероятно, что это были оглобли повозки.

В целом обнаруженное средство передвижения может быть реконструировано так, как это представлено на рис. 12, 13. Как и при реконструкции 2004 г. (*Дубова*, 2004, с. 277–279), не имеется данных для восстановления рамы, на которой крепилось сидение. Не понятен пока и способ крепления оглобель. Поскольку никаких бронзовых предметов (и их следов), которые могли бы служить оснасткой конструкции, в погребении не обнаружено, можно предполагать, что использовались кожаные ремни.

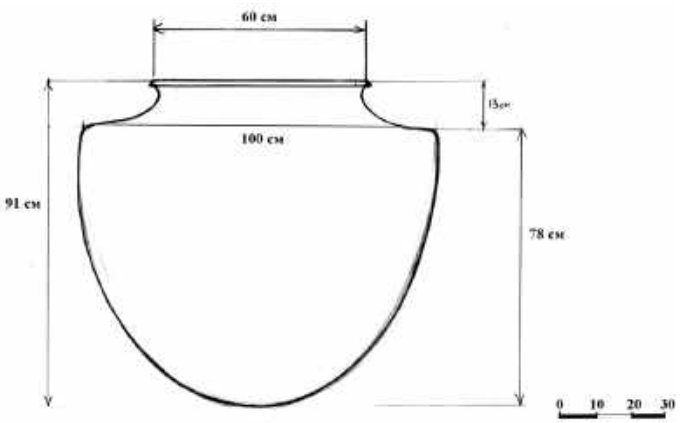


Рис. 7. Бронзовый котел из погр. 3900.

На полу могилы, в 40 см к западу от сосуда из семи шаровидных емкостей стоял бронзовый светильник на конической подставке, практически такой же, как был найден в погр. 3200 (рис. 14).

Колесо № 4 повозки и ее оглобли были перекрыты костяками людей и нескольких животных. Непосредственно на колесе на правом боку, головой на северо-запад (его голова расположена почти вертикально на стене котлована) лежит осел № 1[1]. Рядом с ним, чуть южнее осла 1, на левом боку, головой также на северо-запад (его голова расположена около западной стенки могилы) покоится осел № 2. Задние ноги осла № 1 лежат на шее верблюда № 2, уложенного почти на правый бок головой на запад у передней части сиденья повозки таким образом, что его передние ноги упираются в сиденье, а задние находятся рядом с колесом № 3. Передняя часть черепа верблюда № 2 упирается в ноги осла № 2. Верблюд № 1, видимо был сброшен с западного края котлована, т. к. он лежит на правом боку, головой на северо-восток так, что его шея и плечевой сустав находятся с запада у колеса № 1 повозки.

На полу котлована около его западной стенки рядом с тазом верблюда № 1 на левом боку головой на север лежит собака № 5. Ее голова находится под ногами собаки № 4, голова которой лежит на 20 см выше, чем плечо собаки № 5. Собака № 4 положена на левом боку головой на север. Ее костяк полностью перекрыт скелетом еще одной собаки (№ 3), лежащей уже на правом боку и головой на восток таким образом, что ее таз и задние ноги полностью закрывают останки собаки № 4. От последней, дабы не разрушать скелета наиболее высоко лежащей собаки № 3, возможно проследить оказалось только задние конечности и самую переднюю часть черепа. Голова собаки № 3 ниже ее задних ног на 30 см и находится на высоте 80–85 см выше уровня пола котлована.

У задних ног верблюда № 1 лежит бронзовая совковая лопата так, что ее часть, в которую вставляется ручка, находится под скелетами собак 3 и 4 (рис. 15). Длина «совка» лопаты –

[1] Номера костякам животных присваивались по мере их обнаружения. Здесь же они описываются в такой последовательности, чтобы было понятно их положение в могильной яме.

Рис. 8. Колесо № 1 повозки из погр. 3900 в процессе расчистки (вид с востока).

Рис. 9. Общий вид центральной части погр. 3900.

Рис. 10. Колесо № 1 повозки из погр. 3900 в процессе расчистки (вид с запада).

Рис. 11. Вид на повозку с севера. Передняя (а) и задняя (б) часть сиденья.

28,0 см, максимальная ширина его – 24 см. Совковая часть расширяется книзу. Боковые и задняя ее стенки загнуты вверх. Часть под черенок – длиной 15 см и диаметром 5 см. Следов дерева около совка не обнаружено, хотя возможно, что они могут быть под костями вышеуказанных животных.

Еще две собаки (№ 2 и 8) лежат около юго-восточной части стенки котлована. Обе – на правом боку, головой на северо-восток. Головы обеих находятся выше ног. Голова и шея собаки № 8 не расчищена, т.к. для сохранения погребения собаки № 1 был оставлен земляной столб. Костяк собаки № 2 лежит наклонно, ее голова на 30–40 см выше стоп. Скелеты этих двух животных находятся как бы справа и слева от погребения собаки № 1, но на 1,70 см глубже его. Стоит подчеркнуть, что в 30 см от задних ног собаки № 2 расчищены кости ног человеческого скелета № 5. Это тот самый человеческий костяк, который лежит на спине головой на северо-запад под большим бронзовым котлом, а ноги – на керамическом сосуде с «пальчиковым» орнаментом. В свою очередь кости ног собаки № 8 лежат на веретенообразном посохе, сделанном из красного камня (длина 150 см, окружность в середине – самом толстом месте посоха – 27см, а диаметр обоих концов – 53 мм). Сам посох разбит на 2 части, лежащие рядом одна с другой. Один из его концов упирается в восточную стенку котлована, а второй находится на расстоянии 50 см от юго-восточной. На обоих концах посоха имеются тончайшие серебряные обручи шириной 1 см. В 60–70 см в сторону центра котлована от одного из концов посоха находится колесо № 2 повозки.

Почти рядом с этим же концом, но на южной стенке котлована на правом боку лежит скелет человека (№ 3). В заполнении к западу от этого костяка на глубине около 2,3 м от древней дневной поверхности найден каменный (кремневый) наконечник стрелы. Череп № 3 находится на 50–55 см выше тазовых костей и ног костяка. Левая рука согнута и лежит на поясе, а правое плечо неестественно приподнято, находясь под правой «щекой» индивида, а правое предплечье идет вдоль туловища. Создается впечатление, что труп человека аккуратно спустили сверху по стене котлована, предварительно уложив его на правый бок. У противоположной, северной стены котлована также лежат человеческие останки (№ 2). Поза, в которой он был положен в могилу, намного менее естественна, чем в случае с костяком № 3. Скелет № 2 лежит ничком, головой на восток, уткнувшись коленями в пол котлована. Таз расположен выше черепа на 25 см. Голени идут под углом к бедрам и направлены на юго-запад. Они лежат на позвоночнике уже упоминавшегося осла № 1.

Сверху голеней человека № 2 лежат голени человека № 7, чьи стопы упираются в северную стенку котлована. Сам индивид № 7 лежит на животе, голова ориентирована на юго-запад. Правая рука (и плечо и предплечье) вытянута в правую (на запад) сторону, перпендикулярно туловищу. Левая рука – согнута перед грудной клеткой. Череп № 7 лежит на тазе человека № 1, чей череп стоит вертикально на лобной части, лицом упираясь в землю, в 1,5 м от западной и в 2,5 м от северной стенок котлована. Скелет лежит позвоночником вверх, ноги вытянуты в сторону северо-западного угла котлована. Правая рука лежит вдоль туловища, левая подогнута под талию. Ориентировка черепа № 1 – юго-восточная.

Правая рука скелета № 7 перекрывает грудную клетку человеческого скелета № 4, чей череп находится в 1 м к северо-западу от черепа № 1. Череп 4 также стоит затылком вверх и ориентирован на северо-запад. Костяк 4 лежит на животе, ноги вытянуты к востоку. Левая рука согнута под грудной клеткой, а правая вытянута вдоль туловища.

Череп человека № 6 лежит в 0,5 м к востоку от черепа № 4 и в 0,5 м к северу от черепа № 7 также лицом вниз, причем таким образом, что видно затылочное отверстие. Никаких следов прижизненных травм нет. Все остальные кости скелета находятся в анатомическом порядке. По всей видимости, под давлением земли в процессе разложения мягких тканей че-

реп отодвинулся от позвоночника так, что первый и второй позвонки, которые при прижизненных отсечениях головы всегда остаются около затылочного отверстия, остались на некотором расстоянии от него. Этот факт может быть свидетельством того, что после засыпания котлована, земля не утрамбовывалась и кое-где, особенно в таком месте скопления некогда объемных трупов людей и животных, оставались пустоты. Этот череп (№ 6) находится почти рядом с тазом костяка № 7 и ориентирован на восток. Туловище направлено к западу, а ноги оказываются неестественно подогнутыми под грудную клетку. Правая рука вытянута вдоль туловища, а левая согнута на талии.

Заканчивая описание положения северо-западного скопления человеческих останков, надо добавить, что они покоятся на костяке осла № 2 и передних конечностях осла № 1, которые в свою очередь, как отмечалось выше, лежат на колесе повозки № 4. Если вспомнить, что кости верблюда № 2 перекрыты костями осла № 1, то следует полагать, что первой в котловане была размещена повозка, затем был сброшен верблюд 2 (возможно, в то же время к югу от него и верблюд 1), затем по северной стене котлована был спущен осел 1, а с западной стенки сброшен осел № 2.

Но описанное выше северо-западное скопление описано еще не полностью. Дело в том, что поверх человеческих тел, сброшенных в могилу после верблюдов и ослов, в этом же углу были даже с большим «почтением», чем люди, погребены еще две собаки (№ 3 и 4) (см. рис. 15). Обе они лежат над человеческим скелетом № 6 на левом боку головами на северо-восток. Причем обе их головы находятся прямо под нижней челюстью осла № 1.

Итак, из приведенного выше описания следует, что в этой могиле были похоронены 7 человек, 7 собак (еще одна была погребена в самостоятельной яме в верхнем слое котлована), 2 верблюда и 2 осла (рис. 16). По свидетельству Р. М. Сатаева (устное сообщение), лично обследовавшим все останки животных, обнаруженные собаки по своим размерам не уступают современным алабаям. Это были крупные догообразные собаки (скорее всего боевые, т.к. известны изображения мощных боевых собак в Вавилоне, Ассирии, у хеттов). Хвосты у них – длинные не купированы, вероятно загибались на спину (как на изображениях ближневосточных собак). Рост в холке около 80 см (по-видимому, они несколько уступали немецкому догу самой крупной современной породы, которая имеет от 80 до 93 см в холке у кобелей). В общем, их можно отнести к группе догообразных (или мастиффообразных) собак распространенных на Ближнем Востоке. Не исключено, что современные среднеазиатские и кавказские овчарки ведут свое начало от подобных животных, но конечно об этом можно говорить сейчас только предположительно.

Последовательность погребения и заполнения могильной ямы может быть восстановлена следующим образом. Положение колес повозки, следов сиденья и их обломков говорит о том, что повозка была в целом состоянии сброшена сверху на пол котлована, причем первой среди всех других предметов и тел. Учитывая ее размеры и общий большой вес, при ударе о землю колеса треснули и развалились, а колесо № 4 оторвалось от своей (передней?) оси и отскочило, упав плашмя в северо-западный угол еще пустого котлована. Затем сверху повозки в котлован были спущены верблюды (один с западной, а второй – с северной стенок), затем ослы (и первый, и второй, скорее всего с северо-западного угла или с северной стенки). Видимо, в это же время с южной, восточной и юго-восточной сторон котлована были положены каменные посохи, а также керамические сосуды (первый и второй), а также спущены тела двух человек: одного с южной стенки (№ 3, 35–45 лет), а второго – с северной (№ 2, 20–25 лет). Эти покойники явно были именно спущены, а не сброшены сверху или уложены кем-то находившимся внутри котлована. Их обоих спускали ногами вперед. Телу «южного» человека даже постарались придать стандартное

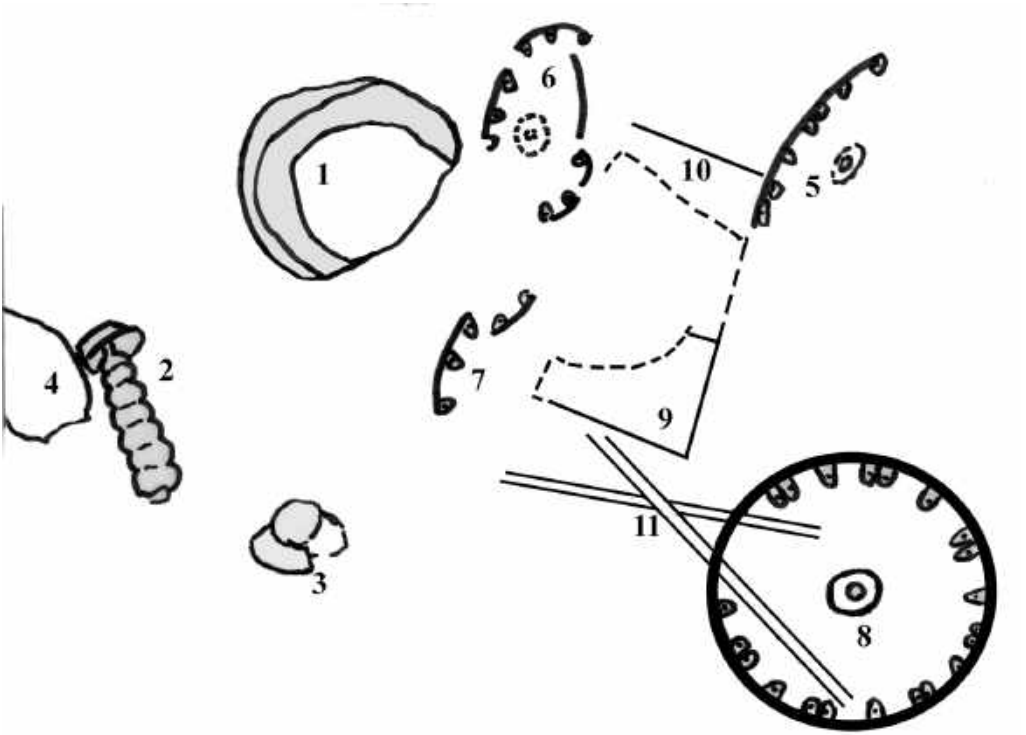


Рис. 12. Схема основных частей повозки и других находок в погр. 3900. 1 – большой бронзовый котел; 2 – бронзовый сосуд из семи шаровидных емкостей; 3 – бронзовый светильник на конической подставке; 4 - керамический сосуд; 5 – колесо № 1; 6 – колесо № 2; 7 – колесо № 3; 8 – колесо № 4; 9 – северный (передний) фрагмент деревянного сиденья; 10 – южный (задний) фрагмент деревянного сиденья; 11 – следы от оглоблей. Пунктиром показана площадь, сохранившая следы досок от сиденья.

положение: на правом боку, ноги согнуты в коленях. «Северный» же костяк явно завалился со стенки вперед, хотя, скорее всего его также пытались уложить на стенке аналогично «южному». Видимо вскоре или в тоже время тело еще одного мужчины (№ 5, 25–45 лет) положили рядом с серым посохом так, что его колени оказались на керамическом сосуд с пальчиковым орнаментом. Поскольку сверху этот костяк перекрывается большим бронзовым котлом, судить о том, как останки человека были помещены в яму, пока (до снятия после консервации бронзы) невозможно.

Надо подчеркнуть то, что котел также был сброшен в яму. Причем с применением значительного усилия. Об этом свидетельствуют и имеющиеся на котле деформации, которые ни в коей мере не могли иметь место в результате давления заполнившего котлован грунта, а еще более красноречиво – тот факт, что серый толстый посох (напомним – диаметром на концах 5 и 7 см) раскололся на три части. С одной стороны, пустой, даже столь большого объема котел вряд ли бы сломал толстый каменный посох. Дно котла, на которое он упал, не имеет значительной вмятины, которая неизбежна при падении пустой металлической емкости. Но, с другой стороны, в погребении № 3880 (см далее) аналогичный посох из серого камня был достаточно аккуратно распилен на две части, т.е. сознательно поврежден перед помещением его в могилу. Поскольку положение фрагментов посоха,

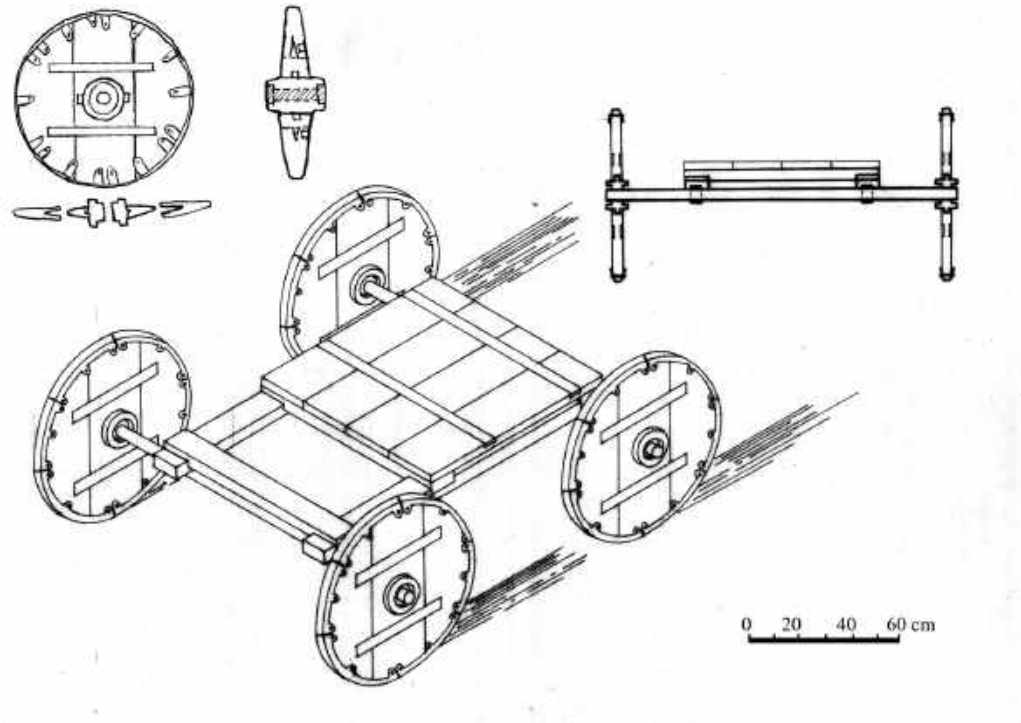


Рис. 13. Реконструкция колеса и повозки из погр. 3200.

уходящих одним своим концом вглубь песчаного пола котлована, говорит о том, что поверх лежащего камня котел все же упал с некоторой высоты, наиболее вероятно, что посох был разрушен не упавшим на него котлом, а был фрагментирован заранее. Важно, что котел, также как повозка и собаки, занимает доминирующее положение на полу котлована. По всей видимости, он был сброшен на пол рядом с повозкой одним из последних, т. е. после помещения там всех убитых рабов (слуг?), ослов, верблюдов и, возможно вместе с собаками.

Видимо, одновременно с двумя керамическими сосудами в котловане были размещены бронзовый светильник на конусовидной подставке и бронзовый сосуд, состоящий из семи шарообразных емкостей. Подставка сосуда из семи «шариков» деформирована достаточно неопределенно. Поэтому вряд ли имеются особые основания говорить о том, что маргушцы, совершавшие захоронение, планировали поставить его в могильной яме вертикально. Скорее всего его положение не имело принципиального значения. Главным было, чтобы сосуд присутствовал среди погребального инвентаря. Но светильник, как и в случае с гробницей 3200, где их было найдено два, стоял вертикально, говоря о готовности к зажиганию огня на нём.

После помещения останков людей около северной, южной стенок и на востоке (под бронзовым котлом) или одновременно с этим еще 4 человека были сброшены уже совсем неаккуратно около северо-западного угла котлована. Положение их черепов, конечностей и позвоночных стволов свидетельствует, что умерщвленных заранее людей брали за головы и ноги и, слегка раскачав, бросали в могилу. Подчеркнем, что во всех случаях в этой

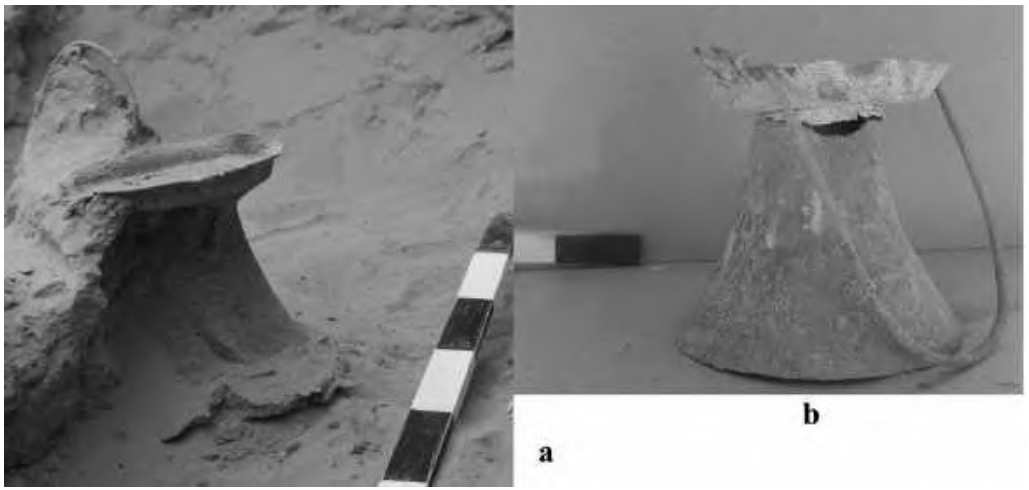


Рис. 14. Бронзовые светильники из погр. 3900 (а) и 3200 (б).

Рис. 15. Бронзовая совковая лопата в погр. 3900.

могиле, также как и в других котлованах (3225 и 3240) и царских гробницах (3200, 3230, 3220), где это возможно было определить, люди, скорее всего, были отравлены ядом (или задушены), т.к. никаких следов применения оружия не зафиксировано. Только после людей в том же северо-западном углу на тело положенного ранее осла (№ 1) были спущены две, также убитые заранее собаки (№№ 6 и 7). Одна вслед за другой. На скелет осла № 2 были помещены также две собаки (№№ 3 и 4).

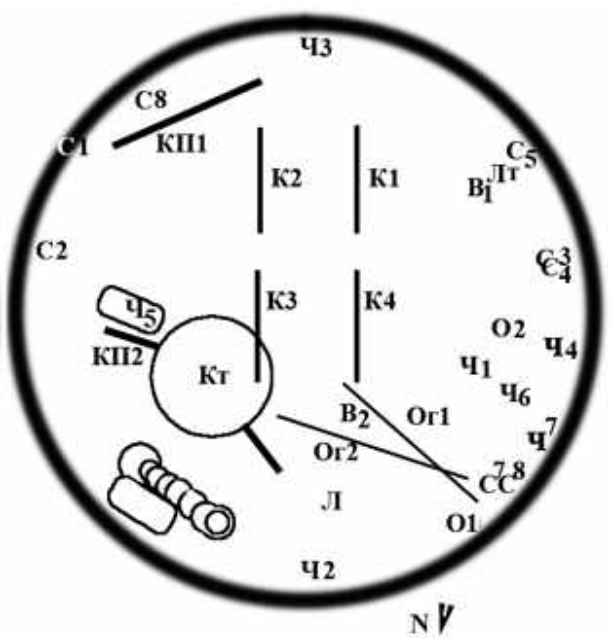


Рис. 16. Схема погр. 3900.
Условные обозначения: Ч – люди, С – собаки, В – верблюды, О – ослы, Кт – бронзовый котел, Л – лампа, К – колеса повозки, Лт – лопата, КП – каменные посохи, Ог – оглобли.

Тела собак №№ 2 и 8 около восточной стенки, а также № 5 около западной прислонены к стенкам, но конечности их лежат на полу. Они могли быть размещены таким образом в разное время, но явно после каменных посохов. Можно предположить, что захоронение проводилось несколькими группами людей, в обязанности каждой из которых входили разные процедуры: одни могли спускать в котлован тела умерщвленных ранее животных, людей, другие – погребальный инвентарь, третьи совершать ритуалы по умерщвлению и т. д.

После совершения погребения всего перечисленного, котлован был засыпан чистым песком до высоты 2 м. На этом уровне в западной части был устроен костер, рядом с ним какое-то небольшое сооружение из сырцовых кирпичей, а около восточной стенки котлована устроено ямное захоронение еще одной (№ 1, восьмой по счету) собаки. Ни это погребение, ни расположенные на 2 м глубже него костяки тех же животных не были расположены случайно. Собаки, похороненные около стен на полу (№ 2 и 8), помещаются как бы с боков собаки № 1 и образуют между собой нечто наподобие вертикально стоящего треугольника, в вершине которого и погребено это, выше всех расположенное животное.

Таким образом, раскопанное погр. 3900 переполнено символами, постижение значения которых – дело специалистов по мировоззрению древних. Совершенно ясно другое: это погребение не является рядовым и, возможно, представляет собой не столько мавзолей, сколько собрание инструментария для проведения какого-то ритуала. В этой связи обращает на себя внимание неоднократно повторяющееся в связи с описанием этой могилы число «семь» (*семь* покойников, *семь* убитых собак, сосуд из *семи* шарообразных емкостей на «подставке»). Число семь во многих культурах, в том числе и у зороастрийцев, является сакральным. Если вспомнить, что именно у зороастрийцев было семь больших праздников, центральным из которых являлся Праздник Нового дня (Науруз), который справлялся с большой торжественностью и пышностью. Именно им завершался черед

святых дней. Он отмечает и завершение цикла и новое начало. М. Бойс по этому поводу замечает «Эти семь празднеств в честь Семи божеств считались столь важными, что соблюдение их вменялось в религиозную обязанность верующим» (*Бойс*, 2003, с. 62) и далее по поводу Науруза: «Каждая зороастрийская община собиралась на веселое угощение, где вместе ели пищу, благословленную во время богослужения праздника «Нового Дня», который праздновался очень радостно, со множеством красивых обрядов, символизирующих обновление и блаженство». Как сейчас, так, видимо, и в древности, Науруз отмечался и при большом скоплении людей, во всяком случае, целой семьи или рода. Не о таком ли ритуале свидетельствует вышеупомянутый огромный котел, явно использовавшийся не единолично, а коллективно, для общества? Он вполне мог предназначаться для общественных трапез целого рода или общины.

Вторым важным обстоятельством, на которое необходимо обратить особе внимание, является присутствие в могиле останков семи собак, которые, кстати, похоронены самыми последними, даже после погребения людей. Как известно, для зороастрийцев характерно двойственное отношение к собаке. С одной стороны, к ней относятся как к человеку, и за убийство собаки полагалась едва ли не казнь виновного (как и за убийство человека). А с другой стороны, к ней относились как к весьма порочному, презираемому, низшему существу. Авеста говорит о собаке: «… у нее характер священника; у нее характер воина; у не характер скотовода; у нее характер раба; у нее характер вора; у нее характер зверя; у нее характер ребенка, характер потаскухи; <…> Угодливая как раб, коварная, как раб <…> В этом она как раб. Ждущая темноты как вор, промышляющая ночью как вор, вслепую хватающая пищу как вор, ненадежная как вор. <…> Угодливая как потаскуха, коварная как потаскуха <...> В этом она как потаскуха» (*Рак*, 1998, с. 289).

Важно также, что кормление собаки, в том числе ритуальное, имеет в зороастризме огромное значение: «пища, данная собаке, предназначается для душ умерших родственников и близких». Поэтому без собаки не совершается ни одно погребение.

Иначе говоря, к собакам зороастрийцы относятся приблизительно так же, как современные индусы к касте «неприкасаемых»: без них не могут обойтись и в то же время считают их «нечистыми», «неприкосаемыми», имеющими отношение к «скверне потусторонней жизни», т. е. как к низшей касте. На вопрос, «имели ли собаки отношение к Наурузу?» пока вряд ли найдется однозначный ответ. В тоже время, кто-то должен был «перенести» в потусторонний мир и верования маргушцев, и ритуальные приношения. Предполагать, что эту связующую роль в данном случае должны были сыграть собаки, причем представленные ритуальным числом «семь», вполне вероятна. Вполне логично считать, что данный котлован являет собой одно из свидетельств наличия у населения Гонура больших общественных праздников, таких, например, как Науруз, а представленные в нем предметы соответствуют инвентарю, необходимому для его проведения.

Перечень захороненных и погребальных приношений в погр. 3900

Люди – 7 человек (все мужчины; 4 человека 25–35 лет, 2 человека 35–45 лет и 1 – 10–14 лет).
Животные – 7 собак на полу и 1 собака в отдельной ямной могиле в верхних слоях заполнения;
2 осла,
2 верблюда в самой могиле;.
Четырехколесная *повозка* с деревянными колесами, имеющими бронзовые ободья.

Бронзовые изделия – 1 крупный котел;
1 сосуд, состоящий из 7 шаровидных емкостей;
1 светильник на конической подставке;
1 «совковая лопата».
Каменные изделия – 2 посоха (1 из серого камня с окончанием в виде копыта; 1 веретенообразный из красного камня) с серебряными «браслетами» на них.
1 кремневый наконечник стрелы.
Керамика – 2 крупных сосуда (1 из них с «пальчиковым» орнаментом).

Весенний полевой сезон 2009 г. принес и еще одну серию интересных находок. Достаточно неожиданно за пределами обводной стены, которая была построена не ранее второго строительного периода на Гонуре, при расчистке территории под отвалами был выявлен еще один, прямоугольный контур. На глубине не более 0,5 м от современной дневной поверхности шла тонкая сырцовая стена прямоугольного помещения, продольная ось которого располагалась с северо-востока на юго-запад. Стена была сделана весьма небрежно, состояла лишь из одного ряда кирпичей (сохранилась на глубину трех рядов), что говорило о ее сооружении в последний, третий, строительный период и принадлежности не к монументальным, а скорее бытовым постройкам гонурской бедноты. Характерно, что ближе к полу этого помещения стали регулярно попадаться мелкие фрагменты золотой фольги, белые каменные мозаичные вставки, фрагменты керамических изделий. Снаружи помещения и на разной глубине в заполнении его было встречно несколько целых и археологически целых керамических сосудов. Уже на глубине 30 см под углом к этой стенке обнаружился котлован почти правильной прямоугольной формы (южная стена – 5,5 м, западная 4,5 м, северная – 5,6 м, восточная 4,1 м).

На глубине около 1м под полом позднего помещения выявлена еще одна сырцовая стена, идущая под острым углом к выше расположенным. Продолжение этой стены, а также боковые стены, выстроенные перпендикулярно к ней, были раскопаны в южной части указанного котлована. Общий облик сооружений в этом прямоугольном котловане очень напоминал по плану таковые царских гробниц 3200 и 3210, обнаруженных и 2004 г. Данная могила получила № 3880. Ее общая схема представлена на рис. 17. В южной части котлована устроен сырцовый «дом», состоящий из четырех комнат. Все они к моменту раскопок оказались ограбленными. В заполнении котлована на разной глубине встречены были мозаичные вставки разных форм, в том числе от фигурок рыб (рис. 18), рога оленя (рис. 19), изящная, слегка изогнутая нога коня (?) (рис. 20); большая агатовая бусина (рис. 21 – см. цветную вклейку), как уже отмечалось, мелкие фрагменты золотой фольги. Большинство находок концентрировалось в западной части над и в пом. № 4 «дома мертвых».

В «дом» ведет один проход шириной 0,55 м, расположенный в северной стенке пом. 3. Из этой комнаты можно свободно попасть в пом. 1, куда проход – немного шире (65 см) и в пом. 4. Дверной проем в последнее помещение сохранил верхнюю перекладину, которая показывает, что проход был очень низким. Пройти через него можно было или ползком или на четвереньках. Такие же размеры имеет и вход из двора в пом. 1.

С наружной стороны к пом. 2 пристроено небольшое возвышение из сырцовых кирпичей (три ряда). Его верхняя поверхность на один ряд кирпичей (15 см) ниже высоты стен «дома». На верхней поверхности этого возвышения обнаружены каменные изделия разных форм: 6 белых в виде фисташек; 9 белых раскрашенных в светло красный и голубоватый цвет; 2 черных, похожих на ягоды тутовника (рис. 22). В северной стене пом. 1 устроен двухкамерный очаг без сохранившихся следов обожжения. Его задняя стенка выступает во «двор».

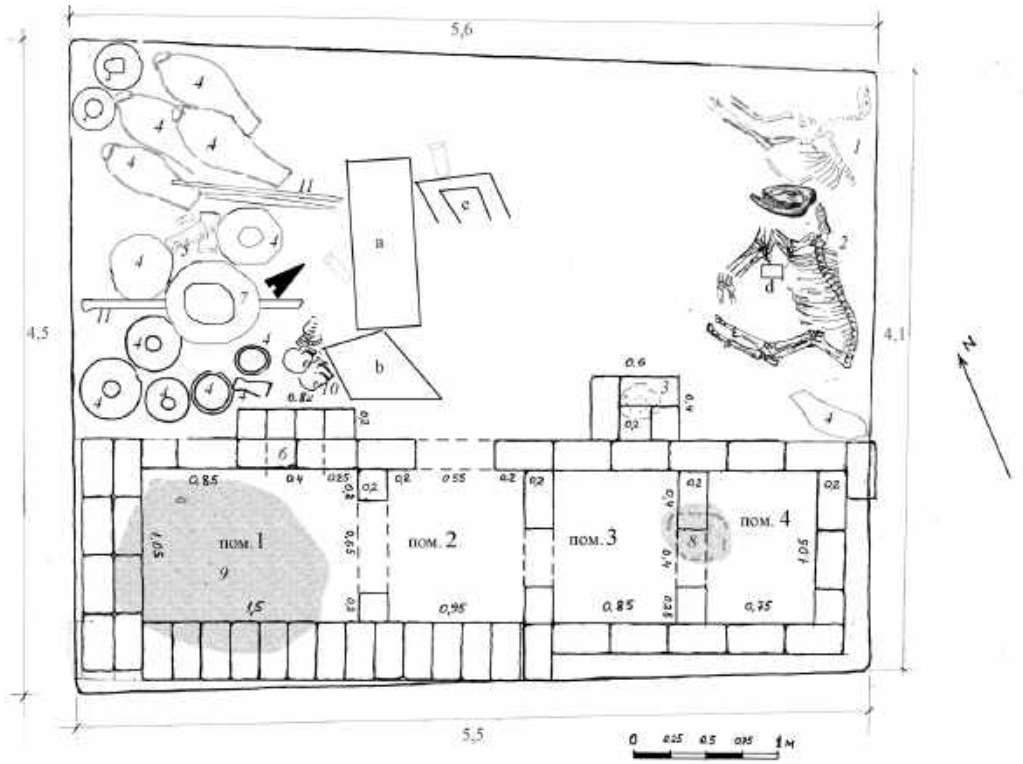


Рис. 17. Схема погр. 3880. Мозаичные композиции: a – «дарохранительница»; b – крестовидный орнамент; c – оформление дверного проема; d – небольшой фрагмент «кресты и ромбы». 1 – скелет собаки; 2 - скелет верблюда, 3 – скопление обработанных камней разной формы и мелких изделий из слоновой кости; 4 – керамические изделия; 5 – четыре каменные миниатюрные колонки разного размера; 6 – очаг; 7 – бронзовый котел; 8 – тенью показана область, где были найдены фрагментированные кости человека; 9 – тенью показана область, где на разной глубине были найдены фрагменты золотой фольги, фрагменты керамики, кремневые наконечники стрел; 10 – полные скелеты двух молодых людей; 11 – каменные посохи.

Во «дворе» около северо-восточного наружного угла «дома» стоял большой керамический сосуд – «пифос». Еще четыре таких сосуда с узким основанием, расширяющиеся к устью (рис. 23), были обнаружены в противоположном – северо-западном углу «двора». В том же углу было раскопано большое скопление керамических изделий разных форм и размеров (более 30) (рис. 24), расположенных вокруг круглого бронзового котла, по форме абсолютно такого же как и выше описанный в погр. 3900 (рис. 25 – см. цветную вклейку). Главное их различие – в размерах. Сосуд из погр. 3880 в два раза меньше первого.

Аналогии этим котлам по форме удалось найти, благодаря помощи Л. И. Авиловой, обладающей богатой коллекцией изображений металлических изделий, и П. М. Кожина, за что авторы приносят им искреннюю благодарность. Самую близкую форму имеет сосуд из культуры медных кладов в долине Инда (рис. 26: *2*), но в публикации (История Древнего Востока…, 2004, с. 105) отсутствует изображение масштаба, поэтому судить о размерах изделия невозможно. Также сходные формы, но имеющие ручки и размеры около 20–25 см, встречены в могилах Ура (от раннединастических до позднеаккадских)

Рис. 18. Каменные мозаичные вставки «рыбы» из погр. 3880, сохранившие следы красной краски.

(рис. 26: *3-б*). Эти параллели представляются весьма важными, т. к. гонурская находка маркирует промежуточный пункт между западными сосудами Ура и восточными – в долине рек Ганг-Ямун. Упомянутые восточные находки датируются II тыс. до н. э., западные – в основном, серединой III тыс. до н. э. И в этом смысле гонурские котлы, относящиеся, скорее всего к последним векам III тыс. до н. э. (см. сводку датировок: Зайцева и др., 2008), может свидетельствовать о культурном обмене или передвижении племен через территорию БМАК.

Интересен вопрос об этнической принадлежности носителей «культуры медных кладов», который до сих пор остается дискуссионным. Еще в 1937 г. Р. Гейне-Гельдерн высказал мысль, что ее создатели – ведийские арии (*Heine-Geldern*, 1937 – цит. по: *Бонгард-Левин, Ильин*, 1985). Иной точки зрения придерживался С. Пиготт, который считал, что эти племена – жители Хараппы, бежавшие на восток после прихода ариев (*Piggott,* 1944 – цит. по: *Бонгард-Левин, Ильин*, 1985). Индийский ученый Р. С. Гаур связывает создателей

Рис. 19. Каменные мозаичные вставки «рога оленя» из погр. 3880.

Рис. 20. Каменная мозаичная вставка «нога коня» из погр. 3880.

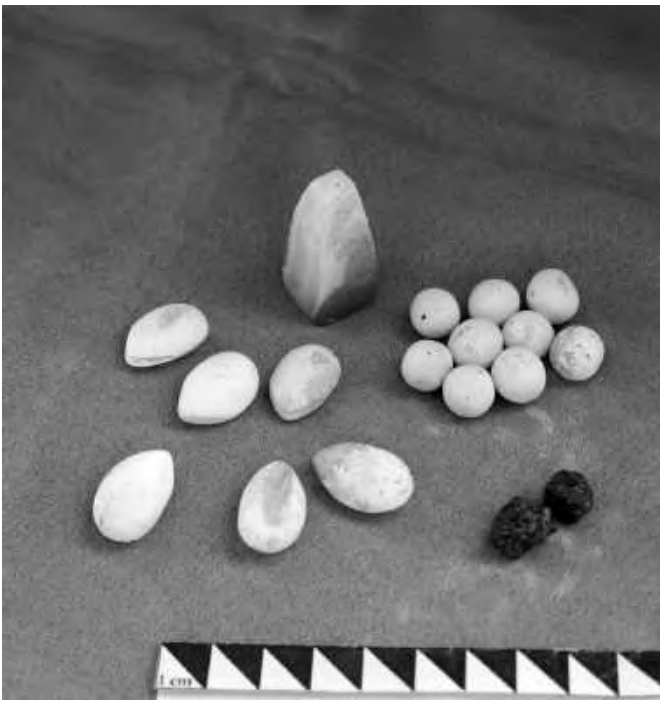


Рис. 22. Мелкие обработанные камушки разных форм из погр. 3880.

Рис. 23. Крупные керамические сосуды из погр. 3880.

«культуры медных кладов и желтой керамики» с дохараппским населением долины Инда, которое позднее под давлением харапцев продвинулось в долину Ганга (*Gaur*, 1973, 1982 – цит. по: *Бонгард-Левин, Ильин,* 1985). Археологи Б. Б. Лал, В. Кришпанасвами, С. П. Гупта и др. рассматривают эту культуру как самостоятельную и местную. Этой же точки зрения придерживаются и Г. М. Бонгард-Левин с Г. Ф. Ильиным (1985, с. 123).

Представляется, что гонурские материалы в связи с этой дискуссией достаточно показательны. Они указывают на наличие бесспорных контактов, а возможно и перемещения какой-то массы населения из западных районов (Двуречья) на восток, в том числе и через южные районы Средней Азии.

Возвращаясь к описанию гробницы 3880, следует сказать, что около восточной стены «двора» на глубине 1 м от древней дневной поверхности обнаружен скелет крупной собаки в полном анатомическом порядке, сходной с животными, найденными в погр. 3900. Собака лежала головой на юго-запад на левом боку. По своим пропорциям и размерам она вполне была схожа с собаками, найденными в погр. 3900.

Дальнейшая расчистка показала, что под собакой находился костяк (также в полном анатомическом порядке) небольшого молодого верблюда, который лежал на полу, спиной вдоль восточной стены «двора», головой на север. Между передними конечностями верблюда найдена небольшая мозаичная композиция, напоминающая ковровые узоры

Рис. 24 а, б,в. Керамические изделия из погр. 3880.

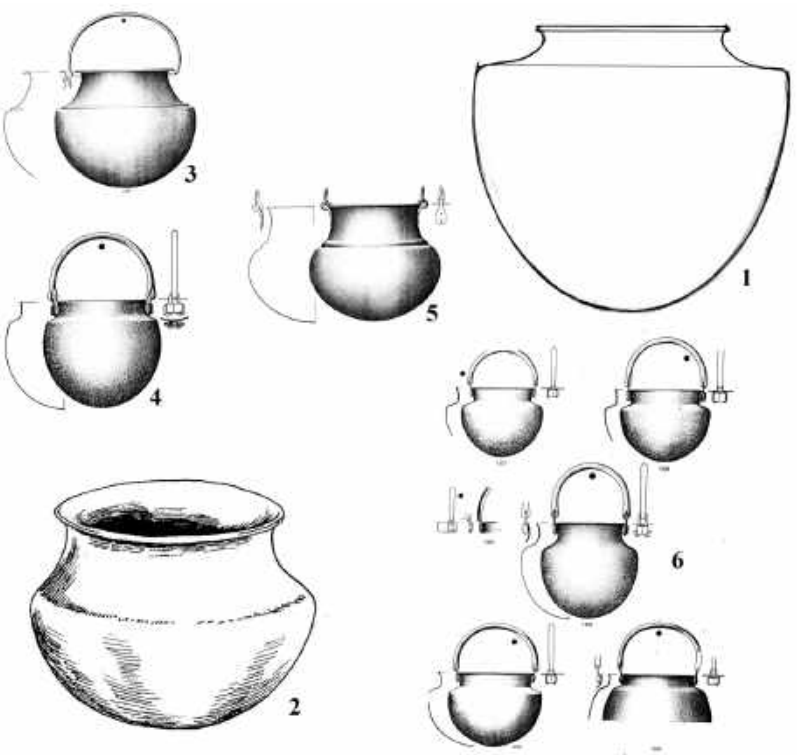


Рис. 26. Бронзовые сосуды: *1* – погр. 3900 Царский некрополь Гонура; *2* – культура медных кладов (по: История древнего Востока, 2004, с. 105); *3* – Ур, некрополь, позднеаккадское время, погр. 871 (высота около 24 см); *4* – Ур, некрополь, № 1333; *5* – Ур, некрополь, раннединастический период, погр. 1183 (высота около 22 см); *6* – Ур, некрополь, раннеаккадское время, погр. 721 (высота около 20 м). *3–6* по: Müller-Karpe, 1993.

(рис. 27, 28[1] – см. цветную вклейку). По всей видимости, эта композиция была выполнена на прямоугольной дощечке, укрепленной на груди верблюда и украшавшей его сбрую. Она имеет размеры 22,5 × 8 см и выполнена из разных пород камня. На рис. 28 (цветная вклейка) пунктиром показаны места расположения линий, выполненных соответственно черной и красной краской.

Напротив входа в «дом мертвых» во дворе найдена большая «дарохранительница», аналогичная таковым ранее обнаруженных в гробницах 3220 (с орнаментом в виде рядов «сердечек» или листьев растения пиппала) и в гробнице 3230 (с богатым ковровым орнаментом) (рис. 29). Размеры «дарохранительницы» – 100 × 41 × 39 см. Вероятно, до деформации в результате давления грунта, она имела размеры 100 × 40 × 40 см. По всей видимости, как и в других случаях, она была сделана из дерева, на поверхность которого был нанесен слой вяжущего вещества. Затем был выполнен рисунок, части которого составляли мозаичные вставки из разных пород (предположительно мрамор и гипс) камня.

[1] Консервация мозаик выполнялась реставратором экспедиции М. Беглиевым и художником-реставратором 1-го класса Марыйского объединенного велоятского музея М. Рзаковым. Реставрацию и реконструкцию мозаичных панно выполнял М. Рзаков.

Рис. 27. Мозаичная композиция с ковровым орнаментом в процессе расчистки.

Рис. 29. Общий виз гробницы 3880. В центре хорошо видны «дарохранительница» и другие мозаичные композиции.

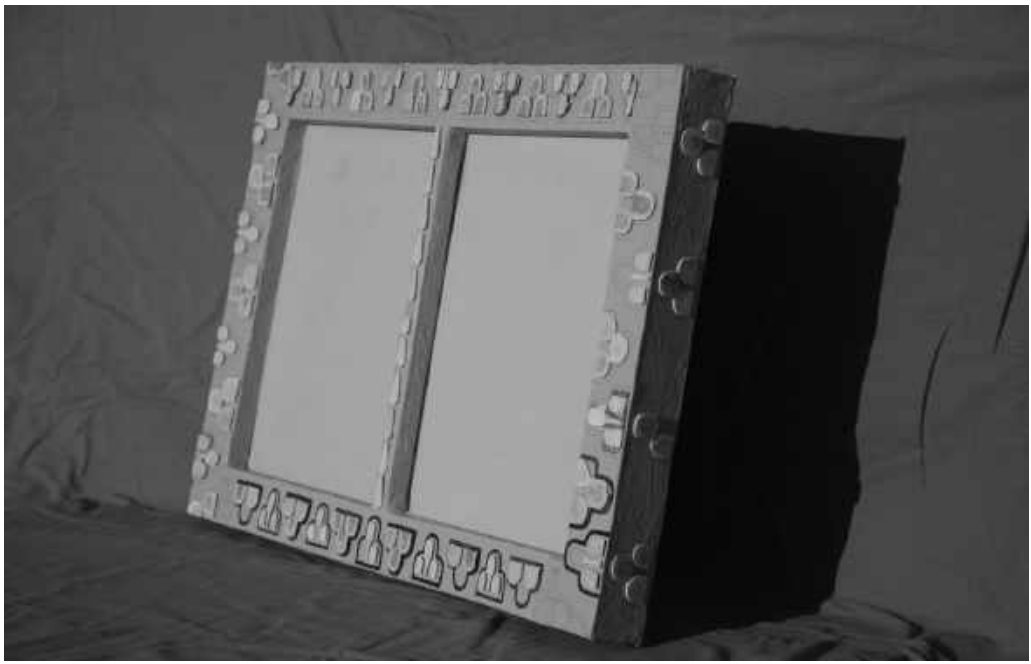


Рис. 31. Оформление косяка прохода в «дом мертвых» в гробнице 3880.

Рис. 33. Каменные миниатюрные колонки из гробницы 3880.

Орнаментальная композиция, подобная этой, никогда ранее не была встречена ни на Гонуре, ни на других памятниках, как более ранних, так и более поздних. Она состоит из трех рядов, опоясывающих короб со всех четырех сторон. Центральный пояс представляет собой узор в виде «мальтийских крестов», общий контур которых сделан из камня типа мрамора[1], а сердцевина лучей креста – из материала типа гипса. Самый центр креста выполнен также из гипсового кружочка, который окружен кольцевидной вставкой из того же материала, что и контур лучей. По периметру крестов обводка сделана черной краской. Каждый крест включен в красный квадрат, углы которого сделаны из мелких квадратных каменных вставок (типа мрамора), а сам он обведен толстой черной линией по всему периметру. На длинной стороне «дарохранительницы» сделано по 7 таких композиций (рис. 30). Справа и слева от этой группы устроены крестообразные же композиции, но состоящие из листьев пиппала. Эти группы выполнены также как и «мальтийские кресты» из двух типов камня. Вместо оформления углов квадратов, в которые включены кресты, мелкими каменными вставками, здесь использован узор, условно называемый «горы», т.е. две соединенные арки, сверху которых в середине стоит еще одна. Из таких же композиций с использованием изображений листьев пиппалы, сделаны верхний и нижний ряды на всех стенках короба. «Замковые» элементы из «листьев» отмечены не четырьмя, как в случае центрального ряда, а только двумя элементами «горы».

При выполнении элемента «горы» использованы также два вида камней: более твердый (для контура) и более мягкий (для внутренней части) в нижних двух арках. В верхней же арке сердцевина заполнена темно красной краской типа киновари, которая, увы, очень быстро утратила ту яркость, которую имела в момент обнаружения, т. е. до соприкосновения с ярким светом и воздухом. На боковых стенках имеется по три композиции из «мальтийских крестов» (в центре) и по три из «листьев пиппала».

Композиции сохранились лишь на трех сторонах. Четвертная сторона дошла до нас в крайне поврежденном виде и была реконструирована из имеющихся разрозненных деталей художником-реставратором М. Рзаковым.

Как ранее мы уже отмечали при описании мозаик из гробницы 3210, элемент «горы» гонурские мастера использовали для подчеркивания границ орнамента. Это подтверждает и описанная «дарохранительница», а также еще один орнамент, найденный в той же гробнице 3880. Это – оформление косяка прохода в «дом мертвых» (рис. 31). Эта композиция имеет размер 63 × 43 × 5 см. Ее наличие подтверждает, что вход в «дом мертвых» имел деревянный косяк, как, по всей видимости, и дома богатых маргушцев.

Передний фасад «дома мертвых» был украшен еще одной композицией, сделанной на очень тонком слое дерева или же прямо на штукатурке. Но именно в виду его крайней ажурности и тонкости деталей он пока не отреставрирован. По орнаменту он напоминает таковой, выполненный на плакетке, найденной рядом с верблюдом в этой же гробнице (рис. 32 – см. цветную вклейку).

«Дарохранительница» стояла в непосредственной близости от входа в «дом мертвых, куда ее, вероятно, бросили грабители древности. Под ней находились скелеты двух молодых людей, костяки которых оказались почти полностью разрушены этой конструкцией. С запада от дарохранительницы находилось упомянутое выше скопление керамических изделий, между которыми находилось 4 миниатюрные колонки из белого камня разных размеров (рис. 33). Под дном бронзового котла находился фрагмент серого каменного посоха, специально аккуратно отпиленного. Второй его фрагмент с завершением в виде

[1] Образцы использованных в мозаиках минералов взяты для петрографического и минералогического анализов.

Рис. 34. Кремневые наконечники стрел из гробницы 3880.

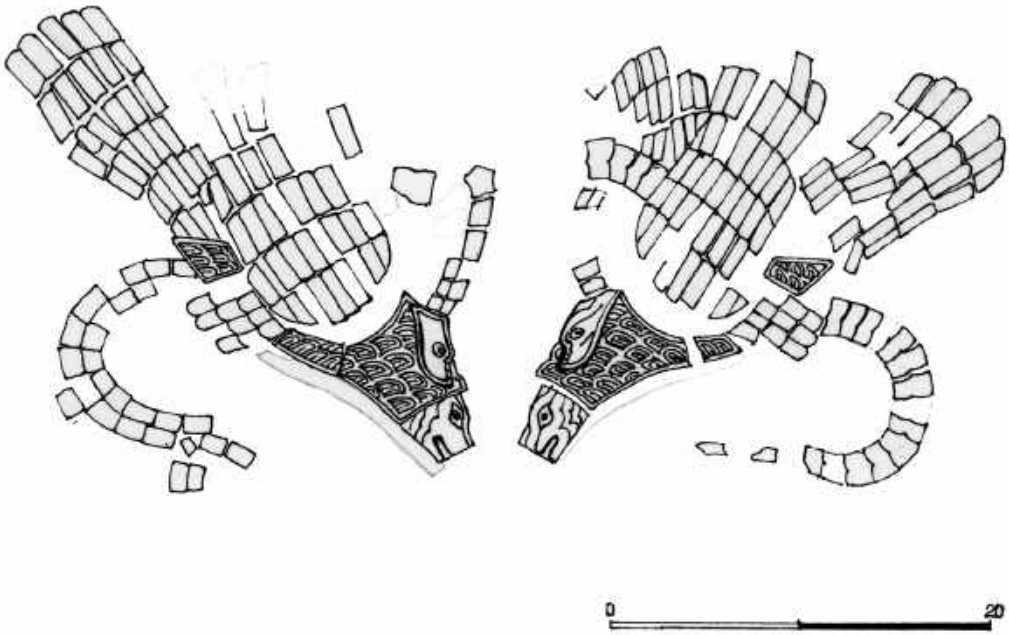


Рис. 38. Прорисовка мозаичное панно «Сцена борьбы крылатых драконов со змеями».
Работа художника И. В. Максимовой.

копыта лежал рядом с керамическими изделиями. Рядом с этим фрагментом лежал целый посох веретенообразной формы.

В заполнении в разных местах «двора» и «дома» гробницы найдено 14 кремневых наконечника стрел разной формы (рис. 34). Как отмечалось, в заполнении в разных местах, преимущественно в юго-западном углу «дома мертвых» встречены фрагменты золотой фольги разных размеров (рис. 35 – см. цветную вклейку).

Но одна из самых интересных находок находилась под описанной выше «дарохранительницей». Это – композиция «Сцена борьбы крылатых драконов со змеями» (рис. 36, 37 – см. цветную вклейку; 38). Композиция выполнена в динамичной форме. Она представляет собой двух крылатых драконов, ворох перьев которых обвивают крепкие тела змей, пасти которых впиваются в загривок агрессивных фантастических существ. На шеях и загривках драконов гравировкой показаны гребни и чешуя зверей. По всей видимости, композиция была окружена красочной живописной рамкой или, возможно, каким-то рисунком с использованием черной и красной красок, от которых сохранились только следы. Одной из важных особенностей композиции является то, что головы и шеи драконов, а также головы змей сделаны двусторонними, т. е. одинаковое изображение имеется на двух однотипных мозаичных вставках из белого камня. Вероятно, изображения перьев и тел змей были помещены на плоскость, тогда как головы драконов с разинутыми пастями и зубами (кстати – плоскими, без острых клыков, что, возможно, символизирует их бессилье перед мощью мудрых змей) – выступали над плоскостью вперед в виде горельефа. Если сама по себе тема борьбы драконов, символизирующих злое начало, со змеями, олицетворяющими добро, весьма характерный признак искусства БМАК, то ни подобная мозаичная техника с элементами живописи, сочетающаяся с горельефным изображением, никогда раньше в столь древнее время не встречалась. Да и в наши дни подобных образцов, видимо не имеется. Сейчас данная композиция находится на реставрации. Ее тщательное изучение и постижение смысла еще ждет своего времени.

Заключая краткое описание главных находок, сделанных весной 2009 г. на знаменитом ныне памятнике бронзового века Гонур Депе в Туркменистане, следует сказать, что и этот сезон принес много нового и далеко не вполне ясного. Но все найденные сокровища еще раз подтвердили высочайший уровень культуры древнего населения этой земли, творцов оригинального центра цивилизации древневосточного типа, большая часть которого ныне все еще скрывается в песках Каракумов.

Перечень захороненных и погребальных приношений в погр. 3880.

Люди – 3 человека (все мужчины; мелкие фрагменты костей одного 18–20 лет – в камере № 1 и 2; полные костяки двух – во дворе, справа перед входом в камеру № 3).

Животные – 1 собака, 1 верблюд.

Бронзовые изделия – 1 крупный котел.

Каменные изделия – 2 посоха (оба из серого камня; один – с окончанием в виде копыта разрезанный на фрагменты – между керамическими сосудами; второй – веретенообразный, также разрезанный на фрагменты, один из которых лежал между керамическими сосудами, а второй – под дном бронзового котла) с серебряными «браслетами» на них;
4 каменные миниатюрные колонки разного размера;
1 крупная агатовая бусина;
Мелкие обработанные камушки разной формы (6 белых в виде фисташек; 9 белых раскрашенных в светло красный и голубоватый цвет; 2 черных, похожих на ягоды тутовника);

14 кремневых наконечников стрел.

Мозаика – «Дарохранительница» со сложным крестообразным орнаментом;

Оформление косяка прохода в «Дом мертвых» из элементов «горы»;

Панно с «ковровым орнаментом», украшавшее передний фасад «дома мертвых»;

Плакетка с «ковровым орнаментом» у ног верблюда;

Сцена борьбы крылатых драконов со змеями.

Фрагменты мозаичных композиций (тело змеи, рога оленя, рыбки, нога коня и др.)

Керамика – всего 35 единиц разных форм, включая:

1 крупный сосуд с «пальчиковым» орнаментом;

5 крупных пифосов высотой 75–80 см;

1 крупный цилиндрический сосуд диаметром 40 см.

Литература

Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985.

Дубова Н. А. Некрополи на берегах большого южного бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации \ Ред. П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. М., 2004. С. 275–293.

История Древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй. М., 2004. С. 105.

Сариниди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М, 2001.

Сариниди В. И. Маргуш, древневосточное царство в древней дельте реки Мургаб. Ашхабад, 2002 (на русском, английском и туркменском языках).

Сариниди В. И. Гонур Депе. Город царей и богов. Ашхабад, 2005 (на русском, английском и туркменском языках).

Сариниди В. И. Царский некрополь на Северном Гонуре // ВДИ.2006. № 2 (257) С. 155–192.

Сариниди В. И. Дворцово-храмовый комплекс Северного Гонура // РА. 2007. № 1. С. 49–63.

Святой Лалыш. Храм езидов. Челябинск, 2008.

Тенгберг М. Анализ образцов дерева с Гонура (Маргуш), Туркменистан // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 163–165.

Bactria. An ancient oasis civilization from the sands of Afghanistan\ Eds. Ligabue G., Salvatori S. Venice: Erizzo, 1988.

Gaur R. C. Lal Quila excavations and the OCP [Ochre Coloured Pottery] problem // Radiocarbon and Indian archaeology. Bombay, 1973.

Gaur R. C. The Ochre Coloured Pottery: A reassessment of the Evidence // SAA 1973 \ J. E. van Lohuizen-De Leeuw, J. M. M. Ubaghs (Eds). Brill (Leiden), 1974.

Gaur R. C. Authors of the O. C. P. // Indian Archaeology. New Perspective. Delhi, 1982. P. 131–136.

Heine-Geldern R. New light on the Aryan Migration to India // Bulletin of the Am. Institute of Iranian Art and Archaeology. 1937. Vol. 5.

Müller-Karpe M. Metalgefässe im Iraq I. Von den Anfangen bis zur Akkad Zeit // Prähistorische Bronzefunde. Abteilung II. Band 14. Stuttgart, 1993.

Piggott S. Pre-historic copper hoards in the Ganges basin // Antiquity. 1944. Vol. 18. № 72.

Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrizm. Athens, 1998.

Sarianidis V. I. Zoroastrianism: a new motherland for and old religion. Thessaloniki, 2008 (in English and Greek).

В. Артемьев, А. Урманова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АРХИТЕКТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРНОГО ГОНУРА В 2007 ГОДУ[1]

...Если мы посмотрим на Гонур с борта вертолета, то увидим несколько отдельных комплексов уже раскопанных зданий. Самый крупный из них, получивший у археологов название Северный Гонур, является и самым ранним. Он представляет собой сложный ансамбль дворца и храмовых построек, начало сооружения которых относится, как показывает множество радиоуглеродных дат, к 2300–2250 годам до н. э.

В. И. Сарианиди (2008)

Ситуация

На севере Мургабского оазиса, в Каракумах за последние десятилетия открыты выдающиеся памятники эпохи бронзы и раннего железа, которые исследователи относят к периоду расцвета страны Маргуш (Маргианы). Самый грандиозный из них, – городище Гонур Депе, в 70-е годы прошлого столетия открыт и затем многие годы изучался специалистами археологической экспедиции под руководством В. И. Сарианиди. Результаты всестороннего исследования и подробное описание городища представлены в многочисленных публикациях В. И. Сарианиди разных лет (*Сарианиди*, 1990, 2000, 2004; *Sarianidi,* 1998, 2002). Архитектурный анализ и типология древних сооружений Маргианы освещены в книге М. А. Мамедова (2003).

Городище Гонур Депе расположено неподалеку от русла современного оросительного канала, сооруженного около 15 лет назад, и охватывает многочисленные сооружения, принадлежавшие к одному времени строительства и довольно продолжительному периоду обживания. В. И. Сарианиди обозначает этот период, как первый, так как все обнаруженные археологами постройки этого периода лежат на материке. Городище состоит из различных комплексов, названных исследователями Северный Гонур, Южный Гонур, некрополь и др. Общая площадь выявленных многолетними раскопками сооружений составляет не менее 130 га, с учетом организации охранных зон этого выдающегося памятника Туркменистана (см. далее).

Географические координаты Гонур-депе: 38°13′ северной широты и 62°02′ восточной долготы, средняя высота над уровнем моря 190 м.

Настоящее сообщение ограничивается архитектурными исследованиями центральной части сооружений Северного Гонура – Кремля, его внутренних построек, в основном, Дворца.[2]

---

[1] В названии подчеркивается то обстоятельство, что в данной публикации авторы представляют свое первое и весьма кратковременное знакомство с уникальным и грандиозным памятником за один полевой сезон 2007 г.

Пользуясь случаем, авторы выражают особую благодарность В. И. Сарианиди, руководителю научно-исследовательских работ и организатору международной экспедиции, за приглашение посетить Гонур. Основой наших исследований были архивные, историко-библиографические материалы, полевые записи и рукописи последних книг, с которыми нас любезно ознакомил Виктор Иванович.

[2] Здесь и далее все наименования принадлежат В. И. Сарианиди и поэтому даны, как имена собственные с прописной буквы.

За исключением тех редких случаев, когда разрушившиеся элементы архитектурного декора сохраняются на археологических объектах и позволяют воспроизвести подлинную реконструкцию, попытки графических реконструкций сводятся к архитектурным фантазиям.[1] Мы не стремились создать свою архитектурную фантазию, поэтому не стали разрабатывать графическую модель всего комплекса.

Очертим круг поднимаемых в данной статье проблем натурной фиксации и возможной реконструкции отдельных деталей и некоторых сооружений Кремля, с учетом анализа их архитектурных и конструктивных особенностей, не претендуя на полноту и окончательность их решения и предполагая, что основные ответы еще впереди.

1. Натурная фиксация и описание архитектурных и конструктивных особенностей сооружений.

2. Архитектурный анализ, возможные варианты графического воссоздания первоначального облика, последовательность строительства.

3. Гипотетическая пространственно-функциональная модель комплекса.

4. Возможное изображение древнего чертежа и существование счетной письменности.

5. Архитектурные особенности Дворца и их связь с возможными ритуальными процессами.

6. Систематизация некоторых реконструируемых элементов, в частности:
   - ритуальные печи и ступенчатые ниши - «Слепые окна»;
   - перекрытия – световые колодцы и фонари;
   - конструкции входных проемов, колонн;
   - своды и арки;
   - реконструкции «Песчаных комнат», «Храма с коленчатыми проемами» и комплекса «келий»;
   - проблема воссоздания интерьеров Дворца.

7. Некоторые градостроительные аспекты, проблема обслуживания Кремля.

8. Проблемы реставрации и охраны городища, как памятника культурного наследия Туркменистана.

Обмеры Кремля и Дворца

Задачей полевых работ было производство инструментальных наблюдений и фиксация всех параметров сооружений, раскопки которых были практически завершены, а также выполнение архитектурных и инженерно-конструктивных описаний. Сразу оговоримся, что нами зафиксирован только первоначальный период обживания городища, т. е. только то, что стоит на материке. Множество более поздних построек, хорошо видимых на аэрофото (рис. 1) были опущены на обмерном чертеже. Обмерные работы были осуществлены методом триангуляционных измерений, нанесенных на кроки чертежа.[2] Были

[1] Одна несомненная удача – реконструкция Парадного зала дворца в Дур-Шаррукине (**VIII в до н. э.),** благодаря найденному довольно большому отпечатку фрагмента упавшей стены с росписями и арками проемов. См.: *Heinrich*, 1984.

[2] Триангуляция выполнялась обычным оптическим теодолитом ТВ-049 -89 с допустимой погрешностью не более 100 мм на 100 м измерения и с ориентацией азимутов элементов по буссоли. Все данные обработаны на компьютере в графике программы AutoCAD, позволяющей в дальнейшем реконструировать различные варианты первоначального облика сооружений, сохранившихся в среднем на высоту не более

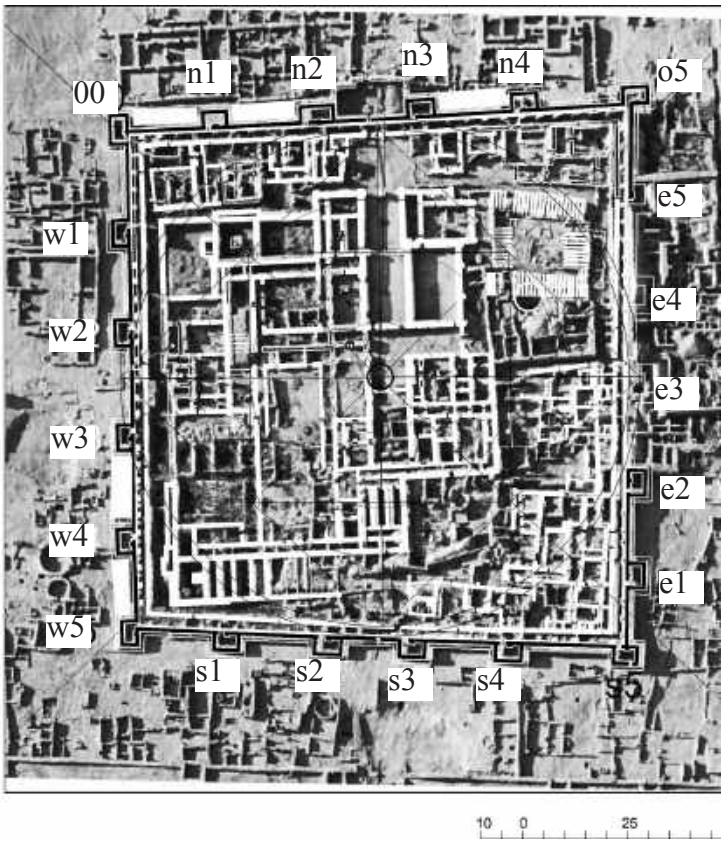


Рис. 1. Северный Гонур. План Кремля и Дворца, совмещенный с аэрофото.

исполнены замеры азимутов стен Кремля из разных опорных точек.[1] Окончательной поверкой полученных данных стало совмещение в одном масштабе обмерного чертежа с аэрофотосъемкой, которая была предварительно преобразована в масштабный ортогональный план с помощью компьютерной обработки (рис. 1). Все прочие сооружения Северного Гонура, по мере вскрытия раскопками, наносились на топосъемку геодезистами и привлечены авторами в качестве вспомогательного материала.[2]

Все постройки комплекса возведены на древнем *такырном* основании, приподнятом над окружающей местностью не менее чем на 2 метра.[3] Этот такыр, имевший по природе аллювиального образования идеально горизонтальную поверхность, видимо, и привлек

2,1 м от пола, что составляет не более 20–25% их первоначального объема. За отметку относительного нуля принят уровень порога северного входа в Аудиенц-зал (пом. 194).

[1] Дело в том, что данные авторов по вычислению направлений стен Кремля оказались несколько отличны от старых, уже опубликованных ранее. Далее анализируются полученные нами данные, что имеет принципиальное значение, т.к. на их ориентации строится гипотеза о первоначальной фукционально-планировочной схеме всего комплекса в целом.

[2] Отдельную благодарность авторы выражают топографу Какаджану Шадурдыеву, который любезно предоставил материалы многолетних съемок разных частей комплекса; эти материалы легли в основу нашего обмерочного чертежа и его детального анализа.

[3] См., в частности, инструментальную топосъемку Гонур Депе до раскопок из публикации *Gubaev et al.*, 1998, fig. 5, p. 62.

своими качествами строителей Гонура. Первоначальные сооружения возведены на нем без устройства специальных фундаментов,[1] т. е. для большинства помещений и дворов дневная поверхность такыра является полом. При строительстве всех указанных сооружений применялся сырцовый кирпич со средними размерами 43 × 26,5 × 13,5см. Заметим в дополнение, что средние размеры постели кирпича 43 × 26,5см в соотношении весьма близки к известной с древности пропорции «золотого сечения» – приближенно 8/5, значение, полученное скорее интуитивно. Средние размеры кирпича вычислены многочисленными замерами образцов, взятых из разных мест сооружений. Пропорции основных парадных помещений также близки к «золотому сечению» – ~8/5. Это указывает на высокую культуру древних строителей. Вот несколько примеров сравнения:

- пом. 194 – Аудиенц-зал 1 (габариты 12,88 м × 8,55 м) – приблизительно 8/5;
- пом. 188 – Аудиенц-зал 2 (16,54 м × 9,44 м) – приблизительно 9/5;
- пом. 196 – Тронный зал (17,88 м × 10,79 м) – приблизительно 8/5;
- пом.185 – парадный зал с ритуальной печью посредине и «слепыми окнами» (12,41 м × 6,83 м) – приблизительно 9/5;
- пом. 93 – ритуальный зал со «слепыми окнами» (13,16 м × 6,97 м) – приблизительно 9/5 и т. д.

Если высота этих помещений также укладывалась древними в пропорцию к ширине, то легко подсчитать, что высоты парадных залов были в диапазоне 5,5–6,6 м.

Необходимо отметить и хорошее владение древних мастеров кладочной техникой. Размеры кирпича в разных частях комплекса отличаются друг от друга весьма незначительно, что подтверждает тезис В. И. Сарианиди об одновременности всех сооружений. Это обусловлено, в том числе, и оптимальным соотношением веса кирпича и экономичности его изготовления.[2] Археологически установлены два этапа строительства: первый –

---

[1] Это явление хорошо известно в строительной механике грунтов, когда слежавшиеся многовековые пласты глины превращаются по прочности в бетонную массу, которую при разработках не берет даже ковш экскаватора. В строительстве имеется даже специальный термин – *каменный лесс*.

[2] Существует несколько вариантов применения строительной глины; можно выделить три основных способа:

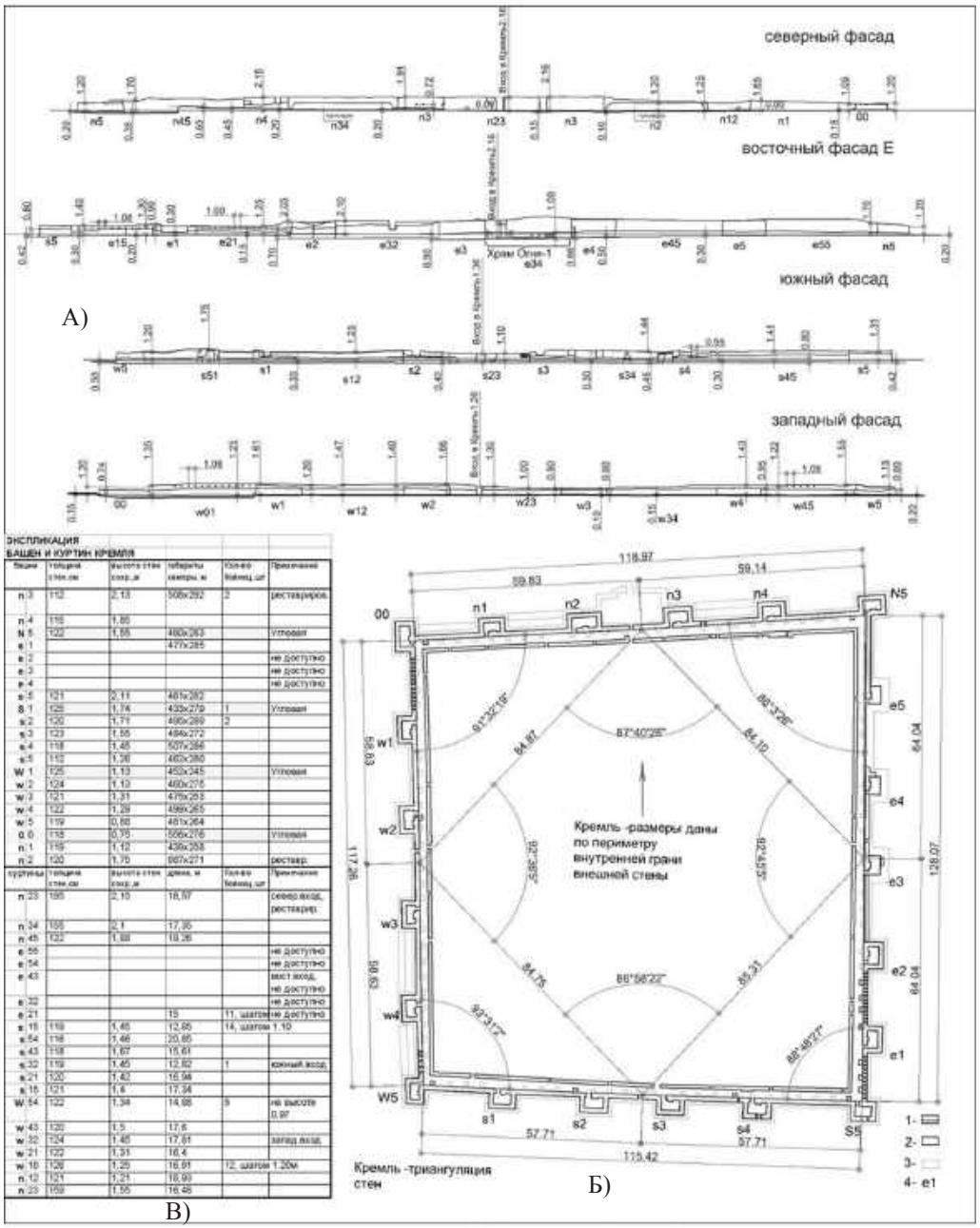
1. Возведение кладки с помощью глиняных блоков (*пахса*) высотой до метра, изготавливаемых прямо на месте будущей стены послойным трамбованием полусухой глины. Это самый простой и экономичный способ возведения глиняной стены. Однако при дальнейшем высыхании пахсовая стена давала многочисленные и непредсказуемые трещины естественной усадки, что требовало ее дополнительного ремонта и укрепления;

2. Самый распространенный способ строительства – предварительная формовка мелких кирпичных блоков, не превышающих по самой длиной стороне 25–28см с их последующим высушиванием на солнце и применением в кладке как в сырцовом, так и в обожженном виде. Кирпичи были как квадратной, так и прямоугольной формы. По размеру удобно ложились в руку каменщика и по весу (не более 5–6 кг) были удобны в подаче на леса, эти факторы были решающим в утверждении этого варианта кладки и в современном строительстве;

3. Промежуточный по размеру (между *пахсовыми* блоками и *мелкоформатным* кирпичом) вариант кладки – это изготовление кирпича крупноразмерного формата в пределах от 38 до 52 см по самой длинной стороне, вес блока в готовом виде достигал 3,5–4,5 кг, т. е. предела удобной переноски и подъема на леса вручную. При этом высота кирпича не могла превышать 13–14 см – предела, при котором неравномерность просушки вела к деструктивному растрескиванию кирпичного блока. Эти размеры, как результат, были эмпирически получены многими поколениями древних каменщиков и устойчиво не изменялись в течение тысячелетий. Крупные прямоугольные кирпичи (42–44 см длиной, 21–27 см шириной и 12–14 см толщиной) использовались и строителями Гонура.

См. также: *Убэн Ю, Гийо Ю.*, 2002, с. 15–21.

Модульные размеры кирпича могут служить достоверной основой сравнительного анализа кирпич-



ЭКСПЛИКАЦИЯ
БАШЕН И КУРТИН КРЕМЛЯ

башня	толщина стен,см	высота стен сохр.,м	габариты камеры, м	Кол-во бойниц,шт	Примечание
n.3	112	2,13	506x292	2	реставриров.
n.4	116	1,85			
N.5	122	1,55	460x263		Угловая
e.1			477x285		
e.2					не доступно
e.3					не доступно
e.4					не доступно
e.5	121	2,11	481x282		
s.1	126	1,74	432x279	1	Угловая
s.2	120	1,71	495x289	2	
s.3	123	1,55	484x272		
s.4	118	1,45	507x286		
s.5	112	1,26	462x280		
W.1	125	1,13	452x345		Угловая
w.2	124	1,12	460x276		
w.3	121	1,31	479x293		
w.4	122	1,28	498x265		
w.5	119	0,86	481x264		
0.0	118	0,75	506x276		Угловая
n.1	119	1,12	439x258		
n.2	120	1,75	997x271		реставр.

куртины	толщина стен,см	высота стен сохр.,м	длина, м	Кол-во бойниц,шт	Примечание
n.23	186	2,10	18,97		север.вход, реставр.
n.34	186	2,1	17,36		
n.45	122	1,88	18,26		
e.56					не доступно
e.54					не доступно
e.43					вост.вход, не доступно
s.32					не доступно
e.21			15	11, шагом	не доступно
s.15	119	1,45	12,65	14, шагом 1.10	
s.54	118	1,46	20,85		
s.43	118	1,67	15,61		
s.32	119	1,45	12,82	1	южный вход
s.21	120	1,42	16,98		
s.15	121	1,6	17,34		
W.54	122	1,34	14,98	9	на высоте 0,97
w.43	120	1,5	17,6		
w.32	124	1,45	17,61		запад.вход
w.21	122	1,31	16,4		
w.10	126	1,25	16,91	12, шагом 1,20м	
w.12	121	1,21	16,93		
n.23	159	1,55	16,46		

В)

Рис. 2. Кремль. Сводные обмеры.
А–- Фасады: северный, восточный, южный, западный
Б – Триангуляция периметра стен.
В – Экспликация башен и куртин.

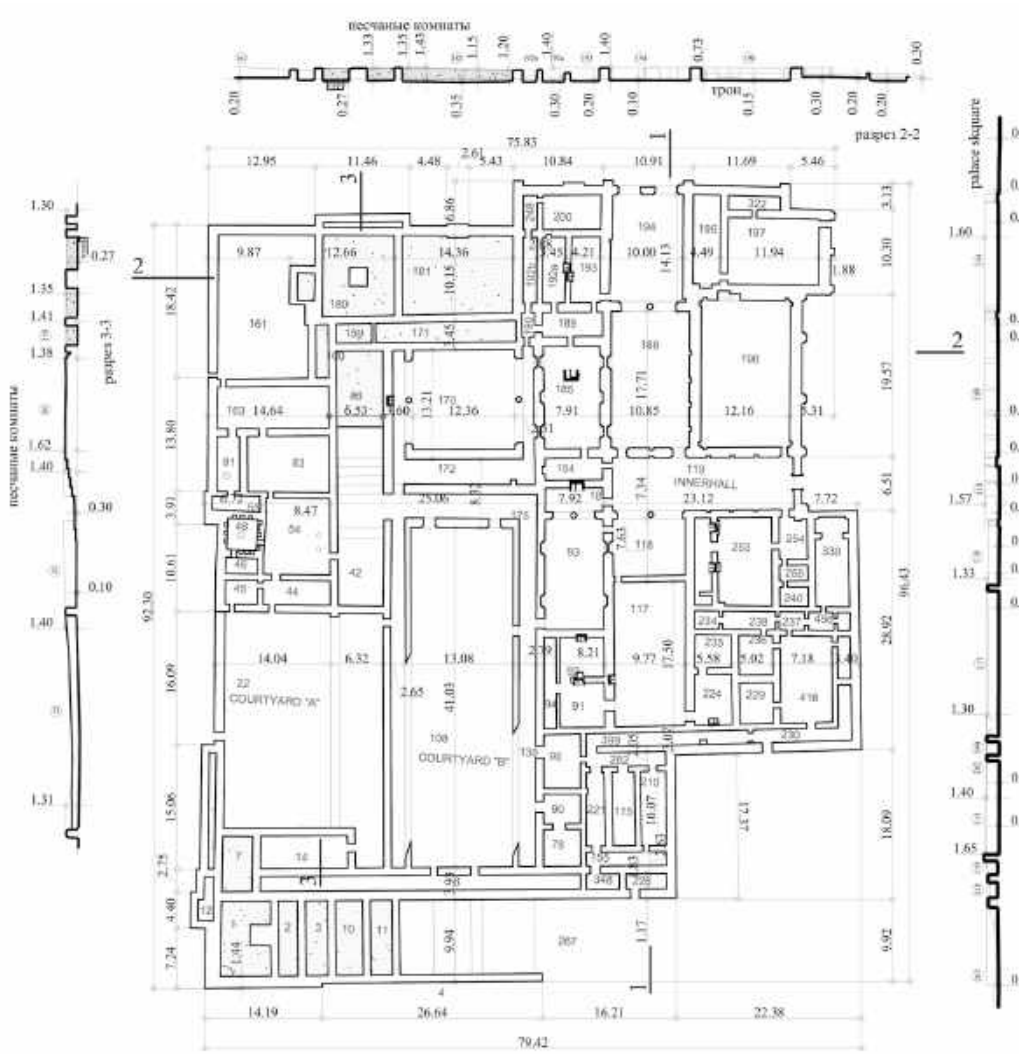


Рис. 3. Дворец. Сводные обмеры. Сечения 1-1, 2-2, 3-3

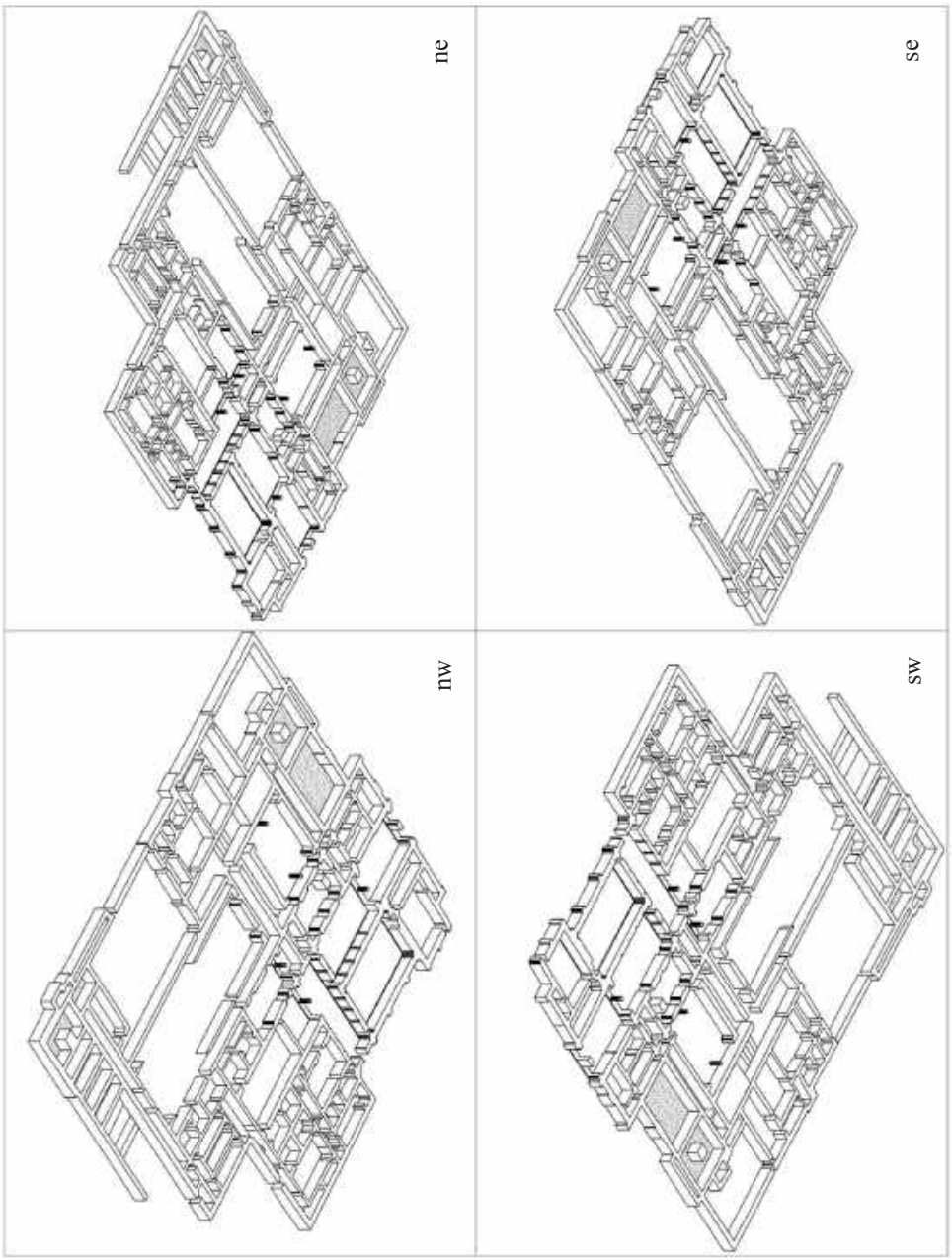


Рис. 4. Дворец. Аксонометрия общего вида:
nw – вид с северо-запада; ne – вид с северо-востока; se – вид с юго-востока; sw – вид с юго-запада

основной, когда были возведены практически все сооружения, и второй, ремонтный, после некоего события (см.: *Сариниди,* 2005, с. 58), связанного с сильным пожаром, когда были пристроены дополнительные кирпичные футляры по всему периметру стен и башен Кремля, а также возведены контрфорсы, укрепляющие обводную галерею.

Все исследуемые сооружения сохранились на высоту в пределах от 0,60 до 2,10 м от такыра.

Истинную толщину оплывших стен Кремля и Дворца при обмерах невозможно было определить обычным измерением (чертежи обмеров представлены на рис. 2–4). Поэтому построение чертежа плана основывалось на определении размеров толщины стен и длины малых простенков или ширины проема. Сначала выполнялось построение осей стен, определение их осевых направлений, затем ориентировочный размер толщины стены, ширины простенка или проема сравнивался с параметрами разработанной авторами таблицы модульной сетки, которые кратны *норме* кладки 47 × 29 × 17 см (рис. 5Б).[1] Взятые из таблицы близкие к ориентировочным измерениям параметры и принимались за истинные толщины стен и размеры простенков и проемов.

Таким образом, толщины стен, кратные норме кладки (1/2, 1, 1 S, 2 и т. д. кирпича) равны 29, 47, 58, 76, 94, 123 см и т. д. В один кирпич (норма 47 см) выполнялись перегородки, в полтора и два кирпича (норма 65 см и 92 см) – возводились внутренние стены Дворца, кроме парадных залов. Стены парадных залов, внешние дворцовые, наружные стены Кремля и башен (без футляра) – по 123 см. При пристройке ремонтных футляров, позднее, толщина стен была доведена до 210 см. Внутренние стены обводного коридора Кремля – 94 см. Стена Тронного зала, где устроена глубокая тронная ниша, достигает толщины 210 см. Утолщенные стены «Песчаных комнат» для организации второго уровня помещений также имеют размер до 210–230 см. Эти закономерности подтверждены контрольными измерениями наиболее сохранившихся частей кладки. Отклонения табличных от истинных размеров и параметров не превышают 3–5%, что вполне допустимо для сырцовых конструкций. Данной сводной таблицей можно воспользоваться и в дальнейшем для определения параметров других и вновь выявленных сооружений Гонура.

Архитектурный анализ сооружений Северного Гонура

Градостроительная картина комплекса предполагает не только его единовременность, как было упомянуто выше, но и строительство всех его элементов по единому, заранее созданному проекту, что говорит об общей высокой культуре данной популяции, несмотря на отсутствие археологических находок письменности. При анализе обмерного чертежа определились косвенные признаки какой-то счетной и знаковой письменности. Как был

ных кладок в самых различных сооружениях разных эпох и разных регионов. Так мы можем, например, утверждать, что сводчатые и купольные перекрытия, выполненные из кирпича одного и того же размера, сами должны иметь одни и те же размеры и форму, независимо от места строительства в указанном диапазоне, если другие строительные параметры совпадают. Эта методика позволяет воссоздавать недостающие или навсегда утраченные части сооружений с достаточной достоверностью. Так авторы поступили при анализе сооружений Гонур Депе, привлекая для сравнения строительные параметры других сооружений данной эпохи.

[1] Нормой кладки называется средняя сумма размеров кирпича и толщины шва в одном из направлений, взятых из обмерных образцов многократно в разных частях памятника. При сравнении нормы кладки стен, башен и других построек комплекса, выяснилось, что эти значения поразительно близки. И этот критерий является иллюстрацией высокого профессионализма строителей Гонура.

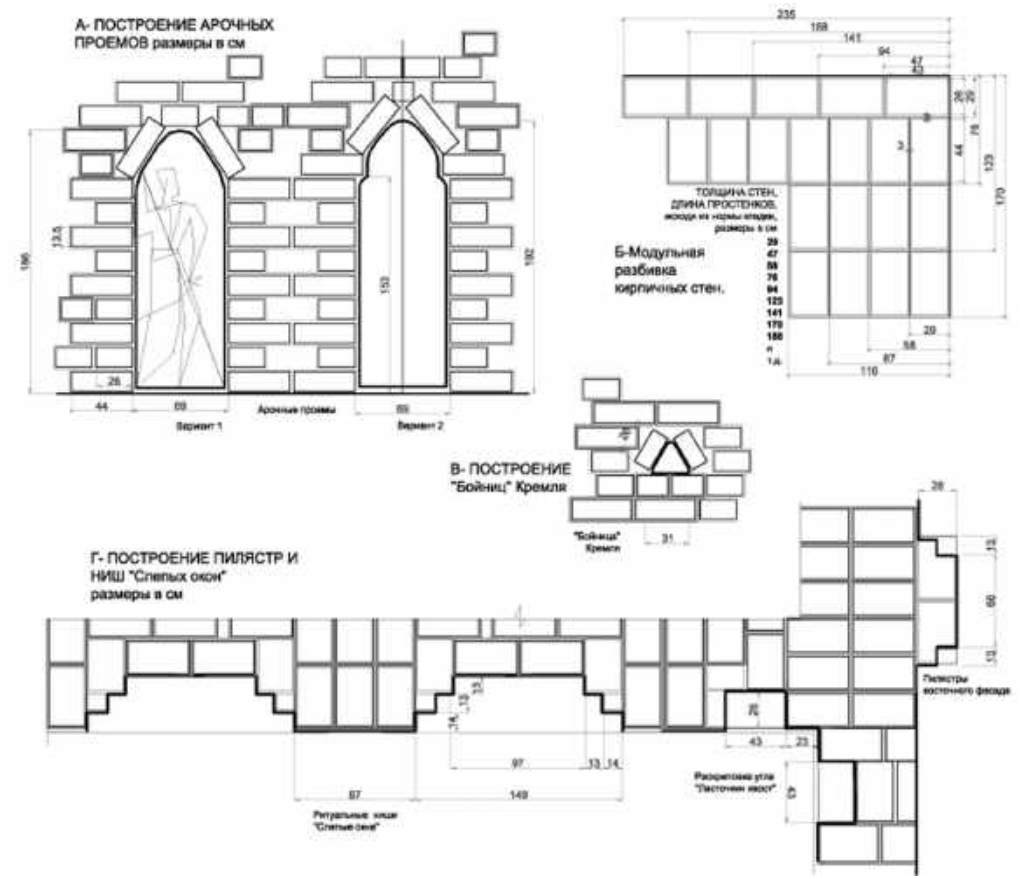


Рис. 5. Северный Гонур. Построение архитектурных элементов с помощью модуля

изображен древний проект? Возможно, чертеж – горельеф на глиняной плите или объемный макет из глины, как это представлено в находке из Мари в Сирии (наверняка, таких табличек или макетов было множество в руках древних строителей) (см. напр.: *Мамедов,* 2003, с. 92). Масштабные строительные работы, не говоря уже о правильном геометрическом построении планов сооружений, их ориентации по странам света, были бы невозможны без расчетов. Следовательно, существовала, хотя бы элементарная «счетная письменность», столь необходимая для предварительной разметки на местности, отсчета размеров, контроля над строительством. О существовании такой письменности, возможно, свидетельствует находка так называемых *токинов* (глиняные шаровидные фрагменты со схематическими знаками на них), что были найдены у северных ворот Дворца (*Сарианиди*, 2002, с. 286–287).

Обобщая изученный материал, попытаемся представить гипотетическую функционально-пространственную схему всего комплекса Северный Гонур, позволяющую графически изобразить изначальную идею древнего зодчего (рис. 6 – см. цветную вклейку).[1]

[1] Многое из первоначального в дальнейшем было искажено, как это часто бывает в истории строительства, но то, что дошло до нас при монументальных раскопках, еще предстоит осмыслить до конца, и данная модель может значительно измениться.

Мы видим, что все четыре выхода из Кремля имели связь с храмами, каждый из которых нес определенную функцию в сложных ритуалах Дворца. Вся территория Кремля также подразделялась на функциональные зоны, перечисленные в условных обозначениях представленной схемы. Дворец имел более правильные, с архитектурной точки зрения, симметричные очертания. Центральное место в композиции занимал Внутренний холл (пом. 119), который главенствовал не только функционально, как отмечали археологи, но и участвовал в архитектурно-пространственном построении всего ансамбля, что будет показано далее. Следующий архитектурный анализ посвящен проблемам графического построения отдельных деталей и частей комплекса сооружений.

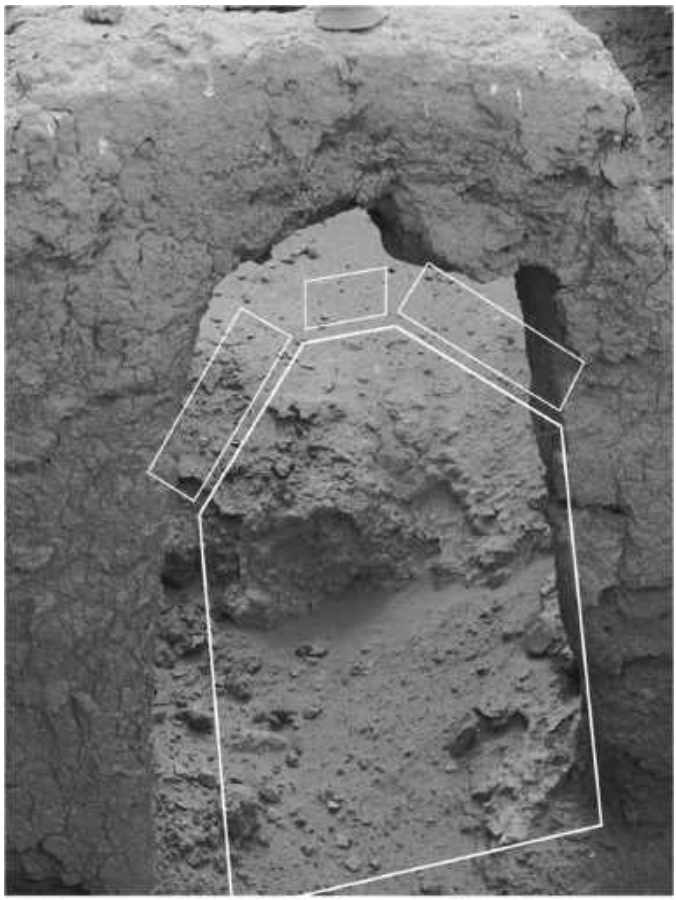


Рис. 5д. Следы арки в обводной галерее у восточной башни e5 (фото с севера).

Стены. Построение контура Кремля.

Проследим за первоначальным замыслом древнего зодчего, который предварительно разметил все сооружения Северного Гонура на огромной свободной плоскости такыра – практически готовой природной строительной площадке с примерными размерами 120 × 130 м. Похожими рассуждениями руководствовался бы и современный архитектор, при выборе площадки строительства и композиции будущего комплекса.

Исследователями отмечается особо значимое строение на огромной площади комплекса это – Храм огня. Приведем цитату, которая кажется авторам ключевой в предлагаемом построении. «…Храм огня, трижды подвергавшийся перестройке, все это время (от возникновения до упадка Гонура) оставался незыблемым оплотом религиозного культа маргушщев, ортодоксальным хранителем древних обрядов и ритуалов» (*Сарианиди*, 2005, с. 102). Напомним, что Гонур, как цивилизация, существовал не менее 600–800 лет. На рис. 7 предложена гипотетическая схема разбивки будущего контура Кремля и его башен.

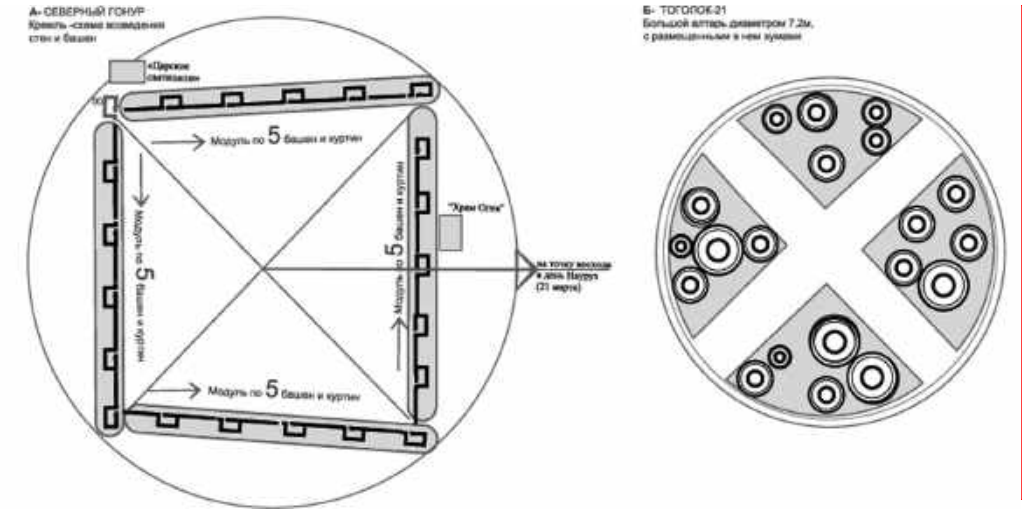


Рис. 7. Кремль. Схема возведения стен и башен.

Примечание к А: Указанное построение объясняет странную, казалось бы, ориентацию угловых башен, две из которых на восточной стене расположены *меридианально*, а оба фланка западной стены «смотрят» на север и юг, а также определенную закономерность расположения входов в башни, тяготеющих к башне 00 (видимо, от нее производился развод караула Кремля).

Предположим, что древний зодчий при размещении всего царского ансамбля руководствовался, прежде всего, взаимным расположением Дворца и Храма огня. С архитектурной точки зрения эта связь определяет направление главной планировочной оси будущего комплекса Кремля – это линия «запад-восток» или линия весеннего равноденствия, если это связано с культом начала нового года в древности.[1] Перпендикулярно к этой оси, недалеко от Храма огня, была размечена крепостная стена с *пятью* одинаковыми башнями. Это – восточная стена Кремля, которая действительно ориентирована строго по линии север-юг с отклонением всего 0,5 градуса. Вход в Кремль по указанной оси – прямо от священных алтарей Храма огня. Предположим, что *пять* башен и *пять* куртин – основа отсчета, некий градостроительный модуль, которым была выполнена разбивка, как это показано на схеме. Отложив указанным модулем размеры всех четырех сторон проектного квадрата, зодчий получил полную композицию будущего замкнутого пространства Кремля, состоящую таким образом из 5 × 4 = 20 башен. Но в периметре обвода стен насчитывается 21 башня, т. е. в нашем гипотетическом построении одна башня оказалась «неучтенной». Это северо-западная угловая башня, обозначенная на схеме цифрами 00, которая в результате замкнет всю композицию обвода Кремля. Такое обозначение башни не случайно, – авторы подчеркивают изначальную роль этой башни не только в нашем построении, но и, вероятно, в ритуальной жизни Кремля.

Об особом значении башни 00 говорит несколько планировочных элементов. По-видимому, она была неординарной, начиная с места ее расположения. Во-первых, возможно, описанная нами разбивка стен и башен по модулю начиналась именно от северо-западной башни 00, как этот процесс и показан на схеме стрелками. Во-вторых, от башни 00, вероятно, начиналась разбивка и стен Дворца, т. к. его стены оказались параллельны

[1] Напомним, что этот день отмечается у *зороастрийцев* в числе главного из семи ежегодных праздников и называется *Науруз*, особо почитаемый как начало авестийского нового года.

западной и северной сторонам Кремля, именно тем стенам, которые примыкают к башне 00. И главное, отметим немаловажный факт: рядом с башней 00 расположено так называемое «Царское святилище», *микрокомплекс*, игравший одну из главных ролей в ритуалах всего ансамбля (*Сарианиди*, 2005, с. 116). И, наконец, все входы в остальные башни как бы тяготеют к башне 00 – это наглядно демонстрируется на той же схеме.

На той же схеме (рис. 7Б) показано сравнение предложенного построения обвода Кремля с устройством большого алтаря Тоголок-21. Автор раскопок так описывает его: «Более сложным оказался второй алтарь. Для его устройства строители вырыли вертикальную шахту глубиной в три и шириной в семь метров… крестообразно встроили две кирпичные стенки, образовавшие четыре сегмента, в каждый из которых были помещены… по пять хумов высотой более метра» (*Сарианиди*, 2002, с. 175). Если обратиться к анализу его построения, то можно заметить, что и здесь использовался счет «*пятерками*»: четыре сектора в алтаре по *пять* хумов и представляют основу его композиции, то же, что и четыре стены по *пять* башен в Кремле. Двадцать первый хум, по описанию В. И. Сарианиди, был ритуально разбит и погребен в алтарном пространстве, а в обводе Кремля есть особая двадцать первая башня.[1]

Но в указанном построении, при такой модульной разбивке, в восточной стене оказалась и одна «лишняя» двадцать первая куртина, и восточная стена, следуя логике нашего (или древнего?) построения, таким образом, оказалась длиннее на одну куртину. Так форма Кремля, по построению, стала трапециевидной, что демонстрирует, попутно, и исключительность его восточного обвода, примыкающего к Храму огня. И, наконец, наш гипотетический чертеж в основных параметрах фактически совпал с обмерным; подобный ему макет мог держать в руках первый зодчий Гонура.

Башни

Башни Кремля, несли не столько охранную, сколько, по-видимому, ритуальную функцию, т. к. в каждой башенной камере размещены так называемые двухкамерные печи, которые В. И. Сарианиди относит к культовым атрибутам комплекса. «Во всех башнях… устроены печи, сложная конструкция которых говорит о том, что вряд ли они были предназначены исключительно для обогрева помещения, где мог находится караул. Больше оснований допустить, что, поскольку весь комплекс имел не только административное, но и религиозное назначение, эти печи могли использоваться для принесения жертв или возжигания священного огня в особые дни или часы» (*Сарианиди*, 2008, с. 57).

На схемах (рис. 8) можно представить первоначальный облик башен. Толщина их наружных стен была всего 1,23 м, дополнительный футляр, пристроенный во второй, ремонтный, этап, увеличил общую толщину стен до 2,10 м. Простой расчет из строительной физики показывает, что высота таких сырцовых стен не может превышать 6–7 метров в пределах своей устойчивости, а этой высоты недостаточно для эффективной обороны.

[1] Это, конечно, можно назвать простым совпадением, но в большой алтарь Тоголок-21, при желании, свободно помещались еще несколько хумов, все сосуды разного размера, поставлены хаотично, бессистемно, как представлено на схеме. Единственное, что объединяет их композицию, – это их число в сегменте, цифра 5! Культ чисел в древности известен у многих народов. Думается, что и здесь мы имеем дело с поклонением магическому числу, и это лишнее подтверждение тезиса В. И. Сарианиди о существовании счетной письменности в Маргиане. Еще один пример использования числа 5 приведен среди находок Гонура: клетки игральной прямоугольной доски, например, из погр. 2900, имеют размеры 5 × 5 см (*Сарианиди*, 2002, с. 153).

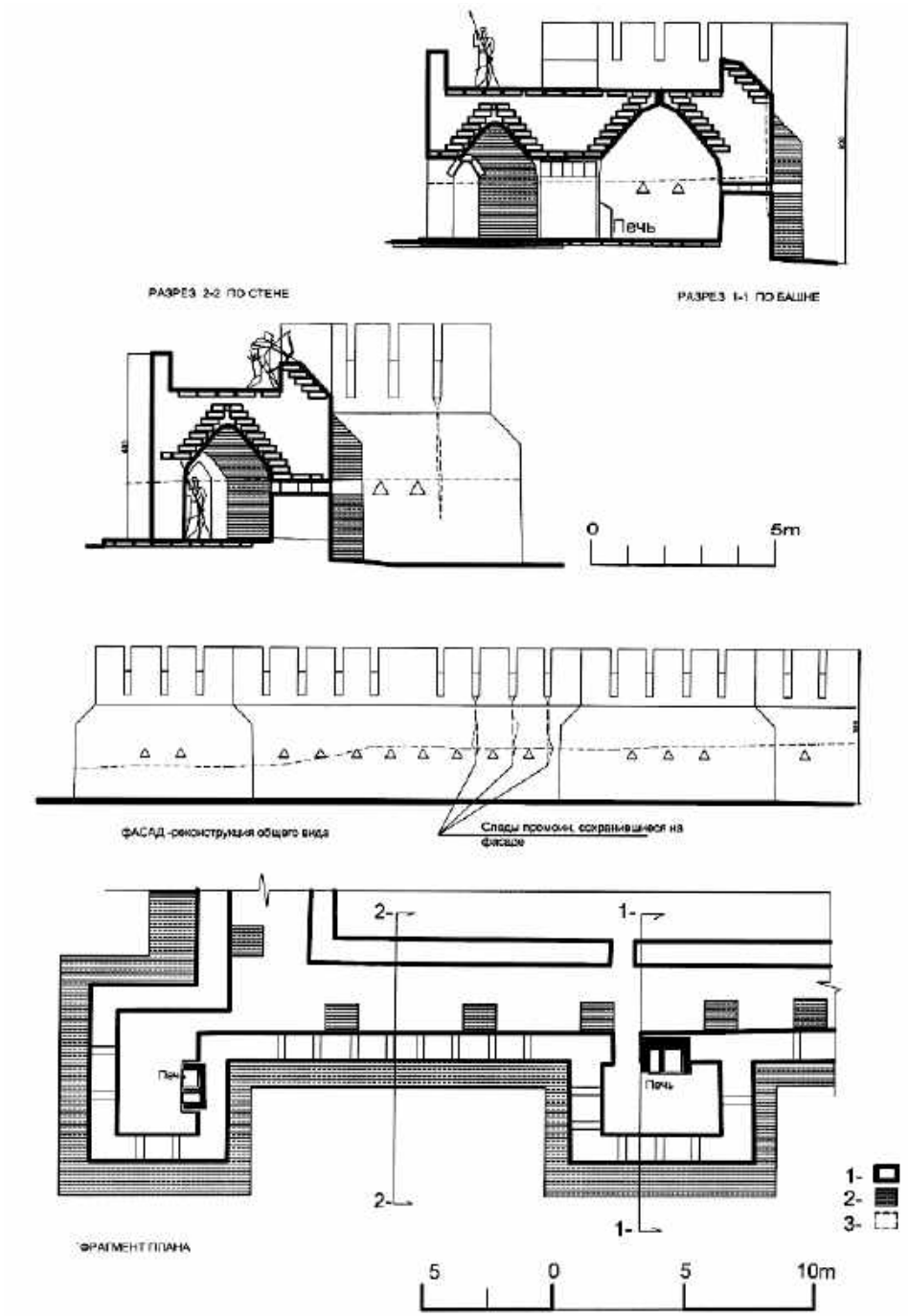


Рис. 8. Реконструкция стен и башен.

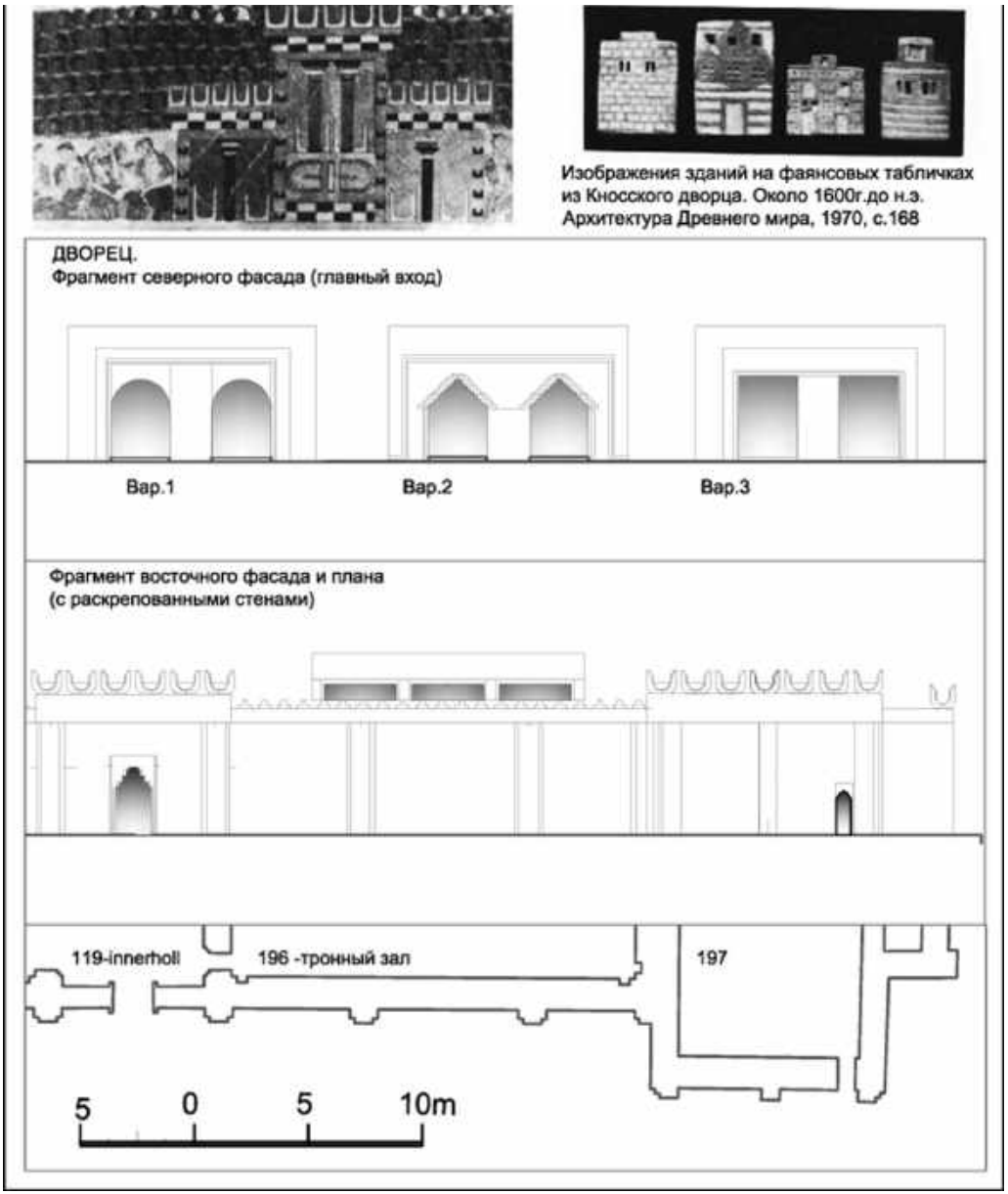


Рис. 9. Дворец. Схема реконструкции фрагментов восточного и северного фасада

Следов насильственного разрушения стен и остатков оружия археологи здесь не обнаружили, следовательно, военному нападению Гонур не подвергался. С архитектурной точки зрения фортификация Кремля, если и имела боевое назначение, то оно было скорее декоративным, устрашающим, чем функциональным и практическим.

О «мирном» характере такой фортификации говорит, в первую очередь, низкое расположение (в среднем на высоте около 1,25 м от уровня земли) узких треугольных «бойниц» – проемов, предназначенных скорее для освещения замкнутых помещений башен и обходной галереи. Они образованы двумя кирпичами, положенными углом друг другу на их длинную сторону. Их расположение и количество сохранившихся по периметру приведено в сводной табл. (см. рис. 2). Глухие камеры и галереи крепостных обводов могли освещаться дополнительно сверху с помощью световых колодцев. Но напомним, в каждой камере была еще и ритуальная печь, которая требовала постоянного присутствия персонала, а значит, естественного освещения и проветривания камеры. Отметим и тот факт, что «бойницы» могли располагаться не по всему периметру Кремля. Так, на северном фасаде, сохранившемся выше уровня «бойниц» (максимально 1,95 м) их отмечено всего две (илл. 2а).[1]

Более реальную защиту, по-видимому, создавали зубцы и стрелковые щели, завершавшие стены и башни; следы их возможного существования авторы обнаружили по следующему косвенному признаку. Так как стены и башни имели внешний защитный футляр, приложенный как укрепление их конструкций еще в *первом* периоде, то под футляром сохранилась нетронутой временем первоначальная внешняя поверхность стен. На плане линии, разделяющие первоначальные стены и футляр имеют неровности.[2] При тщательных замерах выяснилось, что характер неровностей закономерен, часть их вдавлена вовнутрь старых стен и имеет четкий шаг от 1,10 м до 1,50 м. Это характерные следы протечек в глиняных стенах от былых вышележащих узких проемов (рис. 8, вкл.). Шаг «бойниц» составляет 1,10 м–1,20 м. Если стены Кремля имели второй уровень помещений, то это следы бойниц второго этажа, или, если первый уровень сразу завершался зубцами, то это щели между ними. Характерно, что указанные следы протечки расположены между «бойницами», и это объяснимо, иначе ливневые натеки сверху заливали бы жидкой глиной нижние проемы. Итак, стены Кремля имели еще один ряд настоящих бойниц, если существовал второй уровень обороны или стены сразу завершались зубцами со стрелковыми щелями. Вторая версия, как более вероятная, изображена на схеме (рис. 8, вкл.).

Дворец – царский ритуально-храмовый комплекс.

В описании В. И. Сарианиди (в упомянутых публикациях) северный фасад и вход во Дворец являлись главными – им отводилась особая роль в царских церемониях. С точки зрения архитектурно-планировочной композиции не менее значимым и парадным был восточный фасад, единственный украшенный сложными ступенчатыми пилястрами

---

[1] Не исключено и предположение, что северный фас кремлевской стены был оформлен особо. «Бойницы» на нем могли находиться на более высоком уровне, чем на других стенах кремля, или же там имелся только верхний их ряд. Нельзя также не учитывать, что именно северная стена была сильнее других разрушена во время пожарища, именно она укреплена мощными контрфорсами, устроенными во второй период строительства, возведение которых могло нарушить первоначальное оформление стены – *Прим. Ред.*

[2] Такие неровности прослежены в куртинах s35 и s45 в южном обводе. Они хорошо читаются на глине после дождя, но, чтобы запечатлеть это на фото, необходимо приподняться на несколько метров над уровнем стены.

Здесь далее: куртины и башни соответственно s – южного; n – северного; e – восточного, а w - западного фасов Кремля.

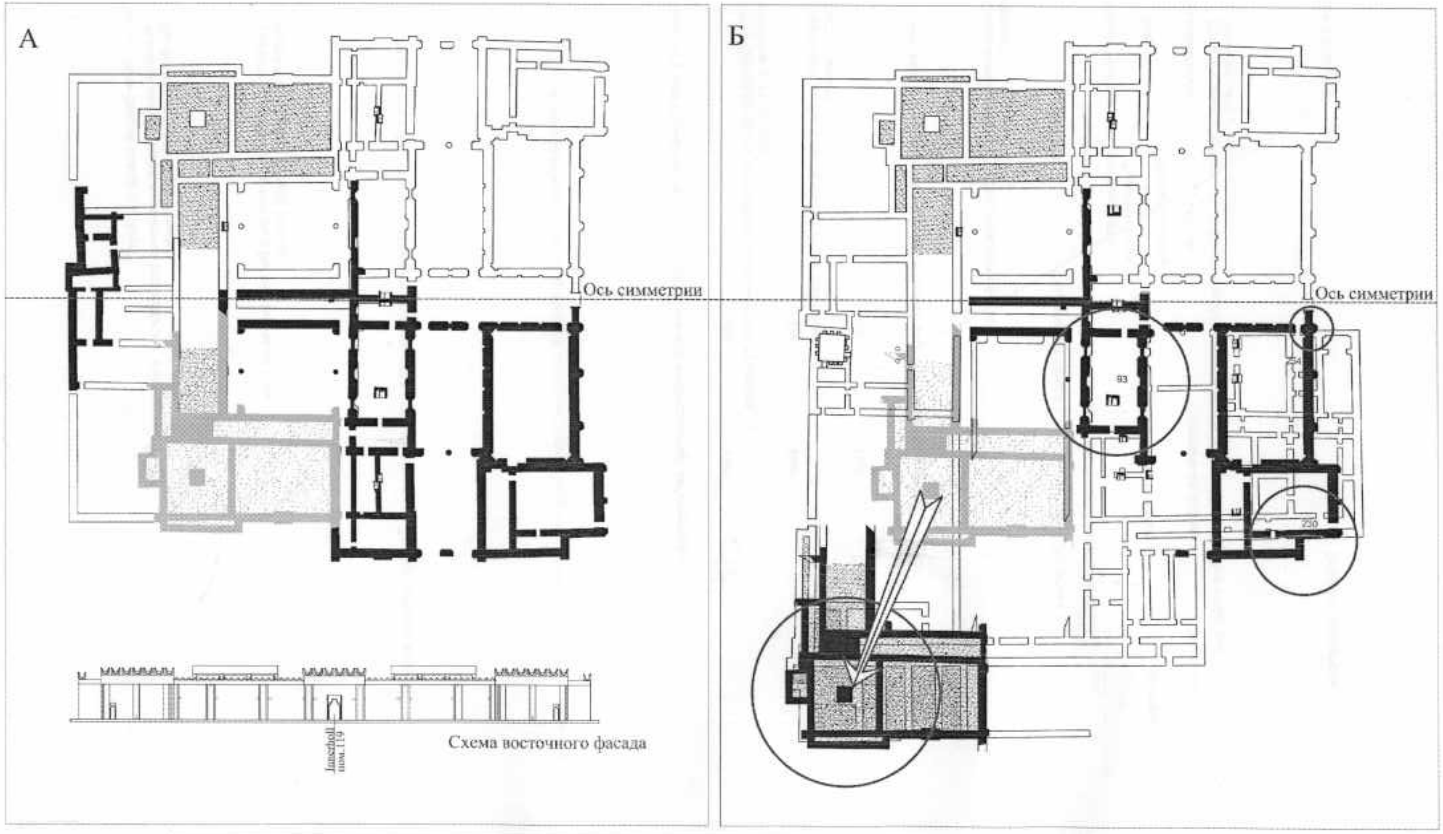


Рис. 10. Анализ гипотетического построения дворца.

А – схема симметричного построения относительно главной планировочной оси.
Б – схема наложения гипотетического плана А на существующий. Кружками обведены места совпадения симметрично отраженных фрагментов с существующими.

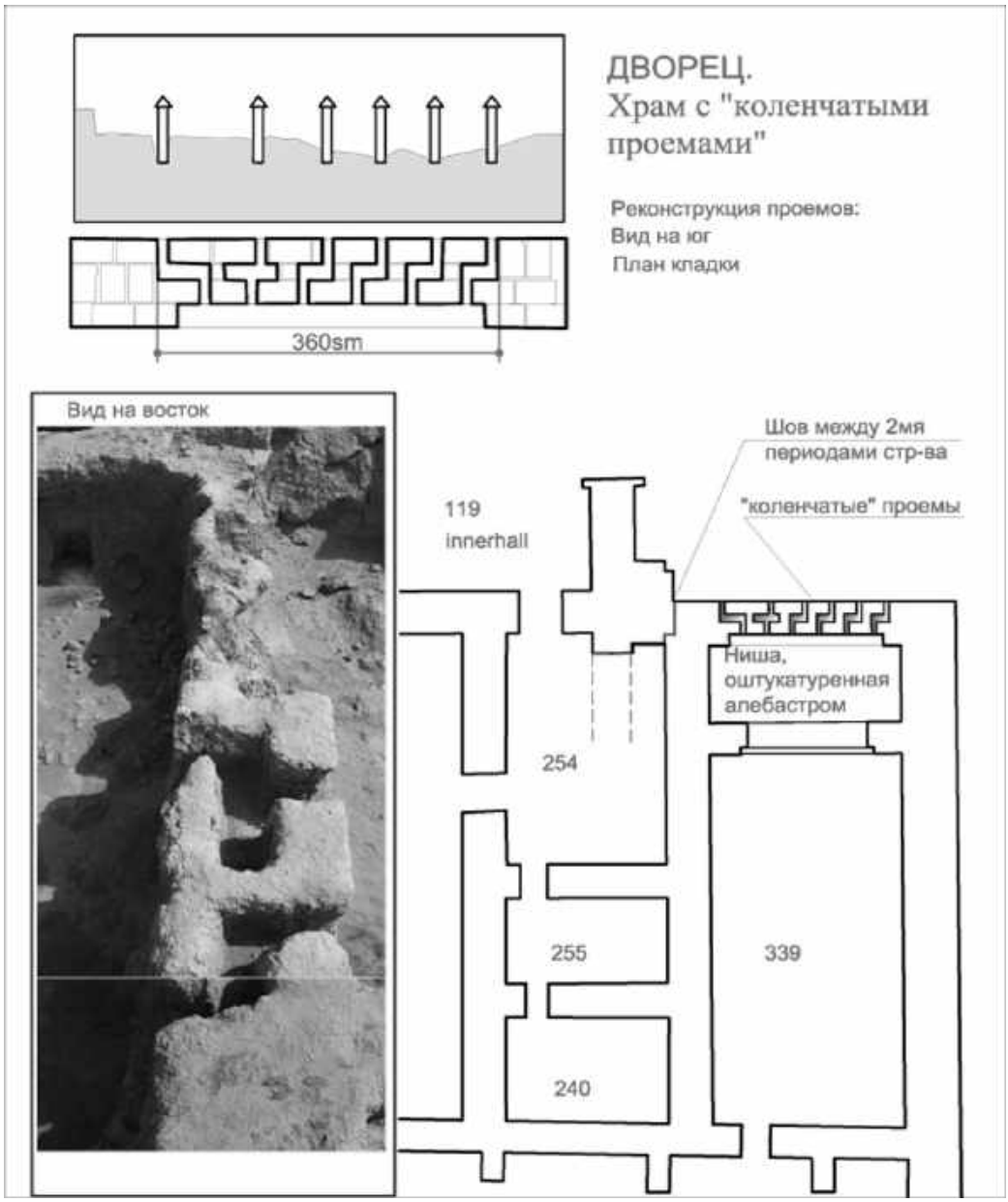


Рис. 11. Дворец. Помещение с «коленчатыми проемами в стенах» (пом. № 339).

(рис. 9).[1] Уже упоминалось, что возможная планировочная ось Кремля – это направление запад-восток. Та же ось, по первоначальному замыслу древнего зодчего, стала осью симметрии в основе построения плана Дворца и совпала с осью входа Внутреннего холла

[1] Этот фасад также был, вероятно, и неким «фоном» культовых церемоний, т. к. он обращен на площадь, которая связывает Дворец и Храм огня.

Рис. 12. Дворец. Схема расположения ритуальных печей и ниш «слепых окон»

(пом. 119). Существуют детали, указывающие на то, что первоначально был задуман строгий симметричный план всей композиции. На схеме показан условный первоначальный замысел плана Дворца (рис. 10). Затем, как это часто бывает в архитектурной практике, еще в процессе строительства или при поздней перестройке юго-восточного угла Дворца, «*симметричный*» план был утрачен. На схеме видны возможные изменения, которые происходили во время строительства Дворца. Элементы, при отражении северной части комплекса совпадающие с существующими, обведены окружностями. Также прослеживается следующая планировочная особенность южных «Песчаных комнат»: их композиция

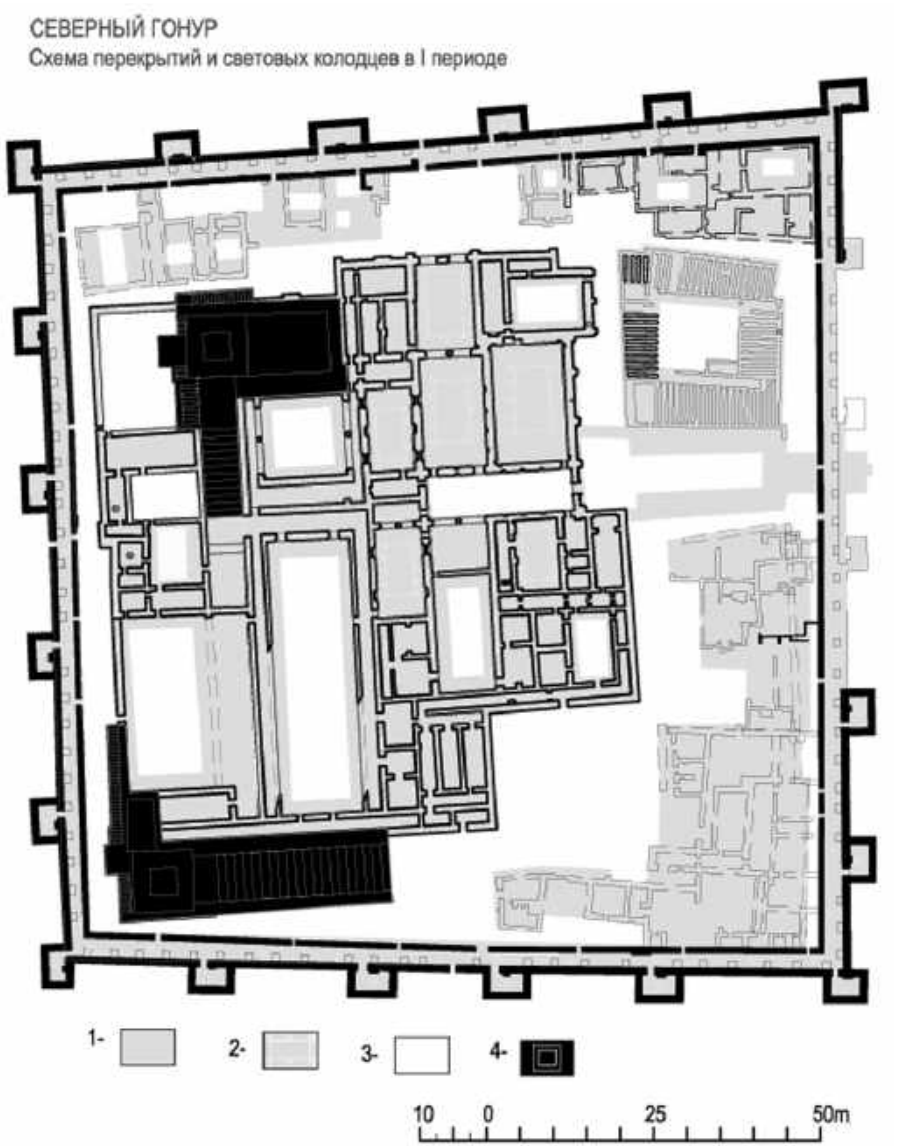


Рис. 13. КРЕМЛЬ. Схема организации перекрытий и световых колодцев.
Условные обозначения: *1* – перекрытые помещения; *2* – полуоткрытые пространства, световые колодцы на колоннах; *3* – открытые пространства, дворы; *4* – помещения 2-го уровня, башни.

в основе взята из планировки северных «Песчаных комнат», которые при зеркальном отражении, «превращаются» на схеме в южные, совпадая во многих деталях при их наложении друг на друга, как видно на схеме (рис. 10).

На этой же схеме показаны косвенные признаки существования ранних симметрично зеркальных помещений. Во-первых, сохранился фрагмент продолжения восточной стены Дворца, который выглядит сегодня, как выступ в помещении № 254. Во-вторых, сохранился шов примыкания новой стены Дворца к ступенчатой пилястре у Внутреннего холла

(в пом. 339), который можно увидеть на плане (рис. 11). Возможно, в завершающей стадии строительства, южная часть Дворца претерпела значительные отступления от первоначального замысла. Были добавлены большие внутренние дворы, а главное полностью перестроен юго-восточный угол Дворца. По каким-то причинам южная часть восточного фасада была разобрана и к пилястре восточного входа пристроено помещение № 339 – «помещение с коленчатыми проемами в стене».

По-видимому, это помещение играло важную роль в ритуалах Кремля. Это подтверждается и его месторасположением *непосредственно у входа* во Внутренний холл (пом. 119) (см.: *Сарианиди*, 2005, с. 61). В помещении храма была устроена особая ниша с подиумом, украшенная по бокам двумя раскрепованными углами, оштукатуренная, предположительно, алебастром. В стене ниши, выходящей на площадь перед Внутренним холлом и были расположены особые «коленчатые» проемы на метровой высоте от пола. Проемы устроены так, что заглянуть сквозь них в храм невозможно. Можно предположить, что через эти проемы окуривались ритуальными благовониями входящие во Дворец (илл. 11).

Систематизация некоторых архитектурных элементов

Ритуальные печи и ступенчатые ниши («Слепые окна»)

Эти архитектурные элементы подробно описаны у В. И. Сарианиди (2005, с. 61–62) и имеют, по его мнению, ритуально-культовое назначение. Отметим только некоторые архитектурно-планировочные особенности этих важных деталей Дворца; эти особенности наглядно продемонстрированы на схеме (рис. 12) (печи и ниши особо выделены графически). Таким образом, отметим следующее. В системе многочисленных помещений в расположении печей и ниш, хаотичном на первый взгляд, видна определенная закономерность. Ниши «слепые окна» расположены только в продольных стенах Дворца, т. е. ориентированы исключительно на восток или запад. Только пять помещений Дворца содержат ритуальные ниши – это пом. 170, 185, 188, 18 и 93, занимающие центральное положение во Дворце. В каких целях точно использовались ниши, определить трудно, т. к. в них не найдено следов живописи или мозаики, по которым моно судить о функции этих архитектурных элементов. Также как и на всей территории Кремля не найдено следов архитектурных деталей интерьеров или декора. Не обнаружено ни в одной нише никаких культовых предметов, нет следов копоти, которая всегда образуется при длительном горении светильников. Единственное, что определяет их ритуальную функцию – это обмазка белым раствором, предположительно, алебастром.

Ритуальных печей во Дворце – всего 12 штук. Печи также планировочно взаимосвязаны – почти все они расположены на продольных осях – линиях «север-юг» и встроены в стены помещений. Исключение составляет лишь одна печь, которая расположена посредине «Царского святилища» (пом. 185), устроена на подиуме и по размеру несколько больше остальных. Напомним, что в башнях Кремля имеется еще 21 печь. Итого их 33 – такое количество говорит о весьма важной роли, которая им отводилась в жизни Кремля.

Схема организации перекрытий и световых колодцев

В планировке Дворца и прилегающих помещений *первого* периода можно заметить закономерности в чередовании закрытых, полуоткрытых и открытых пространств. Их последовательность, взаимосвязь позволяет восстановить *возможное* утраченное перекрытие комплекса (рис. 13, 14).

Колонны

По археологическим данным, колонны были деревянными: найдены следы сгоревшего дерева на месте их основания. Сгоревшая балка длиной 6 м, скорее всего от перекрытия зала, но, возможно, колонна, обнаруженная в Тронном зале Дворца – фактическое подтверждение существования деревянных конструкций. Система перекрытий невозможна без применения колонн, балок и подбалок. Также, вероятно, существовали фонари верхнего света (световые колодцы) – единственный источник естественного освещения для внутренних помещений Дворца. Окна, как архитектурный элемент освещения в наружных стенах, отсутствуют в сооружениях данной эпохи.

Применение дерева носило, вероятно, исключительный характер. Деревянные изделия, как конструктивный материал, применялись только в больших парадных залах, как стоечно-балочные системы перекрытий, а также изготовление деревянных потолков – это элементы, без которых невозможно организовать убранство больших пространств. Заполнение проемов дверными блоками нигде не зафиксировано (археологами отмечен лишь единичный след углубления в пороге от предполагаемой оси двери).

Полы

Полы в своей основе – поверхность естественного такыра грунтового основания, на которой возведены все конструкции Северного Гонура. Но во многих особых помещениях, таких, как парадные залы, храмы, другие ритуальные помещения, полы покрыты белой, вероятно, алебастровой обмазкой, – «знак особой чистоты этих помещений» (В. И. Сарианиди).

Своды и арки

В пределах Кремля не найдено ни одного примера свода или купола, так как сохранность стен по высоте гораздо ниже возможного уровня пяты предполагаемых распорных перекрытий. Арки узких проемов (до 70 см), образованные двумя кирпичами, поставленными под углом в распор, были двух типов (рис. 5А). Эти единичные примеры арок трапециевидного профиля отмечены всего в двух местах – один из входов в обводную галерею Кремля на куртине n34 и арочный вход в восточном обводе у башни e5 (рис. 5д). Наиболее близкий к реальности вариант применявшегося свода – безраспорный, образованный напуском рядов кирпича (консольная кладка) (рис. 8, вкл.). Так могли быть перекрыты все узкие помещения, обводные галереи и камеры башен Кремля. Как след ложного свода, в одной из камер южной башни s5 зафиксирован сдвиг нескольких кирпичей верхнего ряда, но такой сдвиг мог произойти и позднее. Можно предположить, что большинство сводов были выполнены консольной кладкой. С помощью штукатурки, создавались выравнивание и дополнительная кривизна внутренних поверхностей ложных сводов. Следы такой штукатурки замечены в некоторых местах обводной галереи Кремля.

Пример распорного свода из погребения № 1300 *некрополя Гонура* (*Сарианиди*, 2001, с. 31) пролетом 1,55 м не может быть использован для организации перекрытий более крупных помещений Дворца, хотя также не исключено применение подобного свода в узких помещениях шириной не более 2 м. Широкие проемы, имеющиеся в парадных залах (шириной более 3 м) перекрывались, скорее всего, деревянными перемычками, хотя не исключен вариант частичного напуска рядов кладки в виде ложной арки.

Рис. 14. Дворец. Разрезы 1–1, 2–2, 3–3. Схема реконструкции.
А – разрез север-юг (1-1); Б – разрез запад-восток (2-2); В – разрез север-юг по «Песчаным комнатам» (северный комплекс) (3-3).

Проблемы исследований

«Песчаные комнаты»

Культуры, развивавшиеся на ирригационном земледелии, вне зависимости от географического расположения и времени существования испытывали необходимость в систематических астрономических наблюдениях. «Известно, что в Месопотамии небо вместе с небесными светилами считалось принадлежностью царя…» (*Сариниди*, 2005, с. 69). Наблюдения *гелиакического* восхода[1] позволяли жрецам предсказывать разлив реки. Такими культово-астральными наблюдательными пунктами и были, возможно, комплексы так называемых «Песчаных комнат», расположенные в системе помещений Дворца. При открытии этих помещений археологами установлено, что все они были заполнены плотным речным песком и не имели входных проемов. Наиболее вероятно, это сохранившаяся часть цоколя какого-то высокого сооружения. В данном случае, использована конструктивная особенность песка, который, будучи заключен, в замкнутое пространство становится практически несжимаемым. Это позволяет возводить на его поверхности довольно высокие и тяжелые сооружения. В то же время песок гигроскопичен, легко поглощает ливневые потоки без существенной деформации всей конструкции.

В ансамбле Кремля описаны северный и южный комплексы «Песчаных комнат», имеющие схожие элементы планировки, что позволяет предположить и их одинаковое функциональное назначение. *Северный комплекс* расположен внутри дворца, в северо-восточном углу Кремля. Это комплекс помещений: 88 – главная лестница, 159, 160, 171, 181 и прилегающее помещение 180 с мощным кирпичным столбом («тумбой») посредине. Все стены комплекса и столб сохранились на высоту 1,30–1,40 м.

Южные «песчаные комнаты» расположены вне стен дворца в юго-западном углу Кремля и состоят из помещений 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12. В помещении 1 также есть кирпичный столб – «*тумба*». Стены этого комплекса помещений сохранились на высоту от 0,5 м до 2,0 м. (рис. 15). Важное их отличие друг от друга в том, что северный комплекс был непосредственно расположен в системе помещений Дворца и имел главный вход из его внутренних покоев. На парадную лестницу южного можно было попасть, минуя Дворец, эта лестница расположена рядом с проемом южного городского входа Кремля.

Известны примеры, когда конструкция, подобная описанным «Песчаным комнатам» могла служить платформой для более высокого сооружения, план которого размещается прямо на песке и не совпадает с контуром цоколя (рис. 15). Это обстоятельство значительно усложняет реконструкцию второго уровня помещений, если он существовал в архитектуре «Песчаных комнат».

В качестве примера использования платформы из песка можно привести дворец Топрак-кала (2–3 вв. н. э.), который возведен на высокой (14 м) платформе из песка и глиняных блоков, заключенных в панцирь из толстой сырцовой кладки. Поднимались на него по широкой лестнице, охраняемой башней. Особенностью памятника является то, что стены его верхних построек покоятся на песке, используемом как фундамент и одновременно как дренаж с целью отвода воды из открытых помещений и крыш (Топрак-кала, 1984).

---

[1] *Гелиакический* восход – восход тех или иных небесных светил в лучах утренней зари, незадолго до восхода солнца. На примере одного уникального хорезмского памятника можно предполагать существование астрономического аспекта в древних обрядовых культах: Кой-крылган-кала…, 1967, с. 251–264.

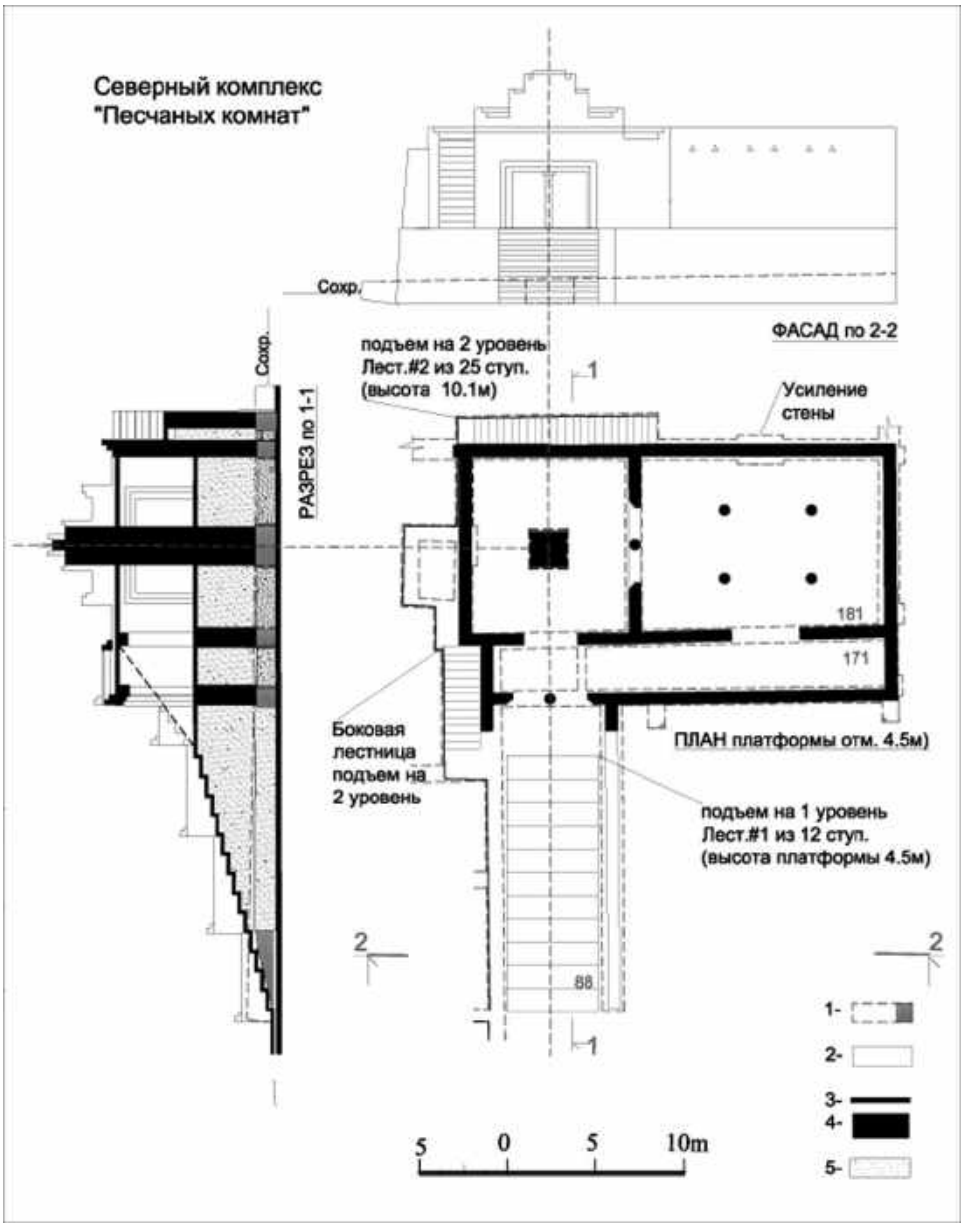


Рис. 15. Дворец. Схема реконструкции храма – башни «Песчаные комнаты»
А – Северный комплекс. План, разрез, фасад.
Условные обозначения: *1* – линия сушествующего цоколя; *2* – линия реконструкции 2-го уровня; *3* – полы, перекрытия; *4* – кирпичные стены; *5* – засыпка песка.

Исходя из предполагаемой астрономической и культовой функции, сооружение «Песчаных комнат» должно быть выше окружающих построек. Определить высоту уровней верха платформы и башни можно с достаточной степенью достоверности по анализу размеров нескольких сохранившихся ступеней (пом. 88) и длине помещений, предназначен-

ных для лестниц. Все построения графической реконструкции базировались на принятом нами модуле – величине размеров сырцового кирпича.

Для краткости, реконструкцию каждого комплекса «Песчаных комнат» в описании назовем условно *«храм-башня»*.

Гипотетическая модель – 1 вариант реконструкции.

• *Северный «храм-башня».*

«Храм-башня» состоит из двух уровней помещений. Первый уровень – высокая платформа, полностью заполненная песком, которая является полом *храма*. Второй уровень – это эксплуатируемая кровля помещений *храма*, на которую и выходит башня, опирающаяся на монолитное сооружение названное археологами «тумба» (пом. 180).

Двенадцать террасных ступеней главной лестницы № 1 (пом. 88 размерами 5,54 × 18,42 м), восходят, вероятно, к одно- двухколонному портику – входу в помещения храма (180, 181). Это первый уровень сооружения – предполагаемая высота цоколя платформы до 4,5–5,0 м. К помещениям *храма* с северной стороны пристроен узкий «пенал». Несомненно, это – основание лестницы № 2 и подъем на второй уровень сооружения (25 ступеней). Высота второго уровня, исходя из расчетов графической реконструкции 10,0–11,0 м. Следует обратить внимание на утолщения стен именно там, где стены наиболее подвержены давлению большой массы песка (рис. 15).

• *Южный «храм-башня».*

Сохранившаяся часть цоколя подтверждает гипотезу о достаточно высоком сооружении: широкая южная террасная лестница № 1 (пом. 3, 10, 11 – общий габарит 11,13 × 21,62 м; 15 ступеней) поднимается к главному фасаду *храма-башни*, также возможно имеющему одно-двухколонный портик (пом. 1, 2, 7) на первый уровень. В данном случае высота цоколя 4,5–5,0 м. Такое же узкое помещение (№ 12), как и в северном комплексе, пристроено вдоль помещений храма (1 и 7) и также являлось основанием лестницы № 2 на второй уровень. По расчету лестница состояла из 35 ступеней, и высота второго уровня равнялась 10,0–11,0 м. (рис. 16.) Южная внешняя стена обвода «Песчаных комнат» имеет усиление толщиной (141 см) – бо́льшей, чем остальные стены (123 см). Но и этого оказалось недостаточно для будущей высокой конструкции: юго-западный угол был усилен еще и внутренним полукруглым контрфорсом, в самом уязвимом месте, где давление высокой массы песка было наиболее значительным. По законам строительной физики такое усиление стен позволяет создать массив платформы не менее 5 метров в высоту. Уклон главной лестницы № 1 дает по расчету близкий результат 4,5–5,0 м. Узкая лестница – «пенал» № 2 по западной стороне «храма башни» (пом. 12) с уклоном не менее 45 градусов также ведет наверх.[1] Ее длина позволяет подняться на 10,0–11,0 м. Это был второй уровень храма-башни (рис. 16).

В новоассирийском дворце в Дур Шаррукин (дворец Саргона II, резиденция «L») также существует узкая лестница, ведущая на второй уровень (рис. 17 – см. цветную вклейку). Дур-Шаррукин – Дворец VIII в до н. э. Его описание дано Э. Хайнрихом: «пройдя приемный зал, по правую руку резиденций «L» находится лестница … Это – лестница на

[1] Величина ступеней определена, исходя из габарита кирпича: подъем 0,26 м (кирпич «на ребро»), ширина ступени для узких лестниц – 0,44 м (длина кирпича), для главной лестницы – 1,32 м (три длины кирпича).

крышу. Лестница из 10 ступеней, обмазана алебастром, прямая, безвозвратная, устроена по засыпанным строительным мусором узким (около 1,7 м) помещениям 87, 88» (*Heinrich*, 1984, p. 101, p. 154–156, 162; Хеттская и Сирохеттская архитектура, 1970, с. 117). Кроме «лестницы на крышу», описанной Э. Хайнрихом, в пом. 121 резиденции «L» есть мощное утолщение стены, в сопоставлении с нашим примером – кирпичный столб-«тумба» из пом. 180. По-видимому, в обоих случаях, это опора для сооружения 2-го уровня (рис. 17 – см. цветную вклейку).

Композиционное построение планов «песчаных комнат» в некоторой степени подходит под определение *бит хилани*: храм компактной закрытой снаружи конструкции, содержащей два длинных помещения, главные оси которых параллельны фасаду. Узкая лестница на второй уровень расположена вне контура плана помещений. Но поскольку комплексы «песчаных комнат» значительно старше храмов Северной Сирии, называемых *бит хилани*, то можно предположить, что планировочная композиция «песчаных комнат» могла предвосхитить такие постройки, как *бит хилани*. Б. А. Литвинский, цитируя Франкфора, пишет: «”…*бит хилани* – это дворец (или храм) с двумя длинными узкими помещениями, причем продольная ось их обоих параллельна фасаду. Одно из них имеет портик с одной-тремя колоннами (в некоторых случаях с двумя). Ступенчатый подъем на 2 этаж располагается близ одной из сторон портика” [*Frankfort*, 1952, с. 120]. В некоторых случаях для лестницы имеется угловое помещение. *Бит хилани* – термин аккадского происхождения» (*Литвинский, Пичикян*, 2000, с. 248–252, 257). Упоминая *битану* – тип храма-дома со вторым этажом, Т. В. Корниенко (2006, с. 16), со ссылкой на И. М. Дьяконова, дает интересное описание месопотамских храмов, которые имели четыре отличительные признака: 1 – многовековое наслоение построек на одном месте; 2 – высокая искусственная платформа, на которую ведут широкие лестницы или пандусы; 3 – трехчастная планировка вокруг внутреннего двора; 4 – членение наружных фасадов на равномерный ритм ниш и пилястр (*Корниенко,* 2000, с. 177).

Таким образом, *1 вариант гипотетической модели* северных и южных «Песчаных комнат» – это двухуровневый *храм-башня*, с одно- или двухколонным портиком. На первый уровень вела парадная церемониальная лестница № 1, на второй уровень – избранные (царь, жрец), поднимались по боковой лестнице. Для обслуживания храма-башни предназначалась узкая лестница № 2 вне контура Дворца, которая поднималась сразу на второй уровень.

Гипотетическая модель – 2 вариант реконструкции

Но, возможно, комплексы «Песчаных комнат» не содержали помещений, представляя некую двухуровневую пирамидальную башню. Контур сохранившихся стен – цокольная часть ограждающей конструкции высокой платформы первого уровня, заполненной песком. Стены второго уровня, возможно, возводились на песчаном основании, не повторяя контура первого. И контур стен второго уровня также был заполнен песком. На платформу вела широкая главная лестница № 1 и далее по узким лестницам № 2 («пеналам» на плане) можно было подняться на ритуальную башню, как это изображено на разрезах (рис. 14Б, В).

Представленные варианты реконструкции выражают только возможные направление и принцип построения этих важных компонентов для понимания всего архитектурно-функционального образа Северного Гонура, предполагая продолжение исследований на их основе.

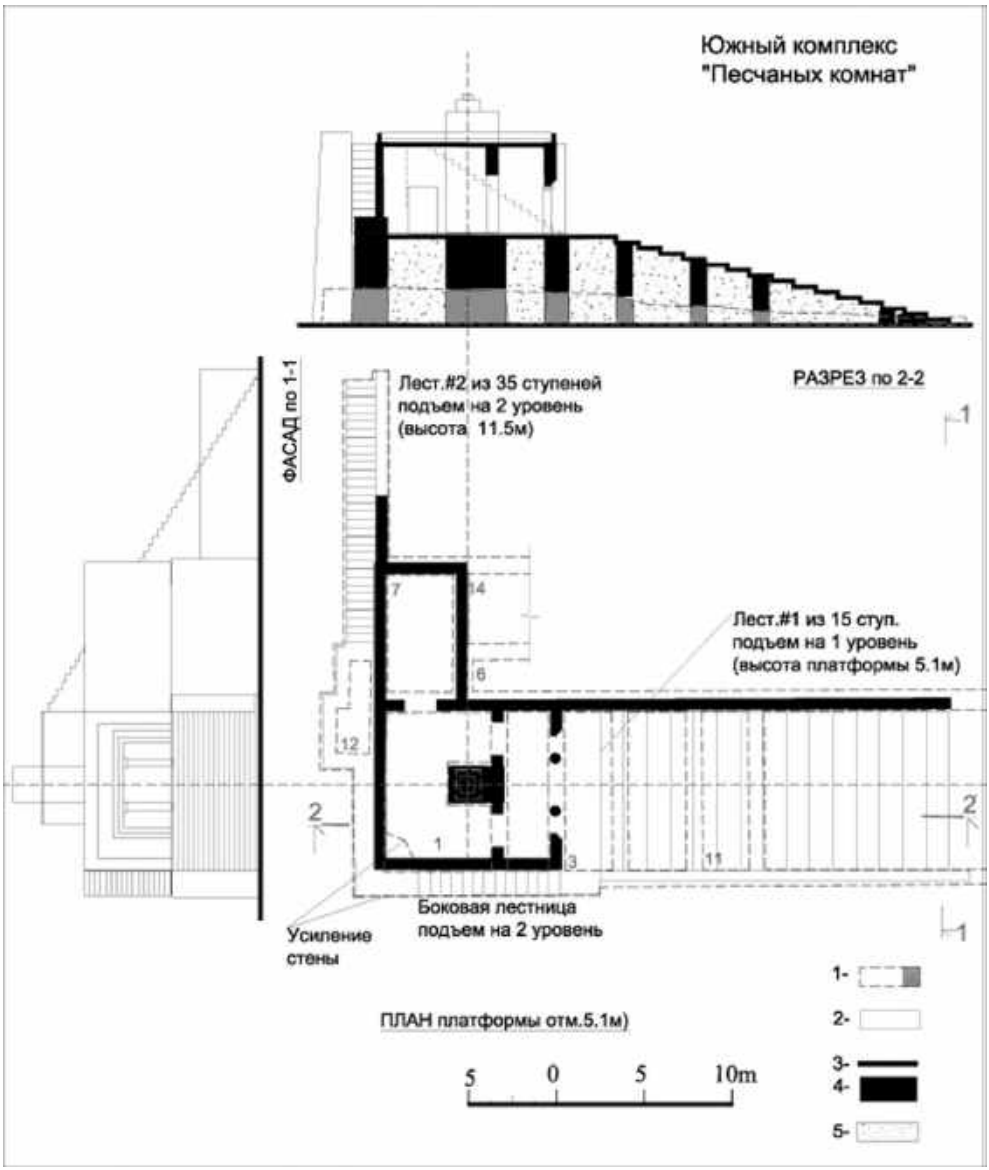


Рис. 16. Дворец. Схема реконструкции храма-башни «Песчаные комнаты».
Южный комплекс. План, разрез, фасад.
Условные обозначения те же, что на рис. 15.

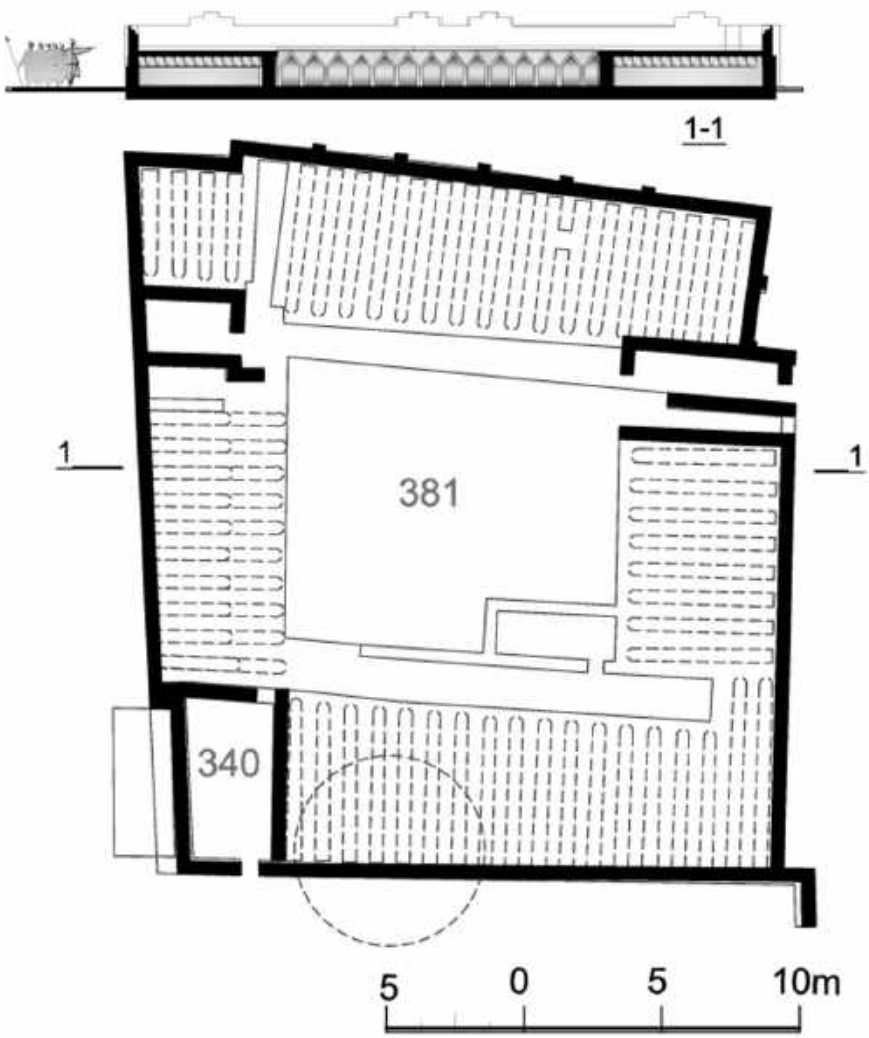


Рис. 18. Дворец. Комплекс «Келий». План, сечение 1-1.

Комплекс «келий»

Назначение уникального по своей архитектуре комплекса также остается пока неясно (рис. 18). Предположение В. И. Сарианиди (2005, с. 72) о некой реминисценции – возведении макета храма предков, встречающегося и сегодня у некоторых африканских племен, вполне правдоподобно и с архитектурной точки зрения. Трудно предположить какое либо утилитарное назначение в помещениях, в которые невозможно войти. Удивительное постоянство проявляли древние строители, сооружая «бесполезные», с нашей точки зрения, трудоемкие комплексы, неоднократно повторяя этот тип постройки в храмовых

частях Гонура. Такой же тип сооружения встретился и в Ираке на Ярым-тепе в раскопках 1973 г., интерпретируемый как «зернохранилище» (*Мунчаев и др.*, 1974, с. 542). Никакого практического применения в других аналогах и историографии авторы не нашли. На особый, ритуальный характер этого загадочного строения указывает не только его расположение внутри сакральной части Кремля Гонура, но и тот факт, что такой же комплекс «келий» был сооружен внутри Третьего Храма огня (*Сариниди*, 2005, с. 104).

Основные выводы

Авторы охватили настоящим сообщением только некоторую часть архитектурных и градостроительных проблем городища Гонур Депе и в целом региона древней дельты Мургаба. Основная работа еще ждет будущих исследователей-архитекторов.

Тем не менее, на этом этапе можно утверждать, что Кремль и Дворец являются частью крупного *протогородского* образования, бывшего, по-видимому, столицей данного региона, если не всей Маргианы. Отсутствие в раскопках жилых кварталов и ремесленного и жилого пригорода, вполне объяснимо тысячелетиями природных и антропоморфных разрушительных воздействий, приведших к полному уничтожению немонументальных сооружений Гонура.[1] Хотя Северный Гонур – храмовый город, где никто не жил и сюда приходили люди с обширной окружающей территории (о чем неоднократно писал В. И. Сариниди), но кто-то должен был поддерживать жизнедеятельность Кремля.

Вероятно Гонур, как столичный город, должен был иметь жилую застройку в округе Кремля. Несложно убедиться, что численность такой застройки должна была составлять не менее 5–15 тыс. жителей. Это необходимо для функционирования персонала царского властно-административного и религиозного аппарата Кремля, который должен был обслуживаться структурой из охранных, храмовых, ремесленных и крестьянских подразделений. Только для бесперебойного снабжения многочисленных ритуальных печей и алтарей храмов Кремля и его округи людские ресурсы могут составить до тысячи человек… Следовательно, существовали поселения в пределах пешеходной доступности.

Открытые к настоящему времени Теменос и некрополь Гонура, относящиеся к тому же *первому* строительному периоду, расположены к югу и западу от Кремля и предполагают отсутствие на их территории жилых комплексов. Следовательно, одновременные жилые кварталы могли располагаться только к северу и востоку. Но обширная территория на востоке уже занята современными сельхозугодиями, что исключает возможность поиска древних сооружений. Остается небольшой участок к северу, где возможны поиски следов поселений, сопутствующих Гонуру.

Одна из нерешенных проблем – отсутствие архитектурных деталей и интерьерного убранства Кремля и Дворца. И это объяснимо, сооружения Гонура были оставлены не в результате войн или стихийного бедствия, когда в образовавшихся завалах остаются артефакты. Город был покинут жителями планомерно, они ушли, забрав все ценное, находящееся во Дворце. Последующее обживание городища носило скорее стихийный и

[1] Для города с такой обширной площадью и разнообразными функциями полное отсутствие жилых кварталов вполне объяснимо. Вспомним, что прошло более 4 тысяч лет со времени его возведения, и вполне понятно, что до нас не дожили самые непрочные сооружения – это, в первую очередь, жилые. Обратившись к новейшей истории, отметим, что нормативный срок износа глинобитных жилых построек считается не более 50–100 лет (старые гг. Ташкент, Бухара, например). Недолговечными оказались основные жилые постройки Гонура. Отметим также, что и месопотамские комплексы представлены только монументальными «*царскими*» сооружениями. Ординарных построек и там не сохранилось.

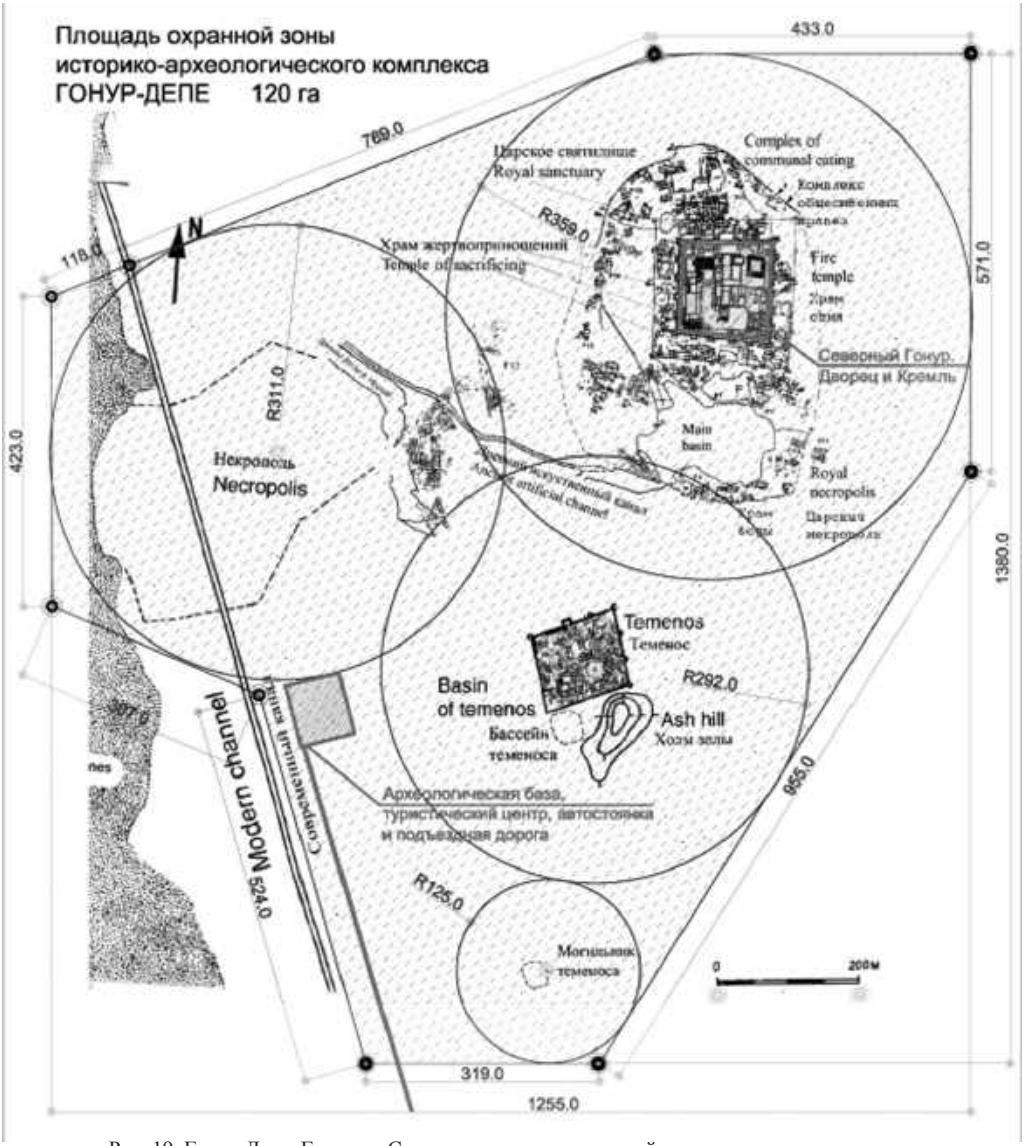


Рис. 19. Гонур Депе. Генплан. Схема организации охранной зоны территории городища.

разрушительный для *первого* периода характер, поэтому возможно находящиеся до того времени архитектурные элементы декора и убранства были уничтожены. Все события свидетельствуют о том, что в середине II тыс. до н. э. из этого региона ушла вода, а вместе с ней ушла и городская культура Гонура, складывавшаяся здесь на протяжении не менее восьми веков (см., например, датировку жизни этого памятника, свидетельствующую о том, что в 1500 г до н. э. жизнь на памятнике прекратилась: *Зайцева и др.,* 2008, с.179).

Поскольку смерть в древности рассматривалась, как продолжение бренной жизни, то многие реалии земного существования сопровождали жителей Гонура и в загробный мир.

В связи с этим, у будущих исследователей есть широкое поле возможностей для аналогового исследования и сопоставления орнаментики и других изображений на разнообразных находках из некрополя, которые могут восполнить отсутствие недостающих архитектурных деталей декора Кремля. На основе этого изучения наиболее вероятно воссоздание архитектурно-пространственной модели всего комплекса Северный Гонур.

Проблема натурной консервации сооружений Гонура имеет первостепенное значение, т. к. открытые глиняные конструкции подвержены быстрому разрушению от природных и антропоморфных воздействий. Следует отметить возможность глиняных сооружений к самоконсервации, что надолго обеспечивало их сохранность. Это явление, когда глиняная поверхность под воздействием влаги и дальнейшего высыхания покрывается цементирующей коркой, которая упрочивается при повторении циклов увлажнения и высыхания, хорошо известно реставраторам. Условием является дозированное количество влаги и отсутствие механических воздействий на образовавшуюся глиняную корку. И то, и другое обеспечивалось в практически безлюдном регионе и аридном климате на протяжении тысячелетий. Особенно хорошо сохраняются глиняные сооружения непосредственно в грунте, где влага равномерно пропитывает все части как внутри, так и снаружи скрытых сооружений. И именно поэтому – процесс археологических открытий – это процесс неизбежного уничтожения памятника. Этот процесс можно остановить только непрерывной научной консервацией глиняных сооружений.

Самым действенным и распространенным способом консервации глины является дополнение древних останцев тем же материалом, что в настоящее время и проводится на Гонуре. Но здесь появляется новая проблема замены подлинника новоделом. Любая подделка подлинника при реставрации противоречит принципам Афинской хартии ЮНЕСКО (1967 г.). Метод *анастилоза* (резкого отличия «старого» от «нового») давно получил международное признание, и здесь, на памятнике мирового значения, этот принцип должен быть основополагающим при его реставрации и консервации. В настоящее время на городище уже ведутся консервационные работы, которые выполняются из *мелкоформатного* кирпича, равного одной восьмой от объема древнего. И это решение абсолютно правильное с точки зрения принципа отличия отреставрированных частей памятника от его подлинника. Такие работы по исследованию и консервации продолжатся не один год. Тем более важно иметь долгосрочную программу их проведения в виде научно обоснованного проекта реставрации, включающего в себя и все необходимые охранные мероприятия.

Проблема современного освоения городища Гонур Депе, как уникального объекта архитектурного наследия мирового значения, как памятника древней туркменской культуры, нуждающегося в государственной охране должна быть решена уже сейчас. И при этом следует учитывать аспекты практического планомерного использования его как туристического и музейного комплекса под открытым небом. Целый ряд будущих решений связан с комплексом задач по *градостроительной охране* Гонура, создания на территории городища научно охраняемых зон для музеефикации, консервации руин уникальных сооружений, а также организации туристической инфраструктуры на его территории (рис. 19).

Литература

Архитектура Древнего мира. М., 1970.

Мамедов М. А. Древняя архитектура Бактрии и Маргианы. Ашхабад, 2003

Кой-Крылган-кала // ТрХАЭЭ. Том V. М., 1967. С. 251–264.

Зайцева Г. И., Дубова Н. А., Семенцов А. А., Реймар П., Мэллори Дж., Юнгнер Х. Радиоуглеродная хронология памятника Гонур Депе // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 166–179.

Корниенко Т. В. Первоначальные храмы Месопотамии. СПб., 2006

Литвинский Б. А., Пичикян И. Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии. (Южный Таджикистан). Том I. Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. М., 2000.

Мунчаев Р. М. и др. Исследования Иракской экспедиции // АО 1973 г. М., 1974.

Топрак-кала. Дворец (ТрХАЭЭ. Т. XIV) / Ред. Ю. А. Рапопорт, Е. Е. Неразик. М., 1984.

Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990

Сарианиди В. И. Дворец Северного Гонура // ВДИ. 2000. № 2. С. 248–259.

Сарианиди В. И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. Ашхабад, 2002.

Сарианиди В. И. Дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура // У истоков цивилизации \ Ред. М. Ф. Косарев, П. М. Кожин, Н. А. Дубова. М., 2004. С. 229–253.

Сарианиди В. И. Гонур Депе. Город царей и богов. Ашхабад, 2005.

Сарианиди В. И. Тайна и правда великой культуры. Ашхабад, 2008.

Убэн Ю., Гийо Ю. Глинобитное строительство. Всеобъемлющее руководство. ЮНЕСКО. Самарканд, 2002. С. 15–21.

Gubaev A., Koshelenko G., Tosi M. (Eds). The Archaeological map of the Murghab delta. Preliminary reports 1990–1995. Reports and Memoirs. Series Minor, III. IsIAO. Roma, 1998.

Heinrich E. Die Paläste im alten Mesopotamien // Denkmäler Antiker Architektur Deutsches Archäologisches Institut. Bd. 15, Berlin, 1984. App. 101.

Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrism. Athens, 1998.

Sarianidi V. The Palace and Necropolis of Gonur // Margiana. Gonur Depe Necropolis. 10 years of excavations by Ligabue study and research centre. Venice, 2002. P. 17–49.

Р. Джепбаров

КОНСЕРВАЦИЯ СЫРЦОВЫХ СООРУЖЕНИЙ: НА ПРИМЕРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ГОНУР ДЕПЕ

Как известно, с древнейших времен сырец широко применялся в строительстве, в качестве самого дешевого и доступного в местных условиях материалом. Не требующий при заготовке много времени, сырец в виде кирпича или блоков (пахса) считался наиболее благоприятным материалом для жилья во все времена года. Именно поэтому он стал неотъемлемой частью традиционной архитектуры, и по сей день во многих странах мира сохраняет свое преимущественное значение. Тем не менее, наряду с большими преимуществами, сооружения, возведенные из сырца, после завершения их эксплуатации обычно начинают разрушаться, и возникает угроза их полного уничтожения. То есть для сохранения стабильных свойств конструкции и противостояния регулярным природным явлениям эти сооружения требуют последовательного (ежесезонного) ухода. Но рано или поздно эти сооружения разрушаются. Период их безопасного функционирования напрямую зависит от качества строительных материалов. Так, помимо климатических условий,

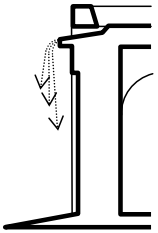
отрицательные результаты в основном связаны с использованием несоответствующего состава глины или же недостаточной ее технологической обработки.

Для выбора методов препятствующих разрушению исторических памятников противостоящих воздействию природных факторов важно тщательно их изучить. В настоящее время в проблеме сохранения целостности памятников, основными считаются такие угрозы как внешние воздействия на сооружения сверху – дождь и снег, так и влага или же грунтовые воды, поднимающиеся из земли. Эти факторы действуют беспрепятственно, и приводят к пагубным последствиям для отдельных конструкций и сооружений в целом.

С включением в 1999 г. Древнего Мерва в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО появилась реальная возможность достигать положительных результатов в выборе приемлемых методов по сохранению сырцовых памятников, используя международный опыт.

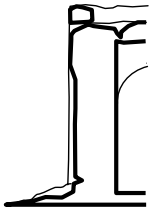
Исследование уровня влияния естественных факторов на исторические памятники – одна из важнейших задач охраны культурного наследия. Она может быть решена путем постоянного отслеживания состояния архитектурных памятников. В жизни любой сырцовой конструкции могут быть выделены следующие этапы:

Первый этап – Состояние памятника в период эксплуатации при условии наличия специальных инженерных сооружений.



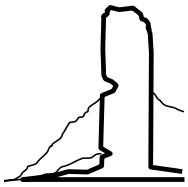
Период действия специальных желобов, устроенных для водоотвода (направление сточной воды от кровли памятника на безопасное расстояние от сооружения). Отмостка по всему периметру здания у его основания, предназначенная для сливных вод и нейтрализации влаги для предотвращения процесса разрушения нижних частей сооружения в период осадков.

Второй этап - Состояние памятника сразу после завершения его эксплуатации.



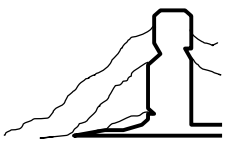
Из-за повреждения водосливов потоки осадочных вод распространяются во все возможные стороны. Кровля здания разрушается, и страдают отдельные верхние части сооружения. Упавшие части кровли накапливаются вокруг основания стен. Эти процессы способствуют проникновению влаги в стены снаружи.

Третий этап – Период полуразрушенного состояния памятника.



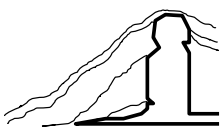
Не в состоянии устоять перед силой последовательно имеющих место осадков, разваливаются кровля и верхние части стен. Хрупкие, упавшие ранее и накопившиеся вокруг стен кирпичи, как песок способствуют ускорению эрозии из-за поглощения влаги. Нижние слои стен, оказавшиеся под новыми завалами, в определенной степени разрушаются.

Четвертый этап – Период руинизированного состояния памятника.



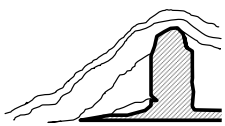
При длительном продолжении состояния третьего этапа, слабые части стен, разваливаясь, создают новые слои над прежними. Отмечаются только некоторые устойчивые стены, сохранившиеся в виде мощных колонн, выступающих на поверхности образовавшихся на месте былых строений холмов.

Пятый этап - Памятник, полностью превратившийся в холм.



Несмотря на то, что в некоторых, самых верхних слоях на поверхности, хотя и могут еще прослеживаться контуры стен, сохранившиеся части сооружения размещены только под земляными завалами. Но в верхней части строений продолжается замедленный процесс разрушения, т.е превращение кирпичей в песок.

Шестой этап – Памятник-холм в период археологических раскопок.



В результате раскопок удаляются образовавшиеся в результате предыдущих пяти этапов земляные завалы, защитившие нижние части памятника от полного разрушения. Сохранившиеся части памятника в виде уцелевших стен выявляются только в нижних слоях холмов. После их расчистки сильные дожди, сопровождаемые ветрами, разрушают древние незащищённые стены намного быстрее. Положение обостряется ещё и тем, что хрупкие стены подвергаются также разрушению снизу из-за отсутствия водоотвода.

Специалистами высказываются различные мнения о целесообразности проведения реставрационно-восстановительных работ на памятниках, переживающих различные вышеперечисленные этапы. Если памятник пострадал частично, то по установленным международным нормам, достаточно на базовых данных оригинала восстановить отдельные конструкции или систематически восполнять утраченные части (1–2 этапы). В большинстве из них, даже при наличии точных обмеров, нет необходимости восстанавливать утраченные конструктивные особенности (3–4 этапы). Ибо, недостаточность научных сведений приведет к искажению оригинала, в результате чего памятнику грозит полная потеря своей исторической ценности.

Но, несмотря на важность общего стремления, вопреки усилиям, на некоторых памятниках не удаётся найти положительного решения вопроса. Потому считается правильным принятие конкретных решений для каждого памятника по отдельности и требуется индивидуальный подход к ним. Главное задача – снизить процесс эрозии остатков сооружений из сырцового кирпича. Приоритетной задачей здесь должны явиться консервационные работы, которые позволят максимально сохранить самые характерные, оригинальные архитектурные решения монумента. Еще более важно приостановить постоянное разрушение памятника независимо от текущей ситуации, что требует целеустремленных действий. Чтобы гарантировать дальнейшую безопасность постройки в необходимых случаях имеет смысл восстановить его отдельные части.

Самые срочные меры необходимо принять по отношению к памятникам, находящимся на 6-м этапе, т. е. к таким, которые были выявлены в результате археологических раскопок и затем были оставлены в ситуации, когда последние архитектурные остатки могут превратиться в обычные земляные холмики под воздействием природных факторов.

В пределах Древнего Мерва и в его окрестностях на протяжении XX в. в результате археологических раскопок выявлены десятки памятников. В основном они выстроены с использованием сырцового кирпича, и ныне подверглись интенсивному разрушению. Поставленные в последние годы перед археологическими экспедициями задачи уже приносят положительные результаты. Теперь, согласно государственным требованиям, в конце каждого сезона, археологи обязаны хотя бы самым примитивным способом консервировать раскрытые стены или же хотя бы заново заполнить их грунтом. Необходимость этих мероприятий обусловлена тем, чтобы максимально сохранить особенности древних стен, а в будущем иметь возможность принять основательные консервационные меры.

В конце прошлого века начаты широкомасштабные археологические работы на памятнике эпохи бронзы Гонур Депе. Продолжающиеся там и по сей день археологические раскопки показали, насколько важно заняться осуществлением мероприятий по консервации во избежание ошибок, допущенных на других памятниках в прошлом. Имеется возможность и улучшить применяемые методы. В результате этого в будущем будет возможность широко использовать их при капитальной консервационной работе как на Гонуре, так и на иных подобных памятниках.

В настоящее время основными трудностями при обеспечении стабильности состояния выявленных стен памятника заключаются в нижеследующем:

1. Запаздывание проведения консервационных мероприятий (после раскрытия центральной части памятника прошло уже более 10 лет).
2. Чрезмерные осадки в пустынных условиях.
3. Отсутствие водосточного обеспечения (дренажа).
4. Проникновение растительности внутрь стен.
5. Разрушение хрупких частей строений в результате небрежности посетителей.

Очевидно, что основная часть возможных проблем устранится, если перекрыть здания и сооружения, выявленные в результате археологических раскопок, соответствующим навесом. В этом случае сохранившиеся стены, их основания, полы помещений будут защищены от воздействия губительных и продолжительных осадочных явлений (1, 2 и 3 из вышеперечисленных проблем на памятнике). При сооружении навеса создается возможность для капитального целесообразного укрепления стен в удобное и долгосрочное время. Под перекрытием приостанавливается в некоторой степени и рост растений (4-я проблема). В тоже время, должно быть понятно и то, что в период строительства металлоконструкций навеса возникнут проблемы для большинства стен: при подготовке мест установки несущих навес конструкций (которые при существующем размере памятника будут неизбежно тяжёлыми) вполне возможно причинение вреда памятнику, т. к. будут нарушаться преимущественно рыхлые на Гонур Депе материковые слои.

Сооружение дорогостоящей конструкции из металла, обширность площади, а так же широкомасштабность работы – все это, увы, в ближайшем будущем на Гонур Депе мало реально. В каждый дождевой сезон памятник безвозвратно теряет былые структуры, что однозначно говорит об безотлагательности производства консервационных работ на основе выбора самых эффективных методов.

После дождя или снегопадов на местах раскопок неизбежно собирается вода, которая приводит к эрозии. Поэтому в обеспечении стабильности стен важное место занимает

устройство водостоков и строительство специальных колодцев для сбора сточных вод. Одной из основных проблем, возникающих при консервации Гонур Депе, еще больше усугубляющих задачу – это чрезмерно слабое состояние стен и содержание большого количества песка в составе кирпича.

Среди охранных мероприятий этого памятника одним из первых представляется необходимость постройки кольцевого ограждения вокруг городища. Оградительные заборы будут способствовать обеспечению наблюдения за археологическим комплексом, а так же ограничивать доступ беспорядочного потока посетителей и случайного проникновения скота на охраняемую территорию. Предполагается проведение не одной, а 3–4-х запасных маршрутных дорожек, на случай одновременного посещения памятника несколькими туристическими группами. Безусловно, необходимо полностью перекрыть доступ посетителей на стены зданий.

Первые попытки консервационных работ были начаты по инициативе руководителя Маргианской археологической экспедиции В. И. Сарианиди и силами ее сотрудников еще в 2003 г. (рис. 1). Они начались с метода кладки футляра вокруг оригинальных стен.

Этим самым простым способом, как временной мерой спасения древних стен от дальнейших разрушения, археологическая экспедиция продолжает пользоваться и по сей день. В настоящее время, благодаря усилиям Маргианской экспедиции и финансовой помощи международной программы «Фонд послов США для сохранения культурного наследия». в 2007 и 2008 гг. законсервирован западный фас кремлевской стены (включая четыре башни и очаги сложной конструкции внутри них) (рис. 2, 3), комплекс парадных помещений внутри дворца (рис. 4, 5), «комплекс погребальных ритуалов» внутри кремля (рис. 6), здание т. наз. «царского святилища» на севере комплекса (рис. 7). Теми же силами и с помощью местной администрации с целью музеефикации уникальных погребений тайчанаха (№ 3340) и четырех животных (№ 3597, 3621–3623) над ними сооружены два охранных строения. Заповедник «Древний Мерв» провел реставрационно-консервационные мероприятия на одной из «царских» гробниц (№ 3235), позволяющие даже без перекрытия и в сильнейшие дожди достигать удовлетворительного результата сохранения объекта (рис. 8).

Как и все обнаруженные на Гонур-Депе погребальные сооружения, «царская» гробница № 3235 построена на 1,7 м ниже уровня дневной поверхности. Погребение отличается сложной планировкой. Сооружение состоит из 8 помещений с лестничным парадным входом, ведущим вниз, внутрь могилы-дома. Во время раскопок в 2004 г. кирпичные стены, расчищенные до уровня пола, находились относительно в хорошем состоянии. Но вскоре, в зимний сезон, богатый на осадки, погребальный комплекс изменился до неузнаваемости от оплыва и разрушения стен. В целях предотвращения дальнейшего разрушения было принято решение о необходимости безотлагательной консервации.

Были определены основные задачи на основе полученных оценок по проблеме и выбран оптимальный подход к данному объекту. Было установлено, что:

- Стены были устроены на песчаном основании, т. е твердый материк находился довольно глубоко – на 0,85 м ниже пола;
- Деформированы и обвалены тяжелые кирпичные стены;
- Подводку стен усложняло наличие сыпучего песка;
- После раскопок и дождей появились значительные трещины по контуру сооружения на местах связки с древней кладкой.

Для данной реставрации были специально изготовлены сырцовые кирпичи, идентичные по размерам оригинальным. Они сыграли ключевую роль в ограничении и закрепле-

Рис. 1. Парадные залы дворца Северного Гонура после первой консервации стен. Аэрофото 2003 г.

Рис. 2. Начало консервации западного фаса стены кремля Северного Гонура, 2007 г.

Рис. 3. Западный фас стены кремля Северного Гонура после консервации стен, 2009 г..

Рис. 4. Парадное помещение дворца Северного Гонура после консервации стен, 2009 г.

Рис. 5. Лестница и близлежащие помещения дворца Северного Гонура после консервации стен, 2008 г.

Рис. 6. Комплекс погребальных ритуалов в процессе реконструкции, 2007 г.

Рис. 7. «Царское святилище» после консервации стен, 2009 г.

Рис. 8. «Царская» гробница № 3235 после реставрации и консервации, 2006 г.

Рис. 9. «Царская» гробница № 3235 после ливневых дождей весной, 2009 г.

Рис. 10. «Царская» гробница № 3200 в процессе раскопок, весна 2004 г.

Рис. 11. «Царская» гробница № 3200 после ливневых дождей весной 2009 г.

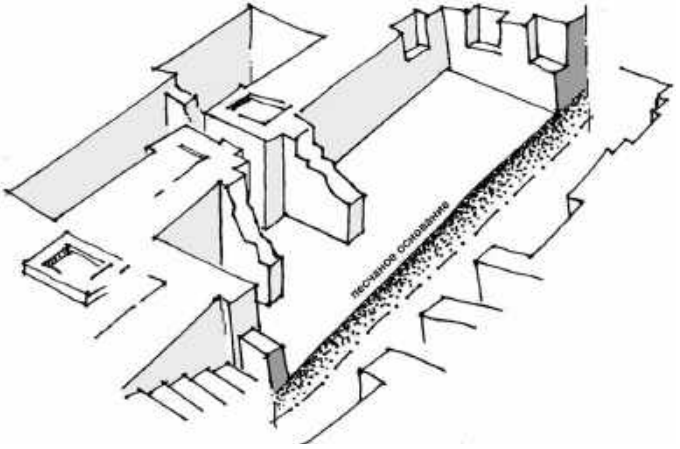


Рис. 12. Рабочий чертеж и разрез царской гробницы № 3235 до проведения консервационных работ.

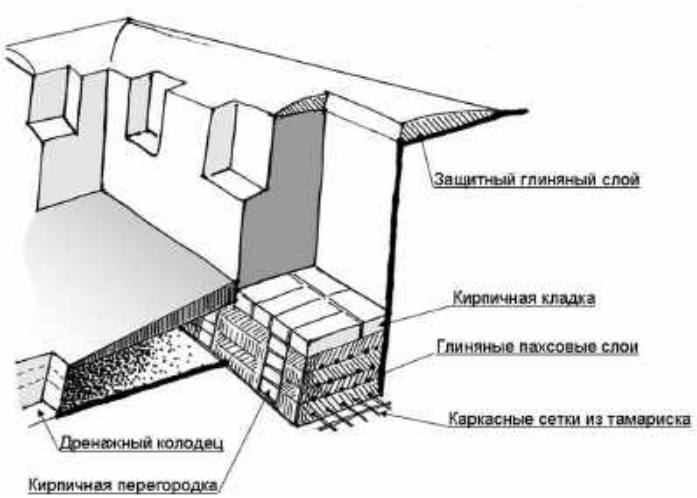


Рис. 13. Схема консервации царской гробницы № 3235.

Рис. 14. Процесс экспериментальной консервации стен Гонура, 2004 г.

Рис. 15. Экспериментальная консервация стен Гонура разными методами, 2003 г.

нии песчаного слоя под стенами. При позахватной (каждый захват около 1 м) подводке стен устроены перегородки из вертикально уложенных кирпичей во избежание оплыва песка во время работы, также для формовки пахсовых наслоений. Между глиняных слоев в качестве каркаса применялась сетка из тамариска. Как показывает сегодняшняя практика, на этом конкретном участке данный метод оказался самым эффективным (рис. 12). Дальнейшие консервационные мероприятия по восстановлению и укреплению стен, устройству защиты верхней части и также одна из главнейших задач – организация системы дренажа – принесла ожидаемый результат (рис. 13).

Принятые меры, конечно, нельзя считать достаточными. Настоятельно требуется сооружение хотя бы временных перекрытий над особо ценными объектами (такими, например, как «царские гробницы») и консервация основной части стен как Северного, так и Южного (Теменос) Гонура.

Экспериментальные работы, проведенные силами специалистов Государственного музея заповедника «Древний Мерв» весной 2004 г. позволили получить полезные результаты, чтобы выделить самые подходящие и устойчивые методы для укрепления древних стен, находящихся под угрозой разрушения. В связи с этим на северо-западном участке кремля Гонур Депе была выбрана экспериментальная площадка. В пяти местах на одной и той же стене разными способами выполнены консервационно-укрепительные работы, в центре площадки для всех участков построен дренажный колодец (рис. 14, 15). Было признано целесообразным предложить два метода, которые имеют лучшие показатели по результатам проведенных испытаний и выгодны для использования в данное время.

В целях презентации посетителям оригинальных видов древних стен, а также для неизменного сохранения истинных размеров, работа может быть проведена подводкой идентичными (42 × 19 × 12 см) кирпичами лишь в необходимых участках с устройством защитного глиняного слоя по верху. Применение в других методах консервации глиняно-соломенного слоя в нижних частях стены не принесли ожидаемого результата. Фрагменты древних стен могут отделяться от вновь перекладываемой части геотекстилем (специальной искусственной материей), что широко применяется в международной практике.

В будущем, предполагается использовать выбранные методы на разных участках памятника. Продолжение работ позволит усовершенствовать как уже выбранные, так и разработать, возможно, более эффективные способы сохранения сырцовых памятников с использованием международного опыта.

Литература

Гражданина Н. С. Древние строительные материалы Туркмении // Труды ЮТАКЭ. Т. VIII. Ашхабад, 1958.

Пилявский В. И. Сырцовые сооружения Древнего Мерва. М., 1947

Мамедов М. А. Древняя архитектура Бактрии и Маргианы. Ашхабад, 2003

Moriset S. Planning of systematic monitoring for a selection of monuments at «Ancient Merv». Report of the First mission to Ashgabat and «Ancient Merv» for the WHC, UNESCO, CRATerre –EAG. Grenoble, 2001.

Sarianidi W. I. Marguş. Murgap deŕyasynyň köne hanasynyň aýagyndaky gadymy gündogar şalygy. Aşgabat , 2002.

Sarianidi W. I. Goňurdepe. Şalaryň we hudaýlaryň şäheri. Aşgabat , 2005.

Э. А. Мурадова

РАСКОПКИ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЗАТ-КУЛИ[1]

Поселение эпохи поздней бронзы и раннего железа Изат-кули входит в круг памятников архаического Дахистана и расположено в 21 км к юго-западу от современного селения Мадау (Этрекский этрап Балканского велаята, Туркменистан). Поселение (рис.1) ограничено со всех сторон валами древних каналов, за которыми – такыр. Оно занимает значительную площадь (20,491 га) и состоит из нескольких частей: выделенного центрального укрепления (цитадели) вокруг которого на расстоянии 100–150 м располагаются застроенные кварталы свободных общинников, представленные в виде небольших всхолмлений. Выделенное центральное укрепление имеет ядро (собственно цитадель), вокруг которого идет незастроенная площадь или двор. За двором – застроенные участки. В микрорельефе юго-западной части этих участков хорошо читаются помещения, входящие в жилищно-хозяйственные комплексы (планировка нерегулярная). В этой же части – полуразвеянные остатки керамических печей (*Атагаррыев, Лисицына, Прищепенко, 1977; Гутлыев*, 1972).

Севернее цитадели застроенные участки сильно подвергнуты дефляции. Юго-восточнее и южнее цитадели эти застроенные участки незначительны (есть печи). На самой цитадели также имела место застройка, представленная в виде нескольких домов (в некоторых местах эти дома соединяются между собой стеной, а в некоторых – выделяются узкой улочкой).

Западнее центрального укрепления Изат-кули располагается квартал гончаров. В микрорельефе этой части поселения, площадью 0,133 га, была заметна планировка помещений, очертания топок печей. Здесь был заложен раскоп 1 и исследована архитектура верхнего строительного горизонта, а также шурф № 2, выявивший стратиграфию этой части поселения.

На раскопе 1 (рис. 2) исследовано два дома, разделенных Двором А (проулок). **Дом 1** состоял из 19 помещений.

Помещение 1 отличается большой площадью и разделяется на два отсека: северный и южный. Северный отсек – квадратный в плане. Южный отсек – в плане прямоугольный и вытянут с запада на восток. Северный отсек в северо-западной части имеет нишу. В этой нише найден фрагмент согнутого бронзового гвоздя. В северо-восточной части этого отсека размещался очаг, овальный в плане и представленный в виде горелого слоя. В северо-западном углу южного отсека находился камень (30 × 20 см). В юго-восточном углу помещения зафиксированы следы очага. Сохранившаяся высота стен помещения – 20–25 см. В заполнении зафиксировано чередование зольно-мусорных слоёв, свидетельствующих об интенсивном его обживании. Зафиксировано четыре уровня полов, представленных в виде глиняных промазок, покрытых сверху тоненьким слоем извести.

Помещение 2, прямоугольное в плане и вытянутое по линии север-юг, находится восточнее пом. 1. В пом. 2, у западной стены – очаг, округлой формы. Размеры – север-юг – 72 см; запад–восток – 65 см. Толщина прокаленных стенок очага – 4–5 см. Очаг внутри имеет покатость к центру. В центре очага – округлое углубление (диаметр – 24 см;

[1] Публикация материалов Бенгуванской археологической экспедиции Института истории им. Ш. Батырова АН ТССР 1988, 1991–1993 гг. (руководитель Э. А. Мурадова.).

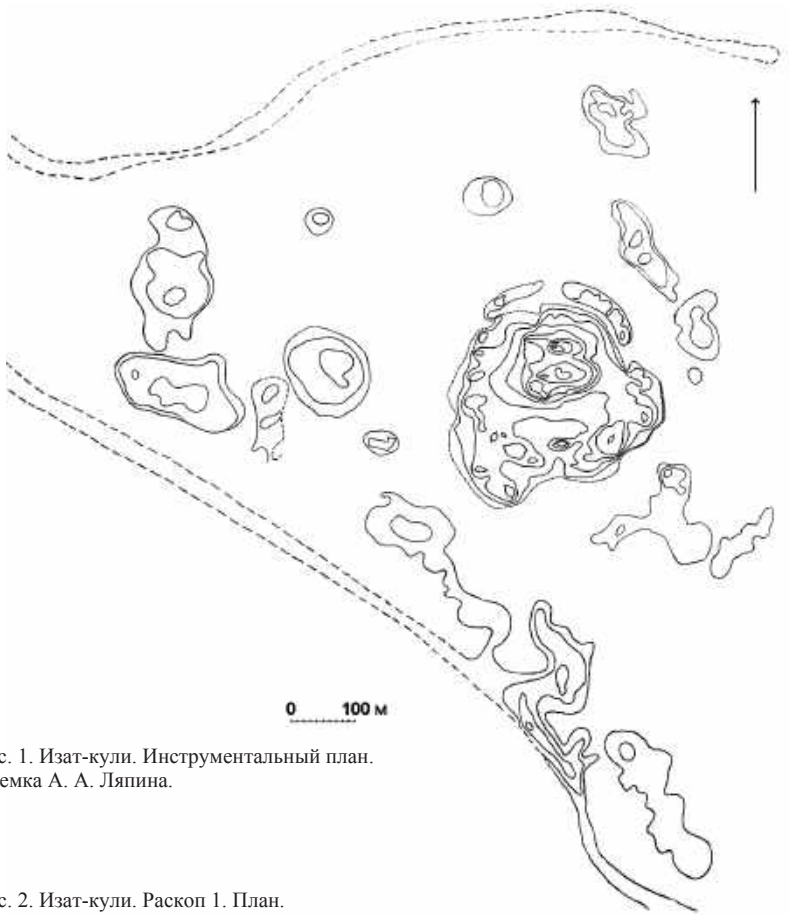
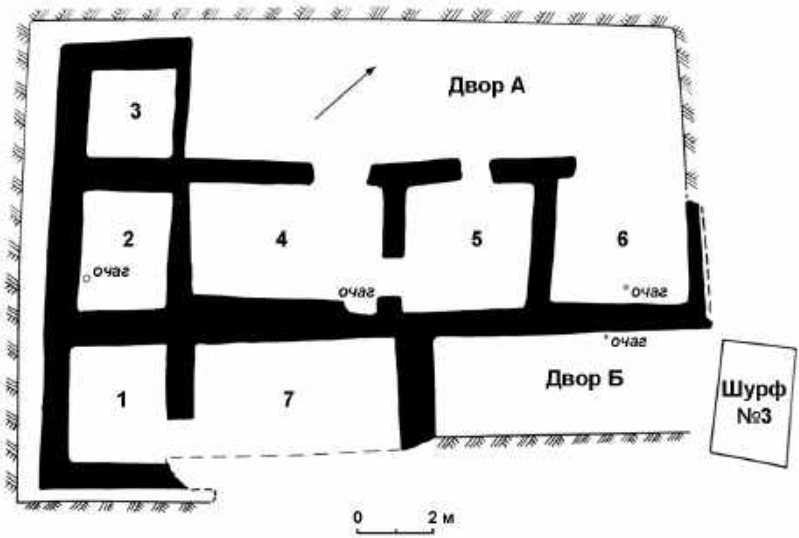


Рис. 1. Изат-кули. Инструментальный план.
Съемка А. А. Ляпина.

Рис. 2. Изат-кули. Раскоп 1. План.



глубина – 12 см) с красной прокалившейся обмазкой. Вокруг этого очага встречены белесые пепельные слои. Найдены угольки древесины кустарникового растения. В пом. 2 прослеживаются четыре уровня полов. Полы обмазывались глиняной промазкой и сверху покрывались слоем извести. Толщина этих промазок – 2–3 см. Высотная сохранность стен пом.2: северной – 27 см; западной – 20–25 см; южной – 30–35 см; восточной – 40–55 см. Заполнение пом. 2 – сплошная сырцовая забутовка.

Помещение 3, в плане – квадратное. В юго-западном углу располагался очаг (65 × 55 см), который не сохранился. Ошлакованные стенки очага примыкали к южной стене пом. 3. Высота оштукатуренных, покрытых известью стен – 20–25 см. Полы имеют коричневатую прослойку. Заполнение пом. 3 – обломки сырца, стенки очага, горелые бурые слои, известь, керамика.

Помещение 4 раскопано частично. В северной части его имеется сырцовая вымостка (1,54 × 0,66 м), на которой размещался очаг (62 × 50 см), глубиной 20 см. Толщина стенки очага – 7 см, т. е. соответствует толщине сырцовых кирпичей, из которых построен очаг. Высота восточной стены – 15 см; южной – 20–25 см. Зафиксировано три уровня полов. Нижние полы – белесые известковые вкрапления с кусочками угля. Заполнение пом. 4 – чередование рыхлых и зольно-мусорных слоев.

Помещение 5, условное, находится за внешней северной стеной дома 1 и является частью двора. Западная стена сохранилась на высоту – 15 см, южная – 25 см. Полы – известковые вкрапления с кусочками угля. Заполнение – чередование зольно-мусорных и горелых слоев.

Помещение 6, почти квадратное в плане. Южная стена имела нишу. Сохранившаяся высота стен – 42–62 см. Оштукатуренные глиной стены сверху покрывались слоем извести. Фиксируется «выкружка» стен на полы, представленные глиняной промазкой и известковые слои полов. Судя по чередованию забутовок с рыхлыми и зольно-мусорными слоями, пом.6 несколько раз ремонтировалось.

Помещение 7, прямоугольное в плане. Сохранившаяся высота стен – 44–50 см. Все стены имели глиняную штукатурку, покрытую сверху слоем извести. Фиксируется выкружка стен на полы, представленные 2 см глиняной промазкой. По всей площади пом. 7 выше этой выкружки – зольно-мусорный слой, ниже – сырцовая забутовка.

Помещение 8, прямоугольное в плане. На западной стене пом.8 сохранились следы штукатурки. Вдоль западной стены пом. 8 располагались очаги-лунки, находящиеся на разных высотных уровнях, являвшихся маркерами полов. В результате длительного использования глиняные стенки лунок ошлаковались. На глубине 40 см от верхней, сохранившейся, отметки стен зафиксирован I (ранний) пол, представленный глиняной промазкой, сохранившейся местами. II пол в виде тончайшего известкового слоя, зафиксирован выше уровня первого пола на 14 см. На III полу располагались очаг-лунка № 3 (диаметром 19 см, глубиной 12–13 см) и очаг-лунка № 4 (20 × 18 см, глубиной 11 см). IV пол, с очагом-лункой № 2 (диаметром 22 см, глубиной 12–13 см) находился выше уровня третьего пола на 7 см. V, самый верхний, самый поздний пол с очагом-лункой № 1 (диаметром 21 см, глубиной 8 см) зафиксирован выше уровня четвертого пола на 10 см и связан с последним периодом обживания помещения. Его полы – глиняная промазка с включениями растительности. Высотная сохранность южной стены пом. 8 – 32–37 см; восточной – 26–28 см; северной – 30–36 см. В восточной стене расчищен порог шириной 75 см. Заполнение пом. 8 – сырцовая структура. Видимо, помещение было забутовано сырцом и нивелировано. Керамика, представленная фрагментарно, найдена в незначительном количестве.

Помещение 9 расположено южнее пом. 8. По верху внешней стены пом. 9 хорошо видна сырцовая кладка, идущая в длину с севера на юг. Размеры сырцовых кирпичей – 70 × 48 × ? см; 70 × 24 × ? см (полкирпича). Вход в помещение находился с восточной стороны. При расчистке помещения зафиксировано пять уровней полов, свидетельствующих о пяти периодах обживания помещения. Высотная сохранность стен – 23–40 см. Это помещение расчистили до уровня первого (самого раннего) пола, представляющего собой слой с угольками, золой, известковыми вкраплениями. В северо-восточной части пом. 9 на уровне первого пола фиксируются прожженные следы бурого цвета диаметром 50 см. Пом. 9 было полностью забутовано. По всей его площади шли сырцовые завалы, натеки. Находки керамики редки. Внешние стены помещений 8 и 9 являются внешней, восточной стеной дома **I**.

Помещение 10, вытянутое по линии север-юг, находится южнее пом. 8 и 9. В его центре располагался очаг-лунка диаметром 20 см, находящийся выше уровня пола I (раннего) периода на 14–15 см и относящийся к более позднему, второму периоду обживания. Стены построены из сырцового кирпича крупного формата (75 × 54 × 7 см; 75 × 49 × 7 см). Заполнение пом. 10 – остатки сырца, фрагменты керамики. Зафиксированы ранние (северная и восточная) стены нижележащего строительного горизонта.

Помещение 11, вытянутое по линии север-юг, сохранилось частично. Контуры помещения определить не удалось. Не найдена южная стена, так как в этой части – нулевой высотный уровень исследуемого всхолмления. Высотная сохранность стен – 7–12 см. Заполнение пом. 11 – остатки сырца, местами частично отмечаются прожженный слой, зола, вкрапления извести, фрагменты керамики. В этом помещении зафиксированы ранние (западная, северная и южная) стены нижележащего строительного горизонта.

Помещение 12, вытянутое по линии север-юг, расположенное западнее помещений 10 и 11, сохранилось частично. Не выявлена южная стена. Отмечаются три периода обживания, связанные с функционированием очагов, находящихся на разных уровнях полов. В первом, раннем периоде обживания очаги не обнаружены. Ко второму периоду относится очаг-лунка диаметром 20 см, находящийся выше уровня первого пола на 10 см и расположенный в юго-восточной части помещения. К третьему – округлый очаг (60 × 50 см), находящийся выше уровня первого пола на 23 см и расположенный около западной стены помещения. В юго-западной части, там, где обрывается южная стена, отмечаются насыщенные зольные слои, имеющие фиолетово-коричневый цвет. Высотная сохранность стен – 4–18 см. Заполнение помещения – сырцовый завал.

Помещение 13 находится западнее пом. 12. Западная стена оформлена округлой нишей, в которой – пристенный очаг. Отмечено два периода обживания. К первому, раннему, периоду относятся насыщенные зольные слои, покрывающие уровень пола первого периода. Ко второму – очаг-лунка диаметром 20 см, глубиной 10 см, имеющий прокаленные коричнево-бурые стенки; внутри очага – уголь, зола. Западнее этого очага, на этом же уровне, находятся ошлакованные стенки другого очага, бесформенного. Высотная сохранность стен – 7–17 см. Заполнение возле стен – обломки сырца.

Помещение 14, длинное, вытянутое с севера на юг, находится южнее пом. 13. По всей площади его шла сырцовая забутовка. Западная стена помещения обрывается. Выявлено два периода обживания, связанных с первым, ранним и вторым, поздним, полами. К первому, раннему периоду относится пристенный, может быть, прямоугольный очаг, возле которого – бурые слои. Ко второму – очаг, расположенный в юго-восточном углу помещения (форма очага не определяется). В западном проходе – «коридорчике» – отмечаются зольно-мусорные слои. Вдоль восточной стены – известковые вкрапления. Сохранность стен: западной – 7–12 см; северной – 22 см; восточной – 7–10 см; южной – 4–7 см.

Помещение 15, прямоугольное в плане. Расчищен проход в южной стене. Помещение имело рыхлое заполнение без керамики.

Помещение 16, прямоугольное в плане с рыхлым заполнением без керамики. Северо-восточный угол – плохой сохранности.

Помещение 17 сохранилось частично. Не найдена южная стена. Восточная стена образует северо-восточный, внутренний угол. В центре помещения **–** насыщенный зольный слой. Сохранность стен 4–7 см.

Помещение 18, удлиненное, вытянутое с севера на юг, имеет северный и южный проходы. Сохранность стен – 3–10 см.

Помещение 19, трапециевидное. Сохранность стен 4–20 см. В юго-западной части – зольный слой. В этом помещении – поздняя яма, где, судя по её заполнению, месили глину для изготовления керамики.

Двор А (проулок) располагается между двумя домами. Расчищен до верхнего, позднего пола. Этот уровень пола чётко фиксируется, благодаря угольному слою, известковым вкраплениям. Заполнение двора резко отличалось от заполнения помещений: оно насыщено рыхлыми наслоениями гумусного (органического) характера, буровато-коричневыми слоями, золой. Заполнение очень мягкое.

Двор С находится за внешними стенами пом. 13, 14 и 19 дома 1. Во дворе – насыщенный зольный слой, угли, известковые вкрапления.

Восточнее двора А располагался д**ом 2**, вытянутый по линии север-юг.

Дом 2. Помещение 1, прямоугольное в плане, вытянутое по линии север-юг, находится в северной части дома. В его восточной стене имеется проход. Помещение расчищено до уровня верхнего пола, представляющего собой глиняную промазку с известковыми вкраплениями. Местами на полу фиксировались зольные слои и черные угольки. Высотная сохранность стен: северной – 10–17 см; западной – 7–22 см; южной – 12–28 см; восточной – 10–27 см. Заполнение помещения – сырцовый завал, зольные слои, угли, известковые вкрапления.

Дом 2. Помещение 2 вытянуто с запада на восток. В восточной части – округлая яма диаметром 86 см, глубиной 20см, внутри которой фрагменты керамики, завал. В северо-восточной части фиксировались слои с известковыми вкраплениями. Высотная сохранность стен: северной – 12–20 см; южной – 10–22 см; западной – 23–24 см. Помещение, возможно, являлось каким-то подсобным, хозяйственным отсеком. Восточной стены зафиксировать не удалось, а южная стена повернула на юг. Внешние контуры стены, повернувшей на юг, зафиксировать не удалось, так в этой части она потерялась. А внутренняя стена явилась внутренней стеной пом.3.

Дом 2. Помещение 3 входит в составную часть дома 2 и находится в его южной части. В этом помещении дошли до уровня верхнего, позднего пола. В северо-западном углу помещения расчищено место, где функционировали очаги. Помещение было забутовано и расчищалось с трудом. Заполнение – сырцовый завал. Зольно-мусорных слоев и остатков органического характера не выявлено.

Двор Б (условно) располагается за помещениями 1 и 2 дома 2, вернее, прилегает к ним, т.к. проходы из этих помещений выходят во двор. Двор занимает значительную площадь. Заполнение двора возле стен помещений – сырцовый завал, в центре – зольно-мусорные слои, угольки, известковые наслоения, гумусные слои.

С целью определения стратиграфии культурных напластований на раскопе 1, во дворе, севернее дома 1 заложили **шурф № 2** (3 × 2 м) (рис. 3), вытянутый по линии запад-восток. Шурф доведен до материка, представляющего речной аллювий (серовато-жёлтый,

уплотненный, мягкий песок). Мощность культурных напластований составила 3 м. Строительных периодов в шурфе не обнаружено. Материковый слой перекрывает плотный натечный слой, в котором выявлены линзы с зольным слоем и слоем с угольками; найдена фрагментированная керамика. На глубине 2,8–3,0 м – один венчик сероглиняного сосуда. Выше натеков – рыхлый слой с угольками, известью, керамикой. Этот слой переходит в чередующиеся зольно-угольные слои, прожженные слои оранжево-коричневого цвета, песчанистую супесь, слои с включениями угольков или извести; соотношение светлоглиняной и сероглиняной керамики почти одинаковое. Проценты красноглиняной и кухонной посуды незначительны. Над этими слоями – рыхлый слой, глинистая супесь с включениями извести. В верхних слоях шурфа чередуются зольно-угольные, прожженные слои, слои зольно-мусорного характера; преобладает светло-глиняная керамика, серо-глиняная керамика представлена ножками триподов и ручками сосудов; красноглиняная и кухонная посуда малочисленна. Археологический материал шурфа – только фрагментированная керамика, типичная для культуры архаического Дахистана (*Массон*, 1956, с. 385–458; *Атагаррыев, Лисицына*, 1970, с. 166–183; *Мурадова*, 1991 с. 71–96; *Прищепенко, Шапошникова,* 1970, с. 184–194).

Малочисленность археологических находок, в частности, керамики в раскопанных жилищно-хозяйственных комплексах следует связывать с их заброшенностью и последующей забутовкой для размещения керамических печей.

На забутованных помещениях верхнего строительного горизонта были построены керамические обжигательные печи (раскоп 1), сохранившиеся частично.

Печь № 1. Сохранилась только топка, впущенная внутрь забутованного пом. 2. Топка, вытянутая с севера на юг, имеет форму усеченной пирамиды. Её внутренние размеры: длина – 1,87 м; ширина в самой широкой части – 0,85 м, ширина в самой узкой части – 0,5 м. Толщина ошлакованных стенок (глина с большой примесью растительности) топки – от 4 до 9 см; глубина – 0,8 м. Топка наполовину (0,4 м) была заполнена золой.

Печь № 2 располагалась северо-западнее печи № 1 и отстояла от неё на 1,5 м. Сохранилась топочная камера, вытянутая с запада на восток, в плане овальной формы с закруг-

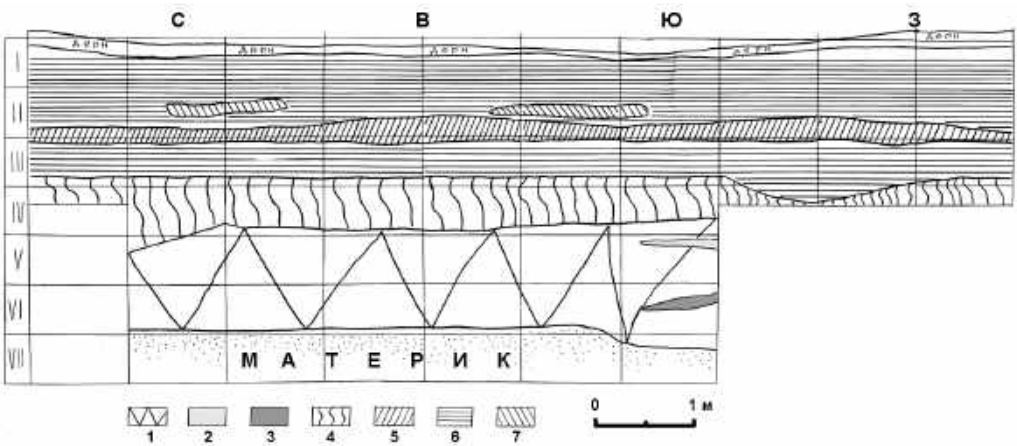


Рис. 3. Изат-кули. Раскоп 1. Шурф № 2. Развертка: 1- плотный натечный слой; 2 – зольный слой с угольками; 3 – зольный слой; 4 – рыхлый слой с угольками, известью, керамикой; 5 – рыхлый слой; 6 – чередующиеся зольно-угольные, прожженные слои, песчанистая супесь, слои с включениями угольков или извести; 7 – глинистая супесь с вкраплениями извести.

лением в восточной части. Размеры: длина поверху – 1,64 м; ширина поверху – 0,53 м; длина понизу – 1,6 м; ширина понизу в широкой части – 0,44 м; ширина понизу в узкой части – 0,33 м. Общая глубина камеры – 0,95 м. Камера была заполнена обвалившимся перекрытием (размеры куска – 30 × 25 × 6 см), фрагментами керамики, золой, ошлакованными частями стенок.

Печь № 3, примыкающая к восточной стене пом.2, размещалась восточнее печи № 2 на расстоянии одного метра. Сохранилась топочная камера, вытянутая с севера на юг. Размеры: длина – 1,35 м; ширина – 0,75 м; глубина – 0,4 м. Толщина ошлакованных стенок – 7–8 см. Внутренняя поверхность топочной камеры имеет ошлакованную, красную, глиняную обмазку толщиной в 2–3 см. Низ топки был заполнен золой толщиной 15 см.

Печь № 4 находилась на северной стене пом.2, размещаясь в полуметре севернее печи № 2. Сохранился под обжигательной камеры, представленный в виде плоского, горизонтального «стола», имеющего целостный характер. Под, вытянутый с запада на восток, в плане прямоугольный (2,0 × 1,3 м). Верхняя поверхность пода обмазана глиной и заглажена, оштукатурена. Глиняная промазка пода имеет светло-желтый цвет. Под имел выкружку на западную и восточную стены обжигательной камеры. Северный и южный края пода закруглялись и, образуя длинные желоба, переходили в северную и южную стены обжигательной камеры. Эти два желоба шли вдоль всего перекрытия (пода), являясь продухами печи. Верхняя часть обжигательной камеры не сохранилась. Видимо, на поду ставилась керамика, предназначенная для обжига. Через продухи (желоба) в обжигательную камеру поступал горячий воздух, способствуя процессу обжига. Непосредственно под подом, перпендикулярно к нему, находилась топочная камера, вытянутая с севера на юг. Топка соединялась с загрузочной камерой, имеющей округлую форму и находящейся с южной стороны печи. Загрузочная камера – шарообразная, диаметром 0,5 м; глубиной – 0,5 м. Её стенки имеют обожженную глиняную промазку толщиной 2–3 см.

Печь № 5 находилась в одном метре севернее печи № 4. Сохранился под обжигательной камеры, представленный в виде плоского, горизонтального «стола», имеющего целостный характер. Под, вытянутый с запада на восток, в плане прямоугольный (2,6 × 1,0 м). Верхняя поверхность пода покрыта светлой глиняной промазкой. В западной и восточной части края пода имеют выкружку на западную и восточную стены обжигательной камеры. Под соединяется с северной и южной стенами обжигательной камеры при помощи желобов, идущих вдоль пода. Желоба имели закругление, которое как бы соединяло под, северную и южную стены обжигательной камеры. Топочная камера находилась под подом обжигательной, загрузочная камера – в северной части печи. Северная и южная стены обжигательной камеры имеют наклонность к центру, как бы суживаются к нему, что дает право судить о характере перекрытия. Видимо, оно было сводчатое. Через загрузочную камеру топливо попадало в топочную камеру. Из топки горячий воздух поступал в обжигательную камеру через продухи, расположенные вдоль пода обжигательной камеры печи. Керамика, находящаяся на поду, подвергалась обжигу.

Печь № 6 находилась выше уровня стен пом.7. Сохранилась топочная камера, вытянутая с севера на юг. Размеры: длина – 0,94 м; ширина – 0,46 м; глубина – 1,1 м. Толщина стенок топки – 5 см. Южная часть топки шире северной, так как последняя сужается к северу и переходит в загрузочную камеру диаметром 0,4 м. Глубина топочной и загрузочной камер одинакова. Топка была заполнена ошлакованными стенками, золой. Внизу камеры выделяются три уровня сгоревшего топлива – черный, светлый и серый.

Печь № 7 и печь № 8 располагались в северо-восточной части пом. 8 и примыкали друг к другу. Топки этих печей (очень плохой сохранности) были вытянуты по линии запад-восток. Сохранились только продольные стенки двух топок.

Печь № 9 и печь № 10 располагались в северо-западной части раскопа 1 (севернее дома 1). Они построены после запустения этой части поселения. Печи – поздние. Сохранились загрузочная и топочная камеры печей. Камеры не раскапывались. Загрузочная и топочная камеры впущены в культурные слои нижележащего строительного горизонта. Загрузочная камера округлой формы переходила в топочную камеру, в плане имеющую прямоугольную форму (в разрезе она – трапециевидная). От верха топочной камеры отходят шесть горизонтальных желобов, являющихся продухами печи, проводящими жар в обжигательную камеру. Желоба представляют ошлакованную канавку глубиной 4–5 см, идущую горизонтально от верха топки. Желоба заканчиваются закруглением. Участки между желобами имеют прожженную землю. По всей вероятности, над топочной камерой находился под обжигательной камеры, который не сохранился. На поду ставилась готовая высушенная керамическая продукция. По горизонтальным желобам (продухам) горячий воздух поступал в обжигательную камеру, которая, по-видимому, имела сводчатое перекрытие. Остатки печей занесены на план и законсервированы.

Таким образом, сохранившиеся остатки керамических печей свидетельствуют о том, что гончарная печь была двухъярусной конструкции. Она состояла из загрузочной, топочной и обжигательной камер.

С целью исследования ремесленных кварталов на другом всхолмлении, находящемся в юго-западной части поселения Изат-кули, рядом с холмом с керамическими печами, шлаком и браком, заложили **раскоп 2** (рис. 4) площадью 220 кв. м. На этой площади выявлена часть жилищно-хозяйственного комплекса, представленного домом (дом 1) с семью помещениями. Углы помещений дома 1 ориентированы по сторонам света.

Помещение 1, прямоугольное в плане, находится в южной части дома. В центре помещения имеется перегородка в один сырцовый кирпич, идущая с востока на запад и примыкающая к восточной стене. В восточной стене расчищен проход. В этом помещении найден крупный светлоглиняный горшкообразный сосуд (корчага). В заполнении пом. 1 культурные слои невыразительны. Найдены венчики горшкообразных светлоглиняных сосудов, тулово светло-глиняного сосуда с вертикальной ручкой. Западнее пом. 1 встречены венчик сероглиняного трипода, венчик крупного горшкообразного сосуда с отогнутым наружу венчиком.

Помещение 2, прямоугольное в плане, находится северо-западнее пом. 1. В южной части помещения располагался очаг-лунка. Найдено большое количество костей животных, золы, угля, фрагментированной керамики.

Помещение 3, квадратное в плане, расположено северо-западнее пом. 2. Отмечается интенсивное использование огня: большое количество угля, золы, прожженных слоёв, но сам очаг не найден. Заполнение пом.3 – рыхлое. В помещении найдены три венчика и ножка серо-глиняного трипода, стенки светло-глиняных и красноглиняных сосудов открытого и закрытого типов; тулово миниатюрного светлоглиняного сосуда закрытого типа, светлоглиняная крышка, венчик сероглиняного трипода с ножкой, венчик красноангобированной чаши с заостренным венчиком, венчик красноглиняной чаши с кососрезанным венчиком, плечико с отломанной ручкой крупного светлоглиняного кувшина, тулово сосуда закрытого типа, венчик горлышка сероглиняного кувшина, изделие из камня.

Помещение 4, прямоугольное в плане, имеет два прохода. В восточном углу размещался пристенный очаг. Заполнение помещения – забутовка (куски сырца, натеки). Найдены археологически целый светлоглиняный кувшинчик, миниатюрный черноглиняный кувшинчик (без горла), фрагменты стенок кухонного котла. Проход в северозападной части помещения был завален мусором (кусочки угля, золы).

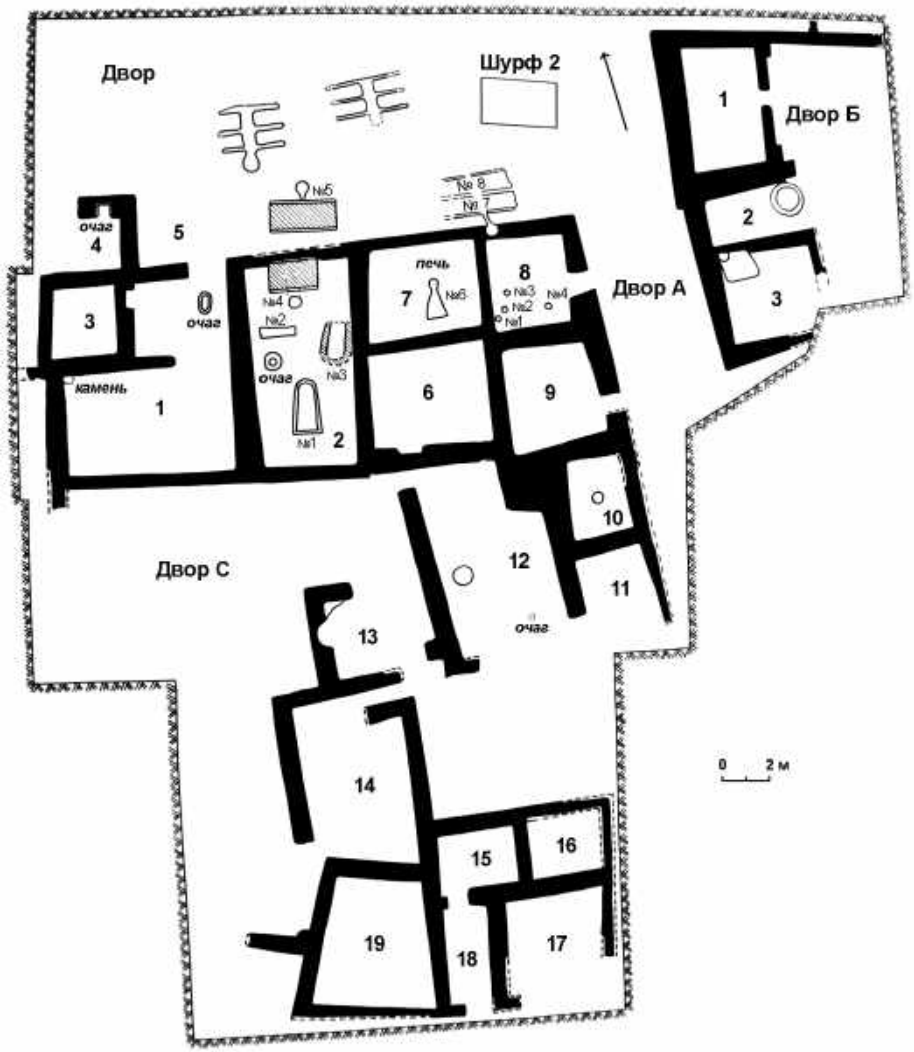


Рис. 4. Изат-кули. Раскоп 2. План.

Помещение 5, почти квадратное в плане. Расчищено два прохода. Северо-западный проход завален мусором (большое количество золы, угля, прожженных слоёв). В юго-восточной части пом. 5, на уровне пола, прослеживаются прожженные коричневые слои. Заполнение – сырец, известковые слои. В помещении найдены миниатюрный светлоглиняный кувшинчик с петелькой-ручкой на тулове, венчик сероглиняного трипода, сероглиняная петелька-ручка для подвешивания, светлоглиняная крышечка, фрагмент плоского дна сероглиняного сосуда закрытого типа, два венчика светлоглиняных тагор, один из них имеет с двух сторон красный ангоб, стенки кухонного котла, стенки тонкостенного красноглиняного сосуда закрытого типа, фрагмент тулова крупного сосуда (корчаги), фрагмент венчика светлоглиняной чаши, фрагмент венчика горла светлоглиняного кувшина.

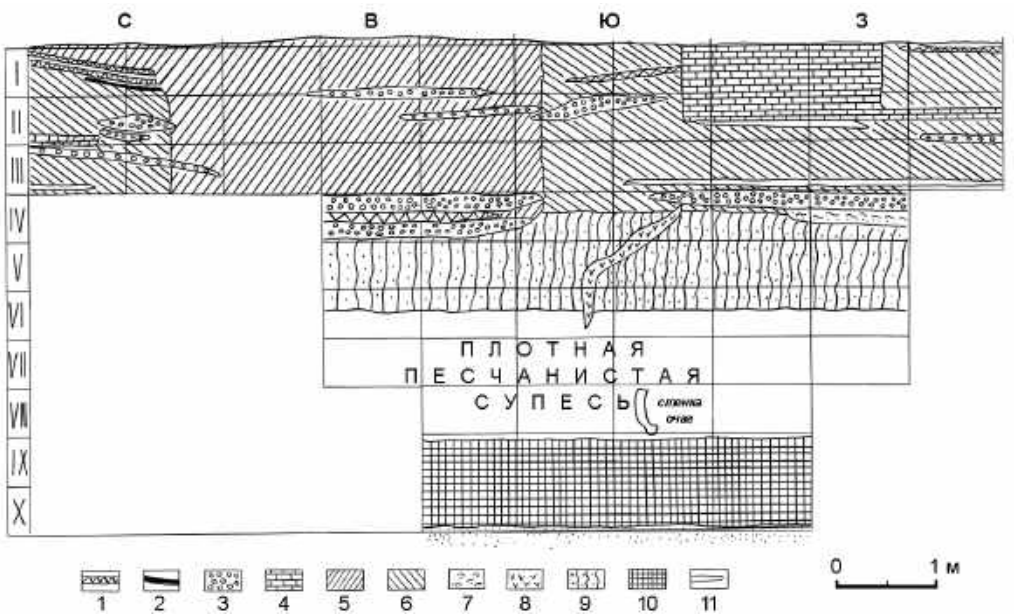


Рис. 5. Изат-кули. Раскоп 2. Шурф № 3. Развертка: 1 – полы; 2 – зола; 3 – зольно-мусорный слой; 4 – сырцовая стена; 5 – рыхлый культурный слой с известью, угольками; 6 – рыхлый слой; 7 – зола с угольками; 8 – рыхлый слой с большим количеством извести; 9 – песчанистая подсыпка; 10 – плотная глинистая супесь; 11 – прожженный слой (коричневато-красный).

Помещение 6 сохранилось частично. В северной его части отмечены прожженные и рыхлые культурные слои. В юго-восточной части помещения, около стены, располагался очаг.

Помещение 7, прямоугольное в плане, раскопано частично. Заполнение – забутовка, натеки, находок почти нет.

Двор А прилегает к помещениям 2, 3, 4, 5, 6. Его заполнение – натеки, сырец, гумусные и известковые слои, прожженные и рыхлые слои, угольки. **Двор Б** находится северо-восточнее помещения 7. Его заполнение состоит из рыхлых, зольных и мусорных слоев.

С целью определения стратиграфии культурных напластований **на раскопе 2,** восточнее внешнего восточного угла пом. 6 дома 1 заложили **шурф № 3** (3 × 2 м) (рис. 5), вытянутый по линии запад-восток. Шурф доведен до материка, представляющего речной аллювий (серовато-жёлтый, уплотненный, мягкий песок). Мощность культурных напластований составила 4,95 м. Материковый слой покрывает плотная глинистая супесь толщиной 80–85 см (X–IX ярусы). В этом уровне (X–IX ярусы) не зафиксированы культурные слои, нет ни одного фрагмента керамики. Выше глинистой супеси идёт плотная песчанистая супесь толщиной 1,3 м (VIII, VII, середина VI яруса). В этом слое фиксируются прослойки с включениями извести, угольков, керамики. В VIII ярусе шурфа, на глубине 3,5–4,0 м находился очаг с ошлакованными стенками глубиной почти 40 см. На глубине 2,75–4,0 м преобладает светлоглиняная (62%) керамика; соотношение сероглиняной (18%) и красноглиняной (15%) посуды почти одинаковое. Самая малочисленная – кухонная керамика (5%). Супесь переходит в песчанистую подсыпку, имеющую оранжевато-коричневый цвет и включающую рыхлый слой с большим количеством извести. Толщина

этого слоя – 1 м (середина VI, V, середина IV ярусов). На глубине 1,5–2,0 м в рыхлый слой и песчанистую подсыпку врезаются зольно-мусорные слои, полы, зола с угольками. На глубине 1,75-2,75 м существенно преобладает светлоглиняная керамика (61,9%). Сероглиняная керамика составляет 29,8%; красноглиняная малочисленна – 7,7%. Найден один фрагмент кухонного сосуда (0,27%). Верхние слои шурфа (I, II, III ярусы) отличаются от нижележащих слоёв насыщенностью культурных остатков и наличием строительного горизонта. Сразу же под дерновым слоем, в разрезе западной стенки шурфа прослеживается сырцовая стена длиной 1,74 м, высотой в 12 рядов (84 см) сырцовых кирпичей. Она не доходит до восточной стены дома 1. От выявленной сырцовой стены отходят два уровня глинобитных пола. К этой стене прилегают зольно-мусорные наслоения с включениями извести, угольков, керамики. В верхних слоях шурфа (I, II, III ярусы) фиксируются рыхлые культурные слои с известью, угольками, керамикой, зольно-мусорные слои. В этих слоях заметно преобладает светлоглиняная керамика (62,4%); красноглиняные фрагменты составляют 21,8%. Сероглиняная посуда представлена в меньшем соотношении – 14,4%. Исследованный археологический материал шурфа, представленный только фрагментированной керамикой, типичен для керамического комплекса культуры архаического Дахистана (*Массон,* 1956, с. 385–458; *Атагаррыев, Лисицына,* 1970, с. 166–183; *Мурадова,* 1991 с. 71–96; *Прищепенко, Шапошникова*, 1970, с. 184–194).

На Изат-кули, на маленьких всхолмлениях, прилегающих к выделенному центральному укреплению, исследована архитектура верхнего строительного горизонта. На сравнительно небольшом участке поселения вскрыты жилищно-хозяйственные комплексы, каждый из которых имел двор, ряд жилых и хозяйственных помещений. Дома не имели фундамента. Стены строились на культурных слоях нижележащего горизонта. Это подтверждают культурные напластования шурфов № 2 и № 3. Исключениями являются ранние стены нижележащего строительного горизонта, зафиксированные на раскопе 1, в помещениях 10 и 11. За линией этих ранних заброшенных стен, выше них, были построены стены верхнего строительного горизонта. Из-за плохой сохранности архитектуры стены некоторых помещений обрываются, не выявлены проходы между помещениями. Размеры помещений не имеют прямой связи с их функциональным назначением. На жилой характер указывают пристенные очаги, очаги-лунки, служащие для обогрева помещений, а также заполнение помещений. Стены жилых помещений оштукатурены; полы имеют глиняную обмазку с примесью растительности, а иногда с включениями извести. В хозяйственных помещениях устроены округлые ямы, например, на раскопе 1, в пом. 2 дома 2 есть яма диаметром 86 см, глубиной 20 см, внутри которой найдены фрагменты керамики. Заполнение хозяйственных помещений – рыхлое. Характерные отличительные признаки имело заполнение дворов – насыщенные зольно-мусорные слои, прожженные слои, слои с остатками органического характера (гумусные слои), рыхлые культурные слои с включениями золы, углей, костей, кусков прокаленных стенок очагов и фрагментами керамики.

Аналогичные жилищно-хозяйственные комплексы раскопаны и исследованы на поселениях Бенгуванского оазиса (*Мурадова*, 1991), принадлежащих культуре архаического Дахистана (*Костюченко, Лисицына, Прищепенко*, 1972, с. 56–65).

На Чыглыкдепе (*Гутлыев*, 1972) вскрыта цитадель высотой 6 м вокруг которой сохранились остатки оборонительной стены толщиной около 2 м, высотой 3,3 м. На цитадели расчищено девять помещений верхнего строительного горизонта, построенных из крупноформатного сырцового кирпича размерами 70 × 48 × 10 и 74 × 49 × 11 см. Слой светлой штукатурки с примесью алебастра покрывает стены раскопанных помещений.

Раскопанные остатки обжигательных печей, находящиеся в ремесленном квартале, указывают на то, что в западной части поселения Изат-кули находился керамический центр, свидетельствующий о втором крупном разделении труда – ремесло отделяется от земледелия. Это привело к возникновению производства для обмена, т. е. к товарному производству. Процессы обмена отражались на стандартизации форм ремесленной продукции.

Для определения динамики роста поселения Изат-кули сопоставим три стратиграфических шурфа - № 1, № 2 и № 3. Шурф № 1 заложен на цитадели (*Мурадова*, 1991, с. 51–71). Шурф № 2 и шурф № 3 – на небольших поселениях, прилегающих к цитадели. Во всех трёх шурфах на материковом слое (речной аллювий) лежат культурные слои, относящиеся к культуре архаического Дахистана и свидетельствующие о единовременности заселения поселения Изат-кули.

В шурфе № 1 выявлено девять стратиграфических горизонтов, два строительных периода, три периода обживания. Мощность культурных напластований составляет – 8,75 м. В керамических комплексах трёх периодов обживания наблюдается эволюция культуры архаического Дахистана, проявляющаяся в изменении керамических форм. В шурфе № 2 мощностью культурных слоев 3 м, не обнаружено строительных остатков. Мощность культурных слоев шурфа № 3 – 4,95 м. В верхних слоях шурфа выявлен строительный период, относящийся к верхнему строительному горизонту поселения, соответствующему раскопанным жилищно-хозяйственным комплексам.

Полученные результаты стратиграфических исследований позволяют судить о динамике развития поселения Изат-кули и длительном его существовании.

Стратиграфическими исследованиями на Мадау-депе (*Массон,* 1956, с. 385–458), поселениях Бенгуванского оазиса (*Мурадова*, 1991, с. 12–27), Тильки-депе (*Лисицына, Прищепенко,* 1972), Чыглыкдепе (*Атагаррыев, Лисицына,* 1970, с. 167–169), Тангсикыльджа (*Атагаррыев, Лисицына*, 1977, с. 93–104), Изат-кули (*Мурадова,* 1991, с. 51–71) установлено, что культурные слои с керамикой культуры архаического Дахистана лежат непосредственно на древнедельтовых отложениях Сумбара и Атрека. По-видимому, незасоленные дельтовые отложения явились древней поверхностью, на которой поселились люди в конце II тыс. до н. э. Густая оросительная сеть способствовала развитию земледелия (*Кесь, Костюченко, Лисицына*,1980). На исследуемой равнине имеется крупный массив древних орошаемых земель, свидетельствующий о высоком развитии древнеземледельческой культуры.

Литература

Атагаррыев Е., Лисицына Г. Н. Работы над составлением археологической карты Мешед-Мисрианской равнины-Чатского земельного массива // КД. Вып. III. Ашхабад, 1970.

Атагаррыев Е., Лисицына Г. Н., Прищепенко Л. В. Работы на Мешхед-Мисрианской равнине в 1971 г. // КД. Вып.V. Ашхабад, 1977.

Гутлыев Г. Раскопки на холме Чиалык (Чыглык-депе) // КД. Вып. IV, Ашхабад, 1972.

Кесь А. С., Костюченко В. П., Лисицына Г. Н. История заселения и древнее орошение Юго-Западной Туркмении. М.,1980.

Костюченко В. П., Лисицына Г. Н., Прищепенко Л. В. Бенгуванский оазис поселений времени архаического Дахистана // КД. Вып. IV. Ашхабад, 1972.

Лисицына Г. Н., Прищепенко Л. В. Тильки-депе и некоторые вопросы палеографии Юго-Западной Туркмении // КСИА. Вып. 132. М., 1972.

Массон В. М. Памятники культуры архаического Дахистана в Юго-Западной Туркмении // ТрЮТАКЭ. Т.VII. Ашхабад, 1956.

Мурадова Э. А. 1991. Поселения архаического Дахистана. Ашхабад, 1991.

Прищепенко Л. В., Шапошникова О. С. 1970. Новые материалы для изучения керамики архаического Дахистана // КД. Вып. III. Ашхабад, 1970.

В. Н. Пилипко

ДУШАКСКОЕ СЕЛИЩЕ (ЮЖНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН)

Археологические памятники в окрестностях железнодорожной станции Душак с той или иной степенью полноты осматривались практически всеми работавшими в Туркмении археологами. Но это, в основном, были ознакомительные поездки, не всегда даже сопровождавшиеся сбором подъемного материала. Работавшие здесь археологи свою профессиональную миссию считали выполненной, доложив коллегам о результатах своих полевых наблюдений на каком-нибудь научном собрании или даже в частной беседе, до публикаций дело почти никогда не доходило. Поэтому попытки подробного ознакомления с древнейшим прошлым этого региона по публикациям неизбежно заканчиваются неудачей. В печати можно обнаружить упоминания о работе в этом районе многих исследователей, но о самих памятниках имеются лишь скудные предварительные сообщения (*Массон,* 1953, с. 13–16, 29; *Атагаррыев*, 1968, с. 44; *Сариниди, Кацурис,* 1968; *Сариниди,* 1969; *Сариниди,* 1971; *Гутлыев*, 1982). Более подробные публикации представляют исключительную редкость (*Масимов*, 1972; *Бабаев*, 1997).

Автор настоящего сообщения также многократно бывал в этом районе, достаточно активно обследовал расположенные здесь археологические памятники (в моей картотеке имеются сведения почти о 50 объектах данного района), но результаты этих исследований также остались неопубликованными. Причины, приведшие к такому результату, вполне банальны. Материалов, собранных при кратковременных разведывательных обследованиях, было недостаточно для подготовки «солидной» научной публикации, а для проведения более основательных исследований не было возможностей и желания – большинство посещаемых во время разведывательных поездок объектов было вне сферы моих основных научных интересов и обязанностей (изучение памятников парфянской эпохи).

Но памятник, который служит объектом данной публикации, Душакское селище, несмотря не «непрофильность», вызывал у меня определенный интерес. Он задевал мое профессиональное самолюбие – у меня существовали проблемы с его культурно-хронологическим определением. Я несколько раз проводил на нем дополнительные сборы подъемного материала,[1] но для окончательного разрешения возникших вопросов требовалось проведение раскопок. Теперь надежда на проведение собственных раскопок на этом памятнике окончательно исчезла и наступила пора публикации того немногого что известно. Поэтому я прошу Виктора Ивановича извинить меня за помещение в сборнике, издаваемом в его честь, столь сырого материала. Публикация этих несовершенных заметок именно в данном сборнике служит гарантией того, что они не ускользнут от внимания ведущих специалистов в области изучения древних культур Средней Азии периода поздней бронзы и раннего железа, и этот неординарный памятник, возможно, станет объектом археологических раскопок. Кроме того, для меня это не только лишний повод

[1] Душакское селище было открыто в 1973 г., затем я посещал его еще дважды – в 1983 и 1993 гг.

засвидетельствовать свое уважение юбиляру, но и возможность возбудить у него ностальгические воспоминания о тех временах, когда он, еще относительно молодой исследователь, первым отважно поднял руку с лопатой на центральный памятник Душакского оазиса – непостижимо огромный Улуг Депе.

Душакское селище расположено на правом берегу реки Келат-чай (Душак) у одной из крутых излучин ее русла, примерно в 6 км от ее выхода на подгорную равнину Копетдага. В рельефе поселение практически не выражено. Его контуры приблизительно определяются по площади распространения подъемного материала. Оно вытянуто вдоль берега примерно на 350 м и местами достигает ширины 50 м. В этих пределах наблюдается скопление средней величины камней и обломков керамических сосудов. В обрыве речного берега видно, что культурный слой (по крайней мере, в прибрежной части) не был мощным – 20–40 см. Никаких остатков сырцовых или каменных стен в незачищенном береговом обрыве обнаружить не удалось.

С поверхности поселения собрана достаточно представительная коллекция керамических фрагментов. Преимущественно это, конечно, обломки боковых стенок, но для статистических подсчетов использованы только венчики. Как отдельные статистические единицы засчитаны также центральные части дисковидных крышек с держаками и два донца сосудов кругового изготовления. В общей сложности это 116 единиц изделий.

Основная масса керамики относится к числу лепной. На ее долю приходится 96% изделий. По фактурно-технологическим признакам выделяются следующие группы.

1. Лепная керамика с примесью шамота в глиняном тесте.
2. Лепная керамика без грубых примесей.
3. Керамика с шамотом в тесте, изготовленная с применением тканевого шаблона.
4. Керамика с примесью шамота, изготовленная на какой-то твердой болванке.
5. Лепная керамика с добавлением шамота и песка.
6. Лепная керамика с добавлением кварцевого песка.
7. Лепная керамика с добавлением минеральных (карбонатных) примесей.
8. Лепная расписная керамика.
9. Керамика кругового изготовления.

Две первые группы наиболее представительны. На их долю приходится около 90% от всей коллекции. Следует отметить, что их разделение в определенной степени носит условный характер. При визуальном осмотре присутствие шамота в глиняном тесте определяется не всегда уверенно. Его частицы существенно различаются по величине и «удельному весу». Во многом эти показатели связаны с величиной и назначением изделий. В крупных тарных сосудах частицы шамота более крупные и, как правило, более многочисленные. В тонкостенных чашевидных сосудах шамот обычно отсутствует или растерт до пылевидного состояния.

Изделия этих групп, несомненно, представляют продукцию домашнего изготовления. В цвете черепка и внешней поверхности наблюдаются значительные различия. Основная масса изделий имеет черепок красно-коричневых оттенков и внешнюю поверхность цвета черепка. Часть сосудов при красно-коричневом цвете черепка имела светлосерую внешнюю поверхность. В небольшом количестве встречаются изделия со светлосерым, желтым и еще реже темносерым черепком. Во многом все это разнообразие можно объяснять нестабильными условиями обжига. Но процедура последнего, вероятно, была достаточно четко отработана, и сосуды с некачественным, неравномерным обжигом встречаются редко. Небольшая часть изделий покрывалась специальными ангобными покрытиями, но более подробно эта технологическая операция будет рассмотрена ниже, совместно с другими способами декорации.

К первым двум группам близко примыкают группы 3 и 4. Они также лепились вручную из относительно чистой глины или из глиняного теста с примесью шамота, но при их изготовлении использовались дополнительные приспособления.

Группа 3. При изготовлении этих сосудов формовка осуществлялась на мешочках из ткани, набитых песком. На внутренней поверхности изделий, изготовленных подобным образом, сохранились отпечатки ткани разного плетения. На этих болванках формировался резервуар сосуда. Затем, после удаления «формы», ручным способом дорабатывался венец.

Группа 4. При изготовлении части небольших «столовых» сосудов использовали твердые болванки. Это могли быть приспособления, специально сделанные из глины (обожженной?) или дерева, или просто подходящие по форме и величине камни-голыши. При изготовлении сосудов подготовленная глиняная лепешка посыпалась сверху мелким песком и затем обжималась по форме болванки. Так формовалась нижняя часть сосуда (до наибольшего диаметра). После снятия с сердечника методом налепа формовалась верхняя часть сосуда.

Особенности изготовления изделий групп 3 и 4 привели к тому, что при статистическом учете только венчиков, они себя никак не проявляют, так как на венцах, формуемых обычной лепкой, следов песчаной подсыпки и отпечатков тканей не оставалось. Их существование устанавливается по обломкам стенок и днищ. Поскольку по фактуре черепка они не отличаются от первых двух групп, то венцы изделий групп 3 и 4, в статистических таблицах также отнесены к группам 1 и 2. Но по пропорциональному соотношению фрагментов стенок можно предполагать, что на долю изделий третьей группы приходилось около 10%, а четвертой – около 5% от общего числа анализируемых черепков.

Количество изделий групп 5–7 исчисляются единицами. Сами они по своему облику практически не отличаются от черепков первых четырех групп, за исключением состава черепка, отмеченного в самом названии групп. Это обстоятельство при морфологической характеристике изделий, изготовленных методом ручной лепки, позволяет всю лепную керамику рассматривать как определенное единство.

Как отмечалось выше, рассматриваемая керамика являлась продуктом домашнего производства и отличается неразвитостью форм. Представлены только три категории – горшки, чашевидные сосуды и плоские дисковидные крышки. Морфология горшков и чаш проста и однотипна. Небольшое плоское дно, объемистое тулово в виде части шарового сегмента и венец изделия, оформленный без излишних затей – это обычно просто скругленный край стенки: часто он еще слегка отогнут наружу. В ряде случаев край стенки (венчик) приострен, крайне редко утолщен. У небольшого количества горшков имеется подобие низкой горловины. В некоторых случаях по небольшим обломкам венчиков горшки трудно отличить от чашевидных сосудов, так как горшки преимущественно представлены широкогорлыми изделиями.

При всей нерасчлененности (примитивности) форм среди горшков можно выделить несколько разновидностей. Наиболее многочисленны экземпляры с плавно отогнутым наружу венчиком, переходящим в пологие длинные плечики. Целых изделий нет, поэтому трудно судить о форме тулова. Судя по наклону плечиков, эти горшки имели утяжеленные книзу каплевидные (грушевидные) резервуары. Внутри этого основного типа можно выделить несколько вариантов.

1а. Горшки с относительно высоким (3–5 см) венчиком, плавно переходящим в пологие плечики (рис. 1: *1-3*).

1б. Изделия с очень коротким отогнутым наружу венчиком (рис. 1: *7, 18, 19*).

1в. Переход от венчика к тулову отмечен резким изгибом (рис. 1: *4, 5*).

1г. Изделия, у которых отгиб короткого венчика едва намечен (рис. 1: *16, 25*).

Тип 2. Горшки, имеющие не каплевидное, а шаровидное тулово (рис. 1: *15*).

Тип 3. Верх сосуда образован конусовидным сужением практически прямого участка стенки (рис. 1: *27*).

Тип 4. Утолщенный отогнутый наружу венчик имеет клювовидные очертания (рис. 1: *11, 17*).

Тип 5. Утолщенный уплощенный сверху бережок венчает подобие короткой цилиндрической горловины (рис. 1: *12–14*).

В дополнение к этому следует отметить, что большинство горшков снабжено плоским дном небольшого диаметра. Самое большое из представленных в коллекции дно имеет диаметр 15-17 см. Диаметры венчиков варьируют в большом диапазоне – от 9 до 43 см. На основании статистических подсчетов по диаметру венчика можно предполагать, что в употреблении находились горшки четырех типо-размеров: 1 – диаметр 12–20; 2 – диаметр 21–26; 3 – диаметр 27–37; 4 – диаметр 38–43 см. На долю горшков приходится около 52% от общего числа рассматриваемых сосудов.

Среди чашевидных изделий выделяется пять основных типов:

1. В виде закрытых шаровых сегментов, т.е. представляющих в сечении более половины эллипса или овала (рис. 2: *12, 16, 17*). Один из подобных сосудов снабжен вертикальной ручкой (рис. 2: *7*).

2. В виде открытых шаровых сегментов (рис. 2: *2, 9)*.

3. Условно полусферические чаши с отогнутым наружу венчиком (рис. 2: *4, 5, 13, 14*).

4. Изделия в виде перевернутого усеченного конуса (рис. 2: *15*).

5. Чаши с крутым перегибом стенки. В зависимости от постановки верхней части стенки их можно определять как биконические (рис. 2: *10*) или цилиндро-конические (рис. 2: *9*). Следует отметить, что чаши данного типа резко выраженного ребра не имеют.

Большинство чашевидных изделий имеет неразвитые формы венчиков, образованные простым скруглением края стенки или небольшим ее утолщением. Лишь немногие сосуды имеют венчики более сложной формы (рис. 2: *20*).

О полном профиле судить трудно. Есть основания предполагать, что доминировали глубокие объемистые изделия с небольшим плоским, реже слегка вогнутым дном (рис. 2: *21, 22, 25*). Некоторые разновидности чаш по форме профиля трудно отличить от небольших горшков. Например, венчики рис. 2: *4, 5* и придонные части типа рис. 2: *25* можно трактовать двояко. Отличительным признаком чаш служит более тонкая выделка, более тщательная отделка поверхностей, особенно внутренней.

В соответствии с диаметром венчика сосуды открытого типа можно разделить на три вида: чаши – диаметр 9–23 см, миски – 24-30 см и тазы – 31–40 см. На долю сосудов открытого типа приходится 39% изделий.

К чашам, вероятно, следует относить еще одну любопытную находку. Это терракотовая пластина, имеющая условно форму половины диска (диаметр 10–12 см). На ее дуговидной части имеются следы соединения с какой-то другой округлой поверхностью. Эта пластина, вероятно, служила перегородкой в каком-то небольшом чашевидном сосуде.

Третья категория изделий – крышки (ок. 9%). Это относительно тонкие (1,2–2,5 см) диски диаметром 22–30 см. Одни из них снабжены центральным держаком в виде цилиндрического налепа. Представленный в коллекции целый держак имеет четыре глубокие вмятины, сделанные кончиками пальцев (рис. 2: *24*). У других крышек держак имел форму прямоугольной пластины, вертикально закрепленной в центре диска (рис. 1: *26*). Известна крышка, у которой, вероятно, было две ручки в виде подобных пластин, наклонно прикрепленных к гурту напротив друг друга (сохранился фрагмент только с одной

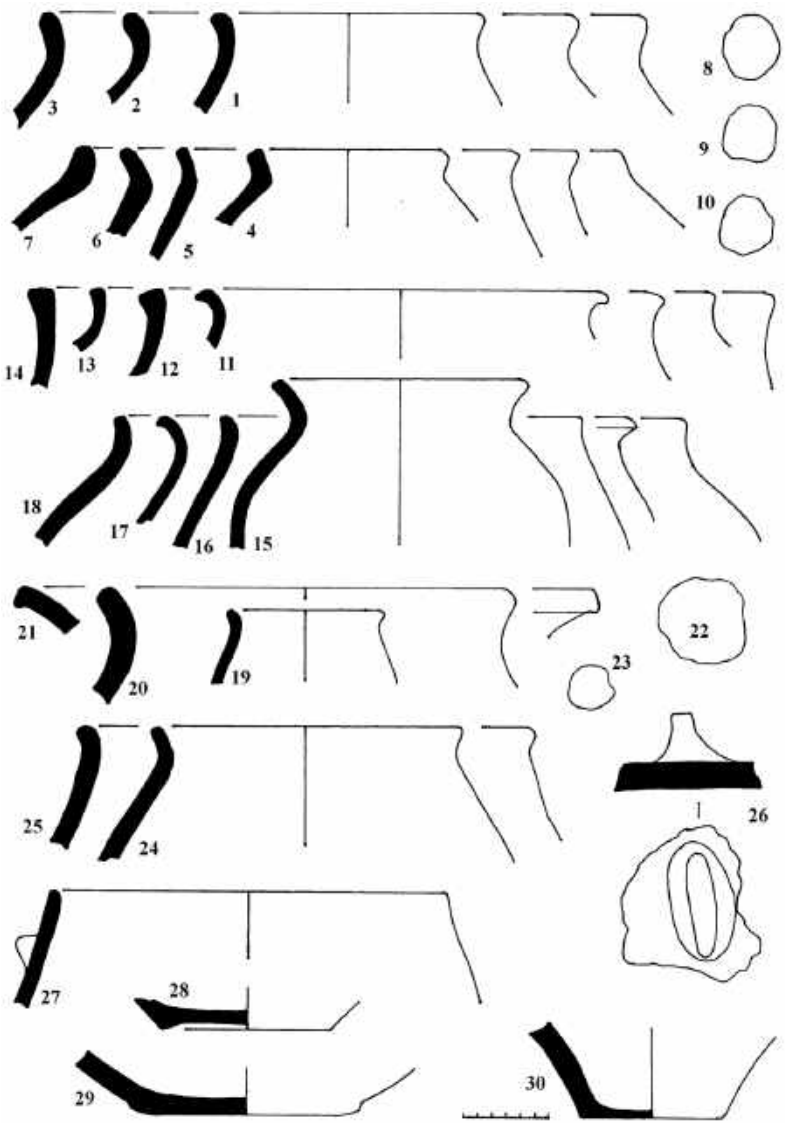


Рис. 1. Душакское селище. Керамика.

ручкой). Крышки изготовлялись путем разминания куска глины на ровной поверхности, иногда при этом использовалась песчаная подсыпка. Тесто всех крышек имеет обильную примесь шамота.

Орнаментация. У большинства изделий цвет сосуда определялся цветом черепка, который преимущественно был красно-коричневым, реже розовым, желтым и светло-серым. Но довольно часто, особенно у чашевидных изделий, цвет внешней поверхности отличался от цвета черепка. В некоторых случаях это объясняется режимом обжига, но вместе с тем достаточно широко использовались специальные покрытия. Применялись

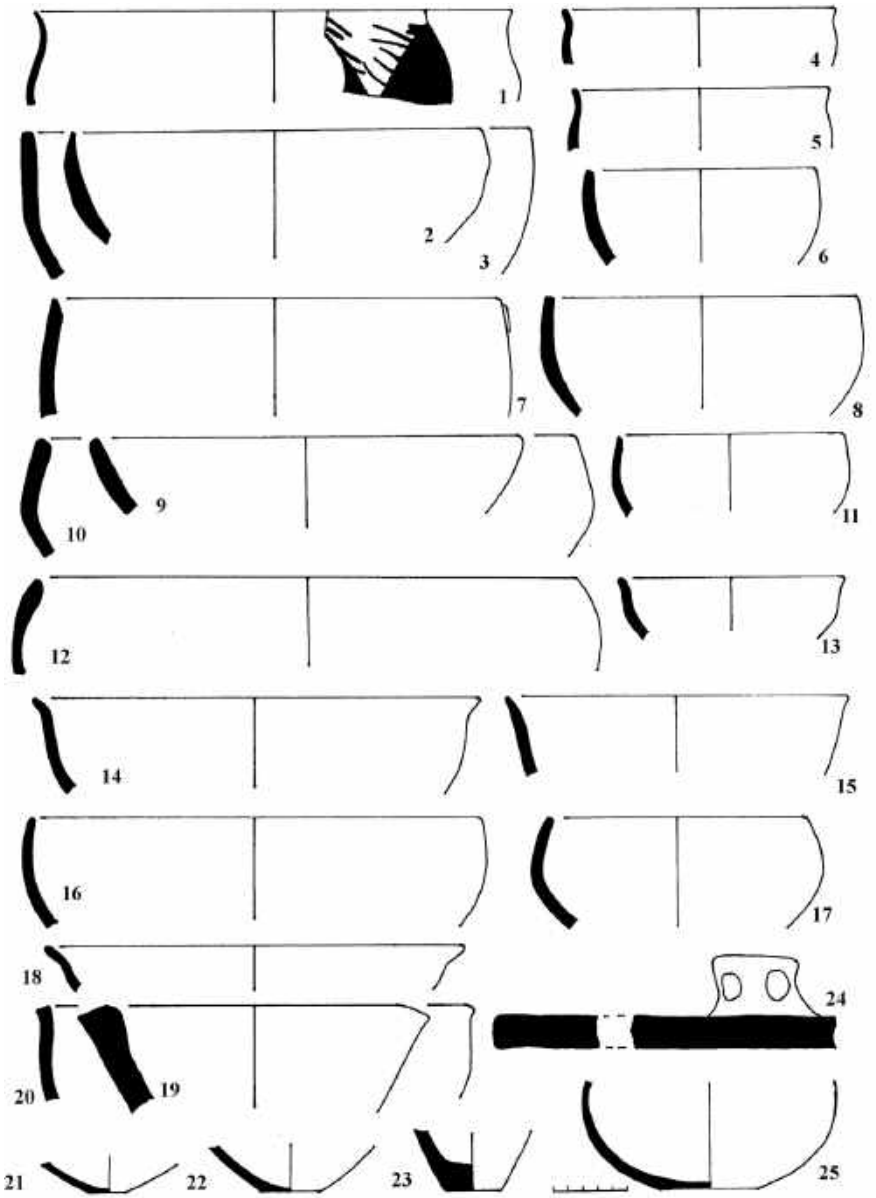


Рис. 2. Душакское селище. Керамика.

поверхностные обмазки, придающие изделиям красный, светло-серый, кремовый, светло-коричневый цвет. Красный ангоб чаще всего встречается на сосудах открытых форм, а среди последних – на мелких чашах. На горшковидные изделия ангоб наносился с внешней стороны, а на чашевидные преимущественно на внутреннюю или обе плоскости сосуда. Небольшая часть изделий, преимущественно опять же чаши, лощилась. Причем заглаживали не только ангобированные изделия.

На некоторых сосудах обнаружены мазки краснобурой или зеленоватой минеральной краски. На одном небольшом фрагменте, выделенном в отдельную фактурно-технологическую группу 8, отмечена даже примитивная роспись, выполненная по розовато-коричневой поверхности красной краской (рис. 2: *1*).

На плечиках горшковидных сосудов изредка встречаются конусовидные, овальные и полусферические налепы (рис. 1: *27*). Держак одной крышки украшен (?) кольцом глубоких вмятин. В целом следует констатировать, что декоративному оформлению керамических изделий уделялось мало внимания.

Еще одну небольшую, но важную для датировки поселения группу находок составляет керамика кругового изготовления. Она очень малочисленна – четыре венчика, два донца и около десятка стенок.[1] Это преимущественно обломки тонкостенных чаш. Большая их часть с двух сторон, или только с внутренней, покрывалась плотным красным ангобом. Найдена придонная часть изделия с очень малым диаметром (3,6 см) плоского дна. Это, видимо, кубок или часть вазообразного сосуда. Важен обломок еще одного дна диаметром 10 см, вероятно, принадлежащий корчаге с придонной выкружкой (рис. 1: *30*). Все эти изделия могут быть определены, как относящиеся к эпохе поздней бронзы. Венчик «чаши» с отогнутым венчиком может принадлежать вазе на конической ножке. Некоторые затруднения имеются с хронологическим определением массивного изделия конической формы (рис. 2: *19*).

Помимо обломков сосудов, с поверхности городища поднято около десятка небольших кружков, грубо высеченных из стенок поломанных сосудов. Диаметр их 3–6,5 см (рис. 1: *8–10, 22, 23*). Центральных отверстий в них нет, т. е. это не прясла.

Другая группа подъемного материала - каменные изделия. Преобладают подпятники. Это разной величины камни, на одной или двух сторонах, которых имеются округлые впадины (рис. 3). Материалом для их изготовления чаще всего служили плоские голыши. Некоторые крупные камни со значительными по размерам углублениями можно определять как ступки. Довольно многочисленны небольшие каменные диски (диаметр 5–10 см) с центральным отверстием, сверление осуществлялось с двух сторон (рис. 3: *1–4*). Эти поделки, вероятно, использовали как грузила (утяжелители). Единственным экземпляром представлен небольшой терочник из песчаника (рис. 3: *5*). В пределах поселения в значительном количестве встречаются необработанные камни разной величины (до 40 см в поперечнике). Они, по-видимому. активно использовались в хозяйственной деятельности, но конкретный способ их употребления без раскопок определить не возможно.

Прежде чем обратиться к вопросам датировки, попытаемся составить некоторое суждение об образе жизни обитателей данного поселения. Культурный слой последнего невелик по толщине. Сколько-нибудь значительные всхолмления, соответствующие остаткам строений, в его пределах не прослеживаются. В береговом обрыве следов глиняных или каменных стен также не видно. Эти наблюдения свидетельствуют об отсутствии на поселении капитальных жилых строений. Больше оснований предполагать, что его обитатели жили в легких каркасных жилищах. Лепная керамика со скудным набором форм указывает на невысокий уровень развития гончарного производства. Все это позволяет видеть в рассматриваемом археологическом объекте остатки стационарного или сезонного (зимник?) стойбища скотоводов.

Наибольшее значение для определения возраста Душакского селища имеют малочисленные, но очень показательные фрагменты керамики кругового изготовления. Они уверенно датируются эпохой поздней бронзы, периодом Намазга VI. Об этом свидетель-

[1] Из обзора исключены также крайне малочисленные обломки круговых изделий, определенно относящихся к эпохе средневековья.

ствует широкое использование красного ангоба, отогнутый наружу венчик плоской чаши, возможно, принадлежащий «вазе на ножке» и придонная выкружка крупного тарного сосуда – характерная морфологическая деталь керамики эпохи поздней бронзы. В рамках культуры Намазга VI красноангобированная керамика характерна для наиболее поздних этапов ее развития.

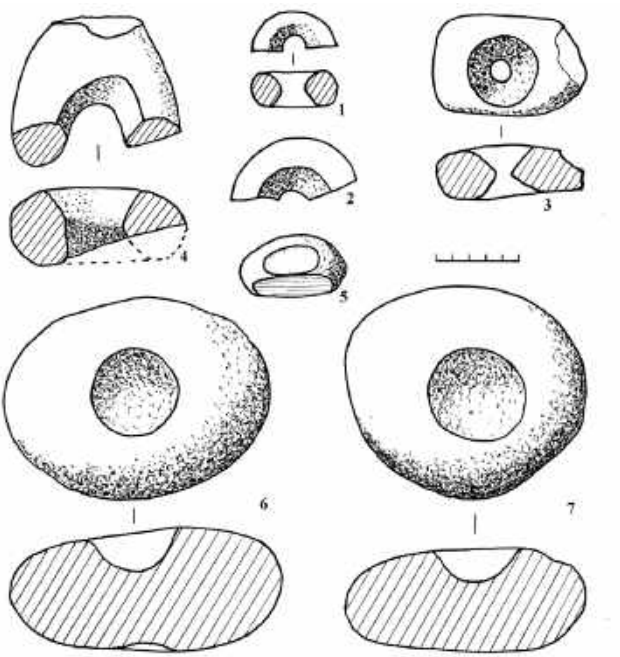


Рис. 3. Душакское селище.
Каменные изделия.

Эпоха поздней бронзы на территории Южного Туркменистана и вообще Средней Азии характеризуется вторжениями скотоводческих племен. Это, прежде всего, племена андроновского круга, появившиеся в Средней Азии в середине II тыс. до н. э., и оказавшие большое влияние на судьбы местного земледельческого населения (*Кузьмина,* 1994; *Кутимов,* 2002). Следующая волна связана с племенами «поздней расписной керамики» или «язовской культурной общности», которые окончательно положили конец естественному эволюционному развитию культуры земледельческого населения юга Средней Азии.

Поскольку есть основания обитателей Душакской стоянки также рассматривать как подвижных скотоводов, необходимо определить их место среди других подобных групп. Сопоставление с комплексами андроновского типа показывает отсутствие между ними генетических связей (насколько это можно проследить по неполным наборам керамических комплексов). Племена «степной бронзы» андроновского круга при изготовлении своей керамики преимущественно использовали в качестве отощающей добавки минеральные примеси, в их комплексах присутствуют круглодонные изделия (полностью отсутствующие на Душакском селище), и главным этно-культурным признаком этой керамики служат резаный и тисненый орнамент, валикообразные налепы (*Итина,* 1977; *Ганялин*, 1956; *Кузьмина, Ляпин,* 1984; *Щетенко, Кутимов,* 1999).

С комплексами язовского круга душакская коллекция обнаруживает больше точек соприкосновения. Сходство, прежде всего, прослеживается в следовании единой технологической традиции – при изготовлении керамики в качестве отощителя активно использовался шамот. Сближает их техника изготовления ряда изделий с применением болванок из твердых материалов. С Елькен-депе известны фрагменты стенок с отпечатками ткани на внутренней стороне (*Марущенко,* 1959, табл. XXII: *6*). Там же имеются крышки с держаком в виде вертикальной пластины (*Марущенко,* 1959, табл. XIX: *4*). При раскопках поселения Кара Ой, также расположенном в окрестностях Душака, найден обломок крупного горшка с вертикальным овальным налепом ниже венчика (*Гутлыев*, 1982, рис. 2: *2*).

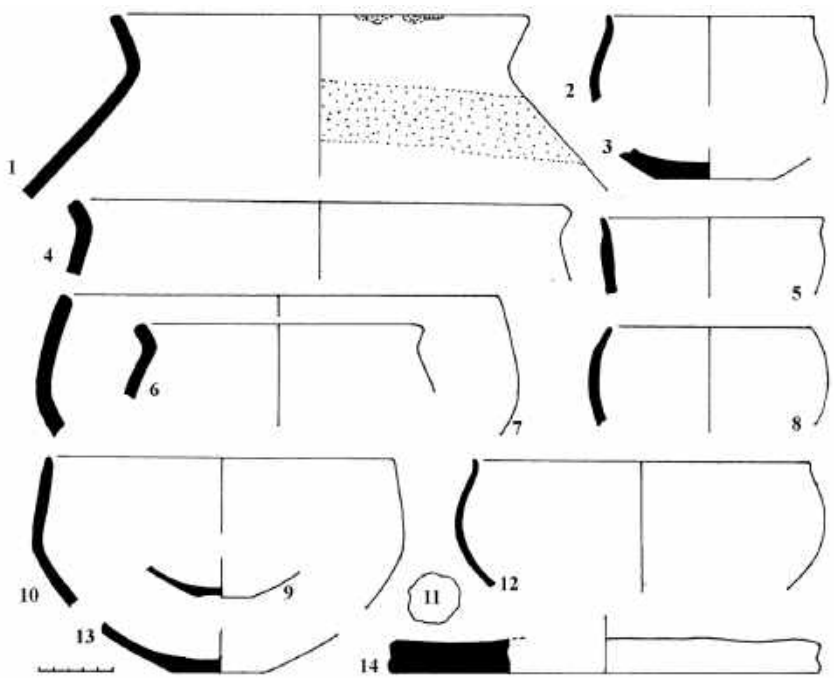


Рис. 4. Керамика с Душакского селища 2 (1–8) и поселения у Чаача (9–14).

Такой же венчик горшка найден на Душакском селище (на иллюстрациях он не представлен). Единственный расписной сосуд со стоянки (рис. 2: *1*) обнаруживает сходство с находками из раскопок Улуг Депе (*Сариниди,* 1985, табл. LXVII: *1–3*). Причем следует отметить, что этот мотив росписи (залитые треугольники с ресничками) пока известен только в Душакском оазисе.[1]

Но в целом отчетливо выявляется, что комплексы разные. Наиболее характерная черта комплексов язовского круга – расписная керамика с доминирующим мотивом – штрихованные треугольники. В Этеке для комплексов времени РЖВ I характерна еще

[1] Необходимо еще раз повторить, что весь рассматриваемый материал относится к числу «подъемного», т. е. собранного с поверхности объекта. Поэтому в отношении редких видов керамики возможны сомнения в их принадлежности к рассматриваемому «комплексу». Местность посещалась и засорялась в последующие времена. В пределах древних руин встречаются осколки современных стеклянных бутылок, редкие фрагменты средневековой керамики (но они достаточно хорошо определятся по фактуре), сомнительна принадлежность к основному комплексу донца с кольцевым поддоном (рис. 1: 28) – оно, возможно, относится к античной эпохе. Нельзя уверенно говорить о непременной связи с селищем вышерассмотренного расписного черепка. Сосуд мог быть разбит на руинах уже заброшенной стоянки посетителями, пришедшими с рядом расположенного Улуг-депе. Окончательную ясность могут внести только раскопки.

Сомнения могут быть выказаны и относительно принадлежности к артефактам данного селища красноангобированной круговой керамики – она также малочисленна. Но здесь другая ситуация. Слоя с керамикой этого времени на селище определенно нет. Поэтому ее следует рассматривать как примесь к основному набору керамики, используемой обитателями селища, или как инородную примесь, попавшую сюда уже после запустения рассматриваемого поселения. В том и ином случаях круговая красноангобированная керамика эпохи поздней бронзы сохраняет свое значение хронологического маркера.

лепная керамика с плотной черной или красной облицовкой; на рассматриваемом селище она отсутствует. Кроме того, для периода Яз I показательно сочетание лепных изделий с керамикой кругового изготовления, преимущественно представленной цилиндро-коническими и биконическими формами, специфическими венчиками корчаг (*Пилипко,* 1986). К этому надо добавить, что культуры язовского круга в течение первой половины I тыс. до н.э. обнаруживают постепенное эволюционное развитие, т. е. Душакское стойбище по возрасту определенно старше «язовских» поселений.

Общий вывод из этих рассуждений – рассматриваемый комплекс представляет какое-то ранее неизвестное скотоводческое население, обитавшее в дельте Келат-чая на финальной стадии эпохи поздней бронзы. Генетически он не связан с «культурами степной бронзы» андроновского круга. Он обнаруживает большее сходство с комплексами язовского типа.

В связи с этим следует обратить внимание на развивавшуюся А. А. Марущенко в 60–70 гг. прошлого столетия версию, что в подгорной полосе Копетдага культуре Яз I непосредственно предшествовал период, для которого была характерна нерасписная лепная керамика с шамотом. Но эта гипотеза известна только по устным высказываниям и не подкреплена ссылками на конкретный материал (памятник). Теперь материалы Душакского селища можно рассматривать как подтверждение данного предположения, хотя его хронологическое и генетическое соотношение с памятниками язовского круга еще нуждается в уточнении.

Душакское селище не было одиноким. Рядом с ним, примерно в полукилометре выше по течению, расположено Душакское селище 2. Однако, из-за повреждения поздними кяризами, оно сохранилось плохо, происходящий с него материал пока крайне малочисленен (рис. 4: *9–14*). Он практически не отличается от керамики первого селища. Территориальная близость этих объектов не исключает их рассмотрения как одного поселения или последовательно существовавших стойбищ, оставленных одной этнической группой.

Третий объект известен на реке Чаача в непосредственной близости от одноименного селения. Здесь в высоком обрыве левого берега, на глубине 1–2 м от поверхности, прослеживается погребенный культурный слой, с которым связаны находки лепной керамики очень близкой к материалам Душакского селища (рис. 4: *1–8*).[1] Среди собранного материала выделяется своей орнаментацией фрагмент горшка с коричневым в изломе черепком и серо-желтой внешней поверхностью. На плечике расположена широкая полоса коричневой краски, вероятно, нанесенная тряпкой или пучком травы (края полосы неровные), а на венчике сверху помещены пятна такой же краски (рис. 4: *1*). Подобная орнаментация достаточно широко представлена на уже упоминавшемся поселении Кара Ой (*Гутлыев,* 1982, рис. 2).

Со временем, вероятно, будут обнаружены другие поселения этого типа и появится возможность уточнить их ареал, но уже сейчас он представляется достаточно обширным – от Душака до Чаача. В виду того, что раскопки Душакского селища еще не проводились, я сейчас не буду строить догадки относительно роли его обитателей в этнокультурной и социальной жизни Дашлинского оазиса, но расположение селища в непосредственной близости от головных сооружений оросительных систем, вероятно, не

[1] Этот объект впервые был обследован сотрудниками XIV отряда ЮТАКЭ в 70-х годах прошлого столетия, но материал не был опубликован, и место его хранения сейчас не известно. Дополнительный сбор материала осуществлен автором в 1983 г.

случайно. Большой интерес вызывает вопрос о взаимоотношениях обитателей стойбища с жителями центрального поселения оазиса – Улуг Депе и сейчас, в период активных археологических исследований на Улуге (*Lecomte*, 2004), имеются хорошие возможности для его решения.

Литература

Атагаррыев Е. Обследование средневековых памятников и раскопки на городище Чугундор // КД. Вып. 1. Ашхабад. 1968. С. 43–47.

Бабаев А. О. Средневековое сельское поселение Ярты-депе. Ашхабад, 1997.

Ганялин А. Ф. Теккем-депе // ТИИАЭ. Т. 2. Ашхабад, 1956. С. 67–86.

Гутлыев Г. Раскопки Гараой-депе // Новые археологические открытия в Туркменистане. Ашхабад, 1982. С. 33–47.

Итина М. А. История степных племен Южного Приаралья. М., 1977.

Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994.

Кузьмина Е. Е., Ляпин А. А. Новые находки степной керамики на Мургабе // Проблемы археологии Туркменистана. Ашхабад, 1984. С. 6–22.

Кутимов Ю. Г. Некоторые аспекты развития и абсолютной датировки тазабагъябской культуры Южного Приаралья (по материалам могильника Кокча 3 // Археологические Вести. Вып. 9. СПб. 2002. С. 191–203.

Марущенко А. А. Елькен-депе (Отчет о раскопках 1953, 1955, 1956 гг.) // ТИИАЭ. Т. 5. Ашхабад, 1959. С. 54–109.

Масимов И. С. Изучение керамических печей эпохи бронзы на поселении Улуг-депе // КД. Вып. 4. Ашхабад, 1972. С. 35–36.

Массон М. Е. Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ) 1947 г. // Тр. ЮТАКЭ. Т. 2. Ашхабад. 1953. С. 7–72.

Пилипко В. Н. Ранний железный век Этека (Южный Туркменистан) // Инф. Бюллетень МАИКЦА. Вып. 11. М., 1986. С. 8–18.

Сариниди В. И. Продолжение работ на Улуг Депе // АО 1968 г. М., 1969. С. 434–435.

Сариниди В. И. Исследование слоев раннежелезного века на Улуг Депе // АО 1970 г. М., 1971. С. 433–434.

Сариниди В. И. Северная Парфия // Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. М., 1985. С. 184–186.

Сариниди В. И., Кацурис К. Т. Раскопки на Улуг Депе // АО 1967 г. М., 1968. С. 342–345.

Щетенко А. Я., Кутимов Ю. Г. Керамика степного облика поселения эпохи поздней бронзы Теккем-депе (Южный Туркменистан) // Археологические Вести. Вып. 6. СПб. 1999. С. 114–123.

Lecomte O. A group of Yaz II–III stamp-impressions from Ulug Depe (Turkmenistan) // У истоков цивилизации. М., 2004.

РАЗДЕЛ 3
ИТОГИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ И БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ

В. И. Сарианиди

ПЛОЩАДИ «ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАПЕЗ» В МАРГИАНЕ

В ходе раскопок городского поселения Северный Гонур впервые в системе Центральной Азии было выявлено несколько сменяющих одна другую разновременных площадей. Все они однотипны и различаются только по размерам. Это – открытые, абсолютно ничем не застроенные обширные «площади», сплошь покрытые сверху черным, горелым слоем. То обстоятельство, что на таких «площадях» не было обнаружено абсолютно никаких построек (типа, например, алтарей или «святилищ») со всей бесспорностью указываю на их назначение в качестве именно «площадей» или мест собрания большого числа людей. Практика устройства таких «площадей» была достаточно широко распространена в древности на Ближнем Востоке, что имеет свое документальное письменное свидетельство в т.н. «кумранских рукописях» Мертвого Моря (*Martinez,* 1994, p. 158).

Самая ранняя из всех – площадь № 1 – располагается на севере Гонура за пределами стен каре прямо напротив главного, северного входа в город (см.: *Сарианиди*, 2004, 2005). В северо-западной ее части располагается небольшой бассейн (24 × 18, глуб. 0,9 м), дождевая вода в который поступала с окружающих такыров во время ливневых дождей. К востоку от этого бассейна расположен второй (32 × 14, глуб. 1,5 м), сверху которого в более позднее время были построены помещения (рис. 1).

Для заполнения бассейнов под обводной стеной были устроены кобуры: гончарные трубы до полуметра длиной и максимальным диаметром 25 см. Во время сильных ливневых дождей вода с такыров, скапливавшаяся за «обводной стеной», именно через кобуры поступала в бассейны. Тот факт, что эти древние ирригационные сооружение нигде не нарушили окружающие стены домов, со всей бесспорностью указывает, что дренажная система была одним из древнейших сооружений на памятнике. К сказанному следует добавить, что в месте, где вода падала в бассейн, она сильно размывала его берега, свидетельством чему остались небольшие «кратеры». В кобурах, устроенных в более позднее время (например, около южного входа в комплекс) с целью избежать этого, дно бассейна, куда падала вода, было выложено большим количеством битой керамики, что до определенной степени предохраняло его от преждевременного разрушения.

Как было указано выше, сама «площадь» покрыта черным горелым слоем, который достигает толщины около 1 м. В высшей степени показательна структура этого слоя, представляющая своего рода «слоеный пирог», в котором черные горелые слоев, смешанные с костями животных и фрагментами керамики, перемежаются прослоями чистого светлого (возможно речного) песка. Исходя из такого состава заполнения площади, а также в виду полного отсутствия следов каких бы то ни было строений, вполне логично предположить, что на таких «площадях» проходили т.н. коллективные или (общественные) трапезы, когда еда готовилась на месте, здесь же поедалась, а пищевые остатки и отбросы не

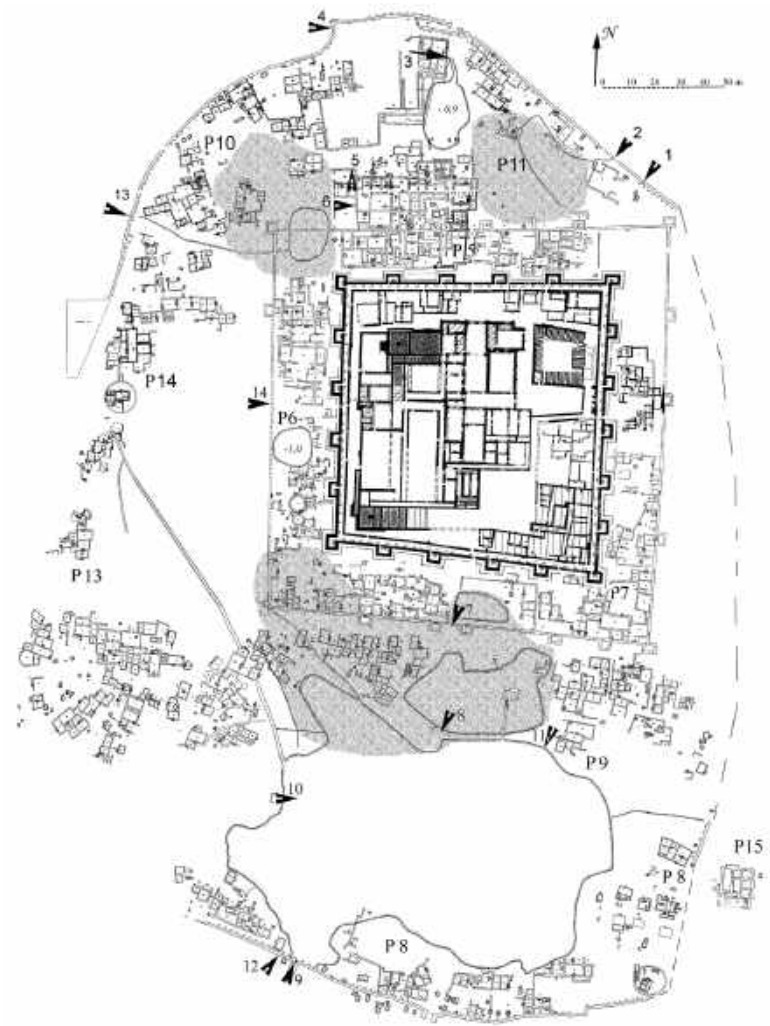


Рис. 1. Генеральный план центральной части Северного Гонура.
Номерами отмечены места устройства кобуров.
Заштрихованные территории – площади общественных трапез.

выбрасывались и не растаскивались по всему Гонуру домашними животными (в первую очередь собаками), а засыпались сверху слоем песка, как это много позже практиковалось у общин ессеев в Палестине. Есть все данные предполагать, что таким образом преследовалась санитарно-гигиеническая цель: помешать гниению пищевых отбросов.

Надо подчеркнуть и еще одну особенность: как и бассейны, рядом с такими площадями всегда расположены группы помещений, в большинстве которых имеется двухкамерный ритуальный очаг. В пом. 300 на раскопе 10, например, имеется четыре таких культовых очага. Устройство двухкамерных очагов, препятствующее прямому контакту чистой стихии Огня с ритуально «нечистым» кровавым мясом, ранее описанное неоднократно (см., например: *Сарианиди*, 2001, с. 270; 2004, с. 236–237; 2005, с. 66–67 и др.), позволяет

считать, что там и готовилось мясо для жертвоприношения. Одной из форм таких жертвоприношений были сами общественные трапезы, в процессе которых особым образом приготовленное мясо могло поедаться маргушцами, как и позднее зороастрийцами, «… с особой концентрацией ума и духа» (*Boyce,* 1975, p. 163).

Как хорошо известно, совместные трапезы – одно из древнейших событий, ритуалов, обычаев, объединяющих как родственников, так и общину единоверцев. Так, например, в уже упоминавшихся «кумранских рукописях» 2 до в. н.э. также имеются сведения о них. Описывая зороастрийцев, М. Бойс говорит, что такие трапезы происходили два раза в день и представляли собой «высочайший уровень чистоты, наподобие жертвоприношений в храмах» (*Boyce,* 1975). Добавим, что в кумранских рукописях прямо говорится о том, что после трапезы ессеи засыпали кости, чтобы животные и, «в первую очередь собаки не растаскивали их по поселению» (*Magness*, 2002, p. 119, 120). В этой связи нелишне будет отметить захоронение собаки (погр. 3872 – см.: *Сариаиди,* 2004, с. 246, рис. 23) в руинах «обводной стены», находящихся недалеко от описываемой площади.

Следует подчеркнуть, что культурный слой на «площади» достигает местами толщины одного метра, что предполагает достаточно длительное время существования. Думается, что коллективные трапезы, когда еда готовилась на месте, а остатки ее засыпались песком, достаточно регулярно проводились на таких площадях. Располагавшиеся рядом с площадями бассейны, предназначались для культовых, очистительных омовений, совершавшихся перед едой. Достаточно достоверно известно, что в Палестине, человеку, не совершившему омовения, не разрешалось присоединяться к остальным и принимать участие в «общественных трапезах». В Авесте подобные «площади общественных трапез» называются Иза, а в Ригведе – Ида. Площади могли использоваться во время разных празднеств и фестивалей, а могли и «общественные трапезы» сопровождаться таковыми.

Когда первая по времени северная «площадь общественных трапез» была окончательно захламлена различными отбросами и заброшена, у северо-западной угловой башни былого каре была образована вторая «площадь». К этому времени пришли в запустение и были заброшены многие близлежащие помещения. Сама «площадь» ничем не отличается от вышеописанной: это открытая со всех сторон, ничем незастроенную площадь размером около 700 кв. м. полностью перекрытая черным горелым слоем вперемежку с костями животных и битой посуды. Рядом также располагался бассейн (третий в северной части комплекса) с общими размерами 24 × 18 м и глубиной около 1,0 м для очистительных омовений, куда вода поступала с окружающих такыров с помощью длинного арыка. Не перерезав по пути ни одного былого дома, канава доходит до «обводной стены», где в основании ее были расчищены два кобура – гончарные трубы (длиной 70 см и диаметром 25–30 см), благодаря которым вода попадала в арык, не разрушая стену.

Следующая, третья и самая поздняя «площадь общественных трапез» общей площадью около 1000 кв. метров располагается в южной части города. Сразу же укажем, что зольный, горелый слой перекрывает руины многих помещений, что свидетельствует о том, что площадь явно относится к самому последнему финальному периоду жизни на Гонуре. «Площадью», после усыхания служили еще два бассейна. Один из них располагался в пределах стен каре (25 × 13, глубина 1,5 м) и «малый южный бассейн» Гонура (60 × 30 м при глубине 0,9 м). В последний вода первоначально поступала из «главного бассейна» (180 × 85 м при глубине 2,0 м) через специально устроенный желоб и фильтровальное сооружение из сырцовых кирпичей. Главный же бассейн, в свою очередь, получал воду из Мургаба через систему специально устроенных кабуров (рис. 2).

Рис. 2. Система кобуров на южном фасе обводной стены, устроенная для заполнения главного бассейна Гонура водой из протоки р. Мургаб.

Следует упомянуть, что при рытье относительно небольшого водоема, расположенного внутри южной части каре, были срыты былые помещения «Комплекса Жертвоприношений», что бесспорно указывает на его сравнительно позднее происхождение. На берегу этого водоема было устроено две культовые печи, что может говорить об использовании бассейна в культовых целях. На это же указывает глухая стена, которая с севера и востока ограждает водоем от соседней застройки. Удивительно, но инструментальная съемка показывает, что общий уклон поверхности направлен с севера на юг, поэтому вода не только вливалась в этот водоем, но и могла (при ее изобилии) выливаться в сторону «малого южного бассейна». Возможно, стремлением уберечь рядом находящиеся помещения от возможного затопления во время половодья и объясняется возведение стены.

Переходя к другим раскопанным объектам, отметим, что теменос (Южный Гонур) внутри своих стен не сохранил каких либо следов, которые можно было бы сопоставить с «площадями общественных трапез». Зато за внешними стенами его юго-восточного угла находится холм высотой до 3,5 м, полностью состоящий из черной золы, перемешанной с костями животных и большим количеством битой керамики, без остатков каких бы то ни было строений. У подножья этого холма находится водоем диаметром около 50 м, раскопки которого, правда, не производились. Несмотря на это есть все основания считать, что на этом месте также могла находиться своя «площадь общественных трапез».

Если теперь обратится к общему плану Гонур Депе (рис. 1), то можно убедиться что в общей планировке города «площади общественных трапез» занимали особое место и играли особую роль. В этой связи уместно вспомнить, что уже в хеттских архивах говорится о существовании многодневных календарных или сезонных празднеств, в которых наряду с простым народом принимали участие не только царь, но и члены его семьи. В этом отношении показателен один сосуд из Инандык Тепе (современная Турция) на котором имеется сцена с изображением танцоров, музыкантов и даже акробатов. На этом основании было высказано вполне убедительное предположении об изображении праздничной сцены, связанной с общественными трапезами (*Ozguch,* 1988, p. 83–111).

Исключительного внимания также заслуживает одна цилиндрическая печать, найденная в могиле сельского провинциального Храма Тоголок-1, на которой сохранилась тематическая близкая музыкальная сцена (*Sarianidi,* 1998, Fig. 28:*6*). Практически все персонажи этой сцены имеют обезьяньи головы (или маски), что вполне может указывать на мистический, культово-церемониальный характер всей композиции. Более того, среди

участников композиции выделяется один музыкант, играющий на огромном тамбурине, что тематически близко напоминает «капеллы животных» Малой Азии. Не исключено, что в Маргиане также существовали такие театрализованные действа.

Уже было доказано, что слово «фестиваль» обозначает не только «праздник», но и «пир», «банкет». Это означает не только коллективные трапезы, но и игры, и пляски в сопровождении громкой музыки. Неотъемлемой частью ритуалов Ида/Иза были именно коллективные трапезы. «Сущность ритуала заключалась ... в поедании определенных частей туши жертвенных животных» – замечает М. Бойс (*Boyce,* 1982, p. 164). С этим нельзя не сопоставить находки в больших культовых печах Гонура (т. н. грушевидных) определенных частей животных. Поедая определенные части жертвенного мяса, человек приобретал вместе с едой божественную силу, что помогало ему преодолевать все невзгоды каждодневной жизни. В уже упоминавшихся «кумранских рукописях» Палестины говорится: «Пусть они выберут для бога в качестве жертвы от баранов и от агнцев правую ногу, грудь, челюсти, желудок и лопатку до кости верхней части передней ноги … Пусть они возьмут немного от правой ноги и грудную часть … для священников … челюсть и желудок и это будет его доля в соответствии с предписанием».

Ко всему сказанному следует добавить, что у древних маргушцев, по-видимому, существовало семь празднеств, которые, возможно, справлялись на вышеописанных «площадях общественных трапез». Доказательством тому могут служить находки, сделанные весной 2009 г. на Гонур Депе и подробно описанные в специальной статье данного сборника (*Сарианиди, Дубова,* 2009). Здесь подчеркнем то важное, что имеет отношение к затрагиваемой теме. В отличие от уже раннее обнаруженных гробниц, пустотелых внутри (что указывает на последовательный обряд захоронений в них), мавзолей № 3900 был полностью засыпан внутри землей. Т. е. погребение здесь было совершено единожды.

Внутри этого своеобразного круглого мавзолея было погребено семь больших убитых крупных собак (сходных с алабаями или туркменскими овчарками). Восьмая собака была похоронена в верхнем слое на краю котлована. Точно так же в мавзолее находились семь убитых молодых юношей, также, как собаки и разнообразные предметы сброшенные сверху. Напомню, что здесь же найдены подобие совковой медно-бронзовой лопаты, светильник, почти сходный с таковым из гробницы № 3200 (см. рис. 15 на стр.156 данного издания), а так же изделие наподобие медно-бронзовой «подставки» с семью уменьшающимся к верху полыми шарами, раннее не встречавшееся на всей территории не только Средней Азии, но и всего Ближнего Востока (см. рис. 4 на стр.148 данного издания). Эта «подставка», скорее всего, представляет собой своеобразный символ веры, что однако требует дальнейшего исследования.

В центре круглого мавзолея располагается четырехколесная деревянная повозка со сплошными колесами с двумя оглоблями и двумя, по-видимому впряженных в нее ослами. Рядом с повозкой располагается огромный медно-бронзовый котел, около одного метра диаметром и высотой, с округлым поддоном, не находящий никаких среднеазиатских аналогий. Судя по этим размерам, котел представлял собой емкость, куда могло поместиться свыше 200 л жидкости, и поэтому он мог принадлежать не отдельному лицу или семье, а целому роду или общине. Располагающиеся непосредственно на полу тела двух из семи убитых собак перекрывают два каменных «посоха». Один из них выточен из темного сланца, а другой из камня красного цвета. Концы обоих посохов украшены неширокой и очень тонкой серебряной обоймой.

Итак, в высшей степени показательно, что в мавзолее не было обнаружено ни одного погребального украшения, хотя мавзолей не несет ни каких следов ограбления. Из этого факта можно сделать один, но безусловный вывод: это было не простой мавзолей, а ритуальное захоронение, связанное, возможно, с какими-то культовыми празднествами. Кроме того, помещение в котлован семи умерщвленных юношей и семи собак, а так же наличие медно-бронзовой «подставки» с семью полыми шарами с бесспорностью указывает, что, как и у многих народов, у древних маргушцев число «семь» считалось магическим. Можно считать, что и раскопанный мавзолей представляет собой не столько обычную могилу, сколько собрание инструментария для проведения важных ритуалов, возможно, каких-то праздников.

В своих исследованиях М. Бойс специально отмечает существование «самого большого зороастрийского праздника Науруза (Новый день), авестийское название которого нам до сих пор неизвестно». По ее же мнению, «он имеет глубоко символическое значение и является центральным событием зороастрийской религиозного календаря» (*Бойс,* 2003, с. 63). Правда, эта уважаемая исследовательница вряд ли права, когда считает, что этот праздник был основан самим Зороастром. Можно предполагать, что такой праздник, связанный с сезонным календарем, существовал задолго до рождения пророка Заратуштры.

Далее М. Бойс отмечает «Именно поэтому он празднуется очень радостно, с о м н о ж е с т в о м к р а с и в ы х о б р я д о в , символизирующих о б н о в л е н и е и б л а ж е н с т в о » (разрядка наша – *В. С.*). По словам той же М. Бойс семь празднеств возникло в честь семи творений, которые неравномерно распределяются по сезонам. По ее же словам, «каждая зороастрийская община отмечала эти праздники тем, что утром все прихожане присутствовали на праздничном богослужении, всегда посвящаемом Ахура-Мазде, а затем собирались на веселое угощение, где прекращались раздоры. Затем все собирались на веселое угощение, где вместе ели пищу, благословленную во время богослужения. На празднества собирались и богатые и бедные – это было время всеобщего благорасположения: прекращались раздоры, возобновлялись и укреплялись дружеские отношения … Эти семь празднеств в честь Семи божеств считались столь важными, что соблюдение их вменялось в религиозную обязанность всем верующим» (*Бойс*, 2003, с. 62). «Пятикратная ежедневная молитва и семь общественных празднеств вместе создали религиозную систему зороастризма и обеспечивали новой вере способность сохраняться на протяжении тысячелетий» – замечает в заключении исследовательница.

Думается, что приведенные сведения о семи празднествах могут иметь самое прямое отношение к рассмотренному выше мавзолею, где, возможно, были собраны вместе все аксессуары, необходимые для проведения праздника типа «Науруз». В этой связи большое значение имеет присутствие внутри мавзолея семи собак, т.к. собака, согласно зороастрийским верованиям, занимала едва ли не столь же почетное место как человек. За убийство собаки убийце полагалось суровое наказание, а именно: нанесение тысячи ударов конской плетью, что было равносильно смерти. Но отношение к собаке у зороастрийцев было двойственным: она характеризуется в Авесте как «угодливая как раб, коварная как раб … В этом она как раб. Ждущая темноты как вор, промышляющая ночью как вор, ненадежная как вор. В этом она как вор. Ждущая темноты как зверь, промышляющая ночью как зверь, вслепую хватающая пищу как зверь. В этом она как зверь. Угодливая как потаскуха, коварная как потаскуха, гадящая на дороге как потаскуха … В этом она как потаскуха» (перевод В. Ю. Крюковой – *Рак*, 1998, с. 289).

Одним словом отношение к собаке было у зороастрийцев двойственноым, как в наше время отношение, например, к касте «неприкасаемых» в современной Индии: услугами

«неприкасаемых» пользуются, но близко к ним не подходят. Доказательством не самого уважительного отношения к этому животному у гонурцев служит труп собаки, некогда небрежно брошенный на край «обожженной» могилы «главного некрополя» Гонура (*Сариниди,* 2001, с. 20). В то же время собаке предназначается «доля мужа» при кормлении, в том числе ритуальном, когда такая пища «предназначается для душ умерших». Общеизвестно также, какое большое значение занимала собака в погребальных ритуалах, особенно при ритуале «оглядывания» (*сагдид),* от чего зависела дальнейшая судьба умершего в потустороннем мире. И хотя в настоящее время мы затрудняемся в конкретном определении роли тех собак, которые найдены в мавзолее 3900, нет никаких сомнений в их разнообразии у маргушцев. Возможно, что охранные функции сторожевой собаки выходят на первый план, и эти животные выступают как охранительницы находящегося инструментария мавзолея.

Думается, рассмотренный круглый мавзолей представляет ритуальное захоронение и одновременно хранилище вышеупомянутого инструментария, связанного с праздником типа Науруз. В этой связи следует отметить, что среди гробниц «царского некрополя», раскопанных в 2004 г. имелось две аналогичные (*Дубова,* 2004; *Сариниди*, 2006, 2007). Один – неограбленный округлой формы мавзолей № 3225, внутри которого находилась четырехколесная повозка и скелеты двух верблюдов – молодого и взрослого. По периметру котлована около стен лежали останки 10 человек, которые в момент смерти были поставлены на колени. Показательно, что это погребение не содержит абсолютно никаких погребальных приношений или украшений, в то время как любая могила даже самого отчаянного бедняка содержит хотя бы 2–3 керамических сосуда. Судя по всему, этот мавзолей не был обычной царской гробницей, а более напоминает вышерассмотренную могилу 3900.

Второе погребение, выявленное и раскопанное на территории «царского некрополя» в 2004 г. – прямоугольной конфигурации гробница № 3240 – повторяет вышеописанные. Здесь, по-видимому, впряженной в четырехколесную повозку находилась пара верблюдов. Кроме того здесь же находились теленок, пара собак и предположительно два барана. Могила была ограблена в древности, но «трофеями» грабителей оказались в основном бронзовые детали от былой повозки, бесспорно представлявшие большую ценность в то ранее время.

Обнаружение мавзолеев № 3225, 3240 и 3900 представляет особый интерес, т. к. они не содержат никаких погребальных украшений и, видимо, действительно не представляли собой обычные гробницы, хотя и располагались в «царском некрополе», представляя собой ритуальные захоронения разного инструментария, необходимого для празднования праздников типа Науруз, празднование которых вполне могли проходить на описанных «площадях общественных трапез».

Литература

Бойс М. Зороастрийцы верования и обычаи. СПб., 2003.

Дубова Н. А. Могильник и царский некрополь на берегах большого бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации. М., 2004. С. 254–281.

Рак И. В. Зороастрийская мифология. СПб., 1998.

Сариниди В. И. Древневосточное царство Маргуш в Туркменистане // Мировоззрение древнего населения Евразии. М., 2001. С. 255–318.

Сариниди В. И. Дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура // У истоков цивилизации. М., 2004. С. 229-253.

Сариниди В. И. Гонур Депе. Город царей и богов. Ашхабад, 2005 (на русском, английском и туркменском языках).

Сариниди В. И. Царский некрополь на Северном Гонуре // ВДИ. 2006. № 2 (257) С. 155–192.

Сариниди В. И. Дворцово-храмовый комплекс Северного Гонура // РА. 2007. № 1. С. 49–63.

Сариниди В. И. Дубова Н. А. Новые гробницы на территории «царского некрополя» Гонура // На пути открытия цивилизации. СПб., 2010.

Boyce M. A History of Zoroastrianism. Vol. 1 (Handbuch der Orientalistik Series). Leiden, 1975 (Repr. 1996 as A History of Zoroastrianism. Vol. 1. The Early Period).

Boyce M. A History of Zoroastrianism. Vol. 2 (Handbuch der Orientalistik Series). Leiden, 1982 (Repr. 1996 as "A History of Zoroastrianism. Vol. 2. Under the Achaemenians).

Magness J. The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls. Michigan, 2002

Martinez F. G. The Dead Sea Scrolls translated: The Qumran texts in English. (Translated from Spanish into English by Wilfred G. E. Watson). Leiden, 1994.

Ozguch T. Inandik Tepe. Ankara, 1988.

Sariniani V. I. Margiana and Protozoroastizm. Athens, 1998.

S. Salvatori

THINKING AROUND GRAVE 3245 IN THE "ROYAL GRAVEYARD" OF GONUR (MURGHAB DELTA, TURKMENISTAN)

Excavations carried out by V. I. Sarianidi at North Gonur since 1992 provided the most impressive evidence of a complex proto-urban phenomenon. Sarianidi's involvement in Central Asia archaeology is well known to western scholars since its beginnings in the fifties of the last century. Among the many places where he worked are Northern Afghanistan, the Meana-Chaacha area and the Murghab delta (Turkmenistan). His work has disclosed the important role played by Southern Central Asia in the political, economic and ideological complexity of third and second millennium BC societies, states and chiefdoms, from the Mediterranean shores to the Indus Valley and the Persian/Arabian Gulf. Even if we are still far from a reasonable knowledge of that Sarianidi labelled as the Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) or, according to others, the Oxus Civilisation, our understanding of cultural processes in the area is developing from the first syntheses provided by Hiebert and Lamberg-Karlovsky (*Hiebert*, 1994a, 1994b; *Hiebert, Lamberg-Karlovsky,* 1992) to a more complex picture (*Kohl*, 2007, p. 184–213; *Salvatori*, 2008a) which better fits archaeological and historical data from Mesopotamia, the Iranian plateau, the Indus Valley and the Gulf.

Many problems are still pending, but Sarianidi's discoveries in the Murghab delta are encouraging a number of scholars to consider Central Asia as a main actor in cultural interactions across the Near and Middle East of the third and second millennium BC (*Potts,* 2008a, 2008b; *Francfort*, 2007; *Lamberg-Karlovsky,* 2007). Studies in cultural and political geography of the Middle East have been able to more precisely define a number of political/cultural territories within the area and the complex mechanisms of non-linear interactions among them (*Possehl,* 2007, fig. at p. 41 right).

This paper which is presented for the eightieth birthday of Victor Sarianidi, the man who opened to me the Murghab delta doors in 1991, aims to question some historical and chronological points that seem to extend across the entire Middle Eastern archaeology and perhaps affect our understanding of a period marked by an astonishing intensification of international contacts. International interaction at that time is made complicated by a number of different and not necessarily contrastive facets like military conquest and raids[1], interdynastic marriage (*Potts,* 1999, p. 136–139) both as a mean of alliance and/or control, and intensive and patterned commercial enterprises on the long distances.

The chance is once again provided by the unselfishness of Victor Sarianidi and Nadezhda Dubova who sent me photos and information about Grave 3245 from the so-called "Royal Cemetery" of Gonur.

This group of graves seem to be segregated from the larger Gonur graveyard I started excavating in 1992 to the west of the ancient town (*Salvatori*, 1993, 1994a, 1994b, 1995). In fact, it lays inside the city-wall (*Sarianidi*, 2005, fig. at p. 31; fig. 68) and consists of at least of eleven graves: ## 3200, 3205, 3206, 3210, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245 and 3250.

As far as we can understand from the published literature (*Sarianidi*, 2005, 2007; *Dubova,* 2004)[2] the graves are regular-in-shape pits of different size lined with unbaked bricks all around and brick midriffs to partition the inner space. The most complex and elaborate layouts are shown by Graves 3200, 3230, 3235 and 3220 (*Sarianidi*, 2005; figs. 68, 69, 107).

In spite of an ancient intensive plundering activity which has damaged this segregated cemetery as well as the large graveyard to the west of the town (*Salvatori*, 1995; *Sarianidi* 2001, 2005, 2007), the extant grave furniture is astonishingly rich and meaningful. It suffices here to mention the presence in Graves 3200, 3225 and 3240 of four-wheeled charts (*Sarianidi*, 2005, p. 214, figs. 69, 72) of a type well known in the ED IIIb Ur "Royal graves" (*Woolley,* 1934, II, pls. 33a-b, 34a, 62a) as well as at Kish (*Field*, 1929, pls. V–VI). Similar four-wheeled charts, just to mention some occurrences, are portrayed on the famous Standard of Ur from Grave PG/779 (*Woolley,* 1934, II, pl. 92), on an alabaster tablet fragment from Khafaje, on a limestone tablet fragment from Ur (*Moortgat,* 1969, fig. 42; 43 respectively) and on the «Stele of Vultures» from Tello (*Moortgat,* 1969, fig. 118). The same type of chart, together with the two-wheeled variant[3] is portrayed on a silver vase in the Louvre Museum and said to come from Bactria (*Amiet,* 1988, fig. 6)[4]. Actual four-wheeled charts or wagons have been found in the Central Asia kurgans dating from the second half of the third millennium BC onwards (*Kohl*, 2007).

The articulated grave structures, the richness of graves furniture[5] and the apparent spatial segregation of these graves were properly referred by Sarianidi to the ruling class of Gonur, a site which has to be considered, on the base of the available data, the central place of the Middle Bronze Age settlement pattern of the Murghab delta (*Salvatori,* 2008c).

In this context Grave 3245 is not in the number of the most prestigious graves, but being in the same cluster the individual there buried was evidently linked by rank to the people buried in the surrounding graves. The grave is rectangular in shape (fig. 1 – see color insert.), divided

[1] E.g. the well known Sumerian and Akkadian military expeditions to the east and west of Sumer and Akkad.

[2] No detailed report has been yet published.

[3] A variant which is attested in Mesopotamia by the copper/bronze model from Tell Agrab (*Frankfort*, 1943, pls. 58–59).

[4] The use of this kind of chart in Bactria is also testified by the presence among the materials from pillaged graves of northern Afghanistan of copper/bronze «bandages de rue» (*Pottier*, 1986, fig. 44.*326*) of the same type of those from Gonur Graves 3200, 3225 and 3240.

[5] See the photographic documentation in: *Sarianidi,* 2005.

Fig. 2. Bronze vessel from the tomb 3245.

Fig. 3. Bronze plate from the tomb 3245.

Fig. 6. Faience bracelets from the tomb 3245.

Fig. 8. A mould for metal compartmented stamp seals from the metallurgical workshop at Gonur Depe.

in two by a partition wall. The two rooms were connected by a decentralised door. Most of the grave goods were assembled in the smaller room, while in the larger one a female was buried in a flexed position on her right side. Orientation (north-south) and mode of deposition follow the same rules ascertained in the main cemetery of Gonur (*Salvatori,* 1993, 1994a, 1994b, 1995, 2000a; *Sarianidi,* 2001, 2005, 2007; *Дубова*, 2004).

The grave furniture is of interest even if not rich as, for example, Gave 3200 or 3220 (*Sarianidi,* 2005, p. 214–218, 250–254) were beautiful golden, silver and bronze vessels, panels of gypsum and faïence inlays, imported pottery vessels, golden objects and jewels made from semiprecious stones and gold have been found despite the graves have been robbed in antiquity (*Sarianidi,* 2005).

However, Grave 3245 inventory includes two bronze vessels (figs. 2–3), a copper/bronze circular mirror, ivory objects (four bent segments decorated with dotted double circles[1]; a spatula with engraved handle; two more fragmentary spatulas and a segment from an elephant

[1] They are quite similar to objects described as chart ornaments from Susa and there dated to the early second millennium BC (*Amiet,* 1986, p. 152, fig. 87). Amiet is also pointing out the similarity of the Susa objects with a bone or ivory small plate of the Kaftari period from Tal-e Malyan (*Amiet,* 1986, p. 152, note 6).

tusk) (fig. 4 – see color insert); two small calcite pots (a sub-cylindrical beaker[1] and a small vertically fluted jar[2]), four long stone awls[3], three chlorite objects (a plain cylindrical beaker, a two-compartmented box with dotted double circles decoration and a four-compartmented box with his lid decorated with five enclosed squares and a high-relief coiled snake or a kneeling human figure (fig. 5 – see color insert)[4], three pottery vessels (two truncated conical bowls and an hemispherical bowl with slightly averted rim). Above the inhumed's chest a third, possibly truncated conical, bowl was placed. The lady was wearing two faпence bracelets (fig. 6) and a necklace made from different semiprecious stones (carnelian, quartz, lapis lazuli) and gold beads with a conical end (fig. 7 – see color insert).

The grave is also important because we have a radiocarbon determination said to be obtained from the inhumed bones[5]: UBA-7888: 3691 ± 42 1σ cal. 2141–2024 (67,3%) – 1988–1986 (0,9%) BC; 2σ cal. 2200–1956 (95,4%) BC.

We will be here focusing above all on the two chlorite boxes because, together with the ivory objects and the jadeite awls, they are clear imports. They can also contribute to address chronological and possibly historical problems.

The two-compartmented chlorite box with a dotted double circle decoration has been recently studied by Daniel Potts (2008a). The American scholar has drawn the distribution of this kind of objects produced along the southern shore of the Persian/Arabian Gulf (*David*, 1996, 2002a, 2002b) and convincingly defines it as an Umm an-Nar type to be associated with other different types like chlorite hemispherical bowls and sub-cylindrical beakers decorated with the usual dotted double circle decoration[6].

The other chlorite box from Grave 3245 is equally interesting. The object, indeed, pertains to a group of similar boxes from the Shahdad graveyard and from other provenance: from Susa to the Indus Valley (tab. 1).

The Shahdad series seem to be linked for the decoration technique to the examples from Mohenjodaro (*Durrani,* 1964, p. 52, pl. I.1)[7], Mehi (*Piggot*, 1950. fig. 11: *bottom left*) and Susa (*Miroschedji*, 1973, pl. VIII: *m, n, o*).

The four-compartmented box type is actually known only at Gonur and Bactria (from looted graves) in the 'Oxus Civilisation' area; at Susa, Shahdad, Yahya, and possibly Jiroft, in Iran; and at Mehi and Mohenjodaro, in the Indus Valley. We can join to the same category of objects a

[1] Of type IVa or b of Casanova, 1991.

[2] A similar object, but in silver, comes from Grave 1999 of the Gonur cemetery (*Sarianidi,* 2007, fig. 82) while a calcite small vessel with vertical flouting is known from Grave PG/169 from Ur (*Woolley,* 1934, II, pl. 177, *U. 8239*).

[3] Judging from the photos the stone seems to be a kind of jadeite.

[4] It is actually impossible to judge from the available photos.

[5] Dubova, personal communication. See: *Зайцева и др.*, 2008, с. 168 – *Ref. of Eds.*

[6] To the Umm an-Nar chlorite production pertains the largest part of the *sürie rŭcente* chlorite production found at Susa (*Miroschedji,* 1973).

[7] A second chlorite fragmented hemispherical bowl from Mohenjodaro (*Potts,* 2008a, fig. 26) is also a *sürie rŭcente* or better Umm an-Nar type vessel. A third fragment from the same site (*Durrani*, 1964, pl. I.2), on the contrary, is an Intercultural Style product to compare also for the possible vessel shape with a chlorite small jar from Jiroft (*Madjidzadeh*, 2003, p. 140, fig. 44.*d*); the same type of vessel is possibly behind the similarly decorated fragment from Kish (*Durrani,* 1964, fig. I.14). The decorative motif was largely used in the Intercultural Style production also on different vessel shapes at Jiroft (*Pittman*, 2003, fig. at p. 85 *bottom row centre*), Susa (*Amiet*, 1986, fig. 70), Shahdad (Grave 39: *Hakemi,* 1997, fig. at p. 200), Umm an-Nar island Grave IX (*Potts,* 2005, fig. 6) and Sharm Grave I (*Žiolkowski,* 2001, fig. 1) just to mention only few of the many examples. It could be interesting to note that in the Shahdad Grave 39 the beaker decorated with the "mat-weave" motive is associated with a small calcite bowl of Casanova (1991) Type I which at Susa and in Mesopotamia dates between the ED III and the Old Akkadian period.

Table 1

Distribution of chlorite four-compartmented boxes and lids

Site	Lid	Box + lid	Box
Bactria[1]			X
Gonur G. 3245		X	
Shahdad G. 35[2]	X		
Shahdad G. 165	X		
Shahdad G. 116		X	X
Shahdad G. 166		X	
Shahdad G. 309		X	
Shahdad G. 120			X
Tepe Yahya[3]	X		
Jiroft[4]		X?	X?
Susa[5]	X		
Mohenjodaro[6]			X
Mehi[7]			X

cylindrical variant also provided of four compartments which is known from Bactria (*Salvatori,* 1988, fig. 1 with dotted double circle decoration) and from Mehi (*Durrani*, 1964, pl. I.3–4 with incised decoration).

It seems reasonable to consider the two chlorite boxes from Grave 3245 of Gonur pertaining to different, though contemporary, traditions: the first one (two-compartmented) produced in the Gulf area and the other produced somewhere in Central-Southern Iran where we have direct evidence of chlorite production centres and raw material outcrops (*Kohl*, 1979, p. 69).

Chronology

The date of both the objects is roughly suggested by the ^{14}C date from the Gonur grave (2200–1986 2σ cal. BC or 2141–2024 1σ cal. BC), a date which fits well with the late Umm an-Nar chronology, a period when the bulk of the so called *sŭrie rŭcente* was produced. The late Umm-an-Nar period is dated 2400–2000 (according to *McSweeney et al*., 2008) or 2300–1950 (according to *Görsdorf, Vogt,* 2001)[1]. The date from the Gonur Grave 3245 forces us to pay attention to the absolute date of the Middle (Namazga V) and Late (Namazga VI) Bronze Age[2] of southern Central Asia based on the available radiometric determinations.

The lower limit of the Middle Bronze Age (the age of Gonur 1 North, its large graveyard and the 'Royal Graves') can now be fixed thank to a recent series of ^{14}C dates from German-Uzbekistan excavations at the well known site of Dzarkutan (*Huff,* 1997). The radiocarbon dates from the site (*Görsdorf, Huff*, 2001) firmly support the data coming from Margiana excavations (*Cattani et al.,* 2003, tab. 1) fixing the chronology of the Late Bronze Age between 2000/1950 and 1500 BC.

[1] The Umm an-Nar Abraq grave ^{14}C dates (*Potts,* 2003) give a combined date of 3741 ± 26 BP = 2200–2050 1σ cal. BC; 2280–2030 2σ cal. BC.

[2] The two periods are quite different from the point of view of the material culture and site architecture (*Salvatori,* 2008a). The picture drawn by Hiebert (1994a) about fifteen years ago is now to reject on the light of more recent excavations.

The few radiocarbon determinations available from sure LBA contexts in the Murghab delta[1], give a bracket of 1920–1680 BC[2] while the very few dates from the southern Turkmenistan piedmont give 1520–1435 BC[3]. All together the Murghab and piedmont conform with the Dzarkutan series and assure the chronological homogeneity between Margiana and Bactria cultural processes.

The upper limit of the Late Bronze Age (2000/1950 BC) fix at the same time the lower limit of the Middle Bronze Age. For this period radiocarbon dates from the piedmont point to a bracket of 2210-2040 BC and for the Murghab delta 2300–2000 BC[4].

Summing up we can now date the MBA 2400/2300–1950 BC and the LBA 1950–1500 BC and to recognise a very strong chronological correlation between the southern Central Asia MBA and the late Umm an-Nar period.

Coming back to the later part of the Bactria-Margiana Middle Bronze Age a good connection on a chronological and possibly archaeological ground can be seen with the early Kaftari period (2200–1900 BC) in Iran (*Potts*, 1999, p. 151). More recently Daniel Potts (2008b), following the original idea of Pierre Amiet (1986, p. 200), has assumed a possible influence of Bactria-Margiana composite female figurines on the rendering of seated figures on Anšanite cylinder seals. Such a hypothesis is supported by the growing archaeological evidence of strong and structured trade ties between southern Central Asia and the Iranian plateau (*Salvatori,* 2000a, 2008a; *Salvatori, Tosi,* 1997).

Interlude

If the absolute chronology from Central Asia and the southern shore of the Persian/Arabian Gulf are so strongly correlated, some elements of the material culture from the Murghab delta question the correlation with the Mesopotamian chronology.

In recent years we assisted to a reappraisal of the debate around the High, Middle and Low Mesopotamian chronology.[5] The most used is the Middle one with some variants called Low-Middle (a slightly variation of about 20 to 50 years separates the Middle from the Low-Middle).

The problem is nevertheless raised by objects from the Murghab delta that suggest links with the Mesopotamian ED IIIb – Old Akkadian periods. The apparent, while limited discrepancy between the Middle Mesopotamian chronology and the absolute radiocarbon chronology of the

[1] The use of radiocarbon determinations from Margiana and the Southern Turkmenistan piedmont is still troublesome because the lack of information on sample collecting procedures and moreover on stratigraphic contexts. As we experienced reworking the many ^{14}C dates from Shahr-i Sokhta (*Salvatori, Tosi*, 2005) only a critical re-examination of samples provenance and quality can help to separate contextually and qualitatively reliable samples from the unreliable ones. In the Shahr-i Sokhta case we were much helped by the highly detailed and accurate excavations records of Maurizio Tosi, a documentation we do not have in the case of the piedmont and Margiana excavations. We decided to use only those dates that when calibrated fall between 2500 and 1900 for the Middle Bronze Age and between 2000 and 1400 for the Late Bronze Age applying to the series the combine function of OxCal software.

[2] The OxCal 3.5 combine function provides for Gonur 1 South a date of 3520 ± 22 bp = 1920-1740 2σ cal. BC and for Togolok 21 a date of 3453 ± 23 bp = 1880-1680 2σ cal. BC. ^{14}C dates published by *Kohl*, 1984; *Hiebert,* 1993; *Kircho, Popov*, 1999; *Salvatori*, 2002; *Jungner,* 2004 have been used to define the absolute chronology of the two periods.

[3] Using dates from Ulug, Namazga and Tekkem we have obtained the date of 3214±17 bp = 1520–1435 2σ cal. BC.

[4] For the Piedmont we have a date of 3739 ±16 bp = 2210–2040 2σ cal. BC; for Gonur 1 North 3520 ± 10 bp = 2280–2130 2σ cal. BC and for Adzhi Kui 3760 ± 10 bp = 2300–2030 2σ cal. BC.

[5] See, for example, *Reade*, 2001.

Murghab Middle Bronze Age can be evaluated briefly surveying data from regions to the west and east of Sumer and Akkad.[1]

The first important help comes from the revision of the Gordion dendrochronological data (*Manning et al.,* 2001) which has verified the agreement of both the Middle and the Low-Middle Mesopotamian chronology for the Šamši-Adad I reign.

A series of ^{14}C dates from the Early Akkadian levels of Tell Leilan, in Syria (IIb3: 3845 ± 35 bp = 2348–2208 2σ cal. BC; IIb1: 3770 ± 30 bp = 2208–2140 2σ cal. BC; 3755 ± 18 bp = 2199–2141 2σ cal. BC[2]), as the Gordion's data, support both the Middle and the Low-Middle Mesopotamian chronology.

A somewhat different picture emerges from the ^{14}C series from the site of Tell Mazyan, ancient Urkesh (*Buccellati, Kelly-Buccellati*, 2000, p. 154, fig. 6). Here the radiocarbon dates from levels contemporary with Maniǰtusu or early Naram Sin reigns seem to fit better with a chronology in the middle between the Middle and the Low that is to say about 50 years lower than the Middle chronology.

The difference of ca. 50 years, can be considered, from an archaeological point of view, negligible while it could have some reverberations if transferred on a historical ground.

If we accept the Low-Middle Mesopotamian chronology we could understand better the presence at the beginning of the Bactria-Margiana Middle Bronze Age of materials which are at home in the Early Dynastic IIIb and in the Old Akkadian periods like a cylinder seal surely inspired to ED III prototypes (*Salvatori*, 2008b) or the ED III-Old Akkadian calcite small bowls with flaring rims (*Casanova*, 1991. Type I) from Gonur (*Sarianidi,* 2007, fig. 195) and Bactria (*Pottier*, 1984, pl. XXV: *193*, *196*; *Ligabue, Salvatori,* 1988, colour pl. 85).

The provenance problem

The brief chronological interlude drives us back to the Gonur Grave 3245 and to the chlorite boxes. As we said above the two objects have different provenance: the two-compartmented box, made from a grey-green chlorite was surely produced, together with other types of chlorite vessels (*David,* 1996, 2002a; *Potts*, 2008a) in the Gulf area where several outcrops of this kind of stone have been located (*David,* 2002b); the four-compartmented box, made from a dark green chlorite, is so closely linked with the Shahdad examples to suggest a provenance from somewhere in central-southern Iran. This is surely a production area as demonstrated by the Yahya workshop (*Kohl,* 1979, 2001)[3] and by the presence of chlorite outcrops in the mountain around the Soghun valley (*Kohl,* 1979, p. 69).

If the four-compartmented box type is actually known at Shahdad,[4] Susa,[5] perhaps Jiroft,[6]

---

[1] The overall problem could be solved by the work of the international ARCANE project (http://www.arcane.uni-tuebingen.de). In the meanwhile we can refer to a limited, recent set of data from well controlled excavations.

[2] *Lillis Forrest, Milano, Mori,* 2007. Leilan Levels IIb3: p. 45; IIb1: p. 52; Ristvet, 2005, fig. 2.2 at p. 213 for Leilan IIb, IIb3, IIb1; *Ristvet, Gunderson, Weiss,* 2004. Leilan IIb1.

[3] Different workshops were surely involved in chlorite object production as technological, physical and chemical analyses suggest also in the case of stylistically and typologically homogeneous decorative patterns (*Kohl,* 1979).

[4] *Hakemi*, 1997. Graves 35, 113, 116, 120, 165, 166 and 309.

[5] *Miroschedji,* 1973, fig. 11.14–16.

[6] *Madjidzadeh,* 2003. It is impossible to determine from the published photo (P. 139 no. 142) if the box with a decoration that can be reconnected to the 'Intercultural Style' has one or more compartments.

Mehi[1] and Mohenjodaro,[2] in the Indus Valley, and finally in Margiana and Bactria,[3] the two-compartmented type is known in many examples at sites distributed along the southern shore of the Gulf[4] and in much less occurrences at Susa[5] and a single example in Margiana. But, if we consider the distribution of the Umm an-Nar production as a whole a larger distribution can be presented including Mesopotamia[6], other Iranian sites east of Susa like Yahya[7], Tol-e Peytul[8] and Shahdad [9], the Indus Valley[10], and Margiana. Such a distribution entails that during the last two or three centuries of the third millennium BC a number of trajectories are working from the southern coast of the Gulf and 1) ED III/Old Akkadian Mesopotamia (possibly a western Dilmunite trajectory to use the terms of Potts, 2008a); 2) the Iranian Khuzestan (Susa) (= the Dilmunite-Elamite trajectory: *Potts*, 2008a, p. 12); 3) Tol-e Peytul, in the Bushehr area in Iran (= the Anšanite trajectory: *Potts*, 2008a, p. 12–13); 4) Yahya, Jiroft and Shahdad in the Kerman area (= the Marhašian trajectory: *Potts*, 2008a, p. 12); 5) the Indus valley (Mohenjodaro) (= the Meluhhan trajectory: *Potts*, 2008a. p. 11–12). During that period and possibly sometime earlier all or almost all of the above quoted areas and sites show contacts with the Bactria-Margiana world. How to orient oneself in this web of multi-directional interconnections?[11]

To disentangle that intricate web and determine, if possible, which of the several trajectories could be considered the most likely one we have to take into consideration other important elements presented by the archaeological record. First of all, as we have seen above, the distribution of the four-compartmented boxes seems to exclude both Mesopotamian and the Gulf – the last being the production area of the two-compartmented boxes. A second source of information is provided by the distribution of metal compartmented stamp seals outside their production area – Bactria and Margiana.[12] Up to now this peculiar type of metal stamp seals (*Salvatori*, 2000) is known at only four sites: Susa (*Amiet,* 1986, fig. 105), Shahdad (*Hakemi*, 1997, p. 284, 320, 324), Yahya(?) (*Lamberg-Karlovsky, Tosi*, 1973, fig. 124), and Mohenjodaro

[1] *Piggot*, 1950, fig. 11.
[2] *Durrani*, 1964, pl. I.1.
[3] *Pottier*, 1984, fig. 31.226.
[4] *David,* 2002a; *Zarins*, 1978, 1989.
[5] *Miroschedji,* 1973, fig. 9.
[6] *Woolley*, 1974, pl. 49.*L*
[7] *Lamberg-Karlovsky*, 1988. Figs 4/cc and 4/dd; Potts, 2008a. Figs 27–28.
[8] *Potts,* 2008a. Fig. 34.
[9] *Hakemi,* 1997. Grave 36 Obj. No. 0292 at P. 195.
[10] *Cleuziou, Tosi,* 2007. Fig. 189.
[11] The picture is somewhat complicated by the direct links between the Indus Valley and Mesopotamia attested not only by written documents but also by the archaeological record and particularly by the presence of Harappan seals in several Mesopotamian sites (*Possehl*, 1996); between the Indus Valley and Yahya (*Pittman*, 2001, fig. 10.63); the Indus Valley and Susa (*Amiet*, 1986, figsf 93–94); the Indus Valley and the Gulf (*Méry*, 2000); the Indus Valley and Bactria-Margiana (*Sarianidi,* 1998, fig. 21; *Сарианиди*, 2004, fig. 13) and the piedmont of southern Turkmenistan (*Masson,* 1988, pl. XXII.1a–1b); Mesopotamia and Iranian plateau (*Kohl*, 1979, 2001; *Potts T. F.*, 1989, 1994); the Gulf (late Umm an-Nar) and the Elamite Anšan, at least during the early Kaftari period (*Potts*, 2003, figs. 13.2, 13.3), and the Kerman (Vogt, 1985); the Kerman area (*Hakemi,* 1997), the Khuzestan (*Amiet,* 1986, fig. 105), the Indus Valley (*During Caspers*, 1994a, 1994b) with the Bactria-Margiana area.
[12] Actual seals can be considered as the primary markers of trade terminals and trade agencies. They are by definition univocally linked to individuals or functions. Bactria-Margiana metal compartmented stamp seals represent a precious source of information because peculiar of those regions. Their occurrence in primary contexts in Margiana make sure their chronological attribution to the local Middle Bronze Age (*Salvatori*, 2000b). A recently excavated metal workshop at Gonur North has provided the first example of a mould for this kind of seals (fig. 8). I thank Victor Sarianidi to allow me to publish here a photo of the mould *in situ* that I took during the excavation of the Gonur metal workshop.

(*During Caspers,* 1994a, 1994b).[1] These stamp seals, considering the ascertained connection with the holders,[2] point to the presence of Bactria-Margiana trading agencies and merchants at least at three of the above mentioned sites.

A third element is provided by the distribution of a well known group of possibly Iranian cylinder seals. They have been found at Yahya (*Pittman,* 2001, fig. 10.46-52), Shahdad (*Hakemi,* 1997, graves 163, 166) and Bactria-Margiana (*Sarianidi*, 1998, fig. 27.3; 2001, p. 197, pl. 10.7; 2002, fig. on p. 278; *Winckelmann,* 1997, fig. 1*a-c*). If the Iranian origin of this group of seals would be confirmed, than the most plausible intermediaries for the Um an-Nar two-compartmented box as well as the four-compartmented one would be Shahdad or Susa. At both sites, indeed, "Um an-Nar" type vessels have been found even if only at Susa examples of the two-compartmented type with dotted double circle decoration are known.

At Shahdad two-compartmented boxes made from chlorite, other kind of stones and pottery are well attested (*Hakemi,* 1997, graves 33, 59, 95, 98, 139, 168, 193, 202, 271), but they are never decorated with the typical Um an-Nar pattern in spite of the contacts with the Gulf proved beyond any doubt by a number of pottery vessels found in the Shahdad graveyard. Moreover, during the same period (the last centuries of the 3rd millennium BC) contacts, possibly of trading nature, are proved by the typical Anšanite pots found in the Late Um an-Nar grave at Abraq (*Potts*, 2003).

Nevertheless, on the base of the presence at Susa of both the types of compartmented boxes and of both the types of seals mentioned above, we can provisionally consider Susa as the most likely intermediary between the Gulf and the Bactria-Margiana world, even if we cannot rule completely out the Marhašian trajectory.

New discoveries on the Iranian plateau, in the Indus Valley and southern Central Asia could change the above outlined picture, but it will never affect the archaeological and historical perception of the high level of complexity the «international» trade mechanism reached at least by mid third millennium BC. Many bilateral trading agencies are at work at different sites, orchestrating commercial/economical transactions between the Indus Valley and the Oxus civilisation; the Sumerian-Akkadian Mesopotamia and the Indus Valley; the Khuzestan and Kerman provinces, in Iran, and the Oxus; the Kerman area (Yahya) and the Khuzestan with the Indus Valley.

This peculiar and organised interrelationship is proved by items, like the actual seals, that can guarantee the presence of alloctonous individuals and agencies in each of the above mentioned centres.[3] During the second half of the third millennium BC the only region which while participating to this comprehensive trading network, had apparently no direct contact with the Oxus civilisation is the southern Gulf area.

---

[1] Only one fragmentary metal compartmented stamp seal is up to now known from Mohenjodaro. Nevertheless this, together with a number of Indus Valley objects found at Altyn Depe and Gonur 1 North, among which some typical Harappan stamp seals, points to an active trade inter-exchange between the two regions in the second half of the third millennium BC.

[2] It is not by chance that at Shahdad compartmented stamp seals are often associated to other Central Asian objects like miniature stone columns, stone cylindrical long poles, calcite cups on tall stand etc. The same type of objects are well attested at Susa (*Amiet,* 1986).

[3] We will only remind the presence, in the second half of the third millennium BC, of Indus Valley seals and seal impressions at Altyn Depe (*Masson,* 1988, pl. XXII.1a–1b), Gonur (*Сарианиди,* 2004, fig. 13), Yahya (*Pittman,* 2001, fig. 10.63), Susa (*Amiet,* 1986, fig. 94), Mesopotamia (*Collon*, 1996; *Possehl,* 1996); of Bactria-Margiana stamp seals at Susa (*Amiet,* 1986, fig. 105), Yahya (*Pittman,* 2001, figs 10.58, 10.59), Shahdad (*Hakemi,* 1997, graves 122, 163 and 166), Mohenjodaro (*During Caspers,* 1994a, 1994b); of central Iran seals at Yahya, Shahdad, Margiana and Southern Bactria.

At the beginning of the second millennium BC the Bactria-Margiana civilisation went through a deep transformation. We can easily appreciate the change because it affected the material culture, territorial organisation and architectural planning (*Salvatori,* 2008a). The typical elements of the local MBA culture (2400/2300-2000/1950 BC) like the metal compartmented stamp seals, the stone miniature columns, the long stone cylindrical rods, and the calcite bowl production that, among others,[1] give the image of an affluent society, suddenly disappear from the archaeological record. The Gonur graveyard was then systematically plundered and there is the evidence (e.g. Togolok 21: *Salvatori,* 2008a) of recycling at LBA sites in Margiana. We have in other occasions underlined that also the Margiana settlement pattern, once centred on a central, directional site which emerges above the others sites of the region for its outstanding architectural characters and for the concentration of material richness, collapsed at the turn of the second millennium BC producing a deep cultural and possibly political change (*Salvatori,* 2008c). It is worth noting that we cannot, up to now, detect whatsoever link with the Iranian plateau in the Bactria-Margiana material assemblages of the first half of the second millennium BC. The only evidence of external contacts is provided by the presence of Oxus stepped edges lozenge-shaped bifacial stone stamp-seals in the Indus Valley (Mohenjodaro: *During Caspers,* 1994a, 1994b) and in the Persian/Arabian Gulf (Bahrain: *Crawford, Al Sindi,* 1995; *Crawford,* 1998, fig. 7/5).

The cause of the deep transformation of the Bactria-Margiana society at the very beginning of the second millennium BC is still difficult to determine. We actually do not know if it was the result of an internal political crisis (*Salvatori*, 2008c) or caused by external powers or/and events. New fortified settlements were built up aside the older, abandoned sites; the fortification walls formerly characterised by square towers at the corners and rectangular or square projecting bastions along the sides are now systematically and without exceptions provided with circular towers at the corners and semicircular bastions along the sides. Such an impressive transformation seems to have been occurred suddenly and simultaneously all over the area of the Oxus civilisation. In Margiana we actually know that the central place of North Gonur collapsed and, as stated above, its huge and rich graveyard was systematically plundered (*Salvatori*, 1995). Moreover, a number of hoards located outside the core region and containing typical objects – often in fragments – of the Margiana and Bactria MBA material culture can be dated to the beginning of the second millennium BC[2].

An interesting hypothesis that could link the Bactria-Margiana MBA political collapse to external events has been recently put forth by Daniel Potts (2008b). In short the hypothesis of the American colleague is based on the equation Šimaški[3] = Bactria-Margiana. The external event would have been the successful campaign of the Ur III king Šu-Sin I (2037–2029 BC according to the Middle Chronology; 1987–1979 BC, according to the Low-Middle Chronology) against Šimaški and a number of allied kingdoms or chiefdoms.

Though suggestive, this hypothesis displays some difficulties starting from the geographic location of Šimaški (*Steinkeller,* 2007).[4] Nevertheless, the above mentioned Šu-Sin's military

[1] E.g. the many different items like golden and silver bowls and beakers; jewels made from precious metals and a variety of semi-precious stones; composite chloritite and gypsum figurines, etc.

[2] We are referring to the hoards of the Treasure Hill of Tepe Hissar, in north western Iran (*Schmidt,* 1937), and Quetta, in south western Pakistan (*Jarrige*, 1987; *Jarrige, Hassan*, 1989) (cfr. *Salvatori,* 2008a).

[3] See now: *Steinkeller*, 2007.

[4] A second major difficulty can be found in the apparently well organised reasoning of Potts which starting from stylistic analogies between the famous Persepolis silver beaker and a silver vessel from the Gonur graveyard (*Sarianidi,* 2005, figs. 95–96) on which Bactrian camels are portrayed, refers to a Nippur tablet which mentions a gift of Bactrian camels presented by Ebarat, king of Šimaški, to Šulgi (2094–2047). Nevertheless, in the same

campaign could have been relevant to the Bactria-Margiana political and cultural transformation at the beginning of the second millennium BC producing a political turmoil in north-western and central Iran. As a consequence we cannot rule out possible side effects of the Šu-Sin's campaign which surely raised a period of great transformation in the political assets and in power relations both in the Iranian plateau and Mesopotamia as well (*Potts,* 2008b). The domino effect of the Šu-Sin military campaign could have also involved southern Central Asia regions explaining, in a way which need to be more deeply investigated, the drastic changes Bactria-Margiana society and its political structures experienced at the very beginning of the 2nd millennium BC.

Bibliography

Amiet P. L'âge des échanges inter-iraniens 3500–1700 avant J.-C. P., 1986.

Amiet P. Antiquities of Bactria and Outer Iran in the Louvre Collection // Bactria: an ancient oasis civilization from the sands of Afghanistan \ Ligabue G., Salvatori S. (Eds.). Venice, 1988. P. 159–180.

Buccellati G., Kelly-Buccellati M. The Royal Palace of Urkesh. Report on the 12th Season at Tell Mozan/Urkesh: Excavations in Area AA, June-October 1999 // MDOG. Vol. 132. 2000. P. 133–183.

Casanova M. La vaisselle d'albâtre de Mésopotamie, d'Iran et d'Asie centrale aux IIIe et IIe millénaires. P., 1991.

Cattani M., Cerasetti B., Salvatori S., Tosi M. The Murghab delta in Central Asia 1990–2001: GIS from a research resource to a reasoning tool for the study of settlement change in long-term fluctuations // CAA 2002 "The Digital Heritage of Archaeology" \ Doerr M., Sarris A. (Eds.). Oxford, 2003. P. 125–131.

Cleuziou S., Tosi M. In the shadow of the ancestors: The prehistoric foundations of the early Arabian civilization of Oman. Muscat, 2007.

Collon D. Mesopotamia and the Indus: the Evidence of the Seals // The Indian Ocean in Antiquity \ J. Reade (Ed.). L., 1996. P. 209–225.

Crawford H. Dilmun and its Gulf neighbours. Cambridge, 1998.

Crawford H., Al Sindi K. A Seal in the Collections of the National Museum, Bahrain // Arabian Archaeology and Epigraphy. Vol. 6. 1995, P. 1–4.

David H. Styles and Evolution: Soft stone vessels during the Bronze Age in the Oman Peninsula // PSAS. Vol. 26. 1996, P. 31–46.

David H. Soft-stone vessels from Umm an-Nar tombs at Hili (UAE): a comparison // PSAS. Vol. 32. 2002a, P. 175–185.

David H. Soft Stone mining evidence in the Oman Peninsula and its relation to Mesopotamia // Essays on the Late Prehistory of the Arabian Peninsula. (Serie Orientale Roma XCIII) \ Cleuziou S., Tosi M., Zarins J. (Eds .). Roma, 2002b. P. 317–335.

During Caspers E.C.L. Widening Horizons. Contacts between Central Asia (the Murghabo-Bactrian Culture) and the Indus Valley Civilization towards the close of the Third and the Early Centuries of the Second Millennium B. C. // AION. Vol. 54 #2. 1994a, P. 171–198.

During Caspers E.C.L. Non-Indus glyptics in a Harappan context // Iranica Antiqua. Vol. XXIX. 1994b, P. 83–105.

Durrani F. A. Stone vases as evidence of connection between Mesopotamia and the Indus Valley // Ancient Pakistan. Vol. 1. 1964, P. 51–96.

Field H. The Field Museum-Oxford University expedition to Kish, Mesopotamia 1923–29. (Field Museum of Natural History Anthropology Leaflet 28). Chicago, 1929.

Francfort H.-P. L'art de la Civilisation de l'Oxus a l'Âge du Bronze (2300-1700 av. J.-C. env.) //

---

text a gift of camels offered to Šulgi by Hundah(i)sher, the man of Anšan, is also mentioned. The text, indeed, does not support the equation Šimaški=Bactria-Margiana, but only the possibility of direct contacts of trading nature between Šimaški and Anšan with the Bactria-Margiana region. To the same network of trading and possibly political relationships, based on the reciprocated presence of trading agencies, can be correlated the stylistic affinity between the female figures portrayed on the Anšanite cylinder seals of the Old Kaftari period and the Bactria-Margiana female composite statuettes.

Sulla Via delle Oasi. Tesori dell'Oriente Antico \ Ligabue G., Rossi-Osmida G. (Eds.). Trebaseleghe. 2007. P. 102–127.

Francfort H. More Sculpture from the Diyala region. Chicago, 1943.

Görsdorf J., Huff D. ^{14}C-Datierungen von Materialien aus der Grabung Džarkutan, Uzbekistan // AMIT. Vol. 33. 2001, P. 75–87.

Görsdorf J., Vogt B. Asimah: Neue ^{14}C-Datierungen zum srдten 3. vorchristlichen Jahrtausend auf der Halbinsel Oman // Arabian Archaeology and Epigraphy. Vol. 12. 2001. P. 1–9.

Hakemi A. Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age centre in Iran. Rome, 1997.

Hiebert F. Chronology of Margiana and Radiocarbon // IACAS. Information Bulletin. Vol. 19. 1993, P. 136–148.

Hiebert F. Production evidence for the origins of the Oxus Civilization // Antiquity. Vol. 68 #259. 1994a. P. 372–387.

Hiebert F. Origins of the Bronze Age Oasis Civilization in Central Asia. (American School of Prehistoric Research Bulletin 42). Cambridge (MA.), 1994b.

Hiebert F., Lamberg-Karlovsky C. C. Central Asia and the Indo-Iranian borderlands // Iran. Vol. 30. 1992. P. 1–15.

Huff D. Deutsch-Uzbekische Ausgrabung auf dem Džandaulattepe und in Džarkutan, Süduzbekistan, 1993–1995 // Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Vol. 18. 1997. P. 83–95.

Kircho L. B., Popov S. G. On the problem of radiocarbon chronology of early civilization of Central Asia (In Russian) // Stratum plus. Vol. 2. 1999. P. 350–361.

Klengel H., Klengel E. Zum Fragment eines Steatitgefäßes mit einer Inschrift der Rimuš von Akkad // Rocznik Orientalistyczny. Vol. 41 #2. 1980, P. 45–51.

Kohl Ph. L. The 'World Economy' of West Asia in the Third Millennium BC. // SAA 1977 \ Taddei M. (Ed.). Naples, 1979. P. 55–85.

Kohl Ph. L. Central Asia: Palaeolithic Beginnings to the Iron Age. P., 1984

Kohl Ph. L. Reflections on the Production of Chlorite at Tepe Yahya: 25 Years Later // Excavations at Tepe Yahya, Iran 1967–1975. (American School of Prehistoric Research Bulletin 45) \ Potts D. T. (Ed.). Cambridge, 2001. P. 209–230.

Kohl Ph. L. The Making of Bronze Age Eurasia. Cambridge, 2007

Jarrige J.-F. A Prehistoric Elite Burial in Quetta // Newsletter of Baluchistan Studies. Vol. 4. 1987. P. 3–9.

Jarrige, J.-F., Hassan M. U. Funerary complexes in Baluchistan at the end of the third Millennium in the light of recent discoveries at Mehrgarh and Quetta // SAA 1985 \ Frifelt K., Sørensen P. (Eds.). Copenhagen, 1989. P. 150–166.

Jungner H. A Collaboration for developing archaeological research in Turkmenistan // У истоков цивилизации Сборник статей к 75-летию В. И. Сарианиди \ Косарев М. Ф., Кожин П. М., Дубова Н. А. (ред.). М., 2004. P. 290–293.

Lamberg-Karlovsky C. C. The 'intercultural style' carved vessels // Iranica Antiqua. Vol. 23. 1988. P. 45–95.

Lamberg-Karlovsky C. C. The BMAC. Pivot of the four quarters: temples, palaces, factories and bazaars? // Sulla Via delle Oasi. Tesori dell'Oriente Antico \ Ligabue G., Rossi-Osmida G. (Eds.). Trebaseleghe. 2007. P. 88–101.

Lamberg-Karlovsky C. C., Tosi M. Shahr-i Sokhta and Tepe Yahya: tracks on the earliest history of the Iranian Plateau // EW. Vol. 23. 1973. P. 21–53.

Lillis Forrest F., Milano L., Mori L. The Akkadian occupation in the Northwest area of the Tell Leilan Acropolis // Kaskal. Vol. 4. 2007. P. 43–64

Madjidzadeh Y. La découverte de Jiroft // Dossiers d'Archeologie. Vol. 287. 2003. P. 19–63.

Manning S. W., Kromer B., Kuniholm P. I., Newton M. W. Anatolian tree rings and a new chronology for the East Mediterranean Bronze-Iron Ages // Science. Vol. 294. 2001. P. 2532–2535.

Masson V. M. Altyn-depe. Philadelphia, 1988.

McSweeney K., Méry S., Macchiarelli R. Rewriting the end of the Early Bronze Age in the United Arab Emirates through the anthropological and artefactual evolution of two collective Umm an-Nar graves at Hili (eastern region of Abu Dhabi) // Arabian Archaeology and Epigraphy. Vol. 19. 2008. P. 1–14.

Méry S. Les céramiques d'Oman et l'Asie moyenne. Une archéologie des échanges a l'Âge du Bronze. P., 2000.

Miroschedji P. de. Vases et objects en stéatite susiens du Misée du Louvre // Cahiers de la D.A.F.I. Vol. 3. 1973. P. 9–80.

Moortgat A. The Art of Ancient Mesopotamia. L., 1969.

Piggot S. Prehistoric India to 1000 B. C. Harmondsworth, 1950.

Pittman H. Glyptic art of Period IV // Excavations at Tepe Yahya, Iran 1967–1975. (American School of Prehistoric Research Bulletin 45) \ Potts D. T. (Ed.). Cambridge, 2001. P. 231–268.

Pittman H. La culture du Halil Roud // Dossiers d'Archeologie. Vol. 287. 2003. P. 78–87.

Possehl G. L. Meluhha // The Indian Ocean in Antiquity \ Reade J. (Ed.). L., 1996. P. 133–208.

Possehl G. L. The Middle Asian interaction sphere // Expedition. Vol. 49 № 1. 2007. P. 40–42.

Pottier M.-H. Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l'Âge du Bronze. P., 1984.

Potts D. T. The Archaeology of Elam. Formation and transformation of an ancient Iranian state. Cambridge, 1999.

Potts D. T. Excavations at Tepe Yahya, Iran, 1967–1975: The Third Millennium. (American School of Prehistoric Research Bulletin 45). Cambridge, 2001.

Potts D. T. Anshan, Liyan, and Magan circa 2000 BCE // Yeki bud, yeki nabud. Essays on the archaeology of Iran in honor of William M. Sumner \ Miller N. F., Abdi K. (Eds.). Los Angeles. 2003. P. 156–159.

Potts D. T. In the beginning: Marhashi and the origins of Magan's ceramic industry in the third millennium BC // Arabian Archaeology and Epigraphy. Vol. 16. 2005. P. 67–78.

Potts D. T. An Umm an-Nar-type compartmented soft-stone vessel from Gonur Depe, Turkmenistan // Arabian Archaeology and Epigraphy. Vol. 18. 2008a. P. 1–14.

Potts D. T. Puzur-Inšušinak and the Oxus Civilization (BMAC): Reflections on Šimaški and the geopolitical landscape of Iran and Central Asia in the Ur III period // ZA. Vol. 98 #2. 2008b. P. 165–194.

Potts T. F. Foreign stone vessels of the Late Third Millennium B. C. from Southern Mesopotamia: their origins and mechanisms of exchange // Iraq. Vol. LI. 1989. P. 123–164.

Potts T. F. Mesopotamia and the East. An archaeological and historical study of foreign relations ca. 3400–2000 BC. (Oxford University Committee for Archaeology Monograph 37). Oxford, 1994.

Reade J. Assyrian King-Lists, The Royal Tombs of Ur, and the Indus Origin // J. of Near Eastern Studies. Vol. 60 #1. 2001. P. 1–29.

Ristvet L. Settlement, economy, and society in the Tell Leilan region, Syria, 3000–1000 BC. PhD Dissertation King's College, University of Cambridge, Faculty of Oriental Studies. 2005.

Ristvet L., Giuderson Th., Weiss H. The dynamics of state development and imperialization at third Millennium Tell Leilan, Syria // Orient-Express. Vol. 2 #4. 2004. P. 1–15.

Salvatori S. Early Bactrian objects in private collections // Bactria: an ancient oasis civilization from the sands of Afghanistan \ Ligabue G., Salvatori S. (Eds.). Venice. 1988. P. 181–187.

Salvatori S. The discovery of the graveyard of Gonur-depe 1 (Murghab Delta, Turkmenistan): 1992 campaign preliminary report // Rivista di Archeologia. Vol. XVII. 1993. P. 5–13

Salvatori S. A Late 3rd Millennium Graveyard at Gonur-depe 1 (Murghab Delta, Turkmenistan) // SAA 1993. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Series B., Vol. 271) \ Parpola A., Koskikallio P. (Eds.). Helsinki, 1994a. P. 657–566.

Salvatori S. Excavations at the Namazga V Late graveyard of Gonur 1 (Murghab Delta, Turkmenistan). Preliminary Report on the 1993 field season // Rivista di Archeologia. Vol. XVIII. 1994b. P. 5–37.

Salvatori S. Gonur-Depe1 (Margiana, Turkmenistan). The Middle Bronze Age graveyard. Preliminary report on the 1994 excavation campaign // Rivista di Archeologia. Vol. XIX. 1995. P. 5–37.

Salvatori S. Il cimitero del Bronzo Medio a Gonur depe 1 (Delta del Murghab, Turkmenistan): alcune riflessioni sulla Margiana e la Battriana protostoriche // Patavina Orientalia Selecta \ Rova E. (Ed.). Padova, 2000a. P. 35–70.

Salvatori S. Bactria and Margiana seals: a typological survey and a new assessment of their chronological position // EW. Vol. 50. 2000b. P. 97–145.

Salvatori S. Project «Archaeological Map of the Murghab Delta» (Turkmenistan): test trenches at the Bronze Age sites of Adzhi Kui 1 and 9 // Ancient civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 8 # 1–2. 2002. P. 107–178.

Salvatori S. Cultural variability in the Bronze Age Oxus civilisation and its relations with the surrounding regions of Central Asia and Iran // The Archaeological Map of the Murghab Delta III. The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana Lowlands: Facts and Methodological Proposal for a Redefinition of the Research Strategies \ Salvatori S., Tosi M. (Eds.). Oxford, 2008a. P. 75–98.

Salvatori S. A New cylinder seal from ancient Margiana: cultural exchange and syncretism in a «world wide trade system» at the end of the third Millennium BC // The archaeological Map of the Murghab Delta III. The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana Lowlands: Facts and Methodological Proposal for a Redefinition of the Research Strategies \ Salvatori S., Tosi M. (Eds.). Oxford, 2008b. P. 111–118.

Salvatori S. The Margiana settlement pattern from the Middle Bronze Age to the Parthian-Sasanian: a contribution to the study of complexity// The Archaeological map of the Murghab delta III. The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana Lowlands: facts and methodological proposal for a redefinition of the research strategies \ Salvatori S., Tosi M. (Eds.). Oxford. 2008c. P. 57–74.

Salvatori S., Tosi M. Postscriptum. Some reflections on Shahdad and its place in the Bronze Age of Middle Asia // Hakemi A. Shahdad. Archaeological excavations of a Bronze Age Centre in Iran. Rome, 1997. P. 121–138.

Salvatori S., Tosi M. Shahr-i Sokhta revised sequence // SAA 2001 \ Jarrige C., Lefèvre V. (Eds.). P., 2005. P. 281–292.

Sarianidi V. I. Margiana and Protozoroastrism. Athens, 1998.

Sarianidi V. I. Necropolis of Gonur and Iranian paganism. M., 2001.

Sarianidi V. I. Margush. Ancient Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murghab river. Ashgabat, 2002.

Sarianidi V. I. Goňurdepe. City of Kings and Gods. Aşgabat. 2005.

Sarianidi V. I. Necropolis of Gonur. Athens. 2007.

Schmidt E. F. Excavations at Tepe Hissar (Damghan). Philadelphia. 1937.

Steinkeller P. New light on Šimaški and its rulers // ZA. Vol. 97 #2. 2007. P. 215–232.

Vogt B. The Umm an-Nar Tomb A at Hili North: a Preliminary report on three seasons of excavation, 1982–1984 // Archaeology in the United Arab Emirates. Vol. IV. 1985. P. 20–37.

Winkelmann S. Ein neues Trans-Elamisches Siegel // AMIT. Vol. 2 #9. 1997. P. 135–146.

Woolley C. L. Ur excavations. Volume II. The Royal Cemetery. A report on the Predynastic and Sargonid Graves excavated between 1926 and 1931. L., 1934.

Woolley C. L. Ur Excavation. Volume IV. The Early Periods. L., 1955.

Woolley C. L. Ur Excavation. Volume VI. The Buildings of the Third Dynasty. L., 1974.

Yasin Al-Tikriti W. The Excavations at Bidya, Fujairah: the 3rd and 2nd millennia B. C. Culture // Archaeology in the United Arab Emirates. Vol. V. 1989. P. 101–114.

Zarins J. Typological Studies in Saudi Arabian Archaeology. Steatite vessels in the Riyadh Museum // Atlal. Vol. 2. 1978. P. 65–93.

Zarins J. Eastern Saudi Arabia and External Relations: Selected Ceramic, Steatite, and Textual Evidence: 3500–1900 B.C. // SAA 1985 \ Eds. Frifelt K., Sørensen P. Copenhagen, 1989. P. 74–103.

Žiolkowski M. C. The soft-stone vessels from Sharm, Fujairah, United Arab Emirates // Arabian archaeology and epigraphy. Vol. 12. 2001. P. 10–86.

Дубова Н. А. Могильник и царский некрополь на берегах большого бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию В. И. Сарианиди \ Косарев М. Ф., Кожин П. М., Дубова Н. А. (Ред.). М., 2004. С. 254–281.

Зайцева Г. И., Дубова Н. А., Семенцов А. А., Реймар П., Мэллори Дж., Юнгнер Х. Радиоуглеродная хронология памятника Гонур Депе // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 166–179.

Сарианиди В. И. Дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура // У истоков цивилизации Сборник статей к 75-летию В. И. Сарианиди \ Косарев М. Ф., Кожин П. М., Дубова Н. А. (ред.). М., 2004. С. 229–253.

Н. Бороффка

СЕРЕБРЯНАЯ ФИГУРНАЯ БУЛАВКА ИЗ «ГРОБНИЦЫ ЯГНЕНКА» (18/1994) В ГОНУРЕ
(некоторые соображения о музыке и ритуале)[1]

Посвящается
Виктору Ивановичу Сарианиди
в честь его 80-летия

Ее песня … слаще меда и вина

(Старовавилонский гимн: цит. по ***Rashid, 1984, с. 5)***

Несколько лет тому назад профессор Виктор Иванович Сарианиди, совершивший так много выдающихся открытий, опубликовал материалы по одному уникальному захоронению из могильника Гонур (*Sarianidi,* 1996). Первоначально оно было обозначено как погребение 18/1994, а позже получило название «Гробница ягненка». Материалы из погребения, в частности, как-то связанные с ним несколько серебряных булавок, вскоре были упомянуты в публикации С. Винкельманн (*Winkelmann,* 1998). Как представляется, основной задачей автора статьи являлись некоторые критические замечания по поводу датировки захоронения второй половиной II тыс. до н. э., предложенной В. И. Сарианиди на основании стратиграфии памятника. Но фактически В. И. Сарианиди пишет, что захоронение «прорезает верхние сооружения, поэтому относится к самому позднему периоду, когда поселение Гонур уже было заброшено, вероятно, ко второй половине II тыс. до н. э.» (*Sarianidi,* 1996, с. 33). Указанные четыре серебряные булавки были найдены в третьем отсеке общей могилы вместе с останками двух верблюдов, двух коз или баранов и, хотя не вполне уверенно, но, вероятнее всего, так или иначе связаны с «Погребением ягненка» (*Sarianidi*, 1996, с. 35). Далее В. И. Сарианиди приводит данные по поводу местонахождения самих булавок: «Над уровнем пола, в заполнении помещения-хранилища были найдены четыре серебряные булавки. Похоже, что булавки были сложены в пакет или узел, и именно поэтому они “слиплись”» (*Sarianidi,* 1996, с. 35), и только позже сказано, что «возможно, находка четырех серебряных булавок относится к этому погребению …» (*Sarianidi,* 1998а, с. 74–75). Если внимательно читать приведенные указания, становится понятно, что В. И. Сарианиди абсолютно прав, датируя погребение временем более поздним, чем большинство архитектурных сооружений поселения Гонур. Фактически, булавки, вероятнее всего, датируются еще более поздним временем, хотя и не вполне ясно, насколько более поздним, но не намного позже (смотрите ниже), чем само погребение, иначе они были бы найдены на полу, а не над ним. Соответственно, наиболее правдоподобным выглядит предположение о том, что булавки являлись отдельным кладом или приношением тогда, когда еще было известно расположение могилы или она была заметна на поверхности по каким-либо внешним признакам. Поскольку в самой могиле был похоронен ягненок, а не человек, то в целом этот погребальный комплекс вполне может рассматриваться как ритуальная структура, составлявшая часть некоего «святого» места. Следовательно, булав-

[1] Я очень признателен Л. М. Сверчкову за перевод статьи.

ки могут быть включены в категорию даров, помещенных в захоронение несколько позже (вероятно, не намного позже), в одно из посещений могилы, обозначавшей это святое место.

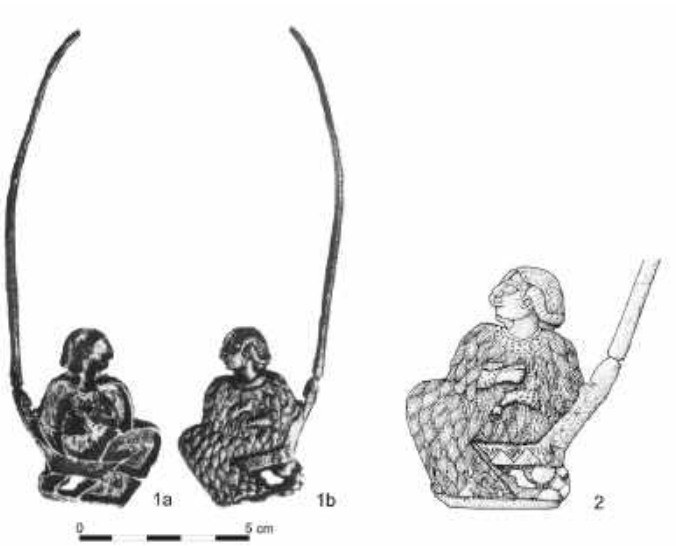


Рис. 1. Серебряная булавка из «Гробницы ягненка» (18/1994) в Гонур Депе (рис. Р. Бороффки, по Сарианиди, 1996 и 1998).

Дата, изначально предложенная В. И. Сарианиди, «вероятно, ... последняя четверть II тыс. до н. э.», является не более чем предположением и не соответствует общепринятой хронологии. Она представляется слишком поздней, поскольку Бактрийско-Маргианский археологический комплекс (БМАК), которому, несомненно, принадлежат интересующие нас булавки, прекращает свое существование не позднее XVI–XV вв. до н. э. (новейшие данные см.: *Зайцева и др.,* 2008). Учитывая стратиграфическое положение клада булавок (в верхнем слое), датировка В. И. Сарианиди, конечно, не может быть углублена почти на тысячу лет, как предлагает С. Винкельманн,[1] но, вероятнее всего, булавки относятся не ко второй, а к первой половине II тыс. до н. э. Однако, хотя сейчас поселение Гонур по радиоуглеродному методу датируется 2500–1500 гг. до н. э. (*Зайцева и др.,* 2008), точная дата для булавок пока установлена быть не может.

После этих кратких вводных замечаний позвольте обратиться к главному предмету моего небольшого исследования – серебряной фигурной булавке, опубликованной В. И. Сарианиди много раньше (*Сарианиди,* 1995), чем весь погребальный комплекс. В связи с исключительной художественной ценностью находки она неоднократно появлялась в печати (*Sarianidi*, 1996; 1998a, с. 73–76; 1998b, с. 284–285, № 1549; 2002, с. 231). Вся булавка (рис. 1) имеет длину 14,3 см, включая фигурку размером 5,4 × 3,7 см на нижнем окончании, согласно масштабу, данному В. И. Сарианиди (*Sarianidi*, 1998a, рис. 34). Техническое исполнение фигурки – с несколькими усиливающими ребрами на спине – хорошо известно по множеству металлических печатей, изготовленных в бактрийско-маргианском стиле (*Baghestani,* 1997; *Sarianidi,* 1998b), и вовсе не является редкостью, как не совсем точно утверждает С. Винкельманн (*Winkelmann,* 1998, с. 10). Таким образом, и в этом случае предмет прекрасно соотносится с указанной выше культурной группой. Сидящая фигурка обращена влево и одета в лоскутное kaunakes платье, широко известное по многим изображениям из Сузианы, Элама и Бактрии-Маргианы (*Amiet,* 1986; *Сарианиди,* 1995; *Sarianidi,* 1998b; *Winkelmann*, 1998, с. 10–12; *Sarianidi,* 2002; 2005. Там же при-

[1] "… ist Sarianidis Datierung des Grabes um fast Tausend Jahre zurück zu korrigieren…" (*Winkelmann,* 1998, с. 14).

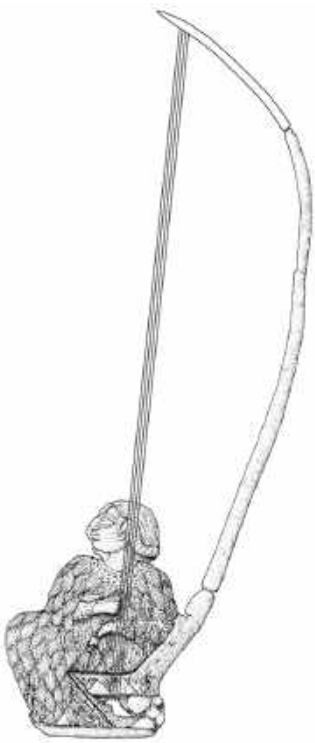


Рис. 2. Реконструкция серебряной булавки из Гонур Депе (рис. Р. Бороффки).

водится дополнительная литература). Характерное лицо изображено в профиль, на самом верху головы отчетливо видны волосы, собранные возле левого уха в косу, предположительно закрученную вокруг головы. Одеяние kaunakes передано в обычном бактрийско-маргианском стиле – с каймой и треугольниками около шеи. Одежда имеет замечательно украшенную окантовку вокруг выреза для шеи и рукавов. Руки изображены сложенными на теле, правая рука выше, левая – ниже. Под левой рукой едва различим маленький квадратный предмет.

«Стул» имеет довольно массивную нижнюю часть, украшенную сомкнутыми треугольниками. Возможно, изогнутая нога животного означает ногу, изображенную на обратной, правой стороне. Спинка «стула» вырастает из правой стороны и плавно переходит в длинную изогнутую булавку.

Абсолютных аналогов для фигурной серебряной булавки из «Гробницы ягненка» (18/1994) не существует. Основные стилистические сравнения уже были сделаны и рассмотрены (*Сариаиди,* 1995; *Sarianidi,* 1996; *Winkelmann,* 1998), как и решен вопрос о принадлежности предмета к БМАК конца III–первой половины II тыс. до н. э. Круг аналогий, в основном, относится к стилю изображения сидящей фигурки и kaunakes одеяния: известны многие примечательные соответствия из самого Гонура, а также множество других находок из Бактрии и Маргианы, к сожалению, часто вне археологического контекста. Известны еще аналогии из Ирана, в частности, серебряная ваза из Персеполя, датируемая по упомянутому в надписи имени царя Кутик-Иншушинака концом III тыс. до н. э. (*Girshman,* 1968; *Hinz,* 1969, с. 11–44; *Calmeyer,* 1989)[1]. Изображение сидящей женщины на одной из сторон персепольской вазы представляет отличную аналогию гонурской булавке, и здесь уместно отметить, что вытянутые предметы в виде прутьев, которые держит стоящая женщина, изображенная на другой стороне той же вазы, интерпретируются как звуковые, т. е., возможно, это – музыкальные инструменты (*Calmeyer,* 1989, с. 81). Точно такое же сочетание арфиста (мужчины) и другого мужчины, играющего на инструменте, внешне напоминающем связку прутьев, можно видеть на «бактрийском» кубке, опубликованном А.-П. Франкфором (*Frankfort,* 2003, с. 45, рис. 6а–с).

Как представляется, фигурка из Гонура и сильно изогнутая, в отличие от большинства других булавок БМАК, ее форма нуждается в дополнительном рассмотрении. Несомненно, булавка должна была крепиться на некоей поверхности таким образом, чтобы ее острие было направлено снизу вверх, в противном случае фигурка оказалась бы перевернутой. Это означает, что булавка должна была фиксироваться с помощью «одной или более нитей, шнурков или струн, которые надежно удерживали булавку в месте соеди-

[1] Между прочим, по форме и декоративной отделке в виде маленьких арок эта ваза имеет превосходные параллели с серебряным сосудом с изображением верблюда из Гонура (*Sarianidi,* 2005, с. 236, рис. 95–96).

нения на одежде из ткани или кожи» (*Alexander,* 1973, с. 218). Так было, вероятно, на большей части европейской территории и в Западной Азии, со временем в Европе эта конструкция трансформировалась в фибулу, где нить уже была заменена металлическим язычком (*Alexander*, 1973).

При полной реконструкции булавки из Гонура, с нитками, протянутыми через отверстие под «стулом» и крепившимися к предполагаемому острию, становится совершенно очевидным, что на булавке изображена сидящая женщина, играющая на арфе (рис. 2). Струнные инструменты, в частности, арфы и лиры, были прекрасно известны на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют многочисленные изображения играющих на них сидящих или стоящих мужчин и женщин.[1] Достаточно назвать знаменитые глиняные плакетки Старовавилонского периода (первая половина II тыс. до н. э.), найденные в самых разных местах на территории Ирака, с изображением согнутых под углом арф (*Rashid,* 1984, с. 90–89), удерживаемых вертикально (рис. 3: *1*) или горизонтально (рис. 3: *2*). Среди прочих имеется также плакетка (предположительно, из Эшнунны, Телль Асмар), ныне хранящаяся в Лувре (*Rashid,* 1984, с. 88–89, рис. 75), на которой отчетливо видна лучковая арфа, удерживаемая в горизонтальном положении (рис. 3: 3). На нескольких более древних известняковых плакетках Раннединастического периода (III тыс. до н. э.) из Месопотамии (Ур, Теллō, Фāра, Хāфāги, Телль Асмар и Телль Агграб: *Rashid*, 1984, с. 54–61) изображены последовательные культовые symposion (Συμπόσιον) сцены. Помимо слуг, подносящих напитки и еду, можно видеть колесницы и участников какой-то игры, возможно, соревнований в гонках. Также здесь присутствуют музыканты, один из которых, стоя, играет на вертикальной лучковой арфе (рис. 3: *4*). Точно такие же сцены изображены на цилиндрических печатях, например, из Ура (рис. 3: *5*),

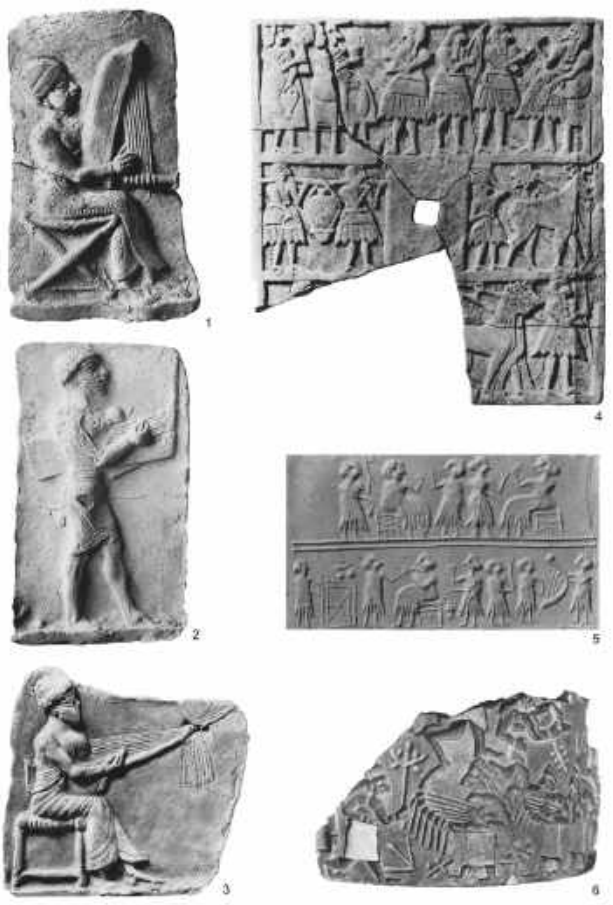


Рис. 3. Ближневосточные изображения музыкантов, играющих на арфе: 1 – глиняная плакетка из Месопотамии; 2–3 – глиняные плакетки, вероятно, из Эшнунны (Телль Асмар); 4 – Хāфāги, овальный храм, слой 1, известняк; 5 – Ур, оттиск цилиндрической печати; 6 – Адаб–Бишмайя, фрагмент полихромного стеатитового сосуда. Все изображения даны по: *Rashid*, 1984.

[1] Исчерпывающая информация по этому вопросу содержится в работах: *Lawergren*, 1996, 2006.

где опять-таки имеется вертикальная лучковая арфа, на которой играет один из стоящих персонажей.[1] На фрагменте каменного сосуда из Адаба–Бишмайи, хранящемся в Музее Института Востока в Чикаго (*Rashid,* 1984, с. 56), изображена ритуальная процессия, включающая человека, несущего дерево или ветвь в окружении других участников церемонии, в том числе двух музыкантов, которые, насколько можно судить, играют на вертикальных лучковых арфах (рис. 3: *6*). Известняковая табличка с культовой symposion церемонией и цилиндрическая печать из Ура представляют особый интерес, поскольку персонажи на них изображены в лоскутных одеждах kaunakes, подобных тем, что мы видим на булавке из Гонура. Хотя на фрагменте стеативого сосуда из Адаба-Бишмайи люди одеты не в kaunakes, а в некие подобия юбок, связь его с бактрийско-маргианским комплексом усматривается в оформлении темного фона сосуда белыми известняковыми дисками, что, несомненно, в точности соответствует технике БМАК при изготовлении каменных составных статуэток.

Таким образом, серебряная булавка из Гонура, относящаяся к концу III или, что вероятнее, началу II тыс. до н. э., отлично вписывается в серию ближневосточных изображений музыкантов или сложных сцен с участием музыкантов, играющих на вертикально или горизонтально удерживаемых арфах разных типов. Изображение музыканта из Гонура особенно примечательно еще тем, что прежде существование музыкальных инструментов в Центральной Азии документировалось для времени не ранее I тыс. до н. э. (*Karomatov и др.*, 1987, с. 8; *Meshkeris,* 1996, с. 85; *Eichmann*, 2001, с. 473). В действительности музыкальные трубы, изготовленные из бронзы, серебра и даже глины, уже давно известны по раскопкам Гонура и других среднеазиатских памятников (*Sarianidi,* 2002, с. 235–239; *Lawergren,* 2003). В. И. Сарианиди приводит описание каменного посоха с медным навершием из той же «Гробницы ягненка» (18/1994) в Гонуре (*Sarianidi,* 1996, с. 33, 36): «Внутри навершия лежали мелкие камешки, что делает предмет некоей разновидностью трещотки», так что, по крайней мере, в Бактрии и Маргиане предлагаемый тезис об отсутствии свидетельств по истории музыки нуждается в пересмотре. В то время как взаимосвязь изображения на гонурской булавке, интерпретируемого как образ женщины, играющей на арфе, с месопотамскими образцами с участием музыкантов представляется совершенно очевидной, хотелось бы привлечь внимание к еще одной, на первый взгляд, незначительной детали. Это маленький квадратный предмет, который можно видеть в левой руке или под рукой арфистки. Казалось бы, он не имеет никакого значения, но необходимо заметить, что арфы на фрагменте каменного сосуда из Адаба–Бишмайи и плакетке из Эшнунны – Телля Асмар (рис. 3: *3*) отличаются от шумерских арф по форме, как отличается и способ игры на них – с помощью плектра (*Rashid,* 1984, с. 88; см. также более ранние работы). По стилю и манере украшения белыми известняковыми вставками каменный сосуд (рис. 3: *6*) определенно связан с традицией БМАК, в то время как изображение на глиняной плакетке из Эшнунны рассматривается в качестве примера возможного влияния цивилизации долины Инда (*Rashid,* 1984, с. 88). Недавно П. Стейнкеллер (*Steinkeller*, 2007, с. 7–10) предположил, что, вероятно, именно арфа скрывается под названием музыкального инструмента paraḫšītu, упомянутого в текстах из Мари и связал их происхождение с юго-востоком Ирана. Во всех перечисленных случаях материалы из Бактрии и Маргианы даже не рассматриваются, возможно, в связи с якобы имеющимся отсутствием изображений музакальных инструментов, хотя сам П. Стейнкеллер ссылает-

[1] Самый северный известный пример изображения подобных церемоний – чаша из Карашамба – происходит из Армении (*Kushnareva*, 1998; *Smith*, 2001).

ся на опубликованный А.-П. Франкфором (*Frankfort,* 2003, с. 45, рис. 6а–с) «бактрийский» кубок с изображением персонажа, похожего на арфиста. Возвращаясь к предмету в левой руке персонажа на булавке из Гонура, то он может быть идентифицирован как плектр, и не исключено, что игра с применением плектра являлась отличительной особенностью бактро-маргианских музыкантов, хотя и с оговоркой, что пока для такого предположения исходные данные крайне скудны. Тем не менее, сейчас можно утверждать, что они были тесно связаны с Месопотамией, но в то же время имели свою, оригинальную манеру игры на арфе и свой, собственный путь развития. Еще одним аргументом в пользу существования специфической, «бактрийской» музыкальной традиции являются упомянутые выше трубы, которые, похоже, обязаны своим происхождением Бактрии, откуда впоследствии они распространились в Иран (*Lawergren,* 2003, с. 65–66).

Таким образом, раскопки Виктора Ивановича Сарианиди в Гонур Депе, давшие уже сейчас невероятное количество информации по истории региона в эпоху бронзы, представили также надежно документированное, древнейшее в Средней Азии изображение лучковой арфы, доказывающее, что музыкальное развитие Бактрии и Маргианы ни в чем не уступало соседним областям, в том числе Месопотамии.

В заключение мне хотелось бы вновь вернуться к обзору всего комплекса «Гробницы ягненка» (18/1994) в Гонуре в целом, на этот раз с учетом дискуссии, приведенной выше. Весь комплекс был ясно определен В. И. Сарианиди как ритуальный, хотя автор оговаривает, что «никто не может точно установить суть проводившегося ритуального действа…» (*Sarianidi,* 1996, с. 46). Вкратце: комплекс данного гонурского погребения состоит из трех помещений, в одном из которых захоронен ягненок (частично) и несколько ритуальных предметов (каменный посох, каменная колонка, наконечники стрел, изделия из слоновой кости и фаянса). В другом помещении находился набор посуды, включающий большой горшок и несколько чаш и кубков на ножках, а в третьем –лежали останки двух верблюдов, а также коз или баранов (*Sarianidi,* 1996). В связи с подобным, трехчастным делением вспоминаются месопотамские плитки из известняка, которые чаще всего находят в храмах. Обычно на них имеется три фриза: в верхнем поле изображена сцена застолья с участием пирующих и музыкантов; в среднем – люди, несущие большие сосуды (еда или напитки?) и/или жертвенных животных; в нижнем поле – повозки или лодки, т. е. транспортные средства (рис. 3: *4*). Соответственно, сходство между сюжетом, отраженным на месопотамской плитке и тем, что мы видим в Гонуре, не кажется столь отдаленным. Первый и второй отсеки гонурского комплекса символизируют пиршество (сосуды для питья, музыка) и жертвенного ягненка, а в третий отсек помещены транспортные животные – верблюды. Следовательно, в целом структура комплекса «Гробница ягненка» (18/1994) в Гонуре может интерпретироваться как выражение тех же религиозных представлений, что представлены в сюжетах месопотамских плиток. Поскольку известняковые плитки из Ирака по возрасту старше, эти религиозные представления, если только не их носители, когда-то распространились на северо-восток, в Бактрию и Маргиану, что, впрочем, неоднократно утверждал именно В. И. Сарианиди (*Сарианиди*, 1990; *Sarianidi,* 1996; *Сарианиди*, 1999; *Sarianidi,* 2000 – здесь упомянуты только несколько работ по этому вопросу).

Литература

Зайцева Г. М., Дубова Н. А., Семенцов А. А., Реймар П., Мэллори Дж., Юнгнер Х. Радиоуглеродная хронология памятника Гонур Депе // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. 2008. С. 166–179.

Сариниди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад. 1990.

Сариниди В. И. Составные статуэтки Бактрии и Маргианы // ВДИ. 1995. № 1(212). С. 75–79.

Сариниди В. И. Сиро-хеттское происхождение бактрийско-маргианской глиптики // ВДИ. 1999. № 1(228). С. 53–73.

Alexander J. A. The history of the fibula // Archaeological Theory and Practice. Essays presented to Professor William Francis Grimes. Seminar Press. L., NY., 1973. P. 217–230.

Amiet P. L´âge des échanges inter-iraniens 3500–1700 avant J.-C. Notes et documents des Musées de France 11. Éditions de la Réunion des musées nationaux. P., 1986.

Baghestani S. Metallene Compartimentsiegel aus Ost-Iran, Zentralasien und Nord-China // AIT. Bd. 1. Verlag Marie Leidorf GmbH. Rahden/Westf.,1997.

Calmeyer P. Beobachtungen an der Silbervase aus Persepolis // Iranica Antiqua. Vol. 24. 1989. P. 79–83. Pl. I–II.

Eichmann R. Musik und Migration // R. Eichmann, H. Parzinger (Eds.). Migration und Kulturtransfer. Der Wandel vorder- und zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des Internationalen Kolloquiums Berlin, 23. bis 26. November 1999. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 6. Dr. Rudolf Habelt. Bonn, 2001. P. 473–483.

Frankfort H.-P. Observations sur la toreutique de la civilisation de l´Oxus // O. Bopearachchi, M.-F. Boussac (Eds.). Afghanistan: ancien carrefour entre l'est et l'ouest Actes du colloque international au Musée archéologique Henri-Prades-Lattes du 5 au 7 mai 2003. Indicopleustoi – Archaeologies of the Indian Ocean 3: Afghanistan. Brepols. Turnhout, 2005. P. 21–63.

Girshman R. Notes Iraniennes XVI. Deux statuettes élamites du Plateau Iranien // Artibus Asiae. Vol. 30. № 2–3. 1968. P. 237–248.

Hinz W. Altiranische Funde und Forschungen. Berlin, 1969.

Karomatov F. M., Meškeris V. A., Vyzgo T. S. unter Mitarbeit von A. Häusler und A. Mal´keeva. Mittelasien // Musikgeschichte in Bildern II: Musik des Altertums, Lieferung 9. Leipzig, 1987.

Kushnareva K. Some evidence of musical instruments in Bronze Age Caucasus // E. Hickmann, I. Laufs, R. Eichmann (Eds.). Studien zur Musikarchäologie II. Musikarchäologie früher Metallzeiten/ Music archaeology of Early Metal Ages. Vorträge des 1. Symposiums der International Study Group Music Archaeology im Kloster Michaelstein, 18.-24. Mai 1998/Papers from the 1st Symposium of the International Study Group on Music archaeology at Monastery Michaelstein, 18–24 May, 1998. Orient-Archäologie 7. Rahden/Westf. 2000. P. 103–112.

Lawergren B. The beginning and end of angular harps // E. Hickmann, R. Eichmann (Eds.), Studien zur Musikarchäologie I. Saiteninstrumente im archäologischen kontext/Stringed Instruments in archaeological context. Vorträge des 8. Symposiums der Study Group on Music Archaeology (ICTM), Limassol, 26.-30. August 1996 und andere Beiträge / Papers from the 8th Symposium of the Study Group on Music Archaeology (ICTM), Limassol, 26-30 August, 1996 and other contributions. Orient-Archäologie 6. Rahden / Westf., 2000. P. 53–64.

Lawergren B. Oxus trumpets, ca. 2200–1800 BCE: Material overview, usage, societal role, and catalog // Iranica Antiqua. Vol. 38. 2003. P. 41–118.

Lawergren B. Angular harps through the ages. A causal history // A. A. Both, R. Eichmann, E. Hickmann, L.-Chr. Koch (Eds.). Studien zur Musikarchäologie VI. Herausforderungen und Ziele der Musikarchäologie/Challenges and objectives in Music Archaeology. Vorträge des 5. Symposiums der Internationalen Studiengruppe Musikarchäologie im Ethnologischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin, 19.-23. September 2006/Papers from the 5th Symposium of the International Study Group on Music archaeology at the Ethnological Museum, State Museums Berlin, 19–23 September, 2006. Orient-Archäologie 22. Rahden/Westf., 2008. P. 261–281.

Meshkeris V. Archaeological chordophones of Central Asia during the 6/5th-9th century A. D. Typology, evolution, migration // E. Hickmann, R. Eichmann (Eds.). Studien zur Musikarchäologie I. Saiteninstrumente im archäologischen kontext/Stringed Instruments in archaeological context. Vorträge des 8. Symposiums der Study Group on Music Archaeology (ICTM), Limassol, 26.-30. August 1996 und andere Beiträge /Papers from the 8th Symposium of the Study Group on Music Archaeology (ICTM), Limassol, 26–30 August, 1996 and other contributions. Orient-Archäologie 6. Rahden/Westf., 2000. P. 85–90. Plates I–VI.

Rashid S. A. Mesopotamien // Musikgeschichte in Bildern Band II: Musik des Altertums. Lieferung 2 Mesopotamien. Leipzig, 1984.

Sarianidi V. The Biblical Lamb and the funeral rites of Margiana and Bactria // Mesopotamia Vol. 31. 1996. P. 33–48.

Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrism. Athens, 1998a.

Sarianidi V. Myths of Ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets. M., 1998b.

Sarianidi V. I. The Syro-Hittite origin of Bactrian-Margiana glyptics // Ancient civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 6. № 3–4. 2000. P. 207–234.

Sarianidi V. Margush. Ancient Oriental kingdom in the Old delta of the Murghab river. Aşgabat, 2002.

Sarianidi V. I. Goňurdepe. City of Kings and Gods. Aşgabat, 2005.

Smith A. T. The limitations of doxa: Agency and subjectivity from an archaeological point of view // J. of Social Archaeology Vol. 1. № 2. 2001. P. 155–171.

Steinkeller P. New light on Marhaši and its contacts with Makkan and Babylonia // J. of Magan Studies. 1. 2007. P. 1–17.

Winkelmann S. Bemerkungen zum Grab 18 und den Silbernadeln von Gonur depe // AMIT. Vol. 30. 1998. P. 1–16.

Папахристу О. А.

ЛИТЕЙНЫЕ ФОРМЫ ИЗ МАСТЕРСКОЙ СТОЛИЧНОГО ГОНУРА
(предварительное сообщение)

Я бы хотела поздравить Виктора Ивановича Сарианиди с его юбилеем и выразить моему начальнику, другу и соотечественнику мое восхищение, признательность и благодарность за его мужественную верность своему профессиональному долгу, невзирая ни на жизненные невзгоды, ни на исторические перемены.

Мастерская по производству предметов из сплавов на основе меди столичного Гонура

Во время осеннего полевого сезона 2005 г. на северо-западном берегу древнего скусственного бассейна на столичном Гонуре археологами был затронут архитектурный комплекс (раскоп 9) из 10–12 помещений (*Дубова,* 2008). Каждая из комнат имела площадь около 20–25 м^2. По мнению В. И. Сарианиди и Н. А. Дубовой, руины, скорее всего, в прошлом являлись ремесленной мастерской по изготовлению медных и бронзовых изделий. Подчеркивается наличие в производственных комнатах множества форм для литья предметов, фрагментов от сосудов для производства металла (тигли) и фрагментов самих бронзовых изделий.

Наиболее интересные находки были сделаны в помещении 108. В его западной стене располагался большой ритуальный двухкамерный очаг. Пол перед очагом был усыпан камнями разного размера, фрагментами крупных керамических сосудов, разрушенных тиглей и глиняных литейных форм, здесь же находилась каменная наковальня (рис. 6: *3–4*). Среди этих предметов в разных местах лежали разбитые терракотовые статуэтки. Как оказалось, это три женские фигурки с четко выраженными признаками пола. Главное их отличие от ранее находимых на Гонуре женских фигурок состоит в том, что мастер, который вылепил их, преднамеренно подчеркнул не только пол, но колени и босые ноги (рис. 5: *6*). Упомянутые находки и их расположение вблизи от двухкамерного очага позволяют заключить, что в помещении происходили не только производственные работы, но и

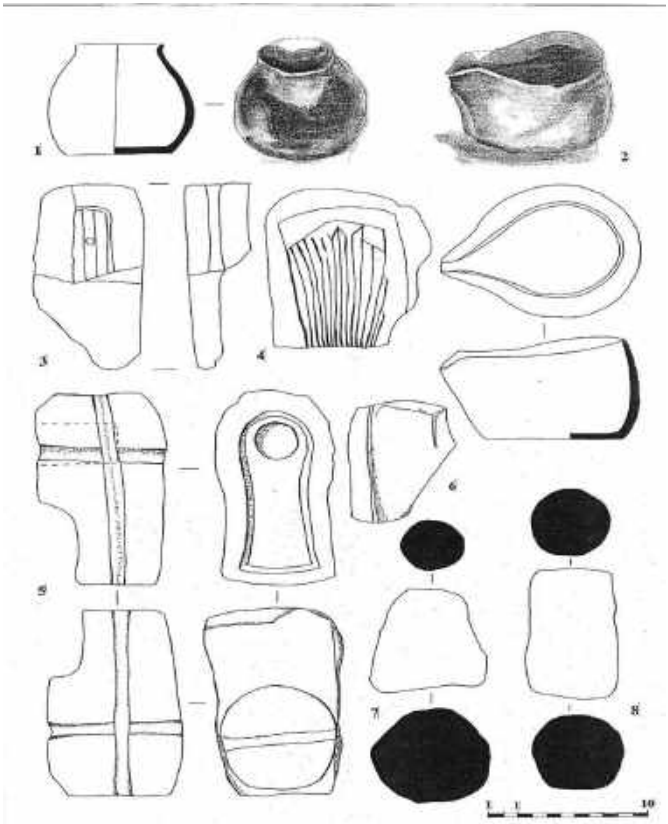


Рис. 1. Чертеж-реконструкция: вспомогательные сосуды для литья (1–2); литейные формы (3–6); рабочие детали кузнечных горнов (6–7).

осуществлялись некие религиозные ритуалы, связанные с производственными работами: предшествуя им или сопровождая их (*Сарианиди, Дубова*, 2006, с. 128–131). По словам В. И. Сарианиди (устное сообщение) мастерская может быть датирована началом II тыс. до н. э. Весной 2006 г. раскопки на объекте были продолжены автором настоящих строк.

Пользуясь случаем, я хочу выразить свою признательность и благодарность В. И. Сарианиди и Н. А. Дубовой, а также сотрудникам Министерства культуры Туркменистана за приглашение участвовать в раскопках на мастерской Гонур Депе и за их содействие в как можно наиболее полном и успешном исследовании археологических материалов.

Во время раскопок 2006 г., прежде всего, дополнительно были зачищены ранее открытые на раскопе 9 пом. 107, 108, 109, 112 и 119. К югу от этих помещений была открыты серия новых, среди которых к производственным, ориентируясь на находки фрагментов тиглей, литейных форм или металлических шлаков, могут быть отнесены пом. 111, 117, 118, 121, 122, 123, 131, 132, 126, 130, 147.

Из серии новых помещений, только пом. 111 и 122 содержат скученные фрагменты, расположенные in situ на полах, свидетельствующие о былом производстве: остатки тиглей, литейных форм, льячки, фрагменты футеровки производственных горнов, фрагменты от тигельных налетов металла с характерным слоем лессовой оплавленности, отслоенных от сосуда. В остальных помещениях обнаружено два-три фрагмента от тиглей или литейных форм в каждом. Следует оговорить, что данная часть комплекса раскопа 9, в отличие от раскопанной ранее, более сильно разрушена впускными погребальными ямами и цистами, а также более поздними керамическими печами и арыком, проходящим с юго-запада по направлению к большому бассейну.

К производственным помещениям можно отнести также помещение 114 раскопа 13, в котором на полу были обнаружены крупный тигель-льячка с остатками сплава на основе меди и два подсобных производственных сосуда (рис. 6: *2*).

Несколько маленьких обломков тиглей и фрагменты тигельных сплавов на основе меди обнаружены в архитектурном комплексе к югу от каре.

На раскопе 15, расположенном к юго-востоку от каре, внутри подквадратного культового очага, обнаружен фрагмент стенки тигля с остатками сплава на основе меди.

При обследовании старых полевых музеев, относящихся к территории к юго-востоку от каре, обнаружен фрагмент сопла от кузнечного горна.

Обследование старых полевых музеев и площадей внутри дворца, а также территорий к северу, к западу и к востоку от дворцового комплекса, не дало находок каких-либо материалов, которые могут быть связаны с тигельным производством сплавов на основе меди.

При обследовании Теменоса – «священного участка» на территории южного Гонура в старом полевом музее обнаружен фрагмент ладьевидного камня с овальной лункой в центре. Камень, как мне представляется, являет собой фрагмент чрезвычайно богатой комплексной руды (рис. 4: *7;* 7).

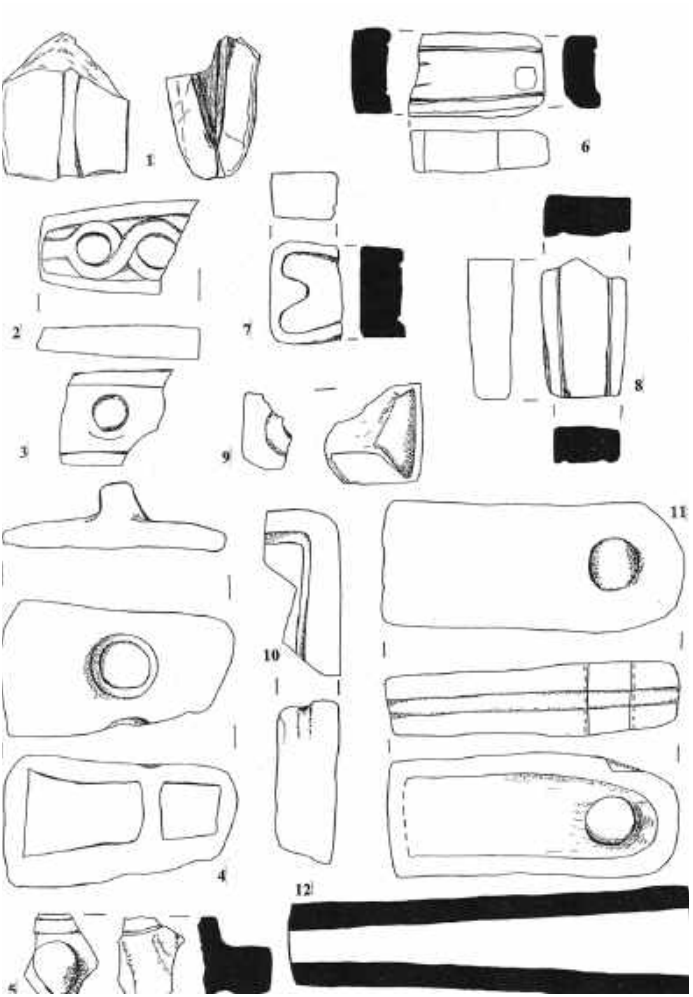


Рис. 2. Чертеж-реконструкция: литейные формы (1–11) и сопло от производственного горна (12).

Исходя из приведенного краткого обзора материалов, становится очевидным, что наиболее массовые и наиболее хорошо сохранившиеся материалы для исследования, которые могут дать разностороннюю информацию о тигельном производстве сплавов на основе меди, сконцентрированы в пределах раскопа 9.

Перечисленные ранее помещения раскопа 9, отнесенные к производственным, по мнению автора настоящих строк, изначально были построены в других целях. Позднее в них появились мастера с их инвентарем и попытались приспособиться к уже существующей архитектуре. Причем, на начальных этапах, мастерская была большой. Но, затем, в силу каких-то причин, она была сокращена и функционировали только помещения 107, 108, 109, 111, и 122, поэтому самые массовые находки in situ расположены на этих площадях. Помещение 112 было построено еще позже, так как его вырубили с пола помещения 111.

Литейные формы и подсобные конструкции для литья из производственных участков столичного Гонура

Следует подчеркнуть, что орудия труда ремесленников, достаточно редкие находки в археологии. Вместе с тем, древний ремесленник остается призрачной фигурой до тех пор, пока реальные орудия труда его производства и его профессии не будут исследованы. Такие орудия труда или инструменты: тигли (сосуды для плавки или расплавления сплавов на основе меди) и формы для литья изделий, – как раз и были обнаружены в мастерской (раскоп 9) на поселении Гонур-депе в Туркмении, членами Маргианской археологической экспедиции под руководством В. И. Сарианиди.

Археологический комплекс из Гонура сам по себе уникален, а также интересен тем, что впервые получен массовый и достаточно хорошо сохранившийся материал, который позволяет реконструировать полные формы, как тиглей, так и артефактов для отливки предметов из сплавов на основе меди для периода эпохи бронзы в Средней Азии и в Азии в целом. Поскольку, эти материалы по археометаллургии еще требуют специального исследования методами исторических и технических дисциплин, здесь предлагается предварительное сообщение. Основное внимание автора будет сосредоточено на анализе только одной категории орудий труда древних металлистов Гонура – литейных форм. Это – второе предварительное сообщение. Первое было посвящено анализу тиглей (*Папахристу*, 2008). Автор данных строк не ставил перед собой цель в предлагаемой статье провести глубокий анализ типов литейных форм, поскольку в археологической литературе такие формы достаточная редкость. Существуют считанные статьи, которые затрагивают этот вопрос в целом (к примеру, *Davey*, 1977; 1983, p. 169–185). То же самое относится и к публикациям, в которых представлены фрагменты из многих памятников, демонстрирующие состояние техники литья в определенном регионе (к примеру, *Kavtaradze,* 1999, fig. 5–6). Основная цель автора в настоящий момент – ввести материал в научный оборот.

Конкретизируем общее понятие для литейных форм и литья сплавов на основе меди. Литейная форма – приспособление для придания расплавленному металлу определенной формы при затвердевании. Литейные формы могут изготавливаться из камня, глины или металла, температура плавления которого выше, чем у сплава, предназначенного для обработки. Простейший вид литейных форм – одночастный или открытый, изделие в такой форме получается с одной плоской поверхностью и требует дополнительной ковки для придания симметричности. Двухчастные формы позволяют отливать готовые изделия. Третий элемент в двухчастных формах – сердечник, который добавляется в том случае, если нужно сделать отверстие в отливаемом предмете. Установлено, что эти технические новшества были освоены в конце раннебронзового века. Многочастные литейные формы в древности не применялись, предпочтение отдавалось методу выплавляемой модели. Техника отливки металлических изделий по выплавляемой модели особенно эффективна при отливке предметов, форму для которых сделать трудно. Предмет моделируется в воске, обычно на глиняной основе для экономии металла, затем заключается в глиняную оболочку и обжигается. В оболочке оставляют отверстие – литник, для вытекания расплавленного воска. Через то же отверстие заливается жидкий металл, который заполняет оставшуюся полость. Когда металл остывает, терракотовую оболочку разбивают и достают металлическую отливку – точную копию восковой фигуры (*Tylecote,* 1962, p. 110; *Coghlan,* 1968, p. 73). Описание раннего индийского литья и наблюдения этнографического литья, приводят к выводу, что литейные формы делаются посредством большого

количества стадий. Прекрасная жидкая глина первоначально накладывалась на восковую модель и затем ее покрывали вторым слоем превосходного качества глины добавочно. В заключение добавляли третий слой грубой глины, который усиливал прочность и предохранял литейную форму (*Krishnan,* 1976, p. 4, 13–15; *Davey*, 1983, p. 175–183). Аналогичный процесс описан и для литья по утрачиваемой модели в Египте классического периода (*Lucas*, 1962, p. 221; *Davey,* 1983, p. 175- 178). Известно также литье в песчаную или песочную форму, но использование последней техники в древности спорно, так как нет археологических свидетельств о существовании таких литейных форм (суть вопроса см: *Davey,* 1983, p. 178–180, 183; *Ottaway*, 2003, p. 343–344). Предполагается существование металлических литейных форм (*Ottaway,* 2003, p. 343–344).

Медь – один из первых металлов, применявшихся человеком, предположительно потому, что медь, как и золото, встречается в природе в чистом виде и не требует плавки. Позже, медь извлекали из различных руд, карбонатных (малахит), оксидных и сульфидных. Простой ковкой можно было придать форму меди и попутно увеличить твердость изделия. Но, довольно скоро, были реализованы возможности техники литья. Первоначально мастера использовали открытые формы, так как в закрытой трудно получить отливку без дефекта (наиболее частый дефект – растрескивание).

Следующий этап в освоении сплавов на основе меди – появление бронзы. Наиболее конкретное понятие *бронза* – сплав меди и олова, оптимальное соотношение которых составляет 9 : 1. Бронза имеет много преимуществ по сравнению с чистой медью: 1) более низкая температура плавления; 2) высокая твердость; 3) меньшая вероятность появления трещин при литье. Основное неудобство – сравнительная редкость олова. В Евразии бронза в качестве основного материала для инструментов и оружия следовала за чистой медью, знаменуя наступление бронзового века. Формовка изделий из бронзы и природно-легированной меди производилась тремя основными способами – отливкой в одночастной или двухчастной форме, отливкой по методу выплавляемой модели и ковкой с продолжающимся прокаливанием (во избежание хрупкости). Работа с листовым металлом требовала третьего метода. Отдельные листы или детали предметов часто соединялись заклепками.

Рассмотрим находки литейных форм и их фрагментов, которые могут дать полные или близкие к полным формы по помещениям раскопа 9.

П о м е щ е н и е 107

1. Литейная форма, которая могла быть предназначена для отливки довольно крупного предмета: сельскохозяйственного орудия труда типа тяпки (форма современной теши) или, возможно, топорика (оружие). Фрагмент очень маленький и на рисунках не указан.

Литейная форма была крупной. Изготовлена из жаростойкой глины. Черепок очень рыхлый с примесью шамота, мелко рубленой соломы (злак) и белых гипсовых включений. Форма была двухстворчатой. Толщина описываемой створки 5,6 см. Примерная ширина рабочей части отливаемого орудия 6 см.

По периметру с внешней стороны створки проходит желобок-канал шириной 1–1,4 см и глубиной 0,5 см. Желобок расположен в центре створки. Он служил для крепления створки от поломки в период заливки металла. На внешней стороне донца сохранилось начало (след) еще одного, вертикально расположенного желобка, который служил для крепления двух створок.

Во внутренней части тела створки наблюдается характерная прожженность до черного цвета. В месте рельефа для отливки предмета такой прожженности нет. Отмечается лишь хорошая заглаженность поверхностей и следы песка.

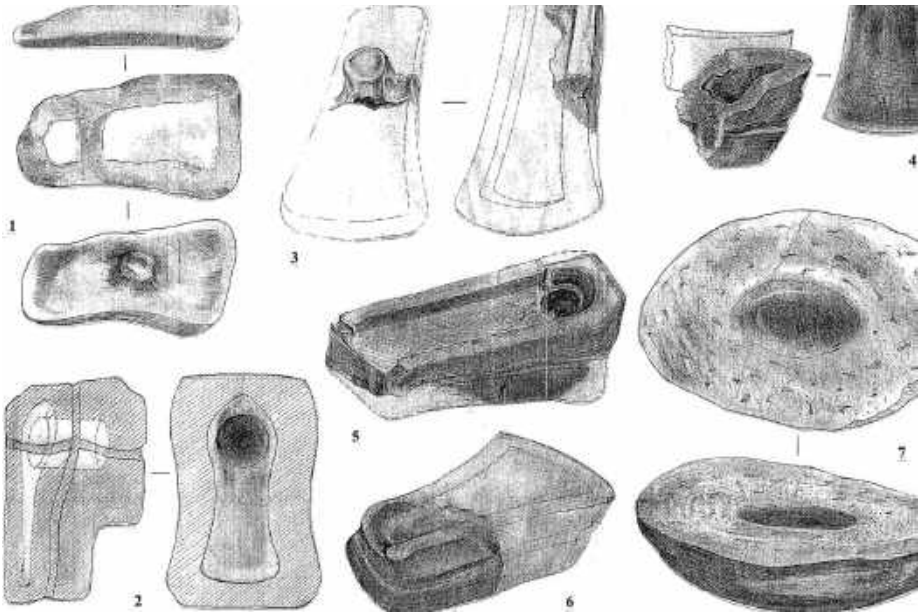


Рис. 4. Идеализированные рисунки-реконструкции: литейные формы (1-6); терка из богатой медью руды (7) (Рисунки выполнены художником Мередом Рзаковым).

2. Фрагмент составной глиняной литейной формы для сложного по конструкции (форме) орудия труда или оружия (рис. 2: *1*; 3 [см. цветную вклейку]: *4, 7;* 4: *4*).

Форма изготовлена из жаростойкой глины. Черепок рыхлый, в тесте примесь мелко рубленой соломы, белых гипсовых включений и древесного угля. Возможно, литейная форма была трехстворчатой. Предположительно она служила для отливки топорика. Аналогичные по форме отливочные конструкции были встречены в помещении 111 в юго-восточной части между подпрямоугольным горном и мусорной ямой вместе с фрагментом топорика из сплава на основе меди.

Следующий аналогичный фрагмент найден в помещении 126. Ширина описываемой створки 8,4 см. Толщина стенок 2–6 см. Глубина рабочей части орудия, которое отливали, – 4 см.

С внешней стороны по ширине литейной формы, в ее центре, проходит желобок для крепления. Ширина желобка-канальца 1 см. Создается впечатление, что отмечаемый желобок литейной формы служил гарантией для неразрушения именно этой конкретной створки. Желобка по периметру, который мог быть для скрепления со второй створкой, нет. Таким образом, составным мог быть сам предмет, а не форма для его отливки.

Литник – канал для заливки металла, длиной 2,0 см, шириной 0,5 см. Один край отливаемого орудия-предмета был острый, другой – тупой, жесткий. В месте заливки металла образовался керамический, терракотовый слой от высокой температуры расплавленного металла.

Внутри тела литейной формы наблюдается характерная прожженность до черного цвета. Створка изготовлена из специальной жаростойкой глины. Черепок рыхлый. Тесто с примесью шамота, мелко рубленых стебля и колоска какого-то злака, а также белых гипсовых включений.

Фрагмент литейной формы для формирования отверстия в теле топора обнаружен Е. Шмидтом на Гиссаре (раскопки 1931–1932 гг.), его же приводит В. Пиготт в более свежей публикации (см.: *Schmidt,* 1937; ***Pigott,*** 1999, fig. 4:*7d*).

3. Створка литейной глиняной формы для отливки сельскохозяйственного орудия труда типа тяпки (рис. 2: *11*; 3 [см. цветную вклейку]: *9*; 4: *5*).

Размеры формы: общая длина примерно 19 см; примерная ширина в месте рабочей части – 8 см; ширина тыльной части 7–8 см; глубина рельефа 1–1,2 см. Внутри в месте участка оформления тыльной части орудия труда наблюдается сквозное отверстие диаметром 3 см. Толщина стенок 4–5 см. С внешней стороны, по периметру стенок створки, примерно в середине, расположен желобок-канальце шириной 1 см и глубиной 0,5 см. Данный канал скорее служил для крепления или страховки самой створки, а не для скрепления его со второй створкой.

Вторая створка, предположительно, должна была иметь штырь, который входил в отверстие ранее описанной створки. Но возможен вариант, когда вторая створка также имела отверстие и, таким образом, отверстие в металлическом отливаемом предмете формовали с помощью дополнительного керамического или каменного сердечника, который вставляли в обе створки. Сердечник, к тому же, мог служить дополнительным креплением обеих створок двухчастной литейной формы. Отверстие для заливки металла (литник), находилось в месте расположения рабочей части отливаемого изделия (предположительно).

Размеры отливаемого предмета: длина 15,5–15,6 см; ширина рабочей части 5 см; ширина тыльной части 4 см; отверстие 3 см.

На внешней стенке створки наблюдаются два вертикальных канальца для соединения посредством какого-либо жгута обеих створок литейной формы.

Описываемая створка литейной глиняной формы изготовлена из специальной жаростойкой глины. Черепок рыхлый. Тесто с примесью шамота, мелко рубленых стеблей и колосков какого-то злакового растения, а также белых, гипсовых включений. Внешние стороны обмазаны дополнительным лессовым слоем. Во внутреннем теле створки характерная прожженность. На внешней поверхности прожженности не наблюдается. Предположительно, существовал какой-то изолирующий слой (жир, масло и т. д.), который сохранял поверхность от прожженности. Вместе с тем, на данной литейной форме и других отмечаются следы от песка. Таким образом, рельефную поверхность литейных форм, по-видимому, покрывали слоем жира и песка. Благодаря этой прослойке сохранялась сама литейная форма во время ее заполнения горячим металлом, кроме того, отлитое изделие легко вынималось из формы.

В месте отверстия от высоких температур образовался 0,2–0,3 см терракотовый слой.

4. Фрагмент массивной двухстворчатой литейной глиняной формы для отливки сельскохозяйственного орудия труда типа теши-тяпки. По форме створка в виде «сапожка», объемная с тупиковым отверстием (рис. 1: *5*; 3 [см. цветную вклейку]: *5*, *8*; 4: *2*).

Размеры створки: длина 14 см, ширина в месте тыльной части изделия 8 см, ширина рабочей части изделия – 9 см. Высота «сапожка» – 9,5 см, высота стенки створки 6,5 см. С внешней стороны по периметру стенок наблюдается желобок-канальце для крепления-страховки створки от возможного полома в период заливания расплавленного металла. На верхнем овале «сапожка» (размеры: 8 × 7,5 см) хорошо прослеживается вертикальный желобок-канальце для крепления обеих створок. Канальцы традиционно шириной около 1 см, глубина 0,5 см. Отверстие в створке не сквозное. Его диаметр – 3,4 см, глубина от рабочей части 4,0 см, общая глубина 5,5 см. Глубина рельефа 1–1,5 см.

Створка литейной формы изготовлена из жаростойкой глины. Черепок рыхлый с примесью шамота, мелко рубленых стеблей и колосков (много шелухи) какого-то злака и белых гипсовых включений. Внутри тела створки отмечается характерная прожженность до черного цвета. В месте отливки предмета такой сильной прожженности не наблюдается. На стенках и поверхности в месте отливки предмета отмечается лессовая, гладкая прослойка и следы песка.

В месте за отверстием, форма утрачена. Сохранился лишь небольшой участок. Вполне вероятно, что в данной части предмет мог иметь дополнительный отросток, который в рельефе был ниже, а на готовом предмете выше рабочей части. Предположительно, залив металла в форму производился со стороны рабочей части будущего изделия.

Размеры отливаемого орудия: длина рабочей части от отверстия 7,5 см. Ширина рабочей части изделия 5 см. Наиболее узкая ширина 4 см. Ширина в месте расположения отверстия 4,5 см. Отверстие для ручки – 3,5 см. Глубина рельефа – приблизительная толщина изделия 1,5 см. Стенки формы были окрашены в красный цвет.

На Дашлы 3 в Афганистане В. И. Сарианиди была обнаружена литейная форма для отливки топоров, приблизительно похожая на данную, также как на описанную ранее (№ 3) (*Сарианиди*, 1977, рис. 32).

5. Фрагмент слива от льячки. Ширина слива 0,7–1 см. Сосуд был изготовлен из сырой глины, черепок плотный. Тесто с примесью шамота и песка. Черепок в изломе коричнево-серого цвета. Внешняя поверхность покрыта специальным слоем лессовой обмазки. На льячке нет следов от металла, но тело сосуда прожжено, что читается в срезе черепка. На внутренней поверхности сосуда отмечаются следы песка. Очевидно, аналогично литейным формам, льячка изнутри была чем-то смазана и покрыта песком.

Помещение 108

1. Фрагмент утрачиваемой литейной формы для изготовления металлического навершия жезла (посоха) (рис. 1: *4*; 4: *1*; 5: *3*). В погребении № 500 на некрополе Гонура был обнаружен «посох» с аналогичным по форме навершием из свинца в виде расширяющегося вверх рельефного конуса. Размеры этого рельефного конуса по фрагменту нашей литейной формы: высота – 10 см; диаметр нижней части (основания) – 5 см. Отверстие в металлическом навершии предположительно было 3–4 см в диаметре. Глубина рифления 0,5 см (*Сарианиди*, 2001, с. 68, рис. 35а; *Sarianidi,* 2007, fig. 187, 188).

Утрачиваемая литейная форма сделана из глины с примесью шамота и белых гипсовых включений. Примерно двухсантиметровый слой от горячего металла был прокален до состояния керамики с рыхлым черепком. Отпечаток рифления (остатки воска?), прожжен до черного цвета.

5. шесть фрагментов от утрачиваемой литейной формы с ручкой. Они обнаружены у южной стены двухкамерного культового очага.

Литейная форма изготовлена от руки из огнеупорной глины. Черепок очень рыхлый с обильной примесью органических включений. Представляется, что использовали мелко рубленую солому. Огнеупорный материал литейных форм совершенно идентичен огнеупорному материалу тиглей. Следует отметить, что в тесто тиглей была добавлена в качестве примеси шелуха злакового растения (от каких-то зерновых).

В наборе фрагментов рассматриваемой литейной формы присутствует массивная широкая подквадратная ручка, напоминающая ручки жаровни. Длина ручки 5 см, ширина 4,8–5 см. Толщина 1,5–2 см. Ручка слегка изогнута. Следующие пять фрагментов принадлежат самой форме, в которой отливали предмет из сплавов на основе меди. Конфи-

гурация неутраченных фрагментов позволяет предполагать, что форма предназначалась для отливки топорика сложной конструкции. Литейная форма была утрачиваемой, т. е. не одностворчатой или двухстворчатой. Ее форму приготавливали по модели (возможно используя металлический образец, а, скорее всего, восковую модель).

До настоящего времени предполагалось, что восковые модели чаще всего использовались для производства печатей. Использование восковой модели для производства такого предмета как топорик (обычный или фигурный) не предполагалось. Горячий металл заливали в отверстие-литник утрачиваемой глиняной литейной формы, из которой предварительно при легком подогреве через тот же литник удаляли воск. После остывания металла и формования предмета глиняную форму разбивали. Фрагменты от такой разбитой, одноразового использования литейной формы и присутствуют в данном случае.

Следует отметить несколько моментов: а) на ручке присутствуют прочерченные знаки, которые перекрыты дополнительным слоем глины. Создается впечатление, что ручку использовали неоднократно для других утрачиваемых моделей – литейных форм, приделывая к данному типу ручки или, как в нашем случае, к описанной ручке новую утрачиваемую модель. Ручка служила для манипулирования литейной формой в момент ее заполнения горячим металлом (техника безопасности); б) толщина стенок фигурных частей утрачиваемых литейных форм небольшая – 1–1,2 см. Следов прожженности глины не наблюдается; в) в то же время, на ручке и более толстостенных фрагментах отмечается прожженность до черного цвета в середине глиняной формы, в ее теле. На внутренней и внешней поверхностях такой прожженности нет.

6. Фрагмент двухстворчатой литейной формы, для отливки какого-то металлического предмета с ручкой (рис. 1: *3*). Приблизительная реконструкция с учетом изделий, обнаруженных в материалах некрополя Гонура, показана на рис. 5: *2*. Ширина конструкции 7–7,5 см. Толщина стенок 4–4,5 см. По периметру стенки с внешней стороны наблюдается желобок-канальце (шириной 0,8 см), для страховки створки от разрушения в период заливки металла. Черепок изделия рыхлый с примесью шамота и мелко рубленой соломы злака.

7. Наковальня. Использован камень черного цвета, очень плотный и мелкозернистый по фактуре. Сохранившаяся рабочая часть 26 × 25 см (наибольшие длина и ширина). Высота – 22 см. С одной стороны наблюдается стеночка шириной 5 см и высотой 4 см. На поверхности многочисленные следы характерной сохранности (сбоев) и следы от медибронзы. Наковальня обнаружена в юго-западной части помещения у прохода (рис. 6: *3-4*).

Помещение 109

1. Двухстворчатая литейная форма для какого-то орудия труда или оружия (предположительно, для отливки копья). Фрагменты маленькие и на рисунках не указаны. Литейная форма для отливки копья известна в материалах из поселения Кангурттут в Юго-Западном Таджикистане (*Виноградова,* 2004, рис. 27: *2*).

Литейная форма из помещения 109 изготовлена из жаростойкой глины. Черепок рыхлый, тесто с обильной примесью шамота, мелко рубленой соломы и шелухи какого-то злака. Толщина одной из створок 4–4,6 см, другой 2–2,4 см. С внешней стороны хорошо прослеживается желобок для скрепления половин формы. Ширина желобка – 1 см. Половины скрепляли каким-то «шпагатом», приготовленном из кожи или кишок животного. На одном из фрагментов сохранился королек от сплава на основе меди. Следует отметить, что с внешней и внутренней сторон не наблюдается такой сильной прожженности литейной формы как внутри черепка, где тесто – тело изделия имеет черный цвет.

Помещение 111

1. Фрагмент от двухстворчатой литейной формы, предположительно для литья топорика (аналогичный, найденному в помещение 107) . Толщина створок 4 см. Характерная прожженность внутреннего тела черепка. Тесто с примесью шамота, белых включений и мелко рубленой соломы от злака. Форма, предположительно, предназначалась для литья топорика. Рядом с литейной формой находилось каменное ядрышко диаметром 4 см.

2. Керамическая глиняная литейная форма для отливки сельскохозяйственного орудия труда (рис. 2: *6*). Описываемая створка состоит из двух фрагментов. Небольшая часть между ними утрачена. Приблизительная длина створки 13 см; ширина левой части 6,6 см; правой – 4,4 см. Толщина от 2,5 до 3,5 см. На одной из боковых стенок два желобка – канальца для скрепления со второй створкой. Таким образом, литейная форма была двухстворчатой. Ширина желобков 0,2–0,3 см.

Черепок литейной формы жаростойкий, достаточно плотный. Тесто с примесью дресвы, мелко рубленой соломы и, похоже, шелухи какого-то злакового растения, а также белых гипсовых включений. Одна из стенок была выкрашена в красный цвет (левая стенка). На другой, в суженной части, два красных пятна. Во внутреннем теле литейной формы нет характерной черной прожженности.

3. Предположительно фрагмент другой части (створки) от единой створки двухстворчатой литейной формы. Боковые стороны фрагмента покрыты красной краской. Тесто аналогично предыдущему фрагменту (рис. 2: *7*; 3 [см. цветную вклейку]: *3*, *6*).

4. Фрагмент глиняной литейной формы. Предположительно, вторая створка от единой двухстворчатой литейной формы (вторая створка от створки, описанной под № 2) (рис. 2: *8*). Размеры створки: сохранившаяся длина 9 см; ширина рабочей части предмета 3 см; толщина стенок 2,5–3 см. Одна из сторон была окрашена в красный цвет (левая часть). Черепок жаростойкий, тесто с примесью шамота, мелкорубленой соломы и шелухи злака, а также наблюдаются белые включения.

5. Фрагмент глиняной литейной формы, возможно, для деталей фигурного топорика (или очень маленького топорика). Вторая деталь от данной формы, как будто для отливки втулки оружия или орудия труда (рис. 2: *9*). Литейная форма очень фрагментарна. Частично сохранился только верхний формирующий орудие рельефный слой. Литейная форма была изготовлена из жаростойкой глины. Тесто с примесью шамота и мелко рубленой соломы злака. Внутреннее тело формы с характерной черной прожженностью. Рабочая часть литейной формы покрыта тонким слоем лессовой глины и прекрасно заглажена. Но, возможно, это результат действия расплавленного металла (скорее, и то, и другое). На рис. 5: *5*, представлена другая возможная трактовка данной литейной формы.

6. Створка литейной глиняной формы в виде крышки (рис. 2: *4*; 3 [см. цветную вклейку]: *2*; 4: *1*). Изделие подтрапецевидной формы с округлой ручкой-наростом. Длина изделия 14,5 см, ширина одного края 8,5 см, другого – 6 см. Диаметр ручки 3 см, высота 2 см. Толщина тела изделия 1,5 см. Черепок жаростойкий, плотный от частого использования в производственных целях. Тесто с примесью шамота, мелко рубленой соломы, шелухи какого-то злака и белых включений. Представляется, что данный тип створки от двухстворчатой глиняной литейной форма был многоразового использования, в то время как объемная часть, видимо, ломалась при литье предметов.

7. Фрагмент объемной створки от глиняной литейной формы для отливки сельскохозяйственного инструмента или оружия (типа топорика) (рис. 2: *10*). Сохранившаяся длина изделия 10 см. Толщина стенки створки 4 см. Предположительная реконструкция

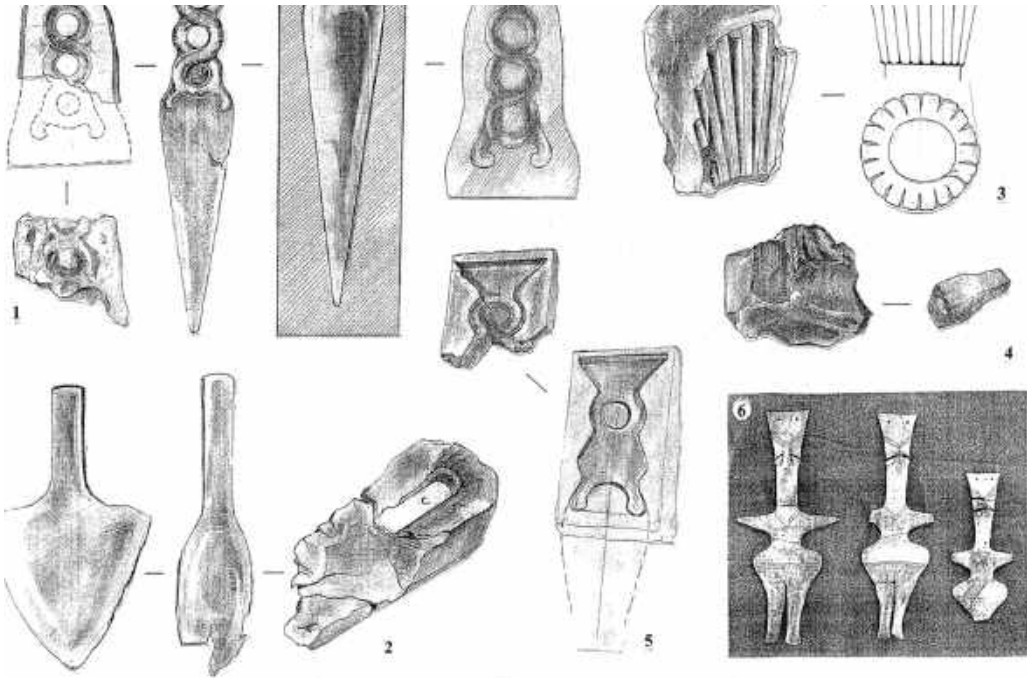


Рис. 5. Идеализированные рисунки-реконструкции: литейные формы и их сопоставление с металлическими археологическими артефактами из могил Некрополя столичного Гонура (1–5); терракотовые фигурки из помещения 108 мастерской для производства изделий из сплавов на основе меди (6).
(Рисунки выполнены художником Мередом Рзаковым).

показана на рис. 4: *6*. Очень похожая литейная форма была обнаружена на поселении Арисман 1, расположенного у Кашан на западе Центрального Ирана в слоях Сиалк IV (конец IV – первая половина III тыс. до н. э.) (*Chegini at al.*, 2000, fig. 20).

Литейная форма изготовлена из жаростойкой глины. Черепок рыхлый, тесто с примесью шамота, мелко рубленой соломы, шелухи какого-то злакового растения, а также белых гипсовых включений. Поверхность рельефа дополнительно обмазана лессовой промазкой. На внешних стенках формы следы краской краски. Во внутреннем теле формы наблюдается характерная прожженность до черного цвета. На рельефной поверхности формы прожженности нет.

8. Фрагмент стенки и ручки-отростка от литейной глиняной формы (рис. 2: *5*). Створка изготовлена из жаростойкой глины. Черепок рыхлый. Тесто с примесью шамота, мелко рубленой соломы, шелухи какого-то злакового растения. Длина ручки 3 см, диаметр 3,5 см. Внутренняя поверхность рельефа затерта лессовой обмазкой. Во внутреннем теле характерная прожженность до черного цвета. На рис. 4: *3* представлена возможная интерпретация последних двух фрагментов.

9. Плохой сохранности фрагмент двустворчатой керамической глиняной литейной формы (рис. 2: *3*). Сохранившаяся длина – 6 см, ширина – 6 см, толщина 1,5–2 см.

Черепок жаростойкий, довольно плотный (терракотовый). Тесто с примесью шамота и шелухи какого-то злакового растения. Ширина изделия – от 4 до 5,6 см. Орнаментальный пояс шириной 3,5-4 см в виде выпуклых и вогнутых кругов или восьмерки.

Помещение 121

В юго-западном углу помещения обнаружен фрагмент от крупной двухстворчатой глиняной литейной формы. Черепок жаростойкий с обильной примесью соломы и белых включений. Толщина стенки 5,6 см. Внутреннее тело формы почти полностью прожжено до черного цвета. Форма не реконструируется.

Помещения 131 и 132

Фрагмент каменной литейной формы. При анализе материалов по производству сплавов на основе меди из раскопа 9 отмечаются в основном фрагменты от утраченных моделей из глины и двухстворчатые глиняные литейные формы. Удивляет отсутствие каменных литейных форм, особенно если учесть столь большое количество находок бронзовых ювелирных украшений. В помещении 131 встречен фрагмент от камня, который мог являться такой каменной одностворчатой литейной формой. Камень черного цвета, имеет очень хорошо заглаженную поверхность. На внешней поверхности отмечены следы насечек и участки со следами меди. От рельефа литейной формы сохранилось только завершение луча. Скорее всего, форма служила для отливок ювелирных украшений (рис. 8, см. цветную вклейку).

Раскоп 13. Помещение 114

1. Фрагмент крупной толстостенной льячки-тигля (рис. 5: *2с*) для заливки большой порции металла в литейную форму (производство крупных орудий труда или оружия типа топоров, но может быть зеркал). Сохранившийся диаметр – 16–15 см. Дно – ладьевидно-округлое, ширина с внутренней стороны 11 см. С одной из сторон слив, шириной 2–1 см.

Сосуд изготовлен от руки явно по шаблону, из жаростойкой глины. Черепок рыхлый. Тесто с примесью шамота, мелко рубленой соломы, шелухи какого-то злакового растения и белых гипсовых включений. Толщина стенок 2,5 см. Стенки льячки имеют характерную для литейных форм Гонур-депе прожженность внутреннего тела до черного цвета. В сосуде сохранились остатки сплава на основе меди в виде силикатного шлака и корольков. Форма сосуда такова, что складывается впечатление о том, что слив был явно приподнят в период заливания металла в эту форму (рис. 6: *2с*).

2. В комплексе вместе с льячкой-тиглем на полу у северной стены помещения, находилось еще два сосуда. Оба изготовлены от руки. Первый сосуд имеет форму в виде льячки (рис. 1: *2*; 6: *2б*). Он сохранился полностью. Дно сосуда плоское, диаметром 10 × 9 см. Формовано от руки на какой-то плоскости (камень и т. п.). Основа стенок сосуда вытянута из круга глины, из которого сформовано дно. Эта часть сосуда имеет как бы рифление от лишней площади горизонтального круга, перетянутого в вертикальное положение. К данной сформованой части сосуда выше добавлена еще одна глиняная лента для формовки венчика и слива. Толщина стенок сосуда 0,5 см. Высота сосуда 8,5–9 см. Диаметр венчика 13 × 8,5 см. Черепок плотный, обожженный, в изломе розового цвета. Тесто с обильной примесью шамота. С внутренней стороны следов от металла нет.

Второй сосуд в виде миниатюрного горшка (рис. 1: *1*; 6: *2а*). Тело шаровидное, суженное к венчику. Горлышко невысокое, хорошо выраженное. Венчик заострен и слегка выгнут наружу. Донце плоское. Сосуд, скорее всего, формован с помощью шаблона. Донце было приделано позже с помощью глиняной лепешки изнутри сосуда. Возможно это – следы ремонта. Высота сосуда 8 см. Диаметр устья 5,6 см, диаметр донца 6,4 см. Чере-

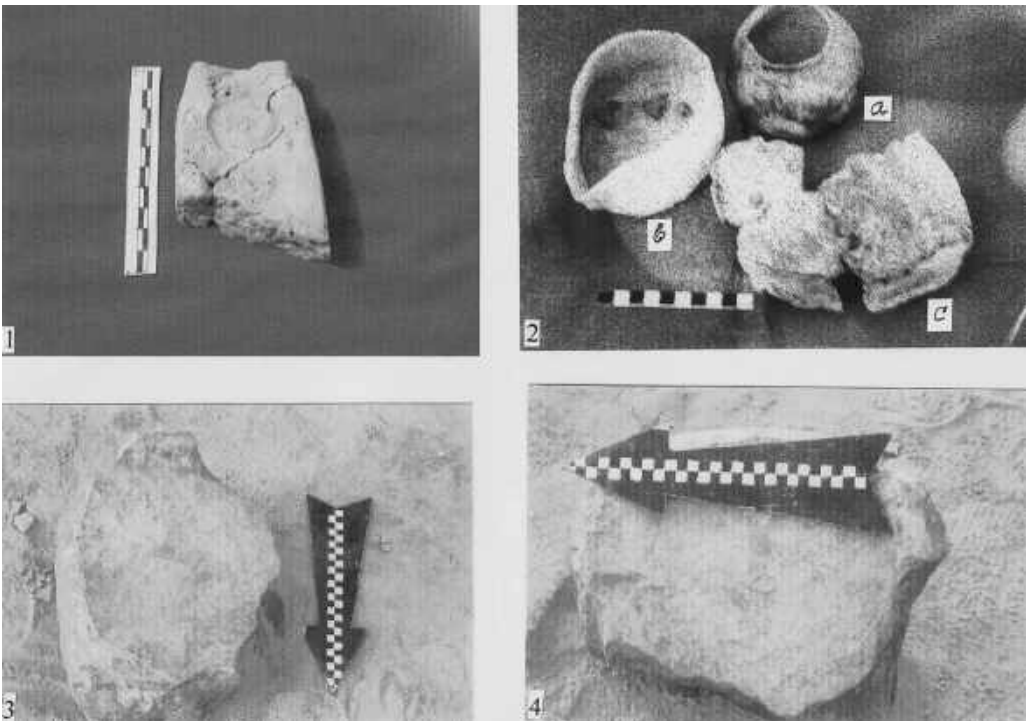


Рис. 6. Литейная форма (1), вспомогательные сосуды для литья (2:α, b) и льячка-тигель из помещения 114 раскопа 13 (2:c); каменная наковальня из помещения 108 раскопа 9 (3–4).

пок плотный, в изломе красноватого цвета. Толщина стенок 0,3–0,5 см, у донца – 0,7 см. Тесто с обильной примесью песка и шамота. Внешняя поверхность закопчена включая закраину венчика. На донце следов закопченности нет.

Материал из старых отвалов

1. Фрагмент керамической одностворчатой литейной формы для литья какого-то украшения или ручки предмета. Более всего и по размерам и по орнаменту подходит к типу литейной формы обнаруженной в помещение 111 раскопа 9 (описан под № 9) и может быть интерпретирован как литейная форма для ручки ножа, аналогичного по форме тому, который был обнаружен в погребении 1922 в некрополе Гонура (рис. 2: *2*; 5: *1*; 6: *1*; см.: *Sarianidi*, 2007, fig. 75).

Черепок жаростойкий, довольно плотный (терракотовый). Тесто с примесью шамота и шелухи какого-то злакового растения. Ширина изделия от 4 до 5,6 см. Литник с левой стороны. Толщина изделия 1,3–2 см. Орнаментальный пояс шириной 3,5 см в виде выпуклых и вогнутых кругов или восьмерки.

Обсуждение

Как показывает описание фрагментов литейных форм из Гонура, мастера по металлу, или мы их можем также назвать кузнецами, приготавливали их из глины с органическими включениями и включениями песка или гипса. В большинстве случаев черепок был рыхлый. Визуально трудно определить обжигали ли литейные формы перед их использованием в производстве металлических артефактов. Мы не знаем, как много раз использовали эти литейные формы в производстве. Ясно одно, что кузнецы пытались сохранить отдельные створки литейных форм, перевязывая их. Для лучшей манипуляции литейными формами в период литья, к ним (формам) приделывали ручки. В одном случае обнаружена каменная литейная форма. Предположительно, она служила для производства ювелирных украшений.

Поскольку литейные формы достаточно редки среди археологических находок, особенно для рассматриваемого нами периода, и трудны для аналитического исследования, в археометаллургии получило распространение такое направление как эксперимент. Эксперимент демонстрирует не только путь выбора, открывающего тип работы древнего мастера по металлу, но также цель реконструкции и восстановления индивидуальной стадии в продукции металла и металлических артефактов.

Еще очень мало известно о том, как кузнецы производили древние металлические артефакты. К примеру, производили их холодной или горячей ковкой, или же получали только плавкой? Были ли они отлиты в открытых или закрытых литейных формах? Из чего были сделаны литейные формы? Из глины? Из камня? Из металла? Из песка? После отливки металлические изделия охлаждали на воздухе или их опускали в воду? Каковы были влияния на понятие «технологический выбор»? Был ли высококачественным отливаемый продукт? Могли быть региональные варианты, базирующиеся на основе традиций эмпирического познания в развитии. Только когда все эти параметры будут исследованы, можно делать какие-либо выводы или заключения.

По данным экспериментов, литейные формы из песка легко изготавливаются, но отливаемое изделие получается очень пористым. Маленькая серия экспериментов с внедрением небольшого количества глины в песочные литейные формы, при отливке металлического предмета дала в результате эффективную бронзу. Сочетание песка и глины в приготовление литейных форм при отливке металла ведет к качественному остыванию металла, а сами литейные формы хорошо выдерживают температуру влитого в них горячего металла. Литейные формы, изготовленные только из глины, при отливке в одностворчатые литейные формы, дают скопление корольков на поверхности, а в много составных – утечку металла.

По данным экспериментов, бронзовые литейные формы могли быть успешно применены для производства бронзовых и медных артефактов. Но многократное использование таких форм затруднено, поскольку при экспериментах на стенках в таких формах сначала появляется налет в виде сажи, древесного угля и графита, а после десятой отливки, литейные формы теряют схему отливаемого артефакта.

По некоторым заключениям исследователей, проводящих эксперименты, песочные литейные формы не упоминаются в археологических отчетах. Присутствуют глиняные литейные формы смягченные мелко нарезанной соломой (что наблюдается и в материалах Гонура). Такие литейные формы, предположительно, обжигали при температуре 700–900 °С и использовали для литья бронзы, чтобы они могли выдержать температуру около 1200 °С самого расплавленного металла. Эксперименты показали, что такие литей-

ные формы могли использовать приблизительно в течении одного года. Эксперименты продолжаются (суть вопроса см.: *Ottaway*, 2003, p. 343–346).

Но существует и другая проблема – определить типы сплавов, которыми оперировали кузнецы, и/или какие операции проделывались кузнецами, для того, чтобы дать шанс к существованию данного типа сплава (см.: *Craddock*, 1995; *Stech,* 1999, P. 59–71; *Pigott,* 1999, p. 73–94; *Piggot*, 1999a, p. 107–120) .

Техника литья на основе технологических исследований артефактов из сплавов на основе меди из Гонура и ближайших к нему памятников в прошлом

Одним из достаточно перспективных методов исследования в археометаллургии считается металлографическое исследование. В 1990 г. Н. Н. Терехова в виде приложения к книге В. И. Сарианиди «Древности страны Маргуш» опубликовала результаты металлографического исследования предметов из древней Маргианы, среди которых присутствуют материалы и из Гонур-депе. В то время раскопки памятника только начинались, и реально были исследованы только материалы с территории Гонур Депе 1, описанного как самое крупное поселение площадью 28 га и состоящего из крепости с оборонительными башнями и неукрепленного поселения с керамическими кварталами.

Исследованная Н. Н. Тереховой коллекция металлических изделий, с помощью металлографических методов, составила 211 предметов. Объекты изучения происходили из 35 поселений, расположенных в дельте реки Мургаб. По периодизации В. И. Сарианиди, этот этап развития местной культуры эпохи бронзы в то время стратиграфически ранжировался так:

1) ранний – Келлелийский этап;

2) средний – Гонурский этап;

3) поздний – Тоголокский этап.

Интересующий нас Гонурский этап представлялся временем расцвета местной культуры эпохи бронзы. Материалы этого периода были собраны на многочисленных поселениях, которые группируются в 5 оазисах: Гонурском, Аучинском, Адамбасанском, Аджикуинском и Таипском. Каждый из этих оазисов включал несколько поселений, иногда даже свыше 10. В каждом оазисе присутствовало центральное поселение, которое по размерам значительно превосходило другие.

Металлические изделия были обнаружены на всех поселениях. В основном это мелкие орудия труда, типа шильев-проколок, лопаточковидные орудия, обломки ножевидных лезвий, отдельные инструменты, обломки сосудов, стержни с утолщением на конце, браслеты, височные привески, печати.

Лабораторному исследованию было подвергнуто 141 изделия: 116 изучены металлографически и 25 (плохой сохранности) исследованы с помощью бинокулярного микроскопа МБС – 2. Распределение находок металлических изделий по поселениям крайне неравномерное. Характерно, что на Гонур Депе обнаружено 64 металлических предмета, в то время как на десяти поселениях Адамбасанского оазиса их найдено 24.

Наиболее многочисленной категорией орудий на Гонур Депе являются шилья, проколки (17 экземпляров). Их несколько типов: 1) обоюдоострые крупные или прямоугольные в сечении; 2) обоюдоострые с разным сечением концов (крупным или прямоугольным); 3) квадратные в сечении, односторонние с упором. Наиболее длинные достигают 13,5 см, короткие – 2,5–3 см.

Как показало металлографическое исследование, технология изготовления всех изделий этой категории одинакова. Они были сформованы свободной ковкой из литой заго-

товки – прутика. Ковка велась в холодную (не выше 300 °С) с промежуточными отжигами. В заключение орудие чаще всего проковывали вхолодную (в данном случае уместно привести присутствие каменной наковальни в помещение 108 раскопа 9 на Гонуре). Почти на всех экземплярах под микроскопом хорошо прослеживается дендритная структура литой заготовки, деформированная в процессе ковочной операции – вытяжки, или протяжки и приобретающая «полосчатый» или волокнистый вид. Мелкие полиэдрические кристаллы с двойниками видны на ее фоне. Кристаллы особенно сильно изменены и как бы раздробленны у поверхности, что, по мнению Н. Н. Тереховой, свидетельствует о заключительной проковке вхолодную. Фиксация линии скольжения подтверждает это. Следы круговой ковки обнаруживаются по характерной вытянутости дендритов. Дендриты на четырехгранных экземплярах как бы сплющены у поверхности.

По заключению Н. Н. Тереховой, использованы следующие типы сплавов: 1) основным поделочным материалом рассматриваемых изделий служил сплав меди со свинцом и мышьяком. В 74% изделий концентрация свинца (0,15–3,0%) превышает нормы, допустимые при горячей обработке. Отсутствие на исследованных экземплярах следов красноломкости говорит о правильном температурном режиме их обработки. Концентрация мышьяка – 0,5–4,6%. 2) В шести случаях использована мышьяковистая медь (As – 1,0–2,6%). 3) Одно изделие отковано из чистой меди (все примеси в сотых и тысячных долях процента). 4) Два изделия имеют в своем сплаве, кроме свинца и мышьяка, примесь олова – 2,3 и 3,0%. 5) Одно изделие выпадает из общей схемы. Материалом для него послужила оловянная (7,0%) бронза с примесью свинца (2,5%) и мышьяка (0,9).

Используются два основных технических приема: ковка – 44,1% изделий; литье – 55,8%. Изделия выполненные ковкой распределяются таким образом: 26,3% приходятся на Гонур-депе; 73,7% – на остальные памятники. В то же время 60% изделий, выполненных отливкой, происходят из поселения Гонур-депе, остальные из прочих памятников.

В литейной технике выделяются два приема: отливка с последующей кузнечной доработкой (52,7% изделий) и отливка без доработки (47,3% изделий, не считая отдельных работ – очистка, шлифовка и т. д.). Первый применялся для изготовления инструментов, некоторых орудий труда, стержней с уплощением на конце, оружия, некоторых украшений. Вторым способом изготовлялись посуда, печати, отдельные украшения, возможно, зеркала.

По мнению Н. Н. Тереховой, в эпоху бронзы металлический инвентарь мургабских поселений характеризуется не только большой технологической близостью, но и общностью технико-технологических приемов с материалами из таких центров подгорной полосы Копетдага, как Алтындепе и бактрийских памятников типа Дашлы.

Анализ археологических памятников из Мургабского региона показывает, что для продукции литейной техники растет, достигая на тоголокском этапе показателей, близких алтындепинским (*Терехова,* 2001, с. 104–117), доля кузнечной продукции соответственно уменьшается. Прогрессивное развитие именно литейной техники – характерная черта металлообрабатывающего производства Южной Туркмении, фиксируемая на всех этапах, начиная с древнейших (см. также: *Терехова,* 1975). Развитие шло по линии освоения новых приемов литья в открытые формы до сложных отливок по восковой модели в неразъемные формы, литье в формы со вставным стержнем, разработки рецептуры разных сплавов, плавление металла, заливка форм, отделка отливок. Все это требовало соответствующего сырья, специализированного инструментария, оборудования и, конечно, высокого профессионализма мастеров.

Возросший спрос на металлические изделия, прочно вошедшие в быт населения, мог быть обеспечен за счет роста производительности труда, основанного на углублении спе-

циализации и дифференциации производственной деятельности. В этой связи есть все основания полагать, что литейное дело не только составляло самостоятельную отрасль, но и, в свою очередь, распадалось на ряд отдельных производств. Художественные отливки типа скульптурных наверший или перегородчатые печати со сложными замысловатыми изображениями (растительный, геометрический, зооморфный, антропоморфный орнаменты), требовали не только мастерства отливки, но и художественного вкуса и таланта при изготовлении восковых моделей. По всей видимости, их выполняли мастера-ювелиры.

Литейщик-кузнец, изготавливал такие ответственные изделия, как инструменты, оружие, некоторые орудия. Для получения качественных изделий необходимо было использовать специальные приемы в зависимости от типа сплава. Например, высоко-свинцовистые (Cu + Pb) бронзы требовали увеличения скорости заливки металла при минимально допустимой температуре, сильного перемешивания металла, не допускали деформации в горячем состоянии. Высоко-мышьяковистые (Cu + As) сплавы хорошо поддавались холодной и горячей деформации только при определенной концентрации мышьяка. Примесь свинца, в то же время, в большинстве мышьяковистых сплавов ограничивала рамки температурного режима.

Особого отношения требовали при деформации оловянные (Cu–Sn) сплавы, способы обработки которых находились в прямой зависимости от концентраций. Мастерам был известен такой специальный прием обработки отливок из высокооловянной бронзы, как длительный гомогенизирующий отжиг – нагрев и выдержка при температуре 700–750 °С в течение 24 или даже 48 часов. Возможно, гомогенизирующий отжиг сочетался с закалкой в холодной воде. В результате сплав приобретал максимально высокую пластичность, необходимую для дальнейшей холодной обработке.

Постепенно растет опыт работы с оловянными сплавами. Дефекты, характерные в изделиях из этих сплавов, отсутствуют только на Тоголокском этапе. По данным Н. Н. Тереховой, оловянные бронзы так и не вошли в практику южнотуркменской металлообработки. Однако присутствует факт увеличения количества предметов, в состав которых входит олово, и возрастание доли высокооловянных бронзовых изделий.

Так, по мнению Н. Н. Тереховой, литой полуфабрикат – пруток – был основой кузнечного производства на поселениях Мургабского оазиса. Генетически он связан с материалами памятников подгорной полосы Копетдага. Он позволяет с помощью различных операций свободной ковки легко и быстро формовать нужные изделия. Фрагмент литейной формы для отливки одного из типов подобного полуфабриката приводит В. Пиготт (1999, fig. 4: *7c*) (более подробно о разных полуфабрикатах см.: *Авилова, Терехова*, 2006, с. 14–33).

Литейная продукция больше представлена на центральных памятниках, кузнечная – на мелких поселениях (на gjcktlyb[более часты находки кузнечных инструментов – зубила, пробойники и т. д.). Литейное производство, связанное со сложным оборудованием и инструментарием, было сосредоточено в основном на крупных центральных памятниках (Гонур, Аучин, Тоголок). В сфере литейного производства по профессиям выделены: а) литейщики; в) литейщики-кузнецы; с) литейщики-ювелиры. Поселения сельской округи имели кузнечное дело. Кузнецы, жившие в них, получали от литейщиков слитки-полуфабрикаты для своего кузнечного производства (*Терехова*, 1990, с. 177–202).

Металл, собранный на обширных площадях Гонур–1, технологически исследовался также Ф. Гибертом и Д. Киллик (Гарвардский университет). На основании этих исследований авторы высказали предположение о том, что в бронзовом веке в Маргиане в основном использовали сплав меди и мышьяка. Стилистически же близкие изделия из Бакт-

рии характеризуются главным образом как оловянные бронзы. Вероятно, Маргиана была центром металлургического производства, отличающимся от Бактрии, где возник свой собственный стиль и свои особые вещи (*Гиберт, Киллик,* 1993, с. 233).

Заключение

Металлографическое исследование Н. Н. Тереховой, и дополняющая его работа Ф. Гиберта и Д. Киллик, позволили решить многие проблемы производства предметов из сплавов на основе меди как на Гонуре 1, так и на прилежащих к нему памятниках Мургабского оазиса. Но со времени этих исследований прошло более десяти лет. За это время изменилось представление о Гонуре. Согласно последней интерпретации В. И. Сарианиди в последние века Ш тыс. до н. э. вдоль многоводных протоков старой мургабской дельты на территории современной Туркмении стали вырастать новые и новые поселения прибывших с далекого запада племен земледельцев, гонимых «ксеротермическим кризисом». Первые свои поселки маргушцы возвели на окраинных частях дельты, где вскоре выросли небольшие дворцы и храмы. В северной части дельты складывается автономный ирригационный оазис, именуемый ныне Келлелийский. Параллельно с обустройством этого оазиса возводится и главный столичный город страны Маргуш, локализированный с городищем Гонур-депе (*Сарианиди,* 2005, с. 29–30). Столичный Гонур был возведен в стратегически важном месте – в замковой части реки Мургаб, откуда легче всего было распределять и контролировать подачу воды многочисленным поселениям, находившимся к северу.

Стратиграфические наблюдения и полученные радиоуглеродные даты показывают наличие трех периодов внутри единого культурного горизонта. Первый период длился со времени основания комплекса (2300–2250 гг. до н. э.) до большого пожара, разрушившего всю центральную часть кремля (1800–1700 гг. до н. э.). Второй период продолжался около 200 лет после большого пожара. Третий период (около 1600 гг. до н. э.), связан с уходом правящей верхушки Гонура, вслед за двигающейся на запад водой Мургаба, утратой городом своего столичного назначения и полным запустением поселения (*Дубова*, 2006, с. 169).

Благодаря систематическим и планомерным раскопкам столичного Гонура, прилежащих к нему участков и большого некрополя, которые вот уже много лет, невзирая на многочисленные житейские и жизненные преграды, проводит В. И. Сарианиди, накопилась многочисленная коллекция предметов из сплавов на основе меди (см.: *Сарианиди,* 1977; 2001; 2002; 2004; 2005; *Sarianidi,* 2007).

Интерес для затронутой темы представляет также появившиеся более современные исследования, как металлического инвентаря, так и самих пре-урбанистических центров, сохранивших остатки производства предметов из сплавов на основе меди. Они датированы бронзовым веком, и происходят из памятников, соседствующих со столичным Гонуром (*Vatandoust*, 1999, p. 121–140; *Терехова,* 2001, с. 104–117; *Кирчо,* 2001, с. 60–84; *Егорьков,* 2001, с. 85–103; *Виноградова,* 2004; *Širinov*, 2003; *Каниут,* 2006, с. 45–62; *Kaniuth,* 2006 и др.).

В заключение, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что археологические материалы по производству изделий из сплавов на основе меди из столичного Гонура уникальны. Они важны еще и тем, что впервые раскопана крупная мастерская. Возможно наиболее круп-

ная из всех известных в настоящее время в Средней и Центральной Азии. В ней сохранились достаточное количество орудий труда кузнецов и отходы производства сплавов на основе меди. Анализ этого материала позволяет в будущем не только более корректно определить типы сплавов, рецептурой которых владели мастера Гонура, но и установить реальные местные типы предметов и выделить другую группу предметов, тех, которые попали на Гонур и в инвентарь погребений посредством импорта или в виде даров.

Литература

Авилова Л. И., Терехова Н. Н. Стандартные слитки металла на Ближнем Востоке в эпоху металла – бронзового века // КСИА. Вып. 220. М., 2006. С. 14–33.

Виноградова Н. М. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. М., 2004.

Гиберт Ф., Киллик Д. Металлургия Маргианы бронзового века // Информационный бюллетень. МАИКЦА. Вып. 19. М., 1994. С. 217–239.

Дубова Н. А. Население Гонура до данным антропологии // Древняя Маргиана – новый центр Мировой цивилизации (Материалы Международной научной конференции, 14–16 ноября 2006 г.). Мары, 2006. С. 169–174.

Дубова Н. А. Мастерская по производству сплавов на основе меди Северного Гонура // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2 \ Сарианиди В. И., Кожин П. М., Косарев П. М., Дубова Н. А. (ред.). М., 2008. С. 94–104.

Егорьков А. Н. Особенности состава металла Алтын-депе // Особенности производства поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла. Материалы ЮТАКЭ. Вып. 5. СПБ., 2001. С. 85–103.

Каниут К. Металлургия сапаллинской культуры // O`zbekiston Madaniyati Tarixi. Nashri 35. Tashkent, 2006. C. 45–62.

Кирчо Л. Б. Металлические изделия Алтын-депе // Особенности производства поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла. Материалы ЮТАКЭ. Вып. 5. СПб., 2001. С. 60–84.

Папахристу О. А. К реконструкции тиглей для плавки сплавов на основе меди и мастерской Гонур Депе (предварительное сообщение) // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2 / Сарианиди В. И., Кожин П. М., Косарев П. М., Дубова Н. А. (ред.). М., 2008. С. 196–224.

Сарианиди В. И. Древние земледельцы Афганистана (Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969–1947 гг.). М., 1977.

Сарианиди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М., 2001.

Сарианиди В. И. Маргуш. Древневосточно царство в старой дельте реки Мургаб. Ашхабад, 2002.

Сарианиди В. И. Проблемы Бактрийско-Маргианского археологического комплекса // Культурные ценности. Международный ежегодник. 2002–2003. СПб., 2004. С. 181–190.

Сарианиди В. И. Гонур-депе – Город царей и богов. Ашхабад, 2005.

Сарианиди В. И., Дубова Н. А. Раскопки литейной мастерской на поселении Гонур-депе // Miras. № 1(21). Ashgabat, 2006. P. 128–131.

Терехова Н. Н. Металлообрабатывающее производство древнейших земледельцев Туркмении. Очерки технологии древнейших производств. М., 1975. С. 14–75.

Терехова Н. Н. Обработка металлов в древней Маргиане // Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990. С. 177–202.

Терехова Н. Н. Техника металлообработки на поселении Алтын-депе // Особенности производства поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла. Материалы ЮТАКЭ. Вып. 5. СПб., 2001. С. 104–117.

Chegini N. N., Momenzadeh M., Parzinger H., Pernicka E., Stöllner Th., Vatandoust R., Weisgerber G. et al. Preliminary report on archaemetallurgical investigations around the prehistoric site of Arisman near Kashan, Western Central Iran // AMIT. Bd. 32. Berlin, 2000. P. 281–318.

Coghlan H. H. A note on prehistoric casting moulds // Bulletin of the Historical Metallurgy Group 2. L., 1968. P. 73.

Craddock P. T. Early metal mining and production. Edinburgh, 1995.

Davey C. J. Casting moulds for tools and weapons from the Levant. MA Report. University of London. L., 1977.

Davey C. J. The Metalworkers` tools from Tell Edh Dhiba`I // Bulletin of the Institute of Archaeology University of London, 20. L., 1983. P. 169–185.

Kaniuth K. Metallobjekte der Bronzezeit aus Nordbaktrien // AIT. Bd. 6. Mainz, 2006.

Kavtaradze G. L. The importance of metallurgical data for the formation of a Central Transcaucasian chronology // The Beginning of metallurgy (Proceeding of the International Conference «The Beginnings of Metallurgy», Bochum 1995 \ A. Hauptmann et al. (Eds.). Bochum, 1999. P. 67–101.

Krishnan M. V. Cire perdue casting in India. New Delhi, 1976. P. 4, 13-15.

Lucas A. Ancient Egyptian materials and industries. L., 1962. P. 221.

Ottaway B. S. Experimental Archaeometallurgy // Man and mining (Studies in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th birthday) \ Thomas Stцllner et al. (Eds.). Bochum, 2003. P. 341–348.

Pigott V. C. The Development of metal production on the Iranian Plateau: An Archaeometallurgical perspective // The Archaeometallurgy of the Asian Old World \ V. C. Pigott (Ed.). Published by the University Museum University of Pennsylvania, 1999. P. 73– 106.

Pigott V. C. A heartland of metallurgy Neolithic/Chalcolithic metallurgical origins on the Iranian Plateu // The Beginning of Metallurgy (Proceeding of the International Conference "The Beginnings of Metallurgy", Bochum 1995) \ A. Hauptmann et al. (Eds.). Bochum, 1999a. P. 107–120.

Sarianidi V. I. Necropolis of Gonur. Athens, 2007. P. 76–108.

Schmidt E. E. Excavations at Tepe Hissar, Iran: 1931–1933. Phil., 1937.

Širinov T. Die frühurbane Kulture der Bronzezeit im südlichen Mittelasien (Die vorgeschichtliche Siedlung Džarkutan). Berlin, 2003.

Stech T. Aspects of Early Metallurgy in Mesopotamia and Anatolia // The Archaeometallurgy of the Asian Old World \ V.C. Pigott (Ed.). Phil., 1999. P. 59–71.

Tylecote R. F. Metallurgy in Archaeology. L., 1962. P. 110.

Vatandoust A. A view on prehistoric Iranian metalworking: Elemental analyses and metallographic examinations // The Beginning of Metallurgy (Proceeding of the International Conference "The Beginnings of Metallurgy", Bochum 1995) \ A. Hauptmann, et al. (Eds.). Bochum, 1999. P. 121–140.

В. Д. Рузанов

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ МЕТАЛЛУРГИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ (ЭНЕОЛИТ И ЭПОХА БРОНЗЫ)

В археологической литературе, освещающей материальную культуру эпохи раннего металла племен Средней Азии, есть работы, посвященные либо специально проблеме древнейшей металлургии и горного дела, либо освещающие ее аспекты (*Литвинский,* 1950; *Череножкин,* 1950; *Литвинский и др.,* 1962; *Черных,* 1962, 1978; *Заднепровский,* 1962; *Богданова-Березовская*, 1962, 1968; *Гулямов и др.,* 1966; *Кузьмина,* 1966; *Терехова,* 1975а, б, 1982, 1990; *Итина,* 1977; *Аванесова,*1991). В последние десятилетия среднеазиатский металл стал предметом исследований учёных США, Германии и Франции. В лабораториях исторической технологии институтов и музеев этих стран изучается химический состав изделий и отходов металлургического производства из памятников эпохи бронзы и раннего железа (*Исаков,* 1991, табл. XVIII; *Kaniuth*, 2005). Эти исследования и сегодня остаются актуальными. Однако за последние два-три десятилетия, в результате широких раскопок, поднят богатый фактологический материал, представленный большим количеством находок из металла. Изучен химический состав около двух тысяч изделий, а также остатков медно-бронзового производства. Новые химические и типологические артефак-

ты позволили внести коррективы к ряду выводов и наблюдений, сделанных исследователями древнейшего металла Средней Азии. Правда, надо отметить, что в большей своей части эти дополнения касаются металлообработки эпохи поздней бронзы.

В настоящей статье на основании результатов спектрального и типологического исследования металлических изделий, геолого-археологических сведений о рудной базе и горнорудном промысле, а также опубликованных материалов по данной проблеме мы попытаемся наметить контуры истории древнейшей метал- лургии среднеазиатского региона с основными этапами и закономерностями ее развития. Исследованиями охвачены изделия четырех этапов: медный век охваты- вает периоды Анау **IA и Намазга I, II, III;** ранняя бронза – Намазга IV; **средняя бронза – Намазга V; поздняя бронза – Намазга VI,** выделенных археологами в развитии культур эпохи раннего металла юга Средней Азии (*Pampelly,* 1908; *Куфтин,* 1956; *Массон,* 1959). По археологическим данным хронологические рамки этих этапов таковы: медный век (конец **V–начало III тыс. до н. э.); ран**ний бронзовый век (XXIX–XXIII вв. до н. э.); средний бронзовый век (XXII–XVIII вв. до н. э.); поздний бронзовый век (XVII–X/IX вв. до н. э.).[1] Изученный металл происходит из памятников ануско-намазгинско-мургабской общности, степных племён и культур с лепной крашеной керамикой поздней бронзы.

В истории древнейшей металлургии и металлообработки Средней Азии, охватывающей более трёх тысяч лет, имели место: становление новых и трансформация старых очагов металлообработки; подъемы и спады в этой отрасли хозяйства; сосуществование очагов разных провинций с различными металлургическими традициями; разносторонние связи, приводящие к заимствованию форм изделий и металла и другие особенности. Всё это стало основой для выделения трёх этапов в развитии древнейшей металлургии и металлообработки Средней Азии (*Кузьмина,* 1966, с. 86; *Черных,* 1978, с. 56). Новые типологические и химико-металлургические материалы подтверждают правильность такой периодизации.

Первый этап охватывает эпоху энеолита (конец V–начало III тыс. до н. э.) и связан со становлением очагов металлообработки в круге земледельческо-скотоводческих культур древневосточного типа на территории Южной Туркмении (рис. 1).[2] Первые медные изделия здесь появляются одновременно в двух районах – в подгорной полосе Копетдага и в долине Сумбара. В предгорьях Копетдага в это время жили племена хорошо известной ануской культуры.

В конце IV тыс. до н. э. ее носители проникают и осваивают долины рек Теджен и Мургаб. Становление ануского очага металлообработки, имевшего уже в начальной ста-

[1] С этой хронологической шкалой не согласны иностранные учёные, которые по данным радио- карбонового анализа предлагают удревнить на 300-500 лет хронологию среднеазиатских памятников эпохи раннего металла. Однако широкий диапазон таких дат приводит к серьёзным затруднениям в определении точной датировки памятника. Поэтому по этим датам корректировку хронологических рамок выше упомянутых периодов мы не проводили.

[2] На рис.1, 2, 3, 6, 7 этой статьи также включены изделия, опубликованные в следующих работах: *Гулямов и др.*, 1966, табл. **XVI, XVII, XXIII;** *Массон,* 1956а, рис. 24; 1956б, рис. 15, 20, 36; *Литвинский и др.*, 1962, табл. 36, 39, 54; *Кузьмина,* 1966, табл. **I; IV:***7*; **V:***5,8*; **VI:** *1, 3, 5, 6, 8*; **VIII:** *9,16*; **X:** *24*; XI: **3, 17; XIII:** *3,8;* **XIV:** *2, 21, 59, 66*; **XV:** *4*; **XVI:** *18, 32, 35, 45*; *Виноградов, Кузьмина,* 1970, рис. 3: *7*; *Терехова,* 1975а, рис. 3; *Итина,* 1977, рис. 68, 78; *Кирчо,* 1980, рис. 1, 2, 5; *Масимов*, 1979, рис. 2; *Аскаров,* 1969, рис. 2; *Аскаров, Абдуллаев,* 1983, табл. **XXXII, XXXIII;** *Удеумурадов*, 1994, рис. 2,3; *Хлопин,* 1997, табл. 31, 46, 48, 49, 78, 99; 2002, табл. 7, 13, 16, 78, 82, 83, 103, 110, 114, 122; *Виноградова,* 2004, рис. 48; *Аванесова,* 1991, рис. 47: *1*; 2002, рис. 1: *2*, *4-6*; 2: *3*; *Аванесова и др.,* 2005, рис. 2-5; *Сарианиди,* 2001, илл. 22; *Якубов*, 2000, рис. 2; *Джуракулов, Аванесова,* 1984, рис. 1:*1-4,9*; *Аманбаева и др.,* 2006, рис. 2, 3; *Щетенко*, 1999, рис. 4:*1*. ***Bobomulloev***, 1997, рис. 3.

дии хорошо развитую технику обработки металла, происходило под влиянием иранских металлургических центров (*Терехова,* 1975, с. 42). Этот процесс хронологически совпадает с инфильтрацией в Южную Туркмению населения из Ирана (*Массон,* 1964, с. 428–436; *Сариниди,* 1965, с. 48; 1970, с. 24, 27). Сравнительный анализ медных анауских изделий и вещей из синхронных слоёв иранских памятников Сиалк, Сузы (*Berthoud, Francaix,* 1980, table Suse A. B; Sialk 2-4) выявляет сходство между ними как в типологическом, так и химическом плане. Не исключено, что отмеченная близость могла быть связана с миграцией людей в Юго-Восточную Туркмению из Центрального и Южного Ирана.

Южная Туркмения бедна медными месторождениями и местная металлообработка базировалась на привозном сырье. Исследователи полагают, что металл сюда завозили из Ирана (*Терехова,* 1975, с. 41). Анауские мастера использовали чистую (без искусственных примесей) медь, выплавленную из полиметаллических руд, обогащенных больше свинцом и меньше мышьяком. В IV тыс. до н. э. местные мастера впервые стали использовать искусственные сплавы меди с серебром (*биллон*). Металл обрабатывался с помощью ковки и литья. В кузнечной технике литейщики применяли заключительный разупрочняющий отжиг после холодной ковки, в литейной – начали осваивать приемы литья в закрытые формы, создаваемые по выплавляемой модели (*Терехова,* 1975б, с. 15, 16). В IV тыс. до н.э. ассортимент металлических изделий культуры Анау существенно расширяется. Помимо двулезвийных ножей, шильев, игл с пробитым и отогнутым ушком, изве- стных еще в начальной фазе раннего периода анауской металлообработки, появ- ляются тесла, булавки с различными навершиями, браслеты, подвески и зеркала. Все они находят типологические аналогии в материалах иранских памятников Гиссар и Шахтепе III и указывают на проникновение новых групп населения, но теперь уже из Северного Ирана (*Массон*, 1964, с. 428–430; *Сариниди*, 1964, с. 26).

Второй очаг появился в долине реки Сумбар в Юго-Западной Туркмении. Металлообработку очага характеризуют металлические материалы могильников пархай-сумбарской культуры, существовавшей с конца V до конца II тыс. до н. э. (*Хлопин,* 1983, 1989, 1997, 2002). Племена этой культуры, имеющей много сходных черт в памятниках Северного Ирана, были знакомы с медью в конце V тыс. до н. э. В то время местные мастера делали гвоздики, булавки, браслеты, серьги и другие изделия из чистой меди, выплавленной из руд, обогащенных свинцом (*Галибин,* 1997, 2002). Уже в начальной фазе пархайский металл предстает в развитом виде, что исключает конвергентное становление местной металлообработки. Скорее всего, становление пархайской, как и анауской, металлообработки было связано с внешним импульсом, который исходил также из Ирана. Однако металл пархай- ских племен, как впрочем вся их материальная культура, отличается от анауского металла. А это значит, что изначальный район импульса для пархайской металлообработки не совпадал с истоками анауского производства. Очевидно, это воздействие шло с юго-запада и было связано с проникновением в Сумбарскую долину населения из Северного Ирана. Судя по данным спектрального анализа медных изделий, в то время рудные источники для пархайского металла были иными, нежели у анауских мастеров, но и они также находились на территории Ирана.

По археологическим и антропологическим свидетельствам, на рубеже IV–III тыс. до н. э. на территории Ирана происходили значительные передвижения племен. Инфильтрация новых групп иранского населения в Южную Туркмению, как считают исследователи (*Хлопин,* 1997, с. 120), привела к нарушению экономического равновесия в среде аборигенов, проживавших в Сумбарской долине, предгорьях Копет-Дага и низовьях Теджена, что, в свою очередь, вызвало миграцию коренного населения в северо-восточном направлении – в Мургабский оазис и далее в бассейн реки Заравшан.

О колонизации земледельцами Мургабского оазиса в конце IV–III тыс. до н. э. мало что известно. Полагают, что это были выходцы из Геоксюрского оазиса, которые начали осваивать Келлелинский оазис. Пока только в этом месте нижнего бассейна Мургаба были обнаружены развеянные остатки поселений данного времени (*Масимов,* 1980). К сожалению, они дали единичные металлические находки, представленные булавками.

В середине IV тыс. до н. э. другая группа племен геоксюрского происхождения, отказавшаяся по неизвестной нам причине от освоения земель в низовьях Мургаба, появилась далеко на северо-востоке в верхнем бассейне Заравшана, где возникло поселение Саразм (*Исаков,* 1991). Это привело к появлению собственной металлообработки в данном районе и формированию саразмского очага. На начальном этапе сложения очаг был металлообрабатывающим и базировался на привозном сырье. Судя по химическому составу изделий, металл сюда поступал из Юго-Восточной Туркмении. Для изготовления металлического инвентаря литейщики применяли чистую медь, некоторые украшения они делали из драгоценных металлов.

Второй этап развития древней металлургии и металлообработки Средней Азии протекал в эпоху ранней и средней бронзы (XXIX–XVIII вв. до н. э.). В это время ареал распространения металлических изделий значительно расширяется и охватывает новые пространства среднеазиатского региона (рис. 2).

В результате возросшей активности южных очагов и передвижения на север южнотуркменистанского населения с металлом знакомятся северные энеолитические племена. В первой половине-середине III тыс. до н. э. металл проникает в горные районы, богатые рудными ископаемыми. Начинается разработка месторождений меди в Кызылкумских горах. Появляется собственная металлургия у населения со скотоводческим укладом хозяйства. На этом этапе металлические изделия северных племен довольно часто изготавливались по древневосточным прототипам. И это подражание свидетельствует о тесной связи и контактах между степными культурами среднеазиатского Междуречья и южными очагами металлообработки. Вместе с тем прослеживаются древние связи между населением Кызылкумов и степей Евразии и миграции племен с севера в Среднюю Азию во второй половине III – в первой трети II тыс. до н. э. (*Виноградов, Мамедов*, 1975). При этом важно отметить, что на некоторых кызылкумских стоянках, оставленных пришлыми носителями сначала древнеямной, а затем катакомбной культур встречаются следы меднолитейного производства. К сожалению, обнаруженные здесь металлические изделия малочисленны и фрагментарны. Анализы этих находок пока что не проведены. Археологическое изучение древнейших рудников в Кызылкумских горах только начинается.

Конечно, этих данных недостаточно для воссоздания истинной ситуации, сложившейся в металлургии племен среднеазиатского Междуречья в III–начале II тыс. до н. э. На сегодняшней стадии исследования можно отметить определенную близость форм и химического состава металлических изделий некоторых древнейших степных памятников Узбекистана металлу земледельческих культур Древнего Востока. К их числу относится скотоводческо-земледельческая культура Заманбаба, существовавшая в низовьях Заравшана во второй половине III – в первой половине II тыс. до н. э. (*Гулямов и др.*, 1966, с. 63–170). Заманбабинские мастера, делая орудия труда и украшения, часто копировали земледельческие типы вещей. Сырьем в производстве инвентаря им служила чистая медь, поступавшая сюда из Кызылкумского горнорудного района и с юга Средней Азии. Кроме меди, использовалось также серебро. Искусственные бронзы литейщики Заманбабы не употребляли. Возможно, заманбабинцы являлись посредниками в передаче металла северных (кызылкумских) источников в центры металлообработки земледельческих куль-

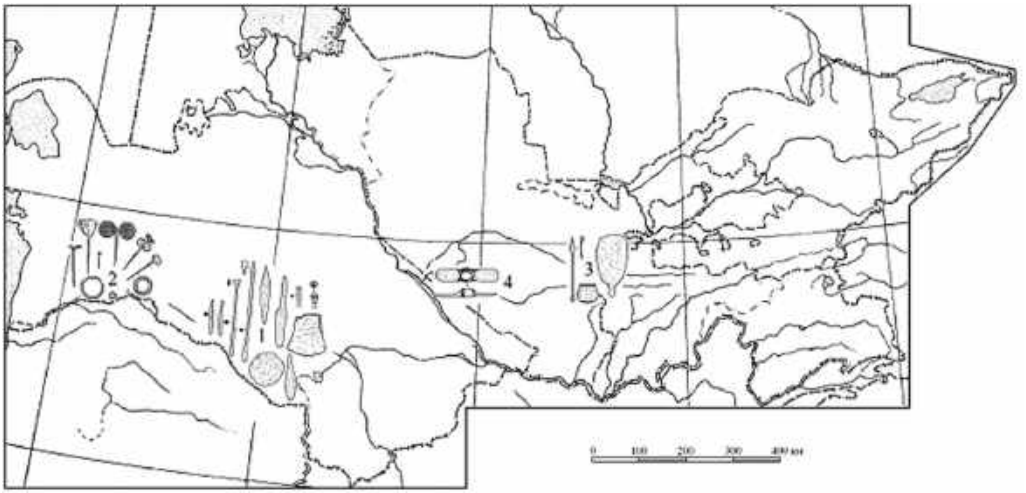


Рис. 1. Первый этап, энеолит. Типы изделий в очагах и памятниках Средней Азии.
Условные обозначения: 1- копетдагский; 2- пархайский; 3- саразмский очаги; 4- Джам, Сигир-тепе.

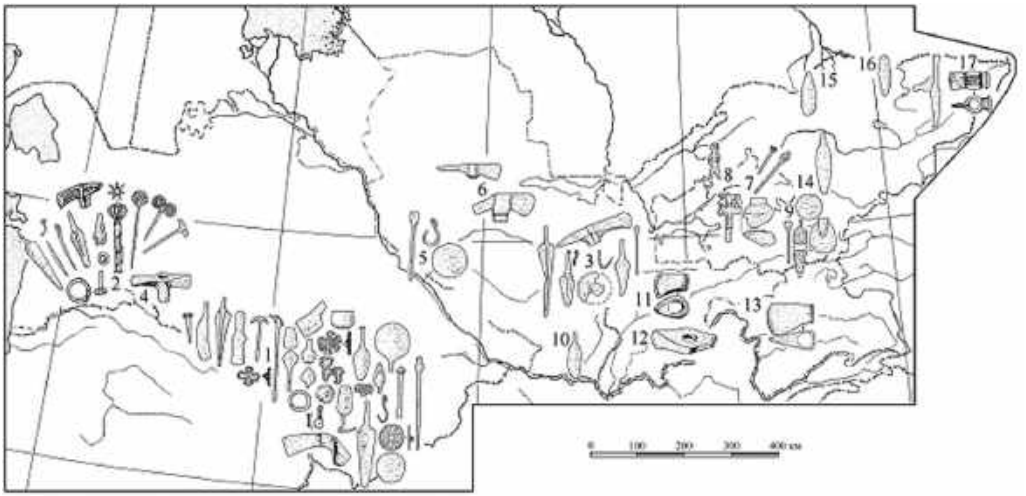


Рис. 2. Второй этап, эпоха ранней и средней бронзы. Типы изделий в очагах и памятниках Средней Азии. Условные обозначения: 1 – копетдаго-мургабский; 2 – пархайский; 3 – саразмский очаги; 4 – погр. Дайна; 5 – пос. и мог. Заманбаба; 6 – стоянка Лявлякан 506 (гипсовые отливки топоров, сделанные в литейных формах); 7 – Хакский клад; 8 – Афлатунский клад; 9 – мог. Шагым; 10 – случайная находка в Дербенте; 11 – случайная находка в Аракчине; 12 – случайная находка в Шар-Шаре; 13 – случайная находка в Сангворе; 14 – случайная находка в Шурабашате; 15 –Садовое, БЧК; 16 –Кант, БЧК; 17 – Преображенский клад, Иссык-Куль.

тур Средней Азии. Результаты, проведённого нами (*Рузанов*, 2008), сравнительного анализа заманбабинского металла подтверждают, высказанное А. М. Мандельштамом (1968, с. 136–141) и Е. Е. Кузьминой (1972, с. 141), предположение о генетической связи с этой культурой бешкентских племен.

В конце III–начале II тыс. до н.э. зона воздействия со стороны центров металлообработки земледельческих племен расширяется на север и охватывает Внутренние Кызылкумы (Лявлякан 506), Ферганскую долину (Афлатунский и Хакский клады, могильник Шагым) и Северную Киргизию (Преображенский клад, Садовое, Кант). Проникновение металлообрабатывающих традиций древневосточных культур отмечается также в юго-восточные районы Средней Азии на территорию Южного Таджикистана (Аракчин, Сангвор, Шар-Шар).

Продолжает развиваться металлообработка в Южной Туркмении, где по-прежнему функционируют очаги в Сумбарской долине, подгорной полосе Копетдага и низовьях Мургаба. По сравнению с производством эпохи энеолита нынешняя металлообработка южнотуркменистанских племен претерпевает ряд изменений, свидетельствующих о прогрессе в этой отрасли древнего хозяйства. Расширяется ассортимент металлических предметов: появляются новые виды (булавы, печати, сосуды) и типы изделий, некоторые из них являются изобретением местных мастеров. Создаются искусственные свинцовистые, мышьяковистые и свинцово-мышьяковистые бронзы, а во второй половине III тыс. до н. э. входят в употребление, правда, очень редко оловянистые сплавы, обладающие хорошими литейными свойствами. Продолжается процесс совершенствования технологии металлообработки: внедряется такой важный прием, как отливка полых предметов с использованием вставного стержня (*Терехова,* 1975б, с. 17).

На этом этапе расширяется сырьевая база южнотуркменистанских очагов. Наряду с металлом, известным еще в энеолитическом периоде, используется медь новых источников, находящихся вероятнее всего в Иране и Афганистане. Кроме того, появляются изделия, изготовленные из металла северных – узбкистанских (кызылкумских) и, возможно, казахстанских – источников.

Изменения происходят и в металлообработке саразмских племен. Судя по анализам металлических вещей, в последней четверти III тыс. до н.э. мастера очага начинают эксплуатировать местные рудные источники и занимаются уже металлургией. Вместе с тем они продолжают использовать импортный металл южного происхождения. При изготовлении изделий местные металлурги чаще всего употребляли чистую медь, реже оловянистые, мышьяковистые бронзы, биллон и драгоценные металлы. Продукция саразмского очага весьма специфична в типологическом плане. Ее своеобразие подчеркивают втульчатые топоры и двулезвийные ножи. Как и очаги Южной Туркмении, саразмский поддерживал связи с производствами степных культур, контактировавшими с кызылкумским и казахстанским горнометаллургическими центрами. Правда, при этом связи саразмцев с южными культурами по-прежнему остаются приоритетными.

Как видим, на первом и втором этапах металлообработка на юге Средней Азии испытывала большие влияния иранских центров. Сформировавшись под воздействием последних, южнотуркменистанские очаги вошли в состав Ирано-Афганской металлургической провинции, став её периферией. Со временем южносреднеазиатские очаги по уровню развития своего производства уже не уступают ирано-афганской бронзовой индустрии. Они сами начинают активно влиять на материальную культуру племен сопредельных территорий. Следствием этого стало знакомство с металлургией и металлообработкой энеолитических племен северных районов среднеазиатского региона. Другой импульс, приведший

к появлению металлургии в Кызылкумах, был связан со степными культурами Евразии. В III тыс. до н.э. северный импульс по своему размаху и мощности уступал южному. Однако со временем эта разница уменьшалась. И как мы увидим ниже, на последующем третьем этапе соотношение представителей южной и северной металлургии в Средней Азии резко изменится: теперь уже традиции производств северных племен распространяются на больших пространствах, проникая далеко на юг в метрополию земледельческих культур.

Третий этап развития древнейшей металлургии в Средней Азии связан с эпохой поздней бронзы (XVII–VIII вв. до н. э.). Он характеризуется повсеместным распространением металла. В развитии медно-бронзовой индустрии этапа можно отметить две фазы: 1. Фаза расцвета и 2. Фаза спада производства. Время первой фазы – XVII–XI вв. до н. э., второй – X–VIII вв. до н. э.

Процессы перемещения земледельческих племен становятся наиболее масштабными во второй-третьей четвертях II тыс. до н. э. Для этого времени отмечается интенсивное освоение оседлым населением оазисов на юго-востоке Туркменистана, юге Узбекистана и севере Афганистана, появление там большого количества памятников таких высокоразвитых протогородских культур, как келлелинско-гонурская (*Масимов,* 1979, 1981; *Сариниди,* 1990), сапаллинская (*Аскаров,* 1973, 1977; *Аскаров, Абдуллаев,* 1983; *Аскаров, Ширинов*, 1993) и дашлинская (*Сариниди,* 1977), представлявшие собой в то время крупные металлургические и металлообрабатывающие центры (рис. 3), входящие в состав Ирано-Афганской металлургической провинции.

В металлообработке племен келлелинско-гонурской культуры наряду с технологическими и типологическими местными южнотуркменистанскими традициями предшествующего периода (Намазга V) явно прослеживаются новации, выраженные в первую очередь ростом производства. Прогрессивный скачок отмечается также в технике и технологии металаллобработки племен Мургаба (*Терехова,* 1990). Складывается впечатление о проникновении в нижнюю дельту Мургаба в начале II тыс. до н. э. больших групп земледельческих племен, имевших два истока движения. Первый исток был связан с памятниками подгорной полосы Копетдага эпохи средней бронзы (Алтын-депе). Второй, как полагают исследователи (*Сариниди,* 1990, с. 74-89) находился за пределами Южного Туркменистана, скорее всего, на территории Северо-Восточного (Гиссар III) и Восточного (Шахдад) Ирана. Позже передвижение групп популяций этого нового культурного объединения было направлено на юг в средний бассейн Мургаба, а затем на северо-восток в Северный Афганистан и Южный Узбекистан.

Эти миграции привели к зарождению металлургических и металлообрабатывающих очагов в Бактрии – сапаллинского в Южном Узбекистане (Рузанов, 1982) и дашлинского в Северном Афганистане (*Сариниди,* 1975, с. 30). В формировании сапаллинского очага металлообработки принимали участие два импульса, исходившие из центров с разной традицией употребления типов сплавов. Один импульс, состоящий из двух слагаемых, исходил, скорее всего, от сходных между собой производств племен низовий Мургаба Юго-Восточной Туркмении и Дашлинского оазиса Северного Афганистана, другой – из центра, который, видимо, функционировал где-то за южными пределами Маргианы и Бактирии, скорее всего, на территории Ирана или Афганистана (*Рузанов*, 2005).

Литейщики очага использовали оловянистые, оловянно-свинцовистые, свинцовистые, свинцово-мышьяковистые, оловянно-сурьмяно-мышьяковистые бронзы и чистую медь. Для изготовления некоторых украшений употреблялись биллон, серебро и золото. Ведущее место в металлообработке очага занимали сплавы с оловом и чистая медь, сре-

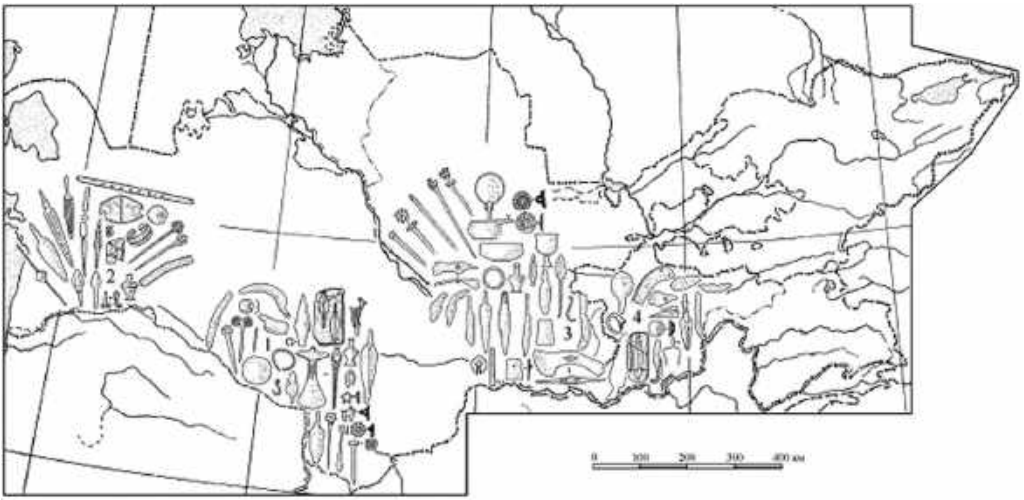


Рис. 3. Третий этап, эпоха поздней бронзы. Типы изделий в очагах и памятниках древневосточного типа Средней Азии. Условные обозначения: 1 – копетдаго-мургабский; 2 – пархай-сумбарский; 3 – сапаллинский очаги; 4 – пос. и мог. Кангурттут, мог. Тандыр-йул.

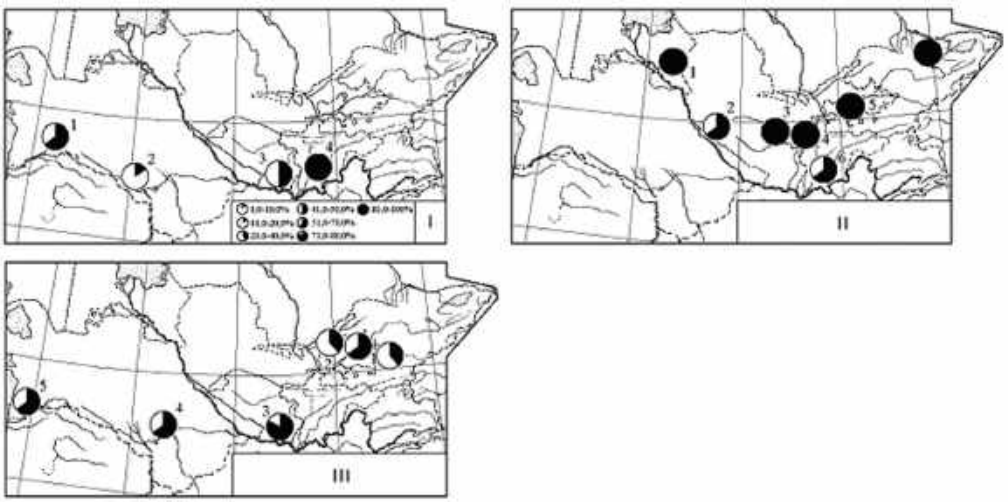


Рис. 4. Распространение образцов оловосодержащих сплавов в очагах и памятниках Средней Азии в эпоху поздней бронзы. Условные обозначения. I – древневосточного типа: 1 – пархай-сумбарский; 2 – копетдаго-мургабский; 3 – сапаллинский очаги; 4 –пос.и мог. Кангурттут, мог. Тандыр-йул. II – степных племен: 1 – тазабагъябский очаг; 2 – стоянки и мог. Гуджайли; 3 – мог. Чакка; 4 – даштикозинский очаг; 5 – памятники Ферганы и Ташкентского оазиса; 6 – мог. ранний Тулхар; 7 – семиреченский очаг. III – племен с лепной росписной керамикой, а также архаического Дахистана: 1 – справа от черты пос. Дальверзин, слева – пос. Чуст; 2 – поселения бургулюкской культуры; 3 – пос. Кучуктепа (комплексы I, II); 4 – пос. Яз-депе (комплекс Яз I); 5 – поселения архаического Дахистана. Примечание. При подсчете доли оловосодержащих сплавов в коллекциях изделий были учтены оловянистые, оловянно-свинцовистые, оловянно-сурьмяно-мышьяковистые и оловянно- свинцово-сурьмяно-мышьяковистые сплавы, среди которых доминируют оловянистые бронзы.

ди которых преобладали оловянистые бронзы. По этому показателю сапаллинский очаг отличается от производств земледельческих культур Юго-Восточной Туркмении и Северного Афганистана, мастера которых редко использовали оловянистые сплавы (рис. 4). Другой примечательной особенностью очага являются вотивные, маленького размера, металлические изделия, изготовлявшиеся специально для погребений.

Сырье, которым пользовались сапаллинские кузнецы-литейщики, завозили из Афганистана, Ирана, Узбекистана (Кызылкумская и Фергано-Ташкентская горнометаллургические области), Северного Таджикистана (Верхнезаравшанская горнометаллургическая область) и, возможно, Казахстана. Металл, произведенный в этих областях, мастера очага использовали по-разному. Так, на раннем этапе доминировали ирано-афганские источники сырья. Кызылкумская (возможно и казахстанская) медь играла второстепенную роль. На позднем этапе роль сырья южных источников падает, в то же время возрастает доля металла кызылкумских, фергано-ташкентских и верхнезаравшанских источников.

Скоро сапаллинский очаг становится проводником, передававшим новые технологические идеи и формы мастерам северных племен. Большое влияние он оказал на металлообработку бешкентской культуры. Контакты с ним привели к появлению разных типов искусственных сплавов и ряда форм в металлообработке этой группы степного населения (*Рузанов,* 1994). Отчетливо проявляются металлургические связи сапаллинцев со степными племенами верхнего и среднего бассейнов реки Заравшан. Устанавливаются контакты с носителями чустской и бургулюкской культур, что приводит к проникновению вещей сапаллинского типа (например, вотивных изделий) в Фергану и Ташкентский оазис. Примерно в это же время они налаживают связи с населением Гиссара и Дангары. Именно с миграцией групп племен из Сурахандарьинского оазиса исследователи (*Пьянкова,* 1989, с. 8; *Виноградова, Кузьмина,* 1986, с. 147) связывают появление земледельческих памятников в Гиссарской долине, в чьих комплексах весьма ярко проявилась преемственность сапаллинской металлообработки, выраженная в использовании сходных рецептов сплавов, форм изделий и технологии изготовления вотивного инвентаря. Вместе с тем взаимодействия с северными очагами привели к появлению у приамударьинских племен новых типов орудий и украшений, характерных для степных бронз и культур крашеной керамики.

На наличие тесных связей между земледельческими и степными племенами в этой зоне указывает и И. В. Равич, изучившая группу металлических предметов с памятников Юго-Западного Таджикистана эпохи поздней бронзы (*Равич*, 1978, 1994, 2004). Интересным оказалось, проведённое И. В. Равич, металлографическое исследование, позволившее, впервые для юго-восточной части среднеазиатского региона, определить приёмы здешних мастеров.

В эпоху поздней бронзы продолжает функционировать производство пархай-сумбарского очага в Юго-Западной Туркмении, который претерпевает значительные изменения. Прежде всего они выражаются в расширении ассортимента инвентаря. В этом периоде становится разнообразнее и рецептура сплавов. Теперь, наряду с чистой медью, свинцовистыми, мышьяковистыми и свинцово-мышьяковистыми бронзами, мастера очага используют биллон, серебро, свинец и медные сплавы, легированные оловом. Среди них оловянистые бронзы употреблялись широко и преобладали над другими рецептами в литейной практике местных мастеров и эта черта отличает пархай-сумбарскую металлообработку от производств других очагов Южной Туркмении (рис. 4). Перемены фиксируются и по сырью, поступавшему сюда из южных и северных зарубежных горнометаллургических областей. Хотя в это время доля металла иранских и афганских источников

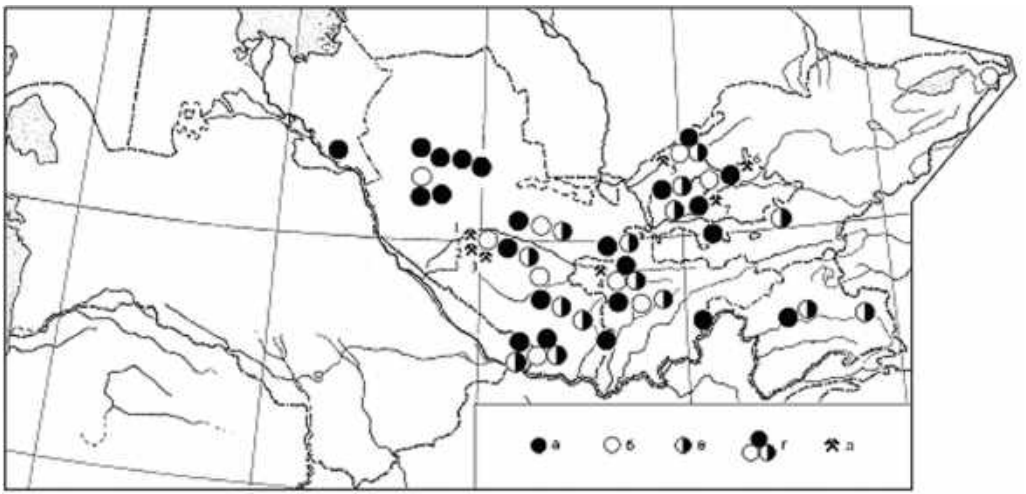


Рис. 5. Рудная база Средней Азии. Расположение типов месторождений и рудопроявлений.
Условные обозначения: а – месторождения меди; б – месторождения олова; в – месторождения полиметаллов; г – месторождения с рудами сложного состава, содержащие медь, олово, свинец, цинк, сурьму и мышьяк; д – месторождения, эксплуатировавшиеся в эпоху бронзы: 1. Карнаб, 2. Лапас, 3. Чангали, 4. Мушистон, 5. «Возрожденное», 6. Варзык, 7. Наукат.

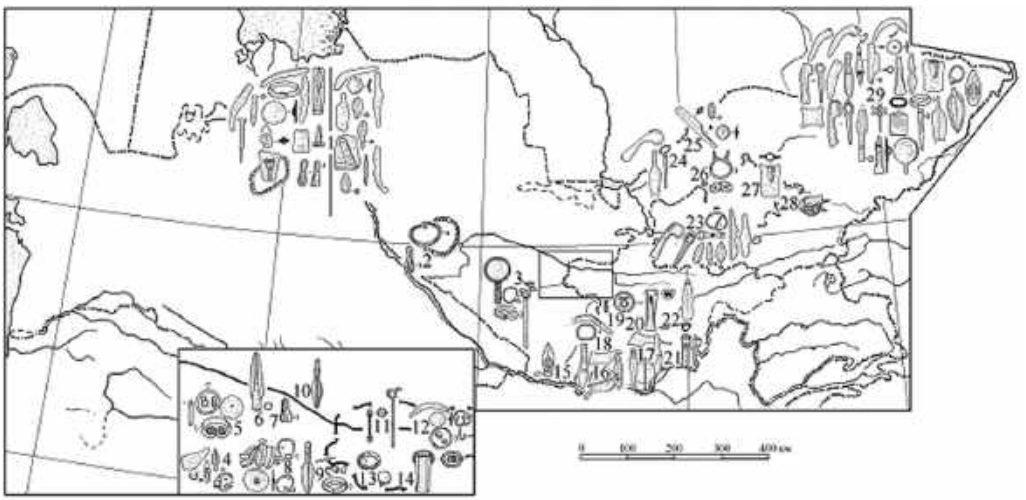


Рис. 6. Третий этап, эпоха поздней бронзы. Типы изделий в очагах и памятниках степных племен Средней Азии.
Условные обозначения: 1 – слева от черты тазабагъябский очаг, справа – амирабадская культура; 2 – стоянки и мог. Гуджайли; 3 – мог. Джам, Галашерик; 4 – пос. и мог. Сазаган II; 5 - мог. Чакка; 6 – случайная находка в окрестностях Самарканда; 7 – погр. Сиаб в Самарканде; 8 – мог. Муминабад; 9 – мог. Гус; 10 – погр. в Заравшанском заповеднике близ Джамбая; 11 – мог. Зардча-Халифа; 12 – мог. Дашти-Козы; 13 – мог. Чорбог; 14 – случайная находка в Бедаке; 15 – случайная находка в “Старом Термезе”; 16 - мог. ранний Тулхар; 17 - мог. “Тигровая Балка”; 18 - мог. ранний Аруктау; 19 – мог. Кумсай; 20 – погр. /?/ в Кулин-тепе у Регара; 21 – пос. Карим-Берды; 22 – Нурек /погр. или клад /?/; 23 - кайраккумский очаг (форму топора воспроизводит гипсовая отливка, сделанная в каменной матрице); 24 - чимбайлыкский клад; 25 - бричмуллинский клад; 26 – погребения Искандер и Аурахмат; 27 – случайная находка в Ринджитаме; 28 – случайная находка в окрестностях Узгена; 29 – семиреченский очаг.

в очаге по-прежнему остается большой, однако теперь южный металл уже не доминирует столь значительно, как это было ранее. Заметнее становится доля сырья узбекистанского (кызылкумского) и казахстанского происхождения.

В середине третьей четверти II тыс. до н. э. миграции андроновских групп племен в Среднюю Азию активизируются, что приводит к широкому проникновению сюда металла и форм, связанных с казахстанскими и уральскими производственными центрами (*Аванесова,* 1991, с. 98, 99). В результате в Среднеазиатском Междуречье формируется ряд металлургических очагов степных племен, которые, по мнению Е. Н. Черныха (1978), входили в состав Евразийской металлургической провинции. Горняки-металлурги этих центров начинают интенсивно разрабатывать местные медные, оловянные и полиметаллические месторождения (рис. 5) (*Литвинский и др.,* 1962; *Alimov et al.*, 1998, 1999; *Рузанов,* 1980, 2000; *Cierny,* 2002; *Parzinger, Boroffka,* 2002, 2003). Среди них – тазабагъябский очаг металлургии, который существовал во второй половине II тыс. до н. э. в Южном Приаралье (рис. 6) (*Рузанов,* 1996). Исследователи тазабагъябской культуры полагают, что её появление связано с движением срубно-андроновских (алакульских) племён из Южного Приуралья и их взаимодействием с населением местной (позднекельтименарской) культуры (*Итина,* 1977, с. 232, 233; *Виноградов и др.,* 1986, с. 148, 149). Однако, думается, что в зарождении металлургии, как и всей культуры, тазабагъябских племен наиболее важным был импульс, исходивший от андроновских (алакульских) племен Западного Казахстана. Этот тезис удостоверяет высокая типологическая близость коллекций металлических изделий данных районов. Вначале тазабагъябский очаг был металлообрабатывающим и его производство базировалось на привозном металле, поступавшем из очагов Евразийской металлургической провинции. Позднее где-то в XIV–XIII вв. до н. э., в связи с разработкой тазабагъябцами местных кызылкумских источников меди, он трансформируется в металлургический. В его металлообработке доминировали бинарные оловянистые бронзы. Также использовались чистая медь, оловянно-свинцовистые сплавы и свинец. Литейщики очага имели тесные связи с южными и восточными районами. Среди них, в первую очередь, нужно отметить низовья р. Заравшан с памятниками в местечке Гуджайли. В южном направлении отчетливые связи проявляются с пархай-сумбарским очагом металлообработки.

Другой центр степной металлургии – даштикозинский очаг функционировал в XIII–XI вв. до н. э. в верхнем и среднем бассейнах реки Заравшан в восточной зоне среднеазиатского Междуречья. Его металлообработку характеризуют металлические комплексы из могильников Дашти-Кози и Муминабад. Даштикозинский очаг сформировался под воздействием западных очагов андроновской культурно-исторической общности. Не исключено, что в его становлении принимало участие население Южного Приаралья и нижнего бассейна Заравшана. При этом на производство оказывала воздействие металлообработка южноуральских и казахстанских степных племен. Такая трактовка подтверждает высказанную ранее археологами версию о генетической связи Дашти-Кози с памятниками андроновской культуры Южного Казахстана и Приаралья (*Исаков, Потёмкина*, 1989). Своеобразием даштикозинского очага являются большая насыщенность (96,7%) коллекции оловосодержащими сплавами и их разнообразие. Так, наряду с широко известными оловянистыми и оловянно-свинцовистыми бронзами его литейщики использовали сложные оловянно-сурьмяно-мышьяковистые и оловянно-свинцово-сурьмяно-мышьяковистые сплавы. Также отметим, что в этом очаге впервые в Средней Азии появляются украшения – бусы, сделанные из олова. В практике местных мастеров значительно реже применялись мышьяковистые бронзы и чистая медь. Кроме металла собственных источ-

ников, занимавшего ведущее место в производстве очага, даштикозинцы употребляли медь и бронзы, поступавшие к ним с севера и запада. Большая часть импортного металла связывается с дальверзино-бургулюкским центром металлургии. В меньшем количестве к ним шло сырье из очагов Евразийской металлургической провинции. Вместе с тем очаг экспортировал металл в сопредельные районы. Его бронзами пользовались носители кайраккумской культуры, степные племена среднего бассейна реки Заравшан, население земледельческих культур древневосточного типа Южного Узбекистана и Юго-Западного Таджикистана, а также культур с лепной крашеной керамикой Северного Узбекистана.

Во второй половине II тыс. до н. э. на юго-западе Ферганской долины формируется кайраккумский металлургический очаг, который характеризует металл одноименной культуры (*Литвинский и др.,* 1962, с. 170–231). По мнению Б. А. Литвинского, сложение этой культуры происходило при взаимодействии переселившихся из Казахстана андроновских племен и местного населения (возможно, гиссарской культуры). Новые материалы по металлообработке степных племен среднеазиатского региона указывают на более сложный характер становления кайраккумского очага (*Рузанов,* 1982, 1994). Кроме казахстанских, его продукция отражает сильные типологические воздействия из Северной Киргизии, а также связи с даштикозинским центром металлургии, откуда, как свидетельствуют анализы, часть чернового металла и готовый инвентарь проникали к кайраккумским племенам. Все это позволяет говорить о продвижении в Фергану скотоводов из указанных территорий. Рудной базой кайраккумского очага служили месторождения Чаткало-Кураминского и Ферганского горнорудных районов. Как было уже отмечено выше, они также применяли привозной металл, который поступал сюда из верховьев Заравшана, Кызылкумских гор и, возможно, металлургических центров Казахстана. В практике литейщики очага использовали оловянистые, оловянно-свинцовистые, свинцовистые бронзы и сложные многокомпонентные сплавы. Также употреблялась чистая медь. Кайраккумский очаг оказал влияние на металлообработку чустской культуры. Его воздействие ощущало и население среднего бассейна реки Заравшан. Впрочем, эти влияния были взаимными: какую-то часть металла заравшанские племена получали от кайраккумцев и наоборот – даштикозинские мастера снабжали сырьем и продукцией население кайраккумской культуры.

К северо-востоку от очагов степных культур Среднеазиатского Междуречья на территории Северной Киргизии и Юго-Восточного Казахстана в Центральном Тянь-Шане в эпоху поздней бронзы существовал семиречинский очаг металлообработки (*Кузьмина,* 1966, с. 94–98; *Дегтярёва*, 1985). Его деятельность характеризует металл памятников андроновской культуры, сосредоточенных в Таласской, Чуйской долинах и Иссык-Кульской котловине. Отличительной особенностью семиречинского очага является наличие большого количества кладов металлических изделий. Большинство кладов относится к XII–IX вв. до н. э. Типологически разнообразные вещи этих комплексов изготавливались из оловянистых, оловянно-свинцовистых, мышьяковистых бронз и чистой меди. Как и в других металлообрабатывающих центрах степных культур, здесь также преобладали бинарные оловянистые бронзы. По мнению исследователей, металлообработка семиречинского очага базировалась на привозном сырье, вырабатывавшемся из сульфидных руд в горнометаллургических центрах Центрального и Восточного Казахстана.

Движение степных племен шло и по западным территориям Средней Азии. Миграции фиксируются материалами срубной, андроновской и тазабагъябской культур, датируемых XIII–XI вв. до н. э. Поэтому в пархай-сумбарском и копетдагском очагах металлообработки эпохи поздней бронзы встречаются двулезвийные ножи с перекрестьем и кольцевидным упором и их литейные формы, исходные корни которых исследователи

видят в срубной и андроновской культурах. О связях тазабагъябского очага металлургии с пархай-сумбарским свидетельствуют подвески молоточковидной формы, которые были известны только в Юго-Западной Туркмении и Южном Приаралье. На южные контакты приаральских степных племен указывает обнаруженная на одном из тазабагъябских поселений литейная форма для отливки булавок с биспиральным навершием, характерным для древневосточных культур.

Доминирование металлообрабатывающего производства степных племен в среднеазиатском Междуречье было недолгим. Появление дальверзино-чустско-бургулюкского очага в северо-восточных областях Узбекистана сильно отразилось на среднеазиатской металлообработке. С этого момента, по сути, началось перекраивание металлургической карты Средней Азии. Теперь на этой территории сосуществуют уже три блока культур – степной, земледельческий древневосточного типа и земледельческий с лепной крашеной керамикой.

Проблемы происхождения и характер распространения памятников с лепной расписной керамикой эпохи поздней бронзы до сих пор остаются спорными и решаются по-разному. Формирование этих комплексов, по мнению большинства исследователей, могло произойти в результате столкновения и взаимовлияния степной и земледельческой культур (*Массон*, 1957, с. 53; *Заднепровский,* 1966, с. 207). Вместе с тем некоторые археологи не исключают вариант трансформации степных культур, происходившей при переходе скотоводов к оседлому образу жизни, под влиянием южных цивилизаций (*Аскаров, Буряков,* 1978, с. 9; *Заднепровский,* 1981, с. 96; *Дуке,* 1982, с. 89). Существуют и другие версии, согласно которым прародину племен крашеной керамики нужно искать в среде земледельцев либо в Иране (Восточный Хорасан) (*Сариниди,* 1975, с. 35), либо Бактрии (*Сагдуллаев,* 1987, с. 88).

Однако представляется, что процесс формирования таких культур, по крайней мере, в Фергане и Ташкентской области, был иным (*Рузанов,* 2000). Истоки металлургии Дальверзина и Бургулюка следует искать в предшествующих им производствах земледельческих племен, поскольку именно там находят основные аналогии технологии приготовления и употребления рецептов сплавов фергано-ташкентских кузнецов-литейщиков. Среди комплексов среднеазиатских памятников земледельческого типа металлургически близки к бургулюкскому и дальверзинскому металлу изделия из поселения Саразм, поздние вещи которого, кстати, обнаруживают сходство и в химическом плане. Поэтому не исключается возможность генетической связи производств земледельческих племен Ферганы и Ташкентской области с саразмской металлообработкой.[1]

Миграции ферганских и ташкентских групп племен с лепной расписной керамикой с севера на юг, о чём свидетельствует направление движения металла, который они несли,

[1] Вполне возможно, что это связано с миграцией племён саразмской культуры из верхнего бассейна р. Заравшан в Ферганскую долину в начале II тыс. до н. э. Ранее такую версию высказал А. И. Исаков (1991), отметивший отдельные находки, характерной для Саразма серой и чёрной керамики в Фергане. Сегодня на правомерность этой идеи косвенно указывает могильник Шагым близ Узгена, датированный первой половиной II тыс. до н.э. (*Аманбаева и др.,* 2006), погребальный инвентарь которого находит аналогии в материалах Саразма и других древневосточных памятников эпохи бронзы. Не исключается вероятность того, что Шагымский некрополь являлся промежуточным звеном в генетической цепочке памятников между саразмской культурой и культурами с лепной расписной керамикой Северного Узбекистана и Южной Киргизии. Кстати, открытие этого могильника ведёт к ещё большему сокращению разрыва между датами ферганских памятников древневосточного типа и культурами с лепной крашеной керамикой, хронология которых ныне удревняется примерно на 500–600 лет (*Заднепровский,* 1977, с. 67–81; *Рузанов,* 1998, 1999).

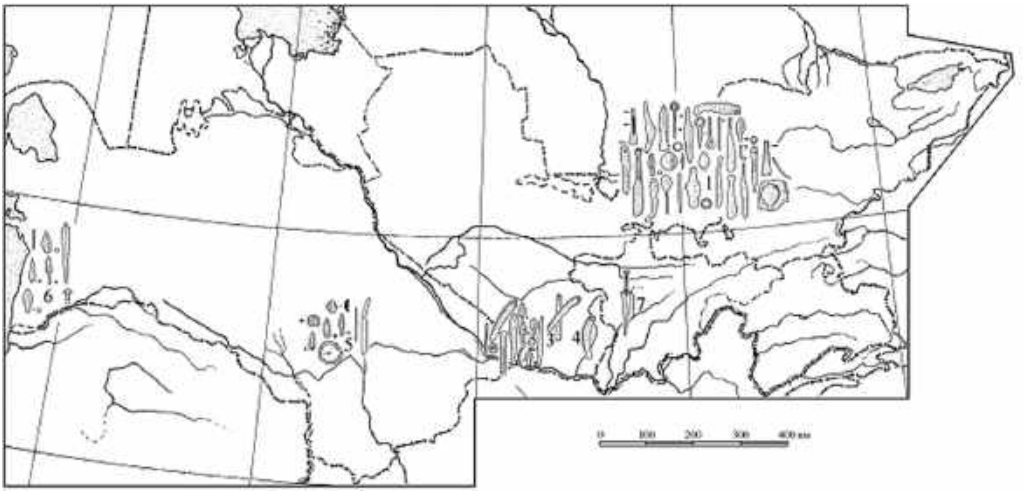


Рис. 7. Третий этап, эпоха поздней бронзы. Типы изделий в очагах и памятниках с лепной росписной керамикой, а также архаического Дахистана Средней Азии.
Условные обозначения: 1 – дальверзино-чустско-бургулюкский очаг; 2 – пос. Кучуктепе (комплексы К I, II); 3 – пос. Джаркутан; 4 – усадьба Кызылча 6; 5 – пос. Яз-депе (комплекс Яз I); 6 – поселения архаического Дахистана ; 7 – Рамит /случайная находка/.

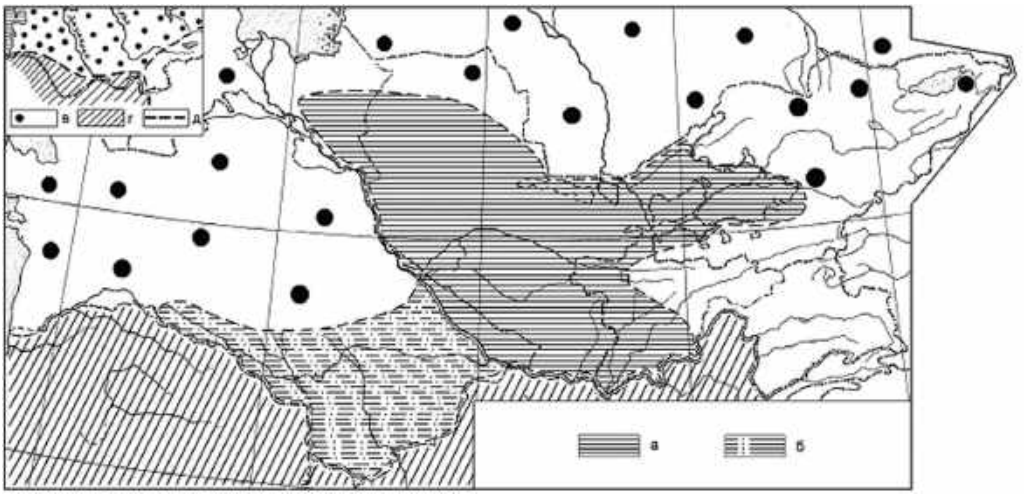


Рис. 8. Третий этап, эпоха поздней бронзы. Туранская металлургическая провинция.
Условные обозначения: а – территория провинции в XIV-X вв. до н. э.; б – территория провинции в IX–VII вв. до н. э.; в – Евразийская; г – Ирано-Афганская провинции; д – границы провинций. Примечание. В верхнем левом углу металлургические провинции Средней Азии в эпоху поздней бронзы по Е. Н. Черных (1978, рис. 9). В период с XVI до XIV вв. до н. э. металлургические производства северных районов Средней Азии входили в состав Евразийской металлургической провинции, а очаги Южной Туркмении до начала I тыс. до н. э. составляли Ирано-Афганскую провинцию.

начавшиеся, как мы полагаем (*Рузанов*, 2000), в XIV–XIII вв. до н. э. и усилившиеся в конце II – начале I тыс. до н. э., приводят к появлению памятников с расписной керамикой в бассейне Заравшана (видимо, Кашкадарьи), на юге Узбекистана и юго-западе Таджикистана.[1] Как видим, население северных культур с лепной расписной керамикой эпохи поздней бронзы воспользовалось путями, проложенными еще в эпоху энеолита, раннем и среднем бронзовых веках, по которым в то время группы древневосточных земледельцев двигались в обратном направлении – с юга на север и северо-восток. Их носители вступали в контакты с коренным населением, приводившими к обмену и знакомству с разными культурами и техническими достижениями. Благодаря миграциям складывались новые культуры и общности. Среди них – чустская и бургулюкская культуры, сыгравшие, на наш взгляд, главную роль в формировании общности памятников с лепной крашеной керамикой на территории Средней Азии.

Металл чустской и бургулюкской культур имеет много сходных черт, что позволило объединить их производства в единый дальверзино-чустско-бургулюкский очаг металлургии (рис. 7). Его литейщики знали оловянистые, свинцовистые, мышьяковистые, оловянно-свинцовистые, свинцово-мышьяко-вистые и оловянно-сурьмяно-мышьяковистые бронзы. Они также использовали чистую медь, биллон и свинец. Очаг базировался на местных источниках сырья. Продукция дальверзинских и бургулюкских мастеров отразила на себе черты, присущие металлообработке различных направлений. Особенно отчетливо это проявляется на морфологии инвентаря. Здесь нетрудно наметить черты южных влияний со стороны очагов древневосточного типа и влияния степных культур. Все это придало дальверзино-бургулюкскому металлу смешанный характер с элементами металлообработки производств Ирано-Афганской и Евразийской металлургических провинций.

В конце II–начале I тыс. до н. э. наблюдается падение мощности производств в среднеазиатских очагах металлургии и металлообработки. Значительно уменьшается выпуск медно-бронзовых изделий, беднее становится ассортимент инвентаря. Регресс происходил не только в металлургии Средней Азии. Упадок бронзолитейного производства в конце II–начале I тыс. до н. э. исследователи отмечают также в других регионах Старого Света, в том числе и в странах Древнего Востока.

Важным историческим событием третьего этапа явилось возникновение Туранской металлургической провинции (рис. 8). Ее становление пришлось на время активных пе-

[1] Смена древневосточных культур памятниками с лепной расписной керамикой в разных исторических областях юга Средней Азии, видимо, происходила по-разному. В Северной Бактрии она была связана с миграцией земледельческого населения из Ферганской долины и Ташкентской области. Передвижения групп этих популяций на правобережье Амударьи были неоднократными и проходили в течение весьма продолжительного времени. Попав к земледельцам сапаллинской культуры пришельцы постепенно оказывали воздействия на металлообработку местных древневосточных племен, что устанавливается химическими и типологическими материалами. Примерно в это время в Северной Бактрии появляются степные фёдоровские племена, также оказавшие влияние на металлообработку приамударьинских земледельцев. В результате взаимодействий местной (сапаллинской) традиции и двух внешних (земледельческого фергано-ташкентского и степного) импульсов, среди которых более сильным оказался дальверзино-бургулюкский компонент, в Северной Бактрии в конце II–начале I тыс. до н. э. появились памятники (Кучук-тепе, Кызылча 6, Карим-Берды) с лепной расписной керамикой, содержащие материалы близкие к фергано-ташкентским комплексам. Очевидно, дальнейшие миграции групп северобактрийских племен этой общности на юг и юго-запад привели к появлению памятников с лепной крашеной керамикой в Северном Афганистане и Южной Туркмении в начале I тыс. до н. э. Однако при этом укажем, что последнее предположение из-за недостаточности аналитических материалов пока может быть принято лишь гипотетически. Следует отметить, что сходную с нашим мнением версию о происхождении кучуктепинской культуры Южного Узбекистана, ранее уже высказали А. А. Аскаров и Л. И. Альбаум (1979, с. 72; *Аскаров,* 1984, с. 27).

редвижений в середине-второй половине II тыс. до н. э. носителей андроновского круга культур с севера на территорию Средней Азии, миграций групп племен с лепной крашеной керамикой из Ферганской долины и Ташкентского оазиса в южном направлении, их взаимодействием с южными племенами земледельческих культур древневосточного типа, освоением медных и оловянных месторождений в горнорудных районах Узбекистана и Таджикистана, становлением на местной рудной базе новых независимых металлургических центров и трансформацией очагов металлообработки старых культур. В начальной фазе Туранская металлургическая провинция охватывала территорию Северного и Центрального Узбекистана, Северного Таджикистана. Где-то в XIII–XII вв. до н. э. в блок культур провинции вступают земледельческие сапаллинские племена Южного Узбекистана, металлообработка которых была ранее втянута в систему Ирано-Афганской металлургической провинции. Этот переход связан с проникновением в Северную Бактрию инокультурного населения из северных районов, приведшим к изменениям в сапаллинской металлообработке, переменам (с юга на север) ориентации связей на позднем этапе её развития и, в конечном счёте, к сближению приамударьинского и северных очагов. Примерно в это же время территория провинции расширяется в юго-восточном направлении и в её состав вливаются производства, функционировавшие в Гиссарской долине, бассейнах рек Кафирнигана и Вахша.

Южнотуркменистанские очаги металлообработки оставались связанными с ирано-афганскими центрами и не входили в состав Туранской металлургической провинции вплоть до рубежа II и I тыс. до н. э. Переход юго-восточных производств Южной Туркмении в эту провинцию, очевидно, состоялся в начале I тыс. до н. э., когда в результате сильных воздействий или инфильтрации населения (скорее всего, с севера) южнотуркменистанская металлообработка претерпевает изменения как в формах изделий, так и в рецептуре сплавов. В это время в Южной Туркмении происходит смена культур.[1]

Итак, третий этап – это эпоха расцвета и спада среднеазиатского металлургического и металлообрабатывающего производства, формирования новых самостоятельных очагов и трансформации старых, широкого освоения местной медно-оловянной рудной базы и распространения оловянистых бронз в среднеазиатском регионе, установления тесных взаимосвязей между центрами с разными металлургическими традициями, приведшими к их сближению и образованию Туранской металлургической провинции. Заключительная фаза третьего этапа характеризуется выравниванием уровней развития бронзолитейных производств в северной и южной зонах, что привело к почти одновременному освоению нового, прогрессивного металла – железа и черной металлургии в культурах раннежелезного века Средней Азии.

[1] По известным нам анализам металла памятников архаического Дахистана (*Комаровская, Панарин,* 1970, таблица) трудно судить о том, входило ли производство местных племён в состав Туранской металлургической провинции или, как считают исследователи, тяготело к металлообработке Прикаспия (*Комаровская, Панарин,* 1970, с. 202) и вместе с металлургическими центрами Северного Ирана являлось металлообрабатывающим очагом Гирканской культурно-исторической провинции (*Хлопин, Галибин,* 1990, с. 91). Думается, что без дополнительных аналитических исследований, этот вопрос не может быть окончательно решён.

Литература

Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (По металлическим изделиям). Ташкент, 1991.

Аванесова Н. А. Новые материалы эпохи бронзы Зарафшанской долины // АИ 2001. Ташкент, 2002. С.19–26.

Аванесова Н. А., Шайдуллаев Ш. Б., Еркулов А. К вопросу о культурной принадлежности джамских древностей эпохи палеометалла // Цивилизации скотоводов и земледельцев Центральной Азии. МИЦАИ. Самарканд–Бишкек, 2005. С. 12–33.

Аманбаева Б. Э., Рогожинский А. У., Мэрфи Д. М. Могильник Шагым – новый памятник эпохи бронзы Восточной Ферганы // АИ в 2005 г. Тошкент, 2006. С. 256–265.

Аскаров А. А. Раскопки могильника эпохи бронзы в Муминабаде // ИМКУ. Вып. 8. Ташкент, 1969. С. 56–62.

Аскаров А. А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973.

Аскаров А. А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977.

Аскаров А. А. Культура и общество Древней Бактрии в первой трети I тыс. до н.э. // Раннежелезный век Средней Азии и Индии. Тезисы докладов Первого советско-индийского симпозиума. Ашхабад, 1984. С. 26–28.

Аскаров А. А., Абдуллаев Б. Н. Джаркутан (К проблеме протогородской цивилизации на юге Узбекистана). Ташкент, 1983.

Аскаров А. А., Альбаум Л. И. Поселение Кучуктепа. Ташкент, 1979.

Аскаров А. А., Буряков Ю. Ф. Некоторые итоги и перспективы развития археологии в Узбекистане // СА. 1978. № 2. С. 5–22.

Аскаров А. А., Ширинов Т. Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Самарканд, 1993.

Богданова-Березовская И. В. Химический состав металлических изделий Ферганы эпохи бронзы и железа // МИА. № 118. М.-Л., 1962. С. 219–234.

Богданова-Березовская И. В. Химический состав металлических предметов из могильников эпохи бронзы в Бишкентской долине // МИА. № 145. Л., 1968. С. 163–168.

Виноградов А. В., Кузьмина Е. Е. Литейные формы из Лявлякана // СА. № 2. М., 1970. С. 125–135.

Виноградов А. В., Мамедов Э. Д. Первобытный Лявлякан. М., 1975.

Виноградов А. В., Итина М. А., Яблонский Л. Т. Древнейшее население низовий Амударьи // ТрХАЭЭ. Т. XV. М., 1986.

Виноградова Н. М. Юго-Западный Таджикистана в эпоху поздней бронзы. М., 2004.

Виноградова Н. М., Кузьмина Е. Е. Контакты степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М., 1986. С. 126–151.

Галибин В. А. Металл раннего и развитого энеолита из могильника Пархай II // Энеолит Юго-Западного Туркменистана. СПб., 1997. С. 296–298.

Галибин В. А. Металл из могильника Пархай II // Эпоха бронзы Юго-Западного Туркменистана. СПб., 2002. С. 195–199.

Гулямов Я. Г., Исламов У., Аскаров А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. Ташкент, 1966.

Дегтярева А. Д. Металлообрабатывающее производство Казахстана и Киргизии в эпоху поздней бронзы (XII–IX вв. до н. э.). Автореф. канд. дисс. М., 1985.

Джуракулов М. Д., Аванесова Н. А. Новые исследования по Сазаганскому поселению // ИМКУ. Вып. 19. Ташкент, 1984. С. 32–40.

Дуке Х. И. Туябугузские поселения бургулюкской культуры. Ташкент, 1982.

Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы // МИА. № 118. М.-Л.,1962.

Заднепровский Ю. А. Чустская культура в Ферганской долине // Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М.,1966. С. 193–208.

Заднепровский Ю. А. К истории оазисного расселения в первобытной Средней Азии // КСИА. Вып. 167. М., 1981. С. 23–28.

Заднепровский Ю. А. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. Бишкек, 1997.

Исаков А. И. Саразм (К вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долины [раскопки 1977–1983 гг.]). Душанбе, 1991.

Исаков А. И., Потемкина Т. М. Могильник племен эпохи бронзы в Таджикистане // СА. 1989. № 1. С. 145–167.

Итина М. А. История степных племен Южного Приаралья (II–начало I тыс. до н.э.) // ТрХАЭЭ. Т. X. М.,1977.

Кирчо Л. Б. Металлические изделия эпохи энеолита и бронзы Алтын-депе // СА. 1980. № 1. С. 158–173.

Комаровская Ф. Г., Панарин С. А. Химический состав металлических изделий из памятников архаического Дахистана // КД. Вып. III. Ашхабад, 1970. С. 195–202.

Кузьмина Е. Е. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии // САИ. В4-9. М., 1966.

Кузьмина Е. Е. К вопросу о формировании культуры Северной Бактрии. «Бактрийский мираж» и археологическая действительность // ВДИ. 1972. № 1. С. 131–147.

Куфтин В. А. Полевой отчет о работах XIV отряда ЮТАКЭ по изучению культур первобытно-общинных оседлоземледельческих поселений эпохи камня и бронзы // ТрЮТАКЭ. Вып. VII. Ашхабад, 1956. С. 260–290.

Литвинский Б. А. К истории добычи олова в Узбекистане // Тр. САГУ. Нов. серия. Вып. 11. Ташкент, 1950. С. 51–68.

Литвинский Б. А., Окладников А. П., Ранов В. А. Древности Кайрак-Кумов (Древнейшая история Северного Таджикистана). Душанбе, 1962.

Мандельштам А. М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // МИА. № 145. Л., 1968.

Масимов И. С. Изучение памятников эпохи бронзы низовьев Мургаба // СА. 1979. № 1. М.,1979. С. 111–131.

Масимов И. С. Келлели – новый оазис эпохи бронзы низовий Мургаба // Новые исследования по археологии Туркменистана. Ашхабад, 1980. С. 3–21.

Масимов И. С. Новые находки печатей эпохи бронзы с низовий Мургаба // СА. 1981. № 2. С. 132–150.

Массон В. М. Памятники культуры архаического Дахистана в юго-западной Туркмении // ТрЮТАКЭ. Т. VII. Ашхабад, 1956а. С. 385–459.

Массон В. М. Поселения поздней бронзы и раннего железа в дельте р. Мургаб // КСИИМК. Вып. 64. М.,1956б. С. 61–67.

Массон В. М. Изучение энеолита и бронзового века Средней Азии // СА. 1957. № 4. С. 44–54.

Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы // МИА. № 73. М.-Л., 1959.

Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток. М.-Л., 1964.

Пьянкова Л. Т. Древние скотоводы Южного Таджикистана (По материалам могильника эпохи бронзы «Тигровая Балка»). Душанбе, 1989.

Равич И. Г. Технологическое исследование бронзовых предметов с поселения Кангурттут // АРТ. Вып. XVIII. Душанбе, 1978. С. 84–87.

Равич И. Г. Исследование технологии изготовления бронзовых предметов с поселения Кангурттут // АРТ. Вып. XXV (1985 г.). Душанбе, 1994. С. 170.

Равич И. Г. Особенности состава и технологии изготовления металлических изделий, найденных на поселении Кангурттут // Виноградова Н. М. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. М., 2004. С. 200–222.

Рузанов В. Д. К вопросу о металлообработке у племен чустской культуры // СА. № 4. М., 1980. С. 55–64.

Рузанов В. Д. История древней металлургии и горного дела Узбекистана в эпоху бронзы и раннего железа. Автореф. канд. дисс. М., 1982.

Рузанов В. Д. Древняя металлургия Таджикистана // История и перспективы развития горнорудной промышленности Средней Азии. К 60-летию Таджикско-Памирской экспедиции. Тезисы докладов Международной научной конференции. Худжанд, 1994. С. 85–88.

Рузанов В. Д. Результаты спектроаналитических исследований металла памятников тазабагъябской культуры // ИМКУ. Вып. 27. Самарканд, 1996. С. 200–204.

Рузанов В. Д. О хронологии металлического комплекса бургулюкской культуры // ОНУ. № 2. Ташкент, 1998а. С. 46-50.

Рузанов В. Д. Еще раз о хронологии чустской культуры Ферганы // РА. 1999. № 4. С. 24–37.

Рузанов В. Д. Дальверзино-чустко-бургулюкский очаг в системе металлообрабатывающих производств Средней Азии // История, культура и экономика юга Кыргызстана. Тезисы докладов Международной научной конференции. Т. 1. Ош, 2000. С. 31–37.

Рузанов В. Д. Карнабское касситеритовое месторождение – источник олова эпохи бронзы // ИМКУ. Вып. 31. Самарканд, 2000. С. 54–56.

Рузанов В. Д. К вопросу о истоках происхождения металлообработки сапаллинской культуры Южного Узбекистана (История Узбекистана в археологических и письменных источниках). Ташкент, 2005. С. 48–53.

Рузанов В. Д. Некоторые итоги изучения металла заманбабинской культуры // ИМКУ. Вып. 36. Самарканд, 2008. С. 48–50.

Сагдуллаев А. С. Усадьбы древней Бактрии. Ташкент, 1987.

Сарианиди В. И. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении // САИ. Б3-8. Ч. IV. М., 1965.

Сарианиди В. И. Древние связи Южного Туркменистана и Северного Ирана // СА. 1970. № 4. С. 19–32.

Сарианиди В. И. Афганистан в эпоху бронзы и раннего железа. Автореф. докт. дисс. М., 1975.

Сарианиди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.

Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Сарианиди В. И. Погребальные обряды Маргианы эпохи иранского язычества // Культурные ценности. Международный ежегодник 1999. СПб., 2001. С. 35–50.

Череножкин А. И. Согд и Чач. Автореф. канд. дисс. // КСИИМК. Вып. 33. М., 1950. С. 152–169.

Терехова Н. Н. Металлообрабатывающее производство у древнейших земледельцев Туркмении // Очерки технологии древнейших производств. М., 1975а. С. 14–75.

Терехова Н. Н. История металлообрабатывающего производства у древних земледельцев Южной Туркмении. Автореф. канд. дисс. М., 1975б.

Терехова Н. Н. Медно-оловянистые сплавы в технике металлообработки древних земледельцев Южной Туркмении // Естественные науки и археология в изучении древних производств. М., 1982. С. 12–22.

Терехова Н. Н. Обработка металлов в древней Маргиане // Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990. С. 177–202.

Удеумурадов Б. Н. Древние земледельцы Южной Туркмении // АВ. № 3. Ашхабад, 1994. С. 69–74.

Хлопин И. Н. Юго-Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы. Л., 1983.

Хлопин И. Н. Могильник Пархай 2 (Некоторые итоги исследования) // СА. 1989. № 3. С. 113–130.

Хлопин И. Н. Энеолит Юго-Западного Туркменистана. СПб., 1997.

Хлопин И. Н. Эпоха бронзы Юго-Западного Туркменистана. СПб., 2002.

Хлопин И. Н., Галибин В. А. Древнегирканский очаг металлообработки // Из. АН Туркм. ССР. Сер. общественных наук. № 5. Ашхабад, 1990. С. 88–91.

Черных Е. Н. Некоторые результаты изучения металла анауской культуры // КСИА. Вып. 91. М.,1962. С. 30-37.

Черных Е. Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР // СА. 1978. № 4. М., 1978. С. 53–82.

Щетенко А. Я. О контактах культур степной бронзы с земледельцами Южного Туркменистана в эпоху поздней бронзы (по материалам поселений Теккем-депе и Намазга-депе) // STRATUM plus. СПб, Кишинёв, Одесса, 1999. С. 323–335.

Якубов Ю. Бронзовый топор-кельт из Джиргиталя (случайные находки) // АРТ. Вып. XXVII. Душанбе, 2000. С. 55–57.

Alimov K., Boroffka N., Bubnova M., Burjkov Yu., Cierny J., Jakubov I., Lutz I., Parzinger H., Pernicka E., Radililovski V., Ruzanov V., Shirinov T., Starshinin D., Weisgerber Y. Prähistorisher Zinngewinnung in Mittelasien // Eurasia Antiqua. Bd. 4. Berlin, 1998. S. 137–199.

Alimov K., Boroffka N., Burjkov Yu., Cierny Y., Lutz Y., Parzinger H., Pernicka E., Ruzanov V., Syirinov T., Weisgerber Y. Research at Karnab, Uzbekistan // ИМКУ. Вып. 30. Самарканд, 1999. С. 80–87.

Berthoud T., Francaix J. Contribution a l´etude de la metallurge de Suse aux IV-eme millenaires. (Commissariat a l´energue Atomique). P., 1980.

Bobomulloev S. Ein bronzezeitliches Grab aus Zardcha Chalifa bei Pedjikent (Zeravshan-Tal). AMIT. Bd. 29. Berlin, 1997. P. 124–133.

Cierny J. Bronze Age tin mines in Central Asia // Kargaly International Field Symposium – 2002: Earliest stages of mining and metallurgy in northen part of Eurasia: Kargaly complex. Proceedings of Symposium. M., 2002. P. 76–78.

Kaniuth K. Metallobjekte der Bronzezeit aus Nordbaktrien. Mainz, 2005.

Parzinger H., Boroffka N. New results on prehistoric tin and bronze metallurgy in Central Asia // Kagaly International Field Symposium – 2002: Earliest stages of mining and metallurgy in northen part of Eurasia: Kargaly complex. Proceedings of Symposium. M., 2002. P. 71–75.

Parzinger H., Boroffka N. Das Zinn der Bronzezeit in Mittelasien I // AIT. Bd. 5. Mainz am Rhein, 2003.

Pumpelly R. Exploration in Turkestan. Wash., 1908.

Е. В. Антонова

О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ АНАУСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БМАК

За многие годы неустанных трудов В. И. Сарианиди исследовал в основном памятники Туркменистана и Афганистана разных эпох. Среди них преобладали поселения энеолита и эпохи бронзы. Огромную роль сыграл он в открытии и широких раскопках прежде неизвестной цивилизации – Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК). Яркий своеобразный феномен, несмотря на широкие контакты с окружающими культурами, обладал несомненной связью с предшествовавшими ему этапами энеолита и бронзы юга Туркменистана. С множеством явлений этой культуры, с таким даже относительно компактным комплексом, как печати или части их комплексов, связано бесконечное количество проблем. Поэтому в начале статьи представляется целесообразным ограничить поставленные в ней цели. Одна из них – показать, как более позднее и более внешне выраженное значение вещей проясняет более раннее, условно выраженное, схематизированное. Последнее обстоятельство – следствие бытования знаков в пределах относительно небольших коллективов с устным типом передачи информации (анауская культура), когда их внешняя выразительность относительно слабо проявлялась. С усложнением социальных связей возникает необходимость существования более детализированного и полного плана выражения знаков, язык которых благодаря этому мог быть понятен в пределах крупных коллективов. При этом, разумеется, и содержательная сторона знаков не оставалась неизменной, а усложнялась.

Таким образом, в этой статье рассматриваются гипотетически родственные группы культурных знаков. Автор опирается на положение Ю. М. Лотмана, что диахрония «не отрицает, а проясняет сущность синхронной организации для каждого момента» (*Лотман,* 1974, с. 4).

Автор сознательно избегает материалов за пределами опубликованных В. И. Сарианиди в каталоге 1998 г. (*Sarianidi,* 1998) и, в частности, многочисленных образцов, поме-

щенных в книге 1990 г. (*Сариниди,* 1990) как и во многих других изданиях. Это сделано для того, чтобы выявить некоторые общие тенденции, не вдаваясь в детали, присущие печатям, обнаруженным во многих поселениях Маргианы и тех, что обнаружены в Бактрии и соседних регионах.

Одна из основных целей настоящей статьи – внутренний анализ материалов БМАК, при стремлении избегнуть многочисленных аналогий как формальной, так и семантической их стороны. Исключение сделано в основном для данных хараппской и отчасти более поздней индийской цивилизации, чтобы совсем не лишать историко-типологического контекста данных анауской культуры и БМАК.

Для начала следует обратиться к генезису некоторых явлений культуры БМАК, к эпохе позднего энеолита, периоду Намазга III, или геоксюрскому (конец IV – начало III тыс. до н. э.).

В это время среди геометрических орнаментов выделяется крестообразная или ромбическая фигура, представляющая центр раппорта. Примечательно, что обрамляющие элементы поля, в котором она расположена, составлены парами треугольников из иных элементов, чем части центральной фигуры. Ромб и крест часто сочетаются, в ромбе, акцентируются четыре угла и центр, что придает ему крестообразную форму (*Сариниди*, 1965, табл. IV). Рядом с геометрической иногда помещается фигура козла или животного с провисшим брюхом.

Исследователи произведений изобразительного творчества ранних земледельцев давно установили характерную для этой эпохи строгую организацию пространства, в частности, изобразительных произведений. В нем доминирует центр и стороны, менее значимые с точки зрения заложенного в них содержания. В столь характерных орнаментальных композициях (какими они представляются современному человеку, хотя в древности, очевидно, были весьма многозначными) центр занимает особенно важное место. И в анауском позднеэнеолитическом орнаменте центральная фигура подчеркнуто велика и отличается большим количеством элементов от обрамляющих, составленных из треугольников. Это следует иметь в виду в связи с нижеследующими наблюдениями.

На сосудах этого времени практически не встречаются прежде более или менее распространенные изображения «деревьев». Красно-черные или одноцветные изображения, наносившиеся в основном на чаши, повторялись четырежды. В. И. Сариниди отметил распространение подобных мотивов в Фарсе, Сузиане, Самарре (*Сариниди,* 1965, с. 29–30; см. также: *Антонова,* 1981, с. 11).

Геометрические формы креста как будто не дают оснований видеть в нем изображение чего-то помимо условной фигуры. Однако настораживают изображения стоящих рядом животных, в древневосточном искусстве часто помещавшиеся около деревьев. В своей замечательной книге С. В. Иванов писал: «…в определенных исторических условиях орнамент не только мог, но и в действительности выполнял изобразительную роль, даже в тех случаях, когда состоял из одних лишь геометрических узоров» (*Иванов,* 1963, с. 6).

Еще одно обстоятельство: в пору ранней бронзы, когда еще бытовала позднее практически исчезнувшая расписная керамика, изображения уступчатых ромбов (расстояние между которыми начинает увеличиваться и они иногда изображаются как разделенные четыре ромба, а на их месте иногда появляется изображение «дерева» (Хронология, с. 351, 353). Уступчатые ромбы или кресты явно уступают место тому, что может быть названо «растением», демонстрируя этой заменой, что они именно их передавали. Известно и изображение эпохи поздней бронзы четырех деревьев, расположенных ромбом, основаниями друг к другу (*Антонова,* 1981, с. 11).

Таким образом, за изображением креста есть основание видеть четыре распластанных дерева, расположенные под прямыми углами друг к другу. Историки искусства неоднократно отмечали, что силуэтное, плоское изображение чуждо древнему искусству. Последнее заменяется таким, которое передает не то, что мы видим, а то, что знаем (*Groenewegen-Frankfort,* 1951, p. 7). О близкой такому принципу характерной «распластанности» гор и деревьев по берегам реки на рельефе во дворце Синнахериба писал Б. А. Успенский, комментируя работу Л. Ф. Жегина (*Успенский,* 1970, с. 67; *Жегин,* 1970).

Четыре элемента – это четыре дерева, основы мира, расположенные в его сторонах. При этом не следует упускать из виду, что крест «геоксюрского образца» имел не округлые, а угловатые очертания: это будет иметь значение для понимания дальнейших путей эволюции подобных фигур.

О том, что крест и его модификации были знаками особого рода в анауской культуре, амулетами и талисманами, можно судить по нанесению их на сосуды явно обрядового значения, в том числе для хранения пищи – так был украшен, в частности, хум с полихромной росписью в виде ступенчатых крестов в двух сетчатых полях (*Сариниди,* 1965, с. 10, рис. 2). Бусы-амулеты в виде ступенчатых крестов из камня бытовали на обширной территории, где была распространена, по терминологии П. Амье, «трансэламская» цивилизация (среди недавних упоминаний см.: Art of the First Cities, 2003, p. 353–355).

Примечательные формы печатей. Это не только не исключает, но скорее предполагает использование предметов такой формы в качестве печатей, гарантов сакральной охраны чего-либо. Л. Б. Кирчо указывает, что орнаменты древнейших печатей-амулетов и их оттиски (времени Намазга III), найденные на Алтын Депе, полностью аналогичны орнаментам керамики – кресту и его разновидностям (*Кирчо*, 1990, с. 176).

Таким образом, в орнаменте позднего энеолита анауской культуры явно нарастает тенденция передачи образа мира в обобщенной форме, какой она предстает нам, но могла быть для их современников и более конкретной. Если общая структура этого образа может быть выявлена при анализе орнаментов, то о конкретном воплощении того, что стояло за его элементами, судить труднее. Ясно лишь, что важную роль играли «деревья» (растения вообще) и животные, а если учесть, что и в эту эпоху, как и ранее и позднее, изготавливали фигурки мифических антропоморфных существ, то и они тоже.

На широту распространения геоксюрского комплекса далеко от коренной территории, орнаментальных мотивов, среди которых есть и крестообразные, указывают их находки в Систане, на Зеравшане и в более отдаленных местах, чему посвящено много исследований. А.-П. Франкфор, рассматривая проблему генезиса БМАК, видит ее именно в комплексах типа Намазга III, когда устанавливаются широкие связи с Ираном и Белуджистаном. В это же время происходят события эпохального значения – «урукская экспансия» и расширение протоэламского влияния, начинает формироваться цивилизация долины Инда (*Francfort,* 2005, p. 255–261).

Наряду с другими орнаментальными мотивами С. В. Иванов уделяет особое внимание квадратам и ромбам с продленными сторонами, отмечая их широкую распространенность. По его мнению, их угловатая форма – результат влияния ткачества и вышивки, произошли же они от кругов с лучами. Он отмечает большую древность таких фигур, не исключая того, «что с их помощью различные народы в различное время выражали различные идеи, в одних случаях связанные с миром растений (а, может быть, и животных), в других – солнцем, звездами и т. д.» (*Иванов*, 1963, с. 442).

Возникновение и распространение таких орнаментов у разных народов и на разных территориях может, по его мнению, объясняться обращением их создателей к древности,

в частности, к сетчатому орнаменту. С переходом к вышивке и ткачеству узоры стали богаче и разнообразнее, однако не утратили «своих конструктивных и композиционных особенностей» (*Иванов*, 1963, с. 448–449).

Развитость ткачества и шитья у ранних земледельцев Востока, начиная с ранних этапов развития производящего хозяйства, не вызывает сомнений. С. В. Иванов писал о том, как при помощи мелких треугольников или углов квадраты или прямоугольники могли принимать различную форму, в том числе ступенчатых ромбов. Подобные фигуры могли играть самостоятельную роль, и их фоновое происхождение могло забываться. В таком случае они становились, в частности, восьмиконечными розетками. Он подчеркивал, что в народном сознании подобные знаки не имели «смыслового значения» (с. 459, 461). Тем не менее, они не были его вовсе лишены, поскольку, принадлежа тем или иным способом к контексту ритуального характера, они приобретали ритуально-мифологические ассоциации (с. 329, 346–347, 350). В условиях формирования более чем прежде, четких обрядово-мифологических комплексов на фоне усложнения отношений в обществе возникает потребность в выразительных знаках, моделировавших образ мира и его частей. Источником этих знаков была традиция, до определенного момента переживавшая этап формирования, аморфная. Эпоха Намазга III с ее динамизмом, широкими связями с более развитыми регионами, судя по многочисленным данным, была именно таким временем.

Невозможно обойтись без, очевидно, не нуждающегося в доказательствах замечания, что крестообразные фигуры обязаны широтой своего распространения не только (а может быть, и не столько) особенностям технических приемов, принятых у тех или иных групп, но практически универсальному (по крайней мере с некоторых пор) представлению об основополагающей важности образа мира с его четырьмя сторонами света и потребностью в его визуальной реализации.

Возвращаясь к предположению С. В. Иванова о происхождении ромбических фигур от кругов, следует, по-видимому, вспомнить о том, что круг и квадрат играли взаимодополняющую роль в моделировании горизонтальной модели мира во многих традициях. С этой точки зрения интересно толкуют подобные фигуры с лучами и выделенным центром на памятниках окуневской культуры эпохи бронзы Южной Сибири. В них усматривают не только пространственный, но и временной аспект образа мира (*Леонтьев, Капелько, Есин*, 2006, с. 57–64). Несмотря на предположительность истолкований отдельных образов подобного рода на основании инокультурных аналогий, направление исследований представляется чрезвычайно интересным и перспективным.

В пору бронзы с распространением гончарства орнаменты на сосудах постепенно исчезают. Однако генетическую связь с ними обнаруживают так называемые знаки на антропоморфных статуэтках, облик которых резко меняется. Теперь это плоские фигуры с распростертыми в стороны руками и широкой нижней частью, лишь слегка снизу отогнутой вперед. Они многократно публиковались, так что детально описывать их нет необходимости. Детали фигурок (прически, черты лица, у мужских – полового органа, у женских – груди) налеплялись. Некоторые детали прочерчивались, но особенно среди них примечательны «знаки».

Хотя фигурок такого вида в эпоху Намазга V делали много, лишь некоторые из них отмечались прочерченными древовидными и геометрическими фигурами. Поскольку эти вещи многократно публиковали и описывали, остановлюсь лишь на некоторых их важных в контексте настоящей работы особенностях. Наиболее распространенным было изображение «дерева», покрывавшее часть или всю фигурку, и вырастающее из полового органа (его изображали и на относительно немногочисленных мужских статуэтках).

На плечах и в нижней части тела помещались углообразные «щетинистые» фигуры. Они представляли собой половинные варианты ромбических фигур, которые можно считать, если не входить в систему доказательств в пределах этой статьи, поздними вариантами тех крестообразных и ромбических «деревьев», которые являлись схематизированными образами мира в позднем энеолите.

Углообразные фигуры на плечах, принимая во внимание их место в образе мира, могут рассматриваться как боковые элементы этого образа, при этом «половинные» формы указывают на их не центральное, а периферическое положение в трехчленных структурах. Крестообразные завершения некоторых знаков заставляют еще раз вспомнить о крестообразной форме самих фигурок. В целом же не приходится сомневаться в том, что эти фигурки соотносились с образом мира их создателей. Вряд ли правомерно видеть в таких фигурках образы только неба или земли, хотя в конкретных обрядах могли акцентироваться отдельные элементы фигуры мифического образа или образов и подчеркиваться их значение.

Происхождение знаков от орнаментальных мотивов предшествующих периодов вряд ли может вызывать сомнения (*Антонова*, 1972; *Массон, Сариниди,* 1973, с. 115). Характер расположения их на фигурках и сами крестообразные формы этих вертикально ориентированных изображений позволяют думать, что перед нами – целостный образ мира в его горизонтальном и вертикальном устройстве. В возникновении и существовании мира определяющую роль играют мифические представления о действиях существ женского и мужского пола, благодаря которым мир наполняется изобилием, символизируемым растительностью. Более конкретные определения семантики знаков представляются пока маловероятными.

Между материалами анауской культуры и БМАК можно обнаружить множество различий. И все же старые традиции сохранялись в недрах новых культурных образований, особенно если речь идет о глубоких пластах, связанных с основополагающими представлениями об образе мира. Так, в погребениях эпохи бронзы на Алтын-депе найдены металлические печати, около четверти которых продолжают сохранять крестообразные формы, характерные для энеолитической эпохи (Хронология, с. 410).

Среди многочисленных печатей-амулетов БМАК существует группа в основном медно-бронзовых и отчасти каменных. Изданный В. И. Сариниди каталог печатей разных форм, из различных материалов, содержит около 1800 образцов, большая часть которых (около 1500) происходят из грабительских раскопок в Афганистане и хранится в различных коллекциях, и лишь небольшая часть была обнаружена при научных раскопках на территории Туркменистана и соседних республик. Недокументированность многих образцов вместе с большим разнообразием изображений и форм создает немалые трудности при исследовании этих важных материалов.

Автор каталога пишет, что большинство печатей имеют круглые очертания; к таким близки и многолучевые розетки. Известны гораздо менее многочисленные прямоугольные образцы и фигурные печати. Обращают на себя внимание в основном каменные изделия в виде ступенчатого креста или ромба; многие из них (а также прямоугольные) имеют изображения на двух сторонах. Относительно немногочисленны цилиндрические печати. В. И. Сариниди отмечает, что изображения на каменных печатях повторяют изображения на медных. Наконец, очень небольшая, но важная группа – с настоящими композициями, животными, божествами и т. д. Естественно, они в первую очередь вызвали интерес исследователей, а не относительно однообразные и гораздо более многочисленные образцы геометрических форм (*Sarianidi,* 1998, p. 23-47).

Но именно последние изделия интересуют автора настоящей статьи. Как уже говорилось, они в основном округлые (прямоугольных среди них относительно мало) и имеют форму геометрических или близких им «цветочных» мотивов. Среди них многочисленны ажурные. Эти условно именуемые розетками фигуры имеют разное количество лучей или лепестков и бывают заключены в круг или имеют более сложные очертания и почти всегда подчеркнуто выделенный центр. Число учтенных образцов в Бактрии и Маргиане различно (соответственно, согласно каталогу В. И. Сарианади, около 250 и 50), что объясняется количественными различиями комплексов.

Хотя геометрические формы преобладают в печатях интересующей нас группы, бросается в глаза обилие на них растительных мотивов, особенно многочисленных и разнообразных в бактрийском комплексе. Расположенная в центре крестообразная фигура «процветает» различными способами и становится «деревом». Среди способов такого превращения – умножение числа лучей, идущих от центра (здесь и далее номера образцов даются по каталогу В. И. Сарианиди – ***Sarianidi***, 1998 – без указаний на него: 314, 316, 321 и мн. др.), или сплошное заполнение всего пространства лучами-ветвями, причем центр не акцентируется (547–551 и др.); в этом случае «дерево» занимает всю поверхность, но все равно она делится на четыре сектора. Одна из разновидностей – наделение рукавов креста восемью лучами-перемычками, идущими к ободку (312–313, 317, 520–534 и др. – таких более 30). Ступенчатый крест приобретает древовидную форму и за счет шестнадцати лучей из углов (566).

Существенно, что формы печатей при общей тенденции к округлости не превращались в абстрактное поле для изображения. Так, и в Маргиане, и в Бактрии бытовали печати в виде ступенчатого креста с двусторонними изображениями (888, 891, 951, 963, 995, 1098 и др. в Бактрии; 1617, 1621, 1635, 1648, 1672 и др. в Маргиане). Эта форма – продолжение традиции, прослеженной еще в энеолите, но приобретшей новые черты.

В круглом ободке или без него изображались фигуры с разным числом элементов – от трех до девяти. Десять и более относительно редки. При рассмотрении таких печатей наиболее показательны особенно многочисленные бактрийские. Примечательны ступенчатые кресты разных вариантов в ободке (349–352, 379–382, 391 и др. – всего 15 образцов) и без ободка (379–380, 382, 394–395 – 5 экземпляров). Особенно распространены кресты с вариантами в круге – 301–363.

Хотя число маргианских материалов не столь велико, обнаруживаются некоторые общие тенденции, сближающие их с бактрийскими. Так, на общем фоне относительно многочисленны печати с крестообразными мотивами (9 экз.: 1575–1577, 1582–1583, 1586, 1591, 1593–1594), хотя в Бактрии их несравненно больше – более 60 (301–363). При общей немногочисленности образцов с 5, 6, 7-ю и проч. компонентами, значительно число с восемью – около 80 в Бактрии (683–720 и др.) и около 20 в Маргиане (1568, 1597, 1602–1605 и др.).

При углубленном анализе интересующих нас печатей проясняются некоторые, на первый взгляд неочевидные характеристики этих геометризованных фигур. Во-первых, их во многих случаях явное подобие цветкам разных форм, что усиливается выделенным в центре кружком, хотя в зависимости от формы (угловатости) основной фигуры в центре изредка помещали квадраты и ромбы. В ряде случаев удается проследить трансформацию ступенчатого ромба в подобие восьмилепестковой розетки (475–483). Во-вторых, что представляется важным, усложнение фигур, их «многокомпонентность». Минимально – это два элемента: центр и «лепестки» или крестообразная фигура. Более сложные:

трех или четырехэлементные: кружок, потом крест, лепестки, лучи или другие фигуры и, наконец, круглый ободок. (В малогеометризованных растениях, по свидетельству В. И. Сарианиди, более или менее уверенно распознаются мак, тюльпан, эфедра (859, 861–863 – 1998, p. 45).

Для изображений на печатях характерна плотность рисунка, стремление заполнить все пространство. Известны круглые и прямоугольные, лишенные изображений и полностью заполненные решетками (733, 815–819). Встречаются и «решетки», имеющие в средней части крест (810–814).

В. Н. Топоров писал о характерных для архаической модели пространства оживотворенности, одухотворенности и качественной разнородности. Оно не предшествует вещам, а конституируется ими. Пространство не отделено от времени: «Любое полноценное описание предполагает определение «здесь-теперь», а не просто «здесь» (*Топоров,* 1982б, с. 340). Все это в полной мере относится к печатям БМАК геометрических форм. Подвижность их элементов и того, что они символизируют, выражается различными способами. Это свастики, круглые и квадратные, составленные из четырех групп линий (799–803, 805), вихревыми розетками с элементами змей, сгруппированными по три, четыре, шесть (255–262, 795, 796,798) и козлов (100–106). Среди них – обилие динамичных жгутовидных мотивов, составляющих обрамляющий круг или заполняющих поле печати (*Антонова,* 2005). Наконец, это сам обрамляющий круг, который становится доминирующим в это время, круг, который ограничивает внутреннее конечное пространство, хотя само круговое движение, его образующее, потенциально бесконечно (*Топоров, Мейлах,* 1982, с. 18–19).

На территории Афганистана и Узбекистана были раскопаны два сооружения необычного плана. Первое имело наружные коридоры по углам и Т-образные коридоры у каждой стены; второе – по два наружных коридора у каждой из стен, расположенных так, что они образовывали свастику (*Антонова,* 1984, с. 72, 74). Планировка стен этих сооружений напоминает орнаментальные мотивы и служит еще одним указанием на постоянное стремление носителей культуры создать образ особенно организованного и при этом подвижного пространства.

Анализ печатей БМАК с геометрическими мотивами позволяет предполагать, что основополагающую роль в образе мира играли круг, квадрат и крестообразная фигура. Сочетание круга и квадрата образовывали горизонтальную плоскость, вероятно, контур неба и земли. Крест определял основные направления, идущие от центра – недаром столь значительна роль четырех- и восьмиконечных фигур, определяющих основные и промежуточные направления. (Об этих фигурах см. подробнее: *Топоров,* 1980, с. 630; 1982а, с. 12–14; *Топоров, Мейлах,* 1982, с. 18–19). Но крестообразная фигура моделировала и вертикаль (вспомним, что такую форму имеют практически стоящие фигурки Намазга V).

А.-П. Франкфор обратил внимание на то, что «цивилизация Окса» почти систематически добавляет на печатях измерение, которое можно назвать вертикальным. Существуют двусторонние изображения, а перегородчатые печати имеют на оборотной стороне резное изображение. Известны вертикально ориентированные медные печати, представляющие навершия булавок. На некоторых цилиндрических печатях изображения делались и на торце. Все это отличает их от печатей долины Инда, Месопотамии и Персидского залива, изображения на которых помещались только на одной поверхности (*Франкфор,* 1997, с. 67).

На актуальность в представлениях персонажей, обладавших возможностью перемещаться по вертикали, указывают многочисленные крылатые существа – не только птицы

(среди которых особенно характерны хищные, фантастические львоподобные грифоны), но также змеи и антропоморфные создания.

Выразительный образ мира – многолепестковая печать, на плоской стороне которой изображены животные, а тыльная представляет крестообразную многоступенчатую пирамиду с округлым навершием, явно выражающую вертикальный образ мира (99). Вид сверху тыльной стороны – это вариант печатей со многими лепестками, сгруппированными в четыре группы, и центром в виде круга или круга с ободком, с той разницей, что этот центр в данном случае выделен высоким рельефом.

Кружки с одним или двойным ободком – постоянный центральный элемент центра печатей с геометрическими изображениями. Как известно, центр – наиболее важное место в образе мира, источник возникновения его и всех вещей. К сожалению, подобные им изделия мне удалось обнаружить пока только в виде дисковидных обожженных «жертвенников» с центральным углублением и ободком, с золой внутри в энеолитических поселениях, предназначавшихся предположительно для домашних обрядов, включая погребения (*Сариниди,* 1965, с. 14). По мнению И. Н. Хлопина, они были «солнечными жертвенниками» (*Хлопин,* 1964, с. 164–165).

Очень важными оказались находки в энеолитическом Илгынлы-депе. Здесь в семантически важных частях многочисленных построек были обнаружены дисковидные очаги-жертвенники с бортиком и ямкой-жаровней в центре (*Соловьева,* 2005, с. 8). Благодаря тщательным раскопкам удалось установить, что постройки специально поджигали, намеренно разрушая, чтобы на их месте воздвигнуть новые. Образы целенаправленного разрушения и нового строительства в этих материалах очень наглядны. Таким образом, огонь, помещавшийся близ центра (хотя может быть не только здесь) в круглом очаге с ободком, аналоге средней части печатей эпохи бронзы, служил знаком гибели и возрождения. Не исключено, что с огнем прямо или опосредствованно был связан и центральный кружок на печатях, хотя это не единственное возможное предположение.

В этом очерке автор старался показать, что в культурах древности, преемственность в трансформациях которых можно предполагать, исследованию семантики культурных знаков может способствовать их анализ на разных этапах существования. В древних культурах появление новых знаков даже в изменившихся исторических условиях происходит скорее благодаря модификации традиционных знаков в результате внутреннего развития культур и сопряженных с ним внешних связей. В позднем энеолите на фоне усложнения состояния общества нарастает визуализация образа мира. В основе его лежит геометризованная четырехконечная фигура, связанная с образами растений и, вероятно, уже в это время антропоморфных и зооморфных мифических существ. В эпоху развитой бронзы визуализация образа мира усиливается, что находит выражение, в частности, в статуэтках со знаками.

Особенно заметные перемены происходят в пору существования БМАК. Печати и амулеты явно об этом свидетельствуют. Антропоморфные существа, фантастические и реальные животные, растения, усложнившиеся геометрические мотивы – все предполагает и усложнение образа мира, которому сопутствует его возрастающая визуализация. Печати, рассмотренные в статье, являются усложненными и дифференцированными образами мира, который символизируется многосторонними фигурами и растительными мотивами. Большое количество и разнообразие изобразительных мотивов указывает на актуальность этого образа мира, на жизненную важность его для людей.

В начале статьи говорилось, что автор старается избегать аналогий, ставя иные цели. Все же некоторые стороны назначения печатей и изображений на них могут быть прояс-

нены при обращении к исследованиям хараппской культуры, близкой по времени существованию БМАК. Быть может, их носители хотя бы отчасти были этнически близки. Здесь приводятся лишь некоторые и чрезвычайно краткие примеры из той огромной литературы, которая посвящена хараппской цивилизации и ее наследию.

В ходе исследования материала постоянно сталкиваешься с образами растений, которые бывают более или менее схематизированы или геометризованы. М. Ф. Альбедиль (1994, с. 220 и сл.) вместе со многими авторами, отмечает, что в традиции Востока – решение задач космологических классификаций с помощью растений и животных: их использовали для измерения и отсчета времени, для определения возраста и статуса человека, границ сезонов, начала сезонных работ и т. д. Растения ассоциировались с каждым правителем, а определенными цветами обозначались разные этапы похода или различные виды боевых действий. Таким же образом определялись моменты жизни людей. Растения отождествлялись с планетами, сезонами и со всеми изменениями в природе.

Изображения на одиночных и многофигурных хараппских печатях связывают с хозяйственной жизнью, с образами божеств, имеющих отношение к плодородию, покровителями года, сезонов, созвездиями и отдельными небесными светилами (*Волчок,* 1972, с. 293–298).

В связи с «многолучевостью» анализируемых печатей невозможно не упомянуть почитание направлений – характерную черту индийцев с древнейших времен до наших дней. Боги направлений пользовались постоянным почитанием. Воплощалось это и на «низовом» уровне. Особенно в Южной Азии были распространены «чакра» или «янтра». Это – металлические пластины, вложенные в цилиндр. Женщины носили их на шее, мужчины – около пояса или на предплечье. На этих амулетах обязательно наносились символы восьми направлений света.

Символы различным образом комбинировались на обеих сторонах пластины. Тамильские дети носили пластины, на одной стороне которой были изображены 16 квадратов, на другой – круг, разделенный на восемь сегментов. Такие обереги защищали владельца от всего плохого, приходящего со всех восьми направлений, а почитание направлений – характерная черта индийцев с древнейших времен до наших дней (*Волчок,* 1972, с. 271).

Очень вероятно, что такое почитание направлений, четыре и восемь из которых имели место, по крайней мере, в БМАК, если не раньше. К сожалению, значение иных чисел, связанных, в частности со счетом времени в хараппской культуре и позднейшей Индии, на нашем материале пока не поддается убедительной интерпретации. Однако все рассмотренные материалы склоняют к выводу, что образ мира, реализовавшийся, в частности, в сторонах света и растениях (о других наполняющих их существах здесь речи не было), играл важную роль знака человека, его принадлежности к космосу и оберега.

Литература

Альбедиль М. Ф. Протоиндийская цивилизация. Очерки культуры. М., 1994.

Антонова Е. В. К вопросу о происхождении и смысловой нагрузке знаков на статуэтках анауской культуры // СА. 1972. № 4.

Антонова Е. В. Орнаменты на сосудах и знаки на статуэтках анауской культуры (к проблеме значения) // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М., 1981.

Антонова Е. В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт реконструкции мировосприятия. М., 1984.

Антонова Е. В. К интерпретации жгутовидных мотивов на вещах Бактрийско-маргианского археологического комплекса // ВДИ. 2005. № 1.

Волчок Б. Я. Протоиндийские божества // Сообщение об исследовании протоиндийских текстов II. Proto Indica: 1972. М., 1972.

Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства). М., 1970.

Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX–начала XX вв.) // Народы Севера и Дальнего Востока. ТрИЭ. Нов. серия. Т. 81. М.-Л., 1963.

Кирчо Л. Б. Древнейшие печати и их оттиски из Алтын-депе // СА. 1990. №. 3.

Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы // Институт русского языка. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 60. М., 1974.

Массон В. М., Сариниди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. Опыт классификации и интерпретации. М., 1973.

Сариниди В. И. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении. (САИ Б 3–8). М., 1965.

Сариниди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Соловьева Н. Ф. Антропоморфные изображения и культовые комплексы Южного Туркменистана поры среднего энеолита (по материалам раскопок Илгынлы-депе). Автореф. … канд. дисс. СПб., 2005.

Топоров В. Н. Квадрат // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.

Топоров В. Н. Крест // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982а.

Топоров В. Н. Пространство// Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982б.

Топоров В. Н., Мейлах М. Б. Круг// Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982.

Успенский Б. А. К исследованию языка древней живописи // *Жегин Л. Ф.* Язык живописного произведения (Условность древнего искусства). М., 1970.

Франкфор А.-П. Печати Окса: разнообразие форм и изменяемость функций // ВДИ. 1997. № 4.

Хлопин И. Н. Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита. Опыт исторического анализа. Л., 1964.

Хронология // Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын-депе) // РАН. ИИМК. Т. XVI. СПб., 2005.

Art of the First Cities. The Third Millenium BC. from the Mediterranean to the Indus \ J. Aruz, R. Wallenfels (Eds.). The Metropolitan Museum of Art. N.Y., New Haven., L., 2003.

Francfort H.-P. La civilisanion de l'Oxus et les Indo-Ariens en Asie Centrale // Fussman G., Vellens J., Francfort H-P., Tremblay X. Âria s, Ariens et Iraniens en Asie Centrale. P., 2005.

Groenewegen-Frankfort H. F. Arrest and movement. An essay on space and time in the representational art of the ancient Near East. L., 1951.

A. Benoit

SOME THOUGHTS ON THE COSMETOLOGY OF THE NEAR EAST DURING THE THIRD MILLENNIUM B. C.: CONTAINERS AND CONTENTS

For the purposes of this article, cosmetic products will be considered as those falling within the definition given in 1978 in a Directive of the EEC Member States aimed at protecting the consumer. According to the Directive "all substances and preparations that are to come into contact with different surface areas of the human body – the skin, hair, nails, lips, and external genital organs, as well as the teeth and mucous membranes of the mouth – and which have the exclusive or necessary objective of cleaning or perfuming such areas, as well as protecting them to ensure they are maintained in a good state, modifying their appearance, or correcting body odours[1]".

[1] Council Directive 76/768/EEC of July 27 1976 concerning the harmonisation of the legislation of the member States with regard to cosmetic products, J.O. No. L 262, 27/09/76.

The cosmetics employed during the period under consideration were make-up products, principally for the face, and perfumes – or rather perfumed oils - for use on the skin and hair. In Egypt, statues of divinities were treated in the same way as living bodies, and they were similarly perfumed with cosmetic substances. Fragrant creams were smeared over foundation bricks and the *temenos* platform of certain temples, and there is also the example of the goddess Ninsun washing herself with soap when Gilgamish and Enkidu were about to leave for the Cedar Forest to kill the giant Humbaba: "Then Ninsun went into her chamber, and washed by rubbing herself with saponin" (Tablet III, 35). However, we have no formal attestations of cleansing products for the third millennium.

The emergence of such products designed for the care of the body reflects a new concern on the part of populations for the well-being of their bodies; people now wanted to improve their appearance and to make themselves look more attractive and pleasing. These tendencies can probably be dated to that moment of History in the fourth millennium B. C., when there was a change from a world based on villages to one where towns were emerging. Men now placed themselves in the centre of their universe, and started thinking about their appearance and how they could make themselves more attractive**.** The "urban revolution" moreover, provides us with material clues to this change in mankind's consciousness, for it was a time when a new art, and new products and objects were produced, which attest to the different conception men and women now had of themselves.

Man became the preferred subject of stone sculpture, the major artistic activity of the late Uruk period, and appeared in all its forms: sculpture in the round, as well as high and low relief, and even the sunken low relief of glyptic art. He occupied the primary position, and was represented as priest-king and Master of the Animals, and even, on many Susa seals, as an ordinary member of the community carrying out his daily occupations (fig. 1)**.** One consequence of man's new attitude to his image was that artists henceforth went to great pains to reproduce a faithful image of their models and to respect a real scale, in keeping with the canons of what Pierre Amiet referred to as «human realism». Such was the context in which make-up and perfumes began to develop. *The Epic of Gilgamesh* defined civilised man as opposed to non-civilised man not only in terms of the fact that the former dwelt in a town, and lived on bread and beer, but also on account of his newfound interest in caring for his body and appearance:

> *«Enkidu ate the bread until he was sated, he drank the ale, a full seven goblets.*
> *His mood become free, he started to sing, His heart grew merry, his face lit up.*
>
> *The barber groomed his body so hairy anointed with oil he turned into a man».*
>
> (*George*, 2000, Tablet II, p. 14)

We have evidence of man painting and tattooing his body as far back as the Palaeolithic: iron-based red and yellow pigments, and black pigments with a carbon, or manganese dioxide base dating to more than 10 000 B. P have been found. (*Walter, Lévêque,* 2000, p. 82). But what was new in the fourth millennium was that man now began to take an interest in his face. New accessories like mirrors (*Tallon,* 1987, nos. 1223–1232) provided a better reflection than the troubled one given previously by the reflecting surface of water. The result was that artificial products could be minutely applied – not only to beautify, but also to protect, for the different substances employed combined real therapeutic and even magical properties alongside those designed to improve the users' beauty.

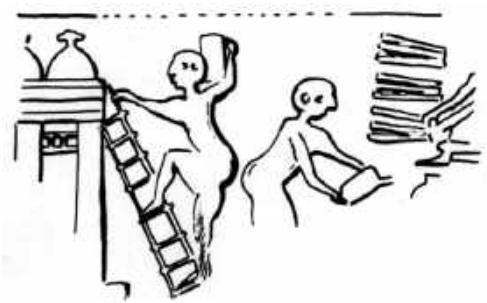


Fig. 1. Storing of the harvest in a domed loft (*Amiet,* 1972, II, no. 663).

Fig. 2. Hedgehog vase in alabaster from Susa with three spouts (*Louvre,* Sb 3030).

The existence of cosmetic products is attested in two ways: first, through the receptacles where they were stored – numerous small containers linked with cosmetology have survived– and secondly, through the contents themselves. Cosmetic products are mentioned in ancient texts, but only a few rare examples have come down to us in the form of residues which can be analysed. We have more make-up residues than perfume remains. These residues are usually found in powder form at the bottom of their containers, although originally they might well have been in the form of a cream or paste, in those cases where the excipient (water or oil for the East, the same for Egypt but with the occasional addition of animal fat) gave them this consistence. Moreover, powder and paste were not necessarily independent of each other: powder make-up kept in a receptacle could become a creamy paste when it was used.

This article is a tribute to Professor Sarianidi, who through his tireless excavations in Central Asia brought to light significant evidence concerning the great interest which the societies of Margiana and Bactria had for cosmetology. We shall attempt to bring together all the available data and information on the subject, and outline a few suggestions for future analysis and reflection.

The utensils employed for applying make-up, such as the spoons and spatulas for mixing powders and adding binders, and the kohl applicators with a small rounded end and decorated at the top with a figurine will not be dealt with in this article.

The beginnings of cosmetology in the fourth millennium

Since virtually no residues are extant from this period we can only trace the beginnings of cosmetology through a series of small containers used for storing rare and precious products, such as the baked clay and stone cornets from Susa – some with a small conical protuberance at one end (4200–3800 B. C.) (Sb 3107, Sb 365, Sb 3106 A and B, Sb 3114 in the collections of the Musйe du Louvre), dating from the Susa I period

In the following period of Susa II, or to be more precise, the one corresponding with the Late Uruk period from 3300 to 3100 B. C., these cosmetic containers became zoomorphic. Most were carved out of alabaster and in the shape of animals, principally birds of prey and hedgehogs. Hedgehog-shaped containers can have up to three spouts (fig. 2), corresponding to three very small, separate cavities which were not inter-connected. The products in the containers were so precious that they were kept in small quantities, and a narrow stopper was placed in

the neck of the receptacle to prevent the valuable substances from evaporating and to protect them from all contact with the air and light. The same receptacle probably grouped together different products so that they could be mixed, but this remains hypothetical.

The choice of the hedgehog-shape was not fortuitous. We know that in the seventh to sixth centuries B. C., earthenware hedgehog-shaped *aryballi* were used for storing cosmetic products (Musée du Louvre Exhibition catalogue, 2005, nos. 369–372), and it seems reasonable to deduce that the zoomorphic containers of Susa II had the same function. Since hedgehogs were known to kill mice, serpents and scorpions, they were considered to have some kind of magical power, and offerings were made to them in order to procure their help (*Buchholz*, 1995).

Fig. 3. Hedgehog-vase in clay, from Tchoga Mish (*Stöllner*, 2004, no. 21, p. 574).

Birds of prey attack the same animals as hedgehogs, and containers were therefore also made in their shape in the belief that such receptacles would protect the precious products they enclosed. This intimate relationship between shape and content continued into the third millennium.

A different interpretation can perhaps be advanced for the substance found in the hedgehog-vase discovered at Tchoga Mish in an Uruk III stratigraphy, and now in the Iran Bastan Museum at Tehöran (fig. 3) (*Stöllner,* 2004, no. 21, p. 574). Several factors, including the size of the vase – 15.5 cm long, 9.4 cm wide and 11.5 cm high – the clay from which it was made, and above all its rhyton-shape, suggest that it did not contain a powder or paste but a liquid product poured in through an opening on the back of the animal, and poured out through the hedgehog's snout drawn out to form a tubular spout**.** Since hedgehog-vases protected cosmetic products, it seems probable that this vase contained a body-oil, a product which might have been scented, for oil was employed as an excipient in ancient perfumes. A small zoomorphic vase in the shape of a bird now conserved in the Berlin Museum is also thought to have been a receptacle for body oil (Das Vorderasiatische Museum, 1992, no. 21, p. 68)

The use of make-up and perfumes becomes established in the third millennium B. C.

Our knowledge of cosmetic products of the third millennium is more precise, for we have numerous written and material data for this period.

A) Make-up

In the third millennium man's interest in his physical appearance increased, and mirrors – the objects which reflected his image – became more numerous. These mirrors had plain or Hathoric handles, and there was sometimes a decorative part linking the handle part with the reflecting surface (*Sarianidi,* 2008, *no. 165*, p. 281). Some were not provided with a handle, thus facilitating their storage in round boxes with a mosaic décor, like the one found in tomb 1999 at

Gonur (*Sarianidi,* 2007, p. 114, *no. 206*), or in metal boxes which occasionally had a protective serpent on the lid (*Ligabué, Salvatori,* 1988, no. 87, p. 220) (fig. 4, 5 – see color insert).

Make-up seems to have concerned women more than men. At Ur, make-up cosmetics, contained in large cockle-shells, were systematically deposited in women's tombs (*Woolley,* 1934, vol. I, p. 245), whereas at Gonur such make-up was mostly found in bottles provided with applicators (*Sarianidi,* 2007, p. 92). However, in the warrior's tomb 2900, one such bottle was discovered next to the male personage, and not beside his wife (*Sarianidi,* 2007, p. 148).

a) Textual sources

The texts provide us with more information on the use of make-up cosmetics and their magical qualities than on their exact composition or the techniques used in their fabrication.

In the text *The Descent of Inanna into the Underworld*, we read of how the goddess Inanna prepares for her descent into the Underworld. She puts on all her jewellery and then makes up her eyes with a cosmetic called «let him come, let him come» (*Bottero,* 1989, p. 277) By using this make-up the goddess not only increased her powers of seduction, but also gave herself the same kind of magical protection as the one provided by the jewellery with which she adorned her body.

Eye make-up was also used for the animals offered to the gods. In the text of the *Stele of the Vultures*, King Eannatum is described as presenting two doves to each of the six great deities of the Sumerian pantheon, each of whom he invokes in turn, in thanks for the victory they granted him over the city of Umma. Before offering the doves, he paints the surrounds of their eyes with kohl and pours cedar-perfumed oil over their heads. He addresses Enlil, the god of the atmosphere and the ruler of all the gods, in the following way:

> *«I, Eannatuma, I am indeed very wise! Two doves: on their eyes i put kohl, on their heads i placed cedar resin, for Enlil, the King of the Sky and the Earth, towards E-kur of Nippur i let them go»*
>
> (*Sollberger, Kupper,* 1971, p. 51)

Kohl, referred to as *guhlu* in Sumerian, was one of the most frequently used cosmetic products (*Joannès,* 2001, p. 632). It was a bluish-black paste that was applied to the eyelids in order to accentuate the intensity of expression, and also probably to treat eyes when they became purulent from illness or over-exposure to strong light.

b) Detailed identification of the products employed.

Special make-up was used for different parts of the face. In the Near East during the third millennium, we only have evidence of make-up for the eyes and cheeks. The more extended and more varied information provided by Ancient Egypt helps widen our knowledge.

– Information on products used in Egypt

By the end of the nineteenth century chemists had already proved that in ancient Egypt a wide range of mineral substances were used in the production **o**f green and black make-up**:** galena (lead sulphide), cerussite (lead carbonate), pyrolusite (manganese dioxide), chrysocolla (hydrated copper silicate), malachite (basic copper carbonate) (*Walter, Lévêque,* 2000, p. 82).

According to Forbes, powdered galena and malachite were used for the eyes – black for the upper eyelid, and green for the lower one (*Forbes,* 1993, p. 18).

The mineral was pounded into a fine powder on spatulas or a flat stone, and water, or a water-soluble gum was added to make a paste, which could then be applied with the finger or with a small stick (fig. 6 – see color insert).

In Egypt «three quarters of cosmetic products were lead-based, and associated four main phases: galena for dark shades, as well as three white substances: cerussite, phosgenite and laurionite» (*Walter, Lévêque*, 2000, p. 84). Cerussite is a white mineral often found in association with galena, an association that would also be found in the Near East. Laurionite and phosgenite are very rare in nature and were therefore chemical creations; they were sought after for specific qualities and not for their colour. Writing in the first century A. D., Pliny the Elder and Dioscorides described how the cosmetic products were prepared, and how they were used therapeutically in the treatment of eye and skin diseases. They were employed in the preparation of numerous eyewashes (*Walter et al.,* 1999). It would seem that the Egyptians developed «a veritable cosmetic science» very early on, (*Walter, Lévêque,* 2000, p. 84), in order to give their make-up therapeutic qualities.

They also carried out extremely sophisticated research in the area of colour. Over a period of 12 years and in collaboration with L'Oréal, Philippe Walter, Director of Research at the CNRS, conducted a study at the C2RMF (Centre of Research and Restoration for the Museums of France) concerning the residues found – sometimes in quite considerable quantities – in certain pots, bottles and other receptacles belonging to the Department of Egyptian Antiquities of the Musйe du Louvre. He became particularly interested in a number of small bottles which did not contain the usual black make-up – lead sulphide, or in smaller quantities, manganese oxide – but samples that were iridescent and bluish or golden in colour. He related these samples with others described in more recent writings.

«The ethnological studies carried out in the Maghreb in the nineteenth century contain make-up preparation formulas which had hardly changed since Antiquity. According to these recipes the powders were made by heating natural lead sulphide in a piece of blue cloth ». (*Walter,* 2009).

The experimental reconstitution of the process in an oven adapted to Aglae ray**s** gave the real time of the chemical reaction that occurred between the lead sulphide and the textile when the temperature went up. It was found that an oxidation at 500° leads to the formation of a layer of lead sulphate one micrometer thick, which creates the phenomenon of iridescence sought after by the Egyptians and which they referred to as «a powder for giving expression to the eyes». The iridescence could be blue or yellow depending on how long the preparation was heated (*Martinetto et al.,* 2003).

– Information provided by the Ur necropolis

In the Ur necropolis, all women's graves in the old cemetery dating to ED III A contained make-up cosmetics as part of their tomb furniture. The cosmetics were usually placed in cockle-shells or rather a pair of cockle-shells, one shell being used as the receptacle proper and the other as the lid (fig. 7 – see color insert). In some cases the make-up was contained in decorated boxes (fig. 8 – see color insert)**.**

Over time, the cosmetics in all the containers had been reduced to a hard paste, in a variety of colours: white, red, yellow, blue, green and black. In Ur, as in Egypt, the colours most commonly used were green and black.

In 1934, Sir Leonard Woolley, Director of the Ur excavations, acted as spokesman for the analyses carried out by Dr. A. Kenneth Graham in the early 1930s. He made the following comments:

> *«One sample of what appeared to be light blue clay was found to contain large quantities of aluminium phosphate, copper, lead and carbonate, with traces of iron, calcium and silica. One*

would conclude that this was powdered turquoise, a naturally occurring mineral consisting of hydrated aluminium phosphate, with the usual copper impurity in sufficient quantity to colour it blue.

A second sample of black powder similar to antimony or "kohl" was found upon analysis to contain a large amount of manganese and lead, with small quantities of copper, aluminium phosphate, carbonate, silica and iron. The last six substances were evidently present as turquoise, as described above. The black colour could only be attributed to the manganese, the black oxide of which is a naturally occurring mineral, pyrolusite.

The presence of lead and carbonate in both samples is quite unexpected, as they are not associated with either turquoise or pyrosulite in nature and must have been added purposely. The oxides of lead are coloured and when mixed with the above minerals in powdered form give attractive shades of brown, red and purple».

(Woolley, 1934, p. 248)

The author also noted the presence of white lead carbonate, a phenomenon he did not understand. But we now know that the lead carbonate was intentionally used as a cosmetic – precisely on account of its white colour.

– **The analyses carried out by the C2RMF on bottles conserved in the Department of Oriental Antiquities of the Musée du Louvre** *(Van Elslande, 2005a, 2005b)*

The Department of Oriental Antiquities of the Musйe du Louvre, which has in its collections numerous small chlorite and copper containers from east Iran and central Asia dating from the third millennium B. C., requested the Laboratory of the Museums of France – the research department of the C2RMF – to detect and analyse any remains of products still present in about fifteen of these containers. The study carried out by a young research worker, Elsa van Elslande, a member of the aforementioned team of Philippe Walter, well known for his work on ancient make-up and perfumes, led to the identification of different substances in powder form and in three different colours: the black powder for making the eye black was composed of 80% lead sulphide (more commonly known as galena), and 20% manganese oxide (pyrolusite), a product mentioned above for having been used in the Ur necropolis (although admittedly on only one sample). The white powder was a lead carbonate or cerussite, which according to Van Elslande might in two cases (AO 26216, AO 31911) have resulted from a deterioration in the galena over time, but which in all the others (in particular AO 30227, AO 26427 and AO 26464) indicated a deliberate use of cerussite during the period of antiquity under study. In one case (bottle AO 26219), the white colour comes from cerussite (PbCO3) and an inorganic compound of carbonate type mixed with sodium and lead (NaOH.2PbCO3), which does not exist in a natural state and therefore appears to be the result of a chemical transformation of compounds of sodium and lead in particular conditions, different from the geological milieu. Two carbonate compounds, one rich in lead and the other in sodium were therefore deliberately mixed.

The function of cerussite was to lighten the complexion or to obtain a shade of grey for eyelid make-up (AO 26427, file 4, first report). However, this grey colour could also be obtained by mixing anglesite, lead sulphate (PbSO4), pyrolusite and calcite (bottle AO 26243). This deliberate mixture of pulverulent grey powder (anglesite) and black powder (pyrolusite) was probably intended to obtain a shade of grey for a dark eye make-up resembling kohl.

One sample provided the proof that the receptacles could contain paste make-up as well as powder make-up. Indeed, a most interesting discovery was made: one receptacle in the shape of a foundation nail (AO 29457) (fig. 9) contained traces of a lipid compound, ie. a binder, mixed with galena. This kind of carbonaceous product suggests the use of a liquid excipient (*Elslande*, 2005A, P. 6 and file 10).

B) Perfumes

According to numerous Egyptian sources, as well as the Archives of Mari dating from the beginning of the second millennium, ancient perfumes mostly took the form of scented oils. Since we have extremely few residues of these perfumes, most of our information on ancient Near Eastern perfumes comes from texts. But in the case of Egypt, visual iconography and written texts supply a great deal of additional and very valuable information.

Fig. 9. Receptacle in the shape of a foundation nail (Louvre, AO 29457) with traces of a liquid compound.

a) Information provided by Egypt

In Egypt, the production of perfumed substances goes back to a very early period; the labels of jars found at Nagada and Abydos (Ist dynasty) and now conserved at the British Museum constitute the first indirect proof of this. Egypt was to keep its reputation in this field for a very long time; Pliny, for example was of the opinion that Egyptian perfumes were «the best and the most expensive», (*Natural History,* XII and XIII, § 4–6). The aromas sought after were those of the lotus and the lily, and iris roots.

Several illustrations of the techniques utilised for extracting the juice of fragrant products have come down to us. The mastaba of Nebenmakhet at Giza, dating to the fourth dynasty, contains the oldest scene so far known depicting the pressing of fragrant essences. On the upper register of the wall, people are engaged in preparing scented substances, while on the extreme right, men wielding long sticks vigorously stir a bag or net filled with plants, in order to extract the sap into a large basin. The product was subsequently retreated using a hot or cold procedure. We also have two bas-reliefs dating from a much later period and now conserved in the Musée du Louvre: one comes from the tomb of Paпkep, known as Psamétikmerneith, and the other is the so-called «*Little Lirinon»*; both show the same pressing technique for extracting the juice from lilies. Thus, once learnt, the technique continued to be transmitted over thousands of years.

Two Egyptian texts provide essential information on the preparation formulas for cosmetics and perfumes: the Edwin Smith Papyrus dating from the sixteenth century B. C. lists practices current a thousand years earlier, and the Ebers Medical Papyrus from the same period provides additional information. The Ebers Papyrus associates medicine and cosmetology, and indicates the preparation formulas used for colouring hair, treating skin infections, and beautifying the body with ointments, exfoliation products and anti-wrinkle creams. We also learn from this Papyrus that the Kyphi used by the Egyptians contained plants, fruit, aromatic resins and honey.

Oriental textual sources on the subject of cosmetic products

– Third millennium

The use of scented oils is attested in written sources from the third millennium, but probably goes back even earlier. We have already mentioned the hedgehog-shaped rhyton from Tchoga Mish (end of the fourth millennium) and of how the *Stele of the Vultures* describes King Eannatum pouring a cedar-based fragrant oil over two doves offered to the gods.

The lists of receipts in merchants' accounts dating from the end of the third millennium give an idea of the products in use during that period. Scented substances were almost always plant-based and took the form of wood or resin. Examples of such receipts include the following:

«Akallamu received from the hand of Urguenna cedar and juniper resin».

«Reception by Ur-abba of scented oil, honey, aromatic ointment, cypress resin, juniper resin, from the hand of the merchant Ir».

«*Reception by Lu-Ningirsu of a large quantity of, refined cedar resin of excellent quality, from the hand of the merchant Ir, to make an offering to the goddess Bau, the companion of Ningirsu*».

(*André-Leicknam,* 1980)

These aromatic products were employed in various ways: when a temple was constructed, pastes and ointments were smeared on the first foundation brick or the terrace of the temenos, as indicated by the inscriptions engraved on the statues of Gudea and on Cylinder A.

The engraving on statue C (AO 5) states that the King of Lagash «smeared the foundation deposits with scented oil», III, 9 (E*dzard,* 1997, p. 39).

The text of Cylinder A of Gudea describes how the first foundation brick was treated in a special way «He hoed in syrup, butter and cream, mixed ambergris and essences from all kinds of trees into a paste», XVIII 20–22 (*Edzard,* 1997, p. 80).

– **Beginning of the Second millennium, the Archives of Mari** (*Joannès*, 1993)

Most of the aromatic products mentioned at Mari and also in the Paleo-Babylonian archives came from trees and bushes; myrtle, juniper, cypress and cedar were by far the four most common. Other plant species, such as *kanaktum*, have not been identified. Grains and resinous products from the pine tree family and from juniper trees were also used. The flora from trees and bushes of the West provided the basis of oriental scented products. It should not be forgotten that part of this region was covered by the Cedar Forest. The essences all arrived in Mari; some were then treated at Mari itself – inside the palace precincts, for the fabrication of these luxury products, these «good aromas», was conducted under close supervision. Others were redistributed, in the form of raw material or manufactured products, as diplomatic gifts for example. The Archives of Mari are a mine of information on this subject.

Some oils were used more than others; cypress, which is mentioned 70 times in the Archives, was by far the most commonly used, compared with cedar (42 mentions) and myrtle (29 mentions) The oil used for hydrating the skin needs to be distinguished from refined oils – mostly sesame oil – which was saturated with plant fragrances.

Perfumes were a luxury reserved for the elite, kings and high dignitaries; applying scented oil constituted the final delicate touch in a refined person's *toilette*. Considerable quantities of perfume were also consumed during religious feasts. The Archives of Mari note that 58 litres of scented oil were needed for anointing the sheep (*Joannès,* 1993, p. 263). The rams used in warfare were also anointed with scented oil, probably during the ceremonies held before the armies left for a military campaign. Perfumed oil was also employed during funeral ceremonies.

As for production methods, we are sure of the two or three techniques most currently used; they included maceration (cold extraction) and decoction (hot extraction). Since we have no real proof that distillation was one of the techniques employed, we must exclude the existence of essential oils.

For the cold maceration technique, the four main woods mentioned above were used in the form of twigs and shavings, and possibly powder, and resin. In order to extract the aroma, these different forms of wood were macerated in oil, and the oil was then purified by filtration. The disadvantage of this method was that it could be extremely long, depending on the aromatic products used.

In Roman times most perfumes were produced through the cold maceration of plants, flowers, or resins in oil.

The technique of hot extraction is known of through the «cooking pot oil» it produced and also because a specialised team, «ointment cooks», existed in Egypt from as early as the Ancient Empire. The Mari texts rarely mention all the ingredients employed; in this kind of maceration: cypress, myrtle, fragrant reed and boxwood. Other resins and berries are mentioned but we have no equivalent terms for them. The hot extraction practised at the beginning of the second millennium took a very long time; 10 to 15 days were necessary to obtain cooking pot oil.

Perfumes played such an important role that they came to be considered as a symbol of the world of the living. In the *Gilgamesh Epic*, Gilgamesh advises Enkidu not to anoint himself with perfume when he descends into the Underworld:

> *If this day you are going to the Netherworld, I will give you instruction, you should follow my instructions! I will tell you a word, give ear to my word! Do not dress in a clear garment, They would surely take it as the sign of a stranger! Do not anoint yourself in sweet oil from the flask, At the scent of it they will surely surround you!"*
>
> (*George*, 2000, p. 184)

Bibliography

Amiet P. Glyptique Susienne // MDAI. 43. Vol. I : text. Vol. II : plates. P., 1972.

André-Leicknam B. Plantes odoriférantes et parfums en Mésopotamie ancienne d'après les textes sumériens et assyro-babyloniens (ingrédients, recettes de fabrication, usages. Exhibition catalogue 3000 ans de parfumerie. Parfums, Savons, Fards et Cosmétiques, de l'Antiquité a nos jours. Grasse, 1980. P. 30–36.

Bottero J., Kramer S. N. Lorsque les dieux faisaient l'homme. Mythologie mésopotamienne «La descente d'Inanna aux Enfers». Bibliothèque des histoires. P., 1989. P. 276–300.

Buchholz H.-G. Ostmediterrane Igel im Altertum // Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Museums Alexander Koenig. Bonn, 1995. Bd. 4. Hf. 2. P. 33–49.

Edzard D. O. Gudea and His Dynasty. [The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Early Periods, Vol. 3/1]. Toronto, 1997

Forbes J. Studies in Ancient Technology. III: Paints, Pigments, Inks and Varnishes. Leyde, 1965, 1993.

George A. The Epic of Gilgamesh. L., 2000

Joannès F. La culture matérielle a Mari (V): Les parfums // M.A.R.I. T. 7. P., 1993, P. 251–270.

Joannès F. Parfums et maquillages // Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne \ F. Joannès (Ed.). P., 2001. P. 632–634.

Ligabue G., Salvatori S. (Eds.) Bactria, an ancient oasis civilization from the sands of Afghanistan. Venise, 1988.

Martinetto P., Anne M., Dooryhée E., Walter Ph., Tsoucaris, Lévêque J. L Les formulations cosmétiques a base de plomb de l'Egypte ancienne // Sciences Chimiques. Vol. 79. Num. Mars 2003. P. 7–12.

Musée du Louvre Exhibition catalogue, Faoences. Faïences de l'Antiquité. De l'Egypte a l'Iran. P., 2005.

Sarianidi V. Margush. Ancient Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murghab river. Ashgabat, 2002.

Sarianidi V., Gonur Depe. City of Kings and Gods, Ashgabat, 2005.

Sarianidi V. Necropolis of Gonur. Athens, 2007.

Sarianidi V. Margush. Mystery and True of the Great Culture. Ashgabat, 2008

Sollberger E., Kupper J.-R. Inscriptions royales sumériennes et Akkadiennes. P., 1971.

Stöllner T. (Ed.) Catalogue de l'exposition «Persiens Antike Pracht». Bochum, 2004

Tallon F. Métallurgie susienne I. De la fondation de Suse au XVIIIème siècle avant J.-C. Vol. 2. P., 1987.

Van Elslande E., Mille B., Borel Th. Ensemble de pots a fard – Musée du Louvre DAO-Monde transélamite-Iran de l'Est Cuivre arsénié et chlorite, fin du IIIème-début du IIème millénaire FZ 12137, FZ 35943 a 35950, Compte-rendu d'étude C2RMF n° Z3421, 5 octobre 2005 : 2005A

Van Elslande E., Borel Th. Ensemble de pots a fard – Musée du Louvre DAO-Monde transélamite-Iran de l'Est Cuivre arsénié et chlorite, fin du IIIème millénaire FZ 36988 a 36999. Compte-rendu d'étude C2RMF n° Z3422, 5 octobre 2005: 2005B

Walter Ph., Martinetto P., Tsoucaris G., Bréniaux R., Lefebvre M. A., Richard G., Talabot J. Making make-up in Ancient Egypt // Nature. Vol. 397. 11 February 1999. P. 483–484.

Walter Ph., Lévêque J. L. Catalogue de l'exposition «Parfums et cosmétiques». Musée d'Archéologie. La Vieille Charité (Contribution du Musée du Louvre. «L'invention d'une science pour le maquillage). Marseille, 2000. P. 82–84.

Walter Ph. Art: le laboratoire Aglae veut élargir sa palette // Les Echos. 2009. Mardi, 10 Février. S. 11.

Woolley C. L. Dress and personal ornements. Ch. XI // The Royal Cemetery. A Report on the Predynastic and Sargonid Graves excavated between 1926 and 1931. Ur Excavations. Vol. II. Oxford, 1934. P. 238–248.

Zettler R. L., Horne L. (Ed.) Treasures from the Royal Tombs of Ur. Phil., 1998.

Catalogues

Das Vorderasiatische Museum. Staatliche Museen zu Berlin. Berlin, 1992.

Exhibition catalogue «Parfums et cosmétiques». Musée d'Archéologie. La Vieille Charité. Marseille, 2000.

К. Абдуллаев

К АТРИБУЦИИ «КАМЕННЫХ КОЛОНОК» В БАКТРИИ И МАРГИАНЕ В ЭПОХУ БРОНЗЫ

(К вопросу культурных традиций БМАК в контексте Ближнего Древнего Востока)

Открытия культовых комплексов эпохи энеолита и бронзы на территории Средней Азии представляют собой совершенно новый и благодатный источник для историко-культурной реконструкции древних цивилизаций этого региона. И если Древний Восток в этом отношении более или менее изучен, то среднеазиатский регион остается пока на стадии предварительных разработок и гипотез. Огромный материал, накопленный в последние десятилетия среднеазиатскими исследователями, со всей очевидностью свидетельствует о том, что перед нами новый очаг высокоразвитой цивилизации, лишь приоткрытый в начале XX в. работами Пампелли (*Pumpelly*, 1908).

Честь открытия и исследования памятников огромной научной значимости принадлежит Виктору Ивановичу Сарианиди, чей вклад в изучение Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК) трудно переоценить. Виктор Иванович ввел в научный оборот колоссальный материал, опубликованный в советских, российских и зарубежных изданиях. Анализ уникальных произведений изобразительного искусства позволил ученому выявить художественный центр среднеазиатского региона в контексте древневосточной культуры с сильными влияниями традиций Юго-Западного Ирана (Элам) и менее выраженным влиянием Месопотамии в Южном Двуречье (*Сарианиди,* 1986).

В изучении древней культуры Средней Азии, в частности Бактрии и Маргианы, важ-

ное место занимают культовые комплексы, несущие особо ценную информацию о духовной культуре древних обществ и их религиозных воззрениях.

Археологические комплексы, бесспорно культовые по своему характеру, тем не менее, не могут воссоздать ритуально-обрядовый комплексе в полном объеме, во всей его сложности и многообразии. Несмотря на наличие признаков, указывающих на характер культовой практики, порядок и суть священнодействия не всегда могут быть раскрыты полностью; кроме того, не все предметы культового инвентаря достоверно атрибутированы.

Наибольшую помощь в восстановлении хода церемонии оказывают произведения изобразительного искусства, нередко передающие различные культовые сцены. Одним из наиболее популярных видов изобразительного искусства классического Востока является глиптика. Многочисленные находки печатей в слоях памятников эпохи бронзы свидетельствуют о высоком уровне искусства и даже локальных художественных стилях (*Сарианиди,* 1976). Однако не весь этот материал можно применить к среднеазиатскому региону, так как не всегда печати, даже и найденные в культурных слоях памятников Бактрианы и Маргианы, являются произведениями местных мастеров-камнерезов и отображают сцены поклонения божеству, связанные с местными культами и ритуалами.

В большинстве своем эти печати, найденные на памятниках Маргианы, по своим стилистическим признакам и тематике более всего тяготеют, как было отмечено В. И. Сарианиди, к образцам сиро-месопотамского и малоазийского происхождения. Во всяком случае, у нас нет достаточных оснований для их атрибуций как произведений местных мастеров и следовательно, возникает трудность другого рода – как соотнести сюжеты этих печатей с религиозно-мифологическим комплексом Бактрии-Маргианы (*Сарианиди,* 1989; 1999).

Возникает вопрос: насколько возможна корреляция данных такого рода с материалами БМАК? Анализ элементов культуры этого региона дает основания полагать, что существовали общие тенденции в развитии древнейших обществ Ближнего Востока и Средней Азии. Эти общие черты четко выражены в материальной культуре, и менее ясно – в духовной. Наиболее ярким и в тоже время плодотворным материалом в этом отношении являются произведения изобразительного искусства. Как мы отмечали выше, многофигурные композиции со сценами божественных церемоний и культовых действий помогают нам воссоздать не только эпизоды, возможно даже реальные, религиозных празднеств и ритуалов, но и демонстрируют предметы – непременные атрибуты священных действий. Эти предметы теоретически могут встречаться и в культурных слоях древних памятников.

Предметом настоящего исследования является одна из категорий археологических находок, столь популярных в комплексах БМАК и находящих параллели, как мы увидим ниже, в произведениях изобразительного искусства ближневосточного региона. Речь идет о каменных изделиях, которые в археологической литературе называются «миниатюрными колонками» или другими терминами, в данном случае не имеющими принципиального значения.

Следует подчеркнуть одну особенность условий их находок. Практически все они найдены в контексте культовых комплексов. Иногда они были расчищены в погребениях, что не исключает их культовый характер.

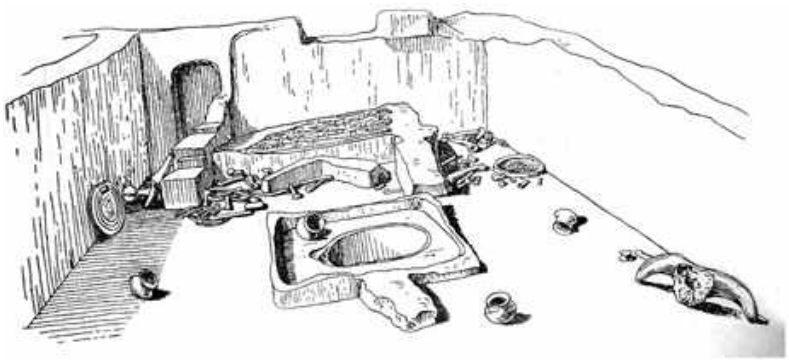
Одним из наиболее ранних примеров находки каменной «колонки» является памятник эпохи энеолита и ранней бронзы, а именно, Алтын Депе, что находится на территории Туркменистана (*Массон*, 1981, с. 65, рис. 20; 21; 22:*1*).

На Алтын Депе в помещении № 7 с очагом-подиумом в центре вместе с рядом изделий, внешний облик которых явно указывает на их культовый характер, был обнаружен каменный предмет (рис. 1: *1*). Как пишет руководитель раскопок В. М. Массон: «Среди них – прислоненные к стене помещения и алтаря три крупных изделия из шлифованного камня: плоская колесовидная «гиря» с ручкой, своего рода пестик с поперечными бороздками на обоих концах и «булава» с биконическим расширением посередине (таб. I: *2*); аналогичные предметы хорошо известны в памятниках эпохи бронзы Ирана и Афганистана и сопредельных территорий и обычно трактуются как культовые объекты) (*Dales,* 1972, 1977)».

Относительно функционального определения одного из этих предметов, а именно, так называемого «пестика», сразу же возникает вопрос чисто практического характера: для чего могут служить бороздки на каменном пестике? Довольно обширная археологическая литература дает нам многочисленные аналогии по этому орудию. Причем, они относятся к разным эпохам и демонстрируют примерно одну общую и близкую форму инструмента. Она вырабатывалась на протяжении многих веков, если не тысячелетий (*P'yankova*, 1981, p. 300, fig. 15; Древности Таджикистана, 1985, № 33; *Аскаров, Альбаум,* 1979, рис. 13, 16; *Пугаченкова,* 1973, с. 78, рис. 3; *Максимова*, 1977, с. 139–141, рис. 1; Forgotten Empire, 2005, no 211). Во всяком случае, если учитывать, что это орудие использовалось в основном для дробления или растирания, то бороздки, специально сделанные на поверхности обоих торцов, представляются непрактичными и даже лишними. Однако следует оговорить один момент в определении данного предмета: каменное изделие могло использоваться вторично, и в этом случае есть все основания говорить об его изначальном предназначении. Прежде чем высказать свое предположение об атрибуции данного предмета, представляется целесообразным привести некоторые особенности этих «колонок» и мест их находок.

Относительно частые находки рассматриваемых нами предметов сделаны на территории Маргианы и нашли отражение в работах В. И. Сарианиди (см., например: *Сарианиди,* 1982, 2002). Речь идет о каменных колонках, которые стали довольно обыденным предметом в культовых комплексах Бактрии и Маргианы. В данной статье мы не ставим целью детальную разработку типологии этих предметов, хотя они заслуживают этого. Осуществить эту задачу затруднительно по одной простой причине, что материал, географически разбросанный по разным точкам, в настоящее время трудно доступен для исследования. Мы можем лишь частично, опираясь на публикации, дать им приблизительную характеристику. Одним из примечательных признаков «каменных колонок» является тщательность их выделки, а именно полировка поверхности.

Внешний облик этих предметов примерно одинаков за исключением некоторых деталей. Так, например, для многих экземпляров характерно расширение к основанию и раструб в верхней части. Для некоторых можно отметить наличие желобка, как правило, неглубокого, следующего либо по верхней торцевой поверхности, либо по всему периметру от верхней поверхности вдоль ствола. На данный момент затруднительно ответить, какую функциональную нагрузку нес этот желобок. Привязывалась ли веревка по этому желобку, хотя для крепления желобок при наличии раструба в верхней части, не практичен. Желобок, если он проходил лишь по верхней поверхности, можно было бы объяснить как паз, по которому проходила лента или нить, закрытая сверху другим предметом. Наконец, желобок мог иметь и какое-то смысловое значение. Одним из характерных особенностей «колонок» является их разномасштабность (разнокалиберность). В этом отношении наиболее показательна коллекция «колонок» из храма Тоголок 21 (рис. I: *3*). Колонки из Тоголока 21, изготовленные из мягких пород камня (по замечанию В.



1

2

3

Таблица I

Рис. 1. 1 – пом. № 7 на Алтын Депе; 2 – каменные предметы из этого помещения (по: *Массон*, 1981); 3 - коллекция миниатюрных колонок из Храма Тоголок-21 (по: *Сарианиди*, 2002).

И. Сарианиди, «мягкий легко подающийся обработке стеатит или иначе, «мыльный камень», преимущественно темного или черного цвета» – *Сарианиди,* 2002, с. 132), тщательно отполированы и имеют плоскую верхнюю поверхность. Несмотря на разные размеры (максимальная высота доходит до полуметра) все они имеют устойчивое, расширенное книзу основание. По словам автора находок, в единичных случаях такие изделия инкрустировались фигурными вставками из белого камня (*Сарианиди,* 2002, с. 137). В одной из своих публикаций В. И. Сарианиди отмечает «в одном случае такое изделие оковано с торцовых сторон серебряными обоймами» (*Сарианиди*, 1982, с. 77, рис. 5: *9*). В отношении «колонок» из Тоголока 21 отметим еще раз немаловажный момент условий находок. Отмечая, что «культовое назначение «миниатюрных колонок» признано почти всеми археологами» и то, «как они использовались, остается не совсем ясным», В. И. Сарианиди пишет, что «большая часть их найдена на полах храма Тоголок 21, предназначенного для приготовления опьяняющих напитков и возлияний, то станет очевидной их связь именно с этим культом» (*Сарианиди*, 2002, с. 137).

Одним из наиболее дискуссионных вопросов является функциональное назначение этих колонок. Мы уже отмечали, что массивность и тяжесть этих предметов едва ли позволяли использовать их в качестве пестиков. Дробление или растирание – длительный монотонный, ритмичный процесс, требовал, скорее всего, более удобного и приспособленного для этого инструмента. Не вполне увязывается с такой интерпретацией и верхняя плоская поверхность изделий, иногда даже с заостренными краями. Как показывают находки настоящих пестиков вместе со ступками, рабочая их сторона закруглена и имеет форму, близкую к полусфере. Показательным примером в данном случае является комплекс каменных изделий из андезитового порфирита, найденных в Миршаде (Шурчинский район Сурхандарьинскй области) и включающих миниатюрные ступки (5 × 5,5 см) на невысокой ножке с расширением в верхней части типа чашки с неглубоким резервуаром, а также пестиком (8 × 3 см). Комплекс датируется X–VIII вв. до н. э. (*Пугаченкова*, 1973, с. 78, рис. 3; Древности Южного Узбекистана, 1991, № 2, 3).

Однако мы не исключаем, что колонки могли переиспользоваться в последующее время, кажется, что закругленная поверхность верхней части идущей на раструб, более всего подходит для этой цели, если конечно, не учитывать то неудобство, которое было связано с избыточным весом некоторых экземпляров. Хотелось бы еще раз остановиться на форме «каменных колонок». Здесь по всей очевидности, главную роль играют два признака, а именно, их устойчивая форма с массивным расширяющимся основанием и плоская горизонтальная поверхность.

Учитывая то обстоятельство, что найдены эти «колонки» в культовых комплексах, включая и помещения, где происходили священнодействия и церемонии, то мы вправе обратиться к произведениям изобразительного искусства, демонстрирующих нам различные религиозные и культовые сцены. В то же время, такого рода произведения относительно не многочисленны на памятниках Бактрии и Маргианы, чтобы достаточно убедительно ответить на интересующий нас вопрос. Все вышеизложенное вынуждает нас обратиться к подобным сюжетам в искусстве близлежащих историко-культурных регионов Ближнего Востока, включая Иран, Месопотамию, Сирию, Малую Азию и т. д. Хронологический диапазон сюжетов, отображающих культовые сцены довольно широк, тем не менее, анализ их во времени дает возможность проследить не только эволюцию религиозной композиции, но и сопутствующей культовой атрибутики.

Главным источником для интересующей нас темы являются печати, в большей мере цилиндрические, составляющие многочисленные коллекции музеев мира и частные соб-

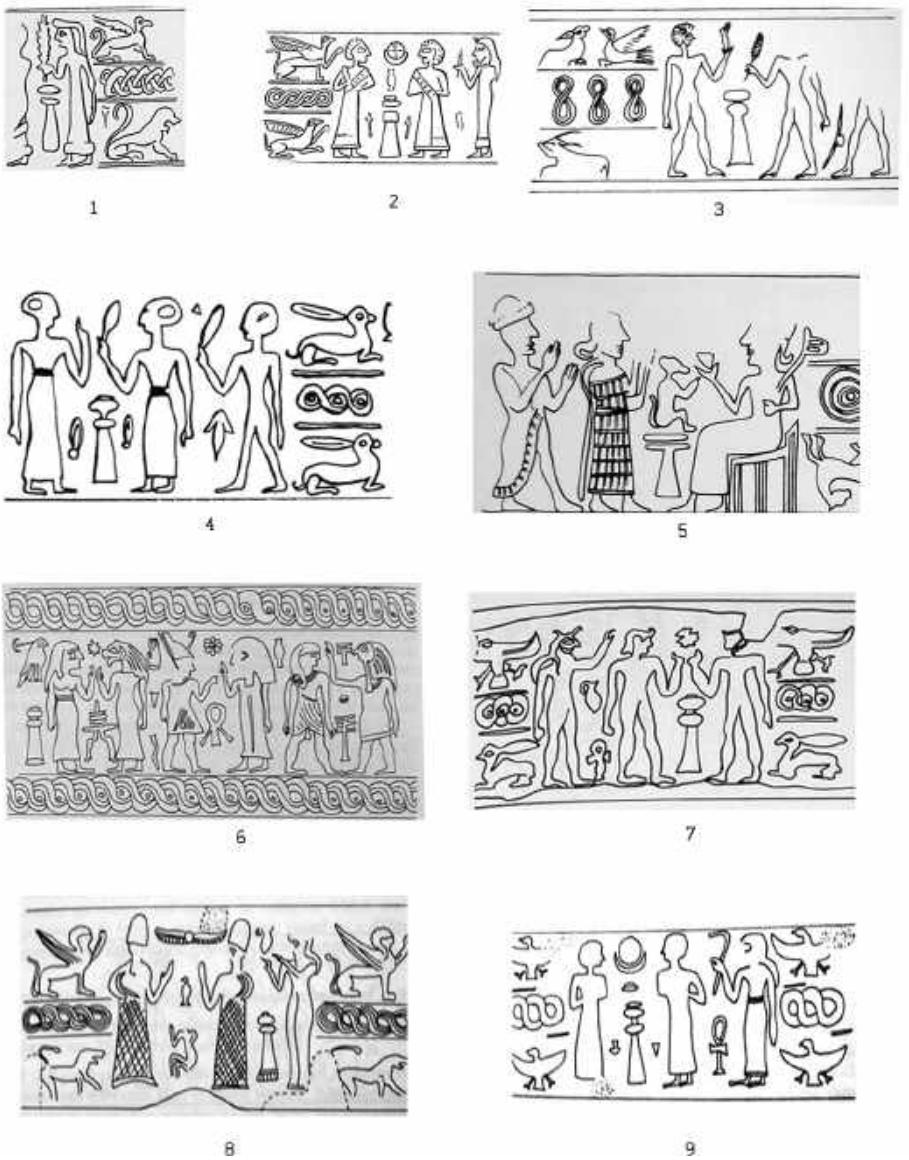


Рис. 2. Прорисовки печатей сирийского происхождения: 1 - из Музея Филадельфии (инв. № C.B.M. 1277); 2 – из Музея Брюсселя (инв. № 1455); 3 – из коллекции Лайлан (инв. № L85-484); 4 – из коллекции Шехем (Shehem I.982); (1-4 по: *Otto,* 2000); 5 – *Otto,* 2000, Tf. 21, no 272; 6-9 – Сиро-палестинские печати средней бронзы, выполненные в традиции египетского искусства по: *Teissier*, 1996. 6 – № 2; 7 – № 74; 8 – № 114; 9 - № 116.

рания. Как показывают археологические раскопки, они не только нередко встречаются на памятниках Ближнего Востока, но и стали довольно часто встречаться и в среднеазиатском регионе за последние десятилетия. Однако это вовсе не означает, что сцены жертвоприношения или поклонения отсутствуют в других жанрах изобразительного искусства. Первый сюжет, в котором изображается интересующий нас культовый предмет относится к искусству Древнего Египта, к XI-й династии (XXI в. до н. э.). Речь идет о рельефе на саркофаге царицы Ашаит из Дейр-эль-Бахри (Каир, Египетский музей) (Искусство Древнего Востока, 1968, илл. 47а). В сцене заклания быка в верхней части композиции изображена корова с теленком перед жертвенным огнем. Огонь показан в виде заостренного языка пламени, вылетающего из конического сосуда. Сосуд, в свою очередь стоит на подставке в виде миниатюрной колонки с широким основанием и сужающимся стволом. Горизонтальная линия проходит под основанием сосуда, это может свидетельствовать, что сосуд и колонка разделены, хотя полной уверенности в этом нет.

В композициях цилиндрических печатей, где изображается сцена поклонения божеству, поле в нижней части заполняется различными предметами, которые так или иначе связаны со сценическим действием. В каталоге цилиндрических печатей сирийского происхождения, собранных Адельхайдом Отто, мы находим несколько сюжетов, связанных с темой нашего исследования (*Otto,* 2000).

Персонаж на печати из Музея Филадельфии (инв. № C. B. M. 1277): слева в поднятой руке – ветка растения, внизу – в поле предмет с расширяющимся основанием и раструбом в верхней части, над ним – предмет эллипсоидной формы (рис. 2: *1*) (*Otto,* 2000, Taf. 33, no 408).

Многофигурная композиция с фигурами божества (слева), жреца и донатора (справа) из музея Брюсселя (инв. № 1455). Между центральными персонажами внизу расположен предмет (рис. 2: *2*) конической профилировки с цилиндрическим навершием, над ним – предмет, напоминающий сосуд со сплющенным туловом, выше на уровне голов персонажей – лунарный и солярный символы (*Otto*, 2000, Tf. 20, n 254).

Другая многофигурная композиция из коллекции Лайлан (инв. № L85-484) показывает две противостоящие обнаженные фигуры с поднятыми атрибутами в руках. Между фигурами помещен аналогичный предмет, на котором лежит сосуд приземистой формы (*Otto,* 2000, Tafel 20, n 259) (рис. 2: *3*).

Композиция из трех фигур на печати из коллекции Шехем (Shehem I.982). Левая фигура (божество) показана с поднятой рукой и указующим жестом вверх. Слева изображены две фигуры, поднимающие в руках ветки растений – донаторы (рис. 2: *4*). Между главной фигурой и донатором внизу находится, аналогичный вышеописанным предмет с коническим стволом и расширенным верхом. На нем стоит сосуд со сплющенным туловом и высокой, узкой ножкой (*Otto*, 2000, Tafel 21, n 272).

Композиция с тронным персонажем. Справа на троне божество, слева от него стоящие фигуры с воздетыми в позе поклонения руками (рис. 2: *5*). Между сидящим божеством и адорантами – предмет с конической ножкой и широким горизонтальным верхом, на котором сидит существо с поднятым вверх хвостом (обезьяна?) (*Otto*, 2000, no 76).

Из вышеприведенных изображений можно сделать вывод, что предмет в нижнем поле между персонажами и божеством не что иное, как подставка. О том, что этот предмет именно подставка говорит тот факт, что стоящие на нем предметы имеют различную форму и, главное, они варьируются: в первых случаях это сосуды различных форм, между тем как нижняя часть конструкции (подставка) остается неизменной. На последней печати с тронным божеством верхняя часть подставки имеет очень широкую горизонтальную поверхность, что придает ей большее сходство со столиком.

Этот же предмет можно видеть на сиро-палестинских печатях выполненных в традиции египетского искусства и датированные Средним Бронзовым веком (*Teissier,* 1996). Он располагается, как правило, в нижнем поле либо между персонажами, представляющими царя (фараон) и египетское божество. На одной из печатей (рис. 2: *6*) в левой части композиции изображена женская фигура, стоящая против божества с львиной головой. За женской фигурой находится высокая подставка (доходящая до уровня бедер персонажа), на ней стоит сосуд на поддоне с эллипсоидным туловом и горловиной. Нижняя и верхняя части подставки выделены контурной линией (*Teissier,* 1996, № 2).

Подставка с сосудом аналогичной формы показана в композиции, между двумя противостоящими персонажами, одного из которых сопровождает египетское божество с головой сокола (Гор?) (рис. 2: *7*; *Tessier,* 1996, n 74). На одной из печатей с многофигурной композицией, включающей стоящие фигуры божества, царя (или жреца) и фигурой с жестом поклонения, подставка помещена между двумя правыми фигурами. Следует обратить внимание на оформление основания подставки в виде вертикальных линий типа каннелюров, следующих от пояска (рис. 2: *8*; *Tessier,* 1996, n 114).

Аналогичную форму подставки, но без украшения, можно видеть на печати с изображением женского божества с двумя обращенными к нему персонажами. Особенностью этого изображения является сосуд на высокой ножке с эллипсоидным туловом и невысокой широкой горловиной (рис. 2: *9*; *Tessier*, 1996, n 116). Можно привести еще несколько примеров с изображением интересующего нас предмета в композициях сиро-палестинских печатей с сюжетами египетского характера. Все они занимают определенное место в иконографической схеме: либо внизу между центральными персонажами, либо за одной из центральных фигур, что со всей очевидностью свидетельствует о важной роли, которую играл этот предмет. Можно с уверенностью говорить, что подставка на этих печатях, как правило, несет на себе другой не менее, а может и более важный предмет – сосуд. Все это можно отнести к ритуальному инвентарю, играющему важную роль в культовых отправлениях. Рассмотренные примеры дают нам основание высказаться лишь о форме подставки, которая различается некоторыми незначительными деталями, сохраняя главные элементы формы: устойчивое основание и плоскую верхнюю горизонтальную поверхность. На этой поверхности помещались культовые сосуды различных форм (см.: рис. 3: *1, 2*). Различные формы сосудов размещенных на верхней поверхности исследуемого нами предмета, еще раз подтверждает наше предположение, что это подставка для жертвенных сосудов. Однако рассмотренные нами изображения не дают какой-либо информации о содержимом этих сосудов. Лишь один сюжет, рассмотренный нами показывает нечто типа столика перед тронным божеством, на плоскости столика животное о четырех конечностях и хвостом (рис. 2: *5*). Можно лишь с осторожностью предположить, что оно могло быть жертвенным.

Более определенно о жертвенном животном можно говорить в ритуальной сцене, изображенной на гематитовой печати из коллекции Маркополи (*Tessier,* 1984, no 474). В сцене поклонения персонажа перед тремя божествами стоит жертвенник на подставке, на нем четвероногое животное от которого вверх идут языки пламени. Цилиндр датируется около 1850-1720 до н.э., однако, по мнению Б. Тесье, жертвенное животное могло быть добавлено позднее (*Tessier,* 1984, p. 240).

На одной из печатей (того же периода, что и предыдущая) из той же коллекции Маркополи с многофигурной композицией, на подставке конической формы изображен сосуд также конической формы с расширением в верхней части. Над сосудом показаны вертикальные линии, передающие языки пламени (*Teissier*, 1984, no 475).

На примере двух последних печатей можно предположить, что подставки выполняли функцию жертвенников. На них возжигался, по всей вероятности, и жертвенный огонь. Однако было бы неправильным ограничивать применение каменных подставок только церемонией возжигания жертвенного огня. Вполне вероятно, что подставки служили и для сосудов для возлияний. Яркой иллюстрацией для церемонии возлияния может служить настенная роспись из Мари (XVIII в. до н. э.). Многорегистровая живопись помещения 132 дворца Мари передает сцены поклонения и жертвоприношения верховным богам (*Parrot,* 1960, p. 283, fig. 348). Для нас наиболее интересным представляется четвертый регистр, изображающий сидящего на троне в форме гор бородатое божество (слева), голову которого венчает убор в виде тонкого полумесяца (рис. 4 – см. цветную вклейку). Справа три фигуры, ближайшая к тронному божеству – жрец с длинной белой бородой. В левой руке он держит конической формы сосуд типа кубка, из которого струится влага. Стекая вниз, струи делятся; одна струя льется вперед через прямоугольное сооружение под ноги божества, другие две струи падают в сосуды конической профилировки с расширяющимися кверху устьями. Нет полной уверенности, что эти сосуды стоят на подставках аналогичной формы. Разделительная горизонтальная линия темного цвета говорит, казалось бы, в пользу того, что это два отдельных предмета. Однако мы не можем исключить, что это один целый предмет и тогда разделительная линия может означать основание культового сосуда и верхнюю плоскость подставки.

Итак, как показывают печати бронзового века, подставки под жертвенники или другие культовые сосуды широко применялись на Древнем Востоке; форма их, за исключением некоторых второстепенных деталей, совпадает с каменными «колонками» Бактрии и Маргианы.

Традиция использования каменных подставок в культовой атрибутике Древнего Востока продолжается и в последующие эпохи. Прежде всего, хотелось бы остановиться на одном памятнике торевтики халдео-ассирийского искусства – бронзовой чаше, украшенной изображениями «колонок». Их верхняя часть оформлена в виде различных изображений, в том числе крылатых скарабеоидов или змей (*Perrot, Chipiez,* 1884, p. 331, fig. 211; 213, 214). Особый интерес представляет собой колонка, на вершине которой изображено подобие сосуда типа кубка с округлым дном (рис. 3: *4*). Интересна для нас деталь в виде желобка, проходящего вдоль ствола «колонки», такая деталь, как известно, присутствует на некоторых каменных «колонках» Маргианы.

Отличительной чертой культовых подставок в ассирийском искусстве является их размеры. По соотношению к человеческим фигурам, подставки эти значительно выше древних, хотя форма сохраняется та же. Интересна в этом отношении композиция из Куюнджика, опубликованная в свое время Г. Лейярдом (*Layard,* 1853, p. 354). В верхней части сохранившегося фрагмента композиция включает по центру алтарь огня левее от него две стоящие фигуры с воздетыми в молитвенном жесте руками (рис. 3: *5*). Между алтарем и этими фигурами высокая подставка, на которой стоит кубок на высокой ножке с округлой донной частью и высоким расширяющимся устьем. Позади основных фигур, еще одна, присевшая на корточки фигурка, придерживает животное с загнутыми назад рогами (жертвенное животное?).

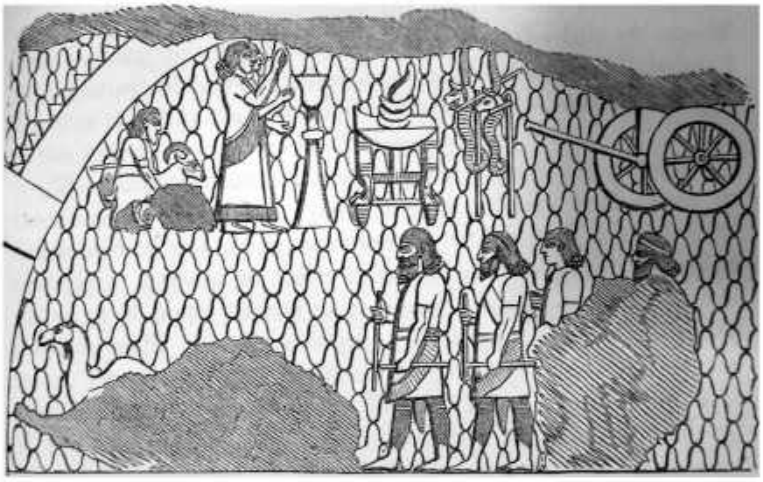
Другим ярким примером культовых подставок является рельефная композиция из дворца царя Ашшурбанапала в Ниневии (669 – около 635 гг. до н. э., Лондон, Британский Музей) со сценой возлияния царя над охотничьей добычей. В центральной части композиции между фигурой царя и арфистами показан жертвенник, водруженный на высокую подставку. Подставка имеет сильно расширенное основание и ствол с сильно зауженной верхней частью. Сам жертвенник имеет вид вазы с нешироким основанием и высокой

1

2

3

4



5

Рис. 3. Сиро-палестинские печати средней бронзы, выполненные в традиции египетского искусства по: *Teissier,* 1996: 1 – № 183 (сосуд приземистой формы с подкосом от середины тулова); 2 - № 197 (сосуд на высокой ножке с открытым резервуаром типа вазы); 3 – Печать Ахеминидской канцелярии из агата из коллекции Британского музея (BM 89324) (по: *Collon*, 1997); 4 – изображение колонки на бронзовой чаще (по: *Perrot, Chipiez*, 1884); 5 – композиция из Куюнджика (по: *Layard*, 1853).

ножкой с приплюснутым туловом, над которой возвышается горка треугольных очертаний (*Parrot,* 1960, fig. 74–76). Мы уже отмечали, что для искусства Ассирии IX–VII вв до н. э. характерны довольно крупные по масштабу подставки, однако наряду с ними встречаются и невысокие типы, как это видно на рельефе со сценой банкета в саду из Британского музея (VII в. до н. э.), изображающего царя Ашшурбанапала с царевной. С обеих сторон ложа помещены невысокие богато декорированные колонки с вазообразным сосудом и треугольной горкой, символизирующей пламя.

Изображения культовой атрибутики отражены в достаточной мере и в памятниках глиптики раннежелезного века ново-ассирийского искусства, как правило, это все те же сцены с персонажами, совершающими обряд жертвоприношения или поклонения (*Herbordt,* 1992, tafel 2: *2, 7, 10*; tafel 13: *5, 11*; tafel 14: *6*).

Культовые сцены, в которых фигурируют колонки-подставки как часть непременного инвентаря, характерны и для других регионов Ближнего Востока эпохи раннего железа. Довольно подробно эта категория культовой утвари описана в статье П. Бэк, которая рассматривает не только данные изобразительного искусства древней Палестины, но и реальные предметы, полученные в результате археологических раскопок (*Beck*, 2002, p. 203–296, fig. 3–6; 15–16; 27).

В более поздний, ахеменидский период (VI–V вв. до н. э.), мы вновь встречаем изображения жертвенников на высоких подставках в рельефах Персеполя, в сценах, где присутствует царь и его приближенные. В изобразительном искусстве Ирана эпохи ахеменидов многие традиции, включая и сцены культового характера, следуют из предшествующей эпохи. Первые, надежно датированные печати, используемые ахеменидской канцелярией относятся к 6-му году правления Дария Великого (*Collon*, 1987, p. 90). По своим стилистическим особенностям они очень близки к ново-вавилонской глиптике. Здесь мы имеем, вероятно, переходный период, предшествующий «дворцовому стилю» ахеменидского искусства. Интересна в этом отношении цилиндрическая печать из агата, хранящаяся в Британском музее (BM 89324). В левой части композиции изображена стоящая справс перед жертвенником фигура жреца (рис. 3: *3*). Жертвенник представляет собой вазообразный сосуд на высокой ножке, водруженный на высокую колонку с широким основанием и зауживающимся стволом. Вверху колонка имеет расширение с горизонтальной плоскостью, которая и служит в качестве площадки для собственно сосуда. Над сосудом рельефное сводчатое возвышение, передающее, по всей очевидности, священный огонь.

Подробное рассмотрение материала этого периода и равно последующих эпох не входит в задачу данной статьи. Можно лишь отметить, что применение культовых подставок продолжается до раннесредневекового периода. Алтари и жертвенники на высоких ножках нередко изображаются в настенной живописи (Пенджикент, Варахша), а также в других видах изобразительного искусства Средней Азии (*Шкода,* 1985, с. 82–89). Следует отметить, что часто подставки для культовой посуды (резервуаров) трансформируются в единый предмет. Особенно это характерно для керамических жертвенников – алтарей, или для посуды для возлияний.

В заключение хочется сказать, что мы сознательно ограничили круг образцов и их аналогий в изобразительном искусстве Древнего Востока, тем не менее, взятые нами примеры достаточно ясно свидетельствуют о функциональном значении каменных колонок. Не исключено, что посуда, найденная *in situ* в храмовых комплексах или святилищах вместе с каменными колонками-подставками и составляли тот непременный и важный элемент культового действа, перед которым предстояли цари и жрецы, совершая религиозные ритуалы, запечатленные в произведениях древнего искусства.

Литература

Аскаров А. А., Альбаум Л. И. Поселение Кучук-тепа, Ташкент, 1979.

Древности Южного Узбекистана. Каталог \ Э. В. Ртвеладзе, Дж. Ильясов (Ред.) Ташкент, 1991.

Древности Таджикистана. Каталог выставки \ Е. В. Зеймаль (Ред.). Душанбе, 1985.

Искусство Древнего Востока \ Е. И. Ротенберг (Ред.). М., 1968.

Максимова А. Г. Каменный пест из Иссыка // Археологические исследования в Отраре. Алма-Ата, 1977. С. 139–141.

Массон В. М. Алтын-депе. ТрЮТАКЭ. Т. XVIII. Л., 1981.

Пугаченкова Г. А. Новые данные о художественной культуре Бактрии. Каменная скульптура и комплекс ритуальных предметов из Миршаде // Из истории античной культуры Узбекистана, Ташкент, 1982. С. 78–128.

Сариниди В. И. Месопотамия и Бактрия во II тыс. до н. э. // СА. 1986. № 2. С. 34–45.

Сариниди В. И. Новый центр древневосточного искусства // Археология старого и нового света. М., 1982.

Сариниди В. И. Печати-амулеты Мургабского стиля // СА. 1976. № 1. С. 42–68.

Сариниди В. И. Мервский оазис, Северная Парфия, Серахский оазис, Северная Бактрия. // Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. М., 1985.

Сариниди В. И. Сиро-хеттские божества в Бактрийско-Маргианском пантеоне // СА. 1989. № 4. С. 17–24.

Сариниди В. И. Сирохеттское происхождение бактрийско-маргианской глиптики // ВДИ. 1999. № 1.

Сариниди В. Маргуш. Древневосточное царство в древней дельте реки Мургаб. Ашхабад, 2002.

Шкода В. Г. Об одной группе среднеазиатских алтарей огня V–VIII // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985. С. 82–89.

Beck P. The Art of Palestine During the Airon Age II: Local Traditions and External Influences (10th – 8th Centuries BCE) // Imagery and Representation. Studies in the Art and Iconography of Ancient Palestine: Collected articles, Tel Aviv, 2002. P. 203–296.

Collon D. First Impressions. Cylinder Seals in the Ancient Near East. L., 1987.

Forgotten Empire. The World of Ancient Persia \ J. Curtis, N. Tallis (Eds.). Berkeley, Los Angeles, 2005.

Dales G. F. Prehistoric research in Southern Afghan Seistan // Afghanistan. 1972. № 4.

Dales G. F. Shifting trade patterns between the Iranian Plateau and the Indus Valley in the third millennium B. C. P. I., 1977.

Herbordt S. Neuassyrische Glyptik des 8.–7. Jh. v. Chr. The Neo-Asssirian Text Corpus Project, 1992.

Layard A. H. Nineveh and its Remains. Vol. I, NY, 1853.

Otto A. Die Entstehung und Entwicklung der Klassisch-Syrischen Glyptik. Berlin, NY., 2000.

Parrot A. Sumer. L., 1960.

Perrot G., Chipiez Ch. A History of Art in Chaldea and Assyria. Vol. II. Translated and edited by W. Armstrong. L., 1884.

Pompelly R. Explorations in Turkestan. Vol. 1. Wash., 1908.

P'yankova L. T. Bronze Age settlements of Southern Tajikistan // The Bronze Age civilisation of Central Asia: recent Soviet discoveries. NY., 1981. P. 287–312.

Teissier B. Egyptian Iconography on Syro-Palestinian cylinder seals of the Middle Bronze Age // Orbis Biblicus et Orientalis. Ser. Archaeologica 11. Gottingen, 1996.

Teissier B. Ancient Near Eastern cylinder seals from the Marcopoli collection. Berkeley – Los Angeles. L., 1984.

Н. А. Аванесова

ЗЕРАВШАНСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ БАКТРИЙСКО-МАРГИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Природные условия и особенности освоения региона

Зеравшанские древности эпохи палеометалла мы рассматриваем в границах всего бассейна реки Зеравшан. Особенность обозначенной территории заключается, прежде всего, в ее расположении – бассейн Зеравшана, представляя собой обширную часть среднеазиатского междуречья, занимает центральное положение в Евроазиатском континенте. Он расположен между Туркестано-Актауским хребтом на севере, Зеравшано-Гиссарским на юге, восточной границей его является горный узел Матча (стык Памиро-Алайских горных систем), западной – Кызылкумы. По общему характеру высотная поясность Зеравшана относится к так называемому урало-тяншаньскому типу со сменой поясов от пустынного до нивально-гляциального пояса – 200–5301 м над уровнем моря (*Баратов,* 1977, с. 6–7). В физико-географическом отношении здесь представлены различные экосистемы: пустынные равнины, предгорные полупустыни и степи, дельтовая и горная. Особая роль каждой из географических зон в формировании хозяйственных укладов древних обществ предполагала, в известной степени, локализацию специфических признаков материальной и духовной культуры. Однако на определенных стадиях исторического развития географические границы между горно-предгорными и равнинными регионами становились исходным пунктом активного взаимодействия различных сообществ. Археологические памятники именно таких пограничных районов содержат больше информации для решения вопросов синхронизации материальных комплексов и изучения механизмов формирования новых культурных образований.

Среди природных условий, способствовавших развитию экономической жизнедеятельности в бассейне Зеравшана, определяющее значение принадлежит самой реке. Она сформировала долину с аллювиальными почвами, переходящую в среднем и нижнем течении в обширную равнину, что не могло не повлиять на освоение региона ранними земледельцами. Становление древнеземледельческой культуры (Саразм) здесь почти столь же раннее, что и в странах Передней Азии. Обширные пастбищные ресурсы равнины и предгорья реки Зеравшана с её протоками, богатой растительностью оставались стабильной кормовой базой для развития скотоводства во все времена года. Одной из главных причин активного освоения региона является наличие многочисленных минеральных и рудных месторождений: меди, свинца, олова, серебра, золота, из поделочных камней лазурит, бирюза, халцедон, куда открывала доступ водная артерия Зеравшана. Близость воды, минеральных ресурсов, лесов (почти на всем протяжении река окаймлялась густыми тугайными зарослями, горные массивы также были покрыты арчевыми лесами) способствовали развитию металлургии. В эпоху палеометалла регион обладал собственной горнорудной базой. Характер геоэкологической ниши Зеравшана отразился на многоотраслевой экономике: земледельческой, скотоводческой, горнодобывающей и металлургической. Таким образом, река служила своеобразным организующим стержнем, вокруг которой сложилось единое экономическое пространство, хотя природные условия на обширной территории Верхнего, Среднего и Нижнего течения Зеравшана были не совсем одинаковы. Именно ландшафтно-климатические особенности отдельных экологических ниш привели к формированию различий в базовой отрасли хозяйства обитателей региона.

Зеравшанская культурно-историческая область практически беспрерывно была заселена с эпохи палеолита, но процесс этот был далеко не прямолинейным. Отметим, хотя в развитии региона начиная с периода производящей экономики до появления урбанистических центров можно проследить хронологическую преемственность, однако трудно обнаружить какие-либо генетически общие корни в развитии носителей культур. На всех исторических этапах наблюдается контаминация и взаимодействие разных культурных традиций, что объясняет яркую индивидуальность региона, где окружающая среда сыграла решающую роль в структурной организации этих культур. Все культурные образования Зеравшана (Саразм, Заманбаба, Тугайный, Жуков и др.) появляются довольно внезапно, без очевидных исходных прототипов, но имеют ряд общих стадиальных признаков, отражающих особенности исторической обстановки. Плотность заселения региона была разной. Максимальная заселенность отмечается во II тыс. до н. э.

К началу нового столетия в Зеравшанской историко-географической зоне обнаружено и исследовано около 50 объектов (их, безусловно, гораздо больше) – поселения, стоянки, могильники, отдельные погребения, производственные металлургические объекты, случайные сборы. Несмотря на обилие нового материала, степень изученности разных периодов и территории различна. Раскопки различных масштабов проводились только на 20 памятниках. Большинство памятников расположено в левобережье речной системы и приручено к равнинно-степной и горно-долинной зоне. Постоянно возрастающая источниковедческая база делает все более очевидным ключевое положение культурных показателей этого поликультурного региона в оценке евразийских древностей.

Выявленные памятники Зеравшанской долины эпохи палеометалла убедительно свидетельствуют, что в этой области зарождались и протекали важнейшие исторические процессы, отражающие развитие местных археологических культур и их взаимодействие с пришлыми культурами на уровне отдельных элементов. Своеобразие сформировавшейся историко-культурной ситуации во многом было обусловлено сложными культурными процессами интеграционного характера, в которых принимали участие как южные оседло-земледельческие, так и северные, западные пастушеские племена (динамика разнокультурных элементов свидетельствует, что в рассматриваемое время не существовало культурной изоляции), что привело к формированию поликомпонентных культур. Активное взаимодействие двух культурных миров имело место едва ли не на протяжении всего периода эпохи палеометалла. В эпоху бронзы Зеравшанский край был одним из наиболее культурно интегрированных макрорайонов Средней Азии, где пересекались различные культурные традиции. Местной подосновой этого процесса являлся сазаганско-кельтиминарский пласт. В середине IV тыс. до н. э. в регионе произошли значительные изменения. Они были вызваны расселением среди местного неолитического населения оседло-земледельческих племен Геоксюрского типа (*Исаков,* 1991). Неолитическое охотничье-рыболовческое население долины, надо полагать, восприняло производящий вид хозяйства под влиянием передовых достижений соседей, однако грань, отделяющая неолитические памятники от энеолитических не столь четка и ясна.[1] Наряду с инфильтрацией населения из зоны оседлого заселения дополнительные сложности создавались проникновением но-

[1] Тезис о том, что кельтиминарские памятники Зеравшана фиксируют момент перехода к производящей экономике, вызывает дискуссию (*Коробкова,* 1969, с. 109). Пока нет оснований предполагать самостоятельное возникновение производящего хозяйства в регионе. Логичнее предположить, что оно было привнесено из более южных областей Средней Азии, где производящая комплексная экономика засвидетельствована на рубеже VII–VI тыс. до н. э. Речь идет о распространении не только хозяйственных, технических и иных достижений, но и самого населения, более развитого в экономическом плане.

сителей культур ямно-афанасьевского мира с типичной степной моделью хозяйства (*Аванесова, Джуракулова*, 2008, с. 13–33).

Зеравшанские древности, вобравшие и аккумулировавшие различные культурные традиции, объединившие на определенном этапе ряд конкретных разноэтнических групп должны рассматриваться как особое, сложное историко-культурное образование. Без учета сказанного нельзя в полной мере произвести позитивную оценку и общеисторическую интерпретацию развития культур эпохи палеометалла Средней Азии.

В эпоху палеометалла на территории Зеравшана (на базе местного субстрата) формируется несколько локальных культурно-хронологических групп памятников разной хозяйственной направленности с динамичным сочетанием земледелия и скотоводства. В рамках указанной эпохи на этой территории фиксируется несколько хозяйственных укладов, различающихся преимущественной ориентацией на определенный вид экономики:

1. Саразмский культурный комплекс – развивался на основе комплексного земледельческо-скотоводческого хозяйства, сочетавшегося с металлургией.

2. Раннескотоводческое хозяйство (с преобладанием овцеводства) в подвижных его формах – ямно-афанасьевского типа (сакральный комплекс Жуков, Саразмский могильник(?), развеянные сезонные стоянки – Сиаб-2, Лявлякан, Аякагитма).

3. Кельтиминарские племена, продолжали существовать на основе традиционных форм присваивающего хозяйства, частично подвергаясь трансформации.

4. Заманбабинская культура – основой экономического уклада являлось пастбищное скотоводство с элементами приречного земледельческого и охотнического хозяйства.

5. Специализированные хозяйственные комплексы горно-металлургического производственного цикла (направленные на освоение местных сырьевых ресурсов) с элементами оседлого скотоводства (поселения Тугайный, Медоми, Акташты и др.). Здесь же выделяются производственные районы, непосредственно связанные с металлоносными месторождениями, которые эксплуатировались андроновцами (Карнаб, Айяккудук, Басойчанек, Ауминзатау, Мушистон и др.).

6. Комплексное животноводческое хозяйство пастушеских сообществ андроновского типа (поселение и могильники Чакка, Гуджайли, Муминобад, Даштикозы, Сайгус и др.).

7. Еще одну яркую культурную группу образуют комплексы, близкие как протобактрийскому кругу (керамика ранних этапов сапаллинской культуры и др.), так и доандроновским древностям (дисковидные псалии, металлические изделия и др.). Материальным выражением последних являются отдельные погребения (Сиаб, Зардча Халифа, Джам, Сазаганское староречье), кроме того известны и несколько случайных находок этого круга, в том числе каменная цилиндрическая печать из Аксая (*Исамиддинов,* 2002, рис. 92–93). Памятники локализованы и размещаются в Пенджикентско-Самаркандском оазисе. Отсутствие поселений при единичных погребениях не позволяет обоснованно моделировать хозяйственную ориентацию этой группы. Хотелось бы только отметить, что скотоводы были очень активными партнерами в динамике торгово-обменных процессов. Обнаруженные в погребениях Сазаганского староречья артефакты (следы производственной специализации) являются тому косвенным подтверждением. Черты значительного своеобразия, о которых будет сказано ниже, позволяют выделить рассматриваемые памятники в особый зеравшанский вариант Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК).

Таким образом, в эпоху палеометалла Зеравшанский макрорегион стал ареной контактов и взаимодействий населения с разными культурными традициями и различным уровнем социально-экономического развития. Спонтанное распространение культурных

явлений сочетается в ней с реминисценциями старых традиций, а периоды культурной интеграции сменяются периодами культурной дифференциации. Параллельное развитие нескольких укладов хозяйствования и синтез двух и более культурных систем определяет специфику памятников Зеравшанской культурно-исторической области.

История открытия и охранные раскопки в районе Сазагансая

Предметом настоящей публикации является, прежде всего, введение в научный оборот материалов погребений из района Сазаганского староречья и обобщение близких ей культурно-хронологических комплексов Зеравшана, входящих в ареал БМАК.

Погребения Сиаб, Зардча Халифа, Джам, Сазаганское староречье расположены на коренных террасах рек и притоков сообщающихся так или иначе с Зеравшаном. Все перечисленные памятники на момент раскопок находились под угрозой разрушения или были разрушены, в силу этого рассматриваются как частично сохранившиеся. Но прежде обратимся к рассмотрению сазаганских материалов.[1]

Осенью 1995 г. при разработке песчаного карьера в староречье Сазаганская (за восточной окраиной сел. Сазаган, в 26 км к юго-западу от Самарканда) была обнаружена бронзовая булавка с декоративным навершием в виде скульптуры барана. Интерес к находке побудил местных жителей к самостоятельным поискам, в результате чего было почти уничтожено захоронение. Археологическое обследование места находок проводил доцент кафедры археологии Самаркандского университета, житель селения Сазаган, ныне покойный О. И. Ибрагимов.[2] В современном рельефе памятник ничем не выражен. Место, где обнаружены погребения, представляет собой участок террасы высотой 5–7 м. Глубина карьера около 5 м от уровня современной поверхности, грунт сложен из супеси и песка. При осмотре котлована выяснилось, что землеройной техникой почти полностью была срезана могила. В отвалах земли в радиусе более 5-ти метров наблюдались многочисленные разбитые фрагменты сосудов, разрозненные кости взрослого человека (берцовые, тазовые, лопатка и др.) и овцы (череп с челюстью, кости конечностей, ребра и др.). Надо полагать, что в могилу была положена целая туша.[3] В целях исследования пространства вокруг разрушенного погребения на краю карьера был заложен рекогносцировочный раскоп шириной 1,5 м, длиной 4 м, в котором зафиксированы остатки захоронения.

---

[1] Краткая информация о них содержится в публикации автора (*Аванесова,* 2002, с. 20)

[2] О. И. Ибрагимов предпринял экстренные меры по сохранению памятника (была на время приостановлена работа землеройной техники), выяснению обстоятельств обнаружения захоронения и сбору предметов, извлеченных населением из могилы. Им же были проведены охранные раскопки. В 1996 г. все находки из двух захоронений были представлены автору данной работы для определения. Но О. И. Ибрагимов с публикацией не спешил, он искал спонсоров для широкомасштабной экспедиции. Требовались большие земляные работы, т. к. погребения находились на глубине около 3-х метров от современной поверхности. Знакомство с материалом и условия его обнаружения позволяло надеяться на существование здесь могильника. В 2000 г. разведкой кафедры археологии был осмотрен карьер, удалось собрать у местного населения еще два сосуда предположительно из могилы 1. К сожалению, карьер уже выбран на большую глубину и на значительной площади. Материалы из погребений староречья Сазаганская публикуются полностью, не смотря на утрату некоторых вещей (часть вещей хранилась в местной сельской школе, часть дома). В 1996 г. весь комплекс был полностью зарисован. Позже, в мое распоряжение были предоставлены дневник раскопок, полевые чертежи и фотографии О. И. Ибрагимова. Это позволило воспроизвести для публикации планы могил и рисунки всех вещей. В настоящее время все материалы хранятся в Музее археологии Самаркандского университета.

[3] Фаунистический материал изучен палеозоологом СамГУ Б. Х. Батыровым, за что автор выражает ему огромную благодарность.

Могила 1. Сохранился небольшой участок (0,6 × 1,2 м)[1] погребальной камеры. Она имела, вероятно, очертания близкие к прямоугольным и была ориентирована по оси север-юг. На дне, в центре северной части уцелел раздавленный череп, лежащий на левой височной кости, головой на север, лицом на северо-восток. Справа от черепа стояла конусовидная чаша, в которой лежали небольшие бронзовые рафинированные слитки, кусок руды и косметический флакон, в западной части, слева от черепа находилось сопло и каменные орудия (рис.1-I: *1*). По определению антрополога В. В. Куфтерина, останки принадлежат 40–50-летней женщине.[2] Последнее может быть подтверждено и археологическим инвентарем. Под черепом находилась бронзовая подвеска в полтора оборота, а в районе шейных позвонков были рассыпаны бусы, видимо часть шейных ожерелий. Предметы украшения обнаружены также во время флотации могильного грунта: бисер из известкового камня, бусы лазуритовые, сердоликовые, бирюзовые, бронзовые бусы и пронизи, фрагмент ромбической подвески, нашивная бляшка, хлоритовое пряслице. В целом, инвентарь могилы 1 составляли: керамические сосуды, керамическое сопло, бусы из поделочных камней и бронзы, «булавка» и бронзовые украшения, нож, костяные поделки, каменные песты и наковальня. Все они различной степени сохранности.

При повторном осмотре котлована О. И. Ибрагимовым в обнажении борта обрушенного грунта (после обильных дождей) на глубине 2,9 м от современной поверхности были зафиксированы контуры профиля могильного заполнения в виде прямоугольной темной впадины шириной 2,02 м, глубиной 0,6 м. В срезах карьера над погребением каких-либо конструкций не прослеживалось. Раскопками зачищен северо-западный борт котлована и заложен раскоп площадью 18 м^2. В результате этих работ на вскрытой площади выявлено лишь одно, почти полностью сохранившееся погребение. Расстояние между выявленными захоронениями составляет около 7 м.

Могила 2. Захоронение было совершено в грунтовой яме подпрямоугольной формы, с закругленными углами, ориентированной длинными сторонами в направлении С.-Ю. Погребение вырыто в песчаном грунте, стенки ямы отвесные. Западная стена могилы частично нарушена бульдозером. Заполнение камеры состояло полностью из сильно гумусированного суглинка. Размеры: 2,01 × 1,65 × 0,6 м. В западной половине могильной камеры расчищен скелет мужчины в возрасте 25–30 лет, лежащий на правом боку, в скорченной позе, головой на север с отклонением на северо-запад. Кости стоп и кистей отсутствовали (рис. 1-II: *1*). Сохранился набор вещей, положенных с усопшим при погребении: в изголовье стоял орнаментированный сосуд ручной лепки, а рядом находился однолезвийный бесчерешковый пластинчатый нож; сосуды, изготовленные на гончарном круге (конусовидная чаша, вазы и кубок на ножках, чайник и чаша со сливом) стояли за спиной усопшего вдоль восточной стены ямы и у левого бедра (в чаше находились необработанные куски бирюзы и лазурита); у юго-восточного угла – остатки деревянного блюда (в процессе расчистки оно разрушилось), на ней кости передних, задних конечностей, лопатка, ребра козы (остатки заупокойной пищи) и бронзовый, пластинчатый двулезвийный нож; в ногах – каменные изделия (инструменты, применяемые в ювелирном деле и при обработке камня). При погребенном выявлены следующие вещи: вокруг черепа – бисер, бусы лазуритовые, бирюзовые и одна агатовая (по-видимому, нашитые на головной убор); на груди, в области левого предплечья – бронзовая булавка с конической шляпкой; на поясе, слева от таза – хлоритовая биконическая бусина и скопление бус из

[1] Глубина могильной ямы в дневнике и в полевых чертежах О. И. Ибрагимова не значится.

[2] См. статью В. В. Куфтерина в настоящем сборнике.

поделочных камней (заготовка и брак из сердолика), среди которых преимущественно лазуритовые – на остатках темно-коричневой истлевшей кожи (кожаный мешочек). При нем также найдены два псалия, лежавшие перед грудью (рис. 1-II: *1;* 1-I: *17*).

Полученный из экстраординарных погребений материал говорит о достаточно выраженном культурно-хронологическом единстве памятника. Погребения, исследованные в районе староречья Сазагансая, значительно выделяются из числа захоронений БМАК, они дали уникальный и во многом необычный поликультурный материал. В составе инвентаря разнообразные по форме и материалу артефакты, несущие следы отчетливого симбиоза. Особую ценность памятнику придают находки слитка бронзы, руда, сопло, необработанные куски бирюзы и лазурита, безусловно указывающие на характер производственной деятельности погребенного.

Обратимся к характеристике материальной культуры через процедуру типологических построений.

Посуда

Керамический комплекс ярко определяет своеобразный характер сазаганских погребений. В исследуемой коллекции представлены 15 сосудов, отличающиеся значительным функциональным и технологическим разнообразием. Большая часть (13 сосудов) изготовлена на гончарном круге, а два – ручной лепки с орнаментом.[1] Посуда, сделанная на гончарном круге быстрого вращения, отличается высоким качеством изготовления (глина без видимых примесей) и хорошим обжигом.

Поверхность сосудов розовато-красная, зеленовато-белая, серовато-черная; многие из них снаружи подверглись вертикальному полосчатому лощению (некоторые сосуды до блеска), есть с двусторонним лощением. Сохранились следы ангоба. Цвет черепков краснофоновый и серый, обжиг равномерный. Нередко сосуды имеют гофрированную с внутренней стороны поверхность. Толщина стенок составляет 0,3–1,2см.

В общем ассортименте представлены: вазы и кубки на ножках, чайник с трубчатым сливом, чаши со сливом, конические чаши, узкогорлый графин, кувшин. Это преимущественно столовая бытовая посуда. Перейдем к описанию керамики по типам.

Вазы на высокой ножке (3 экземпляра) отличаются формой резервуаров.

1. Ваза на высокой ножке с уплощенно-коническим резервуаром и желобчатым бортиком, край которого заострен, отогнут наружу. Ножка сосуда полая, отделена от резервуара кольцевым уступом, ствол высокий, конической формы, имеет слабую гофрировку. Вогнутое основание ножки имеет выступающее ребро по краю. Размеры: общая высота 31 см, высота ножки 17,8 см, диаметр венчика 30,5 см (рис. 1-II: *8*).

2. Ваза с коническим резервуаром и выделенным с помощью ребра бортиком, стенки последнего загибаются внутрь. Приземистая ножка в месте соединения с резервуаром имеет небольшой уступ. Гладкий ствол ножки, более чем на половину высоты сплошной и только у основания полый. Размеры: общая высота 24 см, сохранившаяся высота ножки 9 см, диаметр венчика 28 см (рис. 1-II: *4*).

3. Фрагмент сероглиняной вазы с мискообразным резервуаром и с выделенным бортиком, заостренный венчик которого отогнут наружу. Ножка не сохранилась. Диаметр венчика 22 см (рис. 1-I: *7*).

[1] К сожалению, часть сосудов дошла до нас в обломках, из которых полностью или частично реконструируется форма 15 сосудов. Величина фрагментов лепной керамики не позволяет точно установить высоту и характер дна сосудов.

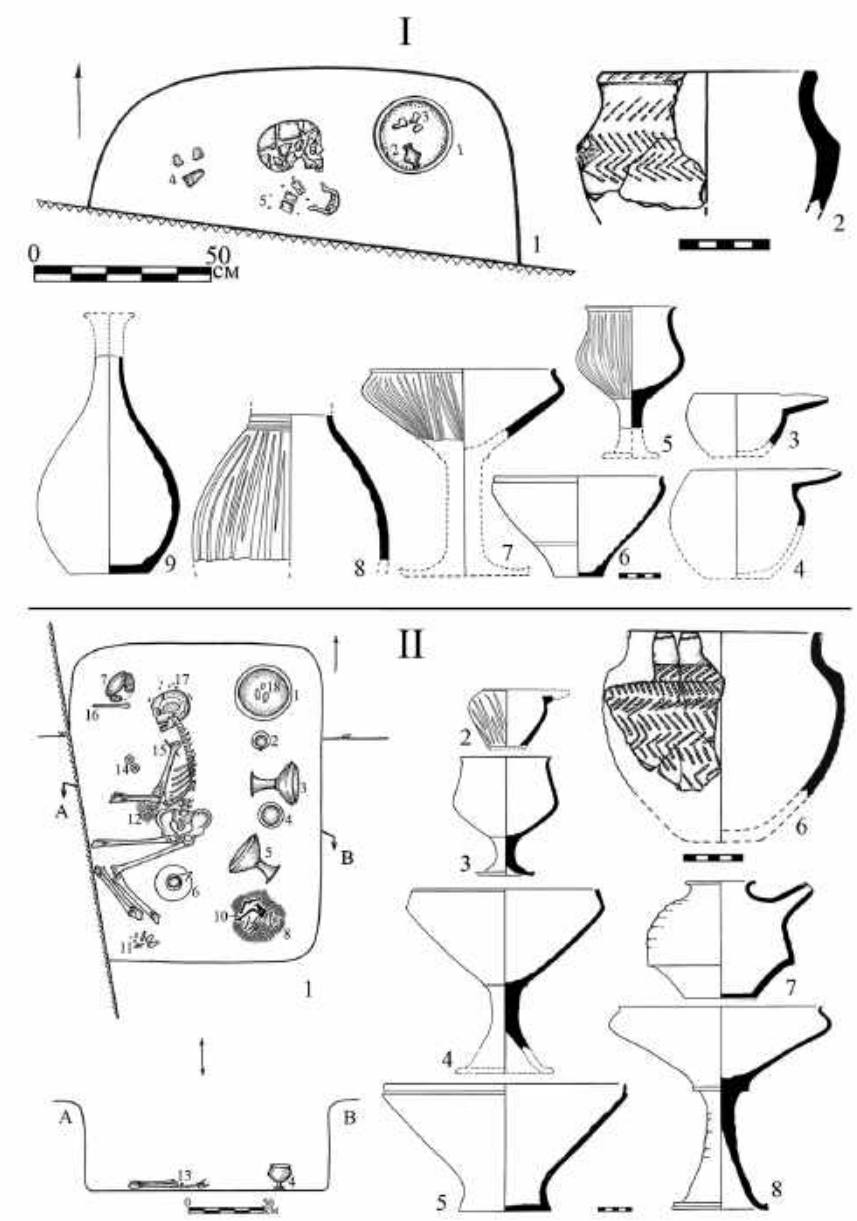


Рис. 1. Сазаганское староречье. Планы могил и керамика. I – могила 1; II – могила 2.

Кубки на ножке представлены небольшим и крупным сосудом. По общему абрису они имеют единую форму, отличаются лишь по технологическим качествам и ёмкостью. Сосуды горшковидной формы с биконическим туловом, слегка отогнутым наружу закругленным венчиком на невысокой ножке. Ствол последней гладкий, почти монолитный и только у основания полый. На основании плоской ножки имеется круговая округлая выпуклость. Один из сосудов (мог. 1) красно-ангобный, на поверхности имеются следы зигзагообразного вертикального лощения. Ножка отделена от резервуара уступом. Размеры кубка мог. 2: общая высота 17,8 см, ножки 5,8 см, диаметр венчика 13,5 см (рис. 1-II: *3*); размеры кубка мог. 1 сохранившаяся высота 14,5см, ствола ножки – 3,5см, диаметр венчика 10,8 см (рис. 1-I: *5*).

Конусовидные сосуды разных пропорций и вероятно различного функционального назначения: тагора (мог. 2) , чаша (мог. 1). Различаются формой венчика и оформлением донной части.

Тагора с коническим туловом, вогнутыми стенками, выделенным с помощью ребра невысоким бортиком, подчеркнутым кольцевой желобчатой линией. Венчик в профиле вертикальный с округлым завершением. Узкая донная часть вытянута в виде ножки, основание плоское. Размеры: высота 19 см, диаметр венчика 36 см, дна – 13,5 см (рис. 1-II: *5*).

Глубокая коническая чаша, стенки переходят в невысокий бортик плавно, без ребра. Вертикальный заостренный венчик выделен кольцевой прочерченной линией. Узкое донце с хорошо выраженным поддоном. Размеры: высота 12 см, диаметр венчика 20 см, дна – 6 см (рис. 1-I: *6*).

Узкогорлый "чайник" с лепным, коротким трубчатым сливом. Невысокая горловина плавно соединяется с усеченосфероконическом туловом. Венчик отогнут наружу, на нем изнутри имеется полоса красной краски. Между приземистым туловом и подкошенной нижней частью имеется четко выраженное неровное ребро и следы песчаной подсыпки. Дно плоское, подправленное ножом. Своеобразие сосуду придает нижняя часть корпуса как бы нависшая над придонной частью. Размеры: высота 17,5 см, диаметр венчика 10,2 см, дна – 11 см (рис. 1-II: *7*).

Чаши с горизонтальным желобчатым сливом. Представлены тремя сосудами, которые отличаются формой тулова и технологией изготовления. Две полусферические чаши (нижняя часть не сохранилась) с округлой емкостью имеют длинный, узкий заостренный слив. Венчик является округленной закраиной стенок тулова. Поверхность покрыта розовым ангобом: одна небольшая – диаметр венчика 10 см, тулова – 11 см, длина слива – 6,4 см, другая крупная – диаметр венчика 13 см, тулова – 16 см, длина слива – 5 см (рис. 1-I: *3, 4*)

Третья чаша – чернолощеная, сфероконической формы (дно и часть слива отбиты). Характеризуется чуть обозначенным, приостренным венчиком, который представляет собой загнутый край округлой стенки плечика. На поверхности прослеживаются вертикальные следы лощения. Размеры: сохранившаяся высота 8,5 см, диаметр венчика 9 см, тулова – 11 см (рис. 1-II: *2*).

Графин грушевидной формы, с высоким узким горлом, переходящим в сфероконическое тулово, имеет плавно закругленную нижнюю часть, плоское, устойчивое дно. Поверхность сосуда покрыта светлым ангобом и заглажена. Часть горла с венчиком не сохранилась. Размеры: высота 26 см, диаметр горла 3,5 см, тулова – 17 см, дна – 9,5 см (рис. 1-I: *9*).

Фрагмент чернолощеного ***кувшина*** с вытянутой горловиной. Имеет эллипсовидное тулово. Форма венчика и придонной части неизвестна. На поверхности прослеживаются следы вертикального лощения. Размеры: высота сохранившейся части сосуда 17,5 см, диаметр горла 10 см, тулова – 23 см (рис. 1-I: *8*).

Материалы из сазаганских погребений дали интересную и очень важную в историко-культурном отношении керамику. Она находит себе широкий круг аналогий в памятниках БМАК. Если рассматривать её на общем фоне материалов бактрийско-маргианской цивилизации, то наибольшая близость обнаруживается с сапалинской культурой. По своим технологическим и типологическим формам сазаганская гончарная керамика составляет четкий и совершенно определённый керамический комплекс, характерный для сапаллинского и раннего джаркутанского этапа Сапаллинской культуры (*Аскаров*, 1973; *Аскаров, Абдуллаев*, 1983; *Рахманов*, 1987). Погребальный обряд этому не противоречит. При этом значительное количество форм керамики находит соответствие в материалах второго этапа БМАК в абсолютных датах это – **XVIII–XVI вв. (***Пьянкова,* 1990, 1994).

Несколько необычны в коллекции, найденные в одном комплексе с гончарной посудой ***сосуды ручного изготовления***, своеобразие которых наиболее ярко представляется в формах и приемах орнаментации. Рассмотрим их.

Сосуд (рис. 1-II: *6*) горшковидной формы с зауженным горлом, высоко расположенным ребристым плечиком, короткой, слегка оттянутой наружу шейкой, имеющий горизонтально плоский срез венчика. Корпус приземистый, с раздутым туловом. Большую часть поверхности (кроме шейки) покрывает орнамент. Ряды наклонных, глубоко посаженных отпечатков мелкозубчатого, короткого, слегка изогнутого штампа образуют композицию в виде горизонтальных «елочек»[1]. На внутренней стороне сосуда прослеживаются параллельные штрихи, сделанные, очевидно, зубчатым штампом. Внешняя поверхность со следами заглаживания. Очень глубокие вдавления штампа придают наружной поверхности рельефность. Толщина стенок неодинакова, колеблется от 0,6 см до 1,3 см. Диаметр венчика 16,5 см, тулова 20,2 см. Обжиг неравномерный, на серо-черном фоне просматриваются коричневато-бежевые пятна. В изломе однослойный, однородный по цвету. Плотное мелкотекстурное тесто содержит обильную примесь шамота, речного песка и незначительную растительную примесь.[2]

Остроребериый горшок приземистых пропорций с плавно отогнутой шейкой, коротким плечиком и плоско срезанным венчиком (рис. 1-I: *2*). Переход от плечика к тулову оформлен ребром. Орнамент покрывает верхнюю часть сосуда. Венчик выделен наклоненными рядами косых коротких вдавлений. Зона под венчиком украшена оттисками горизонтальных наклонных рядов мелкозубчатого короткого штампа. Тем же орнаментером (неглубокими отпечатками с узкими промежутками между вдавлениями зубчиков) выполнен пояс многорядного вертикального зигзага по слабовыпуклому тулову. На внутренней поверхности сохранился нагар, а также следы линейно-штрихового заглаживания. Толщина стенок от 0,8 см до 1,2 см, диаметр венчика 11,8 см, тулова 14 см. Обжиг неравномерный, на темно-коричневом фоне просматриваются пепельно-черные пятна. В изломе однородно черный. Глиняное тесто содержит примесь шамота, незначительную дробленую раковину и растительную примесь.

---

[1] В качестве зубчатого штампа, вероятно, использовалась створка раковины.

[2] При диагностике формовочной массы использовался петрографический анализ шлифов и химическое определение на органику. Работа выполнена в лаборатории «Самгеология» Н. К. Щигеревой

Описанные сосуды горшечных форм с подчеркнутым внешним ребром по многим показателям сопоставимы с полтавкинской керамикой.[1] Близость устанавливается по таким признакам как: 1) техника и приемы исполнения декора (частота отпечатков, глубокие вдавления штампа придают поверхности ребристость), его сюжеты и характер покрытия (гребенчатая «елка» и зигзаги покрывают большую часть сосуда); 2) зубчатый орнамент – штамп (изогнутый, тонкий, узкий) из створки раковины; 3) рецепт формовочной массы: глина + песок +шамот + органика и глина + толченная раковина + шамот + органика; 4) тенденция к остроребериости на высоких плечиках. Отметим, что все перечисленные признаки характерны для керамики поздних этапов нижневолжских и прикаспийских групп памятников (*Качалова*, 1962, с. 37–39; 1983, с. 4–17; 2001, с. 36–38, с. 51–52, рис. 1, 4, 7; *Салугина,* 1994, с. 177).

Несмотря на близость с полтавкинской керамической традицией, речь идет о сходстве признаков, а не о полном тождестве. Особенно это касается характера оформления шейки, плоско срезанного венчика, пропорции толщины сосуда. Показательно, что по указанным признакам выявляется большая близость с посудой потаповско-синташтинского и петровского круга памятников (*Васильев и др.*, 1994, рис. 21: *1, 3, 5*; *Васильев и др.*, 1995, рис. 3: *8*; *Генинг и др.,* 1992, рис. 55: *4*; 63: *2, 4*; 95: *16, 17*; 121: *1, 2*; *Епимахов,* 2005, рис. 22: *1*; 34: *3*; 96: *6*; *Баталов и др.*, 1996, рис. 18: *8*; 23: *7*; *Зданович и др.,* 2002, рис. 28: *7*; *Виноградов,* 2003, рис. 8: *6*; 27: *7*; 90: *2*; *Зданович,* 1980, рис. 2: *7, 10*; 3: *1, 3, 7, 10*; *Малютина, Зданович*, 2004, рис. 6: *3*; *Потемкина,* 1985, рис. 75: *1, 4, 9, 11*), в которых фиксируются полтавкинские проявления, что свидетельствует о частичной синхронности и определенных контактах. Обстоятельное исследование, проведенное Т. М. Потемкиной по материалам могильника Верхняя Алабуга, подтверждает факт сосуществования на определенном отрезке времени (соответствующей заключительной стадии полтавкинской культуры) полтавкинского, катакомбного, абашевского, синташтинского и петровского населения (*Потемкина,* 1990, с. 126–127).

В литературе неоднократно рассматривался вопрос об участии полтавкинцев в культурогенетических процессах петровско-синташтинского, аркаимского и потаповско-покровского типа древностей, носители которых стадиально и культурно близки (*Смирнов, Кузьмина,* 1997, с. 51; *Потемкина,* 1990, с. 127; *Зданович*, 1997, с. 54; *Малютина, Зданович,* 2003, с. 125; *Васильев и др.,* 1995, с. 16; *Качалова,* 2001, с. 55). Однако степень участия полтавкинского населения в последних, на взгляд автора, нуждается в дополнительной аргументации. Они могут быть выяснены лишь после многофакторного анализа погребальных и поселенческих памятников Волго-Уралья.

Помимо вышеописанных керамических сосудов в коллекцию входят остатки деревянного блюда и бронзовый косметический флакон.

Миниатюрный литой флакон (сурмадон) имеет высокую, цилиндрическую горловину, плоско отогнутый наружу венчик, биконическое тулово на плоском поддоне. По плечику проходит рельефный валик. На дне сохранился литник. Размеры: высота 7 см, диаметр тулова 4,8 см, венчика – 2,2 см донца – 2,8 см (рис. 2: *3*).

Подобные сосудики широко представлены в Сапалитепа, Джаркутане (*Аскаров,* 1973, табл. 25: *1–4*; 1977, табл. XXV: *1–3, 10–12*; табл. XXVI: *1–11*; табл. XXVII: *13*; *Аскаров, Абдуллаев,* 1983, табл. XXXI: *2*; *Аскаров, Ширинов,* 1993, рис. 24: *3-4*; рис. 62: *11-5*; рис. 63: *11–15, 16, 17*; *Ionesov*, 2002, fig. 69: *1*), в некрополях Тоголок 24, Гонур (*Сариниди,* 1990,

[1] В 1998 г. автор получила консультацию у признанного специалиста по полтавкинским древностям Н. К. Качаловой. Наталья Кирилловна нашла в сазаганской керамике характерные черты позднеполтавкинской посуды.

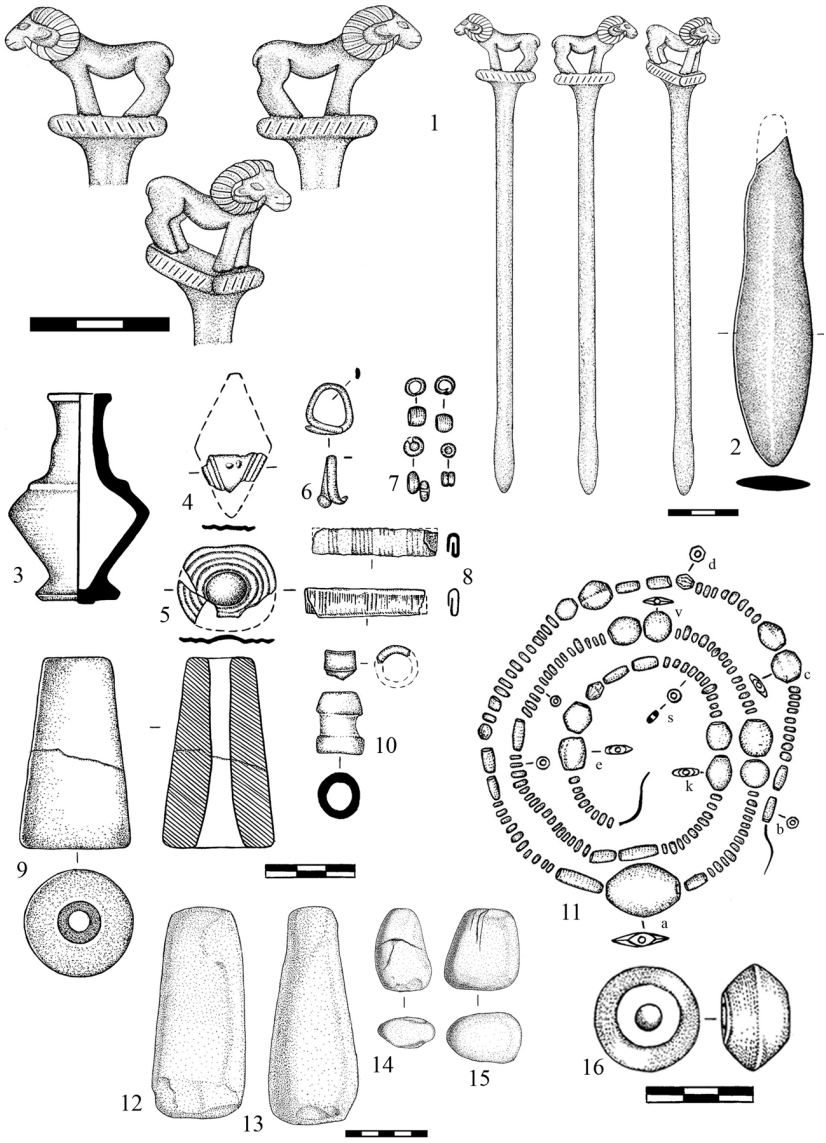


Рис. 2. Сазаганское староречье. Могила 1.
Погребальный инвентарь: 1-8 – бронза; 9 – глина; 10 – кость;
11-16 – камень.

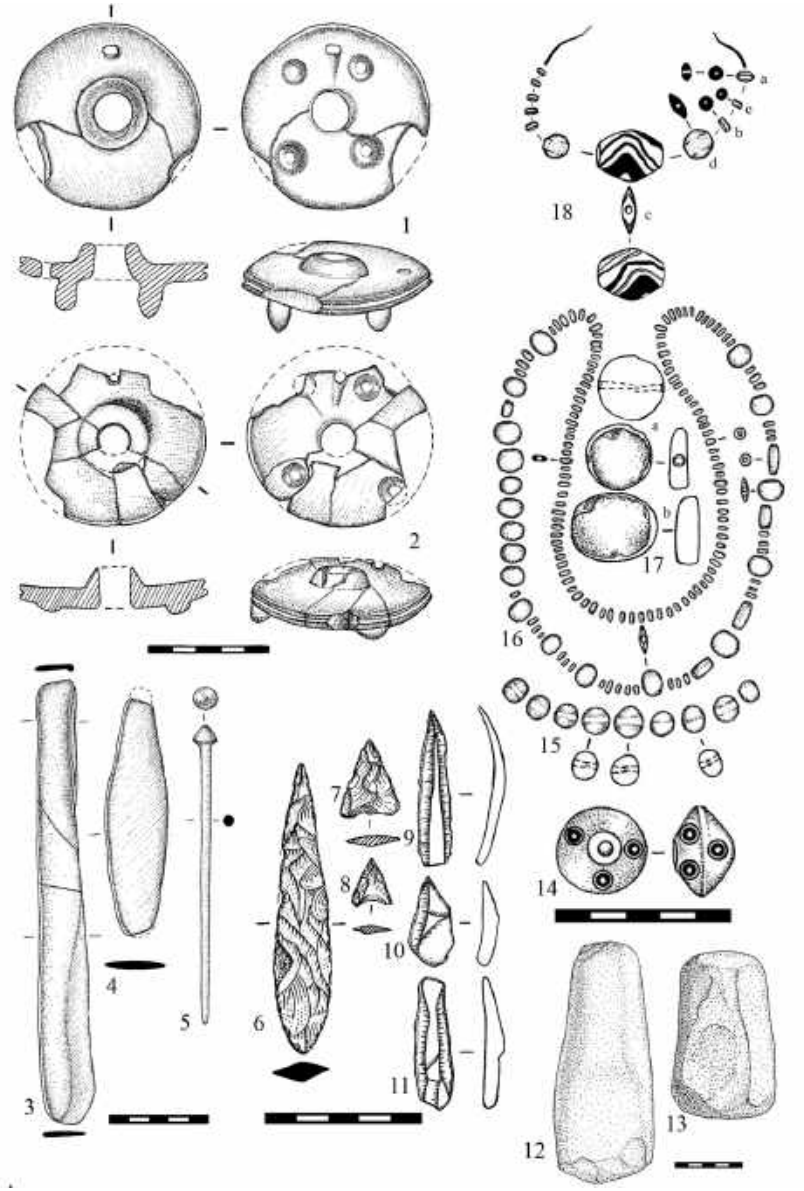


Рис. 3. Сазаганское староречье. Могила 2.
Погребальный инвентарь: 1, 2 – рог; 3, 4, 5 – бронза; 6 –18 – камень.

табл. XXXVI: *27*; 2001, рис. 26, табл. 25: *1–2*; *Sarianidi,* 2007, fig. 116, 117 on p. 93). Реже встречаются флаконы в Сумбарском могильнике (*Хлопин,* 1983, табл. XVIII: *15*), Алтын Депе (*Кузьмина,* 1966, табл. XVI: *45*; *Кирчо*, 2001, рис. 7: *7*), *Шахдаде* (*Hakemi,* 1997, p. 222, № 0512), в тепе Гиссаре (*Schmidt,* 1937, pl. LVII: № 3497, 4014), значительное количество засвидетельствовано из ненаучных раскопок могильников Бактрии (*Сариниди,* 1979, рис. 1, 2, 3; 1977, рис. 41). Рассматривая бронзовые флаконы, нельзя не упомянуть их керамические, каменные, фаянсовые и костяные прототипы (*Сариниди,* 2001, табл. 25: *3-4*; 2002, с. 124). Картографирование этих находок показывает, что наибольшее их количество концентрируется в Бактрии, где они статистически представительны. Только в закрытых комплексах сапалинской культуры обнаружено более 20 однотипных бронзовых флаконов, а по публикациям В. И. Сариниди (1977, 1979, 1992) из разграбленных могильников Северного Афганистана происходят более 50 флаконов с биконическим и округлым туловом на поддоне. Можно признать, что находки подобного рода типичны для Бактрии. Миниатюрные флаконы косметического или медицинского назначения имеют весьма долгую историю развития: если судить по материалам энеолитического поселения Геоксюр I, они появляются на рубеже IV–III тыс. до н. э. (по традиционной хронологии) и существуют с перерывами до конца II тыс. до н. э. по артефактам бустонского этапа сапаллинской культуры (*Сариниди,* 1979, с. 261; *Ionesov,* 2002, p. 155–156).

Археологические находки ***деревянных изделий*** в силу их плохой сохранности исключительно редки, тем значительней зафиксированные остатки деревянного плоского блюда диаметром около 26 см. К сожалению, при расчистке оно окончательно распалось (рис. 1-II: 1–8).

Использование в повседневной жизни деревянной посуды выразительно демонстрируют находки из захоронений раннего комплекса Сапалли. В последнем были найдены 8 деревянных блюд, 4 миски, полусферические чаши, блюдца и т. д. (*Аскаров*, 1977. С. 69).

Помимо посуды коллекция представлена значительным числом бронзовых и каменных предметов. В числе **изделий из бронзы** – ножи, булавка, шпилька или косметическая палочка и отдельные украшения.

Бронзовые ножи представлены двумя разновидностями – двулезвийными и однолезвийным.

Бесчеренковый пластинчатый, удлиненной формы однолезвийный нож. Рукояточная часть затуплена отгибом полоски пластинки, она не отделена от рабочей части ножа. Режущая часть расковкой заострена, конец ножа закруглен. Размеры: длина 22,6 см, длина клинка 11 см, ширина клинка 2,4 см, ширина рукояти 2 см. Описанный предмет относится к числу полифункциональных орудий – использовался как нож, серп, секач (рис. 3: 3).

Наибольшую степень типологической близости сазаганское изделие демонстрирует с петровскими древностями Северного Казахстана (поселение Петровка II) и Южного Урала (поселения Кулевчи III, Кинзеарское), что нами уже отмечалось (*Аванесова,* 1991. С. 26. рис. 30: *1, 2*; рис. 31: *1, 2*). Дополнить эту информацию могут находки идентичных ножей, встречающиеся в могильниках Синташта (С 1, в насыпи погребения 14. См.: *Генинг и др.*, 1992, с. 274, рис. 153: *20*) и Каменный Амбар-5 (Курган 2, мог. 8. См.: *Епимахов,* 2005, с. 151, рис. 30: *10*). Ножи эти сравнительно крупных размеров (37–22 см). Близкие по форме бесчерешковые пластинчатые орудия, где рукоятка является продолжением лезвия, известны в материалах Турбинского, Потаповского могильников (*Бадер,* 1964, с. 83, рис. 77; *Васильев и др.,* 1994, с. 55, рис. 51: *8*) и Первого Масловского абашевского поселения (*Пряхин,* 1976, с. 145, рис. 27: *19*). Перечисленные ножи при общем морфологическом единстве отличаются обоюдоострым клинком.

Двулезвийные ножи представлены двумя вариантами – кинжалом и ножом.

Кинжал имеет листовидное обоюдоострое лезвие, слабо моделированные выемки, едва намечающиеся перекрестие и выделенный черенок. По центральной оси клинка проходит слабо выраженное утолщение, из-за чего клинок имеет линзовидное сечение. Черешок с уплощенно-прямоугольным сечением. Размеры: общая длина 16,5см, длина лезвия 9см, ширина клинка 3,8 см, ширина «перекрестья» 2,6 см (рис. 2: *2*).

В общей схеме эволюции двулезвийных ножей-кинжалов с выемками сазаганский кинжал представляет собой первое звено в цепи развития (*Аванесова*, 1991, рис. 22: *3, 4*). Новые материалы из памятников Синташтинского типа (С 1 – курганно-грунтовый могильник, Каменный Амбар, Верхняя Алабуга) позволяют дополнить и согласиться с этим положением (*Генинг и др.*, 1992, рис. 140: *1*; рис. 148: *19*; рис. 152: *6*; *Епимахов,* 2005, рис. 5: *1*; рис. 48: *20*; *Потемкина,* 1985, рис. 80: *12*; рис. 82: *18*). Варианты этой формы представлены в синкретических (абашевско-срубных, полтавкинско-срубных) могильниках Волго-Уральского междуречья – Натальино-2 (*Малов,* 1980, с. 153; 1993, табл. 2: *19*; табл. 3: *25*) и Солничное (*Агапов и др.,* 1983, рис. 6: *4*). Немалый интерес вызывает близкое сходство (намечающиеся выемки) с ножом из Сапаллитепа (*Аскаров,* 1977, табл. XXX: *6*).

Пластинчатый небольшой листовидной формы нож с широким черешком плавно переходящий в лезвие клинка. Сечение плоско-линзовидное. Размеры: общая длина 11,5 см, наибольшая ширина клинка 3,2 см (рис. 3: *4*).

Ножи подобного рода представляют второй тип (-Б) ранних двулезвийных орудий в развитии ножей-кинжалов (*Аванесова,* 1991, с. 25, рис. 22-27). Наибольшую типологическую близость с нашим демонстрируют ножи из синташтинских комплексов (*Генинг и др.,* 1992, рис. 51: *13*; рис. 88: *5*; рис. 96: *14*; рис. 140: *4*; рис. 146: *1,2*; рис. 148: *9*; *Баталов и др.,* 1996, рис. 6: 2), близкую характеристику обнаруживает подобное изделие из Потаповского могильника (*Васильев и др.,* 1994, рис. 46: *6*). И, наконец, есть и более близкое (географически) соответствие обсуждаемому изделию – находка в 2000 г. пластинчатого двулезвийного ножа (рис. 4: *4*) в цитадели Джаркутана (R-VI, помещение 4, джаркутанский период), что является еще одним свидетельством более ранних связей между степным и древнеземледельческим населением.

В целом, наибольшую степень типологической близости сазаганские изделия демонстрируют с южно-уральскими пластинчатыми ножами периода ранней фазы Евразийской металлургической провинции (*Черных,* 2007, с. 74, рис. 5: *3*).

Интересную категорию находок составляют ***бронзовые украшения***, которые дополняют картину связей сапаллинцев с окружающими их соседями и служат важным этнографическим и хронологическим показателем. Ассортимент украшений невелик, он представлен единичными, порой плохо сохранившимися изделиями – принадлежности одежды (бляшка, пронизи, бусы, булавка) и головными украшениями (подвеска, привеска, шпилька).

Подвеска в полтора оборота с заходящими концами (без расширения) в виде овальной спирали. Изготовлена из уплощенной в сечении толстой проволоки. Размеры: высота 2,2 см, толщина проволоки 0,3 см (рис. 2: *6*). Подобные украшения в разных модификациях имеют довольно широкий круг типологических параллелей (от Трансильвании до Алтая) с эпохи ранней бронзы. Показательно, что за редким исключением они, как правило, изготовлены из желобчатой пластины (*Аванесова,* 1991, с. 53–54, рис. 43, 47). Подвески из проволоки чаще всего встречаются в ямной, балановской культурах (*Богданов,* 2004, рис. 56: *10,11*; *Бадер, Халиков,* 1976, табл. 50). Единичные их экземпляры известны

в абашевской культуре (*Кузьмина,* 2002, с. 157, рис. 1: *6*), в Синташтинском могильнике (С 1, погребение 14, см.: *Генинг и др.,* 1992, рис. 148: *8*; 153: *2*), в кургане 24 (мог. 3 с синташтинско-петровской и полтавкинской керамикой) Большекараганского некрополя (*Баталов и др.,* 1996, с. 83, рис. 19: *2*).

Фрагмент *ромбической привески* из раскованной пластинки с рельефно оттиснутым орнаментом (рис. 2: *4*) . Ромбические привески известны в наборе нагрудного, накосного украшения и обуви. Бытуют они с синташтинского времени, типичны для алакульских и федоровских комплексов (*Аванесова,* 1991, с. 60, рис. 48, 61; *Генинг и др.,* 1992, рис. 99; *Усманова, Логвин,* 1998, рис. 15: *17*).

Дисковидная бляшка с большой «жемчужной» выпуклостью по центру, окруженной несколькими концентрическими рельефными кольцевыми линиями. Сделана из тонкой бронзовой пластинки тиснением. Размер: диаметр 3,4 см (рис. 2: *5*). Появляются они впервые в петровских комплексах (*Потемкина,* 1985, рис. 107: *143*) и бытуют не продолжительное время в алакульских памятниках Зауралья, Северного, Западного и Центрального Казахстана (*Аванесова,* 1991, с. 62, рис. 49). Дисковидные бляшки многофункциональны. Они принадлежат к типу украшений одинаково используемых как деталь нагрудных шейных и головных украшений.

Пронизи плоские, свернуты из тонкой полоски бронзовой пластины. Их две разновидности – одна с рельефным кольцевым орнаментом, другая гладкая. Размеры: длина 3,6 см, ширина 0,7 см; длина 4,2 см, ширина 0,8 см (рис. 2: *8*). Гладкие бронзовые пронизи хорошо известны в балановских памятниках (*Бадер, Халиков,* 1976, с. 72. табл. 50: *1*). В погребениях абашевской культуры нередко гладкие пронизи встречаются вместе с рельефными (*Кузьмина,* 2002, с. 159, рис. 3: *9*). Типологически близкие пронизи с поперечным выпуклым орнаментом, размещенным по краям, известны в срубно-абашевском комплексе Бережновка I (*Качалова,* 1976, с. 9. рис. 2: *8*). Наибольшее количество соответствий пронизи находят в гарнитуре украшений алакульских комплексов.

Бронзовые бусы представлены двумя видами – согнутые из коротких отрезков овальной проволоки в виде колечек и боченкообразные, изготовленные из узкой выпукло-вогнутой пластинки. Размеры: диаметр от 0,3 см до 0,7 см, ширина от 0,2 см до 0,8 см (рис. 2: *7*). Эти украшения не могут служить датирующим материалом, так как имеют широкий хронологический и географический диапазон на всей территории евразийских степей.

Среди прочих бронзовых артефактов представлены два изделия из стержня заостренного на одном конце и декоративного навершия на другом. В литературе их обычно называют булавками, заколками (при остром конце), шпильками, косметическими стержнями, туалетными палочками (при каплевидном утолщении на конце) и, наконец, вотивными жезлами (при анималистических фигурных навершиях). Провести между ними различие довольно трудно, так как в публикациях зачастую нет описания местонахождения, и они плохо документированы графически. Исключение составляют бесспорные случаи наличия небольших туалетных булавок внутри косметических флаконов.[1]

Шпилька с фигурным навершием барана представляет собой круглый в сечении стержень переходящий на конце в вытянутое плавное утолщение, вторая торцовая часть стержня раскована в виде прямоугольной горизонтальной площадки, на которую напаяна скульптура стоящего в рост барана. Миниатюрная реалистическая скульптура барана относительно плотного, но легкого сложения. Слабо удлиненная голова с небольшими ушами увенчана массивными (широкими у основания) рогами с годовыми кольцами, за-

[1] Не останавливаясь на функциональном назначении, мы их включаем в разряд украшений и условно называем заколкой и шпилькой и в том случае, когда стержень имеет плавное утолщение на конце.

гнутыми по спирали. Широко расставленные короткие ноги – прямые передние и чуть присогнутые задние. Хвост – подтреугольный, тонкий.[1] При известном схематизме изображения наблюдается передача в облике животного (архара) самых характерных его черт. Хорошо проработаны детали фигурки: очертания мощных рогов подчеркиваются изогнутым выпуклым валиком; поперечными нарезками показаны годовые кольца; все детали морды (пасть, ноздри, глаза) проработаны тонкой гравировкой; на задних конечностях выделены скакательные суставы. Скрытая динамика в передаче образа смоделирована объемной мускулатурой тела (поднятый вверх круп, присогнутые задние конечности, брюхо, вытянутая вперед морда, а изогнутая форма спины придает фигурке экспрессию и динамизм). Навершие выполнено в технике объемной скульптуры литьем с потерей восковой модели, дополненной гравировкой и чеканкой. Размеры: общая длина 20,4 см, диаметр стержня 0,8 см, подставка 2,5 × 1,4 см; скульптура архара – высота в холке 2,3 см, длина 3,6 см (рис. 2: *1*).

Типология шпилек, как и булавок, разработана недостаточно и в значительной степени сводится к разделению их на группы, прежде всего по навершию – нефункциональной части изделия, вместе с тем являющейся важным изобразительным источником. Близким культурным контекстом, где мы можем обнаружить булавки увенчанные скульптурой барана, оказываются изделия БМАК. Среди одновременных и близких территориально к сазаганской шпильке нельзя не указать на три экземпляра булавок из Сапаллитепа и Джаркутана, навершия которых (муфлон, овца) выполнены в традиции объемной скульптуры Бактрии (*Аскаров,* 1977, таб. XL1: *1*; LVI: *5,6*). Изделия аналогичного художественного стиля представлены и в некрополе Гонура (*Сариниди*, 2002, с. 113; *Sarianidi,* 2007, fig. 102, 103, 105). Обратим также внимание, что выразительной аналогией навершию Сазаганского староречья выступает мраморное изваяние барана с мощными окольцованными рогами из гробницы 3220 Гонура (*Сариниди,* 2006, с. 233; 2008, с. 196). Столь же показательные параллели обнаруживают некоторые навершия булавок из разграбленных погребений и случайных находок Бактрии (*Сариниди,* 1977, рис. 43; 2002, с. 112). Хотелось бы дополнить картину еще одним наблюдением, уводящим нас к турбинским древностям, находящимся на значительном расстоянии от БМАК. Наибольшее сходство (по общему экстерьеру) публикуемому навершию проявляют изображения архаров на навершии рукояти ножа Турбинского II могильника (*Бадер,* 1964, рис. 113). Скульптуры (особенно центральная) обнаруживают черты единого художественного стиля. Однако эти параллели нуждаются в специальном исследовании.

Булавка с коническим навершием представляет литое изделие, у которой конец круглого стержня заострен. Подобные булавки имеют широкое культурно-хронологическое распространение на обширной территории эпохи палеометалла (библиографию находок см: *Аскаров, Абдуллаев,* 1983, с. 37–38; *Kaniuth,* 2006, p. 116).

Охарактеризованные выше шпильки и булавка наиболее часто встречаются в гарнитуре украшений БМАК.

Костяные и роговые изделия.

Особой категорией инвентаря являются роговые псалии, которые выступают ярким социокультурным и хронологическим маркером. В коллекции представлена одна пара однотипных изделий, имеющая различную степень сохранности.

Псалий № 1 – дисковидный, щитковый с четырьмя монолитными шипами имеет центральное и одно дополнительное отверстия в щитке. Центральное отверстие оформлено

[1] По определению палеозоолога Б. Х. Батырова мастер-литейщик передал образ дикой формы азиатского барана типа архара – *Ovis **ammon Linn***.

выступающим усеченноконическим утолщением, образующим втулку. По наружной окружности диска проходит желобок, образуя рельефные пояса. Щиток слегка вогнут. Размеры псалия: 7,4 × 7,5 см; толщина 0,7 см; диаметр внутреннего отверстия втулки 1,4–1,6 см; высота выступающей части втулки 0,7 см; малое отверстие 0,8 × 0,4 см. Сохранившаяся наибольшая длина биконического шипа 1,5 см, наименьшая – 1,2 см (рис. 3: *1*).

Псалий №2 типологически и конструктивно идентичен первому. Отличается формой изготовления малого отверстия – частично сохранившееся округлое отверстие диаметром 0,4 см. Псалий со значительной утратой первоначальной окружности (большая часть краев щитка обломана), диаметр 7,4 см. Один из шипов утрачен, три других со следами стирания[1], правый верхний шип сработан почти до основания (рис. 3: *2*).

Различие в степени сработанности шипов первого и второго псалия очень значительно. Верхняя пара шипов изношена сильнее. Вероятно, второй псалий в паре не использовался, сработанность и диаметр центральных отверстий на правом и левом псалиях неравномерны. Свидетельства изношенности псалиев (заполированность и стирание) в процессе их длительной эксплуатации (следы функционального износа) наблюдаются на внутренней стороне центрального и малого отверстий. Центральное или трензельное отверстие предназначалось для крепления грызла, к овальному и округлому отверстию, вероятно, крепилось оголовье.

Псалии изготовлены из спила основного ствола рога оленя.[2] Согласно результатам трасологического анализа, рассматриваемые изделия изготовлены с помощью комплекса технических приемов – это сверление, раскалывание, сострогивание, стесывание, распиловка, шлифование на абразивах. В целом характер изготовления сазаганских псалиев не отличается от техники исполнения джаркутанского псалия (*Аванесова,* 2005, с. 8–11). Сазаганские псалии изготовлены, скорее всего, по стандартам волго-уральских традиций, о чем свидетельствует высокая степень сходства с псалиями потаповско-синташтинского культурных типов (*Васильев и др.,* 1994, рис. 28: *15*; 33: *1*; *Генинг и др.,* 1992, рис. 57: *8*). Заслуживает отдельного внимания сходство по моделировке выступающей втулки центрального отверстия и выемки на торцах щитков с псалиями из могильника Каменный Амбар-5, на что обратил внимание и А. Н. Усачук (*Епимахов,* 2005, рис. 21: *1, 2*; *Усачук*, 2005, с. 185–186). К выше приведенным аналогиям добавим чрезвычайно интересные параллели при сравнении фигурных утолщений вокруг втулки у псалиев из могильника Большекараганский (*Баталов и др.,* 1996, рис. 17: *10*; рис. 18: *4*), Синташтинского большого грунтового (*Генинг и др.,* 1992, рис. 75: *1, 2*; рис. 79: *9, 10*), могильников Солнце II (*Епимахов,* 1996, рис. 12: *1*), Кривое Озеро (*Виноградов,* 2003. рис. 98). Все они приурочены к синташтинскому горизонту. Подобная картина сходства (происходящего из отдаленных друг от друга регионов) может наблюдаться лишь в родственных культурах и свидетельствовать о существовании трансевразийских путей.

Наибольшую близость исследуемые изделия обнаруживают с псалиями Джаркутана (самый южный из известных находок) и Зардча Халифа (*Аванесова,* 2005, рис. 1; *Бобомуллоев,* 1999, рис. 2: *5*; *Bobomulloev,* 1997, abb. 4). Показательно конструктивное сходство среднеазиатских псалиев с выраженной внутренней стандартизацией. Степень морфологического соответствия очень высока. Все они (известно 7 экземпляров) роговые, относятся к числу щитковых, дисковидной формы с монолитными шипами, с двумя или

[1] Трасологическое исследование псалиев, проведенное Г. Ф. Коробковой, дало яркие следы сработанности.

[2] Определение произведено палеозоологом Самаркандского университета Б. Х. Батыровым.

тремя разновеликими отверстиями, декоративным оформлением центрального отверстия и торцов щитка, общими размерами до 8 см. Указанные особенности свидетельствуют о наличии устойчивой традиции изготовления псалиев. Среднеазиатские изделия конского снаряжения демонстрируют явные отличия (но на уровне отдельных признаков, а не типов), что позволяет выделить среднеазиатский вариант, и, помимо прочего, синхронизировать их во времени. Среднеазиатские псалии в линии эволюции типов этой детали конской упряжи относятся к одному из древнейших, архаичных щитковых псалиев Евразии. Не ставя перед собой задачу обосновать более раннюю дату щитковых псалиев, отметим, что сазаганские псалии констатируют факт хронологического приоритета (полтавкинская и сапаллинская керамика) по отношению к памятникам синташтинского и потаповского круга. Открытие нового региона щитковых псалий вновь ставит вопрос относительно места появления конной колесницы и ее роль на Древнем Востоке, но эта тема специального исследования.

В число предметов из кости входят *втульчатые поделки* цилиндрической формы со сквозным отверстием (одна целая, от другой сохранился небольшой фрагмент), изготовленные из трубчатой кости животного. С внешней стороны края трубки снабжены двумя кольцевыми рельефными валиками. Поверхность заполирована, стенки полости со следами прокала. Размеры: длина 20 см, диаметр 12 см (рис. 2: *10*).

Определить назначение цилиндрической втулки сложно. Можно допустить связь с орудием металлопроизводства (приспособление воздуходувной трубки?), тем более, что она обнаружена в могиле вместе с соплом. Поиск типологических соответствий данному предмету дают весьма размытую картину. Похожее по форме и размерам изделия цилиндрической формы с валиком посередине (без функционального определения) известны из Большекараганского могильника (*Зданович,* 2002, с. 41, рис. 29: *7*) и некрополя Солнечный (*Пестрикова,* 1977, с. 77, рис. 5: *4*). По степени морфологической близости сазаганским предметам соответствие имеется в могильнике Тастыбутак, где она атрибутирована как рукоять бронзового шила (*Сорокин,* 1962, с. 60. табл. XLII: *12*). Таким образом, достоверной аналогии описываемым костяным поделкам мне пока найти не удалось.

Каменный инвентарь. Здесь наблюдается сочетание мелких и крупных изделий. Преобладающая часть первых – это бусы, наконечники стрел, кремневые пластины; вторые представлены курантами, пестом, наковальней. Рассмотрим находки по погребениям.

Могила 1. Галечное орудие конусовидной формы в поперечном сечении округлых очертаний. Верхний зауженный торец уплощен, поверхность затерта, нижний торец имеет сколы. Рабочие плоскости несут следы забитости. По заключению Г. Ф. Коробковой,[1] орудие выполняло функции песта (следы ударных действий на торцовых участках) при дроблении и растирании руды (рис. 2: *13*).

Второе орудие подпрямоугольной формы вытянутых пропорций. Поверхность его пришлифована. Рабочими поверхностями служили как торцовые части (свидетельства ударного действия, выбоины), так и боковые. На последних изношенные участки несут на себе локальные неровные забитости, возникшие от слабых ударов. По следам износа орудие является полифункциональным. Использовалась как наковальня и молоток для проковки, плющения, пробивания металлических изделий (рис. 2: *12*).

С последующими после отливки металлических поделок операциями связаны два небольших молоточка. Изготовлены из речных голышей без какой-либо обработки. Следы работы на обоих концах, а также сколы на поверхности указывают на их длительное ис-

[1] Весь инвентарь из камня был просмотрен и макро-трасологически изучен Г. Ф. Коробковой.

пользование при холодной ковке мелких металлических изделий и как гладилки-выпрямители при раскатке листового металла (рис. 2: *14, 15*).

Могила 2. Орудие уплощенно-клиновидной формы, вытянутых пропорций, с хорошо сохранившейся галечной поверхностью. Лезвие оформлено двусторонними сколами, кромка которого забита. Характер выявленных следов позволяет интерпретировать орудие как кирку для обкапывания и извлечения твердой породы (рис. 3: *12*).

Уплощенная галька подквадратной формы. Поверхность орудия отшлифована. На одной из рабочей части имеется локальное углубление, вторая рабочая поверхность пришлифована и идеально заполирована. Признаки износа свидетельствуют об использовании рассматриваемого изделия в качестве подставки-наковальни (рис. 3: *13*).

Вместе с описанными предметами у стоп усопшего обнаружен набор кремневых инструментов и наконечники стрел (рис. 1-II: *1-11*).

Среди кремневых изделий, изготовленных из пластин и отщепа, следует отметить проколку и острие, выполненные с ограниченным применением ретуши с брюшка, около самого острия. Это небольшие орудия длиной до 5 см, сделаны из коричневого и темно-зеленого кремня. Следы утилизации указывают, что данные предметы выполняли функции резца, сверла и развертки, широко применялись при изготовлении каменных украшений (рис. 3: *9, 10, 11*).

Наконечники стрел двух типов: удлиненно-листовидной формы без черешка и наконечники с выемкой у основания.

Листовидной формы наконечник сделан из крупной розовато-серой кремневой пластины с равными боковыми лезвиями, тщательно выделанным пером. Обработан с двух сторон отжимной тонкой, уплощенной, фасеточной ретушью. Относительное узкое перо имеет вертикальные, стройные пропорции, основание закруглено. Сечение пера ромбическое. Длина 9,6 см, ширина 1,8 см, почти в 5 раз меньше длины (рис. 3: *6*). В работе находился длительное время. Сохранились следы вторичного использования – кончик острия сточен, частично выкрошен и заполирован. Характер срезов утилизации свидетельствует, что оружие использовалось как сверло для камня. Подобная картина вторичного использования наконечников стрел засвидетельствована Г. Ф. Коробковой при изучении наконечников стрел кельтиминарской культуры (1969, с. 109, 113, 120) и Алтын Депе (2001, с. 147–148), Т. Ш. Шириновым при анализе Сапаллитепа (1986, с. 39) и в погребении № 1200 мастера-камнереза некрополя Гонура (*Сариниди,* 2001, с. 71). Обратим также внимание, что в Сапаллитепа из 50 наконечников стрел 24 сохранили следы утилизации соответствующие признакам скобеля, проколки, ножа, резца (*Ширинов*, 1986, с. 39). По форме пера, размерам, пропорциям и сырью, наблюдается абсолютное сходство между сазаганским наконечником и стрелами Сапаллитепа (*Аскаров,* 1977, табл. XXIX: *18, 19*). Поздние наконечники доисторической Бактрии не имели таких стройных пропорций и больших размеров. Установление функциональной принадлежности каменных изделий погребения № 2 позволило выявить их участие в отдельных технологических производственных операциях по производству бус.

Два других наконечника имеют треугольную приземистую форму пера с вогнутым шиповидным основанием. Наибольшее расширение пера приходится на основание шипов. Последние выделены за счет выемки, выражены слабо. Сечение пера близко к линзовидному. Размеры: длина 1,05 и 2,04 см, ширина 1,04–2,02 см, толщина 0,3–0,4 см (рис. 3: *7, 8*). Наконечники стрел изготовлены из пластин кремня желтого цвета (малый) и окремненного известняка серого цвета. Поверхность уплощена с помощью ретуши, фасетками

покрыты боковые грани пера. Отсутствуют следы использования.[1] Рассматриваемые наконечники стрел наиболее сопоставимы с наконечниками развитого этапа полтавкинской культуры (II Бережковский могильник) Нижнего Поволжья (*Синицын,* 1959, с. 119, рис. 38: *5*; *Качалова,* 2001, с. 43, рис. 4: *42*) и с некоторыми образцами памятников катакомбной общности (*Братченко,* 1976, с. 55, рис. 25: *22,23*; с. 99, рис. 55: *7*; *Пряхин,* 1982, рис. 11: *12*; *Субботин,* 2000, с. 374, рис. 11: *24, 25*). В целом, наконечники стрел со слабо вогнутым основанием появляются в трипольской общности (*Черныш,* 1982, табл. LXXV: *8*; табл. LXXXV: *7*; табл. XCI: *14.17*), а с глубокой овальной выемкой в различных культурах Евразии и Кавказа в эпоху ранней и средней бронзы.

В результате трасологического и технико-морфологического анализа обнаружилась связь каменных орудий Сазаганских погребений с двумя производствами – металлообрабатывающим производством и камнерезным искусством.

В коллекцию каменных изделий входит *пряслице-веретено* усечено-конической формы из темно-зеленого хлорита. Поверхность отполирована. Размеры: диаметр 2,6 см, диаметр отверстия 0,8 см, высота 1,8 см (рис. 2: *16*). В эпоху палеометалла такие предметы являются самой распространенной находкой в поселениях и могильниках. Они служили орудием прядения и у населения БМАК, где часто были неотъемлемой частью инвентаря женских погребений (*Аскаров,* 1977, с. 126, табл. XXIV).

Важную категорию каменных находок составляют ***бусы*** из различного самоцветного камня. В погребениях бусы одна из часто встречающихся изделий. Ими украшают одежду, головной убор, обувь. В исследуемой коллекции они сделаны из лазурита, бирюзы, сердолика, агата, известняка. Большинство этих ювелирно-поделочных материалов добывалось на территории среднеазиатского междуречья и доисторической Бактрии.

Лазуритовые бусы составляют большую часть украшений, найденных в сазаганских погребениях. По форме они представлены: цилиндрические (короткие и удлиненные) пронизки, боченковидные, кольцевидный бисер, уплощенно-дисковидные, ромбические, усечено-овальные, подквадратные. Последние в поперечном сечении двояковыпуклые. Форма двусторонне просверленного канала у бус цилиндрическая независимо от типа, биконические отверстия широкие. У части уплощенно-дисковидных бусин наблюдается нестыковка двустороннего канала сверления – брак (здесь же, в могиле № 2 есть заготовки бус без отверстия и кусок лазуритового камня пятнистой окраски). Поверхность у всех бус отполирована до зеркального блеска, отличается необычной правильностью формы. Размеры различны (рис. 2: *11a, **c, d***). Значительная часть изготовлена из лазурита хорошего качества, без отдельных включений – густого лазурево-синего цвета, а мелкий бисер и дисковидные бусы – в основном из грязновато-темного лазурита. Поиск ближайших аналогий приводит к морфологически сходным бусам Сапаллитепа, Гонура и Алтын-депа (*Аскаров,* 1973, с. 95, табл. 30; *Кирчо,* 2005, с. 390–400; *Sarianidi,* 2007, p. 115).[2]

Бирюзовые бусы (5 экземпляров) коротко-цилиндрической формы происходят из могилы № 1. Сделаны они из голубовато-зеленого минерала. Технология сверления, шлифовка и полировка тождественны лазуритовым бусам описанным выше. Изделия, аналогичные публикуемым, широко распространены в гарнитуре украшений древнеземледельческих комплексов эпохи палеометалла (рис. 2: *11**b, k, e, v, s***).

[1] Видимо, в соответствии с нормами обряда допускалась замена функциональных орудий их вотивными копиями.

[2] К сожалению, в публикациях за редким исключением, нет детального описания бус. Это лишает возможности очертить территорию, на которой их различные виды встречаются, и определить хронологию. Исследование некоторых морфологических типов может быть основой для уточнения или проверки датировок погребений содержащих каменные бусы.

Невозможно не обратить внимание: в сосуде могилы № 2 обнаружены несколько мелких желваков (на одной из них следы сверления) бирюзы небесно-голубого цвета и кусочек необработанного камня с включением маломощных прожилок бирюзы.

Сердоликовые бусы представлены только в могиле № 2. Это миниатюрные бусинки типа бисера (4 экземпляра) кольцевидной формы и небольшие усеченно-биконической формы бусы (2 экземпляра) желто-красного цвета. В поперечном сечении круглые. Канал просверлен с одной стороны. Вследствие простоты формы распространены широко и имеют размытые хронологические рамки. Так, в сапаллинских памятниках сердоликовые кольцевидные бусины встречаются в течение всего периода культуры (рис. 3: *18a, b, e*).

Интересную категорию находок из могилы № 2 составляет сердоликовый полуфабрикат бусины красно-оранжевого цвета со следами сколов (рис. 3: *17b*) и полупрозрачная, плоскогранная, дисковидная бусина–брак, с несовпадающими встречными каналами (рис. 3: *17a*).

По уровню информативности вызывает интерес крупная *агатовая бусина*. Она усечено-овальная, известна в одном экземпляре в составе украшения головного убора усопшего могилы № 2. Агат коричневый, с чередованием белых полос. Отличается ассиметричностью, слегка уплощена, с зеркальной полировкой. Отверстия для нанизывания просверлены с двух сторон вдоль бусины, в сечении линзовидное (рис. 3: *18c*).

Убедительные параллели ей можно найти в Заравшанской долине – на поселении Саразм (*Исаков,* 1991, с. 134, рис. 39), в могильнике и поселении Заманбаба (*Гулямов и др.,* 1996, табл. VIII: *9*; XX: *13, 14*). Известны они и на ряде памятников БМАК. Круг аналогий достаточно разнообразен, но следует отметить, что агатовые бусины, чаще всего в ожерелье, встречаются по одному экземпляру. Свидетельства подобного рода содержатся в погребениях Гонура (*Sarianidi,* 2007, p. 120, fig. 227), Шахдада (*Hakemi,* 1997, p. 388, obj. № 2702), Тепе Гиссара III (*Schmidt,* 1933, pl. CXLIV: *H400a,b*), Алтын Депе (Массон, 1981, табл. XXI; *Кирчо,* 2005, табл. 12: *37, 45, 70, 149*). Картина станет еще более значимой, если к перечисленным комплексам добавить ожерелье из «царского» некрополя Ура (*Woolley,* 1934, pl. 132).[1] Из транскультурной синхронизации памятников выявляется, что крупные агатовые бусы имеют широкое культурно-пространственное, но относительно узкое хронологическое распространение. Абсолютная хронология рассматриваемой бусины установлена ее местом в стратиграфической колонке Алтын Депе (появляется во время среднего НМЗ IV: 2600/2500 гг. до н. э. – существует до позднего НМЗ V: в пределах 1825–2915 гг. до н. э.) и соответствующими параллелями с памятниками соседних регионов, в хронологической позиции которых наблюдается полная согласованность наших западных коллег (*Кирчо,* 2005, с. 513–515; *Кирчо, Попов,* 1999, с. 325; *Дайсон,* 1986, с. 85–92; *Hiebert,* 1994, p. 75–87; fig. 10. *1*, 10. *6*; *Lionnet,* 1996, tabl. 9; 1997, tabl. 1, *Kohl,* 2001, p. 209–230). Важным хронологическим показателем ранней даты служит наличие в ряде ожерелий сочетания агатовой с сердоликовой травленной бусины. Д. Рид, анализируя подобные украшения памятников Индии и Месопотамии, на основе археологических, клинописных и радиоуглеродных источников, определил время хождения травленых бус в границах 2500–1900 гг. до н. э. (*Reade,* 1979, p. 25–26). Стоит отметить, что более узко он датирует бусы с наведенным (травленным) орнаментом в виде белого кольца на красном фоне – 2400–2300 гг. до н. э. (*Reade,* 1979, p. 2.4, fig. D1, D2), известные на Алтын Депе, Гонуре, Шахдаде, Гиссаре IIIC. В связи с наметившейся тенденцией удревнения сапаллинской культуры (в основе которого лежит использование 14C) уместно отметить,

[1] Есть основание думать, что текстура камня (концентрическая полосчатость, так называемые глазковые агаты) служила в качестве оберега, амулета, ему приписывались какие-то магические свойства – от «сглаза» (*Куликов,* 1982, С. 13–14).

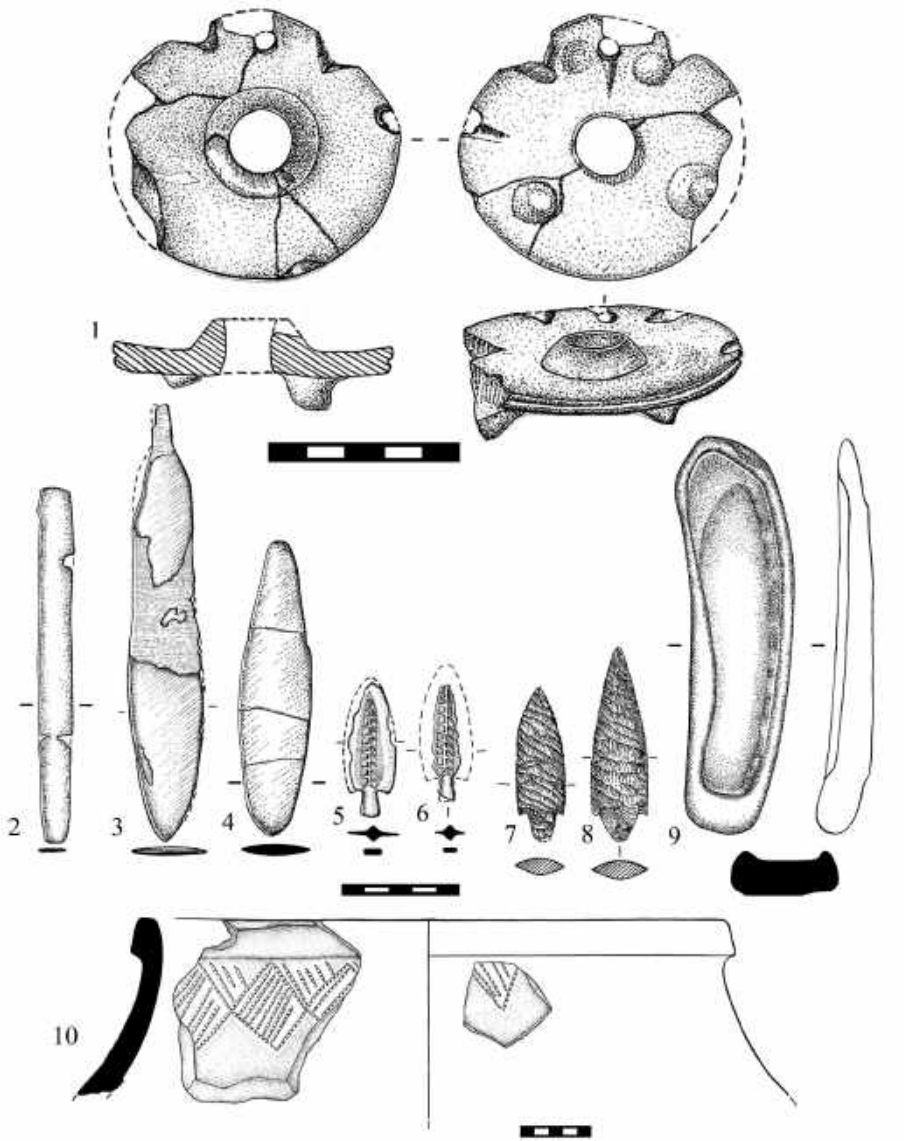


Рис. 4. Доандроновские находки из ранних слоев Сапаллинской культуры: 1 – Джаркутан, храм, пребашенное помещение восточной стены; 2 – Джаркутан, жилой квартал, холм 5; 3 – Сапаллитепа, помещение 15 (полевой рисунок О. М. Грязнова); 4 – Джаркутан, цитатдель, помещение 4; 5 – Сапаллитепа, могила 82 (полевой рисунок О. М. Грязнова); 6 – Сапаллитепа – тот же наконечник после очистки иэлектрохимическим методом; 7 – Джаркутан, цитадель; 8 – Джаркутан, храм, за пределами северной части стены; 9 – Джаркутан, цитадель, помещение 5; 10 – Джаркутан, храм, коридор 3, реликварий.

что среди большого количества различных бус из самоцветных камней сапаллинских памятников (в репрезентативности которых сомневаться не приходиться), агатовые бусы, подобные сазаганской не обнаружены. Таким образом, агатовые бусы–кулоны, являются надежным временным показателем и имея значительный диапазон бытования, в целом, не выходят за рамки НМЗV. Однотипность агатовых бус-кулонов фиксирует не только моду на нее, но и подтверждает культурную идентичность сазаганского комплекса в системе родственных культурных образований.

К продукции камнерезного ремесла относится биконическая *бусина-подвеска* из хлорита с циркульным орнаментом. Кружковый орнамент в виде глазков по три на обеих сторонах заполнен белой пастой. Сквозное цилиндрическое отверстие высверлено с двух сторон, торцовая поверхность канала отполирована в процессе ношения. Диаметр канала 0,4 см, диаметр или ширина бусины 2,8 см. Аналогичные изделия имеют широкую географию хождения, типичны для памятников времени НМЗ VI (рис. 3: *14*). Рассмотренная выше категория находок привлекает наше внимание не только как отражение культурных контактов, но и как средство синхронизации культурных явлений на огромной территории Евразии.

Предметом, заслуживающим значительного внимания в коллекции, является ***глиняное сопло*** – трубка с продольным полым каналом конической формы. Сопло от медеплавильной печи изготовлено из глины с включением гипсовой крошки и мелкого песка. Поверхность тщательно сглажена, красновато-коричневого цвета. Черепок в изломе коричнево-черный. Конусовидное отверстие для подачи воздуха покрыто сероватым налетом. Длина 8,2 см, диаметр воздуходувного отверстия 2 – 0,8 см (рис. 2: *9*).

Большой редкостью следует признать для памятников БМАК (доминирующая культурная основа – протобактрийская) находку сопла с функциональным набором орудий для добычи и обработки металла (рис. 1-I: *1–3, 4*). Столь же необычно то, что «металлург» женщина. Примеры захоронений подобного рода засвидетельствованы в погребениях могильника синташтинского типа Каменный Амбар 5 (*Епимахов,* 2005, с. 150, 156).

До недавнего времени погребения металлургов или литейщиков были известны лишь в ряде скотоводческих культур Восточной Европы (*Бочкарев,* 1974, с. 48–53) с середины III тыс. до н.э. С точки зрения хронологии и по степени близости наиболее значимая параллель нашей находке представлена в Калиновском могильнике (Нижнее Поволжье) полтавкинской культуры (*Шилов,* 1959, с. 15, рис. 2: *4, 5*; с. 17, рис. 5, 6–9; *Качалова,* 1983, с. 9, табл. 3: *41, 42, 47–48, 53–54*). Есть соответствия и в синташтинских погребениях могильников Солнце II (*Епимахов,* 1996, с. 38, рис. 11: *11, 12*), Синташта III (*Генинг и др.,* 1992, с. 336, рис. 195: *6, 7*), а в могильнике у горы Березовой обнаружено каменное сопло (*Халяпин,* 2001, с. 424, рис. 3: *11*). Обратим также внимание, что подобные предметы обнаружены на поселении Аркаим (*Зданович,* 1995, с. 32, рис. 6: *26, 27*).[1]

Особую категорию инвентаря в исследуемом погребении № 1 составляют слитки бронзы и кусок медной руды. Безусловно, захоронение указывает на прижизненную специализацию усопшей, связанной с металлопроизводством.

Выразительное свидетельство производственной деятельности камнеобрабатывающего ремесла демонстрирует и инвентарь захоронения № 2. Профессиональная принадлежность мастера устанавливается по сопровождающим рабочим инструментам, отмеченным выше и сырью – необработанные куски лазурита и бирюзы. Об обработке цветных камней свидетельствуют бракованные бусы из лазурита, сердолика, заготовка овальной

[1] Обзор находок сопел на поселениях и частоту встречаемости в погребениях Евразийской металлургической провинции, отражено в работе Д. В. Валькова, С. В. Кузьминых (2000, с. 73–83).

бусины из сердолика без шлифовки и высверленных отверстий. Высокий статус мастера-ювелира по изготовлению бус из самоцветов подчеркивается наличием в могиле псалиев. Наиболее точную аналогию такому типу захоронения находим в некрополе Гонура (*Сарианиди*, 2001, с. 71–72). Традиция отражения профессионального статуса усопшего в погребальном обряде известна в Сапаллитепа – это гончары, плотники, ткачи (Аскаров, 1977, с. 153)

Находки связанные с ремесленным производством поднимают очень важную тему. В экстраординарных погребениях Сазаганского староречья отражен социальный ранг умерших, редко встречающийся в памятниках БМАК. Появление обсуждаемых комплексов в Зеравшанской долине, видимо, следует объяснить разработкой бирюзовых и медно-оловянистых месторождений региона (*Аванесова и др.,* 2005, с. 17–18, 24). Высокий уровень материального производства (где работали мастера-профессионалы) должен был иметь прочную экономическую основу. Изучение некоторых артефактов позволяет предположить, что в доисторической Бактрии существовало камнеобрабатывающее ремесло, базировавшееся на местных сырьевых ресурсах. Сырье, из которого делались украшения, добывалось как в Зеравшанском бассейне, так и в Амударьинском. В сфере активного обмена у обитателей оазиса была бирюза, лазурит и, вероятно, металл. Импортировали как сырье, так и изделия из него. Обнаруженные инструменты обеспечивали почти полный цикл соответствующих операций, связанных с горно-металлургическим промыслом и камнеобрабатывающим производством (ювелирное дело), которые выделились, вероятно, в самостоятельные специализированные ремесленные отрасли. Их продвижение в Зеравшанский регион имело, видимо, транзитный характер, о чем свидетельствуют единичные памятники.

Кто они – странствующие профессиональные ремесленники, снабжающие местный рынок и соседей или торговые агенты, а может быть одновременно и ремесленники и торговцы? Может быть, но доказательных сведений источниковедческой базы, которой мы располагаем, пока недостаточно.

Культурно-историческая принадлежность

Рассмотренные выше материалы позволяют перейти к культурно-хронологической оценке памятника и определению социального содержания.

Изучаемый комплекс рассматривается как продукт жизнедеятельности конкретных групп населения, взаимосвязанных между собой – профессиональных ремесленников. Данное культурное явление по составу предметных наборов, обряду не оставляет сомнения в том, что в Зеравшанском регионе открыта новая, четко локализованная древнеземледельческая провинция, близкая к БМАК. Атипичность последнему придали контакты с доандроновским населением. Следует отметить, что погребения Сазагансая не являются изолированным единичным памятником. К близкому кругу объектов можно причислить погребения – Сиаба, Джама, Зардча Халифа, где также обнаруживается, синтез двух культурных систем. К этому же культурному кругу относятся случайные находки (безусловно, связанные с разрушенными захоронениями) из Аксая (керамика, каменная цилиндрическая печать), Тусунсая (керамика, бронзовая булавка увенчанная скульптурой собаки) свидетельствующие о значительности освоенной территории, охватывающей широкую полосу равнинной части Зеравшанской долины. В перечисленных памятниках прослеживаются выразительные параллели с приамударьинскими комплексами БМАК в

их сапаллинском варианте. Зеравшанские древности как бы окаймляют северную территорию, располагаясь к северу-востоку от сапаллинской культуры. Очевидно, эта территория, частично входила в зону формирования БМАК, но ее развитие было нарушено степными сообществами. Допустимо предположить, что данный процесс мог быть вызван не только демографическим взрывом в земледельческой среде и природно-климатическими катаклизмами, но и более глубокими изменениями социально-экономического характера, как среди земледельческого, так и степного населения. Если говорить о мотивации появления нового населения, то оно, на мой взгляд, связано с рудными богатствами края и торговыми связями. Не исключено, что возникновение металлообработки в регионе является отражением консолидации пастушеских и земледельческих сообществ. Зеравшанское население, располагаясь между двумя культурными мирами (на севере – пастушеские племена, на юге – земледельцы), аккумулировало в себе культурные черты обоих миров.

На стыке культурных ареалов наблюдался оживленный контакт. Представить себе механизм его развития можно через призму сырьевых ресурсов Зеравшанского и Амударьинского бассейнов: в сфере активного торгового обмена находились бирюза, лазурит, металл. Известно, что потребительская стоимость бирюзы и лазурита была эквивалентна стоимости металла (*Lyonnet,* 2005; *Stech,* 1999). Следы местной добычи и обработки бирюзы обнаруживаются, начиная с позднеолитического времени (*Виноградов и др.,* 1965, с. 127–130). Но обмен не ограничивался одними перечисленными товарами, наряду с ними были, конечно, и другие предметы торговли (соль, ткани), не отразившиеся в археологических находках. Очень вероятно, например, что из доисторической Бактрии в другие области шел шелк, находки которого известны из Сапаллитепа (*Аскаров,* 1977, с. 158).Судя по геологическим данным (отраженным в ряде неопубликованных отчетов) рудная база Зеравшана располагает месторождениями содержащих оба необходимых для производства бронзы металла – как медь, так и олово (*Лопатин, Пругер и др.,* 1964; *Киреев и др.,* 1969). Залежи меди известны по всему Зеравшану. Источниками олова являлись месторождения касситерита, полиметаллические рудопроявления с минерализацией олова (*Литвинский,* 1950; 1954; *Рузанов,* 1979; 1999). На многих месторождениях (Айяккудук, Ауминзатау, Басойчанек, Карнаб, Мушистон и др.) имеются следы древних работ и металлургического производства (*Рузанов,* 2000; *Бороффка и др.,* 2000; *Парцингер и др.,* 2002). Есть примеры находок доандроновской и андроновской керамики в местах древней выработки и обработки металла, в том числе и золота (*Максудов и др.,* 1975, с. 107, рис. 11–12). Приведенные факты не позволяют полагать, что источником меди и олова могли служить какие-либо другие, более отдаленные месторождения, например Приуральские, Казахстанские или Афганские.

Состояние изученности эпохи палеометалла Зеравшана, к сожалению, не дает пока возможности более детально понять характер, размах, объем взаимосвязей рассмотренных сообществ. Межкультурные взаимодействия, несомненно, непосредственно зависели от интенсивности прямых контактов. Зеравшан являлся центром в межрегиональной системе торговли и обменов, культурно связанный как со степными племенами, так и центрами Ближнего Востока. Направление этих связей можно проследить на материалах сапаллинских и синташтинских древностей. Конструктивные особенности последних легко узнаваемы в системе Евразийской провинции. Находки щиткового псалия, пластинчатых ножей, бронзового черешкового наконечника, литейной формы для серпа, каменных наконечников стрел из яшмовидного кремня и, наконец, фрагменты керамики, из Сапаллитепа и из ранних слоев Джаркутана (*Хуф, Шайдуллаев,* 1999, с. 19–26, рис. 4,

7; *Шайдуллаев*, 2000, с. 36, рис. 17-1)[1] позволяют рассматривать их как одно из доказательств раннего присутствия степных геосообществ в доисторической Бактрии (рис. 4). Теперь можно допустить, что в южные оазисы перемещались не только товары, но и сами люди (что отразилось в появлении керамики и литейной форме), в то время как на север, видимо – только товары (*Аванесова*, 1987, с. 53–55). Новое направление культурных связей было связано с рынком ремесленной продукции, что наиболее рельефно демонстрирует рассмотренный выше материал.

Довольно трудно ответить на вопрос, кому принадлежали погребения Сазагансая? Инвентарь захоронений отражает очень сложную ситуации. Антропологический материал допускает, что они были выходцами из Маргианы (краниометрические характеристики близки некрополю Гонур Депе).[2] Неординарность рассмотренного памятника оставляет широкую трактовку его этнокультурного определения.

Необходимо решить еще один вопрос – хронологическая позиция публикуемых погребений. Появление памятников типа БМАК в Зеравшанском оазисе автор рассматривает в рамках хронологии памятников древнеземледельческих культур Средней Азии, а в сравнительном плане со степным комплексом – синхронно позднеполтавкинским древностям Поволжья и памятникам синташтинского типа Южного Зауралья, то есть с комплексами рубежа НМЗ V – НМЗ VI и доандроновскими досрубными культурами в самом широком смысле. По традиционной хронологии они относятся к началу II тыс. до н. э., по калиброванным радиоуглеродным определениям – к рубежу III–II тыс. до н. э. Корреляция хронологических позиций рассмотренных типов вещей решают вопрос в пользу возможности датировать захоронения Сазаганского староречья в пределах XIX–XVIII вв. до н. э.

Подведем некоторые итоги

Зеравшанские древности представляют собой явление исторической действительности, возникшей на стыке двух культурно-хозяйственных ареалов. Расширение БМАК, вызванное внутренними интеграционными процессами и стимулированные внешним импульсом привело к формированию новых территориальных групп (куда был вовлечен Зеравшанский регион), обладающих собственной спецификой. Локальное своеобразие зеравшанской группы БМАК особенно отчетливо выступает в разнокультурных артефактах с преобладанием сапаллинского субстрата или близкой к ней древнеземледельческой основы. В результате открывается еще один возможный аспект изучения БМАК, связанный с перспективами установления межкультурных контактов со степным миром, имеющий исключительное значение для синхронизации и выявления механизмов взаимодействия. Появление памятников типа БМАК в Зеравшане предполагает возможность существования не только торговой артерии, но и в целом этнокультурной инфильтрации в рамках синташтинско-петровского единства, комплексы которых имеют многокомпонентный облик. В целом, количественное накопление зеравшанских памятников свидетельствуют о культурно-историческом единстве БМАК с доисторическим Согдом, демонстрируя локальные особенности традиций БМАК.

---

[1] Выражаю искреннюю благодарность Ш. Б. Шайдуллаеву за предоставленную возможность ознакомления и публикации каменных наконечников стрел и бронзового пластинчатого ножа.

[2] См., статью В. В. Куфтерина в настоящем сборнике. Показательны данные антропологии Зардча-Халифа, фиксирующие свидетельства, характерные для степных зон Южного Урала (*Раззоков,* 2006, с. 201–202).

Литература

Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР. Ташкент, 1991.

Аванесова Н. А. Новые материалы эпохи бронзы Зарафшанской долины // АИ Уз 2001 г. Ташкент, 2002. С. 19–26.

Аванесова Н. А. О культурной атрибуции колесного транспорта доисторической Бактрии (по материалам сапаллинской культуры) // История Узбекистана в археологических и письменных источниках. Ташкент, 2005.

Аванесова Н. А. Степи Севера и оазисы Юга: проблема культурных взаимодействий в эпоху бронзы // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Тезисы докладов советско-французского симпозиума по археологии Центральной Азии и соседних регионов. Алма-Ата, 1987. С. 53–55.

Аванесова Н. А., Джуракулова Д. М. Древнейшие номады Зеравшана // Культура номадов Центральной Азии: материалы Международной конференции. Самарканд, 2008. С. 13–33.

Аванесова Н. А., Шайдуллаев Ш. Б., Еркулов А. К вопросу о культурной принадлежности джамских древностях эпохи палеометалла // Цивилизации скотоводов и земледельцев Центральной Азии. Самарканд-Бишкек, 2005. С. 12–33.

Агапов С. А., Васильев И. Б., Кузьмина О. В., Семенова А. П. Срубная культура лесостепного Поволжья // Культуры бронзового века Восточной Европы. Межвузовский сборник научных трудов. Куйбышев, 1983. С. 6–58.

Аскаров А. А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973.

Аскаров А. А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977.

Аскаров А. А., Абдуллаев Б. Н. Джаркутан. Ташкент, 1983.

Аскаров А. А., Ширинов Т. Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Самарканд, 1983.

Бадер О. Н. Древнейшие металлурги Приуралья. М., 1964.

Бадер О. Н., Халиков А. Х. Памятники балановской культуры // САИ. В1-25. М., 1976.

Баратов. П. Б. Природные ресурсы Зарафшанской долины и их использование. Ташкент, 1977.

Баталов С. Г., Григорьев С. А., Зданович Г. Б. Погребальные комплексы эпохи бронзы Большекараганского могильника (публикация результатов археологических раскопок 1988 года) // Материалы по археологии и этнографии Южного Урала: Труды музея-заповедника Аркаим. Челябинск, 1996. С. 64–88.

Братченко С. Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев, 1976.

Бобомуллоев С. Раскопки гробницы бронзового века на верхнем Зеравшане // Stratum plus. № 2. СПб.–Кишинев–Одесса, 1999. С. 307–313.

Богданов С. В. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург, 2004.

Бороффка А. В., Бубнова М., Вайсгербер Г., Луц Й., Парцингер Г., Перницка Е., Старшинин Д., Циерны Я., Якубов Ю. Исследования в районе древних разработок олова в Северном Таджикистане (Мушистон и Такфон) // АРТ Вып. XXVII. Душанбе, 2000. С. 71–118.

Бочкарев В. С. Погребения литейщиков эпохи бронзы (методологический пересмотр) // Проблемы археологии. Вып. № 2. Л., 1974. С. 48–53.

Вальков Д. В., Кузьминых С. В. Сопла Евразийской металлургической провинции (К проблеме одной археологической загадки) // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала. Сборник научных трудов. Орск, 2000. С. 73–83

Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара,. 1994.

Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П. Памятники потаповского типа в лесостепном Поволжье // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья. Самара, 1995. С. 5–37.

Виноградов А. В., Лопатин С. В., Мамедов Э. Д. Кызылкумская бирюза (Из истории добычи и обработки) // СЭ. 1965. № 2. С. 114–134.

Виноградов Н. Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. Челябинск, 2003.

Виноградов Н. Б. Кулевчи III – памятник петровского типа в Южном Зауралье // КСИА. 1982. Вып. 169. С. 94–99.

Генинг В. Ф., Зданович В. Ф., Генинг В. В. Синташта. Челябинск, 1992.

Гулямов Я. Г., Исламов У., Аскаров А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зеравшана. Ташкент, 1966.

Дайсон Р. Повторное изучение Тепе-Гиссар // Древние цивилизации Востока (Материалы Советско-американского симпозиума). Ташкент, 1986. С. 85–92.

Епимахов А. В. Курганный могильник Солнце II – некрополь укрепленного поселения «Устье» эпохи средней бронзы // Материалы по археологии и этнографии Южного Урала: Труды музея-заповедника Аркаим. Челябинск, 1996. С. 22–42.

Епимахов А. В. Ранние комплексные общества севера центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Кн. 1. Челябинск, 2005.

Зданович Г. Б. Аркаим – культурный комплекс эпохи средней бронзы Южного Зауралья // РА. 1997. № 2. С. 47–62.

Зданович Г. Б. Аркаим: Арии на Урале или несостоявшаяся цивилизация. Челябинск, 1995. С. 21–42.

Зданович Г. Б., Зданович С. Я. Могильник эпохи бронзы у с. Петровка // СА. 1980. № 3. С. 183–192.

Зданович Г. Б. Основные характеристики петровских комплексов Урало-Казахстанских степей (к вопросу о выделении петровской культуры) // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983. С. 48–68.

Зданович Г. Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.

Зданович Д. Г. Аркаим: некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Челябинск, 2002.

Исаков А. И. Саразм. Душанбе, 1991.

Исамиддинов М. Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия культурных традиций в эпоху раннежелезного века и в период античности). Ташкент, 2002.

Качалова Н. К. К вопросу о памятниках полтавкинского типа // АСГЭ. Вып. 5. Л., 1962. С. 31–49.

Качалова Н. К. Абашевские элементы в срубной культуре Нижнего Поволжья // АСГЭ. Вып.17. Л., 1976. С. 4–17.

Качалова Н. К. О локальных различиях полтавкинской культурно-исторической общности // АСГЭ. Вып. 24. Л., 1983. С. 4–19

Качалова Н. К. Относительная хронология полтавкинских памятников // АСГЭ. Вып. 35. СПб., 2001. С. 32–58.

Киреев В. И., Пругер Е. Б., Бахметова Б. И. Отчет по теме: «Ревизия и изучение древних горных выработок на территории Узбекистана за 1964–1967 гг.» Ташкент, 1969 // Фонды архива «Самаркандгеология». Инв. № 935.

Кирчо Л. Б. Металлические изделия Алтын-депе // Особенности производства поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла. Материалы ЮТАКЭ. Вып. 5. СПб., 2001. С. 60–71.

Кирчо Л. Б. Погребальный инвентарь Алтын-депе // Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын-депе) // Труды ИИМК РАН. Т. XVI. СПб., 2005.

Кирчо Л. Б., Попов С. Г. К вопросу о радиоуглеродной хронологии древнейших цивилизаций Средней Азии // Stratum Plus. № 2. СПб.– Кишинев – Одесса, 1999. С. 350–361.

Коробкова Г. Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии // МИА. № 158. М., 1969.

Коробкова Г. Ф. Неолит Средней Азии и Казахстана // Неолит Северной Евразии. Археология. М., 1996. С. 87–135.

Коробкова Г. Ф. Методика изучения каменных, костяных и других изделий из неметаллического сырья эпохи палеометалла // Особенности производства поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла. Материалы ЮТАКЭ. Вып. 5. СПб., 2001. С. 142–212.

Костюков В. П., Епимахов А. В., Нелин Д. В. Новый памятник средней бронзы в Южном Зауралье // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья. Самара, 1995. С. 156–207.

Кузьмина Е. Е. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии // САИ. В 4–9. М., 1966.

Кузьмина О. В. Украшения абашевской культуры // Проблемы археологии Евразии. К 80-летию Н. Я. Мерперта. М., 2002. С. 157–180.

Куликов Б. Ф. Словарь камней-самоцветов. Л., 1982.

Литвинский Б. А. Древнейшие страницы истории горного дела Таджикистана и других республик Средней Азии. Научно-популярная библиотека. Вып. 19. Сталинабад, 1954.

Литвинский Б. А. К истории добычи олова в Узбекистане // Труды Среднеазиатского госуниверситета. Нов. Серия. Вып. XI. Гуманитарные науки. Кн. 3. Ташкент, 1950. С. 51–68.

Лопатин С. В., Пругер Е. Б., Ермилов А. Г. Карта размещения древних выработок на территории Узбекистана. Т. I. Объяснительная записка. Ташкент, 1964 // Фонды архива «Самаркандгеология». Инв № 659.

Максудов И. З., Киреев В. И., Шевцова Л. П., Пругер Е. Б. Отчет по поискам, ревизии и оценке объектов благородных металлов по следам древних горных работ в Центральных Кызылкумах, Нуратинском и Чаткало-Кураминском регионах (по работам за 1974–1975 гг.) Ташкент, 1975 // Фонды архива «Самаркандгеология». Инв. № 1639.

Малов Н. М. Курганные могильники, поселения, случайные находки и клад Волго-Уральского междуречья // САИ. Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье. Вып. 1–10. Т. 1. Саратов, 1993. С. 18–19.

Малов Н. М. Исследование памятников эпохи меди и бронзы в Саратовском Поволжье // АО 1979 г. М., 1980. С. 153.

Малютина Т. С., Зданович Г. Б. Керамика Аркаима: опыт типологии // РА. 2004. № 4. С. 67–82.

Малютина Т. С., Зданович Г. Б. Керамика укрепленного поселения Аркаим // Древняя керамика: проблемы и перспективы комплексного подхода. Челябинск, 2003. С. 99–131.

Массон В. М. Алтын Депе // ТрЮТАКЭ. Т. XVIII. Л., 1981.

Мочалов О. Д. О керамике бронзового века бассейна р. Самары // Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке. Самара, 2003. С. 52–76.

Парцингер Г., Бороффка Н. Поселение металлургов эпохи бронзы в Карнаб-Сичкончи (Узбекистан) // Первобытная археология. Человек и искусство. Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня рождения Я. А. Шера. Новосибирск, 2002. С. 163–167.

Пестрикова В. И. Курганный могильник у совхоза «Солнечный» // Неолит и бронзовый век Поволжья и Приуралья / Научные труды Куйбышевского государственного педагогического института. Т. 220. Куйбышев, 1977. С. 72–81.

Потемкина Т. М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985.

Потемкина Т. М. О некоторых спорных вопросах ранней и средней бронзы Волго-Уральского региона // СА. 1990. № 1. С. 118–130.

Пряхин А. Д. Поселения абашевской общности. Воронеж, 1976.

Пряхин А. Д. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья. Воронеж, 1982.

Пьянкова Л. Керамические комплексы Маргианы эпохи бронзы (Гонур и Тоголок-21) // Информационный бюллетень МАИКЦА. Вып. 16. М., 1990. С. 24–44.

Пьянкова Л. Т. Керамика Маргианы и Бактрии эпохи бронзы // Информационный бюллетень МАИКЦА. Вып. 19 (Российский этнограф. Вып. 21). М., 1994. С. 135–156.

Рахмонов У. Керамическое производство эпохи бронзы Южного Узбекистана // Автореф. канд. дисс. Самарканд, 1987.

Раззоков А. Саразм – ранний город Арианы // Арийская цивилизация в контексте евроазиатских культур. Душанбе, 2006. С. 198–206.

Рузанов В. Д. О некоторых древних оловорудных источниках на территории Узбекистана // ИМКУ. Вып. 15. Ташкент, 1979. С. 98–104.

Рузанов В. Д. К вопросу о истоках оловянистых бронз в металлообрабатывающих производствах племен юга Средней Азии в эпоху бронзы // ИМКУ. Вып. 30. Самарканд, 1999. С. 37–40.

Рузанов В. Д. Карнабское касситеритовое месторождение – источник олова эпохи бронзы // ИМКУ. Вып. 31. Самарканд, 2000. С. 54–57.

Салугина Н. П. Технологическое исследование керамики Потаповского могильника. Приложение 2 // Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара, 1994. С. 173–186.

Сариниди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.

Сариниди В. И. Косметические флаконы из Бактрии // СА. 1979. № 2. С. 255–261.

Сариниди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Сариниди В. И. Два уникальных флакона из Бактрии // ВДИ. 1992. № 3. С. 81–89.

Сариниди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М., 2001.

Сариниди В. И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. Ашхабад, 2002.

Сариниди В. И. Гонур-депе. Город царей и богов. Ашхабад, 2006.

Сариниди В. И. Мургуш. Тайна и правда великой культуры. Ашхабад, 2008.

САИ. Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье. Вып. 1–10. Т. 1 \ Качалова Н. К. (ред.). Саратов, 1993.

Синицын И. В. Археологические исследования Заволжского отряда (1951–1953 гг.) // МИА. Памятники Нижнего Поволжья. Т. 1. № 60. М., 1959. С. 56–129.

Смирнов К. Ф., Кузьмина Е. Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., 1977.

Сорокин В. С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак 1 в Западном Казахстане // МИА. № 120. М.-Л., 1962.

Субботин Л. В. Северо-Западное Причерноморье в эпоху ранней бронзы // Stratum plus. № 2. СПб.–Кишинев–Одесса, 2000. С. 350–387.

Усачук А. Н. Каменноамбарские псалии (трасологический анализ) // Ранние комплексные общества Севера Центральной Азии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Кн. 1. Челябинск, 2005. С. 179–189.

Усманова Э. Р., Логвин В. Н. Женские накосные украшения Казахстана. Эпоха бронзы. Лисаковск, 1998.

Халяпин М. В. Первый бескурганный могильник синташтинской культуры в Степном Приуралье / Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Материалы международной научной конференции «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы». Самара, 2001. С. 417–425.

Хлопин И. Н. Юго-Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы. Л., 1983.

Хуф Д., Шайдуллаев Ш. Некоторые результаты работ Узбекско-Германской экспедиции на городище Джаркутан // ИМКУ. Вып. 30. Самарканд, 1999. С. 19–26.

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии // Энеолит СССР. М., 1982. С. 166–320.

Черных Е .Н. Каргалы. Т. V: Каргалы: феномен и парадоксы развития; Каргалы в системе металлургических провинций; Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. М., 2007.

Шайдуллаев Ш. Б. Северная Бактрия в эпоху раннего железного века. Ташкент, 2000.

Шилов В. П. О древней металлургии и металлообработке в Нижнем Поволжье // МИА. № 60. М., 1959. С. 11–38.

Ширинов Т. Ш. Орудия производства и оружие эпохи бронзы Среднеазиатского междуречья (по данным экспериментально-трассологического изучения). Ташкент, 1986.

Bobomulloev S. Ein Bronzezeitliches Grab aus Zardca Chalifa bei Pentzikent (Zaravchan Tal) // AMIT. Bd. 29. 1997. Abb. 121–134.

Ionesov V. The struggle between life and death in Proto-Bactrian Culture: Ritual and conflict. Mellen studies in Anthropology. Vol. 5. Lewiston, 2002.

Hakemi A. Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age Center in Iran. (Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Centro Scavi e Richerche Archologiche. Reports & Memoires. Vol. XXVII). Rome, 1997.

Kaniuth K. Metallobjekte der Bronzezeit aus Nordbaktrien // AIT. Bd. 6. Eurasien –Abteilung des Deutschen Archäologischen Institut. Berlin, 2006.

Kohl P. L. Reflections on the production of chlorite at Tepe Yahya: 25 years later. Excavations at Tepe Yahya, Iran: 1967–1975 \ C. C. Lamberg-Karlovsky, D. T. Potts (Eds.) // American school of prehistoric Research. Bulletin 45. Cambridge, 2001. P. 209–230.

Lyonnet B. Another Possible Interpretation of the Bactro-Margiana culture (BMAC) of Central Asia: The Tin Trade // SAA. 2001. Vol. I. Prehistory \ C. Jarrige, V. Lefevre (Eds.). P., 2005. P. 191–200.

Lyonnet B. Prospections archeologiques en Bactriane orientale (1974–1978). Sous la direction de Jan-Claude Garden. Ceramique et peuplement du chalcolithiquete Arabe. Vol. 2. Memoires de la misson archeologique francaise en Asie Centrale. T. VIII. P., 1997.

Reade J. Early Etched Beads and the Indus – Mesopotamia Trade // British Museum Occasional Paper № 2. 1979.

Sarianidi V. Necropolis of Gonur. Athens, 2007.

Schmidt E. F. Excavations at Tepe-Hissar Damghan. Phil., 1937.

Schmidt E. F. Tepe Hissar excavations 1931 // The Museum J. Vol. XXIII. № 4. Phil., 1933.

Stech T. Aspects of Early Metallurgy in Mesopotamia and Anatolia // The Archaeometallurgy of the Asian Old world. Phil., 1999. P. 59–71.

Woolley C. L. The Royal Cemetery // Ur Excavations. Vol. II. N.Y., 1934.

Б. А. Литвинский

РУКОЯТЬ С ГОЛОВОЙ ГРИФОНА ИЗ ХРАМА ОКСА

Из нескольких десятков предметов ахеменидского времени, найденных в храме Окса на Тахти Сангине среди 8000 единиц храмового инвентаря, достаточно большой интерес представляет высокохудожественная рукоять из слоновой кости, открытая между коридорами № 3 и № 6 в дверном проеме[1].

Навершие рукояти в виде шеи и головы орлиноголового грифона[2] имеет форму фигурного стержня, увенчанного скульптурной головой. В основании шеи передний фас сколот. Нижний торец основания плоский с прямоугольным гнездом (6 × 7 при глубине 40 мм). Над прямоугольной нижней частью (впрочем, профиль переднего фаса неизвестен) начинается овальная в сечении сужающаяся вверх вертикальная шея. Она увенчана головой хищной птицы, вероятно, орла, выполненной с замечательным мастерством. Основание клюва прямое, на нижней поверхности продольный центральный желобок, верхняя же часть изогнута дугой, причем конец клюва закрывает основание и даже опускается ниже его. Между половинками клюва – щель в виде широкого полуовала. Основание и верхняя дугообразная часть клюва окружены валиком, на котором видны мелкие зубчики – зубы. Внутри клюва имеется изогнутый, поднимающийся вперед язык, нёбо проработано елоч-

[1] Рукоять с головой грифона найдена в храме Окса в 1981 г. рядом с другим шедевром ахеменидского искусства – завершением ритона в виде протомы льва у западной стены коридора № 3 в дверном проеме, ведущем в коридор № 6 на том же полу (1 м над основанием), датируемом великокушанским временем. Детальнее см.: *Литвинский, Пичикян,* 2000, с. 89–90. Инв. № 1091/2092.

[2] Публикации: ЮТ, № 25; ДТ, с. 71–72, № 254; Oxus, 1989, s. 36, pl. 7; *Пичикян,* 1991, с. 101–102; *Pitschikjan,* 1992, s. 50–51, taf. 26–27; *Oxus,* 1994, p. 31, № 7; *Литвинский,* 2001, с. 249, табл. 62. Более подробно: *Литвинский, Пичикян,* 1993; *Litvinskij, Pičikian,* 1995. Настоящее исследование является переработанным и расширенным вариантом двух этих статей.

кой. Передняя часть головы имеет в профиль вид дуги, более круто закругляющейся внизу у клюва. Эта дугообразная часть в нижней половине оформлена в виде ребра. Глаз в виде круглого углубления, гнезда, окруженного высоким валиком; инкрустационная вставка утрачена. Верхняя часть головы уступообразно, в виде щитка, нависает над нижней. Вдоль уступа по верхней плоскости – углубленная линия. По бокам головки – рельефные рога, типа бараньих, основания которых завернуты в петлю. Основание каждого рога окружено тремя низкорельефными полусферическими перлами. Верхняя часть головы и задняя часть шеи покрыта рельефными волнистыми прядями, ниже расположены налегающие друг на друга листовидные завитки, очевидно передающие гриву. Вдоль стержня, начиная от основания и до задней части головы, проходит сквозное округлое отверстие диаметром 4–5 мм. Материал – слоновая кость. Размеры: высота – 107; высота головы 35; ширина головы – 45; толщина головы (и стержня) – 19 мм (рис. 1).

Назначение этого предмета, если говорить в общей форме, не вызывает сомнений – это рукоять. Можно с уверенностью пойти дальше и утверждать, что это навершие изогнутого меча греческого типа – махайры. Первые примеры сопряжения изображения птицы и ножа (кинжала) известны в очень древние времена. Уже в бронзовом веке в разных местностях Европы, в том числе в минойской культуре, а также в Египте, были ножи с рукояткой, увенчанной головкой птицы, причем она явно имела магический смысл *(Müller-Karpe,* 1980, IV/2, S. 693; IV/3, Taf. 90/25; 252/17; 263/E-1; 275/E-2; 414/E-3).

Во II тыс. до н. э. в средиземноморском мире рукояти мечей начинают снабжаться не просто птичьими головками, а грифонами. Для позднемикенской культуры, возможно, конца II тыс. до н. э. известна найденная на Фере рукоять из слоновой кости, украшенная в средней части горизонтальным поясом, гравированным орнаментом. Выше – пересекающиеся гравированная линия и голова ушастого (конские уши?) грифона в виде хищной птицы. Клюв небольшой, отогнут вниз. Голова не отогнута под углом (как на греческих махайрах), а является продолжением рукояти (*Poursat,* 1977, p. 65–66, pl. 5/4).[1]

Голова хищной птицы на рукояти меча и серпа в начале I тыс. до н. э. появляется в ассирийской материальной культуре и соответственно – на памятниках искусства. Так, на панели из слоновой кости из Нимруда царь Ашшур-нацирапал II (883–859 гг. до н. э.) держит в правой поднятой руке сосуд, в левой опущенной – серп с рукояткой, завершающейся прекрасно проработанной головой хищной птицы. К навершию рукоять утолщается. Именно такой серп держит царь и на статуе, открытой Лейардом в Нимруде. Это серп бога Нинурты (Ninurta). Возможно, он предназначен для ритуального срезания первых колосьев во время жатвы (*Budge*, 1914, pl. 1; *Mallowan,* 1966, p. 58, pl. 21; *Mallowan, Davies,* 1970, pl. 1). Добавим, что на рельефе дворца в Хорсабаде у одного из придворных меч имел навершие в виде птичьей головки (*Frankfort,* 1963, pl. 96, правая фигура).

На наскальном рельефе 2-й пол. VIII в. до н. э. у Ивриза у северного подножья Тавра, у Эрегли (Ereğli), изображен царь Варпалавас (Warpalawas) перед богом плодородия и дождя Тарху (Tarhu). За спиной у бога находится меч с завершением волютообразного типа (*Akurgal,* 1961, S. 103, Taf. XXIV, 140; *Bittel,* 1976, Taf. 327–329; *Orthmann,* 1971, S. 487, Taf. 14/e); возможно, как думает Р. Д. Барнетт (*Barnett,* 1983, p. 60–61), этот завиток схематически воспроизводит голову хищной птицы.

[1] Другой пример, приводимый Р. Д. Барнеттом (*Barnett,* 1983, p. 67–68, fig. 5), происходит с Кипра. При ознакомлении с публикацией изображения, относящегося ко времени гиксосов (*Vermeule*, 1971–1974. fig. 60 – у Р. Д. Барнетта ошибочно: fig. 61a), атрибуция, предложенная Р. Д. Барнеттом, не кажется вполне убедительной. Отметим также, что на статью Р. Д. Барнетта наше внимание во время обсуждения этого сюжета в Музее Метрополитен обратил О. Маскарелла, за что приносим ему глубокую благодарность.

Для истории греческого меча особый интерес представляют материалы Витса (Vitsa) из Западной Загоры, где были найдены 17 сохранивших форму мечей. Часть из них является однолезвийными. Они датируются временем с VIII до IV в. до н. э. (Βοχοτουϖλον, 1986, A, p. 291–304, 368–369, fig. 26; B, fig. 5–6, tb. 2).

Столь же ранними являются однолезвийные мечи с прямой рукояткой или же с рукояткой с отогнутым под прямым углом верхним концом. Это мечи с узким и длинным, равномерно изогнутым клинком. Они появляются в VIII в. до н. э., их специальное название *cutlass*, предполагается, что этот тип мечей следует считать иллирийским. В VII в. до н.э. появляется однолезвийный меч с двойным изгибом лезвия, его можно считать прообразом махайры. Есть специальное исследование этих *промахайр.*[1]

В конце VI в. до н. э. наряду со старым греческим мечом типа *Griffzungenschwert* появился новый, режущего (секущего) типа. Это был однолезвийный, слегка изогнутый прочный меч. Изогнутыми были и лезвие, и спинка меча. Он имел перекрестие и навершие, выступавшее в сторону режущей части и часто выполнявшееся в виде сидящей птицы. Такой меч обычно обозначают старым и широко распространенным греческим термином «махайра», хотя к ним иногда применяется и другой термин – *копис* (κοῤπιώ). Греки, как отмечает А. М. Снодграсс, «были безразличны к терминологии оружия». Мечи этого типа имели определенных предшественников в Греции (см. выше), но внезапное их широкое распространение в конце VI–V вв. до н. э., может быть, как считает А. М. Снодграсс, обязано или быстрой эволюции, или же заимствованию. В этой связи интересно то, что в греческом искусстве такие мечи часто ассоциируются с персами и другими восточными людьми (*Snodgrass,* 1967, p. 97).

Итак, махайра – однолезвийный меч рубящего, по преимуществу, типа, но махайра могла употребляться и как колющее оружие. Она считалась главным образом кавалерийским оружием, но часто применялась и пехотинцами, хотя классическим мечом пехоты был двулезвийный меч – ксифос с ромбовидным в плане лезвием (*Сокольский,* 1954, с. 130–132).[2]

В исторические времена махайра рассматривалась как типично варварское оружие, употреблявшееся особенно фракийцами (их называли *махайрофоры* – μαχαιροφοῤροι). Сам термин μαῤχαιρα встречается уже в «Илиаде» и «Одиссее» (*Best,* 1969, p. 7–8). И в Фермопилах спартанцы царя Леонида на завершающем этапе сражения использовали против персов махайры (Hdt. VII. 225). При помощи махайры покончил жизнь самоубийством безумный спартанский царь Клеомен (Hdt. VI. 75). У греческих авторов термин «махайра» употребляется и при описании событий архаического периода, когда махайры реально еще не существовали. Так, легендарный основатель Македонского царства Пердикка, поселившийся в садах около горы Бермий, откуда он с братьями завладел всей остальной Македонией, уже пользовался махайрой (Hdt. VIII. 137).

Профессиональный полководец Ксенофонт (Xen. Eq. XII. 11) считал, что для всадника махайра подходит больше, чем ксифос, потому что сверху рубящий удар махайрой

---

[1] Важный, более широкий географически материал из северной Греции, Югославии и Румынии – см.: *Kilian,* 1975, S. 9–140; о находках см.: *Rhomiopoulou, Kilian-Dilmeier,* 1989, S. 87–114. Основополагающее исследование древнегреческих мечей см.: *Snodgrass,* 1964, p. 93–113, fig. 5–6, pl. 2. До сих пор полезна работа: *Remouchamps,* 1926. Рассмотрение проблемы происхождения махайры в греческом и передневосточном аспекте содержится во II томе нашего труда: *Литвинский,* 2001, с. 271–294.

[2] Нельзя не отметить, что иногда высказывается точка зрения, что махайра – двулезвийный меч: *Bittner*, 1985, S. 171ff.

будет более эффективным, чем колющий удар ксифосом. Впрочем, некоторые народы, например, фиванцы, сохранили махайру даже для вооружения пехоты[1].

В самой Греции махайра, появившаяся, как сказано выше, еще в середине или конце VI в., была особенно характерна для первой половины V в. до н. э. В более позднее время махайры не столь часты, но встречаются и во второй половине IV в. Из Греции благодаря торговле они проникают в Италию и Испанию (*Filow,* 1934, S. 224; см. также: *Remouchamps,* 1926, s. 60ff).[2]

Находки подлинных махайр известны в разных местах. Экземпляр, опубликованный А. М. Снодграссом, имеет однолезвийный клинок. Степень изгиба средняя, причем клинок у́же в верхней части и постепенно, но значительно расширяется в нижней половине, которая со стороны лезвия является (в отличие от верхней половины) не вогнутой, а выпуклой. Перекрестие, образованное основанием рукояти (более широкой, чем клинок), одним торцом заподлицо со спинкой, другим концом асимметрично нависает над лезвием. Рукоять представляет собой овальное полукольцо, разомкнутое со стороны лезвия. Верхняя часть рукояти, обращенная в сторону лезвия, как бы нависает над ним. Именно эта часть оформлена в виде головки птицы (*Snodgrass,* 1967, fig. 50; см. также: *Gamber,* 1978, Abb. 295; *Oakeshott,* 1960, p. 49–50, fig. 22, 24).

Железный меч типа махайры был найден в Големата Могила в Болгарии в комплексе V в. до н.э. Это такой же меч, как и изданный у А. М. Снодграсса, с рукоятью в виде птицы, в этом случае явно хищной. Длина – 82 см., ширина – 6 см. В нижней части рукояти сохранилась накладная пластинка из слоновой кости с овами. Вся рукоять, очевидно, была обложена слоновой костью (*Filow,* 1934, s. 117, Abb. 240). Очень близкий экземпляр, хранящийся в Британском музее, происходит из Испании (British Museum, 1908, p. 99–100, № 221, fig. 87).

Широкое распространение махайра имела в Северном Причерноморье. Типичная махайра была найдена в 1834 г. в Керчи в гробнице, которая относилась к концу IV или началу III в. до н. э. и содержала погребение воина-грека. Длина махайры около 80 см. Она незначительно изогнута по продольной оси, клинок сильно расширяется в нижней трети. Верхняя часть кольца рукояти отломана. В некрополе Мирмекия в могиле IV–III вв. до н. э. был найден меч с рукоятью в виде птичьей головки с загнутым клювом. Известны сообщения о других находках мечей, которые, судя по описанию, были махайрами (*Сокольский,* 1954, с. 132–134, табл. 1,7).

С конца VI в. до н.э. в произведениях греческого искусства встречаются изогнутые мечи – в руках как персов, так и греков. В ряде случаев видны детали, в частности, рукоять. Так, на одной греческой гемме, датируемой около 500 г. до н. э., поверженный воин держит в правой руке короткую махайру, рукоятка которой завершается грифоном (*Boardman,* 1968, p. 97/264, pl. XVIII/264).

В греческой краснофигурной вазописи уже в начале V в. до н. э. имеются абсолютно аналогичные вышеописанным мечам изображения рукоятей мечей с навершием в виде головки хищной птицы и длинной ручкой – шеей. Сама шея в одном из случаев имеет совершенно одинаковую с тахтисангинским изображением форму – сзади она почти прямая, спереди резко закругленной кривой отходит от задней линии (*Hölscher,* 1973, S. 38–39, 42; *Benndorf,* 1868, s. 20. Taf. V/l–2).

На греческих вазах 480–460-х годов до н. э. с изображениями сражающихся греков и персов в руках персов часто находится типичная греческая махайра, иногда даже с птичьей

[1] Анализ письменных и иконографических источников о махайре – см.: *Roux,* 1964, p. 34–40.

[2] Особый вопрос – влияние махайр на выработку одного из типов латенских мечей, см.: *Gamber,* 1978, s. 413. Abb. 354, 355.

головой на конце (*Holscher,* 1974, pl. 18).[1] В других случаях махайра в руках обоих сражающихся – грека и перса, причем на вазах времени греко-персидских войн, когда впечатление о персах было очень ярким, например, на вазе около 480 г. до н. э. из Эдинбурга (*Bovon,* 1963, fig. 4).

В сцене амазономахии, которая изображена на замечательном кратере из Руво (Неаполитанский музей, около 460 г. до н. э.), в руках двух персонажей махайры с односторонне выступающим перекрестием и клювовидным завершением рукояти (*Furtwangler, Reichhold,* 1904, s. 124–135; Tf. 26–28, Tf. 55).[2] Впрочем, известны изображения махайр, рукоять которых не имеет клювовидного завершения.

Еще одно изображение махайры есть на кратере около 460 г. до н.э. (мастер Ниобид): между ног грека (легендарного Тезея) крупное изображение махайры, отброшенной царицей амазонок. Рукоятка ее, припухлая в середине, передает шею, которая завершается реалистически трактованной головкой хищной птицы (*Arias,* 1962, p. 356–357, pl. 179). Более схематично изображение головки птицы на махайре в руках Аполлона на сосуде с росписью мастера Пентесилеи (около 455 г. до н. э.) (*Arias,* 1962, p. 352, pl. 171). Изображение махайр в вазописи, а также на произведениях торевтики (в частности, на амфоре из Панагюриште, Болгария) детально изучены (*Roux,*1964, p. 37 sq., pl. 8–10; детальный анализ: *Литвинский,* 2001, с. 277–294).

На одной из сцен мозаики из Пеллы, датированной 300-ми годами до н. э., махайру держит в поднятой правой руке персонаж, нападающий на льва, в левой руке находятся ножны. Махайра обычного типа, мозаичный рисунок меча сверху завершен головой птицы, обращенной к рубящей стороне. Ножны красного цвета, другого (серого?) цвета прямое перекрестие и бутероль в виде сегментовидного диска (*Petsas*, 1963, fig. 2; *Havelock,* 1971, Farbtafel VI). Голова птицы передана очень обобщенно[3].

На покрытой рельефами балюстраде стои в святилище Афины Никефоры в Пергаме изображено множество оружия из добычи, взятой у галатов в 189 или 188 г. до н. э. Среди предметов вооружения – два меча. У одного видна верхняя часть, выступающая из-под щита. Это – устье ножен, оформленное таким же перекрестием, как тахтисангинские из слоновой кости. По бокам сверху отходят кронштейны, закрученные в виде волюты в кружок с дырочкой в центре. Верхняя поверхность колодки вогнутая. Из нее выступает ручка, имеющая вид длинной, слегка изогнутой шеи, завершающейся головкой хищной птицы. Прекрасно моделирована головка с глубоко посаженным глазом (*Bohn,* 1885, Taf. XLIV/a). Изображение близко тахтисангинскому грифону.

На другой плите изображен почти целиком слегка изогнутый меч в ножнах. Конец отломан и сбита головка навершия меча. Здесь еще четче видно перекрестие устья ножен меча – с волнообразными завитками, вогнутой верхней гранью, прямой нижней, двумя горизонтальными линиями на поверхности. Сверху, конечно, была головка хищной птицы (Bohn, 1885, Taf. XLV/b; Описание Бона краткое и не вполне точное: *Bohn,* 1885, s. 95–96, 111).

На вотивном подписном алтаре из Ормани (древняя Erymna) в Писидии на одной из боковых сторон рельефно круглый щит, из-под которого выступают части расположенного наклонно, по диаметру, меча. Навершие его рукояти выполнено в виде головки

---

[1] Дата – около 460 г. до н.э. См. также живопись на более ранней (около 480 г.) амфоре (*Bovon,* 1963. Vol. LXXXVII, fig. 3).

[2] Совершенно отчетливы птичьи головки на краснофигурной вазе Британского музея (около 400 г. до н. э.) (*Furtwangler, Reichhold,* 1904, s. 292–294. Tf. 58).

[3] Это хорошо видно на более крупном изображении: *Charbonneaux, Martin, Villard,* 1970, Abb. 106.

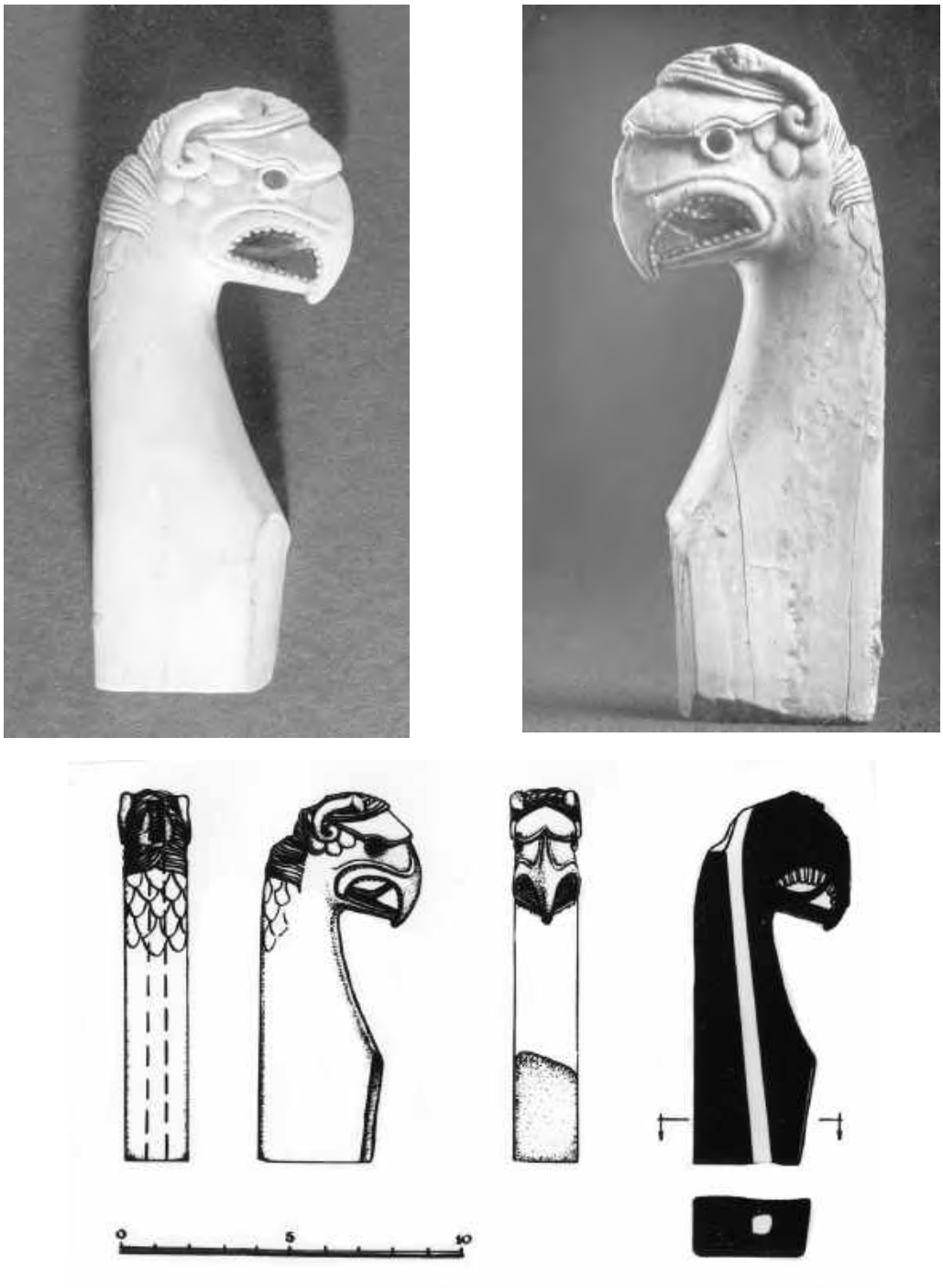


Рис. 1а, б. Рукоять махайры с головой грифона. Тахти-Сангин. Храм Окса.

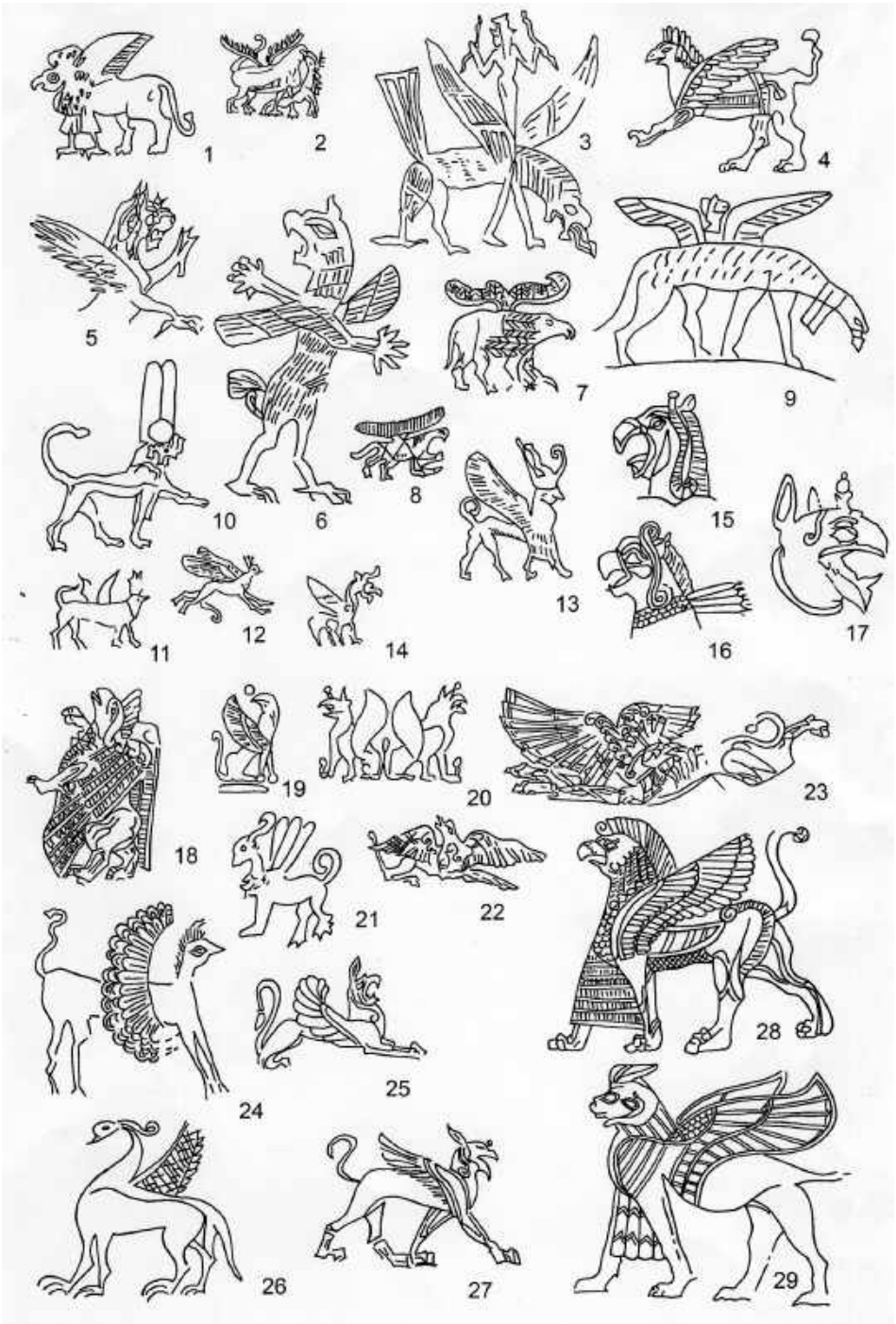


Рис. 2. Типы грифонов в изобразительном исскустве древнего Переднего Востока.

хищной птицы, у которой, судя по рисунку, четко очерчены загнутый клюв, концы глаз, шея же покрыта тремя продольными рядами точек (*Swoboda, Keil, Kholl,* 1935, p. 49–50, № 106). Издатели считали этот памятник эллинистическим, но А. Холл (Alan Hall) сообщил Р. Барнетту, что памятник относится к числу римских. Сам же Р. Барнетт полагает, что он, вероятно, «эллинистического времени» (*Barnett,* 1983, p. 70–71).

На греческом надгробии начала I в. до н. э. из Халкедонии (сейчас – в Лувре) изображено несколько предметов, в том числе прямой меч в ножнах. Ножны в виде слабо суживающейся полосы, в нижней трети – в виде треугольника. На нижний конец ножен одето поперечно-овальное кольцо. Ножны окаймлены вдоль сторон и вдоль устья рельефным кантом, соединенным тремя полосками-перемычками. Перекрестие неширокое, в виде пятиугольника. Из его вершины выступает ручка, слегка отклоняющаяся от продольной оси меча и завершающаяся орлиной головкой (*Pfuhl, Möbius,* 1979, S. 547, № 2272, Taf. 327/2272).

Число примеров, разумеется, можно было бы увеличить, по некоторым направлениям – многократно. Но и приведенный выше материал убеждает, что изготовленная из слоновой кости рукоять меча из храма Окса связана с миром греко-эллинистического оружия, с мечами-махайрами, которые, судя по сохранившимся образцам и по иконографии, часто имели навершие рукояти в виде головки хищной птицы. Однако у греческих махайр это навершие было металлическим, к тому же это был в абсолютном большинстве случаев не грифон, а голова хищной птицы. Бывали и исключения, например, рукоять с головой грифона из III Семибратнего кургана. Голова – серебряная, гребень и горло – из золота. Основанием головы в нижней части был железный стержень. Это – верхняя часть рукояти махайры, с обложенной серебряными пластинками остальной частью железной рукояти (*Сокольский,* 1954, с. 132, табл. 1/2). О применении слоновой кости при изготовлении рукоятей мечей известно и из письменных источников. Так, в конце VII в. до н. э. брат знаменитого лирика Алкея Антименид вернулся на родину из Вавилона, «принеся с собой меч с рукоятью из слоновой кости, оправленной в золото» (Alc. z 27 Page).

История грифона в изобразительном искусстве насчитывает пять тысячелетий (см. рис. 2)[1]. Едва ли ни древнейшими являются древнеегипетские (протодинастические) изображения грифона на плакетке из Гиераконполиса, а также из Джебел ут-Тариф, вблизи Абидоса. Они датируются временем около 3000 г. до н. э. В первом случае это стилизованное изображение какого-то крылатого кошачьего хищника с головой хищной птицы, во втором случае какого-то крылатого четвероногого с головой хищной птицы (*Bisi,* 1965,

[1] По истории грифона в древности имеются сотни общих и частных исследований. Перечислим некоторые: *Furtwängler,* 1886–1890, Sp. 1717–1777; *Furtwängler,* 1912; ***Durrbach,*** 1968; *Ziegler,* 1912, Sp. 1668–1673; ***Simonatt,*** 1944; *Jantzen,* 1955; *Goldman,* 1960; *Bisi,* 1964; 1965; *Marunti,* ***Rudenko, Manganaro,*** 1960, p. 1056–1063; *Flagge,* 1975; *Deplace*, 1980; ***Leventopoulou,*** 1997, p. 600–613, pl. 472–513. Неоднократно делались попытки создания обобщающего труда по истории грифона в отдельных культурах или в древности в целом. Многие из них нельзя назвать успешными. Так, например, Ангелика Дирихс попыталась обобщить материалы и определить смысл и значение изображений грифона в раннегреческом искусстве (*Dierichs,* 1981, S. 270–274). Делает это она на основании лишь изобразительных мотивов, не используя тексты и материалы по семантике в других традициях. Неполно, без глубокого знания восточного искусства и не привлекая иные источники, она пытается сравнить раннегреческую традицию с восточными – позднехеттской, сирийской и финикийской, а также с ассирийской традициями (*Dierichs,* 1981, S. 275–293). Хотя ее конкретные наблюдения не лишены оснований, все это мало что дает для общей истории грифона, в том числе греческого. Вместе с тем безусловно полезен составленный ею каталог изображений грифона в раннегреческом искусстве, особенно в вазописи, настенной живописи, на саркофагах, монетах, в рельефах, но не в круглой скульптуре (см. также: *Dierichs,* 1985).

p. 20–38, fig. 1/1.–4/33; *Deplace,* 1980, p. 6–7). Грифон, затем видоизменяясь, продолжал существовать на всем протяжении истории Древнего, Среднего и Нового царств. Одно из древнеегипетских названий грифона означает, в частности, «уничтожать», другое имя грифона – «быстрый» (*Goldman,* 1960, p. 327).

Однако существует и другая концепция происхождения изобразительного образа грифона. Ее развил, в частности, Г. Франкфорт и поддержали некоторые другие ученые. Согласно этому исследователю, родиной изображения грифона была Сирия, с последующей его адаптацией и самостоятельным развитием в Египте и в минойско-микенском мире. Орлиноголовый грифон появился в Сирии по крайней мере в XVIII в. до н. э. (*Delplace,* 1980, p. 6–7). Лучшим и нередко единственным источником для данного периода являются произведения глиптики. Один из древнейших примеров – печать из Талл Чагар Базар (Tall Chagar Bazar) в Сирии (*Goldmann,* 1960, p. 321–322 со ссылкой на: *Mallowan,* 1937, pl. XII. Здесь у грифона закрытый клюв, на голове – длинный, уходящий назад завиток. Вообще, в сирийской глиптике II тыс. до н. э. грифон фигурирует часто, причем с львиным телом и птичьей головой (*Frankfort,* 1940, p. 106; *Goldman,* 1960, p. 321–322). Хотя иногда он борется с каким-либо зверем, чаще он показан не в движении. В сценах борьбы зверей грифон чередуется со львом. Сирийское искусство знало и изображения грифонов из слоновой кости. Изображение грифона было популярно и в хеттской глиптике II тыс. до н. э. (грифоны обычно одиночные, с птичьей головой), и в печатях митаннийского круга, типа Киркук, где грифоны также одиночные, изредка нападают на мелких животных, но чаще они лежат или сидят. Очень рано в месопотамской иконографии отмечаются изображения различных фантастических существ, но хотя некоторые напоминают грифона, ни одно из них не является подлинным грифоном, которые появляются лишь во второй половине II тыс. до н. э. (*Frankfort,* 1940, p. 108; *Orthmann,* 1971, s. 331–338).

В Месопотамии изображения млекопитающих с чертами птицы известны с IV тыс. до н. э. Так, например, среди печатей из Суз, которые принадлежат к периодам Урука и Джемдет-Насра, есть изображение грифона в виде льва с густой гривой, крыльями и головой хищной птицы. На аккадском цилиндре изображен хтонический бог *Ningizzida* – лев-птица. Позже этот демон сделался символом Мардука. Все эти существа напоминают грифона, но ни одно из них не может рассматриваться как его предок.

Настоящие грифоны с телом животного и крылатые грифоны–демоны с человеческим телом появляются в искусстве в Месопотамии в нач. XIV в. до н. э., на печатях царя Ашур-убаллита I (1363–1328 гг. до н. э.). Посредником в передаче этих не-месопотамских мотивов в Ассирию явилось Митанни (*Frankfort,* 1940, p. 106–122, fig. 1–7). «Очевидно, – пишет Т. А. Мэдхлум, – что грифон на среднеассирийских печатях происходит от изображений на так называемых митаннийских печатях. Это не удивительно, так как мы знаем, что около 1600–1350 гг. до н. э. царство Митании и другие центры, населенные хурритами, занимали большую территорию, простирающуюся от собственно Ассирии и области Киркук на востоке вплоть до Северной Сирии на западе. Грифоны и грифоны-демоны, распространившиеся в Северной Месопотамии в среднеассирийский период, отсутствовали в Вавилонии, так как она не подвергалась столь сильному митаннийскому влиянию. В это время в Вавилонии, представляется, были распространены верования в старинного месопотамского дракона mušruššu и в крылатого льва-дракона. В Ассирии грифоны охраняли священное дерево, являлись защитниками царя и божеств. Они играли важную роль в деле охраны дворцов – в одном закладном ящике при постройке дворца было похоронено глиняное изображение грифона. Вместе с тем имеются изображения,

где грифон убивает крупных животных, атакует лучника, держит пленника или же сражается с грифоном-демоном» (*Madhloom,* 1970, p. 105–106).

В среднеассирийском искусстве (1400–1000 гг. до н. э.) у грифона клюв или закрыт или слегка открыт и виден язык (*Goldmann,* 1960, p. 321–323). Поскольку исходные прототипы из сирийского и митаннийского искусства имели плотно закрытые клювы, то исследователи видят в открытом клюве результат вавилонского влияния (*Madhloom,* 1970, p. 105–109).

В новоассирийском искусстве грифоны представлены только на цилиндрических печатях и на украшениях стен, но не на каменных рельефах. У большинства грифонов птичья голова сочетается с львиным туловищем, хотя встречаются и такие экземпляры, у которых задние лапы и хвост являются птичьими (*Orthmann,* 1971, s. 331–338).

Грифон нередко появляется и в урартском искусстве. Не будем на этом подробно останавливаться, ограничимся лишь несколькими примерами. Среди находок из слоновой кости из урартской крепости Топрак-кале близ оз. Ван присутствуют две крылатые человеческие фигурки с орлиной головой, с клювом, открытым у одной фигуры и закрытым – у другой. В этом случае у бактрийского и урартского артефактов почти совпадают очертания, т. к. и на топраккалинском экземпляре нижняя половина клюва – прямая, верхняя – полуовал, так что в профиль образуется полуовальное сквозное отверстие. При этом на клюв находит и «козырек» с верхней части. Однако в Топрак-кале концы половинок клюва касаются друг друга, тогда как на тахтисангинском верхний конец находит на нижний. Кончик языка приподнят и в Топрак-кале, но не касается нёба. Весь облик иной – с более вытянутым очертанием головы. С головы опускаются на шею две спаренные кривые линии. Сверху они находят на волосы. Верхний и нижний концы имеют вид завитков. Возможно, что это рудимент рогов (*Barnett,* 1950, p. 17, pl. XV/1–2; сомкнуты концы клюва – у № 1).

На головке бронзовой фигурки орлиноголового грифона из коллекции Государственных музеев в Берлине, возможно – из Топрак-кале (*Van Loon,* 1966, p. 91, pl. XV), у задней оконечности глаза находится один шарик. В искусстве Урарту известны изображения грифонов и из слоновой кости (*Barnett,* 1957, p. 229, pl. CXXXI/W-13-45).

Длительную и сложную историю имеет образ грифона в Иране и окружающих областях (*Bisi,* 1964. P. 15–35. Fig. 1–9. Pl. I–II; *Khazai,* 1978, P. 1–25. Fig. 1–9). Древнейшие изображения грифонов известны на цилиндре из Тепе Гавра (*Speiser,* 1935, pl. LX/61) и на буллах из Суз (*Bisi,* 1964, p. 15–33; *Khazai,* 1978, p. 25, fig. 1–9).Уже на одной булле из Суз эпохи Сузы C/a–b (т. е. 3300–3000 гг. до н. э.) имеется отпечаток двух идущих влево орлиноголовых львов с непропорционально длинными туловищами (*Amiet,* 1972, p. 95, pl. 12/581). В это время имеются и другие изображения грифонов (*Amiet,* 1972, p. 76). Это крылатые кошачьи хищники с передней частью, выполненной в виде хищной птицы (*Amiet,* 1972, p. 95, 107, pl. 12/585–587, 18/692A), козла (*Amiet,* 1972, p. 95, pl. 12/579–580) или даже целые «агрегаты» животных (*Amiet*, 1972, p. 95, pl. 12/582–583). Согласно П. Амье, эти грифоны – «специфически эламский мотив», попавший в Элам из додинастического Египта (*Amiet,* 1972, p. 76). Грифоны продолжают изображаться в эламской глиптике и во II тыс. до н. э., в том числе в среднеэламское время, в XIV–XII вв. до н. э. (*Amiet,* 1972, p. 270, pl. 37/2082, 2084, 2086) и в начале I тыс. до н. э. Изображения грифонов эволюционировали в искусстве Ирана в конце II – начале I тыс. до н. э. В Марлике, Тепе Сиалке, Луристане, Зивие, Чога Занбиле, в прикаспийских областях имеются многочисленные изображения грифона, восходящие к разным традициям – от египетской и передневосточной

до степной[1]. Мы не можем даже кратко охарактеризовать каждое из этих изображений. Приведем лишь примеры.

Грифон в виде крылатого орлиноголового льва встречается в иконографии Марлика: например, изображенный на стенке золотого сосуда идущий влево грифон с полураскрытым клювом[2]. Встречаются изображения грифона на изделиях из некрополя Тепе Сиалка, из Луристана (*Ghirshman,* 1939, pl. XXXI/11–13; LXXXVI/2; XC/1). На золотой пластинке, происходящей, очевидно, из Зивие, из клада в бронзовом гробу, сохранились пять регистров изображения фантастических животных с телом льва. Одно из них – крылатый лев, с головой рогатого орла. Клюв плотно закрыт, конец верхней половины клюва опускается ниже основания нижней половины. Дата – VIII–VII вв. до н. э. (*Dorman, Harper, Pittman*, 1987, p. 138, pl. 101; *Rogers Fund,* 1962, fig. 54: 35, 62, 78:1a, b); The Metropolitan Museum of Art, 1984, fig. 64). Из Зивие происходит скульптурная золотая голова грифона. Это прекрасно моделированная голова хищной птицы с открытым клювом (*Godard,* 1950, fig. 30; *Osten,* 1962, Taf. 36. См. также: *Belloni, Dall'Asèn*, 1969, fig. 38–39). Подобное изображение есть и на фаянсовой вазе из Сурх-Дума. Из Суз происходит бронзовая голова орлиного грифона VII в. до н. э. Прекрасная работа, очень хороша моделировка глаза, в который посажен зрачок. Клюв раскрыт, язык в передней части закругляется и поднят. Все эти направления развития иконографии грифона, включая греческое влияние, отразились на иконографии грифона ахеменидского времени[3].

Ахеменидское искусство знало разные виды грифонов. Часто это сложносоставное существо с хвостом скорпиона и задними ногами в виде ног хищной птицы. Нашла отражение и греческая традиция, когда корпус грифона целиком львиный, а на голове – рога. И в трактовке тех грифонов, которые восходят к ассирийским прототипам, как отмечает Г. фон Галль, также появились новые черты.

Известно, что подлинный грифон в ахеменидском искусстве встречается менее часто, чем львиный грифон – крылатое чудовище с телом и передними ногами льва, задними ногами хищной птицы, шеей с перьями или пластинами и рычащей львиной головой, хотя подлинный грифон встречается, например, в Сузах.[4]

Многообразие обликов грифонов нашло отражение в монументальной скульптуре – в персепольских рельефах. В тронном зале Персеполя крылатый грифон с птичьими ногами, крыльями и головой, но с телом и шеей льва (*Schmidt,* 1953, pl. 114/A). В этом же зале есть рельефы, где герой сражается с чудовищем в виде крылатого рогатого льва с птичьими ногами и хвостом скорпиона. Голова повреждена, но, возможно, она птичья (*Schmidt,* 1953, p. 137, pl. 115–116). В Главном зале дворца Дария грифон в виде крылатого рогатого чудовища с телом и головой льва, птичьими ногами и хвостом скорпиона (*Schmidt,* 1953, p. 226, pl. 145/A, B). Такое же чудовище – в гареме Ксеркса (*Schmidt,* 1953, pl. 196). В виде спаренных грифонов высекались иногда капители колонн в Персеполе. Так, во время раскопок 1953 г. в Персеполе во дворце Ксеркса была открыта капитель с направленными в противоположные стороны головами грифонов (*Godard,* 1954, p. 18, fig. 5–8;

---

[1] Характеристику и библиографию см.: *Khazai*, 1978, p. 1–6; *Bisi,* 1964, p. 18–26. Fig. 3–7; *Godard,* 1950, fig. 30; *Ghirshman,* 1939, pl. LXXXV/B, D; *Osten*, 1962, Taf. 36; *Ghirshman*, 1963, fig. 137–138; *Belloni, Dall'Asèn,* 1969, fig. 38–39; *Amiet,* 1975, p. 59, fig. 38.

[2] *Negahban*, 1964, fig. 111, 144, p. 54. Он допускает «связь грифона с героической мифической птицей Ирана —симургом».

[3] Наиболее детальная характеристика: Gall, 1966, S. 21–29. См. также: *Barnett,* 1968, p. 41–42; *Rehm,* 1992, S. 284–285.

[4] Для Суз см.: *Mecquenem,* 1947, p. 66, fig. 338/6.

Vanden Berghe, 1959, p. 35–36, pl. 143/e). Положение клюва, как и выпукло-дугообразное очертание верхней половины клюва, заступание кончика клюва за конец нижней половины – все это, как и общее очертание головы, напоминает тахтисангинский экземпляр. Но трактовка головы совсем иная, абсолютно реалистическая. Грифоны изображены в Сузах на поливных кирпичах VI в. до н. э. и на пиксиде. Это идущий крылатый и рогатый лев (*Amiet,* 1966, p. 360). Но иногда такой грифон имеет то же крылатое туловище с головой рогатого орла.

Обильны примеры ахеменидских ювелирных изделий в виде грифона. Одна из них – это завершения в виде грифонов незамкнутых золотых браслетов из Клада Окса № 116 (*Dalton,* 1964, p. 11–13, pl. 1/23; *Зеймаль,* 1979, с. 44). У грифонов тело крылатого льва с выброшенными вперед горизонтально ногами (с условной, в виде овала выемкой, передачей мускулатуры). На львиной шее – голова рогатого, с длинными ушами, орла. Конец верхней части клюва находит на нижнюю, между половинками клюва – щель, в которой виден язык. Поверхность покрыта выемчатыми и перегородчатыми ячейками, в одной сохранилась вставка лазурита. Общее очертание головки близко тахтисангинскому грифону. То же самое можно сказать об основании серебряного ритона № 14 Клада Окса – оно имеет вид рогатого и крылатого грифона. Голова орла похожа на вышеописанную. Согласно О. М. Далтону – это V в. до н. э. (*Dalton,* 1964, p. 6–7, pl. 11, 14; *Зеймаль,* 1979, с. 40–41). Другой пример – это золотой эгрет из того же Клада Окса. Тело выполнено рельефом – в виде лежащего крылатого льва с подогнутыми лапами. Шея и голова объемные, почти скульптурные, повернуты в фас к зрителю, рот открыт, длинные треугольные уши, отогнутые назад рубчатые рога. Имеются ячейки «клуазонне». Хотя датировка О. М. Далтона – IV или вторая половина IV–Ш в. до н. э. (*Dalton*, p. 49, XXV/194) – представляется слишком поздней, для нас важно, что такой образ был распространен в еще более раннее время (V в. до н. э.). Об этом свидетельствует происходящая из того же клада серебряная головка льва-грифона (*Dalton*, 1964, p. 32–34, pl. I/I 16; *Зеймаль,* 1979, с. 64–65). Примыкает к ней бронзовая скульптурная фигурка крылатого и рогатого льва-грифона, как будто найденная на р. Гильменд, по мнению О. М. Далтона, связанная с Бактрией и относящаяся к IV в. до н. э. (*Dalton,* 1964, p. 42–43, pl. XXII).

Есть целая серия золотых бляшек, оформленных в виде головы рогатого орлиноголового грифона (*Kantor,* 1957, pl. IV; *Vanden Berghe*, 1959, p. 278, pl. 135/f; *Ghirshman,* 1963, pl. 319; пять золотых бляшек из коллекции Бостонского музея изящных искусств – Helen and Alice Colbum Fund, № 66, p. 325–329),[1] известны изображения головы хищной птицы (грифона?), изготовленные с использованием трехцветной стеклянной пасты (SPA, VII, 1967, pl. 76) и слоновой кости (*Stucky,* 1985, s. 31, taf. 11/42).

Грифон часто встречается в ахеменидской глиптике в виде крылатого льва (*Porada,* 1948, p. 102, pl. CXXII/815e; *Amiet,* 1972, p. 285, pl. 189/2206; *Bleitbreu*, 1981, S. 92, fig. 113; *Stern*, 1982, p. 196, 198, fig. 316 (более четкая фотография); *Collon,* 1987, p. 90, pl. VIIa/428) или крылатого рогатого льва с лапами или с ногами и головой орла (*Richter*, 1949, p. 298, pl. 31/3; *Richter,* 1968, p. 128–129, fig. 492, 494; *Schmidt,* 1957, p. 18, pl. 3/PT – 4.673; *Amiet,* 1972, p. 286, pl. 190/2222). При этом грифон постоянно выступает противником героя,

[1] Бляшки-накладки Бостонского музея, которые мне удалось изучить в самом музее, оформлены в виде обращенной влево головы орлиноголового грифона. Клюв закрыт, верхняя половина сильно, в виде дуги, изогнута. Клюв отделен от остальной головы рельефным валиком в виде восьмерки – спереди – овальной. Глаз обведен рельефным бортиком. От него поднимается длинное узкое ухо. Шея разработана двумя рядами продольных овалов. Над головой разведенные в сторону рога, которые отогнуты вверх. Рога покрыты частой насечкой. Длина – ок. 30 мм.

часто носящего зубчатую корону, что следует считать атрибуцией царя (*Gall,* 1966, S. 21). Так, например, на персепольской печати с надписью Дария изображен крылатый грифон с туловищем льва и с головой рогатого орла с открытым клювом (*Schmidt,* 1957, p. 18, pl. 3/PT – 4.673). На одной агатовой цилиндрической печати (Библиотека П. Моргана) изображение грифона, нападающего на человека. Это подлинный ахеменидский или протоахеменидский грифон, стоящий на задних лапах крылатый лев. Вдоль контура носа – две рельефные точки, на верхней губе – еще одна (*Porada,* 1948, p. 102, pl. CXXII/815e). На халцедоновом греко-персидском цилиндре (Walters Art Gallery, инв. № 42.775) три сцены борьбы царя с грифоном – крылатым существом с телом и головой льва, птичьими лапами и рогами (*Richter,* 1949, p. 298, pl. 31/34). Иногда царь в раскинутых руках держит не грифонов, а крылатых львов – см. печать V в. до н. э. из Tell el-Heir (*Stern,* 1982, p. 196, 198, fig. 316; *Collon,* 1987, p. 90, pl. VIIa/428). Г. фон Галл специально подчеркнул, что на печатях, часто над сценой борьбы героя (царя) с грифоном помещен зороастрийский символ. Несомненно, этот символ связан с человеком, а грифон, возможно, связан с Ахриманом или отражает злое начало (*Gall,* 1966, S. 21–29). Это мнение Г. фон Галла представляется очень убедительным.

В Греции грифон появляется уже в IX–VIII вв. до н.э. Все изображения грифонов в греческом искусстве собраны и детально исследованы (*Delplace*, 1980, p. 13–238 – с подробной библиографией). Вначале в греческом искусстве это крылатый лев с орлиной головой. Очень рано, уже в эпоху архаики, появляется вариант А: грифон-птица, т. е. тело у существа – птичье. Позднее, уже в IV в. до н. э. под влиянием персидского искусства, возникает вариант В: крылатый лев, часто с рогами. Вариант С: морской грифон – змея с рыбьим хвостом – появляется впервые в эллинистическом искусстве и существует до римского времени (*Leventopoulou,* 1997, p. 609–610, pl. 378–412)[1].

В классическом искусстве V в. до н. э. грифон играл незначительную роль, но примерно с 400 г. количество изображений грифонов резко возрастает. Отчетливо это видно по краснофигурным вазам. Краснофигурные пелики позднего стиля с изображениями большого количества грифонов во множестве найдены в городах Северного Причерноморья (*Bonáč,* 1958. Obr. 39, 40, 45, 46, 52, 54, 59, 61). Грифоны изображаются в металле, терракоте, на рельефах и мозаиках. Мотив львиного грифона был в VI–IV вв. распространен на монетах Фокеи, Теоса, Абдер, Кизика, Смирны, на ликийских монетах (*Jantzen,* 1955; *Amandry,* 1958, p. 3–15; *Benson,* 1960, p. 58–69; *Amandry,* 1963, p. 56–62; *Simon,* 1962, S. 749–762; *Deplace,* 1980, p. 13–238. Изображения грифонов на греческих монетах см.: *Head,* 1964, pI. IV/8–12, XXX/1–5; *Wroth,* 1964, pl. III/3; V/16–17; SNG, 1931, pl. IV/96–100; SNG, 1945–1946, pl. 23/1031–1045; 33/1433–1442; SNG, I960, pl. 70/2551–2555 и др.). На некоторых монетах Александра Македонского на шлеме изображения Афины помещен птицеголовый крылатый львиный грифон (*Hill,* 1923, vol. XLIII, p. 156–161, fig. 1 Кстати, П. Амандри отметил, что, в целом, грифон в греческом искусстве – создание, которое очень трудно датировать на основании стиля (*Amandry,* 1963, p. 61).

Грифон занимает значительное место в изобразительном искусстве древних народов Средней Азии. В эпоху БМАК в Бактрии и Маргиане появляются изображения различных фантастических существ, в том числе – крылатые львы и другие кошачьи животные. На одной стороне – печати изображение крылатого льва, на другой – орла в геральдической позе. Иногда крылатый лев имеет хвост змеи. Редко встречались изображения грифонов

[1] О грифоне в Греции, помимо указанной выше литературы, см. также: *Jantzen*, 1955; *Amandry*, 1958; *Herrmann H.-V.*, 1979; *Akurgal*, 1992, S. 33–52, Taf. 8–14 и др.

с птичьей головой. Целый сонм фантастических созданий, в том числе и грифонов, представлен в изображениях на печатях, но и не только на них – великолепные изображения грифонов имеются на мозаичных панно Гонура (*Сариниди*, 1986, с. 20, рис. 3/26, 29, 4/31, 36; *Sarianidi,* 1986, S. 231–234, fig. 138; *Sarianidi,* 1998, p. 39; *Сариниди,* 2005, рис. 83–85).

Последующая история грифона в искусстве Средней Азии нашла довольно полное отражение в специальной работе Г. А. Пугаченковой (*Пугаченкова,* 1959, с. 70 сл. См. также: *Ремпель,* 1987, с. 40–44). Из всего имеющегося материала отметим в связи с нашей темой лишь алебастровую форму из Калалы-гыр I, служившую для отливки алебастровой капители с головой грифона. Аналогия – указанная выше ахеменидская капитель из Персеполя (*Толстов,* 1962, с. 112, рис. 53; *Рапопорт, Неразик, Левина,* 2000, с. 31, илл. 7/а, б).

Из южных областей Средней Азии образ грифона распространяется в среде сакских племен (*Вишневская,* 1973, с. 87, табл. XXIII/3–4; *Итина, Яблонский,* 1997, с. 42, рис. 68–7; *Акишев,* 1978, с. 28–29, табл. 24), проникает в Южную Сибирь, собственно к пазырыкцам (*Руденко*, 1952; 1953).

Грифон являлся весьма распространенным сюжетом и в скифском искусстве. В Северное Причерноморье представление о грифонах и их изображения проникли, разумеется, не через Среднюю Азию, а из Месопотамии, Урарту, Малой Азии и Греции. Но это – особая тема[1].

Представление о грифонах в древнем мире были распространены на огромных пространствах, простирающихся от Эгеиды до пределов Индии и Китая, и заселенных многочисленными народами. Естественно, что у различных этнокультурных образований, имевших разные религиозно-мифологические системы, существовали и несовпадающие друг с другом суждения относительно внешности и семантики грифона.

Так, в представлениях греков грифоны – животные, похожие на львов. Вместе с тем они имеют крылья и клюв орла (*Paus.* I. 24. 5–6). Это очень старая традиция, восходящая к рассказам Аристея (*Bolton,* 1962, p. 65–66), причем грифоны рассматриваются как композитные животные (*Philostr.* VA. 3. 48).

В греческой традиции грифоны были связаны с аримаспами, шире – с Востоком (*Bolton,* 1962, p. 65–93. Специально о бактрийско-индийском секторе этих представлений см.: *Пьянков*, 1976, с. 24). В сочинении Ктесия «Индика» говорится, что «в Индийской земле» «обитают грифы, четвероногие птицы, величиной с волка, с ногами и когтями, как у льва. Перья (у них) на всем теле – черные, а на груди – красные» (FGrH, 688, fr. 45). Кроме того, он сообщает о грифе, что это индийское животное «четвероногое, наподобие льва, когти имеет чрезвычайно сильные и притом так же похожие на (когти) льва», «клюв орлиный». Грифы вступают в борьбу с людьми и разными животными и «одолевают их, кроме льва и слона». При этом Ктесий ссылается на рассказ «бактрийцев, соседей индийцев» (FGrH, 688, fr. 45h). Грифы являются хранителями золота. Согласно Филострату (*Philostr.* VA. 3. 48) , грифы у индийцев посвящены Солнцу и влекут колесницы с изваяниями, изображающими Солнце. В приведенных выше сообщениях Ктесия И. В. Пьянков видит ряд моментов, которые могут «...действительно восходить к восточным, в частности к бактрийс-

1 См., в частности: *Погребова,* 1948. В появившихся позже чрезвычайно ценных исследованиях по скифскому звериному стилю большое значение уделяется анализу образов грифонов и грифоноподобных существ (*Пиотровский,* 1959; *Переводчикова,* 1980; *Баркова,* 1987; *Королькова,* 2006). Особое значение имеют работы московского археолога А. Р. Канторовича (*Канторович*, 2007, 2009). Рассмотрение вопроса об изображении грифонов в Индии и Восточном Туркестане выходит за рамки этой работы.

ким, преданиям о грифах, хотя определенно доказать этого нельзя». Следует думать, что в иранском мире образ грифона имел очень широкий семантический спектр (это относится к грифону и в других традициях) (*Пьянков,* 1976, с. 24).

Не останавливаясь на всем этом круге проблем (грифон – древо жизни, грифон – Солнце), отметим лишь, что, как показывают письменные источники и многочисленные изображения, грифоны связаны со многими греческими божествами – Аполлоном, Дионисом, Артемидой, Гелиосом, Кибелой и даже самим Зевсом (Aeschyl. Prom. 803–804) (*Goldman,* 1960, p. 327). Вместе с тем грифон связан со светом, с производительными силами природы и др. Но в данном случае самое главное, что грифон символизирует апотропей и принцип борьбы и победы, что нашло, в частности, отражение и в легенде об аримаспах (*Пилипорт,* 1977, с. 62–65).

В ахеменидской культуре роль грифона была, очевидно, амбивалентна, причем злое начало в нем доминировало. Как уже было отмечено выше, герой (иногда царь) в ахеменидском искусстве часто сражается с грифоном. Эта борьба нашла отражение и в монументальном искусстве, и в ахеменидской глиптике. Из вышеизложенного следует, что грифон не был чужд верованиям древних иранцев. Отсюда интерес ученых к проблеме: грифон и «Авеста». Г. П. Шмидт указывает, что «“Авеста” знает только несоставную мифическую птицу, mərəγa saçna, которая, как ее этимологический эквивалент в санскрите, *śyena*, наиболее вероятно означала «сокол» или «орел», в то время как среднеперсидские источники описывают *senmurv* как композитное существо и сасанидское искусство дает этому подтверждение» (*Schmidt,* 1980, p. 3 –8).[1] В «Авесте» saçna упоминается в связи с божеством победы Вэрэтрагной и с божественным фарном, живет в центре озера Воуракаша, на вершине «древа жизни», которое также является «древом здоровья», оно более детально описывается в позднем зороастрийском сочинении.

Г. П. Шмидт (*Schmidt,* 1980, p. 3) категорически отрицает возможность того, что образ Семурга как сложносоставного мифического существа развился из авестийской мифической птицы (*Тревер,* 1957; ср.: *Мо'ин,* 1964, p. 18–24). Другие ученые, напротив, считают, что *saçna* являлась прототипом Семурга (*Khazai,* 1978, p. 1–34; *Brunner,* 1970, p. 4). Проблему решенной считать нельзя, но наличие среди образов «Авесты» образа могучей мифической хищной птицы – бесспорно.

Вопрос о датировке тахтисангинской рукояти очень сложен, хронологические границы возможной датировки – очень широки. Но обратимся к иконографическим деталям.

Уже в хеттском искусстве орлиноголовый львиный грифон порой имеет длинный рог с завитком на конце, свисающий вниз иногда до плеч чудовища. Позже, в VIII–VII вв. рог делается значительно более коротким и доходит лишь до верхней части шеи. Встречается этот мотив и в Зивие (*Bisi,* 1964, p. 125–130, fig. 11/90, 12/92–95, 13/103; *Madhloom,* 1970, pl. LXXXIV), а также в Урарту (*Barnett,* 1957, p. 229, pl. CXXXI/W-13–15).

Рог в виде завитка очень рано появляется и в Греции. Так, например, на литой бронзовой голове грифона из Олимпии (около 650 г. до н. э.) (*Mallwitz, Herrmann,* 1980. S. 68–69, Taf. 36) рог в виде завитка проходит снаружи орбиты глаза и непосредственно под ним, отвернут назад и вверх в виде волюты. В Олимпии найдена целая серия таких бронзовых голов с аналогичными рогами на лбу (*Herrmann,* 1979. S. 44–46. Taf. 54–60). Возможно, это исходный пункт развития ряда[2]. В Тегеранском музее хранится золотая голова орли-

[1] Детальная сводка существующих данных: *Flagge,* 1975. S. 27–121.

[2] Мы пропускаем последующие этапы эволюции. Но см. изображение крылатого орлиноголового грифона на этрусской вазе IV в. из Испании: *Freijeiro,* 1960, S. 212, Taf. 30/a; *Deplace,* 1980, p. 144. Fig. 164.

ноголового грифона доахеменидского времени. Клюв открыт, рядом с глазом спускается небольшой рельефный жгут с петлей на конце (*Samadi,* 1960, fig. 27). В принципе этот завиток похож на рогообразный завиток на тахтисангинском грифоне, но выходит из-под волос (в тахтисангинском – над волосами). На эрмитажной золотой фигурке орлиноголового крылатого грифона, которую В. Г. Луконин атрибутировал как происходящую из Ирана IV–III вв. до н. э., в верхней части головки имеется рог в виде небольшого S-образного завитка (*Иванов, Луконин, Смесова,* 1984, с. 20, № 16, рис. 20).

Рога-завитки, очень близкие по трактовке тахтисангинскому изображению, у грифонов на штампованных изображениях медных пластин из второго Пазырыкского кургана. На этих же пластинах, а также на деревянных украшениях конской узды из первого Пазырыкского кургана, основание верхней половины клюва отмечено рядом «перлов» (от трех до семи) (*Руденко,* 1953, рис. 74–75, табл. XXXVIII/1–3. См. также: *Руденко,* 1952, рис. 112/Б; *Грязнов,* 1950, табл. XX/1, 4; *Руденко,* 1960, рис. 146/М). Перлы – другой специфический признак тахтисангинского изображения, они окружают основание рога.

Бугорки (перлы) встречаются на ряде изображений орла или орлиноголового грифона в греческом искусстве. Они есть между глазами упомянутых выше бронзовых голов грифонов из Олимпии (*Herrmann,* 1979. S. 44–46, Taf. 54–60; *Maliwitz, Herrmann*,1980, S. 68–69, Taf. 36, 109). На одной греческой печати первой половины VII в. до н. э. изображение орлиноголового грифона, вдоль нижней границы глаза – три рельефных бугорка (*Zwierlein-Diehl,* 1969. S. 57–58, Taf. 26/106). У бронзовой фигурки орлиноголового грифона из коллекции Государственных музеев в Берлине (Урарту, возможно – из Топрак-кале) у задней оконечности глаза полусферический бугорок (*Van Loon,* 1966, p. 91, pl. XV).

На агатовой цилиндрической печати (Библиотека Пирпонта Моргана) присутствует изображение стоящего на задних лапах крылатого льва. Вдоль выступа носа – две рельефные точки, на верхней губе еще две. Этот цилиндр Э. Порада относит к прото-ахеменидским (*Porada,* 1948, p. 102, pl. CXXII/815e). Так же трактована морда крылатого льва и на одной ахеменидской агатовой цилиндрической печати (*Bleitbreu,* 1981, S. 92, fig. 113). На сердоликовом скарабеоиде помещено изображение, выполненное в греко-персидской манере: орлиноголовый грифон, у которого под глазом и у клюва – выпуклые круглые полушарики (всего три) (*Boardman*, 1970, p. 319, 356, pl. 958). На другой греко-персидской гемме конца VI – начала V в. до н. э. показано идущее чудовище с телом льва, ногами орла, с открытой пастью, с рогом, линия носа показана в виде трех рельефных точек (*Richter,* 1968, p. 128–129, fig. 492, 494). Укажем также на чрезвычайно важную аналогию – на два рельефа с грифонами из Персеполя (Гарем Ксеркса, восточный проход главного зала) (*Schmidt,* 1953, pl. 196/B). У этих крылатых монстров с львиным корпусом и головой и скорпионьим хвостом выше внешнего уголка глаза бугорок в виде полушарика, под ними, на одной линии и практически смыкаясь, два таких же бугорка.

В этой связи также следует упомянуть золотую бляшку (3,3 × 3 см) из собрания Abegg-Stiftung (инв. № 8.19.63), изображающую голову крылатого орлиного грифона с закрытым клювом. У внешнего уголка глаза – три рельефных точки, под ними еще одна. Таким образом, этот прием украшения морды животного связан с модой, распространенной в VI–V вв. до н. э. Добавим, что в ахеменидской глиптике есть изображения орлиноголовых грифонов, у которых, как у тахтисангинского грифона, половинки клюва сомкнуты, конец верхней половины «заходит» за нижнюю, между половинками – широкая овальная щель (*Amiet,* 1972, p. 286, pl. 190/2222).[1] В отношении такой щели можно указать и на некото-

[1] Такой тип смыкания закрытого клюва встречается и у грифонов на вазах VII–VI вв. до н. э. (*Morin-Jean,* 1911, p. 68, fig. 67, 113).

рые урартские аналогии (*Barnett,* 1950, p. 17, pl. XV/1–2). С учетом всего этого материала мы склоняемся к датировке V–IV вв. до н. э. тахтисангинской рукояти махайры в виде грифона из слоновой кости, причем большинство аналогий указывает даже на VI–V вв.

Естественно, возникает еще один очень сложный вопрос: были ли махайры распространены в Бактрии и Восточном Иране в целом уже в ахеменидское время, или же они появились вместе с приходом войск Александра Македонского. Описания Геродота показывают, что в персидском войске махайрами были вооружены пехотинцы и матросы из Египта (Hdt. VII. 89, 91; IX. 32). Махайра упоминается как оружие колхов, алародиев и саспиров (Hdt. VII. 79). Издревле применяли махайру при ритуальных клятвах карийцы (Hdt. II. 61). Вместе с тем, Геродот указывает, что персы были вооружены акинаками (Hdt. VII. 61). Не упоминается махайра в качестве части наступательного вооружения и у бактрийцев (Hdt. VII. 64).

О махайре у персов неоднократно сообщает и Ксенофонт (Xen. Cyr. II. 3. 10; IV. 5. 58; VII. 1. 34). Он даже утверждает, что в амехенидском войске Кира Старшего воины упражнялись в панцире, со щитом и с махайрой в руках (Xen. Cyr. II. 1. 21). Возможно, что Ксенофонт перенес в VI в. до н. э. реалии своего времени. С. Биттнер задается вопросом, означает ли это, что в ахеменидском войске были группы «махайроносцев», или же термин применен Ксенофонтом в данном случае без конкретной определенности. Сопоставив имеющиеся упоминания, он приходит к заключению, что термин махайра использовался греческими авторами как родовое название, обозначение «рубящего меча», в противоположность колющему оружию (*Bittner,* 1985. S. 171).

Во время похода Александра Македонского в Бактрии упоминается акинак (Curt. VII. 4. 19), хотя при этом остается неясным, идет ли речь действительно о среднеазиатском вооружении или персидском, т.к. Курций Руф сообщает об акинаке Бесса (*Литвинский, Пьянков,* 1966, с. 37–48) . Впрочем, оружием другого среднеазиатского народа, массагетов, называется махайра (Strabo. XI. 8. 6). Вообще, еще Эсхил (Pers. 55–56) назвал все народы Азии «носящими махайры» – macairofovroi (*Boadhead,* 1960, p. 4, 47; *Calmeyer,* 1982. S. 174–175). Как выше указывалось, на греческой вазописи в сценах борьбы греков и персов противники часто имеют один и тот же меч с выпуклым лезвием – махайру[1], но приходится иметь в виду (об этом также говорилось на предыдущих страницах), что греческие вазописцы нередко одевали «персов» в греческую одежду и греческий доспех, снабжали греческим оружием.

Относительно принадлежности и датировки тахтисангинской рукояти И.Р. Пичикян высказал следующие соображения. Самой близкой аналогией нашей рукояти парадной махайры – кавалерийского «палаша» – могут служить более поздние, но тоже вотивные рукояти, отлитые вместе с эфесом из бронзы и имитирующие подлинные греческие мечи, которые были найдены среди приношений общегреческого святилища – храма Зевса Додонского (*Daux,* 1966, p. 847, fig. 5). Однако наша костяная рукоять, хотя в восточном ареале и уникальна, по стилю исполнения имеет совершенно другой – ахеменидский облик. Поэтому и идентификация места ее изготовления и точная датировка представляют определенные трудности.

По мнению И. Р. Пичикяна, стилистические особенности изображения грифона на рукояти вполне корреспондируют с сообщением Курция Руфа: Дарий III (336–331 гг. до н. э) «в начале царствования приказал изменить форму персидских ножен для акинака по образцу греческой» (Dareum in principio imperii vaginam acinacis Persicam iussisse mutari

[1] Часть литературы приведена выше. См. также: *Schoppa,* 1933. S. 28, № 2, 3, 4; S. 30, № 2, 3; S. 54, 82.

in eam formam, qua Graeci uterentur) (Curt. III. 3. 6). И. Р. Пичикян считал, что здесь идет речь об изменении Дарием III в начале своего правления (осень 336 г. до н. э.) формы персидских мечей по образцу греческих. Ведь если сравнивать эту рукоять с ахеменидскими или мидийскими рукоятями на рельефах Персеполя, а также с аналогичными ахеменидскими, найденными в храме Окса, то становится очевидным, что эта рукоять новой для Ахеменидов формы, заимствованной у эллинов. В пользу этого говорят сравнения с эллинскими рукоятями махайр, увенчанными головами львов, орлов, грифонов, хорошо известных как по краснофигурной аттической вазописи, так и по вотивным отливкам из храма Зевса Додонского. Если это и неверно, то дата может быть изменена только в пользу более раннего времени, поскольку после победы Александра Македонского и падения Ахеменидской державы побежденные приняли на вооружение македонское оружие. Об этом неоднократно свидетельствуют античные авторы, говоря о реорганизации войск и принятии 30 тысяч персов и бактрийцев в состав греко-македонского войска перед походом на Индию. Время изготовления рукояти следует отнести к 450–331 гг. до н. э. Если же учитывать сообщение Курция Руфа, то вероятна и более точная дата – 336–331 гг. до н. э. (*Пичикян,* 1991, с. 102–103). Этот пассаж он включил и в нашу совместную статью, посвященную этому предмету (*Litvinskij, Pičikian,* 1995, p. 126–127).

Однако решение, предложенное И. Р. Пичикяном, основывалось на упрощенном подходе. На территории Ахеменидской державы сотни, а может быть, тысячи людей до реформы Дария III имели греческие махайры и среди этих людей, безусловно, были и бактрийцы, и другие иранцы. Нельзя исключить, что тахтисангинская махайра попала в храм от кого-то из них. Из текста Курция Руфа, вопреки И. Р. Пичикяну, вовсе не следует, что реформа привела к изменению формы персидских мечей по образцу греческих. Так, С. Биттнер утверждает, что выражения древнего автора надо понимать буквально, и что речь шла не об изменении самого акинака (например, об его удлинении), а именно о каких-то изменениях в ножнах, скорее всего, связанных с модификацией способа ношения (и прикрепления) оружия (*Bittner,* 1985. S. 293–296). Вряд ли может быть плодотворным и сравнение тахтисангинской рукояти с изображениями на персеполитанских рельефах, так как на последних представлены не махайры, а акинаки. С другой стороны, И. Р. Пичикян вообще не рассмотрел и не принял во внимание историю и иконографию грифона в Греции и на Переднем Востоке, а это чрезвычайно важно. С учетом всех этих материалов я склоняюсь к мнению, что рукоять в виде грифона скорее должна датироваться не временем Дария III, а более ранним периодом, именно V в. до н. э.

Литература

Акишев К. А. Курган Иссык. М., 1978.

Баркова Л. Л. Образ орлиноголового грифона в искусстве древнего Алтая // АСГЭ. Вып. 28. Л., 1987.

Вишневская О. А. Культура сакских племен низовьев Сыр-Дарьи в VII–V вв. до н. э. по материалам Уйгарака. М., 1973.

Грязнов М. П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950.

Зеймаль Е. В. Амударьинский клад. Каталог выставки. Л., 1979.

Иванов А. А., Луконин В. Г., Смесова Л. С. Ювелирные изделия Востока. М., 1984.

Итина М. А., Яблонский Л. Т. Саки Нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). М., 1997.

Канторович А. Р. Истоки и вариации образа бараноптицы (грифобарана) в раннескифском зверином стиле // Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: Сб. памяти М. П. Абрамовой. М., 2007.

Канторович А. Р. К вопросу об истоках и вариациях образов грифона и грифоподобных существ в раннескифском зверином стиле в VII–VI вв. до н. э. // Северное Причерноморье в скифосарматское время. Памяти И. И. Гущиной. М., 2009.

Королькова Е. Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н. э.). СПб., 2006.

Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2001.

Литвинский Б. А., Пичикян И. Р. Ахеменидская рукоять с протомой грифона из храма Окса // ВДИ. 1993. № 4.

Литвинский Б. А., Пичикян И. Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. I. Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. М., 2000.

Литвинский Б. А., Пьянков И. В. Военное дело у народов Средней Азии в VI–IV вв. до н. э. // ВДИ. 1966. № 3.

Переводчикова Е. В. Прикубанский вариант скифского звериного стиля. АКД. М., 1980.

Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959.

Пичикян И. Р. Культура Бактрии. Ахеменидский и эллинистический периоды. М., 1991.

Погребова М. Н. Грифон в искусстве Северного Причерноморья в эпоху архаики // КСИИМК. Вып. XXII. М., 1948.

Пугаченкова Г. А. Грифон в античном и средневековом искусстве Средней Азии // СА. 1959. № 2.

Пьянков И. В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия (текст, перевод, примечания). Душанбе, 1975.

Пьянков И. В. Бактрийский гриф в античной литературе // История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М., 1976.

Рапопорт Ю. А. Космогонический сюжет на хорезмийских сосудах // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М., 1977.

Рапопорт Ю. А., Неразик Е. Е., Левина Л. М. В низовьях Окса и Яксарта. Образы древнего Приаралья. М., 2000.

Ремпель Л. И. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии. Ташкент, 1987.

Руденко С. И. Горно-алтайские находки и скифы. М.-Л., 1952.

Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953.

Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л., 1960.

Сарианиди В. И. Древнебактрийский пантеон // Информационный бюллетень МАИКЦА. Вып. 10. М., 1986.

Сарианиди В. И. Гонур Депе. Город царей и богов. Ашхабад, 2005.

Сокольский И. К. Боспорские мечи // МИА. 1954. № 33.

Толстов С. П. По древним руслам Окса и Яксарта. М., 1962.

Тревер К. В. Сэнмурв – паскудж. Собака – птица. Л., 1957.

Akurgal E. Die Kunst der Hethiter. München, 1961.

Akurgal E. Zur Entstehung des griechischen Greifenbildes // Kotinos. Festschrift für Erika Simon. Mainz am Rein, 1992.

Amandry P. Grèce et Orient // Etudes d'archéologie classique, I. Paris, 1958.

Amandry P. Plaques d'or de Delphes // AM. T. 77. 1963.

Amiet P. Elam. Auvers-sur-Oise, 1966.

Amiet P. Glyptique susienne // MDAI. T. 43. Paris, 1972.

Arias P. E. A History of Greek vase painting. L., 1962.

Barnett R. D. The Excavations of the British Museum at Toprak Kale near Van // Iraq. 1950. Vol. II.

Barnett R. D. A Catalogue of the Nimrud ivories with other examples of Near Eastern ivories. L., 1957.

Barnett R. D. The Art of Bactria and the Treasure of the Oxus // Iranica Antigua. 1968. Vol. VIII.

Barnett R. D. From Irviz to Constantinople. A study in bird-headed swords // Beiträge zur Altertumskunde Kleinasiens. Mainz, 1983.

Belloni G. G., Dall' Asèn L. F. Iranian art. L., 1969.

Benndorf O. Griechische und Sizilische Vasenbilder. Berlin, 1868.

Benson J. L. Unpublished Griffin protomes in American collections // Antike Kunst. 1960. H. 3.

Best J. G. P. Thracian peltasts and their influence on Greek warfare // Studies of the Dutch Archaeological and Historical Society. 1. Gröningen, 1969.

Bisi A. M. Grifone nell'arte dell'antico Irän e del popoli delle steppe // Rivista degli studi orientali. 1964. V. XXXIX.

Bisi A. M. Il griphone storice di un motive iconografica nell'antico oriente Mediterraneo // Studi semitice. Universita di Roma. Centro di studi semitici. 13. Roma, 1965.

Bittel K. Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor Chr. München, 1976.

Bittner S. Tracht und Bewaffnung des persischen Heeres zur Zeit der Achaemeniden. München, 1985.

Bleitbreu E. Rollsiegel aus dem Vorderen Orient. Wien, 1981.

Boadhead H. D. The Persae of Aeschylus. Cambridge, 1960.

Boardman J. Archaic greek Gems. Schools and artists in the sixth and early fifth century B. C. L., 1968.

Boardman J. Greek gems and finger rings. Early Bronze Age to Late Classical. L., 1970.

Bohn R. Das Heiligtum der Athena Polias Nikephoros. Bd. II. Berlin, 1885.

Bolton J. D. P. Aristeas of Proconnesus. Oxford, 1962.

Bonáč J. M. Kertscher Vasen mit besonderer Berücksichtigung der Tschechoslowakischen Sammlungen. Praha, 1958.

Bovon A. Présentation des guerriers perses et la notion de barbare dans la Ière moitié du Vème siècle // BCH. 1963. V. LXXXVII.

British Museum. Department of Greek and Roman antiquities. A guide to the exhibition illustrating Greek and Roman life. L., 1908

Brunner Ch. J. Sasanian seals in the Metropolitan Museum of art. NY., 1970.

Budge E. A. W. Assyrian sculpture in the British Museum. L., 1914.

Calmeyer P. Zur Genese altiranischer Motive: VIII. Die «Statistische Landcharte des Perserreiches»-I // AMI. 1982. Bd. 15.

Charbonneaux J., Martin R., Villard F. Grèce hellenistique (330–50 avant J.-C.). Paris, 1970.

Collon D. Catalogue of the Western Asiatic seals in the British Museum. Cylinder seals, III. L., 1986.

Cow A. S. F. Notes on the *Persae* of Aeschylus // JHS. 1928. Vol. XLVIII.

Dalton O. M. The treasure of the Oxus with other examples of early Oriental metal-work. L., 1964.

Daux G. Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1965 // BCH. 1966. T. 15(2).

Deplace Ch. Le gryphon de l'archaïsme à l'époque impériale. Étude iconographique et essai d'interprétation symbologique. Bruxelles-Roma, 1980.

Dierichs A. Das Bild des Greifen in der frühgriechischen Flächenkunst. Bd. 1–2. Münster, 1981.

Dierichs A. Das Bild des Greifen in der frühgriechischen Flächenkunst. Nachträge. Boreas. Münsterliche Beiträge zur Archäologie. Bd. VIII. Münster, 1985.

Dorman P. F., Harper P. O., Pittman H. The Metropoliten Museum of Art. Egypt and Ancient Near East. NY, 1987.

Durrbach F. Gryphs ou gryphus // Daremberg Ch., Saglio E. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. T. II. Graz, 1968.

Filow B. D. Die Grabhügelnekropole bei Duvanlij in Südbulgarien. Sofia, 1934.

Flagge I. Untersuchungen zur Bedeutung des Greifen. Sankt Augustin, 1975.

Frankfort H. Notes on the Cretan griffin // ABSA. 1940. Vol. 37.

Frankfort H. The art and architecture of the ancient Orient. Harmondsworth, 1963.

Freijeiro A. B. Die klassischen Würzeln der iberischen Kunst // Madrider Mitteilungen. 1. 1960

Furtwängler A. Gryphs // W. H. Roscher. Ausfiirliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Bd. I. Leipzig, 1890.

Furtwängler A. Kleine Schriften. Bd. I. München, 1912.

Furtwangler A., Reichhold K. Grieschische Vasenmalerei. München, 1904.

Gall H. von. Die paphlagonischen Felsgräber. Eine Studie zur kleinasiatischen Kunstgeschichte. Tübingen, 1966.

Gamber O. Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike. Braunschweig, 1978.

Ghirshman R. Fouilles de Sialk. II. Paris, 1939.

Chirshman R. Perse. Proto-iraniens. Mèdes. Achéménides. Paris, 1963.

Godard A. Le trésor de Ziwiye (Kurdistan). Haarlem, 1950.

Godard A. The newly-found palace of prince Xerxes at Persepolis and sculptures which the architects rejected // ILN. № 224. 1954.

Goldman B. The Development of the Lion-Griffin // AJA. 1960. Vol. 64(4).

Havelock Ch. M. Hellenistische Kunst. Von Alexander dem Grossen bis Kaiser Augustus. Wien – München, 1971.

Head B. V. Ionia. Catalogue of the Greek coins in the British Museum. Bologna, 1964.

Herrmann H.-V. Kesselprotomen und Standdreifüsse (Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil II). Berlin, 1979.

Hill G. F. Alexander the Great and the Persian Lion Gryphon // JHS. Vol. XLIII, 1923.

Hölscher T. Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. Würzburg, 1973.

Hölscher T. Ein Kelchkrater mit Perserkampf // Antike Kunst. 1974. H. 17.

Jantzen U. Griechische Greifenkessel. Berlin, 1955.

Kantor H. J. Achaemenid jewelry in the Oriental Institute // JNES. 1957. Vol. XVI (1).

Khazai Kh. L'évolution et la signification du griffon dans l'iconographie iranienne // Iranica antiqua. 1978. Vol. XIII.

Kilian K. Trachtzubehör der Eisenzeit zwischen Ägäis und Adria // Prähistorische Zeitschrift. 1975. Bd. 50.

Leventopoulou M. Gryps. – LIMC, VIII/1; VIII/2. Zürich and Düsseldorf, 1997.

Litvinskij B. A., Pičikian I. R. An Achaemenian griffin-handle from the temple of the Oxus. The makhaira in northern Bactria // In the land of the Gryphons. Firenze, 1995.

Madhloom T. The Chronology of Neo-Assyrian Art. L., 1970.

Mallwitz A., Herrmann H.-V. Die Funde aus Olympia. Ergebnisse hundertjähriger Ausgrabungstätig keit. Athen, 1980.

Mallowan M. E. L. Chagar Bazar // Iraq. 1937. Vol. 4.

Mallowan M. E. L. Nimrud and its Remains. Vol. I. L., 1966.

Mallowan M. E. L, Davies L. G. Ivories in Assyrian Style. Commentary, Catalogue and Plates. L., 1970.

Maruni M. G., Rudenko S. I., Manganaro G. Grifo // Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale. T. III. Roma, 1960.

Mecquenem R. de. Contribution a l'étude du palais achéménide de Suse // MDP. 1947. T. 30.

The Metropolitan Museum of Art. Ancient Near Eastern art. NY., 1984.

Mo'in M. Simurg – Fabulous Bird // Dr. J. M. Unvala Memorial Volume. Bombay, 1964.

Morin-Jean. Le dessin des animaux en Grèce d'après les vases peintes. P., 1911.

Müller-Karpe H. Handbuch der Vorgeschichte. München, 1980.

Negahban E. O. A preliminary Report on Marlik excavation, Gohar Rud Expedition, Rudbar 1961–1962. Teheran, 1964.

Oakeshott R. E. The Archaeology of Weapons. L., 1960.

Orthmann W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst. Bonn, 1971.

Osten H. H. Die Welt der Perser. Berlin, Darmstadt, 1962.

Oxus. 2000 Jahre Kunst am Oxus-Fluss in Mittelasien. Neue Funde aus der Sowietrepublik Tadschikistan. Zürich, 1989.

Oxus. Tesori dell'Asia Centrale. Roma, 1994.

Petsas Ph. M. Pella. Lund, 1964.

Pfuhl E., Möbius H. Die ostgriechischen Grabreliefs. Mainz, 1979.

Pichikjan I. R. Oxos-Schatz und Oxos-Tempel // Achämenidische Kunst in Mittelasian. Berlin, 1992.
Porada E. Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections). Vol. I. Wash., 1948.
Poursat J.-C. Les ivoires mycéniens. Essai sur la formation d'un art mycénien. P., 1977.
Rehm E. Der Schmuck der Achämeniden. Münster, 1992.
Remouchamps A. Griechische Dolch- und Schwertformen. Leiden, 1926.
Rhomiopoulou K., Kilian-Dilmeier I. Neue Funde aus Vergina // Prähistorische Zeitschrift. 1989. Bd. 64.
Richter G. M. A. Late «Achaemenian» or «Graeco-Persian» Gems // Hesperia. Supplement VIII. 1949.
Richter G. M. Engraved Gems on the Greeks and the Etruscans. L-NY, 1968.
Roux G. Meurtre dans un sanctuaire sur l'amphore de Panagurište // Antike Kunst. 1964. H. 7.
Samadi H. Les découvertes fortuites et l'etat de la civilization. Teheran, 1960.
Sarianidi V. Afghanistan. Architektur, Keramik, Siegel. Kunstwerke aus Stein und Metall. Leipzig, 1986.
Sarianidi V. Myths of Ancient Bactria and Margiana on its Seals and Amulets. Moscow, 1998.
Schmidt E. F. Persepolis. Vol. I. Chicago, 1953.
Schmidt E. F. Persepolis. Vol. II. Contents of the Treasure and Other Discoveries. Chicago, 1957.
Schmidt H. P. The Senmurw // Persica. 1980. Vol. IX.
Schoppa H. Die Darstellung der Perser in der griechischen Kunst. Inagural-Dissertation. Heidelberg, 1933.
Survey of Persian art, vol. VII. Tehran–London–New York–Tokyo, 1967.
Simon E. Zur Bedeutung des Greifen in der Kunst der Kaiserzeit // Latomus. 1962. T. XXI.
Simonatt Ch. Die geflügelten Löwen aus Augst // Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, 1. Basel, 1944.
Snodgrass A. M. Early Greek armour and weapons from the end of Bronze Age to 600 B. C. Edinburgh, 1964.
Snodgrass A. M. Arms and armour of the Greeks. L., 1967.
Speiser E. Excavations at Tepe Gawra, I. Phil., 1935.
Stern E. Material culture of the Land of the Bible in the Persian period 538–332 B. C. Warmington – Jerusalem, 1982.
Stucky R. A. Achämenidische Hölzer und Elfenbeine aus Ägypten und Vorderasien im Louvre // Antike Kunst. 1985. H. 28.
Swoboda H., Keil J., Kholl F. Denkmäler aus Lykaonien, Pamphylien und Isaurien. Prag – Leipzig–Wien, 1935.
Sylloge Nummorum Graecorum. Great Britain. I. 1. L., 1931.
Sylloge Nummorum Graecorum. Danmark. Copenhagen, 1945–1946.
Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Sammlung von Aulock. 6. Ionien. Berlin, 1960.
Vanden Berghe L. Archéologie de l'Iran Ancien. Leiden, 1959.
Van Loon M. N. Urartian Art. Its Distinctive Traits in the Light of New Excavations // Utgaren van net Nederlands Historisch-archaeologisch Institut te Istanbul. V. XX. Istanbul, 1966.
Vermeule E. T. Toumba tou Skourou. The mound of darkness. A Bronze Age town on Morphou bay in Cyprus. Cambridge, 1971–1974.
Wroth W. Mysia. Cataloque of the Greek coins in the British Museum. Bologna, 1964.
Ziegler. Gryphs // RE. Bd. VII. Stuttgart, 1912.
Zwierlein-Diehl E. Antike Gemmen in deutschen Sammlungen. Bd. II. Staatlische Museen preussischer Kulturbesitz, Antikenabteilung (Berlin). München, 1969.
Βοχοτουϖλον Ι. Βιτσα. Α, Β. Αθηϖνα, 1986.

М. А. Дандамаев

ВЫХОДЦЫ ИЗ КИЛИКИИ В ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ

Как известно, после падения Ассирии в конце VII в. до н. э. на Ближнем Востоке осталось всего три могущественных государства, а именно Мидия, Вавилония и Египет. Кроме того, в Малой Азии были еще два сравнительно маленьких, но независимых государства, а именно Лидия и Киликия. Согласно Геродоту (I. 74), в 585 г., после того как окончилась война между мидийским и лидийским царями Киаксаром и Алиаттом, был заключен мирный договор при посредничестве вавилонянина по имени Лабинет и киликийца Свинесия. По-видимому, под последним имеется в виду царь Киликии. Из этого можно предположить, что еще в начале VI в. до н. э. Киликия стала независимым государством. Она была расположена в восточной части южного побережья Малой Азии и в VII в. до н. э. находилась в зависимости от Ассирии. В ассирийских текстах Киликия носит название Qu(w)ē, что было эквивалентом вавилонского Humē для обозначения этой страны (*Albright*, p. 29; ссылки на вавилонские тексты см.: *Zadok,* p.166; указания на более поздние издания можно найти ниже). Этим названиям в греческих источниках соответствует Kilikia (*Hawkins,* p. 402-403). В вавилонских текстах Humç встречается обычно с детерминативом для обозначения страны, а иногда и города, а в ряде случаев и без всякого детерминатива.

Еще в первой четверти VI в. до н. э. отношения между Вавилонией и Киликией стали враждебными. В вавилонских царских надписях, частноправовых контрактах и документах из храмовых архивов, относящихся к VI–IV вв. до н. э., неоднократно в разных контекстах, наряду с их малоазийскими соседями, упоминаются также страна Киликия и ее жители.

Из исторических хроник известно, что вавилонские цари совершали походы в Киликию, включая и ее западную часть, Пиринду. Целью этих походов было не только захват природных богатств, но также и пленников. Еще при ассирийском царе Синаххерибе в сооружении дворца в Ниневии использовались, вместе с работниками из других стран, и киликийцы (см.: *Grayson,* 1991, p. 113). Первым вавилонским царем, который напал на Киликию, был, по-видимому, Навуходоносор II. Во всяком случае, вавилонские тексты из архива его дворца, относящиеся ко времени между 595 и 570 гг. до н.э., упоминают много чужеземцев, которые находились в Вавилоне. Среди них, наряду с эламитами, персами, разными выходцами из Малой Азии («ионийцами» - слово применялось для обозначения не только греков, но и вообще жителей Малой Азии) и другими людьми упоминаются и киликийцы (см.: *Weidner,* p. 923–924). В этих текстах речь идет о выдаче пайков работникам и можно уверенно полагать, что здесь имеются в виду уведенные в плен киликийцы (см. также: *Lambert,* 1965, p. 7). В 557 г. вавилонский царь Нериглиссар совершил поход на Киликию. Однако его власть там оказалась непрочной, и поэтому в 554 г. новый царь Набонид тоже послал туда свое войско, которое доставило оттуда много воинов и лошадей (об этих походах см.: *Grayson,* 1975, p. 105; *Wiseman,* 1961, p. 39, 74). В одной из своих надписей Набонид сообщает, что он увел из Киликии 2850 человек, «добычу из страны Киликия, которую бог Мардук передал в мои руки. Я заставил их таскать корзины с землей» (см.: *Schaudig,* p. 577).

Еще при халдейских царях в этническом отношении население Месопотамии было довольно пестрым и там бок о бок с традиционным вавилонским населением жили также халдейские и арамейские племена. Кроме того, вавилонские цари в конце VII в. и первой

половине VI в. проводили политику насильственного поселения в стране военнопленных из разных стран. Такая же политика продолжалась и ахеменидскими царями, которые во многих подвластных им странах создавали военные колонии из представителей различных стран и назначали выходцев из тех же стран в административный аппарат. В рассматриваемое здесь время в стране жили представители около тридцати этнических групп. Среди них было и значительное число и выходцев из Малой Азии, а именно киликийцы, карийцы, фригийцы, лидийцы и др. Например, выходец из Малой Азии Мегабаршу, живший в Вавилоне и принадлежавший к племени имбукийцев, ссудил одному из членов предпринимательского дома Эгиби 50 сиклей серебра с условием уплаты ежемесячно в качестве процентов одного сикля на мину серебра. При заключении этой сделки в качестве свидетелей присутствовало несколько выходцев из Малой Азии, а также один «киммериец» (архаизм вместо «сак», см.: *Dar,* 458). В другом документе, составленном в городе Борсиппе в 515 г., упоминается кариец Лукшу, который получил овцу, муку, соль, растительное масло, вино и кресс-салат в качестве продовольствия на три месяца для группы лиц из десяти человек (см.: BRM I 71). Эти люди принадлежали к войску, которое несло военную повинность в период царствования Дария I. В том же документе среди свидетелей названы еще два карийца (см.: *Eilers,* p. 193). Из другого текста (Dar 351) видно, что лидийцы (luddâja), жившие около Вавилона, сдавали свои наделы лука в аренду предпринимательскому дому Эгиби. Во второй половине V в. до н.э. лидийцы упоминаются также в документах архива предпринимателей Мурашу в городе Ниппуре под именем *sapardāja* по названию столицы Лидии Сарды (по-лидийски Сфарда; см. PBS 2/I 53,144 и др.; ср. Eilers, p. 231). В тех же текстах упоминаются и фригийцы (*muškāja*) вместе с их начальником по имени Гундакка (BE X 67). Из других представителей малоазийских народов, живших в округе Ниппура, можно упомянуть также одного термилийца (*tarmilāja*) по имени Тилапа, который получил арендную плату с надела, сданного в аренду дому Мурашу (PBS 2/I 53). Как известно из Геродота (1.173) , термилами называли ликийцев. Судя по документальным данным, по крайней мере, часть выходцев из Малой Азии жила в Месопотамии в достаточно комфортных условиях. Однако, возможно, киликийцам в этом отношении не повезло и на них лежала тяжелая работа в храмовых хозяйствах. Как мы видели выше, во времена Набонида почти 3000 военнопленных из Киликии были направлены на выполнение строительных работ. Выходцы из этой страны упоминаются также в документах храмовых архивов Эанны в Уруке и Эбаббара в Сиппаре. Они обозначаются своим этническим именем Humāja (CAD H, p. 234; см. ссылки: *Zadok,* 1985, p. 166). Как отмечается в TCL XIII 225, киликийцы съели в качестве своих рационов 300 л ячменя (ни дата, ни количество работников и продолжительность их труда в тексте не указаны). Следующие документы также происходят из архива Эанны. В тексте от 550 г. упоминается ячмень как пища киликийцев (YOS XIX 162). Из другого документа видно, что поле, принадлежавшее Иштар Урукской, главной богине Эанны, граничило, в частности, с «полем киликийцев» (*Spar,* p. 140, No.8; дата составления – 521 г.). В одном тексте из того же архива говорится об изготовлении одежды киликийского образца (YOS XIX 273). О выдачах киликийцам продовольствия ячменем говорится и в документах из храма Эбаббара в Сиппаре. В частности, они упоминаются вместе с волами и овцами, а также с некоторыми ремесленниками как потребители продовольствия (Nbn 546; см. также Nbn 357, 662). Некоторый интерес представляет также CT LVI 450, где говорится о выдаче в 554 г. 10 мин (около 5 кг) шерсти для изготовления «одежды для киликийцев». Представители этого народа упоминаются и среди чужеземцев, которые были поселены в окрестностях Сиппара с обязательством платить храмовую десятину (см.: AOAT

254, p. 26). В том же регионе находилось также «поселение (âlu) киликийцев (AOAT 254, p. 42). Упоминания этого этноса можно встретить и в частноправовых документах. Например, в документе о разделе имущества семьи предпринимателей Эгиби в Вавилоне говорится об одном киликийце и «его жене киликийке» (Dar 379: 47).

Аллювиальная почва Месопотамии не содержит никаких металлов и поэтому их приходилось приобретать в других странах. В частности, основным (если не единственным) источником для покупки железа была Малая Азия. В вавилонских хозяйственных текстах часто упоминается железо из Киликии (см.: *Joannès*, pp. 263–264). Например, в 616 г. в храм Эанна в Уруке было доставлено 27 мин. (13,5 кг) железа для изготовления различных орудий (см. GCCI II 53). В другом документе из того же архива, составленном в 555 г., упоминаются 12 мин. железа из Киликии, которые были переданы «для работы» в распоряжение кузнеца по имени Ибни-Иннин (*Spar,* p. 48, No 4). В YOS VI 210 железо из Киликии упоминается среди разных товаров приобретенных за рубежом для Эанны.. YOS XIX 209 является распиской в получении 5 сиклей серебра в качестве цены за 15 мин. железа из «страны Киликия». Другими словами, серебро стоили в 178.5 раз дороже железа. В 616 г. в том же храме один кузнец получил для изготовления какого-то орудия 27 мин. железа (GCCI II 53). Подобным же образом в храме Эбаббар в городе Сиппар также изготовляли орудия из железа, доставленного из Киликии. Например, в 555 г. 8,5 мин. этого металла было выдано двум кузнецам для изготовления 5 лопат (CT LV 244; см. также CT LVI 386). В другом документе от 545 г. оттуда же упоминается разное количество (в том числе, в одном случае до 3 талантов, т. е. более 900 кг) киликийского железа для изготовления лопат и других орудий (Nbn 571; там же говорится и о других количествах этого же металла). Из YOS VI 210 видно, что железо из Киликии было и предметом торговли в Месопотамии (см.: *Joannès*, p. 264).

После падения Вавилонии Киликия в составе Персидской державы занимала довольно привилегированное положение и считалась автономным государством под властью своих местных царей. Однако она не была освобождена от налогов и военной повинности. По сообщению Геродота (3.90), Киликия ежегодно платила в качестве подати 500 талантов серебра, а также обязана была доставлять 360 белых лошадей и выделять 140 талантов серебра для содержания конницы, расквартированной в этой стране (см.: *Herzfeld*, p. 309). На рельефах Персеполя киликийцы изображены несущими посуду, шкуры, одежду и ведущими баранов (см.: *Walser*, p. 30).

Литература

Albright W. F. Cilicia and Babylonia under the Chaldean Kings // BASOR 120 (1950). P. 22–25.

Cook J. M. The Persian Empire. L., 1983.

Eilers W. Kleinasiatisches // ZDMG 94, 1936. P. 189–233.

Goetze A. Cilicians // JCS 16 (1962). P. 48–58.

Grayson A. K. 1975. Assyrian and Babylonian Chronicles. New York.

Grayson A. K. 1991. Assyria: Sennacherib and Esarhaddon // The Cambridge Ancient History. Vo.III/2. Cambridge.

Hawkins J. D. Hilakku // RlA IV/6-7, 1975. P. 402–403.

Herzfeld E. The Persian Empire. Wiesbaden. 1968.

Joannès F. L'Asie Mineure méridionale d'après la documentation cunéiforme d'époque Néobabylonienne // Anatola Antiqua I. Paris, 1991. P. 261–266.

Lambert W. G. Nebuchadnezzar, King of Justice // Iraq. 27 (1965). P. 1–11.

Schaudig H. Die Inschriften Nabonidus von Babylon und Kyros' des Grossen // AOAT 256. Münster, 2001.

Spar I. Studies in Neo-Babylonian Economic and Legal Texts. Minnesota. 1972 (Рукопись диссертации).

Walser G. Persepolis. Tübingen, 1980.

Weidner E. F. Jojachin, König von Juda, in babylonischen Keilschrifttexten // Mélanges syriens offerts a Monsieur René Dussaud. T. II. Paris, 1939. P. 923–935.

Wiseman D. J. Chronicles of Chaldaen Kings (626–556 B. C.) in the British Museum. L., 1961.

Zadok R. Geographical Names according to New-and Late-Babylonian Texts // Répertoire géographique des texts cuneiformes. Bd. 8. Wiesbaden, 1985.

Н. М. Виноградова, Ю. Г. Кутимов, М. Тойфер

ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ КИШЛАКА ГЕЛОТ НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА

На территории Южного Таджикистана до недавнего времени были открыты и раскопаны только памятники эпохи поздней бронзы. Однако отдельные случайные находки в музеях Дангары, Хульбука и Куляба свидетельствовали о том, что памятники раннего и среднего бронзового века могут быть здесь найдены (*Kaniuth et al.,* 2006, с. 201; *Виноградова и др.,* 2008, с. 162–165; *Vinogradova,* 2009) и это подтвердилось раскопками 2007 г. в Гелоте[1].

Кишлак Гелот находится в 6 км к северо-западу от г. Куляб и расположен на второй надпойменной террасе р. Яхсу. На адырных лёссовых холмах, примыкающих к кишлаку Гелот с северо-запада, было заложено 8 раскопов, условно названных как **Поселение** (раскопы 1, 2) и **Некрополь** (раскопы 1, 2, 3, 4, 5, 6) (рис. 1). Поселение относится к средневековому времени и датируется IX–XI вв. (*Виноградова, Кутимов, Ломбардо,* 2009). В настоящей статье мы рассматриваем только материалы Некрополя.

Некрополь

Раскоп 1 (8 × 15 м) разбит на холме на левой стороне дороги Гелот-Дарнайчи, примерно в 250 м от шоссе вверх по подъему в сторону заброшенного кишлака Зульмобод. Всего открыто шесть погребений (рис. 2), из них два захоронения содержат кости животных (погр. № 2, 3). Наблюдается следующая стратиграфия залегания почв: современный гумусный слой составляет около 30 см, затем следует древний гумусный горизонт (около 30–40 см) и лёссовые почвы: 0,9–1 м толщиной лёсс с журавчиками[2], далее – чистый лёсс. Захоронения находится на границе этих двух лёссовых горизонтов на глубине 1,4–1,8 м от поверхности холма (рис. 2: *2, 3*).

---

[1] Археологические исследования Южно-Таджикистанской археологической экспедиции осуществлялись при финансовой поддержке Исполнительного аппарата Президента республики Таджикистан и Немецкого археологического института. В настоящей статье публикуются результаты работ экспедиции в 2007 г. и весной 2008 г. Археологические материалы раскопок осенью 2008 г. еще не подготовлены к научной публикации и в настоящей статье будут только упомянуты.

[2] Журавчики – мелкие известниковые вкрапления.

Рис. 1. Аэрофотосъемка окрестностей кишлака Гелот.

Погребение № 1 открыто на глубине 1,4 м на краю оврага на месте нахождения в 2006 г. каменного «жезла».[1] Расчищен лишь череп взрослого человека[2] и небольшая каменная бусина из светло-зеленого камня – бирюзы (рис. 2: *б*).

Погребение № 2 найдено на той же самой глубине, что и предыдущее захоронение примерно на расстоянии 3-х метров к юго-западу. Погребальная яма не прослеживается. Расчищены ноги коровы и сосуд колоколовидной формы, очень напоминающий современную посуду для детей (рис. 2: *5*).

[1] До настоящего времени еще ни один «жезл» на памятниках, раскапывавшихся нашей экспедицией, не был найден *in situ.*

[2] Все антропологические исследования проведены зав. отделом антропологии Музея естественной истории г. Уфы А. И. Нечволодой.

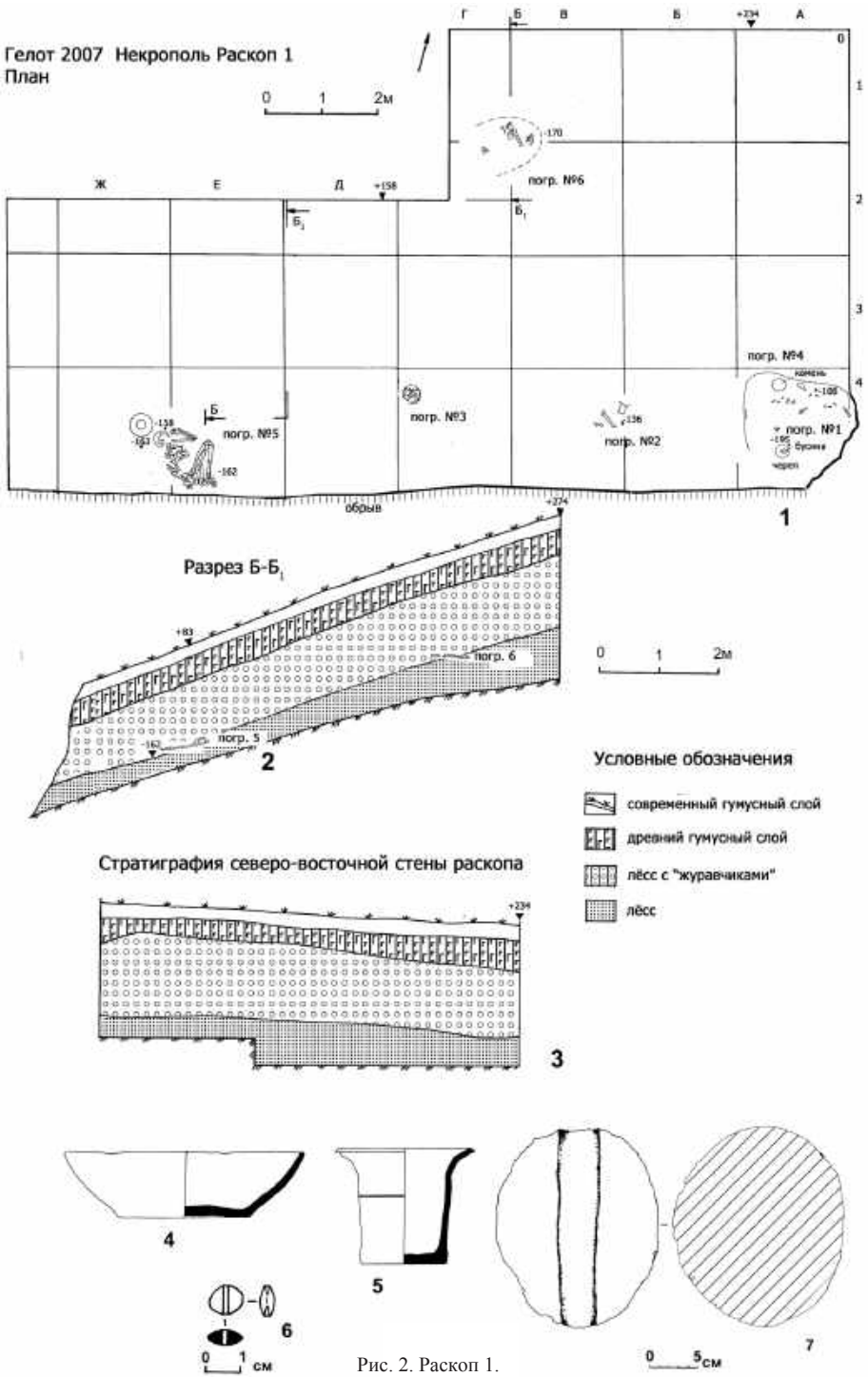


Рис. 2. Раскоп 1.

Погребение № 3 расчищено на краю оврага, расчищена часть черепной коробки человека или фрагменты панциря черепахи.

Погребение № 4 находится рядом с первым захоронением. На дне погребальной ямы открыты отдельные кости человека (череп, ноги). Здесь же найден круглый камень довольно больших размеров из мраморовидного известняка. На камне имеется углубленный поясок шириной около 4 мм (рис. 2: *7*). Конструкция погребальной ямы не прослеживается, читаются отдельные границы.

Погребение № 5. На глубине 1,7 м от поверхности раскопа открыто хорошо сохранившееся захоронение. Конструкция могильной ямы не прослеживается. Погребенный лежит в сильно скорченном положении на левом боку. Кисти рук находятся перед лицом, скелет обращен головой на запад. Рядом с головой находилась лепная миска (рис. 2: *4*). Скелет принадлежал взрослой женщине.

Погребение № 6 находится на расстоянии 5–6 м от других захоронений. Конструкция погребальной ямы не прослеживается. Расчищена нижняя часть скелета на левом боку, ноги лежат в сильно скорченном положении. Кроме того в погребальной камере имеются отдельные фрагменты костей черепа и рук. В заполнении ямы найден обломок гальки. В погребении № 6 похоронен мужчина зрелого возраста.

Исследования на раскопе 1 были прекращены из-за большого объема земляных работ и удаленности погребений друг от друга. По керамическому материалу могильник датируется эпохой поздней бронзы и относится к вахшской культуре. Из археологических предметов, найденных на раскопе 1, датирующими могут быть миска из погребения № 5, бусина и мраморовидный камень с углубленным пояском. Обратимся к рассмотрению этих находок. Миска – лепная, плохого обжига находит ближайшие аналогии на могильнике вахшской культуры Обкух Московского района (*Пьянкова,* 2003, с. 224, рис. 12). Для погребенных характерна, как и в Гелоте, сильная скорченность – пятки почти касаются таза (*Пьянкова,* 2003, с. 220, рис. 8, 2). Две другие находки – каменная «гиря» и бусина характерны для земледельческих памятников. Гиря овальной формы, размером 20 × 17 см с углубленным пояском шириной 4 см очень напоминает саразмские «грузила» (последние – более высокого качества. См.: *Исаков,* 1991, рис. 30, 13–16). Бусина из бирюзы биконической уплощенной формы, размером 0,8 × 0,8 см, толщиной – 0,4 см имеет широкий круг аналогий на земледельческих памятниках (Хронология, 2005, с. 391, тип IVБ; *Аскаров,* 1977, с. 75). Наиболее близкие параллели имеются в могильнике бешкентской культуры Ранний Тулхар. Это так называемые бусы чечевицеобразной формы (*Мандельштам,* 1968, с. 68, табл. XX: 3; XXI: 8, 10).

Раскоп 2 находится на склоне холма с левой стороны шоссе Гелот-Дарнайчи, примерно в 150 м от шоссе вверх по подъему в сторону заброшенного кишлака Зульмобод (рис. 1). На краю обрыва был заложен раскоп в виде прямоугольника размером 6 × 4 м.

В ходе раскопок, на глубине около 1 м от современной поверхности были вскрыты две ямы (рис. 3: *1, 2*). В заполнении ямы № 1 был обнаружен частично сохранившийся костяк годовалого барана, лежащего в анатомическом порядке, на левом боку, головой на юг. Костяк лежал не на дне ямы, а на подсыпке из земли. Каких-либо сопроводительных находок рядом с костями не обнаружено. Яма № 2 имеет в плане овальную форму (максимальный диаметр – 1,2 м; глубина – 0,8 м). В яму ведет специальный спуск – глиняный пандус. Все пространство ямы было заполнено пеплом синевато-фиолетового цвета, очень легкого по фактуре, без посторонних включений. В яме № 2 были обнаружены два фрагмента лепных сосудов со штампованным орнаментом в виде треугольника (рис. 3: *3*) или тонких косых линий (рис. 3: *4*). Оба фрагмента относятся к андроновской культуре.

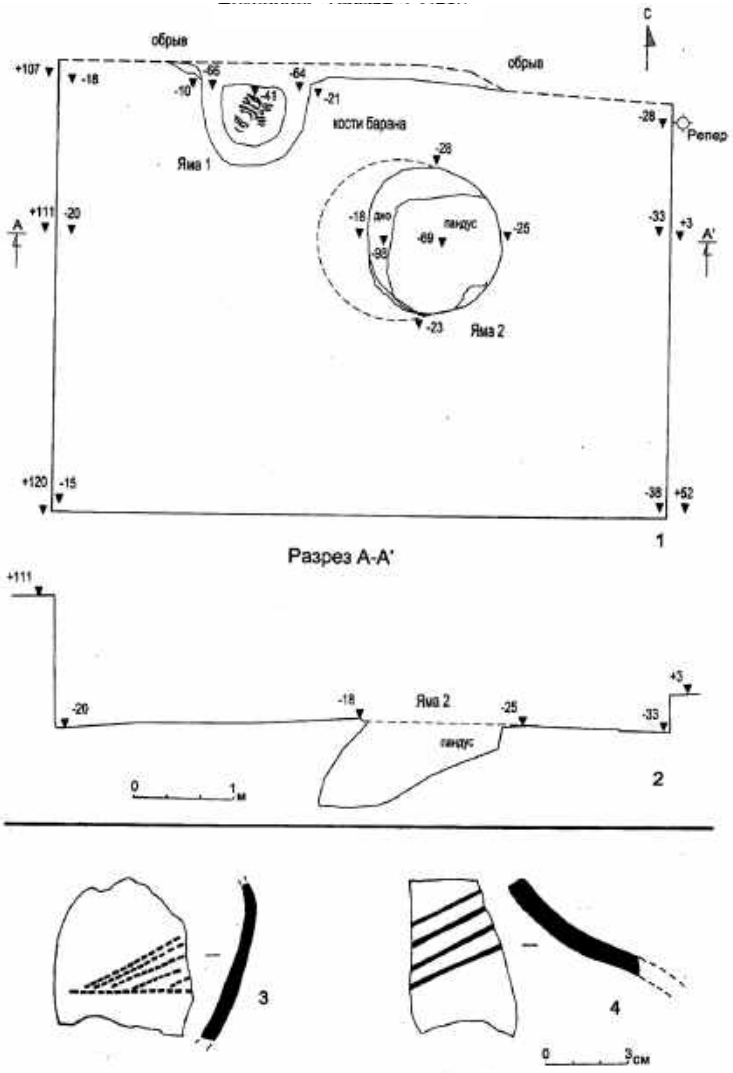


Рис. 3. Раскоп 2.

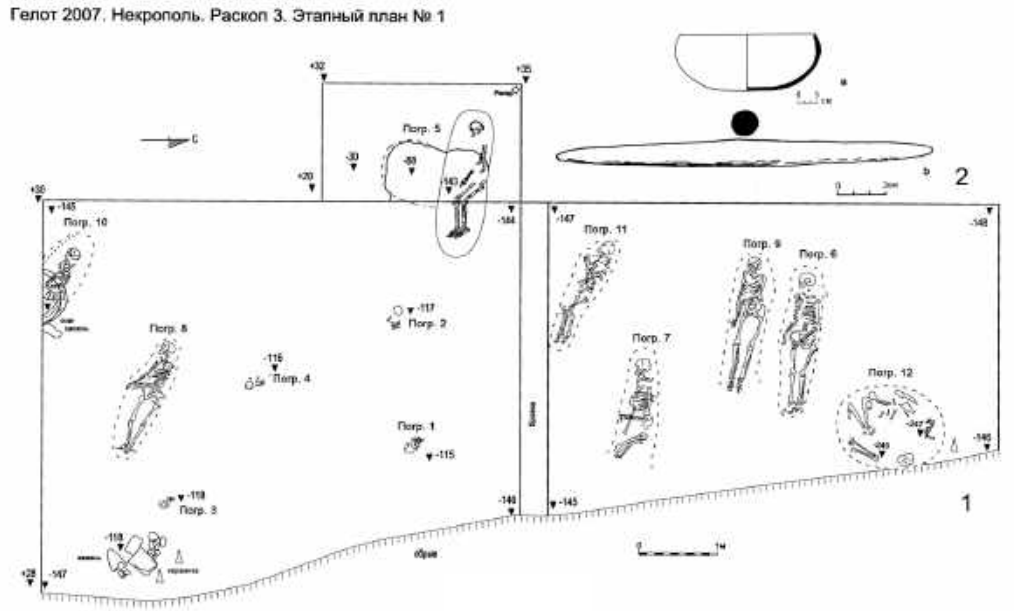


Рис. 4. Раскоп 3: *1* – план; *2a* – сосуд из погр. 12; *2b* – жезл из разрушенного погребения.

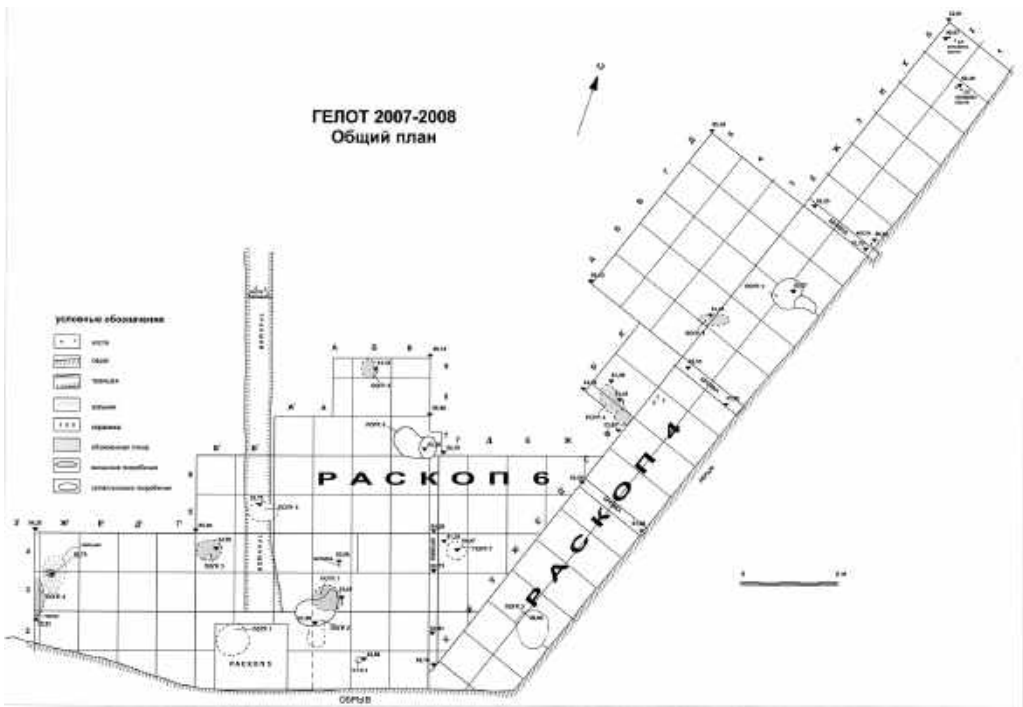


Рис. 5. Общий план раскопов 4, 5, 6.

Раскоп 3 находится на правой стороне шоссе Гелот-Дарнайчи, в местности называемой Мазари-Бунон, на небольшом останце (35 × 20 м) склона холма (рис. 1), разрушенного в ходе прокладки дороги и террасирования при строительстве жилых домов. На этом останце местными жителями было найдено два каменных жезла (рис. 4: *2b*)[1].

В верхней части был заложен раскоп в виде неполного прямоугольника с размерами сторон 5 × 12 × 3 м. Восточная сторона ограничена линией обрыва. Исследования показали, что на этом месте находилось древнее кладбище мусульманского времени (рис. 4). На глубине 1,45–1,5 м от уровня современной поверхности были обнаружены плохо сохранившиеся остатки четырех детских погребений (погр. № 1–4), а на глубине 1,75–1,8 м были вскрыты семь погребений взрослых (погр. № 5–11). Катакомбная конструкция погребения была зафиксирована в единственном случае при раскопках погребения № 5. Все могилы без инвентаря. Костяки, как правило, лежат на спине или с поворотом на правый бок, головой ориентированы на запад и лицом обращены на юг.

Значительно ниже уровня мусульманских погребений, на глубине 2,8 м от современной поверхности, было обнаружено единственное захоронение (погр. № 12) эпохи поздней бронзы. Конструкцию погребения проследить не удалось (рис. 4: *1*). Это было захоронение женщины в возрасте 35–40 лет. Костяк лежал на левом боку, в сильно скорченном положении, головой на север. Рядом с черепом лежали обломки керамической круговой чаши с лощением и красным ангобом по всей поверхности сосуда, как внешней, так и внутренней (рис. 4: *2a*). Некоторые аналогии по форме имеются в керамике вахшской культуры на земледельческих памятниках молалинского этапа (*Виноградова,* 2004, с. 131, рис. 9: *23*).

Основные работы экспедиции развернулись на раскопах 4, 5, 6. Они находятся на холме, выше раскопа 3, около «гаража» на левой стороне шоссе Гелот-Дарнайчи (рис. 1).

Раскоп 4 был изначально небольших размеров (10 × 4 м), но впоследствии его границы были заметно расширены и прирезаны новые участки. В настоящее время раскоп 4 достигает следующих размеров: длина – 42 м, ширина от 4 до 10 м (рис. 5). Общая площадь раскопа составляет 245 м^2. Здесь было открыто всего четыре погребения. Они находятся на значительном расстоянии друг от друга, иногда около 6 м. Прослеживается следующая стратиграфия залегания почв: современный гумусный слой составляет около 30 см, древний гумусный горизонт 30–40 см и лессовые почвы: 1–1,3 м толщиной лесс с *журавчиками*, далее – чистый лесс (рис. 7: *2*).

Погребение № 1 открыто на глубине 1,16 м от современной поверхности холма. Контуры погребальной ямы не прослеживаются; расчищены длинные кости нижних конечностей в анатомическом порядке (бедро, кости голени), согнутые под углом 30-45°. Погребение безынвентарное. Кости принадлежат мужчине зрелого возраста.

Погребение № 2 находится севернее захоронения 1 и на большей глубине – около двух метров. Оно подбойного типа (рис. 7). Входная яма прослеживается с глубины 1,2 м от дневной поверхности, овально-продолговатой формы, размером 1 × 0,6 м, глубиной 1,2 м. Погребальная камера вырыта в юго-западной стенке дромоса в сторону повышения склона холма. Камера размером 1,4 × 1,6 м, высота свода – 0,4 м. В ее южной части расчищены обломки большого красноангобированного гончарного сосуда с носиком. Рядом находились еще три круговых сосуда: красноангобированный кубок на ножке, кувшин и небольшой сосуд горшковидной формы (рис. 12: *1-4*). Последние два – с белым ангобом. В заполнении погребальной камеры найдены разрозненные кости барана, встречаются фрагменты красноглиняного сосуда очень плохого обжига (рис. 12: *5*). Скелет отсутству-

[1] Один из этих «жезлов» находится в экспозиции Кулябского историко-краеведческого музея.

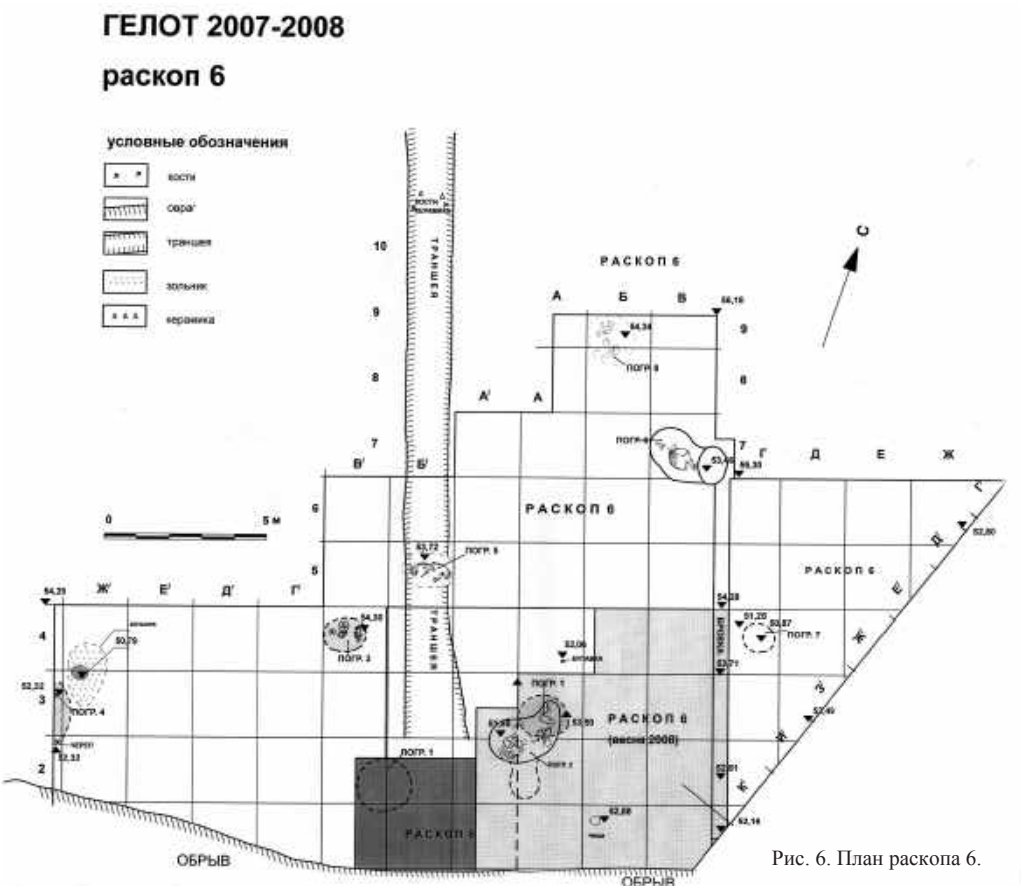


Рис. 6. План раскопа 6.

ет. Сосуды, найденные в погребении, относятся к земледельческой сапаллинской культуре.

В 20 м к югу-западу от погребения № 2 на раскопе 4 открыто еще одно захоронение № 3. На глубине 1,9 м от дневной поверхности расчищена погребальная камера размером 2 × 1,7 см. (рис. 5). Входная яма предположительно находилась в юго-восточной части погребения. В камере на небольшом возвышении, лежали отдельные части скелета: длинные кости нижних конечностей (согнуты под острым углом), тазовые кости, позвонки, ребра и нижняя челюсть с зубами. Погребенный лежал в скорченной позе, на левом боку, головой на северо-восток (рис. 8). Пол умершего определяется как женский, а возраст как *maturus*.

В северной части погребальной камеры открыто 4 круговых сосуда и фрагмент стенки кухонной посуды, используемый в виде тарелки (рис. 13: *1–5*). В одном из сосудов (№ 1) обнаружено пряслице из мраморовидного известняка (рис. 13: 6). Среди посуды различаются формы горшковидного сосуда с подкосом, двух кувшинов и глубокой чаши (рис. 13: *1–3, 5*). Красный ангоб покрывает всю внешнюю поверхность «чаши» и частично горшковидного сосуда, белый – кувшинов. Керамика, найденная в погребении, также характерна для земледельческой культуры Сапалли.

На раскопе 4, кроме описанных выше погребений, осенью 2008 г. было открыто еще одно захоронение (№ 4) вахшской культуры. На глубине 1,3–1,4 м от поверхности холма встречаются также отдельные сосуды (рис. 12: *6–8*; 14: *4*) и фрагменты керамики вахшского типа, кости животных.

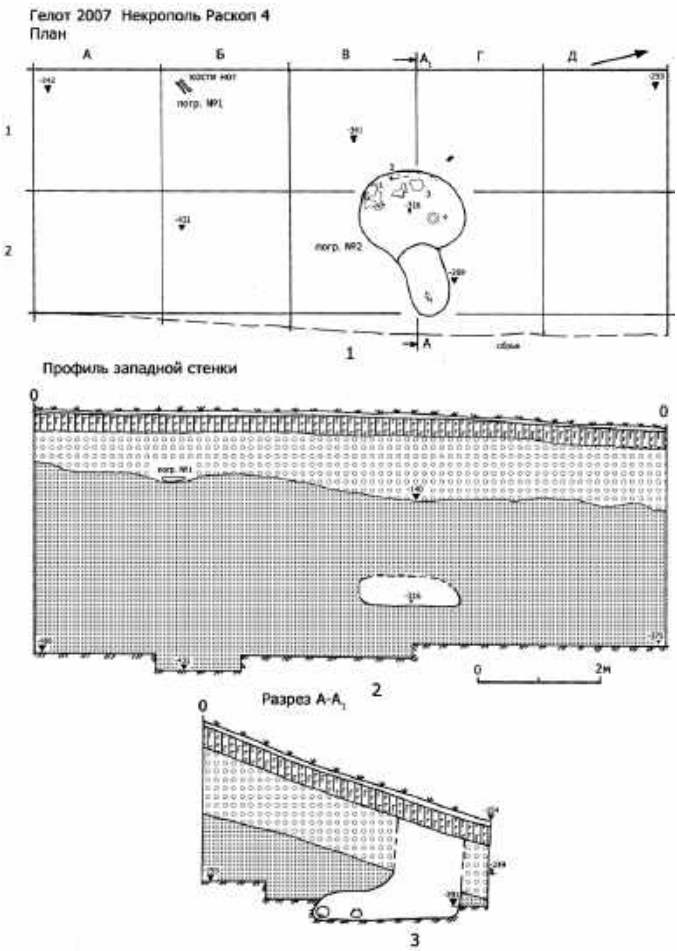


Рис. 7. Раскоп 4. Погр. 1, 2.

Раскоп 5 – небольшой шурф (2,7 × 1 м) был разбит рядом с раскопом 4 (рис. 6), где, по рассказам местных жителей, в обрыве было найдено большое количество посуды. Некоторые из этих сосудов в настоящее время экспонируются в школьном музее кишлака Гелот (рис. 17: *2, 5*; 18: *6*). Это – «чаша» и два больших горшковидных сосуда с подкосом. Вся посуда выполнена на кругу, на стенках сосудов сохранились следы красного ангоба. Керамика характерна для сапаллинской земледельческой культуры. В шурфе обнаружено несколько фрагментов черепа человека. По антропологическому определению – возраст погребенного – 25–35 лет.

Раскоп 6. Наиболее интересные результаты были получены на раскопе 6, который первоначально был заложен на склоне холма между раскопами 4 и 5. В дальнейшем раскоп 6 был заметно расширен (общая площадь составляет 272 м^2) и он соединен с раскопами 4 и 5 (рис. 5: *6*). Всего здесь раскопано восемь погребений. Исследования показали, что погребения № 1, 3, 4, 8 относятся к вахшской культуре, захоронения № 2, 5, 6, 7 – к земледельческой сапаллинской культуре. В данной статье нами будут рассмотрены погребения № 1, 2, 5, 6. Другие захоронения вахшской культуры, раскопанные осенью 2008 г., находятся в научной обработке и еще не подготовлены к печати.

Стратиграфия залегания почв на раскопе 6 следующая: современный гумусный слой составляет от 20 до 50 см, древний гумусный горизонт около 40 см и далее следуют лессовые почвы: лесс с журавчиками – около 0,8 м и далее – чистый лесс. На границе этих лессовых слоев, на глубине 1,1–1,3 м, встречаются погребения вахшской культуры. Ниже, на

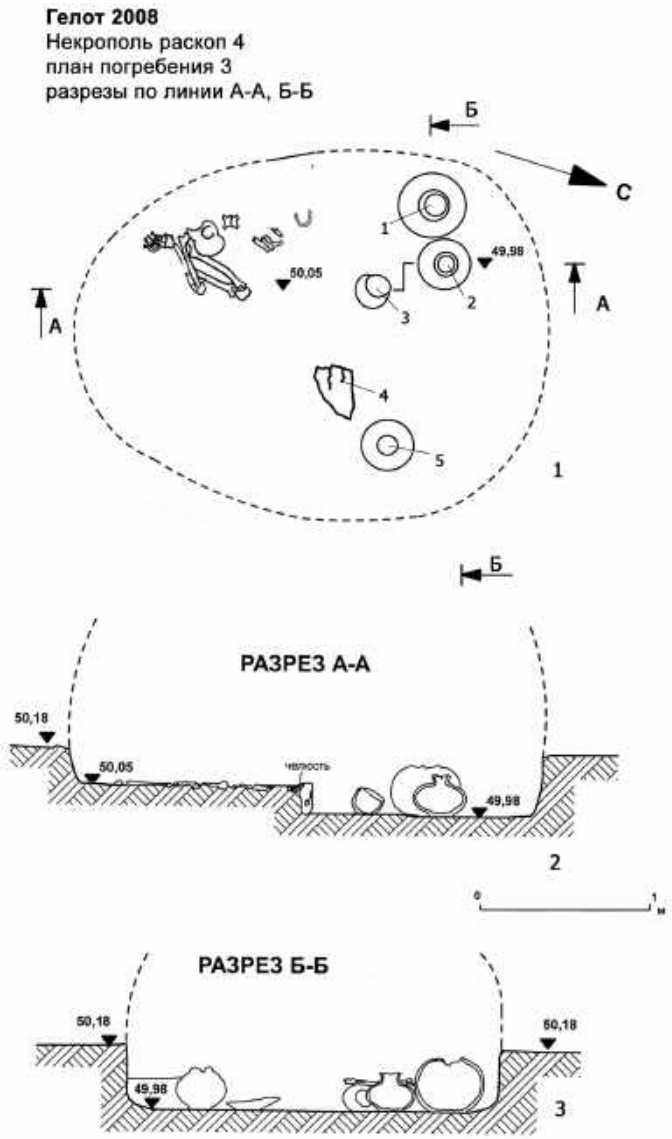


Рис. 8. Раскоп 4. Погр. 3.

глубинах 1,9–2,2 м, в слое чистого лесса находятся захоронения земледельческой сапаллинской культуры. В некоторых случаях последние перекрываются вахшскими погребениями. Так, могила № 1 находится над могилой № 2 (рис. 9).

Погребение № 1 открыто на глубине 1,1 м в квадрате А/3 (рис. 11: *1*). Контуры погребальной ямы не читаются. Здесь находились разрозненные останки костяка, судя по зубам, взрослого человека. Череп сильно фрагментирован, частично сохранилась нижняя челюсть с зубами, а также отдельные кости рук (локтевые) и ног. Предположительно скелет лежал на левом боку в скорченном положении. Пол не определяется из-за фрагментированности костей, возраст около 35–40 лет. Около головы погребенного стояло три сосуда: небольшой гончарный кубок[1] на поддоне, половина большого кругового сосуда кубковидной формы и лепной сосуд с ушками-налепами (рис. 14: *1–3*). Керамика с лощением «елочкой» (рис. 14: *3*). Посуда характерна для вахшской культуры. Ближайшие аналогии этим формам сосудов мы находим в Обкухе (*Пьянкова,* 2003, рис. 12: 10; 15: *8*) и в Ташгузоре (*Виноградова,* 2004, рис. 53: *1*)[2].

В тех же квадратах А/2-3, но на глубине 2,2 м в слое чистого лесса открыто погребение № 2[3]. При исследованиях весной 2008 г., когда раскоп 6 был всего 6х6 м, погре-

[1] Термин «кубок» название условное, у этой формы нет ножки. Отличается небольшими размерами и тонкими стенками сосуда. В археологической литературе эта форма часто определяется как горшок.

[2] Погребения вахшской культуры, найденные на раскопах 1, 3, 4 и 6 относятся, по всей видимости, к различным могильникам и хронологически различаются.

[3] Стратиграфически оно перекрывается захоронением № 1 вахшской культуры (рис. 9).

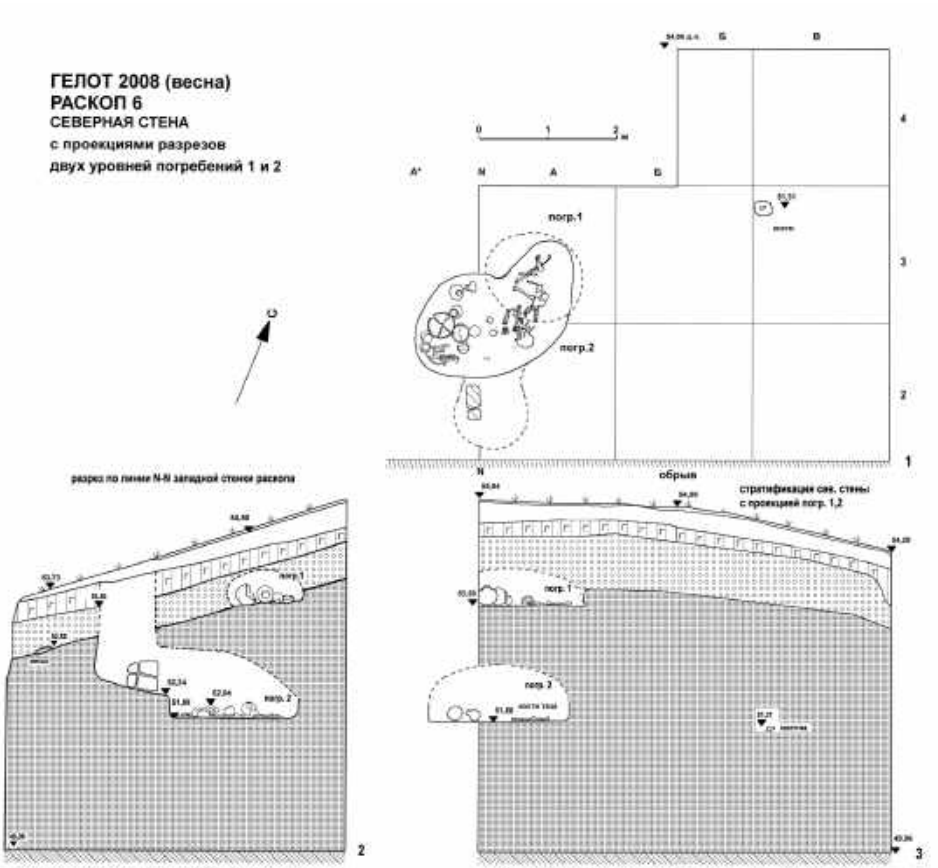


Рис. 9. Раскоп 6. Погр. 1, 2.

бение частично попало в борт западной стенки. Благодаря этому удалось зафиксировать часть входной ямы. Глубина дромоса около 1,2 м (рис. 9, 10). В разрезе входной ямы хорошо видны куски плотной глины с растительными примесями (кирпичи?). Размеры «кирпичей» 20 × 20 × 30 см, 12 × 12 × 20 см. Они закрывали вход в погребальную камеру. Заполнение входной ямы в верхней части – лесс с мелкими карбонатными примесями, в нижней части – светло-серый лесс. Погребальная камера вырыта в северо-восточной части входной ямы в сторону повышения склона (рис. 9: *2*). В камеру вела ступенька высотой около 40 см. Заполнение погребальной камеры светло-серый лесс, оно не отличается от окружающего грунта. Погребальная яма овально-вытянутой формы 2,6 × 1,6 м; высота свода предположительно – 0,9 м.

Камера как бы разделена на две половинки – на восточную и западную (рис. 10). В восточной части расчищен скелет в скорченной позиции, на левом боку, головой к входной камере. Скорченность средняя, руки лежат перед лицом. Головой погребенный ориентирован на юго-восток, лицом на запад. У пяточной кости правой ноги найдена мраморная фигурка человека (рис. 10: *6*). У лобной кости черепа расчищены три лазуритовые и одна золотая бусины (рис. 10: *7–10*). У левой руки скелета находилось зеркало округлой

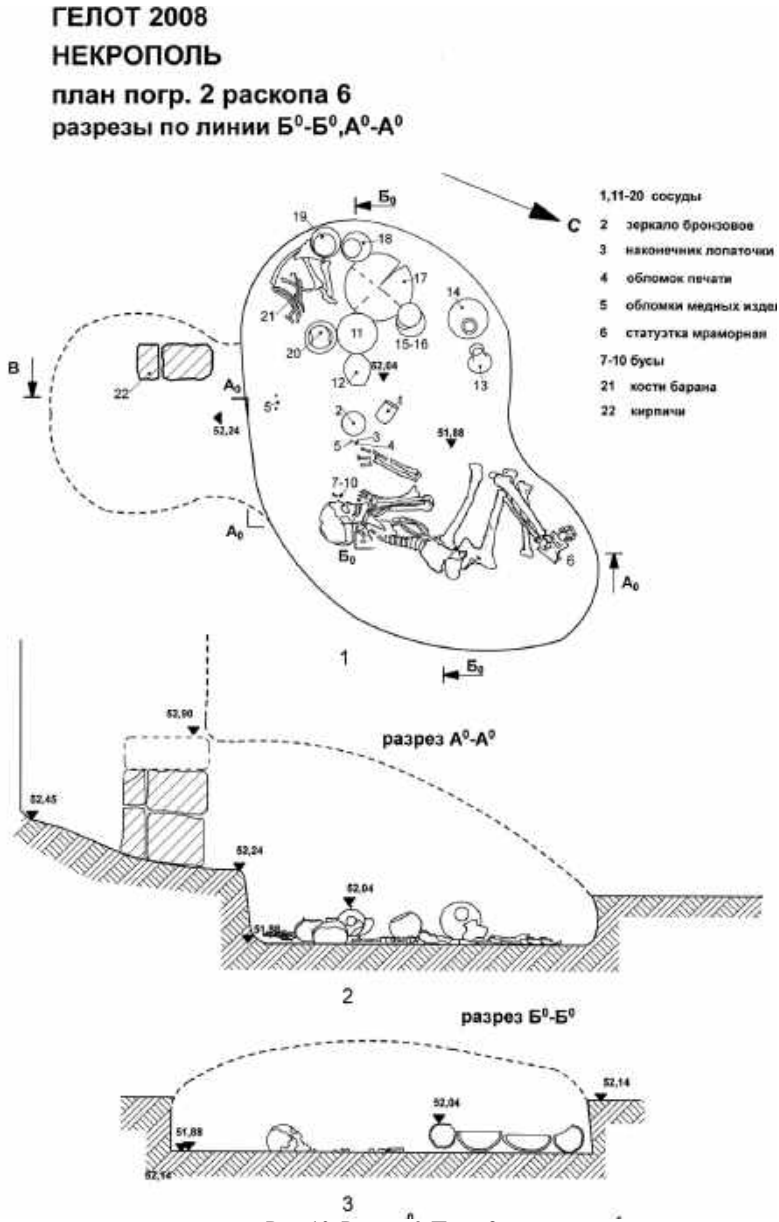


Рис. 10. Раскоп 6. Погр. 2.

формы без ручки (рис. 10: *2*). Рядом с зеркалом найдены фрагмент каменной печати (№ 4) и небольшие фрагменты бронзовых предметов (рис. 10: *3, 5*). Из этих обломков различима лишь форма «лопаточки». У входа в камеру также расчищены мелкие фрагменты бронзовых вещей (рис. 10: *5*). В западной части погребальной камеры было найдено 11 сосудов (рис. 10: № 1, 11–20). Вся посуда гончарная, большая часть покрыта темно-красным ангобом по всей поверхности сосуда. Различаются следующие формы погребальной посуды: миниатюрная ваза на ножке, большая чаша от вазы, два кувшина (один с высоким

горлом), четыре глубокие чаши, кубковидный сосуд и горшковидный сосуд с подкосом, глубокая миска (рис. 15). Слева от входной ямы в кучку были сложены кости барана (ребра, лопатка, ноги).

По определению антрополога А. И. Нечволода, череп умершего – долихокранный с выступающим подбородком. Сохранившийся лицевой скелет посмертно деформирован. Пол женский, возраст maturus I (35–40 лет).

В 1,5 м к северо-западу от погребения 2 на глубине 1,75 м от современной дневной поверхности расчищена бронзовая булавка с крюковидной головкой (рис. 19: *7*). Последняя найдена вне всякого погребального контекста и скорее всего, относится к сопровождающему инвентарю погребения № 2[1].

К земледельческим комплексам, связанных с богатым погребением № 2можно отнести еще два захоронения баранов (погр. № 5: *6*). Погребение № 5 открыто на глубине 1,9 м в 5 м от захоронения № 2 (рис. 11: *2*). Конструкцию погребальной ямы проследить не удалось. Скелет барана лежал в скорченном положении на правом боку, головой на запад. Погребальный инвентарь отсутствует.

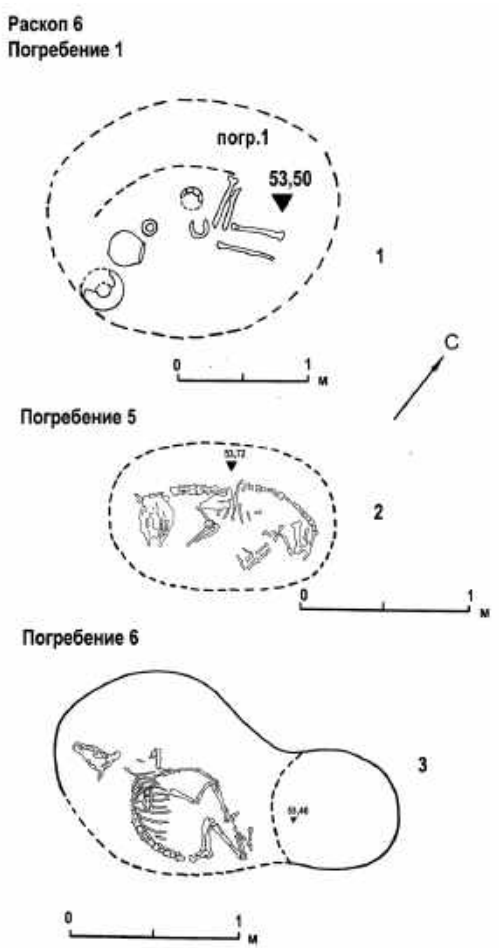


Рис. 11. Раскоп 6. *1* - погр. 1; *2* – погр. 5; *3* – погр. 6.

Другое захоронение № 6 найдено в 8 м к северу от погребения № 2, на глубине 2,2 м. В разрезе раскопа хорошо были видны контуры входной ямы с подбоем (рис. 11: *3*). Дромос прослеживается с древней дневной поверхности холма, заполнение лессом красноватого цвета с известняковыми включениями. Входная яма – овальной формы, размером 1,2 × 0,8 м, глубиной – 1,7 м. Вход в погребальную камеру с восточной стороны. Сама камера округло-овальной формы (1,7 × × 1,5 м), высота свода около 0,5 м. В камере головой на запад лежал скелет барана в скорченном положении на левом боку. Голова животного отделена и лежит в 12 см от туловища. Общая длина скелета без головы – 110 см. На ребрах животного лежал кусок глины. Погребение безынвентарное.

Особый интерес представляет кострище, оно расчищено на довольно значительном расстоянии (12,5 м) к западу от погребения 2 (рис. 6). Глубина залегания около 3 м от поверхности холма. Общая площадь вместе с зольником 4,6 × 2,4 м, слой золы и угля –

[1] В лессе хорошо видны норы, прорытые мелкими грызунами.

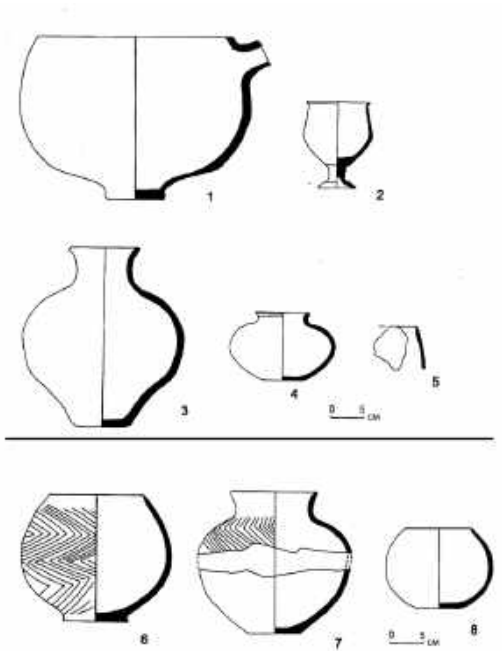


Рис. 12. Раскоп 4: *1–5* погр. 2;
6–7 – подъемный материал.

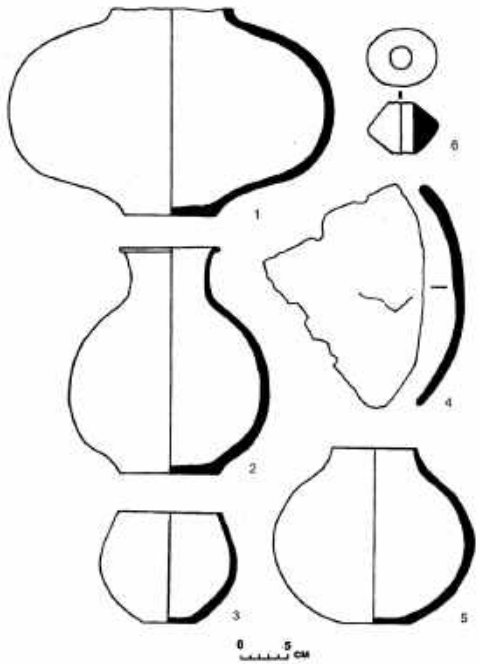


Рис. 13. Раскоп 4. Погр. 3.
Керамика и каменное прясло.

толщиной 2–3 см. В углях видны следы соломы или тростника. В эпицентре слой угля и золы составляет 4–5 см и под ними прослеживается пятно сильно обожженного лесса толщиной около 10 см. В центре поверх углей лежал камень (галька) размером 6 × 25 см и зуб барана. Камень и зуб не обгорели и их положили, скорее всего, когда кострище уже перестало функционировать.

Захоронения баранов стратиграфически соотносятся с глубиной залегания погребений земледельческой культуры и предположительно они могут быть отнесены к эпохе средней бронзы. Кострище может датироваться этим же временем или еще более раннее.

Далее обратимся к археологическому материалу погребений раскопов 4, 5 и 6, которые были описаны нами выше.

Керамика

Все сосуды из этих захоронений, за исключением одного фрагмента стенки сосуда (погр. 3, рис. 13: *4*), представлены столовой посудой. Керамика изготовлена на гончарном круге быстрого вращения из плотного теста без видимых примесей. На одном из сосудов на донце видна «вихревая розетка». Почти вся посуда по всей поверхности с внешней и внутренней стороны (чаши) покрыта темно-красным ангобом. Несколько сосудов – с белым ангобом. Поверхность большинства сосудов – нелощенная. Различаются следующие формы сосудов:

I. Чаши на ножке (вазы).

1. Эта форма представлена экземпляром из погребения № 2 раскопа 6 (рис. 16: *1*). В могиле находилась только верхняя часть сосуда – чаша (D[1] = 30,3 см; H – 7,5 см). Резервуар – конический, несколько уплощенный с загибающимся внутрь венчиком, оформленный рельефными поясками. На дне чаши видны следы прикрепления к ножке сосуда. Вся поверхность с внутренней и внешней стороны покрыта темно-красным ангобом (рис. 15: *1*).

По форме резервуара чаши ближайшие аналогии мы находим в вазах Дашлы 1 (*Francfort,* 1989, рис. 30: *21*). Рельефные пояски по краю чаши встречены на вазе из могильника Джаркутан 4с периода Джаркутан I (*Širinov, Baratov*, 1997, с. 69, рис. 2: *6*).

2. Второй тип вазы – чаши цилиндрической формы, на сплошной низкой ножке с дисковидным основанием. Края чаши выделены (рис. 16: *4*). Размеры: D = 10,4 см; H = 7,4 см; d = 4 см.

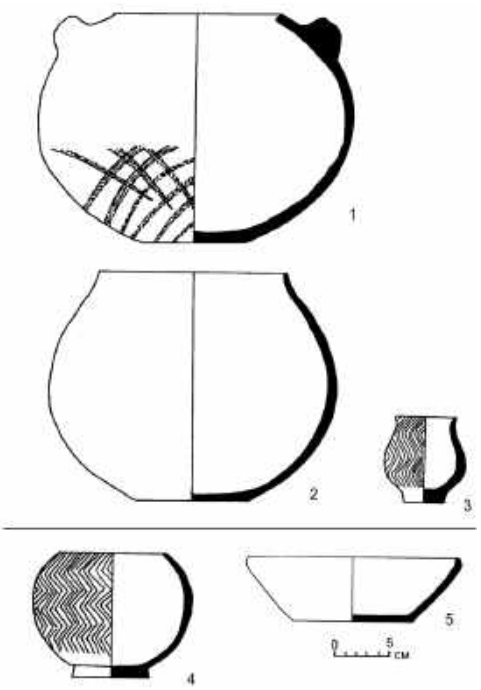


Рис. 14. Раскоп 6. Керамика: *1–3* погр. 1; *4* – подъемный материал; *5* – раскоп 6 (кв А/1).

Ближайшие параллели этой форме имеют место в Дашлы 3 (*Francfort,* 1989, рис. 33: 33, 45) и в Гонуре (*Sarianidi,* 2007, рис. 27). Исследователи типологически относят их в категорию конических или вазообразных чаш (*Аскаров,* 1977, с. 66).

II. Кубки и кубковидные сосуды

1. В погребении № 2 раскопа 4 найден кубок биконической формы, с отогнутым венчиком и на низкой ножке с кольцевым поддоном. Четко выражено ребро подкоса тулова (рис. 16: *3*). Размеры: D – 9,5 см; d осн. ножки – 5,5 см; H – 13 см.

Подобные формы кубков характерны для таких памятников, как Сапалли (*Аскаров,* 1977, с. 65, рис. 32, тип IV 1а), Дашлы 1 (*Francfort,* 1989, рис. 37: *18*).

2. К кубковидным сосудам[2] относится только один экземпляр из погребения 2 раскопа 6. Он грушевидной формы с ребром в нижней части сосуда (рис. 16: *1*). Размеры: D = 7,7 см; d = 4 см; H = 9,5 см.

Близкие аналогии этому типу керамики имеются в могильнике Джаркутан 4с периода Джаркутан I (*Širinov, Baratov,* 1997, с. 74, рис. 6: *12*) и в некрополях Гонура (*Sarianidi,* 2007, с. 61, рис. 49) и Дашлы 3 (*Francfort,* 1989, т. 1, с. 357, рис. 39: *33*).

III. Кувшины и графины

Выделяется два типа этой формы:

1) сосуд с высоким узким выделенным горлом, отогнутым наружу венчиком. Тулово – биконической формы с усеченной конической придонной частью (рис. 16: *6*). Размеры: D = 10,5 см; d = 8,5 см; H = 26,8 см.

[1] D – диаметр венчика; d – диаметр дна; H – высота.

[2] Название условное, так как у формы нет ножки. Отличается небольшими размерами и тонкими стенками сосуда.

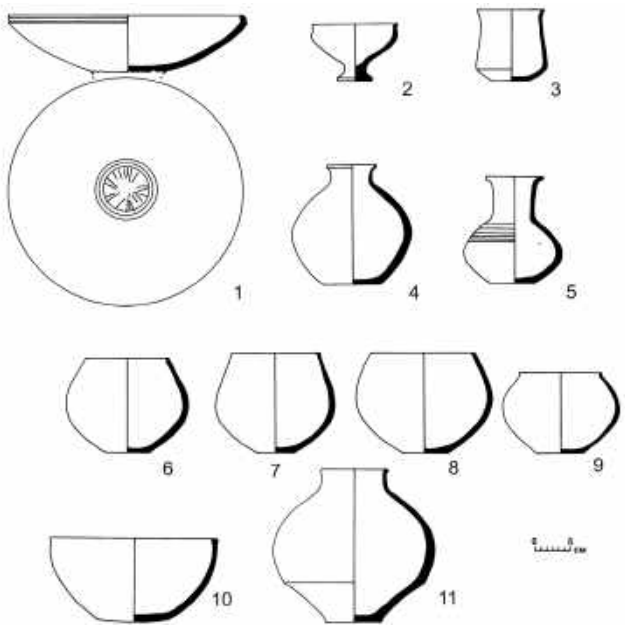


Рис. 15. Раскоп 6. Погр. 2. Керамика..

2) отличается от первого сферо-конической формой тулова. Размеры: 1 – D = 9 см; d = 11 см; H = 23 см (рис. 16: *8*); 2 – D = 6 см; d = 8 см; H = 15,5 см (рис. 16: *7*).

Некоторые параллели этой керамике мы находим в сапаллинской посуде (*Аскаров,* 1977, рис. 32, тип IX, 3, 3а), в некрополях Гонур (*Sarianidi,* 2007, рис. 80) и Алтын Депе периода поздней Намазга V (Хронология, стр. 373, рис. 16: *27, 29*).

3) графин с узким высоким горлом, отогнутым наружу венчиком и сферическим туловом. На плечиках сосуда имеются рельефные горизонтальные линии (D = 7 см; H = 14,5 см; d = 6 см; H горла = 6,5 см) (рис. 16: 5).

Аналогии этой форме сосуда имеют место в Алтын Депе периода поздней Намазга V (Хронология 2005, стр. 373, рис. 16: *31*).

IV. Глубокие чаши биконической формы с прямым или слегка отогнутым наружу венчиком (рис. 18). В погребениях имеется 6 сосудов следующих размеров: 1) D = 12,5 см; H = 13 см; d = 5,5 см (рис. 18: *1*); 2) D = 10 см; H = 12 см; d = 5 см (рис. 18: *2*); 3) D = 11 см; H = 13,5 см; d = 4,5 см (рис. 18: *3*); 4) D = 10 см; H = 11 см; d = 5,5 см (рис. 18: *4*); 5) D = 12 см; H = 12,5 см; d = 6,7 см (рис. 18: *5*); 6) D = 11 см; H = 12,3 см; d = 6,5 см (рис. 18: *6*).

Эта форма посуды часто встречается на памятниках Северного Афганистана Дашлы 1 и Дашлы 3 (*Сариниди,* 1976, с. 33, рис. 22: *21*; с. 68, рис. 43: *16*; *Francfort,* 1989, рис. 36: *17, 18*).

V. Миска глубокая с широким устьем, слегка отогнутым наружу венчиком и конической нижней частью (D = 21,5 см; d = 10 см; H = 11 см) (рис. 18: *7*).

Аналогии имеются с посудой сапаллинской культуры сапаллинского и джаркутанского этапов (*Аскаров,* 1977, рис. 32, тип X, 1, 1а), Дашлы 3 (*Francfort,* 1989, рис. 38: *45*).

VI. Сосуды со сливом представлены одним экземпляром из погребения 2 раскопа 4 (рис. 17: *1*). Форма открытая со сфероконическим туловом и подкосом в нижней части (D уст. = 29,5 см; H = 24,5 см; D дна = 8,8 см). Венчик срезан и загнут внутрь, на плечиках – короткий носик трубчатой формы (D = 2,6 см). Следы красного ангоба видны с внутренней и внешней стороны сосуда.

Наиболее близкие параллели этой форме посуды встречены в Сапаллитепа (*Аскаров,* 1973, с. 72, рис. 33: *3* – тип VIII), керамическом комплексе Келлели Маргианы (*Удеумурадов,* 1993, рис. 29, 38), и Алтын Депе (периода Алтын 1). Сосуды из Алтын Депе – котлы с валикообразным венчиком открыты в погребениях (Хронология, 2005, с. 370, рис. 14: *28, 29*). В одном из сосудов найдено захоронение младенца.

VII. Горшковидные сосуды. Различается несколько вариантов:

1) Сосуды сфероконической формы с подкосом в нижней части и слегка отогнутым наружу венчиком (рис. 17: *4, 5*). Один сосуд меньших размеров – D уст.= 11 см, H = 29 см; D дна = 7 см; другой – D уст. = 8,5 см, H = 20 см; D дна = 7 см; другой – D уст. = 11 см; H = 29 см; D дна = 11 см. Наибольший диаметр тулова почти равен высоте сосуда.

Сосуды этого варианта имеют широкий круг аналогий в посуде Сапаллитепа (*Аскаров,* 1973, с. 159, табл. 19: 8), Дашлы 1, 3 (*Сариниди,* 1976, рис. 17: *4*; 19: *6*; 33: *19;* 43: *1*; *Francfort,* 1989, рис. 41: *18, 19*), могильников Джаркутана – этапа Джаркутан I (*Аскаров, Абдуллаев,* 1983, стр. 17, тип II 1) керамического комплекса Келлели в Маргиане (*Удеумурадов,* 1993, рис. 29: *7*).

2) Сосуды с шаровидно вытянутым в ширину туловом, сильно отогнутым венчиком и подкосом в нижней части. Диаметр тулова значительно превышает высоту сосуда (рис. 17: *2, 3, 7*). Сосуды имеют следующие размеры: D уст. = 13 см, H = 22 см; D тул. = 31,7 см; D дна = 12 см (рис. 17: *3*); D уст. = 8 см, H = 10 см; D тул. = 16 см, D дна = 6 см (рис. 17: *2*); D уст. = 13 см, H = 23 см; D тул. = 33 см, D дна = 9 см (рис. 17: *7*).

Эта форма сосуда имеет широкий круг аналогий и характерна для Сапаллитепа (*Аскаров,* 1973, табл. 19: 6), Дашлы 3 (*Сариниди*, 1976, рис. 43: *7*; *Francfort,* 1989, рис. 42: *43*), Гонура (*Sarianidi,* 2007, с. 50, рис. 136), могильника Джаркутан этапа Джаркутан I (*Аскаров, Абдуллаев,* 1983, с. 17, тип V, 1, 2).

3) Горшковидный сосуд грушевидной формы со срезанным венчиком, загибающимся внутрь. Плечики слегка выделены (рис. 17: *6*). Размеры: D уст. = 9 см; H = 18,3 см; D дна = 6,5 см.

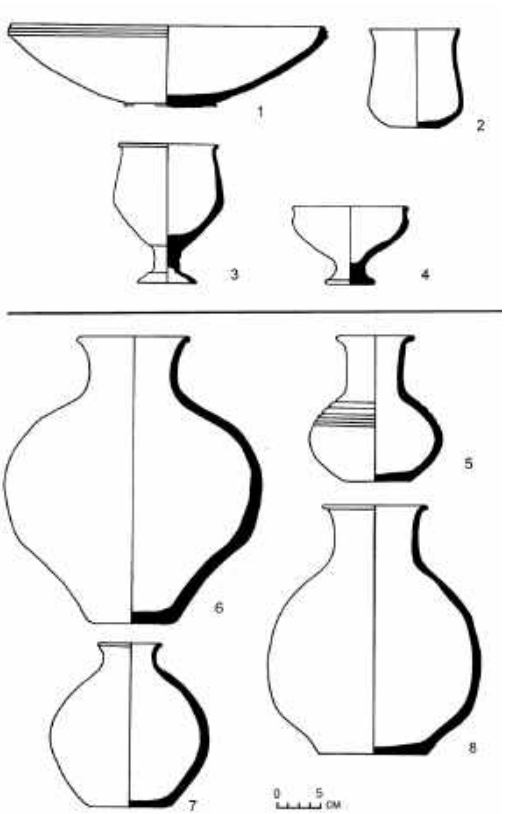


Рис. 16. Формы керамики из раскопа 4 (погр. 2, 3)..

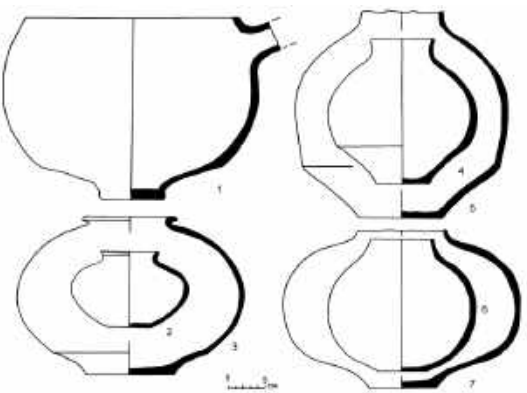


Рис. 17. Формы керамики из раскопа 5 (погр. 1)..

Подобный тип посуды встречается в Дашлы 3 (*Сариниди,* 1976, рис. 34: *21*), в Сапаллитепа (*Аскаров*, 1973, с. 72, тип VII, 4).

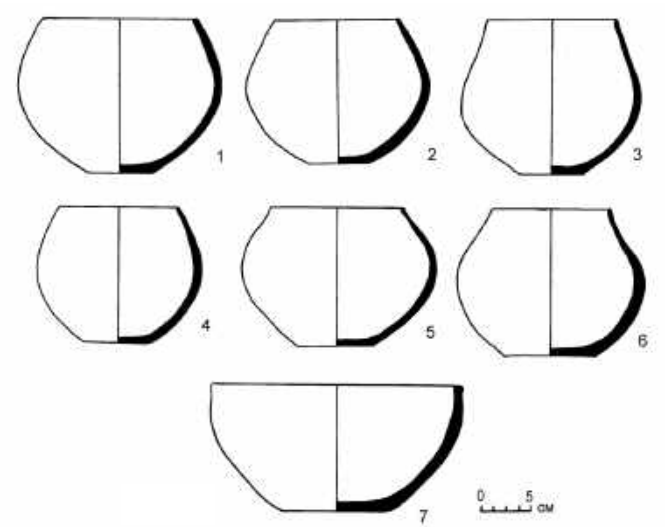


Рис. 18. Формы керамики из раскопа 6 (погр. 2).

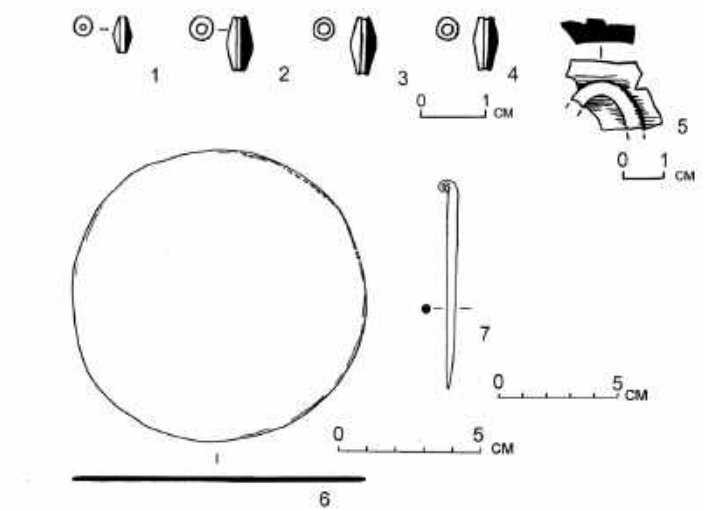


Рис. 19. Раскопы 4, 6. Металлические и каменные изделия.

Анализ керамики из земледельческих погребений могильника Гелот позволяет отнести эти материалы к сапалли-джаркутанскому этапу сапаллинской культуры. При этом некоторые формы, такие как кубки (тип 1), кувшины (тип 1–3), сосуды со сливом, могут быть сопоставимы с посудой из могильников Сапаллитепа, Дашлы 1, Алтын-Депе (слои Намазга V). Другие керамические формы – вазы (тип 1, 2), кубки (тип 2), чаши, горшковидные сосуды (тип 2) обнаруживают более близкие параллели со второй фазой сапаллинской культуры (Джаркутан I) и Дашлы 3.[1]

Основываясь на проведенном анализе можно предположить, что земледельческие захоронения могильника Гелот существовали на протяжении двух хронологических периодов сапаллинской культуры – Сапалли и Джаркутан I.

Далее обратимся к рассмотрению других материалов погребальных комплексов. Кроме керамики среди сопровождающего инвентаря встречаются бронзовые предметы (булавка, зеркало), бусы лазуритовые и одна золотая, фрагмент каменной печати, мраморная антропоморфная фигурка – все эти предметы из погребения № 2 раскопа 6. Только одно мраморное прясло найдено в захоронении № 3 раскопа 4.

[1] А.-П. Франкфор считает материалы Дашлы 1 более ранними по сравнению с Дашлы 3, и синхронизирует Дашлы 1 с сапаллинским этапом, а Дашлы 3 – с Джаркутан I (*Francfort,* 1989, с. 368).

Бронзовые предметы

1. Зеркало округлой плоской формы (10,2 × 10,2 см) без ручки найдено около левой кисти погребенной (рис. 19: *6*). Оно сильно коррозировано. По классификации К. Каниута зеркало относится к варианту А-2-2 (*Kaniuth*, 2006, с. 72). Зеркала этой формы встречаются в широком территориальном, хронологическом и культурном диапазоне, в женских погребениях в Сапаллитепа, Джаркутан, Намазга-Депе, Алтын-Депе, Саразм, Дашлы 3, Гонур, Тигровая Балка и т. д. (*Kaniuth,* 2006, с. 73).

2. Булавка с крюковидной круглой головкой расчищена рядом с захоронением № 2 раскопа 6 (рис. 19: *7*). Кончик булавки обломан. Длина стержня – 7,7 см, ширина около 4 мм. Булавка сильно коррозирована. Результаты эмиссионного спектрального анализа позволяют определить химический состав булавки (табл. 1).[1]

Таблица 1

Химический состав булавки, найденной рядом с погр. № 2
(по А. Н. Егорькову)

№ Оп	Категория	Лабор. шифр	Ag	As	Bi	Co	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Sn	Zn	Примечание
1	Булавка	83516	0,02	0,06	0,01	–	0,02	0,02	–	1,4	–	–	–	Cu_2O

Основной металл, из которого изготовлена булавка, – медь (Cu) с незначительной примесью свинца (Pb 1,4%). Булавка из Гелота по классификации К. Каниута относится к типу F5 (*Kaniuth,* 2006, с. 119). Ближайшие аналогии нашей булавке имеются в Джаркутане (*Širinov,* 2002, рис. 58/А, 9) и в Дашлы 1,3 (*Сариниди*,1977, с. 83, рис. 42). Ареал распространения этой формы булавки от долины Инда до юго-западного Ирана. Древнейшие образцы известны в Намазга II – Илгинли-Депе (*Kaniuth,* 2006, с. 119).

Еще один фрагмент бронзового предмета был исследован с помощью эмиссионного спектрального анализа (табл. 2).[2]

Таблица 2

Химический состав бронзового предмета
(по А. Ф. Дубровину)

Cu	Sn	Pb	Zn	Bi	Ag	Sb	As	Fe	Ni	Co	Fu
основа	0,2	1	–	0,004	0,05	0,04	0,8	0,05	0,04	0,003	0,06

В отличие от первого анализа в сплав меди кроме свинца (1%) добавлен мышьяк (As 0,8%). Сплавы меди с мышьяком и свинцом хорошо известны в сапаллинской культуре – Сапаллитепа, Джаркутан (*Kaniuth,* 2006, с. 107), в Северном Афганистане на дашлинских памятниках (*Сариниди*, 1977, с. 71), в Маргиане (*Терехова*, 1990, с. 184) и в Южной Туркмении – Алтын Депе (Хронология, 2005, с. 383).

---

[1] Анализ выполнен А. Н. Егорьковым в лаборатории археологической технологии ИИМК (Санкт-Петербург).

[2] Исследование проведено сотрудником Государственного научно-исследовательского Института реставрации (г. Москва) на приборе СТЭ-1.

Рис. 20. Раскоп 6, погр. 2. Каменная фигурка. Прорисовка.

Кроме зеркала у лобной кости черепа погребенной были расчищены три лазуритовые (рис. 19: *2–4*) и одна золотая бусина (рис. 19: *1*). Они удлиненные, бочковидной формы. Золотая бусина длиной 6 мм, D макс. – 3 мм, D отверстия – 1 мм. Лазуритовые бусы все одного размера – длиной 8 мм, D макс. – 4 мм, D отверстия – 1 мм.

Наиболее близкие аналогии бусам из Гелота имеются в Сапаллитепе, где была найдена золотая бусина и лазуритовые пронизки (*Аскаров,* 1977, с. 74, 75), в Дашлы 3 (*Сарианиди,* 1977, с. 104). Лазуритовая пронизка биконической формы с золотой оковкой в середине найдена в захоронении периода Гиссар IIB на Тепе Гиссар (*Schmidt,* 1937, с. 135, рис. 79, табл. XXXII: H2185). Лазуритовые бусы бочонковидной формы периода ранней и средней бронзы имеют широкий круг аналогий в Сузах и Центральной Азии – Шахри Сохта, Мундигак, Саразм, Алтын Депе (*Casanova,* 1994, с. 140), Гонур (*Sarianidi,* 2007, с. 115, рис. 207; с. 151, рис. 29).

В этом же захоронении рядом с зеркалом был найден фрагмент каменной печати или амулета из розового мрамора. Размеры сохранившейся части 1,8 × 2 см. На печати сохранилось рельефное орнаментальное изображение розетки скорее всего четырехлепестковой (?). Аналогии таким розеткам имеются среди металлических печатей в Алтын Депе (*Массон*, 1981, табл. XVI: 8), Шахри-Сохта (*Salvatori,* 2000, с. 115, рис. 11, 10 – тип 8) и на амулетах из серпантина в Маргиане (*Sarianidi,* 1986, с. 222).

Из других находок в погребениях следует упомянуть прясло из мраморовидного известняка в одном из сосудов в погребении № 3 раскопа 4 (рис. 13: *6*). Оно биконической формы, размеры: H – 2 см, D макс. – 2 см и D отверстия – 0,5 см. Такие каменные пряслица[1] часто находят в погребениях, иногда они орнаментированы кружочками или насечками: Сапаллитепа (*Аскаров,* 1973, рис. 47: *14*), Дашлы 3 (*Сарианиди,* 1977, рис. 54: *5*), Сумбар I (*Хлопин*, табл. LXII: 1–14), Алтын Депе в слое позднего Намазга V (Хронология, 2005, рис. 21: *58–62*), в Гонуре (*Сарианиди*, 2001, с. 159, рис. 6, 9).

[1] Часто их называют бусы-пряслица.

Самая замечательная находка была сделана в этом же богатом захоронении, где под пяточной костью правой ноги умершей была расчищена каменная фигурка человека (рис. 20, рис. 21 – см. цветную вклейку).[1] Статуэтка лежала на спине, лицом вверх. Она изображает фигуру мужчины (высота – 13,2 см, ширина плеч – 8,2 см). Нижняя часть фигурки вырезана в форме усеченного конуса. Срез – овальной формы (8 × 5,7 см) и он является основанием, на котором стоит статуэтка. Голова округлой формы (4 × 4 см) с выделенным прямым носом, подбородком и «улыбающимися» губами. Рот показан небольшим углублением и уголки губ как бы растянуты в улыбке. Глаза большие, миндалевидной формы. Пластически проработаны брови и глазное яблоко. Переход от головы к плечам плавный, шея короткая, плечи широкие. Руки сложены на поясе, большие пальцы слегка подняты вверх и соприкасаются между собой. Другие пальцы сжаты в кулак. Прекрасно моделированы уши и прическа. Лоб и уши не закрыты волосами. Ушная раковина и мочка эллипсовидной формы. Волосы прямые, прочерчены тонкими углубленными линиями. На концах они собраны в косу и свернуты валиком на затылке в пучок. Судя по изображению рук, фигурка изображает мужчину в молитвенной позе.

Находка статуэтки из погребения № 2 раскопа 6 в Гелоте, в отличие от керамического материала, не находит прямых аналогий в бактрийско-маргианских комплексах. По стилю исполнения эту фигуру можно сопоставить с месопотамской пластикой раннединастического времени – широкие плечи, широко расставленные руки, изображение лица с «улыбающимися губами» и большими глазами миндалевидной формы. Для сравнения могут быть приведены статуэтки, которые изображают фигуры в молитвенной позе («Beterstatuetten») – руки всегда сложены на груди или на поясе, смиренная поза выражает просьбу к богу. Многие фигурки с надписями (имя бога или жертвователя). Их находят среди храмовых предметов, в алтарях, под полами, в фундаментах святилища (*Braun-Holzinger,* 1997, с. 1). После смерти жертвователя фигурка могла почитаться как изображение предков (*Braun-Holzinger,* 1997, с. 19). Более ранние находки этих статуэток происходят из области Дияла, более поздние – из Мари. Статуэтка из Гелота по общей манере исполнения лица, рук может быть сравнима со скульптурой из Мари (*Braun-Holzinger,* 1997, табл. 24: a, d; табл. 30: a,b).

Особое внимание привлекает поза рук гелотской фигуры – пальцы сжаты в кулак, большие пальцы рук слегка подняты вверх и соприкасаются между собой. Подобное изображение рук мы находим в Месопотамии – в Уруке, где статуэтка изображает мужскую фигуру со сложенными в кулак руками, большие пальцы отогнуты вверх (*Basmachi,* 1975 – 1976, N 24).

Жесты рук, разные позиции ладони и пальцев имели определенную символику. А. Оппенхейм пишет, что в месопотамской религиозной практике молитвы сопровождались определенным ритуалом, который тщательно был написан для жреца и молящихся. Этот ритуал регламентировал движения и жестикуляцию, а также характер приношения, его время и место (*Оппенхейм*, 1990, с. 139). На гелотской статуэтке одежда не показана. По свидетельству Е. А. Браун-Хольцингер, т. н. «неодетые» фигуры могут быть только богами низшего ранга или изображать людей, приносящих жертву.

Статуэтка из Гелота, кроме выше приведенных параллелей с месопотамской скульптурой, имеет определенное сходство в бактрийской и маргианской пластике. Это тонкая моделировка глаз, ушной раковины и прически. В Гонуре, было найдено серебряное

[1] Спектральный анализ Центральной лаборатории Управления геологии г. Душанбе показал, что статуэтка изготовлена из мягкого белого камня – ангидрита (разновидность гипса). Этот камень встречается в неогеновых породах Афгано-Таджикской депрессии. Вес фигурки – 555 г.

навершие булавки (*Сарианиди,* 1995, с. 78, рис. 3). Оно изображает женщину, сидящую в кресле и одетую в каунакес. Лицо ее отлично от гелотской фигурки, но большое сходство в изображении больших миндалевидных глаз, ушных раковин эллипсовидной формы и прически. Волосы прочерчены тонкими углубленными линиями, уложены валиком на затылке. Эта прическа характерна для бактрийских составных статуэток (*Pottier,* 1984, Pl. XVI, 303). Интересны черты лица и прически фигурки, изображенной на печати из Северного Афганистана. Это богиня, сидящая на льве. Глаза большие, миндалевидные. Уголки губ растянуты в улыбке. Волосы собраны в пучок (*Winkelman,* 2004, с. 71; с. 190, рис. 5). С. Винкельман проводит аналогии с цилиндрическими печатями Некрополя А Шахдада и датирует их раннединастическим периодом до начала Аккадского времени.

Еще одна линия параллелей статуэтке из Гелота может быть проведена с Восточным Ираном, где в Шахдаде на Некрополе А были найдены глиняные статуи в молитвенной позе. Они довольно больших размеров от 45 до 97 см (*Hakemi, Sajjadi,* 1990, с. 147) и некоторые имеют портретное сходство с умершими. Характерны скульптуры, вылепленные под влиянием месопотамской пластики – широкие плечи, широко расставленные руки. Они сложены на груди или на поясе. Именно эти элементы в изображении торса статуй сближает гелотскую статуэтку с Шахдадом (*Hakemi,* 1997, N 1479, 3432, 3520).

Подводя итоги описанию статуэтки из Гелота мы склоняемся к мнению, что она была изготовлена в Бактрии мастерами из местного камня под влиянием месопотамских эталонов. Связи с Эламом и Месопотамией осуществлялись через Северный Афганистан и Восточный Иран.

Находка каменной статуэтки в Гелоте еще раз подтверждает мнение П. Амье об определенном воздействии Элама («второго Шумера») на сложение бактрийской цивилизации. «Граница сферы влияния Элама, сначала находившаяся в Восточном Иране, продвинулась до Бактрии» (*Amiet,* 1990, с. 135).

Археологические материалы Гелота из земледельческих захоронений раннесапаллинского периода позволяют датировать их временем поздней Намазга V – ранней Намазга VI и соотнести с культурами аккадской эпохи и III династии Ура в Месопотамии, с культурами эламской эпохи в Западном Иране, с Гиссаром IIIс в Северо-Восточном Иране и Шахдад (III период) в Юго-Восточном Иране. По радиоуглеродным датировкам это время с 2300 до 1600 г. до н. э. (*Франкфор,* 1997, с. 60).

Территория Южного Таджикистана всегда рассматривалась исследователями в качестве окраины по отношению к основным центрам существования цивилизации древневосточного типа. Материалы раскопок в Гелоте, особенно найденная в комплексе погребения раннесапаллинского времени каменная статуэтка, позволяют отказаться от устоявшихся в науке представлений. Новые материалы свидетельствуют о формировании здесь цивилизации, которая синтезирует в своей культуре месопотамо-эламские эталоны с местными бактрийскими традициями.

Литература

Аскаров А. А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973.

Аскаров А. А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977.

Аскаров А. А., Абдуллаев Б. Н. Джаркутан. Ташкент, 1983.

Виноградова Н. М. Могильник Тандырйул в Южном Таджикистане // Информационный бюллетень МАИКЦА. Вып. 18. М., 1991.

Виноградова Н. М. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. М., 2004.

Виноградова Н. М., Ранов В. А., Филимонова Т. Г. Памятники Кангурттута в Юго-Западном Таджикистане (эпоха неолита и бронзовый век). М., 2008.

Виноградова Н М., Кутимов Ю. Г., Ломбардо Д. Археологические исследования отряда по изучению памятников эпохи бронзы в 2007 г. в Хатлонской области Таджикистана // АРТ (в печати).

Исаков А. И. Саразм. Душанбе, 1991.

Мандельштам А. М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // МИА. № 145. Л., 1968.

Массон В. М. Алтын Депе. Л., 1981.

Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. М.,1990.

Пьянкова Л. Т. Раскопки погребений вахшской культуры в могильнике Обкух (Московский район) в 2002 г. // АРТ. Вып. XXVIII. Душанбе, 2003.

Сарианиди В. И. Исследование памятников Дашлинского оазиса // Древняя Бактрия. М., 1976.

Сарианиди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.

Сарианиди В. И. Составные статуэтки Бактрии и Маргианы // ВДИ. 1995. № 1. С. 75–79.

Сарианиди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М., 2001.

Терехова Н. Н. Обработка металлов в Древней Маргиане // Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Удеумурадов Б. Н. Алтын Депе и Маргиана: связи, хронология, происхождение. Ашхабад, 1993.

Франкфор А.-П. Печати Окса: разнообразие форм и изменяемость функций. ВДИ. 1997. № 4.

Хлопин И. Н. Юго–Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы. Л., 1983.

Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын Депе). СПб, 2005.

Amiet P. Elam and Bactria // G. Ligabue, S. Salvatori. Bactria – an ancient Oasis civilization from the sands of Afghanistan. Venise, 1990.

Braun-Holzinger E. A. Frühdynastische Beterstatuetten, Berlin., 1977.

Basmachi F. Treasures of the Iraq Museum. Baghdad., 1975–1976.

Casanova M. Lapis luzuli beads in Susa and Central Asia: a preliminary study // SAA 1993. Helsinki., 1994.

Francfort A.-H. Fouilles de Shortughai. Recherches sur l'Asie centrale protohistorique. Paris, 1989.

Hakemi A. Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age Center in Iran. Rome, 1997.

Hakemi A., Sajjadi S. Shahdad excavations in the context of the oases civilization Bactria // G. Ligabue, S. Salvatori (Eds.) Bactria – an ancient Oasis civilization from the sands of Afghanistan. Venedig, 1990.

Kaniuth Kai. Metallobjekte der Bronzezeit aus Nordbaktrien // AIT. Bd. 6. Mainz, 2006.

Kaniuth K., Teufer M., Vinogradova N. Neue bronzezeitliche Funde aus Südwest Tadžikistan // AMIT. Berlin, 2006.

Pottier M.-H. Matériel funéraire de la Bactriane Méridionale de l'age du bronze. P., 1984.

Salvatory S. Bactria and Margiana seals. A new assessment of their chronological position and typological survey // EW. Vol. 50. N 1–4. Rome, 2000.

Sarianidi V. Die Kunst des alten Afghanistan. Leipzig, 1986.

Sarianidi V. Necropolis of Gonur. Athens., 2007

Schmidt. Tepe Hissar excavation 1931. Museum J., XXIII/ 4. Phil., 1933.

Širinov N. S. Die frühurbane Kultur der Bronzezeit im Südlichen Mittelasien. Die vorgeschichtliche Siedlung Džarkutan // AMIT. 2002. Bd. 34. Berlin, 2002.

Širinov T., Baratov S. Bronzezeitliche Grabstätten aus der Nekropole Dzarkutan 4 C (Süd–Uzbekistan) // AMIT. Bd. 29. Berlin, 1997.

Vinogradova N. Will the monuments of the Middle Bronze Age be discovered on the territory of Southern Tadjikistan? // SAA 2007. Ravenna, 2009.

Winkilmann S. Seals of the oasis from the Ligabue Collection. Venice, 2004.

Woolley S. L. Ur excavations II: The Royal Cemetry, a report on the Predynastic and Sargonid graves between 1926 and 1931. L., 1934.

Г. С. Вртанесян

КАЛЕНДАРНО-ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ БАКТРИИ И МАРГИАНЫ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ

К началу XXI в. в распоряжении исследователей оказался внушительный объем материалов из поселений Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК). Открытию этой культуры и рождению самой аббревиатуры археологи обязаны В. И. Сарианиди. Полученные материалы позволяют понять и оценить вклад и влияние этих культур на развитие цивилизационных процессов на огромной территории от Малой Азии до Индии, включая Месопотамию и Элам. Сейчас трудно было бы представить себе контуры этой величественной общности без того вклада, который сделан и непрерывно пополняется неустанной деятельностью юбиляра В. И. Сарианиди. Автор считает приятным долгом пожелать Виктору Ивановичу долгих лет плодотворной жизни и принести ему свою глубокую благодарность за постоянное внимание и интерес к работе, которая без его живейшего участия и помощи не увидела бы свет.

Благодарю также д.и.н. П. М. Кожина за детальное и благожелательное обсуждение материала, позволившее автору яснее и глубже осмыслить возможности и границы применения тех методов реконструкции, которые дает анализ календарно-числовой символики.

В условиях отсутствия свидетельств о существовании развитой письменности в культурах БМАК, целесообразно обратиться к анализу символики, которая в совокупности с возможностями смежных дисциплин, могут оказаться полезными в реконструкции мифологической картины мира. К носителям подобной символики можно отнести печати, амулеты и некоторые образцы мелкой пластики (составные статуэтки) представленные в (*Сариниди*, 1983, 1998, 2002) и в монографиях (*Porada,* 1948; *Frankfort,* 1993; *Amiet,* 1986).

Числовые коды, выраженные в предметной символике, должны были бы стать близкими (если не одинаковыми) для различных социумов среднебронзового века, как показатель определенного уровня конвергентного развития древних цивилизаций. Их существенное различие в эпоху верхнего палеолита для различных регионов Евразии было достаточно убедительно показано ранее (*Фролов,* 1974, с. 94 сл.). Различные модели мифологического отражения действительности наиболее устойчиво отображаются, по-видимому, в различных числовых кодах, и при наличии таковых можно попытаться сопоставить по этому параметру культуры БМАК с другими археологическими культурами Западной Евразии.

Любое явление природы можно описать количественно, сначала примерно, а затем и точно, – в виде чисел. Наиболее фундаментальным и жизненно важным фактором выживания является более или менее эффективная адаптация к повторяемости природных процессов. Поэтому целесообразно соотносить наиболее часто употребляемые (то есть самые важные) числовые коды с проблемой счета и учета времени – календарем.

Нелишне кратко изложить основополагающие представления о структуре календарного мифа, основанного на астрометрии луны, солнца и связанных с ними системах счета (*Березкин,* 1982, с. 183). Автор определяет календарный миф как совокупность мифологических представлений о циклическом ходе времени в природе, соотнесенные с особенностями климата в период формирования или преобразования этих представлений.

Изменение фаз и особенностей движения луны являются, по-видимому, древнейшими календарными реперами (*Фролов,* 1988, с. 346). К различным половинам лунного месяца «светлой и темной» были приурочены разнообразные ритуалы и празднества (*Пандей,* 1990, с. 209, 228, 254; *Краснодембская,* 1982, с. 68–69). Кроме двоичного деления лунного месяца существовала и троичная, – по форме луны. На седьмые – восьмые сутки после новолуния и до его начала луна имеет форму полукруга (Луна, 1954, с. 469–472). С учетом дополнительных полутора – двух суток невидимости лунного серпа, этим датам соответствуют, в среднем, девятые – десятые сутки, если вести отсчет от начала или конца лунного цикла. Длительность сидерического (27,3) и синодического (29,53) месяцев, таким образом, удовлетворительно описывается троичным числовым кодом. Свидетельство этому лексические реликты типа «тридевятый», «тридесятый». Начало и конец полнолуния также выделялись особо. Начало связывалось обычно со вступлением мужчины (охотника, воина) в пору возмужания (Лунные мифы, 1987, с. 78–80), конец полнолуния – с началом угасания, старостью и в итого смертью (*Лусин,* 1987, с. 81). Другая особенность лунного цикла – это 1,5–2 суток невидимости лунного серпа перед новолунием, что составляет примерно 18–20 дней в году (в пересчете на солнечный годовой цикл) безлунного ночного неба (*Бикерман,* 1976, с. 15). Точное значение этой величины, по-видимому, определить невозможно, так как условия наблюдения редко дают такую возможность, поэтому с тьмой, смертью и небытием обычно ассоциируются числа 18 и 20 (Горгона, 1987, с. 316). Можно отметить, что «особые» дни лунного цикла (9, 15, 18, 27) удовлетворительно описываются троичной системой счета. Это обстоятельство было учтено, и древнейшие календари базировались на троичной системе исчисления (*Ларичев,* 1993, с. 39–45).

Фиксация особенностей годового хода солнца (солнцестояния и равноденствия) существенно расширила возможности календарной астрометрии и дала ощутимый импульс развития календаря. Об этом свидетельствуют результаты работ, отодвигающие хронологические границы освоения лунно-солярной астрометрии, как минимум, к верхнему палеолиту (*Ларичев,* 1993, с. 39–59; 1999, с. 187–199).

Простейшая техника солярной астрометрии основана на определении положения и длины тени отбрасываемой вертикальным предметом (Гномон, 1954. с. 556). Соединив точки, соответствующие концам тени гномона в дни солнцестояний, можно получить изображение креста. «Косым» он станет в том случае, если соотнести его с каким-либо направлением на плоскости, и будет расположен под углом к его сторонам. Это направление совпадает с силовыми линиями магнитного поля Земли, вдоль которых дважды в год происходили миграции животных и птиц – важнейших источников белка. Существование знака косой крест зафиксировано как минимум с верхнего палеолита. Древнейший (известный автору) артефакт подобного рода – это костяное изделие (конус) с Зарайской стоянки (17 тыс. л. н.) с круговым орнаментом из косых крестов (*Амирханов, Лев,* 2007, с. 31). Другой способ соединения исходных точек позволяет получить другую знаковую фигуру – «двойной топор» или «бабочка» (*Gimbutas,* 1974, p. 31, 282). Совмещая косой крест с осью, вдоль которой совершает свое годовое перемещение солнце, получаем еще один знак ✳, широко представленный в различных археологических культурах, как минимум с VI тыс. до н. э. (*Голан,* 1994, с. 371).

В древнейшей иконографии важное место занимает проблема визуализации категории времени и неразрывно связанного с ним пространства (*Топоров,* 2007, с. 29, 30; *Генон,* 1994, с. 164, 169; *Гуревич,* 1971, с. 189). Непрерывность и повторяемость, цикличность разворачивания временных событий наглядно представлялась двойной витой спиралью,

которая являлась, по-видимому, отражением определенных природных явлений, имеющих сезонную природу (например, спаривание змей) с привлечением комплекса представлений, связанных с весенней линькой. Другим примером может служить процесс скручивания двух нитей как аллегория двухчастного (свет/тьма, тепло/холод) времени. Боги времени («прошлого нижнего мира») Истустаяс и Папаяс в хеттской традиции, Жук и Жаманак в армянской, сматывали и разматывали веретено с двухцветной (белой и черной) нитью времени (Жук и Жаманак, 1987, с. 449).

Смена сезонов, дня и ночи, и неразрывная их связь и чередование уподоблялись взаимодействию «суставов – узлов» (*Топорова,* 1994, с. 32, 111). Стилизация этого витого «двойного жгута» дала в итоге волнистую, синусоидальную («узловую») линию, в виде кромки кругового поля, ограничивающего сюжетную композицию на печатях, амулетах и т. д. Этот технический прием сближает образцы сиро-хеттской и бактрийско-маргианской глиптики в первую очередь с техникой исполнения иконографических сюжетов известных из археологических культур Северной и Средней Месопотамии VI–V тыс. до н. э. – Халафа, Самарры (*Goff,* 1963, fig. 37, 59; *Dabba,* 1966, p. 28–42; *Богословская,* 1972, с. 7, 8), Армянского нагорья IV–II тыс. до н. э. – КУАК и наследующие ей культуры (*Кушнарева,* 1994, с. 96; *Ханзадян,* 1967, с. 87). Освоение техники определения дат наступления солнцестояний способствовало двоичной разбивке годового цикла. Однако методически простая двоичная разбивка пространства и времени, в итоге должна была разойтись с очевидным и устоявшимся фактом: число Лун, заключенных между двумя солнцестояниями, равнялось, примерно, шести. Ситуация дополнительно усложнялась тем, что астрономическое лето ощутимо продолжительнее зимы. Кроме того, продолжительность лунных месяцев не является целым числом, и только синодический месяц с большей или меньшей точностью вписывается в годовой цикл, составляя 6 двойных лун или сезонов.

Неполный календарный цикл – явление достаточно распространенное, сохранившееся вплоть до середины XX в. Известны так называемые, народные календари: памирские, северорусские, древнеславянские и т. д. (*Власов,* 1993, с. 103–105). Из них исключен промежуток времени, соответствующий наиболее холодным, темным (и в итоге безжизненным) месяцам года. По этому принципу построен, по-видимому, календарь Ромула (*Фламмарион,* 1875, с. 495). Автор полагает, что основным показателем «жизни» или «смерти» природы при формировании модели календарного мифа являлось состояние зеленого покрова, листьев и травы. Мифологические представления, связывающие луну и плодородие как процессы завершения некоего жизненного цикла, нашли свое выражение в графическом представлении и семантике «совершенного» числа «десять» (*Витрувий,* 2003, с. 53). Модель двухчастного годового цикла, основанного на климатических реалиях конца плейстоцена (*Хотинский,* 1978, с. 7–9) с аридным континентальным климатом, при наступлении более влажного и теплого климата с оптимумом в Атлантике должна была смениться. Увлажнение и потепление привели к появлению более или менее длительных межсезоний, сохранившихся в виде лексических реликтов: предлето, малое лето, предзимье и т. д. Эти новые климатические условия трансформировались в новую трехсезонную модель календарного мифа. Повышенная грозовая и ветровая активность атмосферы на стыках сезонов были зафиксированы в мифе (Ильин день, Громница и т. д.) со вполне естественными и существенными вариациями по регионам. Вовлечение солнца в практику древнейшей календаристики дало мощный импульс развитию солярных аспектов в одном из основополагающих мифов древности – близнечном.

Одним из наиболее важных практических следствий освоения солярной астрометрии стало определение величины соотношения между продолжительностью светового дня

летнего и зимнего солнцестояний. Значение его, равное полутора, соответствует сороковой широте (*Нейгебауэр*, 2003, с. 180). Назовем этот коэффициент близнечным и отметим, что он позволяет совместить двоично-парную и троичную системы счета, используемые в солнечном и лунном календарях. Проявление этого фактора можно, также, ожидать в тех случаях, когда соотношения размеров рукотворных сооружений, составляющих микрокосм (жилищ, храмов, дворцов, поселений и т. д.) выбирались с учетом близнечного коэффициента. Это соотношение служило, по-видимому, неким универсальным определяющим критерием при выборе размеров «малого» и «большого», «внутреннего» и «внешнего». Целесообразно привести ряд примеров, охватывающих хронологически период с VII тыс. до н. э. по I тыс н. э. Наиболее древний (известный автору) артефакт, в котором соотношение «большого к малому» равно 1,5 – каменный жертвенный алтарь из Чейюню – Тепеси (западная сторона нового «Дома черепов») с размерами 2,6 : 1,65 м, относящийся к докерамическому неолиту В (*Корниенко,* 2002, с. 97). Соотношение размеров сторон домов (числом более 500) городища Петрены, относящегося к поздней фазе культуры Кукутени, составляла 8:5 = 1,5 + 0,1 (*Гимбутас,* 2006, с. 117). Соотношение величин осей (большой и малой), равное 1,5 имело овальное в плане поселение Майданецкое (Триполье, 29–27 вв до н. э.), причем оно сохранилось при увеличении площади поселения (*Шмаглий, Видейко,* 2000, с. 27).

Основание Зиккурата в Уре имеет отношение длины 65 м и ширины 43 м, равное 1,5 (*Брунов,* 1937, с. 148). В поселениях Синташты отношение диаметров внешних (135–145 м) и внутренних (85–90 м) стен равно 1,5 (± 0,07). В Аркаиме число домов в «большом» внешнем круге составляло 40, в «малом» внутреннем 27; т. е. опять 1,5 (*Иванов,* 2004, с. 58–59). Не является исключением и Гонур. Если сопоставить длину соответствующих отрезков внешних и внутренних стен цитадели (*Sarianidi,* 2008, с. 282 план центральной части), то отношение их составляет также 1,5, и что особенно примечательно, это соотношение сохраняется и для случая, когда фигурой подобия является трапеция. Несмотря на обилие сооружений прямоугольной формы с отношением длины и ширины 2: 1, являющихся наиболее распространенными для северного средиземноморья (*Витрувий,* 2003, с. 71), встречаются также храмовые сооружения прямоугольного плана с соотношением длины и ширины, равным полутора, это храм Артемиды Лефкофриены в Магнесии на Меандре (ВИА, 1970, с. 344), языческий храм в Гарни (Армения) I–II вв н. э. (ВИА, с. 281). Соотношение длины внешних стен Телестериона к длине внутренних стен равно 78 : 54 м. (*Акимова,* 2007, с. 218). Это соотношение сохранялось и в пропорциях судов, например, погребальная каменная ладья (Скания, приход Валла-берг) имела высоту кормовой части 18 футов, носовой части 12 футов (*Анучин,* 1890, с. 82). Склепы-сагона известные в долине Зеравшана являются стрельчато-сводчатыми и имеют размеры в плане от 2,5 × 4 до 3 × 5 метров. Отношение сторон в них также равно 1,5, причем это относится хронологически к более ранним захоронениям. Более поздние сагона являются более продолговатыми (*Поляков, Черемных,* 1975, с. 264), характеризуясь соотношениям сторон близким к двум.

Что касается использования «близнечного коэффициента», равного 1,5, при номинации времени, то эти случаи связаны, главным образом, с календарным учетом. Это числа 20, 21, 40, 41, 30, 45. В их основе лежат продолжительности «светлой» и «темной» половинок лунного месяца (13 × 1,5 = 20, 14 × 1,5 = 21 и т. д.). Вполне ожидаемо использование этих базовых чисел в той или иной форме в изобразительных сюжетах, связанных с погребальной атрибутикой.

В иконографии календарного мифа, кроме отмеченных выше особенностей знаковой символики важная роль отведена троичному числовому коду, ввиду природной «разбив-

Рис 1. Графическое представление "совершенного числа"

ки» лунного месяца на три равные части. Одним из наглядных графических представлений идеи троичности является равносторонний треугольник. На рис. 1 показан один из возможных способов разбивки площади такого треугольника на равные части. Такое расположение «малых» треугольников внутри «большого» в виде пирамиды с основанием «четыре» выражает графически идею «совершенного числа» τελεον (*Витрувий*, 2003, с. 53). Геометрические орнаменты подобного типа на керамике известны еще с дохассунских времен (нач. VI тыс. до н. э.) (*Бадер,* 1989, с. 181). Противоположная направленность вершин большого и малых треугольников, позволяет считать их достаточно выразительным способом представления временного промежутка – года, разбитого на малые промежутки, – месяцы. В древней эпиграфике этот прием хорошо известен. В протошумерских текстах маленький круг – обозначение «десяти», большой круг – «сотни», т. е. изменение разряда числа графически выражается визуальным увеличением его размера (*Валькенштайн,* 1976, с. 585). То же самое имеет место и в счетной лексике, например в готском языке при обозначении десятичных чисел использовалась лексема – *hunda*. Затем она же легла в основу «сотни» – *hunda roda* (что означает буквально «считать десятками»). «Тысяча» первоначально обозначалась как *push-hundi* (жирная или «разбухшая сотня») (*Гухман,* 1963 с. 358, 367, 368). Таким образом, переход к следующему разряду может быть выражен или графически – увеличением размера знака, либо лексически.

С учетом сказанного, попытаемся разобраться в семантике двух изображений, относимых к самаррской археологической культуре (рис. 2) (*Goff,* 1963, fig. 31, 40). Сюжет, представленный на рис. 2а, достаточно широко известен. Но в результате многочисленных перепечаток он утратил наиболее важные детали, необходимые для понимания его назначения. На рисунке изображены животные (предположительно олени), тела которых представлены в виде равносторонних треугольников, сочлененных вершинами (основами). Последнее обстоятельство указывает на их неразрывную связь. Косые насечки, нанесенные по краю окружности, делят ее на 90 частей. Поскольку использован прием «противохода», то можно выделить четыре участка, содержащие 21, 22, 23 и 24 насечки. Этот набор чисел не случаен. Фактически здесь использован принцип представления «совершенного» числа, но с перенесением его на третий десяток. Разделение круга на 4 части, по-видимому, соответствует двоично-парной разбивке годового календарного цикла. Следовательно для автора изображения годовой цикл составлял 90 × 4 = 360 дней. Треугольные туловища оленей заполнены десятью подтреугольными фигурами, расположение их пирамидой выражает принцип построения «совершенного числа».

Из возможных вариантов истолкования рис. 2а автор предлагает пока остановиться на следующем. Это изображение двухгодичного календарного цикла, как фундаментальной основы календарного счета, в отличие, допустим, от трехгодичных палеолитических (*Ларичев,* 1993, с. 39–59; 1999, с. 187, 199). В ней также заложены возможности для интерполяции при использовании трех и четырех годичных календарных циклов. Аргументы в пользу этой трактовки практически идентичны изображению оленей. Число счетных отростков на рогах верхнего оленя (18 и 21) равно числу добавочных дней для

Рис 2а. Графическое представление двухгодичного календарного цикла.

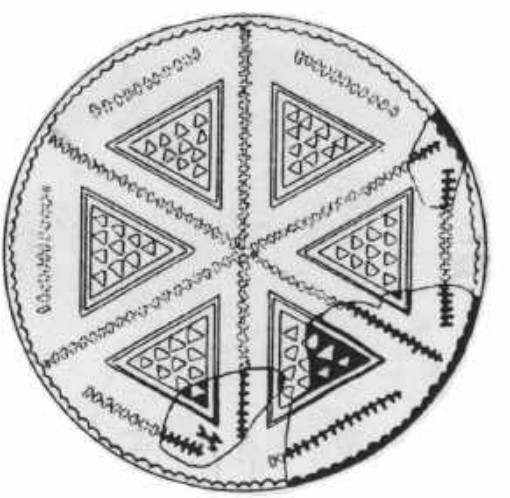


Рис 2б. Графическое представление шестилетнего календарного цикла.

трех и четырех годичных календарных циклов. В ведической астрономической традиции эти числа известны (*Володарский,* 1982, с. 163). Изображение на рис. 2б выполнено в стиле геометрического орнамента. Общий элемент для обоих композиций – треугольники. Больших треугольников во второй композиции шесть. Край кругового изображения на рис. 2б выполнен в виде волнистой линии (синусоида), число волн («узлов») равно 120. Все поле изображения рисунка 2б разделено на шесть частей радиальными отрезками, выполненными в стиле счетных палочек, также как и на рогах оленей (рис. 2а). Счетные «палочки», расположенные параллельно внешним сторонам треугольников содержат в сумме 82 насечки. Расшифровка семантики этого изображения находиться в начальной стадии, предварительно можно допускать, что на нем представлен шестилетний календарный цикл с возможностью его трансформации в 120-летний. На это указывает число 60 (6 × 10), выраженное через основной элемент композиции треугольник и число «волн» 120 (по окружности), соответствующий продолжительности «великого года» (*Лившиц,* 1976, с. 322).

Похожую шестичастную структуру имеет изображение на амулете из белого камня (*Sarianidi,* 1998, p. 237) из Бактрии, с той лишь разницей, что счетные элементы внутри больших треугольников представлены кружочками. Рисунок на обратной стороне амулета (1264.2) демонстрирует разделение «пространства – времени» по двоично-парной схеме. В центре композиции изображен квадрат к углам и сторонам которого примыкают вершинами восемь равнобедренных и подтреугольных фигур, внутри которых размещены пять кружочков. Отношение общего числа кружочков изображенных на сторонах 1 и 2 равно 1,5, что соответствует величине близнечного коэффициента. Амулет № 1259 из той же коллекции имеет хорошо сохранившуюся волнистую кромку («двойной жгут») с 36 выступами. В маргианской коллекции печатей есть экземпляр с 36 узлами по краю изображения (узор «двойной жгут») (*Сариниди,* 2002, с. 272). Число узлов и их расположение (круговая кромка) позволяет их считать счетными единицами представляющими год продолжительностью 360 дней, а каждый отдельный узел являет собой декаду.

Другие амулеты из бактрийской коллекции (*Sarianidi,* 1998, p. 237) также имеют календарно числовую символику, представляя, таким образом, различные варианты деления годового цикла (4, 6, 8 частей). Амулет № 1033 (Бактрия) имеет квадратную форму. Квадрат внутри разделен на 4 части двумя диагоналями. На первой стороне (№ 1033.1) диагонали выполнены в виде дорожек из насечек. Поскольку край амулета с одной стороны отбит определить точно число насечек на одной из диагоналей невозможно. На сохранившиеся диагонали центральная насечка является 14-й, поэтому из соображений симметрии можно полагать, что там изображено 27 насечек. Квадранты на стороне 1033.1 заполнены концентрическими кружочками по 3 в каждом. На обратной стороне амулета 1033.2 таких кружочков по 4. Их можно полагать символами 12 и 16 частного деления годового цикла. Символика двоично-парного деления усиливается зубцами выступами (заменитель синусоиды) на боковых сторонах амулета. Что касается печатей из Бактрии (*Sarianidi,* 1998, p. 81, 85, 87, 130, 131, 155), то в большинстве своем они скомпонованы по одному канону. В круговом поле, ограниченном «двойным жгутом» помещается центральный элемент композиции. Это антропоморфные фигуры, многочисленные изображения орлов и скорпионов, козлов, геометрическо-зооморфные (змееподобные) свастики или растительно-геометрические узоры.

Обстоятельный семантический анализ календарно числовой символики бактрийских и маргианских печатей в плане их генезиса и влияния на иконографию последовавших за ними археологических культур Средней Азии, Ирана и Северо-западной Индии, начиная с эпохи средней и поздней бронзы, тема необъятная. Поэтому учитывая рамки настоящей публикации, целесообразно ограничиться констатацией самого необходимого, касающегося основополагающих элементов иконографии календарного мифа. В первую очередь это узор «двойной жгут», который стилизовался, превратившись в менее трудоемкий для выполнения элемент волну-синусоиду, идущую по краю изображения. Счетные узлы на «двойном жгуте» тяготеют к овальной форме, неясно только: это дань реалиям (различной продолжительности зимы и лета, дня и ночи) или же отражение формы реальных «волн-узлов» образующихся при сплетении, например, шерстяных нитей. Число «узлов» на изображениях печатей, изменяется от 10, 13, 14, 17, 20 и 21 и соответствует характеристическим дням лунного цикла.

Уместно вспомнить, что число выступов на свинцовых навершиях посохов, найденным в могилах некрополя Гонура (*Сариниди,* 2001, с. 68), равно 18 на коническом (погребение № 500) и 20 на круглом (погребение № 510). Изображение орлов в центре печатей (*Sarianidi,* 1998, p. 81, 87) воспроизводят с той или иной степенью подобия «косой крест», соотнесенный с направлением Север-Юг. Направление концов свастик на печатях, в основном, по часовой стрелке (там же, p. 155). Узор «двойной жгут» имеется на верхней части косметических флаконов из женских погребений Гонура (*Сариниди,* 2001, с. 60, верх), медно-бронзовом навершии жезла (погребение № 555), т. е. на погребальных атрибутах, подчеркивающих высокий статус и непосредственную связь погребенных с «вечностью-временем».

На изображениях круглых печатей из некрополя Гонура, двойная круговая спираль трансформировалась в ободок, на которой нанесены косые «счетные» насечки. На печатях изображены персонажи, божественный статус которых предполагается сюжетом. Это «крылатая богиня, гордо восседающая верхом на пантере» (*Сариниди,* 2004, с. 327, рис. 5а]. На второй печати (*Сариниди,* 2004, с. 327, рис. 6) центральный персонаж орел-коршун «когтит пару змей». Есть некоторые основания включить эти изображения в се-

мантическое поле календарного мифа. Попробуем их изложить. На высокий ранг персонажей на печатях из некрополя Гонура указывает ритуальное одеяние – «каунакес». Применение этого термина в некоторой степени условно, так как образцы «шумерийского» каунакеса имеют несколько другой фасон. Их общей чертой является, главным образом, составной характер одеяния (*Mallwan,* 1965 p. 102). Более крупная фигура на печати слева имеет и более высокий статус, на это указывают дополнительно кресла и ожерелья. К числу таких признаков можно, пожалуй, отнести еще и «круговую» косу на затылке. По форме и расположению она отличается от таковых на женских терракотовых статуэтках, известных для культур круга Намазга-Анау: одна ниспадающая коса сзади, иногда в сочетании с волнистыми (синусоида) локонами на висках (*Массон,* 1989, с. 161). В нижней правой части расположилась другая женская фигурка несравненно меньших размеров. В верхней части изображения расположено существо мужского пола (указанием на это можно считать оголенный торс), подносящее чашу (?) главной богине – главному персонажу композиции. П. М. Кожин весьма сдержанно оценил перспективы сакрализации этого сюжета, склоняясь к утилитарной функции этих изделий (застежки-медальоны) не исключая, однако, возможности их использования в качестве личных печатей (*Кожин*, 2004, с. 89).

Однако это обстоятельство не снимает вопроса о характере изображения на печати: то ли это описание конкретного события, то ли мифологический сюжет? Стиль исполнения круговой рамки (наклон звеньев, волнообразность и число звеньев, равное 41) позволяют считать, что сюжет имеет связь с лунным календарным мифом. Возраст и состав персонажей позволяют допускать, что эта триада может быть местным переложением элевсинского мифа – Деметра, Кора, Триптолем. Подобный подход к проблеме семантики этого изображения может оказаться плодотворным, если удастся найти какие-либо хтонические или календарные мотивы на этих печатях. Одним из них можно полагать выраженную зерновидную форму элементов, из которых составлена круговая рамка печати (*Сариниди,* 2004, с. 327, рис. 5а).

Другая особенность – это стиль одеяния богинь – каунакеса. В бактрийско-маргианский вариант «каунакеса» облачены также женские составные фигурки, обнаруженные в женских аристократических погребениях Гонура (*Сариниди,* 2002). Немногочисленные находки таких статуэток были проанализированы Амье (*Amiet,* 1986, с. 158–161) и с учетом работы (*Сариниди,* 1995, с. 75–77) этот тип одежды можно полагать в той или иной степени характерным для женских погребений высокого ранга Юго-западного Ирана (Элам) и Туркменистана (БМАК) второй половины III тыс. – первой половины II тыс. до н.э. Структура и внешний вид самого одеяния в бактрийско-маргианском варианте напоминает автору змеиную чешую, каждый ряд элементов покрытия которой «накатывает» на следующий (схема укладки черепицы). На печати (*Сариниди,* 2004. с. 327, рис 5а) эти элементы чешуйки имеют подтреугольную форму, но без узора по очевидной причине технически сложного в исполнении. В такой же манере исполнено одеяние богини, сидящей на льве, и естественно изображение чешуи змей на печати (*Сариниди,* 2004. с. 327, рис. 6). Растительный узор просматривается лишь на платье женщины, сидящей на троне (серебряная булавка из Гонура, сделанная из печати) (*Сариниди,* 1999, с. 67). Это расходящийся вверху пучок радиальных линий. Размер изображения не позволяет оценить детали одеяния, поэтому обратимся к составным фигуркам.

П. Амье (*Amiet,* 1986, с. 158–161) предполагал варианты животного (баранье руно) или растительного (пальмовые листья) происхождение материала платья. При всей важ-

ности руна в обрядах, относящихся к календарному циклу (*Топоров,* 1983, с. 148), автор отдает пока предпочтение растительному варианту. При этом пальмовые листья не подходят к одеяниям бактрийско-маргианских составных статуэток в виду несоответствия их узора и формы (*Пальма,* 1978, с. 126).

Узоры на элементах платьев фигурок также существенно отличаются в зависимости от места их нахождения (*Sarianidi,* 2008, p. 312, 313). Рисунок (узор) на элементах одежды составных фигурок из Гонура (некрополь и Храм воды) больше напоминает колос зерновой культуры – двузернянки (Triticum dicocum). Сведений о культивируемых в БМАК видах зерновых пока нет. Есть только реконструкция «Богини растительности» из аристократической могилы Гонура (*Дубова,* 2004, с. 272). Попытаемся предварительно классифицировать типы элементов платьев на составных фигурках. По форме их можно определить как подтреугольные («языки») (Гонур, 3 экз.., Бактрия, 1 экз., Лувр (Бактрия) – 1 экз.) и подромбические (Гонур, 1 экз., Лувр – 1 экз). Тип узора «колосок» (Бактрия, 1 экз., Маргиана, 3 экз.) (*Sarianidi,* 2008, p. 312, 313). Узор на нижних элементах платья фигурки из Лувра (Бактрия) отличается от узора на верхних, поэтому ее классификация по этому признаку усложняется.

Несмотря на малое число этих фигурок как в целом, так и по отдельным регионам их нахождения можно отметить их общую особенность – все элементы узора как подтреугольные так и подромбические выполнены в стиле противохода. Подобный прием характерен для иконографической традиции календарного мифа, демонстрируя, таким образом, переход от одного отрезка времени к другому. Но для более предметного суждения о семантике узоров на одеяниях, необходимо иметь расширение артефактной базы. По мнению автора, истоки подобной «лоскутной» конструкции и формы платьев на составных фигурках из БМАК целесообразнее искать не только (и не столько!) в Эламе или Шумере, где лиственные породы в естественном состоянии являются экзотикой, а много севернее. Можно вспомнить в связи с этим одеяния Додолы, сделанное из прошитых листьев (*Зеленин,* 1937, с. 391), явной функцией которого является обеспечение беспрепятственного скатывания капель дождевой воды. О связи Додолы (Пеперуды) с богом грозы (см.: *Якобсон,* 1970, с. 2–4). Возвращаясь к двум серебряным печатям из Гонура, отметим что «двойной жгут» на ободке заменен счетными насечками. Изображения на печатях привлекает внимание также идентичностью исполнения змеиной чешуи и «каунакеса» богини «на льве». Это склоняет автора к мнению о:

1. Мифологическом сюжете на печатях (*Сариниди,* 2004, с. 327, рис. 6);

2. Функции бактрийско-маргианского «каунакеса» как некоего семантического соответствия змеиной шкуре, как символа возрождения, вечной жизни и указателя повторяемости природных процессов.

Число насечек на ободке печати, изображенной на рисунке 5а (*Сариниди,* 2004, с. 327) равное 82 (27,3 × 3), позволяет говорить о календарных мотивах в данном сюжете. Одеяние богини «На льве» и сложенные на коленях руки сближают ее с составными фигурками из Гонура, что может быть указанием на один и тот же мифологический источник их происхождения. Нелишне вспомнить, что истоки композиции «женщина со львами», хотя бы формально, можно возвести к иконографическому наследию Чатал-Гуюка, при этом семантика малоазийского сюжета является загадкой и по сей день. Хронологически более поздние, но ареально близкие и генетически связанные с упомянутыми изображениями на печатях сюжеты с богиней NANO на монетах Согда и Хорезма, имеют выраженную лунно-солярную атрибутику (*Дьяконова, Смирнова,* 1967, с. 77, 79). На них

представлена календарная символика, соотносимая с годовым лунным календарным циклом (354 дня). Промежуточные по времени (между этими двумя композициями) варианты хорошо известны – Иштар со львами, Горгона со львами и т. д. Не будем забывать, что Горгона имеет непосредственную связь с лунным календарным мифом (Горгона, 1987, с. 316).

Литература

Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб., 2007.

Амирханов Х. А., Лев С. Ю. Новые произведения палеолитического искусства с Зарайской стоянки // РА. 2007. № 1.

Анучин Д. Н. Сани, ладья и кони как принадлежность похоронного обряда. Археологическо-этнографические этюды. М., 1890.

Бадер Н. О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М., 1975.

Березкин Э. И. О зарождении естественнонаучных знаний в древнем Китае // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982.

Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1976.

Богословская Н. Ф. К проблеме сложения халафской культуры // СА. 1972, № 2.

Брунов Н. И. Очерки по истории архитектуры. Т. 1. М., 1937.

Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2003.

Власов В. Г. Формирование календаря славян // Календарь в культуре народов мира. М., 1993.

Володарский А. И. Отдельные отрасли науки в Древней Индии // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982.

Всемирная история архитектуры. Т. 2. М., 1970.

Генон Р. Царство количества и знамения времени. М., 1994.

Гимбутас М. Цивилизация Великой богини: Мир древней Европы. М., 2006.

Гномон // БСЭ. Т. 11. М., 1954.

Голан А. Миф и символ. Иерусалим, 1994.

Горгона. Т. 1. М., 1987.

Гуревич А. Я. Представление о времени в средневековой Европе // История и психология. М., 1971.

Гухман М. М. Сравнительная грамматика германских языков. Т. 3. М., 1963.

Дубова Н. А. Могильник и царский некрополь на берегах Большого бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации. М., 2004.

Дьяконова И. В., Смирнова О. И. К вопросу о культе Наны (Анахиты) в Согде // СА. 1967, № 7.

Жук и Жаманак // МНМ. Т. 1. М., 1987.

Зеленин Д. К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. М.-Л., 1937.

Иванов В. В. 20 лет спустя. О доводах в пользу расселения носителей индоевропейских диалектов из древнего Ближнего Востока // У истоков цивилизации. М., 2004.

Кожин П. М. Цивилизация, утонувшая в песках великой пустыни // У истоков цивилизации. М., 2004.

Корниенко Т. В. Храмы Северной Месопотамии в эпоху докерамического неолита // ВДИ. 2002. № 2.

Краснодембская Н. Г. Традиционное мировоззрение сингалов. М., 1982.

Кушнарева К. Х. Ранняя и средняя бронза Кавказа. Ч. 1. М., 1994.

Ларичев В. Е. Лунные и солнечные календари каменного века // Календарь в культуре народов мира. М., 1993.

Ларичев В. Е. Лунные и лунно-солнечные календари эпохи ашеля и мустье. // Археология Северо-Восточной Азии. Новосибирск, 1999.

Лившиц В. А. «Зороастрийский» календарь // Хронология древнего мира. М., 1976.

Луна // БСЭ. Т. 25. М., 1954.

Лунные мифы \\ МНМ. Т. 2. М., 1978.

Лусин // МНМ. Т. 2. М., 1987.

Массон В. М. Первые цивилизации. Л., 1989.

Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М., 2003.

Пальма // БСЭ. Т. 19. М., 1954.

Пандей Р. Б. Древние индийские домашние обряды. М., 1990.

Поляков С. П., Черемных А. И. Погребальные сооружения населения долины Зеравшана // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975.

Сариниди. В. И. Бактрия сквозь мглу веков. М., 1983.

Сариниди В. И. Составные статуэтки Бактрии и Маргианы // ВДИ. 1995, № 1.

Сариниди В. И. Сиро-хеттское происхождение бактрийско-маргианской глиптики // ВДИ. 1999. № 1.

Сариниди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М., 2001.

Сариниди. В. И. Страна Маргуш. Древневосточное царство в древней дельте реки Мургаб. Ашгабат, 2002.

Сариниди В. И. Социальный и политический строй древневосточного царства Маргуш // Памятники археологии и древнее искусство Евразии. М., 2004.

Топоров В. Н. Из хетто-лувийской этимологии. Теофорное имя KAMRUSEPPA // Этимология. М., 1983.

Топоров В. Н. Об одном классе символических текстов // Восток и Запад в балканской картине мира. М., 2007.

Топорова Т. В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 1994.

Фалькенштейн А. Архаические тексты из Урука // Тайны древних письмен. М., 1976.

Фламмарион. История неба. СПб., 1875.

Фролов Б. А. Числа в графике палеолита. Новосибирск, 1974.

Фролов Б. А. О чем рассказала Сибирская мадонна М., 1981.

Ханзадян Э. Культура Армянского нагорья в III тыс. до н. э. Ереван, 1967.

Хотинский Н. А. Палеогеографические основы датировки и периодизации неолита лесной зоны Европейской части СССР // КСИА. Вып. 153. 1978.

Шмаглий Н. М., Видейко М. Ю. Изучение поселка Трипольской культуры Майданецкое // Древние общества Юга Восточной Европы в эпоху палеометалла. СПб., 2000.

Якобсон Р. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии // Труды VII МКАЭН. Т. 5. М., 1970.

Amiet P. L.'Age des echanges inter Iraniens. P., 1986.

Dabbah T. Halaf Pottery // Sumer XXII. Baghdad, 1966.

Frankfort H.-P. The Central Asian dimension of the symbolic system in Bactria and Margiana. P., 1993.

Gimbutas M. The Gods and Goddess of Old Europe 7000-3500 BC. Myth, Legends and Cult Images. Barkly–Los Angeles, 1974.

Goff B. L. Symbols of Prehistoric Mesopotamia. NY-L., 1963.

Mallowan M. E. L. Mesopotamia and Iran. NY., 1965.

Porada E. Corpus of Near Eastern Seals on North American Collections. Wash., 1948.

Sarianidi. V. Myths of Ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets. M., 1998.

Sarianidi V. Zoroastrianizm: A new motherland of old religion. Thessaloniki, 2008.

РАЗДЕЛ 4
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Parpola A. (## 1-5), Janhunen J. (## 6-8)
(Finland, Helsinki)

ON THE ASIATIC WILD ASSES (Equus hemionus & Equus kiang) AND THEIR VERNACULAR NAMES

#1. Introduction: On the equids excavated at Gonur and in ancient Mesopotamia

The basic monograph on wild asses, Gertrud and Helmut Denzau's *Wildesel* (1999), has gathered and digested fairly comprehensively the available scientific and historical information on this endangered group of animals.[1] Our objective is to contribute some complementary data by focusing on sources not readily studied by zoologists, namely the linguistic evidence of the vernacular names of the different varieties of the Asiatic wild asses and related textual documents. But as we also want to congratulate our friend Viktor I. Sarianidi on his 80th birthday with this paper, we begin with a "Bridge of Asses"[2] to connect our topic with his work.

When Katherine Moore examined the animal bones excavated at Gonur (near Merv alias Mary in Turkmenistan) in 1989, she found

> "no evidence from Gonur that domestic horses were used during the Bronze Age. They certainly could have been present, however, without their bones being deposited in the trash heaps that were sampled for this report" (*Moore*, 1993, p. 168).

She did find evidence for another equid:

> "The wild half-ass or onager (*Equus hemionus*), called *kulan* in Central Asia, is the native equid of Turkmenistan. Its populations are small and endangered today, but it would have been much more widespread in desert regions in the Bronze Age... The wild kulan were hunted for meat, as their bones are fragmented, marked by cuts, and burned. The specimens of jaws all indicate that they were from mature animals, one more than 8 years, and one more than 19 years... The one limb bone, a metatarsal, appeared to be from a young animal, between 1 and 2 years..." (*Moore,* 1993, p. 167–168).[3]

---

[1] Dr. Richard H. Meadow, Director of Zooarchaeology Laboratory at the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, has kindly acted as our consultant by both replying to some specific questions and by commenting upon the near-final version of this paper. We thank him for these contributions, which are reported in the paper.

[2] Latin *pons asinorum*, here implying, as often in Finland, not so much 'a difficult problem' or 'a memory aid' as 'a somewhat clumsy transition to the actual topic'; originally from the popular name of the fifth proposition in Euclid's geometry; cf., e.g., the online version of Encyclopaedia Britannica at http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724634/The-Bridge-of-Asses.

[3] Richard Meadow (personal communication, 9 May 2009) notes: "Charring does NOT automatically mean cooking. Cooking has to be demonstrated. There are many ways bones can get charred that do not involve food preparation. Kate Moore's statement about the Gonur material that you quote is, in fact, wrong."

Richard Meadow had the following to say of his brief field study in 1990:

> "All the equid specimens, identified as donkey principally on the basis of the small size of the bones, were found in room 262 and could have come from a single, not fully mature, animal.... as they come from the south mound, they presumably belong to Gonur Period II or early in the second millennium BC" (*Meadow,* 1993, p. 73).[4]

Since those times, Viktor Sarianidi has continuously excavated at Gonur and discovered in its cemeteries the remains of as many as eight equids (cf. *Sarianidis,* 2008, p. 265–266, 410–413 with figs. 222–226). Sarianidi speaks of these as horses, which is reasonable in view of the fact that he has found at Gonur (burial #2380) a bronze mace-head in the shape of a horse's front part with small forward-pointing ears and a long mane (cf. *Sarianidi,* 2007, p. 127). But to our knowledge the identification of the osteological remains has not yet been confirmed by equid specialists.[5] I therefore asked Richard Meadow if he could make any statement on the basis of the photographs taken of two complete equid skeletons in Gonur in October 2006 by Manabu Koiso, Asko Parpola and Toshiki Osada. Equid 1 (see figure 1 a & b) was buried alone in grave #3340 in the royal necropolis (cf. *Sarianidis*, 2008, p. 265 and figs. 223–224) and equid 2 (see fig. 2 on the color insert) was buried at excavation plot 16 on the south-west of North Gonur (cf. *Sarianidis*, 2008, p. 266 and fig. 226). This was, however, impossible.[6]

Sarianidi thinks that horses came to Gonur from Western Asia rather than from the local steppe,[7] because the wagon wheels found at the royal graves of Gonur are practically identical with wagon wheels found in Elam (cf. *Sarianidis*, 2008, p. 267 and fig. 229). The Elamite origin of the Gonur wheels, each provided with six bronze 'shoes' having three 'ears' on either side, can hardly be doubted (cf. *Dubova,* 2004, p. 264–280; *Parpola*, 2004, p. 102), but this very fact prompts us to draw our jubilar's attention to the use and burial of equids in ancient Western Asia. The Mesopotamian parallel suggests that in Gonur, too, the local wild ass may have been used even in other functions than as a hunted source of meat, for which there is osteological

---

[4] According to Meadow (personal communication, May 2009), "the materials that Kate Moore and I are discussing in the 1993 publication are probably different sets of bones, although I do not remember exactly."

[5] In his analysis of animal bones recently excavated at Gonur, R. M. Sataev (2008: 138–140) has identified one horse from "the royal grave" ("Tsarskij mogil'nik"). This horse is represented by a single upper second premolar tooth which belonged to an adult animal perhaps 8–10 years old. From the wear of the badly preserved tooth Sataev proposes that the horse had been ridden, but deplores that he could not check if the wear was actually caused by malocclusion instead of a bit. Richard Meadow (personal communication, 9 May 2009) comments: "Sataev's identification of a single horse tooth from Gonur is highly problematical because in general identifications based on single teeth in equids are problematical by definition!"

[6] "There are great problems in telling much from the photos. They cannot be enlarged enough before they lose definition because of pixelation. Furthermore, there is no scale by which I can reliably judge the size of any of the elements. Equid 1's teeth are shattered and the skull flattened, so without seeing it in person, I can tell very little. It seems like a smallish animal (to judge from the size of people's legs and the ceramics next to it). Thus it could even be a donkey. It is impossible for me to tell without seeing the bones close up and personal, and even then it is sometimes difficult to distinguish between donkeys and onagers. Equid 2 seems better preserved, but again I can say very little without personal acquaintance. Seeing things in person and seeing things from photos are two different things entirely when it comes to bones, although you can tell things from photos of bones if the bones are laid out in a manner so as to permit identification of diagnostic characteristics and if there is a scale from which one can determine size and proportions. I am sorry to be so negative, but when dealing with an issue like this, one needs to be very conservative about identifications." (*Meadow*, personal communication 26 March 2009).

[7] Yet the two pairs of Sintashta/Arkaim type cheek pieces along with two bronze bits and a horse-topped bronze scepter found with typical Bactria-Margiana pottery in an aristocratic grave at Zardcha Khalifa in Tajikistan clearly indicates a Ural steppe origin for at least these implied chariot horses. Cf., e.g., *Carpelan, Parpola*, 2001, p. 138.

evidence. Juris Zarins in his paper "Equids associated with human burials in third millennium B. C. Mesopotamia" (1986) comes to the following conclusions:[8]

> "The articulated burials in greater Mesopotamia and Syria described above represent a form of *E. asinus* which was probably first domesticated either in North Africa (including Egypt) or Southwest Asia. *E. hemionus* was not domesticated nor was it interred with human burials according to a number of investigators although some question still remains on selected burials such as the Al Hiba 'mount'. The most difficult question facing palaeo-zoologists is the determination of dis-articulated specimens found in the tell 'fill' context as to species identification and purpose of use. Textually, it can be stated with some confidence that *E. asinus* was utilized in human-associated burials and that higher status graves also used hybrids perhaps involving *E. hemionus* or *E. caballus*. The texts are also rather explicit that *E. hemionus* was not used for ordinary draft activities, although they could have been selected from wild populations for breeding purposes. Depending on interpretation, *E. caballus* as a domestic form may have been introduced as early as ca. 2500 B.C. Considering all of these complicating factors, it becomes imperative to correctly recognize and analyze osteological remains with an emphasis on the detailed osteological differences separating the species" (*Zarins*, 1986, p. 189).

The Asiatic wild asses cannot be domesticated, but in ancient Mesopotamia of the third and early second millennium BCE, the local variety of the wild ass, also known as the onager, was kept to obtain domesticable onager x donkey hybrids.[9] These were larger and better looking than donkeys, and they were preferred for the towing of war chariots (cf. fig. 3 on the color insert); according to cuneiform texts, they cost six times the price of a donkey (cf. *Postgate,* 1986, p. 199–200).

Although the textual and linguistic data relating to the equids in Sumerian documents have been extensively discussed, Assyriologists are not fully agreed on what the various attributes of the Sumerian word *anše* 'ass, equid' exactly imply. For instance, *anše-edinna* 'ass of the desert' is widely thought to be 'onager', but Maekawa (2006) thinks it is specifically the 'Syrian onager'. In his paper, which has an extensive bibliography, Maekawa also mentions several *anše* terms (which according to him refer to the domestic ass) literally meaning 'ass of yellow colour'. This expression, "yellow ass", closely agrees with the principal Indo-Iranian and Turko-Mongolic terms for the Asiatic wild asses discussed in the present paper.

#2. The species and subspecies of the Asiatic wild asses and their historic and current distribution

The equids, or horse-like animals (from Latin *equus* 'horse'), are divided into horses, zebras and asses. The asses in turn are divided into two genetically and geographically distinct groups.

(1) The African ass (*Equus africanus*) includes two wild subspecies, surviving in Somalia and in Nubia, while the wild ass of the Atlas region is extinct. The subspecies of domesticated ass or donkey[10] (*Equus asinus L.*) (fig. 4) belongs to the African group of asses. Major work on the origins of the donkey is currently being done by Fiona Marshall, who in her detailed "first

---

[8] For a more up-to-date review of the situation in the ancient Near East, which has not essentially changed, see: *Oates,* 2003; *Marshall*, 2007, p. 383–384, 393–394.

[9] Richard Meadow (personal communication, 9 May 2009), points out that in referring to equid hybrids, the male is mentioned first, the female second; he also refers to "an old but useful book titled *Mammalian hybrids* by Annie P. Gray (1954, revised 1972)".

[10] The English word *donkey* 'domestic ass', attested since 1785, is supposedly of dialectal or slang origin; it may have been derived, with *-key* as in *monkey,* from the adjective *dun* 'of a dull or dingy or grayish brown colour; dark, dusky', as a substantive "formerly, a quasi-proper name for any horse". Cf. The Shorter Oxford English Dictionary (1955 ed.); and Collins Dictionary of the English Language (1979).

Fig. 1 (a). “Equid 1” in Gonur. Photo 2006 by Asko Parpola.

Fig. 1 (b). Head of “equid 1” in Gonur. Photo 2006 by Manabu Koiso.

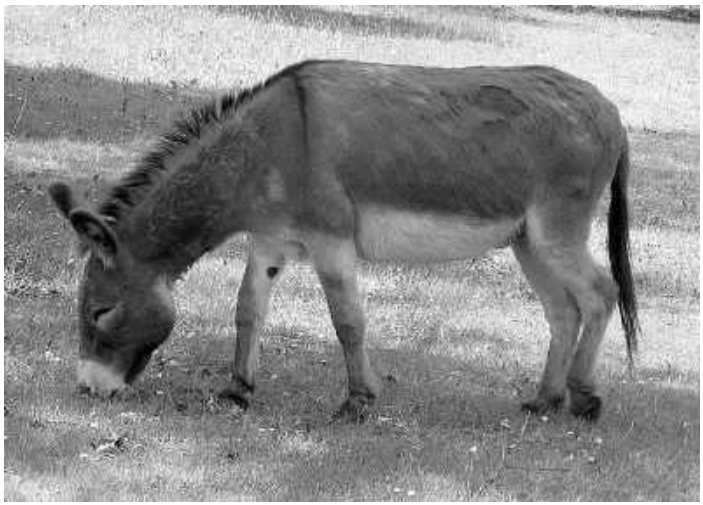


Fig. 4. Domestic ass alias donkey (*Equus asinus*) in England.
Photo (from Wikipedia) 2004 by Adrian Pingstone.

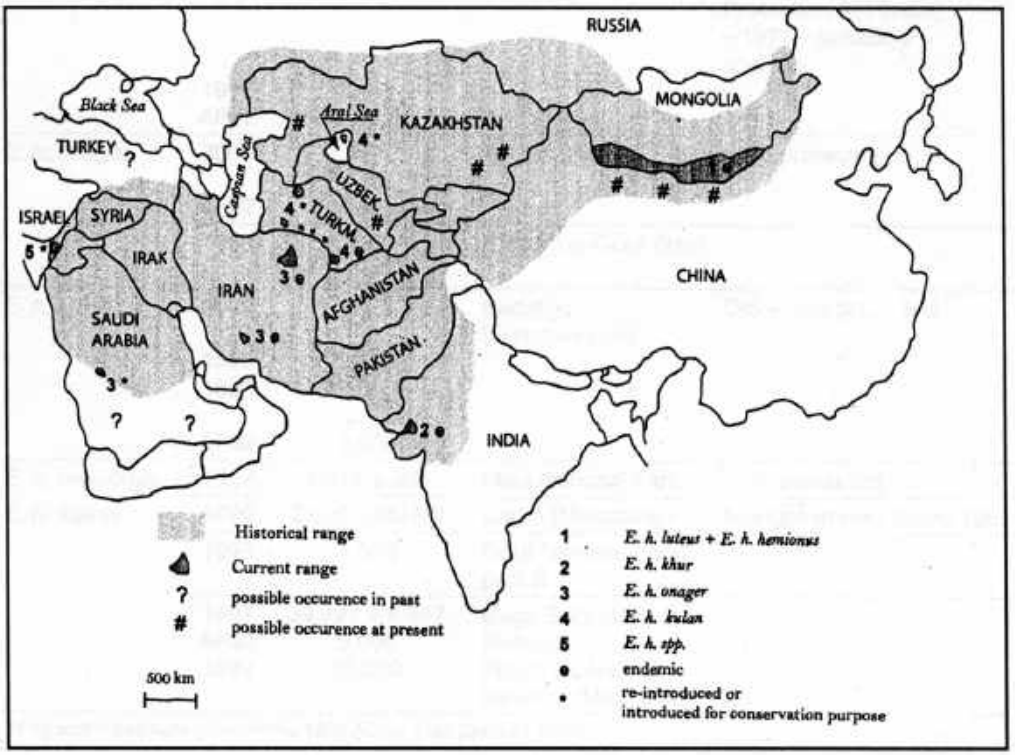


Fig. 5. Map showing the historical and current distribution of the Asiatic wild ass. After Feh & al. 2002: 63, fig. 5.1.

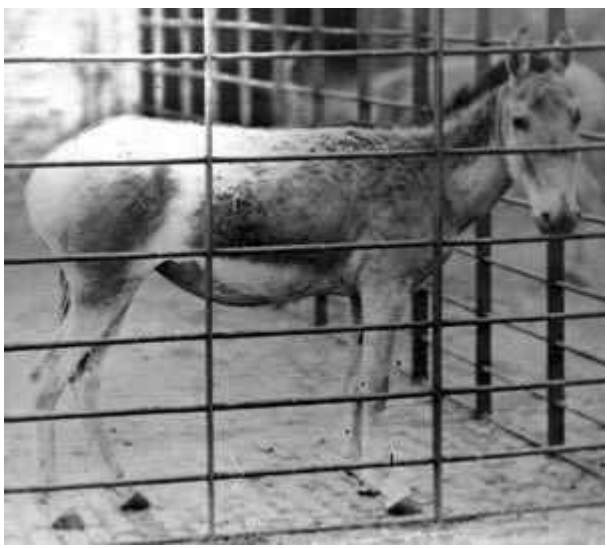


Fig. 6. The Syrian wild ass (*Equus hemionus hemippus*) in the zoo of London. Photo (from Wikipedia) 1872 by Frederick York.

Fig. 7. The Indian wild ass (*Equus hemionus khur*).
Photo (from Wikipedia) by S. Ballal.

Fig. 8. The Transcaspian kulan (*Equus hemionus kulan*) from Turkmenistan in the zoo of Helsinki.
Photo (from Wikipedia) 2009 by "Kallerna".

Fig. 9. The Mongolian khulan (*Equus hemionus hemionus*).
Photo (from Wikipedia) 2006 by Petra Kaczensky.

Fig. 10. The Tibetan kiang (*Equus kiang*) in the zoo of Prague.
Photo (from Wikipedia) 2007 by Bodlina.

synthesis" (2007) comes to the conclusion that the ancient Egyptians domesticated the Nubian wild ass by 4000 BCE, there being archaeological evidence of the donkey from Egypt from 4000-3500 BCE, while the earliest archaeological evidence from the Near East (ancient Anshan alias Tal-e Malyan) is from 2800 calBCE.[11]

(2) the Asiatic wild asses comprise two species, the hemione and the kiang. At this point, before going to the subspecies of the Asiatic wild asses, it seems useful to consider some general terms connected with the asses and their etymology. The majority of European languages have got their words for 'ass' from Latin *asinus*, first attested in the dramas of Plautus (cf. *Walde,* 1938, I, p. 72–73; *Brugmann,* 1907–1908, p. 198–199; *Buck,* 1949, p. 172–174 nos. 3.46 and 3.47.5). Greek *ónos*,[12] which is attested c. 1200 BCE in Mycenaean Greek (*o-no*), is connected with Latin *asinus*, and both are regarded as loans from some Western Asiatic source (**asnu?*) related to Sumerian AN.ŠE or AN.ŠU 'ass' (cf. *Frisk*, 1970, II, p. 397–398; *Gamkrelidze, Ivanov,* 1995, I, p. 480-482). Used without any qualification, all these words denote domesticated ass or donkey. In this paper we use 'ass' without further qualification as a «neutral» subgenus term which may refer to the wild or domesticated ass.

Greek *hēmí-onos*, literally 'half-ass',[13] denotes the 'mule', i. e., the sterile hybrid of ass x horse. In modern zoological usage, English hemione is used of one species of the Asiatic wild asses in the sense of 'half-ass', because in size it is between the domestic ass and the domestic horse, and also because it looks more horse-like than the donkey. Because 'half-ass' originally refers to the mule as an animal half ass and half horse, we prefer to speak of 'wild ass' rather than of 'half-ass', although many zoologists use 'half-ass' without 'wild' in this sense. In this paper, 'wild ass' without further qualification means 'Asiatic wild ass'.

The Greek word for 'wild ass' is *ónagros* (in *Strabon*, 7, 4, 8, etc.), from the older noun phrase *ónos ágrios* 'wild ass' (see below on *Herodotus*, 7,86 and *Xenophon*, and cf. *Risch*, 1949, p. 286–287).[14] In modern zoological usage, English *onager* is used especially of the Persian subspecies of the hemione.

---

[11] We owe this reference to Marshall's work, and a copy of her paper, to Richard Meadow (personal communication, 9 May 2009); so also Rossel et al., 2008, analyzing ten newly found donkey skeletons from Abydos, Egypt, dating from c. 3000 BCE.

[12] Reinterpreted as consisting of the masculine article *ho* + *ónos*, the Greek word is supposed to go back, via **ho-onos* < **ohonos,* to a protoform **os(o)nos.* This etymology proposed by Karl Brugmann (1907-1908) is preferred by Frisk (1970, II, p. 397–398) to the older view which connects Greek *ónos* 'donkey' as 'pack-animal' with Latin *onus* 'load, burden', which would have a semantic parallel in New Greek *gomári* 'ass' < *gómos* 'load' and Italian *somaro* 'donkey' via late Latin *sagmarius* from Greek *ságma* 'packsaddle' < *sáttein* 'to pack' (cf. *Brugmann,* 1907–1908, p. 199; *Buck,* 1949, p. 172). Latin *onus* (n.) has a cognate in Sanskrit *ánas-* (*n.*) 'cart for heavy burdens' (attested since the Rigveda) (cf. *Mayrhofer,* 1992, I, p. 71). Hence the word goes back to Proto-Indo-European, which probably disintegrated with the Late Tripolye culture and the explosive spread of wheeled vehicles c. 3400 BCE (cf. *Parpola*, 2008). It probably is a loanword in origin, as it cannot be derived from any PIE root. Sherratt (2003, p. 239–242) has underlined the probable spread of the donkey as a pack animal from Mesopotamia to the Caucasus with the Uruk expansion in the fourth millennium BCE (cf. also *Oates,* 2003, p. 115). It is via this route and at this time that the wheeled vehicles seem to have come from Europe to Mesopotamia (cf. *Parpola*, 2008).

[13] The Greek word *hēmí-onos* is first attested in the Iliad (c. 800 BCE). Greek *hēmí-* 'half' is of the same origin as Sanskrit *sāmi-* and Latin *sēmi-* borrowed into English *semi-* (cf. *Risch,* 1949, p. 22–23; Frisk 1960, I, p. 636).

[14] The adjective *ágrios,* derived from *ágros* 'field(s), countryside (in contrast to town)', literally meaning 'living in the fields', is used of wild animals and plants (in contrast to domesticated), of 'savage' men living in a wild state, of 'wild, uncultivated' countries, of 'fierce' temper, 'harsh' circumstances, etc. (cf. *Liddell, Scott,* 1940, p. 15).

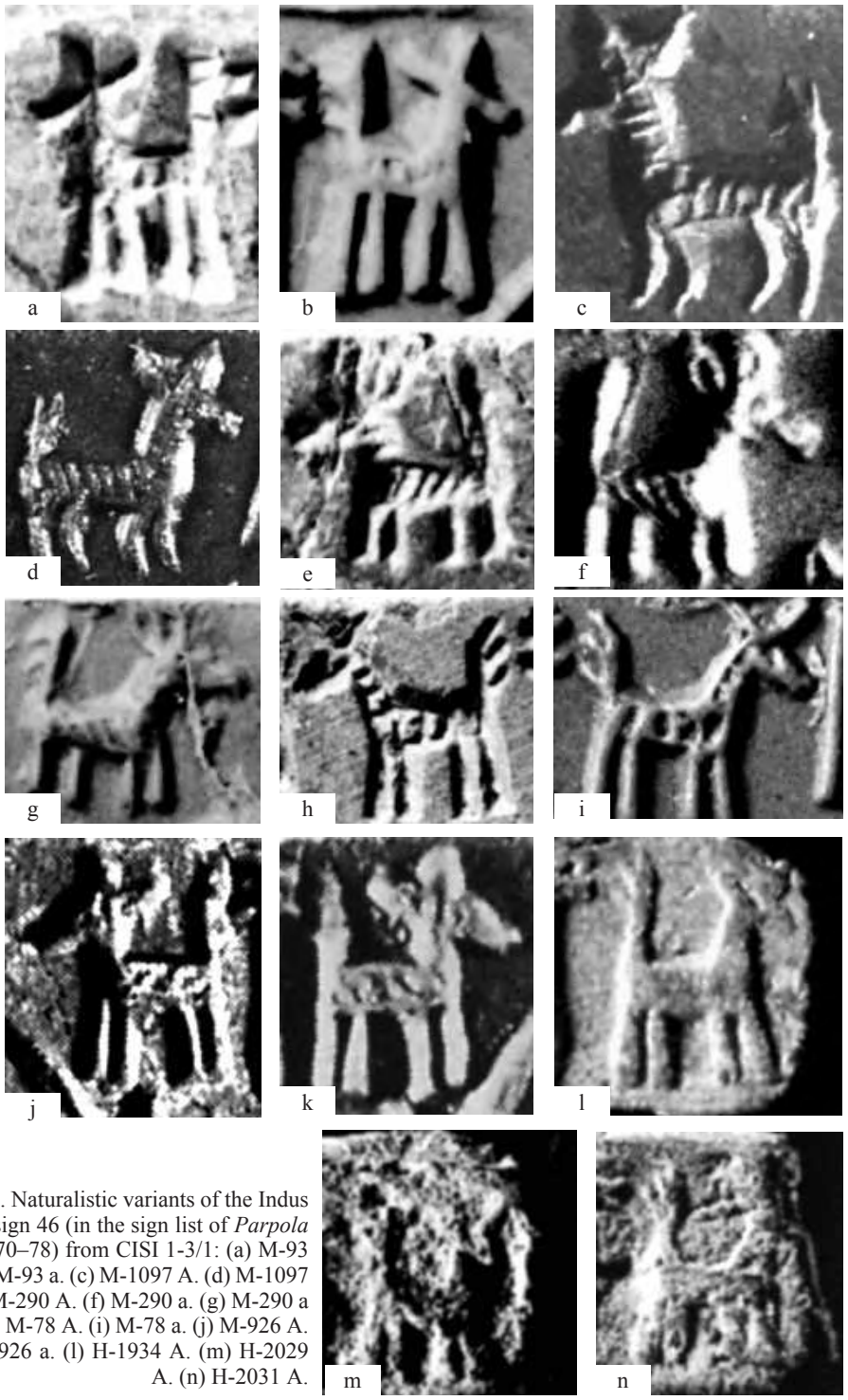


Fig. 11. Naturalistic variants of the Indus script sign 46 (in the sign list of *Parpola* 1994: 70–78) from CISI 1-3/1: (a) M-93 A. (b) M-93 a. (c) M-1097 A. (d) M-1097 a. (e) M-290 A. (f) M-290 a. (g) M-290 a bis. (h) M-78 A. (i) M-78 a. (j) M-926 A. (k) M-926 a. (l) H-1934 A. (m) H-2029 A. (n) H-2031 A.

Fig. 12. Schematic variants of the Indus script sign 46 (in the sign list of *Parpola* 1994: 70-78) from CISI 1–2: (a) M-416 A. (b) M-416 a. (c) M-516 A. (d) M-516 A bis. (e) M-1282 A + M-1283 A. (f) M-1283 a + M-1282 a. (g) M-1336 a. (h) M-1341 A. (i) M-1341 a.

The map in fig. 5 (after *Feh et al.*, 2002, p. 63, fig. 5.1) shows the historical and current range of the Asiatic wild asses (a more exact coloured map at the end of *Denzau, Denzau,* 1999 shows also the present and former distribution of the African wild asses, and of the prehistoric European wild ass).

The four to six currently recognized subspecies of the hemione (*Equus hemionus* Pallas, 1775) are the following (cf. *Feh et al.*, 2002; *Groves*, 1986; *Denzau, Denzau,* 1999, p. 14–47):

Small-sized (about 100 cm at withers):

• The Syrian wild ass (*Equus hemionus hemippus*) (see figure 6), extinct since 1927.

Medium-sized (about 108-120 cm at withers):

• The Indian wild ass alias *khur* (*Equus hemionus khur* Lesson 1827) (fig. 7) "was formerly widespread in the arid zone of north-west India (including present Pakistan), west towards Syria[15], and through much of Central Asia. However, it is now limited to the Little Rann of Kutch (Saline Mudflat) in Gujarat, India. It probably became extinct in Baluchistan and the extreme south of Pakistan, on the Indian Border, during the 1960s" (*Feh et al.*, 2002, p. 63), endangered.

• The Persian wild ass alias *onager* (*Equus hemionus onager* Boddaert 1795) in Iran (very small populations in four protected areas: Touran in the Semnan province, and Bahram e-Goor in Fars, Kavir, and Kosh-Yeilagh), critically endangered.

• The Transcaspian wild ass alias *kulan* (*Equus hemionus kulan* Groves and Mazák 1967, sometimes referred to as *Equus hemionus finschii*) (fig. 8), survives native in the protected area of Badkhys in Turkmenistan, and rehabilitated in some other areas of Turkmenistan, in Kazakhstan, Uzbekistan and the Ukraine, in dramatic decline and critically endangered. This is possibly the same subspecies as the onager.

Large-sized (about 110–130 cm at withers):

• The Mongolian *khulan* alias *dziggetai* (*Equus hemionus hemionus* Pallas 1775) (fig. 9) in northern Mongolia, vulnerable.

• The Gobi *khulan* (*Equus hemionus luteus* Matschie, 1911) in southern Mongolia and northern China, vulnerable. "It is possible that... *E. h. luteus* (whose localities are all within a fairly restricted area) is simply a localized sample of a unitary Mongolian race living in extreme desert conditions" (*Groves,* 1986, p. 27).

The Tibetan wild ass alias *kiang* (*Equus kiang* Moorcroft 1841, formerly *Equus hemionus kiang*) (fig. 10), with three subspecies, is now widely accepted as a species of its own on the basis of molecular studies (*Shah et al*., 2008). Even so, in its external appearance the kiang is closely reminiscent of the hemione, and the local peoples of the Tibeto-Mongolian region do not distinguish it terminologically from the Mongolian and Gobi *khulan*.[16] The kiang is the largest of the Asiatic wild asses (about 140 cm at withers).

#3. The Indian wild ass (*Equus hemionus khur*) and the Indus Civilization

In a recent paper (Parpola, 2009) I suggested a new Dravidian interpretation for a sign of the Indus script that depicts the hind leg of a hoofed animal. I noted that it once precedes a sign that

[15] Sic! This looks like coming from a description of the Persian onager's distribution.

[16] It took also a long time until the relatively small genetic difference between the two species was established by zoologists. For instance, in his commentary to Yule's publication of Marco Polo, Cordier writes: "The Wild Ass of Mongolia is... identical with the Tibetan Kyang..." Marco Polo mentions wild asses, "handsome creatures", on two occasions – in Yasdi, Persia, and in Etzina, Province of Tangut (chapters 16 and 45 of Book I), but he does not describe the animal in any detail, nor does he quote its local names (cf. *Yule,* 1903, I, p. 88, 223–225).

depicts a four-legged mammal, most probably the wild ass. This mammal sign (no. 46 in the sign list published in *Parpola*, 1994: 70–78, fig. 5.1) occurs nine times in Mohenjo-daro and nine times in Harappa (all occurrences in Harappa are moulded duplicates of one and the same text: H-1934, H-1935, H-2024, H-2026 to H-2031 in CISI 3:1). The more realistic renderings of this animal are shown in figure 11 (a–n) comprising 14 photographs of the sign, in five original seal stamps and their modern impressions, and in three of the moulded tablets from Harappa. From these illustrations it can be seen that the animal has relatively high legs, an upheld relatively long neck and a relatively big head with large upwards or sideways pointing ears but no horns, and an upright tail ending in a tuft. The same characteristics are found in the less realistic, simplified variants of the sign illustrated in figure 12 (a-i).[17] Comparing these characteristics with several books of South Asian animals I had come to the conclusion that the animal is most likely to be the Asiatic wild ass. The tail of this animal ends in a tuft, but it was not held in an upright position in any of the pictures accessible to me.

Wishing to consult an equid specialist, I sent the images in figure 11 to Richard Meadow. His comment was (personal communication, 18 March 2009):

> "I would agree with your assessment, with the proviso that the body and neck usually seem to be striped, which is not hemione-like... the hemione or wild half-ass is known from the archaeological record from at least Baluchistan through Gujarat."

I replied that the "stripes" could just indicate "body" (its roundness). Meadow in turn (personal communication, 19 March 2009) sent me "a picture of a hemione from the wonderful book by Gertrud and Helmut Denzau (1999), *Wildesel*, Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag. Except for the male organ, the animal on the left is quite like the images you sent." This picture, which in my opinion clinches the identification, is reproduced in figure 13.

Evidently, the upright tail of the wild ass expresses a state of excitement. In figure 13, the excitement is sexual, but in Harivamśa, 57,16 (see below) the tail of the ass demon Dhenuka is up on account of enragement. This tail position is something that may have been implied in the conventional meaning of this Indus sign. In later South Asian tradition, the ass is prominently involved in punishments concerning illicit sexual behaviour. Thus a student of the Veda who has broken his vow of chastity should offer an ass (*gardabha*-) (cf. Āpastamba-Dharmasūtra 1, 26, 8; Gautama-Dharmasūtra 23, 17; Vasiṣṭha-Dharmasūtra 23, 1) and in this sacrifice the cut-off portion to be eaten by the sacrificer should be taken from the penis of the ass (cf. Kātyāyana-Śrautasūtra 1, 1, 13&17; Baudhāyana-Dharmasūtra 2, 1, 30–35).[18] The Manu-Smṛti (11, 122–123) instead prescribes that the guilty student should for one year wear the skin of the ass and proclaim his lapse while begging for his food. One of the main characteristics for which the ass is noted is its power of fertility. For instance, in an early charm for virile power (c. 950 BCE), the male organ is asked to grow as great as that of the rhinoceros (*párasvant*-), that of the elephant, that of the ass (*gardabha*-) and that of the horse (Atharvaveda 6, 72, 3). In this verse, the big size of the male member connects the ass and the rhinoceros. These two animals are associated with

[17] Many of the signs which I have included as allographs in no. 46 are considered by Bryan Wells (2006, p. 242–243) as separate graphemes, in my opinion mistakenly (for my criteria for distinguishing between allographs and graphemes see: *Parpola,* 1994, p. 68–69). There is another sign in the Indus script depicting a four-legged mammal, which I consider to be a separate grapheme, no. 47. It always faces left (while the ass-sign faces right); there is an upright tail, but it never shows a tuft, and the ears are small and upwards or forwards pointing. These characteristics, compared with those of the Harappan animal figurines, suggest the 'dog' as an interpretation (cf. *Possehl,* 1999: 189–191 on the dog, with illustrations).

[18] For the Dharmasūtra texts and their translation see: *Olivelle*, 2000. A Brahmin woman involved in an adultery is to be purified by making her ride naked on an ass in public, see below.

Fig. 13. Male and female Mongolian wild ass (*Equus hemionus hemionus*).
Photo from *Denzau, Denzau,* 1999, p. 131.

Fig. 14. Terracotta equid statuette from Mohenjo-Daro now in the National Museum of India, New Delhi. Note that the tail and ears are broken and the legs are modern restoration.
Photo NMI (from *Chakrabarti,* 2004, p. 18, fig. 14).

each other also in the copper tablets of Mohenjo-daro. Identical inscription on the obverse links the Indus sign depicting the wild ass on the reverse of the tablets M-516 (fig. 12 c-d) and M-517 with the rhinoceros illustrated on the reverse of the tablet M-1481 (cf. *Parpola,* 1994: 110–111, with A11 and B5 in fig. 7.14).

This correspondence between the script sign depicting the wild ass and the iconographic illustration of the rhinoceros raises the question: why is the wild ass never illustrated in the iconography of the Indus seals and tablets, while so many other real and mythical animals are? There is one possible explanation. The wild ass was too ominous an animal to be represented in amuletic art, which may have had as its *raison d'être* wishes for prosperity and welfare. The sounds of dogs, asses, jackals, vultures and crows forebode evil (Atharvaveda-Pariśiṣṭa 61, 1, 8), and Vedic recitation is to be suspended when dogs are barking, asses (*gardabha*-) are braying or jackals are howling (cf. Āpastamba-Dharmasūtra 1, 10, 19; Gautama-Dharmasūtra 16, 8). Dreaming of camels, pigs, asses etc. forebodes evil (cf. Mānava-Gṛhyasūtra 2, 14, 11). In Rāmāyaṇa 2, 63, 14–16, Bharata's dream of a man driving an ass-chariot is explicitly stated to portend death.[19] In spite of its fecundating power, the ass is an animal connected with Nirṛti, the goddess of Destruction, the guardian deity of the inauspicous direction of southwest. It is to her, Nirṛti, or to Yama (the god of death) that the ass is to be sacrificed in breaches of chastity, and this in the wilderness (*araṇye*) (cf. Vasiṣṭha-Dharmasūtra 23,1; Baudhāyana-Dharmasūtra 2, 1, 30–35). The main reason for the ass's connection with destruction and death is, I believe, the habitat of the wild ass, the lifeless salt desert.

Apparently the taboo against the depiction of the wild ass did not apply to the script and the terracotta figurines, for seven terracotta figurines representing an equid have been excavated at Mohenjo-daro. The best of them (now in the National Museum of India in New Delhi) is shown in figure 14.[20] Some scholars have taken it as a representation of the domestic horse, but as pointed out by Ardeleanu-Jansen (1993, p. 173) all the figurines are more likely to represent the *Equus hemionus khur*. Bones of *Equus hemionus* (khur, onager) have been identified in Baluchistan and Sindh at several sites (Rana Ghundai, Mehrgarh, Nausharo, Sibri, Pirak, Sohr Damb/Nal, Balakot) from the earliest Neolithic levels (c 7000-6000 BCE) down to the Harappan and Late and Post-Harappan times (cf. *Meadow,* 1988, p. 41–43; *Possehl*, 1999, p. 186; *Benecke, Neef,* 2005, p. 82–83). Hemione bones have been identified at Surkotada (all three periods), Dholavira and Shikarpur in Kutch and at Kuntasi and Rojdi in Kathiawar; bones with cut marks and charring suggest hunting of the wild ass for food (cf. *Possehl*, 1999, p. 186; *Thomas,* 2002, p. 413).[21] The domestic horse (*Equus caballus*) and the donkey (*Equus asinus*), on the other hand, are with certainty attested (osteologically and in depictions) for the first time in post-Harappan times from the second quarter of the second millennium BCE onwards at Pirak on the border of Baluchistan and Sindh, and in the Swat Valley (cf. *Meadow,* 1988, p. 41–43; *Possehl,* 1999, p. 185–189; *Meadow, Patel,* 2002, p. 400–402; *Thomas,* 2002, p. 411–413).

With regard to the Indus sign identified as representing the hemione, Richard Meadow (personal communication, 19 March 2009) points out that it does not depict a horse, as the tail is

[19] Rāmāyana 2,63: 14 tvaramānaś ca dharmātmā raktamālyānulepanaḥ | rathena kharayuktena prayāto dakṣiṇāmukhaḥ || 15 evam etan mayā dṛṣṭam imāṃ rātriṃ bhayāvahām | ahaṃ rāmo 'tha vā rājā lakṣmaṇo vā mariṣyati || 16 naro yānena yaḥ svapne kharayuktena yāti hi | acirāt tasya dhūmāgraṃ citāyāṃ saṃpradṛśyate || "14. And a righteous man, wearing red garlands and smeared with red cream, was hurrying off toward the south on a chariot yoked with asses. 15. This was the terrifying dream I had last night. Surely I myself, or Râma, or the king, or Lakṣmaṇa is going to die. 16. For when in dream a man sets out in a carriage yoked with asses, it is not long before a wreath of smoke appears above his funeral pyre." (Transl. *Pollock*, 1984, p. 218.) Cf. also *Brockington*, 1984, p. 89.

[20] Note that the legs have been added afterwards and that the tail and the ears are broken.

[21] Meadow's criticism against charring as an indication of food preparation was cited above in note 3.

quite different, and there is no significant mane or forelock. I would like to add the length of the ears, which are longer (187–210 mm) in the khur than those of the horse, but not as long as those of the donkey. The enlarged ears function as heat-dispersing devices also in a number of other mammals living in extremely hot desert conditions like the wild ass; thus "compared to other hare species inhabiting cooler climates, both hare species ... found in Pakistan have especially wide and large ears" (*Roberts*, 1977, p. 10).

The hemione depicted in the Indus sign can be compared with the signs depicting equids in other writing systems (fig. 15). (a) Of the horse and donkey signs in the Egyptian hieroglyphic script, the Indus sign is more like the donkey. (b) In the Mycenaean Linear B script, the 'horse' and 'stallion' signs show the mane, that for 'mare' is without mane. (c) A Proto-Elamite tablet from Susa records 185 equids;[22] according to the hypothesis of V. Scheil, the animals with upwards pointing mane hair are stallions, those with downwards pointing mane hair are mares, and those without mane are foals (cf. *Hinz*, 1969, p. 222–224). (d) The archaic Sumerian script has no sign for 'horse', only one for 'ass' (no mane or forelock; the ears are long). (e) The sign for 'horse' in the Hittite hieroglyphic script has mane. (f) The mane is shown also in the Chinese sign for 'horse', from the oracle bone script of the Shang period down to the modern character (焦, now simplified as 冯).

#4. Proto-Dravidian names of the Asiatic wild asses

How did the Harappan people call the wild ass? The whole latter half of my 1994 book is devoted to demonstrating that the principal language of the Early and Mature Harappan people, and the only one they used in writing in South Asia, was Proto-Dravidian. Now there is a word denoting 'ass' (i. e., 'donkey') that is widely distributed in Dravidian languages: Tamil *kaẓutai*,[23] Malayalam *kaẓuta*, Kota *kaẓt*, Toda *katy*, Kannada *kaṛte*, *katte*, Kodagu *katte*, Tulu *katte*, Telugu *gāḍida*, Kolami *gāḍdi*, Naiki *gāṛdi*, Parji *gade*, (S) *garad*, Gondi (G., Ko.) *gāṛdi*, Kuwi *gāṛde* (DEDR no. 1364). Bhadriraju Krishnamurti (2003, p. 12) reconstructs **kaẓ-ut-ay* for Proto-Dravidian, and asserts that Proto-Dravidian speakers knew the donkey.

This appears to be anachronistic, however, since Proto-Dravidian probably disintegrated during Early Harappan times, during the first half of the third millennium BCE,[24] and, according

[22] The onager (*Equus hemionus*) is found widely at archaeological sites in Luristan and Fars since the Middle Palaeolithic and in Khuzistan since the Aceramic Neolithic. Other equids are attested in Luristan only: the wild horse (*Equus ferus*) since the Middle Palaeolithic, and the domestic horse (*Equus caballus*) just at Godin Tepe in the Chalcolithic period, c. 2000 BCE (cf. *Potts*, 1999, p. 26–30, tables 2.3-5). In Mesopotamia the earliest evidence of domesticated horse dates from the last century of the third millennium BCE (cf. *Oates*, 2003, p. 117–120).

[23] Tamil *kaẓutai* 'donkey' is attested since the earliest Old Tamil, from c. 200 CE (e.g., *Puṟaṉānūṟu,* 392, 9), cf. TL 1928 II: 804a.

[24] With regard to the disintegration of Proto-Dravidian, I must adjust my earlier dating. I used to think that the separation of Proto-South Dravidian and Proto-Central Dravidian started with the southward and eastward spread of the Late and Post-Harappan Chalcolithic cultures of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra on the one hand and Malwa and the Chota-Nagpur plateau on the other (cf. *Parpola,* 1994, p. 171–174). But because archaeobotanically documented crops of the Southern Neolithic strongly correlate with the Dravidian crop vocabulary, Dorian Fuller (2003) has proposed that the Southern Neolithic was Dravidian speaking. The beginnings of the Southern Neolithic in northern Karnataka and southwestern Andhra Pradesh can now be placed around 2500 BCE, and it appears that livestock and plants diffused to peninsular India from the first agricultural villages of Gujarat and Rajasthan (c 3500–2500 BCE) (cf. *Fuller*, 2006a, p. 30–31; 2006b, p. 182–188). Southworth (2005, 2006) wants to locate even Proto-Dravidian (rather than Proto-South Dravidian) in South India on the basis of agricultural vocabulary, but in this he is in my opinion mistaken.

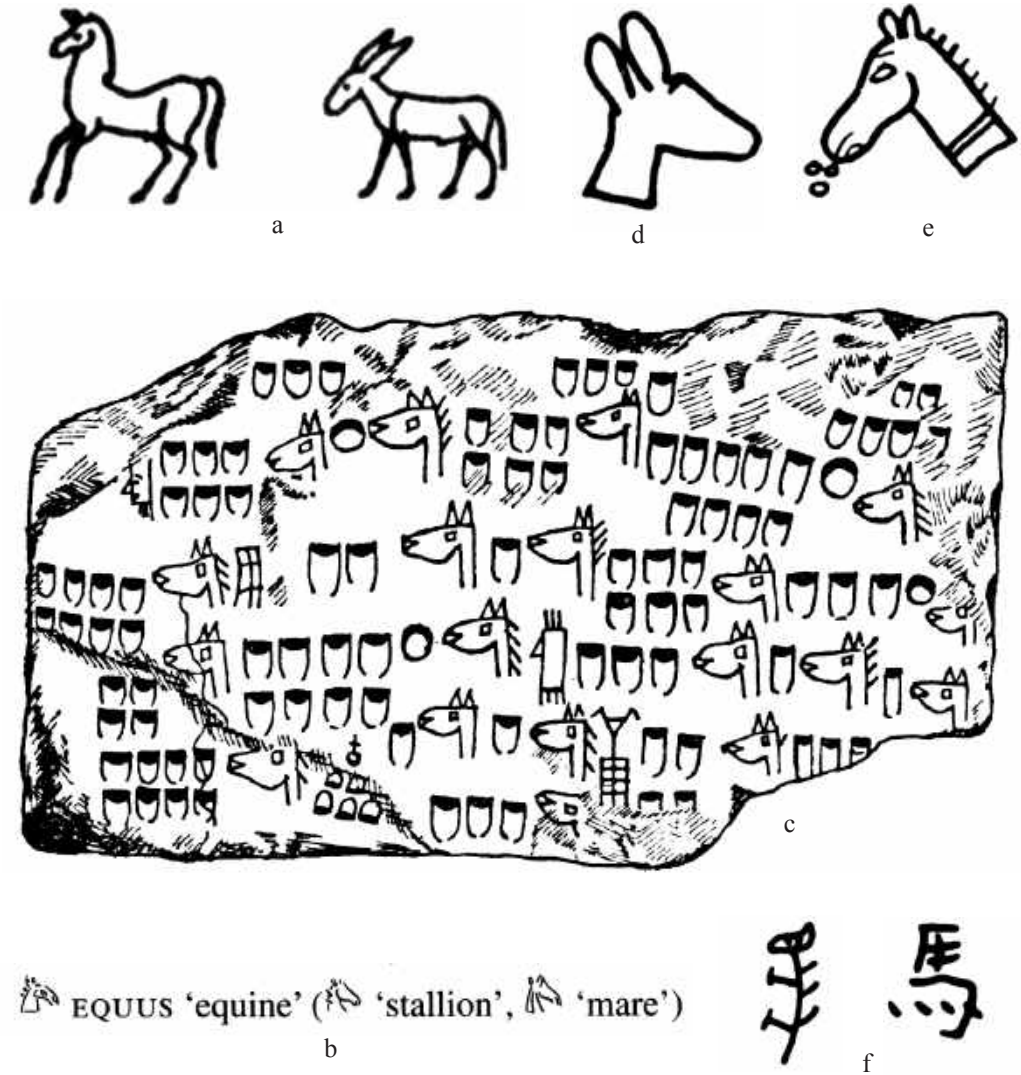


Fig. 15. Signs depicting equids in various ancient scripts.
(a) The signs for 'horse' and 'ass' in the Egyptian hieroglyphic script
(After *Gardiner,* 1957: 459 nos. E 6 & 7.)
(b) Sematographic 'horse' signs in the Mycenaean Linear B script. (After *Bennett*, 1995: 128, table 7.2.)
(c) 'Equid' signs on a Proto-Elamite tablet from Susa (*Scheil,* 1923: table 17 no. 105;
after *Hinz,* 1969: 222, Abb. 7).
(d) The sign for 'ass' in Archaic Sumerian script. (After Naissance de l'écriture, 1982: 75.)
(e) The logographic 'horse' sign in the Hittite (or rather Luvian) hieroglyphic script.
(After Naissance de l'écriture, 1982: 116; cf. *Melchert*, 1995: 121 table 6.1.)
(f) The character depicting 'horse' in the archaic (oracle bone) and modern Chinese scripts.
(After *Boltz,* 1986: 427, fig. 1 no. 11; also in *DeFrancis,* 1989: 97 fig. 17.)

to our present knowledge, the donkey was introduced to South Asia about a millennium later, during the first half of the second millennium BCE. One solution to this dilemma could be that **kaẓutay* originally denoted 'the wild ass', and that this native term was afterwards transferred to the domestic ass. That **kaẓutay* "might have referred originally to the Asian half-ass" has already been suggested by Southworth (2005: 269–270), who notes that "equid bones are attested at Hallur in Karnataka as early as 1600 BCE".[25] The hypothesis that the term originally denoted the Asiatic wild ass and that it was preserved in peninsular India from Proto-South Dravidian times until the introduction of the domestic ass in those parts nevertheless implies that this animal was earlier locally present there, say, up to northern Karnataka. This does not seem unlikely, as there is a continuous semi-arid belt of thorn-desert and dry tropical savannah all the way from Kutch to southern Tamil Nadu[26] (see figure 16), and the wild ass was present in the Punjab, Rajasthan and Malwa not so long ago.

Assuming that **kaẓutay* originally denoted the Indian wild ass, I am tempted to suggest an etymology for it. The word could be a compound literally meaning 'the kicker of salt desert'. The first component would be the Proto-Dravidian word **kaẓ-* 'saline soil' attested in Tamil *kaẓi*, *kaḷappu, kaḷar*, Malayalam *kaẓi, kaḷar*, Kota *kayḶ, kaḶc-*, Brahui *kallar*, and as a loanword also in Indo-Aryan languages spoken in the Indus Valley: Sindhi *kalaru*, Lahnda *kallur*, Punjabi *kallar* – these words have no cognates in other Indo-Iranian languages (cf. DEDR no. 1359 and Turner 1966 no. 2954). This word describes exactly the habitat of the Indian wild ass: "The typical habitat of the Indian wild ass is the flat salt desert" (*Hawkins,* 1986, p. 25). This applies to the hemione at large: "In summary, *Equus hemionus* lives in flat desert country such as salt flats or gravel plains" (*Groves,* 1986, p. 38). The Bible refers to "barren land (salt flats)" and the mountains as the habitat of the wild ass (*Groves,* 1986, p. 42). "Xenophon saw wild asses (*onoi agrioi*)... He certainly means onagers, since they were on a flat treeless plain covered with wormwood" (*Groves,* 1986, p. 43). The Persian term *χar-e daštī* or *χar-daštī* for the 'wild ass' (cf. *Steingass,* 1892, p. 450b, 453b; *Platts,* 1884, p. 487b) likewise mentions its habitat: *dašt* 'desert, plain without water' (*Steingass,* 1892, p. 526a). Salt desert, *kavir*, is the special habitat of the onager, and *Dašt-e Kavir* is one of its protection areas in Iran.

The second component would be Proto-Dravidian **utay* 'to kick', attested in Tamil *utai*, Malayalam *uta, utayuka, utekka*, Kota *od-, ov-, o-*, Kannada *ode, odi*, Tulu *dankuni*, ?Gadba *uyt*, Malto *utese, usete* (DEDR no. 616). The word is used of a kicking animal, e.g., in the Tamil compound *utai-kāl(i)* 'having a kicking leg' = 'a cow that kicks when milked' (TL 1926 I: 417a). The wild ass stallions fighting viciously for a mare in heat offer a dramatic sight when they, "rearing up on their hindlegs, use hooves and jaws in attack" (Salim Ali quoted in: *Prater,* 1971, p. 228).[27] Asses are proverbial kickers, and this feature figures also in the Purāṇic myth

[25] The Hallur equid bone, however, appears to have belonged to the domestic horse, cf. *Allchin, Allchin* (1982, p. 287–288): "The presence of a bone of *Equus cabal[l]us* in the beginning of this phase at Hallur is suggestive, particularly if it is considered in conjunction with an extensive group of rock paintings showing horses and riders, and with such exotic metal objects as the Kallur swords." The antennaehilted bronze swords from Kallur (cf. *Allchin, Allchin*, 1982, p. 288, fig. 10.21) resemble the antennaehilted swords of the Gangetic Copper Hoards and the Bactria and Margiana Archaeological Complex (BMAC) (cf. *Parpola,* 1994, p. 155, fig. 8.23).

[26] D. Denzau, H. Denzau (1999, p. 55) note that P. S. Pallas in 1781 referred to the presence of wild ass on the Malabar coast of South India, and that this is obviously an error that goes back to Barbosa's sailing account from the 16th century. Actually *Barbosa* ([1518] 1921 II: 34) is speaking of a wild beast that looks like the wild ass and is called "Cryvamergam". The context, initiation of the Veda student, makes it quite certain that the black buck (*kṛṣṇamṛga-* in Sanskrit) is meant.

[27] I thought to have found an illustration of such an ass fight in the tablet H-180 from Harappa, but a closer inspection of the – all very faintly visible – details (nails in paws, long curled tails, and small ears) suggested to me that M. S. Vats (1940, I, p. 42) is right in stating that the scene depicts "a pair of tigers standing face to face".

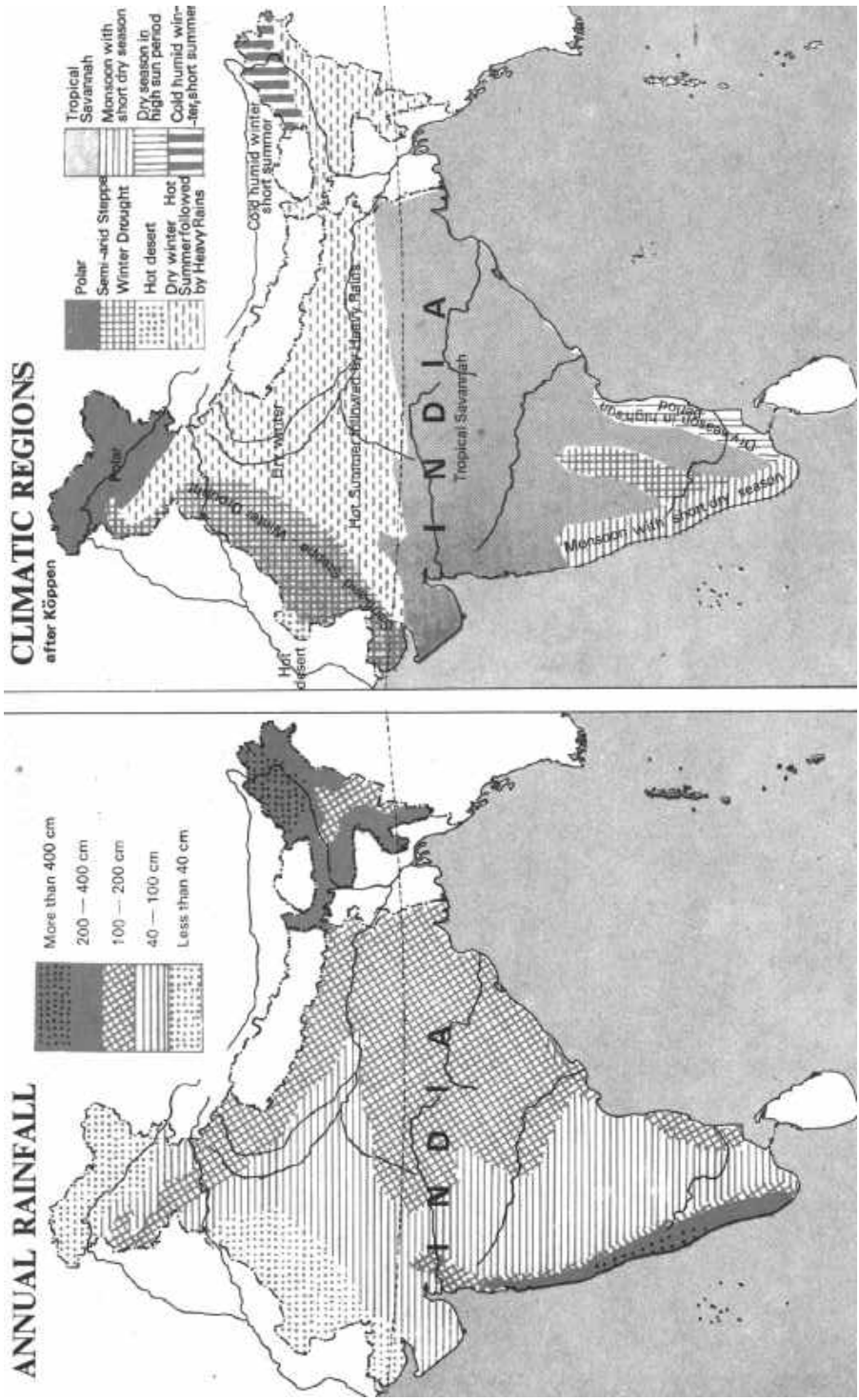


Fig. 16. Annual rainfall and climatic regions in South Asia. (After The Oxford school atlas 1984: 55.)

of the killing of the ass demon Dhenuka.[28] A fierce ass demon surrounded by a large herd of asses[29] guarded a forest of palmyra palms near Mathurā;[30] when Kṛṣṇa and Balarāma as small boys shook down ripe fruits from the trees, the huge ass ran to the spot enraged, its mane and face erect with pride, with stiff (unwinking) eyes, neighing sharply, its tail stirred up (*āviddha-puccho*)[31], tearing earth asunder with its hooves, its body-hair erect, open-mouthed like the god of death; rushing on it saw Balarāma standing beneath the palmyra palms. Armed with its teeth, the wicked ass bit the unarmed Balarāma and started kicking him hard on chest with both of its hind legs. Balarāma seized the ass by those legs, turned around its head and shoulders and flung the ass on the top of a palm tree. The ass fell down with its neck, thigh, hip and back broken and died. Dhenuka's retinue that came to his aid met with the same fate.[32]

Burrow and Emeneau (in DEDR no. 1364) have suggested that the native Dravidian word for 'ass' is the source of Indo-Aryan *gardabha-*, which is attested from the Rigveda onwards. This implies that the borrowing took place in or around the Indus Valley before 1000 BCE, and that the Indo-Aryan animal name suffix *-bha-* was added to **garda* (< **kaẓta* < **kaẓutay*). Mayrhofer (1992, I, p. 473) finds this Dravidian etymology for *gardabha-* "ganz unglaubhaft", because the word is so ancient in Indo-Aryan, and because the hypothesis involves the addition of an Indo-European suffix to a Dravidian loanword; in his opinion the etymology is "not clear". However, it is significant that *gardabha-* has no cognates in Iranian languages.[33] And although as

[28] The oldest version appears to be Harivaṃśa 57 (c. 4th cent. CE); of the other versions most notable is the almost identical account of Viṣṇu-Purāṇa 5,8 and Bhâgavata-Purāṇa 10, 15. The name *Dhenuka* is derived from *dhenu-* f. '(milch) cow', and seems to refer to the cow-like colour of the wild ass (cf. below on the etymology of *gaura-*).

[29] A herd (*yūtha-* n.) of asses may suggest that the wild ass is meant. Richard Meadow (personal communication, 9 May 2009) however reminds that "domestic asses can go feral".

[30] The original scene of this myth may have been lower Sindh, distinguished at least today from the rest of the Indus Valley by palmyra palms. Balarâma, who is much addicted to drinking palm wine, has the palmyra palm in his banner (he is called *tāla-ketu, tāla-dhvaja* and *tāla-bhṛt*). Megasthenes (in fragment 12 = Arrian's Indica 7,3) c. 300 BCE mentions the *tála* tree, which has been fairly unanimously identified with Sanskrit *tāla-* 'palmyra palm, *Borassus flabelliformis*' (cf. *Karttunen*, 1997, p. 138). Sanskrit *tāla-*, attested since the epics, is a loanword from Dravidian **tāẓ* (cf. DEDR no. 3180; *Mayrhofer,* 1996, II, p. 242–243); it might be derived from **tāẓ* 'leg, stalk / stem of plants', in Toda 'animal's hind leg, trunk of tree'. The Indus sign depicting 'animal's hind leg' occurs once as the first member in a compound where the latter member is 'fish' = Dravidian **mīn*, which has a homophone meaning 'star'; thus it may be connected with Old Tamil *tāẓ* 'leg', which is attested as a star name as well (*Parpola,* 2009). The 'animal's hind leg' sign occurs once also in front of the 'wild ass' sign, thus reminding (with this phonetic reading) of the myth of the ass demon, its kicking hind legs, the palmyra palm, and Balarāma.

[31] As in figures 11–13!

[32] Harivaṃśa 57: *12 dāruṇo dhenuko nāma daityo gardabharūpavān | kharayūthena mahatā vṛtaḥ samupasevate – 13 sa tat tālavanaṃ ghoraṃ gardabhaḥ parirakṣati | nṛpakṣiśvāpadaganāṃs trāsayānaḥ sa durmatiḥ – 15 śabdānusārī saṃkruddho darpāviddhasaṭānanaḥ | stabdhākṣo heṣitapaṭuḥ khurair nirdārayan mahīm – 16 āviddhapuccho hṛṣito vyāttānana ivāntakaḥ | āpatann eva dadṛśe rauhiṇeyam avasthitam – 17 tālānāṃ tam adho dṛṣṭvā sadhvajākaram avyayam | rauhiṇeyaṃ kharo duṣṭaḥ so 'daśad daśanāyudhaḥ – 18 padbhyām ubhābhyāṃ ca punaḥ paścimābhyāṃ parâṅmukhaḥ | jaghânorasi daityaḥ sa rauhiṇeyaṃ nirâyudham – 19 ābhyāṃ sa jagrāha padbhyāṃ taṃ daityagardabham | āvarjitamukhaskandhaṃ prairayat tālamūrdhani – 20 sa bhagnorukaṭigrīvo bhagnapṛṣṭho durākṛtiḥ | kharas tālaphalaiḥ sārdhaṃ papāta dharaṇītale – 21 taṃ gatāsuṃ gataśrīkaṃ patitaṃ vīkṣya gardabham | jñātīṃs tathāparāṃs tasya cikṣepa tṛṇarājani – 22 sā bhūr gardabhadehaiś ca tālapakvaiś ca pātitaiḥ | babhāse channajaladā dyaur ivāvyaktaśāradī – 23 tasmin gardabhadaitye tu sānuge vinipātite | ramyaṃ tālavanaṃ tad dhi bhūyo ramyataraṃ babhau.*

While *gardabha-* is the term for the ass favoured in the Harivaṃśa, the Bhāgavata-Purāṇa uses more *khara-(khararūpadṛk* 10, 15, 23), but also the archaic *rāsabha–* (*asurarāsabhaḥ* 10, 15, 29).

[33] Georg Buddruss has suggested that the Dardic languages in the mountainous northern Indus Valley borrowed this word from an Indo-Aryan language of the plains, since dental ḍ instead of retroflex ḍ in *gadā* does not reflect the normal development of - rd-, but *Fussman* (1972, II, p. 61 n. 1) points out that actually the treatment of -rd- in Dardic and Nuristani languages is obscure.

an animal name suffix *-bha-* is of ancient origin (cf. Greek *élaphos* 'deer'), it was still productive in Old Indo-Aryan (cf. *Debrunner,* 1954, II.2, p. 746–747 #591a). Not only is it found in another Rigvedic word for ass, *rāsabha-*, but, though yet another Indo-Aryan word for ass, *khara-*, is without this suffix, it has been added, together with the deminutive suffix *-ka*, in **kharabhaka-* 'hare' (= a small animal resembling the ass in that it has long ears), the Old-Indo-Aryan basis of Nepali *kharāyo*, Oriya *kharā, khariā, kherihā*, Marathi *kharehā* and Hindi *kharahā* (cf. *Turner*, 1966, no. 3823). Cf. also classical Sanskrit and Pali *karabha-, kalabha-* 'young elephant or camel' (cf. *Turner,* 1966, no. 2797, also for New Indo-Aryan cognates), which in all likelihood is composed of *kara-* m. 'hand' + the suffix *-bha-*, and originally denotes the elephant, a South Asian animal, cf. Sanskrit *hastin-* 'elephant' < *hasta-* m. 'hand' + possessive adjective suffix *-in-* (cf. *Mayrhofer*, 2001, III, p. 62).

Although Sanskrit g*ardabha-* m. 'ass', like Tamil *kaẕutai* and its cognates in other Dravidian languages, in most of its occurrences undoubtedly means 'donkey', in some cases it seems to denote the 'wild ass', which probably was the original meaning of the etymon. Thus Brockington (1984, p. 89) notes that while asses are called *khara-* in the Rāmāyaṇa, the word *gardabha-* in its single occurrence denotes *Equus hemionus* Pallas. This identification, obviously based on the colour of the animal, appears to be correct. The single occurrence is in 3, 22, 1, where "a rumbling storm cloud" (*mahāmeghas tumulo*), "ruddy as the wild ass" (*gardabhāruṇaḥ*), "rained water red as blood" (*śoṇitodakam abhyavarṣat*). Pollock (1990, III, p. 133) translates "mule-gray", but *gardabha-* is not 'mule' (in Sanskrit 'mule' is mostly *aśvatara-*) and *aruṇa-* is not 'gray' but 'red, ruddy, reddish-brown, tawny, light brown'.

One of the native terms for 'the Indian wild ass' is (Hindi) *khar-gadhā*: the compound is not found in Hindi and Urdu dictionaries (*Platts,* 1884; *McGregor,* 1993; *Varmmā*, 1990–1993), but it is recorded in this sense in 1832 by James Tod in his monumental description of Rajasthan (*khur-guddha* in Tod, 1914, II, p. 264, normalized into *khargadhā* by William Crooke in: *Tod,* 1920, III, p. 1306), and in 1834 (spelt *khur-gudha*) by Alexander Burnes, who during his survey of the Indus region had observed the wild asses in the Rann of Kutch (cf. *Denzau, Denzau,* 1999, p. 55–56). The compound goes back to Sanskrit *khara-gardabha-*, which is not found in any Sanskrit dictionary, either, but is actually attested in Matsya-Purāṇa (perhaps 400 CE).[34] In chapter 118 this text lists wild animals and plants in Himalayan foothills where the river Airāvatī (modern Ravi) has its source (verse 2). After rhinoceroses and wild boars, verse 61 mentions "swift-going wild asses" (*turaṃgān kharagardabhān*). In view of the location given, this may refer to the kiang, the Tibetan wild ass.

'Wild ass' is likely to have been the original meaning even of the following Dravidian words for 'horse' (recorded in DEDR 1711a): Tamil *kutirai*,[35] Malayalam *kutira,* Kota *kudyr*, Toda *kïθïr*, Kannada *kudire, kudure, kudare*, Kodagu *kudïre*, Tulu *kudur*è, Telugu *kudira, kudaramu*. In Tulu, the word also means 'grasshopper' and 'lock of a gun' (this meaning is found in Tamil and Kannada as well) and 'catch of an umbrella': these secondary meanings support the derivation (suggested by Burrow and Emeneau) from the Proto-Dravidian root **kuti* 'to jump, leap, shake, jolt, gallop, trot' (DEDR 1705, attested from Tamil to North Dravidian

[34] The Purāṇas are very difficult to date, but the Matsya-Purāṇa has been considered as "one of the best preserved and earliest", and may date from c.400 CE. (cf. *Rocher,* 1986, p. 199).

[35] *Kutirai* 'horse' is attested in Old Tamil literature (c. 200 CE+), cf. *Kuṉṟuntokai,* 74,1; Akaṉāṉūṟu 1,2.

[36] The Indus sign no. 216 (cf. *Parpola*, 1994, p. 74), which in the seal M-1097 precedes the wild ass sign and probably is its attribute, could depict "running legs" and stand for a Proto-Dravidian word meaning 'swift' or 'running, galloping' (cf. DEDR 1705 Tamil *kuti* 'leap, gallop, etc.', 4087 Tamil *pāy* 'leap, gallop, flee, etc.', 5417 Tamil *virai* 'swift, quick', possibly also 1041 Tamil *ōṭu* 'to run'). I emphasize that this is nothing but an educated guess, a very tentative working hypothesis to be thoroughly tested in future. The Matsya-Purāṇa characterizes the wild ass as 'swift-going' (*turaṃga-*).

Fig. 17. Indian subjects bringing an ass as a gift to the great king. Persepolis.
Photo 2005 by Asko Parpola.

4796 (28) Hariṇaḥ 〔藏〕 ʼa-bkra
〔漢〕 花鹿

4797 (29) Gāura-kharaḥ 〔藏〕 Rgyaṅ
〔漢〕 豪騶馬、野驢 〔和〕 中央亞細亞に
多く產する野馬の一種なり

4798 (30) Ghoṭaka-mṛigaḥ 〔藏〕 Rta-
rgod
〔漢〕 生馬、野馬

Fig. 18. Mahāvyutpatti 4797 in Sakaki 1916.

Fig. 19. Gaur bison (*Bos gaurus*) in the zoo of Bronx, New York. Photo (from Wikipedia) 2007 by Cyndy Sims Parr.

Kurukh).[36] That **kutiray* indeed goes back to Proto-Dravidian is suggested by its unexpected presence in the Dardic language Tirahi: "One curious Tir[ahi] word ought to be noticed. The resemblance between *kuzᵊra* 'horse' and Tamil *kudirei* and other Dravidian words is too striking to be accidental." (*Morgenstierne*, 1932, p. 21; cf. also *Fussman,* 1972, II, p. 111).

In 1929, Tirahi was spoken in three villages southeast of Jalalabad in Afghanistan; its speakers had been expelled from Tirah in Pakistan (southwest of Peshawar) by Afghans a couple of centuries earlier (cf. *Morgenstierne*, 1932, p. 20; *Bashir,* 2003, p. 857). According to Morgenstierne (1965, p. 138–139), Tirahi is "probably the remnant of a dialect group extending from Tirah through the Peshawar district into Swat and Dir ... connected with Kalam Kohistani and Torwali, but retaining forms of a Lahnda type". It belongs to the 'Dardic' group of "those Northwest Indo-Aryan languages which, because of their isolation in the mountains of the Hindu Kush, Swat and Indus Kohistan, the Karakorams and the Western Himalayas, have retained ancient and developed new characteristics different from the IA languages of the Indo-Gangetic plain... Dardic languages on the whole underwent fewer of the major M[iddle] IA phonological and morphological developments than plains IA" (*Bashir*, 2003, p. 821–822). The Dardic languages alone among the New Indo-Aryan languages have preserved traces of the Rgvedic gerund in *-tvī*, which in later Vedic occurs only a couple of times (cf. *Tikkanen*, 1987: 76–90, 252–253). Phonologically it seems possible that Tirahi *kuzᵊra* preserves from early Old Indo-Aryan a Proto-Dravidian loanword **kudira*, cf. Tirahi *az* 'today' < Old Indo-Aryan *adya* (*Fussman,* 1972, II, p. 75–77), and the preservation of final *-ra* of Old Indo-Aryan *cukra-* 'vinegar' in several Dardic languages (cf. *Fussman,* 1972 II: 45–47).

#5. The Persian and Indian wild ass in Iranian and Indo-Aryan languages

Among the other Sanskrit words for 'ass',[37] the word *rāsabha-*[38] is mainly restricted to Vedic (1000 BCE+), and even in Middle Vedic texts mentioned as an archaic expression.[39] It seems that

[37] Gamkrelidze and Ivanov (1995: 480 n. 24) mention *párasvant-* as a Rigvedic term for 'wild ass'. This meaning indeed was generally accepted for a long time ever since it was first proposed by Böhtlingk and Roth (1864 IV: 497 "ein best. grösseres Thier, viell. der wilde Esel"). But Heinrich Lüders (1942, p. 50–56) pointed out that *párasvant-* corresponds to Aśoka's *palasata-* and Pali *phalasata-*, which the commentators explain to be *khagga-miga* 'rhinoceros', and which is clearly identifiable as such on the basis of Jātaka no. 546, which mentions "rhinoceros skin (*phalasataṃ cammam*) carefully wrought by the leather-workers" as "a defence to keep off arrows". As an etymology Lüders suggested *páras-* < Proto-Indo-European **pelos* 'fold' + the suffix of possessive adjective *-vant-*, since the folded skin is one of the distinguishing characteristics of the rhinoceros. Mayrhofer (1996, p. 88) quotes this (correcting the reconstruction to **péles* 'Falte'), but considers the etymology uncertain. I would like to suggest that the rhinoceros was understood (as the Jātaka passage quoted suggests) to possess 'shields' (which used to be made of skin), connecting the word with Greek *pélas* 'skin', Latin *pellis*, German *Fell*, etc., and Greek *péltē* and *pálmē* both meaning 'light shield', derived from the root **pel-* 'to cover' (cf. *Pokorny,* 1959, p. 803; *Frisk,* 1970, II, p. 499). 'Shield' appears to be implied also by the Pali variant *phalasata-*, cf. the following words in this meaning: Sanskrit (and Pali) *phala(ka)-* (from the epics onwards), *sphara(ka)-* (lexica), Buddhist Hybrid Sanskrit *phara-* 'shield', Bengali *phar*, etc., which seem to be loans from Iranian **spara-* 'shield' rather than from Dravidian (Tamil *param* 'armour for the body, a kind of shield' and its cognates in Malayalam and Kannada listed in DEDR no. 3958 are rather loans from Indo-Aryan) (cf. *Turner,* 1966, no. 9054; *Mayrhofer*, 1996. II, p. 202).

[38] The word *rāsabha-* 'ass' is most probably from the OIA verbal root *ras-* 'to cry' [cf. Śatapatha-Brāhmaṇa 6, 1, 1, 11 "and that which, as it were, cried (*ras-*), became the ass (*rāsabha-*)"] + the OIA animal name suffix *-bha-* (cf. *Mayrhofer*, 1996, II, p. 441, 450).

[39] Taittirīya-Saṃhitā 5, 1, 5, 7 says of the *gardabha-*: "the sages called it *rāsabha-*" (*rāsabha ity hy etam ṛṣayo 'vadan*); cf. *Rau*, 1980–1981, p. 182 n. 1.

rāsabha- has at least in some early contexts denoted the wild ass. In particular, I have in mind its role as the animal pulling the chariot of the Aśvins. The Nighaṇṭu (1,15 *rāsabhāv aśvinoḥ*) and the Bṛhaddevatā (4,125 ed. Tokunaga = 4,141 ed. Macdonell *rāsabhaḥ sahito 'śvibhyāṃ*) consider the *rāsabha-* as the very animal of the Aśvins, in spite of the fact that these divine twins are associated with the horse (*aśva-*) even in their name, and that they are the charioteers *par excellence* (cf. Zeller, 1990, p. 109–112). The Aśvins are asked to yoke a single *rāsabha-* to their chariot in Rigveda 8, 85, 7.[40] In 1, 34, 9 the single *rāsabha-* to be yoked is called *vājin-*'swift'; and according to Rigveda 1, 116, 2, a single ass won a thousand (cows/verses) for the Aśvins in Yama's prize-contest.[41] In another divine race described in Aitareya-Brāhmaṇa 4, 7–9, the ass-chariot (*gardabharatha-*) of the Aśvins defeated the mule chariot of the fire-god Agni, the cow-chariot of Uṣas (the goddess of dawn) and the horse chariot of Indra (the god of war and thunder). It seems quite likely to me that the Aśvins as the foremost gods of chariot-racing[42] won the race because they used an animal that beats even the horse.[43]

The Asiatic wild asses are the swiftest and strongest of all equids:

> "When chased, they [the Indian wild asses] run at 48 to 51 km/hr, a speed which can be kept up over a considerable distance. They always run out into the open salt flat when disturbed (Ali 1946). ... All authors agree on the onager's speed and stamina. Ali's timed speeds from Kutch are in fact the slowest records for the species! Solomatin (1964) states that onagers in Badkhys can run at 60–70 km/hr and keep it up for 10 km – and can go for much longer at 40–50 km/hr. A female caught in Iran (Mohr 1961) was chased for more than three-quarters of an hour at 45–48 km/hr..." (*Groves,* 1986: 38).

Herodotus (7,86) states that the Indian soldiers fighting in the Persian army of Xerxes in 480 BCE had chariots drawn by horses and by wild asses (*hupò dè toîsi hármasi hupêsan híppoi kaì ónoi ágrioi*). Herodotus is supported by the Persepolis reliefs of the *apadāna* stairway, showing subjects from the 23 provinces of the empire bringing gifts to Xerxes. The 18th delegation is unanimously identified as consisting of three men from India, i.e., the province of Hinduš (Sindh). Two of the men bring as a new year's gift to the great king an ass-jack (fig. 17). This ass, which has the height of a horse, is hardly an ordinary domestic ass: it is supposed to represent a wild ass for the royal park, on the basis of the Assyrian reliefs depicting a royal onager hunt (cf. *Walser*, 1966, p. 94–95; the Assyrian reliefs are reproduced in *Denzau, Denzau,* 1999, p. 185). In the Kharaputta-Jātaka (no. 386) mules (addressed as *kharaputta-* 'son of ass' in stanza 80) from Sindh are yoked to the chariot of a king.[44] In the Rāmāyaṇa, "a simile compares an ass's gait disparagingly to a horse's (2.98.6a = 6.116.5a); on the other hand, among the presents which Aśvapati gives to Bharata on his departure are swift, well-harnessed asses (2.64.20, not however in most N. mss.)" (*Brockington,* 1984, p. 89).

---

[40] RV 8,85,7 *yuñjāthām rāsabham rathe vīḍaṅge vṛṣaṇvasū.*

[41] RV 1,116,2 *tad rāsabho nāsatyā sahasram ājā yamasya pradhane jigāya.*

[42] The Aśvins are called *surathā rathītamā* in Rigveda 1, 22, 2; cf. Zeller 1990: 92. Even the aśvamedha hymn RV 1,162 mentions (in verse 22) the yoked *rāsabha-* (of the Aśvins).

[43] This however, is not the only reason why the Aśvins are associated with the ass. Another reason is the fame of the ass as a seminator, which plays an important role in marriages and funerals, these being indeed the contexts in which the Aśvins ran their races with the ass-chariot (see *Parpola,* 2005: 29–36). The domestic ass with its darker skin would in its colour suit the funeral context better. Aitareya-Brāhmaṇa 4,9 ends the story of the race by identifying the animal explicitly with the domestic ass by explaining why the ass is the slowest beast of burden: it is because it won, its speed was spent. But in compensation, it possesses twofold sexual power. It mates not only with the she-ass but with the mare as well (cf. *Rau,* 1980–1981, p. 183).

[44] Jātaka, no. 386 p. 278 *rājā c'eva ratheyuttasindhavā... eko ratheyuttasindhavo...* I thank Klaus Karttunen for his reference to this passage.

Modern efforts to domesticate the khur and even to breed hybrids have been unsuccessful.[45] But the Roman author Claudius Aelianus (c. 170–240 CE), in his work on the nature of the animals written in Greek (*N. An*. 16, 9), states that only foals and young animals of the Indian wild horses and asses were caught (because those over two years were already untameable), and that they were brought to the king of the Prasians. This reference to Prasians reveals that the source here is Megasthenes, the Greek ambassador who around 300 BCE visited the capital city Pāṭaliputra (modern Patna in Bihar) of Candragupta Maurya, the king of the "easterners" (Sanskrit *Prācyāḥ*). Megathenes's description of India is known from quotations only. Valentin Ball (1885, p. 285–286) told that in his time wild asses were often taken for wild horses, and that Indian wild asses were still caught in Rajasthan and sold to local princes. (Cf. *Karttunen,* 1997, p. 179).

In the North Dravidian language Brahui spoken in Baluchistan and Sindh the wild ass is called *gōr*. This is a loan from the Iranian Baluchi language, which is spoken by most Brahui speakers (cf. *Rossi,* 1979, p. 193, no. H379). 'Wild ass' is *gōr* in Middle and New Persian and Urdu as well, and as a Persian loanword in Kurdish (cf. *Horn,* 1893: 209 no. 938). Pashto *ɣyara* f. 'wild ass' may come from **ɣwari* (+ *-a*) < **gaurī* (cf. *Morgenstierne et al.,* 2003, p. 34). In Persian, Gōr or Bahrām-e-Gōr is also the name of the Sasanid king Bahrām V (421–438/9), famous on account of his passion to hunt this graceful and swift animal, recounted by Firdausī in his Šāhnāma and by other poets. Some of the poets, like Omar Khayyam, play in their verses with the homonymy of the Persian words *gōr* 'wild ass' and *gōr* 'grave' and 'desert' (see: *Denzau, Denzau,* 1999, p. 195–197; cf. *Steingass,* 1892, p. 1101b).

In Persian, 'wild ass, onager' is called also *gōr-χar* (*Steingass,* 1892: 1102a), where *χar* is the Persian word for 'ass, donkey' (cf. also *χar-gōš* 'hare', literally 'one that has the ears of a donkey'). Middle and New Persian *χar* has cognates in practically all known Iranian languages, including, among others, Baluchi and Pashto *χar*, Wakhi *χur*, Khotanese Saka *khara*, Ossetic *χæræg* and Avestan *χara-* (cf. *Horn,* 1893, p. 104, no. 473; *Steblin-Kamenskij,* 1999, p. 409). It corresponds to Indo-Aryan *khara-* 'ass', attested since the Paippalāda-Saṃhitā of Atharvaveda (20, 39, 2) (c. 950 BCE); but it is not found in the Rigveda. It is debated whether Indo-Aryan got the word from Old Iranian, or whether it goes back to Proto-Indo-Iranian **khara*; in either case the word is ultimately likely to be a loanword, possibly from Semitic: Akkadian (at Mari in Syria) has *ḫārum, ajarum* 'donkey stallion' (cf. *Mayrhofer,* 1992, I, p. 447). In most New Indo-Aryan languages (Hindi, Punjabi, Gujarati, Marathi) the word is *khar* (*Turner,* 1966, no. 3818; *McGregor,* 1993, p. 230a; for the Dardic and Nuristani languages, see also: *Fussman,* 1972, I, p. 60–62).

The name *khur* [46] for the Indian wild ass comes from the scientific name *Equus khur* (now *Equus hemionus khur*) given to it in 1827 by the French biologist René-Primevère Lesson. Lesson's source was the short anonymous article entitled "Der wilde Esel", which was published in the encyclopedic journal *Isis* (edited by L. Oken in Stuttgart) in 1823 (cf. *Denzau, Denzau,* p. 55). Wishing to check how the name was spelt in Lesson's source, I dug up the article, which confirmed my suspicion that *khur* is an Anglicized spelling of *χar* or *khar*: "Dieser Esel, den die Eingeborenen Khur (die persische Benennung dieses Thieres) nennen, ist bedeutend dauerhafter wie der zahme Esel..." (Isis, 1823, Siebentes Heft, col. 764).

[45] "Considering their size and sturdiness and their potential as draft animals, efforts have been made to break them [the Indian wild asses] in and also to breed mules from them for use in mountain transport by the Army, but they have not been successful" (*Hawkins,* 1986, p. 26).

[46] English *khur* is at the moment not to be found in "The Oxford English Dictionary" (online), "The Shorter Oxford English Dictionary" (1959), "Webster's new twentieth century dictionary of the English language" (unabridged 2nd ed.) or "Collins Dictionary of the English Language" (1982).

The Persian compound *gōr-χar* has a counterpart in Hindi *gōr-khar*. This compound is not in McGregor's Hindi dictionary (1993),[47] possibly because Platts (1884, p. 923b) recorded it as a Persian loanword: "*gor-khar* (or *khar-e-gor*), or *gor*, s. m. 'The ass of the desert, the wild ass, the onager'". This is under the lemma "*gor* s. f. A grave, tomb; in P[ersian] also 'a desert'." Persian (and Baluchi, Brahui and Urdu) *gōr* 'grave, tomb' (associated with the homonym *gōr* 'wild ass' by Persian poets) is however a Semitic loanword in Persian (cf. *Horn,* 1893, p. 210), and as an etymology for *gōr-χar* 'wild ass' this word is excluded by the Indo-Aryan cognates.

James Tod in his 1832 work on Rajasthan mentions *gorkhur* as one of the local appellations for the 'wild ass' (thus *Tod,* 1914, II, p. 264; in: *Tod,* 1920, III, p. 1306, normalized into *gorkhar* by William Crooke). The only known Middle Indo-Aryan reference mentioning *gōra-khara* is in the fourth Upāṅga of the Jaina canon, Pannavaṇāsutta (Prajñapanā) which describes the various forms and qualities of the living beings, written in the Ardhamāgadhī language by the monk Ārya Śyāma alias Kālaka in Ujjain c. 79 BCE (cf. *Jaini,* 1979, p. 60; *Glasenapp,* 1925, p. 95; 99; 43). Chapter 1,71 briefly enumerates the one-hoofed animals (*ega-khurā*), including the *gōra-khara*.[48] The Prakrit dictionaries translate this 'a kind of ass' (*Sheth,* 1963, p. 302b "*gardabh kī ek jāti*") or 'white ass' (*Ratnachandraji*, 1923–1938, II, p. 653a "*śveta-gardabha; safed gadhā.* a white ass"). As the author resided in Ujjain, this should be the Indian wild ass, the khur. But Sanskrit *gaurakhara* in Matsya-Purāṇa[49] 118, 58 probably denotes the kiang, the Tibetan wild ass, since it occurs in the same description of wild animals of the Himalayan foothills around the source of the Ravi river as the already cited occurrence (in verse 61) of *kharagardabha*. Immediately before *gaurakhara*, the verse 58 mentions elephants in rut, water buffaloes, bison bulls, yaks and sṛmaras[50] (*tathā mattāṃś ca mātaṅgān mahiṣān gavayān vṛṣān | camarān sṛmarāṃś caiva tathā gaurakharān api*). The kiang is undoubtedly meant also in the single occurrence of Buddhist Hybrid Sanskrit *gaura-khara-*, attested with the Tibetan translation *rgyang* (the source of the name *kiang* used of the Tibetan wild ass, *Equus kiang*) in Mahāvyutpatti (no. 4797), a ninth century text compiled at the order of the Tibetan king Khri lde srong brtsan (the edition by Sakaki has Chinese and Japanese 'glosses',[51] see fig. 18).[52]

---

[47] Varmmā (1992 II: 141a), however does record Hindi *gōr-khar*, glossing it as a kind of wild ass that is bigger than the donkey but smaller than the horse and is found in northwestern India ("gadhe kī jāti kā ek prakār kā jaṃglī paśu jo gadhe se baṛā aur ghoṛe se choṭā hotā tathā uttar-paścimī bhārat meṃ pāyā jātâ hai").

[48] Pannavaṇāsutta 1,71: *se kiṃ taṃ egakhurā | egakhurā aṇegavihā paṇṇattā | taṃ jahā assā assatarā ghoḍagā gaddabhā gorakharā kaṃdalagā sirikaṃdalagā āvattā je yāva 'ṇṇe tahappagārā | se ttaṃ egakhurā.* (I am obliged to Petteri Koskikallio for sending me the text of this passage.) The first five animals correspond to Sanskrit a*śva-* 'horse', *aśvatara-* 'mule', *ghoṭaka-* 'horse', *gardabha-* 'ass', *gaurakhara-* 'wild ass'. The remaining words are known as names of equids from this passage alone. *kandalaga and sirikandalaga-* have no counterpart in Sanskrit (*kandalaka-* mentioned as such by Sheth, 1963, p. 212a does not exist), but they mean 'the neighing one', and 'the auspiciously neighing', being derived from the Old Indo-Aryan root *krand-* 'to neigh'; *āvatta-* corresponds to Sanskrit *āvarta-*, which does not denote an animal, but the spots of whirling hair on the body of a horse, interpreted as omens (cf. *Caland*, p. 1911).

[49] As noted above, a possible date for this text is 400 CE. (cf. *Rocher,* 1986, p. 199).

[50] Sṛmaras are unidentified animals frequenting wet places (cf. *Mayrhofer*, 1996, II, p. 744).

[51] Since neither Chinese nor Japanese has a native term for the wild ass, the 'glosses' in Sakaki's edition are actually descriptive paraphrases. Edgerton (1953, II, p. 218a) correctly translates the Japanese paraphrase as "a kind of wild horse found [to be added: in large numbers] in Central Asia"; and the Chinese paraphrase as "reddish-brown horse, or (2) wild mule (ass?)". The zoological species names used here in Chinese are 焦 ma3 'horse' and 騧 *luo2* 'mule'. According to Giles (1909–1912: 912, no. 7290), the Chinese term 騧 *luo2* 'mule' refers specifically to 'the offspring of an ass and a mare'.

[52] Professor Tooru Aiba of the Tohoku University in Japan kindly sent a copy of this entry in Sakaki's edition of 1916.

Many sources[53] mention as the Hindi name of the Indian wild ass *ghor-khar*. The aspiration is probably not a mistake, but reflects a folk-etymological transformation. I assume that the proper spelling would be *ghoṛ-khar* 'horse-ass', although such a compound cannot be found in the Hindi and Urdu dictionaries. What can be found is that Hindi *ghoṛā* 'horse'[54] appears in the contracted form *ghoṛ-* or *ghuṛ-* when it is the first member of a compound (cf. *Platts,* 1884, p. 938b; *McGregor,* 1993: 292b, 289b). Reference has already been made to Ball (1885: 285–286) who says that the Tibetan wild ass was often taken to be a wild horse in his time.[55]

The important lexicographic work Yaśastilakacampū of the Jaina author Somadevasūri, who wrote in 951 in Ujjain, records *gaura-khura* and *khara-khura* in the sense of 'wild ass' (cf. *Schmidt,* 1928, p. 178b, 163a). The latter member of these compounds is clearly Sanskrit *khura* 'hoof', which has survived in this meaning in the New Indo-Aryan languages, mostly in the form *khur* (cf. *Turner,* 1966, no. 3906), but used in the sense of *khurin-* 'hoofed animal', although this meaning is not elsewhere attested for *khur(a)*. In spite of Mayrhofer's doubt (1992, I, p. 454), Sanskrit *khura-*, first attested relatively late in Vedic literature (Aitareya-Āraṇyaka and Śrautasūtras), is likely to be a Dravidian loanword in Indo-Aryan as suggested by Burrow, Emeneau (1984, p. 161 in DEDR no. 1770, which records in the meaning 'hoof' Tamil *kuracu, kuraccai*, Kannada *gorasu, gorise, guruse*, and Telugu *gorija, gorise, gorije, korije*).

The oldest occurrence of *gaura-khara* in Sanskrit is in the Vasiṣṭha-Dharmasūtra, which perhaps dates from the 2nd century BCE. In 21, 1–3 this law text contrast three varieties of ass according to their colour in its prescription of punishments for illicit sex, associating these varieties with three social classes.[56]

> "1. If a Śūdra has sex with a Brahmin woman, he should be wrapped in Vīraṇa grass and thrown into a fire. The Brahmin woman's head should be shaved and her body smeared with ghee, and she should be paraded on a highway naked and seated on a black ass [*kṛṣṇakhara*].[57] 'In this way,' it is stated, 'she becomes pure.'

---

[53] According to *Denzau, Denzau* 1999, p. 15–16, such early authors as Geoffrey-Saint-Hilaire in 1835, Sclater in 1862, *George*, 1869 speak of *ghor-khur*; cf. in addition *ghor-khar* in: *Lüders*, 1942, p. 53; *Prater*, 1971, p. 227; *Groves,* 1986, p. 24; *Possehl,* 1999, p. 188.

[54] Hindi *ghoṛā* goes back to Sanskrit *ghoṭa(ka)-* 'horse', which is first attested in later Vedic texts describing horse-shaped implements connected with *gharma* or *pravargya* ritual belonging to the cult of the Aśvins (Āpastamba-Śrautasūtra 15,3,12). The word is considered to be of foreign origin, but the etymology is debated (cf. *Mayrhofer,* 1992, I, p. 517; *Turner,* 1966, no. 4516; DEDR no. 1711; *Krishnamurti,* 2003, p. 12). I have suggested that the characteristic 'face urns' with horse-decorated lids of the "Gandhāra Grave" culture of the Swat Valley, introduced around 1500 BCE, are connected with the *gharma* vessel equated in the texts with a hero's head (*Parpola,* 2004). As the "Gandhâra Graves" appear to go back to the BMAC culture of southern Central Asia excavated by Viktor Sarianidi, the word *ghoṭa-* may have come to Indo-Aryan from the original BMAC language after the BMAC was taken over by the Proto-Indo-Aryan speakers coming from the northern steppes.

[55] Klaus Karttunen in a personal communication further suggests that when the Mahâbhârata (2, 47, 17–18) speaks of "wild horses" (*āraṇyān... aśvān*), wild asses are likely to be meant – as there were no wild horses in South Asia.

[56] The four social classes of classical India from the highest to the lowest are: (1) *brāhmaṇa* or Brahmin: priests, (2) *kṣatriya*: rulers and warriors, (3) *vaiśya*: peasantry, artisans and merchants, and (4) *śūdra*: serfs. These four social classes are called *varṇa* 'colour', and four colours are associated with them: (1) white, (2) red, (3) yellow or green and (4) black. The social classes are similarly associated with many other cosmic categories: the directions of space (E - S- W- N), seasons (spring - summer - rains - winter), etc. In the Vedic texts, however, this cosmic classification is complicated by the fact that various texts have different numbers of entities, starting with three (the śūdras are omitted or combined with the vaiśyas in the threefold scheme). Cf. *Smith,* 1994.

[57] One manuscript (Ka) out of eight, one (Calcutta) edition out of three, and four commentaries on other Smṛti texts in their quotations of this rule omit *kṛṣṇa*, having just *khara*; but one of these commentaries has *kṛṣṇa* in another quotation of the rule; cf. *Olivelle,* 2000, p. 692.

> 2. If a Vaiśya has sex with a Brahmin woman, he should be wrapped in tufts of Lohita straw and thrown into a fire. The Brahmin woman's head should be shaved and her body smeared with ghee, and she should be paraded on a highway naked and seated on a yellow ass [*gaurakhara*].[58] 'In this way,' it is stated, 'she becomes pure.'
> 3. If a Kṣatriya has sex with a Brahmin woman, he should be wrapped in Śara grass and thrown into a fire. The Brahmin woman's head should be shaved and her body smeared with ghee, and she should be paraded on a highway naked and seated on a white ass [*śvetakhara*].[59] 'In this way,' it is stated, 'she becomes pure.'
> 4. The same punishment applies to a Vaiśya who has sex with a Kṣatriya woman
> 5. and to a Śūdra who has sex with a Kṣatriya or a Vaiśya woman" (Transl. *Olivelle,* 2000, p. 437).[60]

Here the *gaura-khara-* is contrasted with the *kṛṣṇa-khara-* 'black ass', the darker, gray donkey (see figure 4).

The Indo-Aryan cognate of Persian *gōr* 'wild ass, onager', Sanskrit *gaura-* (attested since the Rigveda, c. 1000 BCE), is primarily a colour term, meaning 'white, yellowish, fair-skinned, pale red', and these are the basic meanings of the cognates also in Middle and New Indo-Aryan languages (cf. *Turner,* 1966, no. 4345). Etymologically the word seems to mean 'cow-coloured', as it probably is derived with the suffix *-ra-* from *gav-* 'cow',[61] although the long grade ablaut in the beginning is unusual (cf. *Mayrhofer,* 1992, I, p. 503). On the Iranian side the only cognate with the colour meaning is Baluchi *gōraγ* 'gray, white'; does this attest for an Indo-Iranian origin, as Mayrhofer thinks, or is the Baluchi word loan from Indo-Aryan **gauraka-*, which is the basis of New Indo-Aryan *gōrā-* (in most languages)? And if so, has *gōr* as the name of the wild ass in Iranian also its origin in Indo-Aryan? The etymon is not attested in Old Iranian either as a colour term or as an appellation of an animal.

Indo-Aryan *gaura-* is attested not only as a colour-adjective but also, since the Rigveda, as a substantive denoting an animal. In this meaning the standard interpretation has long been, not 'the wild ass', but 'the gaur or Indian bison (*Bos gaurus* C. H. Schmith, 1827)' (fig. 19). This is indeed the meaning given for Sanskrit *gaura-* (m.) in all dictionaries and text translations.

---

[58] Two Smṛti text commentaries while quoting this rule omit *gaura*; the commentary on Pārāśara-Mādhavīya in its quotation has *kṛṣṇakhara*; and one manuscript (Ka) as well as the Calcutta edition have *goratha* 'cow-chariot'; cf. *Olivelle,* 2000, p. 692.

[59] The same two commentaries, which in their quotations omit *gaura* in 21,2 also omit *śveta* in this rule (and they omit *kṛṣṇa* in 21,1). Manuscript Ka, the Calcutta edition and one commentary (on Pārāśara-Mādhavīya) read *raktakhara* 'red ass'; one quotation (in Vijñeśvara's commentary on Yājñavalkya-Smṛti) has *gaurakhara* (Cf. *Olivelle,* 2000, p. 692).

No Sanskrit dictionary records the here occurring compound *śvetakhara*. On this "white ass" cf. Kumar et al. (1963: 51): "In India two types of donkeys are met with: the Small Grey Donkey and the Large White Donkey... The latter is light grey to almost bordering on white in colour and is commonly met with in Western Pakistan (Baluchistan and Sind) and in Gujarat State (Kathiawar). Its average height is 11 hands." In colour, size and geographical distribution, the "Large White Donkey" mentioned here agrees with the Indian wild ass. This made me wondering if the khur could have been domesticated or cross-bred with the African donkey. Richard Meadow in reply to my question commented (personal communication, 27 April 2009): "No, the wild half-ass was never domesticated. The donkey mentioned is probably just another breed of the imported African form. The other possibility is that the authors are grouping both domestic donkeys and the half-ass (*khur*) all under the term 'donkey' instead of 'ass'. Grouping them together at all is questionable." After Meadow's reply, I found the following statement in Watt's generally very reliable "Dictionary of the economic products of India" (1890 IV: 297): "A specially fine breed [of the domestic ass] occurs in Kathiáwár, of which the Hálár or Jhálávád white variety is one of the strongest and largest."

[60] There is one modification: "donkey" in Olivelle's translation has been replaced with "ass".

[61] This etymology seems to be supported by the name *Dhenuka* (from *dhenu-* f. cow) of the demonic wild ass killed by Balarāma.

Originally, of course, *gaura-* denotes a 'fair-skinned (cow-coloured) animal'. For the hemione this is an apt characterization, for although the skin colour varies somewhat according to regions and seasons, at least the Indian subspecies is described as "fawn or pale chestnut in colour" (*Hawkins,* 1986, p. 25). For the Indian bison, *gaura-* is less apt as a colour term: "A newlyborn Gaur is a light golden-yellow which soon changes to fawn, then to light brown, and so to coffee or reddish brown, the colour of young bulls and cows. Old bulls are jet black, their bodies almost hairless" (*Prater,* 1971, p. 243).

According to Prater (1971, p. 243), the Hindi name for the Indian bison is *gaur* or *gaur gai*, while in Marathi (the only other Indo-Aryan or Indo-Iranian language mentioned by Prater) the bison is called *gaviya* or *gawa*. Now, *gaur* is a borrowing from Sanskrit in Hindi, having the following meanings: "1. Adj. white, pale; pale red. 2. fair- complexioned. 3. m. the gaur (a wild ox)" (*McGregor,* 1993, p. 281). Prater's *gai* is Hindi *gāy* [< *gāvī-*] 'cow' (*McGregor,* 1993, p. 263). Turner (1966, p. no. 4096) records Nepali *gaurī gāi* 'wild buffalo', a borrowing from Bihari. The ancient Sanskrit term for '*Bos gaurus*' is *gavayá-* m., which according to Turner (1966, no. 4095) survives in Pali *gavaya-* m. 'species of ox', Prakrit *gavaya-, gaüa-* m. 'species of wild ox' and Marathi *gavā, gahū* m. '*Bos gavaeus*'.

The identification of *gaura-* with *Bos gaurus* has from the beginning been based on the observation that it occurs together with *gavaya-*,[62] implying that both are bovids. "As the Vājasaneyi Saṃhitā (XIII.48) expressly mentions wild (*āraṇya*) *Gauras*, they must usually have been tame" (*Macdonell, Keith,* 1912, I, p. 241–242) is an additional assumption. Similar considerations prevail with regard to the *gavaya-*, which the dictionaries and translations take as a different species, *Bos gavaeus*.[63] Nowadays the term *Bos gavaeus*, however, does not refer to a different species, but is used of the tamed variant of *Bos gaurus*, resulting from its cross-mating with the domestic cow. It will become clear from the following that *gavaya-* and not *gaura-* is the Vedic term for *Bos gaurus*.

The word *gavaya-* occurs in the Rigveda just once, in 4, 21, 8c *vidád gaurásya gavayásya góhe*, which speaks of "the hiding place of the fawn bison". I think it is more natural, and in line with the above mentioned New Indo-Aryan names of the Indian bison, to understand *gaura-* here as an attribute of (a young) *gavaya-* than to take it asyndetically as a reference to a different animal species on the basis of their co-occurrence as names of separate animals in later Vedic texts (thus *Geldner,* 1951, I, p. 447). The rest of the verse mentions the mountains and the rains, and these fit the bison which is "by nature shy and timid animal" (*Prater,* 1971, p. 244) and prefers "foothill tracts of sub-humid or deciduous forest" but exists also "in hill zones with moderate to heavy rainfall" (The IUCN Red list of Threatened Species 2008).

The Middle Vedic texts (which date from c. 900-600 BCE) on several occasions refer to a set of five domestic (*grāmya-*) animals, the males of which are immolated as sacrificial victims: 1. man (*puruṣa-*), 2. horse (*aśva-*), 3. cow (*go-*), 4. sheep (*avi-*) and 5. goat (*aja-*). These five domestic animals are correlated with, and contrasted to, a set of five wild (*āraṇya-*) animals.[64]

---

[62] Cf. Böhtlingk and Roth (1858, II, p. 826) s.v. *gaura*: "1) adj. weisslich, gelblich, rötlich. 2) m. eine Büffelart, *Bos gaurus*, häufig neben den *gavaya* genannt." Macdonell and Keith (1912, I, p. 241–242): "*Gaura*, a species of ox (*Bos gaurus*), is frequently mentioned with the *Gavaya* from the Rigveda onwards."

[63] Cf. Macdonell and Keith (1912, I, p. 222): "*Gavaya*, the name of a species of ox (*Bos gavaeus*) occurs frequently from the Rigveda onwards. It is mentioned with *Gaura* and *Mahiṣa* in the Vājasaneyi-Saṃhitā (XXIV.28), where also a wild *Gavaya* is spoken of."

[64] The classification into domestic (*grāmya-*) and wild (*āraṇya-*) animals is based on the contrast prevailing between 'village' (*grāma-*) and 'forest, wilderness' (*araṇya-*) in Vedic thought, for which see *Malamoud,* 1976.

The Aitareya-Brāhmaṇa (2, 8) explains that the gods first slew man as a sacrificial victim. When man had been slewn, his sap or sacrificial qualification (*medha-*) went out of him and entered the horse, which became fit for sacrifice (*medhya-*). From the slaughtered horse the *medha-* went to the cow, and so on. Those from which the *medha-* had gone out they dismissed and they became the following impure animals which may not be sacrificed nor eaten: 1. *kiṃpuruṣa*, 2. *gauramṛga*[65] 3. *gavaya*, 4. *uṣṭra-*, 5. *śarabha-*.

The Śatapatha-Brāhmaṇa (= ŚB), in its description of the great fire altar ritual (7, 5, 2, 14–36), tells that the heads of the above enumerated five domestic animals are placed in the fire pan, which is laid in the centre of the first layer of bricks for the fire altar. The human head is put in the middle of the pan, the head of the horse and the sheep on the north side and the heads of the cow and the goat on the south side. Then the priest recites mantras addressed to Fire at the heads.[66] He thereby removes from the victims the distress (*śuc-* 'burning heat') that they felt at being slewn, and directs this evil to enter the corresponding wild (*āraṇya*) animals.

At the human head the Fire is asked not to harm this two-legged animal (*dvipādaṃ paśum*); its burning heat should go to the *mayu* animal, which according to the ŚB is the *kiṃpuruṣa*.[67] At the horse's head the Fire is asked not to harm this one-hoofed animal (*eka-śaphaṃ paśum*), the racer, neighing among the racers; its burning heat should go to the wild ass (*gauram āraṇyam*).[68] The cow is praised as the giver of milk and its distress is directed to the "wild cow-like animal" (*gavayam āraṇyam*), i.e., the Indian bison (*Bos gaurus*). The sheep is here praised as "woolly" (*ūrṇāyu-*), and its distress directed to the wild camel (*uṣṭram āraṇyam*), another animal noted for its wool. The goat's distress is directed to the wild *śarabha*, an animal whose real identity was mostly forgotten in India in later times (Sāyaṇa, the medieval South Indian commentator of Vedic texts explains it to be an eight-footed lion-killer), which is natural in view of the fact that its habitats were restricted to the mountains of the northwest; the cognates surviving in Nuristani and Dardic languages and in Sindhi and Lahnda reveal it to be 'wild goat': the markhor (*Capra falconeri*), the ibex (*Capra ibex*), or the Sind ibex alias bezoar goat (*Capra aegagrus*) (cf. *Turner,* 1966, no. 12331).[69]

[65] It seems significant that this early compound synonym of *gaura-* has as its latter member not *khara-* but *mṛgá-*. *Mṛgá-* m. denotes a 'wild animal', especially 'hunted game animal', in particular 'deer' or 'antelope' (cf. the denominative verb *mṛgayati* 'hunts'). The word goes back to Proto-Indo-Iranian, but its origin is unknown (cf. *Mayrhofer,* 1996, II, p. 370–371). We know that the wild ass was hunted by the kings of ancient Mesopotamia, Egypt and Persia, and in India by the Mughal emperors Babur, Akbar and Jahangir (cf. *Denzau, Denzau,* 1999, p. 185–200). The cut and charred bones of the wild ass at Gonur and Harappan sites suggest that it was hunted for food. The Middle Vedic texts declare that the meat of the five wild animals listed here may not be eaten, and in later sacred law eating ass, camel and predatory animals is likewise prohibited for a Brahmin (cf. Gautama-Dharmasūtra 23,4). But for instance the Bāhlīka people living in the upper Indus Valley beyond the bounds of orthodox Brahmanism had quite different customs abhorred in the Mahābhārata: "Those who do not eat the meat of the wild boar, the fowl, the cow, the ass, the camel and the goat, their birth is without meaning" (8, 30, 32 *vārāhaṃ kaukkuṭaṃ māṃsaṃ gavyaṃ gārdabham auṣṭrakam | aiḍaṃ ca ye na khādanti teṣāṃ janma nirarthakam*).

[66] The ŚB takes these ritual formulae from Vājasaneyi-Saṃhitā (= VS) 13, 41–51; their wording is closely parallelled by the mantras of Taittirīya-Saṃhitā (=TS) 4, 2, 10.

[67] What is meant by *mayu-* and *kiṃpuruṣa-* has been a major problem; the translations offer "monkey", "sham-man", etc. I have suggested "war-bard", taking *kiṃpuruṣa-* as a folk-etymological transformation of *kinnara-*, which in origin is a Dravidian word for a stringed musical instrument, but is attested in Sanskrit from the epics onwards, mainly denoting a heavenly minstrel (see: *Parpola,* 1983, p. 57–70).

[68] That the wild ass rather than the Indian bison is meant in this context has already been suggested by Chlodwig Werba in a personal communication to Manfred Mayrhofer (cf. *Mayrhofer,* 1992, I, p. 503).

[69] Turner quotes Sindhi *sarahu* m. in the meaning 'a kind of mountain goat', but according to Prater (1971, p. 255) this is the Sindhi name of the Sind ibex. All of these species are distinguished by their mighty horns (cf. *Prater,* 1971, pl. 60), which agrees with the probable etymology for *śarabha-: śara-* < Proto-Indo-European **k'er(H$_2$)-* 'horn' + the animal name suffix *-bha-* (cf. *Mayrhofer*, 1996, II, p. 616).

There is thus a clear connection between a given domestic animal and its wild counterpart. This correspondence is even closer when we consider the earliest texts where this twofold list of five animals is presented. In the Maitrāyaṇī Saṃhitā (= MS) 2,7,17, Kāṭhaka-Saṃhitā (= KS) 16,17, and Kapiṣṭhala-Kaṭha-Saṃhitā (= KapS) 25,8 the wild animals are *mayú-, gaurá-*, *gavayá, meṣá-* and *śarabhá-*, i.e., the same animals as in the ŚB and the TS, with this exception: instead of the camel (*uṣṭra-*), the wild counterpart of the sheep (*avi-*) is *meṣá-* 'ram'. In the Nuristani Prasun language, the cognate *məṣə* denotes besides 'ram' also 'oorial' (cf. Turner 1966: no. 10334); oorial or urial (*Ovis orientalis vignei*) is one of the mightiest wild sheep, with even one metre long horns (cf. *Prater*, 1971, p. 249).[70]

Moreover, in the description of the ritual, these older texts (MS 3, 2, 7; KS 20, 8; KapS 31, 10; cf. also TS 5, 2, 8–9) prescribe just the heads of the horse and the cow to be placed in the fire pot, on either side of the human head; the texts use the dvandva compound *go-aśva-*. In ŚB 1, 2, 3, 9, the other impure (wild) animals deprived of sacrificial essence are mentioned one by one, but those corresponding to the horse and cow are mentioned together, with the verb in the dual (*yāv aśvaṃ ca gāṃ ca, tau gauraś ca gavayaś cābhavatām*). Thus the *gaura-* and the *gavaya-* occur together, not because they should both be bovines as has been supposed, but because they are the wild counterparts of the horse and the cow, that is, the wild ass and the gaur bison.

In all of its early Vedic occurrences, *gaura-* as a substantive that refers to a real animal appears to denote exclusively the hemione. This applies also to the Rigvedic occurrences,[71] which mostly ask the gods to drink the sacred drink "like the thirsty wild ass" (RV 1,16,5 *gauró ná tr̥itáḥ piba*; for the other text places see *Lubotsky*, 1997, I, p. 503). Particularly significant in this connection are the following cases:[72] RV 8, 87, 1d and 4d (to the two Aśvins) "drink/come like two wild asses at a water-depression of salty soil" (*pātám/gantám gaurāv ivériṇe*)! RV 8, 4, 3 (to Indra) come to drink Soma "like a thirsting wild ass goes down to a depression of salty soil created by water" (*yáthā gauró apā kr̥tám tr̥ṣyann éty áveríṇam*). (On these passages and on *íriṇa-* n. as a depression of salty soil, cf. *Falk,* 1986, p. 77–81 and *Mayrhofer,* 1992, I, p. 196). The salt desert is the very habitat of the Indian wild ass, and its specially adapted kidneys allow it to drink even salty water without damage.

There is also another factor that makes the wild ass an icon of a thirsty drinker. Most mammals die if they lose more than 20% of their body water. The hemiones are able to lose even 30% of their body water, and like camels, they can stay a long time without drinking. The blood of the camel contains a lot of aluminium and therefore its osmotic pressure is so high that it does not give up water even if the surrounding tissues are lethally dry. Therefore the camel can drink even 100 litres of water in 10 minutes, so that its body weight rises by one third. If a very thirsty human being would drink a corresponding amount of water, this would destroy the red cells of the blood and he or she would die. The wild ass can slake its thirst even quicker than the camel. This has been important in the past to escape the predators which used to lurk around the water holes. (Cf. *MacKinnon, MacKinnon,* 1974, p. 102–104.)

[70] There are six local varieties of the urial; the other subspecies of *Ovis orientalis*, the mouflon (*Ovis orientalis orientalis*), is more westerly distributed (cf. Wikipedia). Although not so recorded in our dictionaries, it is quite probable that the term *meṣá-*'ram' covered also the mountain sheep or argali (*Ovis ammon*), two subspecies of which live in the highlands of northwestern South Asia, the Marco Polo's sheep (*Ovis ammon polii*) and the Tibetan argali alias nayan (*Ovis ammon hodgsoni*).

[71] From references to real animals I exclude RV 4, 58, 2–3, which speaks of melted butter as a bull (*vr̥ṣabhá*) that has four horns, three feet, two heads and seven hands, calling it a "four-horned *gaura*".

[72] In later Vedic ritual a reflection of these Rigvedic passages is the following phrase in the *subrahmaṇyā* litany, which is addressed to Indra as an invitation to a Soma sacrifice: "O wild ass rushing down!" (*gaurāvaskandin*). The Jaiminîya-Brāhmaṇa (2, 79) explains: "Then he, after having become a wild ass, rushed down to the sea" (*tato haiva gauro bhūtvārṇavam avacaskanda*).

Two Middle Vedic texts (c. 800 BCE) in their description of the horse sacrifice, prescribe (three) wild asses to be immolated to Mitra and (three) water buffaloes to Varuṇa (MS 3,14,10 & VS 24, 28 *mitrāya gaurān [ālabhate], varuṇāya mahiṣān*). This seems to confirm that the Aśvins were connected with the wild asses, and that one of them was conceived as white, the other black (cf. *Parpola,* 2005, p. 18–22).

Alexander's fleet was largely destroyed by the very strong ebb and flow of tide, which he experienced in the Indus delta in Sindh (cf. Arrian's *Anabasis* 6, 17–19). The Indian tradition ascribes the phenomenon of tide to a submarine fire imagined to be a horse-headed (*Hayaśiras, Hayamukha, Hayagrīva, Aśvaśiras*, etc.) or mare-headed (*Vaḍavāmukha*)[73] demon, a form of Viṣṇu in the netherworld, with an insatiable thirst that makes him to drink the entire ocean, and to stand up every new and full moon day (cf., e.g., *Sörensen,* 1925, p. 320–321). Surely this conception has been inspired by the horse-like wild ass of Sindh, which can drink great amounts of sea water.

#6. The names of the wild ass in Turkic and Mongolic languages

With some important exceptions, Turkic and Mongolic, two unrelated language families, though often viewed together in the context of 'Altaic', share their central zoological terminology on an areal basis. Due to the presence of multiple layers of influences in both directions, it is often extremely difficult to establish from which of the two language families a given word originally derives. In many cases, we have to reckon with the possibility of a third source, unrelated to either Turkic or Mongolic. Also, there is evidence of the existence in the past of subsequently extinct parallel branches of both Turkic and Mongolic (Para-Turkic and Para-Mongolic), which may have participated in the mutual exchange of lexical and grammatical influences. Even so, the most important layer of influences can be dated to the so-called Hunnish period. During this period, it was mainly a form of Pre-Proto-Bulghar-Turkic[74] (presumably, the principal language of the Eastern Huns, or the *Xiongnu* 匈奴 of Chinese sources) that yielded loanwords to Pre-Proto-Mongolic (the language of the 'Eastern Barbarians', or the *Donghu* 東胡 of Chinese sources). These contacts can be dated to the last centuries BCE and located to the region comprising Mongolia and western and southern Manchuria (for a moredetailed ethnohistorical picture, cf. *Janhunen,* 1996, p. 185–189).

An example of a Turko-Mongolic lexical connection that quite certainly must derive from the Hunnish period is offered by the item for domestic ass or donkey, Turkic (*)*eshek* (with *sh* = *š*) = Mongolic **eljige/n.* The mutual connection of these words was doubted without reason by Doerfer (TMEN 1, 191–192, no. 68, 2: 65–66 no. 486), but it now has to be recognized as obvious. This must be a case of a borrowing from Pre-Proto-Bulghar-Turkic into Pre-Proto-Mongolic, and the borrowing must have taken place in parallel with the introduction of the domestic donkey to the region, which hardly can have predated the Hunnish period. The same item is also attested

[73] Sanskrit *vaḍavā-* 'mare', attested since the Middle Vedic KS and TS, is yet another equid-related term of unclear origin (cf. *Mayrhofer*, 1996, II, p. 494). *Turner* (1966, no. 11219) includes (with a query) among the cognates Sindhi *vaṛu* m. 'sexual heat (of animals)', *vaṛaṇu* 'to be on heat (of mares)'.

[74] Here, the term Bulghar-Turkic is used for the branch of Turkic that has also been called 'Bulgharic' or 'Oghuric'. Although Chuvash, the only surviving language of this branch and a direct descendant of mediaeval Volga Bulghar is today located in the Volga region of eastern Europe, Bulghar-Turkic was originally spoken in eastern Central Asia, where it influenced not only Pre-Proto-Mongolic but also other contemporary languages, notably Pre-Proto-Samoyedic.

in Manchu as *eihen* (*Norman*, 1978, p. 71), and, as a secondary borrowing from Manchu, in the Mongolic Dagur language as *eigeen* (for a list of all the Mongolic data, cf. *Sun*, 1990, p. 256). From Turkic (Tatar) the word was borrowed into Russian in the shape *ishák* 'donkey, mule' (*Vasmer*, 1964–1973, p. 146). Among these, the Manchu data is the most difficult to explain. Most items with a Turkic 'cognate' in Manchu are borrowings transmitted by Mongolic, but in this case a Para-Mongolic source is more likely. This is because the phonological shape of the word in Manchu is clearly aberrant and cannot be explained by any established sound law in any of the languages involved.[75]

The relation between Turkic (*)*eshek* and Mongolic **eljige/n* is also inherently ambiguous, in that the sound correspondence is unique and can be explained in several different ways. On the Turkic side, there is a probably more archaic parallel form (*)*eshkek* (= **eshke-k*) > *eshtek* ~ *eshgek* ~ *eshyek*, which suggests that the Turkic item originally contained the cluster **shk*, in which case Mongolic **eljige-* must represent a Turkic original of the type **eshike-* (with a later vowel loss in the second syllable). Even in this case, however, the correspondence between Turkic **sh* and Mongolic **lj* allows several possible reconstructions of the medial consonantism (some alternatives proposed in the past include **sh* **ld* **lj*). The most simple solution would seem to be that the Mongolic cluster **lj* represents a substitution for the Turkic single consonant sound underlying *sh, which may or may not have been a palatoalveolar sibilant. The question is connected with the much-discussed issue of rhotacism-lambdacism, which happens to be one of the diagnostic features of the Bulghar-Turkic layer of loanwords in Mongolic. In the item for 'donkey', however, the Mongolic representation differs from the 'normal', which would be Turkic **sh* = Mongolic **l* (lambdacism).[76]

For Turkic **esh(k)ek*, two internal etymologies have been proposed: on the one hand, the word has been analyzed as a derivative of the noun *esh 'mate, pair' (*Räsänen,* 1969: 51, an etymology originally proposed by Willy Bang), while, on the other hand, it has been connected with the verb **esh-* 'to amble (of a horse), to kick (of a horse), to hurry' (*Clauson,* 1972: 255–256, 260, cf. also ESTYa s.vv. *esh-, eshek*). The former identification is unlikely,[77] while the latter is, at least semantically and derivationally possible. However, an external comparison has also been proposed, originally by Schrader (1901, p. 205–206, as quoted by Doerfer in TMEN *op. cit*.), with the Indo-European word family for 'donkey' (Latin *asinus* etc.) and its Sumerian source (AN.ŠE or AN.ŠU, as discussed earlier in this paper). In this context, particular attention has been paid to Armenian *êš* (gen. *iš-oy*) 'donkey' as a possible source of the Turkic item, but more likely, the borrowing would have taken place via several other intermediate languages,

[75] Rozycki (1994, p. 67) sees here a parallel with Manchu *aisin* 'gold', which is often identified as a 'cognate' of Turkic **altun* and Mongolic **altan* id. (cf. further *Rybatzki,* 1994, p. 202–206), but in which the Turko-Mongolic internal cluster has an aberrant representation in Manchu. The phonological correspondences in the two items are, however, not completely parallel, though in both cases the possibility of Para-Mongolic (or Para-Turkic) languages as intermediaries cannot be ruled out.

[76] In reality, the representation depends on contextual factors on the Turkic side, and it is possible that the correspondence of Turkic **sh* to Mongolic **lj* is in some contexts regular. For a more conventional interpretation, which postulates an original cluster **lj* also for Turkic, cf. *Street* (1980, p. 290, n. 24). Altogether, the number of examples of lambdacisms between Turkic and Mongolic is very small, and virtually all of them involve a consonant cluster on the Mongolian side. *Shcherbak* (1997, p. 116, 151, 178) considers these cases, including *(*)eljigen,* "enigmatic", and, indeed, they have not yet been definitively explained, although there is no question of their loanword status.

[77] There is also a possible difference in the vocalism, as pointed out by Erdal (1991, p. 393), though the issue of the two non-high unrounded front vowels in Turkic (**e* vs. **ä*) is not definitively solved.

which makes it impossible to trace the exact route of the word.[78] However this may be, the external etymology appears more attractive than the internal one, especially in view of the fact that donkeys involve the type of cultural innovation that is often borrowed together with the corresponding terminology.

As an appellation of the wild ass, **eshek* is attested only secondarily in the Osman Turkish descriptive phrase *yaban esheği* 'wild ass' (OSTN, 3, p. 275). Otherwise, there is a strict distinction between the domestic donkey and the wild ass. The latter also has a uniform Turko-Mongolic name, reconstructable as **kulan*, the source of the international names of the Transcaspian kulan (*E. hemionus kulan*) and the Mongolian khulan (*E. hemionus hemionus*). In both Turkic and Mongolic, the term can be dated back to the protolanguage level, which for Turkic (in this case, without Bulghar-Turkic) means the language of the ancient Turks of Mongolia and Eastern Turkestan (the latter half of the first millennium CE), and for Mongolic the language of the historical Mongols (the early second millennium CE). Since both Turkic and Mongolic were in those times spoken in a coherent territory centered on eastern Mongolia, the term **kulan* may be identified as originally denoting the Mongolian and Gobi subspecies of the wild ass. The subsequent dispersal of both Mongolic and, especially, Turkic, has brought the word to the more westerly parts of Central Eurasia, where it has come to be used also in reference to the Persian and Transcaspian subspecies of the animal.

On the Turkic side, **kulan* is documented since the early Middle Turkic period (Makhmud al-Kashgari, cf. DTS p. 465, *Clauson,* 1972, p. 622, *Hauenschild*, 2003, p. 149–150),[79] while on the Mongolic side it is attested since Middle Mongol (Secret History, cf. *Haenisch,* 1962, p. 71). Since wild asses are present almost all over the Central Eurasian belt, the word has been preserved in most Turkic and Mongolic languages in living use with only minor variation in shape and meaning. In Kazakh and Kirghiz, for instance, *kulan* (*qulan*) is still used synchronically in its basic meaning and in a virtually unchanged shape (*Räsänen,* 1969, p. 298).[80] In modern Mongolian (proper), the word appears in two harmonically differentiated shapes: *xvlen*[81] (<**kulan*, reflecting the original velar vocalism **u-a*) and *xulen* (< **külen*, reflecting a transition to a secondary palatal vocalism **ü-e*) (*Lessing,* 1960, p. 984 s.v. *xulan* and 499 s.v. *kylen*). From Ordos, the word is only recorded in the combination *xulan jigendii* 'wild ass' (*Mostaert,* 1941–1942, p. 366), which contains a folk-etymologically distorted form of **eljigen* 'donkey'.

From Turkic, **kulan* was transmitted into Persian in the shape *qûlân* (TMEN 3, p. 556–557, no. 1574), known to the Persians as the Turkic equivalent of *gōr*, and into Russian in

[78] For this reason, it is also unnecessary to speculate on whether the Turkic medial consonant **sh* (= **š*) and its Mongolic counterpart **lj* incorporate a reflex of the nasal segment present in the Sumerian and Indo-European data. Most likely, the nasal was lost before the word reached Turkic. Accidentally, in some aberrant modern Mongolic languages the word has again come to contain a nasal, as in Shira Yughur *enjigen*, Santa *enzheghe*, Bonan *njige*. This nasal is a secondary reflex of the Proto-Mongolic liquid **l* and has no direct relation to the original shape of the item.

[79] I thank Volker Rybatzki for directing my attention to Hauenschild's monograph (2003), which deals specifically with the animal names in the dictionary of Makhmud al-Kashgari.

[80] The initial velar **k* is in Turkological sources often written with the letter q, implying a back velar stop and corresponding to the back velar letter <q> used in most script systems for Turkic. However, the phonemic status of the back velar stop is ambiguous, and in many forms of Turkic it remains an allophone of the general velar stop k. In others, it has developed into a velar fricative (*x*).

[81] The letter *v* (< **u*) denotes here a somewhat lowered back high rounded vowel which in many forms of modern Mongolian is pharyngealized. The corresponding non-pharyngealized segment *u* (< **ü*) is pronounced as regular back high rounded vowel. Thus, the original palato-velar harmonic correlation has been transformed into an opposition involving both tongue height and pharyngealization.

the shape k*ulán* (*Vasmer,* 1964–1973, p. 409), while from Mongolic it was transferred to Manchu in the shape *kûlan* (*Norman*, 1978, p. 182). Older Russian sources also use the modern Mongolian shape xulán (see, e.g., *Przheval'skij,* 1888, p. 163). It is, however, more difficult to determine what the mutual relationship of the Turkic and Mongolic words is. It has been conventionally assumed that it is a question of a Turkic loanword in Mongolic, but there is no immediate phonological, morphological, semantic, or philological evidence to confirm this (cf. also *Rybatzki*, 2006, p. 499–500). The earliest data on the word seem to be contained in the Tang-period Chinese encyclopaedic treatise *Tongdian* 通典 (completed in 801 CE), according to which the ancient Turks (*Tujue* ± 厥) called the "horse" by the name *helan* 賀蘭 (*Liu*, 1958, p. 480–481, 498–499, n. 49, also quoted by Doerfer l.c.). The meaning 'horse' instead of 'wild ass' must be due to a mistake in the process of compilation of the Chinese work, possibly because the Chinese themselves were unable to make a proper distinction between horses (either wild or domesticated) and wild asses.[82]

Several attempts have been made to find an internal etymology for **kulan* (for the most recent summary, see ESTYa s.v. *kulan*), but none of the proposed explanations is without problems. One rather obvious comparison, though rarely mentioned in the etymological literature, would be with Turkic *kulun 'foal' (ESTYa s.v. *kulun*). The formal difference between **kulan* and **kulun* involves only the vowel of the second syllable, and both words belong to the context of equid terminology. Even so, it is difficult to show any formal derivational connection between these words, and even secondary interference between them is rare, the only example being Osman Turkish *kulan* ~ *kolan*, which, apart from 'wild ass', is dialectally also attested in the meaning of 'foal of ass' (OSTN, 2, p. 974). Formally, both **kulan* and **kulun* would have to be analyzed as derived words in Turkic, since the primary roots in the language are of the monosyllabic type *CV(:)(C)C. This does not, however, exclude the possibility that words looking like derivatives can also be borrowings.

Another internal point of comparison is offered by Yakut *kulan* 'smart, fast' (also of horses). Since, however, Yakut is a Turkic language spoken in a region (central Siberia) with no wild asses, the semantic development could also have taken place in the opposite direction ('wild ass' > 'fast like a wild ass'). A similar problem is connected with the often-mentioned comparison with the colour term **kula* 'fawn, bay', which is primarily used of light-coloured (yellowish) horses with a dark mane and tail, a combination that is also typical of the wild ass. Although one could here see a semantic parallel to Indo-Aryan *gaura-* 'wild ass', which seems to have developed from a colour term, it is equally possible that the zoological term is primary ('wild ass' > 'coloured like a wild ass'). It happens that the colour term **kula* is another item shared both by Turkic (in this case, with Bulghar-Turkic) and Mongolic. A borrowing from Turkic to Mongolic (and to Persian) has been assumed also in this case (*Doerfer*, TMEN, 3, p. 507–508, no. 1524), but the derivational relationship **kula*: **kulan* would appear to be more natural on the Mongolic side, where a large proportion of nouns end in *-n*.[83] Structurally, **kula* may be

[82] The same Chinese characters are also used to refer the Helan Mountains (Helan shan 賀蘭山), located immediately to the west of the Yellow River Bend, and to the historical Helan Prefecture in the same region. It is unclear, however, whether there is any connection between these toponyms and the term for 'wild ass'. As far as the name of the Helan Mountains is concerned, other etymologies (not relevant here) have also been proposed, but the ultimate origin of the name remains obscure.

[83] Formally, of course, **kulan* is a derivative in **-n* from **kula*, but the difference between the two items may originally have been due to morphological, rather than semantic, factors. Note that there are two types of *-n*-stems in Mongolic: those ending in an unstable *-n* (technically written as */n*), which is lost in certain morphological and syntactic positions, and those ending in a stable *-n*, which is preserved intact in most positions. Many animal names end in the unstable *-n*, e.g., **mori/n* 'horse', **koni/n* 'sheep', **meci/n* 'monkey', in which it may originally have functioned as some kind of class (possibly gender and number) marker. The **-n* in **kulan* is, however, of the stable type, which is somewhat less common but also attested in animal names, as in **jaxan* 'elephant'.

compared with **kara* 'black' (also of horses), which is also attested in both Turkic and Mongolic (as well as in Persian, *Doerfer* TMEN, 3, p. 426–432, no. 1440), but for which the dating and direction of borrowing remains an unsolved issue. The bisyllabic structure CVCV itself is more typical of Mongolic than of Turkic, but in all these cases, the possibility of a third source should also be considered.

When comparing **kula* 'fawn, bay' with **kulan* 'wild ass' it is important to note that **kula* is not a primary colour term in any of the languages concerned. The original system of colour terms in most languages of eastern Eurasia, including Turkic and Mongolic, comprises five members ('white', 'black', 'red', 'blue/green', 'yellow'). As far as applicable, these terms can also refer to the colour of animals, including equids. However, due to the importance of the domestic horse in the pastoral culture of the steppes, there is a large number of secondary terms describing the different shades and combinations of colours observed in this particular animal. The term **kula* belongs to this category of secondary colour terms, a circumstance that would seem to support the assumption that it is also secondary to **kulan* 'wild ass'. On the other hand, since the wild ass has been important game in the past, it could have received its current name due to lexical taboo, which could have led to the replacement of a more original term (whatever it was) by a derivative of the secondary colour term **kula*.

Taboo may also be involved in another Central Asian appellation of the wild ass, namely Mongolic **cikitei* (dialectally and in Ordos > **jikitei*) 'the one with ears' (*Lessing,* 1960, p. 182, from **ciki/n* 'ear', cf. also *Rybatzki,* 2006, p. 296), which obviously refers to one of the characteristic features of the wild ass in order to avoid mentioning its actual name. This is the source of the international zoological term *dziggetai* (also written as *chigitai, dshiggetai, dshikketaei*), although it is not immediately clear from which particular Mongolic language or Mongolian dialect this item was transmitted to the western specialist literature.[84] The word is also present, as a borrowing from Mongolic, in a few Turkic languages, including Teleut *cigettei* 'wild ass' and Osman Turkish *cigetei* 'Syrian wild ass' (OSTN, 3, p. 2114). The Osman Turkish data, which refers to the Syrian wild ass, must reflect a late mediaeval layer of Middle Mongol loanwords, while the Teleut item could also have been borrowed later from early Oirat.[85]

#7. The name of the Tibetan wild ass and its Central Asian connections

It may be concluded that all that can be said for certain of the zoological term **kulan* is that it seems to be a regional word once used in Mongolia, including the Gobi area, by both Turkic and Mongolic speakers. It is quite possibly connected with the specialized colour term **kula* 'fawn, bay', but the date, place, and direction of the semantic transition cannot be determined. It is also impossible to tell whether the word was first present in Turkic or Mongolic, or in some other (subsequently extinct) local language. In any case, since Proto-Turkic and Proto-Mongolic times, but possibly even earlier, **kulan* has been the basic appellation of the wild ass

[84] The term seems to have been first used in scholarly literature by Peter Simon Pallas (1774), who in the title of his description of the Mongolian wild ass expressly mentions that "*dshikketaei*" is the Mongolian appellation of the animal. Note that the description by Pallas was published in 1774, but the discovery was internationally acknowledged only in 1775, which is why the animal (subspecies) goes today under the label *Equus hemionus* Pallas 1775.

[85] The Osman Turkish data may involve obsolete literary usage and must, in any case, represent a borrowing separate from the Teleut data. The word is not listed by Schönig (2000) in his treatment of Mongolic loanwords in the Western Oghuz branch of Turkic.

in the region, and in the linguistic lineages concerned. If there ever existed other, more primary appellations in Turkic or Mongolic, they have been lost without a trace.

There is a possibility of an external connection, however. The Tibetan wild ass (*Equus kiang*, earlier also Asinus kiang) has got its name from Tibetan *rkyaṅ = rkyang* 'wild ass or horse of Central Asia, Chigitai' (*Jäschke*, 1880, p. 17). The Tibetan wild ass occurs, or has until recently occurred, in relatively large numbers at altitudes between 2,700 and 5,400 meters all over the Qinghai-Tibetan Plateau, including parts of southern Gansu, southern Xinjiang, northern Pakistan, and northern Nepal (*Shah et al.*, 2008, cf. also: *Denzau, Denzau,* 1999, p.139–163). Correspondingly, the term (*)*rkyang* (orally > *kyang* > *cang*) seems to be present in most forms of spoken Tibetan, though, unfortunately, there is no detailed dialectological information easily available on the language. There is also no obvious internal etymology for this term, except that it is homonymous with the apparently unrelated Tibetan word *rkyang* 'simple, single, free' (also in reduplication, without prefix, *kyang-kyang* 'only', cf. *Jäschke*, ibid.). Finally, since there does not seem to exist any wider Tibeto-Burman or Sino-Tibetan etymology for it, it is reasonable to look for an external origin. In this case, (*)*rkyang* should be compared with **kulan*.

It is a generally accepted fact that the Pre-Proto-Tibetan lexicon underwent a process of phonotactic transformation which, most importantly, involved the loss of the vowel of the initial syllable, resulting in the origination of predominantly monosyllabic roots with initial consonant clusters (*CVCVC > *CCVC). This process may already have been active in Proto-Sino-Tibetan (on the implications of which, see: *van Driem*, 2001, p. 348–407), but it must have affected borrowed vocabulary even long afterwards.[86] An example is offered by the East Asian name for the horse, **mVrVn* (Mongolic **mori/n* < **morï/n*), which appears in Sino-Tibetan in the shape **mrang* (> Chinese *ma*[3], *Schuessler,* 2007, p. 373). Although this particular item has been lost in modern Tibetan (Old Tibetan still had the metathetic shape *rmang,* cf. *Beyer,* 1992, p. 78, note 11), it shows that the vowel loss was still active at the time when the horse was introduced to East Asia, which, judging by the archaeological and historical evidence, took place only after the middle of the second millennium BCE. The item for 'horse' is also otherwise instructive, for in a few marginal Tibeto-Burman languages (in the southern Himalayas) it appears in the alternative shape **s-rang*. Obviously, in these languages, the word has undergone a morphological reanalysis, due to which the original initial consonant has been lost and/or replaced by a class marker **s-* for 'animals' (cf. *Benedict,* 1972, p. 43 and 106–108).[87] Since the chronology of the underlying cultural innovation is known, all the phonotactic and morphological processes involved must have a relatively shallow history (in any case, less than 3,000 years).

The word for 'horse' also shows that a final dental (or unmarked) nasal **n* can be represented on the Sino-Tibetan side as a velar **ng*. Assuming, then, that the shape **kulan* had been borrowed to some early form of Sino-Tibetan, including, specifically, Pre-Proto-Tibetan, it would have been adapted to something like **klang*. The actually attested shape (*)*rkyang* can be linked to this by assuming two modifications: the adding of a prefixal preinitial (**r*) and the development of the postconsonantal lateral to a palatal glide (**l* > *y*). As far as the preinitial is concerned, the problem is not necessarily big. For one thing, the preinitial could have originated as a mere orthographic complication, for cases of words spelled variably with and without a preinitial, or also with

[86] The same process is attested, as an areally conditioned feature, in most Sino-Tibetan languages, but also in many non-Sino-Tibetan languages that have evolved under the structural influence of Sino-Tibetan (including both Chinese and Tibetan, as well as others). In terms of absolute chronology, the process can be of a very varying age in the different languages in which it has been active.

[87] Benedict was not aware of the fact that **mrang* 'horse' is a loanword, so he tentatively proposed an etymological connection with the homonymous Tibeto-Burman word **m-rang* 'high'.

different preinitials, are common in Tibetan since mediaeval times (*Beyer,* 1992, p. 34–36). The shape *rgyang* (with *g* instead of *k*) in Mahāvyutpatti also appears to involve a scribal error, if it is not a question of a subsequently lost irregular variant, for all other information on the word points unambiguously to an unvoiced consonant (*k*).[88] On the other hand, if the preinitial is an actual segment, it could also in this case represent a secondarily added class marker (perhaps the very **s*- of 'animals', which in most oral forms of the language is phonetically indistinguishable from **r*).

The representation of the lateral as a palatal glide is, in principle, also possible to explain. The status of a postconsonantal lateral in the Tibetan syllable structure is altogether ambiguous, for it can be analyzed both as a medial (postinitial) and as the actual initial of the syllable. In particular, the sequence **kl* seems to have undergone a series of restructurings, which eliminated most occurrences of this sequence already in Pre-Proto-Tibetan (*Beyer,* 1992, p. 74–81, especially note 9). It is not too far-fetched to assume that the word **kulan* entered the language at a time when these restructurings were taking place. If this was the case, the development of **klang* to *(*r*-)*kyang* may simply have involved a substitution during the process of borrowing. This substitution may, of course, also have been triggered by specific phonetic circumstances which may have been present in the donor language.[89] While it is likely that Turko-Mongolic **kulan* and Tibetan *(*r*-)*kyang* are etymologically connected, the word may once have been present also in other languages, which may have belonged to entirely different language families. In fact, until mediaeval times, the territories of the Turks and Mongols (in the north) and the Tibetans (in the south) were separated by the people known in Chinese sources as the Tuyuhun 吐谷渾 (*Molè,* 1970). Any words transmitted between Mongolia and Tibet would have passed the Tuyuhun, whose language (of which nothing is known)[90] may well have influenced the phonetic details on the way.

#8 Equid terminology, cultural innovation, and linguistic expansions

I have previously shown (*Janhunen,* 1998) that the terms for 'horse' in the languages of Eurasia correlate with the area of domestication of the horse and the routes of diffusion of horse culture. Thus, in the language families originally located relatively close to the primary area of domestication (the steppes between the Black Sea and the Altai mountains) there are several separate languagespecific names for the horse. In this area, we observe at least six different

[88] It should be noted that the obstruent systems of the languages involved – Turkic, Mongolic, and Tibetan – are very different. For Turkic, only one type of initial velar stop can be reconstructed (**k*), probably originally realized as voiceless segment with or without aspiration. Mongolic, by contrast, has an old distinction between two initial velar stops (**k* **g*), distinguished by either voicing or aspiration, or both. Tibetan, finally has three distinct velar stop segments (**kh* **k* **g*), distinguished both by voicing (**k vs.* **g*) and by aspiration (**kh vs.* **k*). When preceded by a preinitial, however, the Tibetan initial stops make only a one-way distinction between a strong (unvoiced) and a weak (voiced) segment (**k vs.* **g*). Although we do not know the details, these paradigmatic differences may well have played a role in the transmission of the word from one language family to another.

[89] The development **kl* > (*)*ky* represents a universally widespread type of phonetic change (cf., e.g., Mediaeval Latin *clavis* > Italian *chiave* 'key'). Even so, in Tibetan it cannot be regarded as a regular process. Rather, it may have been only one of the ways of doing away with the cluster **kl*.

[90] According to a semi-mythical historical tradition, the 'ancestors' of the Tuyuhun had migrated to eastern Central Asia (the modern Gansu-Qinghai region) from southern Manchuria. The ethnohistorical and linguistic implications of this tradition are, however, unclear, and, in any case, it is unlikely that the Tuyuhun in later times spoke a language of a Manchurian origin (cf. *Janhunen*, 2006).

early terms, one for each of the following linguistic stocks: Indo-European, Ugric, Samoyedic, Yeniseic, Turkic, and Mongolic.[91] By contrast, most of the languages located to the east of this area show reflexes of only a single term for the horse, identical with the one attested in Mongolic (**morï/n*). This term is present in, at least, five East Asian language families, including Tungusic, Koreanic (Korean), Japonic (Japanese), Amuric (Ghilyak), and Sino-Tibetan.[92] It goes without saying that there are local deviations from this general pattern, one of them being Tibetan, which has the idiosyncratic (possibly also old) term (*)*rta* for the horse.

The situation suggests that the horse was basically introduced from Central Eurasia to East Asia by a rapidly proceeding wave of cultural influence, which reached several linguistic groups in their original homeland regions along the Turkestan-Mongolia-China-Manchuria-Korea axis. This must have happened during the time span between, roughly, 1500 and 0 BCE. For most of the linguistic groups concerned, the adoption of a term for the horse, as well as of other related terminology, was accompanied by the introduction of the animal itself, for no equids, either wild or domestic, had been present east of the steppe and desert belt. Even inside this belt, a need to distinguish between the culturally innovative domestic horse and the local wild horse may have been relevant. Mongolian, in particular, which is the only language spoken in a region where wild horses have existed till modern times, makes still synchronically a terminological difference between the domestic horse (modern Mongolian *mory* or *moer* < **mori/n* < **morï/n*) and the Asian wild horse (*Equus przewalskii*) or taki (modern Mongolian *taxy* or *taex* < **taki* <**takï*).[93]

As a technical term, Mongolian *taki* has also been transmitted to Manchu in the shape *tahi* (*Norman,* 1978, p. 269), although there have been no wild horses in Manchuria in historical times. More importantly, the word has a counterpart in Turkic *takï* (*taqï*) ~ *tagï* (*tayï* = *taghï*), which, however, seems to be attested only in Middle Turkic and always in combination with *kulan (qulan)*, as in (Qutadghu Bilig) *qulan ya taghï tut* 'catch wild asses and horses!'[94] For some reason, there is a tradition in western scholarship to interpret the combination *kulan* + *takï* as meaning 'male and female wild asses', which would mean that *kulan* should be understood as a specialized term for 'male wild ass', while *takï* would be the corresponding term for 'female wild ass' (cf., e.g., *Hauenschild*, 2003, p. 149, *Rybatzki*, 2006, p. 351). There seems to be no

[91] Of these, Ugric and Samoyedic are ultimately related with each other in the context of the Uralic language family. The fact that they show different terms for the horse suggests that this animal was of no crucial cultural importance during the Proto-Uralic period, which seems to have been dominated by Mesolithic level hunting and gathering. Also, the Proto-Uralic speakers may have lived outside of the area of occurrence of the (wild) horse.

[92] From Sino-Tibetan, mainly from Chinese, the term has spread further to several other languages and language families of Southeast Asia, including some unclassified languages (Bai, Tujia) with a possible Sino-Tibetan connection (cf. also *Huang et al.,* 1992, p. 90, no. 268).

[93] Another possible 'wild' horse breed is the recently discovered Nangchen horse, native to a remote part of the Kham region of Tibet (southeastern Qinghai Province, China), on which cf. *Peissel* (1997, p. 229–242). Although the details are still unclarified it seems, however, that this is a local and possibly archaic variety of the domestic horse (*Equus caballus*), adapted to the extreme conditions of the region. There is no information suggesting the existence of any terminological difference between the Nangchen horse and the regular Tibetan highland horse in the local forms of Tibetan (belonging to the Kham group of Tibetan dialects). Even so, the appearance of the Nangchen horse is surprisingly similar to that of the Mongolian wild horse, as well as to the Palaeolithic depictions of the horse in Europe.

[94] Also *qulan ta/da taghï tut*, apparently with *ta/da* = *ya* functioning as a conjunction, if not -*Da* = locative case marker. This somewhat ambiguous expression seems to have given rise to Radloff's entry *qulanta, qulantai* 'wild ass', "*Kulantai*" (OSTN 2: 975), which, at least for this part, must involve a ghost word. In this connection, we also have to consider the Turkic noun (*)*tay* 'two-year old foal' (*Clauson*, 1972, p. 566). The partial similarity between (*)*taghï* 'wild horse' and (*)*tay* 'foal' reminds of that between (*)*kulan* 'wild ass' and (*)*kulun* 'foal' (younger than *tay*), but it is probably wise not to see any system in this.

basis for such an interpretation in any living language, and the written documents are ambiguous in this respect. Ligeti (1966, p. 260), on the other hand, simplifies the issue too much when he translates both *qulan* and *taqï* as 'cheval sauvage'. Quite obviously, the phrase *kulan* + *takï*, at least originally, was intended to mean both wild asses and wild horses, two closely related but distinct animal species which were native to the same regions, and which were hunted with the same methods. The fact that Turkic *takï* is only known from the combination *kulan* + *takï* may, however, imply that wild horses were rare (or even nonexistant) in the regions where Middle Turkic was spoken, which is why the entire phrase may have become obscure to the speakers themselves.

Mongolian *taki* and Turkic *takï* presuppose an original shape of the type **takï*.[95] Unlike **kulan*, which has several possible internal connections especially on the Turkic side, as well as the external connection with Tibetan (*)*rkyang,* **takï* seems difficult to analyze etymologically.[96] Therefore, the proper conclusion is probably that this is another regional word that was once used in the relatively limited (and constantly diminishing) territory where the wild horse has been distributed during the last few millennia. It is possible that, as a regional word, **takï* is older than the appellations used for the domestic horse in Turkic and Mongolic, for the domestic horse may have received its name during the process of domestication, or at the same time as the innovation reached the linguistic lineages of Turkic and Mongolic. In this situation it is again impossible to tell whether **takï* was first present in Turkic or in Mongolic, for both language families were originally located in the vicinity of the region where the wild horse occurs.[97] An unidentifiable third source is also a possibility.

We might say that the terms for the domestic horse, like also those for the domestic donkey, are culturally conditioned, since they are connected with a cultural innovation (domestication of the animals concerned). By contrast, the terms for the wild ass and the wild horse are regionally conditioned, since their relevance is limited to the region(s) where these animals occur, and they do not involve any cultural innovation (no domestication of the animals concerned).

Cultural terms can easily move on the map and cross linguistic boundaries from one language or language family into another with the same speed as the underlying cultural innovation proceeds and reaches new regions. In this case, terms move while languages do not. Regional terms can also crosslinguistic boundaries, but this happens mainly when new languages or language families expand to the region(s) in question. In this case, languages move while terms do not. Of course, it is also possible that both languages and terms move at the same time and with the same speed: this has happened, for instance, when the expansion of Turkic all over Central Eurasia has brought the term (*)*kulan* from its original area of use in the east (Mongolia and Gobi) far to the western limits of the wild ass (Persia and Syria). Similarly, Indo-Iranian (or Indo-Aryan) **gaura*- as an appellation of the wild ass has reached new areas due to linguistic expansions in the region.

---

[95] The variation between (*)*k* (*q*) and (*)*g* (*gh*) in Turkic must reflect a secondary weakening of the medial consonant. The same alternation is present in the homonymous item *takï (taqï) ~ tagï (taghi)* 'again, also, and' (DTS, 527, 536).

[96] It would take us too far on the road of speculations if we postulated a connection between **takï* and its semantically unrelated homonyms in Turkic and Mongolic. For instance, the Mongolic verb **taki*- 'to sacrifice, to worship' could offer a potentially interesting point of comparison, but in the absence of any direct evidence in the Mongolian context (in spite of the tradition of horse offerings in Central Eurasia) the comparison cannot be verified, an no further conclusions should be based on it.

[97] The bisyllabic structure of the word (CVCV) might support a Mongolic, rather than Turkic origin, since final vowels have normally been dropped in Turkic (> CVC). On the other hand, the Turkic vowel could be a secondary derivative element.

In this connection, it is good to remember that the linguistic map of Central Eurasia, like that of other parts of the world, has undergone major changes until very recent times. Terms for region-specific animal species like the wild ass and the wild horse can have very ancient local roots, which can even precede the 'arrival' of the languages today spoken in the region. In spite of the hostility of the natural environment, even the Gobi Desert and the Tibetan Highlands have since ancient times offered a niche for sparsely distributed human communities. These communities have not always spoken Turkic, Mongolic, or Tibetan, all of which are, as it seems, secondary in their modern areas. What has taken place is linguistic replacement (language shift), in which the earlier inhabitants have lost their original language(s) in favour of new ones introduced from the outside. The analysis and dating of the underlying cultural and ethnic processes is a field to which both linguistics and archaeology can contribute.

References

Allchin B., Allchin R. The rise of civilization in India and Pakistan. Cambridge, 1982.

[Anonymous] Der wilde Esel // Isis. 1823 (7). P. 764.

Ardeleanu-Jansen A. Die Terrakotten in Mohenjo-Daro. Eine Untersuchung zur keramischen Kleinplastik in Mohenjo-daro, Pakistan (ca. 2300-1900 v. Chr.). Aachen, 1993.

Ball V. On the identification of the animals and plants of India which were known to early Greek authors // The Indian Antiquary. Vol. 14. 1885. P. 274–287, 303–311, 334–341.

Barbosa D. The Book of Duarte Barbosa. An account of the countries bordering on the Indian Ocean and their inhabitants \ Dames M. L. (transl. and ed.). I–II. Works issued by the Hakluyt Society, 2nd series, 44 & 49. L., 1918–1921.

Bashir E. Dardic // The Indo-Aryan languages \ George Cardona and Dhanesh Jain (Eds.). L.-NY, 2003. P. 818–894.

Benecke N., Neef R. Faunal and plant remains from Sohr Damb/Nal: A prehistoric site (c. 3500-2000 BC) in central Balochistan (Pakistan) // SAA 2003 \ Franke-Vogt U., Weisshaar H.-J. (Eds.). Forschungen zur Archäologie aussereuropäischer Kulturen 1. Aachen, 2005. P. 81–91.

Bennett E. L. Aegean scripts // The world's writing systems \ Daniels P. T., Bright W. (Eds.). NY, 1995. P. 125–133.

Beyer S. V. The classical Tibetan language. Albany N.Y., 1992.

Böhtlingk O, Roth R. Sanskrit-Wörterbuch. Bd. I–VII. St. Petersburg, 1855–185.

Boltz W. G. Early Chinese writing // World Archaeology. Vol. 17 (3). 1986. P. 420–436.

Brockington J. L. Righteous Rāma. The evolution of an epic. Delhi, 1984.

Brugmann K. Griechisch ínnos und ónos // Indogermanische Forschungen. Bd. 22. 1907–1908. P. 197–202.

Buck C. D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949.

Burrow T., Emeneau M. B. A Dravidian etymological dictionary. 2nd ed. Oxford, 1984.

Carpelan C., Parpola A. Emergence, contacts and dispersal of Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in archaeological perspective // Early contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and archaeological considerations \ Carpelan C., Parpola A., Koskikallio P. (eds.). Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 242. Helsinki, 2001. P. 55–150.

Chakrabarti D. K. (ed.). Indus Civilization sites in India. New discoveries. Mumbai, 2004.

CISI = Corpus of Indus Seals and Inscriptions. Vol. 1. Collections in India \ Joshi J. P., Parpola A. (Eds.). Vol. 2. Collections in Pakistan \ Shah S. G. M., Parpola A. (Eds.). Vol. 3. New material, untraced objects, and collections outside India and Pakistan \ Parpola A., Pande B. M., Koskikallio P. (eds.). Pt. 1. Mohenjo-Daro and Harappa, in collaboration with Meadow R. H., Kenoyer J. M. Annales Academiae Scientiarum Fennicae B. 239–241. Helsinki, 1987, 1991, in press.

Clauson G. An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Oxford, 1972.

Debrunner A. Die Nominalsuffixe. *Wackernagel J., [Debrunner A.]* Altindische Grammatik. Bd. II, 2. Göttingen, 1954.

DEDR = *Burrow T., Emeneau M. B.* A Dravidian etymological dictionary. 2nd ed. Oxford, 1984.

DeFrancis J. Visible speech. The diverse oneness of writing systems. Honolulu, 1989.

Denzau G., Denzau H. Wildesel. Stuttgart, 1999.

van Driem G. Languages of the Himalayas. An ethnolinguistic handbook of the Greater Himalayan region. I-II. Handbuch der Orientalistik II.10/1–2. Leiden, 2001.

DTS = Древнетюркский словарь. Л., 1969.

Dubova N. A. = Дубова Н. А. Могильник и царский некрополь на берегах большого бассейна северного Гонура // У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию Виктора Ивановича Сарианиди \ Косарев М. Ф., Кожин П. М., Дубова Н. А. (Ред.). М., 2004. P. 254–281.

Edgerton F. Buddhist Hybrid Sanskrit grammar and dictionary. I–II. New Haven, 1953.

Erdal M. Old Turkic word formation. A functional approach to the lexicon. Turcologica 7. Wiesbaden, 1991.

ESTYa = *Севортян Э. В. и др.* Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974–2000.

Falk H. Bruderschaft und Würfelspiel. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte des vedischen Opfers. Freiburg, 1986.

Feh C., Shah N., Rowen M., Reading R., Goyal S. P. Status and action plan for the Asiatic wild ass (*Equus hemionus*) // Equids: Zebras, asses, and horses. Status survey and conservation action plan \ Moehlman P. D. (Ed.). Gland, Cambridge, 2002. P. 62–71.

Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. I–II. Heidelberg, 1960–1970.

Fuller D. Q. An agricultural perspective on Dravidian historical linguistics. Archaeological crop packages, livestock and Dravidian crop vocabulary // Examining the farming / language dispersal hypothesis \ Bellwood, P., Renfrew C. (Ed.). Cambridge, 2003. P. 191–213.

Fuller D. Q. Agricultural origins and frontiers in South Asia. A working synthesis. // Journal of World Prehistory. Vol. 20. 2006. P. 1–86.

Fuller D. Q. Silence before sedentism and the advent of cash-crop. A status report on early agriculture in South Asia from plant domestication to the development of political economies (with an excursus on the problem of semantic shift among millet and rice). // Proceedings of the Pre-symposium of RIHN and the 7th ESCA Harvard-Kyoto Roundtable \ Osada T. (ed.). Kyoto, 2006. P. 175–213.

Fussman G. Atlas linguistique des parlers dardes et kafirs. I–II. Publications de l'École Française d'Extrême-Orient 86. Paris, 1972.

Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V. Indo-European and the Indo-Europeans. A reconstruction and historical analysis of a proto-language and a proto-culture. I–II. Trends in Linguistics, Studies and monographs 80. Berlin, NY, 1995.

Gardiner A. Egyptian grammar, being an introduction to the study of hieroglyphs. Third ed., revised. L., 1957.

Geldner K. F. Der Rigveda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und mit einem laufenden Kommentar versehen. I–IV. Harvard Oriental Series 33–36. Cambridge, Mass., 1951–1957.

Giles H. A. A Chinese-English dictionary. Second ed., revised & enlarged. Shanghai, Hong Kong, Singapore, 1909–1912.

Glasenapp H. von. Der Jainismus. Eine indische Erlösungsreligion, nach den Quellen dargestellt. Berlin, 1925.

Gray A. P. Mammalian hybrids. Revised ed. Farnham Royal, Slough, England, 1972.

Groves C. P. The taxonomy, distribution, and adaptations of recent equids. // Equids in the ancient world [I] \ Meadow R. H., Uerpmann H.-P. (Eds.) Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe A, Nr. 19/1. Wiesbaden, 1986. P. 11–65.

Haenisch E. Wörterbuch zu Mangḫol un Niuca Tobca'an (Yüan-ch'ao Pi-shi). Wiesbaden, 1962.

Hauenschild I. Die Tierbezeichnungen bei Mahmud al-Kaschgari. Eine Untersuchung aus sprach- und kulturhistorischer Sicht. Turcologica 53. Wiesbaden, 2003.

Hawkins R. E. (Ed.) Encyclopedia of Indian natural history. Delhi, 1986.

Hinz W. Die Schrift der Elamer. // Allgemeine Grundlagen der Archäologie \ Hausmann U. (Hrsg.) München, 1969. P. 222–227.

Horn P. Grundriss der neupersischen Etymologie. Sammlung indogermanischer Wörterbücher 4. Strassburg, 1893.

Huang Bufan et al. (eds.). Zang-Mian yuzu yuyan cihui / A Tibeto-Burman lexicon. Beijing, 1992.

Jaini P. S. The Jaina path of purification. Berkeley, 1979.

Janhunen J. Manchuria. An ethnic history. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 222. Helsinki, 1996.

Janhunen J. The horse in East Asia. Reviewing the linguistic evidence // The Bronze Age and Early Iron Age peoples of Eastern Central Asia \ Mair V. H. (ed.). I. Washington, D. C., 1998. P. 415–430.

Janhunen J. From Manchuria to Amdo Qinghai. On the ethnic implications of the Tuyuhun migration. // Tumen jalafun jecen akû. Manchu studies in honour of Giovanni Stary \ Pozzi, A., Janhunen J., Weiers M. (Eds.), Tunguso-Sibirica 20. Wiesbaden, 2006. P. 107–119.

Jäschke H. A. A Tibetan-English dictionary with special reference to the prevailing dialects. L., 1881.

Karttunen K. India and the Hellenistic world. Studia Orientalia 83. Helsinki, 1997.

Krishnamurti Bh. The Dravidian languages. Cambridge, 2003.

Kumar, L. S. S., Aggarwalla A. A., Arakeri H. R., Kamath M. G., Moore, E. N. in collaboration with Donahue R. L. Agriculture in India. Vol. III: Animals. L., 1963.

Lessing F. (ed.). Mongolian-English dictionary. Berkeley, Los Angeles, 1960.

Liddell H. G., Scott R. A Greek-English lexicon. A new edition, revised and augmented throughout by Jones H. S. Oxford, 1940.

Ligeti L. Un vocabulaire sino-ouigour des Ming: Le Kao-tch'ang-kouan yi-chou du Bureau des traducteurs. Dissertationes sodalium Instituti Asiae interioris 11. Budapestini, 1966.

Liu Mau-tsa. (ed.). Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-Küe). Göttinger asiatische Forschungen 10. Wiesbaden, 1958.

Lubotsky A. A Rgvedic word concordance. I–II. American Oriental Series 82. New Haven, 1997.

Lüders H. Von den indischen Tieren // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 96. 1942. P. 23–81.

Macdonell A. A., Keith A. B. Vedic index of names and subjects. I–II. L., 1912.

MacKinnon J., MacKinnon K. Animals of Asia. The ecology of the oriental region. L.-NY, 1974.

Maekawa K. The donkey and the Persian onager in late third millennium B. C. Mesopotamia and Syria. A rethinking. (In Japanese with an English summary) // Nishi Ajia Koukogaku (Journal of West Asian Archaeology). No. 7. 2006. P. 1–19.

Malamoud C. Village et forêt dans l'idéologie de l'Inde brahmanique // Archives européennes de sociologie 17 (1), 1976: 3–20.

Marshall F. African pastoral perspectives on domestication of the donkey: A first synthesis // Rethinking agriculture: Archaeological and ethnoarchaeological perspectives \ Denham T. P., Iriarte J., Vrydaghs L. (Eds.). L., 2007. P. 537–594.

Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. I–III. Heidelberg, 1992–2001.

McGregor R. S. (ed.) The Oxford Hindi-English dictionary. Oxford, Delhi, 1993.

Meadow R. H. La domestication et l'exploitation des plantes et des animaux dans les régions du système de l'Indus du VIIe au IIe millénaire avant notre ère // Les cités oubliées de l'Indus: Archéologie de Pakistan. P., 1988. P. 38–43.

Meadow R. Continuity and change in the agriculture of the Greater Indus Valley // International Association for the Study of the Cultures of Central Asia Information Bulletin. No. 19. 1993. P. 63–77.

Meadow R. H., Patel A. K. From Mehrgarh to Harappa and Dholavira. Prehistoric pastoralism in north-western South Asia through the Harappan period. // Protohistory: Archaeology of the Harappan Civilization \ Settar S., Korisettar R. (eds.) Indian archaeology in retrospect 2. New Delhi, 2002. P. 391–408.

Melchert H. C. Anatolian hieroglyphs // The world's writing systems \ Daniels P. T., Bright W. (eds.). NY, 2005. P. 120–124

Molè G. The T'u-yü-hun from the Northern Wei to the time of the Five Dynasties. Serie Orientale Roma 41. Roma, 1970.

Moore K. M. Animal use at Bronze Age Gonur Depe // International Association for the Study of the Cultures of Cental Asia Information Bulletin. No. 19. 1993. P. 164–176.

Morgenstierne G. Report on a linguistic mission to north-western India. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie C III, 1. Oslo, 1932.

Morgenstierne G. Dardic and Kafir languages // Encyclopedia of Islam. New ed. Vol. 2. Leiden, 1965. P. 138–139.

Morgenstierne G. A new etymological vocabulary of Pashto. Compiled and edited by Elfenbein J., MacKenzie D. N., Sims-Williams N. Beiträge zur Iranistik 23. Wiesbaden, 2003.

Mostaert A. Dictionnaire ordos. Monumenta Serica, Monograph 5. Peking, 1941–1942.

Naissance de l'écriture: Cunéiformes et hiéroglyphes. P., 1982.

Norman J. A concise Manchu-English lexicon. Seattle, L., 1978.

Oates J. A note on the early evidence for horse in western Asia // Prehistoric steppe adaptation and the horse \ Levine M., Renfrew C., Boyle, K. (eds.). Cambridge, 2003. P. 115–125.

Olivelle P. Dharmasūtras. The Law Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana, and Vasiṣṭha. Annotated text and translation. Delhi, 2000.

OSTN = *Радлов В. В. (Radloff W.).* Опыт словаря тюркских наречий 1–4. СПб., 1893–1911.

The Oxford school atlas. 25th ed. Delhi, n.d.

Pallas P. S. Equus hemionus, Mongolis dshikketaei dictus // Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. T. 19. 1774. P. 394-417.

Parpola A. The Pre-Vedic Indian background of the Śrauta rituals // Agni. The Vedic ritual of the Fire Altar \ Staal F. (Ed.). Vol. II. Berkeley, 1983. P. 41–75.

Parpola A. Deciphering the Indus script. Cambridge, 1994.

Parpola A. Gandhāra Graves and the Gharma pot, the Nāsatyas and the nose. In pursuit of the chariot twins // У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию Виктора Ивановича Сарианиди \ Косарев М. Ф., Кожин П. М., Дубова Н. А. (ред.). М., 2004. P. 102–128.

Parpola A. The Nāsatyas, the chariot and Proto-Aryan religion // Journal of Indological Studies. Nos. 16 & 17.2004-2005. P. 1–63.

Parpola A. Proto-Indo-European speakers of the Late Tripolye culture as the inventors of wheeled vehicles. Linguistic and archaeological considerations of the PIE homeland problem // Proceedings of the 19th Annual UCLA Indo-European Conference, Los Angeles, November 2–3, 2007 \ Jones-Bley K., Huld M. E., Della Volpe A., Dexter M. R. (Eds.). Journal of Indo-European Monograph 54. Washington, 2008. P. 1–59.

Parpola A. Towards further understanding of the Indus script // Scripta. Vol. 1. 2009. P. 37–76.

Peissel M. The last Barbarians. The discovery of the source of the Mekong in Tibet. NY., 1997.

Platts J. T. A dictionary of Urdū, classical Hindī, and English. L., 1884.

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I–II. Basel, 1959.

Pollock S. I. Ayodhyākāṇḍa. Introduction, annotation and translation. The Rāmāyaṇa of Vālmīki, an epic of ancient India \ Goldman R. P. (Ed.). Vol. II. Princeton, 1984.

Pollock S. I. Araṇyakāṇḍa. Introduction, annotation and translation. The Rāmāyaṇa of Vālmīki, an epic of ancient India \ Goldman R. P. (Ed.). Vol. III. Princeton, 1990.

Possehl G. L. Indus Age: The beginnings. New Delhi, 1999.

Postgate N. The equids of Sumer, again // Equids in the ancient world [I] \ Meadow R. H., Uerpmann H.-P. (Eds.). Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe A, Nr. 19/1. Wiesbaden, 1986. P. 194–206.

Potts, D. T. The archaeology of Elam. Formation and transformation of an ancient Iranian state. Cambridge, 1999.

Prater S. H. The book of Indian animals. Third edition. Bombay, 1971.

Przheval'skij N. M. = Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой Реки. Исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима. СПб., 1888.

Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVII. Helsinki, 1969.

Ratnachandraji Maharaj. An illustrated Ardha-Magadhi dictionary. I–V. Indore, 1923–1938.

Rau W. A note on the donkey and the mule in early Vedic literature. // The Adyar Library Bulletin. Vol. 44–45. 1980–1981. P. 179–189.

Risch E. Griechische Determinativkomposita. // Indogermanische Forschungen. Bd. 59. 1949. P. 1-61, 245–294.

Roberts T. J. The mammals of Pakistan. L., 1977.

Rocher L. The Purāṇas. A history of Indian literature \ Gonda J. (ed.). Vol. 2. Fasc. 3. Wiesbaden, 1986.

Rossel S., Marshall F., Peters J., Pilgrim T., Adams M. D., O'Connor D. Domestication of the donkey. New data on timing, processes and indicators // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Vol. 105. 2008. P. 3715–3720.

Rossi A. V. Iranian lexical elements in Brahui. Istituto Universitario Orientale, Seminario di Studi Asiatici, Series minor 8. Naples, 1979.

Rozycki W. Mongol elements in Manchu. Indiana University Uralic and Altaic Series 157. Bloomington, 1994.

Rybatzki V. Bemerkungen zur türkischen und mongolischen Metallterminologie // Studia Orientalia. Vol. 73. 1994. P. 193–251.

Rybatzki V. Die Personennamen und Titel der mittelmongolischen Dokumente: Eine lexikalische Untersuchung. Publications of the Institute for Asian and African Studies 8. Helsinki, 2006.

Sakaki, R. Bon-Zou-Kan-Wa yon'yaku taikou. Hon'yaku myougi taishuu [Mahāvyutpatti]. I. Kyouto Teikoku Daigaku Bunka Daigaku shousho 3. Kyouto, 1916.

Sarianidi V. I. Necropolis of Gonur. Athens, 2007.

Sarianidis, V. I. Zoroastrianism: A new motherland for an old religion. Athens, 2008.

Sataev R. M. = Самаев Р. М. Животные из раскопок городища Гонур-Депе // Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 2 \ Сарианиди В. И. (гл. ред.). М., 2008. P. 138–142.

Scheil V. Textes de comptabilité proto-élamites (nouvelle série). Mémoires de la Mission Archéologique de Perse, Mission de Susiane, 17. Paris, 1923.

Schmidt R. Nachträge zum Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung von Otto Böhtlingk. Hannover, 1928.

Schönig C. Mongolische Lehnwörter im Westoghusischen. Turcologica 47. Wiesbaden, 2000.

Schrader O. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg, 1901.

Schuessler A. An etymological dictionary of Old Chinese. Honolulu, 2007.

Shah N., St. Louis A., Huibin Z., Bleisch W., van Gruissen J., Qureshi Q. Equus kiang. // IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.

Shcherbak A. M. = Щербак А. М. Ранние тюрко-монгольские языковые связи (VIII–XIV вв.). СПб., 1997.

Sherratt A. The horse and the wheel. The dialectics of change in the Circum-Pontic region and adjacent areas, 4500-1500 BC. // Prehistoric steppe adaptation and the horse \ Levine M., Renfrew C., Boyle, K. (Eds.). Cambridge, 2003. P. 233–252.

Sheth H. D. T. Pāia-sadda-mahaṇṇavo. A comprehensive Prakrit-Hindi dictionary. 2nd ed. Prakrit Text Society series 7. Varanasi, 1963.

Smith B. K. Classifying the universe. The ancient Indian varṇa system and the origins of caste. NY., 1994.

Sörensen S. An index to the names in the Mahābhārata. L., 1925.

Southworth F. C. Linguistic archaeology of South Asia. L., 2005.

Southworth F. C. Proto-Dravidian agriculture // Proceedings of the Pre-symposium of RIHN and the 7th ESCA Harvard-Kyoto Roundtable \ Osada T. (Ed.). Kyoto, 2006. P. 121–150.

Steblin-Kamenskij I. M. = Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка. СПб., 1999.

Steingass F. A comprehensive Persian-English dictionary. L., 1892.

Street J. C. Proto-Altaic **-l(V)b-* > Turkic š. // Central Asiatic Journal. Vol. 24. 1980. P. 285–303.

Sun Zhu (Ed.). Menggu yuzu yuyan cidian. Xining, 1990.

Thomas P. K. Investigations into the archaeofauna of Harappan sites in western India // Protohistory: Archaeology of the Harappan Civilization \ Settar S., Korisettar R. (eds.). Indian archaeology in retrospect 2. New Delhi, 2002. P. 409–420.

Tikkanen B. The Sanskrit gerund: A synchronic, diachronic and typological analysis. Studia Orientalia 62. Helsinki, 1987.

TL = Tamil Lexicon. I–VI and Supplement. Madras, 1924–1939.

TMEN = *Doerfer G.* Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. 1–4. Wiesbaden, 1963–1975.

Tod J. Annals and antiquities of Rajast'han, or, The central and western Rajpoot states of India. I–II. L., [1829–1832]. Popular edition.1914.

Tod J. Annals and antiquities of Rajasthan, or, The central and western Rajput states of India. Edited with an introduction and notes by William Crooke. I–III. L., 1920.

Turner R. L. A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. L., 1966.

Varmmā R. Mānak hindī koś. I–V. 2nd ed. Prayāg, 1990–1993.

Vasmer, M. = Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева. I–IV. М., 1964–1973.

Vats M. S. Excavations at Harappa. I–II. Delhi, 1940.

Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3., neubearbeitete Auflage \ Hofmann J. B. I–II. Indogermanische Bibliothek I.2.1. Heidelberg, 1938–1954.

Walser G. Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis. Historische Studien über den sogenannten Tributzug an der Apadanatreppe. Teheraner Forschungen 3. Berlin, 1966.

Watt G. A dictionary of the economic products of India. Vol. I–VI & Index. Calcutta, 1889–1896.

Wells B. K. Epigraphic approaches to Indus writing. Ph. D. thesis, Harvard University. Cambridge, MA, 2006.

Wikipedia: The free encyclopedia. http://en.wikipedia.org

Yule H. The Book of Ser Marco Polo the Venetian concerning the kingdoms and marvels of the east, translated and edited, with notes. Third edition, revised throughout in the light of recent discoveries by Cordier H. I–II. L., 1903.

Zarins J. Equids associated with human burials in third millennium B. C. Mesopotamia. Two complementary facets // Equids in the ancient world [I] \ Meadow R. H., Uerpmann H.-P. (Eds.). Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe A, Nr. 19/1. Wiesbaden, 1986. P. 164–193.

Zeller G. Die vedischen Zwillingsgötter: Untersuchungen zur Genese ihres Kultes. Wiesbaden, 1990.

Р. М. Сатаев

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ ИЗ ЖЕРТВЕННИКОВ-ЛУНОК ГОНУР ДЕПЕ[1]

Введение

Особое место среди ритуальных объектов Гонур-Депе, содержащих остатки кремированных животных, занимают жертвенники-лунки. В общем виде они представляют собой впущенные в пол или материк небольшие ямки, заполненные обугленными костями. В процессе раскопок Гонур Депе подобные жертвенники были вскрыты на разных участках памятника и приурочены к объектам разного функционального назначения (дворцово-храмовый комплекс, жилые помещения, могильники) (*Сариниди*, 1990; *Дубова,* 2004; *Сатаев,* 2008). Кроме этого лунки, аналогичные имеющим место на Гонур Депе, были выявлены В. И. Сариниди (*Сариниди,* 1977) на бактрийском памятнике эпохи бронзы Дашлы-3.

Ранее, представляя результаты изучения содержимого ряда подобных лунок с Гонур-Депе, мы в первую очередь уделяли внимание вероятному числу особей, от которых происходят кости, а также видовой и возрастной идентификации кремированных остатков (*Сатаев,* 2008). Настоящая публикация посвящена исследованию особенностей кремации животных (или их частей), чьи остатки происходят из заполнения лунок.[1] Поскольку создание жертвенника включало и акт сожжения, выяснение условий кремации является неотъемлемой частью реконструкции ритуала в целом.

Методика исследования

Изучение заполнения лунок производилось нами по следующей схеме. Извлеченное содержимое жертвенника помещалось на лоток (при разборе отмечались внутренние особенности заполнения, в первую очередь, наличие или отсутствие стратификации в зале-

[1] Работа проводится в рамках проекта РФФИ № 07-06-00062а.

гании остатков животных и древесного угля), откуда посредством просеивания отделялась фракция более 0,5 см. Из нее вручную выбирались крупные минеральные частицы и древесные угли. Костные фрагменты визуально распределялись на 5 групп по степени термического воздействия. При неравномерном сгорании кости, степень температурного воздействия оценивалась по характеру преобладающего озоления. К первой группе мы отнесли кости без следов обжига, ко второй (частичное озоление) – кость обожжена, только на небольших локальных участках (обычно по краям фрагментов не выше стадии серого каления – температура сгорания не превышала 300 °С). Третья группа – кости, сожженные до состояния серого каления (температура сгорания 400 – 680 °С). Четвертая группа – кости сожженные до стадии белого каления (температура сгорания 680-800 °С). Пятая группа – полностью озоленные кости, значительно деформированные, хрупкие и рыхлые (температура сгорания свыше 800 °С). Температура сгорания костей определялась по «Медико-криминалистической идентификации» (2000). Нужно отметить, что каждая из принятых нами степеней озоления в действительности включает несколько промежуточных стадий со своими температурными показателями. Но, во-первых, выделенные нами группы отражают основные фазы изменения костного вещества при сгорании, а, во-вторых, визуальное выделение промежуточных стадий в значительной мере может приобрести субъективный характер (например, разделение стадий темно-серого и светло-серого каления).

После описанной выше процедуры дифференциации костей по степени озоления (или одновременно с ней), проводилась идентификация костей по элементам скелета и определение их до вида (или рода). Важную роль здесь играет точность фиксирования степени озоления определимых фрагментов, так как это позволяет судить о равномерности сгорания туши (или части туши) животного, а, тем самым, о вероятных условиях кремации (в том числе о положении туши при сожжении).

При изучении материала из жертвенников-лунок в большинстве случаев приходиться иметь дело не с отдельными костями, а с их фрагментами, по степени озоления которых предполагается судить об условиях кремации туши (или части туши) в целом. В связи с этим возникает вопрос о соответствии степени озоления фрагментов и целых костей. В ряде случаев нами отмечалось, что сохранившиеся целыми кости были озолены мозаично (зубы, позвонки, ребра и длинные кости конечностей), т.е. разные их участки находились на разных стадиях сгорания. Это может быть связано с целым рядом факторов: с различием температуры горения в разных частях топки (костра, алтаря, печи), с характером разделки туши, с анатомическими особенностями самих элементов скелета и мягких тканей, с положением туши при сжигании и т. д. В таком случае можно предположить, что сохранившиеся фрагменты костей – это наименее обгоревшие их части, и в таком случае степень озоления фрагмента не отражает озоление кости в целом. Однако наш опыт показывает, что даже при мозаичном озолении кости большая ее часть находится на какой-то одной стадии сгорания. Мозаичность же нередко (но не всегда) проявляется в разном озолении диафиза и эпифизарных отделов, которые (особенно у молодых животных) сгорают быстрее и легче. При этом степень озоления разных частей одной кости бывает близкой (например: диафиз – на стадии белого каления, эпифизы полностью озолены). Поэтому можно говорить лишь о том, что действительная степень озоления остатков, возможно, была несколько выше, чем это удается проследить из-за разрушения сильно обугленных фрагментов. Однако в целом, как можно будет убедиться на приведенном ниже фактическом материале (когда выявляются даже полностью озоленные кости эмбрионов), выводы об условиях кремации, сделанные на основании предложенного нами подхода к изучению фрагментов сожженных костей, близки к действительности.

Особенности кремированных остатков животных из жертвенников-лунок

Здесь мы рассмотрим характер кремированных остатков из жертвенников-лунок разной локализации. Это «домашние» жертвенники (устроенные в жилых помещениях), храмовые жертвенники, поминальные лунки и «свободные» жертвенники (приуроченность к какому-либо объекту не установлена).

«Домашние жертвенники» – лунки в полу жилых помещений. Поскольку описание лунок, вскрытых в пом. 87 раскопа 16; пом. 52 и 138 раскопа 13; пом. 82 раскопа 8 приводилось нами ранее (*Сатаев,* 2008), здесь мы даем лишь общие сведения. Из хорошо сохранившейся лунки, расположенной в середине пом. 87 раскопа 16 было отобрано 310 фрагментов костей (обломки, составляющие мелкую, менее 0,5 см, фракцию, не учитывались). До элемента скелета здесь удалось определить 129 фрагментов. Исследование кремированных остатков позволило сделать заключение, что в данном случае для ритуального сожжения использовалась целая туша молодой овцы, не старше 1,5 лет (*Сатаев,* 2008).

Анализ степени озоления костей (показателя температурного воздействия) демонстрирует различие отдельных фрагментов по данному критерию. Основная масса – 239 костей (77,1%) сильно обуглена. Из них до стадии полного озоления – 172 фрагмента (55,4% от общего количества выделенных из заполнения лунки фрагментов; 71,9% от количества обугленных костей), до стадии белого каления – 30 фрагментов (соответственно 9,7% и 12,6 %), до стадии серого каления – 37 фрагментов (соответственно 11,9% и 15,5%). Частичное озоление отмечается у 32 фрагментов (10,3% от общего количества костей выделенных из заполнения лунки). Необожжены 39 костей (12,6 %). У определимых остатков соотношение фрагментов разной степени озоления (табл. 1) отличается от полученных для общей массы в сторону увеличения числа необожженных и частично обожженных костей, что связано с выборочностью материала, пригодного для идентификации.

Состояние определимых костных фрагментов (табл. 1) показывает, что озоление, как в масштабах скелета, так и отдельной кости было неодинаковым. Мозаичное озоление скелета животного могло быть обусловлено двумя факторами: различием локальных особенностей наружных покровов и мягких тканей туши и неравномерным термическим воздействием. Наибольшему озолению подверглись кости головы, грудной клетки и проксимального отдела поясов конечностей. Наименее обгорела позвоночная часть, а самый дистальный отдел ног (фаланги) практически сохранился необожженным. Вероятно, это связано с тем, что шкура с животного не снималась.

В целом, высокая степень озоления большей части костей животного указывает на значительную температуру и/или длительное время сжигания туши. Так, согласно экспериментальным данным Т. Д. Стюард (*Steward*, 1979) полное обугливание большей части костей скелета происходит при воздействии на костное вещество в течение двух часов температуры в 1200 °С. Высокая температура горения туши, реконструируемая на основе полученных данных, позволяет говорить, что кремация происходила не на костре, а в закрытой топке, где даже при использовании древесного топлива температура может достигать 1000 °С (Медико-криминалистическая идентификация, 2000). Возможно, для этих целей использовались двухкамерные печи, столь многочисленные на Гонур Депе (*Сариниди,* 2002, 2005 и др.). Отсутствие древесного угля в заполнении лунки свидетельствует, что кремация в данном случае происходила без прямого контакта с топливом (не исключено, что туша укладывалась или закреплялась так, чтобы обугленные остатки животного не смешивались с древесным углем) поскольку маловероятно, чтобы перед помещением костей в лунку древесный уголь целенаправленно отсортировывался.

Таблица 1

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки в помещении 87

Элементы скелета	Количество целых* / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1**	2	3	4	5
Череп	0/7					7
Нижняя челюсть	0/2					2
Изолир. зубы	0/13	2	11			
Атлант	1/0	1				
Позвонки шейные	0/7	1	6			
грудные	0/8	1	7			
поясничные	0/9		7	2		
крестец	0/2				1	1
Ребра	0/13	1		1	3	8
Лопатка	0/2					2
Плечевая	0/8		1	3	1	3
Лучевая	0/12			1	3	8
Таз	0/5				1	4
Бедренная	0/5				2	3
Большая берцовая	0/2					2
Коленная	1/0		1			
Пяточная	1/1					2
Таранная	1/1					2
Пястная	0/5	3				2
Плюсневая	0/9		2	3	2	2
Фаланга I	6/0	6				
Фаланга II	6/0	6				
Фаланга III	1/1	2				
Соотношение групп костей по степени озоления		17,8 %	27,1%	7,8 %	10,1%	37,2 %

* Целые кости, а также целые эпифизы и диафизы

** Степень озоления костных остатков: 1 – не обожжены; 2 – частично обожжены; 3 – стадия серого каления; 4 – стадия белого каления; 5 – полностью озолены.

Из заполнения *лунки в пом. 52 раскопа 13* удалось извлечь 129 сильно разрушенных обгоревших костей мелкого рогатого скота, из которых до элемента скелета было определено 57 фрагментов.

Остатки животного сильно обуглены, необожженные и частично обожженные кости отсутствуют. Полностью озолены 115 фрагментов (89,1%), на стадии белого каления – 8 фрагментов (6,2%), на стадии серого каления – 6 фрагментов (4,7%).

Поскольку в материале отсутствуют зубы и фаланги, которые лучше других сохраняются во время кремации (Медико-криминалистическая идентификация, 2000), можно предполагать, что в жертвенник были избирательно помещены отдельные части туши животного (реберно-позвоночного отдела и задних конечностей без дистальных элементов). С этим же связано сильное озоление костей. А полное отсутствие в лунке древесного угля, указывает на проведении кремации в очаге, без контакта с топливом.

Из лунки в центре пола *пом. 138 раскопа 13*, было отобрано 270 фрагментов сильно обугленных костей, из которых определены 5 костных фрагментов (неприросший дистальный сустав первой фаланги, пяточный бугор, две части дистального сустава плечевой кости, таранная кость), принадлежащих молодой овце до года. Поверх заполнения лунки залегала дистальная часть правой задней конечности (от которой сохранилось ряд костей и фрагментов), прикрытая, по-видимому, красноглиняными черепками (собрано более 100 мелких фрагментов) (*Сатаев,* 2008). Полного озоления достигают 98,1% всех извлеченных фрагментов. Из определимых костей полностью озолены 3 фрагмента, один на стадии белого каления, не обожжен сустав первой фаланги.

Крайне плохая сохранность материала, в данном случае, обусловлена не только первичными причинами (молодым возрастом животного, высокой температурой и длительностью кремации), но и последующим разрушением самого жертвенника. В целом, изученный материал позволяет предположить, что кремации в закрытой топке (при значительной температуре) подверглась целая туша ювенильной особи, с неснятой шкурой.

Лунка, выявленная в пом. 82 раскопа 8, содержит в основном, мелкие сильно обожженные обломки костей. Отсюда происходит 122 фрагмента (мелкая фракция не учитывалась), из которых удалось определить фрагмент шейного позвонка и пяточной кости взрослой особи (старше 3 лет) мелкого рогатого скота.

Из общего числа извлеченных костных остатков полностью озолены 64 фрагмента (52,5%), на стадии белого каления находятся 32 фрагмента (26,2%), на стадии серого – 22 (18,0%), частично обожжены и не обожжены по 2 фрагмента (по 1,6%). Фрагмент шейного позвонка не обожжен, а пяточной кости – находится на стадии белого каления.

Плохая сохранность костей, происходящих из описываемой лунки, как и в случае с предыдущим жертвенником, в значительной степени вызвана его естественным разрушением. Мы считаем, что изначально характер кремированных остатков был близок к материалу из лунки в пом. 87 раскопа 16. Процентные соотношения между группами костей, распределенных по степени озоления в обеих лунках, имеют сходные значения. Кроме этого, здесь также обнаружен не обожженный фрагмент позвонка. Мы предполагаем, что для заполнения обсуждаемой лунки сжигалась целая, не освежеванная туша взрослой особи мелкого рогатого скота. Кремация происходила в закрытой топке при высокой температуре и длительное время.

В пом. 124 раскопа 9 выявлена композиция из двух примыкающих друг к другу лунок, расположенных в северо-восточной части комнаты. Первая лунка имеет размеры 0,35 × 0,44 м, в сечении коническую форму, максимальную глубину 0,19 м (в середине ямки) и содержит в основном древесный уголь с небольшой примесью обугленных костей мелкого рогатого скота. Отсюда происходит всего 23 макроскопических фрагмента, все принадлежащие молодому животному (от 3 до 10 мес.) (табл. 2). Кости сильно обуглены, в основном до стадии полного озоления. При том, что остатки, по всей видимости, принадлежат одной особи, обращает внимание их крайняя малочисленность и полное отсутствие костей головы (черепа, нижних челюстей, зубов). Можно предположить, что остатки животного до того, как попали в заполнение данной лунки, несколько раз перемещались (возможно, при перемене места локализации жертвенника или переустройстве), что привело к утрате большей части костей. Не исключено, что после устройства жертвенника с ним проводились определенные манипуляции, а возможно и так называемые «профилактические работы».

Таблица 2

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки № 1 пом. 124 раскопа 9

Элементы скелета	Количество костей целых /фрагментов	Степень озоления	
		4	5
Позвонки шейные	0/3	1	2
поясничные	0/1	1	
Ребра	0/2		2
Плечевая	0/1		1
Таз	0/1		1
Плюсневая	0/3	1	2
Фаланга I	0/1		1
Фаланга II	0/1		1
Неопределимые	0/10	1	9
Соотношение групп костей по степени озоления		17,4%	82,6%

Вторая лунка имеет диаметр 0,25 м, в сечении коническую форму и максимальную глубину 0,16 м. Содержимое лунки составляют только кости животных.

Из заполнения лунки отобрано 281фрагментов хорошо обожженных и преимущественно фрагментированных костей. До элемента скелета идентифицировано 123 фрагмента, принадлежащих одной взрослой особи овцы (возраст от 3 до 3,5 лет – пяточной бугор прирос, проксимальные эпифизы бедренной и большой берцовой кости не приросли). В материале присутствуют элементы всех отделов скелета (табл. 3), что говорит о кремации целой туши.

Большая часть – 231 кость (82,2 %), значительно озолены, из них до стадии полного озоления 125 фрагментов (44,5% от общего количества выделенных из заполнения лунки фрагментов и 54,1% от количества обугленных костей), до стадии белого каления 77 фрагментов (27,4% и 33,3% соответственно), до стадии серого каления 29 фрагментов (10,3% и 12,6% соответственно). Необожжены и частично обожжены по 25 фрагментов (8,9%).

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о проведении кремации в закрытой топке (очаге) при высокой температуре горения. Вероятно, вторая лунка была устроена несколько позднее первой.

В помещении 52 раскопа 8, жертвенник расположен в его юго-восточной части, на расстоянии в 0,75 м от южной и 0,95 м от восточной стены. В плане лунка имеет форму близкую к овальной и размеры 0,45 × 0,50 м. Профиль лунки ступенчатый. Глубина в северо-западной (углубленной) части лунки 0,2 м, в юго-восточной части (над ступенью) 0,04 м. Стенки углубленной части лунки и поверхность ступени обложены фрагментами красноглиняной и сероглиняной керамики, всего 44 фрагмента размерами от 5 до 15 см. Заполнение жертвенника состоит исключительно из обожженных костей. Отсюда извлечено 123 костных фрагмента, из которых до элемента скелета определены 59 (табл. 4). Кости происходят от одной особи овцы. Возраст животного от 2 до 3 лет. Преобладающая часть – 87 костей (70,7%) хорошо обожжены, из них до стадии полного озоления – 42 фрагмента (34,1% от общего количества выделенных из заполнения лунки костей и 48,3% от количества обугленных костей), до стадии белого каления 23 кости (18,7% и 26,4%), до стадии серого каления 22 кости (17,9% и 25,3%). Необожжены 14 костей (11,4% от общего количества извлеченных костей), а частично обожжены 22 фрагмента (17,9 %). Полученные данные позволяют говорить, что кремация животного, помещенного в жертвенник, происходила в закрытой топке, при высокой температуре.

Таблица 3

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки № 2 пом. 124 раскопа 9

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1	2	3	4	5
Череп	0/7					7
Нижняя челюсть	0/2					2
Изолир. зубы	0/20	4	16			
Позвонки шейные	0/7		1	2	1	3
грудные	0/1	1				
поясничные	0/17			2	5	10
Ребра	0/10	1		2	3	4
Грудина	0/1					1
Лопатка	0/2					2
Плечевая	0/3					3
Лучевая	0/3				1	2
Локтевая	0/1					1
Таз	0/7				3	4
Бедренная	0/11			2	5	4
Большая берцовая	2/5					7
Коленная	1/0				1	
Пяточная	0/1				1	
Таранная	0/1	1				
Центротарзальная	2/0				2	
Пястная	0/1				1	
Плюсневая	0/3				3	
Фаланга I	0/5				5	
Фаланга II	2/4			6		
Фаланга III	0/1			1		
Мелкие и сесамовидные	3/0				3	
Соотношение групп костей по степени озоления		5,7%	13,%	12,2%	27,6%	40,7%

Таблица 4

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки пом. 52 раскопа 8

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1	2	3	4	5
Нижняя челюсть	0/3					3
Изолир. зубы	0/2		2			
Позвонки шейные	0/1	1				
грудные	0/3		2	1		
поясничные	0/1		1			
хвостовые	1/0					1
Ребра	0/15	3		2	3	7

Окончание

Элементы скелета	Количество целых/ фрагментов	Степень озоления фрамтентов костей				
		1	2	3	4	5
Лопатка	0/6				2	4
Плечевая	0/1		1			
Таз	0/3		1		2	
Бедренная	1/4					5
Большая берцовая	1/6		1	6		
Коленная	1/0			1		
Пяточная	1/0	1				
Центротарзальная	1/0				1	
Пястная	0/1				1	
Плюсневая	0/4		2	1	1	
Фаланга I	0/1		1			
Фаланга III	1/0			1		
Мелкие и сесамовидные	1/0	1				
Соотношение групп костей по степени озоления		10,2%	18,6%	20,3%	16,9%	33,9%

Храмовые жертвенники. К этой условной группе мы относим лунки, выявленные в ряде помещений дворцово-храмового комплекса. Здесь В. И. Сарианиди (1990) в двойном помещении № 36–37 были выявлены и описаны «ямки-лунки», заполненные обожженными костями мелкого рогатого скота с примесью углей саксаула. Лунки впущены в материк, сверху перекрыты толстой промазкой пола и, как помещение в целом, принадлежат первому строительному периоду. Две лунки частично расположены под основанием тонкой стены разделяющей помещение.

Нами были исследованы лунки, сохранившиеся в смежных пом. 54 и 42. Жертвенники были выявлены при раскопках кремля и законсервированы. Лунки устроены в материке, сложенном серовато-желтым мелкозернистым песком аллювиального генезиса, и относятся к первому строительному периоду.

В *пом. 54* три жертвенника концентрируются в его южной половине. Вероятнее всего они являются не изолированными объектами, а частью ритуального комплекса, поэтому мы рассматриваем их совместно.

В плане лунки имеют округлую форму, в сечении – конусообразную с выпуклой «ступенью» прислоненной к борту ямки (лучше всего ступень выражена в профиле второй, наиболее глубокой лунки). Данные ступени, в отличие от таковой в лунке пом. 52 раскопа 8, моделированы нечетко и оставляют впечатление устроенных непреднамеренно. При этом у всех трех лунок ступени имеют северную ориентацию. Можно предположить, что их появление на одной из стенок ямки вызвано осыпанием грунта со стороны, где располагался устроитель жертвенника, а само их возникновение приходится на момент предшествующий первичному заполнению лунки. Возможно, заполнению жертвенника, предшествовали ритуальные действия, спровоцировавшие осыпание стенок. Осыпание бортов лунок могло произойти и при переустройстве жертвенника. Размеры первой лунки 30 × 36 см, максимальная глубина 16 см; второй – 35 × 39, глубина 27 см; третьей – 29 × 30 см, глубина 10 см. Заполнение лунок представляет собой смесь обожженных

фрагментированных костей животных и почти равного количества угля саксаула (среднее соотношение древесного угля к фрагментам костей в объеме 0,1 м^3 в первой лунке составляет 8/5, во второй – 3/4, в третьей – 1/1). Данные табл. 5 дают представления о степени озоления костей, происходящих из жертвенников.

Таблица 5

Степень озоления костей из заполнения жертвенников-лунок, помещения № 54 кремля

Характер термического воздействия	Показатели	Жертвенник-лунка		
		№1	№2	№3
Не обожжены	Кол-во фрагментов	**2**	**2**	**4**
	В % от общего кол-ва	0,9	0,9	3,7
Частично обожжены	Кол-во фрагментов	**10**	**3**	**12**
	В % от общего кол-ва	4,4	1,4	11,0
На стадии серого каления	Кол-во фрагментов	**11**	**7**	**5**
	В % от общего кол-ва	4,8	3,2	4,6
	В % от озоленных	4,9	3,3	5,4
На стадии белого каления	Кол-во фрагментов	**98**	**59**	**13**
	В % от общего кол-ва	43,2	26,8	11,9
	В % от озоленных	43,5	27,4	14,1
Полностью озолены	Кол-во фрагментов	**146**	**149**	**74**
	В % от общего кол-ва	64,3	67,7	67,9
	В % от озоленных	64,8	69,3	80,4

Таблица 6

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы № 1 из лунки № 1, пом. 54 дворца

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1	2	3	4	5
Нижняя челюсть	0/4	1		3		
Изолир. зубы	0/5		3			2
Позвонки шейные	0/3		1		1	1
грудные	0/13		1		1	11
поясничные	0/9				1	8
Ребра	0/24				21	3
Лопатка	0/3				2	1
Плечевая	0/4				3	1
Лучевая	0/2					2
Таз	0/2				1	1
Бедренная	0/3				1	2
Большая берцовая	0/7				3	4
Пяточная	0/2					2
Пястная	2/6				4	4
Плюсневая	2/3					5
Фаланга I	0/2				1	1
Фаланга III	0/3		1		2	
Мелкие и сесамовидные	1/0				1	
Соотношение групп костей по степени озоления		1%	6%	3%	42%	48%

Таблица 7

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы № 2 из лунки № 1, пом. 54 дворца

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1	2	3	4	5
Череп	0/1					1
Нижняя челюсть	0/1					1
Изолир. зубы	0/1		1			
Позвонки шейные	2/0					2
грудные	0/1					1
крестец	0/1		1			
Ребра	0/3			1		2
Лопатка	0/1					1
Плечевая	0/1					1
Локтевая	0/1					1
Бедренная	0/3				3	
Большая берцовая	0/1				1	
Коленная	0/1					1
Таранная	1/0					1
Фаланга III	0/2					2
Мелкие и сесамовидные	5/0	1			2	2
Эмбрион (плечевая)	1					1
Соотношение групп костей по степени озоления		3,7%	7,4%	3,7%	22,3%	62,9%

Из заполнения первой лунки было отобрано 267 костных остатков, из которых идентификации поддаются 127 костей. Они принадлежат двум взрослым овцам (1,5 г. и старше 3,5 лет), одна из которых на момент забоя была стельной. От более молодого животного происходит 100 костей, от старшей особи – 27 (таблица 6 и 7). Кости второго животного сконцентрированы в верхней части заполнения и, скорее всего, были добавлены в жертвенник позже.

Основная масса костных остатков – 265 костей (99,3%) сильно обожжены, большая часть находится на стадии полного озоления. Степень озоления определимых костей и материала в целом различается слабо (таблицы 6 и 7). Кремация животных, помещенных в жертвенник, происходила при высоких температурах, в закрытой топке, в контакте с топливом (по крайней мере, первого животного).

Из заполнения лунки № 2, происходит 220 сильно обожженных и фрагментированных костей, из которых до вида и элемента скелета определено 65. Состав элементов скелета показывает, что кремированные остатки принадлежат 3 особям мелкого рогатого скота: ягненку до 6 мес., овце до 1,5 лет, козе старше 3,5 лет. От скелета ягненка сохранились левое и правое крыло подвздошной кости (одна кость полностью озолена, вторая на стадии белого каления), целая правая пяточная кость (полностью озолена), 2 фрагмента первой фаланги (полностью озолены). Вероятнее всего, заполнение лунки формировалось в несколько приемов. Данные по характеру озоления костей, происходящих из лунки, отражены в табл. 5. Состав элементов скелета овцы и козы, и степень их озоления приве-

дены в табл. 8. Кремация всех животных, остатки которых происходят из данной лунки, проходила в закрытой топке в контакте с топливом.

Из содержимого третей лунки извлечено 108 сильно обугленных костных остатков (табл. 5). До элемента скелета определены 67 костей (табл. 9), принадлежащие взрослой стельной особи козы (старше 3 лет). По сравнению с предыдущими лунками, данный жертвенник содержит остатки только одного животного и, по-видимому, не переустраивался. В данном случае жертвенное животное было сожжено так же, как и особи из двух других лунок обсуждаемого комплекса.

Таблица 8

Состав элементов скелета и степень озоления костей мелкого рогатого скота из лунки №2 пом. № 54 дворца

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов			Степень озоления костей				
	МРС*	Овца	Коза	1	2	3	4	5
Череп	0/2							2
Нижняя челюсть	0/2							2
Изолированные зубы	0/2				2			
Позвонки шейные	1/3				1	1	1	1
грудные	1/0			1				
поясничные	0/6							6
крестец	0/2							2
Грудина	0/1							1
Ребра	0/8					1	1	6
Лопатка	0/2						2	
Плечевая	0/1		0/2					3
Лучевая	0/1	0/1	0/3				1	4
Локтевая			0/1					1
Бедренная		0/7						7
Большая берцовая		0/3					2	1
Коленная			0/1	1				
Пяточная	0/1	0/1					1	1
Таранная			0/1					1
Пястная		0/3					1	2
Фаланга III		1/0	1/0					2
Мелкие и сесамовидные	0/2							2
Соотношение групп костей по степени озоления (в %)				3,3	5	3,3	15	73,4

* МРС – недифференцированные остатки овцы и козы.

Таблица 9

Состав элементов скелета и степень озоления костей козы из лунки №3, пом. 54 дворца

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1	2	3	4	5
Череп	0/2		1			1
Нижняя челюсть	0/2				1	1
Изолир. зубы	1/2		1			2
Позвонки шейные	0/6	3				3
грудные	0/5		2			3
поясничные	0/7		4		1	2
Грудина	0/2					2
Ребра	0/11			2	4	5
Плечевая	0/5					5
Лучевая	0/4					4
Таз	0/2					2
Бедренная	0/2					2
Большая берцовая	0/2					2
Коленная	0/1					1
Пястная	0/3		1			2
Фаланга I	0/1				1	0
Фаланга II	0/1					1
Фаланга III	0/2					2
Мелкие и сесамовидные	0/2		1	1		0
Эмбрион (плечевая)	2/0	1	1			0
Эмбрион (берцовая)	1/0					1
Эмбрион (таз)	0/1					1
Соотношение групп костей по степени озоления		5,9 %	14,9%	4,5%	10,5%	62,7%

В пом. 42 дворца, сохранились две лунки, вероятнее всего, связанные между собой общим планом устройства. На поверхность пола лунки проецируются в виде округлого зольно-углистого пятна. По-видимому, верхняя часть жертвенников была частично разрушена. Стенки ямок со слабым наклоном, дно плоское. В сечении лунки имеют трапециевидную форму. Размеры первой лунки 35 × 40 см, глубина 5 см; второй – 32 × 35, глубина 4 см. Заполнение первой лунки состоит из смеси сильно обугленных костей животных и древесного угля (среднее соотношение древесного угля к фрагментам костей в объеме 0,1 м^3 составляет 1/16), второй только из обугленных костей. Данные о степени озоления костей приводятся в табл. 10. Лунки устроены в материке и могут быть отнесены к первому строительному периоду.

Из первой лунки происходит 886 костных остатков, из которых идентифицированы 36 костей (4%). Заполнение лунки содержит остатки двух разновозрастных особей мелкого рогатого скота (молодому животному до 10 месяцев и взрослой овце) и кости крупного рогатого скота (залегали в верхней части заполнения). Основная масса костей происходит от целой туши взрослой овцы, о чем свидетельствует состав элементов скелета (табл. 11).

От молодого животного сохранились полностью озоленный фрагмент рогового стержня и подвздошной кости таза, от крупного рогатого скота 2 полностью озоленных фрагмента черепа и часть рогового стержня. В целом, как видно из приведенных в таблице данных (табл. 10 и 11) преобладающая часть костей находится на стадии белого каления и полного озоления.

Таблица 10

Степень озоления костей из заполнения жертвенников-лунок, помещения № 42 кремля дворца

Характер термического воздействия	Показатели	Жертвенник-лунка	
		№ 1	№ 2
Не обожжены	Кол-во фрагментов		1
	В % от общего кол-ва		0,6
Частично обожжены	Кол-во фрагментов		1
	В % от общего кол-ва		0,6
На стадии серого каления	Кол-во фрагментов	52	
	В % от общего кол-ва	5,8	
	В % от озоленных		
На стадии белого каления	Кол-во фрагментов	**652**	**152**
	В % от общего кол-ва	73,5	92,1
	В % от озоленных		93,2
Полностью озолены	Кол-во фрагментов	**182**	**11**
	В % от общего кол-ва	20,5	6,6
	В % от озоленных		6,7

Таблица 11

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки № 1 пом. 42 дворца

Элементы скелета	Количество целых фрагментов	Степень озоления фрагментов костей		
		3	4	5
Череп	0/3		1	2
Нижняя челюсть	0/1		1	
Позвонки шейные	0/2		1	1
грудные	0/1			1
поясничные	0/1			1
Ребра	0/5	1	4	
Лопатка	0/3		3	
Плечевая	0/2			2
Локтевая	0/1		1	
Бедренная	0/3		3	
Пястная	0/1		1	
Коленная	1/0		1	
Фаланга I	0/3	1	2	
Фаланга II	0/1		1	
Мелкие и сесамовидные	3/0		3	
Соотношение групп костей по степени озоления		6,5%	70,9%	22,5%

Обращает на себя внимание смешанный состав остатков животных, происходящих из заполнения, где основным жертвенным объектом являлась целая туша овцы. При этом сожжение происходило в очаге при достаточно высокой температуре, в контакте с топливом. Кости молодого животного (ягненка или козленка) и фрагменты черепа крупного рогатого скота (кремированной головы), были помещены в жертвенник, по-видимому, на поздней стадии его устройства или были добавлены при его переустройстве.

Из заполнения второй лунки удалось выбрать 165 пригодных для подсчета фрагментов костей, основная же часть содержимого представлена крайне мелкой угольной крошкой. На макроскопическом уровне остатки древесного угля не отмечаются. Идентификации поддаются только 15 фрагментов костей (табл. 12), которые, по-видимому, происходят от одной взрослой особи овцы (удовлетворительно сохранилась третья фаланга). В материале не удалось выявить ни малейших фрагментов черепа, нижней челюсти или зубов, при том, что элементы других отделов туши присутствуют (туловище, плечевой и тазовый пояс, дистальный отдел конечностей). Это позволяет предположить, что туша кремировалась без головы. Учитывая степень озоления большей части костей до стадии белого каления, можно говорить о высокой температуре кремации туши. Поэтому сжигание, вероятнее всего происходило в закрытой топке, в условиях препятствующих прямому контакту туши с топливом.

Таблица 12

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки №2 пом. 42 дворца

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей			
		1 2	3	4	5
Позвонки шейные	1			1	
поясничные	1			1	
Ребра	5	1	1	2	1
Лучевая	1			1	
Локтевая	1			1	
Таз	2			2	
Бедренная	1			1	
Большая берцовая	1			1	
Фаланга I	1			1	
Фаланга III	1/0			1	
Соотношение групп костей по степени озоления		6,6%	6,6%	80,0%	6,6%

«Поминальные лунки». Жертвенники–лунки, связанные с человеческими погребениями были названы Н. А. Дубовой (2004) вслед за В. И. Сарианиди «поминальными лунками». Описанные ею поминальные лунки с территории царского некрополя представляют собой ямки менее 0,5 м в диаметре, заполненные сильнообожженными костями мелкого рогатого скота (*Дубова,* 2004). В целом эти лунки имеют такое же устройство, что и жертвенники из жилых помещений и с территории дворцово-храмового комплекса. Вероятнее всего, они создавались через какое-то время после погребения и были связаны с обрядом поминания.

Нами была изучена лунка, выявленная в цисте № 3310 (раскоп 9), общее описание которой уже приводилось ранее (*Сатаев,* 2008). Из содержимого лунки удалось отобрать 100 фрагментов костей, из которых до принадлежности к элементу скелета определены

30. Все кости, происходящие из лунки сильно обуглены. Из общего числа извлеченных костных остатков на стадии серого каления находятся – 3, на стадии белого каления – 25 фрагментов, полностью озолены 72. Основная часть определимых фрагментов (27 костей) происходят от молодой овцы в возрасте до 10 месяцев (табл. 13). Три полностью озоленных фрагмента плечевой кости мелкого рогатого скота, судя по их размерам, принадлежат взрослой особи. Состав определимых элементов скелета животных позволяет говорить, что в лунку были помещены только сожженные части расчлененных туш. Возможно это своеобразная ритуальная пища, предназначавшаяся умершему (или подношение высшим силам), когда остатки мясных кусков, сожженных в печи (температура сгорания высокая) помещались в жертвенник.

Таблица 13

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки в цисте № 3310

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей		
		3	4	5
Позвонки шейные	0/3		1	2
грудные	0/5		2	3
поясничные	0/2			2
Ребра	0/5	1	1	3
Бедренная	0/2		2	
Пяточная	0/1			1
Пястная	0/4		1	3
Плюсневая	0/2			2
Фаланга I	0/3			3
		1	7	19
Соотношение групп костей по степени озоления		3,7%	25,9%	70,4%

«Свободные» лунки. К этой условной группе мы отнесли жертвенники-лунки, не имеющие явную приуроченность к определенным объектам памятника.

Подобный жертвенник выявлен на *раскопе 16 в 3 м к юго-востоку от пом. 32*. Ямка округлой формы диаметром 0,4 м, в сечении коническая, глубина 0,22 м. Заполнение лунки состоит из обгоревших костей мелкого рогатого скота и древесного угля (среднее соотношение древесного угля к фрагментам костей в объеме 0,1 м составляет 1/5). Всего отобрано 249 фрагментов костей, из которых идентифицированы 129 фрагментов (табл. 14). Все кости принадлежат одной молодой особи овцы (возраст от 10 мес. до 1,5 лет). Степень озоления костей невысокая – необожжено 65 (26,1%), частично обожжено 37 костей (14,9%). Обуглены 147 фрагментов (59% от общего количества костей), из которых до стадии серого каления 116 (46,5% от общего количества костей и 78,9% от числа озоленных костей), белого каления 19 (7,6% и 12,9%), полностью озолены 12 фрагментов (4,8% и 82%). В целом, температура сгорания туши была невысокой не более 500 °С, которая может быть вполне достигнута в открытой топке (костре) при использовании дров. Состав элементов скелета животного, реконструируемая температура сгорания, выраженная мозаичность озоления костей, наличие в заполнении сравнительно крупных древесных углей, позволяет говорить, что целая неосвежеванная туша сжигалась на костре или в открытом алтаре.

Таблица 14

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки с раскопа 16

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1	2	3	4	5
Череп	0/4			2	1	1
Изолированные зубы	7/0	3	2	2		
Эпистрофей	0/1	1				
Позвонки шейные	0/3	2		1		
грудные	0/11	3	3	4	1	
поясничные	0/6		6			
крестец	0/1				1	
Ребра	0/22	1	1	17	2	1
Лопатка	0/1					1
Плечевая	0/3	1	2			
Лучевая	1/0		1			
Локтевая	0/1	1				
Таз	0/6			4	2	
Бедренная	4/7	6	1	3	1	
Большая берцовая	0/6		2	4		
Коленная	1/0	1				
Пяточная	0/5			5		
Таранная	2/0	1	1			
Пястная	0/4		1	3		
Плюсневая	0/9	3	2	3	1	
Мелкие и сесамовидные	10/0	1	7	2		
Фаланга I	0/4	2	1	1		
Фаланга II	4/2	4		2		
Фаланга III	2/2	1		3		
Соотношение групп костей по степени озоления		24%	23,4%	43,4%	6,9%	2,3%

Из содержимого разрушенной «свободной» лунки, располагавшейся на западном берегу большого бассейна (вскрыта в обрушившемся борту бассейна) собрано 250 обожженных фрагментов костей овцы сравнительно хорошей сохранности, из которых 200 определены до элемента скелета. Кости перемешаны с древесным углем, среднее соотношение углей к фрагментам костей в объеме 0,1 м^3 составляет 1/4. На основании наличия в материале костей всех отделов скелета можно заключить, что в жертвенник были помещены остатки целой туши (таблица 15). Возраст данной особи определяется в широких пределах – от 1 до 3,5 лет (эпифизы первых фаланг приросшие, головка бедренной кости не приросла). Степень озоления большей части костей невысокая. Из общего числа извлеченных остатков не обожжены 35 фрагментов (14%), частично обожжены 55 фрагмента (22%). Обуглены 160 фрагментов (64%), из них до стадии серого каления 99 костей (39,6% от общего количества костей и 61,8% от числа озоленных костей), до стадии белого каления – 39 фрагментов (15,6% и 26,0 %), до стадии полного озоления 22 фрагмента (8,8% и 13,8%). Наименее озолены зубы, позвонки, компактные кости, дистальные отделы конечностей. Обращает внимание сходство основных характеристик об-

суждаемого материала и содержимого лунки с раскопа 16. Поэтому можно предположить, что в данном случае (как и в предыдущем), имело место сжигание на костре или алтаре целой туши животного.

Таблица 15

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки на берегу большого бассейна

Элементы скелета	Количество целых / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей				
		1	2	3	4	5
Череп	0/10			6	3	1
Нижняя челюсть	0/5	1	1	2	1	
Изолир. зубы	6/9	3	12			
Атлант	0/2		2			
Эпистрофей	0/4	1		3		
Позвонки шейные	2/5	1	1	4	1	
грудные	5/10	2	5	7	1	
поясничные	2/6			5	2	1
крестец	0/4				3	1
Ребра	0/32	5	3	16	6	2
Лопатка	0/3				2	1
Плечевая	2/6	1		5	2	
Лучевая	0/5	2	1	2		
Локтевая	0/3		2	1		
Таз	0/7		0	2	3	2
Бедренная	3/8		1	6	2	2
Большая берцовая	1/6		1	4	1	1
Коленная	2/0	1	2			
Пяточная	1/4	1	3			
Таранная	1/1		2			
Пястная	2/5		3	2	2	
Плюсневая	3/6		2	4	3	
Мелкие и сесамовидные	12/0	3	5	4		
Фаланга I	3/5	4		4		
Фаланга II	4/0	2	1	1		
Фаланга III	4/1	3	2			
Соотношение групп костей по степени озоления		15%	24,5%	39%	16%	5,5%

«Свободный» жертвенник выявлен нами *к 1,8 м югу от юго-восточной башни стены каре*. Ямка округлая, диаметром 0,3 м, глубиной 0,06 м с плоским дном, в сечении трапециевидная. Верхняя часть жертвенника разрушена и на поверхности отмечается ореол развеивания, содержащий крошку из мелких обугленных костей. Из содержимого лунки извлечено 480 сильно обугленных и фрагментированных костей. До элемента скелета определены 50 фрагментов (табл. 16). Все они происходят от взрослой овцы (старше 3,5 лет – головка бедренной кости приросла).

Основная масса – 475 костей (98,9 %)— сильно обуглена, из них до стадии полного озоления 345 фрагментов (71,8 % от общего количества выделенных из заполнения лунки фрагментов и 73,4% от количества обугленных костей), до стадии белого каления 87 фрагментов (18,1% и 18,5%), до стадии серого каления 43 фрагмента (8,9% и 9,1%). Не обожжены 4 костных фрагмента (0,8 % от общего количества костей выделенных из заполнения лунки), а частичное озоление отмечается у 11 (2,3% от общего количества костей выделенных из заполнения лунки). Эти данные показывают, что температура в топке (вероятнее всего закрытой), где производилась кремация, была высокой. По всей видимости, целая туша животного была сожжена в закрытой топке.

Таблица 16

Состав элементов скелета и степень озоления костей овцы из лунки у юго-восточной башни стен каре

Элементы скелета	Количество целых* / фрагментов	Степень озоления фрагментов костей			
		2	3	4	5
Череп	0/1				1
Изолированные зубы	1/0	1			
Позвонки шейные	0/3				3
Ребра	0/15		2	5	8
Лопатка	0/1				1
Плечевая	0/4				4
Лучевая	0/1	1			
Локтевая	0/2				2
Бедренная	1/0				1
Большая берцовая	0/4			1	3
Пяточная	0/1				1
Таранная	2/0				2
Пястная	0/1				1
Плюсневая	0/2				2
Фаланга I	0/2				2
Фаланга II	1/2	1			2
Фаланга III	0/1				1
Мелкие и сесамовидные	0/5	2	1	1	1
Соотношение групп костей по степени озоления		10%	6%	14%	70%

Заключение

Данные полученные нами при изучении остатков животных из жертвенников-лунок позволяет сделать следующие выводы об условиях кремации жертвенных животных, и особенностях формирования заполнения жертвенников-лунок. Кремация животных проводилась тремя основными способами:

• в открытой топке (костре, алтаре) при сравнительно невысокой температуре (не выше 500 °С);

• в закрытой топке (печь) в контакте с топливом (возможно туша обкладывалась дровами или хворостом) при достаточно высокой температуре (800 °С и выше);

• в закрытой топке без контакта с топливом при средних (от 500°С до 800С) и высоких температурах и (выше 800 °С).

В большинстве случаев (домашние, храмовые жертвенники, свободные жертвенники) животные сжигались целой неосвежеванной тушей. В одном зафиксированном случае (лунка № 2 в пом. 42 дворцово-храмового комплекса) кремировалось животное с декапитацией. Для устройства «поминальной лунки» сжигались только разделанные части животного (мясные куски). В виде жертвенного животного для устройств лунок использовались в основном разновозрастные особи мелкого рогатого скота (овцы и козы). Только в одном случае в заполнении лунки отмечены остатки черепа крупного рогатого скота (лунка № 1 в пом. 42 дворцово-храмового комплекса). Способ кремации в каждом конкретном случае, по-видимому, не зависел от локализации, размеров, формы и экстерьерных особенностей жертвенника. Нужно отметить, что сами жертвенники периодически переустраивались и обновлялись, а содержимое лунок, возможно, перемещалось из одной лунки в другую. Не исключено, что кости, помещенные в жертвенник, могли использоваться в каких-либо ритуальных действиях.

Литература

Дубова Н. А. Могильник и царский некрополь на берегах Большого бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию Сарианиди В. И. М., 2004. С. 254–281.

Медико-криминалистическая идентификация. Настольная книга судебно – медицинского эксперта \ В. В. Томилина (Ред.). М., 2000.

Сарианиди В. И. Дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура // У истоков цивилизации. Сборник статей к 75-летию В. И. Сарианиди. М., 2004. С. 229–253.

Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Сарианиди В. И. Памятники монументальной архитектуры Бактрии // СА. М., 1977. № 1. С. 203–224.

Сатаев Р. М. Животные в хозяйстве и духовной жизни древнего населения Гонур-Депе // Труды Маргианской экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 143–160.

Steward T. D. Essentials of forensic anthropology. L., 1979.

Н. А. Дубова

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКРОВ ТУРКМЕНИСТАНА В ДРЕВНОСТИ И В НАШИ ДНИ

Словосочетание «антропологический покров» ввел в науку акад. В. П. Алексеев. Его редко используют, хотя мне он представляется очень удачным, ибо позволяет зримо представить себе группы, популяции человека во всем их многообразии, охватывающие (покрывающие) земной шар. Использовать же этот термин в названии статьи, которая подготовлена для издания в честь юбилея выдающегося ученого, яркой личности и большого труженика Виктора Ивановича Сарианиди, меня подтолкнула мысль о том, что моя научная судьба чудесным образом переплетается с путями этих двух известных всему научному миру людей. Но и дороги Виктора Ивановича и Валерия Павловича пересека-

лись неоднократно в самых разнообразных ситуациях. Оба они родились в одном, 1929 г. (правда, один – в Ташкенте, а второй – в Москве), только месяц разделяет даты их рождения (Алексеев родился 22 августа, а Сарианиди 23 сентября). Одни из первых самостоятельных полевых исследований в 1964 г. они проводили вместе – на раскопках ныне столь известного туркменского памятника Геоксюр (где их соратником был П. М. Кожин). Потом они работали на разных территориях (В. П. Алексеев больше внимания уделял Сибири, Кавказу, Европейской части России, а В. И. Сарианиди – всю жизнь проводил исследования в Средней Азии, лишь несколько лет в начале 1960-х раскапывал Бамутские курганы в Чечено-Ингушетии). Они не участвовали в разработке одних тем, но каждый, будучи глубоко заинтересованным и увлеченным в своих научных изысканиях, следили за открытиями и публикациями друг друга. В непростые для обоих 1980-е годы, В. П. Алексеев, будучи уже академиком и директором Института археологии РАН, оказал серьезную поддержку своему давнему соратнику и большому ученому, открытия и достижения которого он высоко ценил.

Благодаря замечательному случаю, в качестве почти «научного туриста» в 2000 г. я оказалась на Гонуре, где в невообразимой красоты песках известный мне ранее только по публикациям легендарный археолог уже отыскал новую цивилизацию. Монументальные стены кремля, масштабность всего памятника, богатство «антропологических сокровищ» (в тот год был уже почти полностью раскопан некрополь Гонура с его почти 3000 погребений), та живость и яркость, с которыми В. И. Сарианиди описывал жизнь древних маргушцев, как будто он сам был ее свидетелем, не могли оставить меня равнодушной. И, получив приглашение на участие в работах в следующем году, отказаться было невозможно. Тогда (да и сейчас, конечно, тоже) мне прежде всего стало почти страшно от того, что такими усилиями собираемый материал, благодаря которому можно разрешить не один спорный вопрос сложения антропологического типа населения Средней Азии, понять, какими путями взаимодействовали (и взаимодействовали ли?) восточные и западные средиземноморцы, палеоевропеоиды и веддоиды, дравидо-, ирано- и тюркоязычные народы, древние земледельцы и скотоводы... просто пропадет и раствориться в этих самых бескрайних песках, сгорит на том самом «белом солнце»… Да, конечно, за прошедшие 15 гонурских полевых сезонов многое стало более ясно. Но в то же время: «я знаю только то, что ничего не знаю». Решение одних вопросов («на кого похожи?», «откуда пришли в дельту Мургаба?», «единая ли или смешанная популяция?», «есть ли свидетельства смешения земледельцев со степными группами?», «как соотносится древнее и современное население?» и др.) высветило и более глубокие, затрагивающие основы антропологии (например, такой: «какие факторы [при в значительной мере сходных миграционных процессах и способах ведения хозяйства] повлияли на неолитическое население региона [в целом сходное] таким образом, что на востоке [в южных районах Таджикистана] население стало гипербрахикранное, а на востоке [южные районы Туркмении] – сохранилась долихокрания?»).

Но антропология оказалась не единственной «силой притяжения» на Гонуре. То, что В. И. Сарианиди «усматривал» под землей, а потом и извлекал оттуда на радость ученым и зависть «доброжелателям», открывало такие неизвестные стороны древней истории, что дух захватывало от сознания, что так обыденно, без содрогающейся под ногами земли, или разверзающихся небес, мы соприкасаемся с богатейшим духовным миром людей, живших четыре тысячи лет назад. Мы, увы, еще не можем «прочитать» (иногда вообще, а когда-то частично) то, что записано в ворохах белых перьев и оскаленных пастях, развивающихся крыльях и змеиных кольцах, в широко открытых очах и волнистых волосах,

которые сохранили до нас мозаичные (первые из известных в мире!) панно. Но сам факт, что, благодаря Виктору Ивановичу культура этого народа, как ныне оказывается, объединявшая население огромного региона (границы которого впервые он же и очертил), становится нам известна; что через пару десятков лет (а, может быть, и пару поколений?) вера и чаяния живших тогда людей будут понятны многим – бесспорен.

В виде благодарности за такую возможность общения с прекрасным прошлым, с самим настоящим Виктором Ивановичем (которого некоторые называют не только «Львом пустыни», но и «Великолепным») хочу и представить небольшую работу, посвященную попытке сопоставления древнего и современного разнообразия населения любимого им Туркменистана.

Антропология – наука о том, как менялись особенности физического облика человека со времени его появления на земле, как они меняются с возрастом, каково разнообразие этих особенностей в настоящее время на разных континентах и в зависимости от условий жизни. Сравнивая размерные и описательные характеристики населения разных географических областей, находя в них общие и особенные черты, мы можем понять, находились ли эти народы в родственных отношениях, а если находились, то в каких. Конечно, не всегда эти вопросы решаются просто. В сравнениях подобного рода большое значение имеет или численность обследованного современного населения, или количество костных останков, представляющих древние народы.

Облик современных туркмен с научной точки зрения изучен достаточно хорошо. Первые материалы были получены еще в 1926 году Л. В. Ошаниным (1926). Наиболее подробное исследование территориальных групп туркмен принадлежит О. Бабакову (1977). Эти исследования показали, что туркменам присущ восточносредиземноморский тип (закаспийский комплекс антропологических характеристик: долихокефалия, высокое и относительно узкое лицо с высоким и относительно узким носом; темная пигментация волос и глаз; средне наклонный лоб со слаборазвитым рельефом в области надбровья; среднее по высоте переносье, средняя степень развития третичного волосяного покрова, средняя горизонтальная профилировка лица и средневыступающие скулы).

Происхождение и древность долихокефалии туркмен до сих пор остается дискуссионной. Так, Л. В. Ошанин к А. И. Ярхо высказывались в пользу ее связи со скифским (сакским) населением (*Ошанин,* 1926, 1928; *Ярхо,* 1933). М. Г. Левин (1947) и Т. Н. Дунаевская (1963) считали, что туркмены в целом брахикефалы, но накладывая специальные повязки в детском возрасте, они искусственно удлиняют головы. А. П. Пестряков (1964) еще раз проанализировал имевшиеся в его распоряжении литературные и собранные в Каракалпакской АССР материалы и пришел к выводу, что часть туркмен долихокефальна по своему происхождению и не деформирует голову. Члены другой группы имеют от рождения мезо- или брахикефальную голову и, накладывая специальную высокую повязку, удлиняют ее. Третья группа также долихокефальна, но члены ее все же накладывают повязки, чем усиливают исходную тенденцию к долихокефалии. Автор данной работы, проанализировав изменчивость диаметров головы и корреляции головного указателя с возрастом, также склоняется в пользу последнего вывода (*Дубова,* 1978, 1985, 1996).

Новый свет на данную проблему удалось пролить, благодаря многолетним широкомасштабным работам Маргианской археологической экспедиции под руководством В. И. Сарианиди на выдающемся памятнике эпохи бронзы, расположенного в 85 км к северу от г. Байрамали в песках Каракумов – Гонур Депе (*Сарианиди,* 1990, 2001, 2002, 2005, 2008 и мн. др.). Уникальные по своей численности и представительности материалы

(к лету 2009 г. мы имели костные останки более чем по 4000 древним маргушцам, жившим в ныне пустынных районах в 2300 до 1600 гг. до н. э.), которые позволяют со многих сторон охарактеризовать внешний облик древнего населения Туркменистана, тщательно собиравшиеся на протяжении десяти лет О. Бабаковым, а потом еще девяти лет автором этих строк,[1] принесли важное открытие, подкрепившее последний вывод. На предмет выявления деформации удалось изучить костные останки 186 человек (154 детей и 32 взрослых). Значительная часть черепов (у 9 взрослых и 65 детей – или 40% от всех изученных) несла совершенно четкие следы искусственной деформации в области затылка и темени (табл. 1). Оказалось, что такая разновидность кольцевой деформации, которая известна под названием теменно-затылочной, была очень широко распространена среди населения Гонур Депе, и, по-видимому, во всей Маргиане уже в эпоху средней бронзы (в середине – конце II тыс. до н. э.) (*Дубова,* 2004, 2004а, 2006).

Таблица 1

Распределение черепов с визуально фиксируемыми следами искусственной деформации (ТЗД), найденных на руинах, по полу и возрасту

Признак	Всего вошло в анализ		Черепа с ТЗД		
Пол	N	%	N_1	% от вошедших в анализ	% от черепов с ТЗД
Муж. (male)	209	48,2	68	32,6	54,0
Жен. (female)	129	29,7	34	26,4	27,0
Не определен (?)	96	22,1	24	25,0	19,0
Всего	434		126	29,0	
Возраст (в годах)	N1	%	N2	% от N1	% от N3
Infantilis I (до 1)	73	16,8	17	23,3	13,5
Infantilis I (1-6)	142	32,7	52	36,6	41,3
Infantilis II (7-14)	76	17,5	33	43,3	26,2
Juvenis (15-19)	22	5,1	4	18,2	3,2
Adultus (20 – 34)	43	9,9	9	20,9	7,1
Maturus (35 – 54)	50	11,5	10	20,0	7,9
Senilis (55 лет и старше)	28	6,5	1	3,6	0,8
В с е г о (N3)	434		126	29,0	

Судя по следам, оставшимся на черепах, почти сразу после рождения ребенка ему на голову накладывалась тугая повязка, одна часть которой охватывала снизу затылок, а вторая помещалась на темени, ближе ко лбу или сзади – почти на верхней части затыл-

[1] Это стало возможным, благодаря финансированию полевых и лабораторных исследований первоначально АН СССР и ее преемницей Российской Академией наук, а также Академией наук Туркменистана, а затем различными спонсорами, среди которых нельзя не назвать руководителя раскопок В. И. Сарианиди, Министерство культуры Греции, общества греков-понтийцев, итальянский Научно-исследовательский центр Дж. Лигабуе, американские Научное общество «Нэйшнл географик» и Фонд Леона Леви, Российский фонд фундаментальных исследований (проект 07-06-00062а), Российский гуманитарный научный фонд (проекты 99-01-00180а, 00-01-18034е, 07-01-18017е); Программу Президиума РАН «Этнокультурное взаимодействие в Евразии» (2003–2005). Всемерную поддержку оказывал и оказывает работам в Маргиане Президент Туркменистана, туркменское Правительство и местные власти, за что хотелось бы выразить всем самую искреннюю благодарность.

ка. Следы такой повязки обнаружены на черепах умерших в разных возрастах, включая младенцев, проживших лишь 5–7 и даже менее 1 месяца. Повязка состояла из довольно узкого куска(ов?) материи, которым несколько раз обматывали голову, как бы бинтовали ее. Судя по всему, искусственная деформация была непреднамеренной, т. е. голова туго повязывалась платком или куском материи не с сознательной целью изменить форму головы. Скорее всего, платочек (или специальная шапочка, которую нередко и сейчас используют туркмены) был элементом ухода за ребенком.

Среди изученных останков 32 новорожденных младенцев в 5 случаях отмечена явная теменно-затылочная деформация (15,6%). Такие следы не были обнаружены ни у одного из 12 детей, родившихся преждевременно (около 30 недель внутриутробного развития), мертворожденных или умерших, вероятно, сразу же после рождения. Поэтому, если из общего числа умерших новорожденных вычесть число родившихся преждевременно (мертворожденных?), то итоговая частота деформированных черепов в этой группе увеличится до 25% (подробнее см.: *Дубова*, 2006).

Сравним наши наблюдения с исследованием М. Г. Левина, проведенным среди туркмен-теке г. Ашхабада в 1942 г.: «До настоящего времени у туркмен полностью сохранился обычай повязывать ребенку при рождении голову сложенным платком. Платок складывается косынкой, накладывается основанием на лоб, вершиной назад; концы косынки обводятся вокруг головы, проходят ниже выдающейся части затылка и спереди завязываются узлом. Повязка то накладывается низко на лоб, то выше, оставляя лоб открытым.[1] Накладывается косынка поверх тюбетейки. Детская тюбетейка отличается от обычной тюбетейки взрослых своей большой глубиной, имея скорее характер шапочки. Нам приходилось видеть на детях грудного возраста и тюбетейки с завязками типа капора («куладжин»). Повязывается платок-косынка очень туго. И тюбетейка, и платок надеваются ребенку сразу же после рождения и не снимаются ни днем, ни ночью независимо от сезона. Моют голову детям весьма редко. Сказанное относится и к мальчикам, и к девочкам. Мальчики носят платок лет до пяти, затем платок уже не повязывается, и ребенок получает новую тюбетейку, с которой, как и взрослые туркмены, расстается редко. Девочки носят платок до замужества и сменяют его на женский головной убор — характерный высокий колпак (бурук)» (*Левин,* 1947, с. 186–187). И далее: «Типичная для туркмен форма головы <…> может быть характеризована следующим образом: лоб сильно покатый, переходит в темя полого, без заметного перегиба. Темя в профиль образует дугу, круто поднимающуюся сзади. Макушка резко выступает, тогда как затылочная область выступает не сильно. Темя в поперечном сечении — плоское. Отмечается заметное сужение в области лба. Наряду с указанной типичной формой головы следует отметить и другую, которая также несет на себе явные следы деформации и отличается прямым лбом, переходящим в темя с крутым перегибом и более выпуклым затылком; при этой форме темя в профиль образует более пологую дугу, макушка не выступает так заметно, как в первом типе. Оба типа образуют между собой гамму постепенных переходов и должны быть поставлены, по-видимому, в связь со способом наложения повязки. При низком наложении повязки на лоб, создаются условия для деформации первого типа, при повязке высокой, оставляющей лоб открытым, — второго типа» (*Левин,* 1947, с. 187–188).

Имеющиеся у автора полевые материалам свидетельствуют, что эта традиция достаточно широко распространена в Туркменистане и в настоящее время. Как видим, изменения формы черепа, зафиксированные нами на черепах эпохи бронзы (II тыс. до н. э.)

[1] По-видимому, это не безразлично для результатов – Сноска М. Г. Левина – НД.

на Гонуре, практически полностью совпадают с воздействиями на кости черепа, которые имеют место в результате наложения повязки на голову ребенка сразу же после рождения современными туркменами.

Такой вывод крайне важен для изучения вопросов бытования искусственной деформации головы и для истории сложения населения Азии в целом. По свидетельству литературных данных, самые ранние по времени черепа с кольцевой деформацией обнаружены в серии V–IV вв. до н.э. из поселения Яздепе вблизи древнего Мерва в Туркменистане. В IV–II до н. э. они выявлены на материалах из Актамского, Кунгайского и Суфанского могильников в Ферганской долине и в Чирик Рабате в Восточном Приаралье; в III–II вв. до н. э. - в могильнике Егиз-Койтас в Центральном Казахстане. Имеется также один череп из могильника Атбашы (юго-восточная Фергана, I в. до н.э. – II в. н. э.) со следами этого же типа деформации. Подобный тип деформации на территории Средней Азии одинаково часто встречается как среди кочевников, так и оседлых земледельцев. Широко распространено мнение, что этот тип был принесен в Среднюю Азию гуннами из Центральной Азии. Но на территории Средней Азии и Казахстана, причем как в северных, так и южных их областях, этот обычай, как считалось ранее, появился на 500–600 лет раньше, чем в Сибири и Центральной Азии. Ни на территории Средней Азии, ни в Сибири в предыдущие годы не было найдено ни одного случая, относящегося к более раннему периоду, чем IV–III вв до н. э. (*Ходжайов,* 1966, 2000; *Тур,*1998).

Таким образом, антропологические находки, сделанные Маргианской археологической экспедицией свидетельствующие, что такая разновидность кольцевой деформации, которая известна под названием теменно-затылочной, была очень широко распространена среди населения Гонур Депе, и, по-видимому, во всей Маргиане уже во II тыс. до н. э., что по меньшей мере на 900–1000 лет раньше, чем она появилась в северных районах Средней Азии, и приблизительно на 1500 лет ранее, чем в Сибири и Центральной Азии.

Небезынтересна информация и о длительности бытования этой традиции. Так, Т. К. Ходжайов пишет о том, что в разных историко-культурных регионах частота встречаемости такого варианта деформации сильно варьирует. В последних веках до нашей эры и первой половине I тыс. н. э. в Северной Бактрии, Хорезме и в южной Фергане кольцевая деформация была распространена в равной степени среди городского и сельского населения. В Восточном Прикаспии, на западе Хорезмского оазиса – Присарыкамышье, в Юго-Восточном Приаралье, Ташкентском оазисе, Северной Фергане, в Таласской долине и на Тянь-Шане, Алае деформация практиковалась в основном среди местных скотоводческих племен. В эпоху раннего средневековья обычай деформации бытует уже как у городского, так и сельского населения Средней Азии и Казахстана, однако не в таких масштабах, как в первой половине I тыс. н. э. Крайне редки находки деформированных черепов из Чуйской, Таласской, Ферганской, Зарафшанской, Кашкадарьинской долин и прикопетдагской полосы Южного Туркменистана (от 5 до 15%). Исключение составляет лишь Левобережный Хорезм, где кольцевая деформация сохраняется у раннесредневекового городского и сельского населения (до 70–90% от общего числа погребенных). В правобережной части дельты Амударьи, где обитало население кердерской культуры, не зафиксировано ни одного случая кольцевой деформации.

Эти факты, а также данные о том, что в настоящее время мы не имеем антропологических свидетельств распространения преднамеренной деформации головы в степных районах Евразии ранее середины I тыс. до н. э. (*Ходжайов,* 1966, 2000, 2006), позволяют говорить о возможности распространении такого обычая деформации головы в степные районы Евразии из южного маргианского центра. Безусловно, возможно и параллельное

возникновение этого обычая на различных территориях. Наиболее важно то, что применявшийся гонурцами способ деформации не сильно изменял форму головы, хотя и имел четко выраженные морфологические последствия. Скорее всего, эта деформация не имела своей целью сознательное удлинение черепа. Логичнее полагать, что она – следствие способа одевания младенца. По-видимому, такому способу деформации способствовала тугая повязка или плотная небольшая шапочка, которые одевались на голову новорожденного младенца. Нельзя исключать, что со временем эта бытовая традиция могла превратиться в сознательное воздействие на голову ребенка.

Какую же точку зрения поддерживают полученные на Гонуре данные? Являются ли современные туркмены долихо-, мезо- или брахикефальным народом? Как и для большинства народов мира, нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Во всех туркменских племенах встречаются и те, и другие, и третьи. Да, в среднем туркмены более долихокефальны, чем, например казахи. Но усредненный для группы головной указатель изменяется от 81,2 (брахикефалия) у туркмен Астраханской области России до 77,4 (мезокефалия) у туркмен, проживающих на юге и западе Туркменистана. Соответственно в Дашогузе (северные районы государства) он равен 80,6, а в восточных – 79,1. Не в малой степени, как уже отмечалось, сохранению большего числа долихокефалов среди туркмен, чем в других среднеазиатских странах, способствует именно сохранение традиций бинтования головы ребенка с самого рождения. И древний обычай, который, как мы теперь знаем, уходит своими корнями, по меньшей мере, во II тыс. до н. э., а может быть, и в более раннее время, сохраняется практически на всей территории Туркменистана, а его бытование зависит уже, скорее от социальных предпочтений, а не племенной принадлежности родителей.

Здесь нельзя не обратить внимание и еще на одно важное обстоятельство, связанное с проблемой брахикефализации населения Туркменистана. Гонурцы в среднем долихокефальны: черепной указатель у мужчин, похороненных на большом некрополе, равен 71,0, а у женщин – 71,6. Но среди представителей обоих полов встречены и брахикефальные черепа (всего их 5 или 2,1%). Эта особенность серии была отмечена уже при первой публикации (*Бабаков и др.,* 2001). Для столь раннего периода времени брахикефалы встречены на территории Средней Азии впервые. Напомню, что одним из самых ранних центров эпохального процесса брахикефализации являются такие памятники как Тепе Сиалк и Тепе Гиссар в Иране. Брахикефализация, как показали исследования В. В. Бунака, А. Валуа, И. Швидетцкой и М. Каппьери (*Бунак,* 1927; *Vallois,* 1939; *Schwidetzki*, 1950; *Cappieri,* 1961, p. 95–11), с одной стороны, во многом сопряжена с широким распространением миграций и связанной с ними метисации ранее не контактировавших между собой групп. С другой стороны, важен и экологический фактор. Так, П. Вассалем (*Vassal,* 1957) была выявлена территориальная зависимость брахикефалии с выходами гранитов на поверхность почв, а в известной серии работ Т. И. Алексеевой, ее коллег и учеников (см.: напр., *Алексеева,* 1977, с. 16–18; 1998, с. 45–51 и др.) подчеркивается отрицательная связь размеров и пропорций скелета с содержанием костеобразующих минералов в среде обитания. На Гонуре имеются примеры отклонений от оптимальной минерализации скелета (например, наличие трех скелетов карликов, найденных, как на некрополе – погр. 1141, 1172, так и в гробнице 3230 царского некрополя, а также костные останки нескольких детей с нарушением процесса оссификации – см. подробнее: *Дубова,* 2006). Можно по-разному оценивать имеющиеся данные, но гонурский материал в любом случае показывает, что в конце III тыс. до н. э. процесс брахикефализации уже стал проявляться и на территории Южного Туркменистана.

Анализируя литературные данные о положении туркмен среди других антропологических типов Средней Азии, прежде всего следует подчеркнуть важность точки зрения, высказанной в 1974 г. В. П. Алексеевым о том, что туркмены, как представители закаспийской расы, могут быть сближены с населением Западного Памира (1974, 1974а). Палеоантропологические аналогии этому варианту, вернее его европеоидной основе (так как монголоидная примесь появилась в составе туркмен позднее) может быть прослежена на находках эпохи неолита и бронзы южных районов Туркменистана. На основе анализа данных по антропологии современного населения Средней Азии мною был сделан вывод, что население, жившее па территории современного Южного Туркменистана, Узбекистана и равнин Таджикистана, в эпоху неолита было сходно между собой. Позднее, скорее всего в эпоху бронзы, происходит формирование различных вариантов внутри этой, прежде однородной общности: в районах Южного Узбекистана и Таджикистана появляется население, отличающееся от насельников западных районов более низким лицом. Этот вариант, описанный для современного населения, был назван южно-таджикский грацильный (*Пестряков,* 1975, 1980; *Дубова,* 1978а, 1996 и др.). К такому же выводу, характеризуя население южных районов Средней Азии эпохи бронзы, приходит Т. К. Ходжайов (1981, 1983).

Результаты анализа исторической взаимосвязи различных антропологических и одонтологических признаков между собой позволили автору данной работы выделить несколько европеоидных компонентов, которые вошли в состав туркменского народа: восточносредиземноморский (закаспийский), древний степной сильно матуризованный с крупными размерами головы и лица и, по всей видимости, более светло пигментированный вариант. Позднее на них наслоился один или несколько монголоидных вариантов (*Дубова,* 1978, 1996). Не исключено участие в этом процессе и европеоидного варианта с крупными размерами головы, но с более низким лицом.

Антропологические исследования, проведенные К. Наджимовым в Сурхандарьинской области (1958), показали, что туркмены, проживающие в районе Термеза, как и туркмены Туркменистана, относятся к длинноголовому закаспийскому типу. Нуратинские туркмены, живущие в одном из районов Самаркандской области Узбекистана, по данным В. Я. Зезенковой (1945), обнаруживают некоторое сходство с закаспийским антропологическим типом. Среди проживающих там потомков племен канджигалы, айтамгалы и казаяклы этого типа не обнаружено. Они отнесены автором исследования к расе Среднеазиатского междуречья. Исследованием О. Бабакова закаспийский антропологический тип описан лишь для туркмен Южного Таджикистана, а все нуратинские туркмены, обследованные по значительно более подробной, чем в 1944 году, программе, включены в расу Среднеазиатского междуречья (Туркмены в Среднеазиатском междуречье, 1989).

Човдуры Ставропольского края и иомуты Хорезма, изученные А. И. Ярхо (1933), так же как и нуратинские туркмены, оказались более монголизированными в результате метисации с каракалпаками и отчасти казахами, что отмечалось и этнографами (*Жданко,* 1964; *Ниязклычев,* 1968). Туркмены Хорезма и Северного Кавказа в целом сходны с группами, описанными Л. В. Ошаниным и О. Бабаковым (Туркмены в Среднеазиатском междуречье, 1989).

Обобщение всех, имеющихся в литературе и собранных по единообразной методике данных по антропологии туркмен, включая, кроме выше перечисленных, материалы Н. Рысьназарова по Каракалпакии (1972), Г. Ф. Дебеца по Афганистану (1968, 1980, 1996) и О. Бабакова и Н. А. Дубовой по Ставрополью и Астраханской области (*Бабаков, Дубо-*

ва, 1989; *Дубова, Бабаков*, 2003)[1] дали возможность сделать важные выводы об антропологических компонентах, сформировавших туркменский народ (*Дубова,* 1989). Сводные данные по признакам кефалометрии и кефалоскопии приведены в табл. 1.

Оказалось, что по всем признакам, имеющим высокий таксономический ранг для среднеазиатского региона, туркмены различаются в весьма сильной степени (см. табл. 2, последний столбец). Даже туркмены Туркмении в антропологическом отношении также не могут считаться однородными как по описательным, так и по измерительным признакам. У разных территориальных и племенных групп современных туркмен по-разному выражены антропологические пласты, вошедшие в состав этого народа. Так, древний неолитический пласт (долихокефалия при большом продольном и малом поперечном диаметрах, высокое и узкое лицо, слабая выраженность рельефа, резкая горизонтальная профилировка, высокий и узкий нос при высоком переносье и общей грацильности скелета) прослеживается почти во всех группах, но наиболее ярко выражен у нохурли, губадагли, ата и меджевуров. Труднее всего этот антропологический компонент можно проследить у туркмен Узбекистана, Ставропольских групп, човдуров, олам, элеч, а также в некоторых группах эрсаринцев. В перечисленных группах, также как и у эрсари Таджикистана, ясно выступают черты, свойственные древнему степному населению (большие продольный и поперечный диаметры, мезокефалия и брахикефалия, относительно высокое и широкое лицо, наклонный лоб с сильно развитым надбровьем, большой, а иногда и очень большой нижнечелюстной диаметр), безусловно вошедшему в состав огузов. Также как и предыдущий вариант, этот антропологический компонент прослеживается в разной степени в составе практически всех туркмен. Заметным отличием таких групп как элеч, эрсари Таджикистана, нуратинских туркмен, човдуров Хорезма и абдалов Астраханской области от других выборок является сильная выраженность монголоидных характеристик. Кроме того, нельзя не упомянуть, что чрезвычайно массивная нижняя челюсть (элеч 116,4; човдуры 114,4; теке – 115,2 мм) отмечена как одна из очень характерных черт черепов из неолитического могильника Тумек-Кичиджик, принадлежавшего носителям кельтеминарской культуры (*Яблонский,* 1986).

Выводы, сделанные по результатам изучения современного населения, подтверждаются и палеоантропологическими материалами. Все имеющиеся данные демонстрируют постоянное взаимодействие степных более матуризованных, массивных групп с земледельческими, относительно более грацильными (*Гинзбург, Трофимова,* 1972; *Ходжайов,* 1981, 1983). Причем это взаимодействие раньше проступает (еще в энеолите) и сильнее выражено в северных районах (*Гинзбург, Трофимова*, 1972; *Яблонский,* 1986). Как было показано Т. К. Ходжайовым в упомянутых работах, в более южных районах массивное население появляется позднее, не ранее эпохи бронзы в более восточных районах (Южный Узбекистан) и на Красноводском полуострове. По данным О. Бабакова (1976, 1983) и Г. Гельдыевой (1986), на самый юг Туркмении это население, по-видимому, пришло лишь в эпоху раннего средневековья. Можно проследить два пути его продвижения — вдоль восточного побережья Каспийского моря и по Амударье.

[1] Материалы, собранные зарубежными исследователями в Ираке, Иране и других ближневосточных странах не анализировались, прежде всего ввиду различий в методике сбора данных. Эти данные суммированы в книге: Field, 1961..

Группа нуратинских туркмен, генезис которой ведется от огузов и туркмен, живших в области Сытнака и предгорьях Каратау, пришла в современное место обитания в конце X–начале XI вв. Здесь в их состав влились другие самые различные этнические элементы, прежде всего местное население Мавераннахра. Поэтому вполне определенно и в антропологическом плане эта группа очень близка узбекам, имевшим в прошлом родоплеменное деление, сохранив и ряд особых черт, в частности массивность скелета.

Если в Самаркандской области туркменские племена несколько веков жили бок о бок с таджиками и узбеками, то в Ставропольском крае и Астраханской области они появились значительно позже. Но, тем не менее, и там, также как в Таджикистане и Афганистане, местное население приняло участие в сложении их антропологического облика. Так, в Астраханском крае и Ставрополье туркмены контактировали с татарами, ногайцами, калмыками, реже с русскими. Этим можно объяснить и некоторые отличия их физического облика от типа туркмен Туркмении: астраханские туркмены несколько более светло пигментированы, имеют более крупные размеры головы и лица и большую монголоидную примесь. Туркмены атинцы Каракалпакии сходны с узбеками, живущими там же, но у них слабее выражены монголоидные особенности, чем у туркмен южных районов Узбекистана. Туркмены Каракалпакстана имеют более крупные размеры головы и лица, чем туркмены Афганистана, но меньшие размеры головы, чем эрсари Таджикистана. В группах афганских и таджикистанских туркмен не исключена поздняя примесь антропологического типа близкого к южнотаджикскому грацильному. Следствием этого может быть некоторое понижение морфологической высоты лица у туркмен Таджикистана и в двух афганских выборках.

Следует, правда, отметить, что вопрос о количестве и характеристиках монголоидных компонентов, вошедших в состав как туркмен, так и других народов Средней Азии и Казахстана, все еще остается открытым. Наиболее вероятным представляется тот факт, что достаточно хорошо выраженные монголоиды южных районов Средней Азии не достигали. Сюда доходили, даже в средневековье, достаточно сложные как по этническому составу, так и в антропологическом отношении популяции.

Но и эти, казалось бы, достаточно обоснованные выводы удалось уточнить, благодаря данным, полученным на Гонур Депе. Почти также как археологические данные с этого замечательного памятника «взорвали» многие из существовавших ранее концепций, материалы, характеризующие население этого нового, пятого центра древневосточной цивилизации, показали, что взгляды на сложение антропологического покрова не только Туркмении, но всего Среднеазиатского региона, широко распространенные ранее, должны быть серьезным образом скорректированы. Как известно, именно результаты исследования костных останков людей могут дать ответы на вопрос «Являются ли месопотамские и хараппские параллели, прослеживаемые В. И. Сарианиди по материальной культуре Гонур Депе результатом торговли и культурных заимствований, или же они связаны с реальным перемещением и смешением масс людей?» Благодаря наличию данных по основателям, строителям столичного центра (некрополь Гонура, конец III – начало II тыс. до н. э. – *Бабаков и др.,* 2001) , а также тем жителям, которые остались жить в самый последний период обитания, когда вода почти полностью оставила этот район («захоронения на руинах» – середина II тыс. до н. э. – *Dubova, Rykushina,* 2007), вполне реально оценить физическое присутствие там степного населения, дискуссия о котором пока продолжается (см., например: *Гинзбург, Трофимова,* 1972, с. 98; *Яблонский*, 1996, с. 58 – о северных районах Средней Азии и, например: *Кияткина*, 1987, с. 51–52, а также: *Громов,* 1995, с. 156–159; *Ходжайов*, 2004. с. 96, 101; *Яблонский,* 2004, с. 284 – о южных).

Таблица 2.

Антропологическая характеристика туркмен различных регионов

Признаки	Туркменистан N групп – 34		Таджикистан, N групп 1	Узбекистан N групп – 5		Астраханская область N групп – 3		Северный Кавказ N групп – 3		Афганистан N групп – 4		Суммарно все группы N групп – 49	
	Пределы вариации	M		Пределы вариации	M	Пределы вариации	M	Пределы вариации	M	Пределы вариации	M	Пределы вариации	M
Продольный диаметр	188,4–197,0	193,58	200,0	183,3–192,1	190,66	188,8–191,4	190,1	192,3–193,4	192,93	1928–196,6	194,17	183,3–200,0	193,26
Поперечный диаметр	144,2–153,0	148,13	153,2	147,4-157,9	149,48	152,8–156,5	154,65	152,1–152,2	152,77	144,2–147,5	146,22	144,2–157,9	149,29
Головной указатель	72,4–80,2	76,52	76,60	75,16–86,14	78,47	79,21–80,93	80,07	78,96–79,63	79,18	73,35–76,50	75,30	72,40–86,14	77,27
Головной модуль	169,4–172,28	170,85	176,6	169,75–171,1	170,17	170,8–173,95	172,37	172,6-173,3	172,75	169,5-170,75	170,19	169,9–172,85	171,27
Скуловой диаметр	137,0–146,2	140,49	139,1	139,3–147,3	141,36	145,5–146,0	145,75	144,8–146,3	145,57	136,7-140,3	138,50	136,70–147,30	141,10
Нижнечелюстной диаметр	107,8–116,4	111,61	114,4	108,8–112,6	110,71	110,4–112,1	111,25	113,1–113,6	113,33	109.4–111,7	110,67	107,0–116,4	111,6
Физиономическая высота лица	173,1–191,2	183,01	185,5	–	179,9	185,7–192,2	188,95	-	-	184,5–192,0	188,77	173,1–192,2	183,5
Морфологическая высота лица	124,5–135,5	130,27	120,4	125,7–128,7	129,48	128,8–132	130,4	130,1–131,3	130,6	124.5–129,6	127,42	120,4–135,8	129,1
Высота носа (от бр)	54,1–61,4	58,16	57,8	61,0–61,5	61,25	57,5–58,0	57,75	61,1–61,4	61,27	55,2–56,9	55,72	54,1–62,2	58,60
Ширина носа	35,1–39,4	35,90	36,5	36,6–39,0	37,80	36,8–38,4	37,60	35,9–34,3	36,60	56,6–37,3	36,95	35,1–39,4	36,90
Цвет глаз % светлых	0,0–6,7	1,59	1,3	1,0–1,3	1,1	0,0–7,7	3,85	–	–	–	–	0,0–7,7	1,18
Средний балл	1,27–1,96	1,87	1,85	1,55–1,84	1,73	1,38–1,51	1,44	1,69–1,85	1,76	1,73–1,83	1,77	1,38–1,96	1,75
Цвет волос % № 27	13,6–66,4	42,14	–	–	–	–	36,60	–	–	38,0–57,0	45,0.	13,6–57,0	32,65

% № 4	21,3–75,2	59,75	–	–	–		36,00	–	–	43,0–62,0	52,0	21,3–5,2	50,36
Рост бороды Средний балл	2,09–2,40	2,56	2,96	2,41–3,38	2,66	2,05–2,69	2,37	1,97– 2,19	2,09	2,52– 3,69	2,75	1,97–3,69	2,58
Эпикантус % наличия	1,82–38,60	11,31	29,50	3,0–42,5	17,26	0,00–22,9	11,45	5,5–10,1	7,93	7,0–27.0	18,50	0,0–42,5	7,76
Средний балл	0,02–0,88	0,23	0,41	0,11–0,77	0,44	0,0–0,23	0,11	–	–	0,10–0,37	0,24	0,0–0,88	0,27
Горизонтальная профилировка лица Средний балл	1,69–2,64	2,14	2,12	2,24	2,01	1,92–2,35	2,13	1,30–1,51	1,42	1,88–2,10	1,97	1,30–2,66	2,03
Выступание скул Средний балл	1,35–2,92	1,88	2,84	–	2,47	1,52–1,92	1,72	–	–	1,83–2,10	1.97	1,35–2,92	2,03
Высота переносья Средний балл	1,84–2,64	2,05	1,96	1,63– 2,17	1,96	2,0–2,23	2,11	1,66–1,93	1,80	1,97–2,12	2.05	1,63–2,64	2,04
Наклон лба Средний балл	1,70–2,59	2,19	2,11	2,01–2,68	2,17	1,85–2,12	1,98	2,32–2,40	2,38	2,36–2,73	2,60	1,70–2,68	2,28
Развитие надбровья Средний балл	1,10–2,42	1,56	2,32	1,58– 2,05	1,74	1,85–2,23	2,04	1,69–1,86	1,80	1,14–1,27	1,20	1,10–2,42	1,72

Таблица 3

Некоторые краниометрические параметры Гонур Депе и Бустон VI

Признаки (№ по Р. Мартину)	Гонур Депе				Бустон VI	
	Некрополь		Погребения в руинах дворцово-храмового комплекса			
	Мужские	Женские	Мужские	Женские	Мужские	Женские
1. Продольный диаметр	186,7(101)	179,3 (71)	190,7 (41)	180,5 (40)	186,1 (15)	182,5 (19)
8. Поперечный диаметр	132,6 (92)	128,0 (69)	135,2 (29)	129,7 (32)	135,5 (11)	136,8 (12)
8:1. Черепной указатель	71,2 (91)	71,3 (63)	71,18 (29)	71,94 (31)	72,9 (10)	74,8 (11)
17. Высотный диаметр ba-br	134,3 (82)	129,0 (57)	136,5 (33)	132,4 (32)	135,7 (12)	130,7 (15)
9. Наименьшая ширина лба	94,7 (91)	92,2 (63)	96,0 (31)	92,4 (34)	95,3 (12)	95,4 (15)
45. Скуловой диаметр	125,8 (65)	118,1 (47)	128,0 (27)	121,4 (20)	130,7 (3)	127,2 (5)
48. Верхняя высота лица	68,5 (75)	63,5 (59)	72,3 (44)	69,0 (37)	70,7 (12)	67,9 (17)
55. Высота носа	50,7 (77)	48,7 (56)	53,91 (44)	51,3 (38)	50,5 (14)	48,8 (17)
54. Ширина носа	24,4 (72)	23,4 (53)	24,7 (41)	24,1 (32)	25,2 (14)	24,4 (19)
51. Ширина орбиты (mf)	41,5 (87)	40,2 (62)	41.6 (33)	39,9 (30)	42,3 (15)	41,2 (20)
51a. Ширина орбиты (d)	39,1 (15)	38,1 (18)	39,7 (20)	38,2 (21)	38,6 (7)	38,2 (6)
52. Высота орбиты	31,9 (90)	32,2 (65)	32,9 (33)	32,7 (28)	33,4 (15)	34,0 (20)
77. Назомалярный угол	135,8 (43)	136,2 (24)	137,4 (22)	137,9 (25)	137,0 (9)	140,9 (8)
Зигомаксиллярный угол	124,7 (31)	127,9(17)	129,4 (22)	127,2 (19)	122,9 (8)	125,7 (10)
75(1). Угол выступания носа	32,6 (38)	29,4 (23)	28,7 (21)	29,2 (19)	23,0 (9)	23,3 (12)

Кроме гонурской серии, для населения близлежащего региона – южных районов Узбекистана – также удалось получить новые материалы. Осенью 2007 г., благодаря приглашению автора раскопок, профессора Самаркандского Государственного университета Н. А. Аванесовой,[1] изучены краниологические материалы с памятника поздней бронзы Узбекистана Бустон VI. Как считает Н. А. Аванесова, результаты археологического изучения этого грунтового могильника говорят об его экстраординарных отличиях от других некрополей Шерабадского оазиса и бассейна Амударьи (Аванесова, 1995, 2006 и др.). По всей видимости, его надо считать одним из базовых памятников при изучении механизма бактрийского культурогенеза. Памятник относится к двум последовательным этапам (моллалинскому и бустанскому) заключительного периода сапаллинской культуры. Помимо преобладания общеандроновских элементов, в материальной культуре Бустон VI просматривается влияние срубной, тазабагъябской и постандроновской культур. Материалы с этого памятника представляют еще более поздний по сравнению с самыми последними обитателями Гонура этап (*Аванесова, Дубова, Куфтерин,* 2010). В табл. 3 представлены результаты измерения 234 черепов с некрополя (126 мужских и 108 женских),[2] 112 – из руин комплекса (56 мужских и 56 женских) Гонур Депе и 55 черепов из Бустон VI (26 мужских и 29 женских).

[1] Измерения произведены В. В. Куфтериным, небольшая часть – автором; поло-возрастные определения проводились автором совместно с А. И. Нечвалодой и В. В. Куфтериным.

[2] Приведенные в таблице данные отличаются от более ранних публикаций, т. к. здесь впервые приводятся результаты измерений всех черепов, найденных не позднее осени 2004 г.

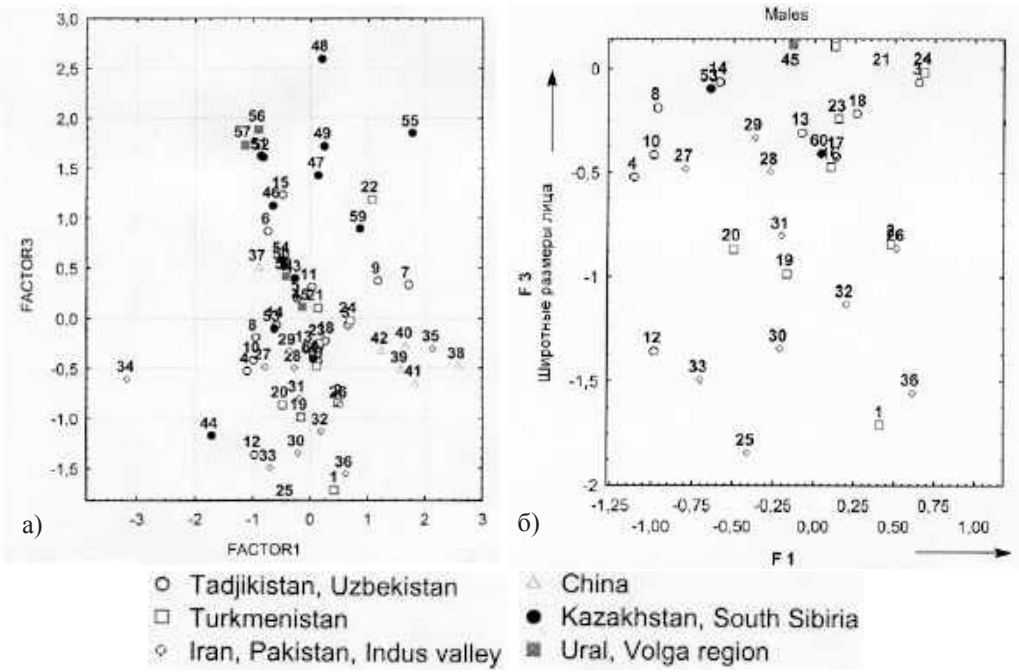


Рис. 1. а) Графическое сопоставление мужских краниосерий в плоскости первой и третьей главных компонент; б) Фрагмент того же сопоставления.

Обозначения групп: 1 – Гонур, некрополь (*Dubova, Rykushina,* 2004); 2 – Гонур, руины (*Dubova, Rykushina,* 2004); 3 – Джаркутан (*Алексеев, Ходжайов, Халилов,* 1984); 4 – Сазаган (*Ходжайов,* 2004); 8 – Дальверзин (*Гинзбург, Трофимова,* 1972); 10 – Тигровая Балка I – Вахш (*Кияткина,* 1987); 12 – Тигровая Балка III – Ойкуль (*Кияткина,* 1987); 13 – Макони Мор (*Кияткина,* 1987); 14 – Кокча III (*Гинзбург, Трофимова,* 1972); 16 – Алтын Депе (*Кияткина,* 1987); 17 – Бустон VI (*Аванесова, Дубова, Куфтерин,* 2010); 18 – Сапаллитепа (*Ходжайов,* 1977); 19 – Кара Депе; 20 – Пархай 2 (*Кияткина,* 1987, *Громов,* 1995); 21 – Сумбар (*Кияткина,* 1987); 23 – Геоксюр (*Гинзбург, Трофимова,* 1972); 24 – Караэлемата-Сай и Патма Сай (суммарно – *Гинзбург, Трофимова,* 1972); 25 – Мохенджо-Даро (Эрхард, по: *Кияткина,* 1987); 26 – Хараппа R 37 (*Dutta,* 1983); 27 – Хараппа H (*Dutta,* 1983); 28 – Хараппа G 289 (*Dutta,* 1983); 29 – Шахри Сохта (*Hemphill,* 1998); 30 – Тепе Гиссар II (Дебец по: *Кияткина,* 1987); 31 - Тепе Гиссар III (Дебец по: *Кияткина,* 1987); 32 – Тимаргарха (*Bernhardt,* 1967); 33 – Буткара II (*Bernhardt,* 1967); 36 – Хасанлу V–IV слои (Каппиери по: *Кияткина,* 1987); 45 – Развитая срубная культура Урало-Повольжья (*Хохлов,* 1998); 53 – Андроновская культура Западного Казахстана (*Гинзбург, Трофимова,* 1972); 60 – Кривое озеро (*Рыкушина,* 2007).

Кроме этих данных для сравнения было привлечено 66 краниосерий энеолита – поздней бронзы как по земледельческому, так и скотоводческому населению разных районов Средней Азии и близлежащих регионов[1] (рис. 1). Сравнение проводилось методом главных компонент с использованием стандартного статистического пакета Statistica.

Как показывают результаты факторного анализа (использовались продольный, поперечный, высотный, скуловой диаметры, верхняя высота лица, высота и ширина носа, высота и ширина орбиты от mf), первые три фактора описывают почти 65% межгрупповой изменчивости (подробнее см.: *Дубова,* 2008; *Аванесова и др.*, 2010). Первый фактор

[1] Пользуясь случаем, автор приносит свою искреннюю благодарность М. Балабановой и А. Хохлову за большую помощь, оказанную в подборе сравнительного материала.

(36,7% вариабельности) дифференцирует группы по верхней высоте лица, высотам орбиты и носа. Второй фактор (14,6%) – только по продольному диаметру и наименьшей ширине лба. Нельзя не подчеркнуть что такая ситуация достаточно своеобразна, т. к. обычно изменчивость продольного диаметра как генерализованного параметра, скоррелированного с общим ростом организма в продольном направлении, вносит существенный вклад в первый, т.е. определяющий наибольшую среди других параметров долю изменчивости, фактор. В сравниваемых же группах наибольшая изменчивость наблюдается по частным высотным признакам. Интересно, что третий фактор, определяющий 13,3% изменчивости, включает наибольшие нагрузки по всем широтным размерам (поперечный, наименьший лобный, скуловой диаметры и ширина орбиты), что говорит, что ростовые процессы в сравниваемых группах как в продольном, так и в поперечном направлении вносят почти одинаковый вклад к межгрупповую вариабельность. Высота черепа (ba-br), будучи ведущей в четвертом факторе вместе с шириной грушевидного отверстия, описывает 10,5% межгрупповой вариации.

Как показывает график, построенный на основании распределения значений 1 и 3 факторов (суммарно оценивают 50% изменчивости), привлеченные серии достаточно четко дифференцируются по территориям. Все казахстанские, южносибирские, алтайские, а также урало-поволжские группы имеют положительные значения F3, а почти все популяции Ирана, Пакистана, долины р. Инд, южных районов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана – отрицательные. Другими словами, для южных групп, в том числе с территории Туркменистана характерны значительно более узкие лица и голова, чем степным. Совершенно отдельно расположились лесные и лесо-степные группы – Окуневские, Саргатские, Карасукские могильники, – а также с основной территория Китая. Исключение из последних составляет могильник Гумугоу из Синьцзяна, который по сумме взятых признаков помещается рядом с заравшанской серией из Дашти-Казы. Наоборот, от основной массы отмеченного «облака» оторвалась небольшая серия из казахстанского Тасты-Бутака, своеобразие которой отмечалось еще ее исследователем (*Гинзбург,* 1962).

Обращая внимание на место обеих гонурских серий, прежде всего, надо отметить, что обе они весьма сходны по высоте лица, носа и орбит, тогда как по их широтным размерам различия между теми, кто был похоронен на некрополе и в последний период обитания на Гонуре несколько более заметны. Характерно, что мужчины-гонурцы, представленные останками из некрополя занимают на графике практически крайнюю позицию: они имеют почти самую узкую голову, узкие и высокие лицо, нос и орбиты среди всех привлеченных групп. Несколько более высокие лицо, нос и орбиты свойственные только группам V и IV слоев из Хасанлу (Иран) и из R37 Хараппы. Материалы из Кара Депе и Пархая по широтным размерам более сходны с теми, кого похоронили на руинах дворцово-храмового комплекса Гонура, но они имеют несколько меньшие высотные размеры, чем последние. Население Алтын Депе оказалось очень сходным с Геоксюром, а также с упомянутой поздней группой из Бустон VI, что явно свидетельствует о присутствии в их составе более массивного, относительно широколицего варианта. Из всех групп с территории Туркменистана сильно выделяется могильник Сумбар, который по использованным признакам сблизился с таким памятником как южноуральское Кривое озеро, относящееся к синташтинской культуре.

По широтным размерам некрополю Гонура близки иранский Тепе-Гиссар II, Мохенджо Даро из долины р. Инд, Буткара из долины р. Сват в Пакистане и Тигровая Балка III (Ойкуль) в Южном Таджикистане. Эти палеопопуляции различаются по высоте лица и носа, которые наименьшие в Тигровой Балке.

Кроме Гонура, среди групп, включенных в анализ, имеется еще несколько памятников, которые представлены антропологическими материалами как из более ранних, так и более поздних слоев. Характерно, что также как и на Гонуре, прослеживаются та же закономерность отличий более раннего и более позднего населения на Тепе Гиссаре в Иране, который в целом оказывается имеющим чуть меньшие высотные размеры лица, чем жители Гонура. Обращает на себя внимание «разброс» краниосерий из Хараппы. Черепа R 37 имеют почти такие же значения F1 как и обе серии из Гонура и Хасанлу, а по F3 (широтные показатели) они практически сливаются на графике с гонурскими «руинами». Хараппа H по обоим факторам сильно отличается от R 37, сближаясь с сериями из Тигровой Балки I (Вахш), из Дальверзина и зарафшанского Сазагана, имея несколько большие высотные, а также широтные показатели. Очень показательно, что неподалеку от этого скопления на графике оказались серии из Кокчи III и андроновцы Западного Казахстана, что лишний раз подтверждает особенность населения этой территории, на что было обращено внимание еще В. П. Алексеевым (1964), В. В. Гинзбургом и Т. А. Трофимовой (1972). Возвращаясь к разнообразию населения Хараппы, отметим, что серия G289 оказывается очень похожей на черепа из иранской Шахри-Сохта и таджикского Макони Мор. Почти на таком же расстоянии от нее, но имея другие значения первого и третьего факторов, расположились туркменский Пархай 2 и упоминавшийся Тепе Гиссар III.

Нельзя не указать и на то, что территориально весьма удаленная от перечисленных групп серия из Кривого озера оказалась вместе с туркменским Алтын Депе и узбекским Бустон VI, радом с которыми разместились туркменский Геоксюр и узбекская Сапаллитепа. Джаркутан и черепа из Больших Балхан (Караэлемата-Сай и Патма Сай) заняли на графике крайнее положение, имея (среди включенных в данный фрагмент серий) наибольшие значения обоих факторов. Подчеркнем, что еще большие значения анализируемых факторов имеют серии из Раннего Тулхара (Таджикистан) и Заман Бабы (долина Зарафшана). Они, хотя и не попадают в «облако степных серий», но имеют положительные значения F3.

Итак, говоря об итоге проведенного сопоставления, следует, прежде всего, напомнить, что любой метод многомерного статистического анализа нельзя переоценивать. Безусловно, все подобные методы дают возможность сопоставить группы по комплексу признаков. Но нередко общие различия по величине признаков затушевывают соотношения таковых, т.е. пропорции морфологических структур, которые бывают намного важнее тотального сходства или различия. Тем не менее, полученная нами картина, как представляется, неплохо укладывается в контекст имеющихся историко-культурных и антропологических реконструкций. Так, выделенные главные компоненты дифференцируют весь массив сравниваемых серий по высотам лица, носа и орбит, а также ширине головы, лица и тех же орбит. Самостоятельное значение имеет продольный диаметр. Но, сделанный еще в начале 1970-х годов В. В. Гинзбургом и Т. А. Трофимовой (1972, с. 97–98, рис. 15) вывод о наличии двух обширных областей распространения антропологических типов на территории Средней Азии и Казахстана (восточносредиземноморских и протоевропейских форм), который неоднократно подтверждался многими исследователями, базируется именно на тех же показателях. Своеобразное положение (не в пределах палеоевропейских вариантов!), о котором писала Т. П. Кияткина (1987, с. 52), также визуализируется и нашим анализом.

То существенно новое, что можно почерпнуть в результате накопления новых данных, проливающее свет и на взаимодействие степных скотоводов с оседлыми земледельцами, представляется следующим образом. Краниосерии с территории южных районов

Средней Азии, представляющие население, в культуре которого сочетаются признаки земледельческой и скотоводческой культур (Кокча III, Бустон VI, Караэлемата-Сай и Патма Сай, Джаркутан) явно располагаются между «типичными» земледельцами (Хасанлу, Гонур, Мохенджо Даро, пакистанские Тимаргарха и Буткара) и сериями с территории Казахстана, Южной Сибири и Урало-Поволжья. В то же время, гонурские черепа из «руин», также как и поздние слои Тепе Гиссара в Иране имеют большие значения третьей главной компоненты (широтные размеры) при сохранении высотных показателей на том же уровне, что и в более ранние эпохи на этих же памятниках. Это можно связать, прежде всего, с общими процессами брахикефализации, начинающими заметно проявляться в это же время. Но также вероятно и влияние постепенного проникновения на юг, и, скорее всего, все большее распространение первоначально случайных, а затем и все более частых брачных контактов степняков с земледельцами. Для общей характеристики этого процесса смешения наиболее подходящим термином будет постепенное «просачивание». Важный момент, который нельзя не учитывать, это факт прихода на юг уже не «ярко выраженных», «чистых» протоевропеоидов (массивного населения, имеющего относительно более низкое, широкое, несколько уплощенное в горизонтальной плоскости лицо, но хорошо выступающий с высоким переносьем нос и относительно узкие и широкие, т. е прямоугольные орбиты), а групп, в антропологическом типе которых, безусловно, значительное место занимает средиземноморский компонент. Такая ситуация, конечно, ведет к усилению в метисной популяции признаков представленных в обеих смешивающихся группах (т. е. средиземноморских).

Даже серия из Бустон VI, археологические материалы которого демонстрируют весьма значительный андроновский компонент, а антропологические – выраженную массивность, причем не только мужчин, но и женщин, при снижении высоты лица и чаще встречаемых прямоугольных формах орбит, и по результатам нашего анализа (см. рис. 1), и по общей популяционной характеристике должна быть отнесена к группам, где средиземноморский компонент (высокое, узкое, резко профилированное в горизонтальной плоскости лицо с высоким, узким хорошо выступающим носом и высокими орбитами, имеющими округлую форму) выражен все же сильнее протоевропеоидного.

Подчеркнем специально, что на Гонуре (т. е. в южных районах Туркменистана) о проявлении минимальной примеси антропологического компонента, которую можно связать со скотоводческим окружением, можно говорить не ранее середины II тыс. до н. э. Дабы не сложилось ошибочное впечатление о явно выраженном «степном облике» последних насельников Гонура, как это, например, имеет место при описании якобы многочисленных фрагментов степной керамики в верхних слоях этого памятника, которые на самом деле представлены там всего пятью(!) экземплярами, напомню еще раз, что население, погребенное в руинах, ближе всего по своим антропологическим характеристикам к Хараппе R37, иранскому Хасанлу, пакистанской Тимаргархе и туркменскому Кара Депе. Группы, обитавшие в эпоху бронзы в степях Евразии, отличаются от них не менее чем на 1,5 сигмы, а основное их «облако», о котором писалось выше, более чем на 2 сигмы.

Таким образом, анализ уникальных антропологических материалов, полученных, благодаря раскопкам Маргианской археологической экспедиции под руководством В. И. Сарианиди на Гонур Депе, позволяет уверенно утверждать, что базовым компонентом населения Маргианы является неолитическое земледельческое население, проживавшее в более южных и юго-западных по отношению к древней дельте р. Мургаб районах, в том числе и в северных предгорьях Копетдага. Учитывая наличие сближения обеих частей гонурской серии (некрополь и «руины») с памятниками цивилизации долины р. Инд, с

одной стороны, и с другой, – с группами, жившими к югу от Копетдага, можно говорить о том, что, кроме торговых и культурных связей между этими регионами, имели место и, по всей видимости, волнообразные перемещения населения.

Впоследствии, в раннежелезный век, в средневековье, в новое время все большее значение в сложении населения приобретают миграции из северо-восточных регионов. В результате ее по направлению с северо-востока на юго-запад территории Туркменистана, с юга на север вдоль побережья Каспия и течения Амударьи усиливается выраженность монголоидной примеси. Складывается та мозаичная картина антропологического покрова, которая свойственная современному населению. Осознавая свою общность как единого народа, в антропологическом отношении туркмены достаточно разнообразны. Одни их территориальные группы в большей степени сохраняют облик того населения, которое жило на этой территории еще шесть-семь тысячелетий назад; другие – особенности тех групп, которые пришли сюда в эпоху бронзы; третьи демонстрируют нам черты народов, родиной которых Туркменистан стал в средние века. Туркменские группы, живущие не одно столетие среди таджиков, афганцев, узбеков, татар, ногайцев, посредством брачных связей получают некоторые сходные с ними черты, сохраняя, однако, общий для всех туркмен древнейший антропологический компонент. Важно еще раз подчеркнуть, что основы этого разнообразия внешнего облика уже достаточно хорошо проявились в населении Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. Главное его отличие от современных групп заключается в полном отсутствии монголоидных особенностей.

Литература

Аванесова Н. А. Новое в погребальном обряде сапаллинской культуры // Археологические вести. № 4. СПб., 1995. С. 63–72.

Аванесова Н. А. Двенадцатый полевой сезон на некрополе Бустон VI // Археологические исследования в Узбекистане – 2004–2005. Вып. 5. Ташкент: ФАН, 2006. С. 23–30.

Аванесова Н. А., Дубова Н. А., Куфтерин В. В. Палеоантропология некрополя сапаллинской культуры Бустон VI // Вестник археологии, антропологии и этнографии Евразии. Вып. 1(41). Новосибирск, 2010.

Алексеев В. П. Антропологический тип населения западных районов распространения андроновской культуры // Труды Ташкентского университета. Вып. 235. Ташкент, 1964.

Алексеев В. П. Древнейшее европеоидное население Средней Азии и его потомки // Проблемы этнической антропологии и морфологии человека. М., 1974.

Алексеев В. П. География человеческих рас. М., 1974а.

Бабаков О. Антропологический состав туркменского народа в связи с проблемой этногенеза. Ашхабад, 1977.

Бабаков О. Антропологическая характеристика средневекового населения Северо-Западной Туркмении // Материалы сессии по итогам полевых исследований 1974–1975 гг. Душанбе, 1976.

Бабаков О. Антропологическая характеристика Туркмении в эпоху позднего средневековья, по материалам Чакан-Депе // Проблемы современной антропологии. Минск, 1983.

Бабаков О., Дубова Н. А. Антропологические особенности туркмен Астраханской области // Известия АН ТССР. № 6. 1989.

Бабаков О., Рыкушина Г. В., Дубова Н. А., Васильев С. В., Пестряков А. П., Ходжайов Т. К. Антропологическая характеристика некрополя Гонур-Депе // Сариниди В. Некрополь Гонура и иранское язычество. М., 2001. С. 105–132 (на рус. яз.); с. 219–240 (на англ. яз.).

Бунак В. В. Crania armenica. Исследование по антропологии Передней Азии. Труды Антропологического НИИ при 1 МГУ. Вып. II. М., 1927.

Гельдыева Г. Краниологический материал Северо-Западной Туркмении // Известия АН ТССР. Сер. Обществ. Наук. 1986. № 6.

Гинзбург В. В. К антропологии населения Ферганской долины в эпоху бронзы // Материалы и исследования по археологии. № 120. М., 1962.

Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972. 371 с.

Громов А. В. Население Юго-Западного Туркменистана в эпоху поздней бронзы // Антропология сегодня. Вып. 1. СПб., 1995. С. 151–160.

Дебец Г. Ф. Антропологические исследования узбеков, туркменов, хазара, таджиков, персов и белуджей. Вып. 6. М., 1968.

Дебец Г. Ф. Антропологические исследования в Афганистане // Новые данные к антропологии Северной Индии. М., 1980. С. 241–308.

Дебец Г. Ф. Некоторые итоги четырех сезонов антропологических исследований во всех провинциях Афганистана // Вестник антропологии. Вып. 2. М., 1996.

Дубова Н. А. Антропологический состав таджиков Северного Таджикистана. Канд. дисс. М., МГУ, 1978.

Дубова Н. А. К проблеме формирования памиро-ферганской расы // СЭ. 1978а. № 4.

Дубова Н. А. Антропологический состав населения Северного Таджикистана и этногенетические проблемы Среднеазиатского региона // Деп. ВИНИТИ № 6944 В. М., 1985.

Дубова Н. А. Антропологические особенности туркмен и древнее население степей Средней Азии // Традиционная культура народов Средней Азии и Казахстана. Нукус, 1989. С. 183–194, вкладка-табл.

Дубова Н. А. Формирование антропологического состава населения Северного Таджикистана. М., 1996.

Дубова Н. А. Еще раз о тысячелетней давности долихокефалии туркмен // Мирас (Ашхабад). 2004. № 4. С. 78–85.

Дубова Н. А. Обычай кольцевой деформации головы: новые данные о его бытовании в южных районах Средней Азии в эпоху бронзы // Интеграция археологических и этнографических исследований. Алматы, 23–24 сентября 2004 г. Алматы, 2004а. С. 295–297.

Дубова Н. А. Искусственная деформация головы у земледельцев эпохи бронзы // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии \ Отв. ред. Медникова М. Б. М.: ИА РАН, 2006. Вып. 5. С. 22–36.

Дубова Н. А. Антропология Гонур Депе: так есть ли степной компонент у земледельцев II тыс. до н.э. Южного Туркменистана // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. Всероссийская научная конференция. Баранаул. 2008. С. 201–205.

Дубова Н. А., Бабаков О. Туркмены Астраханской области (Антропологический очерк) // Горизонты антропологии. Труды Международной научной конференции памяти академика В. П. Алексеева. М., 2003. С. 346–352.

Дубова Н. А., Рыкушина Г. В. Палеодемография Гонур-депе // Человек в культурной и природной среде. Труды Третьих Антропологических чтений к 75-летию со дня рождения академика В. П. Алексеева. М., 2007. С. 309-319.

Дунаевская Т. Н. Влияние искусственной деформации на форму головы у туркмен // ВА. Вып. 15. 1963.

Жданко Т. А. Каракалпаки (основные проблемы этнической истории и этнографии). М., 1964.

Зезенкова В. Я. К вопросу об антропологическом типе туркмен Самаркандской и Бухарской области // Бюллетень АН УзССР. 1945. № 4.

Кияткина Т. П. Палеоантропология западных районов Центральной Азии эпохи бронзы. Душанбе, 1987. 121 с.

Левин М. Г. Деформация головы у туркмен // СЭ. VI–VII. 1947.

Наджимов К. Антропологический состав населения Сурхандарьинской области // Труды САГУ. Нов. сер. Кн. 35. Ташкент, 1958.

Ниязклычев К. Туркмены-човдуры (к вопросу консолидации туркменской нации). Автореф. канд. дис. М., 1968.

Ошанин Л. В. Тысячелетняя давность долихокефалии туркмен и возможные пути ее происхождения. Опыт обоснования скифо-сарматского происхождения туркменского народа // Известия Средазкомстариса. Вып. 1. Ташкент, 1926.

Ошанин Л. В. Некоторые дополнительные данные к гипотезе скифо-сарматского происхождения туркмен // Известия Средазкомстариса. Вып. 4. Ташкент, 1928

Пестряков А. П. О проблеме долихокефалии туркмен. Дипломная работа. каф. антропологии МГУ. М., 1964. Рукопись. Архив каф. антропологии МГУ.

Пестряков А. П. Антропологическое исследование некоторых групп населения Таджикистана и Узбекистана // СЭ. 1975. № 1.

Пестряков А. П. Антропологическое изучение юго-востока Средней Азии. Автореф. канд. дис. М., 1980.

Сарианиди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М., 2001.

Сарианиди В. И. Маргуш. Древневосточное царство в древней дельте р. Мургаб. Ашхабад, 2002.

Сарианиди В. И. Гонур. Город царей и богов. Ашхабад, 2005.

Сарианиди В. И. Маргуш. Тайна и правда великой культуры. Ашхабад, 2008.

Тур С. С. К вопросу о происхождении и функциях обычая кольцевой деформации головы. // Археология, антропология и этнография Сибири. Барнаул, 1998.

Туркмены в Среднеазиатском междуречье. Историко-антропологические очерки. Ашхабад, 1989.

Ходжайов Т. К. О преднамеренной деформации головы у народов Средней Азии в древности // Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР. Нукус, 1966. № 4.

Ходжайов Т. К. Палеоантропология Средней Азии и этногенетические проблемы. Автореф. докт. дис. М., 1981.

Ходжайов Т. К. Динамика ареалов антропологических типов на территории Средней Азии: неолит – начало XX в. // СЭ. 1983. № 3.

Ходжайов Т. К. Обычай преднамеренной деформации головы в Средней Азии // Антропологические и этнографические сведения о населении Средней Азии. Серия «Этническая антропология Средней Азии». Вып. 2.\ Ред. Г. В. Рыкушина, Н. А. Дубова. М., 2000. С. 22–45.

Ходжайов Т. К. Новые антропологические материалы эпох неолита, энеолита и бронзы среднего и верхнего Зарафшана // Вестник антропологии. Вып. 11. М., 2004. С. 87–101.

Ходжайов Т. К. География и хронология преднамеренной деформации головы в Средней Азии // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии \ Отв. ред. Медникова М. Б. М., 2006. Вып. 5. С. 12–21.

Яблонский Л. Т. Древнейшее население южного Приаралья // Виноградов А. В., Итина М. А., Яблонский Л. Т. Древнейшее население низовьев Амударьи. М., 1986. С. 79–122.

Яблонский Л. Т. Саки Южного Приаралья. М., 1996.

Яблонский Л. Т. Череп человека их Кангурттута // Виноградова Н. М. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. М., 2004. С. 275–285.

Ярхо А. И. Антропологический состав турецких народностей Средней Азии // АЖ. 1933. № 3.

Cappieri M. Die asiatische Proto-Mediterranen // Ethnographisch-Archaeol. Zeitschrift. 1961. N 2, 95–11.

Cappieri M. The Iranians of the Copper Bronze Ages. Florida, 1973.

Dubova N. A., Rykushina G. V. New data on anthropology of the necropolis of Gonur-Depe // Sarianidi V. Necropolis of Gonur. 2nd Edition. Athens, 2007. P. 296–329.

Field H. Ancient and modern men in Southwestern Asia. Vol. 1. Florida, 1956; vol. 2. Coral Gables, 1961.

Sarianidi V. Necropolis of Gonur. 2nd Edition. Athens, 2007. 339 p.

Schwidetzki I. Turaniden Studien. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abh. der Matematisch-Naturwissenschaftlische Klasse. № 9. Weisbaden, 1950.

Vallois H. Les ossements humans de Sialk // Girshman R. Foulles de Sialk pres de Kashan. T. 2. Paris, 1939.

В. В. Куфтерин

КРАНИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ САЗАГАНА ПОД САМАРКАНДОМ

Осенью 1995 г. в песчаном карьере, расположенном на берегу староречья Сазагансая (под Самаркандом), было зафиксировано два захоронения: одно частично сохранившееся и второе, уничтоженное при строительных работах[1].

Разрушение погребений не позволило восстановить детали погребального обряда. Однако ненарушеный анатомический порядок позвоночника, костей ног и черепа (погребение 2) дал возможность установить, что один из скелетов находился в скорченном положении на правом боку[2]. Наличие остатков еще одного захоронения (погребение 1) засвидетельствовано в обнажении карьера находками фрагментов человеческих костей.

Археологический инвентарь, по мнению изучившей его Н. А. Аванесовой, обнаруживает яркие черты культурного синтеза урбанистического юга и северной степной бронзы Евразии (*Аванесова,* 2002). Речь идет о сравнительно небольшой, но выразительной серии керамики, украшений и других изделий сапаллинского типа и бронзовых изделий, псалий, имеющих аналогии в культурах срубно-андроновского круга. Сазаганские материалы, датируемые эпохой развитой бронзы[3], представляют, в этой связи, определенный интерес для решения вопросов взаимодействия степного и земледельческого мира. Последнее, безусловно, относится и к антропологическим находкам из Сазагана.

Краниологический материал из Сазаганского карьера был любезно передан в наше распоряжение проф. Самаркандского университета Н. А. Аванесовой. Далее приводится индивидуальная антропологическая характеристика полученных черепов.[4]

Погребение 1. В сохранности фрагменты нижней и верхней челюсти, правая скуловая кость и изолированные фрагменты зубов взрослого человека (рис. 1). Степень изношенности сохранившихся зубов соответствует баллам 3–4 (по М. М. Герасимову). Дентальный возраст субъекта – *40–50 лет (maturus II)*. Нижняя челюсть визуально довольно грацильная, с невысоким симфизом, развернутыми углами и ослабленным макрорельефом. Пол, с некоторым сомнением, определяется как **женский**.

Из патологических изменений наблюдается наличие глубокой кариозной полости на окклюзионной поверхности правого M1 (рис. 2). Также можно отметить гиподонтию M3.

На полученных фрагментах удалось осуществить ряд измерений. Индивид из погребения 1 имел узкий нос (21 мм), антропинную форму нижнего края грушевидного отверстия, неглубокую клыковую ямку (1,8), очень широкие альвеолярную дугу (70? мм) и нёбо (43? мм). Нижняя челюсть большой длины (длина от мыщелков – 106 мм) и ширины (угловая ширина – 102? мм). Ее передняя ширина, при этом, средняя (44? мм). Симфиз метрически характеризуется как высокий (34 мм), тело – очень высокое (33 мм), его толщина небольшая или средняя (11 мм). Ветвь очень высокая (68 мм) и среднеширокая (31 мм). Угол выступания подбородка составил 81°.

---

[1] В зоне карьера жителем селения Сазаган, доцентом кафедры археологии Самаркандского университета, О. И. Ибрагимовым проводились спасательные работы.

[2] Дневник раскопок О. И. Ибрагимова // Архив кафедры археологии СамГУ. Ф. II. С. 4.

[3] См. ст. Н. А. Аванесовой в данном сборнике.

[4] Работа проводится в рамках проекта РФФИ «Памятник бронзового века Гонур-Депе: палеозоология, палеоантропология, геохимия, радиоуглеродное датирование и металлургия» (№ 07-06-00062а, рук. Н. А. Дубова).

Погребение 2. Череп средней сохранности. Разрушена большая часть основания, затылочная область, левая и частично правая теменные кости, правая половина нижней челюсти. Лицевой скелет сохранился хорошо (рис. 3 и 4).

Визуально череп можно охарактеризовать как грацильный, но высокий симфиз, притупленные верхние края глазниц (орбиты, при этом, округлой формы), выраженный лобно-носовой угол указывают на его принадлежность **мужчине**. Зубная система полностью сформирована, возрастной абразии подверглись бугорки моляров, режущие края резцов и клыков, на некоторых зубах затронут дентин. Зубной возраст – *25 – 30 лет (adultus)*.

Практически на всех зубах обеих челюстей отмечается наличие отложений зубного камня (желтоватый, сравнительно мягкий). На передних зубах фиксируется эмалевая гипоплазия в виде продольных бороздчатых дефектов (рис. 5). Данная форма гипоплазии является одной из наиболее распространенных и обозначается в зарубежной литературе как LEH *(linear enamel hypoplasia)* (*Barakauskas,* 1995).

Мозговая коробка эллипсоидной формы, средней длины (180? мм) и высоты (135?? мм); визуально долихокранная, гипсикранная (75,0?) по высотно-продольному указателю. Основание черепа среднедлинное (102 мм). Сосцевидный отросток развит слабо. Лоб средней ширины (наименьшая ширина – 95 мм), надпереносье выражено средне (балл 3), надбровные дуги – слабо (балл 1).

Лицевая часть среднеширокая (скуловой диаметр – 132 мм, верхняя ширина – 104,5 мм, средняя – 95 мм), высокая абсолютно (верхняя высота – 76 мм, полная – 128,5? мм) и относительно (гиперлептопрозоп – 97,4, лептен – 57,6). Лобно-скуловой указатель средний (72,0). Длина основания лица очень малая (90,5 мм). Горизонтальная профилировка лицевого скелета очень сильная, о чем свидетельствуют крайне малые величины назомалярного (131,6°) и зигомаксиллярного (118,6°) углов. Вертикальный фацио-церебральный указатель попадает в категорию больших величин (56,3?). Глубина клыковой ямки находится на верхней границе средних величин (5,7).

Высота и ширина носа большие (54 и 28 мм), что дает указатель 51,9 (нижняя граница хамерринных вариантов). Дакриальная высота очень большая (14,1), ширина – очень малая (18,0), указатель, по этой причине, выходит за пределы стандартных вариаций (78,3). Симотическая высота большая (5,0), ширина – средняя (9,2), указатель – большой (54,4). Переносье, т. о., можно охарактеризовать как высокое. Нос визуально выступает очень сильно, что подтверждает величина соответствующего угла (37°). Передняя носовая ость выступает средне (балл 3), грушевидное отверстие антропинной формы.

Ширина орбит средняя или большая (43 мм – от mf, 40? мм – от d), высота – очень большая (37,5 мм). Орбитный указатель в обоих случаях большой (87,2 и 93,8 – гипсиконх).

Альвеолярная дуга короткая (51,5 мм) и среднеширокая (63 мм). Нёбо малой длины (44 мм) и ширины (35,5 мм). Симфиз нижней челюсти очень высокий (39 мм), то же касается высоты тела (37 мм). Толщина тела, при этом, – малая (11 мм), ширина ветви – средняя (34 мм). Угол выступания подбородка – 79°.

Типологически фиксируемый комплекс признаков определяется как выраженный европеоидный, тяготеющий к кругу средиземноморских (точнее восточносредиземноморских) форм энеолита – бронзы юга Средней Азии. В составе средиземноморского комплекса Т. К. Ходжайов выделяет три варианта, которые отличаются между собой комбинацией морфологических признаков (*Ходжайов*, 1983; *Ходжайов, Джуракулов*, 1984).

Рис. 1. Фрагменты черепа из погребения 1.

Рис. 2. Кариозная полость на первом правом моляре верхней челюсти у индивида из погребения 1.

Рис. 3. Череп из погребения 2 (norma frontalis).

Рис. 4. Череп из погребения 2 (norma lateralis).

Рис. 5. Эмалевая гипоплазия передних зубов и зубной камень у индивида из погребения 2.

Таблица 1

Сравнение размеров черепа «Сазаган 2» с синхронными и территориально относительно близкими черепами и краниосериями

Серии	Источник данных	1. Продольный диаметр	17. Высотный диаметр (от ba)	9. Наименьший лобный диаметр	45. Скуловой диаметр	48. Верхняя высота лица	51. Ширина орбиты (от mf)	52. Высота орбиты
Сазаган	Данные автора	180?	135?	95	132	76	43	37,5
Алтын Депе	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	189,4 (32)	134,6 (29)	95,6 (34)	129,1 (28)	70,6 (32)	42,6 (33)	32,4 (33)
Андроновская культура Казахстана (суммарно)	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	184,5 (25)	138,4 (13)	98,6 (25)	137,4 (20)	69,4 (22)	43,7 (15)	32,2 (20)
Афанасьевская к-ра (Алтай)	Алексеев, Гохман, 1984	191,7 (16)	140,2 (13)	100,7 (19)	141,6 (16)	71,7 (17)	43,7 (7)	32,3 (16)
Бустон 7	Мустафакулов, 1997	189,3 (6)	135,0 (6)	96,17 (6)	126,0 (5)	69,83 (5)	45,17 (6)	33,83 (6)
Геоксюр	Гинзбург, Трофимова, 1972	195,3 (33)	138,2 (23)	98,9 (34)	132,0 (31)	72,4 (35)	43,6 (33)	33,9 (34)
Дашти Казы	Ходжайов, 2004	186,2 (4)	135,3 (3)	94,7 (3)	135,5 (4)	67,7 (4)	44,0 (4)	30,5 (4)
Джаркутан	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	190,0 (38)	137,3 (40)	96,3 (38)	130,3 (42)	70,9 (42)	40,4 (42)	31,9 (44)
Кара Депе	Гинзбург, Трофимова, 1972	194,8 (14)	143,7 (7)	95,2 (15)	129,9 (15)	72,6 (15)	42,5 (14)	31,8 (14)
Кокча 3	″	186,1 (13)	141,1 (10)	98,4 (13)	133,4 (13)	68,4 (14)	43,2 (14)	30,9 (14)
Макони-Мор	Кияткина, 1987	188,3 (6)	135,0 (1)	97,0 (4)	130,8 (5)	72,4 (5)	42,2 (6)	31,0 (6)
Пархай 2	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	192,6 (30)	137,0 (8)	95,5 (27)	133,0 (4)	70,7 (12)	40,5 (15)	31,5 (13)
Сапаллитепа	Ходжайов, 1977	187,7 (21)	133,5 (14)	96,9 (21)	130,5 (21)	71,5 (20)	42,4 (24)	33,6 (21)
Сумбар	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	188,2 (6)	135,0 (4)	97,5 (4)	130,0 (5)	73,2 (5)	42,7 (3)	31,7 (3)
Срубная к-ра Нижнего Поволжья (суммарно)	Гинзбург, Трофимова, 1972; Фирштейн, 1970	188,6 (41)	136,2 (21)	97,8 (40)	136,6 (33)	70,3 (32)	43,2 (33)	32,0 (33)
Тигровая Балка	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	188,4 (26)	134,9 (11)	97,3 (18)	131,8 (18)	71,8 (18)	42,4 (18)	31,2 (21)
Ранний Тулхар	Кияткина, 1974	196,0 (4)	142,0 (2)	97,8 (5)	139,0 (3)	77,0 (3)	46,6 (5)	34,0 (5)
Тумек-Кичиджик	Алексеев, Гохман, 1984	179,5 (2)	131,0 (2)	104,0 (2)	131,0 (2)	66,0 (2)	44,7 (3)	33,4 (3)
Учтут	Ходжайов, 2004	182	133	97	130	70	42	33

Таблица 1 (продолжение)

Серии	Источник данных	54. Ширина грушевидного отверстия	55. Высота носа	SS. Симотическая высота	SC. Симотическая ширина	77. Назомаляр-ный угол	Zm. Зигомак-силярный угол	75(1). Угол выступания носа
Сазаган	Данные автора	28	54	5,0	9,2	131,6	118,6	37
Алтын Депе	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	25,2 (32)	51,5 (32)	5,3 (25)	8,8 (26)	137,1 (32)	123,1 (26)	34,4 (23)
Андроновская культура Казахстана (суммарно)	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	25,5 (18)	52,2 (21)	5,3 (13)	9,5 (12)	138,8 (17)	127,1 (14)	30,9 (15)
Афанасьевская культура (Алтай)	Алексеев, Гохман, 1984	27,1 (15)	53,1 (15)	4,5 (7)	7,5 (7)	138,3 (10)	128,0 (7)	34,7 (11)
Бустон 7	Мустафакулов, 1997	24,17 (6)	50,83 (6)	5,75 (4)	11,25 (4)	136,2 (5)	125,0 (5)	33,60 (4)
Геоксюр	Гинзбург, Трофимова, 1972	26,1 (35)	53,2 (34)	5,7 (28)	9,4 (28)	135,9 (31)	126,5 (31)	31,8 (26)
Дашти Казы	Ходжайов, 2004	25,5 (4)	48,7 (3)	4,0 (4)	8,7 (4)	137,7 (4)	129,5 (4)	28,0 (4)
Джаркутан	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	25,0 (41)	51,0 (44)	5,4 (42)	9,2 (42)	136,7 (34)	126,7 (32)	31,6 (40)
Кара Депе	Гинзбург, Трофимова, 1972	26,6 (15)	51,2 (15)	5,5 (6)	10,8 (6)	134,2 (15)	126,0 (14)	31,4 (9)
Кокча 3	Гинзбург, Трофимова, 1972	23,5 (12)	51,4 (13)	5,8 (9)	9,6 (9)	137,2 (11)	129,6 (8)	30,7 (8)
Макони-Мор	Кияткина, 1987	24,8 (5)	52,2 (5)	4,4 (4)	7,8 (5)	138,8 (3)	122,3 (3)	32,0 (3)
Пархай 2	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	24,7 (11)	50,5 (14)	5,0 (18)	9,1 (18)	140,1 (5)	132,7 (2)	31,2 (10)
Сапаллитепа	Ходжайов, 1977	23,2 (20)	50,7 (19)	6,2 (17)	10,6 (17)	135,6 (20)	122,9 (15)	34,1 (14)
Сумбар	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	24,8 (5)	53,0 (4)	4,5 (2)	9,4 (2)	134,0 (1)	121,2 (2)	36,0 (4)
Срубная к-ра Нижнего Поволжья (суммарно)	Гинзбург, Трофимова, 1972; Фирштейн, 1970	25,4 (30)	51,9 (30)	5,0 (19)	8,6 (19)	137,0 (27)	128,3 (19)	33,9 (23)
Тигровая Балка	Алексеев, Кияткина, Ходжайов, 1986	24,7 (17)	51,6 (17)	5,3 (15)	8,1 (16)	135,6 (13)	122,4 (14)	35,8 (15)
Ранний Тулхар	Кияткина, 1974	25,4 (5)	52,6 (5)	6,2 (5)	8,8 (5)	133,6 (5)	127,7 (4)	39,6 (5)
Тумек-Кичиджик	Алексеев, Гохман, 1984	25,4 (2)	47,0 (3)	5,1 (2)	11,1 (2)	135,9 (2)	124,8 (2)	35,5 (2)
Учтут	Ходжайов, 2004	24	51	4	7	138	125	29

Средиземноморский III тип, присущий черепам из Раннего Тулхара, единичным черепам из Тахирбая 3, а также из курганов Караэлематасай и Патмасай, характеризуется значительными размерами черепной коробки, очень широким лбом, значительно выраженным надбровьем, исключительной шириной и высотой лицевой части (*Ходжайов, Джуракулов,* 1984, с. 13). Череп «Сазаган 2», как видно из приведенной выше характеристики, отличается от данного краниокомплекса по целому ряду особенностей. Но типологическое отнесение его к вариантам «средиземноморский I» (Кара Депе, Геоксюр, Сиалк) или «средиземноморский II» (Алтын Депе, Сапаллитепа, Джаркутан, Макони-Мор, Тигровая Балка и др.) также затруднительно. От первого типа исследуемый череп отличается очень высокими орбитами и средней высотой мозговой коробки, от второго – большой высотой лицевой части.

Для выявления ближайших аналогий комплексу, отмеченному на черепе из Сазагана, обратимся к краниологическим сериям и единичным черепам неолита – бронзы Средней Азии и сопредельных территорий.

Сопоставление проведем по 14 метрическим признакам (1, 17, 9, 45, 48, 51, 52, 54, 55, SS, SC, 77, Zm, 75 (1)) методом кластерного анализа. Этот метод используется для изучения степени близости по комплексу признаков большого числа совокупностей индивидов или отдельных таксономических единиц и выявления кластеров (общностей), объединяющих наиболее сходные объекты. Перечень привлеченного для сравнения краниологического материала содержится в табл. 1. Кластерный анализ (иерархическая процедура, расстояния Эвклида, метод Single) проводился с использованием стандартного пакета Statistica 6.0.

Результаты кластеризации в графическом отображении дендрограммы обобщенных расстояний (рис. 6) демонстрируют, что в самостоятельные кластеры выделились:

а) серии из Алтын Депе, Сумбара, Тигровой Балки, Сапаллитепа, Макони-Мора, Бустон 7 и Джаркутана, т. е. серии в целом характеризующиеся очень грацильным строением черепа, сравнительно низким его сводом и объединяемые в т. н. средиземноморский II тип по Ходжайову;

б) суммарные серии андроновцев Казахстана и срубников Нижнего Поволжья, а также серия тазабагъябской культуры из могильника Кокча 3 – представители гиперморфного широколицего т. н. «протоевропейского» типа степной полосы.

Объединяемые в средиземноморский I тип энеолитические серии из Южного Туркменистана (Кара Депе, Геоксюр) заняли довольно удаленное друг от друга положение. Геоксюр, при этом, больше тяготеет к «классическим» восточносредиземноморским сериям. В серии из Кара Депе, как отмечали В. В. Гинзбург и Т. А. Трофимова, отчетливее выступают черты евро-африканского (по Серджи), а не собственно восточносредиземноморского (ориентального) типа (*Гинзбург, Трофимова,* 1972, с. 60). Черепа из Пархая оказались довольно близки к краниологическим сериям степной полосы, что можно рассматривать как косвенное подтверждение точки зрения о вероятных контактах населения энеолита – бронзы юго-запада Туркменистана с населением степного мира (*Громов,* 1995). На разных полюсах дендрограммы расположились неолитические черепа из могильника Тумек-Кичиджик, достаточно массивные черепа из Раннетулхарского могильника (эта серия, как уже отмечалось, демонстрирует т. н. средиземноморский III тип по Ходжайову) и исследуемый череп из Сазагана. Последний тяготеет к полюсу концентрации «классических» восточносредиземноморских серий (правая часть графика).

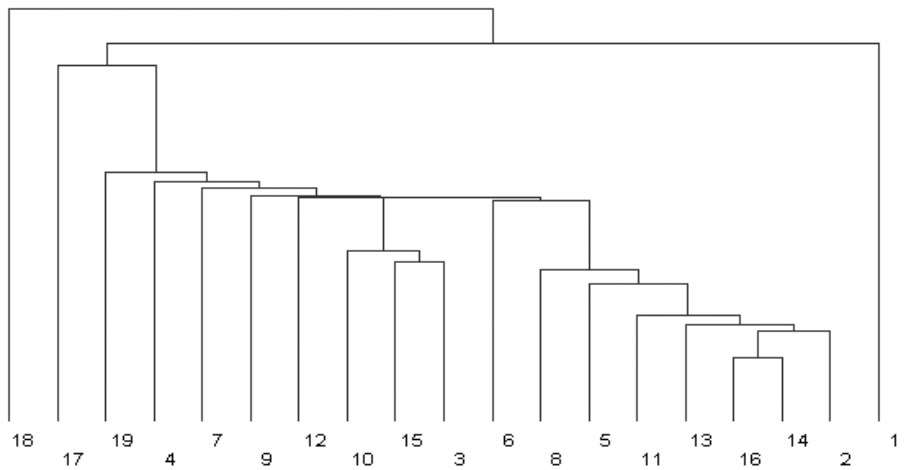


Рис. 6. Положение черепа «Сазаган 2» по отношению к краниологическим сериям и единичным черепам неолита – бронзы Средней Азии и сопредельных территорий (дендрограмма обобщенных расстояний): 1 – Сазаган; 2 – Алтын Депе; 3 – андроновская культура Казахстана (суммарно); 4 – афанасьевская культура Алтая; 5 – Бустон 7; 6 – Геоксюр; 7 – Дашти Казы; 8 – Джаркутан; 9 – Кара Депе; 10 – Кокча 3; 11 – Макони-Мор; 12 – Пархай 2; 13 – Сапаллитепа; 14 – Сумбар; 15 – срубная культура Нижнего Поволжья (суммарно); 16 – Тигровая Балка; 17 – Ранний Тулхар; 18 – Тумек-Кичиджик; 19 – Учтут

Таблица 2

Результаты факторного анализа (метод главных компонент)*

Признак	Фактор 1	Фактор 2
1. Продольный диаметр	–0,232684	–0,702150
17. Высотный диаметр	–0,292847	–0,797357
9. Наименьшая ширина лба	0,058556	0,128436
45. Скуловой диаметр	–0,099307	–0,681566
48. Верхняя высота лица	**–0,840550**	–0,277716
51. Ширина орбиты от mf	–0,397222	0,022315
52. Высота орбиты	**–0,711746**	0,389556
54. Ширина носа	–0,514447	–0,226208
55. Высота носа	–0,639118	–0,413769
SS. Симотическая высота	–0,451814	0,007647
SC. Симотическая ширина	–0,149457	0,446964
77. Назомалярный угол	**0,832180**	–0,340365
Zm. Зигомаксиллярный угол	0,492807	–0,639761
75 (1). Угол выступания носа	**-0,787566**	0,166987
Собственное число	3,979326	2,814368
Процент описываемой вариации	28,4238	20,1026

* Описание использованного метода и привлеченных для сравнения материалов см. в тексте.

Рассмотрение факторных нагрузок, полученных по методу главных компонент (табл. 2, расчеты проводились с использованием стандартного пакета Statistica 6.0), позволяет определить, что основные различия между используемыми в сравнительном анализе черепами и краниологическими сериями наблюдаются по верхней высоте лица, высоте орбиты, назомалярному углу, углу выступания носа (фактор 1 – 28,4% общей изменчивости) и двум диаметрам мозговой коробки (фактор 2 – 20,1% общей изменчивости). Здесь стоит отметить, правда, что сопоставление краниологических серий и единичных черепов – процедура довольно условная, поскольку последние отражают особенности индивидуальной изменчивости того или иного морфокомплекса, и далеко не всегда являются «типичными» для популяции.

Морфологическое своеобразие черепа «Сазаган 2» и, соответственно, его обособленное положение на графике, связано, таким образом со сравнительно небольшой величиной продольного диаметра, очень большой высотой лица и орбит, значительной шириной и высотой носа, большой величиной угла его выступания, очень малыми значениями углов горизонтальной профилировки.

По таким признакам как высота лица, высота орбиты, углы профилировки исследуемый череп отличается и от не включенного в сравнительный анализ неолитического черепа, полученного из погребения недалеко от Сазагана в 1981 г. (*Ходжайов,* 2004). Следует отметить также, что метрические характеристики черепа «Сазаган 2» попадают в пределы вариации основных краниометрических признаков, полученных на материалах из некрополя и руин Гонур Депе – памятника, давшего одну из самых больших по численности серий для эпохи бронзы Средней Азии (см.: *Dubova, Rykushina,* 2004, 2007). Население Гонура в целом отнесено к кругу средиземноморских форм, представленных грацильным и матуризованным вариантами. Однако большая вариация признаков позволяет говорить о неоднородности гонурской серии, в т. ч. и о наличии веддоидной примеси (*Бабаков и др.,* 2001; *Дубова и др.,* 2002). Платириния сазаганского черепа также, возможно, связана с каким-то архаичным экваториальным морфокомплексом.

Результаты изучения краниологического материала эпохи бронзы из Сазагана позволяют наметить следующие выводы:

1. Череп из погребения 1, вероятно, принадлежал женщине 40–50 лет. Череп из погребения 2 – мужчине 25–30 лет.

2. Типологически череп «Сазаган 2» определяется как европеоидный лептодолихоморфный, однако его отнесение к выделяемым в пределах средиземноморского расового типа вариантам затруднительно.

3. Дендрограмма, построенная на основе обобщенных расстояний, также демонстрирует обособленное положение сазаганского черепа. Но еще раз подчеркнем, что типологически он тяготеет к средиземноморским формам, наличие связей с представителями степного мира антропологически не фиксируется.

Таким образом, сазаганский череп не позволяет утвердительно ответить на вопрос о присутствии степного населения. Однако в силу единичности изученного материала данное заключение следует рассматривать как носящее предварительный характер.

Литература

Аванесова Н. А. Новые материалы эпохи бронзы Зарафшанской долины // Археологические исследования в Узбекистане – 2001. Ташкент, 2002. С. 19–26.

Алексеев В. П., Гохман И. И. Антропология азиатской части СССР. М., 1984.

Алексеев В. П., Кияткина Т. П., Ходжайов Т. К. Палеоантропология Средней Азии эпохи неолита и бронзы // Материалы к этнической истории населения Средней Азии. Ташкент, 1986. С. 100–131.

Бабаков О., Рыкушина Г. В., Дубова Н. А., Васильев С. В., Пестряков А. П., Ходжайов Т. К. Антропологическая характеристика населения, захороненного в некрополе Гонур-Депе // Сарианиди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М., 2001. С. 105–132.

Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972.

Громов А. В. Население юго-западного Туркменистана в эпоху поздней бронзы // Антропология сегодня. 1995. Вып. 1. С. 151–160.

Дубова Н. А., Рыкушина Г. В., Ходжайов Т. К., Васильев С. В., Бабаков О. Новые данные по антропологии населения эпохи бронзы Туркменистана (некрополь Гонур-Депе) // Материалы IV Международного Конгресса по интегративной антропологии. СПб., 2002. С. 129–130.

Кияткина Т. П. Краниологические материалы эпохи поздней бронзы из Южного Таджикистана // Проблемы этнической антропологии и морфологии человека. Л., 1974. С. 22–35.

Кияткина Т. П. Палеоантропология западных районов Центральной Азии эпохи бронзы. Душанбе, 1987.

Мустафакулов С. И. Анализ палеоантропологических материалов эпохи бронзы из Бустана VII // Узбекистон моддий маданияти тарихи. 1997. 28 – нашри. С. 28–33.

Фиртейн Б. В. Сарматы Нижнего Поволжья в антропологическом освещении // Тот Т. А., Фирштейн Б. В. Антропологические данные к вопросу о великом переселении народов: авары и сарматы. Л., 1970. С. 69–201.

Ходжайов Т. К. Антропологический состав населения эпохи бронзы Сапаллитепа. Ташкент, 1977.

Ходжайов Т. К. Динамика ареалов антропологических типов на территории Средней Азии (неолит–начало XX в.) // СЭ. 1983. № 3. С. 99–105.

Ходжайов Т. К. Новые краниологические материалы эпохи неолита, энеолита и бронзы среднего и верхнего Зарафшана // Вестник антропологии. 2004. Вып. 11. С. 87–101.

Ходжайов Т. К., Джуракулов М. Д. Антропология Средней Азии. Самарканд, 1984.

Barakauskas S. Dental enamel hypoplasias as a tool of investigation of population health status // Papers on anthropology. 1995. VI. P. 27–31.

Dubova N. A., Rykushina G. V. Necropolis and area 5 of Gonur-Depe: some anthropological data // У истоков цивилизации. М., 2004. P. 317–336.

Dubova N., Rykushina G. New data on anthropology of the necropolis of Gonur-Depe // Sarianidi V. Necropolis of Gonur. Athens, 2007. P. 296–329.

Х. Бендезу-Суармьенто

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ ИЗ ГОРОДИЩА БРОНЗОВОГО ВЕКА УЛУГ ДЕПЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Без всякого сомнения, ни один человек, вдохновленный
стихами Пабло Неруды о «Вершинах Мачу-Пикчу»,
не может остаться безразличным к пескам пустыни Кара-Кум.

Помещая эту статью в сборник, посвященный 80-летнему юбилею одного из крупнейших археологов-исследователей Средней Азии В. И. Сарианиди, я прежде всего хочу сказать, что он должен был бы быть ее соавтором. Виктор Иванович позволил мне использовать его неопубликованные данные, а также воспользоваться его археологическими отчетами, хранящимися в архиве Института археологии РАН в Москве. Хочу также поблагодарить Виктора Ивановича за то, что во время наших встреч он щедро передавал мне свой богатый опыт, давал бесценные научные советы, но главное – делился со мной своим «полевым чутьем». Он старался передать мне ход своих мыслей и интерпретаций, особенно в вечернее время весной и осенью при слабом свете генератора у дружеского стола на величественном поселении Гонур Депе.

Городище Улуг-Депе располагается в районе Каахка, в 175 км к востоку от столицы Туркменистана Ашхабада (рис. 1), на полпути между Намазга Депе (расположенным в 45 км от него к западу) и Алтын Депе (которое лежит в 45 км далее на восток). Это городище было обнаружено в 1930-х годах А. А. Марущенко и частично исследовано к началу 1960-х годов Виктором Ивановичем Сарианиди, показавшим с помощью полученных результатов всю историческую важность памятника и его место среди крупнейших протоурбанистических городищ южной Центральной Азии. Это городище не столь обширно, как два упомянутых, и занимает 13 га, достигая высоты более 30 м. Его нынешняя высота, возможно, не соответствует физическим и историческим реалиям, учитывая тот факт, что оно расположено вблизи Копетдага (точнее в 13 км от него), рядом с древним руслом р. Келет, в связи с чем территория заполнилась речными отложениями и наносами земли с гор.

Улуг Депе было населено с позднего неолита (VI тыс. до н. э.) до ахеменидского периода (I тыс. до н. э.), и, следовательно, представляет собой наиболее глубокий стратиграфический разрез в Средней Азии. Наряду с Намазга Депе, Алтын Депе и Хапуз Депе, оно входит в ряд основных памятников древних культур Центральной Азии, в том числе бронзового века, в составе БМАК или цивилизации Окса. За ним ныне признаётся ключевая роль в процессе исследования тех взаимодействий между Центральной Азией, Эламом, Месопотамией и цивилизацией Инда и в понимании временных и культурных взаимосвязей внутри Центральной Азии, которые так активно обсуждает научное сообщество.

За три сезона в конце шестидесятых годов (1967, 1968, 1970) Геоксюрский отряд Института археологии АН СССР под руководством Виктора Ивановича Сарианиди смог расчистить основные элементы стратиграфической структуры, благодаря полудюжине шурфов на нескольких площадках, пронумерованных от 1 до 7 (рис. 2). Подавляющая часть результатов осталась неопубликованной, лишь в четырёх основных и нескольких более общих статьях упоминались эти данные. Таким образом, за исключением некоторых наблюдений по результатам раскопок, в частности, в отношении бронзового и железного

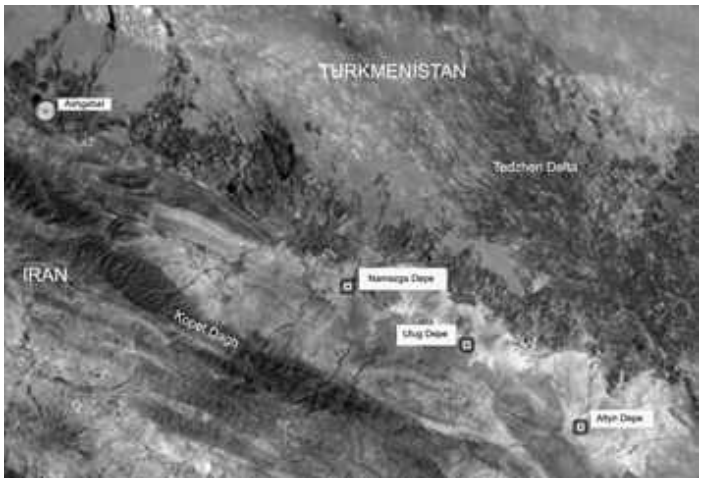


Рис. 1. Географическое положение Улуг Депе в предгорьях Копетдага.

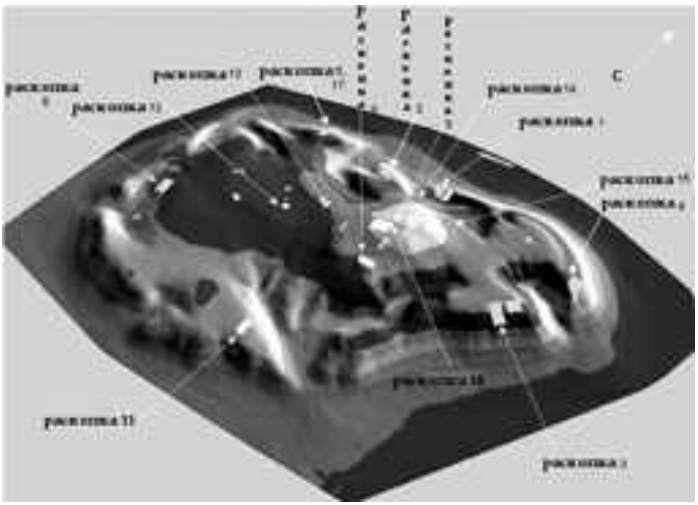


Рис. 2. Топография разных археологических раскопов Французско-Туркменской археологической миссии на Улуг Депе.

Рис. 3. Раскоп № 1 в 1960-х годах (слева) и сегодня (справа) (вид с севера). По: Сарианиди, 1967 и данным Французско-Туркменской археологической миссии.

Рис. 4. Раскоп № 5 в 1960-х годах (справа) и № 5/17 сегодня (слева) (вид на юг, юго-восток). По данным Французско-Туркменской археологической миссии и по: *Сарианиди*, 1968.

веков (*Сарианиди,* 1967, 1968, 1969, 1971, 1972; *Сарианиди, Качурис*, 1968; *Массон, Сарианиди,* 1972) и исследования керамики (*Масимов,* 1971, 1972), выявленные захоронения (в количестве около пятидесяти), датированные бронзовым веком, почти не исследовались (*Сарианиди, Качурис,* 1968; *Сарианиди*, 1969).

Благодаря первоочередной научной важности данных работ и особой поддержке со стороны Виктора Ивановича Сарианиди, раскопки на этом городище возобновились в 2001 г. под руководством Оливье Леконта (MAFTUR/CNRS/Музей Гиме, Франция) и Мухаммеда Мамедова (Управление по охране, изучению и сохранению исторического и культурного наследия Министерства культуры и телерадиовещания Туркменистана).[1] Работы, проводимые на городище в течение восьми сезонов (2001–2008 гг.), позволили открыть более 50 захоронений различных эпох от бронзового века (III тыс. до н. э.) (*Бендезу-Сармьенто,* 2006). Эти могилы неоднородно распределены по территории городища. Среди них выделяются две основных протоисторических группы – площадки 1 и 5/17 (рис. 3, 4).

Археo-антропологический подход

В данной статье объединены старые и новые данные, а также результаты изучения человеческих останков и погребальной практики. До недавнего времени интерес археологов, работающих в данной географической зоне, зачастую выражался в основном в типологическом исследовании предметов обихода и архитектуры, тогда как костные останки подвергались лишь лабораторному исследованию (*Бендезу-Сармьенто,* 2008). Однако археo-антропология, благодаря своим методам работы и разрабатываемой тематике, представляет новый для Средней Азии подход. Эта дисциплина всё чаще упоминается в англоязычных источниках как «bioarchaeology» (био-археология) и остаётся во многом особенностью научного мира Франции. Она позволяет получить сведения биологического, социального и культурного характера, которые иными методами недостижимы.[2]

---

[1] Хочу высказать искреннюю благодарность проф. Оливье Леконту и Мухаммеду Мамедову – руководителям раскопок Улуг-Депе за оказанное доверие и за научное обсуждение проблемы погребальных обрядов на исследуемых памятниках. Также благодарю члена-корреспондента РАН Н. А. Макарова, директора Института археологии (г. Москва), за оказанную помощь в доступе к московским архивам.

[2] Редакция данного тома благодарит автора за описание принятой во Франции исследовательской методики, но хочет напомнить, что аналогичные методы применяются в российских археолого-антропологических исследованиях, начиная с совестких времен. Активное участие в их разработке и применении принял проф. В. И. Сарианиди, в частности, исследуя толосы на Геоксюре I. – *Примеч. ред*.

Этот новый подход к антропологии позволяет использовать методы археологии, но уделять должное внимание при изучении погребальных комплексов и анализу человеческих останков (*Duday,* 2006). Изучение захоронения начинается с полевых исследований и заключается в наиболее полной регистрации динамики смещения костных останков (положение, ориентация, высота), с целью определения изначального положения тела при закладке в могилу. Принимая в расчет условия разложения тела, внимание обращается на архитектурные (пустота или заполненное породой пространство[1] и др.), а также на тафонометрические[2] аспекты и/или следствия метода закладки (границы погребального сооружения, взаиморасположение разных элементов погребения, первичность или вторичность захоронения,[3] расположение украшений или других погребальных приношений, наличие одежды и др.), также обусловивших процесс изменения захоронения. Существует прямая связь между изначальными условиями закладки при захоронении (в том числе обращение с телом при захоронении, его положение в могиле, организация пространства структуры захоронения и проч.) и расположением руин, обнаруженных при раскопках.

Следовательно, исследование костных останков является не самоцелью, а одним из способов сбора информации. Остаётся также нерешённым вопрос о том, насколько типичны изучаемые костные образцы и действительно ли они относились к живущему населению. Ответ на него во многом определяет ход научного поиска и последующей интерпретации результатов.

Захоронения в слоях бронзового века на Улуг Депе

Бронзовый век представлен на всех площадках (с 1 по 5), где велись раскопки в 1960-х годах: от ранней бронзы, достигающих толщины до 7 м и больше (Намазга IV: 3000–2300 до н. э.) до средней бронзы (Намазга V: 2300–1800 до н. э.), толщиной почти в 2 м. На памятнике отсутствуют строения, относящиеся лишь к позднему бронзовому веку (Намазга VI: 1800–1500 до н. э.). Однако некоторые захоронения Улуг-Депе могут быть датированы этим периодом. В ходе работ последних лет были открыты и расширены более ранние раскопы (площадки 1 и 5; рис. 2–4). Найденные строительные конструкции в своей массе совпадают с взаиморасположением жилых кварталов, где скромные жилища и узкие улочки располагались по оси северо-восток – юго-запад. Основной особенностью построек этой эпохи является наложение новых зданий на более ранние без изменения ориентации, плана или площади. Так, на площадке 1 (рис. 2, 3), стены одного из домов Намазга IV были ориентированы так же, как и постройки периода Намазга V выше по склону. Такая преемственность может быть связана с близостью городской стены периода бронзы, мешавшей разрастанию жилого квартала. На данной площадке (№ 1) в конце периода заселения, после которого городище было покинуто и стояло в руинах, находится зона захоронений, большинство могил в которой было открыто и проанализировано в процессе подготовки данной работы. В период бронзы индивидуальные и коллективные захоронения находились вблизи или внутри жилой зоны. Каково было тогда взаимоот-

[1] Например, в противоположность пустому пространству, образованному вместилищем типа гроба, пространство с повышенным уровнем почвы вследствие намыва, вероятно, являлось телом, помещенным в грунт.

[2] Естественные изменения тела после смерти, в том положении, в котором оно закопано (или было закопано).

[3] Первичные захоронения – осуществленные до того, как начинается процесс разложения. Вторичные захоронения – те, которые совершались после начавшегося, либо уже завершившегося разложения.

ношение между пространством живых и пространством мёртвых? На столь обширный вопрос ответить достаточно трудно.

На рис. 1–4, в обобщённом виде представлены погребения, обнаруженные в результате первых раскопок (до № 50),[1] а также последних (начиная с № 52). Имеющиеся в некоторых случаях пропуски в последовательности номеров соответствуют захоронениям, не относящимся к периоду бронзы.

По всем местам раскопок на городище (№ 1, 3, 5, 6, 15) и в других захоронениях, обнаруженных случайно (и которым не присваивались номера), были найдены останки почти 90 человек. Степень сохранности костных останков зачастую оставляет желать лучшего. Как правило, останки детей сохранились лучше, чем взрослых, причём некоторые из них могли быть обследованы и обмерены лишь благодаря полевым работам, позволившим также провести диагностику половой принадлежности, в основном по тазовой кости (*Bruzek,* 2002; *Bruzek, Murail,* 2006; *Bruzek et al.,* 2005). Что касается определения возраста, мы использовали сразу несколько методов анализа. Нами впервые был проведён анализ статуса перинатальных останков (*Sellier,* 1993) для последующего определения их возраста (*Olivier, Pineau,* 1958). В отношении останков более взрослых детей мы опирались в основном на методику Мурри (*Moorrees et al.*, 1963a, b).

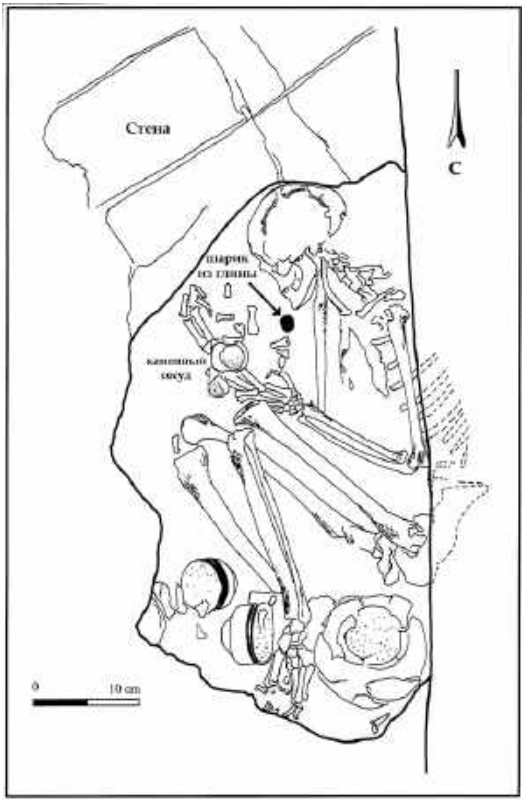


Рис. 5. Первичное погребение взрослого № 53. Раскоп № 1.

Индивидуальные захоронения

Бронзовый век характеризуется начальным упорядочением положения тел в захоронениях (табл. 1–4). Зачастую в индивидуальных захоронениях Улуг-Депе (рис. 5–8, 10–11) тела находились либо на правом, либо на левом боку, с согнутыми конечностями (особенно это касается нижних конечностей), головой на север или северо-запад. Антропологическое исследование не выявило зависимости положения на том или ином боку от пола или возраста, хотя в захоронениях взрослых расположение на правом боку всё же преобладает, как среди женщин, так и мужчин.

Результаты исследований подтверждают присутствие изначальных захоронений в пласте индивидуальных могил (рис. 5–8, 10–11). Они находились внутри неглубоких

[1] Некоторая информация, содержащаяся в этих таблицах, была взята из работы *J. Giraud* (2001), получившего доступ к неопубликованному документу, содержавшему перечень могил.

Рис. 6. Первичное погребение взрослого № 55. Раскоп № 1.

ям, в так называемом засыпанном похоронном пространстве (см. прим. 1), заполненном в том числе меловыми фрагментами и/или пеплом. Однако смещение некоторых костных элементов, связанных гибкими соединениями[1] рук, ног (фаланги стопы) или грудной клетки (позвонков) подтверждает наличие пустот в период разложения тела. Это временное пространство образовалось из-за наличия лёгкого растительного наполнения, обволакивавшего тело при похоронах, следы которого были обнаружены в нескольких захоронениях городища. На теле и под ним обнаружены следы циновки (в частности в захоронениях взрослых под номерами 4, 10–13, 53, 55, 61) или даже следы «фетра» под циновкой (в захоронении 55). Служила ли она для покрытия всего тела или выполняла роль ковра? С неполовозрелыми умершими обращались таким же образом (захоронения 9, 12, 54), и создаётся впечатление, что некоторые тела помещались в некую корзину (захоронение 24, рис. 9). Что касается фактов, которые необходимо упомянуть особо, укажем на два захоронения, датированные эпохой Намазга IV. В первом из них похоронен взрослый мужчина (захоронение 53), а во втором – подросток (захоронение 54). Под подбородком каждого из них располагался комок глины яйцевидной формы (рис. 5, 7). Не исключено, что они были положены туда специально. На нынешний момент – это единичные случаи для данного городища.

Скорченное положение нижних конечностей некоторых из погребенных (рис. 10) наводит на мысль о том, что они были зафиксированы веревкой, от которой не осталось следов. Естественно, ограниченность размеров погребальной ямы может также играть стесняющую роль, что отражается на положении скелета. Но, как оказалось, некоторые погребальные ямы были довольно обширны и позволяли расположить тело в вытянутом положении, в том числе на стадии разложения. Тем не менее, найденные там останки свидетельствуют, что положение тела было скорченное.

[1] То есть тех, разрушение которых происходит в процессе разложения быстро. Эти соединения включают в себя кости рук, часть костей ног (плюсневые, фаланги пальцы стопы), шейный отрезок, расположенный между 2 и 7 шейными позвонками, бедренный сустав, лопаточно-грудную связь (или лопаточно-грудное соединение?).

Также отмечены другие, более обычные положения, как, например, в захоронении 61 (рис. 11). Тело лежало на правом боку, верхние и нижние конечности были сильно согнуты. Верхняя часть позвоночника находилась в довольно необычном положении, равно как голова. Грудная клетка была расчленена. Скорее всего, изначально ось тела была направлена на северо-северо-запад. Часть позвонков, начиная с третьего, оставались соединены, но ни атлант, ни второй шейный позвонки не были на должном месте и полностью сместились по отношению к черепу, который, в свою очередь, сдвинулся в область брюшной полости, и лежал там на левой стороне, затылком вниз (к северо-северо-западу).

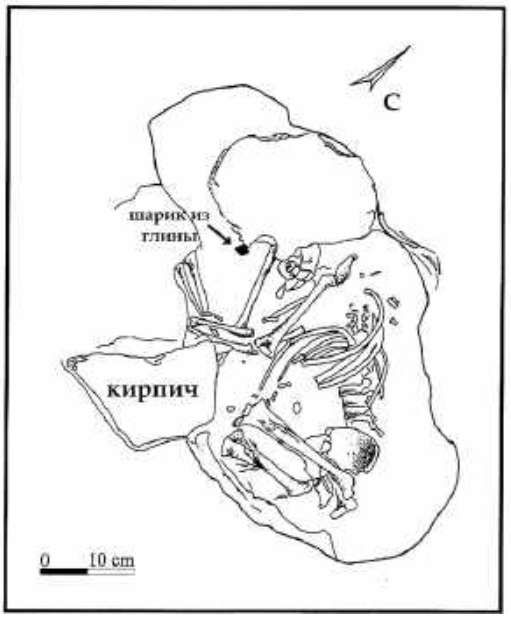


Рис. 7. Первичное погребение ребенка № 54. Раскоп № 1.

Данное тело не могло лежать пластом на дне погребальной ямы, а находилось скорее в сидячем положении. Между уровнем таза (находящимся ниже), коленями и руками существовал перепад глубины как минимум в 20 см. Таким образом, череп и часть позвонков находились выше остального тела (опираясь на перегородку?). Под телом (на верхнем и нижнем уровнях), а также на почве, отмечены следы камышовой циновки, аналогичной находкам в других захоронениях этого же городища. Возможно, речь идёт об одном элементе, закрывавшем стены ямы до захоронения тела.

Перинатальные останки и тела грудных детей хоронились под полом жилищ (рис. 7, 8), тогда как некоторые взрослые находили последнее пристанище в жилых кварталах, покинутых на момент захоронения (в том числе на площадке 1). Детские останки никогда не сопровождались какими-либо предметами. Считались ли дети полноценными членами той или иной социальной группы? Реже, некоторые более взрослые дети могли быть захоронены подобно тому, как это отмечено в захоронении 37 площадки № 5 (табл. 3) или как ребёнок в захоронении 9 и 11 (табл. 4). Однако в последнем случае в той же могиле находились и останки взрослого (захоронение 12). В других случаях отмечены более сложные обычаи, описанные ниже (см. рис. 14).

Что касается положения тел, то погребальная практика схожа с той, что применялась при захоронении взрослых, однако ориентация тел весьма разнообразна.

Коллективные захоронения

Двойные и тройные захоронения не столь широко распространены (табл. 1, 3). В них находятся в основном останки неполовозрелых тел, без сопровождающего материала, за исключением комплекса № 39–41 на площадке 5, где мы не смогли определить, кто именно там был захоронен, но обнаружили керамику, одну булавку и две бусинки из лазурита (табл. 3).

Рис. 8. Погребение ребенка № 85. Раскоп № 17.

Рис. 9. Следы корзины, в которой находился ребенок (погр. 24, Раскоп № 1). По: *Сариниди,* 1967.

Что касается коллективных захоронений, их в рамках данного поселения на нынешний момент открыто только три. Два из них расположены на площадке 1, и, к сожалению, они подверглись значительному разрушению из-за топографически невыгодного расположения вблизи края склона раскопок и самого городища. Это обстоятельство отрицательно сказалось на сохранности и не позволило чётко определить, шла ли речь о коллективном, множественном или вторичном захоронении.

Первое захоронение (№ 56), фактически являющееся захоронением № 15, частично раскопанным в 1960-х годах, располагалось в древних слоях Намазга IV и содержало останки как минимум десяти погребенных. Среди них, в результате недавних исследований, нам удалось идентифицировать шесть захороненных, два из которых – взрослые, четыре – неполовозрелые дети младше 8-и лет (табл. 1), которые представлены множеством костных останков и соединений, как гибких, так и постоянных,[1] в том числе парой останков параллельно уложенных нижних конечностей (большая и малые берцовые и стопы) на дне могилы (рис. 12). Это означает, что, как и в случае индивидуальных захоронений, тело лежало на правом боку, лицом на северо-запад. Тела были заложены в могилу, какими-либо конструктивными особенно-

[1] Наиболее твердые суставы – те, которые соединяют атлант (первый шейный позвонок) и затылочную кость, поясничные позвонки, кости таза и колено.

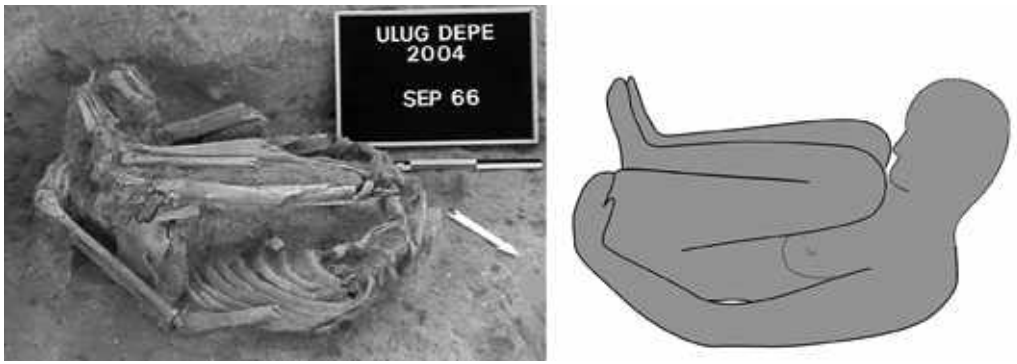


Рис. 10. Захоронение взрослой женщины № 66, Раскоп № 1, очень сильно скорченной.
Французско-Туркменская археологическая миссия.

Рис. 11. Захоронение молодого мужчины № 61 периода Намазга V,
находившееся на краю склона раскопа.
Справа – фрагмент, иллюстрирующую частичное разрушение верхней части тела.

Рис. 12. Коллективное захоронение № 56.

Рис. 13. Колективное захоронение № 62.

стями не выделявшуюся, и её точные размеры неизвестны. Данное захоронение содержало более пяти образцов керамики, лампу из алебастра и другие фрагменты каменных и керамических ваз этого периода.

Захоронение 62, в котором находились останки трех взрослых и одного неполовозрелого ребенка (табл. 1), располагалось между слоями конца периода Намазга IV и начала Намазга V (рис. 13). В данном случае речь может идти о множественном захоронении, подвергшемся внешнему воздействию (что можно предположить по наличию древнего перелома на кости левого бедра), либо о коллективном захоронении. Несмотря на то, что анатомические связки длинных костей отсутствуют, между ними наблюдается соответствие, отмеченное в ходе последующего лабораторного исследования. Между мелкими костями рук и ног (в частности, пястными костями неполовозрелого ребенка) имеются нетронутые связки. Большинство костей лежит в беспорядке, что делает невозможным анализ ориентации или положения тел. В данном случае не найдено никакого археологического материала.

Эти множественные захоронения не столь уж редки для рассматриваемой эпохи и данного региона. Наиболее известные из них расположены на соседнем городище Алтын Депе, где степень сохранности лучше, и одно погребение которого может содержать до 14 тел (Хронология.., 2005). Также упомянем, что захоронения там были более упорядочены (расположены в кирпичных камерах) и сопровождались более обильным археологическим материалом (в том числе глиняными и/или каменными вазами, предметами из меди, кремневыми наконечниками стрел и украшениями). Хотя на городище Алтын Депе дифференциация между коллективными и множественными захоронениями может быть легко проведена, делать это с определённостью всё ещё затруднительно.

Две особые находки

Первая находка была сделана на юго-восточной границе холма. Это – останки пяти тел внутри четырёх погребальных ям в виде закрытых прямоугольных «ячеек» из кирпича (датированых средне-ранним периодом бронзы: Намазга V–VI). Среди этих расположенных рядом пустот южнее всего находятся могилы № 9–10, располагавшиеся на каменных плитах (рис. 14). Три из них являлись индивидуальными (захоронения № 9, 10, 13), а четвёртое – двойным одновременным (№ 11, 12). В последней могиле наличествуют останки тела взрослого, рядом с нижними конечностями которого обнаружен многочисленный

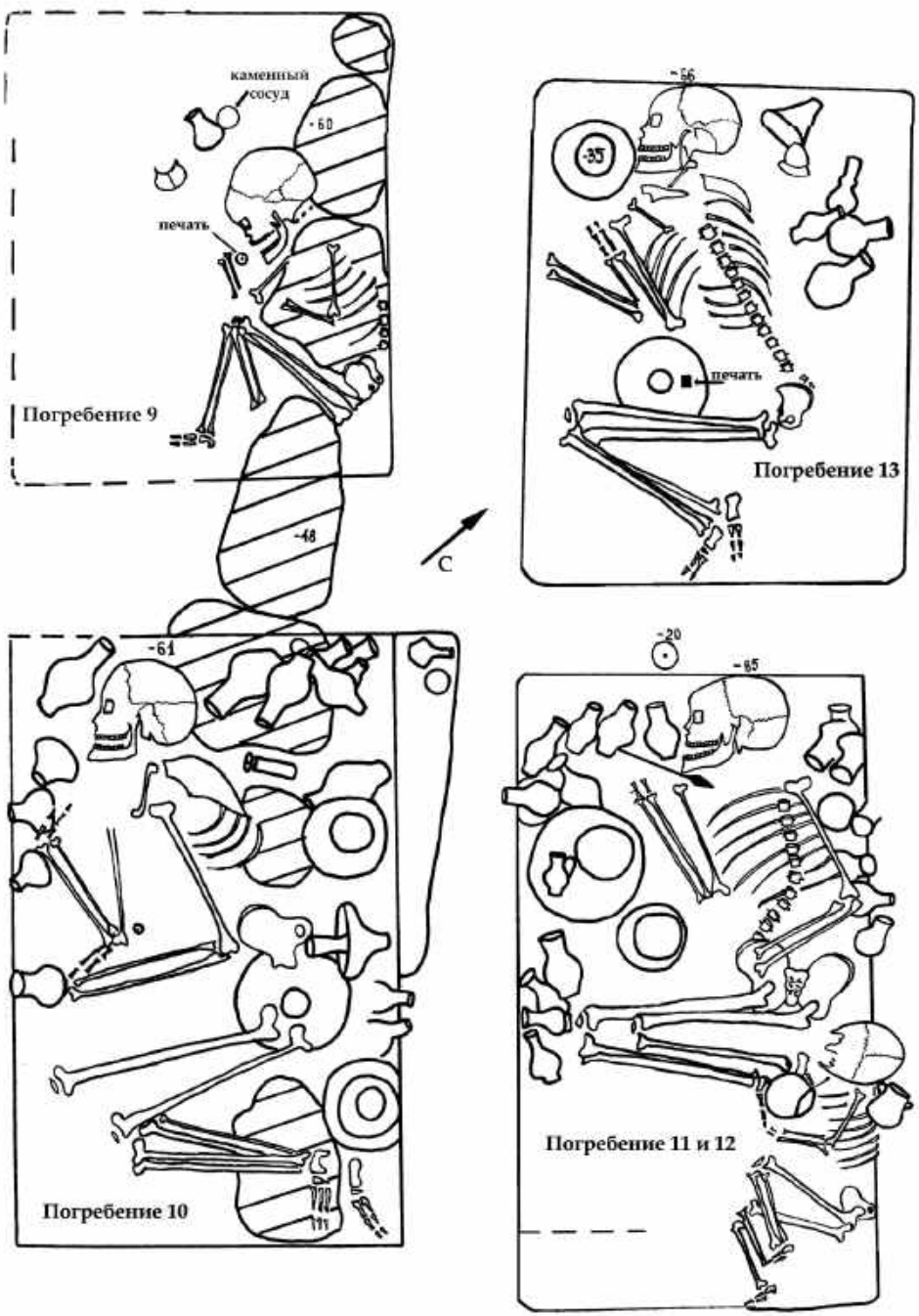


Рис. 14. Женские погребения в цистах. По: *Сарианиди*, 1967.

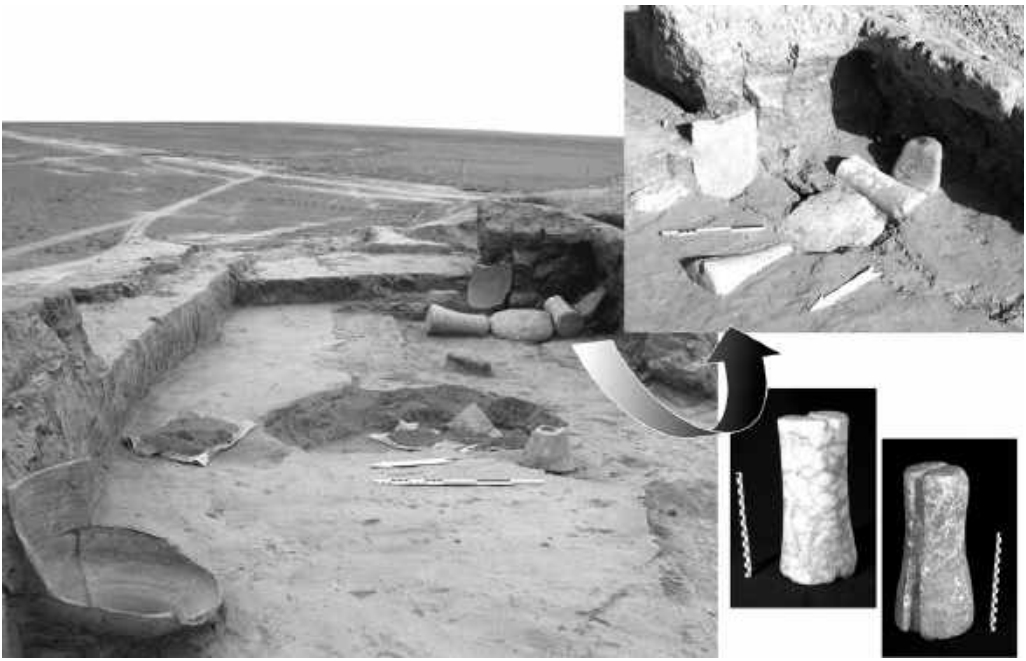


Рис. 15. «Кенотаф» в погребальной зоне Раскопа № 1.

керамический материал, а также кости ребенка. Череп ребёнка, расположенный напротив верхней части тела взрослого, стоял на основании таким образом, как если бы изначально голова опиралась на ныне истлевшие ягодичные мышцы взрослого тела. Пальцы (фаланги пальцев) находились поверх ступней (тарзуса) взрослого, что указывает на одновременность обоих захоронений.

Все тела были захоронены в лежачем положении на правом боку, с согнутыми верхними и нижними конечностями (рис. 14), голова ориентирована на северо-северо-запад. Необходимо уточнить, что покойники (три женщины? и два ребёнка) сопровождались обильным археологическим материалом (табл. 4), состоящим из более пятидесяти керамических изделий (в частности сосредоточенных в могилах, расположенных к востоку), каменных ваз и металлических предметов, в том числе бронзовых печатей. Керамика, сделанная на круге, представлена вазами или кубками в форме усечённого конуса, двухконусной формы и других мисок, типичных для конца бронзового века.

В связи с этим можно задаться вопросом о социальном статусе женщин и указать на тот факт, что богатство материала женских захоронений этого периода давно отмечено многими исследователями (*Алекшин,* 1986; *Аскаров,* 1977; *Сарианиди,* 2001) и недавно вновь обсуждалось на основе анализа нескольких сотен захоронений (*Luneau,* 2008). Несмотря на то, что антропологическое определение пола этих останков взрослых не производилось, некоторые критерии, упомянутые в цитируемой статье, как например, могила в виде цисты, а также наличие металлических печатей, придают этому комплексу скорее женский характер.

Рис. 16. Керамические предметы из погребений на Улуг Депе.

Вторая находка совершенно атипична (Раскоп № 1). Датирована она концом периода заселения развитого бронзового века (Намазга V) и расположена в приподнятой части, доступ в которую осуществлялся через нижнюю часть городища по улочке, некогда снабжённой широкими ступенями, вдоль которой располагались жилища небольшой пло-

Рис. 17. Каменные предметы из погребений Улуг Депе.

щади. Там, в одной из комнат полуразрушенного жилища, обнаружена обширная зона с захоронениями, в том числе с могилами семерых маленьких детей (табл. 1). Также в юго-восточном углу комнаты, несколько ниже уровня заполнения данных захоронений, был обнаружен кенотаф из двух колонок, соединённых с двумя притопленными жерновами и третьим каменным валуном (рис. 15). Эта необычная структура напоминает имитацию могилы. Вблизи неё была найдена разбитое дно крупного алебастрового сосуда и сохранившаяся нетронутой малая керамическая ваза. На том же уровне отмечено сосредоточение однотипных осколков малых керамических сосудов с закрытым горлом и узким донышком, типичных для периода Намазга V. Такие предметы регулярно обнаруживаются в захоронениях данного периода, особенно на городище Алтын Депе. Все вазы сохранились, и их удалось склеить. После того как кенотаф был разобран, вплотную к нему был обнаружен вертикально стоявший в яме большой открытый сосуд с носиком.

В связи с данной находкой возникает следующий вопрос: известно, что малолетние дети не имели никакого социального статуса, и потому их захоронения не сопровождались жертвоприношениями. Можно предположить, что присутствие малых колонн с горловиной соответствует скорее «культовой» направленности, что встречается на захоронениях мужчин (*Luneau*, 2008). Нами были зафиксированы вполне определённые признаки того, что в помещении, где захоронены детские останки, проводились некие ритуалы. В

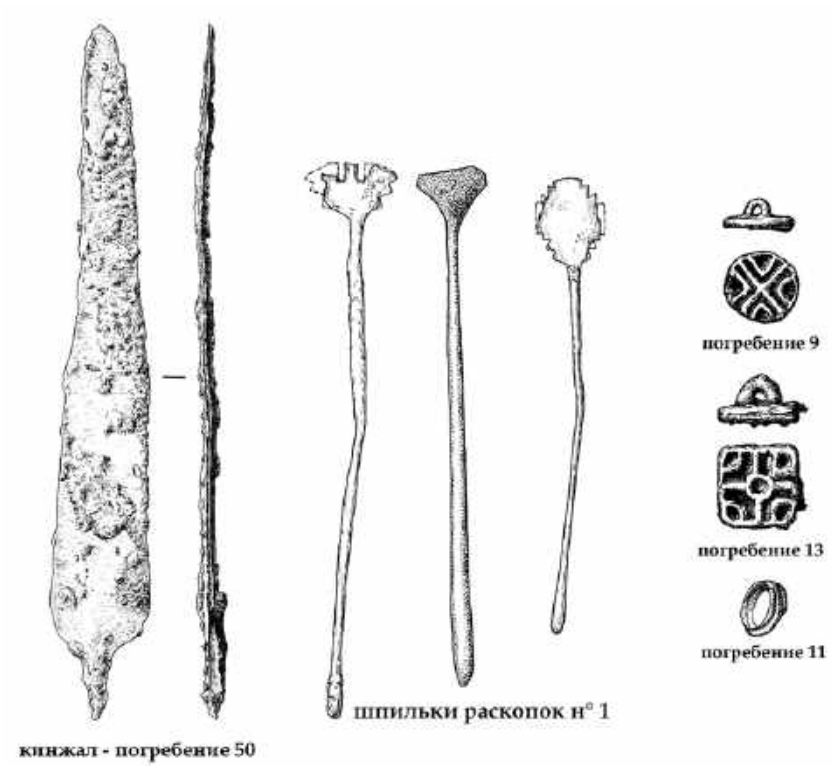


Рис. 18. Металлические предметы из погребений Улуг Депе.

качестве гипотезы можно предложить следующее объяснение этому факту. Детям не могли напрямую посвящаться погребальные обряды или жертвоприношения, следовательно, они посвящались кенотафу, символизировавшему и обозначавшему местонахождение могил. Каким бы образом ни интерпретировали значение этих необычных построек, их погребальная принадлежность не оставляет сомнений.

Сопровождающий материал

Сопровождающий материал и украшения встречаются в изобилии (табл. 1–4) и включают в себя керамику (рис. 16), каменные вазы (рис. 17), бусины (в том числе из лазурита), булавки, браслеты, одно кольцо (рис. 18). Не будем возвращаться к вопросу о хронологическом и сравнительном распределении всего этого материала, уже хорошо известного и датированного путём сравнения среднеазиатских культур Маргианы, Бактрии и Копет-Дага (*Массон,* 1959, 1981; *Хлопина,* 1972; *Аскаров,* 1973, 1977; *Аскаров, Абдулаллаев,* 1983; *Масимов,* 1976; *Kircho,* 1992; Хронология…, 2005; *Sarianidi,* 2007 и др.).

Эти предметы были найдены в погребальных ямах вместе с останками взрослых, как в ногах, так и в области таза, головы или же в руке (как это был отмечено в захоронении взрослого № 53 – рис. 5). Материал сопровождался иногда и останками животных (мел-

кого и/или крупного рогатого скота), встречался гораздо чаще и в большем количестве в более древних захоронениях периода ранней бронзы (Намазга IV). Что касается периода развитой бронзы (Намазга V), за исключением захоронений в «ячейках» (см. выше), такой материал встречается гораздо реже, или практически не встречается в захоронениях, в том числе и в захоронениях взрослых.

Несколько фактов общего характера

Погребальные обычаи, отмеченные на городище Улуг-Депе, сравнимы с теми, что практиковались на городищах предгорий туркменского Копетдага, а также в Маргиане и Бактрии. В период ранней бронзы нами отмечено наличие преемственности в ритуалах, начиная с эпохи энеолита, причём встречаются в основном индивидуальные погребения. В более поздние периоды эпохи бронзы появляются некоторые различия между регионами и отдельными памятниками, в том числе в том, что касается типов погребальных конструкций (могилы с камерой, катакомбы, пустоты, мавзолеи и т. д.).

В настоящее время, за отсутствием открытий некрополей бронзового века, можно утверждать, что на Улуг Депе существовали зоны захоронений, находившиеся внутри поселения (в частности в северной и северо-западной частях). Подобные захоронения внутри города встречаются на Сапаллитепе и в Дашлы, относящихся к самым ранним периодам эпохи бронзы, однако детские захоронения там встречаются редко (*Аскаров,* 1977; *Сариниди,* 1977). В период развитой бронзы ситуация отлична (Намазга V). Под основанием стен и внутри жилищ захоронения детей встречаются часто (Хронология…, 2005). В Бактрии и Маргиане захоронения внутри жилья прекращаются к позднему периоду бронзового века, с появлением некрополей вне поселений, как, например на Гонуре, Аучин Депе, Тахирбае, Джаркутане, Моллали и т. д.

Раскопки слоев бронзового века требуют постановки вопроса об архитектуре жилищ ранней и развитой бронзы, и предоставляют массу сведений по взаимоотношениям между зонами погребений и жилыми строениями (используемыми и покинутыми). Раскопки на различных площадках бронзового века (жилые кварталы, крепостная стена, ремесленные структуры, погребальные зоны) подтверждают причисление Улуг-Депе к городской фазе БМАК или к цивилизации Окса, и позволяют выявлять разнообразные аспекты, неизвестные в других ареалах.

Литература

Алекшин В. А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. Л., 1986.

Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии. Погребения Алтын Депе / Алекшин В. А., Кирчо Л. Б., Попов С. Г. (ред.). СПб., 2005.

Аскаров А. А. Сапаллитепа, Ташкент, 1973.

Аскаров А. А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977.

Аскаров А. А., Абдулаллев Б. Н. Джаркутан (к проблеме протогородской цивилизации на юге Узбекистана). Ташкент, 1983.

Масимов И. Раскопки керамических печей эпохи бронзы в южной Туркмении // АО 1970 г. М.,

1971. С. 432-433.

Масимов И. Изучение керамических печей эпохи бронзы на поселении Улуг-Депе // КД. Вып. IV. Ашхабад, 1972. С. 35–46.

Масимов И. Материальная культура южной Туркмении в период развитой и поздней бронзы // Первобытный Туркменистан. Ашхабад, 1976.

Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы // МИА. М.-Л., 1959.

Массон В. М. 1981 Алтын Депе. Труды ЮТАКЭ Т. XVIII. Л., 1981.

Массон В. М., Сариниди В. И. Каракумы. Заря цивилизации. М., 1972.

Хлопина Л. И. К определению критерия периода Намазга VI // КСИА. Вып. 134. М., 1972. С. 59–64.

Сариниди В. И. Отчет о работах Геоксюрского отряда экспедиции Института археологии АН СССР в 1967 г. Архив Института археологии АН СССР. Р. 1. № 3615. М., 1967.

Сариниди В. И. Отчет о работах Геоксюрского отряда археологической экспедиции ИА АН СССР на поселении Улуг депе в 1968 г. Архив Института археологии АН СССР. Р. 1. № 4354. М., 1968.

Сариниди В. И. Продолжение работ на Улуг-Депе // АО 1968 г. М., 1969. С. 434-435.

Сариниди В. И. Исследование слоев раннежелезного века на Улуг-Депе // АО 1970 г. М., 1971. С. 433-434.

Сариниди В. И. Раскопки 1970 г. на Улуг-Депе // УСА. Л., 1972. С. 53-55.

Сариниди В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977.

Сариниди В. И., Качурис К. А. 1968, Раскопки на Улуг-Депе // АО 1967 г. М., 1968. С. 342–345.

Bendezu-Sarmiento J. Les pratiques funéraires à Ulug-Dépé // Turkménistan un berceau culturel en Asie centrale. Dossier d'archéologie. 2006. № 317. S. 28–33.

Bendezu-Sarmiento J. The works of funerary archaeo-anthropology in Turkmenistan // The Turkmen Land as a Centre of Ancient Cultures and Civilizations. Ashgabad, 2008. P. 67–69.

Bruzek J. A method for visual determination of sex using the human hip bone // Am. J. Phys. Anthr. 2002. Vol. 117. P. 157–168.

Bruzek J., Murail P. Methodology and reliability of the sex diagnosis from the skeleton // Schmitt A., Cunha C., Pinheiro J. Forensic anthropology and medicine, two complementary sciences. From recovery to cause of death. Totowa, 2006. P. 225–242.

Bruzek J., Schmitt A., Murail P. Identification biologique individuelle en paléoanthropologie. Détermination du sexe et de l'âge au décès a partir du squelette // Dutour O., Hublin J. J., Vandermeersch B. Objets et Méthodes en Paléoanthropologie. P., 2005. P. 217–245.

Duday H. Archaeothanatology or archaeology of death, social archaeology of funerary remains \ R. Gowland, Ch. Knüsel (Eds.). Oxbow Books, 2006. P. 30–56.

Giraud J. Etat des connaissances sur le site d'Ulug-dépé (Turkménistan). Master 1. P., 2001.

Kircho L. B. The Local Roots of Namazga V Culture // SAA 1989 \ Jarrige C. (Ed.). P., 1992. P. 161–166.

Luneau E. 2008, Tombes féminines et pratiques funéraires en Asie centrale protohistorique. Quelques réflexions sur le «statut social» des femmes dans la civilisation de l'Oxus // Paléorient. 2008. T. 34. № 1. S. 131–157.

Moorrees C. F. A, Fanning A., Hunt E. E. Age variation of formation stages for ten permanent teeth // J. of dental research. 1963a. Vol. 42. P. 1490–1502.

Moorrees C. F. A, Fanning A., Hunt E. E. Formation and resorption of three deciduous teeth in children // Am. J. Phys. Anthr. 1963b. Vol. 21. P. 205–213.

Olivier G., Pineau H. Détermination de l'âge du fœtus et de l'embryom // Archives d'Anatomie (La semaine des hôpitaux). 1958. T. 6. S. 21–28.

Sarianidi V. I. Necropolis of Gonur and Iranian Paganizm, M., 2001.

Sarianidi V. I. Necropolis of Gonur. *Athenes*, *2007.*

Sellier P. 1993, L'estimation de l'âge des fœtus et des enfants morts en période périnatale: une révision de Fazekas et Kosa (1978) // Croissance et vieillissement. 21ime Colloque du GALF. Groupement des Anthropologistes de Langue Française. Bordeaux, 1993. P. 45.

Таблица 1

Сводная таблица захоронений Раскопа 1 и их погребальные приношения

№ могилы	Ярус / Стратиграфический слой	Датировка	Тип погребения	Пол/ возраст	Положение тела	Направление головы	Число керамических изделий	Металлический инвентарь	Каменные изделия	Другие материалы
1	Улуг I	НМЗГ V	одиночное	/	/	/	4		1 ваза	следы корзины с вазой внутри
2	Улуг I	НМЗГ IV	одиночное	/	на боку ВСП	/				
3	Улуг I	НМЗГ IV	одиночное	/	/	/	2			
4	Улуг II	НМЗГ IV	одиночное	взрослый	на правом боку ВСП	/	1			следы настила из растений
5	Улуг II	НМЗГ IV	двойное	дети	/	/				
15	Улуг II-1	НМЗГ IV	коллективное ± 10 инд.	взрослые и дети	в разных положениях	разное	5	1 булавка	1 лампа	
17	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное	/	на правом боку ВСП	СЗ	2	1 браслет	1 бусы из лазурита	23 глиняных крестообразных бусин
18	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное/ вторичное ?	/	/	/				
19	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное	/	/	СЗ				
20	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное/ вторичное ?	/	на боку ВСП	/		жемчуг	1 колье, 1 бусы из лазурита	
21–23	Улуг III	НМЗГ IV	массовое	/	/	/	2			
24	Улуг III	НМЗГ V	одиночное	ребёнок	/	/				следы корзины
25	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное	/	/	/			1 чаша	
26	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное	/	на левом боку ВСП	ЮЗ				
27	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное	/	на правом боку ВСП	С		1 булавка		
28	Улуг III	НМЗГ V	одиночное	/	на правом боку ВСП	СЗ				

29	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное	/	/	СЗ				
30	Улуг III	НМЗГ IV	одиночное	/	на правом боку ВСП	/	4		1 лампа	
52	Без номер	НМЗГ IV	одиночное	ребёнок 1–1,6 лет	/	/				
53	Без номер	НМЗГ IV	одиночное	мужчина старше 40 лет	на правом боку ВСП	С	3		1 ваза, 1 бусы из кальцита	1 фигурка зверя (скот), следы настила
54	Без номер	НМЗГ IV	одиночное	ребёнок 1,6 -2,6 лет	на правом боку ВСП	З				следы настила из растений
55	Без номер	НМЗГ IV	одиночное	мужчина старше 40 лет	на правом боку ВСП	СЗ	2		1 ваза, 2 бусы	звер (диафиз и допатка), следы настила
56	Без номер	НМЗГ IV	массовое (6 индивидов)	2 взрослых + 4 детей	1 на правом боку	1 СЗ	2			
60	1446	НМЗГ V	одиночное	ребёнок 4–4,6 лет	на левом боку ВСП	З				
61	Без номер	НМЗГ V	одиночное	юноша	на левом боку ВСП**	З	1			следы настила из растений
62	Без номер	НМЗГ V	массовое (индивидов)	3 взрослых и 1 ребёнок	/	/				
63	1474	НМЗГ V	одиночное	ребёнок 4,3–5,9 лет	на правом боку ВСП	З				
64	1488	НМЗГ V	одиночное	взрослый мужчина	на левом боку ВСП	ССЗ			1 точильный камень	2 хрупкие бусы из неизвестной материи
65	1496	НМЗГ V	одиночное	перинатальный	на правом боку ВСП	З				
66	1499	НМЗГ V	одиночное	взрослая женщина	на правом боку ВСП	ССЗ				
67	1506	НМЗГ V	одиночное	перинатальный	на правом боку ВСП	ССЗ				
68	1514	НМЗГ V	одиночное	перинатальный	на левом боку ВСП	ЮЗ				

Окончание

№ могилы	Ярус / Стратиграфический слой	Датировка	Тип погребения	Пол/ возраст	Положение тела	Направление головы	Число керамических изделий	Металлический инвентарь	Каменные изделия	Другие материалы
69	1513	НМЗГ V	одиночное	перинатальный	на правом боку ВСП	СЗ				
74	1534	НМЗГ V	одиночное	младенец 3–9 месяцев	на правом боку ВСП	ЮЗ				
75-1	1535	НМЗГ V	тройное	перинатальный	на левом боку ВСП	ССЗ				
75-2	1535	НМЗГ V	тройное	перинатальный	на правом боку ВСП	ЮВ				
75-3	1535	НМЗГ V	тройное	перинатальный	/	/				
76	1536	НМЗГ V	двойное	ребёнок 4,3–5,9 лет	на левом боку ВСП	ЮВ				
77	1537	НМЗГ V	одиночное	перинатальный	на правом боку	С				

Здесь и далее: ВСП – в скорченном положении.

Таблица 2

Сводная таблица захоронений Раскопа 3 и их погребальные приношения

Могилы	Ярус	Датировка	Тип погребения	Пол/ возраст	Положение тела	Направление головы	Число керамических изделий	Металлический инвентарь	Другие материалы
6	Улуг IV	НМЗГ VI	одиночное	женщина (?)	на правом боку ВСП**	СЗ	4	2 булавки	бусы
7	Улуг IV	НМЗГ VI	одиночное	/	на правом боку ВСП**	ЮВ			
14	Улуг III	НМЗГ VI	одиночное	подросток	на левом боку ВСП**	З	1		
16	Улуг III	НМЗГ VI	одиночное	/	на левом боку ВСП**	/	3	1 булавка, 1 кольцо	
43	Улуг III	НМЗГ VI	одиночное	/	/	/	1	1 булавка, бусы	
48	Улуг III	НМЗГ VI	одиночное	ребенок	на правом боку ВСП**	З	2		
49	Улуг III	НМЗГ VI	одиночное	/	на левом боку ВСП**	/			бусы
50	Улуг III	НМЗГ VI	одиночное	/	/	/	4	1 медный кинжал	

Таблица 3а.

Сводная таблица захоронений Раскопа 5 и их погребальные приношения.

№ могилы	Ярус	Датировка	Тип погребения	Пол/ возраст	Положение тела	Направление головы	Число керамических изделий	Металлический инвентарь	Изделия из камня	Другие материалы
31	Улуг V	НМЗГ IV	одиночное	/	/	/	4	1 булавка		
sn°	Улуг V-1	поздний НМЗГ IV	массовое (7 индивидов)	/	/	/				
32	Улуг V-1	поздний НМЗГ IV	одиночное	ребёнок	на правом боку ВСП	/	2			
33	Улуг V-1	поздний НМЗГ IV	одиночное	мужчина (?)	на боку ВСП	СЗ	5		1 ваза	
34	Улуг V-1	поздний НМЗГ IV	одиночное	взрослый	на правом боку ВСП	ССЗ	3		1 ваза	
35	Улуг V-1	НМЗГ IV	одиночное	ребёнок	/	/	4	1 ложка		
36	Улуг V-1	НМЗГ IV	одиночное	ребёнок	на правом боку ВСП	З				
37	Улуг V	НМЗГ IV	одиночное	ребёнок	на боку	/			1 флакон	
38	Улуг V	НМЗГ IV	одиночное	ребёнок	на боку	/		1 булавка		
39–41	Улуг V-1	НМЗГ IV	тройное	/	/	/	2	1 булавка	2 бусы из лазурита	1 пряслице
42	Улуг V-2	НМЗГ IV	одиночное	ребёнок	на правом боку ВСП	ЮВ				

Таблица 3б.

Сводная таблица захоронений Раскопа 17 и их погребальные приношения.

№ могилы	Ярус	Датировка	Тип погребения	Пол/ возраст	Положение тела	Направление головы	Число керамических изделий
81	17052	НМЗГ IV-V	одиночное	перинатальный	на правом боку ВСП	СЗ	
84	17057	НМЗГ IV-V	одиночное	перинатальный	на правом боку ВСП	ЗЗЮ	
85	17060	НМЗГ IV-V	одиночное	перинатальный	на правом боку ВСП	ВВС	
86	17077	НМЗГ IV-V	одиночное	перинатальный	на левом боку ВСП	В	
87	17081	НМЗГ IV-V	одиночное	перинатальный	на правом боку	ССЗ	
88	17086	НМЗГ IV-V	одиночное-сокращение ?	перинатальный	/	/	
89	17075	НМЗГ IV-V	одиночное	перинатальный	на левом боку ВСП	Ю	
90	Без номера	НМЗГ IV-V	одиночное	ребёнок	на правом боку ВСП	СВ	
91	17005	НМЗГ IV-V	одиночное	взрослый мужчина	на правом боку ВСП	СЗ	2
92	17019	НМЗГ IV-V	одиночное	взрослая женщина	на правом боку ВСП	З	

Таблица 4.

Сводная таблица захоронений из разных частей Улуг Депе и их погребальные приношения.

№ могилы	Ярус	Датировка	Тип погребения	Пол/ возраст	Положение тела	Направление головы	Число керамических изделий	Металлический инвентарь	Изделия из камня	Другие материалы
8	/	НМЗГ IV	/	/	/	/	множество ваз		1 чаша	
9	/	НМЗГ V–VI	одиночное	ребёнок	на правом боку ВСП	ССЗ	множество ваз	1 круглая печать	1 чаша	следы настила из растений, бусы из стекломассы
10	/	НМЗГ V–VI	одиночное	взрослая (Ж?)	на правом боку ВСП	ССЗ	27		1 ваза	бусы из керамики и из стекломассы, следы настила из растений
11 et 12	/	НМЗГ V–VI	двойное	ребёнок и взрослая (Ж?)	на правом боку ВСП	ССЗ	2 + 23	1 бронзовое кольцо		бусы, следы настила из растений, деревянная ложка
13	/	НМЗГ V–VI	одиночное	взрослая (Ж?)	на правом боку ВСП	ССЗ	6	1 печать из бронзы	1 ваза	бусы, следы настила из растений
58	6	НМЗГ V–VI	одиночное	взрослая женщина	на правом боку ВСП	З				

С. С. Тур

НАСЕЛЕНИЕ АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ, ОДОНТОЛОГИЧЕСКИХ И КРАНИОСКОПИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Во многих краниологических сериях из степных районов Евразии эпохи бронзы исследователи отмечают смешение двух морфологических вариантов – протоевропейского и средиземноморского, которые различаются по ширине и пропорциям лицевого скелета (*Гинзбург, Трофимова,* 1972, с. 89–92; *Круц,* 1972, с. 101, 168; 1984, с. 90–95; *Дремов,* 1997, с. 94–95; *Солодовников,* 2005, с. 132–134).

По мнению А.Г. Козинцева, традиционное деление на «протоевропеоидов» и «средиземноморцев» в краниометрии в настоящее время утратило свое значение и нуждается в пересмотре – не все грацильные европеоиды были южанами. В статье с красноречивым названием «О так называемых средиземноморцах Сибири» автор высказывает предположение, что в миграциях на восток узколицые светлопигментированные люди среднеевропейского и североевропейского происхождения играли роль не меньшую, чем протоевропейцы и, наверняка большую, чем южные европеоиды. Это относится, в частности, и к андроновскому населению Алтая (*Козинцев,* 2008, с. 207).

Цель данной работы – проверить на основе независимых источников конкурирующие гипотезы относительно генетических связей населения андроновской культуры Алтая, в составе которого наряду с широколицым протоевропейским краниотипом выделяется также краниотип с относительно узким и высоким лицом.[1]

Материал и методы

Основу данного исследования составила сборная краниологическая серия, объединяющая материалы из могильников Фирсово-14, Чекановский лог-2 и 10, Маринка, Березовский, Подтурино, Барсучиха, Малаховский, Погривки, Прудской. Большинство черепов происходят из могильника Фирсово-14.

Сопоставляются результаты краниометрического, краниоскопического и одонтологического анализа. Краниометрические данные были заимствованы из литературных источников, краниоскопические и одонтологические получены автором.

Краниоскопия. Поскольку в отечественной палеоантропологии общепринятая методика краниоскопического исследования отсутствует (*Козинцев,* 1988; *Мовсесян,* 2005), в работе использовались два методических подхода. Один из них практикуется японскими антропологами (*Hanihara, Ishida,* 2001, p. 137–152; 2001a, p. 689–706; 2001b, p. 707–725; 2001c, p. 251–272; 2001d, p. 273–287; *Hanihara, Ishida, Dodo,* 2003, p. 241–251), а другой – Санкт-петербургской школой российских антропологов (*Козинцев,* 1980, с. 75–99; 1987, с. 12–31; 1988; *Kozintsev,* 1992, p. 213–244; *Громов,* 1996, с. 147–155; 1997, с. 294–300; *Громов, Моисеев,* 2004, с. 216–248; *Моисеев,* 1999; 2006, с. 145–152; *Балабанова,* 2001, с. 87–94). Расхождения между этими подходами касаются как выбора признаков, так и способа подсчета их частот. Различается также круг сравнительных материалов. Параллельное использование разных методов позволяет повысить надежность результатов исследования.

[1] Работа выполняется в рамках проекта РГНФ (№ 06-01-00378а).

Краниоскопическая программа Т. Ханихары и Х. Исиды включает следующие признаки: метопический шов, надглазничное отверстие, добавочное подглазничное отверстие, заднескуловой шов, вставочные кости лямбды, астериона и теменной вырезки височной кости, вормиевы кости затылочно-сосцевидного шва, sutura mendosa, слияние овального и остистого отверстий, отверстие в барабанной пластинке, предмыщелковые бугорки, третий мыщелок, разделение перегородкой яремного отверстия, разделение перегородкой канала подъязычного нерва, мыщелковый канал, открытый в полость черепа, медиальный небный канал, дополнительное подбородочное отверстие, челюстно-подъязычный канал, ушные экзостозы. Почти все они (кроме слияния овального и остистого отверстия, а также ушных экзостозов) являются составной частью еще более обширной краниоскопической программы (в общей сложности 39 признаков) московской школы российских антропологов (*Мамонова, Мовсесян,* 1998, с. 221–240; *Мовсесян,* 1986, с. 61–66; 2001, с. 14–32; 2005; *Мовсесян, Кочар,* 2001, с. 95–115; *Мовсесян, Мамонова, Рычков,* 1975, с. 58–77). Из 20 перечисленных признаков, в данном исследовании использовались 19 (исключены были ушные экзостозы).

Краниоскопическая программа, разработанная А. Г. Козинцевым, включает 6 признаков: затылочный индекс (ЗИ), заднескуловой шов (ЗСШ), надглазничное отверстие (НО), индекс поперечного небного шва (ИПНШ), клиновидно-верхнечелюстной шов (КВШ) и подглазничный узор типа II (ПГУ II). Из них только два (ЗСШ и НО) совпадают с признаками программы Т. Ханихары и Х. Исиды.

Парные признаки регистрировались на обеих сторонах черепа. Частота признаков первой программы подсчитывалась per cranium (т. е. признак отмечался как присутствующий, если он регистрировался хотя бы на одной из двух сторон черепа) (*Hanihara, Ishida, Dodo,* 2003, p. 244). При этом учитывались также неполные черепа, когда для наблюдения была доступна только одна сторона черепа. Частота признаков второй программы вычислялась per side, т. е. число сторон, на которых присутствовал признак, делилось на общее число сторон, на которых он поддавался определению (*Козинцев,* 1980, с. 86–87; 1988, с. 15). Для двух признаков (ЗСШ и НО), которые входят в обе программы, соответственно подсчитывались два варианта частот.

Мужские и женские черепа анализировались совместно. Хотя половой диморфизм в распределении дискретно-варьирующих признаков, как правило, не имеет определенной направленности, некоторые признаки устойчиво чаще встречаются только у одного из полов. Для характеристики объединенной группы по признаку КВШ, который существенно чаще встречается на мужских черепах, чем на женских, использовалась невзвешенная средняя частота мужской и женской подгруппы (*Козинцев,* 1988, с. 52). Во всех остальных случаях использовались взвешенные средние значения.

Для сравнения были привлечены следующие материалы:

I. По программе из 19 признаков:

а) близкие к современности группы: Восточной, Южной и Северо-Западной Индии, Афганистана, Израиля, Восточной Европы (Польши, Чехии, Герцеговины, Болгарии, Югославии), Италии, Финляндии, Скандинавии (Норвегии и Швеции), Германии, Франции, Великобритании, а также группы турок (Кипр), русских (Себеж), греков (*Hanihara, Ishida,* 2001a, p. 704–705; 2001b, p. 723–724; 2001c, p. 270–271; 2001d, p. 285–286).

б) древние группы: тагарская культура, эпоха раннего железа и средних веков с территории Великобритании (Там же).

II. По программе из 6 признаков:

а) близкие к современности группы: русских, украинцев, поляков, латышей, литовцев, эстонцев, карел, финнов, ингушей, чеченцев, адыгейцев, абхазов, осетин, армян, турок,

Таблица 1

Краниометрическая характеристика населения андроновской культурной общности (мужчины)

№ признака по Р. Мартину	Западный Казахстан	Северо-Восточный Казахстан		Алтай	Минусинская котловина
	Алакульская культура	Федоровские погребения	Алакульские погребения		
1	188,0 (13)	183,6 (7)	184,3 (10)	187,7 (46)	186,0 (22)
8	138,3 (13)	144,3 (7)	140,3 (10)	140,4 (44)	145,0 (22)
8:1	73,7 (14)	78,3 (7)	75,7 (12)	75,2 (43)	78,0 (22)
17	139,8 (5)	141,8 (4)	138,4 (6)	138,3 (38)	139,3 (21)
5	109,0 (4)	105,7 (2)	103,2 (4)	105,7 (39)	106,2 (21)
9	96,7 (13)	101,8 (6)	97,3 (10)	96,6 (46)	101,7 (22)
32	82,3 (5)	87,0 (3)	84,0 (6)	82,7 (44)	83,0 (18)
40	104,3 (3)	99,5 (2)	100,8 (4)	102,9 (37)	101,6 (20)
45	134,4 (9)	138,5 (4)	135,9 (6)	136,3 (43)	140,7 (20)
48	68,2 (8)	68,2 (5)	71,1 (11)	69,7 (43)	67,8 (21)
48:45	51,7 (8)	49,8 (4)	52,4 (6)	51,0 (39)	48,3 (20)
72	85,0 (6)	87,0 (3)	84,7 (3)	85,1 (41)	85,4 (18)
77	134,4 (8)	138,7 (5)	139,2 (5)	137,3 (47)	137,7 (18)
Zm’	120,2 (6)	130,3 (4)	124,1 (5)	124,2 (41)	127,7 (18)
51	41,6 (6)	43,9 (4)	43,3 (7)	43,5 (47)	44,4 (19)
52	32,3 (10)	32,8 (4)	31,5 (9)	31,8 (48)	31,7 (20)
52:51	74,8 (6)	74,9 (4)	73,1 (7)	73,1 (46)	71,1 (19)
55	25,0 (8)	51,5 (4)	50,6 (10)	50,6 (43)	50,2 (21)
54	50,8 (11)	26,7 (3)	25,3 (9)	25,1 (46)	25,8 (21)
54:55	50,7 (8)	51,5 (3)	49,2 (9)	50,1 (42)	51,8 (21)
75 (1)	32,8 (6)	31,0 (3)	31,0 (5)	34,5 (35)	33,7 (18)
SC	9,1 (4)	11,9 (3)	8,0 (1)	8,79 (40)	9,1 (19)
SS	4,9 (4)	5,86 (3)	5,4 (1)	4,96 (40)	4,7 (19)
SS:SC	53,2 (4)	50,1 (3)	67,8 (1)	56,8 (40)	53,7 (19)
DC	24,4 (4)	24,18 (4)	19,31 (3)	22,44 (36)	22,3 (19)
DS	15,2 (4)	14,09 (3)	14,39 (3)	14,08 (36)	13,8 (19)
DS:DC	62,8 (4)	58,2 (3)	71,1 (3)	63,4 (36)	62,9 (19)

Примечания: Западный Казахстан, Минусинская котловина (*Алексеев, Гохман,* 1984, с. 23, 36); федоровские и алакульские погребения Северо-Восточного Казахстана (*Дремов,* 1997, с. 79–80); Алтай (*Солодовников*, 2006, с. 25).

болгар, итальянцев (*Козинцев,* 1988, табл. 3, с. 29; табл. 7, с. 54; табл. 8, с. 60, табл. 12, с. 84; табл. 15, с. 103; *Kozintsev,* 1992, p. 213–244).

б) древние краниологические серии: энеолит Туркмении (*Козинцев,* 1988, табл. 24, с. 151), андроновская культура Минусинской котловины, Северного, Центрального и Восточного Казахстана (большинство черепов с территории Казахстана из погребений алакульского типа) (*Громов,* 1997, табл. 1, с. 296–297).

Для формализованного межгруппового сравнения использовался анализ соответствия (Corespondence analysis) – вариант анализа главных компонент для качественных

признаков, который пока не встречается в отечественных публикациях, но широко применяется в зарубежных работах при изучении дискретно-варьирующих признаков (*Manzi et al.,* 1997, p. 469–479; *Coppa et al.,* 1998, p. 374; *Irish,* 2006, p. 534–537; *Irish, Konigsberg,* 2007, p. 143). В анализе соответствия основой для выделения компонент вместо матрицы попарных корреляций признаков служит матрица значений χ^2, отражающих величину их попарных различий. Расчеты осуществлялись с помощью стандартной программы из пакета STATISTICA.

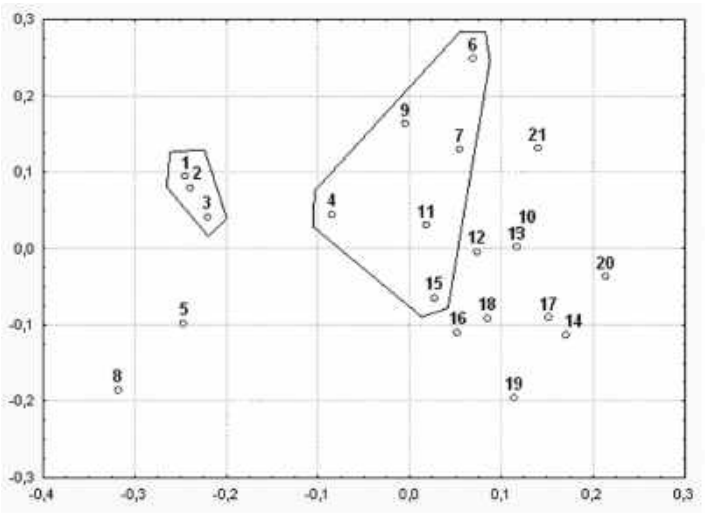


Рис. 1. Результаты анализа соответствия краниологических серий по 19 краниоскопическим признакам в пространстве I и II векторов (24,2 и 12,4% инерции): 1 – Восточная Индия, 2 – Южная Индия, 3 – Северо-Западная Индия, 4 – Афганистан, 5 – тагарская культура, 6 – Израиль, 7 – турки (Кипр), 8 – русские, 9 – греки, 10 – восточноевропейцы, 11 – итальянцы, 12 – финны, 13 – скандинавы, 14 – немцы, 15 – французы, 16–20 – территория Великобритании, 21 – андроновская культура Алтая (Обведены современные группы южного происхождения).

Одонтология. Сравнительный одонтологический анализ проводился с учетом следующих признаков (в скобках – условные обозначения): лопатообразная форма I^1(shov), форма второго верхнего моляра (M^2) по Дальбергу (hyr(3,3+)), бугорок Карабелли (баллы 2–5) M^1 (cara), 4-х и 6-ти бугорковые первые нижние моляры ($4M^1$ и $6M^1$ соответственно), 4-х бугорковые вторые нижние моляры ($4M^2$), дистальный гребень тригонида M^1 (dtc), коленчатая складка метаконида M^1(dw), вариант II второй борозды метаконида M^1 (2 med(II)).

В качестве сравнительных материалов использовались:

а) современные группы: русских, украинцев, поляков, эстонцев, литовцев, латышей, финнов Финляндии, финнов Волго-Камья, молдаван, венгров закарпатских, болгар, турок Болгарии, греков Болгарии, абхазов, грузин, армян, населения Дагестана, таджиков, туркмен, ирони и арабов Средней Азии, горных сокотрийцев (*Зубов, Халдеева,* 1989, с. 108–117).

б). древние серии: некрополь Гонура (Ю. Туркмения, эпоха бронзы) (*Рыкушина, Дубова, Суворова,* 2003, с. 131–132), население Латвии V–III тыс. до н. э., Олений остров VI тыс. до н. э., балановская культура (XIX–XV вв. до н. э.), фатьяновская культура (XVIII–XIV вв. до н. э.), Кивуткалнский могильник (Латвия, XIII–XI вв. до н. э.) (*Гравере,* 1987, с. 202–203).

Для формализованного многомерного сравнения, как и в случае с краниоскопическими признаками, применялся анализ соответствия (Correspondence analysis).

Таблица 2

Краниоскопическая характеристика населения андроновской культуры Алтая

	Признак	M (n/N)
	Per cranium	
1	Метопический шов	0,043 (4/93)
2	Надглазничное отверстие	0,472 (34/72)
3	Добавочное подглазничное отверстие	0,233 (14/60)
4	Заднескуловой шов	0,177 (9/51)
5	Вставочные кости лямбды	0,136 (8/59)
6	Вставочные кости астериона	0,186 (11/59)
7	Вормиевы кости затылочно-сосцевидного шва	0,053 (3/57)
8	Вставочные кости теменной вырезки височной кости	0,190 (11/58)
9	Sutura mendosa	0,081 (5/62)
10	Слияние овального и остистого отверстий	0,078 (5/64)
11	Отверстие в барабанной пластинке	0,069 (5/72)
12	Предмыщелковые бугорки	0,167 (9/54)
13	Третий мыщелок	0,018 (1/56)
14	Разделение перегород-кой яремного отверстия	0,217 (10/46)
15	Разделение канала подъязычного нерва перегородкой	0,250 (18/72)
16	Мыщелковый канал, открытый в полость черепа	0,787 (37/47)
17	Медиальный небный канал	0,039 (2/51)
18	Дополнительное подбо-родочное отверстие	0,035 (2/58)
19	Челюстно-подъязычный канал	0,136 (8/59)
	Per side	
20	Надглазничное отверстие	0,326 (45/138)
21	Подглазничный узор типа II	0,375 (30/80)
22	Клиновидно-верхнечелюстной шов	0,309
23	Заднескуловой шов	0,118 (9/76)
24	Затылочный индекс	0,211 (4/19)
25	Индекс поперечного небного шва	0,565 (48/85)

Результаты и их обсуждение

Краниометрия. В пределах обширного ареала андроновской культурной общности с запада на восток увеличивается черепной указатель, лицо становится более широким и относительно более низким (табл. 1). Андроновские черепа Минусинской котловины, характеризующиеся высокой мезокранной мозговой коробкой и широким, низким по указателю лицом, относятся к протоевропейскому типу.

Черепа андроновской культуры Алтая отличаются долихокранной мозговой коробкой, средними размерами и мезоморфными пропорциями лицевой части. Мужская серия морфологически неоднородна. При внутригрупповом анализе главных компонент в составе ее выделяются два комплекса признаков: 1) более высокий и широкий, относительно более короткий свод с более прямым лбом и более широким, относительно низким лицом, 2) более низкий и узкий, относительно более длинный свод с более наклонным лбом и более узким, относительно высоким лицом. Первый комплекс признаков относится к протоевропейскому типу, второй – к средиземноморскому (*Дремов,* 1997, с. 94–95; *Солодовников*, 2005, с. 132–134).

На территории Казахстана мезокранные черепа с широким, относительно низким лицом происходят преимущественно из погребений федоровского типа, долихокранные черепа с лицом средних размеров и пропорций – из погребений алакульского типа (*Дремов,* 1997, с. 77–81).

Краниоскопия. Краниоскопическая характеристика андроновского населения Алтая приводится в табл. 2, где M – средняя частота признака в долях единицы, N – число наблюдений, n – число положительных случаев (присутствие признака).

Таблица 3

Анализ соответствия. Нагрузки признаков по I и II вектору

	Признак	I	III
1	Медиальный небный канал	0,09	0,18
2	Разделение канала подъязычного нерва перегородкой	-0,01	-0,08
3	Предмыщелковые бугорки	0,14	0,13
4	Третий мыщелок	-0,15	0,23
5	Разделение перегородкой яремного отверстия	0,16	0,06
6	Челюстно-подъязычный канал	0,33	-0,22
7	Отверстие в барабанной пластинке	-0,33	-0,14
8	Слияние овального и остистого отверстий	0,14	0,06
9	Метопический шов	0,29	-0,16
10	Заднескуловой шов	-0,18	0,17
11	Sutura mendosa	0,09	-0,05
12	Мыщелковый канал, открытый в полость черепа	-0,04	0,01
13	Надглазничное отверстие	-0,03	-0,03
14	Добавочное подглазничное отверстие	0,25	-0,00
15	Добавочное подбородочное отверстие	-0,25	-0,18
16	Вставочная кость лямбды	-0,09	-0,01
17	Вставочная кость теменной вырезки височной кости	-0,05	-0,01
18	Вставочная кость астериона	0,13	0,17
19	Вормиева кость затылочно-сосцевидного шва	-0,17	0,36

Таблица 4

Одонтологическая характеристика населения андроновской культуры Алтая

Признак	N	%
Лопатообразность I^1	11	18,2
Бугорок Карабелли (2-5) M^1	42	64,3
M^2 (3+,3)	41	48,8
Дистальный гребень тригонида M_1	26	15,4
Коленчатая складка метаконида M_1	16	18,8
Tami M_1	54	3,7
$M_1$6	49	2,0
$M_1$4	49	26,5
$M_2$4	49	98,0
2 med (II)	14	14,3

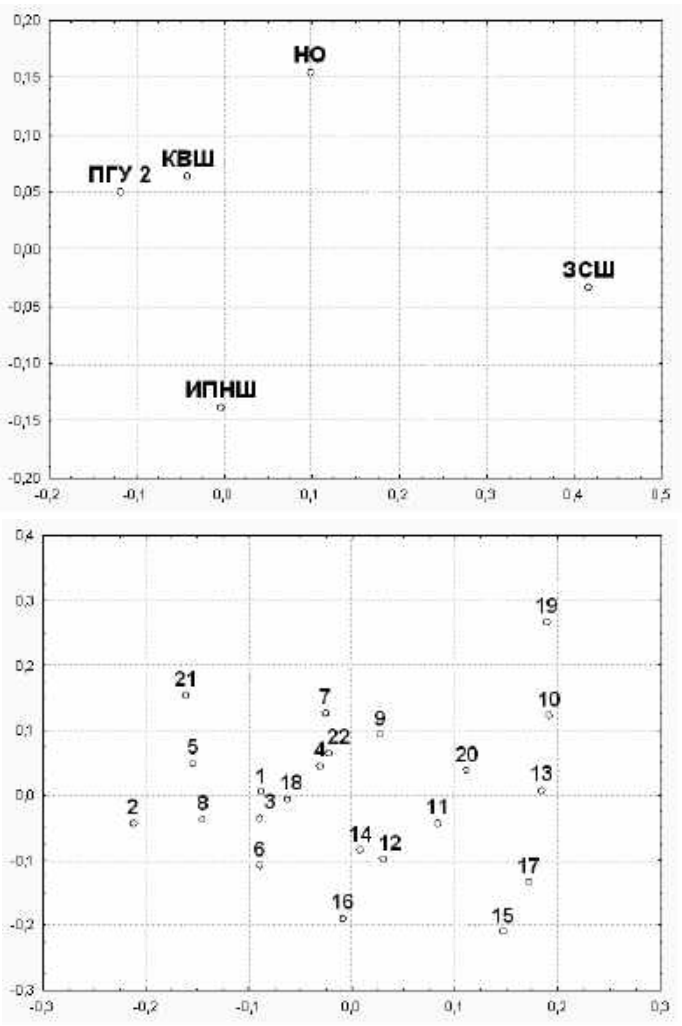
I. Сопоставление краниологических серий по 19 признакам программы Т. Ханихары и Х. Исиды.

При анализе европеоидов наиболее значимыми оказываются I вектор (24,2% инерции), который дифференцирует группы в направлении восток-запад, и III вектор (12,4% инерции), дифференцирующий группы в направлении север-юг. По I вектору наиболее высокие нагрузки имеют следующие признаки: челюстно-подъязычный канал, отверстие в барабанной пластинке (с обратным знаком), метопический шов, добавочное подглазничное отверстие, добавочное подбородочное отверстие (с обратным знаком), заднескуловой шов и вормиева кость затылочно-сосцевидного шва (с обратным знаком), разделение перегородкой яремного отверстия. По III вектору наиболее высокие нагрузки имеют признаки: вормиева кость затылочно-сосцевидного шва, третий мыщелок, челюстно-подъязычный канал (с обратным знаком), медиальный небный канал, добавочное подбородочное отверстие (с обратным знаком), вставочная кость астериона, заднескуловой шов, метопический шов (с обратным знаком) (табл. 3). Для южных серий характерны невысокие значения по I вектору и высокие значения по III. Для северных и центральных европейских серий, наоборот, характерны высокие значения по I вектору и невысокие – по III (рис. 1).

Андроновская серия Алтая имеет высокие («западные») значения по I вектору и высокие («южные») значения по III вектору. По-видимому, такое сочетание двух резко выраженных разнонаправленных тенденций отражает смешанный характер данной группы.

II. Сопоставление краниологических серий по 6 признакам (программа А. Г. Козинцева).

Из 6 признаков программы А. Г. Козинцева для анализа европеоидов наибольшее значение, по-видимому, имеет комбинация признаков ПГУ II и ЗСШ (так называемый североевразийский индекс), которая позволяет дифференцировать южные и северные группы, а вернее сказать, южные и неюжные, поскольку в число последних включаются не только северные, но и центральноевропейские группы. У южных европеоидов значения ЗСШ выше, а ПГУ II ниже, чем у северных или центральных европеоидов (*Козинцев,* 1988, с. 86). ЗИ в европеоидных группах оказывается наиболее вариабельным признаком, однако никаких закономерностей в его изменчивости не обнаруживается, поэтому при анализе соответствия он не учитывается.



Ill 2a,b Рис. 2. Результаты анализа соответствия краниологических серий по 5 краниоскопическим признакам в пространстве I и II векторов (35,4 и 29,4 % инерции): 1 – русские, 2 – украинцы, 3 – поляки, 4 – латыши, 5 – литовцы, 6 – эстонцы, 7 – карелы, 8 – финны, 9 – ингуши, 10 – чеченцы, 11 – адыгейцы, 12 – абхазы, 13 – осетины, 14 – армяне, 15 – турки, 16 – болгары, 17 – арабы, 18 – итальянцы, 19 – энеолит Туркмении, 20 – андроновская культура Алтая, 21 – андроновская культура Минусы, 22 – андроновская культура Казахстана.

Как и следовало ожидать, первым выделяется вектор (35,4% инерции), отражающий обратную зависимость между признаками ЗСШ и ПГУ II (рис. 2a). Большинство современных южных популяций характеризуются его положительными значениями, а северо- и среднеевропейские группы – отрицательными, трансгрессия между ними невелика (рис. 2b). Серия энеолита Туркмении располагается на «южном» полюсе I вектора. Краниологические серии андроновской культуры обнаруживают существенную вариабельность в этом направлении. Наиболее выражены различия между алтайской и минусинской группой, если первая попадает в область

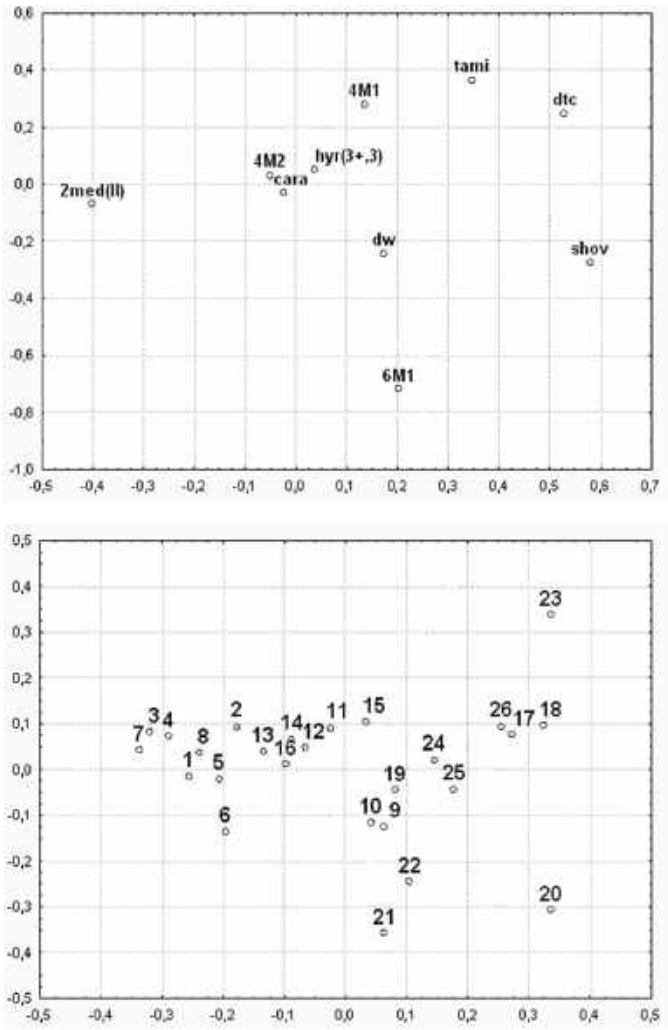
«южных» значений, то вторая – в область «северных» значений. Казахстанская серия оказалась в зоне трансгрессии.

Таким образом, результаты анализа соответствия краниологических серий по 5 признакам программы А. Г. Козинцева подтверждают, что краниоскопический комплекс населения андроновской культуры Алтая имеет южное происхождение.

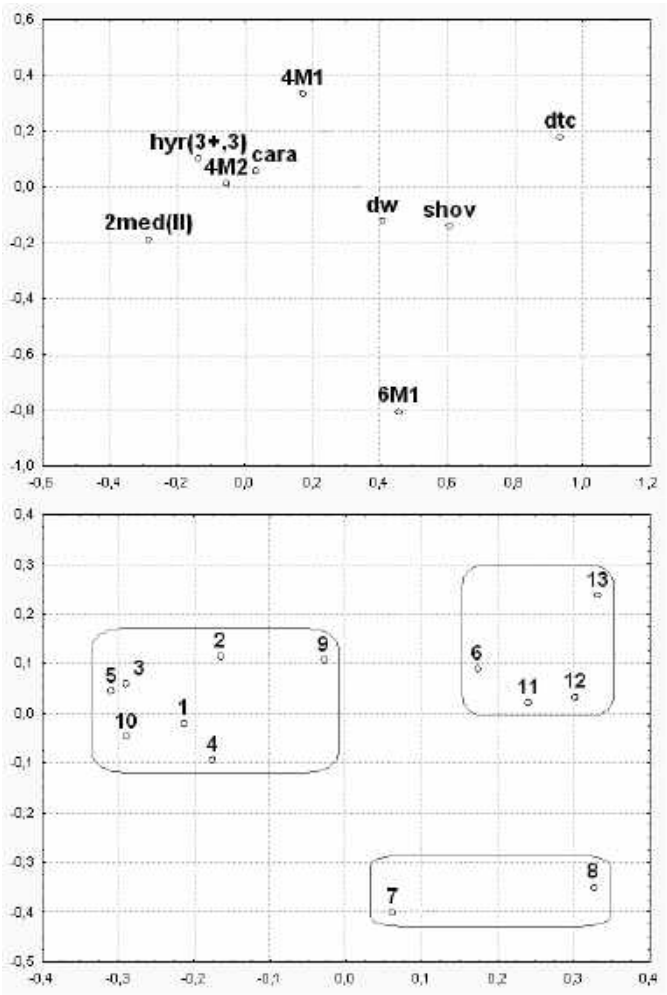
Одонтология. Основные одонтологические характеристики андроновского населения Алтая приводятся в табл. 4.

Как показывает анализ соответствия, в европеоидных группах наибольшую вариабельность (I вектор – 41,3% инерции) проявляют признаки 2med(II), shov, dtc и tami (рис. 3а). Сочетание повышенной частоты 2med(II) с пониженной частотой shov, dtc и tami характерно для поляков, литовцев, венгров, русских, эстонцев, украинцев, молдаван, латышей. Обратное сочетание пониженной частоты 2med(II) с повышенной частотой shov, dtc и tami встречается преимущественно в группах южного происхождения (сокотрийцы, туркмены, греки и турки Болгарии, население Индии, ирони и арабы Средней Азии, таджики) (рис. 3b). Краниологические серии из Гонура и андроновской культуры Алтая также характеризуются южными значениями первого вектора.

Хотя многие одонтологические признаки подвержены эпохальным изменениям, существенной трансформации «западного», «восточного» и «южного» комплексов, как минимум,



Ill 3a,b – Рис. 3. Результаты анализа соответствия краниологических серий по 10 одонтологическим признакам в пространстве I и II векторов (41,4 и 20,1% инерции): 1 – русские, 2 – украинцы, 3 – поляки, 4 – венгры закарпатские, 5 – молдаване, 6 – латыши, 7 – литовцы, 8 – эстонцы, 9 – финны Волго-Камья, 10 – финны Финляндии, 11 – население Дагестана, 12 – грузины, 13 – армяне, 14 – абхазы, 15 – азербайджанцы, 16 – болгары, 17 – турки Болгарии, 18 – греки Болгарии, 19 – таджики, 20 – туркмены, 21 – ирони, 22 – арабы Средней Азии, 23 – сокотрийцы горные, 24 – население Индии, 25 – Гонур, 26 – андроновская культура Алтая.



Ill 4a, b – Рис. 4. Результаты анализа соответствия древних и современных одонтологических серий в пространстве I–II векторов (49,2 и 22,0 % инерции): 1 – русские, 2 – украинцы, 3 – поляки, 4 – латыши, 5 – литовцы, 6 – население Индии, 7 – Латвия V–III тыс. до н. э., 8 – Олений остров, VI тыс. до н.э., 9 – балановская культура, 10 – фатьяновская культура, 11- Кивуткалнс, 12 – Гонур, 13 – андроновская культура Алтая.

с эпохи бронзы и до современности, по-видимому, не происходит. Это можно продемонстрировать на следующем примере (рис. 4a, b). По результатам анализа соответствия серии фатьяновской и балановской культуры эпохи бронзы, ареал которых охватывал лесную зону Восточной Европы, сближаются с современными группами русских, украинцев, поля ов, латышей и литовцев, в то время как серии эпохи бронзы с территории Южной Туркмении (Гонур) и Алтая (андроновская культура) объединяются с современным населением Индии. Попутно отметим, что балановская группа, демонстрирующая уклонение в направлении южных серий, по краниометрическим данным имеет смешанное происхождение и включает в свой состав «средиземноморский» компонент (*Акимова,* 1963).

Суммируя результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Одонтологический тип населения андроновской культуры Алтая имеет южное происхождение. Южные особенности отчетливо проявляются также в его краниоскопическом типе. Краниометрический комплекс признаков данной группы сформировался в результате смешения двух морфологических вариантов, различающихся по ширине и пропорциям лицевого скелета. Один из них, с широким и относительно низким лицом, отождествляется с протоевропейским типом. Другой, с узким и относительно высоким лицом, правомерно относить к средиземноморскому типу. То, что влияние южных европеоидов в данном случае более сильно проявляется в одонтологических и краниоскопических особенностях, чем в краниометрических, объясняется разными механизмами наследования дискретно-варьирующих и количественных признаков.

Литература

Акимова М. С. Палеоантропологические материалы из Балановского могильника // Бадер О. Н. Балановский могильник. М., 1963.

Алексеев В. П., Гохман И. И. Антропология Азиатской части СССР. М., 1984.

Балабанова М. А. Краниоскопическая характеристика сарматов // Вестник антропологии. Вып. 7. М., 2001. С. 87–94.

Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972.

Гравере Р. У. Этническая одонтология латышей. Рига, 1987.

Громов А. В. Палеоантропология населения Южной Сибири эпохи бронзы по данным краниоскопии // Вестник антропологии. Вып. 2. М., 1996. С. 147–155.

Громов А. В. Краниоскопические особенности населения окуневской культуры // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997. С. 294–300.

Громов А. В., Моисеев В. Г. Краниоскопия населения Западной и Южной Сибири: география и хронология // Расы и народы: Современные этнические и расовые проблемы. Вып. 30. М., 2004. С. 216–248.

Дремов В. А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы (антропологический очерк). Томск, 1997.

Зубов А. А., Халдеева Н. И. Одонтология в современной антропологии. М., 1989.

Козинцев А. Г. Дискретные признаки на черепах эпохи бронзы из Южной Сибири (в связи с проблемами методики изучения краниологического полиморфизма) // Исследования по палеоантропологии и краниологии СССР. СбМАЭ. Л., 1980. Т. 36. С. 75–99.

Козинцев А. Г. Краниоскопия и расовая классификация // СЭ. 1987. Вып. 2. С. 12–31.

Козинцев А. Г. О так называемых средиземноморцах Южной Сибири // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. Барнаул, 2008. С. 205–207.

Козинцев А. Г. Этническая краниоскопия. Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л., 1988.

Круц С. И. Население территории Украины эпохи меди-бронзы (по антропологическим данным). Киев, 1972.

Круц С. И. Палеоантропологические исследования Степного Приднепровья. Киев, 1984.

Мамонова Н. Н., Мовсесян А. А. Неолитическое население Прибайкалья (палеофенетический анализ) // Вестник антропологии. Вып. 5. М., 1998. С. 221–240.

Мовсесян А. А. К проблеме происхождения палеоэскимосов // Биологические науки. 1986. Вып. 7. С. 61–66.

Мовсесян А. А. Расовая дифференциация человечества по системе дискретно-варьирующих признаков на черепе // Научный альманах кафедры антропологии. Вып. 1. М., 2001. С. 14–32.

Мовсесян А. А. Фенетический анализ в палеоантропологии. М., 2005.

Мовсесян А. А., Кочар Н. Р. Древнее население Армении и его участие в формировании армянского этноса (по данным о неметрических признаках на черепе) // Вестник антропологии. Вып. 7. М., 2001. С. 95–115.

Мовсесян А. А., Мамонова Н. Н., Рычков Ю. Г. Программа и методика исследования аномалий черепа // ВА. М., 1975. Вып. 51. С. 58–77.

Моисеев В. Г. Происхождение уралоязычных народов по данным краниологии. СПб., 1999.

Моисеев В. Г. Краниоскопическая характеристика населения Западной и Южной Сибири скифского времени // Археология, этнография и антропология Евразии, 2006. № 1(25). С. 145–152.

Рыкушина Г. В., Дубова Н. А., Суворова Н. А. Одонтологическая характеристика древнего населения Туркменистана (по материалам могильника эпохи бронзы Гонур-депе) // Наука о человеке и общество: итоги, проблемы, перспективы. М., 2003. С. 130–140.

Солодовников К. Н. Антропологические материалы из могильника андроновской культуры Фирсово XIV к проблеме формирования населения Верхнего Приобья в эпоху бронзы // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 2005. С. 127–147.

Солодовников К. Н. Население горного и лесостепного Алтая эпохи ранней и развитой бронзы по данным палеоантропологии. Автореф. дис. … к.и.н., Барнаул, 2006.

Coppa A., Cucina A., Mancinelli D., Vargiu R., Calcagno J. M. Dental anthropology of Central-Southern, Iron Age Italy: the evidence of metric versus nonmetric traits // Am. J. Phys. Anthr. 1998. Vol. 107. P. 371–386.

Hanihara T., Ishida H. Os incae: variation in frequency in major human population groups // JA. 2001. Vol. 198. P. 137–152.

Hanihara T., Ishida H. Frequency variations of discrete cranial traits in major human populations. I. Supernumerary ossicle variations // JA. 2001a. Vol. 198. P. 689–706.

Hanihara T., Ishida H. Frequency variations of discrete cranial traits in major human populations. II. Hypostotic variations // JA. 2001b. V.198. P. 707–725.

Hanihara T., Ishida H. Frequency variations of discrete cranial traits in major human populations. III. Hyperostotic variations // JA. 2001c. Vol. 199. P. 251–272

Hanihara T., Ishida H. Frequency variations of discrete cranial traits in major human populations. IV. Vessel and nerve related variations // JA. 2001d. Vol. 199. P. 273–287.

Hanihara T., Ishida H., Dodo Y. Characterization of biological diversity through analysis of discrete cranial traits // Am. J. Phys. Anthr. 2003. Vol. 121. P. 241–251.

Irish J. D. Who were the Ancient Egyptians? Dental affinities among Neolithic through Postdynastic peoples // Am. J. Phys. Anthr. 2006. Vol. 129. P. 529–543.

Irish J. D., Konigsberg L. The ancient inhabitants of Jebel Moya Redux: Based on dental morphology // International Journal of Osteoarchaeology. 2007. Vol. 17. P. 138–156.

Kozintsev A. G. Ethnic epigenetics: A new approach // Homo. 1992. Vol. 43. No. 3. P. 213–244.

Manzi G., Santandrea E., Passarello P. Dental size and shape in the Roman Imperial Age: Two examples from the area of Rome // Am. J. Phys. Anthr. 1997. V. 102. P. 469–479.

РАЗДЕЛ 5
ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

И. Л. Кызласов

К ОСНОВАМ ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ДРЕВНОСТИ

Глубоко и искренне уважаемый Виктор Иванович! Любой работник науки, числящий себя среди археологов, не может не восхищаться профессиональным величием Ваших открытий.

Лишь в давних историографических рамках кажутся далекими от Ваших трудов и исконные древности тюркских народов. Косвенные данные, вполне ощутимые для археолога в атавизмах раннесредневековых культур Южной Сибири, указывают на ранние этапы истории их носителей не в Центральной, а в Западной Азии. Они будут довольно близки открытой Вами цивилизации во времени и в пространстве. Посему позволю себе почтить Ваш юбилей этими достаточно общими суждениями, порождаемыми конкретикой нашей работы.

* * *

Прежде всего, не станем называть древними тюрками создателей раннесредневековых государств, ныне именуемых каганатами. Оставим за древностью хронологические рамки, общепринятые в исторической науке: от неведомой глубины антропогенеза до IV в. н. э.

Вместе с тем, занимаясь историей Востока, следует помнить, что Великое переселение народов, вызванное гуннским нашествием и положившее конец древности и начало средневековью, возникло не в Европе и не в IV в. Значимые для истории материка передвижения произошли в Центральной Азии уже во II в. до н. э. Нас особо интересуют миграции, устремленные не на запад, а на север. Именно они *впервые* вывели на арену истории доподлинные тюркоязычные народы. Не позднее II в. до н.э. археология под наименованием таштыкской и шурмакской культур находит их в котловинах, лежащих к северу и югу от Саянских гор – в Хакасии и Туве (где их преемственное развитие с тех пор никогда не прерывалось), а также, вероятно, на Горном Алтае. Всюду это население в ту эпоху было пришлым. До тех пор жители этих южносибирских мест говорили на южносамодийских, кетских и угорских языках.

В определении имен тюркских народов той давней поры исторические данные помогают мало. Мы знаем только одно имя: гяньгуни (как бы его теперь ни читали синологи) – раннюю китайскую передачу этнонима кыргызов. Как называли тогда тюркоязычных жителей Тувы и других южносибирских земель, неизвестно.

Уясним главное: появление тюркских народов в истории *не связано* ни с именем, ни с самим народом *тюрк*, оказавшемся на юге, у Китайской стены, на семь веков позднее – в

V в. Значит, неверно, как это иногда бывает, подменять единым всеобщее, т. е. возводить к этому единственному народу этническую и культурную историю всех древних, средневековых и современных народов, говорящих на языках тюркской группы.

Будем помнить, что само ныне принятое название языковой группы – тюркские языки – лишь условный термин научной систематики. Что было бы, введи лингвисты не именования, а нумерацию языковых семей? Применение языковедами термина «тюркские языки» (а до того в нашем востоковедении – «турецкие», еще ранее – «татарские»), конечно, имело причину (уходящую в арабскую, а через нее и в персидскую, картину мира и филологию), но нам нет нужды здесь этого касаться. Важно, что *только внутри лингвистики* понятие «тюрки» имеет строгий научный обобщающий смысл. В истории и археологии «тюрки» – лишь один средневековый народ, носивший это имя. Другие тюркоязычные народы к тюркам себя не относили и так себя не называли. Они насмерть бились с тюрками и создавали собственные каганаты.

Вторая особенность, которую надо учитывать, занимаясь историей тюркских народов, – происходивший с веками перенос имени с одного народа на другой. В судьбе этнонимов бывают три стадии. И на каждой народное имя несет разное содержание. На первой – имя (*этноним*) отличает древний народ, позднее оно становится названием подчиненной ему многоплеменной страны (перерастает в *политоним*), а затем вновь становится *этнонимом*, но часто у другого народа, до того жившего в той же державе. При этом переходе не имеет значения язык народа – у нового носителя старого имени могут быть совершенно другие лингвистические предки.

Таковы, например, славяне *болгбры*, прошедшие стадию общего политонима с тюркоязычными *булгарами* на Балканах; *румыны* (*роман*) и цыгане (*ромэн*), имевшие (или возомнившие) общую политическую историю с греками-*ромеями* (*римлянами*) Византии; *русские*, сложившиеся под властью *руси;* современные *кыргызы*, в раннем средневековье имевшие общую *политическую* историю с древними владельцами этого имени, в IX в. создавшими в Сибири и Центральной Азии огромное государство. Число подобных народных имен, происшедших из былых политонимов, можно множить, важнее учитывать, что идя только за совпадением этнонимов, нельзя проследить *происхождения* народа, но можно в общих четах узнать этапы его *политической* истории. Так, совмещение раннесредневековыми письменными источниками этнонима *башкир* и *венгров* указывает на их былую политическую общность, которой мы пока не знаем.

Вернемся ко II в. до н.э. На археологическом примере Хакасии и Тувы наука видит не только древнее переселение тюркских народов, но и распространение их языков. Быстро размножались не новоселы, росло число людей, владевших их языком. Наиболее активно ассимиляция шла позднее и, более всего, в степных районах. Такая тюркизация со временем проявилась по всей Евразии, потому тюркоязычные народы ныне столь многочисленны, а в происхождении *каждого из них* велика роль населения, первоначально по-тюркски не говорившего. Отсюда и идущее уже с древности и средневековья многообразие антропологического типа тюркских народов (отнюдь не только монголоидов как якуты, тувинцы, кыргызы, но и европеоидов, как туркмены, азербайджанцы, турки).

Эти процессы рано прослежены к северу от Саян. Кыргызы-гяньгуни, с неведомого юга пришедшие на Средний Енисей, уже при гуннах заняли там господствующие позиции. Обобщая данные летописей (*Бичурин,* 1950, с. 350, 351; *Кюнер,* 1951, с. 4, 5; 1954; 1961, с. 55–60, 281–283) можно, следуя тонким источниковедческим наблюдениям Л. Р. Кызласова (1984, с. 20, 21, 24, 52–64), заключить, что кыргызы смешались с местными динлинами в новый народ, который стал называть себя *хакас*. Особенно важно, что археологи

видят это смешение двух народов, первоначально различавшихся не только по языку но и культуре. Оно шло во II – первой половине I вв. до н. э. и завершилось сложением новой и единой таштыкской археологической культуры, следовательно, и связанного с нею нового народа (древних хакасов). Кыргызы, влившись в этот народ, составили правящий слой, управлявший на Енисее до первой трети XX в., практически до коллективизации. Имя хакасов, в отличие от этнонима кыргыз, до того неведомое китайцам, вызвало специальные разыскания танских ученых (*Бичурин*, 1950, с. 350, 351, 355; *Кюнер,* 1951, с. 4, 14; 1961, с. 281, 282). В новой и новейшей истории этноним «хакас» за пределами основного ареала сохранился в фонетическом варианте «кахас» у башкир (среди которых значатся и другие саяноалтайские пришельцы – кыргыз и табын), а в самом южносибирском народе – в стяженной после выпадения согласного от ха(г)ас форме «хаас» (русское произношение «кач», «качинец»). Для меня существенно, что ареал имени «хаас» и монголизированного производного «хаасут» фактически совпадает с местами обитания динлинов, обрисованными древними и раннесредневековыми источниками: от Кузнецкого Алатау до Байкала (оз. Хубсугул, Касагол < Хааса-гол) (*Кызласов Л. Р.*, 1984, с. 61–63, 131).

Новые культурные черты, принесенные в Сибирь тюркоязычными кыргызами во II . до н. э., указывают на их первоначальную *связь с индоевропейским миром*. Наиболее показательны здесь три долговременно существовавших особенности:

– сжигание умерших (характерное для древних хеттов, греков, германцев, славян, индусов, прочих индоевропейцев), сохранившееся у хакасов, и только у хакасов, до начала XIX в. (*Бичурин,* 1950, с. 353; *Кюнер,* 1961, с. 60; *Кызласов Л. Р.,* 1975, с. 205, 206);

– поклонение корове и возведение первопредка к браку бога с коровой (Юян цзацзу, VIII в.; Гардизи, XI в. – *Кызласов Л. Р.*, 1984, с. 32, 147),

– счет возраста по отрезкам в 20 лет (в присутствии государя «не садится никто, кому нет сорока лет от роду»: Абу Дулаф, 942 г. – *Кызласов Л. Р.*, 1984, с. 128), а не по 12 годам животного цикла, хотя обычно «годы считаются двенадцатью знаками» – *Бичурин,* 1950, с. 351).

Потому, отыскивая места начального обитания кыргызов-гяньгуней, нам надо соединить два исторических показателя: южные земли, попавшие под гуннский удар не позже II в. до н.э., и соседство с могущественным индоевропейским народом.

Указать точно такие земли сегодня нельзя. Многие считают, что китайцы звали юэчжами *тохаров* – индоевропейский народ, дальше всех ушедший на восток и живший в Восточном Туркестане уже в эпоху бронзы. Следуя традиции объединив эти имена, увидим, что далеко не все юэчжи ушли от гуннов на запад, поскольку тохары и тексты на их языке сохраняются в Куче, Карашаре и Турфане до X в. К тому же индоевропейское влияние на древних кыргызов нельзя свести к тохарам, т. к. те не знали трупосожжения, столь характерного для пришедших на Енисей ранних кыргызов-гяньгуней. У индоиранцев Средней Азии, насколько известно ныне, этот обряд прекращается уже к III в. до н. э. Выходит, надо искать контакт тюркских народов с культурами более древнего и широкого индоарийского круга. Такое общение могло быть задолго до гуннской эпохи и могло быть не связано с Центральной Азией (понимая этот термин по-русски, т. е. не историко-культурно, а сугубо географически).

Весьма показательно, что в истории народа *ашина* (как его именовали китайцы), мы встречаем те же закономерности (*Бичурин,* 1950, с. 220, сл.). По легендам, вошедшим в летописи, этот народ из неведомой страны Со («от гуннов на севере») или из района Пинляна (к юго-западу от Ордоса) примерно в V в. переселяется через Турфан на Южный Алтай. Там он смешивается с местными племенами (как было у кыргызов с динлинами)

и образует новый народ – *тюрков* (ср. с образованием народа *хакас*), сохранив, как и кыргызы, прежний этноним лишь за правящим родом. С середины VI в. ашина – имя тюркских каганов. Как и имя хакасов, имя тюрков было ново и непонятно для китайцев (возводили его к монгольскому слову *дулга* «шлем»). Очевидно, оба этнонима перешли к новым народам от прежних жителей Присаянья и Алтая. Если имя хакасов может иметь южносамодийское происхождение, то первоначальная языковая природа этнонима *тюрк* поныне не выяснена.

На каком языке говорили до прихода на Алтай ашина неизвестно. Летописи изначально называют их «смешанными варварами». Наши историки возводят их к гуннам лишь по общим соображениям. Былая связь ашина с индоевропейским миром, как и кыргызов-гяньгуней, устанавливается надежно. Этноним *ашина* гипотетически возводят к восточноиранским языкам («небесный, синий»). Среди пяти преданий о происхождении ашина, записанных в VI–VIII вв., есть легенда о трех братьях, приведенных на Алтай коровой (Юян цзацзу, VIII в. – *Зуев,* 1967, с. 7–9).

Указания хроник на сжигание мертвых долго смущали археологов, т.к. наука о древностях знает только один обряд тюрков – погребение человека с конем. Из-за этого мнимого несоответствия такие захоронения выдвигали даже в археологические признаки теле, а не тюрок. На деле при внимательном отношении к письменным данным и работам предшественников (*Бичурин,* 1950, с. 230, прим. 1, 256) загадка разрешается самым определенным образом, ибо в источниках речь идет о сожжении умерших каганов – вероятно, *правящий род в VI–VII вв. сохранял исконный обычай ашина*, а остальное население хоронило по-своему. Самосознание династийного рода у ранних тюркских народов недооценивается историками: кыргызы IX в. возводили свою власть к началу I в. до н. э., а ашина в V в. заявляли о десяти поколениях правителей, т.е. вели счет с середины II в.

Добавив к трупосожжению кыргызов и ашина тот же обряд новых обитателей Тувы II-IV вв., пожалуй, получим один из культурных признаков древних тюркоязычных народов, в гуннскую эпоху и вслед за ней пришедших в Южную Сибирь с юга.

Вопреки китайским описаниям, этимология исконной лексики рунических надписей рисует мир прототюрков не кочевым, а оседлым: армия там была пехотой с копьями, хозяйство ирригационным, жилища глинобитными и круглыми (от них пошли плетенки-мазанки, давшие войлочные и бревенчатые юрты) (*Кызласов И. Л.,* 1996, 2005, 2008). Науке предстоит найти корни такой культуры. Пока даже древности каганатов изучены очень мало.

Общий взгляд на заметные ныне сходные черты культур тюркских народов древности, пожалуй, направляет изыскание их начал не в Центральную, а в Западную Азию. Дополняя названные признаки, будем учитывать и ставшее вполне очевидным западноазиатское происхождение и весьма архаичный (слоговой) алфавитный строй так называемых рунических письмен – общего предка енисейского и орхонского алфавитов (*Кызласов И. Л.,* 1994, гл. III; 1998а), а также – облик тех письменных документов, которые с рунами были связаны изначально. Отразившиеся во внешнем виде енисейских эпитафий эти архаичные документы, в средние века служившие черновиками для граматеев-резчиков, предстают набором деревянных планок, а составление и чтение текста – движением от нижней строки к верхней (*Кызласов И. Л.,* 1998б).

Следует серьезно воспринять и другое историческое обстоятельство, впервые ясно проступившее после выяснения двух разных исходных корней двух групп рунических письмен степной Евразии: евроазиатской и собственно азиатской (*Кызласов И. Л.,* 1994, гл. I, II, VI). Что следует для историка из этого палеографического расчленения руно-

подобных текстов на два самостоятельных по происхождению класса? Отсюда проистекает, что раннесредневековые тюркоязычные народы издревле разделялись *на две* большие *культурно различные группы*. За членением на «народы евроазиатских рунических письмен» и «народы азиатских рунических письмен» встают два *различных по истокам* культурных образования. Каждое из них было исторически связано с одним из двух *самостоятельных культурных очагов* Средней Азии. Такое членение тюркоязычного мира на материалах письма наблюдается к VIII в. Однако эти два культурно (и языково?) отличных тюркоязычных центра сформировались значительно раньше – в неведомую нам по древности эпоху восприятия и формирования названных письменных систем. К «народам евроазиатского рунического письма» (или к неизвестному западному среднеазиатскому культурному центру) среди прочих принадлежат и восходят предки волжских булгар. Иной культурный центр породил тюркоязычных носителей азиатских рунических письменностей. К ним относятся и собственно тюрки (тугю китайских летописей).

Тот этап древней истории тюркских народов, что прошел в Центральной Азии, видится не первым, а, по крайней мере, вторым звеном в древнем культурном развитии тюркоязычных племен. К нему отнесем восточные особенности культуры, сопоставимые с доханьской и раннеханьской (как и раннегуннской) эпохой: таштыкский и шурмакский стиль гравировки, кыргызские и уйгурские круговые вазы (которых не случайно не знал позднее пришедший к Великой стене народ *тюрк*), горизонтальные цитры (музыкальный инструмент типа хакасского чатхана) и т. п. К тому же центральноазиатский этап был свойственен только восточнотюркским народам древности.

Разделение на восточных и западных произошло у тюркских народов рано. Его отмечают не только языковые различия: чуваши, булгары, хазары – с одной стороны, и все прочие народы – с другой. Палеографическая систематика, как сказано, разделила массив степных рунических письмен на два самостоятельных класса. Отсекая раннесредневековые продвижения и влияния, видим, что евроазиатская часть (кубанский, донской и ачикташский алфавиты) не случайно принадлежит булгаро-хазарскому ареалу, а азиатская группа (енисейский и орхонский) – к восточнотюркским народам.

Очевидно, западноазиатский этап ранней культурной истории тюркоязычных народов, при современных возможностях заглянуть в древность воспринимаемый как начальный, следует отнести, археологически говоря, к раннему железному и бронзовому векам.

Литература

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.-Л., 1950. Т. I.

Зуев Ю. А. Древнетюркские генеалогические предания как источник по ранней истории тюрков. Автореф. канд. дисс. Алма-Ата, 1967. С. 3–18.

Кызласов И. Л. Рунические письменности евразийских степей. М., 1994.

Кызласов И. Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие свидетельства об армии // РА. 1996. № 3. С. 73–88.

Кызласов И. Л. Материалы к ранней истории тюрков. II. Древнейшие свидетельства о письменности // РА. 1998а. № 1. С. 71–83.

Кызласов И. Л. Материалы к ранней истории тюрков. III. Древнейшие свидетельства о письменности // РА. 1998б. № 2. С. 68–84.

Кызласов И. Л. Пратюркские жилища. Обследование саяно-алтайских древностей. М.– Самара, 2005.

Кызласов И. Л. Материалы к ранней истории тюрков [V]. Древнетюркские обиталища // Природное окружение и материальная культура пратюркских народов. М., 2008. С. 273–341.

Кызласов Л. Р. Курганы средневековых хакасов (аскизская культура) // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 193–211.

Кызласов Л. Р. История Южной Сибири в средние века. М., 1984.

Кюнер Н. В. Новые китайские материалы по этнографии кыргызов (хакасов) VII–VIII вв. н. э. // Записки Хакасского НИИЯЛИ. Вып. 2. Абакан, 1951. С. 3–16.

Кюнер Н. В. Китайские историки-летописцы о хакасах (Библиографический обзор) // Записки Хакасского НИИЯЛИ. Вып. 3. Абакан, 1954. С. 110–159.

Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961.

Ю. Ф. Кирюшин, С. П. Грушин, А. А. Тишкин

ЕЛУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА БРОНЗОВОГО ВЕКА В ОБЬ-ИРТЫШСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ[1]

В истории изучения памятников ранней бронзы на территории Лесостепного Алтая пока можно выделить два этапа. Первый определяется с 1920 до 1970-х гг. Он характеризуется накоплением фактического материала и появлением первых попыток его систематизации. Полученные свидетельства не идентифицировались с начальным периодом эпохи бронзы, а относились к более раннему или к более позднему времени. На указанном этапе изучения были открыты такие памятники, как Енисейское, Малоугренево, Боровое-III, комплекс объектов на оз. Иткуль, Чудацкая Гора, Кротово-VII/VIII и др. Среди исследований интерпретационного характера можно отметить публикации М. П. Грязнова (1930) и М. Н. Комаровой (1956).

Особенностью второго этапа (с 1970-х гг. по настоящее время) стало преобладание работ аналитического и реконструктивного характера. При этом процесс накопления многоплановых сведений продолжается до сих пор. В рассматриваемый период памятники Лесостепного Алтая упоминались лишь для иллюстрации культурно-хронологических схем, выработанных на археологических данных, которые были получены при изучении сопредельных территорий (Барабы, Прииртышья, Среднего Приобья). Важным показателем указанного этапа стало обозначение логиновского, кротовского и других типов керамики (*Генинг и др.,* 1970), выявленных из всего массива комплексов ранней бронзы Западной Сибири. Большое значение имело обоснование В. И. Молодиным (1975, 1977) выделения так называемой кротовской культуры. Материалы Лесостепного Алтая, известные на тот период времени, относились к окуневской (*Максименков,* 1970; *Уманский,* 1972), самусьской (*Матющенко,* 1973) или кротовской (*Молодин,* 1975) археологическим культурам. С открытием в Алтайском государственном университете в 1978 г. Лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая началось целенаправленное изучение памятников эпохи бронзы. В результате в научный оборот последовательно стал вводиться увеличившийся объем данных, исследовались погребальные и поселенческие комплексы

[1] Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента РФ (НШ-5400.2008.6 «Создание концепции этнокультурного взаимодействия на Алтае в древности и средневековье»).

(*Бородаев, Кунгуров,* 1980; *Кирюшин,* 1985, 1987; и мн. др.). На основе систематизации и анализа всего полученного материала одним из автором статьи была выделена елунинская археологическая культура периода ранней бронзы (*Кирюшин,* 1986). Затем она была существенно наполнена конкретным содержанием (*Кирюшин,* 2002; *Грушин,* 2002; и др.). Этому особенно способствовали комплексные исследования погребально-поминального комплекса Телеутский Взвоз-I и поселения Березовая Лука (*Кирюшин, Грушин, Тишкин*, 2003; *Кирюшин, Малолетко, Тишкин,* 2005; и др.).

Параллельно изучению памятников ранней бронзы происходила разработка сейминско-турбинской проблематики в контексте находок из Лесостепного Алтая. Научное осмысление данного явления прошло в своем развитии несколько взаимосвязанных стадий:

– нахождение отдельных предметов, относящихся к сейминско-турбинской традиции;

– указание на возможное существование на Алтае одного из очагов сейминско-турбинского производства (*Тихонов,* 1960, с. 29; *Матющенко,* 1973, с. 55; *Уманский, Демин,* 1983, с. 142; и др.);

– обнаружение сейминско-турбинских вещей в закрытых погребальных комплексах;

– предположение об алтайском происхождении некоторых групп предметов сейминско-турбинской традиции (*Кирюшин*, 1986, с. 17);

– обоснование гипотезы о зарождении на Алтае всего сейминско-турбинской феномена (*Черных, Кузьминых,* 1989);

– определение археологической культуры, связанной с формированием сейминско-турбинских традиций (*Кирюшин,* 1987, с. 119; 1992);

– выделение этапов генезиса рассматриваемой традиции на Алтае (*Грушин,* 2008а).

В настоящей статье представим основные материалы по елунинской археологической культуре, базовые памятники которой датируются в пределах конца III – 1-й четверти II тыс. до н. э. По европейской периодизационной схеме обозначенный отрезок времени считается периодом средней, а по западносибирской региональной – периодом ранней бронзы. Территория распространения елунинской культуры включает часть степного и лесостепного Обь-Иртышья. На востоке граница проходит по правобережью Оби, на севере она маркируется памятниками крохалевского типа, на юге – горами Алтая, на западе – левобережьем Иртыша. Культура представлена поселенческими, погребальными, поминальными и другими комплексами, что обеспечивает возможности емкой характеристики ее.

Погребальный обряд (рис. 1: *1, 2*). Наиболее полно изучены могильники, расположенные на левом берегу верхней Оби, – Ордынское-I, Поселковая, Староалейка-II, Елунино-I, Цыганкова Сопка-II, Бураново, Телеутский Взвоз-I, Усть-Алейка-Клуб (*Зах,* 1979; *Бородаев, Кунгуров,* 1980; *Кирюшин,* 1987; *Уманский*, 1992; *Кирюшин, Грушин, Тишкин,* 2003; *Кирюшин, Семибратов, Грушин,* 2005; и др.). В Прииртышье исследованы комплексы Ак-Чий-I (*Алехин, Демин, Илюшин*, 1992; *Грушин,* 2001а), Измайловка (Археологические памятники.., 1987; *Грушин,* 2001а), Шидерты-10 (*Мерц*, 2003), а в Кулунде – Нижняя Суетка (*Уманский*, 1961; *Грушин*, 2001а). Следует отметить, что погребения людей известны и на елунинских поселениях (*Кирюшин, Малолетко, Тишкин,* 2005).

Для захоронений «елунинцы» выбирали господствующие по высоте и выразительности в ландшафте мысы и террасы (*Кирюшин, Тишкин, Грушин,* 2001). В Верхнем Приобье большинство погребальных комплексов расположено на высоком левом берегу реки. С территории могильников открывается великолепный вид на обскую пойму.

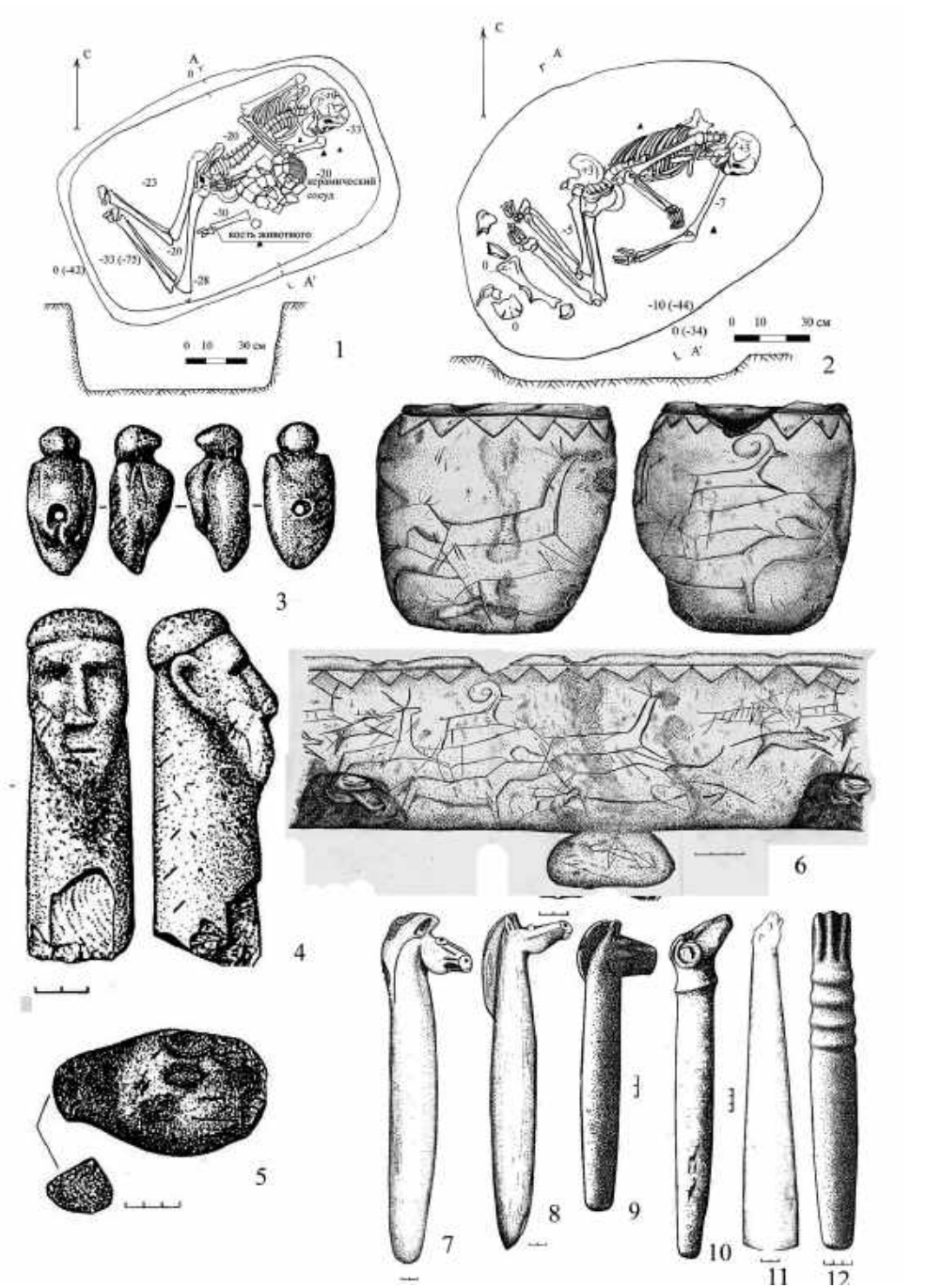


Рис. 1. Елунинская культура: *1, 2* – планы погребений (Усть-Алейка-Клуб); 3 – каменный амулет-подвеска (Березовая Лука); *4, 7–12* – каменные песты (Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Шипуново-V); *5* – каменная скульптура (Колыванское-I); *6* – каменный сосуд (Лаптев Лог)

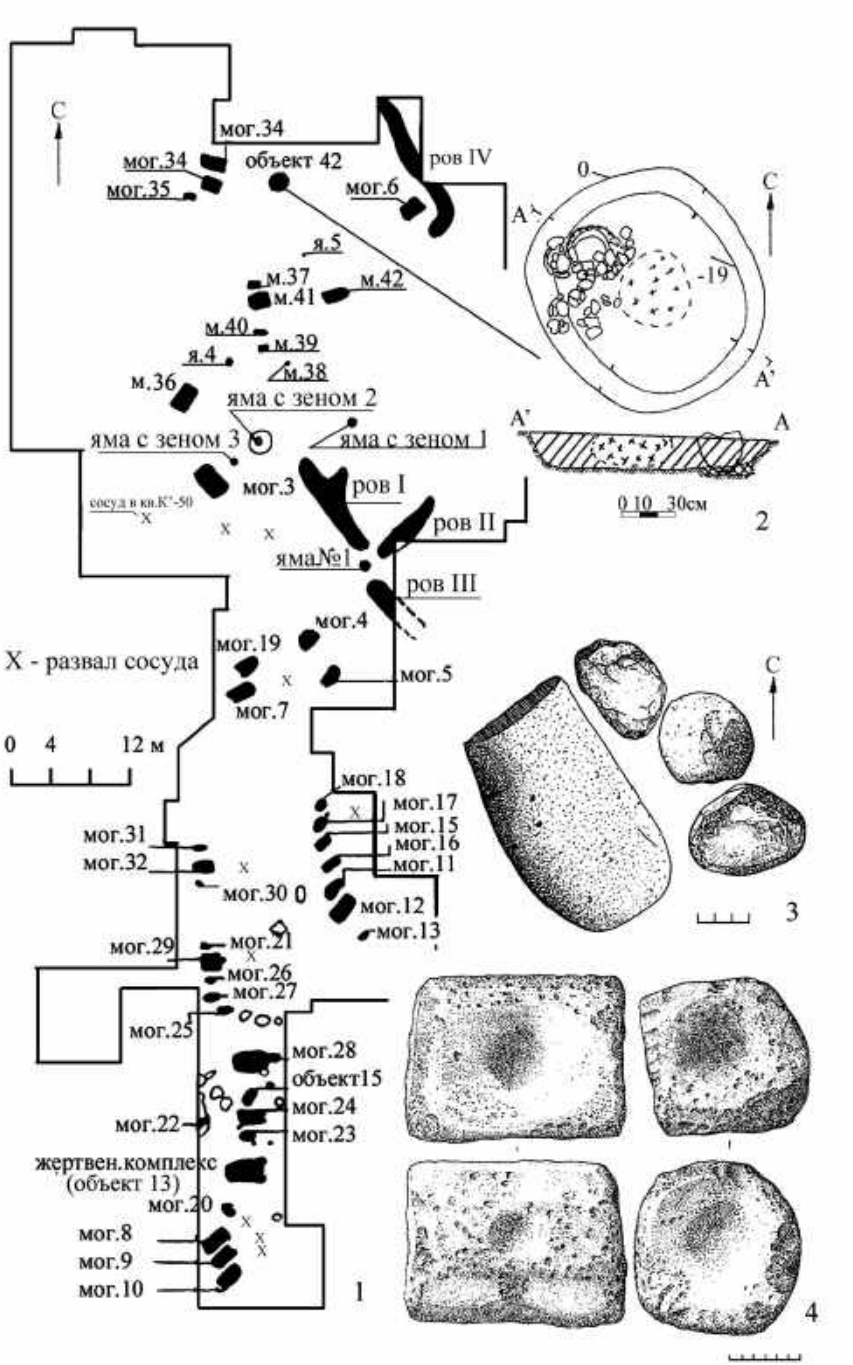


Рис. 2. Телеутский Взвоз I. *1* – план елунинского комплекса; *2* – план поминальника; *3* – план местонахождения пестов; *4* –каменный алтарь

Все могильники в Приобье – грунтовые, а в Прииртышье – курганные с земляной (Измайловка, Ак-Чий-I) или с плоской каменной (Шидерты-10) насыпью. В грунтовых некрополях погребения группируются параллельными рядами, вытянутыми по линии ЮВ–СЗ или Ю–С. Возможно, они представляют собой группы захоронений, принадлежавшие членам одного рода, т. е. это были своеобразные родовые микрокладбища в рамках общего комплекса (рис. 2: *1*). В границах одного ряда прослежено несколько скоплений могил, которые фиксируют, вероятно, погребения ближайших родственников (*Грушин,* 2001б).

Умерших хоронили в деревянных рамах или ящиках, сооруженных и оформленных прямо в могиле. На перекрытие из продольных плах иногда помещались берестяные листы. Тело умершего человека укладывалось на специально подготовленную подстилку, которая могла состоять из веточек, камыша или плашек, лежавших продольно по дну могилы, а сверху них могла располагаться береста в несколько слоев. Отмечаются и другие особенности внутримогильных конструкций (*Кирюшин, Грушин, Тишкин,* 2003, с. 65–66).

Известны как одиночные, так и коллективные захоронения. Например, на памятнике Староалейка-II в могиле обнаружено более десятка погребенных (*Кирюшин,* 1987). Доминирующим ориентиром при определении положения умершего человека в могиле, вероятно, была точка восхода солнца. В большинстве случаев тела укладывались головой на восток или северо-восток (более 88% от числа всех известных ситуаций). Преобладало положение погребенных на левом боку с согнутыми ногами (51,25%). Зафиксированы и другие показатели: на правом боку (11,25%) и на спине с подогнутыми в коленях ногами, повернутыми влево (11,25%).

Известна практика вторичных и впускных захоронений (*Кирюшин, Грушин, Тишкин,* 2003, с. 69–72). Например, останки умершего лежали на дне могильной ямы небольшой компактной кучкой (могила 42, Староалейка-II; могила 19, Телеутский Взвоз-I) или человеческие кости обнаружены в беспорядке по всей площади могилы, причем в заполнении их не встречено (могилы 6, 51, 53, 65, Староалейка-II). До погребения тело умершего могло помещаться на специально сооруженный над могилой погребальный помост (могила 6, Староалейка-II). После разложения мягких тканей и связок человеческие останки укладывались в мешок или беспорядочно ссыпались в могилу. Известны случаи сооружения кенотафов. Такие объекты входят в одну планиграфическую группу с реальными погребениями. Никакого инвентаря, кроме одной металлической бусины в могиле 70 памятника Староалейка-II, в кенотафах не обнаружено. Часть из кенотафов, по всей видимости, были детскими погребениями, в которых не сохранились следы захоронения.

В погребальном обряде «елунинцы» широко использовали животных – в качестве погребальной и поминальной пищи, а также жертвенных подношений. Находки представлены костями МРС, КРС, лошади, птицы, рыбы. Отдельно необходимо отметить птичьи яйца, обнаруженные в двух могилах. Можно выделить два варианта использования огня в погребальной практике: сожжение тела на стороне с последующим погребением праха (могила 22, Староалейка-II; *Кирюшин,* 1987); разведение костра на перекрытии погребальной камеры после того, как тела умерших были уложены по всем канонам погребального обряда (Телеутский Взвоз-I; *Кирюшин, Грушин, Тишкин,* 2003).

На материале изученных памятников можно говорить о ритуалах, связанных с головой человека. Об этом свидетельствуют нахождение черепа в отдельном погребении, в канавках на дне могилы, на уровне материка или в заполнении могильной ямы. Такие действия связаны с погребениями детей (нахождение черепов взрослых с детскими костяками). Во всех исследованных могильниках рассматриваемого времени обнаружены по-

гребения со следами охры в виде отдельных кусочков, точек на отдельных костях скелета человека, окрашенного древка стрелы. Зафиксирована зольная и меловая подсыпка.

Из 82 раскопанных погребений 33 могилы (40,2%) были безынвентарными. Среди найденного инвентаря можно отметить следующие категории предметов: керамические сосуды; стрелы с костяными, роговыми, каменными, металлическими и деревянными наконечниками; бронзовые боевые и хозяйственные ножи, шилья; каменные песты, оселки и диски; обработанные астрагалы МРС и др. Среди украшений зафиксированы свинцовые серьги, найденные в детских захоронениях, браслет из костяных и пастовых бусин.

Поминально-ритуальные объекты. На памятниках Телеутский Взвоз-I зафиксированы жертвенники, поминальники и святилище. Поминальники сооружались в 3–5 м к востоку, северо-востоку от могил. Они представляли собой яму с сосудом или клад предметов (рис. 2: *2*). Емкости использовались для «кормления» умерших. Сакральным центром могильника являлось культовое сооружение, расположенное в центре мыса. Оно представляло собой систему объектов, центром которой был вертикально стоящий деревянный столб. От данного сооружения отходили в радиальном направлении три рва (рис. 2: *1*). К северу от него фиксировалось два прокала от костра и большое скопление костей животных (*Кирюшин, Тишкин, Грушин,* 2001; *Грушин,* 2007). В этом месте, по всей видимости, происходили ритуальные жертвоприношения и другие действия.

Изучение антропологических материалов. В настоящее время исследованы и опубликованы краниологические материалы из памятников елунинской культуры (*Солодовников, Тур,* 2003), осуществлены пробные молекулярно-генетические исследования (*Куликов и др.,* 2005), рассматриваются возможности определения места происхождения и дальнейшая судьба «елунинцев» (*Козинцев,* 2008), а так же попытки палеодемографического анализа имеющихся антропологических материалов (*Грушин,* 2003а).

Обнаруженный предметный комплекс составляют тысячи археологических находок, большая часть которых опубликована, в том числе в монографиях (*Кирюшин,* 2002; *Кирюшин, Грушин, Тишкин,* 2003; *Кирюшин, Малолетко, Тишкин*, 2005), поэтому данный материал представим кратко.

Керамика (рис. 3). Керамическая посуда представлена разными емкостями: «туалетными» сосудиками высотой от 1 до 6 см, погребальными (12–18 см) и поминальными (30–35 см). Все сосуды плоскодонные, баночной, и баночно-горшечной формы. Выделены две технологические гончарные традиции: первая – песчано-дресвяная, вторая – шамотная (*Борисов,* 2004). Для елунинской манеры декорирования характерны устойчивые способы нанесения орнамента: горизонтальные ленты, покрывающие полностью стенки сосуда выполненные в технике «шагающей гребенки», «гребенчатой качалки», «отступающей палочки». Особо выделялась зона под венчиком. Она украшалась диагональными и вертикальными лентами гребенки. На посуде отмечен такой орнаментальный элемент как налепной, иногда волнистый рассеченный гребенчатым штампом, валик.

Орудия труда (рис. 4, 5). Среди орудий труда известны костяные копьевидные орудия, наконечник стрелы для самострела, гарпуны, костяные трубочки, различные орудия для гончарного производства (лопаточки для заглаживания, формовки посуды в процессе ее изготовления), орудия для обработки кожи (лощила-скребки для скобления и разминания кожи, скребки-ножи для снятия мездры с кожи, кочедыки изготовленные из лопатки животных для разминания и разрыхления растительных волокон, проколки и др.). Известны изделия, предназначенные для земляных работ (роговые мотыги). Каменные орудия представлены скребками, дисками, оселками и другими абразивами, пестами, отбойниками, теслами, шлифованными ножами, ядрами для пращи (?), грузилами, наковальнями.

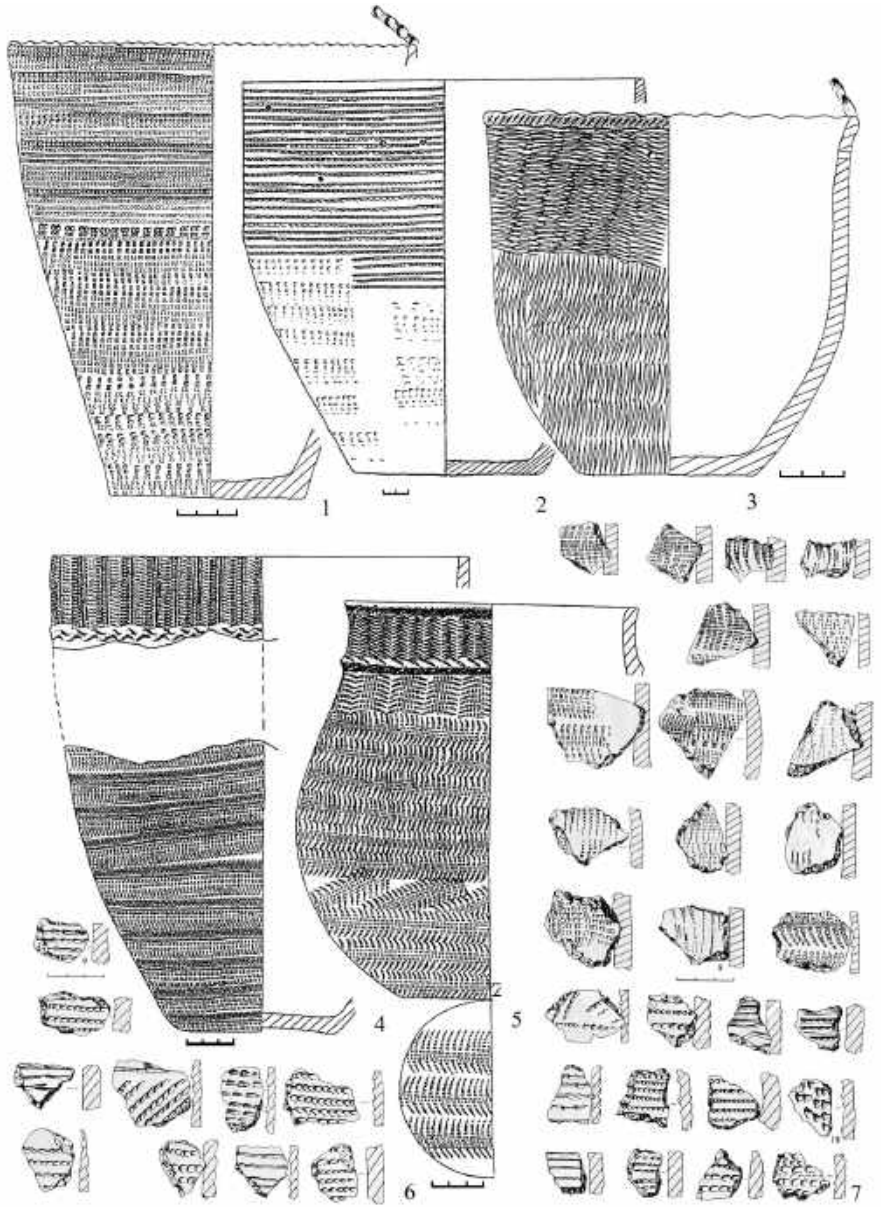


Рис. 3. Керамический комплекс елунинской культуры: *1–5* – сосуды с могильника Телеутский Взвоз-I; *6–7* – фрагменты с поселения Березовая Лука

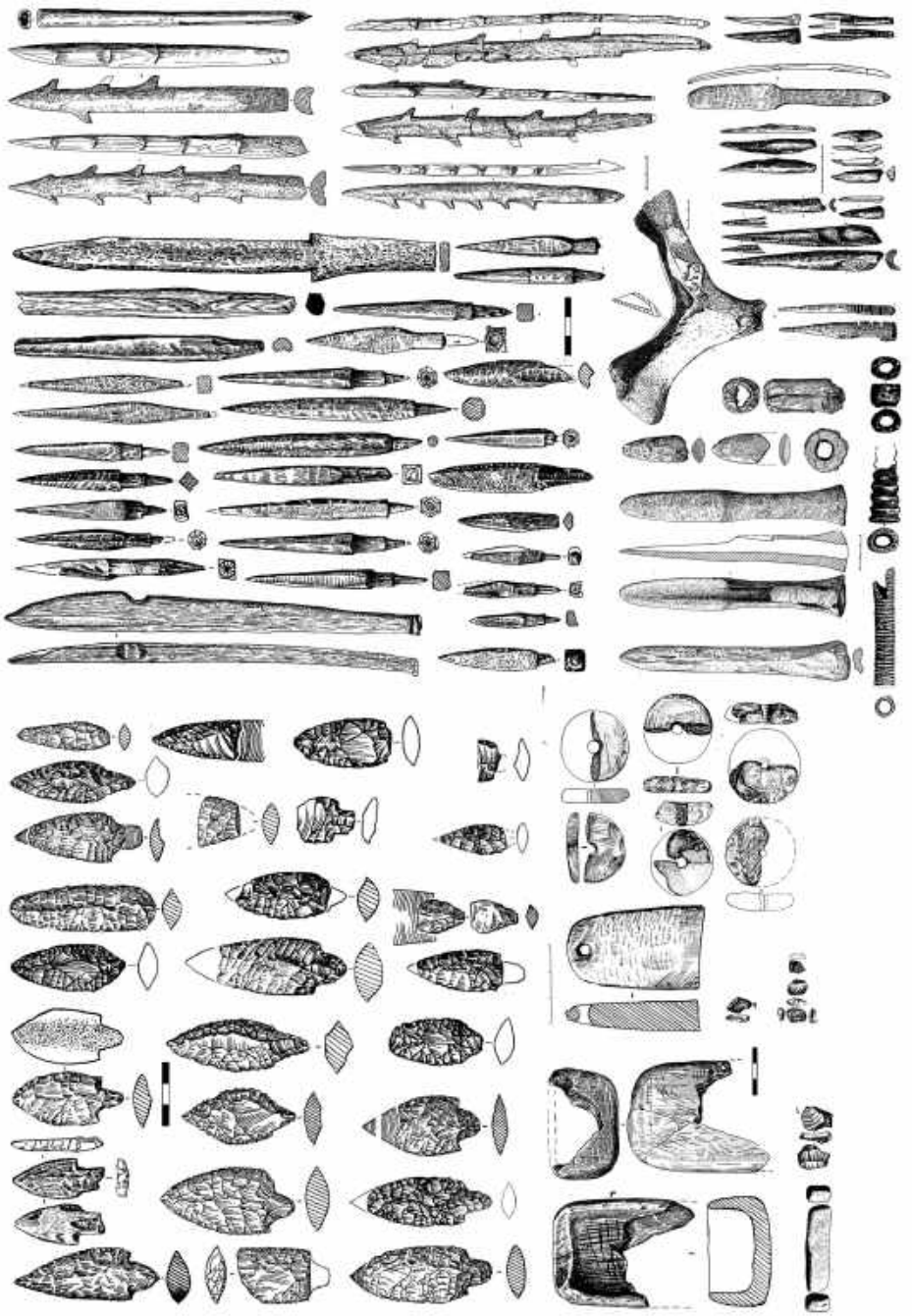


Рис. 4. Каменные, костяные и роговые изделия с поселения Березовая Лука.

Среди бронзовых орудий необходимо отметить ножи без рукоятки, четырехгранные шилья с деревянной ручкой. В целом, комплекс характеризуют орудия, связанные с домашним производством и с промыслами: гончарное, металлургическое, скорняжное и косторезное дело, дерево- и камнеобработка.

Украшения. Набор найденных украшений немногочисленный. Уже отмечены свинцовые серьги в один и полтора оборота (рис. 5: *16*), браслет из костяных и пастовых бусин-колечек. На поселении Березовая Лука найдена каменная подвеска в виде птицы (рис. 1: *3*).

Оружие. К данной категории изделий относятся бронзовые выгнутообушковые ножи с цельнолитой рукоятью и навершием, оформленным в виде кольца или головы лошади (рис. 5: *9, 10*). На поселении Березовая Лука обнаружена костяная концевая накладка на лук, что может свидетельствовать о наличии у «елунинцев» сложносоставного лука. К категории оружия можно отнести крупные костяные, каменные и бронзовые наконечники стрел. Костяные изделия характеризуются многогранными черешковыми наконечниками с сужением в нижней части пера или без него. Каменные предметы представлены черешковыми, бронзовые – втульчатыми двухлопастными изделиями. Стрелы с каменными и костяными наконечниками использовались и на охоте.

К категории оружия отнесены случайные находки сейминско-турбинских бронзовых изделий. Их связь с елунинской культурой опосредована. Сейминско-турбинский комплекс Алтая представлен в основном тремя категориями изделий: наконечники копий, кельты, пластинчатые, черешковые кинжалы и выгнутообушковые ножи.

Предметы культа и искусства. Среди изделий, которые использовались в ритуальных целях, можно отметить орнаментированное роговое навершие «Г-образной» формы, каменные сосуды (рис. 1: *6*), каменные песты со скульптурными изображениями голов животных, людей (рис. 1: *4, 7, 12*), каменный «алтарь» (рис. 2: *4*), а также, вероятно, металлические плоские в сечении наконечники стрел с черешком (рис. 5: *4, 6*). Особую категорию вещей составляют астрагалы с различными следами обработки, однако, их функциональная принадлежность остается до сих пор спорной (*Кирюшин, Кунгуров, Тишкин,* 2002; *Кирюшин, Грушин,* 2007).

Поселения, хозяйство. Поселенческие комплексы елунинской культуры изучены не равномерно. Комплекс памятников раскопан на оз. Иткуль – Костенкова Избушка, Коровья Пристань-I, II, III, поселения Комарово-I, Боровое-III, Аэродромное, Енисейское, Малоугренево (*Кирюшин,* 2002). Наиболее крупные раскопки проводились на поселениях Колыванское-I (*Алехин,* 1999) и Березовая Лука (*Кирюшин, Малолетко, Тишкин,* 2005). Жилищные комплексы исследованы на поселении Березовая Лука. Всего к настоящему времени раскопаны остатки шести сооружений. Они имели подчетырехугольную форму, глубина котлована в материке составляла в среднем 0,2–0,3 м, площадь от 70–80 и более кв.м. Жилища имели каркасно-столбовую конструкцию. В центре исследованы очаги подчетырехугольной формы, в некоторых случаях с глиняной обмазкой и с бортиками, вокруг очагов открыты «зольники» грушевидной формы в разрезе, круглые в плане, В жилищных котлованах и за их пределами исследованы сотни столбовых и хозяйственных ям (*Грушин,* 2008б).

Массовый археологический материал с поселения Березовая Лука свидетельствует о комплексном характере хозяйства населения, оставившего памятник. Доминирующей отраслью, обеспечивающей основные продукты питания, являлось скотоводство. Вспомогательный характер носили охота и рыболовство. Хозяйство определяло сырьевую базу для домашнего производства и создания орудийного набора для многих форм деятельности.

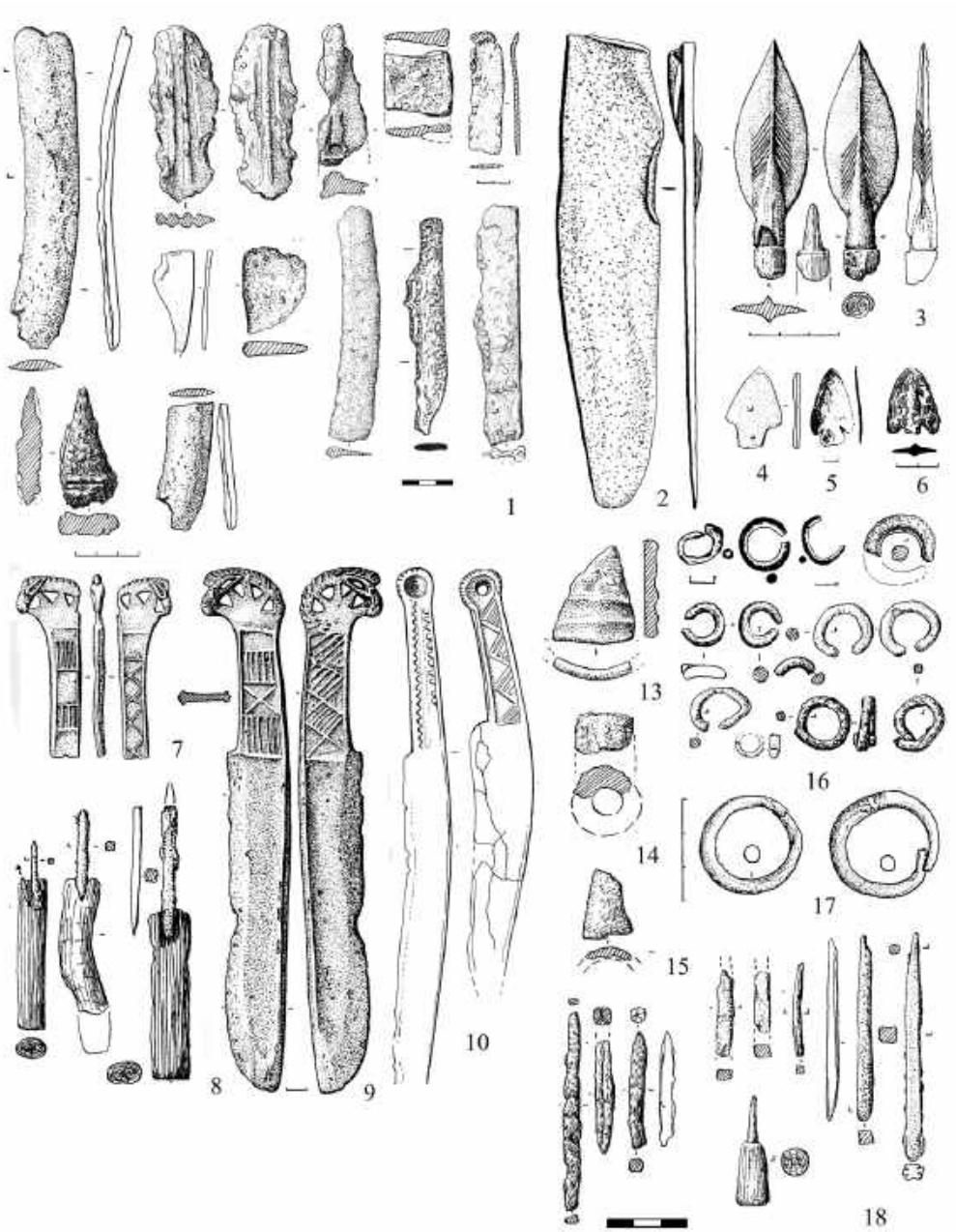


Рис. 5. Металлические изделия елунинской культуры: 1, *13–16, 18* – Березовая Лука; *3, 8, 16* – Телеутский Взвоз-I; *5, 16* – Ордынское; *6* – Канай; *7* – Усть-Мута; *9* – Елунино-I; *4, 10* – Цыганкова Сопка-II.

Камнеобработка имела ограниченное распространение и базировалась на местном сырье. Высокий уровень мастерства отмечен в изготовлении каменных предметов мобильного искусства, где с успехом применялись техника шлифования, пиление, сверление. О занятиях металлургией, свидетельствуют кусочки руды, шлаки, окалины, всплески металла и готовые орудия. Эти находки позволяют судить о составе сплавов, сырьевых источниках и особенностях металлообработки. Определенное значение имели такие занятия как деревообработка, ткачество, изготовление берестяных изделий и т. д. (*Грушин,* 2008б). Выработанная населением Березовой Луки система жизнеобеспечения была оптимально адаптирована к природно-ландшафтным условиям степи и лесостепи, которые позволили выработать определенные стереотипы и стратегии выживания и достойного развития.

Датировка, хронология, периодизация и отличительные особенности культуры. Результаты радиоуглеродного датирования основаны на образцах, взятых в процессе обследования и изучения памятников Елунино-I, Березовая Лука и Телеутский Взвоз-I. В настоящее время имеется восемнадцать дат. Из них наиболее компактно располагаются восемь – четыре укладываются в XVII в. до н. э. и столько же в XVIII в. до н. э. С учетом крайних значений, общая датировка елунинской культуры, по датам, определяется в рамках XX–XVII вв. до н. э. Калибровочные данные существенно удревняют даты, с их учетом культура датируется в рамках XXII–XX вв. до н. э. (*Кирюшин, Грушин, Папин,* 2007).

На основе анализа погребального обряда и всего найденного вещевого комплекса можно выделить предварительно два этапа в развитии культуры (*Грушин,* 1998). Ранний, характеризуемый материалами поселения Березовая Лука, назван березоволукинским (*Кирюшин, Грушин, Тишкин,* 2003, с. 114). К нему относятся могильники Староалейка-II, и, возможно, Елунино-I. В настоящее время он на основе калиброванных радиоуглеродных дат может быть определен XXI–XX вв. до н. э. Поздний этап включает могильники Цыганкова Сопка-II, Телеутский Взвоз-I, возможно, поселение Боровое-III, и датируется XX–XIX вв. до н. э.

На основе характеристики и анализа вещевого комплекса выделены культурные индикаторы для елунинских памятников. Среди них отметим оригинальные костяные наконечники стрел с характерно выраженным упором для древка, в виде сужения в нижней части пера (*Кирюшин, Грушин, Тишкин,* 2002). Полученные результаты анализа керамики позволяют определить культурную принадлежность и соотношение различных традиций в орнаментации посуды эпохи ранней бронзы. В елунинский керамический комплекс входит посуда только первого типа (по классификации Ю. Ф. Кирюшина), однако не ограничивается им. По способу движения орнаментира по поверхности сосуда, выделенные две традиции можно обозначить как «шагающая» и «отступающе-прочерченная» (*Грушин,* 2003б).

Вопросы происхождения елунинской культуры. Прежде чем рассматривать проблему происхождения культуры необходимо остановиться на проблеме ее соотношения с другими синхронными культурами сопредельных территорий и, прежде всего, кротовской (*Грушин,* 2001в). Погребальный обряд, вещевой комплекс, обнаруженный в погребениях кротовской и елунинской культур, значительно отличаются друг от друга. Костяные наконечники стрел некоторых типов могут рассматриваться как индикаторы для памятников обеих культур. Анализируя опубликованные керамические комплексы, мы пришли к выводу, что материалы Верхнего Приобья с поселений Кротово-VII/VIII, Морайка, Киприно, Ирба проявляют большее сходство с посудой памятников елунинской культуры, чем с кротовской керамикой поселений Барабы – Преображенка-III и Венгеро-

во-Ia. Последние, в отличие от комплексов Верхнего Приобья, характеризуются большим количеством керамики, украшенной гребенчатым штампом (*Молодин,* 1985). Таким образом, по нашему мнению, рассматриваемые памятники Верхнего Приобья можно, считать единокультурными, за которыми целесообразно оставить название – памятники елунинской культуры. Под кротовской культурой в таком случае следует понимать памятники Барабы (Сопка-II, Абрамово-11, Преображенка-III и др.) и, возможно, Среднего Прииртышья. Различия, зафиксированные в кротовских памятниках Барабы и елунинских лесостепного Алтая, объясняются также причинами хронологического порядка. Основной массив кротовских погребений на могильнике Сопка-II В. И. Молодин (1985) датирует вместе с позднекротовским этапом XIV–XII вв. до н.э. Памятники елунинской культуры, на основании серии радиоуглеродных дат, определяются более ранним временем. Не исключено, что отдельные группы елунинского населения могли принять участие в формировании населения кротовской культуры (*Кирюшин, Грушин,* 2001).

Выделенные две основные орнаментальные традиции в елунинской керамике – «шагающая» и «отступающе-накольчатая», отражают, на наш взгляд, два различных компонента, принявших участие в формировании елунинской манеры декорирования посуды. Обе традиции связываются нами с местными неолит-энеолитическими традициями в украшении керамической посуды Лесостепного Алтая. «Отступающе-накольчатая» – с кипринским типом керамики, выделенным М. Н. Комаровой (1956); «шагающая» – с первым типом большемысской энеолитической культуры, выделенной Ю. Ф. Кирюшиным (1986). Несмотря на то, что синтез обозначенных выше традиций мог происходить еще в предшествующую эпоху, наиболее полно он проявился именно в материалах елунинской культуры бронзового века. Погребальные сооружения, орудия труда, оружие не находят преемственности в предшествующую эпоху. Орнаментальные традиции ранней бронзы Лесостепного Алтая, уходящие в предшествующее время, передавались преимущественно по женской линии. В антропологическом отношении данный компонент в культуре связан с метисным типом с выраженными монголоидными признаками. Носителями традиций в металлургии, а также, вероятно, в религиозной сфере, которая, в частности, проявлялась в погребальном обряде, было мужское население, с ярким европеоидным антропологическим типом. Данный компонент культуры не находит преемственности в предшествующее время и является пришлым.

В евразийских степях в 1-й половине II тыс. до н.э. происходят значительные изменения в этнокультурной и социально-экономической жизни древнего населения. С этого времени начинается миграция индоиранских племен в восточные и южные районы, в результате чего многие элементы культуры мигрантов оказывали большое влияние на соседние культурные образования (*Генинг, Зданович, Генинг*, 1992, с. 6; *Ашихмина,* 1995, с. 14; *Ковалева,* 1997, с. 4; и др.).

Елунинское население южного Обь-Иртышья находилось на восточной периферии синташтинско-петровской общности, которая идентифицируется рядом исследователей с древними индоиранцами (*Генинг, Зданович, Генинг,* 1992, с. 65; *Зданович,* 1995, с. 68). Отмеченные многочисленные параллели в комплексах Южного Урала, Северного Казахстана и Верхнего Приобья (*Грушин*, 2002) не сводится только к отдельным аналогиям в типах орудий труда, керамики и т. д., а затрагивает такие фундаментальные параметры носителей культуры, как мировоззренческие представления, погребальный обряд, хозяйственную структуру. Общие элементы в памятниках степной и отчасти лесостепной полосы Евразии объясняются, вероятно, не только культурным взаимодействием, в результате

миграции или торговых отношений, но и общими корнями происхождения культур, возможно этнической близостью их носителей (*Грушин,* 1999).

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на уже проделанную работу по изучению елунинской археологической культуры, предстоят дальнейшие исследования. Основной задачей данной статьи являлось знакомство широкого круга ученых с имеющимися на Алтае материалами эпохи бронзы.

Литература

Алехин Ю. П. Рудный Алтай в древности и средневековье // Серебряный венец России (Очерки истории Змеиногорска). Барнаул, 1999. С. 17–65.

Алехин Ю. П., Демин М. А., Илюшин А. М. Некоторые результаты исследований на Рудном Алтае // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. Барнаул, 1992. С. 135–140.

Археологические памятники в зоне заполнения Шульбинской ГЭС. Алма-Ата, 1987.

Ашихмина Л. И. К проблеме древних контактов индоевропейцев и фино-угров в Северном Приуралье (II тыс. до н.э.) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Челябинск, 1995. Ч. 5. Кн. 1. С. 14–21.

Борисов В. А. Технологические особенности глиняной посуды поселения Березовая Лука // Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М., Тишкин А. А. Поселение Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в Алейской степи. Барнаул, 2005. Т. I. С. 165–173.

Бородаев В. Б., Кунгуров А. Л. Новые материалы к археологической карте Барнаульского Приобья // Древняя история Алтая. Барнаул, 1980. С. 73–92.

Генинг В. Ф., Гусенцева Т. М., Кондратьев О. М., Стефанов В. И., Трофименко В. С. Периодизация поселений эпохи неолита и бронзового века Среднего Прииртышья // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970. С. 12–52.

Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1992. Ч. 1. 408 с.

Грушин С. П. Некоторые показательные признаки относительной хронологии могильников эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья // Археология, этнография Сибири и Дальнего Востока. Улан-Удэ, 1998. С. 48–49.

Грушин С. П. Индоиранские элементы в погребальном обряде племен первой половины II тыс. до н.э. лесостепного Алтая // Материалы XXXVII Международной научной студенческой конф. «Студент и научно-технический прогресс: История». Новосибирск, 1999. Ч. 2. С. 23–24.

Грушин С. П. К вопросу о культурной принадлежности некоторых памятников эпохи ранней бронзы предгорно-равнинного Алтая // Гуманитарные исследования на пороге нового тысячелетия. Барнаул, 2001а. С. 84–89.

Грушин С. П. Основные элементы погребального обряда населения Верхнего Приобъя в эпоху ранней бронзы // Проблемы изучения древней и средневековой истории. Барнаул, 2001б. С. 50–55.

Грушин С. П. Проблема соотношения кротовской и елунинской культур // Историко-культурное наследие Северной Азии: итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий. Барнаул, 2001в. С. 217–220.

Грушин С. П. Культура населения эпохи ранней бронзы лесостепного Алтая. Автореф. канд. дис. Барнаул, 2002.

Грушин С. П. Палеодемографический анализ антропологических материалов из могильников елунинской культуры Верхнего Приобья // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003а. С. 47–52.

Грушин С. П. Керамический комплекс поселения Березовая Лука как исторический источник по изучению орнаментальных традиций елунинской культуры // Источники по истории Западной Сибири. Сургут, 2003б. Ч. 1. С. 54–60.

Грушин С.П. Ритуальные комплексы елунинской культуры на памятнике Телеутский Взвоз-I // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь (к 70-летию Т. М. Потемкиной). Курган, 2007. С. 76–84.

Грушин С. П. Бронзовый век Алтая: генезис сейминско-турбинского комплекса // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. I. М., 2008а. С. 392–395.

Грушин С. П. Поселение Березовая Лука: реконструкция системы жизнеобеспечения // Известия Алтайского государственного университета. Барнаул, 2008б. С. 22–35.

Грязнов М. П. Древние культуры Алтая // Материалы по изучению Сибири. Новосибирск, 1930. Вып. 2.

Зах В. А. Погребение кротовской культуры у с. Ордынское // Сибирь в древности. Новосибирск, 1979. С. 31–32.

Зданович Г. Б. Синташтинско-микенский культурно-хронологический горизонт: Степи Евразии и элладский регион в XVIII–XVI вв. до н. э. // Россия и Восток: Проблемы взаимодействия. Челябинск, 1995. Ч. 5. Кн. 1. С. 63–68.

Кирюшин Ю. Ф. Итоги и перспективы изучения памятников энеолита и бронзы Алтая // Проблемы древних культур Сибири. Новосибирск, 1985. С. 46–53.

Кирюшин Ю. Ф. Энеолит, ранняя и развитая бронза Верхнего и Среднего Приобья. Автореф. докт. дис. Новосибирск, 1986.

Кирюшин Ю. Ф. Новые могильники ранней бронзы на Верхней Оби // Археологические исследования на Алтае. Барнаул, 1987. С. 100–125.

Кирюшин Ю. Ф. О феномене сейминско-турбинских бронз и времени формирования культур эпохи ранней бронзы в Западной Сибири // Северная Евразия от древности до средневековья. СПб., 1992. С. 66–69.

Кирюшин Ю. Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул, 2002.

Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П. К вопросу о соотношении елунинской и кротовской археологических культур // Историко-культурное наследие Северной Азии. Барнаул, 2001. С. 33–42.

Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П. Предметы мобильного искусства раннего бронзового века Верхнего Приобья // Скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии. Барнаул, 2007. С. 22–25.

Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П., Тишкин А. А. Опыт классификации наконечников стрел эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2002. С. 16–32.

Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П., Тишкин А. А. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-I). Барнаул, 2003.

Кирюшин Ю. Ф., Кунгуров А. Л., Тишкин А. А. Искусство населения Лесостепного Алтая в эпоху ранней бронзы // Гуманитарные науки в Сибири. 2002. № 3. С. 16–20.

Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М., Тишкин А. А. Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в Алейской степи. Барнаул, 2005.

Кирюшин Ю. Ф., Тишкин А. А., Грушин С. П. Некоторые планиграфические наблюдения на погребально-поминальных комплексах Верхнего Приобья эпохи ранней бронзы // Проблемы изучения древней и средневековой истории. Барнаул, 2001. С. 40–49.

Кирюшин Ю. Ф., Семибратов В. П., Грушин С. П. Новый могильник елунинской культуры в Верхнем Приобье // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Новосибирск, 2005. Т. II. С. 68–72.

Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П., Папин Д. В. Проблемы радиоуглеродного датирования археологических памятников бронзового века Алтая // Теория и практика археологических исследований. Барнаул, 2007. Вып. 3. С. 84–89.

Ковалева В. Т. Взаимодействие культур и этносов по материалам археологии: Поселение Ташково–II. Екатеринбург, 1997.

Козинцев А. Г. О так называемых средиземноморцах Южной Сибири // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. Барнаул, 2008. С. 205–207.

Комарова М. Н. Неолит Верхнего Приобья // КСИИМК. 1956. Вып. 64. С. 93–103.

Куликов Е. Е., Кирюшин Ю. Ф., Серегин Ю. А., Тишкин А. А., Полтараус А. Б. Результаты палеогенетическогих исследований (по материалам погребений младенцев на памятнике Березовая

Лука) // Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М., Тишкин А. А. Поселение Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в Алейской степи. Барнаул, 2005. Т. I. С. 216–224.

Максименков Г. А. Окуневская культура и ее окружение // Проблема хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970. С. 69–74.

Матющенко В. И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Ч. 2: Самусьская культура // Из истории Сибири. Вып. 10. Томск, 1973.

Мерц В. К. О новых памятниках эпохи ранней бронзы Казахстана // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул, 2003. С. 132–141.

Молодин В. И. Кротовская культура и ее окружение // Соотношение древних культур Сибири с культурами сопредельных территорий. Новосибирск, 1975. С. 259–269.

Молодин В. И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск, 1977.

Солодовников К. Н., Тур С. С. Краниологические материалы елунинской культуры эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья // Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П., Тишкин А. А. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-I). Барнаул, 2003. С. 142–176.

Тихонов Б. Г. Металлургические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье // МИА. 1960. Вып. 90. С. 5–115.

Уманский А. П. Памятники окуневского типа в Верхнем Приобье // Материалы зонального совещания археологов и этнографов. Томск, 1972. С. 31.

Уманский А. П. Находки эпохи бронзы из Верхнего Приобья // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. Барнаул, 1992. С. 18–27.

Уманский А. П. Находка 1961 г. из Нижней Суетки // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул, 1995. С. 51–55.

Уманский А. П., Демин М. А. Наконечники копий сейминско-турбинского типа на Алтае // Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул, 1983. С. 143–150.

Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М., 1989.

Е. Г. Царева

КИЛИМЫ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ТУВЫ И АЛТАЯ: К ИСТОРИИ СЛОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КИЛИМНОЙ ТЕХНИКИ В ЕВРАЗИИ

Данная статья является знаком моего глубокого восхищения личностью и трудами В. И. Сарианиди и благодарности за каждый миг общения, неизменно радостный и знакомящий нас с его новыми идеями и фантастическими открытиями.

Предлагаемая статья рассматривает килимы ранних кочевников Тувы и Алтая – казалось бы, весьма далекий от интересов Виктора Ивановича материал, поскольку среди тысяч раскопанных его экспедициями предметов текстиль представлен единичными находками (*Дубова, Царева,* 2005, с. 153; *Tsareva,* 2007, p. 330–334). Однако, как явствует из предлагаемых мною в данном исследовании выводов, текстильная культура ранних кочевников Тувы и Алтая была тесно связана с технологическими достижениями населения Ближнего Востока и Степи – тех территорий, на которых формировались многие из практиковавшихся ранними кочевниками технологий и культуру которых уже много лет изучает Виктор Иванович. При этом, как мы увидим, особенности использовавшейся населением Южной Сибири системы ткачества, с одной стороны, маркируют процесс заселения региона в течение I тыс. до н. э., а с другой – позволяют определить некоторые специфические черты искусства ткачества, выработанные на территориях, исходных для южносибирских мигрантов скифо-сакского времени.

Статья основана на результатах изучения главным образом структурных характеристик текстильных артефактов – как их наименее изменчивой составляющей. Именно эта стабильность позволяет нам выявлять временные и локальные группы текстильных памятников и затем использовать полученные результаты для определения происхождения в основном анонимных археологических тканей.

Южная Сибирь – высокогорная, суровая, но и невероятно красивая страна, чистейшие реки, озера и бесконечные зеленые пастбища которой идеально подходят для пастушеского скотоводства. Территория была заселена людьми с каменного века.[1] Во II тыс. до н. э., в конце эпохи бронзы, сюда пришли и остались здесь более чем на две тысячи лет новые обитатели – представители этнически иранской, скотоводческой культуры. В исторической литературе их определяют как ранних кочевников, причем единого мнения о племенном составе этой культурной общности Южной Сибири в I тыс. до н. э. среди специалистов нет (см, например, работы М. П. Грязнова [*Грязнов,* 1980, 1983а, 1983б] и Л. Р. Кызласова [*Кызласов,* 1977, 1979]). Соответственно, не существует и ее общепринятого обобщенного названия. Наиболее часто ранних кочевников Южной Сибири определяют как представителей скифо-сибирской, либо скифо-сакской общности (*Алексеев,* 1989, с. 234). Историку текстиля, не археологу, трудно разобраться в аргументах авторов разных классификаций, поэтому, следуя терминологии, наиболее знакомой для своей аудитории, я буду называть аржанскую и пазырыкскую культуры скифо-сакской, а рассматриваемые группы населения Тувы и Алтая – саками.

Культура ранних кочевников Южной Сибири представлена богатейшими археологическими памятниками, среди которых значительное место занимают ткани, в том числе килимы. Несколько образцов таких тканей были найдены в четырех высокогорных элитных курганах Южной Сибири: Аржан-1 (А-1) и Аржан-2 (А-2) в Туве; и Пазырык-2 (ПК-2) и Пазырык-5 (ПК-5) на Алтае. Самый ранний по времени постройки, А-1, был сооружен на рубеже IX – VIII вв. до н.э.; самый поздний, ПК-5, сейчас датируется серединой III в. до н. э.[2]

Шесть веков – от периода возведения А-1 до ПК-5 – были временем расцвета скифской культуры в Южной Сибири. Уже в последние века до новой эры саки были вытеснены из региона сюннусцами. Процесс был долгим, однако, в конце концов большая часть племен мигрировала, унося с собой многие традиционные для их культуры технологии, включая ткачество. Часть ушла на северо-запад и на север (в Казахстан, также в низовья Оби и Енисея [*Молодин,* 2003, с. 179–182]), часть – на юго-запад. Судя по находкам из Шампулы, в это время саки активно заселяли бассейн реки Тарим, однако значительная их масса продвинулась еще далее и примкнула к родственным племенам на Памире (*Mallory, Mair,* 2000). Позднее эта волна саков успешно участвовала в образовании Кушанской империи, великолепные текстильные памятники которой (в бактрийском стиле) дают яркое представление о развитии искусства ткачества у ранних кочевников в новую эру (*Trever,* 1932, tab. 1–7; Central Asian textiles, 2006, fig. 198, 200).

Многочисленные находки войлоков и тканей из курганов эпохи ранних кочевников показывают, что в I тыс. до н. э. основным текстильным материалом саков была овечья

---

[1] Обобщающие сведения по вопросам формирования населения Южной Сибири скифского времени содержатся в коллективной монографии (Население Горного Алтая, 2003); а также в работе (*Mallory, Mair,* 2000).

[2] О датировках южносибирских курганов скифского времени см., например: Радиоуглерод, 1997, а также: *Алексеев и др.*, 2005.

шерсть, как, впрочем, и у всех родственных культур Евразии.[1] Помимо материала, общими были также выявленные текстильные техники, виды тканей, в значительной степени орнаментика. Сказанное относится и к широко практикуемым в древнем мире килимам. Распространенность килимной техники и одновременно ее недостаточная изученность крайне затрудняет определение происхождения текстильных находок этого типа. Последнее обстоятельство обусловило введение в статью достаточно длинных технических описаний и исторических сведений, необходимых для объяснения предлагаемых атрибуций. Одно из таких отступлений касается времени появления первых текстильных артефактов, которыми мы считаем нити.

Археологические данные показывают, что люди делают и используют нити уже более 30 тыс. лет. На территории Евразии косвенным свидетельством этому служат находки просверленных для нанизывания украшений головных уборов из Ля Кина (Франция); иглы выявлены в культуре Граветт (25–20 тыс. лет назад), проколки – еще ранее. На территории Южной Сибири пронизки, проколки, костяные и каменные изделия с отверстиями для подвешивания были найдены в слое 11; иглы, бусы, др. – в слое 5 Денисовой пещеры, датируемых, соответственно, 50–40 и 23–27 тыс. лет. «Причем, – как отмечают авторы, – этот набор костяных изделий из Денисовой пещеры является на сегодняшний день наиболее древним в палеолите Северной и Центральной Азии» (*Деревянко и др.,* 2003, с. 355–357, рис. 70, 96).

Первым нитям, найденным археологами и идентифицированным как растительные, около 17 тыс. лет (пещера Ляско, Франция) (*Barber,* 1991, p. 40). Насколько мы можем судить, растительные волокна служили человеку основным текстильным материалом в течение всего палеолита, наряду с сухожилиями, волосом и кетгутом (*Barber,* 1991, p. 39–40). Иные материалы появились значительно позднее. Так, шелкопряд был доместицирован в Юго-Восточной Азии в III тыс. до н. э.; шерсть появляется после выведения породы шерстистой овцы, то есть не ранее IV тыс. Причем на территории Северной Евразии ее образцы ранее середины бронзового века не обнаруживаются (*Шишлина,* 1999, с. 34–35).

Роль конопли и крапивы как наиболее ранних текстильных материалов Евразии зафиксирована принятой населением континента манерой Z-прядения, совпадающей с естественной круткой волокон обоих растений (рис. 1 – см. цветную вклейку). Важно отметить, что Z-прядение применялось – и поныне применяется – в Евразии для всех видов волокон, включая шелк и шерсть.[2] В то же время египтяне, основным текстильным материалом у которых был лен, практиковали S-прядение, совпадающее с естественной круткой льна, и использовали его также для создания нитей из шерсти и шелка. Еще одно отличие в манере нитеобразования мы находим в Китае: коконная шелковая нить может быть до километра длиной, поэтому китайцы как правило шелк не пряли.

Сакрализованные с периода глубокой древности традиционные методы изготовления нитей не менялись тысячелетиями. Это касалось не только направления прядения, но и применения приема сучения. Так, некоторые культуры использовали просто пряденые

[1] Помимо шерсти, в памятниках Евразии периода ранних кочевников выявлены также сухожильные нити и волос; известны отдельные случаи использования растительных волокон и импортного шелка в виде готовых тканей.

[2] Мы можем говорить только о доминировании данной манеры прядения, но не о ее абсолютной распространенности, поскольку случаи применения в Евразии и S-прядения известны. Однако, по моему мнению, каждый из таких случаев, во всяком случае, относящихся к раннему периоду, должен тщательно изучаться. Одна из причин частого недоверия к некоторым приводимым в публикациях результатам – недостаточно точные описания структуры нитей, в которых приводятся конечные варианты, без указания, пряденые это волокна или сученые нити.

(элементарные) нити, в то время как другие предпочитали сученые, то есть две или более пряденые нити, сложенные вместе и затем дополнительно скрученные (многосоставные жгуты часто называют кордами). Стабильность принятых в той или иной культуре приемов нитеобразования помогает определять происхождение многих текстильных находок. И этот показатель был использован при идентификации рассматриваемого материала.

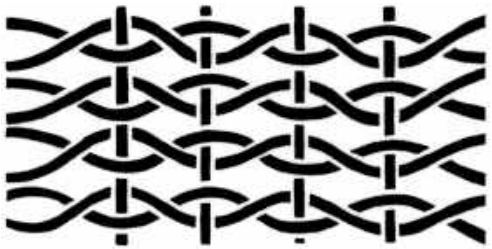


Рис. 2. Схема твайн переплетения.

Что касается происхождения техники, то исторические данные позволяют предположить, что килимы были самым ранним нитяным текстилем, рисунок которого создавался в процессе ткачества. Сходство килимных структур со структурами плетеных корзин и циновок позволяет предположить, что килимное ткачество развилось именно на основе плетения, прямым потомком которого является широко распространенный в древности твайн (рис. 2).[1] Архаичность техники обусловила ее распространение, предположительно, с периода неолита. Древность техники, с одной стороны, и ее широкое использование, с другой, способствовали формированию локальных вариантов, особенно яркие формы которых появились у маргинальных либо периферийных групп. К последним мы можем отнести и ранних кочевников Южной Сибири, заселивших восточные окраины иранского мира в скифский период.

С точки зрения структуры переплетения, килимы, принадлежат к тканям с узорообразующим утком. Их отличие от обычного полотна, саржи, твайна состоит в том, что в килимах уток работает одновременно как структуро- и узорообразующий элемент,[2] при этом его разноокрашенные нити протягиваются не от кромки до кромки полотнища, но заполняют только определенные участки рисунка, как вы видите на примере детали килима египетской работы из ПК-5 (рис. 3 – см. цветную вклейку).

Простая в работе техника получила широкое распространение также благодаря вариабельности пригодных для ее применения станков. Хотя в странах с развитым килимным ткачеством как правило использовался вертикальный стан (как с грузилами, так и с жесткой рамой), в реальности килимы можно делать на любом ткацком приспособлении, включая архаичный наспинный станок и тканье на нить либо бердышке/бердечке.[3] Таким образом, при наличии информации о станках, распространенных в той или иной этнокультурной зоне, мы можем рассматривать ширину и плотность изучаемой ткани как маркеры, указывающие в первую очередь на то, была она соткана в кочевой среде или в том или ином городском ремесленном центре.

Тысячи лет практики и развитие текстильных техник привели к появлению ряда приемов килимного ткачества (рис. 4). Наиболее архаичным из них, видимо, является ме-

[1] В технике твайна, к примеру, соткана древнейшая из ближневосточных тканей, найденная в пещере в Нахал Хемар, Израиль, 6500 до н.э. *(Barber,* 1991, p. 131), а также находки из Чертовой пещеры (Дальний Восток), удревленных сегодня до 10-8 тыс. лет до н. э. по сравнению с первоначальными датами 7–6 тыс. лет назад (*Андреева и др.*, 2005, с. 149).

[2] Данная особенность имеет принципиальное значение, поскольку нам известно большое число структур, в которых узор создается локально применяемыми утками, однако они являются дополнительными по отношению к основной структуре, в отличие от килимов, в которых, как было сказано, уток работает локально, но при этом является не только узоро-, но и структуро-производящим.

[3] Простейшие описания ниту, бердечка и ряда других простейших ткацких приспособлений см.: *Лебедева,* 1929.

тод, при котором в месте стыковки утков разного цвета образуются зазоры: вертикальные (рис. 4: *1a*) либо диагональные (рис. 4: *1b*). Своеобразным вариантом первого является прием «зубчатого контура» (рис. 4: *1e*).[1] Другой, обеспечивающий создание более прочной килимной структуры прием, – это зацеп, выполняемый в вариантах зацепа по основе (рис. 4: *1c*) и зацепа по утку (рис. 4: *d/1, 2*). К более сложным для исполнения, гобеленовым приемам относятся методы создания эксцентрической структуры (рис. 4: *1f*), сшивки (рис. 4: *1g*), использование дополнительных утков и др.

Небольшое, но важное отступление для объяснения термина «гобеленовый». Следуя классификации Ирэны Эмери, изложенной в ее книге «The Primary Structures of Fabrics», я называю килимными структуры с зазором, а также толстые репсовые фактуры (либо ткани с выраженным репсовым эффектом) (*Emery,* 1980, p. 82–83, 88–91). Как гобеленовые классифицируются килимы, выполненные с применением таких сложных приемов как зацепы, сшивки, эксцентрические утки.

Время и место изобретения техники не известны, возможно, таких точек было несколько. Самое раннее известное нам письменное упоминание относится к древневавилонскому периоду и происходит из Мари (*Barber,* 1992, p. 212), а самый ранний опубликованный образец был найден в Египте. Узор фрагмента воспроизводит часть имени Тутмоса III, завоевателя Сирии, хотя сама ткань была найдена в датируемой началом XV в. до н. э. пирамиде Тутмоса IV (*Carter, Newberry,* 1904, pl. 28). Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что именно с этого времени Египет начал использовать окрашенные шерстяные утки и производить килимы. Это дает основания для предположения, что техника была принесена в Египет сирийскими ткачами, большие группы которых были переселены туда Тутмосом III, а затем и Тутмосом IV. Тип переплетения, который мы видим на названном фрагменте: килим с зазором, зацепом по основе и зубчатым контуром – в наше время наиболее активно используется в Сирии, особо – для изготовления шелков с металлическими нитями для парадных плащей – аба.[2] Таким образом, имеющиеся данные позволяют предположить, что одним из древнейших центров активного применения и распространения килимной техники, – во всяком случае, в варианте прямого переплетения, – является Восточное Средиземноморье, предположительно, территория современной Сирии.

После отступления, посвященного описанию килимной техники и некоторых данных по истории ее формирования, обратимся собственно к предмету статьи. Все рассматриваемые артефакты хранятся в Отделе археологии Восточной Европы и Сибири (ОАВЕС) Государственного Эрмитажа. Самыми ранними из них, как было сказано выше, являются находки из Аржана-1.

Древнейший раскопанный курган скифского типа в Евразии, Аржан-1 был одним из сотен погребальных памятников, сосредоточенных в обширной, расположенной на высоте 1000 м над у/м Турано-Уюкской котловине, точнее, в долине реки Уюк, названной местным населением Долиной царей. В самом центре долины ранние кочевники Тувы воздвигли облицованный каменными плитами курган в виде платформы. В центре платформы находилась воронка, из стенок которой постоянно сочилась вода, поэтому холм, курган был назван местным населением «Аржан», что значит «священный источник».

Огромный, 120 м в диаметре, курган был раскопан в 1971–1974 гг. экспедицией под руководством М. П. Грязнова и М. Маннай-Оола. Благодаря сложной радиально-круговой структуре типа мандалы и другим уникальным характеристикам, А-1 включен в группу

[1] В англоязычной литературе прием называется *dovetailing*.

[2] Примером может служить находящаяся в экспозиции «Народы Ближнего Востока» аба шейха из собрания МАЭ РАН (колл. № 5032-1).

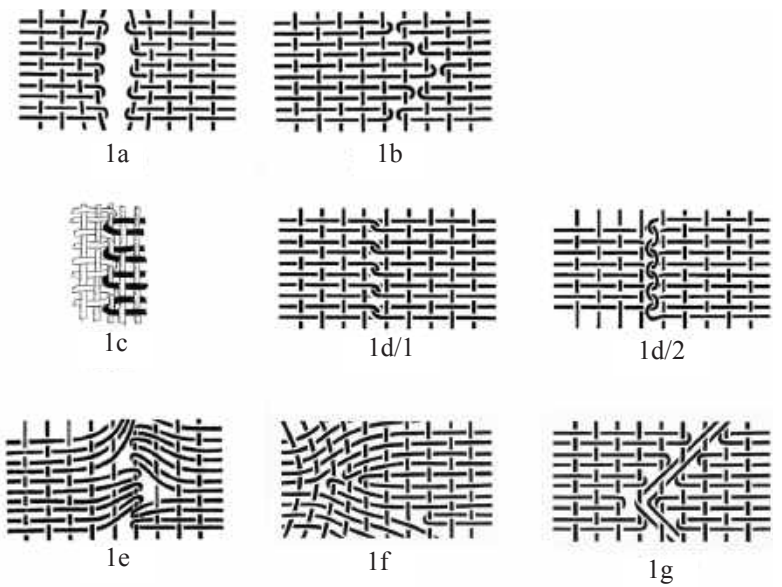


Рис. 4. Схема приемов килимного ткачества. *1a*: килим с зазором; *1b*: килим с зацепом по основе; *1c*: килим с зацепом по утку; *1d,e:* прием зубчатого контура. Приемы гобеленовой техники. *1f*: эксцентричность, *1g*: использование дополнительных утков.

архаичных ритуально-храмовых сооружений Евразии бронзового века и рассматривается как наиболее важный памятник материальной и духовной культуры ранних кочевников. Многолетние исследования относят его создание к рубежу IX–VIII вв. до н. э. и считают его строителями представителей сакской, точнее, аржанской конфедерации племен (*Грязнов,* 1980; *Грязнов, Маннай-Оол,* 1973).

Конфедерация имела сложную этнокультурную структуру, доминирующей составляющей которой к рассматриваемому времени стали пришлые ирано-говорящие группы ранних кочевников (*Молодин,* 2003; *Mallory, Mair,* 2000).

В период расцвета территория расселения племен конфедерации была огромной и включала, предположительно, Туву, Алтай, Западную Монголию, Джунгарию, часть бассейна реки Тарим (*Mallory, Mair*, 2000) и, вероятно, более западные земли. Члены союза появились здесь в разное время, и имели различные этнокультурные «тяготения», однако вели сходный образ жизни и следовали общей идеологии, что нашло выражение в формах искусства, названных в наши дни скифо-сибирским художественным стилем. Этот стиль ярко прослеживается на предметах из металла и других твердых материалов, но также на изделиях из такого исторически позднего материала как войлок.[1] Однако, как мы увидим ниже, стиль не нашел отражения в декоре рассматриваемых художественных тканей, техника изготовления и рисунок которых сохраняли черты, традиционные для «досибирского» периода жизни сакских племен.

Самая общая информация о найденных в А-1 тканях была приведена М. П. Грязновым (*Грязнов,* 1980). Тканям была посвящена также опубликованная в 1975 г. статья

[1] Войлоки можно считать исторически поздними по сравнению с плетением и ткачеством, поскольку свидетельства существования последних прослеживаются с неолита, а распространение техники войлоковаляния, вне зависимости от момента освоения принципа, соотносят со временем выведения породы шерстистой овцы, то есть IV тыс. до н. э.

О. Л. Пламеневской (*Пламеневская,* 1975). А. М. Мандельштам упомянул их в работе «Ранние кочевники скифского периода на территории Тувы» (*Мандельштам*, 1992, с. 188). И наконец, нужно отметить небольшую статью Н. В. Царева и Л. С. Марсадолова (*Марсадолов, Царев,* 2000, с. 72–75). И это все: за 35 лет четыре маленькие статьи, глава в дипломной работе Н. В. Царева и его же доклад на международной текстильной конференции,[1] что демонстрирует почти полное отсутствие интереса к теме среди археологов и выглядит особенно печально на фоне многочисленных конференций и томов публикаций, посвященных аржанской проблеме.

Как следует из первого отчета М. П. Грязнова, фрагменты войлока, меха и тканей были найдены в девяти могилах кургана.[2] Большая часть узорных тканей происходит из центральной камеры № 1 вождя аржанской конфедерации. Курган был безжалостно разграблен в древности, и ни один целый текстильный предмет не сохранился. По нашему мнению, одной из причин этого была высокая ценность художественных тканей в древности, собиравшихся грабителями не менее тщательно, чем золотые украшения.

Сохранившиеся фрагменты килимов представляют собой маленькие кусочки трех видов: 1) ткани гобеленного типа, с растительным рисунком: в их структуре присутствуют элементы эксцентрической техники и крошечные зазоры (далее – «килим с листиками»); 2) килим с зацепом, с геометрическим рисунком – «килим с пирамидками»; 3) килимный репс с рисунком «в полоску».

В своей работе М. П. Грязнов упоминает, что «все ткани, несмотря на их разнообразие, происходят, судя по технике и качеству изготовления, из какого-то одного высоко развитого ремесленного центра». Он предполагает, что этим центром была одна из «стран Переднего Востока, так как там с очень древних времен (до Ахеменидов и позже) в архитектуре, керамике, торевтике и прочем был распространен орнамент из рядов ступенчатых пирамидок» (*Грязнов,* 1980, с. 25]). Можно согласиться с первым утверждением Михаила Петровича, однако второе предположение, касающееся места изготовления рассматриваемых килимов, вызывает возражения.

Рассмотрим найденные фрагменты, используя метод сравнительного анализа, который часто помогает получить корректные результаты при определении происхождения тканей, и начнем с первого из названных типов.[3]

Фрагменты «килимов с листиками», общим числом 8, были найдены в камерах № 1 и 31. Один из них вы видите на рис. 5 (см. цветную вклейку). К сожалению, цветовая шкала искажена по сравнению с первоначальной, что обычно для археологических тканей, как правило, загрязненных почвенными солями.[4]

---

[1] 11-я Международная конференция по восточному ковроделию. Стамбул, 2005.

[2] Камера № 1: мог. 1, 2, 8; камеры № 15, 16, 31; также мог. 13. В мог. 9 были найдены фрагменты войлока, две иные могилы содержали остатки меха. Ткани из кам. № 1, 15, 16, 31 и мог. 13 представлены полосатой и сине-зеленой саржей (1:2 и 2:2); полотнами простого прямого переплетения с репсовым эффектом (сине-зеленого цвета, коричневого и желтого); полотняными тканями (сине-зеленого и коричневого цвета); образцами полу-корзиночного переплетения (через две и три основы) и твайном, в том числе с переходом полотняного переплетения в узорный твайн. Точное число находок не известно, 70 изученных фрагментов определены как части 52 полотнищ (неопубликованные материалы Н. В. Царева, Гос. Эрмитаж).

[3] Структурные описания тканей из А-1 и А-2 выполнены Н. В. Царевым.

[4] Ср. наблюдения в изданиях: Восстановление…, 1937; *Кононов*, 1931 – *Прим. Ред.*

Таблица 1

«Килимы с листиками». А-1, конец IX в. до н. э.

Название	Основа				Уток				Переплетение, особые приемы
	Структура	Крутка витки/см	Цвет	Плотность концы/см	Структура	Крутка витки/см	Цвета	Плотность прогоны/см	
«Килим с листиками»	Z1	8	светло-коричневый	12	Z1	4	красный, зеленый, бирюзовый, цвет верблюжей шерсти, коричневый	46—56; 58—66	простое прямое; зазоры; зацеп по основе эксцентричность

Структурные показатели «килимов с листиками», практически идентичные для всех фрагментов, приведены в табл. 1. А именно: основа сделана из Z-пряденых тонких шерстяных нитей светло-коричневого цвета, со средней силой крутки (8 витков на сантиметр). Уток тонкий, слабой крутки (4 витка/см), оттенков зеленого, верблюжьей шерсти и красного; в некоторых фрагментах отмечены бирюзовый и оттенки охры/хаки/коричневого цветов.

Плотность тканей стабильна: 12—13 концов основы на сантиметр и 46—56 прогонов утка на сантиметр в неорнаментированных частях и 58—66 прогона – в узорных. Соотношение основы и утка 12—13:46—66 вызывает небольшой репсовый эффект.

Фрагменты демонстрируют ряд килимных ткацких приемов: зазоры, зацеп по основе и использование эксцентрических утков. Ткани происходят из разных могил и, предположительно, должны принадлежать разным полотнищам. Поэтому отмеченная близкая к идентичности схожесть структурных показателей говорит об уникальной стабильности использованного мастерами метода килимного ткачества.

Близкие по времени структурные и орнаментальные аналоги неизвестны. Из более поздних находок к сравнению может быть привлечен фрагмент коптского гобелена с 4-лепестковыми цветками из Дура-Европос (*Pfister, Bellinger,* 1945, № 140) и фрагмент «Воин и кентавр», из Шампулы, предположительно, бактрийской работы (*Sampula,* 2001, fig. 360/1—4). С точки зрения структуры, второй из названных предметов внешне ближе «фрагментам с листиками», чем коптский, однако его технические характеристики ни в одной из многочисленных публикаций не приводятся, поэтому мы можем говорить лишь о чисто визуальном сопоставлении.

Второй выявленный в А-1 тип килимной ткани представлен единичным образцом (рис. 6 – см. цветную вклейку). Это именно тот фрагмент килима с геометрическим рисунком (кам. 1, мог. 1), который был назван М. П. Грязновым «тканью с пирамидками» и который послужил основанием для отнесения им всех художественных тканей из Аржана-1 к передне-восточному импорту (*Грязнов,* 1980, с. 25).

Как показывает табл. 2, многие структурные показатели «килима с пирамидками» аналогичны таковым «килима с листиками»: фрагмент сделан из Z-пряденой шерсти; основа зеленого цвета; уток семь цветов: четыре оттенка красного, желтый и два тона зеленого. Структура нитей и плотность переплетения практически идентичны приведенным в табл. 1 показателям: 12 основ на сантиметр и 52 прогонов утка на сантиметр. Ткацкие

приемы демонстрируют крошечные зазоры и зацеп по утку. Таким образом, хотя и разные по рисунку, теоретически килимы обоих рассмотренных типов могли быть сделаны на одном станке и одним ткачом.

Таблица 2

Килим «с пирамидками». А-1, конец IX в. до н.э.

Название	Основа				Уток				Переплетение, особые приемы	Заделка кромок	
	Структура	Крутка витки/см	Цвет	Плотность концы/см	Структура	Крутка витки/см	Цвета	Плотность прогоны/см		Торец	Боковина
«Килим с пирамидками»	Z1	8	темно-зеленый	12	Z1	4	фиолетово-красный, кармин, кирпично-кра сный, коричнево-красный, желтый, светло-зеленый, сине-зеленый	52	простое прямое; зазоры зацеп по утку	тип 1	тип 2

Фрагмент «килима с пирамидками» по всей вероятности, был углом занавеса или ковра, на что указывает кусочек пришитой к его кончику тесьмы и характер заделки кромок: торец отогнут наизнанку и подшит (далее: тип 1). Боковина (тип 2) укреплена рядом твайна и дополнительным кордом, присоединенными к основному полотнищу восьмеркообразными стежками. Разноцветные нити заделки, Z2, образуют стежки разной длины и таким образом создают рисунок из цепи треугольников.

Таблица 3

Полосатый килимный репс. А-1. Конец IX в. до н. э.

Название	Основа				Уток				Переплетение
	Структура	Крутка витки/см	Цвета	Плотность концы/см	Структура	Крутка витки/см	Цвета	Плотность прогоны/см	
Килим «в полоску»	Z1	12	красный, красно-коричневый, зеленый, фиолетово-коричневый	16	Z1, Z2S	10	красный, красно-коричневый, зеленый, фиолетово-коричневый	28	Основный репс

Названный М. П. Грязновым «пирамидками», рисунок в реальности составлен парами соединенных в ромбы ступенчатых фигур, в свою очередь образующими прямоугольники. Композиция была известна в искусстве Средней Азии с энеолита и использовалась в коврах Средней Амударьи под названием кирпеч вплоть до середины XX в.

В камере № 1 был также найден крошечный фрагмент полосатого репса (рис. 7 – см. цветную вклейку). Его декор образован утками четырех цветов: красным, фиолетово-коричневым, зеленым, Z1; и красно-коричневым, Z2S. Разная структура нитей указывает на использование мастером либо привозной шерстяной пряжи, либо местной, но произведенной в другой мастерской.[1]

Плотность репса: 16 концов основы в сантиметре на 28 прогонов утка на сантиметр. Основы сдвоенные (Z2) и имеют идентичную с утками окрашенность. Прием непонятен, поскольку основы полностью перекрыты утками и не дают декоративного эффекта. Вполне вероятно, что в других частях полотнища переплетение ткани менялось, и узорообразующим элементом становилась основа, но это только предположение. Следует подчеркнуть, что технически килим отличается от других тканей из А-1: он более плотный, его нити имеют более сильную крутку: 12 витков на сантиметр у основы и 10 витков на сантиметр у утка; в утке также использована красно-коричневая сученая пряжа, Z2S.

Для сравнения: остальные, кроме килимов, тканые артефакты из А-1 (табл. 4) являются фрагментами тканей простого прямого, саржевого, полукорзиночного прямого переплетения и твайна. Их технические характеристики практически аналогичны выявленным для рассмотренных килимов (кроме последнего, с полосатым рисунком). Так, все названные образцы сделаны из тонких шерстяных нитей, Z1, с круткой восемь витков на сантиметр в основе и четыре витка на сантиметр в утке. Сучение не практиковалось, при необходимости ткачи предпочитали не сучить, а сдваивать нити (Z2). Поразительно устойчива плотность всех тканей по основе: она обычно близка к десяти концам на сантиметр. Столь же стабильны приемы заделки кромок (тип 1 и 2) и сшивные швы (тип 3, не отмеченный в килимах, выявлен также в текстильных изделиях Тарима [Fabulous, 2001], Алтая [Полосьмак, 2001] и Хакассии [Панкова, 2005]).

Таблица 4

Структурные характеристики других, помимо килимов, тканей. А-1. Конец IX в. до н. э.

Название	Основа				Уток				Переплетение, особые приемы	Заделка кромок
	Структура	Крутка витки/см	Цвета	Плотность концы/см	Структура	Крутка витки/см	Цвета	Плотность прогоны/см		
~30 образцов	Z1; Z2	8	св.-коричневый; си-незеленый	10–12	Z1	4	красный, фиолетово-красный, фиолетово-коричневый, желтый/оранжевый, сине-зеленый, коричневый	зависит от типа переплетения	простое прямое, твайн, полукорзиночное прямое	тип 1 тип 2

Представленная картина говорит о принадлежности рассмотренных килимов к длительной и устойчивой ткацкой традиции и о едином месте их производства (кроме, быть

[1] Точное определение происхождения использованных материалов возможно только при анализе волокна и красителей.

может, репса «в полоску»). Что же это было за место? По вышеупомянутому мнению М. П. Грязнова, им был Передний Восток. Однако сравнение аржанских килимов с достаточно близкими по времени ближневосточными и египетскими образцами, хотя и показывает несомненную общность использованного в них принципа ткачества, но одновременно демонстрирует кардинальные отличия в структурных показателях аржанских, ближневосточных и египетских тканей, так что от предположения об их общем происхождении следует отказаться. Гораздо ближе оказываются хотя и более поздние по времени, но территориально не столь отдаленные килимы из таримских захоронений, предположительно, бактрийской работы (речь идет о «килимах с листиками», «с пирамидками» и гобелене «Воин и кентавр» из Шампулы). Вспомним при этом о возвратной миграции части саков на территорию Бактрии, происходившей под давлением сюнну в последние века до н.э., и предположим, что описанная традиция практиковалась теми племенами аржанской конфедерации, которые в ранний период входили в круг составлявших БМАК социумов. По современным исследованиям, в позднее время они были основными производителями ворсовых и вышитых ковров Центральной Азии, которые мы обобщенно называем «коврами бактрийского типа».[1]

Следует отметить еще один момент. Посмотрев на карту, мы видим, как неизмеримо далека Тува от развитых текстильных центров Ближнего Востока. Трудно себе представить, что где-то в 9 в. до н. э. очень большая группа разных по техникам исполнения и декору тканей (около 50 образцов, более 10 типов) была привезена кем-то из единого (подчеркнем – именно единого) ближневосточного ткацкого центра в Туву, на самый восточный край иранской ойкумены. Не имеет значения, что эти ткани интересны: они все же слишком просты для таких усилий.

Сказанное делает маловероятным предположение М. П. Грязнова о переднеазиатском происхождении килимов из А-1. Более логично предположить, что все они – во всяком случае, их большая часть – были произведены самими аржанцами, в составе которых были, как неоднократно уже говорилось, мигранты с западных территорий, носители развитых текстильных традиций. Вполне вероятно, что включение тканей в сопроводительный инвентарь лиц, погребенных в центральной камере, в кам. 15, 16, 31 и мог. 13 не случайно, но служит маркером принадлежности этих лиц к племенам-производителям надетой на них одежды и украшавших их камеры тканей.[2] Что касается выраженной структурной близости рассматриваемых образцов с более западными по происхождению полотнами, в данном случае она должна объясняться принадлежностью иранской составляющей саков к общей культурной «информации» древней Евразии, а не достижениями международной торговли или военными трофеями.[3]

Второй рассматриваемый в статье памятник – это Аржан-2, находившийся в той же Долине царей, но датируемый VII в. до н. э. Сложный 80-метровый в диаметре погре-

[1] Помимо называвшегося занавеса «Всадники» и составляющих композитный потолочный ковер вышивок с изображениями тигров, рыб и черепах, птиц и черепах из сюннусского кургана Ноин-Ула (собрание Гос. Эрмитажа) (*Trever,* 1932, tab. 1–7), образцами художественных тканей в бактрийском стиле являются: фрагмент гобелена «Воин» (*Sampula,* 2001, fig. 113), многочисленные ворсовые ковры, опубликованные главным образом в китайских работах, а также в каталогах ряда международных выставок (*Tsareva,* 2006, fig. 76; Central Asian textiles, 2006, fig. 198, 200; *Fabulous,* 2001, fig. 39).

[2] Идея была сформулирована в неопубликованной работе Н. В. Царева. Она была инициирована мнением М. П. Грязнова по вопросу состава «аржанского племенного союза» (*Грязнов,* 1983б с. 47, 49) и статьи Р. С. Минасяна (*Минасян,* 1994).

[3] Сказанное не является безусловным – некоторые ткани, в том числе полосатый репс, вполне могут быть западным импортом.

бальный комплекс раскапывался в 2000–2004 гг. российско-германской экспедицией под руководством К. Чугунова, Г. Парцингера и А. Наглера.[1]

Когда археологи сняли двухметровую насыпь из камней и глины и открыли царскую камеру, в ее центре они увидели останки мужчины и женщины, окруженные тысячами сверкающих золотых предметов (рис. 8 – см. цветную вклейку). Это было самое богатое в Евразии непотревоженное скифское захоронение с более чем 5000 золотых бляшек, бусами, ожерельями, сплошь низанными из золотого бисера штанами вождя, а кроме того, с бронзовыми зеркалами, текстильными фрагментами и т. д. – тысячами предметов, в полном объеме показывающими богатство и изысканность искусства саков и их погребальных ритуалов. Раскопанные относительно недавно, находки из А-2 экспонировались в Санкт-Петербурге и в ряде городов Германии, однако они столь многочисленны, что многие из них еще находятся на этапе изучения и остаются неопубликованными.

Три камеры кургана сохранили разнообразные и исключительно интересные ткани.[2] Из-за особенностей конструкции самой богатой, царской, камеры (мог. 5) в ней уцелели лишь крошечные фрагменты: три из них были найдены в углах камеры и один, сшивной, под бронзовым зеркалом, лежавшим перед лицом вождя (рис. 9).

Таблица 5

Постилочный ковер(?) А-2, мог. № 5. VII в. до н. э.

Место обнаружения	Основа			Уток			Переплетение, особые приемы	Швы
	Структура	Цвета	Плотность концы/см	Структура	Цвета	Плотность прогоны/см		
1–3: на полу в углах камеры	Z2S	коричневый	8	Z1	Коричневый	28–40	простое прямое, сильный репсовый эффект	
4: под зеркалом, перед мужчиной	Z2S	Темно-коричневый	6-7	Z1	Коричневый	22–40	простое прямое, репсовый эффект; (б) признаки эксцентрической структуры	соединительный, тип 3

Три фрагмента, как мы видим, имеют абсолютно идентичную структуру: простое прямое переплетение, с восемью основами на 28–40 утков и сильным репсовым эффектом. Основа и уток тонкие (0,4 мм), однако основа сученая, Z2S, а утки только пряденые, Z1. Определение цветов требует химического анализа, сейчас они выглядят коричневыми.

Четвертый фрагмент, сшитый из двух частей, имеет сходные структурные показатели, но также демонстрирует признаки эксцентрической структуры и соединительный шов

[1] Общая информация: *Аржан,* 2004; *Chugunov, Parzinger, Nagler*, 2006. О тканях: Siberia's Scythians, 2003; *Царев,* 2005; *Tsareva,* 2005.

[2] Текстильные артефакты были найдены в тройном женском погребении (мог. 13а/1,2; 13/б), и в парном мужском (мог. 20). Это большие фрагменты костюмов, включая композитный женский головной убор и трубчатый женский пояс; а также части напольных покрытий, остатки войлочных и меховых изделий. На полу «царской» камеры были обнаружены крошечные кусочки плотного паласа, — предположительно, напольного ковра: один из них сохранился в углу, под зернами, второй – за бронзовым сосудом, третий – под чеканом, еще один лежал под бронзовым зеркалом перед лицом мужского скелета.

типа 3.[1] Сопоставленные, эти сведения дают основание предположить, что все четыре фрагмента были частью единого ковра, сделанного из сшитых полотнищ и закрывавшего дощатый пол камеры. Вполне вероятно, что ковер имел рисунок, во всяком случае, его центральная часть.[2] В любом случае, наличие репсового эффекта и другие показатели позволяют отнести все четыре фрагмента к группе килимов.

Другие текстильные находки из А-2 происходят из мог. № 13 и 20. Они многочисленны и разнообразны, и включают два типа килимного твайна. Один из них представлен фрагментами постилочных ковров, найденных в женском и мужском захоронениях (рис. 10 – см. цветную вклейку).

Таблица 6

Килим «тигровая шкура». А-2, мог. 13/а,б; 20. VII в. до н. э.

Название	Основа					Уток				Переплетение, особые приемы
	Материал	Структура	Крутка витки/см	Цвета	Плотность концы/см	Материал	Структура	Цвета	Плотность прогоны/см	
Килим «тигровая шкура»	шерсть	Z2S	~6	светлая серо-коричневая смесь	6—7,5	шерсть; растительное(?) волокно	Z2; Z1—Z4, Z2S	пурпурно-красный, желто-серый, цвет верблюжьей шерсти, оливково-зеленый, слоновая кость, серебристо-серый	20—22; 22—28	твайн; зацеп по основе, эксцентрические и флотирующие утки

Оба рассматриваемые образца выполнены в технике килимного твайна, с зацепом по основе, с эксцентрическими и дополнительными флотирующими утками. Основа Z2S, слабой крутки. Утки шести цветов: пурпурно-красный, светлый желто-серый, цвета верблюжьей шерсти и слоновой кости, оливково-зеленый, серебристо-серый. Структурно нити утка – Z1–Z4 и Z2S, в основном Z2. Материал – шерсть, однако возможно, что нити серебристо-серого цвета сделаны из растительного волокна. Плотность основы 6–7,5 концов на сантиметр; утка 20–22 и 22–28 прогонов на сантиметр.

Следует подчеркнуть, что такого вида переплетение в литературе ранее не описывалось. Вполне возможно, что оно является локальным вариантом, разработанным на основе техники твайна. Последний, как уже говорилось, является более древней структурой, чем простое прямое переплетение, вытеснившее твайн из ближневосточной и среднеазиатской текстильной практики, однако он широко использовался (и используется по настоящее время) в ряде регионов Евразии, например, в Западной Сибири.

Рисунок ковров, в виде коротких извилистых линий, весьма необычен. Он может быть интерпретирован как изображение шкуры тигра – мотив, который был популярен в Цен-

[1] Кромки соединяемых полотнищ отогнуты на изнанку, подшиты и сшиты друг с другом по сгибам. Такая манера также характерна для А-1 (тип 3) и, как уже говорилось, использовалась и другими обитателями Степи, в частности, устроителями могильника Оглахты (таштыкская культура, Хакассия, 1–4 вв. н. э.) (*Панкова,* 2005).

[2] По мнению К. Чугунова, этот фрагмент может быть частью мешочка для зеркала.

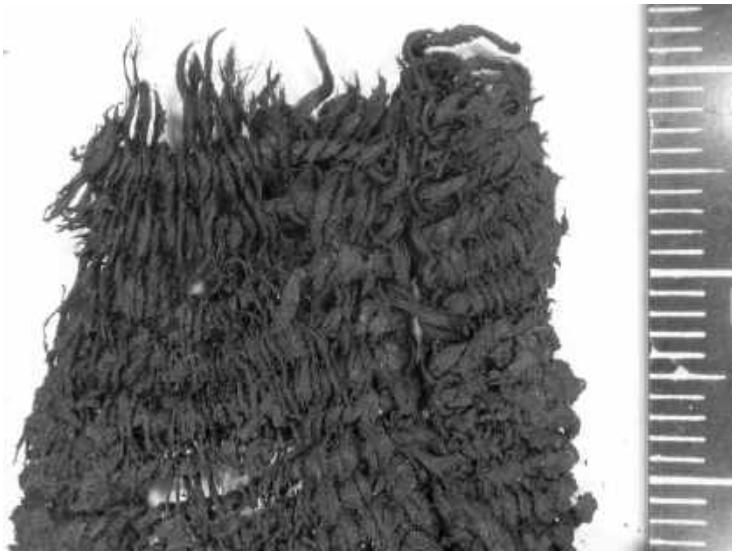


Рис. 9. Фрагмент постилочного ковра. Тува. А-2, мог.5, VII в. до н. э.
(Фото Н. В. Царева, 2007 г.).

тральной Азии на протяжении тысяч лет. Прототипом можно считать узор шерстяного покрывала из Сяохэ, Лобнор, датируемого 2200–1100 гг. до н. э. (*Ursprünge,* 2007, p. 112–113). Сопоставимы по рисунку бактрийские вышивки из Ноин-Улы с изображениями тигриных шкур (1 в. до н. э.).[1] Но еще ближе к рассматриваемым образцам декор узелкового ковра центрально-азиатского происхождения, датируемый I в. до н.э. – IV в. н.э. (Glanz der Himmelssöhne, 2005, fig. 1).

Второй, еще более необычный тип килимного твайна из А-2 представлен изысканными по технике изготовления и декору фрагментами двух женских трубчатых поясов из мог. 13 (рис. 11 – см. цветную вклейку).

Утки, пяти цветов, имеют различную структуру: серо-белый, Z2; пурпурный, Z4; кармин, Z5; темно-коричневый и светло-серый, Z2S. Все нити шерстяные, кроме светло-серых, волокна которых больше похожи на растительные. Утки работают по принципу килимного твайна с крошечными зазорами, зацепом по основе, прокидами на изнанке и сплошного эксцентрического переплетения.

Система организации основы (серая, Z2S), не определена. Ближайшими аналогами являются два образца тесьмы, найденные в поселениях долины реки Керия (VIII в. до н. э. – V в. н. э.), Хотанский район. В них также использован твайн и близкая схема основного переплетения, но, к сожалению, авторы не дают точного описания структуры фрагментов, указывая только на применение твайна, так что характер основного переплетения остается невыясненным (Recent Excavations, 2002, fig. 01, 03).

Необычный рисунок поясов напоминает языки пламени – мотив, который, похоже, был типичным для художественных памятников Аржана: мы видим его на разных пред-

[1] Сшивной потолочный ковер из ноин-улинского кургана № 6, частью которого являются вышивки с тиграми, экспонируется в Ноин-улинском зале ГЭ. Изображение см.: *Руденко,* 1962, табл. L.

метах, и даже расположение бляшек на плаще вождя и его спутницы (царская камера) имитирует языки пламени.[1]

К сожалению, на данном этапе не представляется возможным сравнить килимы А-2 с другими текстильными находками из этого кургана. Для проведения такой работы нам придется ждать момента, когда они будут демонтированы с костей погребенных и вычищены. Без этого получить корректные данные о структуре нитей и переплетений невозможно, следовательно, невозможно и описать ткачество племен Аржанской конфедерации VII в. до н.э. Но, уже сейчас можно отметить, что килимные твайны из А-2 образуют особую группу и, вероятно, представляют древнейший вид этого вида тканей в Евразии, напрямую связывающий эту технику ткачества с корзиноплетением. Вполне вероятно также, что, в отличие от представленной в А-1 среднеазиатско-ближневосточой текстильной традиции, техника создания выявленных в А-2 килимных твайнов, впрочем, как и ряда других структур, не рассматриваемых в данной статье, сформировалась под влиянием носителей иных текстильных культур Южной Сибири.

«Это было бы невероятно важное открытие и без найденного золота, – сказал К. Чугунов. – Не построен акрополь в Афинах, греки едва успели основать свою первую колонию в Северном Причерноморье, нет еще Персидской империи, в Китае не знают железа, не рожден еще Будда… А глубоко в сердце Азии расцветала изысканная скифская культура, носители которой создавали величественные пирамиды степей, украшали свои одежды крошечными золотыми фигурками зверей и ткали фантастические полупрозрачные полотна и «пламенеющие» килимы» (из интервью для журнала «Hali», Лондон. Опубликовано: *Tsareva,* 2005, p. 108).

Этим эмоциональным высказыванием Константина Чугунова мы заканчиваем обзор аржанских килимов и переходим к пазырыкским. Последние были найдены в «замерзших» курганах Пазырыкской долины Горного Алтая, наряду с почти 200 текстильными фрагментами и целыми артефактами. Килимы, как было сказано выше, были обнаружены в ПК-2 и ПК-5, датируемых, соответственно, V и серединой III вв. до н. э.

Первый из больших пазырыкских курганов был раскопан в 1929 г. М. П. Грязновым (1950), следующие четыре – в 1947–1949 гг. экспедицией С. И. Руденко (*Руденко,* 1953). Бесценные текстильные находки из пазырыкских курганов достаточно хорошо изучены и опубликованы изначально самим С. И. Руденко (1953, 1968). Однако 50 и даже 10 лет назад мы знали гораздо меньше о текстильной культуре саков, чем знаем сейчас, особенно после серии выставок и публикации материалов из поселений бассейна реки Тарим[2] и Ак-Алахинских курганов.[3] Особую важность для изучения ПК имеет серия комплексных исследований, опубликованных Н. В. Полосьмак и в значительной части посвященных изучению текстиля (*Полосьмак, Баркова,* 2005; *Полосьмак и др.*, 2006).

Можно было бы предположить, что в Пазырыкских курганах, территориально близких к Аржану и относящихся к скифо-сакским памятникам Южной Сибири, должно было быть много килимов. Однако это не так: в восьми раскрытых курганах археологи нашли только два предмета. Это женская юбка из ПК-2 и конская попона из ПК-5. Сказанное не означает, что так было изначально, поскольку наши знания о находках полностью зависят

[1] Расположение бляшек in situ см.: (Аржан, 2004, с. 25).

[2] Важнейшей и наиболее полной публикацией таримских килимов является каталог выставки 2001 г. в Абегг-Штифтунге (Fabulous, 2001). Важная информация содержится также в каталоге берлинской выставки 2007 г. (Unsprünge der Seidenstraße, 2007) и в опубликованной в 2002 г. коллективной монографии китайских археологов (Recent Excavations, 2002).

[3] Текстильные находки из Ак-Алахинского некрополя опубликованы главным образом Н. В. Полосьмак (1994, 2001).

от раскопочного материала. Ткани плохо сохраняются даже в непотревоженных памятниках: примером может служить А-2, в царской камере которого ткани буквально «растворились». И, конечно, множество текстильных памятников было унесено или уничтожено во время разграбления курганов, как это случилось с центральными камерами больших тумулусов Пазырыкского некрополя. Находившийся за пределами камер инвентарь конской части захоронений был труднодоступен и, возможно, менее ценен для грабителей, благодаря этому большая часть пазырыкских тканей была найдена именно в конских захоронениях.

Важным исключением стал ПК-2. Когда он был открыт, археологи увидели необычную картину, показывавшую, что попытка разграбления была произведена, однако воры бросили вещи, возможно, спасаясь от стражи некрополя. В результате этот курган сохранил много предметов, которые не были обнаружены в других пазырыкских тумулусах, и в их числе композитную юбку (рис. 12 – см. цветную вклейку).[1]

Таблица 7

Композитная юбка. ПК-2. Около 300 г. до н. э.

Название	Основа			Уток			Переплетение, особые приемы	Шов	Заделка боковин
	Структура	Цвет	Плотность концы/см	Структура	Цвета	Плотность прогоны/см			
Полотнища b-1,3	Z2S	коричневый	10–11	Z1	пурпурно-красный, фиолетово-коричнев., рыжий, желтый, св. желтый, оливково-зеленый, сине-зеленый, синий, св.серо-коричнев., св. серый; смесь: красный/синий, фиолетовый/синий	45–48	простое прямое; репсовый эффект; зазоры; зубчики; прокиды утка на лице и обороте	соединительный через 3 мм	простой поворот утка
b-2	Z2S	коричневый	8	Z1	2 оттенка красного, фиолетово-коричневый, рыжий, св. желтый, бирюзовый, сине-зеленый; смесь: красный/фиолетово-коричневый, синий/красный	48–52	простое прямое; репсовый эффект; зазоры; зубчики; прокиды утка на лице и обороте	соединительный через 3 мм	простой поворот утка

Однако в момент раскопок С. И. Руденко и его экспедиция не имели данных, которые позволили бы идентифицировать эту находку: фрагменты юбки были атрибутированы как

[1] О композитных юбках, в том числе и Пазырыкской, см.: *Царева,* 2008.

части ковра ближневосточной работы. Они были правильно опознаны Н. В. Полосьмак, причем уже после того, как она раскопала на Алтае курган Ак-Алаха-3 с женской мумией, одетой в безузорную юбку того же композитного типа, что пазырыкская (*Полосьмак,* 2001, рис. 85).

Юбка из ПК-2 (ГЭ, инв. № 1684 – 244–250; 1684 – 583–584) составлена из девяти частей, собранных в шесть горизонтальных полотнищ. Три (a – 1, 2, 3) из них выполнены в саржевом переплетении 1:2; еще три (b – 1, 2, 3) – в килимном.

Приведенные в табл. 7 структурные показатели всех трех килимных полотнищ отмечают использование простого прямого переплетения с сильным репсовым эффектом, выраженными зазорами, приемом эксцентрического ткачества и прокидами утка с лица (через две нити основы) и изнанки (более длинные). Практически идентичны и другие структурные показатели всех трех полотнищ. Так, основа повсеместно Z2S, коричневого цвета; уток – Z1. Различия касаются только плотности переплетения и расцветки уточных нитей.

Плотность тканей (10–11 × 45–48/см) и расцветка указывают, что части b-1 и b-3 принадлежали одному полотнищу. Их цветовая гамма, из 12 тонов, демонстрирует богатую палитру, включающую смешанные оттенки, полученные прядением волокон разных цветов (красного и синего и пурпурного и синего). Данный метод прядения не уникален, однако другие ткани с аналогичным приемом, в частности, коптские петлевые ковры и килимы, относятся к более позднему времени.

Третье полотнище (b-2) имеет несколько меньшую плотность: восемь основ и 48-52 утка на сантиметр; и более простую цветовую гамму из девять тонов, включая два смешанных: красный с пурпурным и синий с красным.

Небольшая ширина всех трех панелей: от 9,5 до 11,5 см – предполагает использование узконавойного станка, возможно, наспинного, до сих пор используемого в архаических текстильных культурах Евразии (*Попов,* 1955).

Рисунок полотнища b-1 образован зигзагами, составленными цепочками разноцветных пирамидок с завитком на вершине. Декор центрального полотнища b-2 более геометричен, его детали крупнее.

Простой на первый взгляд (рис. 13 – см. цветную вклейку), орнамент, в действительности очень сложен и многослоен: фон отсутствует, все элементы соединены в бесконечные ряды, образующие три уровня рисунка. Мы видим пары завитков, соединенных в цепи S-образных фигур с промежуточными Г-образными элементами и составляющих зигзагообразные и вертикальные линии, создающие «пламенеющий» эффект. Образ «пламени» связывает рисунок с орнаментами А-2, хотя отличия в технике обусловливают вариантность иконографии.

Манера килимного ткачества юбки из ПК-2 своеобразна и выраженно отличается от выявленных в А-1 и А-2 структур, не говоря уже о ближневосточных или китайских образцах рассматриваемого времени. Однако близкородственные аналоги существуют: они происходят из поселений бассейна реки Тарим последних веков до н. э., в первую очередь находок из Шампулы. Сказанное относится главным образом к принятой у носителей названных памятников технике килимного ткачества, но в определенной степени также и к рисунку некоторых доэллинистических по стилю килимных полос (Fabulous, 2001, fig. 89).

Что касается схемы сборки композитных составляющих юбки из ПК-2, ее ближайшие аналоги обнаруживаются также среди находок из Шампулы: характерным примером служит вышеназванный фрагмент (Fabulous, 2001, fig. 89). Система его сборки несколько

отличается от принятого в Тариме варианта,1 однако принадлежность всех выявленных типов к культуре саков не вызывает сомнений. Помимо таримских и ак-алахинской, в качестве аналога можно также назвать юбку из могильника Оглахта, принадлежащую к более поздней таштыкской культуре I–IV вв. н. э., но имеющую множество сходных характеристик, включая, как было сказано выше, тип соединительных швов и заделку кромок (*Панкова,* 2005).

Последние из рассматриваемых в статье предметов – килимное покрытие конской попоны и нагрудного ремня из ПК-5 (ГЭ инв. № 1687-100/1a,b; 2) (рис. 14 – см. цветную вклейку). Как уже говорилось ранее, ПК-5, датируемый сегодня серединой III в. до н. э., был разграблен еще в древности. Неповрежденным осталось захоронение коней, и именно там археологи нашли наиболее яркие текстильные памятники саков, включая рассматриваемую попону и нагрудный ремень.

Сама попона, прямоугольной формы, сделана из белого войлока и имеет 235 см в длину и 60 см в ширину. Оба конца ее покрыты панелями, составленными из фрагментов гобелена с пурпурным фоном и геометрическим рисунком. Панели окантованы узкой полоской другого, разрезанного на кусочки гобелена оттенков светло-синего и цвета слоновой кости, с изображениями пар женских фигур перед курильницей. Ремень, в виде длинной, сшитой из двух частей узкой полосы, имеет аналогичную окантовке цветовую гамму и представляет шествие львов (рис. 15 – см. цветную вклейку).

Таблица 8

Покрытие торцов конской попоны (IV в. до н. э. или ранее). ПК-5 (III в до н. э.)

Название	Основа				Уток				Переплетение, особые приемы
	Материал	Структура	Цвет	Плотность концы/см	Материал	Структура	Цвет	Плотность прогоны/см	
Пурпурный килим	Шерсть	Z2S	коричневый	20—23	шерсть, лен	Z1; Z2S	4 оттенка пурпурного, 2 фиолетово-синего, св. коричневый, оливковый, цвет верблюжьей шерсти, белый (лен)	80—90 фон; 100—130 орнаментированные части	простое прямое с репсовым эффектом; зубчики, эксцентричность *лэйзи лайнз*,[2] сумашный прием

Основываясь на рисунке, С. И. Руденко назвал обе ткани «иранскими», и датировал их ахеменидским временем. Датировка и культурная принадлежность не вызывают сомнений, но место производства разных частей попоны требует уточнения.

[1] Число фрагментов точно сосчитать невозможно из-за значительных утрат, особенно больших в центральной части панелей.

[2] *Лэйзи лайнз* – термин, обозначающий диагональные линии крошечных уточных зазоров, встречающихся в коврах и широких художественных тканях. Такие зазоры появляются на изделиях, которые ткут два мастера или более, работающие с разной скоростью. Естественно, что в такой ситуации уток прокидывается не от края до края изделия, но каждым мастером на его участке, с поворотом на границе участка. Во избежание образования длинных зазоров точки поворота располагают по диагонали, их-то и называют лэйзи лайнз.

Рассмотрим исследуемые ткани. Все три выявленных типа принадлежат к килимам простого прямого переплетения, но в двух разных вариантах. А именно: с зацепом по основе в пурпурной ткани и с зазором в окантовке и ремне.

Две панели пурпурной ткани, служащие покрытием обоих концов попоны, сшиты приблизительно из 40 фрагментов, многие из которых близки по форме к треугольнику.

Основа пурпурного покрытия сделана из шерсти коричневого цвета, Z2S. Утки – из шерсти и льна (белый цвет), Z-пряденые; дополнительные узорообразующие утки тонкие и рыхлые, Z2S.

Цветовая гамма состоит приблизительно из десяти оттенков: четыре пурпурных, два фиолетово-синих, светлый коричневый, оливковый, цвет верблюжьей шерсти и белый (лен). Все нити сделаны из предварительно окрашенного волокна. И – уникальный случай – для получения пурпурного и фиолетово-синих тонов применен краситель из натурального пурпура двух моллюсков (*Гавриленко, Григорьева,* 2005).

С точки зрения структуры ткань представляет исключительный по качеству образец гобеленной техники (рис. 16 – см. цветную вклейку). Использованные приемы – зубчатые вертикальные контуры, эксцентрические утки, использование параллельных основе дополнительных окантовок по типу сумаха с шагом 3–3,5 мм. Плотность по основе: 20–23 конца/см; по утку: 80–90 прогонов/см в фоновой части и 100–130 в узорной. Эта уникальная плотность достигнута за счет поразительной тонкости нитей: 10 mkm в основе и еще меньше – в утке.

Фон показывает множественные диагональные зазоры, образованные лэйзи лайнз. Это предполагает значительную ширину килима и участие в его создании по меньшей мере двух мастеров. Ткань очень легкая, почти невесомая. И я хочу повторить: мы видим настоящий шедевр текстильного искусства, вне зависимости от того, кто его сделал и когда.

Перфектность рассмотренной ткани в ее невероятной тонкости, плотности, использовании в качестве красителя пурпура и в красоте дизайна. Примененная манера ткачества достаточно хорошо известна: мы видели ее вариант в древнейшем известном гобелене, найденном в пирамиде Тутмоса IV, предположительно, сирийской работы (*Barber,* 1991, colour pl. 1). Что касается происхождения пурпурной ткани из ПК-5, по моему мнению, наиболее вероятным местом ее производства могла быть Сирия; ниже излагаются основания для такой атрибуции.

Египет, известный традицией точной изобразительной и письменной фиксации событий внутренней и международной жизни, является бесценным источником сведений по истории Древнего мира. Так, благодаря Annals Тутмоса III мы знаем, что килимная техника была принесена фараонами 18 династии в Египет в XV в. до н. э., когда, как уже говорилось, сотни пленных сирийских «изготовителей тканей» были переселены в Та Кемет и, по мнению Розалинды Холл, работали там, «возможно, обучая египтян азиатскому искусству изготовления гобеленов» (*Hall,* 1986, p. 18). Представление о характере сирийских художественных тканей дает изображение сирийского принца на росписи XII в. до н. э. из дворца Рамзеса III (*Pemberton, Fletcher,* 2004, p. 181).

В период той же 18 династии в изобразительном искусстве Египта появляется новый сюжет: широкий вертикальный стан с двумя работающими ткачами[1] (именно это объясняет появление в тканях лэйзи лайнз). У нас есть основания предполагать, что аналогичная техника использовалась и в самой Сирии в это время и позже, в ахеменидский период,

[1] Изображение таких станков см., например: *Hall,* 1986, fig. 8.

когда Сирия была завоевана Ираном. Стабильность приемов была и остается столь прочной, что идентичный метод ткачества практикуется в стране по настоящее время.

Но могла ли пурпурная ткань из ПК-5 все же быть изготовлена в Египте? Есть ли свидетельства ее неегипетского происхождения, кроме косвенных? Да, и одно из важнейших – Z-прядение нитей, что, как мы писали ранее, характерно для Евразии и не характерно для Египта, предпочитавшего S-прядение.

Другое основание – использование пурпура. Развитый минойской цивилизацией способ выделения пурпура из раковин Purpura haematostoma, Murex, Thais, Nucella в XIII–XV вв. до н. э. достиг Восточного Средиземноморья, в частности Сирии. Угаритские тексты того времени говорят об экспорте красителя и окрашенных пурпуром тканей (*Thureau-Dangin,* 1934, p. 137–146; *Schaeffer,* 1951, p. 190–192) и подчеркивают, что из-за недолговечности пурпура крашение происходило обычно там, где его производили.

В тех же угаритских текстах достаточно много говорится о высоком искусстве ткачества у сирийцев и также упоминается, что они красили волокно до прядения, в отличие от египтян, которые предпочитали окрашивать уже готовую пряжу. Таким образом, сопоставление технических данных указывает на то, что либо нити пурпурного килима, либо, скорее, сама ткань были сделаны в Восточном Средиземноморье.

О том же говорит и украшающий ткань орнамент, представляющий ряды подквадратных фигур со сложным заполнением. По общему мнению историков, эти мотивы являются изображениями какого-то архитектурного строения. Указанием на прототипы могут служить рельефы на обороте ряда иранских монет, например, рельеф на реверсе серебряной тетрадрахмы Вахубарза, царя Парса в конце III–II вв. до н. э., представляющий, по мнению В. Г. Луконина, «... храм, возможно ... "Каабу Зороастра" в Накши-Рустаме, "тюрьму Соломона" в Пасаргадах или другое здание такого типа ...» (*Луконин,* 1977, с. 113–114). Еще ближе по форме изображение мидийской крепости времени Саргона II (721–705) на рельефе дворца в Хорсабаде (Дур Шаррукин) и крепости на рельефе Тиглатпилсесарса III (745–727) во дворце Калху, Ассирия (сегодня известен как Нимруд) (*Hrouda,* 2003, p. 136). Особого упоминания заслуживает изображение модели здания, подносимой Саргону II в составе трофеев (рельеф дворца в Хорсабаде) (*Hrouda,* 2003, p. 350).

Что касается композиции рисунка килима в целом, ближайшим аналогом является ткань верхней одежды одного из «бессмертных» стражей, «охранявших» вход во дворец в Сузах, построенного Дарием Великим в 515 г. (рис. 17 – см. цветную вклейку). Мы видим, что пурпурный килим из ПК-5 и ткань одежды эламита имеют идентичный узор, отличающийся только цветом. Это предполагает, что в VI в. до н. э. в Ахеменидской империи килимы такого типа изготавливались в нескольких расцветках. Исторические сведения сообщают, что в Древнем мире ношение крашеной пурпуром одежды было привилегией персон высочайшего ранга, и краску эту называли «царским пурпуром».

Сказанное предполагает, что пурпурная ткань из ПК-5 была произведена в ахеменидский период где-то в восточно-средиземноморской части империи, скорее всего в Сирии. Изношенность и фрагментарное состояние ткани указывают на ее долгое использование. А клинообразная форма многих составляющих покрытие фрагментов дает возможность предположить, что оно было сшито из остатков одежды, причем именно того сузианского типа, который мы видим на эламите.[1] При этом высочайшее качество килима и применение пурпура при его окраске говорят о парадном характере использованного для украшения попоны костюма, который должен был принадлежать лицу с высоким социальным статусом, — вполне возможно, одному из ахеменидских шахиншахов.

[1] О крое одежды этого типа см.: *Горелик,* 1980.

Что касается датировки, то, судя по ахеменидскому стилю рисунка и по разрушенному состоянию покрытия, ткань была сделана задолго до строительства ПК-5, предположительно, в IV в. до н. э. или ранее (ПК-5 датируется серединой III в до н.э. и, соответственно, относится к эллинистическому периоду).

Таблица 9

Египетские килимы окантовки попоны и нагрудного ремня (IV вв. до н. э.) ПК-5 (III в. до н. э.)

Название	Основа				Уток				Переплетение, особые приемы
	материал	структура	цвета	плотность концы/см	материал	структура	цвета	плотность прогоны/см	
Килимы «жрица и служанка» и «шествие львов»	шерсть	S2Z	слоновая кость, беж	18—22	шерсть; лен	S; S2	светлый пурпурный, синий, бирюзовый, коричневый, цвет верблюжьей шерсти, светло-серый, белый	80 фон – 90 рисунок	простое прямое; зазоры; зацеп по основе, сшивка, зубчики, эксцентричность; диагональное оконтуривание

Не менее интересной оказалась работа над окантовкой обшивки попоны, составленной из разрезанного на кусочки килима, иного по цвету и структуре (рис. 3). Реконструированный рисунок представляет пары женских фигур перед курильницей, – по мнению С. И. Руденко, жрицу и служанку (*Руденко,* 1953, рис. 190). Сюжет, как и композиция, хорошо представлен в искусстве Ближнего Востока ахеменидского времени, в том числе и на печатях (*Hicks,* 1975, p. 81)

Технические характеристики окантовки «жрица и служанка» идентичны структурным показателям нагрудного ремня с рисунком «шествие львов». Так, основа обеих тканей сделана из шерсти цвета слоновой кости и беж и имеет египетское прядение и сучение S2Z. Утки также S-пряденые, из шерсти и льна, 7 тонов. Цвета шерстяных нитей: светлый пурпурный, синий, бирюзовый, коричневый, цвет верблюжьей шерсти; льняных: светло-серый и белый. Волокно окрашено перед прядением.

Технически ткань представляет килим с зазором, с редкими (через 2,5–3 мм) зацепами по основе и сшивными утками через 2 мм. Другие приемы включают эксцентрические утки и диагональное оконтуривание. Плотность по основе: 18–22 конца на сантиметр; по утку: от 80 (фон) до 90 (рисунок) прогонов на сантиметр.

Нагрудный ремень (рис. 15 – см. цветную вклейку), аналогично другим частям комплекта, является «римейком». Как уже было сказано, он имеет те же структурные характеристики, что и обшивка, так что можно утверждать, что обе ткани были сделаны не только в одно время, но и в одной мастерской. Что касается места их производства, то, судя по структуре нитей и по использованным приемам ткачества, обе ткани были сделаны в Египте. Время производства близко или совпадает с датировкой пурпурного килима.

Использование египетскими ткачами ахеменидского художественного стиля не является чем-то необычным. Во время строительства дворца в Сузах Ахеменидская импе-

Рис. 18. Изображение Ксеркса на западном дверном столбе северного входа в Главный зал Гарема Персеполиса. Публикуется по: *Tilia,* 1978, fig. 6.

рия достигла вершины своего могущества и экспансии: власть шахиншахов распространилась далеко за пределы Ирана и простиралась на весь Ближний Восток, Египет, Закавказье, Бактрию и Согдиану, то есть на большую часть текстильных центров Древнего Востока. Подобно другим завоевателям, персы активно использовали искусство и труд подчиненного им населения и с удовольствием принимали подносные сокровища, в том числе и ткани, как показывают сцены вручения даров на рельефах Персеполиса.

Рассмотрим еще некоторые интересные аспекты изучения попоны и начнем с сюжета изображений на ремне, использующих популярный на Ближнем Востоке мотив шествия львов. Благодаря ахеменидским памятникам нам известны воспроизведения тканей почти с тем же рисунком. Одно из них украшает балдахин над головой Ксеркса на рельефе арки в южной стене Зала 100 колонн в Персеполисе (Forgotten Empire, 2005, fig. 38).

Еще ближе к ремню – как по размеру, так и по рисунку – оторочка рукавов одежды Ксеркса, изображенного на западном дверном столбе северного входа в Главный зал Гарема Персеполиса (рис. 18). Мне представляется очевидным, что конский нагрудник со львами из ПК-5 изначально был изготовлен как такая окантовка.

Особая черта декорированной одежды населения Восточного Средиземноморья I тыс. до н. э. – ее композитный характер. Окантовки и другие орнаментированные части изготавливались отдельно и затем либо сшивались с основными полотнищами, либо нашивались на них. Соответственно, один предмет костюма мог состоять из разных по декору, технике, месту производства и даже времени изготовления тканей. Именно поэтому у нас есть основания предполагать, что пурпурное покрытие попоны, ее оторочка и ремень являются остатками когда-то единого, сшитого из роскошных сирийских и египетских килимов парадного одеяния того типа, которое носил Ксеркс и, возможно, другие иранские шахиншахи.

Что касается контактов между пазырыкцами и Ахеменидским Ираном (550–331 гг. до н. э.), на настоящий момент мы не можем точно определить весь их объем, интенсивность и характер: были они военными, дипломатическими или торгово-обменными, проходили напрямую или через посредников. Однако то, что эти контакты существовали, доказывается некоторыми находками из ПК-5. В первую очередь к ним относится знаменитый Пазырыкский узелковый ковер, а также рассмотренные в статье драгоценные узорные килимы. Помимо письменных упоминаний древних авторов, об этом говорят, например, изображения на печатях ахеменидского времени, одна из которых рисует момент столкновения между саками и парсами (рис. 19).

Рис. 19. Персы и сака (справа). Оттиск печати ахеменидского времени. Публикуется по: *Mallory, Mair,* 2000, fig. 42.

Подведем итог. Обнаруженные в курганах ранних кочевников Тувы и Алтая килимы демонстрируют по крайней мере пять типов килимного переплетения, практиковавшихся населением Ближнего Востока и в Центральной Азии в IX–III вв. до н. э. 1) Один из них был разработан в Восточном Средиземноморье и может быть назван сирийской «школой»; на ее основе сформировалась также 2) египетская манера килимного ткачества (ПК-5). 3) Третий тип, видимо, был сформирован центрально-азиатским городским населением и предположительно восходит к текстильной культуре БМАК (А-1). 4) К последнему тяготеет скифо-сакская традиция (ПК-2); и 5) резко отличается от предыдущих локальный(?) южносибирский вариант (А-2).

Попытки подобной классификации ранних килимов прежде не производились, поэтому подчеркнем, что предложенные названия первичны и достаточно условны. Однако надеемся, что приведенные в тексте описания выделенных типов достаточно детальны и дают ясное представление об особенностях всех названных вариантов, а также о тех изменениях, которые происходили в рассматриваемый период в ткацких техниках Южной Сибири.

В связи со сказанным уместным представляется привести цитаты из антропологических работ Т. А. Чикишевой по алтайскому материалу, соотносимые, как нам представляется, с результатами изучения не только пазырыкских, но и аржанских тканей. «По данным антропологии, расогенез основного антропологического пласта пазырыкской культуры, который характеризуется монголоидно-европеоидной промежуточностью, уходит корнями в предшествующие эпохи и связан с представителями окуневско-каракольского и карасукского круга культур эпохи развитой и поздней бронзы» (*Чикишева,* 1996). Что касается признаков переднеазиатских влияний, они объясняются не только «очевидными контактами в скифское время, но и общими элементами в структуре расогенетических связей у населения Алтая со скотоводами, обитавшими на территории Парфии, Маргианы, Северной Бактрии» (*Чикишева,* 1997).

В заключение работы я хочу поблагодарить моих друзей и коллег из Государственного Эрмитажа за любезно предоставленные материалы и бесценную помощь в работе. Это Л. Л. Баркова, Л. С. Марсадолов и К. В. Чугунов, хранители рассматривавшихся коллекций; Н. В. Царев, предоставивший мне структурные описания и другую информацию по аржанским тканям, а также Л. С. Гавриленко и И. А. Григорьева, авторы анализов по определению волокон и красителей. И, конечно, Н. В. Полосьмак, из Сибирского отделения РАН, которая пригласила меня в проект «Пазырык» и тем самым инициировала работу над пазырыкской частью данной статьи.

Литература

Алексеев А. Ю., Боковенко Н. А., Васильев С. С., Дергачев В. А., Зайцева Г. И., Ковалюх Н. Н., Кук Г., Плихт Й., Посснерт Г., Семенцов А. А., Скотт Е. М., Чугунов К. В. Евразия в скифское время: радиоуглеродная и археологическая хронология. СПб., 2005.

Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989

Андреева Ж. В., Гарковик А. В., Царева Е. Г., Яншина О. В. Древнейший текстиль в памятниках археологии юга Дальнего Востока России // VI Конгресс этнографов и антропологов России. Доклады и выступления. СПб., 2005.

Артамонов М. И. Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. М., 1973.

Аржан – источник в Долине царей. Археологические открытия в Туве. СПб., 2004.

Восстановление первоначальных красок ковра из Ноин-Ула \ И. А. Орбели (Ред.). М.-Л., 1937.

Гавриленко Л. С., Григорьева И. А. Красители шерстяного чепрака из 5-го Пазырыкского кургана // VI Конгресс этнографов и антропологов России. Доклады и выступления. СПб., 2005. С.151–152.

Горелик М. В. Об этнической идентификации персонажей амударьинского клада. Л., 1980. С. 36–46.

Грязнов М. П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950.

Грязнов М. П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л., 1980.

Грязнов М. П. Начальная фаза развития скифо-сибирских культур // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1983а.

Грязнов М. П. Раннесакские памятники Киргизии в свете событий VIII–VII в. до н. э. в степях Евразии // Культура и искусство Киргизии: ТДВНК, 1983б.

Грязнов М. П., Маннай-Оол М. Х. Курган Аржан – могила «царя раннескифского времени // УЗ ТНИИЯЛИ. Кызыл, вып. 16, 1973.

Деревянко А. П., Шуньков М. В., Агаджанян А. К., Барышников Г. Ф., Малаева Е. М., Ульянов В. А., Кулик Н. А., Постнов А. В., Анойкин А. А. Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая. Условия обитания в окрестностях Денисовой пещеры. Новосибирск, 2003.

Дубова Н. А., Царева Е. Г. Текстиль Гонура в контексте бактрийско-маргианского археологического комплекса // VI Конгресс этнографов и антропологов России. Доклады и выступления. СПб., 2005. С. 153.

Кононов В. Н. Засорение красок археологических памятников в почве // Сообщения Государственной академии истории материальной культуры. № 2. Л., 1931.

Кызласов Л. Р. Уюкский курган Аржан и вопрос происхождения сакской культуры // СА. 1977. № 2.

Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М., 1979.

Лебедева Н. И. Очередные вопросы изучения прядения и ткачества. М., 1929.

Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977.

Мачинский Д. А. Земля аримаспов в античной традиции и «простор Ариев» в Авесте // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. Материалы международной конференции. СПб., 1998, с. 3–13.

Мандельштам А. М. Ранние кочевники скифского периода на территории Тувы // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 178–196.

Марсадолов Л. С., Царев Н. В. Ткани из кургана Аржан в центре Азии // Пятые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск, 2000. С. 72–75.

Минасян Р. С. Способы литья удил в предскифское и скифское время // Элитные курганы степей Евразии с скифо-сарматскую эпоху. СПб, 1994. С. 157–163.

Молодин В. И. Этногенез, этническая история и исторические судьбы носителей Пазырыкской культуры Горного Алтая // Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики). Вып. 1. Новосибирск, 2003.

Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики) \ В. И. Молодин (Ред.). Вып. 1. Новосибирск, 2003.

Панкова С. Композитная юбка из могильника Оглахты в Южной Сибири // VI Конгресс этнографов и антропологов России. Доклады и выступелния. СПб., 2005. С. 159–160.

Пламеневская О. А. Некоторые сведения о тканях из кургана Аржан // УЗТНИИЯЛИ. Вып. XVII. Кызыл, 1975. С. 199–206.

Полосьмак Н. В. «Стерегущие золото грифы» (Ак-Алахинские курганы). Новосибирск, 1994.

Полосьмак Н. В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001.

Полосьмак Н. В., Баркова Л. Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н. э.). Новосибирск, 2005.

Полосьмак Л. Л., Кундо Л. П., Балакина Г. Г., Маматюк В. И., Васильев В. Г., Карпова Е. В., Малахов В. В., Власов А. А., Краевская И. Л., Довлитова Л. С., Королюк Е. А., Царева Е. Г. Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV–III вв. до н. э. (опыт междисциплинарного исследования). Интеграционные проекты СО РАН. Вып. 5. Новосибирск, 2006.

Попов А. А. Плетение и ткачество у народов Сибири XIX и первой четверти XX столетия // Сб. МАЭ. Т. XVI. М.-Л., 1955. С. 119–139.

Пугаченкова Г. А. Шедевры Средней Азии. СПб., 1986.

Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953.

Руденко С. И. Культура хуннов и ноинулинские курганы. М.-Л., 1962.

Руденко С. И. Древнейшие в мире ковры и ткани. М., 1968.

Шишлина Н. И. Текстиль эпохи бронзы Прикаспийских степей // Текстиль эпохи бронзы Евразийских степей. М., 1999. С. 7–57.

Царев Н. В. Сравнительный анализ тканей из «царских» курганов Аржан-1, 2 // VI Конгресс этнографов и археологов России. СПб., 2005. С. 164.

Царева Е. Г. Килимный чепрак ахеменидского времени из 5-го Пазырыкского кургана // VI Конгресс этнографов и археологов России. СПб., 2005. С. 164–165.

Царева Е. Г. Каталог тканей из Пазырыкских курганов из собрания Государственного Эрмитажа // Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV–III вв. до н. э. Опыт междисциплинарного исследования. Вып. 5. Новосибирск, 2006. С. 232–261.

Царева Е. Г. «Скифские» ярусные композитные юбки: к вопросу о формировании типа // Материалы 11-й Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии». СПб., 2008. С. 216–222.

Чикишева Т. А. К вопросу об антропологическом сходстве населения пазырыкской культуры и сакской этнокультурной общности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 1997. С. 314–320.

Barber E. J. W. Prehistoric textiles. The development of cloth in the Neolitic and Bronze Ages. Princeton, 1991.

Bunker E. C. The cemetery at Shanpula, Xinjiang. Simple burials, complex textiles // Fabulous creatures from the desert sands. Central Asian woolen textiles from the second century BC to the second century AD (Riggisberger Berichte. 10). Abbegg-Stiftung, 2001. P. 15–45.

Central Asian textiles and their contexts in the Early Middle Ages. Riggisberger Berichte. 9. Abegg-Stiftung, 2006.

Chugunov K., Parzinger H., Nagler F. Der Goldschatz von Arzan. München, 2006.

Emery I. The Primary structure of fabrics, an illustrated classification. Wash. D. C., 1980.

Fabulous Creatures from the desert sands. Central Asian woolen textiles from the second century BC to the second century AD // Riggisberger Berichte. 10. Abbegg-Stiftung, 2001.

Hicks J. The Persians. Netherland, 1975.

Forgotten Empire. The world of ancient Persia \ J. Curtis, N. Tallis (Eds.). L., 2005.

Glanz der Himmelssöhne. Kaiserliche Teppiche aus China, 1400–1750. L., 2005.

Hall R. Egyptian textiles. Dyfed, 1986.

Hicks J. et al. The emergence of man. The Persians. Netherland, 1975.

Hrouda B. Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien. München, 2003.

Im Zeichen des goldenen Greifen. Königs Gräber der Skythen. Berlin, 2007.

Mallory J. P., Mair V. H. The Tarim Mummies. Ancient China and the mystery of the earliest peoples from the West. L., 2000.

Pemberton D., Fletcher J. Das Goldene Erbe der Pharaonen. München, 2004.

Pfister R., Bellinger L. The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale University and the French Academy of Inscriptions and Letters. Final Report IV. Part II. The Textiles. New Haven, L., Oxford, 1945.

Recent excavations of textiles in China \ Zhao Feng (Ed.). Hong Kong, 2002.

Sampula in Xinjiang of China – Revelation and study of ancient Khotan Civilization. Abeg-Stiftung – Urumqi, 2001.

Schaeffer C. F. A. Une Industrie d'Ugarit: la pourpre // Annales Archaeologiques de la Syrie. T. 1. 1951.

Secunda N. The Persian Army 560–330 BC. Oxford, 1992.

Siberia's Scythians – Masters of Gold. By M. Edwards // National Geographic. P. 114–129. June 2003.

Thureau-Dangin F. Un Comptoir de laine pourpre a Ugarit d'apres une tablette de Ras Shamra // Syria. 1934. T. 15.

Tilia A. B. Studies and restoration at Persepolis and other sites of Fars. Vol. II. Rome, 1978.

Trever K. Excavations in Northern Mongolia (1924–1925). L., 1932.

Tsareva E. The Valley of the Kings // Hali. Issue 140. 2005. P. 108.

Tsareva E. Einige Anmerkungen über die Struktur klassischer chinesischer Teppiche // Glanz der Himmelssöhne. Kaiserliche Teppiche aus China, 1400–1750. S. 187–195. L., 2006.

Tsareva E. Gonur Textiles // Sarianidi V. Necropolis of Gonur. 2nd edition. Athens, 2007.

А. К. Салмин

АША: АВЕСТИЙСКОЕ БОЖЕСТВО У ЧУВАШЕЙ

Аша или Аша турă – божество. Соответствует авестийскому понятию «Аша – порядок, истина, справедливость (принцип, правящий всем миром)» (*Бойс,* 2003, с. 334).

Корень слова – аш, т.е. «переходи, преодолевая препятствия (обычно в виде воды, грязи)» (ПМА. С. 188; ЧГИ 172. Л. 3об.; 209. Л. Л. 354 и др.). В киргизском *ас*, алтайском, башкирском и татарском *аш* означает то же самое: «через, сверх, перейти». Имя авестийского божества *Аша* этимологически соответствует ведическому Рта (Авеста, 1993, с. 8, 201; Зороастрийские тексты, 1997, с. 17). Полное совпадение этих терминов наблюдается и на семантическом уровне.

Аша как в чувашском пантеоне, так и в авестийских гимнах является символом разума и наилучшего распорядка. *Айван ашана казар пире* «Прости нам наше неразумение», – говорят чуваши в молениях. Авестийцы воспевали свое божество Аша в специальном гимне «Аша Вахишта-яшт». Поскольку зороастрийская религия в основе дуальная, божеству правды-праведности противостоит божество лжи *Друг*. Согласно зороастрийскому афоризму, «Есть лишь один путь, этот путь *Аша*, все остальное – беспутье» (*Брагинский,* 1987, с. 142). Как божество справедливости, Аша может благословить на праведные дела против зла и лжи. Так, в «Гимне Аши» Висташпа молит Аши:

Такую дай удачу,
Чтоб одолеть сумел я
Хьяонского злодея
Арэджатаспу лживого

(Авеста, 1990, с. 121).

Мост Чинват (= чуваш. мостик в обряде *юпа*) могут перейти лишь те, кто является преданным последователем *asha* – правды и порядка, т. е. *asha* приравнивается к ведическому *rta* – фундаментальному принципу индоиранской религии (*Gnoli,* 1995, p. 334). *Аша* («правда») является ближайшим помощником и опорой Ахура Мазды.

Поскольку любой человек – это всего лишь произведение Творца, а не божественная суть, то он склонен совершать ошибки и подвергаться соблазну. Поэтому рано или поздно придет время раскаяния. Божество *Аша* является тем лицом в пантеоне, к которому обращаются с просьбой простить за неразумные поступки, слова и мысли. Логично у него же просить разум и удачу. В словосочетании *Аша каçар* слово *каçар* буквально означает «переводи, способствуй переходу через трудное препятствие», а также приобретает переносное значение «прости». Так, в молении по случаю инициирования дождя, в частности, говорят: «Есть известные нам (правила), есть и неизвестные, Аша, прости». В домашних молениях во время еды каши в финале ритуала обязательно следует произнести: «Аша, прости нас». Позже смысл слова Аша был утерян, а выражение «Аша, прости» стали понимать только как «Пожалуйста, прости», «Прости из снисхождения», «Снисходительно прости» (*Магнитский,* 1881, с. 50, 71, 83 и др.).

В «Авесте» на этот счет имеются пространные толкования. Например, основательно объясняется, что перед Аша могут молиться только люди без физических и моральных изъянов.

Вот так сказала Аши
Благая: «Не приму я
Тех возлияний, что мне
Приносится мужчиной
Неплодием больным,
Ни женщиной бесплодной…»
Потом благая Аши
Пожаловалась плача
На шлюху, что ребенка
Родит с другим мужчиной
И мужу принесет…
Затем благая Аши
Пожаловалась плача:
«Ужасные проступки
Те люди совершают,
Что девушек уводят
И возвращают поздно
Бездетными назад»

(Авеста, 1990, с. 122–123)

Термин *Аша* в чувашской религии и мифологии часто встречается в сочетании *Аша патман карчăк* «старуха Аша патман». Например, в лечебных заговорах: «Из-за Волги, из-за Суры пришла невредимая старуха Аша, она дует, она плюет: пусть ее дуновение, пусть ее плевание будут полезными, пусть не будет нужды больше дуть». Согласно одному из вариантов, старуха эта проживает в озере в темном лесу, а лес – в степи. Волосы у нее золотые (седые, серебряные, медные), единственный во рту зуб – золотой (серебряный, железный), язык у нее стальной, посох железный, волосы медные, глаза жемчужные, а на cunnus'e – единственный пух. Как писал Н. И. Золотницкий, «старуха эта, по своему значению, должна принадлежать к числу добрых земных божеств» (*Золотницкий,* 1875, с. 177). В Авесте *Аша* тоже женского пола.

Что касается термина *патман* в этом словосочетании, то Н. И. Золотницкий объяснял его значение через глагол *пут* «погрузиться, вязнуть, тонуть», а *патман* есть отрицательное причастие настоящего-прошедшего времени и значит «не утопающий, невредимый».

Н. И. Золотницкому возразил Д. Мессарош: «Если бы Н. И. Золотницкий поискал среди суеверий соседних казанских татар, то не нужно было бы толковать ему все это в таком невозможном виде. В наговорах казанских татар тоже имеется старуха Аша патман… В конце нескольких таких татарских наговоров – в собранном нами материалах – находим такую фразу:

… Это не моя рука,
Рука Эйшэ батман'а.

Знахарь этим хочет сказать, что он не сам лечит, пришла *Эйшэ батман*, и ее рука действует, она дует (плюет), она колдует» (*Мессарош*, 2000, с. 264).

Н. А. Андреев-Урхи (1975) вместо *патман* советовал читать *атман* и видел связь с древнеиндийским *атман* (источник и носитель субъективного «Я»). Выходит, одни видят в мифической старухе невредимое божество, способное излечивать, а другие имеют в виду старуху, обладающую магической силой снимать сглазы и наговоры. В принципе, суть одна. К тому же, действительно, в чувашских текстах термин «старуха Атман» встречается.

Ее лечение всегда имеет положительный исход. Она не фигурирует в ритуалах с отрицательными целями. Например, в тексте заговора, записанном в 1927 г. от Д. Падимировой Н. Я. Золотовым, снимать сглаз из-за Волги приходит старуха *Аша патман*. Волосы у нее золотые, зубы серебряные. Она является в виде грома и молнии, но, согласно ее же заявлению, она мощнее грома и молнии. В то же время в заговоре колдуньи, направленном на порчу, вместо *Аша патман* действует злой дух (например, *Сотана*), а является он не из-за Волги, а сквозь три слоя преисподней. Его колдование, наоборот, приносит облегчение самому злому духу, а адресату – невыносимый недуг (Ар РАН, ф. 77, оп. 3. 27. Л. 34, 38).

Что касается объяснения *Аша патман* Н. И. Ашмариным (1929, с. 211) и М. Р. Федотовым (1996, с. 76) через имена жены и дочери Магомета (Айша и Фатима), то это очень сомнительно. Нет серьезных оснований возводить и к хазарскому титулу абшад «каган», как это делает П. В. Денисов (1969, с. 110–116).

Наличие в чувашских источниках термина *аша юпи* в значении центрального столба в доме дает возможность причислять божество Аша к домашним божествам. Ведь и авестийское понятие аша, и ведийское *рта* подразумевают и слаженную жизнь в семье. Факт *аша юпи/уша юпи* также соотносится с авестийским божеством утренней зари *Ушахина*.

В качестве предварительной гипотезы можно предположить, что предки чувашей сувары и предки ведийских и авестийских ариев в истории имели культурно-религиозную общность. Таким контактно-материнским пространством мог быть район Индии–Ирана–Центральной Азии, время – V–II вв. до н. э. Если учесть наличие народа «сувары/саувиры» в Махабхарате и в современной Индии, то хронология этих связей может значительно углубиться.

Источники и литература

Авеста: Избр. Гимны \ Стеблин-Каменский И. М. (Перевод с авест. и комментарии). Душанбе, 1990.

Авеста. Избранные гимны. Из Видевдата \ Стеблин-Каменский И. М. (Перевод, предисловие, примечание и словарь). М.–Алма-Ата, 1993.

Андреев (Урхи) Н. А. Иранско-чувашские этнокультурные и языковые параллели // Труды Чуваш. НИИ. Вып. 59. Чебоксары, 1975. С. 91–113.

АрРАН, ф. 77, оп. 3. 27 – [Золотов Н.Я.] Заговоры (приворотные, отворотные). 1927 г.

Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. II. Казань, 1929.

Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи \ Стеблин-Каменский И.М. (Перевод и примечания). СПб., 2003.

Брагинский И. С. Аша Вахишта // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 142.

Денисов П. В. Этнокультурные параллели дунайских болгар и чувашей. Чебоксары, 1969.

Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875.

Зороастрийские тексты: Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундхишн) и другие тексты \ Чунакова О. М. (перевод, исследование, комментарии). М., 1997.

Магнитский В. К. Материалы к объяснению старой чувашской веры: Собр. в некоторых местностях Казанской губ. Т. V. Казань, 1881.

Месарош Д. Памятники старой чувашской веры. Чебоксары, 2000.

ПМА – полевые записи и собрания автора 1967–2004 гг.

Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка. Т. 1. Чебоксары, 1996.

ЧГИ 172. [*Михайлов.* Этнографические материалы, собранные в д. Старые Щелканы Цивильского у. Казанской губ.]. 1885 г.

ЧГИ 209. *Никольский Н. В.* Этнография, фольклор. 1910–1911 гг.

Gnoli Gerardo. Chinvat Bridge // The Encyclopedia of Religion. Vol. 3. NY.-L., 1995. P. 334–335.

В. И. Балабина

МИКСМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ В ПЛАСТИКЕ ДРЕВНЕЙШИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ЕВРОПЫ (СТАТУЭТКИ, СОСУДЫ)

В изобразительном творчестве миксморфные образы присутствуют начиная с верхнего палеолита – гравированные и рисованные «человекоподобные» фигуры с теми или иными чертами животных – головами, рогами, хвостами, лапами. Обращали внимание и на бизонов с «почти человеческим профилем». Трудно не вспомнить о самых ранних «перевертышах» – знаменитых «птичках» из Мезина (*Абрамова,* 1966, табл. XXVII, XXIV, XXVI, XXVII; *Абрамова,* 2005, рис. 32, 64, 85, 138, 139, 147; *Ефименко,* 1958, рис. 210, 242, 248; *Столяр,* 1985, рис. 8, 217). Определенно миксморфные изображения можно встретить в неолитической пластике Северной Европы. Начиная с эпохи раннего металла, они широко распространены в глиптике и скульптуре Ближнего Востока, Ирана, Индии – антропоморфные фигуры с головами животных или птиц, копытами, хвостами (некоторые из них еще и с крыльями), звери в человеческих позах, четвероногие персонажи с лицами людей (*Amiet,* 1961, pl. 2, 6, 8, 36-38, 40, 60, 64–67, 71, 74, 92/ 96–98, 101,103, 106, 108, 112; *Winckelman,* 1995, p. 59–62, fig. 17, 18). Имели черты животных и боги Древнего Египта, чаще всего полиморфные (благодаря массе взаимных отождествлений). Наиболее яркий пример того и другого – иконография египетского сфинкса, в облике которого изображали фараонов. Миксморфным обликом египтяне наделяли и другие субстанции, например, «Ба» людей, являвшиеся подвижной сущностью, «душами» умерших (их представляли в виде сокола с человеческой головой). Миксморфные изображения известны в античности, средневековье. Они не исчезли из художественной традиции и сегодня. В целом построение большинства их сводимо к нескольким моделям.

Первой, которую можно условно назвать *«антропоморфной»,* принадлежат фигуры людей соответствующего сложения с зооморфными деталями. Модель включает следующие варианты:

а) полный или частичный зооморфизм головы, когда у персонажей на плечах головы животных, либо лицо человека сочетается со звериными чертами (например, рогами, ушами);

б) возможны и другие зооморфные элементы, как-то: хвосты, копыта, крылья вместо рук или помимо рук;

в) встречается и частичный зооморфизм туловища (сочетание статей человека и животного) – чаще всего у персонажей верхняя половина антропоморфна, а нижняя зооморфна (змееногие божества, боги водной стихии, русалки);

г) еще один вариант объединяет фигуры животных в костюмах и/или в человеческих в том числе «геральдических» позах.

Миксморфные изображения, отвечающие данной модели, известны в верхнем палеолите, неолите Северной Европы, в глиптике и пластике Ближнего Востока, Ирана, Индии. Таковы некоторые боги Древнего Египта (Исида), греческие сатиры, селены, Пан, Медуза классического периода.

Вторая модель – «зооморфная», когда фигуре животного (птицы) придаются некоторые черты человека:

а) чаще всего, полный или частичный антропоморфизм головы.

б) иногда присутствует и частичный антропоморфизм туловища (греческая: Сфинкс).

Данной модели соответствуют бизоны верхнего палеолита «с почти человеческим профилем», разнообразные египетские изображения, ближневосточные быки с человеческим лицами, греческие сирены, Минотавр.

Третья модель – идеограммы, восходящие к антропоморфной или зооморфной схемам построения фигур. Среди них можно выделить следующие варианты:

а) уподобление человеческой фигуры (или ее верхней части) парциальному изображению какого-либо животного (например, рогатой голове) и признаки антропоморфизма на парциальных зооморфных изображениях (пластика Негады и юго-восточной Европы);

б) фигурки-перевертыши, которые в одной позиции кажутся антропоморфными, а в другой – зооморфными («птички» из Мезина, верхний палеолит);

в) четвероногие фигуры, у которых над головой животного присутствует еще и человеческая голова, известные в глиптике юго-восточного Ирана, Бактрии, Сузианы (*Winckelman,* 1995, fig. 18).

Четвертая модель объединяет *«равносоставные» фигуры*, у которых к четвероногому туловищу приставляется полный торс человека (кентавры, архаическая иконография горгон)[1].

Хорошо известно, что едва ли не во всех вербальных традициях присутствуют герои, способные к трансформации – то превращаться в зверя, то принимать облик человека. До нового времени они сохранились в волшебных сказках, где именно *оборотничество* часто сопряжено со способностью творить чудеса и совершать удивительные подвиги. Кроме того, в мифологиях известны персонажи, иконография которых изначально подразумевает сочетание черт человека и животного. Миксморфизм в изобразительной традиции может отражать *аллегории* и *метафорические уподобления* в текстах.

В индуистской мифологии есть понятие *аватара* – нисхождение божества на землю, его воплощение в смертное существо ради «спасения мира», восстановления «закона» и

[1] Следует добавить, что в рамках перечисленных моделей построения возможны и полиморфизмы (сфинкс, химера).

«добродетели». Так, Праджапати однажды воплотился в вепря и поднял на клыках землю из мирового океана.

Из-за информационных лакун вербальная и изобразительная традиции Ближнего Востока имеют лишь частичные соответствия. Отдельные миксморфные персонажи «мифологических сцен» на печатях весьма предположительно отождествляются с богами местных пантеонов и героями, остальные не соотносятся ни с теми, ни с другими. Их условно называют «демонами», «героями», мужскими и женскими «персонажами» со специфическими чертами.

Предполагают, что фигуры крылатых быков с человеческими лицами соответствуют образу демона Шелу (Алад). Персонажи в рогатых тиарах – это божества – Ану, Энлиль и Адад. Рога приписывались и Яхве. С быками отождествлялись лунные божества – аккадский Син (Нанна, шумер.), хеттский Арма, хурритский Кужух, йеменский Амм. Головы Сина, «синебородого быка» украшают резонаторы арф из царских гробниц I династии Ура. Арму, Кужуха и Амма отличает рогатый полумесяц на голове (головном уборе).

В вавилонский период в виде получеловека – полурыбы изображался Эа (Энки), бог пресных вод (подземного мирового океана), по одной из версий – создатель людей. Эта же иконография свойственна и его спутнику Кулулу.

Женщина-демон Ламашту, насылавшая на людей болезни, имела голову льва, зубы собаки, лапы пантеры. Анат (в западносемитской мифологии богиня охоты и битвы) представала с двумя парами крыльев – одни подняты, другие опущены, с рогами, растущими изо лба и солнечным диском между ними.

В греческой мифологии обычны *эпифании богов* – их явления под чужим обличьем. Чаще всего боги прибегали к временным метаморфозам для священного брака со смертными или для их наказания. У многих из них было по несколько только зооморфных эпифаний. Но в иконографии олимпийцев миксморфизм отсутствует (за исключением крылатости). Он, однако, присущ некоторым титанам (Океан), хтоническим чудовищам (горгоны, Эхидна, Сфинкс), гарпиям, сиренам, полубогам и божествам (Пан, Тритон), природным демонам (сатиры, селены), а также отдельным смертным полубожественного происхождения (кентавры, Минотавр). Большинство этих персонажей восходит к наиболее архаичным (догреческим) пластам мифологии.

Превращения же смертных обычно происходили по воле богов. Их *метаморфозы* в античной мифологии в некоторых случаях бывали временными (последовательные превращения Ио), но чаще они необратимы, особенно, если восходят к этиологическим мифам (истории Лиакона, Калипсо, Арахны, Алкионы, тирренских корабельщиков).

Овидий, разрабатывавший тему метаморфоз, в каждом случае, когда дело касается смертных, неизменно отмечал постепенность превращения героев. Можно процитировать описание обратной метаморфозы Ио, когда после долгих странствий в облике коровы она достигла берегов Нила:

> И пропадают рога, и кружок уменьшается глаза,
> Снова сжимается рот, возвращаются плечи и руки,
> И исчезает, на пять ногтей разделившись, копыто.
> В ней ничего уже нет от коровы, одна белизна лишь.
> Службой довольствуясь двух своих ног, выпрямляется нимфа.
> Только боится еще говорить - подобно телице,
> Не замычать бы, – и речь пресеченную пробует робко.
> Ныне богиня она величайшая нильского люда.[1]
>
> *(Овид., I, 740–747)*

[1] Ио в поздней античности была отождествлена с Исидой.

В изобразительной традиции античности процесс метаморфозы изображался редко и большинстве случаев не прямо. Наиболее распространены в вазописи иллюстрации к двум мифам – об Актеоне и о наказании тирренских корабельщиков. Первый текст, об охотнике Актеоне, превращенном Артемидой в оленя и загрызенным собственными собаками, обычно иллюстрирует сцена, где на поверженного человека (Актеона) набросилась свора. Метаморфоза персонажа лишь подразумевается. Миф о тирренских корабельщиках, взявших на борт и прогневивших (не узнанного) Диониса[1], далее превращенных им в дельфинов, чаще всего иллюстрирует финальная сцена, когда наказание уже свершилось: в центре корабль, вокруг которого резвятся дельфины (мачта обвита лозой, и/или рядом с ней находится Дионис). Собственно волшебный миг превращения прыгающих с корабля пиратов в обитателей водной стихии запечатлен на фризе этрусской вазы рубежа VI–V веков до н. э. (рис. 1). Примечательно, что изображения незадачливых корабельщиков получились миксморфными и разными: у одних головы дельфинов и плавники вместо рук, у других, наоборот голова и руки остались, а нижняя часть туловища превратилась в рыбий хвост. Овидий тоже описывает и постепенность их превращения, и неодинаковость:

... И первым Медон плавники получает
Черные; плоским он стал, и хребет у него изгибаться
Начал. И молвит ему Ликабант: «В какое чудо
Ты превращаешься?» Рот между тем у сказавшего шире
Стал, и уж ноздри висят, и кожа в чешуйках чернеет.
Либид же, оборотить упорные весла желая,
Видит, что руки его короткими стали, что вовсе
Даже не руки они, что верней их назвать плавниками.
Кто-то руками хотел за обвитые взяться веревки, -
Не было более рук у него; и упал, как обрубок,
В воду моряк: у него появился и хвост серповидный,
Словно рога, что луна, вполовину наполнившись, кажет.
Прыгают в разных местах, обильною влагой струятся,
И возникают из волн, и вновь погружаются в волны...

(Овид., III, 660–688)

Как мы видим, и в вербальных, и в изобразительных комментариях иногда фиксируются два свойства трансформации героев – постепенность их превращения и равновероятную направленность самого процесса в сторону разных моделей миксморфизма. Последнее может указывать как на равнозначность формально выделяемых моделей, так и на их принадлежность к общему смысловому полю, если речь идет о сопряженности с одним и тем же зооморфным образом.

Данная работа посвящена систематизации изображений, сочетающих черты человека и зверя/птицы в пластике древнейших европейских земледельцев. Здесь тоже довольно много миксморфных персонажей, в виде разнообразных статуэток, сосудов, протом и элементов орнамента. Большая часть их конструктивно соответствует *антропоморфной* или *зооморфной* моделям. Известны также *идеограммы*. Сопоставление имеющихся серий миксморфной пластики в определенной мере поможет их прочтению.

[1] Они решили продать его в рабство.

Антропоморфная модель

Полный или частичный зооморфизм головы

1. Статуэтки, ручки сосудов. Сочетание антропоморфного лица с зооморфизмом деталей (рогов) известно уже по пластике Хаджиляра. В Юго-Восточной Европе антропоморфные фигурки и ручки сосудов, принадлежащие разным культурам, тоже иногда наделены звериными ушами, либо рогами (рис. 2: *1, 4*, а также: *Маркевич,* 1970, рис. 15, *9*; *Титов,* 1980, рис. 245, *5*; *Paul,* 1995, pl. VII).

Зооморфные рогатые головы встречаются у статуэток разных культур на протяжении неолита и энеолита. Подтреугольные головы *бовинов* с небольшими рожками иногда присутствуют у женских фигурок Старчева, Винчи, Марицы, Караново VI, Лендьела и Кукутени-Триполья. Примечательно, что и среди широко распространенных скульптур, изображающих женщину с ребенком на руках, изредка оба персонажа имеют головы *бовинов* (рис. 2: *2, 3, 5, 7)*. Ими же могут обладать и фигурки без признаков пола. Мужские статуэтки бывают с головами *баранов* и *бовинов* (рис. 2: *6, 8, 9)*. У некоторых фигурок (женских и без признаков пола) зооморфные головы, личины (или маски) с ушами, напоминают *медвежьи* – Старчево, Винча (рис. 2: *10-12*). Отдельные винчанские женские статуэтки имеют *птичьи* личины (НЦБ, № 146; *Gimbutas,* 1974, fig. 97; L'art des premiers.., 1979, fig. 177, 179).

Рис. 1. Метаморфоза тирренских карабельщиков. Этрусская гидрия, рубеж VI–V вв. до н. э. (по: The Toledo Museum..., 1982).

2. Ковши-ложки. Фигурные ручки ковшей и ложек могут завершаться головами животных или антропоморфными поясными изображениями. В таких случаях абрис собственно емкости (ковша, ложки) читается как нижняя часть женской фигуры. Среди материалов КЛЛК, Винчи и Кукутени-Триполья известны ковши и ложки, ручки которых в целом антропоморфны, но с рогатыми головами *бовинов* (рис. 3: *1-3*).

3. Обиходные тарные и специализированные сосуды. Обобщенно антропоморфными («женоподобными») часто оказываются обиходные (тарные) сосуды с широким туловом и относительно узким горлом под крышку (рис. 3: *9*)[1]. Комплектность подобных сосудов с их собственными крышками документируется сравнительно редко. Но иногда именно крышки, благодаря своему зооморфизму и миксморфизму, обнаруживают и у тарных сосудов все тот же двойственный символизм. Зооморфные и миксморфные крышки встречаются в Винче, Ленделе, Димини, Бутмире, КЛЛК, Тиссаполгар. Много крышек (с рогами или подобием звериных ушей) в Кукутени-Триполье (рис. 3: *4-8*). Есть они и в КГК. Отмечу, что антропоморфные крышки для сосудов, видимо, сосуществовали с ними. Они тоже

[1] В том числе – трипольские «двухъярусные» и «грушевидные».

были распространены в большинстве европейских раннеземледельческих культур на протяжении неолита и энеолита.

Сосуды в виде стоящей безголовой женской фигуры (с отверстием на уровне шеи) известны в Центральной и ЮВ Европе на протяжении неолита и энеолита (Караново II, Старчево, Лендьел, КГК, Кукутень-Триполье), а также в эпоху бронзы в Восточном Средиземноморье. Обращает на себя внимание единообразие поз этих разновременных фигур-сосудов (сомкнутые прямые ноги, руки сложенные под грудью). Уступы края в ряде случаев свидетельствуют о существовании голов-крышек (рис. 3: *10*). Наиболее мелкие экземпляры (высотой от 10 до 17 см) – скорее флаконы. Более крупные (22–42,5 см) можно назвать фигурными бутылями. Семантически все их допустимо рассматривать как некое промежуточное звено между женскими фигурками и обобщенно антропоморфными тарными сосудами, благодаря очевидному параллелизму с теми и другими. Крышка сохранилась лишь у одного флакона, происходящего с Кипра (эпоха бронзы). Примечательно, что это рогатая *голова бовина*[1] *(*рис. 3: *11*).

Сочетание статей человека и животного

Иногда у женских фигурок, сложение бывает отчасти антропоморфно, отчасти *орнитоморфно*. Первой эту особенность наиболее схематизированных образцов пластики отметила М. Гимбутас (*Gimbutas,* 1974, p. 107). Действительно у некоторых старчевских, ранних карановских и прекукутенских статуэток из-за стеатопигии, длинной шеи и лаконичной моделировки головы профильный абрис напоминает силуэт птицы (рис. 4: *1*). Временами даже ощущается намеренная стилизация антропоморфного торса в сторону «птицеобразности». Однако построение убедительного ряда из фигурок женщин и птиц стало возможно после публикации кришксих изображений с птичьими головами, длинными, склоненными шеями в сочетании с антропоморфными ягодицами и грудью (рис. 4: *2, 4*; *Paul,* 1995, p. 129–134). Подобный же ряд образуют и группы сосудов той же культуры с отверстиями в макушке - конструктивно близкие антропоморфные и в виде птицы (рис. 4: *7*), на что уже обращали внимание (*Kalicz N.*, 1970, p. 21, fig. 2–5).

Идеограммы

Уподобление антропоморфной фигуры голове животного

1. Костяные пластины, глиняные палетки, ручки сосудов, орнаментация. В костяной и глиняной пластике европейских земледельцев известно немало очевидных идеограмм. Прежде всего, это костяные пластины, одна из которых относится к позднему Триполью (Бильче-Злото /Вертеба/). Она имеет контур головы бовина с лировидными рогами, в который вписано изображение стоящей женщины с раскинутыми руками, повторяющими форму рогов. Сходство абриса пластины и позы вписанной в нее фигуры достаточно отчетливо. Кроме того, контур самой головы напоминает стоящую антропоморфную фигуру с поднятыми руками (рис. 5: *1*). Наиболее близкая аналогия бильчанской пластине – шиферная палетка из Герзе (додинастический Египет), так называемая «палетка Хатор» с контурной головой бовина, являющейся одновременно и антропоморфной фигурой с раскинутыми руками (рис. 5: *2*). Считается, что это одна из наиболее ранних идеограмм

[1] Хранится в Московском ГИМ.

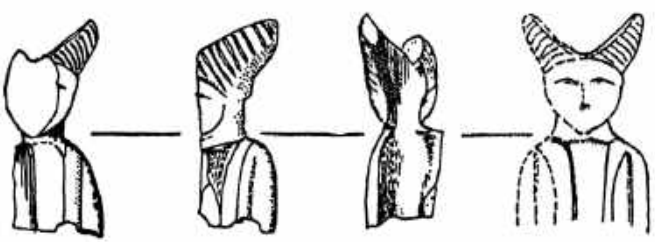


Рис. 2.1

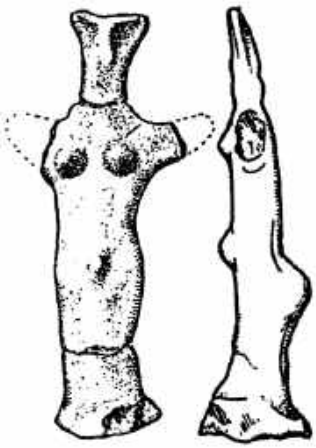


Рис. 2.2

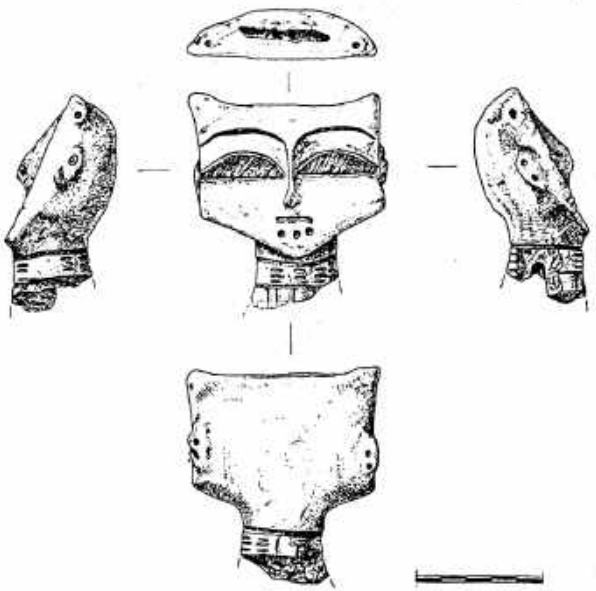


Рис. 2.4

Рис. 2.3

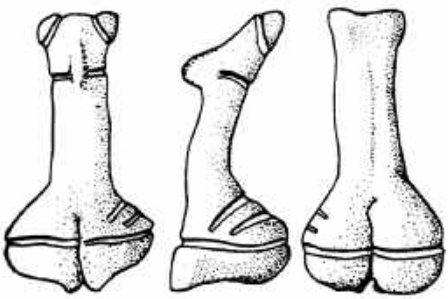


Рис. 2.5

Рис. 2. Антропоморфная модель миксморфизма – полный или частичный зооморфизм голов у статуэток:
1 – Хаджилар, 2 – Мирополье, 3, 9 – Фафос II, 4 – Дервишев Оджак, 5 – Анзабегово, 6 – Винча, 7 – Раст, 8, 11 – Павловац, 10 – Супска Сублина, 12 – Продин.
2 – Триполье B2, 3, 6-11 – Винча, 4 – Марица, 5, 12 – Старчево; 1 – по Mellaart, 1970.
2 – по: *Цвек,* 1993; 3, 6, 11 – по: *Gimbutas,* 1974; 4 – по: *Борисова*, 1995; 5 – по: *Gimbutas,* 1974а; 7 – по: *Dumitrescu,* 1980; 8, 9, 10 – по: НЦБ; 12 – по: *Höckmann,*1968.

Рис. 2.6

Рис. 2.7

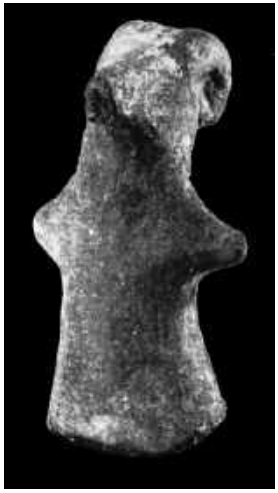


Рис. 2.8

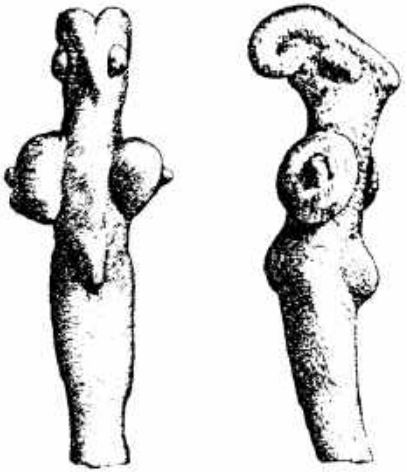


Рис. 2.9

Рис. 2.10

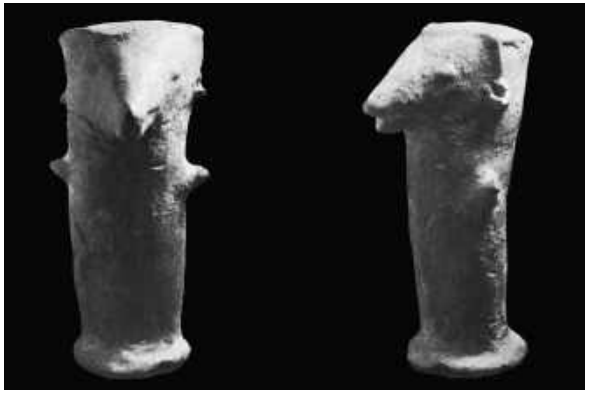


Рис. 2.11

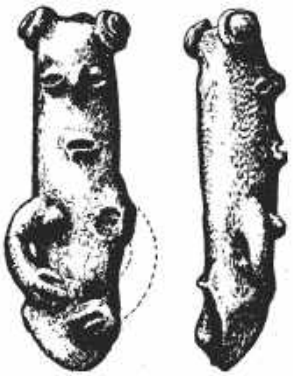


Рис. 2.12

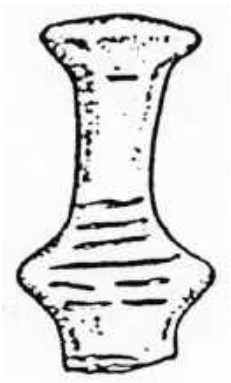


Рис. 3.1

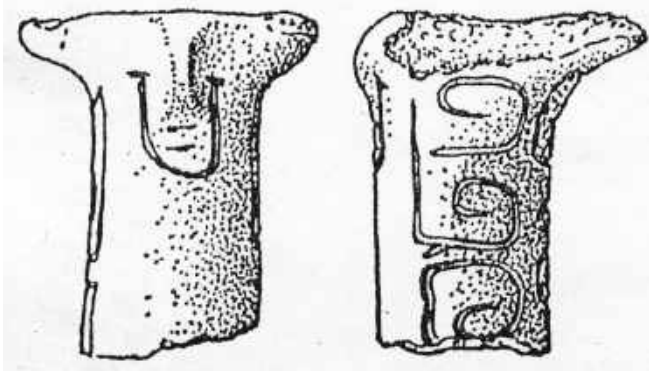


Рис. 3.2

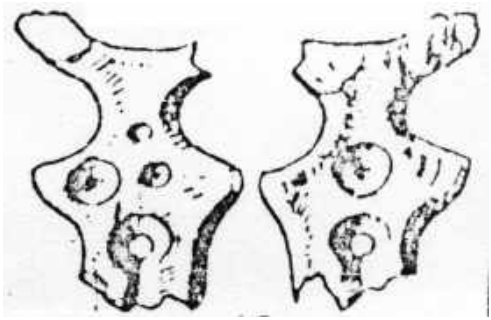


Рис. 3.3

Рис. 3.4

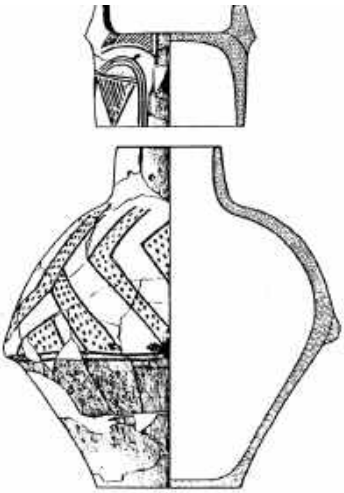


Рис. 3.6

Рис. 3.5

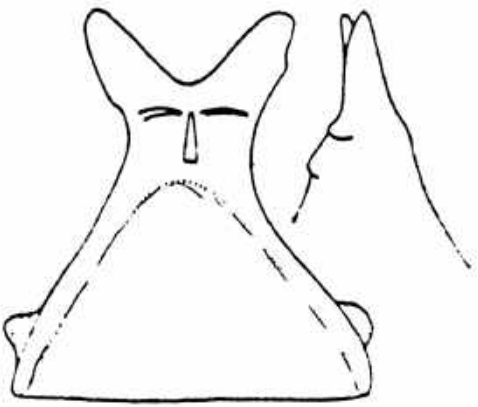


Рис. 3.7

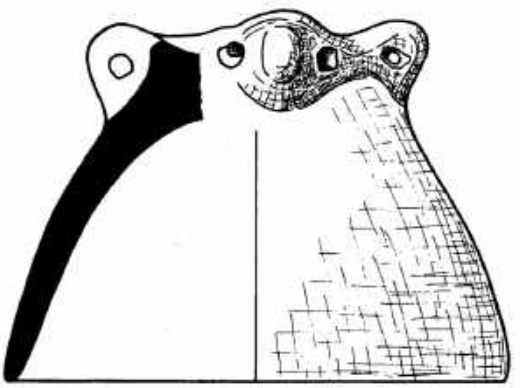


Рис. 3.8

Рис. 3.9

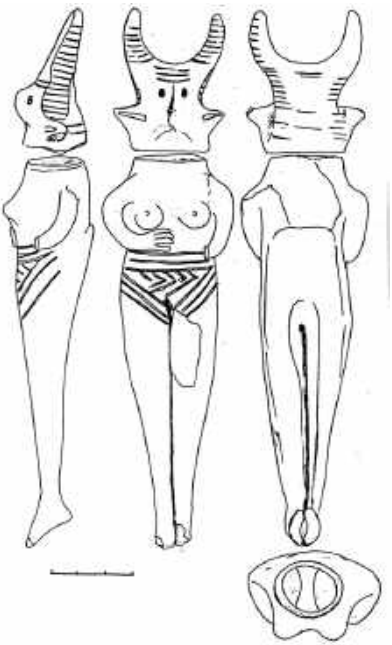


Рис. 3.10

Рис. 3.11

Рис. 3. Антропоморфная модель миксморфизма – полный или частичный зооморфизм голов (ковши, ложки, обиходные и специализированные сосуды):
1 – Вороновица, 2 – Кёдлинбург, 3 – Турдаш, 4 – Фафос II, 5 – Чечельник, 6 – Винча,
7 – Босковштейн, 8 – Аргисса-Могула III, 9 – Ст. Радуляны, 10 – Видра, 11 – Кипр.
1 – Прекукутень III, 2 – КЛЛК, 3, 4, 6 – Винча, 5, 9 – Триполье В2, 7 – Лендьел, 8 – Димини,
10 – Гумельница , 11 – РБВ. 1 – по: *Збенович*, 1989, 2 – по: *Höckmann,* 1965,
3 – по: *Roska,* 1941, 4 – по: НЦБ, 1968, 6 – по: *Васѣћ* , 1936, 7 – по: *Podborzský*, 1985,
8 – по: *Hanschman, Milojcic*, 1976, 9 – по: *Маркевич,* 1985, 10 – по: *Rosetti,* 1938.

Хатор (Хатхор) – богини-коровы, изображавшейся также в виде *женщины-коровы* (*Кинк,* 1976; *Шеркова*, 1996, с. 101).

Есть похожие пластины в Эзеро (Болгария, ранний бронзовый век), которые автор публикации называет плоскими роговыми антропоморфными статуэтками (*Катинчаров,* 1972). Однако и эти стоящие обобщенно антропоморфные фигуры с поднятыми руками построены согласно условным контурам зооморфных голов. У одной из них поднятые руки напоминают слегка загнутые вверх рога бовина (как у бильчанской пластины), а схематизированная голова – выпуклое междурожье. Руки второй фигурки, согласно описанию Р. Катинчарова, подняты к плечам (скорее к шее или голове) и образуют подобия колец (рис. 5: *4, 5*). Именно так в глиняной энеолитической пластике условно изображались муфлонообразные рога баранов. Поэтому, не исключено, что одна из фигурок (меньшего размера – 6,9 см) это *человек-бовин,* а вторая (высотой 9 см) – *человек-баран*. Довольно любопытно, что обе они были найдены в пределах вскрытого зондажем небольшого участка одной и той же постройки, что может указывать на их комплектность.

Иногда попадаются и глиняные плоские палетки, которые тоже можно рассматривать и как обобщенное антропоморфное изображение с поднятыми руками, и как голову бовина с выпуклым междурожьем. Такова маленькая трипольская палетка из Майданецкого (рис. 5: *3*). Ту же форму нередко имеют и налепные ручки сосудов разных культур. Временами этот контур присутствует в орнаментальных композициях (*Kalicz, Makkay,* 1972, Abb. 5: *11*; *Николов,* 1974, обр. 30).

2. Винчанские глиняные рогатые подвески тоже представляют собой обобщенные головы бовина и близки описанным выше контурным изображениям. На одной из них начертана условная женская фигурка (рис. 5: *6*). Кроме того, есть отчетливые соответствия женскому безголовому торсу и полной антропоморфной фигуре (рис. 5: *7, 8*). Видимо, и здесь соотнесение контура женской фигуры и абриса рогатой головы, отражает их знаковую близость[1].

В изобразительной традиции ранних земледельцев Европы встречаются и *обратные идеограммы, более согласующиеся с зооморфной моделью*. Так на сосуде из Штурово (КЛЛК) вполне реалистические налепные головки бовинов имеют на лбу изображения треугольника, ориентированного вершиной вниз. Этот специфический знак соответствует традиционному обозначению женской «дельты» и тоже, скорее всего, указывает на тождество *женщины и бовина* (рис. 5: *9*).

Уподобление торса антропоморфной фигуры рогатой голове. Довольно редкую группу составляют статуэтки, у которых нижняя часть туловища и ноги человеческие, а голова и торс совмещены и уподоблены рогатой или звериной голове с ушами. Одна из таких фигурок известна в Хаджиларе (слой VI). Сходное строение имеют некоторые статуэтки из Драмы (Карановo V), а также прекукутенская фигурка из Тырпешть (рис. 5: *10, 11*).

[1] Отметим, что некоторые подвески конструктивно сходны с зооморфными двухголовыми статуэтками, что свидетельствует о еще большей сложности знаковой нагрузки этих образов.

Зооморфная модель

Частичный или полный антропоморфизм головы

1. Статуэтки, изображающие четвероногих с полным или частичным антропоморфизмом головы, в пластике ранних земледельцев Европы довольно редки. Пока они встречены среди материалов Лендьела и Винчи (рис 6: *1-5, 7*). Одна из них изображает бовина с человеческим лицом и длинной бородой (*мужчина-бовин*). Винчанские фигурки, так называемые «кентавры», имеют либо антропоморфную голову, либо рогатую с личиной. В ряде случаев у них присутствует и частичный антропоморфизм туловища. Передние ноги бывают моделированы и оформлены как ягодицы *антропоморфных женских* статуэток – сверху округлы, далее резко сужаются, покрыты спиральным орнаментом. Возможно, данные стилистические особенности свидетельствуют о полном (или частичном) смысловом сближении таких фигурок с женским антропоморфным образом[1].

2. Фигурки-навершия крышек. Миксоморффизм в рамках зооморфной модели иногда присутствует у фигуративных наверший крышек. Два таких навершия (КГК), изображают стоящих четвероногих (без признаков пола). У одного полностью антропоморфная голова, у второго – человеческое лицо и рога (рис. 6: *6, 8*). Третья фигурка-навершие из Фессалии, (Сескло) представляет собой птицу с антропоморфной, скорее всего, *женской* головой (рис. 4: *5*).

3. Сосуды. Преобладающее число типов зооморфных сосудов включает и очевидные миксморфные. Таковыми бывают чаши, фигуративные сосуды с отверстиями спереди, в спине и сзади (*Балабина,* 2001). Наиболее распространен частичный антропоморфизм головы, хотя бывает представлен и полный (рис. 7: *7*).

Миксморфные чаши-бараны и чаши-бовины воспроизводились на протяжении позднего неолита – среднего энеолита (Винча, Градешница, КГК поздненеолитические – среднеэнеолитические памятники Фессалии). Четвероногие чаши с антропоморфными головами присутствуют в КГК. У баранов рогатой голове соответствует антропоморфная личина с четко выраженными носом и подбородком. В большинстве случаев обозначены глаза (рис. 7: *3, 8*). У миксморфных чаш-бовинов возможно такое же изображение антропоморфных личин при рогатой голове (рис. 7: *1, 2, 4*), либо голове придан столь обобщенный объем, что ее можно принять и за зооморфную, и за антропоморфную.

Некоторые из рогатых личин на чашах могут соответствовать мужскому персонажу, если ряды ямок на щеках изображают бороду (рис. 7: *1*). У одной четвероногой чаши фиксируется специфическое сочетание антропоморфной головы и вымени на брюхе (самка) (рис. 7: *5*). Ч*астичный антропоморфизм туловища* можно отметить у фигурки-бовина с чашей на спине, бедра и плечи которой оформлены, как ягодицы антропоморфных женских статуэток: основания всех четырех конечностей полушарно выпуклы и покрыты спиральным орнаментом. Данная чаша, видимо, тоже соответствует *женскому* персонажу (*Renfrew, Gimbutas, Elster*, 1986, fig. 9: *67*).

Сосуды с отверстием в спине иногда изображают бовинов с антропоморфными личинами (рис. 8: *1, 4*). В одном случае у миниатюрного сосуда-бовина между рогами антропоморфная маска, а на брюхе присутствует прочерченный прямоугольник, заполненный «елочкой» (рис. 8, *2*). Подобные «елочки», как известно, очень характерны для женских антропоморфных фигурок (они часто заполняют «дельту»). Если «елочка» на брюхе данного персонажа действительно маркировка пола, то она соответствует уже не зооморфной модели, а антропоморфной.

[1] К сожалению, сохранность статуэток и качество публикаций не позволяют выяснить, были ли изображены у них признаки пола (вообще не всегда воспроизводившиеся в мелкой пластике).

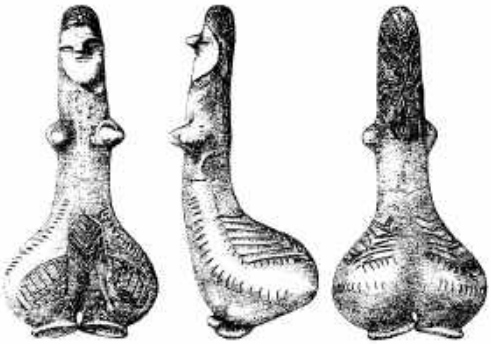


Рис. 4.1

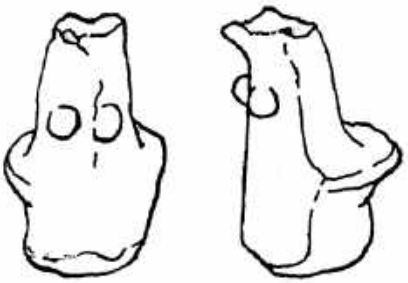


Рис. 4.2

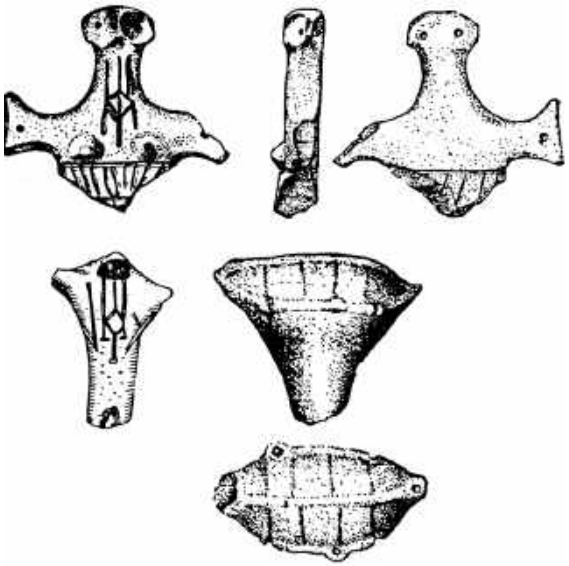


Рис. 4.3

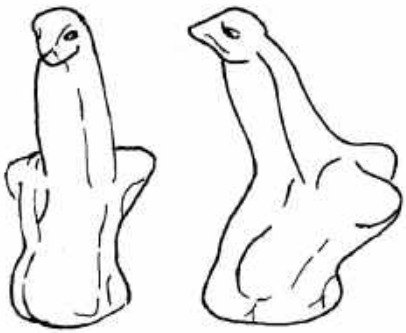


Рис. 4.4

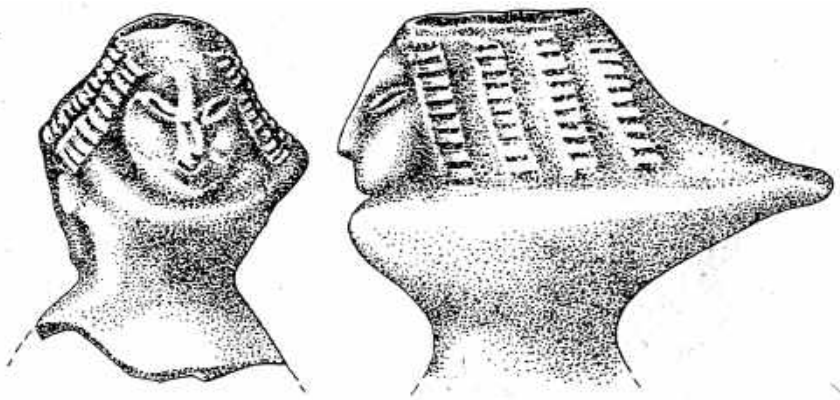


Рис. 4.5

Рис. 4.6

Рис. 4.7

Рис. 4.8

Рис. 4.9

Рис. 4. Миксморфные изображения в рамках антропомрфной и зооморфной моделей – «женщины – птицы»:
1 – Enaröd -Szujöskereszt, *2, 4* – Окна-Сибилуй «Тригури», *3* – Сучевень, *5* – Фессалия, *6* – Телиш-Редуты, *7* – Фельдё-Уймайор, *8* – Дупляй , *9* – Винча.
1, 2, 4, 7 – Кереш-Криш, *3* – Алдень-Стойкань, *5* – Сескло, *6* – Криводол-Селкуца, *8* – эпоха бронзы, *9* – Винча.
1 – по: *Gimbutas,* 1989, 2, 4 – по: *Paul,* 1995, 3 – по: *Dragomir,* 1977, 5 – по: *Gimbutas* , 1991, 6 – по: *Todorova et al.*, 1982, 7 – по: *Kalicz ,* 1970, 8 – по: *Tasić,* 1995, 9 – по: *Bacèh* , 1936.

Рис. 5.1

Рис. 5.2

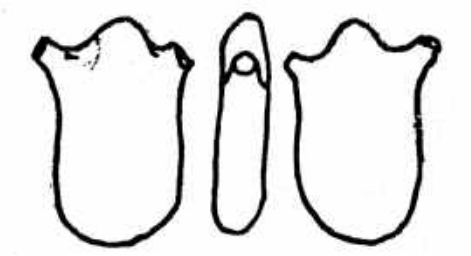


Рис. 5.3

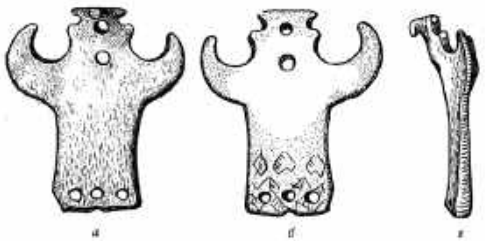


Рис. 5.4

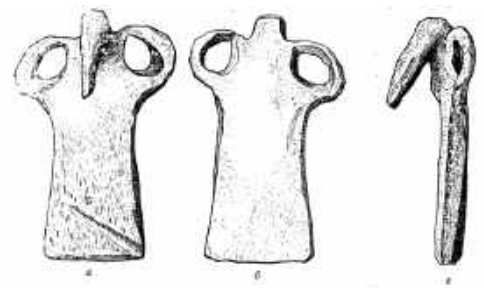


Рис. 5.5

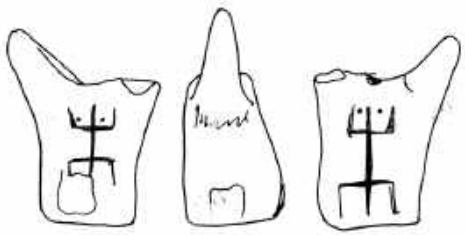


Рис. 5.6

Рис. 5. Идеограммы.

1 – Бильче Злото (Вертеба), 2 – Геззе, 3 – Майданецкое, 4, 5 – Эзеро, 6 – Зорленц, 7 – Медведняк, 8 – Парца, 9 – Штурово, 10 – Тырпешть, 11 – Драма.
1 – Триполье С, 2 – додинастический Египет, 3 – Триполье В2С1, 4, 5 – РБВ, 6-8 – Винча, 9 – КЛЛК, 10 – Прекукутень, 11 – Караново V.
1, 7 – по *Gimbutas,* 1974, 2 – по *Кинк*, 1976, 4, 5 – *Ктинчарову*, 1972, 6, 8 – по *Lazarovici,* 1979, 9 – по *Pavúk*, 1981, 10 – по *Marinescu-Bîlcu,* 1974, 11 – по *Lichardus,* 1988.

Рис. 5.7

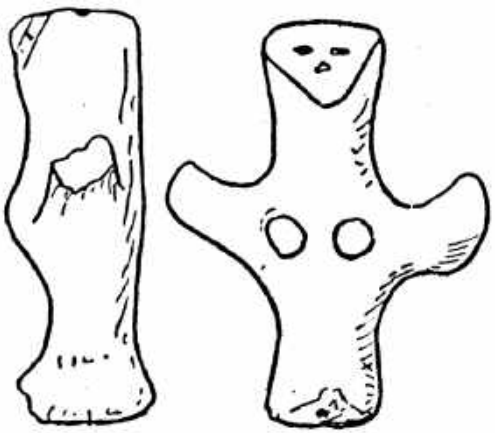


Рис. 5.8

Рис. 5.9

Рис. 5.11

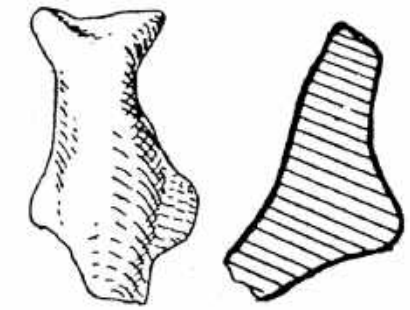


Рис. 5.10

Сосуды с отверстиями спереди: а) в шее (фигуры-бутыли с узким отверстием, аскосы и безголовые сосуды с широким отверстием), б) на уровне нижней челюсти, в) в макушке. Фигуры-бутыли могут иметь миксморфные головы-крышки с антропоморфными личинами. Одна такая крышка принадлежит сосуду-ежу, другая бовину (рис. 8: *6, 7*). У части сосудов срез овального отверстия находится на уровне нижней челюсти. Крышки к ним – специфические личины, подогнанные по контуру отверстия. Они бывают антропоморфными, но с рогами баранов и бовинов (рис. 8: *3*). У нескольких четвероногих сосудов с отверстием в макушке головы антропоморфны – обозначены нос, брови, проколотые уши, в одном случае и глаза. Особенности деталировки лиц, в частности, проколотые уши, указывают на изображение *женского* персонажа с «неясной зооморфной сущностью» (рис. 8: *5*). Это можно сказать и о ряде четвероногих широкогорлых сосудах, у которых антропоморфные личины обозначены на уровне груди. Иногда частичный антропоморфизм сложения отличает в целом птицеобразные аскосы: у них вместо хвостов (или обобщенного сужения туловища) бывают моделированы отчетливые ягодицы, украшенные спиральным орнаментом, как у женских статуэток (рис. 4: *6*).

Сосуды-фигуры с отверстием сзади, принадлежащие Винче, изображают рогатых уток. Один из таких сосудов – знаменитая Хайд-ваза – имеет еще и антропоморфную личину. Здесь проявляется полиморфизм образа, поскольку туловищу утки соответствует рогатая голова с антропоморфной личиной (рис. 4: *9*).

* * *

Попробуем структурировать всю эту многоплановую информацию, используя наши условные дефиниции – модели построения фигур.

В рамках *антропоморфной модели* полный или частичный зооморфизм головы фиксируется в большинстве европейских раннеземледельческих культур с древнейшего неолита и до конца энеолита. Материалы одной культуры обычно дают несколько миксморфных категорий артефактов. Зооморфные головы, личины, некоторые черты – рога или уши, могут иметь женские и мужские фигурки (стоящие и сидящие), персонажи вовсе без признаков пола,[1] а также отдельные варианты сосудов. В рамках этих групп артефактов выявлено соответствие разным миксморфным образам (иногда людям в масках), изображающим: женщину – бовина, женщину – медведицу, женщину – птицу, мужчину – барана, мужчину – бовина, а также и ряд неясных пока персонажей (с ушами, но не медведи). Статуэтки и сосуды с частичным зооморфизмом туловища соответствуют женщине – птице.

Хронология и география *идеограмм* столь же широки – более десятка культур на протяжении неолита – энеолита. Фиксируются они и позже – в культурах эпохи бронзы и раннего железного века. Образный же их ряд ограничивается двумя персонажами. Наиболее подробные – это женщина – бовин, а лишенные деталей – человек – бовин. Существенно, что идеограммы представляют собой наиболее очевидное подобие смысловых билингв.

Миксморфизм, отвечающий *зооморфной модели,* имел более узкую хронологию. Полный или частичный антропоморфизм головы у фигурок, наверший крышек и сосудов

[1] По мнению М. Гимбутас, антропоморфные статуэтки с полным или частичным зооморфизмом головы были изображены в масках (*Gimbutas*, 1974, p. 57). Для пластики отдельных культур это предположение кажется справедливым, в частности, для Винчи, поскольку фигурок в масках (и не только зооморфных) там много.

присутствует в позднем неолите – среднем энеолите, а частичный антропоморфизм туловища у статуэток и сосудов – в раннем неолите, раннем и среднем энеолите. Образный ряд персонажей включает миксморфных баранов, бовинов, ежей, птиц. В рамках данной модели также характерно внутрикультурное продуцирование серии разных артефактов.

Судя по рассмотренным материалам, у ранних земледельцев Европы большинство миксморфных образов воспроизводилось в нескольких категориях (и типах) артефактов. Некоторые персонажи пока выявляются в рамках одной из моделей (связь человека и медведя отвечает *антропоморфной модели,* а человека и ежа – *зооморфной*). Однако прочие, как-то: соотнесение людей с бовинами, баранами, птицами – устойчиво повторяются в рамках обеих. Более того, связь человека с бовином и бараном отражают и *идеограммы*. Такого рода закономерности определенно указывают на смысловую сопряженность всех трех моделей миксморфизма в культурном контексте обширного региона и позволяют их рассматривать как элементы общего явления.

В лингвосемиотике для абстрактного обозначения одной и той же сущности, в частности, смысловой единицы, лежащей в плане содержания, используют понятие *инвариант (неизменный)*, а соответствующие единицы плана выражения, воспринимают как *варианты*. Выявленную выше группу миксморфных образов допустимо понимать как *инварианты,* а их воспроизведение во множестве разновидностей артефактов, в качестве *вариантов*. Рассмотрение образов-инвариантов предпочтительно начать с наиболее вариативных.

Соотнесение образов человека и бовина. В рамках *антропоморфной модели* ковши и ложки, флаконы и бутыли, а также тарные сосуды с полным или частичным зооморфизмом голов соответствуют образу женщины – бовина.

Репертуар образов, выявляемый по статуэткам с полным или частичным зооморфизмом голов, шире. Он включает персонажи с признаками пола и без них, а также парные изображения «мать и дитя». В целом все они образуют общее смысловое поле *люди – бовины,* которое объединяет встреченные инварианты: женщину – бовина, мужчину – бовина, человека – бовина (персонаж без признаков пола) и группу «мать и дитя». При этом наиболее часто воспроизводился инвариант женщина – бовин, которому соответствуют статуэтки в разных культурах от раннего неолита до позднего энеолита и сосуды, как специализированные (флаконы) так и обиходные (ковши ложки, тарная посуда).

Все рассмотренные инварианты представлены в разных культурах и могут сочетаться друг с другом в пределах одной. Помимо этого, в границах культуры одному инварианту может соответствовать несколько вариантов воспроизведения (разновидностей артефактов). В частности, в Винче выявлены статуэтки людей – бовинов, мужчин – бовинов и женщин – бовинов. Последнему инварианту в этой же культуре принадлежат еще ковши – ложки и тарные сосуды.

Идеограммы формально воспроизводили два инварианта: женщина – бовин и человек – бовин. Они тоже присутствуют в разных культурах, начиная с позднего неолита.

В рамках *зооморфной модели* отмечался преимущественно частичный антропоморфизм голов, соотносимый с тем же смысловым полем: *люди – бовины.* Наиболее широкий репертуар инвариантов представляют чаши – бовина – мужчину, бовина – женщину, бовина – человека. Сосуды с отверстием в спине, судя по частичному антропоморфизму головы и имеющимся признакам пола, изображают бовина – женщину. Навершия крышек и сосуды-фигуры с головами-крышками, удается прочитать более обобщенно: бовин – человек. Фигурки же с частичным антропоморфизмом головы изображают бовина – мужчину и бовина – женщину. Иными словами, в рамках этой модели инварианту человек – бовин следуют навершия крышек, чаши, четвероногие сосуды-фигуры с отверстием спереди и

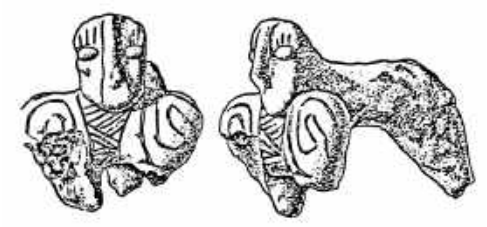


Рис. 6.1

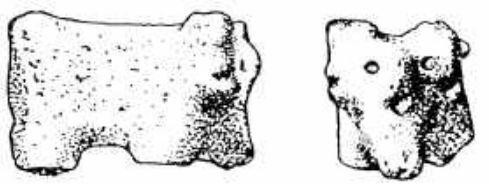


Рис. 6.2

Рис. 6.3

Рис. 6.4

Рис. 6.5

Рис. 6.6

Рис. 6.7

Рис. 6. Зооморфная модель миксморфизма – полный или частичный. антропоморфизм голов у статуэток и фигуративных наверший крышек:

1, 3–5 – Валач, 2 – Асод, 6 – Горни Пасарел, 7 – Фафос II, 8 – Калояновец.
1, 3–5, 7 – Винча, 2 – Лендьел, 6 – Караново VI, 8 – Караново IV.
1, 3–5 – по: *Höckmann*, 1968, 2 – по: *Kalicz*, 1972, 6 – по: *Петков*, 1957, 7 – по: L'art des premiers..., 1979; 8 – по: *Радунчева*, 1973.

Рис. 6.8

в спине. Женщину – бовина изображают чаши, сосуды с отверстием в спине и статуэтки, мужчину=бовину – статуэтки и чаши.

В целом, учитывая все три модели построения миксморфных фигур, группе инвариантов, образующих смысловое поле люди – бовины, следуют не менее шестнадцати вариантов артефактов, представленных в разных культурах. При этом частота их воспроизведения не одинакова (женщину – бовина отражает восемь вариантов, человека – бовина – пять, мужчину – бовина – три).

Количество же вариантов (в рамках этого смыслового поля), принадлежащее одной культуре, тоже бывало достаточно велико. Винче принадлежит не менее двенадцати вариантов. В Караново VI пока выявлено девять вариантов. В Кукутени-Триполье – шесть вариантов. Еще в десяти культурах пока фиксируется по 1–3 варианта миксморфных артефактов.

Человек и птица. В рамках *антропоморфной модели* фигурки с полным или частичным орнитоморфизмом головы соответствуют инварианту женщина – птица, ему же отвечают фигурки и сосуды с частичным орнитоморфизмом сложения. В рамках *зооморфной модели* частичный антропоморфизм сложения по-разному проявляется у фигурок и у двух вариантов сосудов с отверстиями спереди: у аскосов изображены женские ягодицы, а у сосудов – флаконов с отверстием в макушке отчетлив антропоморфизм лица. Полный или частичный антропоморфизм головы у сосудов – фигур с отверстием сзади и у наверший крышек формально можно соотнести с инвариантом человек – птица, но вероятнее, это тоже женщина – птица. В целом инварианту женщина – птица (в рамках двух моделей) следует не менее десяти вариантов артефактов. Наибольшее их число принадлежит Старчеву – Кришу – статуэтки и сосуды с частичным миксморфизмом сложения, следующие обеим моделям, попарно образуют перекрестные связи. Не менее двух вариантов воспроизводилось в Винче, еще в нескольких культурах – по одному (Сескло, Прекукутень, Караново VI). На семантическую близость женского персонажа с образом птицы иногда указывают и особенности декора предметов пластики. Уже отмечали, что у раннегумельницких антропоморфных статуэток и фигурок птиц на шее бывают изображены одинаковые украшения – «амулеты» (рис. 4: *3*); (*Dragomir*, 1977). Об этом же свидетельствуют и более поздние материалы, в частности известные подтреугольные «повозочки-птицы» из Дупляя, относящиеся к эпохе поздней бронзы. В наиболее сохранной из них путешествуют птица (утка?) и женская фигурка с определенно птичьей личиной (рис. 4: *8*).

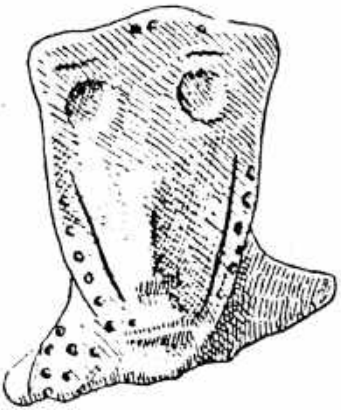


Рис. 7.1

Рис. 7.3

Рис. 7.2

Рис. 7.4

Рис. 7.5

Рис. 7.6

Рис. 7.7

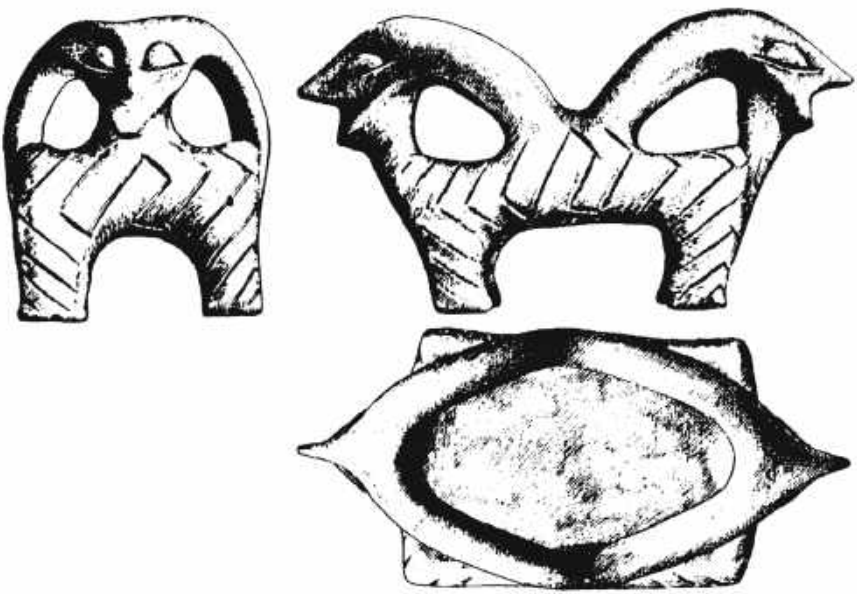


Рис. 7.8

Рис. 7. Зооморфная модель миксморфизма – чаши:

1, 5 – Турдаш, 2 – Ситагри, 3 – Чрнокалашка Бара, 4 – Татаркьой, 6 – Градешница, 7 – Хыршова, 8 – Рудна Глава.
1, 3, 5, 8 – Винча, 2, 4 – Караново VI, 6 – Градешница, 7 – Гумельница;
1 – по: *Dumitrescu*, 1974, 2 – по: *Renfrew at al.*, 1986,3 – по: *Gimbutas,* 1974, 4 – по: *Радунчева,* 1973, 5 – по: *Roska*, 1941, 6 – по: *Николов,* 1974, 7 – по: *Dumitrescu,* 1974, 8 – по: *Tasić,* 1995.

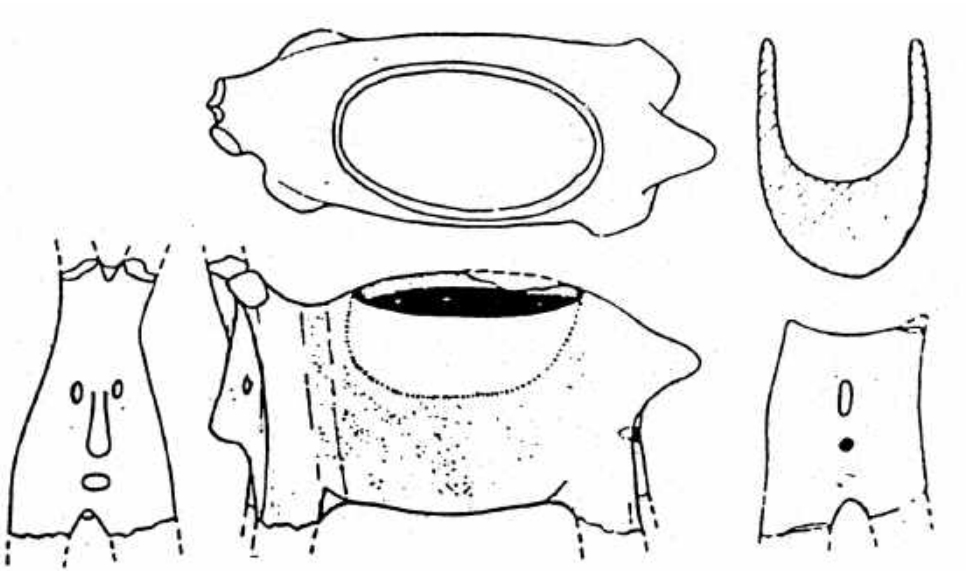


Рис. 8.1

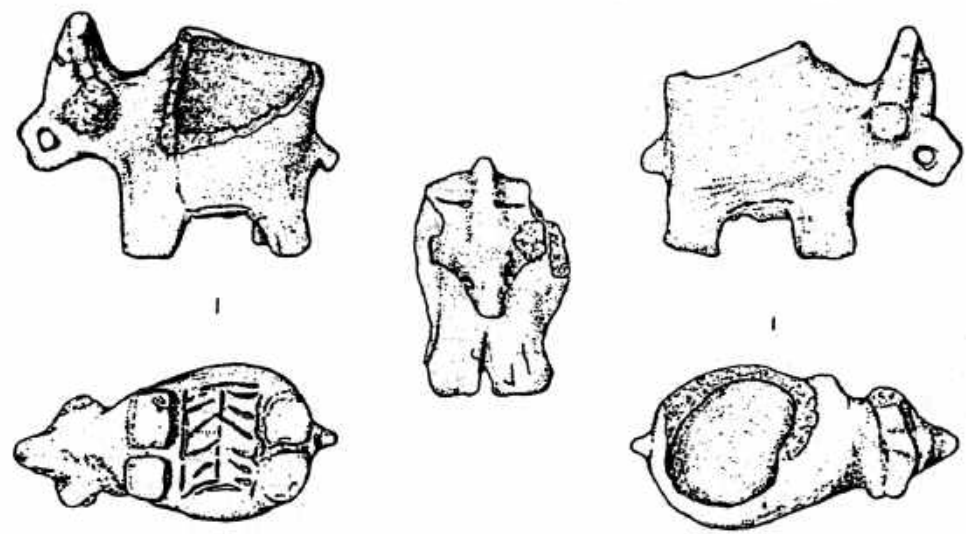


Рис. 8.2

Рис 8. Зооморфная модель миксморфизма – сосуды с отверстиями в спине и спереди:

1 – Яромежеце , 2 – Драма, 3 – Цирцеа «Виадукт», 4 – Винча, 5 – Стара Загора (Окружна болница), 6 – Голям Извор, 7 – (а) Видра, (б) Гюндийска могила.

1 – Лендьел, 2, 6 – Караново VI, 3, 4 – Винча, 5 – Караново V.

1 – по: *Podborzský*, 1985, 2 – по: *Lichardus,* 1988, 3 – по: *Nica, Niţa,* 1979, 4 – по: *Bacèh,* 1936, 5 – по: *Калчев*, 2005, 6 – по: *Todorova at al.,* 1982, 7 (а) – по: *Rosetti,* 1938, 7 (б) – по: *Кънчев*, 1983.

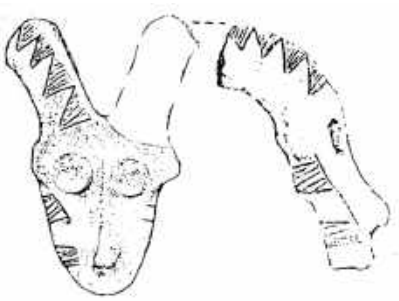


Рис. 8.3

Рис. 8.5

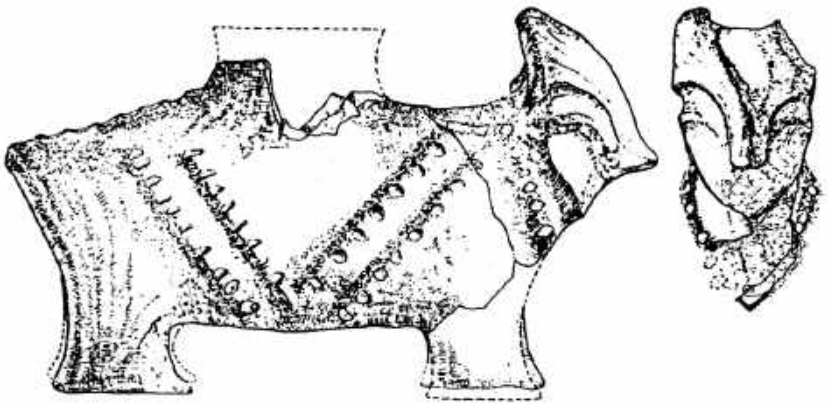


Рис. 8.4

Рис. 8.6

Рис. 8.7

Человек и медведь. Женские фигурки с головой медведя известны в пластике Старчева-Криша и Винчи. Последней еще принадлежат такие же статуэтки без признаков пола и фигурки женщин в медвежьих масках. То есть, пока можно констатировать сравнительно узкое территориально и хронологически (неолит – ранний энеолит) воспроизведение инварианта женщина – медведица.

Человек и баран. Об образе мужчины – барана свидетельствуют миксморфные изображения, в рамках *антропоморфной* и *зооморфной* моделей, а также одна из более поздних *идеограмм*. В рамках *антропоморфной* модели данному инварианту соответствуют мужские фигурки с головами баранов, принадлежащие Винче. *Зооморфной* модели принадлежат чаши-бараны с антропоморфными личинами (Винча, Дикилиташ) и личины – крышки с рогами барана у сосудов с отверстиями спереди (Винча). Предположительно тот же образ отражает одна из идеограмм (плоская костяная фигурка эпохи бронзы из Эзеро). Данный инвариант, фигурировавший в позднем неолите – раннем энеолите, представлен всего четырьмя разновидностями артефактов, три из которых принадлежат Винче.

Человек и еж. Отвечающие *зооморфной* модели сосуды в виде ежей, крышки от которых иногда имеют антропоморфные личины, выявлены только в Гумельнице. Уточнить образную принадлежность монокультурного инварианта еж – человек пока не удается.

На основании рассмотренных изобразительных материалов ранних земледельцев Европы можно сделать несколько общих выводов. Перекрестные связи указывают на изоморфизм и равнозначность трех моделей построения фигур. Сопряженность их тоже не вызывает сомнений.[1] Обращает на себя внимание как высокая вариативность артефактов, отмеченных миксморфизмом, так и принадлежность многих из них к разным категориям не только сакрализованных, но и обиходных предметов. Все это позволяет говорить о разветвленной и многоуровневой структуре невербальной фиксации общего для ранних земледельцев культурного текста, который буквально пронизывал все их бытие и, по определению Ю. М. Лотмана, имел исключительно мнемоническое значение (*Лотман,* 1973).

Следует отметить очень важную особенность функционирования этого текста в изобразительной традиции целого круга археологических культур. Хотя миксморфные изображения маркируют много разновидностей артефактов, но их присутствие в любой из них сравнительно низкое. Это – своего рода «проговоры», изредка проскальзывающий расширенный комментарий. Нам он позволяет выявить несколько аспектов, часто ускользающих из поля зрения: внутреннюю для данной традиции связь между зооморфными и антропоморфными образами; взаимосвязи между группами таких образов, а также семантическую, «сакрализующую» связь между множеством артефактов, отмеченных ими.

Зооморфные и антропоморфные персонажи. Благодаря миксморфизму, смысловое тождество всех вариантов изображений, восходящих к общему инварианту, и определяет характер связей между зооморфными и антропоморфными персонажами. Поэтому нам придется принять равнозначность женщины – птицы и птицы – женщины, женщины – бовина и бовина – женщины, и так далее. В общем же виде такие связи указывают на тождество соответствующих антропоморфных и зооморфных персонажей вне образных пересечений. Это означает, что система зооморфных образов в культурном тексте ранних европейских земледельцев является не только «зоологическим кодом», это иной ракурс единого текста, прекрасно понимавшегося в свое время внутри и столь трудно трактуемого извне.

Взаимосвязи между инвариантами. Часть миксморфных образов довольно четко дифференцируются по полу: женщины – медведицы, женщины – птицы, мужчина – ба-

[1] Она выявляется, как было показано в начале статьи, и в некоторых других традициях.

ран. Существует персонаж, пока читаемый менее подробно – человек – еж. Особый интерес представляет группа, образующая смысловое поле люди – бовины. Благодаря множественности именно их изображений в европейских раннеземледельческих культурах и стала проявляться вся многоуровневая структура. Само же знаковое тождество людей и бовинов уже было установлено по некоторым другим материалам европейских земледельцев, в частности, по фишкам из трипольского памятника Коновка, позволившим также выявить неожиданное иерархическое соотношение между баранами и бовинами (*Балабина,* 1997, 1998). Еще одна связь между женскими миксморфными персонажами, обнаружилась благодаря ключевому полиморфному изображению из Винчи. Она свидетельствует о наличии смыслового тождества птица – женщина – корова. Один миксморфный персонаж «женщина – медведица» пока остается обособленным. Однако, в этой связи обращает на себя внимание присутствие статуэток и сосудов в виде медведей именно с женской маркировкой пола по всему раннеземледельческому ареалу Европы в неолите и энеолите (*Балабина*, 1998).

Семантическая связь между артефактами, несущими миксморфную символику. Помимо описанных миксморфных изображений, у ранних европейских земледельцев существовало множество антропоморфных и зооморфных – и в виде самостоятельной скульптуры, и в качестве символических украшений на разнообразных обиходных предметах. Причем зооморфная маркировка встречается значительно чаще. Благодаря выявляемому тождеству зооморфных и антропоморфных образов, значительно расширяются возможности анализа. Именно многоуровневое увязывание разнообразных артефактов позволяет пространственно ощутить структуру, «каркас» сопряженных понятий, весьма напоминающих системы, которые этнологи выявляют в традиционных обществах.

Литература

Абрамова З. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.-Л., 1966.

Абрамова З. А. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб., 2005.

Балабина В. И. Фигурки животных и их символика на сосудах как отражение одной из знаковых систем древних земледельцев Европы // РА. 1997. № 2. С. 29–46.

Балабина В. И. Фигурки животных в пластике Кукутени-Триполья. М., 1998.

Балабина В. И. Зооморфные сосуды ранних земледельцев Европы // Мировоззрение древнего населения Евразии. М., 2001.

Борисова И. Нови антропоморфни фигури от началото на култура Марица // Минало. № 3. София, 1995. С. 10–16.

Васић М. Преисториска Винча. Т. II, III. Београд, 1936.

Гарашанин Д. Религија и култ неолитского чловека на Централном Балкану // Неолит Централног Балкана. Београд, 1968. С. 241–265.

Ефименко П. П. Первобытное общество. Л., 1958.

Збенович В. Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины. Киев, 1989.

Калчев П. Неолитни жилища Стара Загора. Каталог на експозицията. София, 2005.

Катинчаров Р. Антропоморфни фигурки от селищната могила до с. Езеро, Сливенско // ИАИ. 1972. XXXIII. С. 71–77.

Кинк Х. А. Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран. М., 1976.

Кънчев М. Музеи и памятници на културата в Нова Загора: Путеводител. Нова Загора, 1983.

Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 16–22.

Маркевич В. И. Многослойное поселение Новые Русешты I // КСИА. 1970. Вып. 123. С. 56–69.

Маркевич В. И. Далекое – близкое. Кишинев, 1985.
Неолит Централног Балкана: Каталог (НЦБ). Београд, 1968.
Овидий. Собрание сочинений. Том I. СПб., 1994.
Николов Б., 1974. Градешница. София.
Петков Н., 1957. Животински декоративен елемент в енеолитната керамика от Горни Пасарел // ИАИ. Кн. XXI. С. 291–294.
Радунчева А. Доисторическое искусство в Болгарии. София, 1973.
Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
Титов В. С. Поздний неолит // Археология Венгрии. Каменный век. М., 1980.
Цвек О. В. Релігійні уявлення населення Трипілля // Археологія. 1993. 3. С. 74–91.
Шеркова Т. А. «Око Хора»: символика глаза в додинастическом Египте // ВДИ. 1996. № 4. С. 96–114.
Amiet P. La glyptique mesopotamienne archaïque. P., 1961.
L'art des premiers agriculteurs en Serbie (6000 – 2500 avant J. C.). Saint-Germain-En-Laye, 1979.
Dragomir I. T. Contribuţii privind ritul funerar şi credintele magico-religioase la comunitătile aspectului cultural stoicani-aldeni // SCIV. 1977. Vol. 28. № 4. P. 447–508.
Dumitrescu V. Arta preistorica în Romania. Bucureşti, 1974.
Dumitrescu V. The Neolithic settlement at Rast // BAR. 1980. I. S. 72.
Gimbutas M. The Gods and goddesses of old Europe. L., 1974.
Gimbutas M. Anza, ca. 6500–5000 B. C.: A cultural yardstick for the study of Neolithic Southeast Europe // J. of Field Archaeology. Boston, 1974a. Vol. 1. P. 27–66.
Gimbutas M. The language of the goddess. San Francisco, 1989.
Gimbutas M. The civilization of the Goddess. San Francisco, 1991.
Hanschman E., Milojcic Vl. Argissa-Mogula III. Teil II. Bonn, 1976.
Hockmann O. Menschliche Darstellungen in der bandkeramischen Kultur // JRGZ. 1965. N 12. P. 1– 26.
Höckmann O. Die Menschengestaltige Figuralplastik der Südosteuropäischen Jungsteinzeit und Steinkupferzeit. Munster, 1968. Teil 2.
Kalicz N. Clay gods. The Neolithic period and Copper Age in Hungary. Budapest, 1970.
Kalicz N. Siedlung und Gräber der Lengyel-Kultur in Aszód (Jahresbericht 1970). Mitteilungen Archäologischen Institut. Bd. 3. 1972. P. 65–71.
Kalicz N., Makkay J. Südliche Einflüsse im Frühen und mittleren Neolithikum Transdanubiens // Alba Regia. 1972. № XII. P. 93–105.
Lazarovici Ch. Neoliticul Banatului // BMN. 1979. IV.
Lichardus J. Varna und Mitteleuropa: Die Konsquenzen // Macht, Herrschaft und Gold. Saarbrukken, 1988. P. 273–282.
Marinescu-Bolcu S. Cultura Precucuteni pe teritoriul Romвniel. Bucureşti, 1974.
Mellaart J. Excavations at Hacilar. Edinburgh, 1970. Vol. 2.
Nica M., Niţa T. Le établissements néolithiques de leu et Padea de la zone d'interference de cultures Dudeşti et Vinča // Dacia. 1979. N.S. XXIII. P. 31–64.
Pavúk J. Umenie a život doby kamennej. Bratislava, 1981.
Paul I. Vorgeschichtliche Untersuchungen in Siebenbürgen. Bibliotheca Universitatis Apulensis I. Alba Iulia, 1995.
Podborzský V., 1985. Těšetice-Kyjovice 2. Figurálno plastika ludi s moravskou malovanou keramikou. Brno.
Renfrew C., Gimbutas M., Elster E. Excavations at Sitagroi // Monument Archaeologica. 13. Los Angeles, 1986.
Rosetti D. Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnhügel bei Bukarest // JPEK. 1938. XII. P. 29–50.
Roska M. Torma Collection. Cluj, 1941.
TasićN. Eneolithic Cultures of Central and West Balkans. Belgrad, 1995.
Todorova H., Tschochodshiew M., Vaisov I. Jungsteinzeit in Bulgarien. Katalog. Braunschweig, 1982.
The Toledo Museum of Art. Kataloge, 1982.
Winckelman S. Intercultural relations between Iran, the Murghabo-Bactrian archaeological complex (BMAC) Northwest India and Failaka in the Field of Seals // EW. Vol. 45. Nos. 1–4 (December 1995). 1995. P. 43–95.

А. Е. Симонян

ДРЕВНЕАРИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ В ПОГРЕБАЛЬНЫХ РИТУАЛАХ АРМЕНИИ В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ

Вопрос о присутствии в изображениях древних культовых и бытовых памятников Армении сюжетов с индоевропейскими мифологическими сценами, верований, ритуала и мышления затрагивался уже в конце XX в. (*Арешян*, 1988, с. 84–102; *Оганесян,* 1988, с. 145–161; *Гнуни,* 2003, с. 72–90 и т. д.). Присутствие древнеарийкого пласта на Армянском нагорье в академической научной литературе до сих пор не было рассмотрено, либо рассматривалось косвенно. Вопросам, связанным с древними ариями и их прародиной, посвящена огромная литература, рассмотрение которой не является задачей нашей статьи. Однако отметим, что на основе археологических источников этот вопрос пытался разрешить классик европейской археологии Гордон Чайльд. Арийскую проблематику он рассматривал в контексте анализа колоссального количества археологического материала всего Евразийского континента, находившегося в обиходе научных кругов в первой четверти XX в. Подчеркивая важнейшую роль древних ариев в развитии европейской цивилизации и выдвигая ряд ценных гипотез, он, однако, не пришел к признанию конкретного региона в качестве прародины ариев. Не имея под рукой археологических данных из Армении, он все-таки предугадал, что Армения могла являться одним из возможных регионов прародины ариев, и отметил ее на карте в своей книге (*Чайлд,* 2007, с. 224–225).

В предлагаемой статье мы рассматриваем следы древнеарийского, протозороастрийского пласта в Армении в свете анализа древнеармянских преданий и выявленных в последнее время археологических данных, до сих пор не рассмотренных с этой точки зрения. Методологической основой для предлагаемой статьи и решения выдвинутой нами проблематики являются комплексный подход и всесторонний анализ дошедших до нас совокупных археологических данных и письменных сведений. В качестве источниковедческой базы отобраны и использованы зороастрийские гаты (священные гимны ираноариев), священные гимны и тайные учения индоариев – веды, араньяки, упанишады и т. п., легенды, народные предания и эпос древней Армении. Кроме того, использованы результаты как давних, так и новейших раскопок памятников эпохи бронзы на территории Армянского нагорья и сопредельных областей (*Куфтин,* 1941; *Пиотровский*, 1949; *Гогадзе,* 1972; *Жоржикашвили, Гогадзе*, 1974; *Кушнарева,* 1993; *Ахундов,* 2001; *Деведжян,* 2006; *Симонян,* 2004, 2006, 2008 и др.).

С археологической точки зрения особенно интересны результаты раскопок городища Шенгавит (IV–III тыс. до н. э.) и некрополя Неркин Навер (XXV–XVIII вв. до н. э.). Оба памятника с 2000 г. исследуются экспедицией Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия при Министерстве культуры РА под руководством автора данной статьи. Эти памятники расположены в единой историко-географической среде центральной части Республики Армения, всего в 20 км по прямой друг от друга (рис. 1). Они хронологически дополняют друг друга и в общей сложности охватывают отрезок времени более чем в одно тысячелетие. Приводимые ниже результаты радиокарбонного анализа подтверждают предлагаемый нами хронологический отрезок, охватываемый этими памятниками (табл. 1).[1]

[1] Приношу свою благодарность Рубену Бадаляну за помощь в радиокарбонном исследовании материала и калибровке полученных дат.

Раскопки, проведенные в 2005–2006 гг. на территории некрополя шенгавитского городища – важнейшего памятника эпохи ранней бронзы Южного Кавказа (*Сардарян,* 2004, с. 182–333) выявили новые черты погребального ритуала первой половины III тыс. до н. э. Здесь четко прослеживаются элементы языческих верований, отраженных в общей индоевропейской мифологии. Некрополь сформировался за пределами крепостной стены, в заброшенном квартале некогда цветущего города. Здесь, в культурных слоях, раскопаны шесть индивидуальных захоронений, в которых тела усопших, согласно погребальному ритуалу, были уложены в расчлененном виде (рис. 2) (*Симонян*, 2008, с. 81–93). Как отмечает В. Н. Топоров, в ведийской мифологии (в дальнейшем – ВМ) сотворение космоса и возобновление новой жизни происходило из расчлененных частей демиурга или священного животного. «Когда разделили Пурушу, брахманом стали его уста, руки – кшатрией, бедра его – вайшьей, из ног возник шудра. Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце, из головы возникло небо» (МНМ, с. 224). По мнению В. Н. Топорова, в основе этого мифа лежит отклик древнейшего ритуала человеческого жертвоприношения. Не исключая его гипотезу, мы склонны считать, что, начиная с периода ранней бронзы (погребения Шенгавита), до эпохи раннего железа (погребения Шамирама), то есть в IV–I тыс. до н. э., широко распространенный на Армянском нагорье специфический погребальный ритуал, включавший расчленение тел умерших до их захоронения, имел в своей основе этот космогонический миф.

Таблица 1

Радиокарбонные датировки разных слоев археологических памятников Неркин Навер и Шенгавит на территории Армении

NN	Site	Excavat. Date	N tomb	Sample	Lab-no.	^{14}C-Date BP	Calibration date		
							date BC	Range σ1	Range σ2
1	Nerkin Naver	2002/ 2003	kurgan 1	born	Hd-23021	3766 ± 49	2198	2290–2050	2340–2030
2	Nerkin Naver	2004	kurgan 2	charcoal	Bln-5731	3567 ± 37		1980–1870	2030–1860
3	Nerkin Naver	2004	kurgan 2	charcoal	Bln-5732	3602 ± 33		2020–1910	2040–1880
4	Nerkin Naver	2004	kurgan 2	charcoal	Bln-5733	3649 ± 31		2120–1950	2140–1930
5	Nerkin Naver	2004	kurgan 2	charcoal	BETA-246413	3640 ± 40 C13/C12	2020	2110–2100	2040–1950
6	Shengavit	2000	II level 60–70 sm	charcoal	Bln-5526	4462 + 47		3330–3210	3350–3010
7	Shengavit	2000	III level 100 sm	charcoal	Bln-5527	4116 + 38		2860–2580	2790–2570

В одном из вышеупомянутых погребений Шенгавита был обнаружен фрагмент чернолощёного сосуда с рельефным изображением бодающихся козлов, рога которых извергают искры (рис. 3). По всей вероятности здесь изображён сюжет боя небесных козлов, символизирующих молнию и бога-громовержца, культ которого был широко распространен в

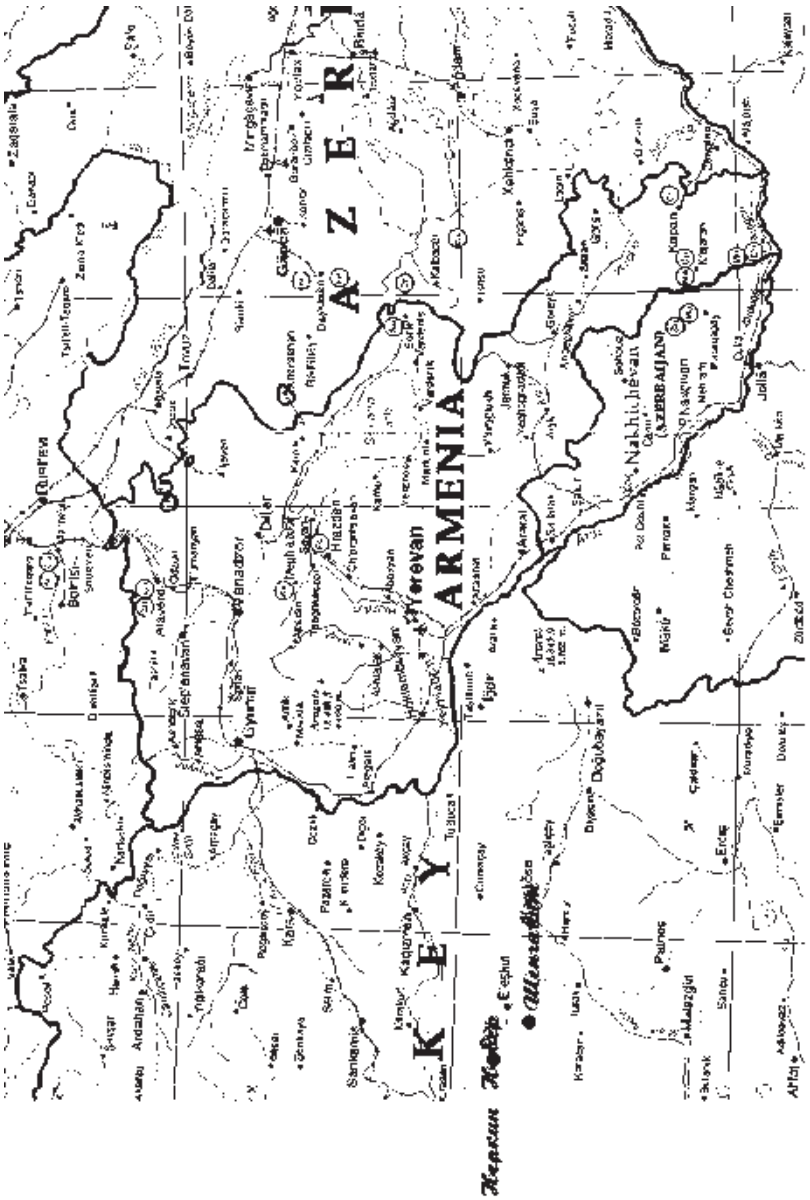


Рис. 1. Карта марза Арагацотн РА.

мифологии индоевропейцев (*Симонян,* 2008, с. 91, табл. 4, рис. 2). Тема непосредственной связи козы с молнией, запечатленная в орнаменте Шенгавитского сосуда, отражена и в армянском фольклоре. Так, древнейшая пословица гласит: «Сама коза, а спина – искра». Приведенные факты могут служить основой для пересмотра безоговорочно принятого в научных кругах мнения, что носителями куро-аракской культуры в Армении были хурриты (*Дьяконов,* 1968, с. 13–18). Громадные территории, охватывающие памятники этой культуры, несомненно, были населены этнически разными народами, среди которых, вероятно, были и индоевропейцы, которые согласно данным раскопок Шенгавита, уже с начала III тыс. до н. э. заселили центральные и северные районы Армянского нагорья.

Во второй половине III тыс. до н. э. в северных районах Армянского нагорья сформировалась культура «ранних курганов», на основе которой в дальнейшем возникли четыре родственные культуры «крашеной керамики» эпохи средней бронзы. Анализ погребального обряда, по данным раскопок курганов эпохи средней бронзы, выявил множество элементов индоевропейской и протозороастрийской идеологии. «Установлено, что арийцы и ранние индоиранцы хоронили своих покойников в земле. Но потом погребальный обряд сменился: у индоариев – кремацией, у иранских (авестийских) арийцев – обычаем выставлять труп в пустынном месте на съедение птицам и зверям». В основе этих ритуалов было представление ариев, что сразу после смерти в мертвую плоть вселяется скверна (*Рак,* 1998, с. 17). Так как умершие перед богами должны были предстать чистыми, то скверну, то есть плоть, необходимо было уничтожить. После уничтожения плоти огнем или поедания ее зверями, кости собирали и погребали. Этот обряд было обоснован представлениями о том, что душа покойного может возродиться и облечься в новую плоть только при сохранении костей (*Бойс,* 1988, с. 23–24; *Рак,* 1998, с. 18). Данные археологии подтверждают, что в изначальный период, когда индоарии и ираноарии проживали на своей единой прародине, оба ритуала сосуществовали и были обусловлены, на наш взгляд, социальными предпосылками.[1] Трупы царских персон и аристократии сжигались, а тела простых общинников после смерти либо отдавали на съедение птиц и зверей, либо хоронили таким образом, что тела усопших не соприкасались и не оскверняли священную стихию земли. В Армении в эпоху средней бронзы, очевидно, произошла резкая социальная дифферен-

[1] О совместном проживании индоариев и ираноариев на единой прародине, свидетельствует также канонизированный обряд ориентации погребальных ям эпохи средней бронзы. Согласно представлениям древних жителей, сакральная сторона света, куда должна была отправлена душа покойника, едина в рамках одной археологической культуры, однако она разная для одновременных родственных культур эпохи средней бронзы Армении. Могилы носителей триалети-ванадзорской культуры ориентированы на восток, а могилы кармирбердской культуры – на север (*Симонян,* 1984, с. 11–13; 1987, с. 86). «…У авестийских иранцев ад далеко на севере – у ведийских ариев там рай» (*Рак,* 1998, с. 18). Считается, что Арьяна Вэджа – прародина иранцев и родина пророка Заратустры находилась на севере Ирана, в долине реки Аракс (*Рак,* 1998, с. 27). Под именем Аракс греческие географы называли знаменитые реки разных регионов: современный Аракс в Армении, Амударью и Инд. Здесь, вероятно, мог происходить перенос топонима совместно с переселением этноса. Так как все эти территории являются местами проживания древних ариев, первоначальное название реки мы должны искать именно там, где находилась прародина ариев. Расположение древнейших курганов с арийским погребальным ритуалом в Армении во второй половине III тыс. и первой половине II тыс. до н. э. (некрополи Верин Навер, Неркин Навер, Аруч, Шамирам, Маисян, Агавнатун, Цахкаландж, Ошакан и т.п.) дает основание полагать, что изначально Араксом называлась нынешняя река Аракс, которую армяне считают своей главной рекой и называют ее мать-река. Интересно, что само имя пророка Заратустры по-древнеармянски (грабар) можно трактовать следующим образом: З – предлог, широко использовавшееся в грабаре, Арат – название местности, страны (АрАрат – название библейской горы, долины и страны) и устар – сын, то есть СЫН [СТРАНЫ АР]АРАТ, именно в которой течет река Аракс.

Рис. 2. Погребение № 1 Шенгавитского некрополя.

циация, также затронувшая погребальный обряд. Так, раскопки больших курганов выявили, что трупы предводителей-царей и аристократии сжигались на погребальных кострах,[1] а собранный пепел и останки костей хоронили в глубоких могилах,[2] заранее рассыпая их на пышно украшенные катафалки и повозки (курганы Кировакана (Ванадзор), Лори-Берда, Триалети, Аруча, Неркин Навера и т. д.) (*Куфтин,* 1941, с. 81; *Пиотровский*, 1949, с. 47; *Кушнарева,* 1993, с. 247, 249–250; *Деведжян,* 2008, с. 98, 251–253). В свою очередь деревянные ложа были покрыты дорогими коврами и шкурами хищников – льва, пантер, волков и др.[3] Могила со шкурами волков, пантер и льва обнаружена в царском погребении N 1 в Неркин Навер,[4] а отпечатки ковра – в погребении N 7.

[1] Кремация, согласно ритуалу, способствовала переходу в сонм богов (*Кушнарева,* 1993, с. 250).

[2] Согласно ведийским традициям тела умерших сжигали на кремационном костре, а земле предавались только несгоревшие остатки костей (Ригведа, с. 452).

[3] По данным ведийских гимнов арийцы охотились на львов и в качестве одежды использовали также шкуры животных (Ригведа, с. 447, 449). Интересен и тот факт, что на серебряном кубке из Большого Карашамбского кургана изображены львы и пантеры (*Оганесян,* 1998). Зуб льва и кости крупных кошачьих обнаружены также в погребениях знати могильника Верин Навера (NN 12, 15), расположенного всего в 1,5 км к северу от могильника Неркин Навер (*Симонян,* 1990, с. 190, 207; 2006, с. 133, 136–137, 147–149).

[4] На основе анализа остеологического материала, проведенного Гансом-Питером и Маргарет Уерпман, было выявлено, что в указанном погребении были шкуры вышеперечисленных хищников. Приносим свою благодарность этим ученым.

Рис. 3. Фрагмент чернолощеного сосуда с рельефным изображением бодающихся козлов, рога которых извергают искры.

Простых же общинников в эпоху средней бронзы хоронили в скорченном положении: мужчин – на правом, женщин – на левом боку (*Симонян,* 1984, с. 11; 1987, с. 85; 2006, с. 27, 36–77). Однако и здесь всячески пытались избежать возможности соприкосновения осквернённых смертью тел усопших со священной землей. Могилы либо вырыты до уровня туфового пласта и на 30–50 см углублены в верхний рыхлый слой скалы (могильник Верин Навер. см.: *Симонян,* 1982, с. 70; 1984, с. 10), либо трупы клались на специально вырубленные каменные «диваны» (Неркин Навер, курган 5, погребение 5А, раскопки 2008 г.). В тех местах, где каменные отложения или туфовый пласт залегал на больших глубинах, дно погребальных ям засыпались песком, гипсом, трупы накрывались циновкой либо заливались смесью жидкой глины (*Симонян,* 1984, с. 10). Цель этого ритуала, по всей вероятности, состояла в том, чтобы исключить возможность соприкосновения трупа со священной землей (*Симонян,* 2006, с. 27, 79). Описанный ритуал с удивительной точности соответствует погребальному обряду ирано-ариев (Видевдат: 3.14–21, 36–42; 8.1–25, 34–107; *Рак*, 1998, с. 274–283).

Пример уникального погребального ритуала зафиксирован в кургане N 1 Неркин Навера. Здесь труп предводителя-царя был кремирован, а останки завернуты в циновку и захоронены (обнаружены остатки древесного угля, обуглившейся циновки и полусгоревшие зубы мужчины пожилого возраста – 55–60 лет). На костях от детских скелетов, похороненных вместе с хозяином в той же могиле, прослеживаются следы зубов крупных собак.[1] Здесь мы видим явное отражение индоарийских и зороастрийских верований, согласно которым трупы лидера сжигали, а людей рангом ниже с целью очищения отдавали на съедение собакам, и только после этого очищенные кости собирали и хоронили.

Собака играла важную роль в арийских традициях цикла чередования смерти и возрождения. По древнеарийской традиции последний взгляд усопшего должен был остановиться на собаке, а после смерти хозяина возле трупа должна была находится собака, что считалось залогом предохранения усопшего от злых духов (*Лео*, 1904. с. 90; *Рак,* 1998, с. 78). Согласно античным авторам (*Цицерон,* «Тускуланские беседы» III. 45; *Рак,* 1998, с. 527) и средневековым китайским текстам, арийцы в Гиркане и в Средней Азии приручали специальных крупных псов, содержавшихся в башнях, куда и помещались трупы с тем, чтобы эти собаки обгладывали тела и очищали кости усопших. Соответственно их представлениям, этим они способствовали воскрешению покойников, а также препятствовали осквернению священной земли трупами. Как уже было отмечено выше, в кургане N 1 Неркин Навера зафиксированы наиболее древние следы очищения костей усопших от мягких тканей посредством обгладывания трупов крупными собаками.

В легендах древней Армении, дошедших до нас в трудах армянских историков раннего средневековья (Мовсеса Хоренаци, Езника Кохбаци, Себеоса, Ванакана Вардапета и т. д.) фигурируют сказочные животные – *аралезы*.[2] Трансформированные сведения об

[1] Определение Г-П. и М. Уерпманов.

[2] *Аралезы* – в армянской мифологии духи, происходящие от собаки. Они спускаются с неба, чтобы зализать раны убитых в сражениях воинов и воскресить их. Так аралезы воскресили Ара Гехецика (Прекрасного) (МНМ, т. 1, с. 97).

этом ритуале очищения, по нашему мнению, сохранились в древнеармянской легенде об Ара Гехецике[1] и Шамирам (Шамурамат). «Шамирам после смерти супруга отправляет послов с дарами к славившемуся своей красотой Ара Гехецику, предлагая ему стать своим мужем и царем Ассирии, либо хотя бы удовлетворить её страсть. Получив решительный отказ, Шамирам с несметным войском идет войной на Армению. Несмотря на наставления Шамирам своим полководцам оставить в живых армянского царя, Ара погибает на поле брани. По приказу Шамирам труп Ара выставляют на высоком месте (чердаке) и аралезы зализывают раны Ара Гехецик, и он оживает. Согласно «Истории» Мовсеса Хоренаци, Шамирам всего лишь распускает слух о том, что аралезы воскресили Ара» (*Матикян,* 1930; *Капанцян,* 1944; МНМ, т. 1, с. 97). Историк V в. Мовсес Хоренаци пишет: «После победы царица посылает на место сражения грабителей трупов искать среди павших предмет ее страстного вожделения. Ара находят мертвым среди отважных бойцов, и она велит положить его **в горнице дворца»**. «Когда же армянская рать вновь ополчается на битву с царицей Шамирам, дабы отомстить за смерть Ара, она говорит: «Я велела своим **богам (***аралезам – А. С.*) **зализать его раны, и он оживет».** Она, обезумевшая от вожделения, действительно надеялась оживить Ара чарами своего колдовства. Когда же его труп разложился, она повелела бросить его **в глубокую яму и засыпать.**[2] При этом, тайно вырядив одного из любовников, распускает о нем такую молву: «Боги (*аралезы – А. С.*) **облизали** (раны) Ара и, **оживив его,** осуществили наше заветное желание нам на усладу: поэтому они отныне достойны еще большего нашего поклонения и прославления как исполнители нашей воли, доставляющие радость». Таким образом, распустив по Армянской стране эту молву о нем и **удовлетворив всех**, она добилась прекращения войны» (*Хоренаци,* 1990, с. 29). Это не что иное, как отклик широко распространенного в Армении верования о воскрешении покойников с помощью собак (поскольку слух о воскрешении Ара Прекрасного с помощью *аралезов* войско приняло с удовлетворением и разошлось – *А. С.*).

Вероятно к древнему ритуалу арийцев – отдавать тела усопших на съедение особо содержавшимся псам – относятся загадочные сооружения возле могильников эпохи бронзы в Армении. На окраине некрополя Неркин Навер прослеживаются следы больших, округлых в плане сооружений, выстроенных из крупных скальных глыб. Возведение таких сооружений требовало больших усилий (рис. 4). Раскопки одной из этих «комнат» выявили отсутствие здесь культурного слоя, а служившая в качестве пола туфовая порода была покрыта тонким слоем земли, образовавшимся в результате естественных наслоений. Однако, здесь были обнаружены фрагменты человеческих костей и церемониальный обсидиановый нож (*Симонян,* 2004, с. 126–127). Не исключено, что эти сооружения являются остатками «башен молчания», куда складывались трупы покойников перед захоронением. По всей Армении выявлена широкая сеть построенных на естественных высотах или на вершинах невысоких холмов загадочных сооружений из крупных базальтовых блоков. В плане это округлые или многогранные башни диаметром 6–10 м, сохранившаяся высота которых достигает восьми метров (рис. 5 – см. цветную вклейку). Вероятно, эти сооружения относятся к эпохе поздней бронзы и раннего железа. Характер и значение

[1] «В армянской мифологии умирающий и воскресающий бог. Древняя легенда об Ара Гехецике и богине Шамирам сложилась по-видимому, во II тыс. до н. э. В эпосе Ара Гехецик выступает царем армянского государства, Шамирам – царицей Ассирии» (МНМ, т. 1, с. 97). По нашему мнению легенда об Ара Гехецике сложилась еще в IV/III-м тыс. до Р. Х.

[2] Мы считаем, что здесь отражена древняя традиция захоронения в глубоких могилах, которые характерны погребениям знати эпохи средней бронзы.

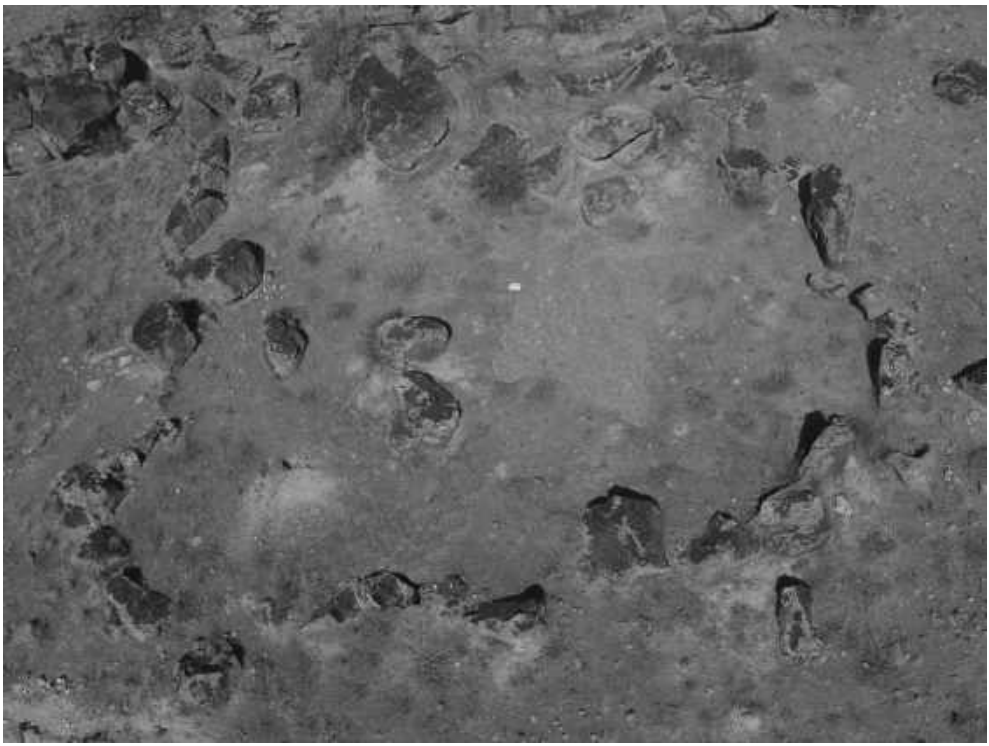


Рис. 4. Следы больших, округлых в плане сооружений в Неркин Навере.

этих сооружений по сей день не выявлен. Судя по тому, что, как правило, рядом с этими сооружениями, а иногда и в самой башне, расположены древние погребения, можно предположить, что эти постройки связаны с погребальным ритуалом и, по всей вероятности, являются «башнями молчания» древнеарийских верований.

Согласно древнеармянским сказаниям *аралезы* также сопутствовали армянскому царю Артавазду. Последний во время охоты упал в пропасть и был закован дэвами в железные цепи. Так он вместе с двумя псами был заточен в подземной пещере (то есть в могиле – *А. С.*). Собаки при этом тщетно пытались разгрызть цепи и освободить его, то есть воскресить хозяина. В этой связи не менее интересен отрывок из «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, описывающий похороны царя Арташеса: «И [повествователь] описывает, как много людей погибло при смерти Арташеса: любимые жены, наложницы, верные слуги, и сколь разнообразны были почести, оказанные телу согласно **обычаям цивилизованных, а не варварских народов.**[1] Он повествует, что гроб был из золота, ложе и одр – из тонкого полотна, мантия, облегающая тело – золотого шитья. Корона покоилась на голове, золотое оружие было сложено перед ним. Ложе окружали сыновья и толпа сородичей, а за ними тянулись сановники и военноначальники, родовладыки и сонм нахараров вместе с полками воинов: все – в полном вооружении, как если бы шли

[1] Здесь, по нашему мнению явно прослеживается арийская тенденция противопоставление ариев и неариев: «… ведийская вселенная противопоставляется неведийской, а ведийский человек – не ведийскому» (МНМ, т. I, с. 224).

на войну в боевом порядке. Впереди трубили в медные трубы, позади [шли] одетые в черное голосистые девушки и женщины-плакальщицы, а вслед – толпы простонародья. Так проводили его и погребли. **А вокруг могилы совершались добровольные смерти…**» (*Хоренаци*, 1990, с. 109). Речь идет об Арташесе I, объединившем во II в. до н. э. все армянские земли (*Страбон,* XI, 14, 5). В этом отрывке в точности передан пышный обряд погребения царственных особ, бытовавший на Армянском нагорье, начиная с эпохи бронзового века. Человеческие скелеты, зафиксированные в гробницах (Степанакертский курган) и в насыпи курганов эпохи средней бронзы (Триалети, Джогаз, курган N 1), захоронение над могилой телохранителя (Неркин Навер, курган N 4)[1] и обнаруженные в каждой царской могиле Неркин Навера (курганы NN 1, 2, 3, 5б, 7) сотни зубов и фаланг людей разного возраста и пола подтверждают слова: «А вокруг могилы совершались добровольные смерти».

А вот следующий отрывок из «Истории Армении»: «Певцы Гохтана[2] передают о нем (*Артавазде*) такую легенду: когда у смертного одра Арташеса, по языческому обычаю, погибло много людей, он возроптал, говорят, и молвил отцу: «Вот ты уходишь и уносишь с собой всю страну; над кем же мне царствовать в этих развалинах?». В ответ Арташес проклял его, сказав: “Если ты поскачешь на охоту вверх по склонам Азатн Масиса, пусть тебя схватят нечистые и повлекут вверх по склонам Азатн Масиса; там и да пребудешь и света да не увидишь”. И спустя некоторое время после вступления на престол, проехав через **мост**[3] города Арташата к истокам Гина на охоту на **кабанов**[4] и онагров, он (Артавазд) приходит в смятение от какого-то умопомрачительного видения и, блуждая **на коне**,[5] падает **в глубокую яму** и, провалившись, исчезает.[6] Сказывают об этом и старухи, будто бы заточен он в какой-то **пещере**, скованный железными цепями**. И две собаки** непрестанно грызут эти цепи, и он рвётся выйти и положить миру конец” (*Хоренаци*, с. 110). Этот миф несомненно имеет глубокие исторические корни, подтверждение которого зафиксированы в могилах знати эпохи средней бронзы, где обнаружены кости жертвенных собак (Неркин Навер, курганы NN 1, 2, 3, 5Б, Верин Навер, Лори Берд и т. д.).

Общеизвестно, что в арийском погребальном ритуале особая роль отводилась жертвоприношениям домашних животных. Жертвоприношение воспринимается как образ космогонического акта (МНМ, т. I, с. 220). «… Основной миф (ВМ – *А. С.*) был своего рода сценарием, воспроизводимым в ритуале перехода, приуроченном к новому году, т. е. к тому критическому моменту, когда в соответствии с циклической концепцией времени космос возвращается к своему изначальному недифференцированному состоянию, и особый ритуал должен был заново синтезировать космос, повторив все этапы его становления, имевшие место в «первоначальные» времена. Таким образом, в основном мифе и ритуале актуализировалась связь мифологической диахронии и синхронии, происходило приобщение к истокам, в частности, через своего рода инициацию (таинство), связанную с отождествлением участника ритуала … с божественным персонажем основного мифа,

---

[1] В раскопках Шенгавита, Неркин Навера и Джогаза участвовала антрополог Р. Мкртчян, которая на месте определила половозрастные данные и положение скелетов.

[2] Древнеармянские бродячие музыканты и певцы края Гохтан области Нахичеван.

[3] Переход из одного состояния в другое, из мира живых в мир мертвых.

[4] Хтоническое животное, охота на которого, согласно индоевропейским мифам, обычно оборачивалась трагедией (*Оганесян,* 1990, с. 107, 127–135).

[5] Конь в ведийской мифологии воспринимался как транспорт в потусторонний мир (*Ригведа,* X, 56, 2, гимн погребальному коню), или как предвестник смерти согласно мифологии индоевропейских народов – древних греков, балтов и викингов (*Гнуни,* 2003, с. 75–76).

[6] Глубокая яма по всей вероятности ассоциируется с могилой.

проверялась и удостоверялась структура вселенной и ведийского общества. Благодаря основному мифу происходила как бы физическая и нравственная регенерация как всего коллектива в целом, так и его отдельных членов» (МНМ, т. I, с. 225).[1]

Образ жизни ариев определялся как полукочевой, а основой хозяйственной жизни было скотоводство (Елизаренкова, Великое начало: *Ригведа,* 1989, с. 448; *Рак,* 1998, с. 4).[2] Гимны Авесты и Ригведы свидетельствуют, что главным источником материального благополучия и богатства для ариев была корова, а основой военного могущества – конь. Именно эти, а также другие «чистые» домашние животные были предназначены для жертвоприношений. Ритуал жертвоприношения священных для ариев животных – лошадей, быков, коров (вероятней всего яловых – *A. C.*), козлов, баранов и т. д. и уложение частей жертвенных животных в могиле в строго каноническом порядке засвидетельствован в погребениях Армении ранней фазы эпохи средней бронзы. Интересно, что раздвоенные части грудины быков сложены одна на другую таким образом, что они образовали крест (Неркин Навер, курган N 2) и были уложены вперемежку с частями задних ног и бедер лошадей в соседстве с целыми тушами козлов и баранов (Неркин Навер, курганы NN 1, 3, 5-Б, 7). В тех же погребениях, по краям священной для ариев восточной, продольной стены, как правило, укладывались голова и конечности быков (коров), кости которых сохранились в строго анатомическом порядке (Неркин Навер, курганы NN 3, 5Б, 7, Лчашен, Триалети, Лори Берд и т. п.). Отметим, что восточная сторона света для носителей культуры ранних курганов, а также триалети-кироваканской культуры считалась сакральной стороной, куда должна быть отправлена душа покойника. Именно в восточной стороне находился дромос – священный вход могилы. В кургане N 1 Неркин Навера был обнаружен амулет-оберег из зуба коровы (*Симонян,* 2004, с. 126–127). Это уникальное открытие может свидетельствовать о культе коровы. Отметим, что зуб коровы в качестве украшения не известен в памятниках других культур и регионов (рис. 6 – см. цветную вклейку).

Привлекает и тот факт, что именно возле частей принесённых в жертву лошадей и быков были обнаружены самые дорогие изделия: украшения и оружие. Такое расположение погребальных даров свидетельствует о том, что изначально части тел жертвенных священных животных были украшены золотом, серебром и различными поделочными камнями: сердоликом, ониксом, агатом, гагатом и т. д.:

---

[1] Ритуал перехода тесно связан с погребальным обрядом. После смерти индивид должен был пройти сложный путь воскрешения, оказавшись в новом критическом состоянии. Здесь однозначно завершается временной цикл, и космос (индивид) возвращается в своё предварительное исходное состояние небытия. Специальный ритуал должен был помочь его возрождению, для переустройства космоса, повторяя все этапы его творения–становления. Этим можно объяснить вивисекцию (расчленение) трупов людей и животных (лошадей), без которой не мог возникнуть новый космос и не мог возродиться новый цикл: жизнь–смерть–возрождение. И погребальный ритуал представлял очень важную инициацию, которая должна была обеспечить возрождение. В царских могилах этот ритуал был весьма существенным, так как обожествлённый предок–царь воплощал всё общество и после его смерти общество должно было заново обновиться и возрождение царя также символизировало возрождение общества; способствовало бы созданию новой обстановки (условие проживания под властью другого царя), переустройству старого и физической, и нравственной регенерации всего общества. Царский погребальный обряд должен был обеспечить не только обновление усопшего, но также обновление всего общества при переходе из одной ситуации (смерть–хаос), к другой (возрождение–космос). Возможно эти верования создали у арийских племён устойчивую систему царского похоронного обряда, что и зафиксировано благодаря раскопкам Неркин Наверского некрополя и других памятников Армении.

[2] Статистический анализ численности памятников эпохи средней бронзы Армении свидетельствует о явном преобладании погребений (около 75%), по сравнению с поселениями (*Симонян,* 1984, с. 9; *Кушнарева,* 1993, с. 239), что в свою очередь характеризует полукочевой образ жизни населения этой поры (*Simonyan,* 1996, p. 54–59).

Тот убор, который расстилают для коня,
Верхнее покрывало, те **золотые вещи** [что кладут] для него.

(Ригведа, I, 162, 16, с. 198).

Ритуал царских курганов поразительным образом соответствует сведениям вед, где подробно описывается жертвоприношение и расчленение туш лошадей и быков для восстановления космоса и возрождения жизни. В Ригведе неоднократно упоминается о том, что тушу жертвенного коня расчленяли топором:

«Или что прилипало к жертвенному столбу [и] топору»
(Ригведа, I, 162, 9).

«Топор наталкивается на тридцать четыре ребра
Коня, приносящего награды, товарища богов.
Приведите в порядок части тела, чтоб они **не были поврежденными**,
Расчлените **сустав за суставом** называя (их) один за другим»

(Ригведа, I, 162, 18, с. 198).

В курганах Неркин Навера кости жертвенных коней, как правило, были расчленены, однако все кости были целые (рис. 7).

Общеизвестно, что повседневной жизни и в мифологии древних ариев конь, символизирующий солнце, играл огромную роль. Высшим считалось жертвоприношение скакового коня (*Ригведа*, I, 162, 6, 7; *Авдиев*, 1970, с. 355). «Жертвоприношение коня было одним из важнейших обрядов, связанных **с царской властью**» (Елизаренкова, Великое начало: *Ригведа,* 1989, с. 446). Коней приносили в жертву также во время похорон армянских царей (*Алишан*, 1895, с. 413; *Тагаварян,* 1909, с. 17). Ритуал зафиксированный в Армении еще с эпохи средней бронзы в похоронном обряде царских персон. По мифологическому представлению ариев творение мира происходило также из частей тела коня (Брихадарньяка-Упанишада, Мадху, I. 1. 1–2).

В Армении засвидетельствованы древнейшие артефакты одомашненных коней. Так в ранних курганах эпохи средней бронзы, в могилах аристократии, среди многочисленных жертвенных животных обнаружены также останки жертвенных быков и лошадей. Согласно погребальному обряду, в каждую царскую могилу Неркин Навера (курганы NN 1, 3, 5б и 7), в обязательном порядке клали части двух лошадей.[1] Вспомним, что согласно ВМ жертвенные скакуны часто упоминаются парами (*Ригведа,* I, 162, 21).[2]

Согласно данным анализа экскрементов (*Овсепян,* 2005), по счастливой случайности сохранившихся в кургане N 1 Неркин Навера, жертвоприношения коней происходили поздней осенью, а лошадей перед убиением откармливали соломой (рис. 8). Интересен тот факт, что арийцы перед жертвоприношением кормили скакового коня: «Или же трава, засунутая ему в рот» (*Ригведа,* I, 162, 81). Факт вскармливания соломой жертвенных коней из кургана N 1 Неркин Навера, является веским аргументом для утверждения, что эти лошади были одомашнены. Их держали в стойлах и перед жертвоприношением кормили соломой.

[1] Одним из основных мотивов общеиндоевропейской мифологии является миф о близнецах, символами которых служил конь. Связь божественных близнецов с культом коня полностью отражена в погребальных ритуалах ариев (принесение коня в жертву, МНМ, т. 1, с. 528). В могильнике Неркин Навер, как правило, приносили в жертву двух коней, что теснейшим образом связано с культом близнецов.

[2] Они запрягают пару любимых его
Буланых коней по обе стороны колесницы (?),
Огненно-красных, неустрашимых, мужей возящих (*Ригведа*, I, 6).
Это Индра связан с парой буланых коней (*Ригведа,* I, 7).
Два буланых коня, два в яблоках стали с тобой в одной упряжи (*Ригведа*, I, 162, 21) и т. д.

Рис. 7. Кости жертвенных коней из кургана 1 Неркин Навера.

По описаниям гимнов Ригведы колесницы ариев имели два легких колеса со спицами. Поразительное сходство с ними зафиксировано в гробнице N 2 Неркин Навера, где обнаружена чернолощеная гидрия, на плечиках которой изображены три пары колес с четырьмя спицами (рис. 9). Вспомним, что колесницы ведийских ариев были разборными (Елизаренкова, Великое начало: *Ригведа,* 1989, с. 448). Следовательно, изображение только колес на данном сосуде, вместо колесниц, находит свое объяснение в описании повседневной жизни ариев.

Другой веский аргумент в пользу присутствия породистых лошадей в марзе Арагацотн Армении в эпоху средней бронзы зафиксирован в результате раскопок 2008 г. в кургане N 7 Неркин Навера. После реставрации великолепной краснолощёной гидрии выявилось выполненное черной краской полотно с изображением табуна, идущих вереницей лошадей (рис. 10). Иконографический анализ этих рисунков свидетельствует, что здесь изображены породистые, молодые кони с развевающимися гривами и завитыми в косы хвостами. Нет никакого сомнения, что древний художник, в примитивно-натуралистической манере изобразивший одомашненных животных, прекрасно знал природу коней. Изображение табуна, колесницы, обряд жертвоприношения коней, а также вышеупомянутые другие факты из курганов Неркин Навера по сей день являются одними из самых древних вещественных сведений о домашних лошадях в Передней Азии. На основе письменных источников И. М. Дьяконов полагал, что именно в Восточной Армении, в бассейне озера Урмия впервые было развито коневодство – основная движущая сила индоиранских племен (*Дьяконов,* 1968, с. 42; *Мунчаев,* 1975, с. 387–389).

Большой знаток ведийской мифологии В. Н. Топоров отмечает, что помимо высшего, божественного уровня в системе ВМ существовали полубожественные персонажи, деифицированные неантропоморфные объекты – животные: **конь, бык, корова, козел, черепаха, обезьяна, птицы** (кости всех этих животных, кроме обезьяны, обнаружены в курганах Неркин Навер),[1] атрибуты жертвоприношения: алтарь, подстилка из жертвенной травы, жертвенный столб, **давильные камни**, символы (так называемая chakra, т.е. **колесо – солнце),[2] посуда, утварь** и т. п. (МНМ, т. I, с. 223).

Другим важным аргументом в пользу принадлежности ранних курганов эпохи средней бронзы древним ариям является то, что, в курганах Неркин Навер, как правило, на самых почётных местах уложены ступки, жернова, куранты, речные камни-окатыши и прекрасно обработанные базальтовые фиалы (рис. 11, 12). В самом некрополе почва

[1] Определение Г-П и М. Уерпман.

[2] В некрополе Неркин Навер зафиксированы изображения символов солнца: в виде колёс на чернолощённой гидрии из кургана N 2, на груди туфового идола из кургана N 5 Г (рис. 12) и в виде свастик на расписной гидрии из кургана N 7.

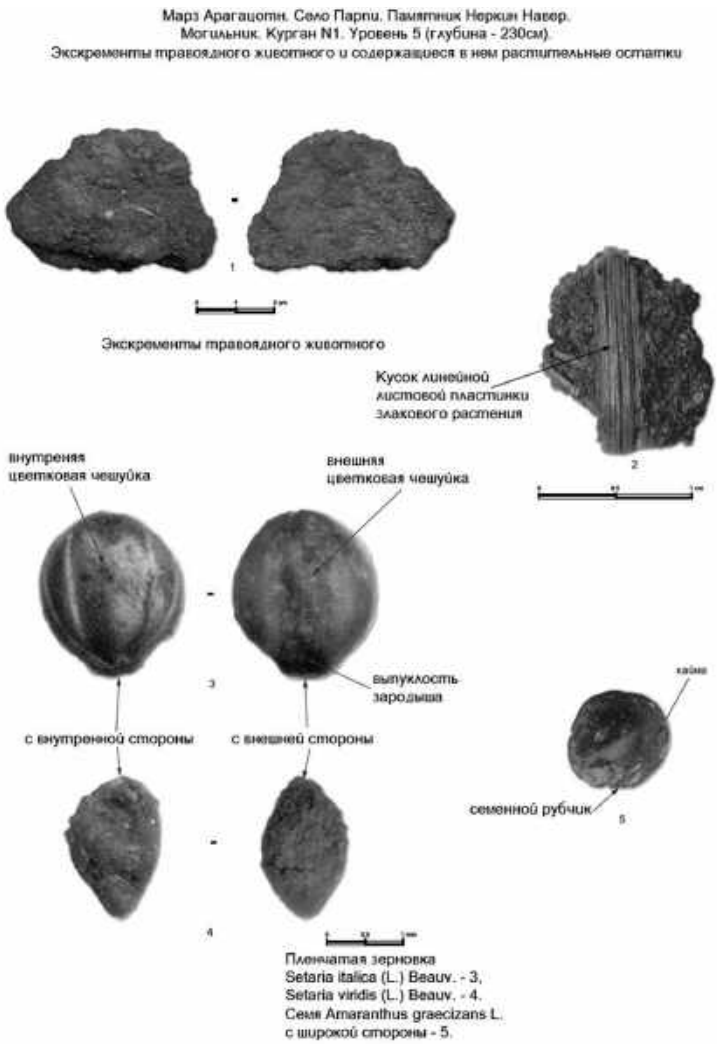


Рис. 8. Фотография экскремента коня из кургана 1 Неркин Навера.

состоит из вулканических осадков и базальтовых камней. Нет никакого сомнения, что обнаруженные в погребениях и в курганных насыпях эпохи средней бронзы окатыши специально привезены из ближайшего русла реки Шахверд. Можно полагать, что они использовались как давильные камни при приготовления священного напитка (сомы) либо другой пищи, связанной с культовыми представлениями или с погребальным ритуалом. Форма ступки, обнаруженной у основания дромоса в царском кургане N 1 Неркин Навера, соответствует подробному описанию ступки для изготовления сомы в гимнах Ригведы:

Где давильный камень **с широкой основой**
Высоко поднят для выжимания

(Ригведа, I, 28, 1).

Рис. 9. Чернолощеная гидрия из гробницы № 2 Неркин Навера, на плечиках которой изображены три пары колес с четырьмя спицами.

В разных памятниках Армении эпохи средней бронзы обнаружены базальтовые чаши-фиалы. По неизвестной причине в научной литературе эти чаши названы крышками от сосудов. Подобная трактовка вызывает недоумение, поскольку эти чаши изготовлены из твёрдых пород камня (базальт и т. п.), прекрасно обработаны и отшлифованы. Гораздо проще было бы изготовить крышки для посуды из глины, либо из туфа или других мягких пород камня, что имело широкое распространение в предыдущей шенгавитской (куро-аракской) культуре эпохи ранней бронзы. Отметим, что в традициях эпохи средней бронзы крышки сосудов не были распространены. Анализ ситуационных планов раскопанных могильных ям, свидетельствует, что эти чаши были поставлены в тайниках либо в самых почетных местах, а стоящие в непосредственной близости горшки имели гораздо более широкие горловины, что исключало использование этих чаш в качестве крышек. Использование в качестве крышек прекрасно обработанных сосудов, для изготовления которых, несомненно, понадобилось значительное время и мастерство, и которые, очевидно ценились как драгоценные изделия, исключает распространённое мнение о назначении каменных чаш в качестве крышек. Обнаружение в одних и тех же могилах Неркин Навера курантов (курганы NN 1, 2, 3, 5А, 7), ступок (курган N 1), давильных камней из окатышей, жерновов (курганы NN 2, 7), а также каменных чаш (курганы NN 4, 5Г, 5А, 7), дают нам основание полагать, что эти чаши были предназначены для приготовления и распития священного напитка – сомы.[1] Однако, если даже использование каменных фиал для распития сомы может вызвать сомнение, другие каменные артефакты: ступки, куранты и жернова явно предназначены для приготовления священного напитка.

Культурам эпохи ранней и средней бронзы Армении присуще высокоразвитое ремесленное производство (металлургия, обработка камня, оружейное дело, ювелирное искусство, стеклоделие и т. п.) и высокие технологические навыки. Однако, как правило, здесь профессиональные гончары, лепили посуду вручную. С одной стороны специалистов поражало высочайшее мастерство древних гончаров, которые без всякого сомнения были профессионалами своего дела (*Мунчаев*, 1975, с. 161–169, 369), с другой стороны – техническая «отсталость» по сравнению с непосредственными соседями – с месопотамскими

[1] В Ригведе творцу всех форм Тваштару приписывается изготовление чудесной чаши для сомы. В основном эти чаши изготавливались из дерева (Елизаренкова, Великое начало: *Ригведа,* 1989, с. 450), однако, не исключено, что в Армении, где издревле сформировалась традиция обработки камня, древние арии могли делать их и из камня. Этому мнению соответствуют сообщения, что у ведийских ариев была широко распространена каменная посуда (Елизаренкова, Великое начало: *Ригведа,* 1989, с. 449).

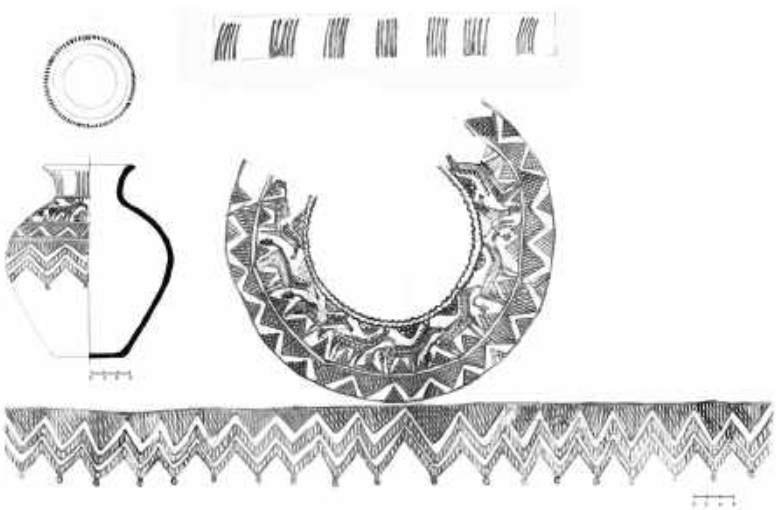


Рис. 10. Краснолощённая гидрия с изображением табуна, идущих вереницей лошадей (см. цветную вклейку)

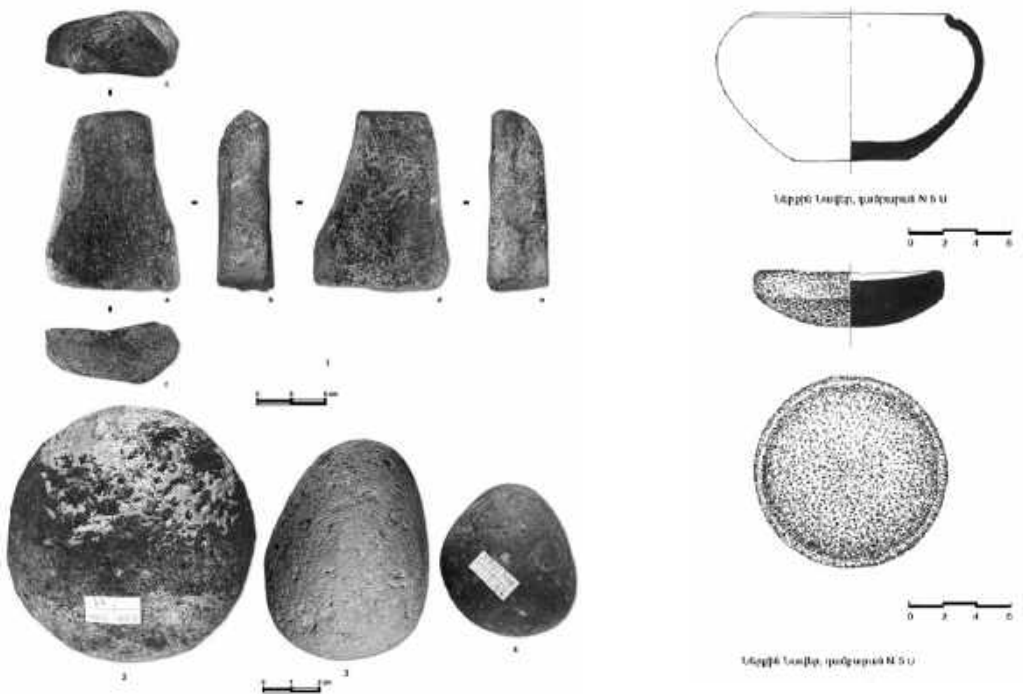


Рис. 11–12. Ступки, жернова, куранты, речные камни-окатыши и прекрасно обработанные базальтовые фиалы из разных курганов некрополя Неркин Навер.

и сиро-палестинскими центрами, где гончарное колесо широко использовали еще с эпохи неолита. Тесные контакты и взаимосвязи, в том числе и восприятие технических навыков между Арменией и южными цивилизациями, засвидетельствованы неоднократно (*Пиотровский,* 1949; *Мартиросян,* 1964; *Мунчаев,* 1975; *Кушнарева,* 1993). С этой точки зрения непонятно доминирующее мнение о том, что отсутствие гончарного круга в производстве керамики древней Армении связано с технической отсталостью. Ручная лепка сосудов, вероятно, имела свою идеологическую подоснову. И это засвидетельствовано в ведийских источниках. Известно, что в сферу полубожественных персонажей и символов ВМ были зачислены также посуда и утварь. Однако в производстве посуды арийцы не признавали гончарный круг, поскольку посуда, изготовляемая на круге, считалась принадлежностью демонов. «Сосуды делали руками из нескольких частей, сушили и обжигали в яме. Ведийская керамика была пористой и плохо обожженной» (Елизаренкова, Великое начало: *Ригведа,* 1989, с. 449). Поражает сходство ведийской традиции, описанной в Ригведе, с археологическими реалиями Армении эпохи средней бронзы, точь-в-точь отражающими описание изготовления керамики согласно ведийским традициям. В Армении как чернолощеная, так и расписная парадная керамика эпохи средней бронзы имеет высокий художественный и эстетический облик, однако приготовлена вручную, из разных частей и плохо обожжена. Такое положение вещей служит еще одним свидетельством присутствия древнеарийского общества в Армении во второй половине III тыс. до н. э.

В. Н. Топоров в своей обобщающей статье о ведийской мифологии предугадал, что «истоки Ведийской мифологии лежат в мифологических и религиозных представлениях индоевропейских племен более раннего времени (по крайней мере, III тыс. до н. э.), в той или иной степени модифицированных в условиях жизни ведийских ариев» (*Топоров,* 1987, с. 220). Сопоставление данных ВМ с фактами других индоевропейских традиций свидетельствует об исключительной архаичности исходных элементов ВМ и, по-видимому, большей части элементов ВМ из общеиндоевропейского мифологического и лингвистического фонда. Следовательно, ВМ играет особую роль в реконструкции древних индоевропейских представлений (*Топоров,* 1987, с. 221).

Общеизвестно, что одной из самых сложных задач в археологии является историческая реконструкция. Трактовка ранее известных фактов в свете новейших результатов археологических изысканий с использованием данных естественных наук и предлагаемые нами исторические реконструкции на первый взгляд могут показаться фантастическими. Однако факты говорят сами за себя. Обобщая, можно констатировать, что все вышеупомянутые факты:

- полукочевой образ жизни в эпоху средней бронзы;
- доминирующая роль скотоводства и культ коровы (амулет-оберег из кургана Неркин Навера N 1);
- одомашнивание и использование коня в военном деле;
- кремация трупов царских персон и очищение трупов простых общинников с помощью специально содержавшихся крупных псов (ритуал, имеющий подтверждение и в состоянии костей захороненных людей, и в архитектуре – башни молчания, – и в древних преданиях армян);
- ритуал отстранения, предусматривающий возможность соприкосновения священной земли с трупами;
- жертвоприношения коней и быков во время захоронения знатных персон в строго каноническом обряде;
- каменные сосуды и давильные камни в погребальных комплексах;

• изготовление глиняной посуды вручную в строгом соответствии с арийским мышлением;

• принесение в качестве погребальных даров оружия и утвари, почитавшихся древними ариями;

• жертвоприношение и изображения львов;

• украшение туш жертвенных быков и лошадей золотыми изделиями;

• ряд других соответствий между свидетельствами погребальных обрядов эпохи средней бронзы и древнеармянскими преданиями и легендами и гимнами Ригведы и Авесты

дают основание выдвинуть гипотезу, что во второй половине III тыс. до н. э., в Араратской долине, между горными массивами Арарата и Арагаца, у подножья горы Арагац (что в переводе означает трон Ара), перед величественными вершинами библейского Арарата процветало могучее и высокоразвитое древнеарийское общество.

Литература

Авдиев В. И. История Древнего Востока. М., 1970.

Алишан Г. Древние верования и языческие религии армян. Венеция, 1895 (на арм. яз.).

Анугита и книга Санатсуджаты. Философские тексты «Махабхараты». Вып. 1. Кн. 2 \ Б. Л. Смирнов (Пер. с санскрита, предисловие, примечания и толковый словарь). Ашхабад, 1977.

Арешян Г. Е. Индоевропейский сюжет в мифологии населения междуречья Куры и Аракса II тыс. до. н. э. // ВДИ. 1988. N 4. С. 84–102.

Ахундов Т. Северо-западный Азербайджан в эпоху энеолита и бронзы. Баку, 2001.

Бадалян Р., Смит А. Поселение Гехарот. Основные результаты раскопок 2005–2006 гг. // Культура древней Армении. Т. XIV. Материалы республиканской научной сессии. Ереван, 2008. С. 45–68.

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи \ И. М. Стеблин-Каменский (Пер. с англ. и примечания). М., 1988.

Бхагаватгита. Философские тексты «Махабхараты». Вып. 1. Кн. 1. \ Б.Л. Смирнов (Перевеод с санскрита, предисловие, примечания и толковый словарь). Ашхабад, 1978.

Брихадараньяка Упанишада. М., 1964.

Вигасин А. А., Самозванцев А. М. Артхашастру, проблемы социальной структуры и права. М., 1984.

Гнуни А. В. Опыт анализа погребального инвентаря двух погребений эпохи средней бронзы Армении (на основе данных индийской мифологии) // Вестник общественных наук НАН РА. 2003. N 2. С. 72–90.

Гогадзе Э. М. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети. Тбилиси, 1972. (на груз. яз.).

Деведжян С. Г. Лопри-Берд, II (Средняя бронза), Ереван, 2006. (на арм. яз.).

Дедабришвили Ш. Ш. Курганы Алазанской долины, Тбилиси, 1979.

Дьяконов И. М. Предыстория армянского народа. Ереван, 1968.

Жоржикашвили Л. Г., Гогадзе Э. М. Памятники Триалети эпохи ранней и средней бронзы (раскопки 1936–1940, 1947–1948 гг.). Каталог триалетских материалов. Т. II. Тбилиси, 1974.

История Древнего Востока \ Ред. В. И. Кузищин. М., 1979.

История Древнего Востока, зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия, Египет \ Г. М. Бонгард-Левин (Ред.). М., 1988.

Капанцян Г. Культ Ара Прекрасного. Ереван, 1944 (на. арм. яз.).

Кушнарёва К. Х. Южный Кавказ в IX–II тыс. до н. э. Этапы культурного и социально-экономического развития, СПб., 1993.

Кушнарёва К. Х. Ранние комплексные общества Южного Кавказа // Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). СПб., 1997. С. 11–43.

Куфтин Б. А. Археологические раскопки в Триалети. Т. I. Тбилиси, 1941.

Лео С. М. Собрание сочинений, Т. V. Ереван, 1986. С. 7–126. (на арм. яз.)

Мартиросян А. А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван, 1964.

Матикян А. Ара Гехецик. Вена, 1930. (на. арм. яз.)

Махабхарата. Кн. 3, лесная (Араньяка парава) \ Я.В. Васильков, С.А. Невелева (Пер. с санскрита, предисловие и комментарий). М., 1987.

Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века. Неолит, энеолит, ранняя бронза. М., 1975.

Овсепян Р. А. Археокарпологический анализ экскрементов травоядного животного из кургана N 1 могильника Неркин Навер // Археология, этнология и фольклористика Кавказа. Ереван, 2003. С. 68–71.

Оганесян В. Э. Серебряный кубок из Карашамба // ИФЖ. 1988. N 4. С. 145–161.

Оганесян В. Э. Культура первой половины II тыс. до н.э. в среднем течении реки Раздан. Дисс. … канд. ист. наук. Ереван, 1990.

Пиотровский Б. Б. Археология Закавказья, Л., 1949.

Рак И. В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана, СПб. – М., 1998.

Ригведа. Мандалы I–IV. Изд. подгот. Т. Я. Елизаренковой. М., 1989.

Сардарян С. Армения – колыбель цивилизации. Ереван, 2004. (на арм. яз.).

Семенцов А. Бхагаватгита в традиции и в современной научной критике. М., 1985.

Симонян А. Е. Кармирбердская культура по материалам периода средней бронзы (опыт выделения) // Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа. Тезисы докладов всесоюзного симпозиума. Ереван, 1982.

Симонян А. Е. Культура эпохи средней бронзы северных районов армянского нагорья. Автореф. канд. дисс…. Л., 1984.

Симонян А. Е. Комплекс погребального обряда кармирбердской культуры (в свете раскопок некрополя Верин Навер) // Тезисы докладов республиканской научной сессии, посвященной полевым этнографическим и фольклористическим исследованиям в 1984–1985 гг. Ереван, 1987. С. 84–86 (на арм. яз.).

Симонян А. Е. Новая трактовка социокультурной общности эпохи средней бронзы Армении (По данным погребения N 12 из могильника Верин Навер) // ИФЖ. 1990. № 1. С. 188–208.

Симонян А. Е. «Царское» погребение эпохи средней бронзы из могильника Неркин Навер // Археология, этнология и фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2004. С. 126-127.

Симонян А. Е. Верин Навер. Кн. I (Результаты раскопок 1976-1990 гг.). Ереван, 2006 (на арм. яз.).

Симонян А. Е. Некрополь Шенгавита // Культура древней Армении. Т. XIV. Материалы республиканской научной сессии. Ереван, 2008. С. 81-93 (на арм. яз.).

Тагаварян Н. Древние религии армян. Константинополь, 1909 (на арм. яз.).

Топоров В. Н. Ведийская мифология // Мифы народов мира. Т. I. М., 1987. С. 220-226.

Хоренаци М. История Армении \ Г. Саркисян (Пер. с древнеармянского языка, введение и примечания). Ереван, 1990.

Чайльд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. М., 2007.

Görsdorf J. Datierungsergebnisse des Berliner 14C-Labors 2003 // Eurasia Antiqua. 2004. № 10. S. 402.

Simonyan H. E. Pasteurs et chefs de guerre // Arménie Trésors de l'Arménie ancienne des origins au IV siècle. P., 1996. S. 54–59.

Н. И. Шишлина, А. Н. Егорьков, А. Шортланд

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ФАЯНСОВЫХ БУС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ

Настоящая работа представляет собой переработку опубликованной в Париже статьи авторов на английском языке (*Shortland, **Shishlina, Egorkov,*** 2007). Малая доступность этой публикации, с одной стороны, и неизменный интерес к древним фаянсам вообще и к фаянсам кавказского и прикаспийского регионов в частности, с другой стороны, побудили нас изложить материал для русскоязычного читателя, сделав акцент именно на вопросах происхождения фаянсовых бус в Прикаспии. По этой причине в настоящей статье опущены детали использованных аналитических методов исследования состава фаянса и технологических приемов его получения. Вместе с тем, материал дополнен новыми данными, которые были получены уже после написания англоязычной статьи и по этой причине в нее не вошли. Аналитические данные по составу фаянса выявили совершенно необычные его типы, не находящие аналогий где-либо. Ценность этих данных в том, что они могут быть часто интерпретированы в пользу местного или импортного происхождения прикаспийского фаянса. Стремление ввести эти результаты в дискуссию о происхождении фаянсовых бус в степях Прикаспия также послужило толчком к изложению материала для русскоязычного читателя.

Введение. Бусы и пронизи являются одной из самых распространенных категорий украшений эпохи бронзы. Анализ их форм, идентификация материала, из которого они изготавливались, а также реконструкция технологических операций расширяет наши представления о производствах и связях носителей древних культур, населявших в IV–начале II тыс. до н. э. Предкавказье и прилегающие степные регионы.

Мы полагаем, что технологический потенциал степных культур был достаточно высок, возможности отдельных мастеров позволяли им осваивать новые материалы и новые производственные навыки. К таким нововведениям второй половины III тыс. до н.э. относятся фаянсовые бусы и пронизи.

В русской научной литературе для обозначения многих бус используется название «пастовые бусы», а западной – пастовые (*paste*) или сделанные из фритты (*frit*). Многие работы, посвященные анализу украшений из памятников Переднего Востока, Средиземноморья и Европы, показали, что в этих регионах в эпоху бронзы были широко распространены только фаянсовые бусы (*Harding,* 2000; *Santopadre, **Verita,*** 2000; *Biek, **Bayley,*** 1979). Это позволило высказать предположение, что и на территории Северного Кавказа и в Евразийской степи были также распространены фаянсовые изделия.

Исследователями было разработано три гипотезы происхождения таких украшений.

● При типологическом анализе бус из катакомбных памятников Нижнего Подонья, С. Н. Братченко, не уделяя внимания технологии получения и составу материала, разделил «пастовые бусы» на гладкие и с выступами – бородавчатые и рожковые (*Братченко,* 1976, с. 147). Исследователь пришел к выводу, что фаянсовый цилиндрический бисер не является импортом из Передней Азии, а изготавливался на месте. Появление в степи фаянсовых биконических, цилиндрических бусин, длинных гладких цилиндрических пронизок исследователь связывал с распространением раннекатакомбной культуры (*Братченко,* 2001, рис. 74, 35–38), а происхождение – с фаянсовыми бусинами майкопской культуры Прикубанья (Костромская), позднеямной в Калмыкии (Архара 2: 38/1) и

ранней северокавказской в Предкавказье (Пятигорск, Константиновское плато; Нальчик 4/1) (*Братченко,* 2001, рис. 98). Таким образом, появление фаянсов на Северном Кавказе относится, по его мнению, к середине IV тыс. до н. э. (майкопская культура), а их распространение связано со становлением собственного фаянсового производства у населения степи и Северного Кавказа эпохи средней бронзы середины III тыс. до н. э.

Рожковые и бородавчатые бусы исследователь считал исключительно северокавказским типом украшений, широко распространенным только на Северном Кавказе и Закавказье, но отсутствующим в Средней Европе, где фаянсовые бусы появились в период А1, по П. Рейнеке. Именно С. Н. Братченко первый указал на соответствия бородавчатых бусин бронзовым бусинам северокавказской культуры раннего этапа (с. 148), верно подметив, что прототипами бородавчатых и рожковых бусин, скорее всего, являются аналогичного типа бронзовые бусины, изготовление которых связывается с северокавказскими мастерскими.

● Согласно точке зрения А. С. Островерхова, стеклянные бусы появляются в период позднего Триполья (конец IV тыс. до н. э.), известны в ямной культуре (первая половина III тыс. до н. э.) и широко распространяются в катакомбное время (вторая половина III тыс.до н. э.), особенно к востоку от Днепра.

Сопоставление химического состава фаянса изделий, происходящих с территории Грузии, Юго-Западного Туркменистана, из катакомбных погребений Донбасса и Полтавщины, не выявило каких-либо местных особенностей. Состав изделий оказался близким к составу египетских, ближневосточных, кавказских и среднеазиатских фаянсовых бус. Однако картографирование находок фаянсов из катакомбных комплексов показало, что в буджакской и молдавской группах памятников (западный ареал степных Евразийских катакомбных культур) таких изделий мало, но их количество значительно возрастает к востоку от Днепра: фаянсовых украшений много в Подонье и на Кавказе. Исследователь полагал, что мастерские, специализировавшиеся на производстве фаянсовой продукции – бусин и подвесок, – находились в восточном ареале катакомбной культуры, на Кавказе, или поступали по караванным торговым путям из Закавказья или Ближнего Востока. Универсальная технология изготовления фаянсов была проста и сводилась к прокаливанию толченого кварца или песка, смоченного в растворе натуральной соды или соли с примесями мела и красителей (меди) (*Островерхов,*1989).

● Другой подход был разработан Е. К. Столяровой и базируется на данных оптико-эмиссионной спектрографии (ОЭС) материала 42 бусин и пронизей, происходящих из погребений эпохи бронзы Калмыкии и Северного Кавказа (середина-вторая половина III тыс. до н. э.) и интерпретации результатов с использованием методики Ю. Л. Щаповой (1983). Большинство украшений было идентифицировано, как фаянсовые, определена основная сырьевая основа: в качестве щелочного сырья использовалась минеральная сода, только две бусины (явно из фритты) сварены с использованием золы солончаковых растений, иначе галофитов. Автор формулирует гипотезу об импортном происхождении фаянсов в исследуемом регионе и указывает районы их производства: Египет и Месопотамия (*Столярова,* 2000, 2002). Такой вывод исследовательницы, однако, представляется необоснованным, поскольку она не приняла во внимание низкую чувствительность ОЭС по калию, составляющую, по мнению одного из создателей использованной методики анализа В. А. Галибина (2001, с. 48), лишь 2%. По нашему мнению, при благоприятных условиях может быть достигнута и несколько большая чувствительность, однако при анализе фаянса, в котором общее содержание щелочей низкое, содержание калия с наибольшей вероятностью окажется ниже порога обнаружения. Видимое отсутствие калия в 40 образцах из 42 исследованных и привело исследовательницу к заключению об исполь-

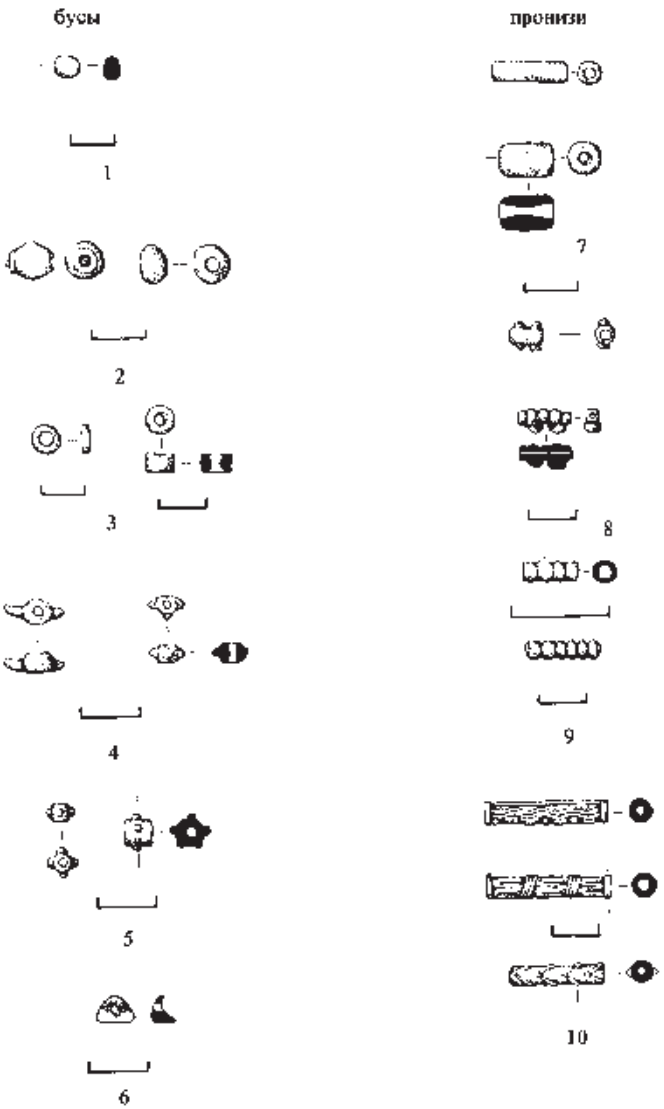


Рис. 1. Основные типы бусин: *1* – округлая, *2* – биконическая, *3* – сегментовидная, *4* – рожковая, *5* – бородавчатая, *6* – лепестковая; пронизей: *7* – цилиндрическая гладкая, *8* – цилиндрическая, орнаментированная бородавками, *9* – с резным винтовым орнаментом, *10* – с рельефным орнаментом.

зовании для производства фаянса минеральной соды и, следовательно, об их импортном характере. Не учла исследовательница и то обстоятельство, что фаянсовые бусы сильно патинизированы, причем патинизация в первую очередь ведет к снижению содержания в стекле и фаянсе именно щелочных металлов. Заметим при этом, что в обоих приводимых анализах фритты № 3 и 35, где содержание щелочей значительно выше, чем в фаянсах, калий присутствует, и автор правильно указывает на золу галофитов, как на сырье для

получения этого материала. Из-за сильной патинизации установление состава фаянса и исходных материалов для его изготовления требует более совершенных методов анализа, в частности, использованной в настоящей работе спектрометрии с дисперсией по длине волн (СДДВ). Однако, даже несмотря на сильную патинизацию фаянсовых бус, ОЭС при правильной интерпретации результатов может быть полезна при выяснении генезиса фаянсовых бус в дополнение к типологическому и инструментальному анализу высокого уровня, о чем будет сказано ниже в разделе об ОЭС.

Таким образом, было разработано три модели происхождения фаянсовых бусин на территории Северного Кавказа и Степи. В данной работе будут рассмотрены новые материалы, которые позволят верифицировать высказанные гипотезы. Используется три метода: СДДВ, ОЭС и типологический анализ.

Из коллекции Государственного Исторического музея было проанализировано 107 бусин, большинство которых происходит из Северо-Западного Прикаспия и Северного Кавказа. Они относятся к разным культурам: ямной (3000–2500 гг. до н. э.), северокавказской (2600–2200 гг. до н. э.), ранней катакомбной (2600–2300 гг. до н. э.), восточноманычской катакомбной (2500–2000 гг. до н. э.), лолинской (2200–1900 гг. до н. э.) и срубной (1900–1600 гг. до н. э.) культурам.

Морфологический анализ позволил выделить шесть типов бусин: округлая, биконическая, сегментовидная, рожковая, бородавчатая, лепестковая, и четыре типа пронизей: цилиндрическая гладкая, цилиндрическая, орнаментированная бородавками, с резным винтовым орнаментом, с рельефным орнаментом (рис. 1).

Можно предполагать, что дополнительные аналитические исследования состава материала бус принесут новую информацию, которая позволит уточнить дату появления фаянсовых бус в степях Евразии и Северного Кавказа, а также выдвинуть аргументы в пользу их местного или импортного происхождения.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Спектрометрия с дисперсией по длине волн (СДДВ)

СДДВ (*англ.* wavelength dispersive spectrometry, WDS) во многих странах достаточно часто используется для исследования разного рода объектов, в том числе и археологических, включая стекло и родственные материалы. При достаточно высокой трудоемкости этого метода и его дороговизне он дает возможность получать результаты высокой точности и приносить надежную и обширную информацию о химическом составе материала артефакта.

На анализ в Оксфордском университете были отобраны 16 образцов бус различной формы и цвета. При этом предварительное изучение проб под электронным микроскопом показало, что многие из них очень сильно выветрены, так что последующее определение их состава методом СДДВ оказалось бы бессмысленным. В результате для определения элементного состава методом СДДВ были отобраны лишь семь более гладких и блестящих бусин, от анализа которым можно было ожидать репрезентативные результаты. Следует отметить, что метод СДДВ дает возможность анализировать различные части фаянса: внутреннее стекло, которое является связующей фазой использованного для производства фаянса песка, самого песка, а также поверхностной глазури. Исследование связующего стекла очень информативно, поскольку оно содержит элементы в повышенной

концентрации. В иных методах анализа, где отбирается валовая проба, эта концентрация значительно ниже, потому что пробы в значительной степени слагаются песком, играющим негативную роль балласта. Результаты и характеристика образцов приведены в табл. 1.

В табл. 1 дан состав пяти образцов внутреннего стекла и двух образцов глазури. Хорошо сохранившееся глазури обычно содержат 70–75% SiO_2, большее значение свидетельствует о выветренности образца. На это же указывает и низкая сумма определяемых компонентов. По этому признаку сохранившимися лучшим образом могут считаться образцы 4А, 6А, 7А и 7В. Образцы 4А и 7А сходны в высоком содержании Na_2O, низком содержании K_2O и преобладании CaO над MgO, хотя содержание Al_2O_3 во втором образце более чем в четыре раза превосходит таковое в первом. Кроме того, эти бусины окрашены в разный цвет, в первом случае – железом в красный, во втором – медью в синий.

Внутренне стекло бусины 6А, напротив, показывает значительное преобладание K_2O над Na_2O, высокое содержание меди и низкое щелочноземельных металлов. Оно хорошо сохранилось и также окрашено медью. В стеклянной фазе бусины 7В необычность состава, выражающаяся в высоком содержании K_2O, преобладании MgO над CaO и повышенном содержании железа, обусловлено использованием песка с повышенным содержанием натриевых и калиевых полевых шпатов, амфибола и оксидов железа. Это показывает снимок, сделанный под электронным микроскопом. Наконец, внутренне стекло образца 4В являет наихудшую сохранность, выражаемую в повышенном содержании кремнезема и низкой сумме определяемых компонентов, хотя и здесь видно преобладание натрия над калием.

Анализ двух глазурей образцов 2 и 4В лишний раз отражает проблемы, связанные с выветриванием древнего фаянса. Последний образец сохранился лучше, но и в нем содержание Na_2O и K_2O находится на низком уровне, для окрашивания в зеленый цвет использованы соединения меди. Первый из этих образцов демонстрирует уже крайнюю степень деградации, видимую из чуть ли не полного выщелачивании всех составляющих, кроме кремнезема. Результаты анализа обоих этих образцов мало полезны для определения их сырьевого материала.

Оптико-эмиссионная спектрография (ОЭС)

Хотя анализ СДДВ дал результаты, показывающие истинные значения состава фаянса исследованных бус, вопрос о местном или импортном происхождении бус не вышел из поля дискуссии. Одной из причин этого могло быть малое количество проанализированных при помощи СДДВ образцов, и здесь ОЭС, в силу быстроты исполнения и дешевизны, может быть полезным при поиске представительных образцов. Кроме того, ОЭС дает возможность определять некоторые компоненты, особенно никель и олово, с большой чувствительностью, несмотря на то, что берется валовая проба от всей бусины, где в подавляющем количестве преобладает балластный песок. При выявлении представительных образцов следует принять во внимание, что кавказская медь, наиболее распространенный краситель фаянса времени ранней бронзы, часто содержит никель в высокой концентрации. Сам никель не входит в число рутинно определяемых компонентов при анализе состава стекла и родственных материалов, и до настоящего времени его присутствие не было установлено в составе фаянсов Калмыкии (*Столярова,* 2002). Хотя причины появления образцов ранней бронзы Кавказа по-разному трактуются исследователями

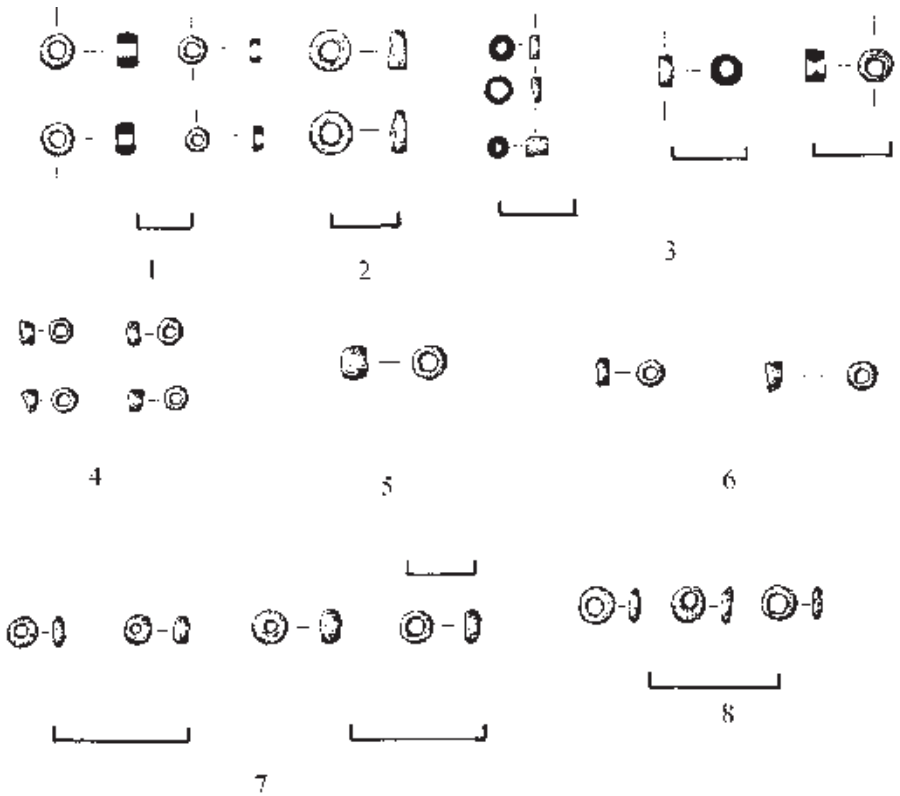


Рис. 2. Округлые бусины: *1* – Манджикины-1, курган 15, погребение 14; *2* – Зунда-Толга-1, курган 2, погребение 2; *3* – Шарахалсун-6, курган 5, погребение 7; *4* – Манджикины-1, курган 9, погребение 1; *5* – Манджикины-2, курган 42, погребение 1; *6* – Манджикины-1, курган 14, жертвенное место 28; *7* – Зунда-Толга-2, курган 1, погребение 5; *8* – Зунда-Толга-3, курган 1, погребение 3. 1–2 – камень, 4, 6–8 – фаянс, 5 – бронза.

(*Черных,* 1966, *Галибин,* 1991, *Егорьков*, 2002), тем не менее, присутствие никеля в составе фаянса, окрашенного медью, могло бы рассматриваться как свидетельство местного производства. Одновременно в металле Кавказа бронзового века оловянная бронза встречается редко, но явно преобладает бронза мышьяковая (*Черных,* 1966; *Егорьков и др.,* 2005). Анализ с помощью СДДВ показал присутствие мышьяка во всех образцах фаянса с повышенным содержанием меди, причем повышенному содержанию меди, как правило, соответствует и повышенное содержание мышьяка. Эта корреляция говорит о том, что мышьяк в основном вносится в фаянс с медью, вследствие чего возможно высказать предположение о местном производстве фаянса. То, что мышьяк не был обнаружен ни в одном подвергнутом анализу образцу методом ОЭС, не вызывает удивления, так как чувствительность метода по отношению к мышьяку низка: предел обнаружения около 0,1%. С другой стороны, фаянсы, окрашенные медью с примесью олова, могли бы рассматриваться как импортные. Анализ СДДВ не обнаружил в образцах ни олова, ни никеля. Это может быть как следствием малого числа исследованных образцов, так и недостаточной чувствительностью метода по отношению к этим элементам, однако ОЭС позволила такие образцы выявить.

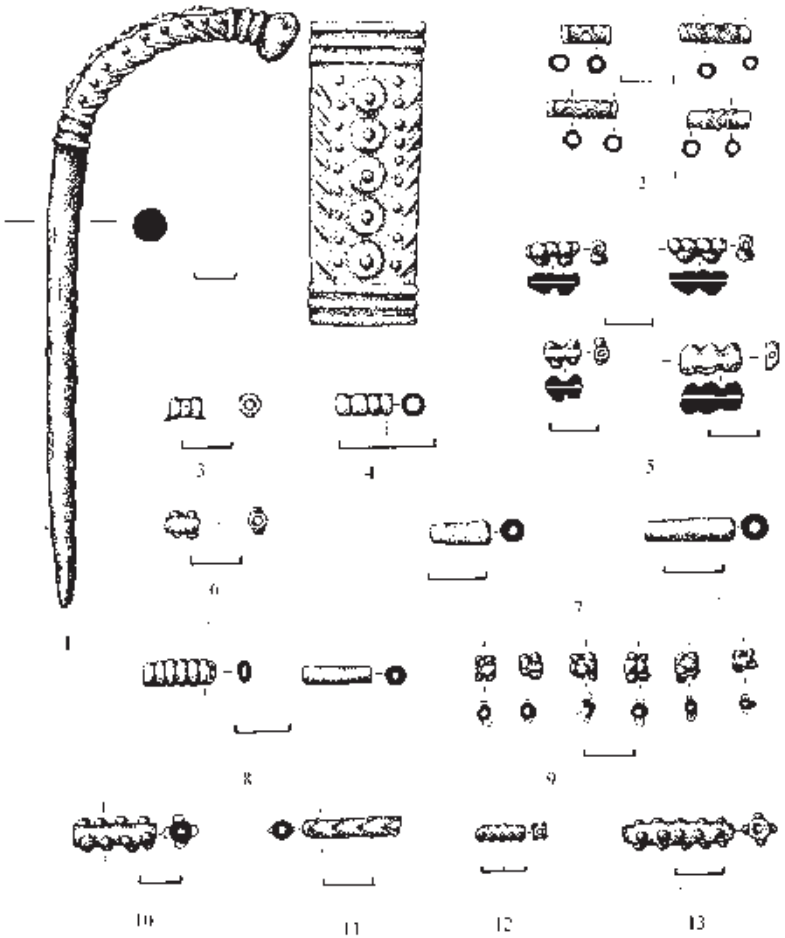


Рис. 3. Цилиндрические гладкие; цилиндрические, орнаментированные бородавками; с резным винтовым орнаментом и с рельефным орнаментом пронизи и бронзовая посоховидная булавка. Бронзовая булавка: *1* – Суворовская,курган 6, погребение 6 (*Нечитайло,* 1979); пронизи: *2* – Пролетарская, курган 4, погребение 13 (*Трифонов,* 1991); *3, 6* – Манджикины-1, курган 14, жертвенное место; 4 – Зунда-Толга-2, курган 4, погребение 3; *5* – Лола-1, курган 4, погребение 7; *7* – Бага-Бурул, курган 1, погребение 24; *8, 11* – Суворовская, курган 13, погребение 10 (*Нечитайло,* 1979); *9* – Темрта II, курган 1, погребение 6; *10* – Утамуш, курган 1 (*Марковин,* 1994); *12* – Орешкин-1, курган 18, погребение 1 (*Дьяченко,* 1997); *13* – Соколово (*Вангородская,* 1987). *1–3, 5, 9* – бронза; *4, 6–8, 10–13* – фаянс.

Результаты анализа 92 образцов методом ОЭС приведены в табл. 2. Все образцы принадлежат к фаянсу, стеклу, фритте и стеатиту, в то время как горный хрусталь, кальцит, кость и другие поделочные материалы, которые тоже были подвергнуты анализу, в табл. 2 не включены. Кобальт и сурьма, по которым тоже было сделано определение, не были обнаружены ни в одном образце, мышьяк, как указано выше, не был определен вследствие низкой по отношению к нему чувствительности метода. Во всех девяти образцах стеатита высокое содержание MgO не рассчитано количественно из-за отсутствия подходящих спектральных эталонов.

Сравнительный типологический анализ

Самый распространенный тип бусин – округлые. Они представлены во всех культурах населения Прикаспия и Северного Кавказа, Закавказья, Переднего Востока, Египта и Европы. На Северном Кавказе ранние бусины этого типа происходят из майкопских погребений, но они сделаны не из фаянса, как полагал С. Н. Братченко, а из обожженной глины (Иноземцево, к. 8, п. 6; Зунда-Толга-1, к. 2, п. 2), карбонатной горной породы – природного известняка (Зунда-Толга-1, к. 2, п. 2), из серпентинизированной горной породы – природного нефрита и из карбонатной горной породы – природного мрамора (Манджикины-1, к. 14, п. 13)[1] (рис. 2: *1-3*). Все эти породы могли быть взяты из местных северокавказских месторождений.

Позже мастера ямной, ранней катакомбной и катакомбных культур для изготовления округлых бусин использовали кость, сурьму, бронзу (рис. 3: *5*). Данные таблицы 3 также указывают, что не исчезла и традиция изготовления стеатитовых бусин, и окраска их медью. Такие изделия известны в ямной (бусина 3), катакомбной (бусины 12, 32, 33), северокавказской (бусина 10) и лолинской (бусина 67) культурах (рис. 2: *4, 6-8*).

Длинные гладкие и рельефные пронизи появляются в ранней катакомбной культуре и сделаны из кости. Они типичны и для северокавказской культуры, но для их изготовления используют не только кость, но и бронзу (рис. 3: *3*). Некоторые ожерелья западноманычской катакомбной культуры состоят из костяных гладких и с винтовой нарезкой пронизей и бронзовых пронизей, имитирующих костяные (*Федорова-Давыдова,* 1983). Пронизи с винтовой нарезкой из бирюзы встречены в восточноманычской катакомбной культуре (рис. 3: *4*). Такие же пронизи, но сделанные из фаянса, появляются в северокавказской и катакомбных культурах (рис. 3: *10*). Согласно приведенным выше анализам, этот тип сделан местными мастерами. Орнаментация на фаянсовых пронизях имитирует орнамент более ранних бронзовых украшений (рис. 3: *2, 5, 9*). В некоторых ожерельях и фаянсовые, и бронзовые пронизи одного и того же типа встречены вместе (*Парусимов,* 2002).

Как и С. Н. Братченко, мы полагаем, что самый интересный тип для сравнения – это фаянсовые рожковые и бородавчатые бусины и пронизи (рис. 3: *6, 10–13*), широко распространенные в Предкавказье, Прикаспии, Нижнем Подонье и Причерноморье в конце III–начале II тыс. до н. э. Они появились в финале восточноманычской культуры и стали диагностическим типом украшений лолинского населения, и чуть позже – срубного и бабинского. Сравнительный типологический анализ бусин и пронизей этих культур показал, что такие фаянсовые изделия имитируют более ранние украшения, сделанные из бронзы, отражая, вероятно, и смену технологических традиций, и смену сырья.

Многие бронзовые посоховидные булавки более раннего времени украшены бородавчатым орнаментом (рис. 3: *1*), который характерен и для литых пронизей ранних катакомбных и северокавказских украшений (рис. 3: *5, 9).* Бронзовые подвески с бородавчатым орнаментом известны и в восточноманычских и западноманычских катакомбных комплексах (Лола-1: к. 4, п. 7; Темрта-III, к. 1, п. 6: Рис. 8: 9), а фаянсовые этого же типа – в западноманычских (Бага-Бурул, к. 1, п. 3). В последующих культурах бронзовые пронизи этого типа исчезают, заменяясь фаянсовыми изделиями, хотя бронзовые и фаянсовые украшения какое-то время сосуществуют. Известны резные костяные и имитирующие их фаянсовые и бронзовые пронизи, причем в одних и тех же ожерельях.

[1] Работа проведена Д. Н. Ермолаевым и А. В. Столяревичем в Геммологическом центре МГУ методом оптической микроскопии, электронной микрофотографии, определения элементного состава при использовании сканирующего электронного микроскопа CAMSCAN с энергодисперсным анализатором Link 10000, рефрактометра и инфракрасной спектрометрии.

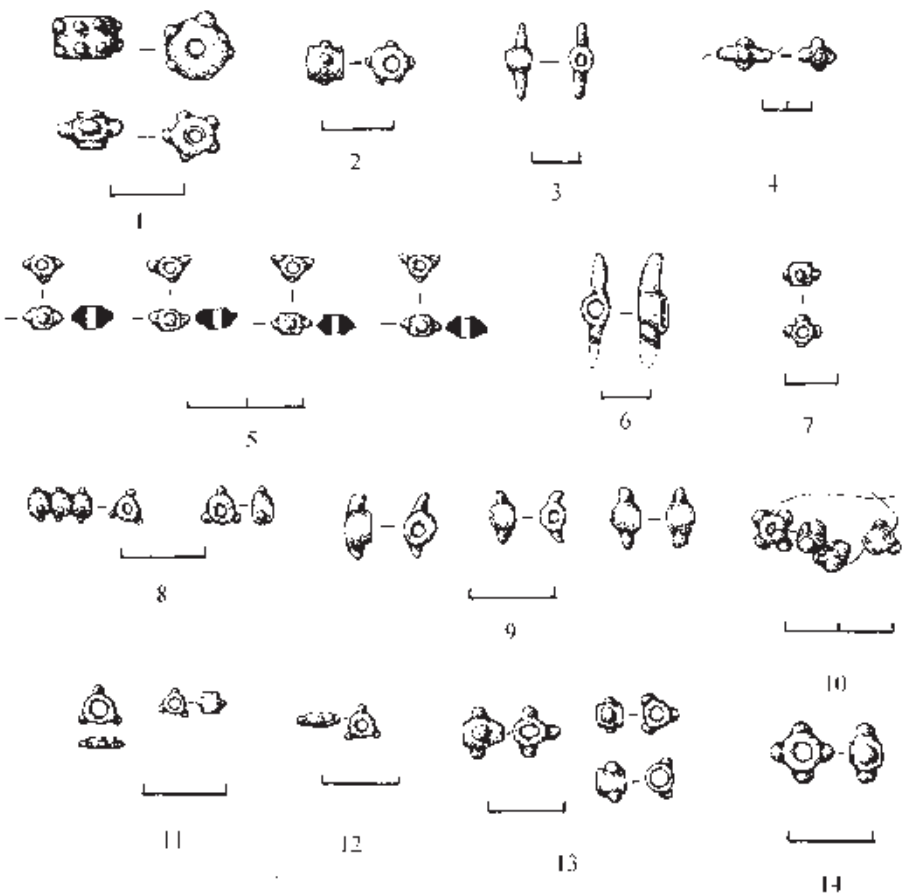


Рис. 4. Рожковые и бородавчатые бусины: *1* – Нежинская II, курган 2, погребение 10 (*Кореневский,* 1990); *2* - Нежинская II, курган 2, погребение 1 (*Кореневский,* 1990); *3* – Никольское (*Вангородская,* 1987); *4* – Гадрекилий, погребение 10 (*Питскхелаури,* 1979); *5* – Островной: курган 3, погребение 12; *6* – Бабино III (*Березанская и др.,* 1986); *7* – Цаган-Усн, курган 2, погребение 1; *8* – Лисянский I: курган 2, погребение 2 (*Парусимов,* 1997); *9* – Компанейтцу (*Березанская и др.,* 1986); *10* – Ажинов I, курган 2, погребение 5 (*Мошкова и др.,* 1974); *11* – Белтинский, погребение 9; *12* – Белтинский, погребение 10; *13* – Новопалестинский, курган 5, погребение 2; *14* – Лисянский I, курган 3, погребение 5 (*Парусимов,* 1997). *1–2, 4* – бронза; *3, 5–14* – фаянс.

Рожковые фаянсовые бусины типичны для посткатакомбных культур Нижнего Подонья, степей Северного Кавказа, Прикаспия, Донецкого региона (рис. 4). Мы полагаем, что самые ранние изделия этого типа сделаны из бронзы, фаянсовые – лишь имитировали их. Такая имитация могла существовать только в тех районах, в которых бородавчатые пронизи и бусы и рожковые бусы производились вместе, возможно, в степных или северокавказских мастерских. Именно эти районы характеризуются преобладанием как бронзовых, так и фаянсовых украшений этого типа. Некоторые типы фаянсовых бусин найдены только в предгорных памятниках Северного Кавказа, другие – в Закавказье, но они датированы последующим периодом второй половины II тыс. до н.э. (*Ахундов,* 1999;

Техов, 1977). Мы полагаем, что к этому времени могла существовать система обмена (импорта) такими изделиями, распространявшимися с севера на юг. Интересно, что бородавчатые бусы этого времени, найденные в предгорьях Северного Кавказа (рис. 4: *11, 12*) и Закавказья (рис. 4: *4*) сделаны не только из фаянса, но и из бронзы. Возможно, это пример некой технологической инверсии, когда, изготовляя бронзовые бусины, мастера имитировали фаянсовые.

Рожковые и бородавчатые бусины и пронизи неизвестны за пределами Евразийских степей и Северного Кавказа, редко присутствуя в Закавказье. Таким образом, типологический анализ подтвердил мнение С. Н. Братченко, и может быть использован как косвенное свидетельство в пользу их производства либо в степях, либо на Северном Кавказе.

Сопоставление результатов СДДВ и ОЭС

Анализ СДДВ дал интересную информацию о сырье, из которого бусы были сделаны. В противоположность фаянсам, происходящим из других частей света, которые имеют довольно постоянный состав, во всех случаях (*Kaczmarczyk, Hedges,* 1983; *Shortland,* 2000), исследованные бусы показывают очевидное разнообразие. Две бусины 4А и 7А имеют внутреннее стекло с преобладанием натрия и их состав очень похож на состав стекла современных им бус Египта и Ближнего Востока (*Shortland,* 2000), произведенных с использованием золы солончаковых растений, галофитов (*Henderson,* 1985, 1989). Бусина 6А, напротив, показывает преобладание калия над натрием, что характерно для золы континентальных растений умеренного климата, возможно деревьев. Бусина 7В любопытна тем, что по составу представляет собой нечто среднее из выше рассмотренных случаев. Однако, вероятно, это является следствием присутствия в составе песка шихты разных упомянутых выше минералов, что указывает на его образование из незрелого гранита. Взаимодействия разных компонентов шихты между собой в процессе варки затрудняет определение щелочного плавня. Характер частично выветренной бусины 4В также затруднительно определить. Однако, учитывая, что щелочные элементы при выветривании теряются в первую очередь, можно заключить, что первоначальное содержание натрия было высокое, и фаянс этой бусины был такой же, как и у образцов 4А и 7А.

Окрашивание бусин осуществлялось тремя способами. Красная бусина 4А окрашена железом, вероятно гематитом или охрой. Интересно при этом, что использованный оксид железа, в отличие от типичного природного, содержал очень мало титана. Фаянс двух бусин 7А и 7В содержал как железо, так и медь, но медь преобладает и дает синюю или сине-зеленую окраску. Еще две бусины 4В и 6А окрашены самой медью, причем во внутреннем стекле бусины 6А и глазури 4В с наивысшим содержанием меди видно и наибольшее содержание мышьяка. Как уже отмечено выше, это свидетельство местного производства фаянса.

Данные ОЭС в табл. 2 показывают, что медь является красителем для большинства бусин, включая семь (*3, 10, 12, 23, 24, 29, 58*) из девяти стеатитовых. В двух из этих бусин (*3, 24*) медь сопровождается никелем, указывая, как отмечено выше, на местное их производство. Присутствие никеля установлено также для двух фаянсовых бусин *82* и *87*. В первом случае это можно рассматривать как свидетельство местного производства, второй пример – более сложный. В бусине *87* наряду с никелем видно и одновременное присутствие свинца и олова, что не находит аналогии ни с одним из исследованных образцов. Можно лишь предполагать, что свинец и олово не введены порознь. Более того, этот об-

разец демонстрирует повышенный и сопоставимый уровень натрия и калия с небольшим преобладанием последнего, что не типично для большинства образцов в табл. 2. Только два других фаянса *25* и *28* показывают преобладание калия над натрием, свидетельствуя об использовании для производства фаянса золы континентальных растений. Однако большая выветренность этих бус не позволяет говорить об этом с уверенностью.

Другая фаянсовая бусина *53* из Му-Шарета имеет несколько необычный цвет, и медь сопровождается оловом. В этом случае можно предполагать импортное происхождение артефакта.

Вследствие низкой чувствительности ОЭС по калию содержание этого элемента в большинстве случаев оказалось ниже предела обнаружения, но он обнаружен во всех образцах стекла и фритты, в которых содержание щелочных элементов по сравнению с фаянсом, значительно выше. Их состав указывает использование в шихте золы галофитов. Фаянсы в основном произведены из такой же шихты, но с меньшим содержанием золы. Таковы рожковые (*45, 64, 85*) и лепестковые (*46, 89, 90, 82*) бусы, диагностические (см. ниже) для местного производства. Более того, в случае бусины *85* с повышенным содержание щелочей, вероятно вследствие лучшей сохранности, использован калий.

Сравнение данных типологического анализа и результатов анализов СДДВ и ОЭС показали, что часть цилиндрических фаянсовых бусин могла делаться на месте. Это относится как к цилиндрическим бусинам катакомбной культуры (№ *1, 4* и др.), так и последующей лолинской (№ *15, 20* и др.). Интерес представляет вероятность местного производства бусин, в составе которых определено присутствие никеля. Эти бусины также происходят как из местной степной восточноманычской катакомбной культуры (№ *87*), так и лолинской (№ *82*), которая, скорее всего, имеет местные степные корни (*Мимоход,* 2005). Обе культуры, согласно анализу материалов из погребений, имели тесные связи с северокавказским регионом, импульс из которого оказывал огромное культурное воздействие на население северной степной периферии – степей Северо-Западного Прикаспия, входившего в более широкий ареал сложных культурных взаимодействий населения Северного Кавказа, Подонья, Северного и Восточного Прикаспия.

Результаты типологического анализа подтвердили и уже высказанный в 1976 г. С. Н. Братченко вывод об имитации в фаянсе типов бусин, изготавливавшихся ранее из других поделочных материалов, к примеру, гладких и с поперечно-рубчатой поверхностью пронизей, рожковых и бородавчатых бусин.

Результаты сравнительно-типологического анализа согласуются с результатами ОЭС: три рожковые бусины из лолинских комплексов могильников Манджикины-I, к. 10, п. 2 (№ *45*), Островной, к. 3, п. 12 (№ *64*), Цаган-Усн-VII, к. 4, п. 27 (№ *85*) не выявили каких-либо особенностей состава, и все сварены на золе галофитов, они скорее местного, а не импортного происхождения. Не привозными, а местными были и лепестковые бусины из этих же могильников (№ *55, 89, 90, 91*), иногда они встречены вместе с рожковыми (Манджикины I, к. 10, п. 2: № *45, 46*).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инструментальный анализ состава фаянса и сравнительно-типологический анализ коллекции бусин и пронизей из культур эпохи бронзы Северного Кавказа и Евразийских степей позволили прийти к нескольким выводам.

● Результаты СДДВ показали, что бусы катакомбной и лолинской культур выявили широкие вариации состава: среди щелочей может преобладать как натрий, так и калий или оба могут присутствовать в сопоставимой концентрации. Необычны также способы окрашивания. Малое количество проанализированных образцов не дает возможность определить, является ли это явление случайным или характерным как для данного региона, так и для данного периода. Для получения более надежных результатов необходимо исследовать большее число образцов, однако выявленные особенности состава фаянса не находят аналогий среди синхронных фаянсов других регионов, указывая на местное производство фаянсовых бус. На это же указывает и постоянное присутствие мышьяка в фаянсах, окрашенных медью.

● Многочисленные результаты ОЭС фаянсовых бус показали, что в большинстве образцов натрий преобладает над калием, и этим прикаспийский фаянс соответствует ближневосточному. Такой состав является следствием использования для получения фаянса золы солончаковых растений, галофитов. В прикаспийских степях нет недостатка в исходных материалах для получения фаянса такого состава, и его местное производство вполне осуществимо. В пользу местного производства свидетельствует и обнаружение никеля в некоторых образцах фаянса и стеатита, окрашенных медью, поскольку высокое содержание никеля характерно для бронзы Кавказа. Вместе с тем ОЭС подтвердила результаты СДДВ тем, что также позволила выявить и другие типы фаянса, в частности с преобладанием калия над натрием или их сопоставимым содержанием. В этом случае можно предполагать как импортное происхождение таких бус, так и местное их производство из шихты отличного состава.

● Сопоставление данных сравнительно-типологического анализа с данными СДДВ и ОЭС, показало, что многие типы бусин, происходящие из местных степных катакомбной и лолинской культур, не находят аналоги в синхронных культурах других ареалов, и следовательно, они не импортного, а местного происхождения. Выявлена традиция имитации в фаянсе распространенных повсеместно в степи и на Северном Кавказе типов бусин, изготовленных из других поделочных материалов: все типы фаянсовых бусин являются репликой местных типов бусин из других материалов, распространенных в более раннее время.

● Для более раннего времени фаянсовые бусины неизвестны, и распространение технологических навыков фаянсового производства относится не к раннему бронзовому веку (майкопской и другим культурам), а к более позднему времени середины-второй половины III тыс. до н. э., к культурам катакомбного и посткатакомбного (лолинская, срубная и другие) круга.

Литература

Ахундов Т. И. Древнейшие курганы южного Кавказа (культура подкурганных склепов). Баку, 1999.

Березанская С. С., Отрощенко В. В., Чередниченко Н. Н., Шарафутдинова И. Н. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев, 1986.

Братченко С. Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев, 1976.

Братченко С. Н. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Ч. I и II. Луганск, 2001.

Вангородская О. Г. Культурные связи культуры многоваликовой керамики // Межкультурные связи в эпоху бронзы на Украине. Киев, 1987.

Галибин В. А. Изделия из цветного и благородного металла памятников эпохи ранней и средней бронзы Северного Кавказа // Древние культуры Прикубанья. Л., 1991. С. 59–69.

Галибин В. А. Состав стекла как археологический источник. СПб., 2001.

Дьяченко А. Н. Памятники катакомбной культуры на Медведице // Историко-археологические исследования в Нижнем Поволжье. Том. 2. Волгоград, 1997.

Егорьков А. Н. Взгляд на природу никеля в ранней бронзе Кавказа // Античная цивилизация и варварский мир. Краснодар, 2002. С. 117–120.

Егорьков А. Н., Гак Е. И., Шишлина Н. И. Состав металла Калмыкии в бронзовом веке // Археологические Вести. 2005. № 12. С. 71–76.

Кореневский С. Н. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М., 1990.

Марковин В. И. Северо-Восточный Кавказ в эпоху бронзы // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. М., 1994.

Мимоход Р. А. Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы) // Проблеми дослідженняя пам'яток археології Східної України. Материалы. Луганск, 2005.

Мошкова М. Г., Максименко В. Е. Работы Багаевской экспедиции в 1971 г. // Археологические памятники Нижнего Подонья. Том. II. М., 1974.

Нечитайло А. Л. Суворовский курганный могильник. Киев, 1979.

Островерхов А. С. Фаянсы катакомбного времени // Проблемы изучения катакомбной культуры. Запорожье, 1989.

Парусимов И. Н. Археологические исследования в Ремонтненском районе // Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Т. 1. Новочеркасск, 1997.

Парусимов И. Н. Раскопки курганов в станице Бессергенивской и хутора Мокрый Керчик. Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Т. 6. Ростов-на-Дону, 2002.

Питскхелаури К. Н. Восточная Грузия в конце бронзового века. Т. 6, 1979.

Столярова Е. К. Сырьевые материалы и происхождение бус эпохи бронзы западной части Евразийских степей // Сезонный экономический цикл населения Северо-западного Прикаспия в бронзовом веке. Труды ГИМ. Т. 120. М., 2000. С. 91–99.

Столярова Е. К. Стеклянные и фаянсовые бусы южнорусских степей III-II до н.э.: материалы и интерпретация // Могильник Островной. Итоги комплексного исследования памятников археологии Северо-Западного Прикаспия. М.-Элиста, 2002.

Техов Б. В. Центральный Кавказ в XVI–X вв. до н. э. М., 1977.

Трифонов В. А. Батуринский вариант предкавказской катакомбной культуры // Катакомбные культуры Северного Причерноморья. Киев, 1991.

Черных Е. Н. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М., 1966.

Щапова Ю. Л. Очерки истории древнего стеклоделия. М., 1983.

Федорова-Давыдова Э. А. Раскопки курганной группы Шахаевская II на реке Маныче // Древности Дона. М., 1983.

Harding A. F. European Societies in the Bronze Age. Cambridge, 2000.

Henderson J. The raw materials of early glass production // Oxford J. of Archaeology. 1985. Vol. 4 (3). P. 267–291.

Henderson J. Electron microprobe analyses of mixed alkali glass // Archaeometry. 1989. Vol. 30 (1). P. 77-91.

Kaczmarczyk A., Hedges R. E. M. Ancient Egyptian faience. Warminster, 1983.

Santopadre P., Verita M. Analyses of the Production technologies of Italian vitreous materials of the Bronze Age // Glass studies. 2000. № 42.

Shortland A. J. The number, extend and distribution of the vitreous materials workshops at Amarna // Oxford J. of Archaeology. 2000. Vol. 19 (2). P. 115–134.

Shortland A., Shishlina N., Egorkov A. Origin and production of faience beads in the North Caucasus and the Northwest Caspian sea region in the Bronze Age // Les cultures du Caucase (VI^{e}–III^{e} millénaires avant notre ère). Leurs relation avec le Proche-Orient. P., 2007. S. 271–283.

Таблица 1

Результаты анализа бус методом спектрометрии с дисперсией по длине волны (СДДВ), %

Код	Памятник	К/П	Форма	Цвет	Проба	Sio_2	NaO_2	K_2O	CaO	MgO	Al_2O_3	FeO	MnO	TiO_2	CuO	As_2O_3	ZnO	P_2O_5	SO_3	Cl	Сумма
4A	Манджикины-1	10/2	округ.	кра	ВС	72,42	11,6	1,74	3,75	1,66	0,97	6,22	0,06	0,05	0,01	–	0,08	0,17	0,03	1,36	99,84
4B	То же	10/2	то же	зел	ВС	87,97	4,09	2,4	0,25	0,16	1,79	0,67	–	0,27	1,64	0,01	0,07	0,09	0,03	0,5	96,98
6A	Цаган-Нур	3/1	то же	син	ВС	70,63	4,38	9,32	0,38	0,18	3,62	0,71	0,01	0,17	9,53	0,42	0,07	0,29	0,08	0,2	100,16
7A	Цаган-Усн-III	3/2	то же	син	ВС	69,57	13,4	1,69	1,61	0,62	4,63	2,18	0,05	0,13	4,45	0,04	0,14	0,35	0,17	1,08	100,71
7B	То же	3/2	3-сегм.	зел	ВС	68,02	7,49	5,4	1,04	1,18	4,58	3,39	–	1,14	6,94	0,01	–	0,12	0,1	0,63	99,39
2	Бага-Бурул	1/2	трубч.	бел	Гл	89,73	–	0,01	0,01	–	0,01	0,02	–	0,02	0,06	–	0,04	–	0,01	–	89,91
4B	Манджикины-1	14/1	округл.	зел	Гл	82,6	1,72	3,13	0,71	0,12	1,55	0,33	–	0,07	7,83	0,14	0,08	0,18	0,18	1,66	92,14

Также анализировались Co, Cr, Ni, Pb, Sb, Sn, их содержание оказалось ниже предела обнаружения (<0,05 %). Обозначения: ВС – внутреннее стекло, Гл – глазурь, К – курган, П – погребение.

У образца 2 из Бага-Бурула в столбце содержания SiO_2 приведено исправленное значение 89,73, в английском оригинале (*Shortland, Shishlina, Egorkov*, 2007, p. 174, tabl.2) ошибочно дано 99,73.

Таблица 2

Результаты анализа бус методом оптико-эмиссионной спектрографии (ОЭС), %

№	Памятник	Культ.	К/П	Форма	Цвет	Шифр	Na_2O	K_2O	CaO	MgO	Al_2O_3	Fe_2O_3	MnO	TiO_2	PbO	SnO_2	CuO	NiO	ZnO
1	Кермен–Толга	КК	43/1	округл.	белый	687–14	7,5	3,4	4,1	1,1	8,0	2,1	0,01	0,1	–	–	–	–	–
2	Кермен–Толга	КК	43/1	трубч.	белый	687–15	0,2	–	2,1	0,3	1,3	1,6	–	0,07	–	–	–	–	–
3	Вост. Маныч ПБ I	ЯК	6/8	округл.	белый	687–16	0,1	–	–	много	–	2,9	0,02	–	–	–	3,3	0,02	–
4	Вост. Маныч ПБ I	КК	59	округл.	зеленый	687–18	10	3,6	4,4	2,1	7,4	3,2	–	0,09	–	–	3,8	–	+
5	Вост. Маныч ПБ I	КК	59	округл.	белый	687–19	0,2	–	4,1	0,2	0,9	0,6	–	–	–	–	–	–	–
6	Вост. Маныч ПБ I	КК	59	округл.	белый	687–20	2,0	–	2,4	1,0	2,7	2,1	–	0,05	–	–	0,06	–	–
7	Вост. Маныч ПБ I	КК	59	округл.	коричн.	687–21	4,7	–	2,5	0,3	1,3	8,0	0,03	0,02	–	–	–	–	–
8	Бамут	СКК	4/2	округл.	зеленый	687–22	0,9	–	2,3	0,3	1,5	2,6	0,01	0,04	–	–	0,5	–	–

№	Памятник	Культ.	К/П	Форма	Цвет	Шифр	Na_2O	K_2O	CaO	MgO	Al_2O_3	Fe_2O_3	MnO	TiO_2	PbO	SnO_2	CuO	NiO	ZnO
9	Бамут	СКК	4/2	трубч.	белый	687–23	1,5	–	2,7	0,4	1,6	2,3	0,02	0,04	–	–	0,08	–	–
10	Верхний Акбаш	СКК	1/2	округл.	белый	687–24	–	–	–	много	–	4,2	0,02	–	–	–	0,07	–	–
11	Верхний Акбаш	СКК	1/2	трубч.	белый	687–25	2,3	–	2,0	0,3	1,6	2,3	0,01	0,05	–	–	1,2	–	–
12	Елизаветдорф	КК	3	округл.	белый	687–26	–	–	–	много	–	6,7	0,02	–	–	–	0,06	–	–
13	Вост. Маныч ЛБ I	КК	34/5	округл.	белый	687–27	0,1	–	1,0	0,3	0,8	0,4	–	–	–	–	–	–	–
14	Манджикины 1	ЛК	5/6	трубч.	коричн.	706–14	6,2	4,4	0,2	1,0	1,5	4,4	0,03	0,02	–	–	–	–	–
15	Вост. Маныч	КК	43/19		белый	706–15	0,03	–	0,08	0,1	0,4	0,2	0,01	0,01	–	–	–	–	–
16	Шахаевская	КК	4/28		белый	706–16	0,5	–	–	много	0,4	4,4	0,01	0,05	–	–	–	–	–
17	Шахаевская	КК	4/28		белый	706–17	0,06	–	0,08	0,2	0,2	0,2	–	–	–	–	0,7	–	–
18	Зунда–Толга	КК	3/6		белый	706–18	0,05	–	0,08	0,3	0,4	0,1	0,01	–	–	–	–	–	–
19	Манджикины 1	ЛК	5/6		белый	706–19	9,7	5,5	0,09	0,8	0,6	6,6	0,02	0,03	–	–	–	–	–
20	Островной	ЛК	3/12		белый	706–20	0,08	–	0,09	0,3	0,3	11	–	–	–	–	1,0	–	–
21	Островной	ЛК	3/12		белый	706–21	0,1	–	0,06	0,2	0,6	0,2	–	0,02	–	–	0,2	–	–
22	Вост. Маныч ПБ	КК	43/12		белый	706–31	0,1	–	0,09	0,3	0,2	0,02	–	–	–	–	1,3	–	–
23	Вост. Маныч ПБ	КК	28/3		белый	706–34	0,08	2,5	0,1	много	0,2	0,9	0,01	–	0,3	–	1,2	–	–
24	Вост. Маныч ПБ	КК	28/3	трубч.	белый	706–35	0,03	2,7	0,1	много	0,3	0,7	0,04	–	0,03	–	1,7	0,02	–
25	Шахаевская	КК	4/32		зеленов.	706–36	0,02	2,1	0,3	0,1	0,1	0,02	0,01	–	–	–	4,2	–	–
26	Шахаевская	КК	4/32		белый	706–37	4,0	3,4	0,1	0,7	0,7	0,07	0,01	0,01	–	–	2,4	–	–
27	Зунда–Толга 1	КК	8/1		зеленов.	706–40	0,4	–	–	много	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–	–
28	Зунда–Толга 1	КК	8/1		белый	706–41	0,1	2,3	0,07	0,2	0,3	0,4	–	0,02	–	–	0,2	–	–
29	Зунда–Толга 1	КК	8/1	трубч.	белый	706–42	0,5	–	–	много	2,0	0,3	–	0,01	–	–	0,2	–	–
30	Зунда–Толга 1	КК	8/1	трубч.	белый	706–43	0,3	–	0,1	0,3	0,6	0,6	0,01	0,03	–	–	0,5	–	–
31	Вост. Маныч ПБ	КК	18/8	трубч.	белый	706–44	0,5	–	0,04	0,3	0,6	0,3	–	0,01	–	–	0,4	–	–
32	Вост. Маныч ПБ	ЯК	1/7		белый	706–45	0,7	–	0,1	0,4	0,8	0,5	0,02	0,03	–	–	1,7	–	–
33	Кермен–Толга	КК	43/1	трубч.	белый	706–46	0,5	–	0,04	0,2	0,7	0,9	–	0,03	–	–	–	–	–
34	Кермен–Толга	КК	43/1		коричн.	706–47	0,8	–	0,3	1,2	2,4	11	0,04	0,02	–	–	–	–	–
35	Бамут	СКК	4/2		белый	706–48	0,7	–	0,1	0,4	1,0	1,1	0,04	0,03	–	–	1,6	–	–

№	Памятник	Культ.	К/П	Форма	Цвет	Шифр	Na_2O	K_2O	CaO	MgO	Al_2O_3	Fe_2O_3	MnO	TiO_2	PbO	SnO_2	CuO	NiO	ZnO
36	Бамут	СКК	4/2		синий	706–49	13	4,0	0,6	1,9	11	2,3	0,01	0,2	–	–	1,8	–	0,01
37	Верхний Акбаш	СКК	1/2	трубч.	зеленов.	706–50	1,6	–	0,2	0,7	1,8	1,0	0,02	0,04	–	–	2,3	–	–
38	Вост. Маныч	СК	30/3		белый	706–51	0,4	–	0,07	0,2	1,1	0,2	–	0,06	–	–	–	–	–
39	Манджикины 1	ЛК	9/1	округл.	белый	714–12	0,08	–	0,8	0,2	0,2	0,3	0,01	0,02	–	–	–	–	–
40	Манджикины 1	ЛК	9/1	округл.	зеленов.	714–13	0,8	–	1,4	1,3	1,2	0,8	0,04	0,1	–	–	0,9	–	–
41	Манджикины 1	ЛК	10/2	округл.	белый	714–14	0,5	–	0,5	0,3	0,4	0,3	–	0,02	–	–	–	–	–
42	Манджикины 1	ЛК	10/2	округл.	зеленов.	714–15	0,8	–	0,9	0,5	1,9	0,5	0,04	0,06	–	–	1,1	–	–
43	Островной	ЛК	3/39	биконич.	зеленый	714–16	0,3	–	0,7	0,5	1,2	0,6	0,02	0,06	–	–	0,8	–	–
44	Островной	ЛК	3/39	сегмент.	белый	714–17	0,5	–	1,4	1,2	1,7	1,0	0,05	0,2	–	–	–	–	–
45	Манджикины 1	ЛК	10/2	3–рожк.	белый	714–18	0,2	–	1,2	0,3	0,3	0,2	–	0,01	–	–	–	–	–
46	Манджикины 1	ЛК	10/2	лепест.	коричн.	714–19	2,0	–	2,2	1,1	2,2	1,8	0,05	0,2	–	–	–	–	–
47	Островной	ЛК	6/4	шаров.	белый	714–20	0,04	–	0,3	0,1	0,1	0,7	–	0,2	–	–	–	–	–
48	Островной	ЛК	6/9	округл.	белый	714–21	0,4	–	0,5	0,2	0,6	0,7	–	0,02	–	–	–	–	–
49	Островной	ЛК	6/9	округл.	коричн.	714–22	6,0	2,0	2,5	0,9	0,9	1,4	0,05	0,05	–	–	–	–	–
50	Островной	ЛК	6/9	округл.	белый	714–23	0,5	–	0,8	1,3	1,9	1,6	0,04	0,2	–	–	–	–	–
51	Островной	ЛК	3/39	округл.	коричн.	714–24	1,6	–	3,1	1,2	2,2	1,8	0,09	0,2	–	–	–	–	–
52	Островной	ЛК	6/5	округл.	белый	714–25	0,6	–	0,9	0,7	1,1	0,7	–	0,08	–	–	0,5	–	–
53	Му–Шарет	КК	1/1	округл.	син.–зел.	714–26	0,4	–	5,5	0,8	1,4	0,9	0,04	0,1	–	0,08	3,0	–	–
54	Островной	ЛК	6/4	округл.	greenish	714–27	1,4	–	1,5	1,0	1,5	1,2	0,05	0,1	–	–	1,0	–	–
55	Островной	ЛК	6/4	округл.	бесцвет.	714–28	12	1,5	6,8	0,8	0,8	0,9	0,5	0,2	–	–	–	–	–
56	Грач	ЯК	3/8	округл.	зеленов.	714–29	0,6	–	1,6	1,1	0,8	0,5	0,02	0,06	–	–	–	–	–
57	Островной	ЛК	3/39	округл.	коричн.	714–40	0,9	–	1,0	1,6	1,1	1,0	–	0,06	–	–	–	–	–
58	Островной	ЛК	6/4	округл.	белый	714–41	0,2	–	0,6	много	0,6	0,4	–	–	–	–	0,5	–	–
59	Островной	КК	3/32	округл.	белый	733–12	0,05	–	0,5	0,1	0,8	0,4	–	0,02	–	–	0,4	–	–
60	Островной	КК	3/27	округл.	белый	733–13	0,4	–	0,4	0,2	2,2	0,8	–	0,06	–	–	0,6	–	–
61	Зунда–Толга 3	КК	1/5	округл.	зеленов.	733–14	0,03	–	0,6	0,04	0,1	0,2	–	0,01	–	–	2,0	–	–
62	Зунда–Толга 3	КК	1/3	округл.	син.–зел.	733–15	0,03	–	0,6	0,08	0,5	0,2	–	0,02	–	–	3,7	–	
63	Островной	КК	3/28	шаров.	белый	733–16	1,0	–	0,6	0,4	1,3	1,7	0,02	0,02	–	–	0,2	–	–

64	Островной	ЛК	3/12	3–рожк.	син?	733–17	0,3	–	0,8	0,2	1,5	0,2	–	0,06	–	–	1,0	–	–
65	Манджикины 1	КК	14/1	округл.	белый	733–18	0,3	–	0,7	0,2	1,2	0,4	–	0,02	–	–	0,5	–	–
66	Манджикины 1	КК	14/1	округл.	зеленый	733–19	0,02	–	0,6	0,06	0,4	0,2	–	0,1	–	–	1,9	–	–
67	Островной	ЛК	12/3	округл.	белый	733–20	0,3	–	0,4	0,5	2,8	1,7	–	0,1	–	–	0,5	–	–
68	Зунда–Толга 3	КК	1/3	округл.	зеленый	733–21	0,3	–	1,9	0,2	2,7	0,7	–	0,03	–	–	5,1	–	0,03
69	Шарахалсун 5	КК	15/5	округл.	зеленый	733–22	0,3	–	6,5	0,7	3,9	1,3	–	0,1	–	–	4,5	–	0,04
70	Шарахалсун 5	КК	16/7	округл.	белый	733–23	0,1	–	0,5	0,2	1,5	0,6	–	0,03	–	–	0,3	–	–
71	Шарахалсун 6	КК	16/6	округл.	синий	733–25	2,9	1,6	1,3	0,2	1,4	0,5	–	0,04	–	–	3,6	–	–
72	Бага–Бурул	КК	1/2	округл.	белый	749–14	0,03	–	0,5	0,1	0,2	0,2	0,06	0,01	–	–	–	–	–
73	Бага–Бурул	КК	1/2	округл.	розовый	749–15	1,5	1,1	0,4	0,1	0,5	1,4	0,02	0,02	–	–	0,3	–	–
74	Бага–Бурул	КК	4/1	округл.	белый	749–16	0,06	–	0,4	0,09	0,09	0,1	–	0,01	–	–	0,05	–	–
75	Цаган–Усн III	ЛК	5/7	округл.	желтый	749–17	0,04	–	0,4	0,1	0,07	0,9	–	0,02	–	–	–	–	–
76	Хар–Зуха I	КК	4/2	округл.	зеленый	749–18	0,01	–	0,7	0,1	0,1	0,1	–	0,01	–	–	2,7	–	–
77	Архара	КК	18/4	округл.	желтый	749–19	0,03	–	0,5	0,3	0,5	0,3	0,02	0,01	–	–	0,1	–	–
78	Хар–Зуха II	ЛК	2/4	округл.	желтый	749–20	0,03	–	0,4	0,1	0,1	0,4	–	0,04	–	–	0,4	–	–
79	Цаган–Нур	КК	3/1	трубч.	белый	749–21	0,01	–	0,5	0,1	0,09	0,5	0,01	0,01	–	–	0,6	–	–
80	Цаган–Нур	КК	3/1	округл.	белый	749–22	0,04	–	0,5	0,5	1,5	1,5	0,02	0,09	–	–	0,1	–	–
81	Хар–Зуха I	КК	5/2	округл.	белый?	749–23	0,9	–	0,5	0,2	0,7	0,6	–	0,1	–	–	1,6	–	–
82	Хар–Зуха I	ЛК	5/2	шаров.	зеленый	749–24	4,5	1,2	1,1	0,8	3,0	1,2	0,02	0,3	–	–	4,4	0,06	0,03
83	Цаган–Усн VII	ЛК	4/27	округл.	зеленый	749–25	2,1	1,0	0,6	0,3	0,2	0,5	–	0,03	–	–	2,8	–	0,02
84	Чоргай	КК	5/1	округл.	зеле-ный?	749–26	0,02	–	0,5	0,08	0,07	0,1	–	0,01	–	–	1,9	–	–
85	Цаган–Усн VII	ЛК	4/27	рожков.	синий?	749–27	2,9	1,1	0,6	0,5	1,1	0,6	–	0,07	–	–	2,0	–	–
86	Цаган–Усн VII	ЛК	4/27	округл.	белый	749–28	0,3	–	0,5	0,2	0,5	0,3	–	0,01	–	–	1,4	–	–
87	Цаган–Усн VII	КК	2/5	округл.	зеленый	749–29	2,4	2,7	0,7	0,1	0,3	0,6	–	0,04	0,1	0,3	4,0	0,03	–
88	Чоргай	КК	8/1	округл.	белый	749–30	0,2	–	0,5	0,2	0,3	0,6	–	0,02	–	–	1,6	–	–
89	Цаган–Усн VII	ЛК	2/11	лепест.	белый	749–32	0,3	–	0,4	0,1	0,6	0,6	–	0,08	–	–	–	–	–
90	Хар–Зуха I	ЛК	9/2	лепест.	белый	749–33	0,02	–	0,3	0,08	0,07	0,2	–	0,02	–	–	0,3	–	–
91	Цаган–Усн VII	ЛК	2/11	лепест.	коричн.	749–34	0,3	–	0,4	0,2	0,3	1,0	–	0,08	–	–	1,6	–	–
92	Цаган-Усн VII	ЛК	4/27	округл.	зеленый	749-25	2,1	1,0	0,6	0,3	0,2	0,5	–	0,03	–	–	2,8	–	–

Культуры: КК – Катакомбная, ЛК – Лола, СК – Срубная, СКК – Северокавказская, ЯК – Ямная. Восточный Маныч: ЛБ – левый берег, ПБ – правый берег.

Кореневский С. Н.

ВТУЛЬЧАТЫЕ ОРУЖИЕ И КУЛЬТОВЫЕ СИМВОЛЫ НАСЕЛЕНИЯ КАВКАЗА И СТЕПНОГО ЮГА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ ЭНЕОЛИТА

Целью настоящей работы является исследование одного из аспектов ранней военизации для периода кавказского нео/энеолита, энеолита и синхронного времени энеолита в степной зоне Восточной Европы. Этот аспект связан с первичным появлением втульчатого каменного оружия на рассматриваемой территории, в том числе зооморфных наверший.[1]

Методика работы прежде всего основывается на типологии вещей. В категории последних включены молоты, булавы, топоры, зооморфные навершия. Основным источником для нее являются публикации. В силу последнего обстоятельства не исключено, что некоторые предметы могут быть неохваченными в настоящей сводке из-за труднодоступности литературы.

В хронологическом отношении (с учетом радиокарбонных дат) рассматриваемое время занимает диапазон середины VI по начало IV тыс. до н.э. В рамках хронологии Передней Азии оно согласуется с периодом Хассуны и Убейда (*Porada*,1965), а по хронологии культур оседлых земледельцев и скотоводов западной части Северного Причерноморья – с временем культуры Триполья А и Триполья ВI – ВIВII. Конкретное изложение материала связано с учетом находок на Южном Кавказе, Предкавказье и в степях Восточной Европы. Природный фон, на котором разворачивались исторические события, связан с потеплением во время финала фазы А2 первой половины Атлантического периода голоцена (6000/5900 – 4800/4700 до н. э.), относительно прохладной фазой А3 (4800/4700 – 4400/4300 до н. э.) и резким усилением жары в период фазы А4 (4400/4300 – 4000/3900 до н. э.) атлантического периода голоцена (*Спиридонова, Алешинская,* 1999; *Кореневский,* 2005). Последний отрезок времени совпадает с периодом позднего энеолита Кавказа и заметной перестройкой культур степной зоны Восточной Европы.

Южный Кавказ

Памятники Южного Кавказа, в которых найдены втульчатые молоты, топоры, булавы включают энеолитические слои поселения Кюльтепе I, Шенгавита, стоянки 133 в Азербайджане, поселения Тойратепе, Шулавери, Имиристора. Важнейшей культурой Южного Кавказа в эпохи древнейших земледельцев и скотоводов является культура шулавери-шомутепе. Она датируется в свете радиокарбонных дат (с коррекцией) в целом с конца

[1] В целом, орудия охоты и войны можно разделить на военно-охотничье снаряжение, применяемое на промысле и войне, а также на специальное оружие, которое использовалось прежде всего на войне. Специальное оружие в эпоху неолита и бронзового века (до появления железа) включало, помимо изделий из камня, различные боевые деревянные и костяные булавы, клевцы, топоры, кинжалы мечи на костяной основе с кремневыми вкладышами, а также прочие не сохраняемые или плохо сохраняемые предметы. Общая типология этапов военизации – это еще удел будущих исследований. Пока я называю ранним периодом военизации эпохи меди и бронзы этап развития оружия до появления металлического доспеха, до возникновения настоящего всадничества и боевых колесниц. В конкретном случае, до становления куро-аракской культуры на Южном Кавказе и включая памятники культуры лейлатепе, так как ее хронология, судя по датам (XLII–XXXVIII вв. до н. э. – *Мусеибли,* 2007, с. 150), позволяет соотносить культуру лейлатепе с эпохой позднего энеолита и начала раннего периода бронзового века.

VII – по VI и первую половину V тыс. до н. э. Радиокарбонная дата Кюльтепе 1 (нижнего слоя – 1) первая половина V тыс. до н.э – одна из самых поздних для культуры шулаверишомутепе (*Кавтарадзе,* 1983, с. 49).

Втульчатый молот. Находки втульчатых молотов редки. Известен один энеолитический экземпляр из Кюльтепе 1 слоя 1 (рис. 1: *1*) (*Абибулаев,* 1982, с. 284, табл. IV: 11). Орудие представляет собой производственный брак. Его отверстие сверлилось с двух сторон, но до конца не доведено. На обушной стороне имеется желоб – для перехвата. Сама по себе находка очень интересна, так как является гибридным типом, сочетая признаки энеолитических молотов (рис. 1: *2–3*) с перехватом и втульчатых орудий. Втульчатые молоты в Кюльтепе 1 преобладают в раннем периоде бронзового века. Следов перехвата на них уже нет (*Абибулаев,* 1982, табл. XIV: *4, 5*). Размеры орудий доходят до 12–18 см в длину. Находки представляют производственный брак. Их поверхность плохо обработана. Изделия изготовлены из оникса, очень твердой породы, и белого плотного камня. Сверление молотов двустороннее, неровное, как и у энеолитических изделий. Молот может быть универсальным орудием труда и войны. Но германо-скандинавская мифология подчеркивает именно военный характер каменного молота бога Тора.

Втульчатые каменные топоры. Втульчатые каменные топоры энеолитического времени Южного Кавказа немногочисленны, но очень интересны по конструкции. Природа камня вызывала необходимость делать отверстие для насада орудия по центру корпуса во избежание слома втулки. Характерный признак европейского длиннообушного каменного топора – удлиненный обух, при котором размер последнего значительно (в полтора, два и более раз) превышает диаметр отверстия втулки. Этот принцип твердо соблюдается на подавляющем большинстве каменных топоров разных форм Европы и Предкавказья в эпоху нео/энеолита и бронзового века. Такую традицию можно обозначить как длиннообушную.

Для энеолитических топоров Южного Кавказа мы сталкиваемся совсем с иной традицией конструкции этого оружия. Отверстие для насада у отдельных экземпляров смещено к обуху, как у металлических втульчатых топоров. Диаметр втулки примерно равен толщине стенки обуха или стенки толще диаметра отверстия примерно в полтора раза. Обух скруглен. Такую традицию можно назвать короткообушной (рис. 1: *7, 9, 12, 13*, *15*). Среди короткообушных топоров простейшими формами являются предметы с небольшим клином, превышающим размер отверстия не более чем в два раза. Подобные изделия напоминают булавы с одним подостренным концом. Этот вариант можно назвать короткообушковым укороченным (рис. 1: *7*), отличая его от короткообушкового удлиненного (рис. 1: *9*), с размером клина в два и более раз превосходящего диаметр отверстия.

Длиннообушной топор. Из энеолитического слоя Кюльтепе 1 известна одна находка обломка, вероятно, каменного топора с длинным обухом (рис 1: *6*) (*Абибулаев*, 1982, табл. IV: *13*). Форма его полностью не реконструируется. Поэтому вопрос о знакомстве населения Южного Кавказа с длиннобушным каменным топором поставить можно, но не более, поскольку конкретно эта разновидность категории пока никак не документируется.

Другая находка обломка клина втульчатого каменного топора из раннебронзового слоя Кюльтепе 1 (*Абибулаев,* 1982, с. 294, табл. XIV: *1*) доказывает знакомство населения этого памятника уже в иную эпоху с какими-то разновидностями каменных топоров.

Короткообушные закавказские укороченные каменные топоры известны по находке на позднеэнеолитической стоянке 133 с керамикой типа группы памятников Сиони – Цопи (рис. 1: *7*) (*Нариманов,* 1987, с. 232, рис. 36: *4*). Это небольшое изделие относится к

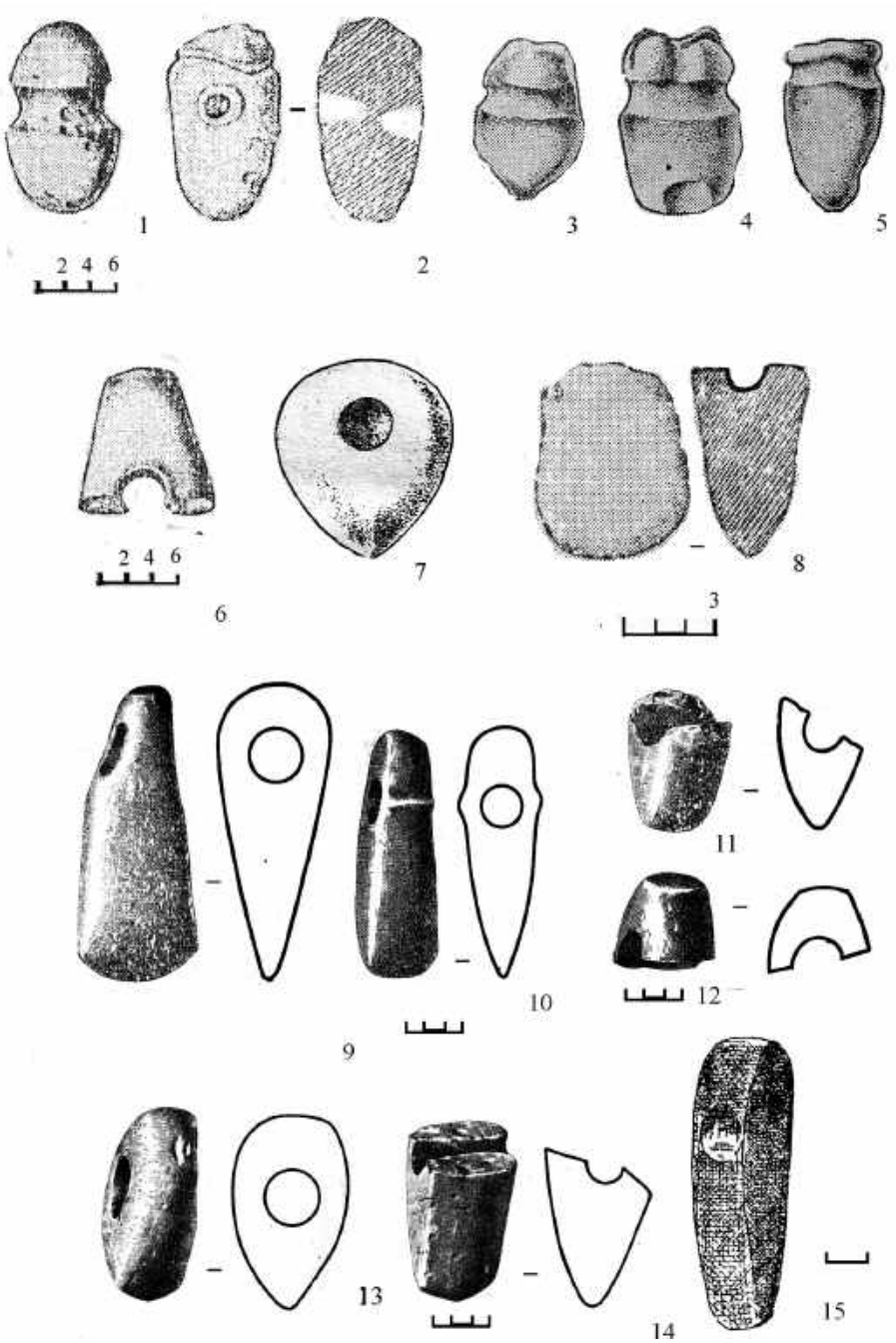


Рис. 1. Каменные топоры Южного Кавказа.
1, 2, 6 – Кюльтепе I (энеолит); *3–5, 8* – Кюльтепе I (ранний период бронзового века); *7* – Стоянка 133, Азербайджан; *9* – Кети; *10* – Эчмиадзин; *11* – Ганлидж; *12* – Шенгавит, *13* – Гиншек; *14* – Айгестан; *15* – Техут, Армения (по: *Абибулаеву, Нариманову, Ханзадян, Торосяну*).

разряду короткообушковых укороченных топоров. По сути, оно является заготовкой или бракованным предметом, размером 7 × 6 см. Отверстие на нем не просверлено до конца. В Армении короткообушковые укороченные топорики известны из Гиншека (рис. 1: *13*), Ганлижа (рис. 1: *11*) (*Ханзадян,* 1967, табл. VI, IX).

Короткообушковые топоры и удлиненным клином на Южном Кавказе обнаружены на поселении Техут (рис. 1: *15*) (*Торосян,* 1974, табл. II: *4*) времени лейлатепинской культуры. Далее можно назвать находки в Армении. Они найдены в Кети (рис. 1: *9*) и Эчмиадзине (рис. 1: *10*) (*Ханзадян,* 1967, табл. VI, IX). Обломки каменных топоров неопределенных типов упоминаются из Шенгавита (рис. 1: *12*) и Айгестана (рис. 1: *14*) (*Ханзадян,* 1967, табл. VI, IX).

Короткообушные южнокавказские каменные топоры тщательно отделывались. На образце из с.Кети втулка в профиль закошена. Эта деталь крайне нетипична для каменных топоров, но весьма свойственна древнейшим топорам из бронзы куро-аракской и майкопской культур. В Армении подобный предмет найден у г. Ленинакана. На сходство каменного топора из Кети и бронзового изделия из Ленинакана обратил внимание А. А. Мартиросян (1964, с. 25). С другой стороны, оформление короткого обуха для закавказских мастеров было явно не случайным явлением, а превращалось в традицию, которую стремились усовершенствовать в рамках принятого канона. Об этом свидетельствуют ребра жесткости на втулке на образце из Эчмиадзина (рис. 1: *10*).

Хронология топоров с коротким обухом и длинным клином на Южном Кавказе пока недостаточно конкретна и может охватить время позднего энеолита и раннего периода эпохи бронзы.

Южнее Аракса категория каменных топоров прослеживается на поселении Тепе Гавра. Здесь втульчатые орудия (молот – клевец, топор с двумя лезвиями) известны из слоев XIII–XIA позднего убейдского и урукского периодов (*Speiser,* 1935, tabl. XCIV: c, e, d, f.; *Porada,* 1965). Но это предметы иных форм и более молодого времени, чем культура шулавери-шомутепе.

Каменные булавы шаровидно-грушевидной формы. Каменные булавы эпохи нео/энеолита Южного Кавказа известны по находкам из слов поселений и погребений. Отверстия для насада булав выполнялись двусторонним и односторонним сверлением. Последнее оставляло отверстие в виде цилиндра или конуса. Определить способ насада изделия на рукоять нелегко. Если коническое сверление начиналось с брюшка булавы, то оно сужалось к спинке. Это могло приводить к ослаблению скрепления навершия булавы с рукоятью. Но практический смысл (с нашей точки зрения) древними мастерами соблюдался не всегда. Например, булава из Константиновского поселения (*Кияшко,* 1994, с. 119, рис. 33: *9*) имеет расширяющееся отверстие книзу, как и топор среднего периода эпохи бронзы из Кавминвод (*Кореневский,* 1990, с. 168, рис. 50: *5*).

В литературе конфигурацию энеолитических булав Южного Кавказа связывают с шаровидной и грушевидной формами (*Абибулаев,* 1982, с. 116) Отличить собственно шаровидную форму от грушевидной трудно даже с помощью статистических измерений. Поэтому мы предлагаем среди булав шаровидно – грушевидной формы (рис. 2) ориентироваться на качественные особенности изделий, как например, наличие угловатости или ребра на поверхности навершия. При наличие скругленного ребра шаровидно-грушевидная форма приобретает трапециевидные очертания, без него – гладкие. Шаровидные энеолитические типы южнокавказских булав имеют дополнительно отличительный признак. Сверление отверстия у них двустороннее (рис. 2: *1–4, 12*). У трапециевидных булав оно одностороннее и может идти, вероятно, снизу вверх, а расширение самого тела булавы сдвинуто кверху, выше срединного сечения изделия.

Шаровидно-грушевидные булавы округлой формы с двусторонним сверлением отверстия найдены в нижнем слое поселения Кюльтепе 1 (рис. 2: *1*) (*Абибулаев,* 1982, табл. VI: *4*) и в энеолитическом слое поселения Имирисгора (рис. 2: *4*) (*Кигурадзе,* 1976, табл. 29: *2*). Этот же тип существует и в эпоху раннего периода бронзового века. Он известен из второго слоя поселения Кюльтепе (рис. 2: *2, 3*) (*Абибулаев,* 1982, с. 295, табл. XV: *16, 14*). Обломок грушевидной булавы отмечен на поселении Агылы-дере культуры лейлатепе. Уплощенная булава опубликована из поселения Беюк Кесик (*Нариманов, Ахундов, Алиев,* 2007, с. 104, рис. XXI: *14*). Но в монографическом издании этого памятника среди каменных орудий она не упоминается (*Мусеибли,* 2007, с. 128–133). Судя по химическому составу чисто медных изделий, поселение Беюк Кесик – неолитический памятник (*Мусеибли,* 2007, с. 86).

Шаровидно-грушевидные булавы трапециевидной формы найдены в энеолитическом некрополе Кюльтепе 1 в погребении 71 (рис. 2: *5*) (*Абибулаев,* 1982, с. 286, табл. VI: *I*; с. 40, 41) и в погребении 35 (рис. 2: *9*) (*Абибулаев,* 1982, с. 286, табл. VI: *5*), в нижнем слое Кюльтепе I (рис. 2: *6*) (*Абибулаев,* 1982, с. 286, табл. VI: *3*), (рис. 2: *8*) (*Абибулаев,* 1982, с. 286, табл. VI: *2*). Они обнаружены в Шомутепе (рис. 2: *7*) (*Нариманов,* 1987, с. 201, рис. 5: *7*), Тойретепе (*Нариманов,* 1987, с. 212, рис. 16: *8*), Техуте (*Торосян,* 1976, табл. II: *5*). Изделия рассматриваемого типа тщательно отделывались.

Каменная булава с хорошей обработкой поверхности известна из могильника в Тквивави без указания номера погребения. Она относится к раннему периоду бронзового века (*Куфтин,* 1949, с. 17, табл. Б: *1*). Тип булавы в рамках шаровидно-грушевидного типа этих изделий не уточняется (рис. 2: *11*).

В Передней Азии к югу от Аракса древнейшие находки каменных булав шаровидно – грушевидной формы связаны с культурой Джармо (*Массон В. М.,* 1989. С. 40, рис. 8). В Северной Месопотамии булавы хорошо прослежены по находкам из слоя XII–XIIA урукского периода (*Speiser,*1935, tabl. CXXXVII: *29, 31–37*). Их формы близки южнокавказским.

Предкавказье и степной юг Восточной Европы

Древнейшие каменные втульчатые орудия ударного действия Предкавказья и степного юга Восточной Европы периода нео/энеолита в рамках VI и V тыс. до н. э. (до распространения в Северном Причерноморье влияний майкопской культуры) включают такие формы специального втульчатого оружия из камня (булавы, зооморфные скипетры в виде булав или топоров, навершия – клевцы с цапфами).

В Предкавказье каменные булавы найдены на Агубековском энеолитическом поселении, на поселениях Мешоко, Ясенева Поляна культуры накольчато-жемчужной керамики. Они известны в Северном Причерноморье в Мариупольском могильнике погребениях 8, 31, яме 2Б Никольского могильника позднего этапа Нижнедонской культуры, а также в погребении 24 Мариупольского могильника, которое сейчас связывают с памятниками среднестоговской культуры (и относят к так называемому «новоданиловсму типу»).[1] Булавы найдены на поселении Веремье среднего этапа трипольской культуры. Булавы известны также на Варфоломеевской стоянке в слое 2Б в Саратовском Заволжье, на сто-

[1] Я придерживаюсь точки зрения Н. С. Котовой (2006) по поводу отнесения погребений новоданиловского типа к среднестоговской культуре.

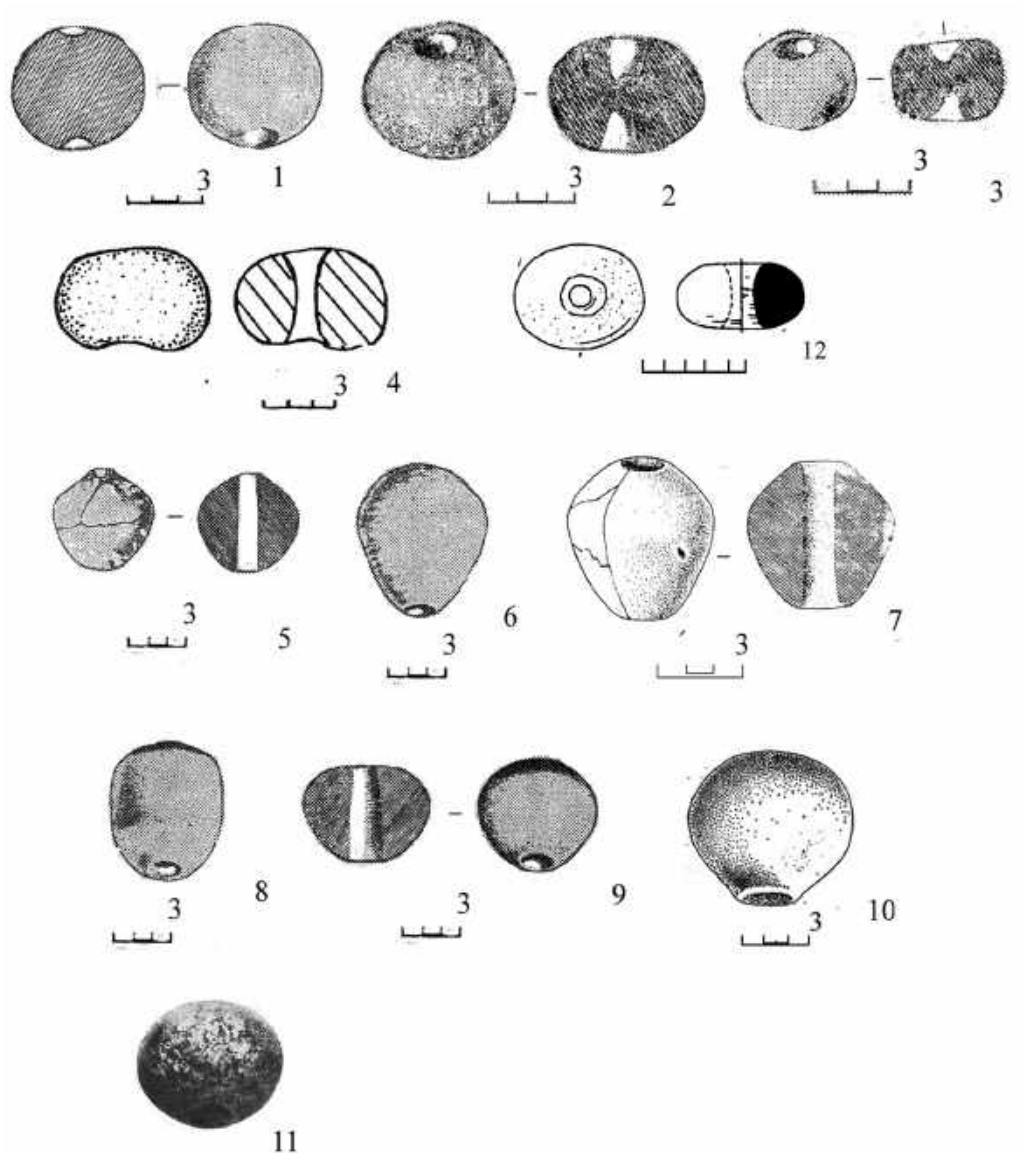


Рис. 2. Булавы Южного Кавказа.
1, 6, 8 – Кюльтепе I, слой I; *2, 3* – Кюльтепе I, слой 2; *4* – Имирисгора; *5* – Кюльтепе I, погр. 71; *7* – Шомутепе, нижний слой; *9* – Кюльтепе I, слой I , погр. 35; *10* – Тойратепе (по: Абибулаеву, Наримановy); *11* – Тквиави (по: *Куфтину*).

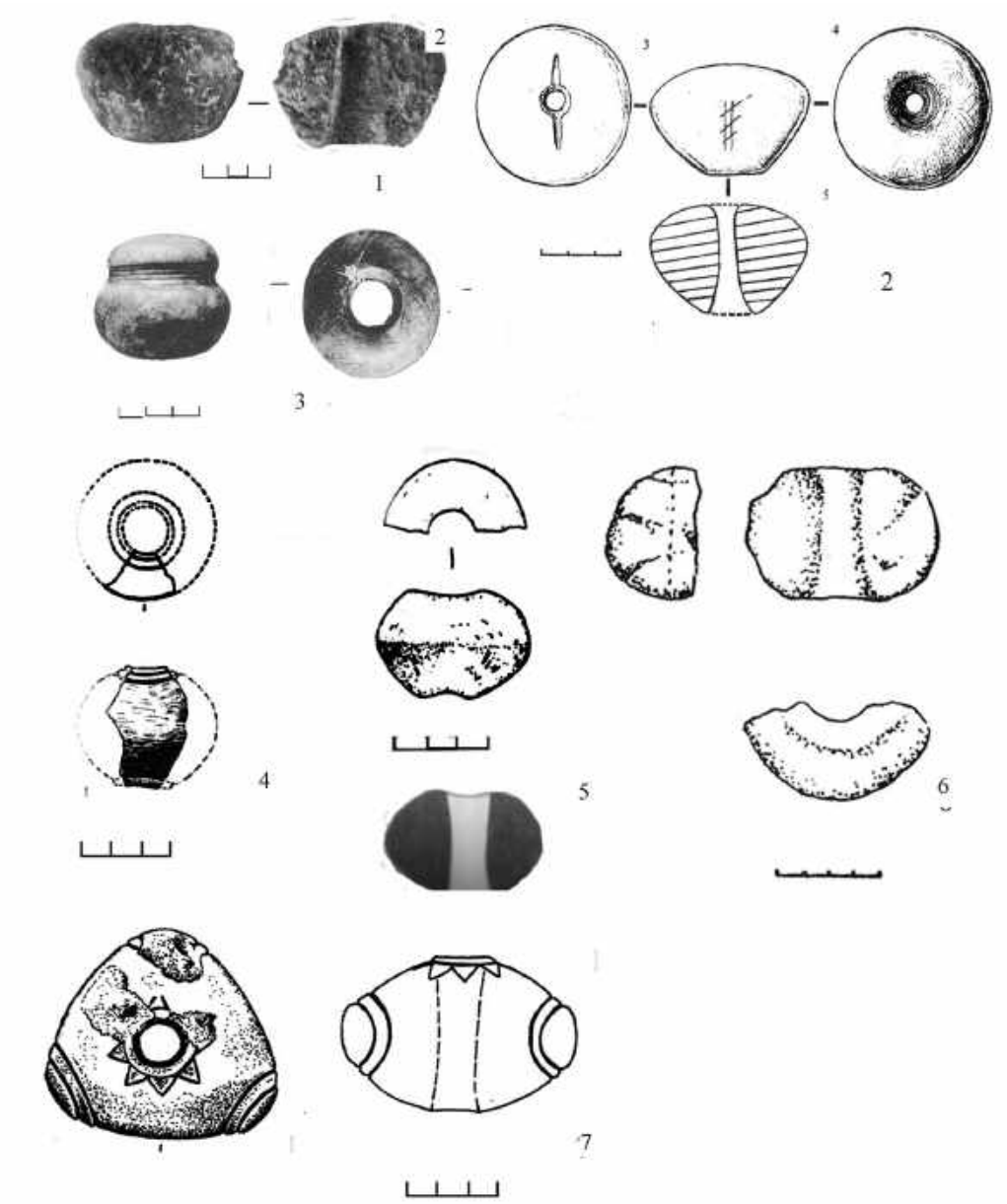


Рис. 3. Булавы Северного Кавказа и Восточной Европы.
1 – Агубековское поселение; *2* – Ивановское поселение; *3* – Никольский могильник, яма 2Б; *4* – Варфоломеевская стоянка, слой 2А; *5* – стоянка Тентексор; *6* – стоянка Кызыл-Хак; *7* – Варфоломеевская стоянка (по: *Кричевскому, Круглову, Телегину, Барынкину, Богданову, Васильеву, Выборнову, Козину, Юдину*).

янке Тентексор, Кызыл-Хак, новый Караузень в Северном Прикаспии. Клевцы с цапфами обнаружены при костяках 57 и 108 Хвалынского могильника, в разрушенном погребении из Криволучья и Ивановской стоянке (Оренбургская обл.) хвалынской энеолитической культуры.

Обломок втульчатого зооморфного навершия происходит из поселения Лебежинка IV Средневолжской энеолитической культуры в Самарском Поволжье времени хвалынской культуры (История Самарского Поволжья, 2000, с. 179, 269, рис. 20).

Хронология этих памятников сейчас выстраивается с учетом радиокарбонных дат примерно так. Дата погребений поздней части Мариупольского могильника относится к 56–53 вв. до н. э., по Н. С. Котовой (*Котова,* 2002, с. 95). Дата энеолитической части Никольского могильника азово-днепровской культуры 55–50 вв. до н. э. (*Котова,* 2002, с. 98). Это соответствует времени первой половины – середины Триполья А (55–47 вв. до н. э. по М. Ю. Видейко) (*Відейко,* 2003, с. 111). Дата начала Хвалынской культуры в степном Поволжье приходится на время 50–48 вв. до н. э. (*Агапов, Васильев, Пестрикова*, 1990, с. 86).

Энеолитическая стадия в Предкавказье охватывает широкий диапазон – от времени Нальчикского могильника (50-49 вв. до н. э.) по финал поселений с накольчатой жемчужной керамикой, датируемых (45–39 вв. до н. э.). Последняя дата соответствует позднему энеолиту Южного Кавказа. Дата среднего Триполья фазы BI определяется (48–43 вв. до н. э.). Дата периодов Триполья BIBII (43-40 вв. до н. э.) (*Відейко,* 2003, с. 111). Дата памятников новоданиловского типа в Молдове (Джурджулешти, п. 3) фиксируется между 45 и 43 вв. до н. э. (*Телегин и др.,* 2001, с. 61). При учете их синхронизации с ранней частью культуры Средний Стог – в 45–42 вв. до н. э. (*Телегин и др.,* 2001, с. 128). Ранние энеолитические даты поселения Мешоко сейчас известны в рамках 44–39 вв. до н. э., а Ясеневой Поляны – в 43–39 вв. до н. э. (*Зайцева, Бурова, Семенцов,* 2004, с. 365–367).

Дата слоя 2А Варфоломеевской стоянки определяется в 44–40 вв. до н. э. (*Юдин,* 2004, с. 147). Стоянка Тентексор в Прикаспии синхронизируется со слоем 2А Варфоломеевской стоянки и датируется последней четвертью V тыс. до н.э. (44-40 вв. до н.э.) (4351–3991 ВС). Она соответствует времени формирования прикаспийской культуры, проникновению в северный Прикаспий первых медных орудий (*Юдин,* 2004, с. 176). Керамика стоянки Кызыл Хак I (в 30 км к востоку от крайней восточной протоки Волжской дельты) соотносится с временем позднего энеолита, по П. П. Барынкину (*Барынкин,* 1986, с. 93), и синхронизируется со временем ямной культуры Поволжья, носители которой уже украшали свои сосуды шнуровым орнаментом и наколами – жемчужинами (IV–III тыс. до н. э.).

Булавы шаровидно-грушевидной формы с трапециевидной конфигурацией. К северу от Большого Кавказского хребта одна подобная булава найдена на территории Агубековского поселения (рис. 3: *1*) (*Кричевский, Круглов,* 1941, табл. II: *1*). Булава имеет коническое сверление. Похожая булава происходит из развеянного Ивановского могильника (стоянки?) Оренбургской обл. (*Васильев, Синюк,* 1985, с. 106, табл. 25: *25*; *Богданов,* 2000, с. 16, рис. 1: *5*) (рис. 3: *2*). На булаву нанесен знак. Дата открытого комплекса энеолитических находок Ивановского могильника (*Богданов,* 2000, с. 16, рис. 1: *5*) примерно связана периодом разрушенного комплекса из Криволучья (*Васильев, Синюк,* 1985, с. 106, табл. 25) и времени Хвалынского могильника. Таким образом северо-восточные аналогии ивановского изделия укладываются по крайней мере в первую половину V тыс. до н. э.

Южные аналогии агубековской булавы в круге булав позднего периода нижнего слоя Кюльтепе I тоже датируются в рамках первой половины V тыс. до н. э.

Обломки булав шаровидной формы найдены в слое 2А Варфоломеевской стоянки (рис. 3: *4*) (*Юдин,* 2004, с. 8, рис. 55: *1*) на стоянке Тентексор (рис. 3: *5*) (*Васильев, Выборнов, Козин,* 1986, с. 23, рис. 12) и стоянке Кызыл-Хак (рис. 3: *6*) (*Барынкин,* 1986, с. 83, рис. 3: *9*). Две первые находки по времени тяготеют к позднему энеолиту в рамках второй половины V тыс. до н. э. Отверстия у них напоминают втулку Ивановской булавы. Слой стоянки Кызыл Хак имеет ориентировочную датировку в рамках позднего энеолита Северного Прикаспия (*Барынкин,* 1986, с. 93).

Далее следует отметить две оригинальных вещи. Первая – это навершие булавы из ямы 2Б Никольского могильника мариупольского типа (рис. 3: *3*) (*Телегин,* 1991, рис. 22: *2*; 8: *7*). Булава имеет двухчастное строение. Если ее сориентировать сужающимся конусом отверстия вверх, то верхняя часть будет меньше нижней. Желоб между ними орнаментирован горизонтальным рядом линий. Дата Никольского могильника вторая половина VI тыс. до н.э. Другой экземпляр обнаружен в слое 2А Варфоломеевской стоянки Саратовского степного Заволжья. Булава имеет треугольную в плане форму. Украшена солярным орнаментом вокруг отверстия и желобчатыми кругами вокруг каждого из подостренных окончаний (рис. 3: *7*) (*Юдин,* 2004, с. 81, рис. 55: *2*). Дата булавы: 44–40 вв. до н. э. – время позднего энеолита Кавказа или Триполья BI–BI,II.

Древнейшие формы каменных булав шаровидной формы в центральной Европе известны в единичных экземплярах из культуры Бюкк в Венгрии и группы Желиз КЛЛК (*Титов,* 1980, с. 243, 309, рис. 187). Эти памятники датируются в общих чертах в рамках 53–45 вв. до н. э. с учетом коррекции радиокарбонных дат (*Титов,* 1980), что соответствует в основном времени раннего Триполья. Грушевидной или трапециевидно – грушевидной разновидностей навершй булав обнаружить среди них не удается.

В памятниках энеолита Фракии шаровидные каменные булавы встречаются редко. Они изготовлялись из мрамора и иного красивого камня (*Тодорова,* 1979, с. 41). Так, каменная булава шаровидной формы есть в энеолитическом слое IV поселения Голямо Делчево (средний энеолит, синхронный культурному блоку КГК) (*Тодорова и др.,* 1975, с. 148, табл. 34: *22*).

На бытовых памятниках раннего и среднего этапа культуры Триполья A, BI, BIBII шаровидных булав не зафиксировано, как и в погребениях культуры Гумельница и в Варненском некрополе.

Булавы крестовидные с уплощенной головкой. Заготовка или недоделанная крестовидной булава найдена в Мешоко (рис. 4: *1*)[1] (раскопки А. Д. Столяра, 1964 г., раскоп IV) (*Столяр,* 1964). Булава имеет размер в длину 10,2 см, толщину 3,3 см. Прекрасно отполированная крестовидная булава происходит из раскопок В. В. Хвойко на поселении Веремье среднего этапа Трипольской культуры (рис. 4: *2*) (Археология, 1985, табл. I, рис. 57: *9*; Енциклопедія, 2004, с. 484). Две полированных булавы с четырьмя выступами известны из погребений 8 (рис. 4: *4*) и 31 (рис. 4: *5*) Мариупольского могильника (*Макаренко,* 1933, с. 61, рис. 11: *45*; с. 78, рис. 38: *143*). Одна происходит из погребения могильника Деча Мэрешэлуй погр. 12 (*Dergačev,* 1994, p. 40: *23*; *Телегин и др.,* 2001, с. 80, рис. 32: *4*), в котором обнаружены костяки, лежащие на спине скорчено, с охрой (рис 4: *8*) и на территории могильника (рис. 4: *11*) (*Govedariča,* 2004, tafl. 5: *2*). Эти комплексы связывают с продвинувшимися на запад племенами северо-понтийского энеолита (*Телегин и др.,* 2001, с. 64). Похожие булавы опубликованы из поселения Окна Сибиулуй культуры Тордош или Петрешти (синхронны культуре Гумельница) (рис. 4: *3*) (*Dergačev,* 1998, p. 43: *9*;

[1] Благодарю А. Д. Столяра за любезное разрешение опубликовать его находку.

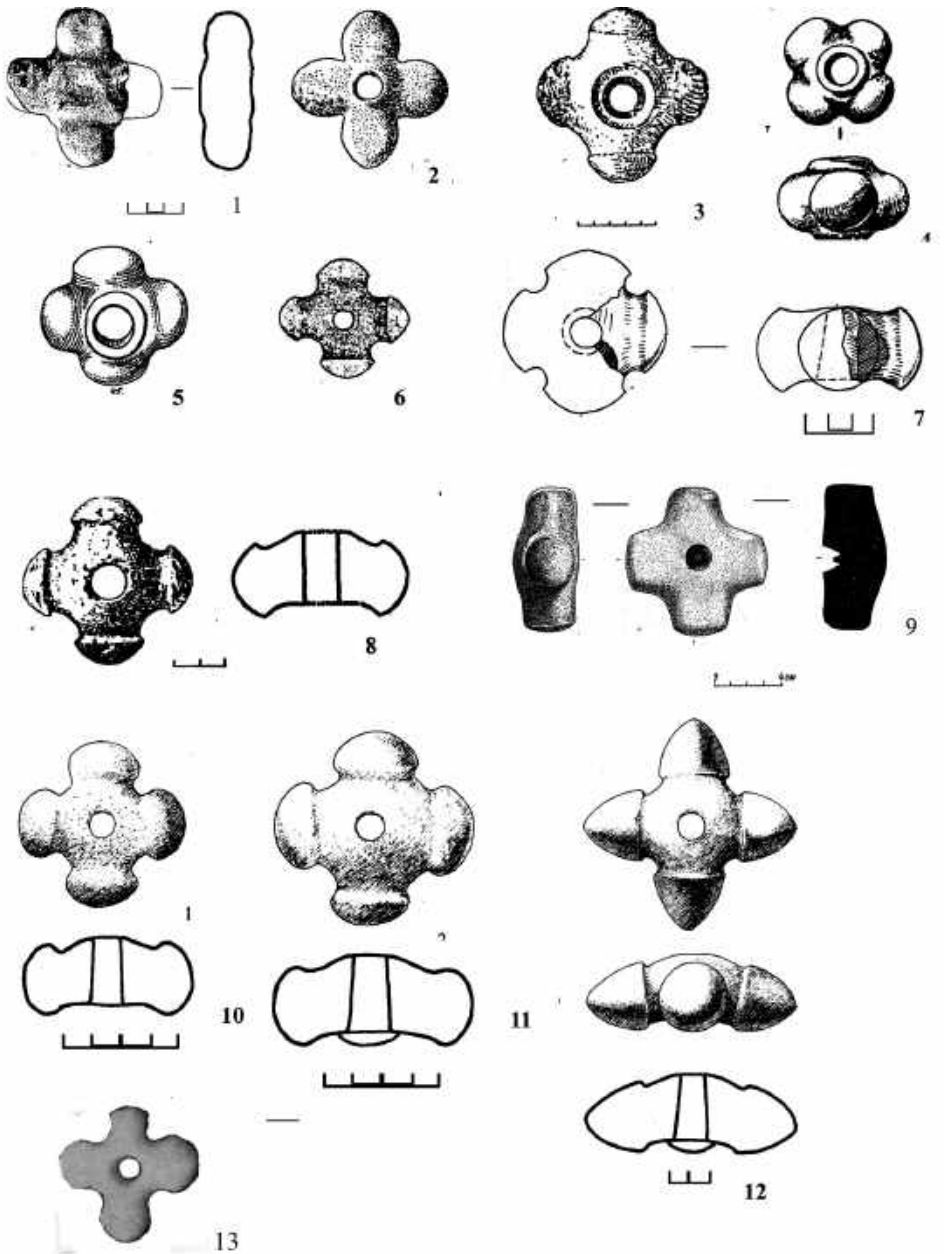


Рис. 4. Крестовидные булавы юга Восточной Европы.
1 – Мешоко; *2* – Веремье; *3* – Окна Сибиулуй; *4* – Мариупольский могильник, погр. 31; *5* – Мариупольский могильник, погр. 8; *6* – Бэрлэшти; *7* – Константиновское поселение; *8* – Деча Мэрешелуй, погр. 12; *9* – Волгоградский музей; *10* – Новоникольский могильник, п. 1, к. 3; *11* – Деча Мэрешелуй (на территории могильника вне комплекса); *12* – Сард; *13* – Хмаджия (по: *Столяру, Дергачеву*, *Govedariča, Шилову, Берчи*).

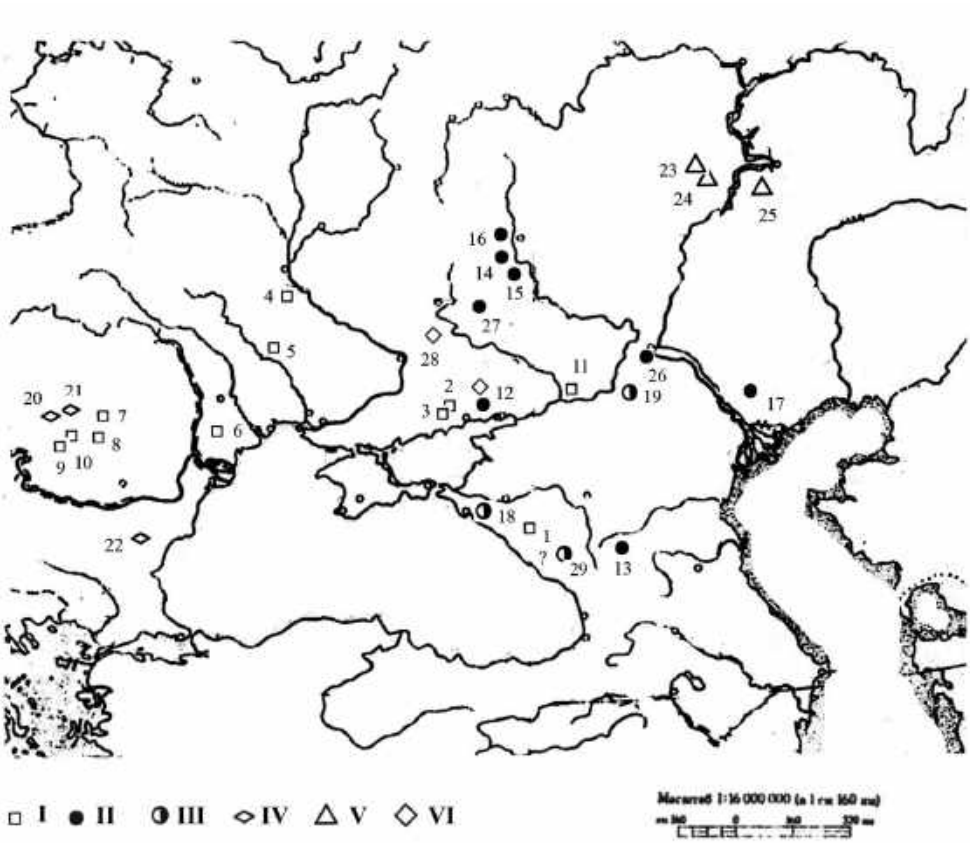


Рис. 5. Ареалы каменных втульчатых топоров, крестовидных, двучастных булав, зооморфных клевцов Восточной Европы.

I – крестовидные булавы; II – двучастные булавы абстрактные; III – двучастные булавы зооморфные; IV – топоры зооморфные; V – клевцы с цапфами; VI – клевцы зооморфные.

1 – Мешоко; *2, 3, 12* – Мариупольский могильник; *4* – Веремье; *5* – Березовская ГЭС; *6* – Бэрлэшти; *7* – Сард; *8* – Ока Сибилуй; *9, 10* – Деча Мэрешелуй; *11* – Константиновское поселение; *13* – хут. Водопадный; *14, 15* – Острогожский музей; *16* – стоянка Копанище; *17* – Тентексор; *18* – с. Чекон; *19* – с. Аксай; *20* – Корнэцел; *21* – Альба Юлия; *22* – Кюлевчи; *23, 24* – Хвалынский могильник; *25* – Ивановская стоянка; *26* – Волгоградский музей; *27* – Сенькове; *28* – Красное; *29* – Ясенева Поляна.

Dictionar.., 1976, p. 435), Бэрлэшти (*Dergačev*, 1998, p. 43, Abb. 12: *8*) (рис. 4: *6*) и в Сад (*Govedariča*, 2004, tafl. 6: *2*). Случайная находка полуфабриката крестовидной булавы происходит из коллекции Волгоградского музея (рис. 4: *9*) (*Шилов,* 1975, с. 94, рис. 45: *7*). Заготовка крестовидной булавы известна из поселения Березовская ГЭС периода Триполья BI (*Манзура,* 2000, с. 266) (рис. 5).

Крестовидный тип булав не имеет широких аналогий ни на Кавказе в эпоху энеолита, кроме предмета из Мешоко, ни в центральной Европе. Это вещь имела хождение в Нижнем Подунавье, Приазовье и Нижнем Поволжье. Место появления ее пока точно не

устанавливается, хотя в литературе за крестовидными булавами укрепилось название булав «мариупольского типа». Интересно, что в некрополе культуры Хамаджия (синхронна культуре Гумельница на побережье Черного моря) найдена подвеска в виде крестовидной булавы, явно говорящая о местном производстве и адаптации этого предмета в символ культа и декора (рис. 4: *13*) (*Berčiu,* 1968, p. 79, fig. 38: *3*). Принимая во внимание высокие традиции обработки камня в энеолитических культурах Подунавья и Триполья, можно предположить их изготовление на широкой территории, от западного Предкавказья до Нижнего Подунавья, включая племена трипольской культуры. Ранее о возможности производства крестовидных булав у трипольцев упоминал И. В. Манзура (2000, с. 266).

В целом же можно допустить гипотезу о том, что булавы крестовидной формы были попыткой усилить ударную мощь оружия. Однако изготовления таких предметов усложнилось за счет большей обточки камня–заготовки. Ареал находок связан с контактной зоной земледельческих и пастушеских культур в степной зоне Восточной Европы.

Время упомянутых выше находок связано со степными племенами, оставившие могилы поздней части Мариупольского могильника (56–53 вв. до н. э. по Котовой) (*Котова,* 2002, с. 95). Далее следует находка из Веремье, конца среднего Триполья BIBII (43–40 вв. до н. э) (*Відейко,* 2003, с. 111) и находка из Мешоко (44–39 вв. до н. э.). Обломок булавы с четырьмя выступами найден в слое Константиновского поселения (рис. 4: *7*) (*Кияшко,* 1994, с. 119, рис. 33: *9*). Вещи из этого памятника, как известно, соотносятся с временем майкопской культуры (IV тыс. до н. э.), но обломок каменного скипетра имеет аналогии в среднем Триполье, как категория скипетров в эпоху раннего периода бронзового века, хотя не исключена вероятность их некоторого запаздывания во времени.

Тип булавы с четырьмя выступами продолжает существовать и средний период бронзового века, о чем свидетельствуют находки в Новоникольском 1 могильнике в Нижнем Поволжье из погребения 3/6 (рис. 4: *10*) (*Шилов,* 1975, с. 8, 10, рис. 5, 7) и на других памятниках.

Булавы двухчастные имеют два овальных выступа спереди и сзади. Выступы с боков обозначены прорезанными линиями. В профиль навершие выгнуто горбом, а снизу – вогнуто. Поверхность булавы тщательно отделана, заполирована. Отверстие просверлено на конус снизу и сужается кверху. Размеры небольшие, около 5–6 см в длину.

Впервые двухчастная булава была найдена в погр. 24 Мариупольского могильника (рис. 6: *1*) (*Макаренко,* 1933, с. 72, рис. 31, табл. XIV: *118*) при костяке, лежащем на спине скорчено. Аналогии ей сейчас образуют устойчивую серию вещей. Обломок такой булавы найден на стоянке Копанищенской I нижнедонской культуры в Воронежской области (*Васильев, Синюк,* 1986, с. 17, 19, табл. 22: *5*). Далее они известны по случайным находкам: две – из коллекции Острогожского музея Воронежской области (рис. 6: *2, 3*) и в Сенькове Артемовского района Харьковской области (рис. 6: 10); одна – из коллекции Волгоградского музея (рис. 6: *5*), одна найдена у хутора Водопадный у г. Пятигорска (рис. 6: 4). Обломок двухчастной булавы найден в Астраханском Заволжье у поселка Новый Караузень, к востоку от дельты (рис. 6: *7*) (*Дубягин и др.,* 1982, с. 103, рис. 9, 10).

Другой интересный обломок втульчатого орудия (рис. 6: *6*), скорей всего, двухчастной булавы или булавовидного навершия, был обнаружен П. А. Дитлером в 1963 г. в энеолитическом слое поселения Ясенева Поляна. Вряд ли то был обломок топора кабардино-пятигорского типа, со свисающим обухом, поскольку такую категорию вещей для того времени еще рано предполагать. Безусловно одно: находка П. А. Дитлера говорит о том, что фигурные навершия из камня могли изготовляться на поселениях с накольчато-жемчужной керамикой Предкавказья (*Дитлер,* 1963).

Хронология двухчастных булав связана с временем нижнедонской культуры и позднейшего пласта погребений Мариупольского могильника, которые включены в сводку захоронений новоданиловской культурной группы (*Телегин и др.*, 2001, с. 71), определяемой сейчас в рамках поздней части среднего Триполья (примерно, 45–40 вв. до н. э.). В эти же хронологические рамки попадает и время энеолитического слоя Ясеневой Поляны.

Втульчатые зооморфные булавы. С рассмотренной серией двухчастных булав сближаются втульчатые зооморфные навершия, найденные у г. Аксай Октябрьского района Волгоградской области (рис. 6: *10*) (*Цуцкин,* 1981, с. 98, рис. 2) и у с. Чекон в Закубанье (музей г. Анапа, Краснодарский край) (*Новичихин, Трифонов,* 2006, с. 80–86, рис. 2) (рис. 6: *9*). Оба предмета обладают выпуклой верхней поверхностью и вогнутой нижней стороной, как двухчастные булавы. Однако один конец у них превращен в морду зверя, второй является тыльной частью. Специально вырезаны надбровные дуги и глаза, обозначены ноздри. Особенно детально поработана морда животного на навершии из с.Чекон. Втулка орудий просверлена на конус с расширением книзу, как у всех двухчастных булав.

Находки этих вещей (рис. 5, 6) позволяет теперь рассматривать двухчастные булавы позднего мариупольского типа тоже как сильно стилизованные и, по сути, абстрактные зооморфные образы. В пользу такой версии может свидетельствовать обозначенные четыре выпуклости на нижней стороне мариупольской булавы, заметные только по фотографии (рис. 6: *1*) (*Макаренко,* 1933, табл. XIV: *118*).

Прототипом стилизованного изображения на зооморфных булавах, скорей всего, является зверь, имеющий «курносый» профиль головы, с поднятым вверх «пятачком». Такой особенностью морды обладает кабан, на что уже указывалось ранее (*Новичихин, Трифонов,* 2006, с. 80–86). Поэтому можно рассматривать образ вепря как весьма значимый для мифологии энеолитических племен, использующих такие зооморфные предметы (в виде типов Аксай-Чекон и двухчастных булав).

Более того, втульчатые зооморфные булавы типа Аксай – Чекон по стилю изображения входят в довольно широкую серию зооморфных «курносых» наверший (топоров, скипетров), включающих как втульчатые, так и невтульчатые изделия.

Втульчатые топоры и зооморфные топоры–навершия. Как известно, в Европе категория втульчатых каменных топоров еще в виде редких находок появляется в эпоху неолита, ранее всего – в культурах дунайского блока Старчево–Кереш–Криш и памятниках линейно ленточной керамики (*Чайлд,* 1952, с. 140). Затем они начинают встречаться постоянно в позднем неолите в культурах древнейших подвижных земледельцев и скотоводов, которые носят общее название КЛЛК (*Титов,* 1980, с. 384), а также в культурах долговременных оседлых земледельцев теллей в Подунавье.

В рассматриваемый период энеолита, определяемый рамками времени Триполья А – Триполье BI–BIBII, каменные топоры получили широкое распространение в культурах дунайских оседлых земледельцев и скотоводов. Отдельные экземпляры тщательно отделывались и полировались. Особенно отличаются качеством выделки топоры культурного блока КГК. Каменные топоры великолепной выделки с рукоятями, покрытыми золотыми накладками, включены в погребальный инвентарь богатейших захоронений Варненского некрополя (могилы 4 и 43) (*Ivanov,* 1988, s. 53, Abb. 23; s. 59, Abb. 29). Такие находки линий раз показывают, что каменный топор у племен Подунавья стал оружием высокого социального престижа.

Другие находки иллюстрируют связь каменного топора с культовой сферой и превращения его зооморфного навершия. Так, например, в Подунавье на территории Румынии

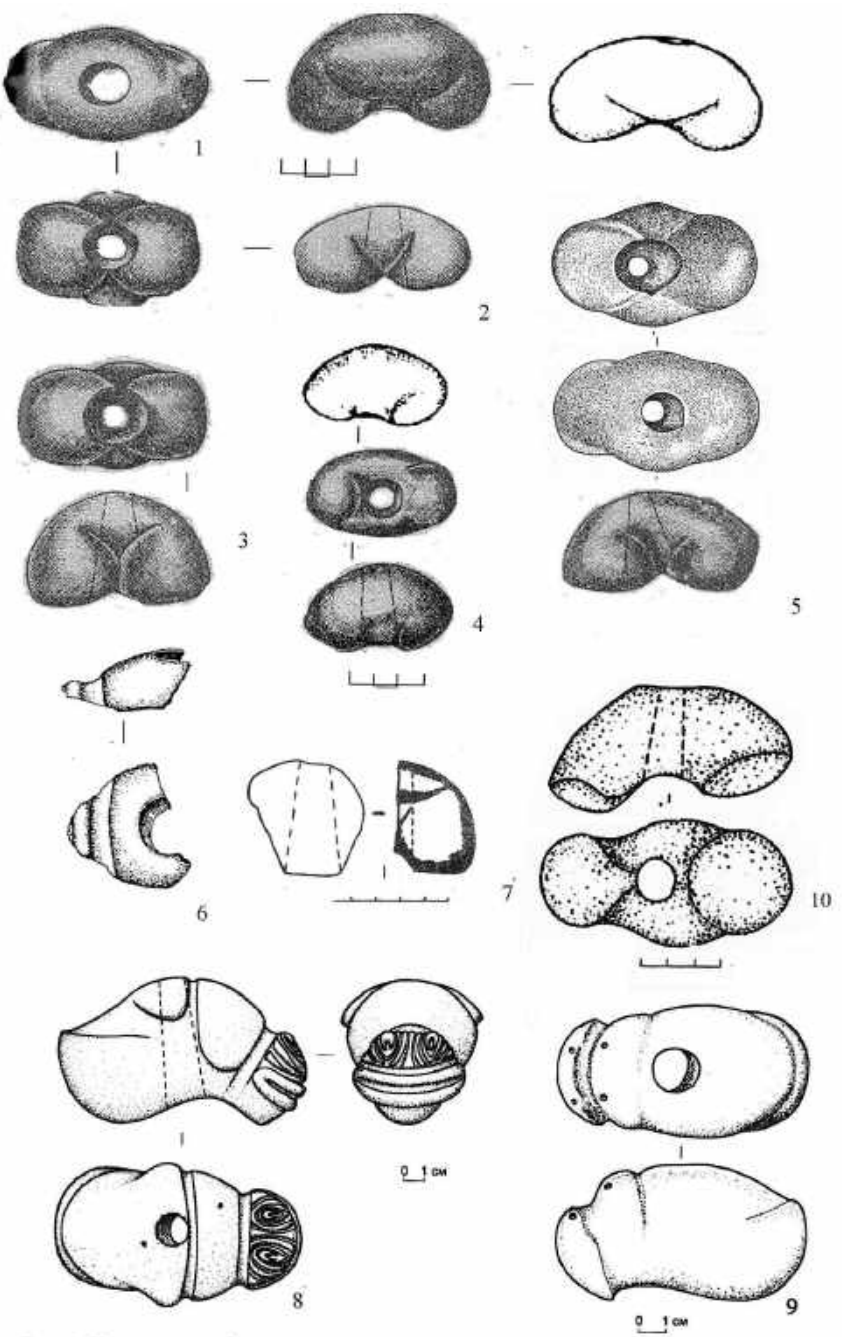


Рис. 6. Двучастные булавы.

1 – Мариупольский могильник, погр. 24; *2, 3* – Острогожский музей; *4* – хутор Водопадный; *5* – Волгоградский музей; *6* – Ясенева Поляна; *7* – Новый Караузень; *8* – с. Чекон; *9* – Аксай; *10* – Сенькове (по: *Макаренко, Васильеву, Синюку, Новочихину, Трифонову, Цуцкину, Дитлеру, Дубягину и др., Черныху*).

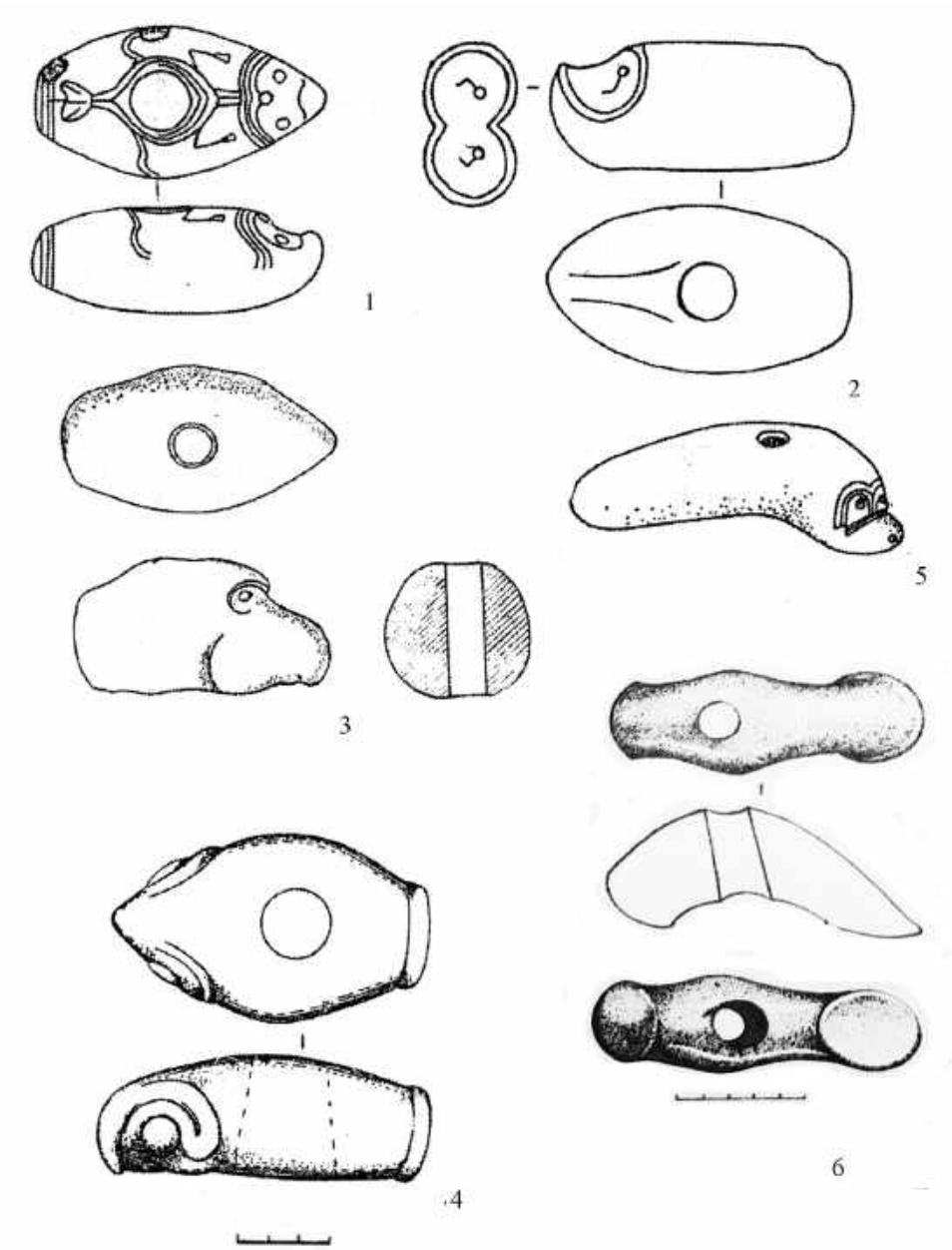


Рис. 7. Зооморфные топоры и клевцы.
1 – Корнэцел, *2* – Альба Юлия, *3* – Кюлевчи, *4* – Дагестан, *5* – Мариуполь, *6* – с. Красное (по: *Дергачеву, Дагниленко, Васильеву, Синюку, Черныху*)

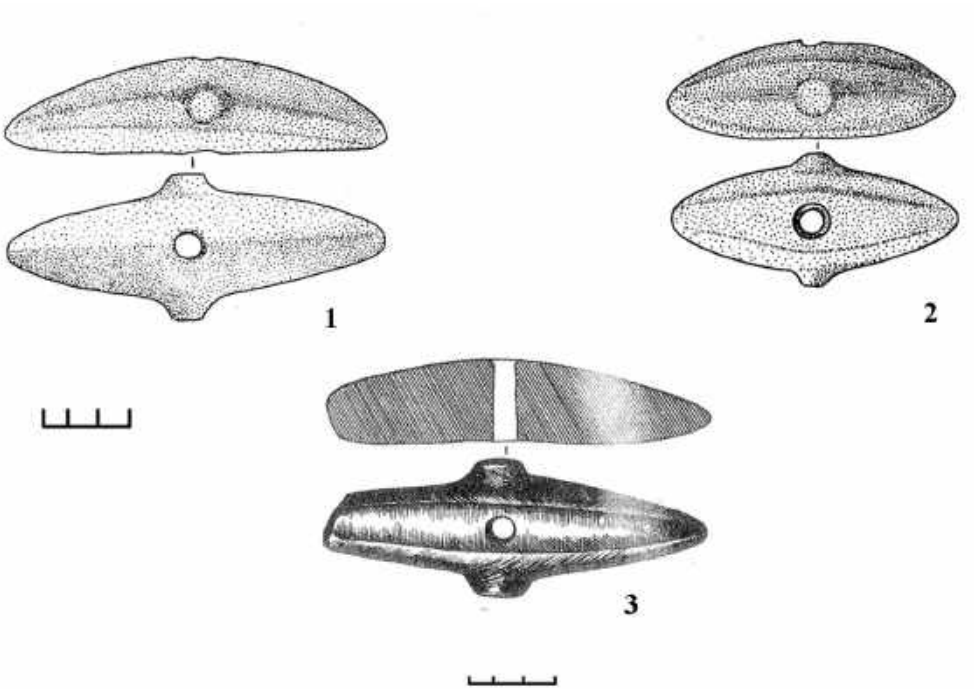


Рис. 8. Клевцы с цапфами.
1 – Хвалынский могильник, погр. 108; *2* – Хвалынский могильник, погр. 57; *3* – Криволучье.

найдены два втульчатых каменных зооморфных топора. Оба передают тип «курносого» зверя. Один найден в местечке Корнэцел (рис. 7: *1*), другой - близь г. Альба Юлия (рис. 7: *2*) (*Дергачев,* 2005, с. 97, рис. 48: *1, 2*). Зооморфные топоры также известны и энеолитического погребения в Кюлевчи (рис. 7: *5*) (*Дергачев,* 2005, с. 97, рис. 48: *3*) и по случайной находке из Дагестана (рис. 7: *4*) (*Дергачев,* 2005, с. 97, рис. 48: *4*).

В. А. Дергачев приводит в этой серии еще одну случайную находку каменного топора с зооморфными чертами из Дагестана (*Дергачев,* 2005, с. 97, рис. 48: *4*). На изделии изображены, вероятно, выпуклины–глаза и брови–дуги. Но это, конечно, не однозначное определение. Датировать топор из Дагестана именно эпохой энеолита проблематично в силу ограниченности аналогий этому стилю декора.

Навершия зооморфные, втульчатые, клевцеобразные. Навершие с набором именно энеолитических признаков орнаментации морды зверя известно по случайной находке у г. Мариуполя (рис. 7: *5*) (*Даниленко,* 1974, рис. 69: *1*; *Дергачев,* 2005, с. 97, рис. 48: *5*). Обушная часть предмета оформлена в виде животного, для которого типичен нависающий крутой лоб и клювовидная носовая часть. Брови или глазницы обведены двойными линями как на зооморфных черенковых скипетрах (например, из Касимча) (*Дергачев,* 2005, рис. 20: *13*). Поэтому отнесение находки из-под Мариуполя к предметам рассматриваемой эпохи выглядит правомерно. Прототипом изображения, как и топора из Кюлевчи, мог быть дельфин или некий фантастический персонаж, близкий к прототипу зооморфных черенковых скипетров.

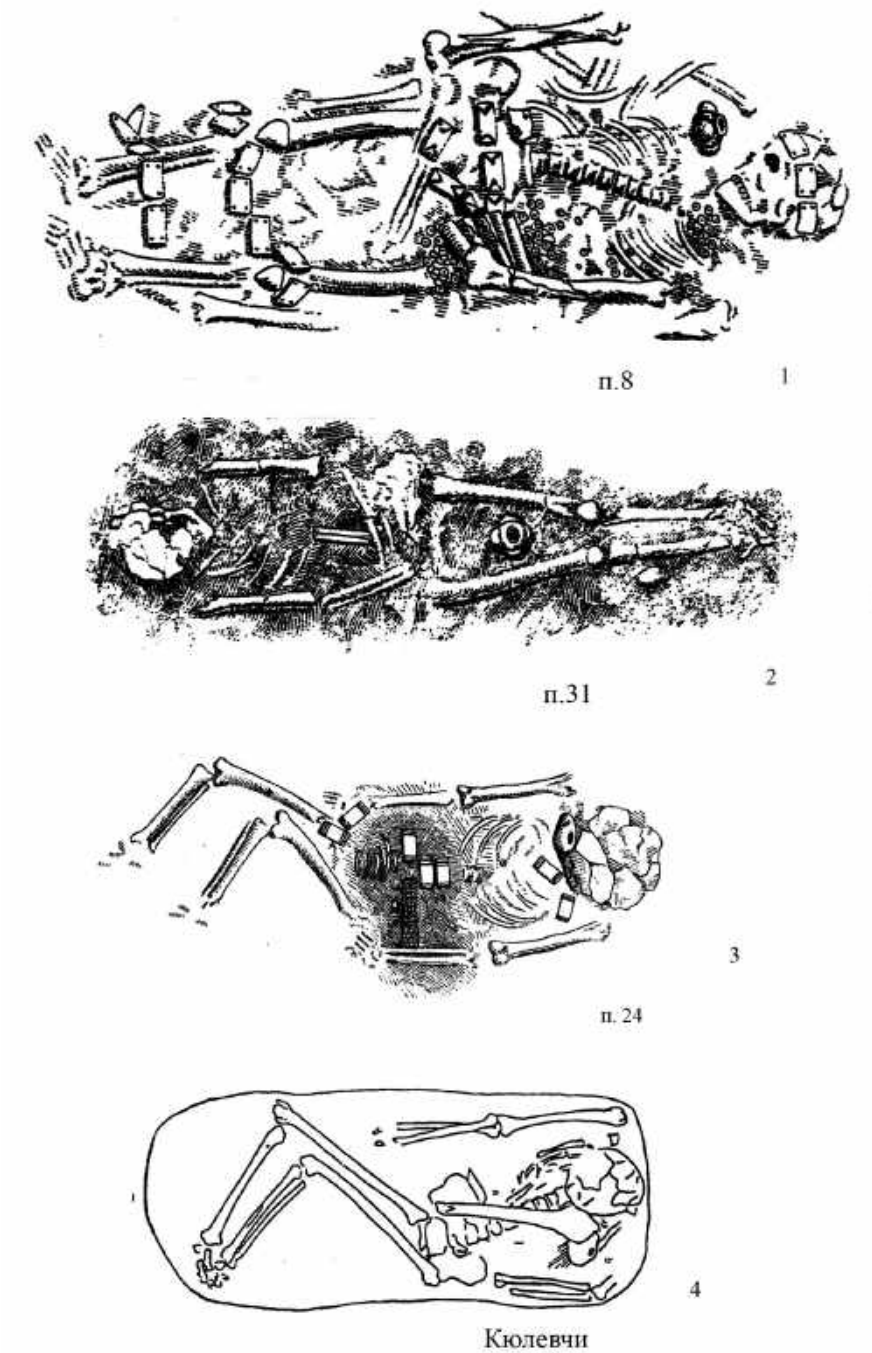


Рис. 9. Погребения с каменными булавами и топором.
1–3 – Мариупольский могильник (*1* – погр. 8; *2* – погр. 31; *3* – погр. 24); *4* – Кюлевчи (по: *Макаренко, Govedariča*).

Другой каменный клевец найден у с. Красное (Артемовский район Донецкой обл.) (рис. 7: *б*) (*Черных,* 2006, с. 62, рис. 2). Его аналогии есть среди костяных клевцов из энеолитических комплексов новоданиловского типа (наиболее близкая – Ворошиловград), как уже отметила Е. В.Черных. Орудие из с. Красное напоминает то ли клюв водоплавающей птицы, то ли копыто. Еще одна аналогия связана с могильником Варна (*Ivanov,* 1988, s. 221, Abb. 152).

Клевцы с цапфами. Три экземпляра таких орудий найдено в Самарском Поволжье. Два происходят из Хвалынского могильника. Они находились при костяках 108 (рис. 8: *1*) и 57 (рис. 8: *2*) (*Агапов, Васильев, Пестрикова,* 1990, с. 44, 120, рис. 24: *1, 3*). Клевец из погребения 108 имеет в длину 12,8 см. Отверстие просверлено со стороны брюшка и сужается кверху, размером 1,4 × 0,9 см. Клевец из погребения 57 имеет длину 9,7 см, втулку одностороннего сверления с отверстиями размером 1,2 и 1 см. Третий клевец происходит из разрушенного погребения в Криволучье (рис. 8: *3*). Длина орудия в длину составляет 12,2 см. Втулка одностороннего сверления со стороны брюшка. Размеры отверстий 1,2 и 1 см (*Васильев, Синюк,* 1985, с. 106, табл. 25: *3*). Клевец с цапфами, судя по этнологическим примерам – ярко выраженное боевое оружие у воинственных племен горной Новой Гвинеи (*Мартынов,* 1979). Но упомянутые выше находки из Поволжья более напоминают вотивные предметы из-за своих небольших размеров.1

Выводы

Южный Кавказ. Появление каменных втульчатых орудий на Южном Кавказе относится к эпохе нео/энеолита и связывается с культурой шулавери-шомутепе. Интересно отметить, что именно здесь можно наблюдать самые ранние попытки на Кавказе сделать втульчатое оружие, сохраняя традиционный боковой перехват, как у каменных молотов. Манера сверления самых ранних втульчатых изделий на Кавказе двусторонняя, наиболее архаичная.

Исследуемый материал на Южном Кавказе отражает распространение в междуречье Куры и Аракса в основном в эпоху культуры шулавери-шомутепе и позднего энеолита многочисленных булав с шаровидно-грушевидной головкой. Они найдены на поселениях и дважды в погребениях энеолитического могильника в нижнем слое Кюльтепе I. Это иллюстрирует начало процессов проникновения специального оружия с высокими престижными качествами в канон погребального обряда. Примечательно, что такое явление происходит на фоне существующих даро-обменных отношений, связанных с импортными предметами или полудрагоценными камнями, включая агат и бирюзу. Так, в погребениях с булавами бусы из бирюзы найдены в погребении 35 могильника Кюльтепе I, а в погребении 71 – импортный сосуд с росписью (*Нариманов,* 1982, с. 40, 47).

Категория втульчатых топоров прослеживается слабо, и для рассматриваемой эпохи плохо документируется. Но находки этих орудий в энеолитическом слое Кюльтепе 1 и на поселении Техут (Армения) позволяют констатировать для Южного Кавказа свой путь типообразования этой разновидности топоров с коротким округлым обухом уже в позднем энеолите, отличный от европейской традиции каменных топоров с длинным трапециевидным, угловатым обухом того же времени (в культурах Бюкк, группе Желиз, КЛЛК

[1] Возможно, это были вещи погребального обряда, копирующие более крупные прототипы.

Подунавья). Примеры попадания каменных втульчатых топоров в погребения энеолита Кавказа неизвестны. Здесь пальма первенства включения каменного топора (как и топора вообще) в погребальный инвентарь принадлежит населению Центральной Европы и Подунавья.

Предкавказье и степная зона Восточной Европы от Урало-Поволжского района до Нижнего Подунавья имеет свои особенности в сложении рассматриваемых категорий втульчатых орудий. Категории каменных молотов, втульчатых каменных топоров в памятниках восточноевропейской ориентации в это время не прослеживаются. Ареал этих орудий полностью еще связан с культурами дунайской и центральноевропейской ориентации.

Другие втульчатые орудия Предкавказья представлены булавами шаровидно - грушевидной формы, которые изредка встречаются на поселениях центрального части региона (Агубеково) и в памятниках степного Заволжья. Оригинальна вещь из ямы 2Б Никольского могильника.

В отличие от Южного Кавказа в степной зоне Восточной Европы получили распространение крестовидные булавы. Они встречены в Западном Предкавказье (Мешоко), дважды – в погребениях Мариупольского могильника (п. 8, 31), на поселении Веремье времени конца среднего Триполья, а также трижды в нижнем Подунавье.

Двухчастные булавы оригинальны для Приазовья, среднего Дона (нижнедонская культура, среднестоговская культура и её новаданиловский типа памятников), а также Предкавказья (хут. Водопадный, вероятно, Ясенева Поляна). Но они неизвестны ни на Южном Кавказе, ни у племен культур оседлых земледельцев культур дунайской ориентации (рис. 5). Эксклюзивными изделиями для рассматриваемой территории являются втульчатые клевцы Хвалынского могильника и Криволучья Среднего Поволжья (рис. 5).

Весь изложенный выше материал отражает стремление родо–племенных умельцев неолита и энеолита создать в камне втульчатые типы специального оружия, какими являлись булавы, клевцы с цапфами и топоры. Именно эти три категории изделий обозначили ранний период военизации древних обществ. Особенность этого этапа военизации заключалась в том, что он был универсальным для населения Старого и Нового Света. Большую роль при этом играло оружие из камня, кости и дерева. Лишь на некоторых территориях в культурах Подунавья могло использоваться оружие ударного действия из меди. Однако его формы еще в основном повторяли оружие из камня, как например, медные топоры – клевцы или медные чеканы, медные молоты.

В степной зоне Восточной Европы сведения о вооружении немногочисленны. В целом военизация рассматриваемого периода еще не знала клинкового оружия из металла и рубящего топора с широким лезвием из бронзы, наподобие топоров майкопской культуры. Лишь в культуре лейлатепе появляются древнейшие формы кинжалов на медной основе, но это уже время раннего бронзового века.

Войны рассматриваемого периода скорей всего носили первобытный характер, который определялся культовыми причинами, стычками из-за территориальных споров, кровной местью конфликтами из-за женщин, а также иными причинами. В отечественной литературе обзор подобных первобытных войн провел В. А. Шнирельман (*Шнирельман,* 1994, с. 53–57). Судя по его очерку, существует большая сложность соотнести этнологические сведения о войнах догосударственного общества с археологическими источниками. Последняя тема требует специальной методики и разработки. Сейчас лишь можно наметить общие характеристики «баталий» энеолитического времени.

Основным типом военных действий был пеший бой (точнее, бой без лошади, знающей жесткую систему узды). Для боя на дальней дистанции[1] использовался лук и стрелы, дротик. Крупные наконечники стрел, известные по комплексам из захоронений новоданиловского типа, культуры Варна и поселений с накольчато-жемчужной керамикой Предкавказья, позволяют предполагать, что такой лук был большим, крупным почти в рост человека (как, например, у населения Горной Новой Гвинеи – см.: *Мартынов,* 1979; *Hagen/Goroka,* 1983, p. 40). Боезапас состоял из нескольких стрел, которые носили в руке. Возможно, конечно, при этом и существование небольшого лука с более легкими стрелами. В военных действиях лук активно использовался при фронтальном столкновении или нападении из засады. В горной зоне Южного Кавказа фиксируются также крупные наконечники стрел или дротиков (*Джапаридзе,* 1989, с. 358, рис. 143; с. 359, 144). Судя по находкам пращевых камней на поселении Беюк Кесик (*Мусеибли,* 2007), на равнинах Южного Кавказа была известна праща. Но о типах луков Закавказья того времени судить сложно, в связи с недостаточностью источников.

Бой на средней дистанции мог вестись при помощи копья и дротика. Копья, по данным исторической этнологии, в начале военных действий могли метать, не доводя сражения до рукопашной схватки. Так, например, вели себя в сражениях племена Южной Африки мтетва, зулусы до военной реформы Чаки (*Puttmep,* 1989). Правда, по археологическим данным, для этого времени в рассматриваемых регионах мы не знаем ни специальных типов боевых луков ни копий. Надо полагать, что формы такого оружия оставались еще в рамках военно-охотничьего снаряжения.

Оружие ближнего боя или рукопашной схватки могло включать деревянную палицу, палицу из кости, клевец из камня или кости, каменный топор-тесло, кинжал из камня или кости, хорошо известные по примерам вооружения индейцев Северной Америки времени местного нео/энеолита (*Котенко,* 1997). По находкам из Предкавказья (Замок) (*Кореневский,* 1998, с. 137, рис. 19: *7, 8*) и Молдовы (Джурджулешти, погр. 4) (*Govedarič a,* 2004, Tafl. 14) возможно предполагать использование меча на костяной основе с кремневыми вставками – прообраза бронзового меча будущей майкопской культуры. По сути, это оружие было близко палице с обсидиановыми вставками воинов инков и майя.

Но наиболее значимым становится развитие оружия ударного действия, среди которого обозначили свое появление (в добавление к деревянной дубинке) булава с каменным навершием, а на Южном Кавказе – каменный втульчатый топор. Использование этих типов ударного оружия предполагало с одной стороны расширение ассортимента оружия, направленного на нанесение им оглушающего удара прежде всего по голове противника, а с другой стороны, подчеркивало знаковую роль его владельца как лидера.

С точки зрения «археологического анализа», можно отметить, что производство каменных втульчатых молотов, булав, топоров, породило специализацию умельцев оружейников. Судя по находкам – заготовкам, обломкам булав шаровидно-грушевидной формы, их производство было налажено на Южном Кавказе, в Центральном Предкавказье. Оно шло в степях Заволжья. Ареал крестовидных форм булав указывает на их возможное изготовление от Западного Предкавказья, степей Нижнего Поволжья до Нижнего Подунавья и Среднего Поднепровья. Ареал производства двухчастных булав мариупольского типа и зооморфных булав типа Чекон-Аксай, вероятно, охватил доно-волжский район, включая западное и центральное Предкавказье. Производство клевцов с цапфами полностью укладывается в ареал хвалынской культуры Среднего Поволжья.

---

[1] Типология боевых действий, боя на дальней, средней и короткой дистанции дана по Я. Ядину (*Yadin,*1963)

В эпоху энеолита древнейшие формы ручного ударного оружия начинают приобретать зооморфные черты. Причем это явление типично прежде всего для Нижнего Подунавья, степей Северного Причерноморья и Предкавказья. В качестве прототипов таких поделок можно предполагать образ дельфина (клевец из Мариуполя, топор из Кюлевчи). Древний художник-резчик по камню копировал крутой нависающий над носовой частью лоб. Очень показательны двухчастные булавы Подонья и Предкавказья. Две из них, находки с. Чекон (рис. 6: *8*) и Аксай (рис. 6: *9*), имитируют курносую голову с мордой зверя, завершающейся округлым носом – «пятачком», по всей вероятности, кабана. Форма двухчастной булавы мариупольского типа совершенно не типична для рассматриваемой категории, которая всегда стремилась к симметричности, обрастала выступами или ребрами. Поэтому форма двухчастной булавы может быть рассмотрена как абстрактное и крайне схематизированное изображение того же «курносого зверя».

И, наконец, две интересные формы «курносых» изображений происходят из Румынии: находки топоров из Альба Юлия и Корнэцел. Они очень близки до деталей, но на топоре из Корнэцел мы видим изображенного фантастического зверя. Он обладает курносой трехглазой головой, разновеликими лапами с перепонками или ластами(?) на концах. Передние лапы меньше задних, как у лягушки. Хвост поставлен горизонтально, как у дельфина. В итоге получается монстр водной стихии со стилизованной кабаньей курносой головой, лапами земноводной лягушки и хвостом дельфина. Он очень напоминает древнегреческого драгонкампа (дракона-гусеницы), образ которого во многом схож с мифическим гиппокампом. Иными словами, это древнейшее изображение волшебного дракона или ящера.

Дракон или ящер в мифологии древних европейцев – очень значимая фигура. В известном мифе о Персее морской змей-дракон, представитель загробного мира и водной стихии царства Посейдона, стремиться овладеть женщиной – жертвой, символизирующей умирающую природу (Персефона), которую спасает герой Персей (этот подвиг можно рассматривать как акт во имя возрождения природы). Аналогии этому мифу есть и в славянских волшебных сказках в собрании А. Н. Афанасьева (Комментарии к сказке на сюжет о молодильных яблоках или победителе змея) (Народные.., 1984, с. 500).

Таким образом, мы видим, как ранние типы специального оружия подвергаются переработке с добавлением деталей форм реальных или мифологических зверей, отмечая связь военной и сакральной функции оружия. Важно подчеркнуть, что подобная ситуация наблюдается именно у носителей погребальных обрядов «протоямных» племен, времени новоданиловского типа Среднестоговской культуры (погребения в Кюлевчи и погр. 24 в Мариупольском могильнике).

Находки сломанных булав и заготовок на поселениях степной зоны ставят вопрос о том, что место производства этих каменных предметов, видимо, не может определяться только на основании наличия или отсутствия подходящей породы камня в данном регионе. Такое положение автоматически порождает предположение об даро–обменных связях по распространению необходимого для изготовления подобных орудий сырья или миграций кланов умельцев, знавших способы его обработки.

Погребальная практика энеолитических племен Кавказа и Северного Причерноморья начала еще довольно скромно, включать упомянутые выше категории в свои каноны. Находки погребений с булавами немногочисленны. В могильнике Кюльтепе 1 шаровидно грушевидные булавы найдены только в двух погребениях (35 и 71). Оба относятся к инвентарным захоронениям. Они содержат престижные украшения и другие вещи, хотя не выделяются особо из серии таких же инвентарных захоронений могильника. То же

самое можно отметить по трем другим погребениям Мариупольского могильника (8, 24, 31). Одно из них – погр. 31 – вообще обеднено инвентарем. К инвентарным захоронениям принадлежат костяки из 57 и 108 погр. Хвалынского могильника, но особо от других захоронений они не отличаются.

Все найденные в упомянутых захоронениях вещи отличает качественная полировка, подчеркивая высокую престижность изделий.

Следует отметить, что «военные лидеры», отправляемые в мир иной с каменными булавами, никак особо не выделялись погребальной практикой на родовых коллективных кладбищах (рис. 9).

Необходимо также подчеркнуть, что малочисленные захоронения с булавами и клевцами не отражают присутствия в могилах и орудий труда, как например плоских топоров. Более того, ни одна булава не найдена в инвентаре древнейших подкурганных погребений степной зоны Предкавказья и Восточной Европы. Косвенно это указывает, что символы военной власти еще не были столь значимы для нарождающейся новой военной психологии и воинской обрядности, сопряженной с сооружением индивидуальной могилы под курганной насыпью или без нее. Может быть, они просто не допускались в канон и рассматривались как «нечистые».

В культурах оседлых земледельцев дунайской ориентации (Варна, погр. 43) в рассматриваемый период, наоборот, каменные боевые топоры включаются в погребальную практику. Их помещают в могилы в комплексе с орудиями труда, отражая особую модель в мифологическом мировоззрении людей, комбинирующих престиж военного дела и трудовых операций по деревообработке.

Более того, украшение золотом оружия ударного действия каменного (как например, медного топора и молота в могильнике Варна), включение их в богатейшие наборы вещей с золотыми изделиями позволяет предполагать, что на высокий престиж подобных орудий могли оказывать влияния свои факторы земной жизни. Первый был связан с тем, что подвиг – победа в рукопашном поединке, по этнологическим данным, рассматривался как более значимый и высоко престижный. Это – общее правило, по данным исторической этнографии (*Котенко,* 1997, с. 79; *Аверкиева,* 1974, с. 312, 313). Вторая причина могла заключаться в особой магии просверленного камня, как изделия угодного богам.

Ареалы рассмотренных специальных типов оружия обозначают сложение в энеолите особых центров или региональных зон его распространения. В их рамках разворачивались специфические театры военных действий.[1] В пределах таких театров шло производство и развитие инструментов войны. Например, одну такую зону представлял Южный Кавказ, междуречье Куры и Аракса. Другая огромная зона охватила степи Восточной Европы, включая Предкавказье.[2]

Третий, особый, регион военных действий со своим путем развития оружия был связан с ареалом оседлых земледельцев культур дунайской ориентации. В исследуемое вре-

[1] Образное понятие «театр военных действий» характеризуется ландшафтными условиями (горы, предгорья, степь, море и тому подобное), технической оснащенностью и средствами мобильности сталкивающихся сторон, наиболее показательными для них типами вооружения, технологиями его изготовления, манерами ведения сражений. Театры военных действий часто совмещены с трассами дарообмена в догосударственный период, а позже – торговли. Вооруженные контакты воюющих сторон разных театров военных действий способствовали интенсивному распространению эффектных типов оружия, отставание в освоении которого всегда было опасно.

[2] Остальные возможные типы театров военных действий на Кавказе в это время мы не упоминаем, в связи с тем, что исследуемых форм изделий там не обнаружено. Более полная характеристика вооружения племен энеолита на рассматриваемых территориях является темой уже иного и особого исследования.

мя он выделялся широким распространением каменных втульчатых, костяных и плоских топоров из меди. Эти изделия даже включались в состав кладов (Карбуна). Производство каменных топоров на границе со степными племенами восточноевропейской ориентации было налажено, например, племенами культуры Гумельница (*Субботин,* 1988).

Общим с дунайской зоной военных действий для культур восточноевропейской ориентации (нижнедонской, среднестоговской культуры и ее новоданиловской группы, культуры накольчато-жемчужной керамики Предкавказья) стал наиболее эффектный в военном отношении тип крестовидных булав. В погребальную практику он попал, прежде всего, у населения степной восточноевропейской ориентации (нижнедонская, новоданиловская группы эпохи энеолита).

Появление втульчатых зооморфных скипетров в энеолите на рассматриваемой территории, как и невтульчатых представителей этой категории вещей, акцентировало развитие символов особой «духовной власти», ее ассоциативные связи с зооморфными образами богов (тотемов?) и со стилизацией (вплоть до абстрактной трактовки) мифических существ и божеств. Идеи этого символизма затронули категорию булав и топоров, превращая их в комбинированные знаки не только военного, но, возможно, и культового лидерства.

Литература

Абибулаев О. А. Энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССР. Баку, 1982.

Аверкиева Ю. П. Индейцы Северной Америки. М., 1974.

Агапов С. А., Васильев И. Б., Пестрикова В. И. Хвалынский энеолитический могильник. Куйбышев, 1990.

Археология Украинской ССР. Киев, 1985. Т. 1.

Барынкин П. П. Кызыл-Хак I – новый памятник позднего энеолита северного Прикаспия // Древние культуры северного Прикаспия. Куйбышев, 1986.

Богданов С. В. Проблемы формирования древнейших курганных культур востока южнорусских степей // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала. Орск, 2000.

Васильев И. Б., Выборнов А. А., Козин Е. В. Позднеэнеолитическая стоянка Тентексор в Северном Прикаспии // Древние культуры северного Прикаспия. Куйбышев, 1986.

Васильев И. Б. Синюк А. Т. Энеолит Восточно-Европейской степи, Куйбышев, 1985.

Відейко М. Ю. Нова хронологія кукутені – трипілля // Трипільсіка цивілізація у спадщині України. Київ, 2003.

Відейко М. Ю. Абсолютне датування трипільскоп культури // Енциклопедія трипільськоп цивілізаціп. Т. 1. Киев, 2004.

Даниленко В. Н. Энеолит Украины. Киев,1974.

Дергачев В. А. О скипетрах. Этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас // Revista archeologică. Seria nouvă. Vol. 1. Nr 2. Chişinău,2005.

Дитлер П. А. Отчет археологической экспедиции Адыгейского научно-исследовательского института, проведенной в июле 1963 г. П. А. Дитлером и продолженной в августе с участием А. А. Формозова на энеолитическом поселении Ясенева Поляна в Лабинском районе Краснодарского края. Архив ИА АН РАН. Р-1, № 2783. 1963.

Джапаридзе О. М. На заре этнокультурной истории Кавказа. Тбилиси, 1989.

Дубягин П. С., Чиркизов Ф. Д., Чуринов В. А., Васильев И. Б., Выборнов А. А. Новые материалы неолита-бронзы из северного Прикаспия // Волго-Уральская степь и лесостепь в эпоху раннего металла. Куйбышев, 1982

Енциклопедія трипільської цивілізації. Киев 2004.

Зайцева Г. И., Бурова Н. Д., Семенцова А. А. Первые радиоуглеродные даты поселения Мешоко // Невский археологический сборник. СПб., 2004.

История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Каменный век. Самара, 2000.

Кавтарадзе Г. Л. К хронологии эпохи энеолита и бронзы Грузии. Тбилиси, 1983.

Кигурадзе Т. В. Периодизация раннеземледельческой культуры Восточного Закавказья. Т. 29. № 2. Тбилиси, 1976.

Кияшко В. Я. Между камнем и бронзой // Донские древности. Вып. 3. Азов, 1994.

Кореневский С. Н. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М., 1990.

Кореневский С. Н. Поселение «Замок» у города Кисловодска (нижний слой) // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. 1. Археология. Ставрополь, 1998.

Кореневский С. Н. Ориентация культур древнейших земледельцев и скотоводов эпох энеолита – раннего бронзового века Кавказа и Подунавья в системе схемы Блитта-Сернандера // Древности Кавказа и Ближнего Востока. Махачкала, 2005. С. 67-119.

Кричевский Е. Ю., А. П. Круглов. Неолитическое поселение близ г. Нальчика // МИА. Т. 3. 1941.

Котенко Ю. В. Индейцы великих равнин. Оружие, воинская магия, боевое искусство, битвы. М., 1997.

Котова Н. С. Неолитизация Украины. Луганск, 2002.

Котова Н. С. Ранний энеолит степного Поднепровья и Причерноморья. Луганск, 2006.

Куфтин Б. А. Археологическая маршрутная экспедиция 1945 г. в Юго-Осетию и Имеретию. Тбилиси, 1949.

Макаренко М. О. Маріюпольский могильник. Киев, 1933.

Манзура И. В. Владеющие скипетрами // Strutum. Вып. 2. Кишинев, 2000.

Мартиросян А. А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван, 1964.

Мартынов Л. Не такие страшные кукукуку // Вокруг Света. 1979. № 10, октябрь.

Массон В. М. Первые цивилизации. Л., 1989.

Мусеибли Н. Энеолитическое поселение Беюк Кесик. Баку, 2007.

Нариманов И. Г. Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана. Баку, 1987.

Нариманов И. Г., Ахундов Т. И., Алиев Н. Г. Лейлатепе. Баку, 2007.

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. М., 1984.

Новичихин А. М., Трифонов В. А. Зооморфное навершие из Анапского музея // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2006. Вып. 2 (26).

Риттер Э. А. Зулус Чака. Возвышение зулусской империи. М. 1989.

Спиридонова Е. А., Алешинская А. С. Периодизация неолита–энеолита европейской России по данным палинологического анализа // РА. 1999. № 1.

Столяр А. Д. Отчет о работах Северокавказской экспедиции государственного Эрмитажа и Адыгейского научно-исследовательского института языка, литературы и истории в 1964 г. Архив ИАРАН № 2973. 1964.

Субботин Л. В. Памятники культуры Гумельница юго-запада Украины. Киев, 1983.

Телегин Д. Я. Неолитические могильники Мариупольского типа. Киев, 1991.

Телегин Д. Я., Нечитайло А. Л., Потехина И. Д., Панченко Ю. В. Среднестоговская и новоданиловская культуры энеолита азово-черноморского региона. Луганск, 2001.

Титов В. С. Археология Венгрии. М., 1980.

Тодорова Г. Энеолит Болгарии. София, 1979.

Тодорова Х., Васильев Ст., Васильев В., Хопф М., Квита Х., Кол. Г. Селищната могила при Голямо Делчево // Разкопки и проучвания. Т. V. София, 1975.

Торосян Р. А. Раннеземледельческое поселение Техута (IV тыс. до н.э.). Ереван, 1974.

Ханзадян Э. В. Культура Армянского нагорья в III тыс. до н.э. Ереван, 1967 (на армян. яз.).

Цуцкин Е. В. Каменное зооморфное навершие, найденное у с. Аксай Волгоградской области // Археологические памятники Калмыкии эпохи бронзы и средневековья. Элиста, 1981.

Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации. М., 1952.

Черных Е. В. По одну форму специфичных каменных навершіп доби энеолиту // Матеріали та досліження зархеологіп східної Украпни. Луганск, 2006.

Шилов В. П. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья Л., 1975.
Шнирельман В. А. У истоков войны и мира // Война и мир в ранней истории человечества. М., 1994.
Юдин А. И. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. Саратов, 2004.

Berčiu D. Cultura Hamangia. Bucuresti, 1966.
Dergačev V. A. Kulturelle und historische Entwicklungen im Raum zwischen Karpaten und Dnepr. Zu den Beziehungen zwishen frühen Gesellschaften im nördlichen Südost und Osteuropa // Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe. Südosteuropa – Schriften. Bd 20. Prähistorisce Archäologie in Südosteuropa. Bd 12. Muhchen – Rahden /Westf., 1998.
Dictionar de Istorie veche a Rovâniei. 1976, Bucureşti, 1976.
Govedariča B. Zepterträger – herrscher der Steppen. Vunz am Rhein, 2004.
Hagen/Goroka M. Higland Show // Expedition. Vol. 26. 1983. № 3.
Ivanov I. Das Gräberfeld von Varna. Katalog // Macht, Yerrschaft und Gold. Das Graberfeld von Varna (Bulgarien) und die Anfänge einer neuen europäischen Zivilisation. Saarbrüken, 1988.
Porada E. The Relative Chronology of Mesopotamia // Chronology in Old World archaeology. L., 1965.
Speiser E. A. Excavation at Tepe-Gawra. Phil., 1935.
Yadin Y. The art of warfare in Biblical lands. Jerusalem. 1963.

Н. В. Панасюк

КУРИЛЬНИЦЫ И РЕПОВИДНЫЕ СОСУДЫ ВОСТОЧНО- И ЗАПАДНОМАНЫЧСКОЙ КАТАКОМБНЫХ КУЛЬТУР

Одна из актуальных задач исследования комплекса катакомбных культур состоит в выделении критериев и признаков, позволяющих различать родственные по своему происхождению, но, вероятно, отличные по своему материальному наполнению, культурные явления. В данном случае речь идет об обособлении восточноманычской и западноманычской культур (далее ВМКК и ЗМКК соответственно). Существование этой проблемы констатировалось неоднократно (*Братченко,* 1976; *Стеганцева*, 1999; *Гей,* 1999; *Кияшко,* 2004), однако до сих пор не было представлено развернутых схем, в полной мере анализирующих погребальный обряд и инвентарь ВМКК и ЗМКК, что позволило бы обосновать их различие.

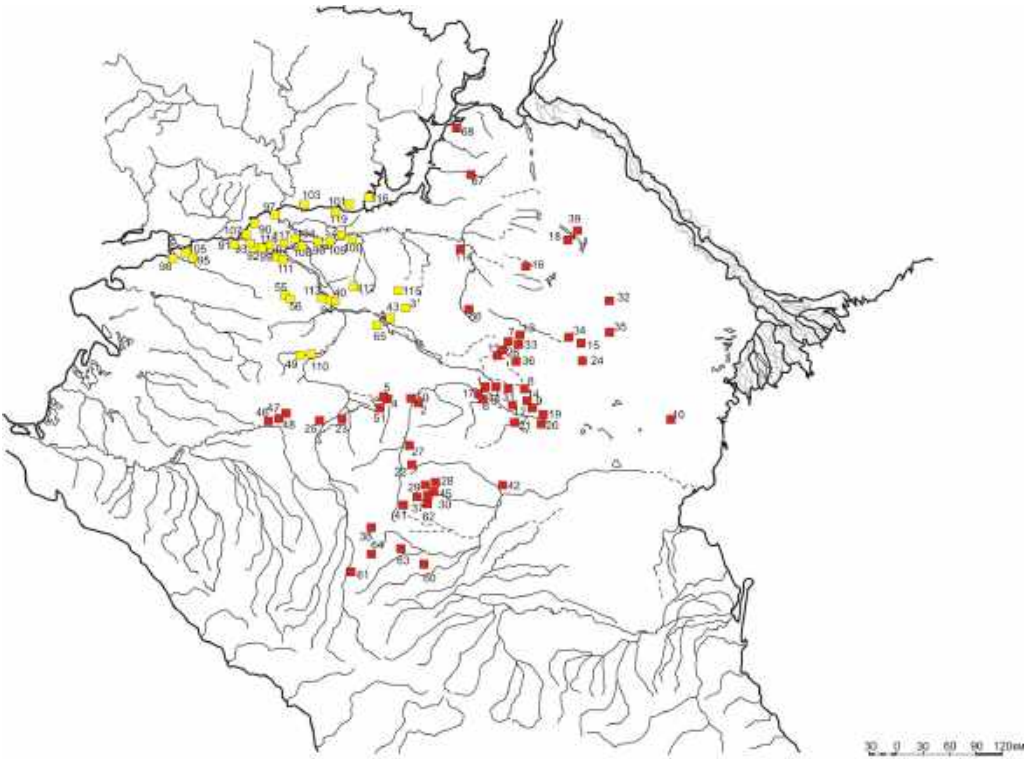
Общеизвестно, что керамика – один из наиболее ярких индикаторов любой археологической культуры. Она является, пожалуй, самой массовой категорией находок, которая часто служит критерием для культурно-генетических и хронологических построений. Общая характеристика манычского катакомбного керамического комплекса была довольно подробно изложена С. Н. Братченко (1976), выявление локальных особенностей также неоднократно становилось объектом исследования (см., например, *Кияшко,* 2004; *Андреева,* 2004). В данной работе предпринимается попытка выделения критериев для обособления памятников ЗМКК и ВМКК на базе исследования лишь двух наиболее выразительных и значительно распространенных на изучаемой территории категорий погребальной посуды – курильниц и реповидных сосудов (рис. 1).

«Хрестоматийность» использования курильниц и реповидных сосудов в манычском катакомбном погребальном обряде признавалась многими исследователями (*Иерусалимская,* 1958; *Егоров,* 1970; *Братченко,* 1976; *Кияшко,* 2002). Сравнительный анализ

курильниц, обнаруженных в погребениях ЗМКК и ВМКК, позволяет подтвердить вывод о близком родстве, но не идентичности традиций изготовления ритуальных чаш в этих культурах. Для обеих культур характерно широкое использование курильниц в погребальном обряде, что отличает комплекс манычских памятников от катакомбных культур других регионов. Следует отметить значительное сходство морфологических и орнаментальных характеристик ритуальных чаш этих культур. То есть и для ВМКК, и для ЗМКК выделяются сходные формы чаш и способы изготовления и крепления ножек; способы украшения и композиционные схемы (*Панасюк,* 2008, с. 281–282, таб. 1). Можно констатировать, что наиболее распространенным типом курильниц являются чаши типа IV по классификации В. Г. Егорова (1970, с. 159) или типа I по нашей классификации (*Панасюк,* 2005, с. 65, таб. 2), т. е. курильницы на цельном крестовидном поддоне, с орнаментом, покрывающим всю поверхность чаши (включая внутреннюю часть). Декор состоит из дуговидных шевронов, нанесенных с помощью шнура или тесьмы в сочетании со сложными видами штампа (спираль, полая трубочка, треугольник). В целом характерен закругленный, плавный орнамент. Однако ряд черт позволяет говорить об отличиях.

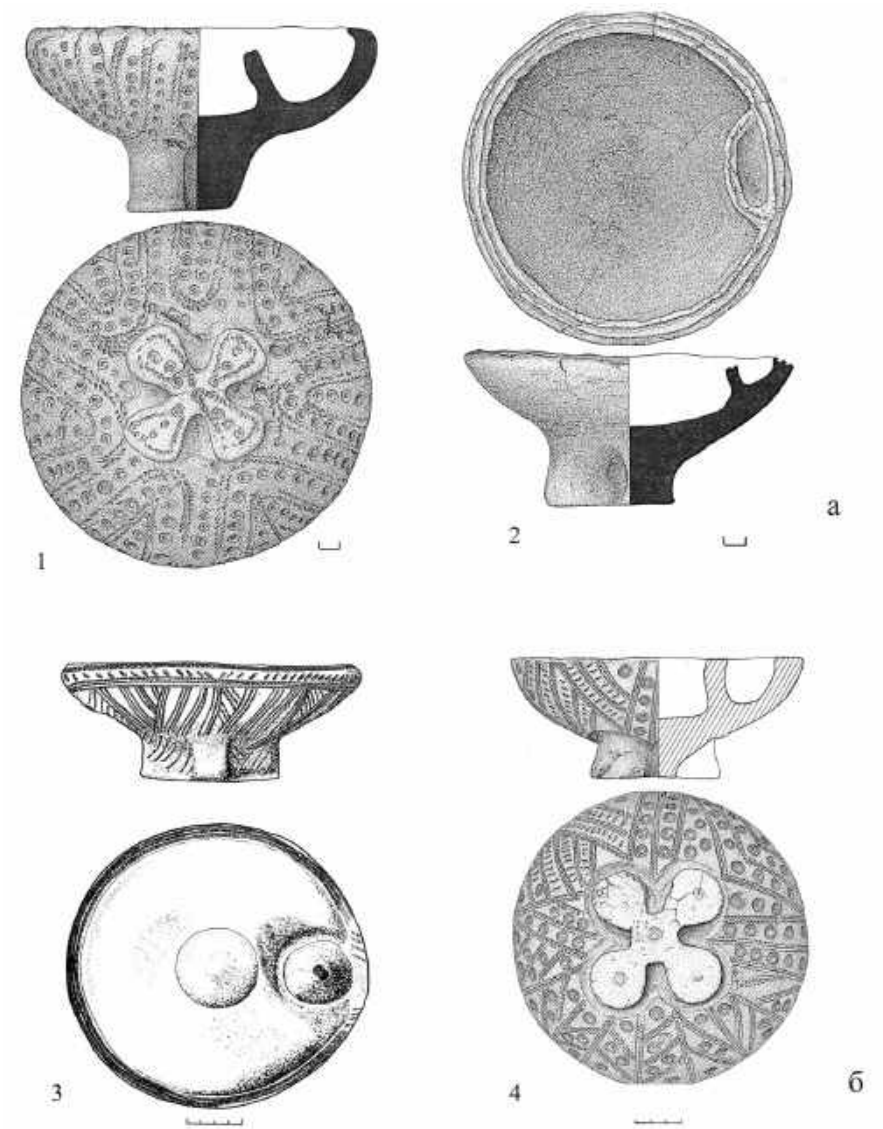
Характеризуя восточноманычские курильницы, укажем, что довольно уверенно выделяются две основные группы данной категории посуды, которые, по нашему мнению, являются хронологическими этапами в традиции их изготовления (*Панасюк, Мимоход,* 2004). Для ранних типов курильниц характерно разнообразие форм. Морфологической особенностью этой группы является наличие более сложных по конфигурации и технологии изготовления видов ножек, например, многолепестковых поддонов или крестовидных с несколькими отверстиями в ножках. Описанная вычурность формы дополняется богатством и разнообразием орнаментации, для которой характерно заполнение всей поверхности чаши (боковая поверхность чаши, венчик чаши и отделения, боковая и даже нижняя поверхность ножек), иногда даже включая внутреннюю поверхность. Декоративные мотивы представляют собой полукруглые фестоны, волнистые линии, составные сетчатые фигуры, выполненные многорядным шнуром или тесьмой. Бытуют разнообразные, иногда довольно сложные виды штампа – спираль, полая трубочка, треугольный штамп. В целом, орнаментация поражает своей насыщенностью и разнообразием, она имеет закругленный, плавный характер (рис. 2а). Что касается курильниц второго этапа ВМКК, то они представляются упрощенными по способу лепки и орнаментации. Так, поздние восточноманычские курильницы характеризуются полусферической чашей с уплощенным дном, в большинстве случаев с отделением, на монолитном или полом крестовидном поддоне, украшенной орнаментом в композиционном смысле достаточно простым и сводящимся к горизонтальным рядам треугольников или зигзага, рядам вертикальных линий или отпечатков штампа. Техника нанесения – шнур, круглый штамп, точечные вдавления, «лунницы» или, так называемый «личиночный орнамент». Основные зоны, где помещен орнамент – боковая поверхность чаши, чаще только ее верхний край, так называемый «поясок» под венчиком, а также сам венчик чаши и отделения. Часть курильниц вообще не орнаментировалась. В целом, можно констатировать явную деградацию орнамента, упрощение приемов его нанесения, обеднение композиционных схем (рис. 2а).

Ритуальные чаши ЗМКК, в общем, делались с использованием тех же технологических приемов и с сохранением морфологических и орнаментальных стандартов, выделенных на примере восточноманычских курильниц (*Панасюк,* 2008). Однако, для западноманычских курильниц характерна большая приземистость всей чаши, что достигается небольшой высотой ножки. Помимо этого стенки чаши обычно довольно толстые и массивные. Часто чаша изготовлена небрежно, с нарушением соотношения размеров, со смещением прилепа



1 – Зунда-Толга 1; *2* – Барханчак 2; *3* – Лысянский I; *4, 5* – Золотаревка 3, 4, 5; *6* – Островной; *7* – Гашунский; *8* – Чограйский V, VIII; *9* – Манджикины 1; *10* – Черноземельский; *11* – Лолинский I, Лолинский II; *12* – Зунда-Толга 3; *13* – Три Брата 1; *14* – Му-Шарет 1; *15* – Яшкуль I; *16* – Ергени; *17* – Шарахалсун 3; Шарахалсун 5, Шарахалсун 6; *18* – Эвдык I; *19* – Восточный Маныч, левый берег, 1965; *20* – Восточный Маныч, правый берег; *21* – Чограй II, III, VIII, IX; *22* – Ореховка; *23* – Ильинский 1; *24* – Цаган-Уси III, Цаган-Уси IV, V, Цаган-Уси VII, VIII; *25* – Птичье 1; *26* – Архаринский; *27* – Светлоград; *28* – Грушевское; *29* – Калиновский; *30* – Веселая Роща I, Веселая Роща II, Веселая Роща III; *31* – Улан Зуха; *32* – Улан-Хееч; *33* – Элистинский; *34* – КВЧ-37; *35* – КВЧ-56; *36* – Кермен-Толга; *37* – курган у хут. Веселая Роща; *38* – Воровсколесское; *39* – **Цаган-Нур**; *40* – Каменный **II**; *41* – Красное Знамя; *43* – Козинка **I, II**; *45* – Жуковский **I**; *49* – Новопалестинский I, II; *50* – **Ипатово 5**; *51* – Золотаревка 6, 7; *52* – Малая Мартыновка; Пробужденский; *55* – Северный I, II; *56* – Южный; *59* – Красногоровка **I**; *61* – Усть-Джегута; *62* – Новоселицкое; *63* – **Суворовский**; *64* – Холоднородниковский; *65* – Бага-Бурул; *66* – Темрта **III, V**; *90* – Ажинов **II, III**; *91* – Алитуб; *92* – Отрадный **II, Колдыри**; *93* – Тузлуки, Подпольный I; *94* – Бережной **VI**; *95* – **Высочино VII**; *96* – Долгий, Кировский **IV**; *97* – Донской, Кузнецовский II; *98* – Займо-Обрыв **I**; *99* – Западенка; *100* – Ильиновский; *101* – Камышевский; *102* – **Каракашево**; *103* – Кастырский II, **V, Упраздно-Кагальницкий I**; *104* – Комаров **I, II**; *105* – Красногоровка-I-84; *106* – Ледяная горка; *107* – Лысый; *108* – Новосадковский; *109* – Новый; *110* – Первомайский; *111* – Прогресс; *112* – Ребричанский **II**; *113* – Соленка **I**; *114* – Спорный **I**; *115* – Таловый **II**; *116* – **Терновский II**; *117* – Четыре Брата; *118* – Шахаевская **II**; *119* – Дубенцовский **VI**; *120* – Головка **IV**

Рис. 1 Расположение погребений ЗМКК и ВМКК с керамикой:
- погребения ЗМКК; - погребения ВМКК;



Рисю 2. Морфология и орнаментация курильниц.
а – ВМКК; *б* – ЗМКК
1 – Му-Шарет I 6/1; *2* – Му-Шарет I 5/2; *3* – Ясырев III 1/5 (по: *Федоровой-Давыдовой,* 1974); *4* – Темрта V 1/4.

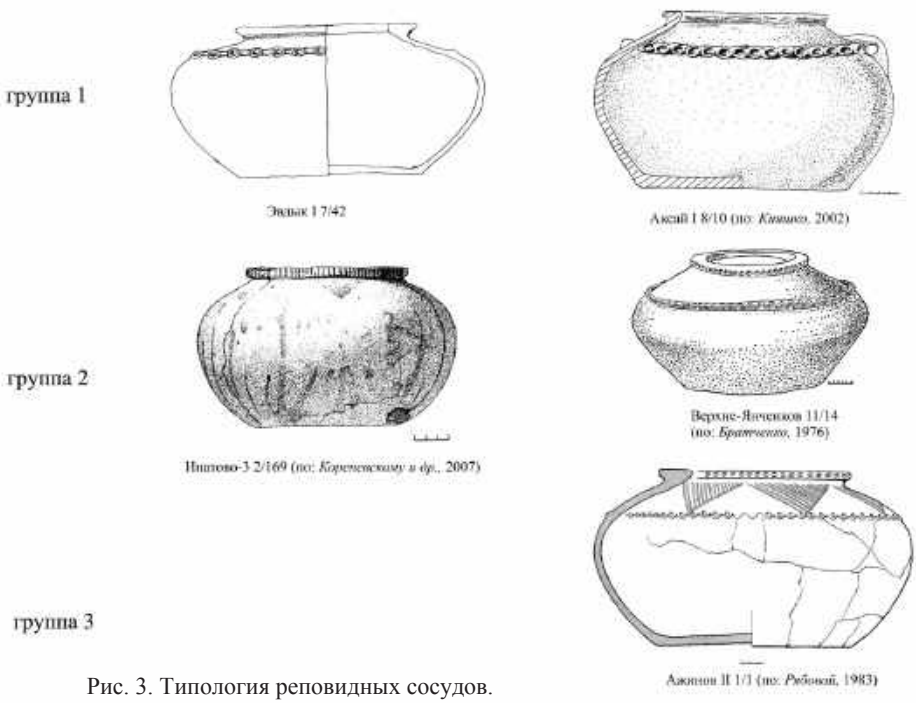


Рис. 3. Типология реповидных сосудов.

ножки от центра дна чаши, в тесте визуально прослеживаются грубые примеси (рис. 2б). Помимо классической четырехлепестковой формы ножек встречается и трехлепестковый вариант, который следует, видимо, выделять в отдельный тип. В большей степени представлены и круглые ножки в виде цельного цилиндра. Особняком стоит группа курильниц на раздельных ножках, расположенных в центре дна чаши. Что касается декора курильниц, здесь также выделяется ряд особенностей. Во-первых, о западноманычских курильницах, можно определенно сказать, что они имеют более рельефный орнамент, что, видимо, связано с более глубоким оттиском и даже врезыванием элементов декора. Так, на курильнице из погребения 4 кургана 1 могильника Темрта V имеется даже особая канавка, очерчивающая место соединения ножки с чашей, что на восточноманычских курильницах, если и присутствует, то обозначается орнаментальным пояском (рис. 2б). Данная технологическая деталь создает дополнительное впечатление массивности курильницы в целом. Во-вторых, декоративные композиции на чаше, при сохранении общих тенденций, присущих «классическому» типу, имеют некоторые отличия в форме и характере расположения. Например, наиболее распространенная четырехчастная композиция на внешней поверхности чаши на западноманычских курильницах зачастую формируется с помощью подпрямоугольных фигур со скругленными углами, а не с помощью овальных фестонов. Распространенным вариантом четырехчастной композиции является сочетание разных элементов, что создает асимметричный орнамент. Не касаясь проблемы интерпретации изображений на ритуальной посуде, отметим, что подобные сосуды уникальны, и до сих пор не выделен алгоритм, который позволил бы прочитать ритуальный текст орнамента.

Среди других орнаментальных композиций для западного варианта культуры представляется более характерным создание горизонтально-зонального орнамента: нанесение на внешнюю поверхность чаши нескольких горизонтальных рядов оттисков шнура, которые заполняются различными видами штампа или волнообразными оттисками шнура (Камышевский I 13/5, Козинка I 19/2), что создает замкнутую круговую композицию.

В значительной части погребений катакомбной культуры курильницы сопровождаются реповидными сосудами; последние также являются маркером манычских катакомбных памятников. Их формы и виды декора имеют свои особенности на Восточном и Западном Маныче. Восточноманычские реповидные сосуды имеют довольно крупные (их размеры в ряде случаев превышают 50 см в диаметре на уровне плечика и в высоту достигают 30 см) плавнопрофилированные формы, с ярко выраженным плечиком и шейкой, зачастую с небольшими плоскими ручками-прилепами, расположенными с двух или четырех сторон на плечике сосуда. Венчик сосуда четко обозначенный, уплощенный, часто отогнут наружу. По характеру с способу декора можно выделить три группы. Орнаментация первой группы реповидных сосудов ВМКК довольно стандартна: ряд налепов или цельный волнообразный валик по плечику сосуда, иногда ручки имеют фигурную форму, как бы составляя часть орнаментальной композиции (рис. 3). В отдельных случаях налепы заменяются насечками, образующими сходный орнаментальный поясок на плечике (Веселая Роща III 26/10; *Державин,* 1989, рис. 27). Вторую группу образуют сосуды, имеющие помимо орнаментального пояска на плечике, дополнительный орнаментальный поясок на шейке или ряд насечек на боковой плоскости широкого, отогнутого наружу венчика. Тулово сосуда в большинстве случаев остается свободным от орнамента, имеет следы заглаживания травой или лопаточкой (Ильинский 1 1/11). Более многочисленной разновидностью данной группы являются сосуды, у которых орнаментальный поясок на плечике не дополняется, а заменяется насечками по венчику (рис. 3). Следующая, самая многочисленная из изученных нами, группа реповидных сосудов вовсе не имеет орнамента (рис. 4). Среди неорнаментированных сосудов выделяется небольшая группа, имеющая острый перегиб профиля на плечике, причем шейка в данном случае имеет выраженный изгиб внутрь сосуда (Веселая Роща III 24/9; *Державин*, 1989, рис. 19).

Одна из первых классификаций западноманычских реповидных сосудов была предложена в работе С. Н. Братченко, где им было выделено две группы подобных сосудов (*Братченко,* 1976, с. 83–89). Анализ этой категории керамики, обнаруженной на Западном Маныче, позволяет констатировать сохранение общих традиций изготовления и декора, отмеченных нами на примере восточного варианта. Однако следует остановиться на некоторых особенностях, присущих только западному ареалу культуры. Во-первых, можно говорить о большей распространенности обычая использования реповидных сосудов в погребальном обряде (*Кияшко,* 2002, с. 137), причем, судя по нашей выборке, здесь они чаще встречаются вместе с курильницами – количество подобных захоронений превышает число таких случаев в ВМКК практически в семь раз, при том, что захоронений с курильницами на Восточном Маныче известно почти в два раза больше. Во-вторых, для этой территории характерно большее разнообразие форм и способов орнаментации сосудов. Западноманычские сосуды, по нашим наблюдениям, имеют более стандартные размеры: их наибольший диаметр в области плечика колеблется в пределах 25–30 см, а высота не превышает 20–25 см. Они довольно четко разделяются на несколько групп по форме, орнаментальным композициям и способам их нанесения.

Исследуя массив орнаментированных реповидных сосудов, мы можем констатировать большее разнообразие способов декора и зональных композиций при сходстве основных

морфологических характеристик. На основе признаков локализации орнамента и способа его нанесения мы выделили пять групп сосудов. Так, к первой группе западноманычских реповидных сосудов, которая очень сходна с уже описанными восточноманычскими мы относим плавнопрофилированные сосуды, с ярко выраженным плечиком и шейкой, с четко обозначенным, уплощенным венчиком с закраиной. Орнаментация этих сосудов аналогична восточноманычским: ряд налепов, насечек или волнообразный валик по плечику сосуда. Необычным в орнаментации является украшение внутренней части дна сосудов прочерченным или резным орнаментом (Новопалестинский II 1/15).

Следующая группа также сходна с восточноманычскими изделиями: она имеет те же параметры и форму профиля и отличается по характеру украшения. Речь идет о сосудах, которые сочетают два описанных элемента орнамента: волнообразный налеп по плечику сосуда и ряд насечек или резных линий на венчике. Таким образом, основной орнаментальной композицией для данной группы является украшение тулова сосуда двумя линиями. Причем в отдельных случаях эти линии могут быть выполнены в единой манере (например, два ряда жемчужных налепов или ряды насечек и на венчике, и на плечике сосуда), или дополняться еще одним «пояском» (Северный II 5/3). Интересно, что в последнем случае помещение дополнительного валика вынудило мастера сместить традиционный орнаментальный мотив с плечика чуть ниже по тулову сосуда. В качестве варианта данной группы выступают сосуды, украшенные только одним рядом насечек или глубоких врезных черточек, располагающихся на боковой части широкого венчика. Эти сосуды немногочисленны, но распространены по всей территории ЗМКК. Добавим, что измерение этих сосудов по основным указанным нами параметрам позволяет говорить о несколько большем размере этих сосудов в диаметре, по сравнению с вышеописанными группами.

В третью выделенную нами группу западноманычских реповидных сосудов вошли экземпляры, имеющие самую богатую и разнообразную орнаментацию. Подобный тип декора отмечен нами только для данной территории и ни разу не был встречен при исследовании материалов ВМКК. Сосуды данной группы орнаментированы так же, как и все ранее описанные в районе плечика. Однако отличие состоит в характере композиции. Во-первых, орнамент наносился с помощью острой палочки и лишь иногда дополнялся традиционным налепным валиком. Во-вторых, декор покрывает все плечо сосуда, включая и переход от плечика и шейке сосуда. Основным мотивом здесь является сочетание елочного орнамента с резными линиями, образующими зигзагообразную линию. Будучи дополненной линией насечек или налепов по боковой поверхности венчика, эта композиция образует единый рисунок в верхней части сосуда, ограниченный с двух сторон горизонтальными линиями. В отдельных случаях сосуды имеют украшенное дно внутри или снаружи.

Одна из наиболее многочисленных групп – четвертая – уже описывалась нами для восточноманычских находок. Сюда нами отнесены плавнопрофилированные сосуды средних размеров, с резко выраженным плечиком, которое практически без шейки переходит в массивный венчик с толстым, отогнутым наружу краем (группа *Д* по Братченко). Данные сосуды имеют довольно толстые стенки по всему профилю, тщательно заглаженные, иногда даже слегка подлощенные. Сосуды не орнаментированы (рис. 4).

Следующая группа представлена бесшейными реповидными сосудами, которые, например, А. В. Кияшко выделяет в особую группу чугунковидных сосудов, из-за их меньших размеров и более широкого устья (*Кияшко,* 2002, с. 138, рис. 121: *1, 2, 4*). На наш взгляд, прав С. Н. Братченко, относящий их к реповидным сосудам (*Братченко,* 1976,

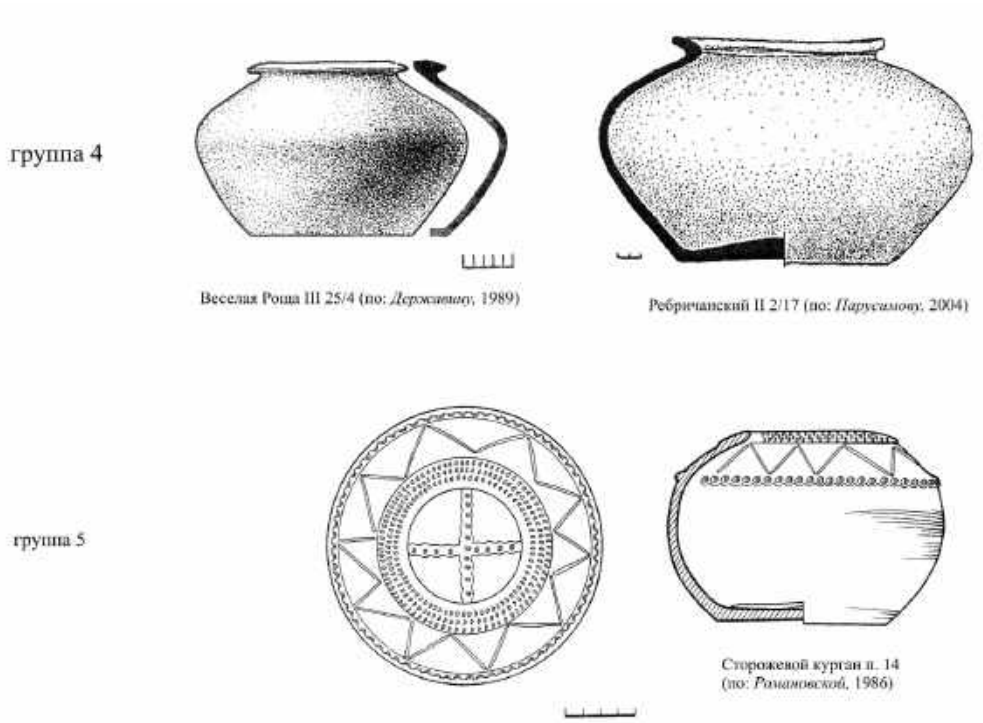


Рис. 4. Типология реповидных сосудов (продолжение).

с. 83), так как по характеру профиля, и по месту размещения в погребении и, следовательно, способу использования в погребальном обряде они сходны с другими формами реповидных сосудов. Все известные нам подобные сосуды находились в углу камеры и содержали внутри жирный желтоватый тлен, который чаще всего связывают с остатками каши или бульона (*Александровский, Александровская,* 1999; *Демкин, Демкина,* 2000), что характеризует использование реповидных сосудов в погребальном обряде. Что касается их формы и способа изготовления, то они отличаются от стандартных форм лишь отсутствием шейки, т.е. широкое плечико сразу же переходит в сильно деградировавший венчик, не имеющий или почти не имеющий закраины, в некоторых случаях представляющий собой просто закругленное завершение невысокой шейки сосуда (Западенка 1/15). Сосуды этой группы имеют богатую орнаментацию, стенки заглажены травой или лопаточкой (рис. 4). Орнамент представляет собой пальцевые отпечатки на плечике сосуда, иногда заходящие на тулово сосуда; встречается и прочерченный паркетный узор. Иногда на внутренней стороне дна встречается крест из валиков. Данная группа сосудов, в целом, и отмеченная орнаментальная особенность (крест на дне сосуда), в частности, характерны только для западноманычской катакомбной культуры и могут, на наш взгляд, служить одним из признаков отнесения захоронения именно к этой культуре.

В результате анализа погребений, где были обнаружены исследуемые категории посуды, мы можем подтвердить вывод о том, что реповидные сосуды, как уже отмечалось (*Братченко,* 1976, с. 85), гораздо чаще встречаются на территории распространения ЗМКК,

о чем можно судить как по степени их распространенности, так и по их морфологическому, а главное, орнаментальному разнообразию. Так, бесшейные сосуды присутствуют только на Западном Маныче и не проникают далее к востоку. Сходная ситуация складывается и в отношении декора – на западноманычских сосудах орнаментация, в целом, более богатая; только здесь представлена, так называемая, паркетная композиция, которая наиболее характерна для керамики донецкой катакомбной культуры (*Кияшко*, 1999, с. 76). Вероятно, ее появление в ЗМКК следует объяснять связями этих двух культур. Что касается восточноманычских реповидных сосудов, то они иллюстрируют тенденцию обеднения орнаментальных композиций.

В отношении курильниц ситуация, на наш взгляд, обратная, т. к. на территории ВМКК прослеживается большее разнообразие и вычурность форм, создание довольно сложных конструкций поддона, применение различных сложных видов штампа. Для западного ареала манычских памятников характерно упрощение морфологического и декоративного канона – практически единственной формой является чаша с отделением на монолитном четырехлепестковом поддоне со стандартной орнаментальной четырехчастной композицией, создававшейся с помощью оттисков шнура и небольшого набора видов штампа. Таким образом, именно ареал восточноманычской катакомбной культуры представляется зоной наибольшего распространения использования курильниц в погребальном обряде.

Наши наблюдения относительно роли изучаемых категорий посуды в погребальном обряде приводят к выводу о том, что манычские реповидные сосуды и курильницы следует считать элементами единого керамического комплекса, которые очень часто единовременно помещались в могильную яму. Об этом нам позволяет судить расположение этих сосудов вместе, зачастую вплотную друг к другу. Исключения немногочисленны, и все они объединяются в одну группу погребений, где реповидные сосуды располагались в центре ямы. В таком случае курильница зафиксирована в головах погребенного. Т. е. в данном случае речь идет о смещении реповидного сосуда с его традиционного местоположения (у головы погребенного), которое является наиболее характерным для керамического комплекса катакомбных погребений на изучаемой территории. Данная традиция широко распространена в обеих культурах, из чего, видимо, следует вывод о едином субстрате, на базе которого они формировались. Однако, как уже указывалось, наблюдается более широкое использование реповидных сосудов в погребальном обряде на Западном Маныче, и они чаще встречаются вместе с курильницами. Здесь мы наблюдаем консервацию обряда на фоне яркого локального разнообразия керамического производства соседствующего населения.

Таким образом, в результате типологизации двух категорий погребальной посуды мы можем заключить, что технология изготовления и орнаментации керамики в ЗМКК и ВМКК обладают своими особенностями. Эти особенности, выражающиеся как в морфологическом, так и в декоративном своеобразии, могут послужить, на наш взгляд критериями для культурной идентификации памятников и для характеристики катакомбных культур изучаемого ареала.

Литература

Александровский А. Л., Александровская Е. И. Определение содержимого сосудов из погребений эпохи бронзы – раннего железного века могильника Манджикины I // Могильник Манджикины I – памятник эпохи бронзы – раннего железного века Калмыкии. М.–Элиста, 1999. С. 48–51.

Андреева М. В. Курильницы, ножи и шилья в контексте погребальных памятников восточноманычской катакомбной культуры // Проблемы первобытной археологии Евразии. К 75-летию А. А. Формозова. М., 2004. С. 187–201.

Братченко С. Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев, 1976.

Гей А. Н. О некоторых символических моментах погребальной обрядности степных скотоводов Предкавказья в эпоху бронзы // Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М., 1999. С. 78–113.

Демкин В. А., Демкина Т. С. О возможности определения погребальной пищи в керамических сосудах из курганов бронзового и раннежелезного веков // ЭО. 2000. № 5. С. 73–81.

Державин В. Л. Погребения эпохи бронзы из курганов у хутора Веселая Роща (по материалам Ставропольской экспедиции 1980 г.) // Древности Ставрополья. М., 1989. С. 125–194.

Егоров В. Г. Классификация курильниц катакомбной культуры // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М, 1970. С. 156–164.

Иерусалимская А. А. К истории племен эпохи бронзы степного Предкавказья (предкавказский вариант катакомбной культуры). Автореф. канд. дис. Л., 1958.

Кияшко А. В. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград, 2002.

Кияшко А. В. О происхождении западноманычской катакомбной культуры по данным погребального обряда // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2002 г. Азов, 2004. Вып. 19. С. 134–143.

Кияшко А. В. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волгоград, 1999.

Панасюк Н. В. Курильницы западноманычской катакомбной культуры // Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий. XXV Крупновские чтения. Владикавказ, 2008. С. 279–282.

Панасюк Н. В. Опыт типологического анализа катакомбных курильниц // Проблеми дослiження пам'яток археологii східної України. Луганск, 2005. С. 63–66.

Панасюк Н. В., Мимоход Р. А. Поздние курильницы восточноманычской катакомбной культуры // Древний Кавказ: ретроспекция культур. XXIII Крупновские чтения. М, 2004. С. 140–142.

Стеганцева В. Я. Относительная хронология погребений катакомбной культуры в междуречье Маныча и Сала // Археологические вести. № 6. СПб., 1999. С. 101–111.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИ Уз.	– Археологические исследования в Узбекистане.
АО	– Археологические открытия. Москва.
АрРАН	– Архив РАН, г. СПб.
АРТ	– Археологические работы в Таджикистане.
АСГЭ	– Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград, Санкт-Петербург.
БВСП	– Бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. Челябинск.
БМАК	– Бактрийско-Маргианский археологический комплекс
БСЭ	– Большая советская энциклопедия. 2-е издание. Москва.
БЧК	– Большой Чуйский канал.
ВА	– Вопросы антропологии. Москва.
ВДИ	– Вестник древней истории. Москва.
ГИМ	– Государственный исторический музей. Москва.
Из. АН Туркм. ССР	– Известия Академии наук Туркменской ССР.
ИАИ	– Известия на археологически институт, Болгарской АН. София
ИИМК	– Институт истории материальной культуры.
ИМКУ	– История материальной культуры Узбекистана.
ИОЛЕАЭ	– Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (при Московском университете).
ИРГО	– Императорское Русское Географическое Общество.
ИТН	– История таджикского народа.
КВК	– культура валиковой керамики.
КГК	– культура Коджадермен – Гумельница – Караново VI.
КД	– Каракумские древности. Ашхабад.
КЛЛК	– культура линейно-ленточной керамики.
КРС	– крупный рогатый скот.
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии.
КСИИМК	– Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
КЦ	– Культурные ценности. Международный ежегодник. Санкт-Петербург.
МАИКЦА	– Международная Ассоциация по изучению культур Центральной Азии.
МИА	– Материалы и исследования по археологии СССР
МИЦАИ	– Международный Институт Центральноазиатских исследований.
МКАЭН	– Международный Конгресс антропологических и этнографических наук.
МНМ	– Мифы народов мира.
МЮТАКЭ	– Материалы ЮТАКЭ.
МИА	– Материалы и исследования по археологии СССР. Москва–Ленинград.
МРС	– мелкий рогатый скот.
НЦБ	– Неолит Централног Балкана: Каталог, 1968. Београд
ОНУ	– Общественные науки в Узбекистане.
ПИФК	– Проблемы истории, филологии, культуры. Москва–Магнитогорск.
РА	– Российская археология. Москва.
РЖВ	– ранний железный век.
СА	– Советская археология. Москва.
САИ	– Свод археологических источников.
СЭ	– Советская этнография. Москва.
ТИИАЭ	– Труды Института истории, археологии и этнографии АН Туркменской ССР.
ТрИЭ	– Труды Института этнографии АН СССР. Москва-Ленинград.
ТрХАЭЭ	– Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.
ТрЮТАКЭ	– Труды Южнотуркменистанской археологической комплексной экспедиции. Ашхабад

УСА	– Успехи среднеазиатской археологии. Ленинград.
ЧГИ	– Архив Чувашского государственного института гуманитарных наук.
ЭВО	– Эпоха варварской оккупации.
ЭНБ	– Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Москва.
Am. J. Phys. Anthr.	– American Journal of Physical Anthropology.
AION	– Annali dell'Universita degli Studi di Napoli «L'Orientale».
AIT	– Archäologie in Iran und Turan.
AMIT	– Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan.
AOAT	– Alter Orient und Altes Testament. Kevelaer, Neukirchen-Vluyn. Bd 254 (1998); Bd 256 (2001).
ARASI	– Annual report of the Archaeological Survey of India.
BAR	– British Archaeological Reports, Oxford.
BASOR	– Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
BEX	– The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania; Series A: Cuneiform Texts. Vol. X. Philadelphia, 1904.
BMN	– Bibliotheca musei Napocensis, Cluj.
BRM I	– Babylonian Records in the Library of J. P. Morgan. Pt I: A. T. Clay. Babylonian Business Transactions of the First Millennium B. C. New York, 1912.
CAA	– Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.
CAD	– The Assyrian Dictionary of the University of Chicago. Chicago & Glückstasdt, 1965.
CNRS	– Centre national de la recherche scientifique.
CT	– Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum. Parts. LV, LVI. London, 1982.
DAO	– De′partment des Antiquités orientales.
Dar	– Strassmaier J. N., Inschriften von Darius, König von Babylon. Leipzig, 1897.
EW	– East and West.
GCCI II	– Goucher College Cuneiform Inscriptions. Vol. II: Dougherty R. P., Archives from Erech, Neo-Babylonian and Persian Periods. New Haven, 1933.
JPEK	– Jahrbuch für Prähistorische und Ethnographische Kunst. Leipzig.
JRGZ	– Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz.
IICAS	– Международная Ассоциация по изучению культур Центральной Азии.
ILN	– Illustrated London News.
JA	– Journal of Anatomy.
JCS	– Journal of Cuneiform Studies.
MAFTUR	– Mission archeologique francaise au Turkmenistan
MDAFA	– Mémoires de la Delegation archéologique française en Afganistan. Paris.
MDAI	– Mémoires de la Délégation archéologique en Iran. Paris.
Nbn	– Strassmaier J. N., Inschriften von Nabonidus, König von Babylon. Leipzig, 1889.
PBS 2/I	– The University of Pennsylvania. The Museum. Publications of the Babylonian Section. Vol. II. Part 1. Philadelphia, 1912.
PSAH	– Prehistoric Steppe adaptation and the horse. Cambridge.
PSAS	– Proceedings of the Society for Arabian Studies.
RlA	– Reallexikon der Assyriologie.
SCIV	– Studii si cercetari de istorie veche. Bucureşti.
TCL XIII	– Musée de Louvre, Département des Antiquités, Textes cuneiformes. Vol. III. Paris, 1929.
YOS	– Yale Oriental Series. Babylonian Texts; Vol. VI. New Haven, 1920; Vol. XIX. New Haven, 2000.
ZA	– Zeitschrift für Assyriologie.
ZDMG	– Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig/ Wiesbaden.

Содержание

Еще пять лет трудов и открытий 5

Раздел 1. Проблемы Среднеазиатской археологии в свете открытий В. И. Сарианиди 18

Лубоцкий А. Кто были жители Гонура, и на каком языке они говорили? 18
Косарев М. Ф. Социокультурное соотношение оседлости и номадизма у аборигенов Северной Азии. 23
Кузьмина Е. Е. Культура Маргианы и Бактрии эпохи финальной бронзы (РЖВ) в работах В. И. Сарианиди 29
Кирчо Л. Б. К вопросу об экономической основе расцвета маргианской цивилизации 38
Кюн С. О роли змеинного и четвероногого драконов в иконографии мифологической схемы цивилизации Окса 43
Франкфор А.-П. Птицы, змеи, люди и божества цивилизации Окса: очерк по поводу цилиндрической печати с Гонур Депе, посвященный профессору В. И. Сарианиди. 67
Този М., Черазетти Б. Однажды… Краткие впечатления от выполнения проекта «Археологическая карта дельты Мургаба» в связи с фундаментальной ролью В. И. Сарианиди . . 86
Мурадов Р. Г. Вклад В. И. Сарианиди в изучение архитектуры Древнего Востока 103
Поссел Г. Л. Что в имени? «Индийская цивилизация», ономастика и правила науки 120
Кепински-Леконт К. Туркменистан и Северная Месопотамия в течение бронзового века . . . 128
Кожин П. М. Новый этап первобытной и раннеисторической археологии Средней Азии . . . 135

Раздел 2. Современные полевые исследования в Средней Азии 144

Сарианиди В. И., Дубова Н. А. Новые гробницы на территории «царского некрополя» Гонура 144
Артемьев В., Урманова А. Предварительные итоги архитектурного исследования Северного Гонура в 2007 г. 172
Джепбаров Р. Консервация сырцовых сооружений: на примере археологического памятника Гонур Депе 203
Мурадова Э. А. Раскопки в западной части поселения Изат-кули 214
Пилипко В. Н. Душакское селище (Южный Туркменистан) 226

Раздел 3. Итоги по отдельным направлениям исследования Среднеазиатских и ближневосточных древностей 237

Сарианиди В. И. Площади «общественных трапез» в Маргиане 237
Сальватори С. Мысли по поводу погребения 3245 на «царском некрополе» Гонур (дельта Мургаба, Туркменистан) 244
Бороффка Н. Серебряная фигурная булавка из «Гробницы ягненка» (18/1994) в Гонуре (Некоторые соображения о музыке и ритуале) 258
Папахристу О. А. Литейные формы из мастерской столичного Гонура (предварительное сообщение) 265
Рузанов В. Д. Этапы развития древнейшей металлургии Средней Азии (энеолит и эпоха бронзы) 285
Антонова Е. В. О геометрических фигурах анауской культуры и БМАК 303
Бенуа А. Некоторые мысли о косметике на Ближнем Востоке в III тысячелетии до н. э.: контейнеры и содержимое 312
Абдуллаев К. К атрибуции «каменных колонок» в Бактрии и Маргиане в эпоху бронзы. (К вопросу культурных традиций БМАК в контексте Ближнего Древнего Востока) 322
Аванесова Н. А. Зеравшанская культурная провинция Бактрийско-Маргианской цивилизации 334
Литвинский Б. А. Рукоять с головой грифона из храма Окса 364
Дандамаев М. А. Выходцы из Киликии в древней Месопотамии 386

Виноградова Н. М., Кутимов Ю. Г., Тойфер М. Погребения эпохи бронзы в окрестностях кишлака Гелот на юге Таджикистана 389
Вртанесян Г. С. Календарно-числовая символика в археологической культуре Бактрии и Маргианы поздней бронзы 412

Раздел 4. Антропологические и фаунистические исследования 423

Парпола А., Янхунен Ю. Об азиатских диких ослах (*Equus hemionus* & *Equus kiang*) и их названиях на местных языках 423
Сатаев Р. М. Реконструкция условий кремации животных из жертвенников-лунок Гонур Депе. 466
Дубова Н. А. Антропологический покров Туркменистана в древности и в наши дни 484
Куфтерин В. В. Краниологический материал эпохи бронзы из Сазагана под Самаркандом . . 504
Бендезу-Сармиенто Х. Архео-антропологическое исследование материалов городища Улуг-Депе в Туркменистане 513
Тур С. С. Население андроновской культуры Алтая: сравнительный анализ краниометрических, одонтологических и краниоскопических данных 536

Раздел 5. Проблемы евразийской археологии. 547

Кызласов И. Л. К основам изучения тюркских народов древности 547
Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П., Тишкин А. А. Елунинская культура бронзового века в Обь-Иртышском междуречье. 552
Царева Е. Г. Килимы ранних кочевников Тувы и Алтая: к истории сложения и развития килимной техники в Евразии. 566
Салмин А. К. Аша: авестийское божество у чувашей 591
Балабина В. И. Миксморфные образы в пластике древнейших земледельцев Европы (статуэтки, сосуды) 594
Симонян А. Е. Древнеарийские традиции в погребальном ритуале Армении эпохи бронзового века. 621
Шишлина Н. И., Егорьков А. Н., Шортланд А. Происхождение и производство фаянсовых бус в Северо-Западном Прикаспии в бронзовом веке. 639
Кореневский С. Н. Втульчатые оружие и культовые символы населения Кавказа и степного юга Восточной Европы в эпоху энеолита. 656
Панасюк Н. В. Курильницы и реповидные сосуды восточно- и западноманычской катакомбных культур 680
Список сокращений 690

Contents

Five more years of work and discoveries 5

Part 1. Problems of Central Asian archaeology in light of the discoveries of Victor Sarianidi 18

Lubotsky A. Who were the inhabitants of Gonur and what language did they speak? 18
Kosarev M. F. Socio-cultural correlation of settled and nomad ways of life among the aborigines of Northern Asia 23
Kuzmina E. E. Culture of Margiana and Bactria in the Final Bronze Age in the works by V. I. Sarianidi 29
Kircho L. On the question of the economic basis of the heyday of the Margiana civilization 38
Kuehn S. On the role of the ophidian and the quadruped dragon within the iconography of the mythological scheme of the Oxus civilization 43
Francfort H.-P. Birds, Snakes, Men, and Deities in the Oxus Civilization: An Essay dedicated to Professor Viktor I. Sarianidi on a Cylinder Seal from Gonur Depe 67
Tosi M., Cerasetti B. Once Upon a Time... A Brief reflection on the history of «The Archaeological Map of the Murghab Delta (AMMD)» Project in relation to the Fundamental Role of V. I. Sarianidi 86
Muradov R. V. I. Sarianidi's contribution to the study of the architecture of the Ancient East 103
Possehl G. L. What's in a Name?: The «Indus Civilization», onomastics and the rules of science 120
Kepinski-Lecomte Ch. Turkmenistan and Northern Mesopotamia during the Bronze Age 128
Кожин П. М. Новый этап первобытной и раннеисторической археологии Средней Азии 135

Part 2. Contemporary field investigation in Central Asia 144

Sarianidi V. I., Dubova N. A. New graves in the area of the "Royal necropolis" of Gonur 144
Artemiev V., Urmanova A. Preliminary results of the architectural researches of North Gonur in 2007 172
Jepbarov R. Conservation of mud brick-constructions: the case of the Gonur Depe archaeological site 203
Muradova E. Excavations in the west part of the settlement of Izat-Kuli 214
Pilipko V. N. Dushak settlement (South Turkmenistan) 226

Part 3. Results of some directions of research into the antiquities of Central Asia and the Near East 237

Sarianidi V. I. Squares for "communal eating" in Margiana 237
Salvatori S. Thoughts on Grave 3245 in the "Royal Graveyard" of Gonur. (Murghab delta, Turkmenistan) 244
Boroffka N. A silver pin from the "Lamb tomb" (18/1994) of Gonur (Some ideas about music and ritual) 258
Papakhristou O. A. Casting moulds from a workshop of the capital city of Gonur (preliminary report) 265
Ruzanov V. D. Stages of development of the ancient metallurgy of Central Asia (Aeneolithic and Bronze Age) 285
Antonova E. V. On the geometrical figures of the Anau and BMAC cultures 303
Benoit A. Some thoughts on the cosmetics of the Near East during the Third Millennium B.C.: containers and contents 312
Abdullaev K. On the attribution of the stone "miniature columns" in Bactria and Margiana in the Bronze Age (On the question of BMAC cultural traditions in the context of the ancient Near East) 322
Avanesova N. A. The Zeravshan cultural province of the Bactria-Margiana civilization 334
Litvinsky B. A. The handle with a head of a griffin from an Oxus temple 364
Dandamaev M. Natives of Cilicia in ancient Mesopotamia 386

Vinogradova N. M., Kutimov Yu. G., Teufer M. Bronze Age burials in the vicinity of the settlement of Gelot in South Tajikistan 389
Vrtanesyan G. S. Calendar-numeric symbolism in the Late Bronze Age archaeological culture of Bactria and Margiana 412

Part 4. Anthropological and faunal researches 423

Parpola A., Janhunen J. On the Asiatic wild asses (Equus hemionus & Equus kiang) and their vernacular names 423
Sataev R. The reconstruction of the conditions of cremation of animals from altars-pits of Gonur-Depe 466
Dubova N. A. Anthropological cover of Turkmenistan in Antiquity and today 484
Kufterin V. V. Bronze Age craniological material from Sazagan near Samarkand 504
Bendezu-Sarmiento J. Archaeo-anthropological investigation of the materials from Ulug Depe site in Turkmenistan 513
Tur S. S. The Andronovo population of the Altay: A comparative analysis of craniological, odontological and cranioscopic data 536

Part 5. Problems of Eurasian archaeology 547

Kyzlasov I. L. On the bases of studying Turkic peoples of antiquity 547
Kiryushin Yu. F., Grushin S. P., Tishkin A. A. The Bronze Age Elununo culture in the Ob'-Irtysh intefluvial 552
Tzareva E. G. Kilims of the nomads of early Tuva and the Altay: On the genesis and development of kilim-techniques in Eurasia 566
Salmin A. K. Asha: An Avestan deity among the Chuvash 591
Balabina V. Mixmorphic images in the plastics of the ancient agriculturalists of Europe (statuettes, vessels) 594
Simonyan A. E. Ancient Aryan traditions in the Bronze Age funeral ritual of Armenia 621
Shishlina N. I., Egor'kov A. N., Shortland A. Genesis and manufacture of faience beads in the North-Western Subcaspian area during the Bronze Age 639
Korenevsky S. N. Weapons with an eyelet and cult symbols of populations of the Caucasus and steppelands of the south of the Eastern Europe during the Aeneolithic 656
Panasyuk N. V. Censers and turnip-form vessels in East- and West Manych Katakomb cultures . . . 680

На пути открытия цивилизации
Сборник статей к 80-летию В. И. Сарианиди

Труды Маргианской археологической экспедиции
Том 3

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Корректор *С. И. Семёнова*
Оригинал-макет *Л. Г. Иванова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»:
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин издательства «Совпадение».
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 28.12.2009. Формат 70x100 1/16.
Усл. печ. л. 44. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ №